



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.  
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

WIDENER



HN DULS Q

Slav 4360.1



Harvard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

HENRY LILLIE PIERCE,  
OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows,  
October 24, 1898.

23 June 1899











М. Н. ЗАГОСКИНЪ



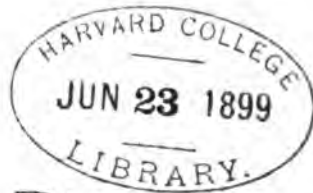
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ВТОРОЙ



ИЗДАНИЕ  
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т—ВА М. О. ВОЛЬФЪ  
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дв., 18 | МОСКВА, Кузнецкій мостъ, 12  
1898

Slav 4360.1



Pierce fund



ТИПОГРАФІЯ  
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО  
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ  
Спб., В. О., 16 л., № 5-7.

# БРЫНСКІЙ ЛѢСЪ

—  
ЭПИЗОДЪ

ИЗЪ ПЕРВЫХЪ ГОДОВЪ ЦАРСТВОВАНІЯ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Slav 4360.1



*Pierce fund*



ТИПОГРАФІЯ  
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО  
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ  
СПБ., В. О., 16 Л., № 5-7.

# БРЫНСКІЙ ЛѢСЪ

—  
ЭПИЗОДЪ

ИЗЪ ПЕРВЫХЪ ГОДОВЪ ЦАРСТВОВАНІЯ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

---

### I.

Подъ самодержавнымъ и кроткимъ правленіемъ двухъ первыхъ царей изъ рода Романовыхъ, отечество наше начинало уже забывать всѣ прошедшія свои страданія. Какъ торжествующій побѣдитель, едва не погибшій въ борьбѣ съ сильнымъ врагомъ, смотритъ съ гордостію—но также и съ невольнымъ трепетомъ, на свою грудь, покрытую исцѣлѣвшими ранами: такъ точно и святая Русь, съ внутреннимъ сознаниемъ своей силы, но вмѣстѣ и съ ужасомъ вспоминала о бѣдствіяхъ, претерпѣнныхъ ею во времена междоцарствія. Въ послѣднія тридцать лѣтъ, благодаря твердому и мудрому правленію царя Алексѣя Михайловича, Россія отдохнула и стала попрежнему царствомъ сильнымъ, богатымъ и самобытнымъ; почти вездѣ изгладились кровавые слѣды ея враговъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, и одно только изустное преданіе напоминало русскимъ о нашествіи иноплеменныхъ, о грабежахъ буйныхъ полчищъ Трубецкаго, о разореніи Москвы, о постыдныхъ предательствахъ, измѣнахъ—и, можетъ быть, скоро всѣ эти казни Божіи, эти самозванцы, поляки, междуусобія и крамоды стали бы имъ казаться какимъ-то смутнымъ, тяжкимъ сномъ, еслибъ вмѣстѣ съ кончиною царя Θεодора Алексѣевича не возникъ снова этотъ духъ мятежа и безначалія, отъ которыхъ не рѣдко гибнутъ цѣлыя народы и сильные царства становятся добычею слабыхъ своихъ сосѣдей.

Отъ царствующаго рода оставалось только два сына царя Алексѣя Михайловича: отъ перваго брака царевичъ Іоаннъ, отъ втораго Петръ:— первый, едва вышедшій изъ дѣтства, второй еще дитя. Рожденная отъ перваго брака старшая ихъ сестра, царевна Софья Алексѣевна, была одна изъ прекраснѣйшихъ женщинъ своего времени, одаренная умомъ и способностями истинно необычайными; новъ то же время властолюбивая, хитрая и готовая пожертвовать всѣмъ для достиженія своей цѣли. Царевичъ Іоаннъ, юноша кроткій и благоразумный, но слабый здоровьемъ, отказался добровольно отъ своего наслѣдственнаго права, и десятилѣтній Петръ былъ единогласно провозглашенъ царемъ Русскимъ. Это единодержавное правленіе продолжалось только три недѣли. Царевна Софья, при помощи родственника своего, боярина Милославскаго, и другихъ приверженныхъ ей вельможъ, склонила на свою сторону московскихъ стрѣльцовъ. Они взбунтовались, побросали съ высокихъ каланчей своихъ сѣзжихъ избъ тѣхъ полковниковъ, которые старались удержать ихъ отъ мятежа, перерѣзали главныхъ своихъ начальниковъ, князей Долгорукихъ—отца и сына, умертвили родственниковъ Петра, бояръ Нарышкиныхъ, князя Черкаскаго, двухъ князей Ромодановскихъ, только что возвратившагося изъ ссылки знаменитаго Артамона Сергѣевича Матвѣева, многихъ другихъ бояръ и сановниковъ—и потомъ силою возвели на престолъ, въ соцарствование Петру, брата его царевича Іоанна, а сестру ихъ, Софію, объявили соправительницею — или, вѣрнѣй сказать — правительницею царства Русскаго, потому что сначала выходили указы за подписаніемъ ея и обоихъ царей, а впоследствии подписывала ихъ одна Софья Алексѣевна. Но это было мало для властолюбивой царевны; она предвидѣла, что власть ея не долго продлится. Десятилѣтній Петръ не походилъ на обыкновенныхъ дѣтей: на его юномъ и прекрасномъ челѣ лежала печать помазанника Божія. Избранникъ небесъ, переродитель Россіи, онъ и въ дѣтскихъ годахъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, твердостью и безстрашіемъ. Всѣ его ребяческія забавы, всѣ дѣтскія потѣхи имѣли высокую, бессмертную цѣль, которую, можетъ быть, отгадывала одна Софья. Еще нѣсколько лѣтъ и это порфирородное дитя будетъ самодержавнымъ, мощнымъ царемъ, съ которымъ всякая борьба сдѣлается невозможною. Слѣдствіемъ этого предвидѣнія были безпрестанные мятежи, возмущенія стрѣльцовъ и заговоры,

всегда клонившіеся къ тому, чтобъ погубить державнаго отрока Петра, который былъ не подъ силу Софьѣ Алексѣевнѣ, не смотря на то, что ее называли премудрою.

Прежде, чѣмъ я приступлю къ моему разсказу, мнѣ должно познакомить читателей съ тогдашнимъ единственнымъ въ Москвѣ сборнымъ мѣстомъ, или, если хотите, гуляньемъ всѣхъ праздныхъ людей, зѣвакъ, вѣстовщиковъ, охотниковъ до новостей, разныхъ промышленниковъ, а иногда и людей, имѣющихъ важныя замыслы. Это гулянье, или лучше сказать, сходбище, на которомъ, по словамъ иностранныхъ писателей, народъ толпился каждый день съ утра до вечера, это сборное мѣсто, напоминающее римскій форумъ — называлось, и теперь еще называется, Красной площадью; только нынѣшняя во многомъ не походитъ на прежнюю. Покровскій соборъ, то есть церковь Василя Блаженнаго, Лобное мѣсто и Спасскія ворота—вотъ все, что осталось въ прежнемъ видѣ. Въмѣсто нынѣшнихъ красивыхъ и легкихъ Никольскихъ воротъ возвышалась тяжелая четырехугольная башня съ небольшою вышкой и воротами, которыя также назывались Никольскими. Кремль отдѣлялся отъ Красной площади не такъ, какъ теперь, одной высокой стѣною,—ихъ было три, одна другой выше; надъ зубцами внутренней—то есть самой высокой стѣны, была деревянная крыша, точно такая же, какъ теперь, надъ оградой Троице-Сергіевской лавры. Выше кремлевскихъ стѣнъ блистали, какъ и теперь, главы соборовъ, монастырскихъ церквей и сіялъ въ вышинѣ золотой крестъ Ивава Великаго. Направо къ Никольскимъ воротамъ, за стѣною Кремля, видѣлась кровля дома боярина Бориса Михайловича Лыкова; налево къ собору Василя Блаженнаго высоко подымались огромныя хоромы ближнихъ бояръ, Ивана Васильевича Морозова и князя Якова Куденетовича Черкаскаго. У Иверскихъ воротъ, которыя тогда назывались Каретными и Воскресенскими, существовала уже часовня Иверской Божіей Матери, разумѣется не теперешняя, а построенная въ 1666-омъ году, по указу царя Алексѣя Михайловича; нынѣшняя существуетъ съ небольшимъ пятьдесятъ лѣтъ. Тогдашніе ряды или гостиный дворъ былъ кирпичный съ деревянными пристройками; онъ раздѣлялся на четыре двора: старый, новый, соляной и рыбный; въ первыхъ двухъ были ряды и амбары, въ послѣднихъ отдѣльныя лавочки, шалаши, балаганы и палатки. Лучшіе ряды

были: панскій суровскій, фряжскій и веницейскій. Кругомъ Лобнаго мѣста и по всей Красной площади разбросаны были также лавочки, шалаши и балаганы, въ которыхъ торговали шапками, рукавицами, всякимъ мелочнымъ товаромъ и съѣстными припасами. Вблизи отъ Лобнаго мѣста стояло невысокое каменное зданіе, на плоской кровлѣ котораго лежали двѣ огромныя мѣдныя пушки — это былъ домъ земскаго приказа или полиціи. Изъ двухъ улицъ, выходящихъ на Красную площадь, нынѣшняя Ильинка была замѣчательна тѣмъ, что на ней, подъ открытомъ небомъ, происходило то, что въ наше время дѣлается обыкновенно по домамъ или въ особенно заведенныхъ для того комнатахъ. На этой улицѣ стригли волосы и, вѣроятно, посѣтители этихъ воздушныхъ *salon pour la coupe des cheveux* были очень многочисленны. Олеарій, жившій въ Москвѣ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, говорить, что въ этой улицѣ всегда лежали на землѣ остриженные волосы такими толстыми и густыми слоями, что проходящимъ казалось, будто бы они ходятъ по тюфякамъ.

Въ 1682 году, вскорѣ послѣ перваго стрѣлецкаго бунта, въ ясный лѣтній вечеръ, на Красной площади, на которой по обыкновенію толпился народъ, одинъ молодой человекъ стоялъ прислонясь къ наружной стѣнѣ Лобнаго мѣста. Онъ былъ видный и прекрасный собою мужчина; его темноголубымъ глазамъ съ черными рѣсницами, румянымъ щекамъ и мягкимъ шелковистымъ кудрямъ позавидовала бы любая московская красавица; по его одеждѣ не трудно было отгадать, что онъ принадлежитъ къ числу младшихъ начальниковъ стрѣлецкаго войска. Этотъ молодой человекъ смотрѣлъ задумчиво и съ примѣтной грустію на рабочихъ людей, которые спѣшили окончить кирпичный довольно высокій столбъ, сооружаемый на самой срединѣ площади; по временамъ онъ бросалъ также исполненный презрѣнія взглядъ на отвратительную толпу продавцовъ, которые почти всѣ были стрѣльцы. Они явно и безъ всякаго опасенія продавали вещи, награбленныя ими во время мятежа. Ихъ буйныя и дерзкія рѣчи, наглость, съ какою они зазывали, или, лучше сказать, тащили къ себѣ покупателей, обидныя насмѣшки, которымъ подвергались всѣ мирные граждане, не желавшіе покупать добытый разбоемъ товаръ, угрозы и ругательства, которыми эти вооруженные торгоши осыпали бѣдныхъ купцовъ, торгующихъ съ ними на одной площади, —

все избличало этотъ буйный разгулъ ослѣпленныхъ удачею мятежниковъ; они безопасно предавались своей наистой радости и веселію, а межъ тѣмъ надъ ихъ преступными главами собиралась Божія гроза. Никто изъ нихъ не помышлялъ о страшномъ днѣ отмщенія—а этотъ день былъ уже близко.

— Что ты, горе богатырь, такъ призадумался?—сказаль, подойдя къ этому молодому человѣку, стрѣлецкій сотникъ пожилыхъ лѣтъ и вовсе некрасивой наружности.

— А! здравствуй, Лутохинъ!—промолвилъ какъ будто бы нехотя молодой человѣкъ.

— Я и не зналъ, что ты пріѣхаль,—продолжалъ пожилой стрѣлецъ.—Ну, братъ, понаслышались мы о тебѣ!... Поздравляю, Дмитрій Афанасьичъ!

— Съ чѣмъ?

— Какъ съ чѣмъ?... Вѣдь ты, два мѣсяца тому назадъ, поѣхаль отсюда въ Кострому къ своему дядѣ Семену Яковлевичу Денисову.

— Ну да!

— И не засталъ его въ живыхъ.

— Такъ ты съ этимъ то меня поздравляешь?

— Не съ этимъ, братецъ! Да вѣдь онъ отказаль тебѣ свое родовое помѣстье. Ты теперь человѣкъ богатый.

— Да Богъ съ нимъ съ этимъ богатствомъ!... Покойный дядя былъ мнѣ вмѣсто отца родного; кровныхъ у меня никого нѣтъ. Что я теперь? Одинъ какъ перстъ!

— А другой-то дядя—Андрей Яковлевичъ Денисовъ?

— Этого я знаю только по наслышкѣ.

— И я его никогда не видываль, а слышать то слыхаль.

О немъ идетъ много всякихъ рѣчей: никоновцы зовутъ его еретикомъ, а тѣ изъ нашихъ, которые придерживаются старины, величаютъ столпомъ православія. Да гдѣ онъ теперь?

— Богъ вѣсть!... Покойная матушка сказывала мнѣ, что онъ сначала спасался въ Соловкахъ, послѣ жилъ за Онегою, а тамъ отправился на житье въ Стародубъ; а въ самомъ то дѣлѣ, чай, никто не знаетъ, гдѣ онъ теперь.

— Да, это правда. Мало ли что про него болтають:—говорять, что онъ часто и въ Москвѣ бываетъ... да еще то ли!... Рассказываютъ, будто бы его въ одно время видали въ разныхъ мѣстахъ. Вотъ примѣромъ сказать: ты бы сегодня подъ вечеръ повстрѣчался къ нимъ въ Костромѣ, а мнѣ бы онъ попался теперь на Красной площади. Да это

все, чай, бабы сплетни.—Скажи-ка мнѣ лучше, Дмитрій Афанасьевичъ, ты вчера что ль прѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ, сегодня поутру.

— Ну, братъ Левшинъ!—продолжалъ пожилой стрѣлецъ,—жаль, что тебя здѣсь не было—пороботали мы!

— Да,—прошепталъ молодой человѣкъ,— пороботали, да только кому? Вѣдь можно поработать и Господу, и сатанѣ?

— Сатанѣ?... Что ты, что ты,—перекрестись!

— Пожалуй, у меня рука подымется: я не мятежникъ и не убійца.

— Да что жъ ты, Левшинъ въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ пожилой стрѣлецъ.—Да развѣ мы бунтовщики какіе? Вѣдь мы послужили царю нашему Іоанну Алексѣевичу и нашей матушкѣ царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ.

— А Петра то Алексѣевича ты забылъ?...

— Ну что жъ?... Вѣдь и онъ также царствуетъ.

— Поработали!—продолжалъ вполголоса молодой человѣкъ.—Хороша работа!... Какъ то вамъ будетъ отвѣчать на томъ свѣтѣ, коли на этомъ еще не отвѣтите!... Страшно подумать... сколько ближнихъ бояръ, знаменитыхъ сановниковъ!..

— Экій ты, братецъ, какой! Да слышь ты, они всѣ были измѣнники?

— Иамѣнники? Неправда!... Да еслибъ и такъ: измѣнниковъ судить царь и дума боярская, а мы что за судьи?

— Что за судьи?... Видишь ли ты этотъ столбъ?

— Вижу.

— А знаешь-ли, что онъ строится съ дозволенія нашей матушки-царевны Софьи Алексѣевны?

— Знаю.

— А вѣдомо ли тебѣ, что его ставятъ здѣсь ради того, чтобы на вѣки вѣковъ знали о нашей вѣрной службѣ и объ измѣнѣ бояръ, за которыхъ ты заступаешься?

— Все знаю—и дай Богъ, чтобъ этотъ столбъ скорѣе развалился.

— Ого!... Такъ ты этакъ-то поговариваешь, Дмитрій Афанасьевичъ?... Да чему и дивиться!... Вѣдь ты не нашъ братъ: ты стрѣлецъ только по имени. Отецъ твой Афанасій Ильичъ Левшинъ...

— Что мой отецъ? Онъ служилъ стрѣлецкимъ головою.

— Знаемъ, знаемъ! А все-таки онъ былъ родовой человекъ. Твоя покойная матушка родомъ Денисова, племянница князю Мышецкому,—ты самъ теперь богатый помѣщикъ: такъ пригоже ли тебѣ, такому боярину, служить въ стрѣльцкомъ войскѣ! Тебѣ бы давно ударить челомъ, чтобы тебя перевели въ жильцы. Вѣдь отъ жильцовъ-то недалеко и до стряпчихъ; а тамъ, глядишь, роденька твой, князь Мышецкій, замолвить за тебя словечко ближнему боярину князю Голицыну—такъ ты какъ-разъ и въ стольники попадешь.

— Нѣтъ, Лутохинъ: гдѣ служилъ и умеръ на службѣ мой отецъ, тамъ и я буду служить.

— А коли такъ, зачѣмъ же ты говоришь такія рѣчи? Иль ты не знаешь пословицы: съ волками жить по волчьи выть.

— Я не волкъ, а человекъ, и по волчьи выть не умѣю,—сказаль отрывисто молодой стрѣлецъ, отходя прочь отъ Лобнаго мѣста.

Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ другой стрѣлецкій сотникъ, почти однихъ лѣтъ и также весьма приятной наружности, кинулся къ нему на шею и закричалъ:

— Здравствуй, братъ Левшинъ!... Давно ли ты изъ Костромы?...

— Только что пріѣхаль, — отвѣчалъ Левшинъ. — Эхъ, братъ Колобовъ! — продолжалъ онъ, — не чаялъ я видѣть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольникъ, какъ этотъ Оедька Лутохинъ, съ которымъ я сейчасъ говорилъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьевичъ, не обижай! И я, и всѣ мои товарищи неповинны въ этомъ грѣхѣ предъ Богомъ и царемъ. Сухарева полкъ, въ которомъ я служу, не измѣнилъ своей присягѣ. Сначала помutilи и нашихъ ребятъ, и они было завозились, да пятисотенный Иванъ Васильевичъ Бурмистровъ,—дай Богъ ему здоровья!—сказаль, что ляжетъ вмѣсто порога у царскихъ палатъ; вотъ они язычекъ-то и прикусили! А тамъ вышелъ пятидесятникъ Борисовъ, человекъ кажись, небольшо грамотный, а какъ началъ имъ толковать, что такое есть присяга, такъ всѣ, братецъ, прослезились!

— Ну слава Богу! — сказалъ Левшинъ, — хоть одинъ полкъ! Все-таки душѣ полегче.

— Да за то ужь, братъ, какъ другіе то полки насъ не жалуютъ—вотъ такъ бы и проглотили; да благо нельзя!... Вѣдь цѣлый полкъ не одинъ человѣкъ — подавишься! Знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: тебѣ бы не худо переписаться въ нашъ полкъ. Вашъ полковникъ Бухвостовъ боленъ, такъ заурядъ править полкомъ Кузьма Иванычъ Чермновъ, задушевный другъ Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а вѣдь они то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего добраго, коли на бѣду эти разбойники провѣдаютъ, что ты не тянешь на ихъ руку, такъ они какъ разъ тебя уходятъ.

— Какъ! безъ суда?

— Какой судъ! Скажутъ, что ты измѣнникъ—вотъ и все! Вѣдь нашъ теперешній то набольшій князь Иванъ Андреевичъ Хованскій, имъ съ руки: что бъ они ни сдѣлали, все шито до крыто!...

— Эхъ, братъ Колобовъ, не хотѣлось бы мнѣ оставить полкъ, въ которомъ помнятъ еще моего покойнаго батюшку.

— Развѣ помнили, а теперь у нихъ не то на умѣ. — Эй, Левшинъ, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду къ Ивану Васильевичу Бурмистрову?... Онъ это дѣло разомъ уладитъ.

— Ну-инъ быть по твоему,—сказалъ Левшинъ. — Вѣдь по правдѣ то сказать, и покойный батюшка не сталъ бы служить съ бунтовщиками.

— Тсъ! тише! что ты горланишь! — шепнулъ Колобовъ. — Иль тебѣ надоѣло голову на плечахъ носить? Кругомъ насъ ушей то много—про себя, что хочешь, говори, а вслухъ не моги!—Вѣдь здѣсь, братецъ, на площади расправа коротка — ни за что пропадешь!... Ты теперь куда — домой что ль?...

— Нѣтъ, еще не домой. Зайду въ Успенскій соборъ поклониться святымъ угодникамъ.

— Ну, ступай, а я завтра у тебя по утру побываю.

Левшинъ, простясь съ своимъ пріятелемъ, отправился въ Кремль. Подойдя къ Спасскимъ воротамъ, онъ увидѣлъ, что множество празношатающихъ людей всякаго состоянія и въ томъ числѣ нѣсколько стрѣльцовъ, столпилось вокругъ одного нищаго. Лицо, руки и босыя ноги этого нищаго были запачканы грязью, а сверхъ посконнаго балахона, отъ котораго оставались одни только лохмотья, надѣта была черезъ плечо воровка, на которой висѣлъ плетеный изъ



лыка кошель. Впрочемъ, лицо его было не безобразно, и сѣдые распущенные по плечамъ волосы придавали ему видъ состарѣвшагося въ трудахъ монастырскаго послушника.

— Ну что вы пристали! — говорилъ онъ плаксивымъ голосомъ дурака, котораго раздражили. — Наладили одно да одно: «Гриша! гдѣ ты былъ? Гриша! куда ты пропадалъ?» — Такъ не скажу! На что вамъ.

— Вотъ ужъ цѣлый годъ никто тебя не видѣлъ у Спаскихъ воротъ, — сказалъ одинъ купецъ. — Мы, Гриша, думали, что ты умеръ.

— Нѣтъ, братъ, живехонекъ!...

— На-ка тебѣ, Гриша, копеечку, — сказалъ другой купецъ.

— На что мнѣ? У меня, братъ, и своихъ копеечекъ то было много.

— Куда жъ ты ихъ подѣвалъ? — сказалъ первый купецъ.

— Разошлись по бѣлу свѣту.

— Эхъ, Гриша, Гриша! зачѣмъ же ты ихъ не берегъ?...

— Большіе колокола не велѣли.

Вся толпа засмѣялась.

— Смѣйтесь, смѣйтесь! А послушайте - ка сами, что колокола говорятъ.

— А что они говорятъ, Гриша? — спросилъ одинъ изъ купцовъ.

— Да маленькіе то лепечуть: «денегъ дай, денегъ дай, денегъ дай!» А большіе то, видно, умнѣе маленькихъ; тѣ гудятъ: «деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»

Хохотъ въ толпѣ удвоился.

— Да! вамъ смѣхъ, а мнѣ и поль-смѣха не было, — продолжалъ нищій. — Жаль было съ денежками разставаться, а все-таки большихъ колоколовъ послушался: началъ мои копеечки раздавать — бери, кто хочетъ! И теперь, — прибавилъ онъ съ веселой улыбкой, — слава тебѣ Господи, нѣтъ за душой ни полушечки!

— Гриша, — сказалъ одинъ изъ стрѣльцовъ, — спой-ка намъ Алексѣя Божья человѣка.

— Да, спой!... Какъ бы не такъ! Вѣдь поешь, коли на сердцѣ весело, а мнѣ плакать хочется.

— О чемъ, Гриша?

— Да есть о чемъ. Пришелъ я вчера издалека, побносився, усталъ, намаялся. Вотъ думаю: погоди! отведу же я себѣ душеньку; въ Москвѣ у меня пріятелей то много:

тотъ дастъ калачикъ, тотъ рубашенку, тотъ зипунъ... Дай пойду къ князю Юрію Алексѣвичу Долгорукову. Онъ, бывало, голубчикъ, всегда меня и напоить, и накормить. Пошелъ. Стукъ, стукъ! — «Что ты?» — Пришелъ повидаться съ князюшкой. — «Такъ ступай на погостъ: его убили стрѣльцы». А сынокъ то его? «Лежить съ нимъ рядышкомъ». — Ну, нечего дѣлать! Я къ князю Михаилу Алегуквичу Черкасскому. — «Приказаль, дескать, долго жить! Убили стрѣльцы». — Я къ князьямъ Ромодановскимъ. — «Свезли, дескать, на кладбище — убили стрѣльцы!» Вотъ думаю: пойду къ Артамону Сергѣвичу Матвѣеву — вѣдь его стрѣльцы — то отцомъ роднымъ называли, такъ ужъ вѣрно у нихъ и руки на него не подымутся. — Пришелъ. Стукнулъ въ калитку. — «Кого надобно?»... Артамона Сергѣвича. «Помолись за его душу — убили стрѣльцы!»...

— Туда измѣнникамъ и дорога! — прервалъ стрѣлецъ. — А ты, Гриша, пустого то не мели.

— Да, да! — подхватилъ другой стрѣлецъ, — ты смотри, лохмотникъ, ври да не завирайся! Пошелъ бы лучше да умылся — замарашка этакій! Руки то всѣ въ грязи.

— И, братъ! — сказалъ нищій. — Что грязь?... Грязь ничего! Ополоснулся водицей — глядишь, и бѣлехонекъ! А вотъ какъ руки то замараешь христіанской кровью, такъ ужъ ихъ, голубчикъ, ничѣмъ не отмоешь.

— Вотъ что выдумалъ!... — промолвилъ третій стрѣлецъ, огромнаго роста и съ звѣрской, глупой рожею. — Ничѣмъ не отмоешь. Эва! какую околесную несетъ!

— Нѣтъ, не околесную, — подхватилъ первый стрѣлецъ. — Онъ себѣ на умѣ! Вишь, какія рѣчи говорить!

— Эхъ, братцы, — продолжалъ нищій, — погуляли, потѣшились — будетъ! пора и Богу помолиться! Вѣдь Онъ терпитъ, терпитъ, да какъ устанетъ терпѣть — такъ худо, ребята! И къ вамъ также придутъ: «стукъ, стукъ!» — Кого надобно? «Стрѣльцовъ молодцовъ». — Были, дескать, были, да всѣ сплыли и на показъ не осталось.

— Ахъ ты, воронъ зловѣщій, — завопилъ первый стрѣлецъ. — Да что жъ ты, въ самомъ дѣлѣ, такъ раскаркался? — Гоните его, ребята, съ площади долой! Полоумный этакій!... Пошелъ! пошелъ!

Стрѣльцы бросились на нищаго и начали его бить и гнать передъ собою толчками.

— Что вы это, братцы? — закричал Левшинъ. — Ну не грѣшно ли вамъ? Недужный старикъ — нищій!...

Тутъ кто-то схватилъ Левшина за руку. Онъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ пріятель его Колобовъ, блѣдный, какъ смерть. — Скорѣй, скорѣй отсюда! — прошепталъ онъ торопливо.

— Постой, братецъ! — сказалъ Левшинъ. — Дай выручить этого бѣдняка. Они прибьютъ его до полусмерти.

— Эхъ, братецъ, оставь ихъ! Ну что они ему сдѣлаютъ? вѣдь онъ убогій человѣкъ. Поколотятъ, да и все! А ты о головѣ то своей подумай.

— О головѣ?...

— Пойдемъ! — сказалъ Колобовъ, оглядываясь робко назадъ и таща за собою Левшина. — Тамъ въ Кремль я все тебѣ скажу.

## II.

Войдя Спасскими воротами въ Кремль, Колобовъ повелъ своего пріятеля на то самое мѣсто, гдѣ теперь Разводная площадь. Въ то время вся эта площадь была покрыта деревянными домами бояръ и бревенчатыми избами, изъ которыхъ многія были ничѣмъ не лучше нынѣшнихъ бѣлыхъ крестьянскихъ избъ.

— Вотъ здѣсь мы можемъ на минуту остановиться, — сказалъ Колобовъ. — Сюда они не придутъ. Ну, слава Богу, что я тебя отыскалъ!... Еслибъ ты имъ попался!...

— Кому, братецъ?

— Ну, Левшинъ, не говорилъ ли я тебѣ...

— Да что такое?

— А то, что тебѣ надобно скорѣй отсюда убираться, — да не къ намъ, въ стрѣлецкую слободу: тамъ тебя найдутъ...

— Найдутъ? — Кто найдетъ?

— А вотъ послушай. Простаясь съ тобою, я пошелъ къ Ивану Васильевичу Бурмистрову. Онъ живетъ въ своемъ домѣ на Неглинной. Какъ я сталъ подходить къ Каретнымъ воротамъ, слышу — тебя называютъ громко по имени. Гляжу, стоятъ человѣкъ двадцать стрѣльцовъ, да трое сотниковъ твоего полка — этотъ буянъ Михайло Чечотка, Андрей Головлинскій и мошенникъ Ѳедька Лутохинъ. Я подошелъ поближе и сталъ прислушиваться. — «Да, братцы», — говорилъ Лутохинъ, «Левшинъ всѣхъ насъ позорить, говорить,

что мы разбойники и бунтовщики, смѣется надъ нашимъ столбомъ». — «Ахъ онъ измѣнникъ!» — закричалъ Чечотка. — «Ребята! знаете ли что? Петлю ему на шею, да вздернемъ его на этотъ столбъ!» — «Вздернемъ!» — закричали стрѣльцы. — «Стойте, братцы, стойте!... Что вы?» — молвилъ Андрей Головлинскій; — «вѣдь онъ нашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ, а не купчина какой. Коли онъ измѣнникъ, такъ его надо казнить порядкомъ. Отведемъ его къ полковнику. Вы знаете, Кузьма Иванычъ Чермновъ потачки не дастъ...» — «Да что жъ», — закричалъ опять Чечотка, — «развѣ мы сами съ этимъ дворянчикомъ не справимся?» — «Кто и говорить», — сказалъ Головлинскій. — «Убить не долго, да что въ этомъ толку то? Еще пожалуй скажутъ, что мы по насердцамъ убили этого измѣнника. Нѣтъ, братцы! пусть прежде сдѣлаютъ ему пристрастный вопросъ, а какъ уличать въ измѣнѣ, такъ выведутъ на площадь, да казнятъ всенародно, по приговору стрѣлецкаго приказа... Знаете ли что? Пойдемте всѣ къ нему на домъ; коли еще онъ не вернулся, такъ мы его подождемъ». — «Въ самомъ дѣлѣ», — молвилъ Лутохинъ, — «пойдемте, братцы, захватимъ на дому этого Іуду предателя, скрутимъ ему руки назадъ, да и потащимъ къ полковнику Чермнову: онъ его допроситъ по-свойски!» — «А коли онъ начнетъ барахтаться,» — промолвилъ Чечотка, — «такъ мы его и безъ полковника порѣшимъ!... Собакѣ, измѣннику — собачья и смерть. Не такъ ли, ребята?» — «Такъ!» — заревѣли въ одинъ голосъ стрѣльцы, да всей гурьбой и отправились на Москворѣцкій мостъ, а я побѣждалъ тебя отыскивать, и слава тебѣ Господи, что нашель.

— Ужъ не думаютъ ли эти разбойники, — сказалъ Левшинъ, — что я живой имъ отдамся въ руки?

— Не о томъ рѣчь, братецъ!... Ты вѣдь одинъ съ цѣлымъ полкомъ не сладишь. Вотъ какъ перейдешь къ намъ, таъ у тебя будетъ заступа — не выдадимъ; а теперь денька на три тебѣ надо приискать какое-нибудь укромное мѣстечко. Ко мнѣ нельзя: я живу за Москвою-рѣкою въ слободѣ, а тамъ тебя и ночью то будутъ сторожить... Знаешь ли что? У меня есть знакомая старушка, она держитъ въ Зарядьѣ постоянный дворъ; сама она старообрядка, и останавливаются у нея всѣ пріѣзжіе и старообрядцы. Старуха добрая; я ей скажу, что ты задолжалъ богатымъ людямъ и что тебя на правезѣ тащили, да ты ушелъ, такъ она

отведеть тебѣ такой уголокъ, что тебя въ полгода и земскій приказъ не отыщеть. Намъ придется опять идти черезъ Красную площадь, да, чай, ужъ эти разбойники давно за Москвой-рѣвкой, такъ мы съ ними не встрѣтимся. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьевичъ. Пока я не сдамъ тебя съ рукъ на руки моей старухѣ, до той поры у меня отъ сердца не отляжетъ.

Оба сотника, оставивъ Кремль, вышли опять на Красную площадь; съ перваго взгляда они увидѣли, что на ней происходитъ что-то необыкновенное. Народъ волновался, шумѣлъ, и многочисленныя толпы со всѣхъ сторонъ площади слѣпили къ Лобному мѣсту. Увлеченные этимъ людскимъ потокомъ наши молодые стрѣльцы подошли довольно близко къ Лобному мѣсту — и тутъ представилось Левшину совершенно неожиданное для него зрѣлище. Множество людей, изъ которыхъ нѣкоторые были одѣты какъ чернецы, стояло съ иконами, крестами и святымъ евангелиемъ: у иныхъ были въ рукахъ огромныя свитки, другіе толпились вокругъ налоевъ, на которыхъ лежали разогнутыя церковныя книги; передъ ними полупьяные мужики держали зажженныя свѣчи, — а на Лобномъ мѣстѣ стоялъ въ подрясникѣ человекъ высокаго роста, съ косматою бородой и растрепанными длинными волосами. Онъ кричалъ громкимъ голосомъ: «Послушай, народъ христіанскій, обличеніе на новую Никоніанскую вѣру!... Пойдите, православныя, за истинную церковь, ибо нынѣ уже нѣтъ православной церкви, и прямая вѣра погиге на земли!... Се бо антихристъ насталь!»

— Что это такое? — спросилъ Левшинъ, когда они, продравшись сквозь толпы и миновавъ церковь Василя Блаженнаго, повернули налево по Варваркѣ. — Что это за человекъ такой?

— Да все тотъ же разстрига Никита Пустосвятъ. Вотъ ужъ онъ цѣлую недѣлю таскается по всѣмъ площадямъ, рынкамъ и кружаламъ — мутить вездѣ народъ.

— И его до сихъ поръ не уймуть?

— Да, братъ, сунься-ка! За его вѣру стоитъ половина стрѣлецкаго войска, да никакъ и самъ князь-то Иванъ Андреевичъ Хованскій того же толку придерживается... Эхъ, братъ Левшинъ, — плохія времена!... То-то и есть! помирволили сначала этимъ крамольникамъ — дали повадку, а теперъ имъ ужъ удержу нѣтъ!... Ну, вотъ и церковь

Максима Блаженнаго! — Сюда, направо, Дмитрій Афанасьевичъ, ступай за мной, — прибавилъ Колобовъ, начиная спускаться съ крутой деревянной лѣстницы, которая, изгибаясь по скату горы, вела въ одну изъ улицъ *Зарядья*.

Зарядье, то есть часть города, находящаяся за рядами, и теперь составлена почти изъ однихъ вѣвзжихъ домовъ, подворьевъ и харчевенъ; только теперь этотъ набережный кварталъ Китай-города застроенъ весь каменными домами, а тогда, за небольшимъ исключеніемъ, они всѣ были деревянные. Нынѣшніе постоянные дворы по большимъ дорогамъ могутъ дать понятіе о тогдашнихъ подворьяхъ Зарядья; они были только гораздо обширнѣе, и, вмѣсто одной большой избы, составлялись иногда изъ трехъ или четырехъ избъ, соединенныхъ межъ собою крытыми переходами; тутъ были и зимнія теплыя хаты съ широкой печью и палатами, и лѣтнія свѣтлицы съ красивыми рѣзными скамьями, дубовымъ чистымъ столомъ и оловяннымъ висячимъ умывальникомъ. Лучшимъ украшеніемъ этихъ избъ и свѣтлицъ были, такъ же какъ и теперь, живописныя иконы; передъ ними обыкновенно теплилась лампада, а изъ-за нихъ видѣлась ивовая лоза, то есть верба, которая смѣнялась однажды въ году послѣ заутрени на Вербное Воскресенье. Иногда также на одной полкѣ съ образами стояла стклянка съ богоявленской водою и лежало яйцо, которымъ хозяйинъ или хозяйка дома похристосовалась въ послѣднее Свѣтлое Воскресенье съ своимъ приходскимъ священникомъ.

Левшинъ и Колобовъ, спустясь по лѣстницѣ въ Зарядье, прошли шаговъ двѣсти вдоль прямой улицы, которая вела къ Москвѣ-рѣкѣ; потомъ, повернувъ налѣво въ кривой и грязный переулочекъ, остановились подлѣ воротъ, занимающихъ промежутокъ между двухъ высокихъ избъ. Обѣ эти избы были въ два жилья, крыты гонтомъ и украшены рѣзными коньками и узорчатыми подвѣсками.

— Ну, вотъ и Мещовское подворье! — сказалъ Колобовъ. — Дома ли хозяйка? Эй, бабушка! ты дома что ль? — закричалъ онъ, подойдя къ открытому окну одной изъ избъ.

— Кто тутъ? — раздался въ избѣ пискливый голосъ — и въ небольшое окно сначала высунулся огромный красный носъ, а потомъ вдвинулось, какъ въ тѣсную раму, толстое, брызглое лицо съ отвисшимъ подбородкомъ.

— Здорово, Архипьевна!

— Ахъ ты, соколъ мой ясный, Артемій Никифоровичъ! — пропищала эта безобразная рожа, ухмыляясь самымъ пріятливымъ образомъ. — Милости просимъ, батюшка! Пожалуйте, пожалуйста! калитка отперта.

Наши пріатели вошли со двора въ небольшія сѣнцы, въ которыхъ встрѣтила ихъ хозяйка дома, толстая, здоровая старуха, въ поношенной камчатой тѣлогрѣвѣ и красной камлотовой юбкѣ. Голова ея была повязана шелковымъ платкомъ и, какъ видно, на скорую руку, потому что Колобовъ, взглянувъ на нее, засмѣялся и сказалъ:

— Здравствуй Архипьевна! — Что это у тебя шлыкъ то на сторонѣ?

— Торопилась, батюшка, торопилась! — отвѣчала старуха, поправляя свой головной уборъ. — Вѣдь хуже, еслибъ вы застали меня простоволосою. — Милости просимъ въ мою келью, господа честные, милости просимъ!

Стрѣльцы вошли въ небольшую хату, довольно опрятную, но такую низкую, что Левшинъ, который былъ высокаго роста, едва не доставалъ головою до потолка. Въ переднемъ углу, на полкѣ, вмѣсто обыкновенныхъ живописныхъ иконъ, стоялъ огромный мѣдный складень съ выпуклыми изображеніями святыхъ и висѣли на гвоздикѣ кожаныя чотки.

— Архипьевна, — сказалъ Колобовъ, — я привелъ къ тебѣ этого молодца; онъ также, какъ я, стрѣлецкій сотникъ.

— Вижу, батюшка, вижу!

— Мы съ нимъ задушевные пріатели — крестами давно помѣнялись.

— Сирѣчь вы крестовые братья. Такъ, батюшка, такъ!

— Вотъ изволишь видѣть: онъ позадолжалъ и ужъ его сегодня вели на правежъ...

— На правежъ!... этакое молодца и красавца!... Помилуй Господи!... Видала я, какъ на этихъ правежахъ бьютъ прутьями по ногамъ. Мука, батюшка, мука!

— А дѣлать то нечего, Архипьевна; еслибъ онъ не ушелъ, такъ пришлось бы ему стоять босикомъ передъ приказомъ.

— Полно такъ ли, Артемій Никифоровичъ? Ужъ не хотѣли ли его только пугнуть? То-ли время теперь, чтобъ стрѣлецкаго сотника отдавать на правежъ!... Да какой купецъ или горожанинъ посмѣеть...

— Вѣстимо, Архипьевна, купецъ не посмѣеть, да онъ

задолжалъ не купцамъ, а своей братьи, начальнымъ стрѣльцкимъ людямъ.

— Вотъ что!... Ну это иная рѣчь, батюшка: тутъ ужъ за него вступиться будетъ некому.

— Денька черезъ три онъ какъ-нибудь справится и заплатитъ, да теперь то не можетъ, такъ знаешь ли, на это время надобно его куда ни есть припрятать, — понимаешь?

— Смекаю, батюшка.

— Не найдешь ли ты ему какой-нибудь уголокъ?

— Какъ бы не найти, да на тотъ грѣхъ все мое подворье биткомъ набито проѣзжими—и все, батюшка, изда-лека, все люди нашей старой вѣры, со всѣхъ мѣстъ: съ Поморья, съ Вятки, изъ Брынскихъ лѣсовъ... Говорятъ, будто бы соборъ будетъ, и наши стануть спорить съ никоновцами и отстаивать истинную вѣру... Помози имъ Господи!

— Эхъ, не о томъ рѣчь, бабушка!—Ты мнѣ скажи: неужли то у тебя нѣтъ ни одного порожняго уголка?

— Есть то, есть, кормилецъ! На заднемъ дворѣ знатная свѣтелка! И лѣсенка въ нее особая.

— Такъ чего же лучше!

— А вотъ что, Артемій Никифоровичъ: рядомъ то съ нею другая свѣтелка, да внизу еще два покоя,—и въ нихъ во всѣхъ живетъ одинъ пріѣзжій...

— Ну такъ что жъ?

— Жилецъ то, батюшка, не простой...

— Да не бояринъ же какой-нибудь!..

— Бояринъ не бояринъ, а кабы вы знали, кто у него вчера былъ тайкомъ...

— А кто, бабушка?

— Да вѣдь вы, пожалуй, разболтаете...

— Нѣтъ, Архипьевна,—нѣтъ! Говори смѣло.

— Къ нему вчера, — продолжала старуха шопотомъ, — приходилъ въ сумерки, одинъ одиухонекъ... сама батюшка, видѣла, своими глазами...

— Да кто?

— Вашъ набольшой-то воевода...

— Князь Иванъ Андреевичъ Хованскій?

— Онъ!

— Вотъ что?... Да нѣтъ ли у твоего жилья дочки?..

— И, полно!... Что ты, грѣхотворникъ!... Ну, конечно, дочка есть,—да то-то и бѣда: она живетъ въ свѣтлицѣ, такъ



если узнаютъ, что я подь бокъ къ ней посадила такого молодца...

— Да вѣдь, чай, между имъ и этой красавицей стѣна будетъ?

— Какая стѣна... такъ изъ дощечекъ; и на бѣду и двери есть; хоть онѣ и заколочены, а все, батюшка, какъ то непригоже...

— Знаешь ли что Архипьевна: если тебя спросятъ, такъ ты скажи, что пустила въ эту свѣгелку недужнаго чело-вѣка, старика... Вѣдь онъ никуда выходить не станетъ, и всего то на три дня...

— Правда, дочка то провѣжаго, — продолжала Архипьевна, — днемъ только сидитъ въ свѣтлицѣ, а ночуетъ, объ-даетъ и ужинаетъ внизу.

— Такъ чего же ты боишься? Лишь только эта краса-вица въ свѣтлицу, такъ онъ притаится, какъ заяцъ подь кочкою. Ей и въ голову не придетъ, что подлѣ нея живутъ.

— Ну инъ быть по вашему! Только смотри, молодець, живи смирно, чтобъ тебя и слышно не было.

— Да ужъ не опасайся! — прервалъ Колобовъ. — Вѣдь и онъ у меня ни дать, ни взять красная дѣвушка.

— Я затѣмъ это говорю, батюшка, что этотъ жилецъ то, кажись, отъ всѣхъ прячетъ свою дочку, — и мнѣ даже не далъ перемолвить съ ней ни словечка; у нихъ дверь всегда на замкѣ.

— А отецъ ея также сидитъ взаперти? — спросилъ Левшинъ.

— Нѣтъ батюшка, и онъ, и служитель его часто выхо-дятъ; ихъ и теперь нѣтъ дома. Работница его Дарья, также забѣжитъ иногда ко мнѣ; а дочка, словно затворница какая, никуда ни пади: весь день сидитъ одна-одинехонька, да вы-шиваеетъ въ пальцахъ. Вотъ была въ Москвѣ, а Москвы не видала!

— Такъ это дѣло слажено, — сказалъ Колобовъ. — Что придется за постой и за хлѣбы, считай на мнѣ, а теперь веди-ка насъ скорѣй въ свѣтлицу. Да смотри, бабушка: коли неравно стануть пытать, не живеть ли у тебя какой стрѣ-лецкій сотникъ...

— Такъ я, батюшка, хоть образъ со стѣны сниму. Не живеть да и только! И почему мнѣ знать, что онъ стрѣ-лецкій сотникъ? Мое дѣло бабѣ! — Пожалуйте...

Левшинъ и Колобовъ, вслѣдъ за хозяйкою постоялаго

двора, прошли задними воротами на другой дворъ, застроенный клѣтymi и амбарами, посреди которыхъ стояла высокая изба въ два жилья и съ двумя крыльцами, одно съ лицевой стороны подъ досчатымъ навѣсомъ, который поддерживали красивыя балясы, другое съ боку и безъ всякихъ украшеній. Архипьевна пробралась сторонкою, завернула за уголъ избы и по крутой лѣсенкѣ ввела стрѣльцовъ въ небольшія сѣни.

— Пойдите ка на минуту, молодцы,—сказала она:— я пойду взгляну, гдѣ моя жилица.

— Да развѣ ты, бабушка, сквозь стѣну-то увидишь?—

— И, кормилецъ! въ досчатой стѣнѣ всегда щелочки есть,—отвѣчала Архипьевна, входя въ свѣтлицу.

— Слышишь, Левшинъ? — сказалъ Колобовъ. — Смотри же, братъ, скажи мнѣ, хороша ли твоя сосѣдка. Вѣдь тебѣ дѣлать то будетъ нечего, сиди себѣ у стѣнки, да въ щелку и посматривай.

— Ступайте, господа честные,—промолвила Архипьевна, растворяя дверь.—Жилица моя внизу.

Наши пріятели вошли въ небольшую свѣтелку съ однимъ окномъ.

— Вонъ, батюшка,—сказала Архипьевна, обращаясь къ Левшину,—тамъ подъ лавкой лежитъ войлочекъ. Не прогнѣвайся, лишней перины у меня нѣтъ, да и подушечекъ то Богъ не далъ. Что жъ дѣлать—не взыщите!

— И, бабушка; есть о чемъ хлопотать!—прервалъ Колобовъ:—была бы только крыша. Вѣдь нашъ братъ ратный человѣкъ, ходя наѣтся и стоя выспится.

— А что, молодецъ,—сказала Архипьевна, обращаясь къ Левшину,—не принести ли тебѣ поужинать?

— Спасибо, бабушка! Я ужинать не стану,—отвѣчалъ Левшинъ.

— Что ты, что ты, кормилецъ! Безъ ужина, да безъ молитвы никогда спать не ложишься...

— Нѣтъ, любезная, я ѣсть не хочу.

— Что нужды, батюшка; ты на это не смотри: и не хочется да покушай.

— Не тронь его, Архипьевна,—прервалъ Колобовъ.— Коли онъ не хочетъ ѣсть, такъ я за него поѣмъ; ты же ономнясь хвалилась, что у тебя есть астраханская бѣлужина.

— Есть, батюшка!... Да есть также и малиновый медокъ—вотъ тотъ самый, что ты жаловать изволишь.

— Право? Такъ я, бабушка, къ тебѣ заверну.

— Милости просимъ! А твоему крестовому братцу видно ужъ принести пораньше позавтракать. Ты что хочешь, молодецъ? Я сама тебѣ сострапаю. Хочешь ли перепечу крупичатую или курникъ съ яичной подсыпкою?

— Все равно, бабушка, все равно!

— Нѣтъ, батюшка, не все равно: перепеча перепечой, а курникъ курникомъ...

— Ну, какъ сама хочешь.

— Такъ лучше курникъ—это будетъ посытнѣе. Теперь пойду на ледникъ, нацѣжу свѣженькаго медку жбанъ, да ужъ такъ и быть... рѣдкій гость!... есть у меня завѣтная наливочка: прошлаго года гостинецъ изъ Черкасъ привезли... Ну ужъ, батюшка, есть чѣмъ почествовать,—сластынь такая, что и сказать нельзя!... Прощенья просимъ!... Смотри же, Артемій Никифоровичъ, я буду тебя дожидаться.

— Да небось, Архипьевна, припасай только намъ своей хваленной наливки то, а ужъ мы твои гости.

— Такъ я пойду. Счастливо оставаться, господинъ честной!... Спокойной ночи, крѣпкаго сна... Охъ, да на тощакъ-то какой сонъ!

— Засну, бабушка! — сказалъ Левшинъ, улыбаясь.— Прощай!...

— Насилу ушла! — промолвилъ Колобовъ, когда Архипьевна вышла изъ свѣтлицы.— Старуха добрая, а ужъ куда адорова болтать. Ну, братъ Левшинъ, ты самъ пока мѣстъ пристроенъ къ мѣстечку, теперь надо подумать о твоихъ домашнихъ. Тебя эти разбойники не захватятъ на дому, да зато ужъ все твое доброе подымутъ на царя, заберутъ твоихъ служителей, начнутъ отъ нихъ выпытывать, гдѣ ты—замучаютъ ихъ, сердечныхъ!

— Я этого не боюсь,—сказалъ Левшинъ.—Вѣдь я еще и самъ въ домъ то не былъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Я сегодня около вечеренъ прѣхалъ сюда налегкѣ съ однимъ знакомымъ купцомъ изъ Ростова. Онъ вѣхалъ къ своему родному брату, который служить подьякомъ въ холопьемъ приказѣ, а тотъ не хотѣлъ отпустить меня безъ угощенья; рассказалъ мнѣ почти со слезами обо всѣхъ безбожныхъ дѣлахъ этихъ окаянныхъ мятежниковъ,—и я прямо изъ его дома пришелъ на Красную площадь, гдѣ съ тобой и повстрѣчался.

— Такъ ты одинъ прїѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ. Мой слуга Феропонтъ и конюхъ ѣдутъ на долгихъ. Послѣ покойнаго дядюшки досталось мнѣ много всякаго добра...

— А, вотъ что! Такъ у тебя обозецъ сюда идетъ?

— И коней вѣдутъ, двухъ персидскихъ аргамаковъ. Однимъ изъ нихъ тебѣ челомъ бью, Артемій Никифоровичъ.

— Спасибо, Дмитрій Афанасьичъ!

— А другого оставлю для себя; Султаномъ зовутъ.— Что за конь, братецъ!... Феропонтъ никогда не бывалъ въ Москвѣ, такъ я велѣлъ ему дожидаться меня по Троицкой дорогѣ у креста.

— Когда ты ихъ ждешь?

— Да завтра поутру должны быть.

— Такъ я вмѣсто тебя ихъ встрѣчу.

— А я было самъ думалъ...

— Нѣтъ, братъ, погоди!... Неравно еще наткнешься на кого-нибудь изъ своихъ товарищей. Ужъ вѣрно они обо всемъ донесли полковнику Чермнову; чай, онъ теперь и рветъ и мечетъ. Вотъ, какъ перейдешь въ нашъ полкъ, такъ ты себѣ передъ нимъ хоть вовсе шапки не ломай; а пока еще ты у него подъ началомъ, такъ онъ можетъ тебя и силою потянуть на расправу... Э! да постой-ка!... Вѣдь ты никакъ знакомъ съ бояриномъ Кириллою Андреевичемъ Буйносовымъ?

— Какъ же! Онъ очень любилъ моего покойнаго батюшку и меня изволить жаловать.

— Такъ я завтра же поутру у него побываю. Я слышалъ, что онъ живетъ въ ладу съ нашимъ главнымъ воеводою, княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ, и коли замолвить ему словечко, такъ тебя завтра же переведутъ въ нашъ полкъ. Ну, братъ Левшинъ, дѣлать нечего, пришлось тебѣ жить затворникомъ!... И то сказать—впередъ наука! Думай, что хочешь, а языку то воли не давай. Плетью, братъ, обуха не перешибешь. Ты лучше по моему: сяди у моря, да жди погоды; будетъ и на нашей улицѣ праздникъ: не все станутъ мирволить этимъ крамольникамъ. Дай только подрости нашему батюшкѣ, Петру Алексѣвичу, такъ онъ приберетъ къ рукамъ и ихъ и сестрицу свою,—промолвилъ вполголоса Колобовъ.—Да что объ этомъ толковать—не наше дѣло!... Прощай, братъ, до завтра! Пойду смаковать хваленой наливочки... а ты смо-

три—на улицу ни ногой!... Да не забудь, Левшинъ: я завтра спрошу тебя, хороша ли твоя сосѣдка?

Простившись съ своимъ пріятелемъ, Левшинъ сѣлъ на лавку и призадумался не о томъ, что онъ долженъ былъ скрываться, какъ преступникъ, что неосторожной рѣчью возстановилъ противъ себя своихъ сослуживцевъ, — нѣтъ! чистая и благородная душа его не терпѣла нѣмоты. Онъ не могъ не высказать того, что было у него на сердцѣ, и повторилъ бы снова тѣ же самыя слова передъ всѣмъ полкомъ своимъ. — Умереть за правду весело, — думалъ онъ, — а грустно жить такимъ круглымъ сиротою. Что я? Безъ отца, безъ матери, безъ кровныхъ... Я теперь богатъ, а на что мнѣ это богатство? Кого я имъ порадую?... Ахъ! зачѣмъ Господь не послалъ мнѣ подругу по-сердцу!... Я желалъ бы, чтобъ она была бѣдна: я осыпалъ бы ее жемчугомъ, одѣвалъ бы въ парчу, тѣшилъ бы какъ малое дитя... а теперь кого я потѣшу? кому скажу: «ты дѣлила со мной и бѣдность и горе; у насъ все было пополамъ, — такъ раздѣли же со мной и мое богатство, и мои радости. Веселись, моя ненаглядная, чтобъ и мнѣ было весело; будь счастлива, чтобъ и я, глядя на тебя, былъ счастливъ!»... Почему знать, можетъ быть, злодѣи отыщутъ меня?... Они не пощадили и родственниковъ царя, такъ что же для нихъ убить беззащитнаго бобыля, безъ рода и племени. Почему знать, можетъ быть, завтра или черезъ нѣсколько дней меня не станутъ и некому будетъ поплакать о горькой долѣ бѣднаго сироты, и развѣ только добрый Колобовъ, да и то тайкомъ, отслужитъ панихиду за упокой души раба Божія Дмитрія!

Никогда еще Левшинъ не чувствовалъ такъ сильно эту непреодолимую тоску одиночества. Нѣтъ! никакія двужескія связи, никакая пріязнь не могутъ замѣнить для души нашей ласки отца и матери, привѣтъ родныхъ сестеръ и братьевъ, и эту святую, неизмѣнную любовь доброй жены, которая — я увѣренъ въ этомъ — и умирая, не покидаетъ своего мужа: она измѣняетъ только свое названіе, и вмѣсто жены становится его ангеломъ-хранителемъ! — Мы, дѣти девятнадцатаго столѣтія, чтобъ разсвѣять грустныя мысли, отправляемся въ театръ, скачемъ на гулянье, ѣдемъ на балъ, — а тоска за нами слѣдомъ: отъ нея никуда не укачешь! У нашихъ предковъ было средство повѣрнѣе этого. Когда ихъ мучила грусть, томило уныніе, — они молились Богу, и горькій плачъ скорби превращался въ тихія слезы

умиленія; а эти слезы... о, вѣрьте мнѣ! какъ роса небесная для цвѣтка, попаленнаго зноемъ, такъ эти слезы для души, истомленной земною горестью! — Левшинъ прибѣгнувъ къ этому средству—и, когда усердная молитва облегчила его душу, онъ прилегъ на жесткій войлокъ, положилъ подъ голову свое платье и, какъ на мягкомъ пуховикѣ роскошнаго богача, заснулъ самымъ тихимъ и спокойнымъ сномъ.

### III.

Левшинъ проснулся рано поутру, и едва успѣлъ одѣться и помолиться Богу, какъ вошла къ нему Архипьевна, неся на деревянномъ блюдѣ завтракъ.

— Ну, вотъ, батюшка,—сказала она,—изволь покушать моей стряпни.—Я принесла къ тебѣ съ позаранкомъ затѣмъ, чтобъ ты позавтракалъ, прежде чѣмъ твоя сосѣдка придетъ въ свѣтлицу. Что, молодецъ, проголодался!... Чай, у тебя сна вовсе не было?

— Нѣтъ, бабушка, я спалъ хорошо.

— Ну, даво! А я, грѣшница, коли не поужинаю доволь, такъ во всю ночь глазъ не сведу... Поболтала бы я съ тобой, да некогда: пора на рынокъ идти... Охъ, сердечный! скучно тебѣ будетъ, не съ кѣмъ словечка перемолвить; а еслибъ и было съ кѣмъ, такъ придетъ твоя сосѣдка и ты, хочешь или не хочешь, а молчи... да ужь помолчи же, батюшка! Не введи меня, старуху, въ слово.

— И ты думаешь, Архипьевна, сосѣдка не догадается, что подлѣ нея живутъ? Нельзя же мнѣ цѣлый день не пошевелиться.

— Да это, батюшка, ничего! Пустила, дескать, денька на три хвораго старичка. А какъ начнешь говорить, такъ не повѣрятъ: голосъ то у тебя не стариковскій. Ну, изволь же, батюшка, покушать на здоровье моего курника!... Да вотъ тебѣ въ этомъ кулечкѣ калачикъ, крупичатый хлѣбъ, штофикъ съ медомъ, а въ сѣняхъ я поставила кувшинъ съ водою... Прощай покамѣстъ, молодецъ!... Пораньше то на рынокъ изъ первыхъ рукъ купишь,—продолжала Архипьевна, уходя:—а только опоздай немного, такъ эти окаянные прасолы все захватятъ. Вѣдь теперь на перекупщиковъ,—промовила она, остановясь въ дверяхъ,—никакой управы не найдешь. Не прогнѣвайся, они почитай всѣ

стрѣльцы... Охъ! батюшка, жутко намъ отъ нихъ приходитъ: все забирають въ свои руки!

Не смотря на приглашеніе гостепріимной хозяйки, Левшинъ не дотронулся до завтрака; ему было вовсе не до того: онъ чувствовать, что съ нимъ происходитъ что-то небывалое; онъ не могъ присѣсть на одномъ мѣстѣ; кровь приливала безпрестанно къ сердцу, которое поминутно замирало отъ какого-то тревожнаго ожиданія. Вчера еще онъ вовсе не думалъ о своей сосѣдкѣ, а теперь, Богъ вѣсть почему, она не выходила у него изъ головы. Сначала онъ самъ не понималъ, отчего желаетъ съ такимъ нетерпѣніемъ увидѣть вовсе незнакомую ему дѣвицу, быть можетъ, весьма непригожую собою; но подъ конецъ, какое-то темное и въ то же время непреодолимое предчувствіе овладѣло совершенно его душею. Оно какъ будто бы говорило ему: «вотъ здѣсь, за этой перегородкою, живетъ та неизмѣнная подруга, неразлучная спутница въ жизни, которая предназначена тебѣ отъ Господа». Нетерпѣніе его умножалось съ каждой минутою. Вотъ прошелъ часъ, другой... — Полно, придетъ ли она сегодня? — думалъ Левшинъ, ходя взадъ и впередъ по своей тѣсной горенкѣ. — Ужъ солнце высоко!... Чай, скоро благовѣсть начнется... Чу!... Вотъ и загудѣлъ успенскій колоколъ!... Пора бы, кажется... Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ досчатой стѣнѣ и смотрѣлъ въ щелку, хотя всякій разъ видѣлъ одно и то же: чистую свѣтлицу, побольше той, которую онъ занималъ, лежанку изъ бѣлыхъ изразцевъ, скамью, столъ, а на столѣ большія пяльцы. Но вотъ, наконецъ, послышался шорохъ... Левшинъ прижался къ перегородкѣ и притаилъ дыханіе. Двери въ свѣтлицу отворились, вошла женщина средняго роста; но прежде, чѣмъ Левшинъ успѣлъ взглянуть на ея лицо, она обернулась спиною къ перегородкѣ, чтобъ, по тогдашнему благостивому обычаю, помолиться предъ иконами. Какъ ни коротка была эта молитва, но Левшинъ успѣлъ полюбоваться прекраснымъ станомъ своей сосѣдки. Она была въ шелковомъ сарафанѣ, съ непокрытой головою, которую опоясывала одна только алая ленточка; ея заплетенные въ широкую косу волосы, черные и блестящіе, какъ вороново крыло, опускались почти до самой земли; на ногахъ ея были красные черевички, которые показались Левшину похожими на башмачки осьмилѣтняго ребенка. Когда сосѣдка его, помолясь передъ иконами, оборотилась къ нему ли-

цомъ, онъ едва могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія... Нѣтъ! никогда и въ самыхъ пылкихъ мечтахъ своихъ не создавалъ онъ существа прелестнѣе этой красы дѣвицы, которая теперь представилась ему на яву! Вы можете быть, знаете изъ старинныхъ пѣсенъ, что тогдашній идеаль женской красоты немного имѣлъ въ себѣ романтическаго. Бѣлизна, дородность и яркій румянецъ въ щекахъ составляли главное достоинство русской красавицы. Отчего же Левшинъ смотрѣлъ съ такимъ упоеніемъ на эту дѣвицу съ гибкимъ станомъ и почти бѣдными щеками?—Ужъ не потому ли, что истинная, совершенная красота, не смотря на условныя и весьма различныя понятія о красотѣ, просто и безъ всякаго отчета плѣняетъ насъ своей неизъяснимой прелестью?... Вѣроятно, Левшинъ не думалъ ничего подобнаго, всѣ чувства его слились въ одно зрѣніе. Онъ не рассуждалъ, а смотрѣлъ только съ восторгомъ на эти черные, задумчивые глаза, въ которыхъ выражалось какое-то спокойное уныніе и тихая кротость младенца, на эти алыя уста, на это бѣлое, какъ снѣгъ, дѣвственное чело, на эти обворожительныя ямочки на щекахъ и мелкіе, ровные зубы, которые блеснули, какъ чистый жемчугъ, когда красавица, взглянувъ на свою работу, улыбнулась и молвила довольно громко: «Ну, батюшка будетъ доволенъ! У него еще не было такого наряднаго ручника». Эти слова были сказаны такимъ звучнымъ и очаровательнымъ голосомъ, что въ наше время какой-нибудь меломанъ назвалъ бы его непременно *музыкальнымъ*. Дѣвица, полюбовавшись нѣсколько времени своей работою, сѣла за пальцы. Съ полъ-часа Левшинъ не отходилъ отъ перегородки; онъ не спускалъ глазъ съ своей красавицы, слѣдилъ за каждымъ ея движеніемъ, и когда она встала, чтобъ достать шелкъ, который лежалъ на полкѣ, то сердце въ немъ замерло отъ испуга. Онъ подумалъ, что его сосѣдка хочетъ уйти. Прошло еще нѣсколько минутъ, красавица перестала работать, облокотилась на столъ и задумалась. Повидимому, эти размышленія были не очень пріятны, потому что ея свѣтлыя очи затуманились и наполнились слезами. — Да что это онъ мнѣ все мерещится, — шепнула она, — и во снѣ и на яву!... Ахъ зачѣмъ я его видѣла!... Прежде мнѣ было только скучно, а теперь!... — Тутъ снова послышался шорохъ.

— Это ты, Дарья — спросила дѣвица тихимъ и привѣтливымъ голосомъ.



— Я, матушка, — отвѣчала, входя въ свѣтлицу, толстая, здоровая дѣвка въ крашенинной душегрѣйкѣ, затрапезной юбкѣ и кожаныхъ чеботкахъ, надѣтыхъ на босую ногу.

— Батюшка дома?

— Нѣтъ, ушелъ вмѣстѣ съ Антономъ... Не съ кѣмъ словечка перемолвить!... Я было толкнулась къ хозяйкѣ, и та на рынокъ ушла... вотъ я, Софья Андреевна, къ тебѣ; все-таки вдвоемъ повеселѣе... Да что это?... Никакъ ты плачешь?...

— Нѣтъ, Дарья, такъ...

— Какъ такъ!.. Смотри-ка, смотри! слезы такъ и льются!...

— Скучно, Дашенька, грустно!

— И, матушка! о чемъ тебѣ грустить?—сказала Дарья, садясь на скамью. — Ужъ тебя ли батюшка не лелѣетъ!... Чего у тебя нѣтъ?... И платья шелковыя, и дорогія монисты, и жемчужныя ожерелья...

— Жемчужныя ожерелья!... А на что онѣ мнѣ?...

— Какъ на что?... Открой скрынку, да и любишься!... Нѣтъ, Софья Андреевна, не гнѣви Господа!... Коли твое житье не житье, такъ что же наше?... Вотъ ты захотѣла Москву посмотрѣть, — батюшка тебя и въ Москву привезъ...

— Въ Москву!... Такъ, по твоему, этотъ постоянный дворъ Москва?

— А какъ же!... Развѣ ты изъ своей свѣтлицы Ивана Великаго не видишь?

— Москва!... — повторила въ полъ-голоса дѣвица. — Да неужели въ самомъ дѣлѣ я вижу Москву въ первый разъ?

— Вѣстимо въ первый, матушка.

— Такъ отчего же мнѣ кажется... Кремль, соборы, Иванъ Великій... да, да! я ужъ ихъ когда-то видѣла... Ахъ, какъ мнѣ тяжело!... вотъ такъ и хочется о чемъ-то вспомнить... да нѣтъ, не могу!.. Знаешь ли, Даша: у меня въ головѣ бываетъ иногда — ну точь въ точь, какъ ночью, когда начинаетъ заниматься заря... станетъ свѣтлѣть... свѣтлѣть... Вотъ, смотришь, сейчасъ и солнышко взойдетъ... вдругъ набѣгутъ тучи, все потускнѣетъ, подернется мглою и опять потемки — опять ничего! Помнишь ли, Даша, когда мы ѣхали Москвою, я вдругъ вскрикнула?

— Помню, матушка!

— А знаешь ли отчего?

— Да оттого, что къ намъ въ повозку заглянули пьяные стрѣльцы.

— О, нѣтъ! я ихъ не видѣла.

— Такъ отчего же?

— А вотъ отчего: мы проѣхали мимо большого дома съ высокимъ теремомъ... какъ я на него взглянула, такъ у меня сердце и забилось!... Вѣдь этотъ домъ... Ну, вотъ, ты опять станешь надо мной смѣяться...

— Нѣтъ, не стану. Ну что этотъ домъ, Софья Андреевна?

— Да, да! этотъ домъ, два крыльца съ большими навѣсами, теремъ съ тремя окнами, бѣлая каменная кладовая съ желѣзной дверью — все это показалось мнѣ знакомымъ, роднымъ... вотъ такъ бы туда и бросилась... Помнишь, какъ я заплакала?... Ты, вѣрно, думала оттого, что меня напугали стрѣльцы?... Нѣтъ, Дашенька, мнѣ жаль было разстаться съ этимъ домомъ.

— И, матушка, ты опять за старое! Вѣдь ужъ сколько разъ тебѣ толковали, что лѣтъ пятнадцать тому назадъ, — тебѣ еще было тогда годка четыре, — ты была при смерти больна, и какъ выздоровѣла, такъ забыла все прежнее, а помнила только то, что видѣла въ бреду.

— Въ бреду!... Ахъ какъ это чудно!... Я и теперь какъ будто бы сквозь сонъ, а помню... Даша! вѣдь у меня сестеръ не было?

— Не было, матушка.

— А мнѣ помнится, ихъ было много... и маленькія и большія... У меня и матушка была...

— Ну, конечно, была; да только ты ее не помнишь. Батюшка твой сказывалъ, что тебѣ и году еще не было, какъ она умерла.

— Ахъ, нѣтъ, Даша!... Я говорю о другой, — ну вотъ что я во снѣ то видѣла... Постой! — продолжала дѣвица приложивъ руку къ головѣ. — Да, да!... у меня и отецъ также былъ, только совсѣмъ не такой, какъ батюшка... и матушка у меня была, и нянюшка... Погоди, погоди!... кажется, я начинаю вспоминать... Мы все ѣдемъ, ѣдемъ!... А тамъ какой то темный лѣсъ... а тамъ... Да, помню... мнѣ что-то сдѣлалось очень страшно... со мною никого нѣтъ, ни матушки, ни нянюшки... А тамъ я какъ будто бы заснула, и долго, долго спала... А что было послѣ — ну, ужъ этого, Дашенька, я никакъ не могу вспомнить!...

— И, Софья Андреевна! охота же тебѣ вспоминать о томъ, что ты видѣла въ бреду! Я тогда у васъ въ дому не жила, а слышала послѣ: у тебя была такая огневица, что ты, почитай, цѣлый мѣсяцъ въ память не приходила, такъ диво ли, что тебѣ и Богъ вѣсть что мерещилось?... И со мной была однажды такая же болѣзнь, и мнѣ также помстилось, что я боярыня, что у меня золота и серебра полные сундуки насыпаны; а какъ пришлось послѣ опять за квашню приниматься, такъ поневолѣ вспомнила, что я работница... Да что объ этомъ говорить! Знаешь ли, Софья Андреевна, зачѣмъ я была теперь у нашей хозяйки? Я хочу отъ нея допытаться, что за молодецъ такихъ она провела вчера черезъ нашъ дворъ; а ужъ нечего сказать—молодцы!... Особливо тотъ, который пониже; что за личьянной дѣтина такой!...

— Ахъ, нѣтъ, Дашенька! тотъ, который выше, гораздо милovidнѣе.

— Э!... такъ и ты ихъ видѣла?

— Да... такъ... мелькомъ... Я на ту пору сидѣла у окна...  
Чему жъ ты, Дарья, смѣешься?

— Тому, матушка, что ты этакъ покраснѣлась... Ну!.. еще! словно маковъ цвѣтъ!.. Э — ихъ, Софья Андреевна!.. молодежка ты, матушка!.. Ну что за бѣда, что ты взглянула на пригожаго дѣтину? Вѣтъ ты не черница какая!

— Знаешь ли что, Дашенька?.. Помнишь, прошлаго года объ святкахъ, ты уговорила меня гадать?

— Помню, матушка! Ты еще сказывала мнѣ, что видѣла во снѣ молодца русоволосаго, съ голубыми глазами... Неужели этотъ высокій дѣтина?..

— Ахъ, Дашенька, ну точь въ точь такой же! И взглядъ такой же улылый, и платье, помнится, на немъ такое же...

— Вотъ что!... Ну, Софья Андреевна, видно онъ твой суженый.

— И, полно, Даша!.. Прохожій!..

— Что, матушка, прохожій, — не узнаешь!.. Вотъ и я также: ѣла на святкахъ пересоль и меня во снѣ напоилъ какой-то вовсе незнакомый дѣтина. Что жъ ты думаешь? Не прошло мѣсяца, какъ я его увидѣла!.. Да ты знаешь его: работникъ твоего батюшки, Архипка рыжій...

— Архипка!.. Да вѣдь онъ женатъ?

— А почему знать, матушка, можетъ быть и овдовѣть.

— Такъ ты думаешь, что этотъ прохожій молодець мой суженый?

— Да видно, что такъ. А жаль, что не другой!... Другой то пригожѣе.

— Ахъ, нѣтъ, Дашенька!

— Да чѣмъ же этотъ высокій показался тебѣ лучше своего товарища?

— Я и сама не знаю; но ужъ только лучше его я въ жизнь свою никого не видала.

Вы можете себѣ представить, каково было Левшину, когда въ эту самую минуту, можетъ быть, блаженнѣйшую во всей его жизни, двери изъ сѣней открылись, и онъ увидѣлъ Колобова, который манилъ его къ себѣ. Левшинъ отскочилъ отъ перегородки, вышелъ потихоньку въ сѣни и затворилъ за собою дверь.

— Ну, что ты, братецъ? — спросилъ онъ почти съ досадою.

— Да что, Дмитрій Афанасьичъ, — отвѣчалъ Колобовъ, улыбаясь, — я вижу: не въ пору гость хуже татарина! — Ну что, хороша ли?

— Кто хороша?

— Вѣстимо кто — твоя сосѣдка.

— А почему я знаю. Она ни разу не приходила въ свѣтлицу.

— Такъ чего жъ ты смотрѣлъ въ щелку то?

— Такъ — отъ бездѣлья.

— Хитришь, братъ!... Ну, если твоей сосѣдки нѣтъ, такъ войдемъ къ тебѣ въ свѣтлицу.

— Нѣтъ, нѣтъ! — прервалъ торопливо Левшинъ. — Лучше здѣсь!... Неравно кто-нибудь войдетъ, услышитъ, что мы разговариваемъ...

Колобовъ засмѣялся.

— Эхъ, полно, братецъ! — сказалъ Левшинъ; — говори скорѣй, зачѣмъ ты пришелъ?

— Какъ зачѣмъ?... Повидаться съ тобой, да взглянуть на твою сосѣдку.

— Охота же тебѣ, Колобовъ...

— Ну, ну, не сердись!... Экій ревнивый какой!... Вотъ что, братецъ: я сейчасъ былъ у боярина Кириллы Андреевича Буйносова; онъ ужъ все знаетъ: на тебя донесли князю Хованскому, а тотъ ему пересказалъ. Какъ я сталъ говорить, что ты хочешь перейти въ нашъ полкъ, такъ

бояринъ покачалъ головою и сказалъ: «Поздненько Левшинъ хватился; теперь ужъ рѣчь не о томъ, а какъ бы только голова то на плечахъ осталась. Сегодня, какъ совсѣмъ смеркнется, прійди съ нимъ тайкомъ ко мнѣ, такъ авось мы придумаемъ, какъ горю пособить».—Отъ боярина Буйносова я отправился къ Кресту и, какъ туда попалъ, гляжу—тянется по Троицкой дорогѣ обозецъ, телѣгъ шесть, и двухъ коней ведутъ; на задней телѣгѣ ѣдетъ холопъ, такой дюжій, что страшно взглянуть: рожа широкая, рябая...

— Ну, такъ и есть! — прервалъ Левшинъ; — это Ферапонтъ.

— Я закричалъ: стой, ребята! — Вы не Дмитрія ли Афанасьевича Левшина? — «Его—ста», молвилъ передній подвочникъ. Кто изъ васъ Ферапонтъ? — «Я, ваша милость!» — отвѣчалъ рябой, соскочивъ съ телѣги. Я сказалъ ему, что высланъ навстрѣчу, что имъ теперь на-домъ къ тебѣ ѣхать нельзя, и чтобъ они остановились въ первомъ постояломъ дворѣ и ждали приказа. Оттуда я пошелъ къ тебѣ, — и, знаешь ли что, Левшинъ? какъ я проходилъ черезъ Красную площадь, такъ слышалъ такія непригожія рѣчи, что упаси Господи! Народъ такъ и кипитъ — и все какіе-то разночинцы; а Никита Пустосвятъ стоитъ опять на Лобномъ мѣстѣ и кричитъ: «Пойдемте, православные, въ соборъ изгнать хищнаго волка.... Да возстанетъ истинная церковь, и расточатся всѣ враги ея!...»

— И некому унять этого злодѣя! — вскричалъ Левшинъ.

— Какой унять!... Къ нему весь народъ пристаеть. Крикъ и гамъ такой, что и сказать нельзя! Мнѣ повстрѣчался нашъ пятисотенный Бурмистровъ и съ нимъ человекъ двѣсти стрѣльцовъ: вдутъ въ Кремль охранять царскія палаты. Я и самъ туда же и сейчасъ побѣгу.

— Какъ! — сказалъ Левшинъ; — неужели эта сволочь осмѣлится ворваться въ чертоги царскіе?

— Чего добраго, отъ нихъ все станется.

— Такъ и я съ тобою! — вскричалъ Левшинъ.

Онъ вбѣжалъ въ свѣтлицу и схватилъ свою саблю. Увлеченный первымъ порывомъ этотъ пылкій и благородный юноша забылъ, что его могутъ и видѣть и слышать изъ сосѣдняго покоя.

— Что ты, Левшинъ, что ты? — сказалъ Колобовъ, идя вслѣдъ за нимъ въ свѣтлицу: — да о своемъ ли ты умѣ? Ты

хочешь идти въ Кремль... Да развѣ ты не знаешь, что твои злодѣи ищутъ тебя по всему городу?... И добро бы еще въ другое время, а то теперь, когда эти окаянныя крестоизмѣнники опять завозились!... Да ты и до Кремля не дойдешь. Лишь только выйдешь на площадь, такъ тебя тотчасъ же и уходятъ.

— Воля Божія, Артемій Никифорицъ, — чему быть, тому не миновать.

— Да сдѣлай милость—останься!...

— Останься!... Эхъ, братъ, не тебѣ бы говорить, не мнѣ-бы слушать!... Чтобъ я въ то время, какъ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ будетъ окруженъ измѣнниками и предателями, сидѣлъ, какъ баба, взаперти?.. Нѣтъ Колобовъ! не тому училъ меня покойный батюшка. «Коли пришлось умирать за вѣру православную и за царя», — говаривалъ онъ, — «такъ не торгуйся: ложись, да и умирай! Тамъ будетъ хорошо».

— И, братецъ! Да что значить одинъ лишній человекъ?...

— Что значить! А почему ты знаешь, можетъ быть, мнѣ то Господь и судилъ заслонить моею грудью того, кому я цѣловалъ крестъ и святое евангеліе?

— Эй, Левшинъ—подумай!... Вѣдь ты идешь на вѣрную смерть.

— Наша жизнь, Колобовъ, въ рукахъ Божіей. Коли мнѣ не суждено погибнуть отъ моихъ злодѣевъ, такъ я останусь живъ; а если суждено, такъ не честнѣе ли мнѣ умереть съ оружіемъ въ рукахъ у порога царскаго, чѣмъ здѣсь или въ другомъ какомъ захолустѣ?

Въ эту минуту слышался какой то глухой и невнятный шумъ, похожій на отдаленный громъ, котораго раскаты слились въ одинъ грозный и протяжный гулъ.

— Чу!...—сказалъ Левшинъ,—слышишь ли, братецъ?

— Да, Дмитрій Афанасьичъ, и здѣсь слышно; какъ воютъ на площади эти голодные волки. Видно опять крови захотѣлось!...

— Идемъ!...

— Нѣтъ, воля твоя, я тебя ни за что не пущу; лучше самъ не пойду.

— Такъ оставайся же одинъ!—вскричалъ Левшинъ.

Онъ оттолкнулъ своего пріятеля, опрометью бросился вонъ и въ три прыжка очутился внизу лѣстницы. Въ то

самое время, какъ онъ выбѣжалъ изъ свѣтлицы, за перегородкою раздался горестный вопль и кто-то прошепталъ: «Боже мой. Боже мой! онъ идетъ на смерть!...»—«Эхъ жаль молодца!»—проговорилъ другой голосъ и все затихло. Когда Левшинъ вышелъ на дворъ и обернулся, чтобъ посмотрѣть, идетъ ли за нимъ Колобовъ, то невольно взглянулъ на свѣтлицу своей сосѣдки— и что жъ онъ увидѣлъ? Она стояла у открытаго окна. Ея взоръ, исполненный любви и страха, былъ устремленъ на него... О, это уже не случай! Она была у окна для того, чтобы онъ ее видѣлъ... Эти глаза, наполненные слезами, этотъ умоляющій взглядъ, эти сложенные руки!.. Казалось, она хотѣла ему сказать: «о не ходи, не ходи! останься здѣсь! живи для той, которая тебя любитъ!» Но вдругъ окно затворилось и подлѣ Левшина раздался голосъ Колобова.

— Ну, что ты, братецъ, остановился? Ужъ не передумалъ ли?... Эй, Дмитрій Афанасьичъ, послушай меня!

Левшинъ стоялъ блѣдный, какъ смерть; онъ едва могъ дышать, онъ чувствовалъ, что кровь застывала въ сердцѣ... О! кто можетъ разгадать, что происходило въ эту минуту въ душѣ влюбленнаго юноши?... Святой долгъ—и первая любовь; тамъ, въ Кремль, почти вѣрная смерть,— а здѣсь, быть можетъ, цѣлый вѣкъ блаженства, подлѣ той, которую избрало его сердце!... Да! эта душевная борьба была ужасна; но она не долго продолжалась; полумертвое лицо Левшина оживилось снова, взоры вспыхнули и онъ, схвативъ за руку своего пріятеля, сказалъ твердымъ голосомъ:

— Въ Кремль, мой другъ!... въ Кремль! А тамъ что Богъ дастъ? Его святая воля!

— Куда вы это, молодцы?—спросила Архипьевна, которая стояла у воротъ постоялаго двора.

— Теперь на площадь, бабушка,—отвѣчалъ Колобовъ.

— Да на площади никого нѣтъ: всѣ въ Кремль.

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?... Я вамъ говорила, что будетъ сборъ. Грановитая то палата биткомъ набита; всѣ наши тамъ.

— Слышишь, братъ?—вскричалъ Левшинъ:— а мы еще здѣсь. Скорѣй, скорѣй!

— Что за диво!—прошептала Архипьевна. — Вчера этотъ молодецъ отъ правежа прятался, а теперь въ Кремль идетъ!... Ахъ, батюшки! бѣгомъ пустились!... Ужъ не

хотят ли и они постоять за истинную вѣру?... Давай Господи!

IV.

Левшинъ и Колобовъ, добѣжали въ нѣсколько минутъ до Красной площади; на ней народъ не толпился по обыкновенію, но за то у Спасскихъ воротъ была такая давка, что они должны были по неволѣ остановиться.

— Что, молодцы, — сказалъ какой-то нищій, который сидѣлъ у самыхъ воротъ, пріютаю къ стѣнѣ, — знать ходу нѣтъ?... Эва какъ народъ то сперся въ воротахъ—ни туда, ни сюда!

— А! это ты, Гриша?—сказалъ Левшинъ.

— Я, братъ.

— Бѣдненькій! чай, тебя вчера больно стрѣльцы то прибили?

— Да, братъ, потрепали, дай Богъ имъ здоровья!... Да что вы напираете—не пройдете, молодцы. Дайте народу схлынуть. Вишь Никита какъ всѣхъ перебулгатилъ: ужъ за нимъ людей то шло—видимо не видимо!... Эхъ Никитушка, Никитушка! — продолжалъ нищій, покачивая головою, — слѣпой вождь слѣпыхъ!... Жаль мнѣ тебя, голубчикъ! Много за тобой пришло сюда друзей и пріятелей, а много ли ихъ будетъ съ тобой, какъ выведутъ тебя на площадь?...

— Что ты это, Гриша, говоришь?—спросилъ Колобовъ.

— Такъ, братъ, про себя!—сказалъ нищій и запѣлъ въ поль-голоса: Со святыми упокой!... Ахъ, что-то не поется, — промолвилъ онъ, остановясь, и горько заплакалъ.

— Ахъ, батюшка Дмитрій Афанасьевичъ!—сказалъ какой-то приземистый и плечистый дѣтина, лѣтъ тридцати пяти, подойдя къ нашимъ пріятелямъ, которые, какъ и старались, а не могли подвинуться ни шагу впередъ.

— Это ты, Ферапонтъ? — вскричалъ Левшинъ. — Зачѣмъ ты здѣсь?

— Виновать, батюшка, не утерпѣлъ! Хотѣлось поклониться московскимъ угодникамъ.

— Эхъ, братъ! — прервалъ Колобовъ, — напрасно ты ушелъ съ постоялаго двора...

— Да тамъ, батюшка, остались конюхъ Вавила и двое подводчиковъ: ничего не пропадетъ.



— Успѣлъ бы и послѣ побывать въ соборахъ, то ли теперь время.

— А что, сударь?

— Развѣ не видишь?

— Вижу батюшка: народъ такъ и валить въ Кремль... Видно, ходъ?

— Какой ходъ!

— Что жъ это, Колобовъ!—вскричалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.—Долго ли намъ здѣсь стоять? Пойдемъ лучше къ Никольскимъ воротамъ

— А вамъ, батюшка, пройти что ль?—спросилъ Феропонтъ.— Такъ прикажите; я какъ разъ дорожку прочищу.

— Вишь какой Ерусланъ Лазаревичъ!—сказалъ Колобовъ.—Нѣтъ, братъ, тутъ на силу не возьмешь.

— А вотъ посмотримъ!—прошепталъ Феропонтъ.— Онъ уперся могучимъ плечомъ въ толпу, понатужился, двинулъ — и вся эта плотная масса народа заколебалась.

— Тише, тише!—раздались голоса впереди.

— Батюшки, давятъ!—закричали подъ воротами.—Смерть моя!... раздавили!.. Куда ты, разбойникъ этакій!... Тише, тише!...—Но Феропонтъ, не обращая вниманія на всѣ эти вопли и ругательства, продолжалъ медленно подвигаться впередъ, а за нимъ Левшинъ и Колобовъ.

— Уфъ, жарко! — сказалъ онъ, отдуваясь, когда они выбрались наконецъ за ворота.—Ну, тѣсно! Еще бы этакъ саженой десятка три-четыре, такъ и я бы изъ силъ выбился!

— Экій быкъ!—промолвилъ Колобовъ, глядя съ удивленіемъ на Феропонта.—Однакожъ, братъ, ступай и здѣсь передомъ: вишь народу то набралось! А, чай, тамъ, около Грановитой палаты, хоть по головамъ ходи.

И подлинно, вся нынѣшняя Дворцовая площадь запружена была народомъ. Несмотря на охранную стражу, состоящую изъ стрѣльцовъ Сухарева полка, толпы всякаго рода и званія людей ежеминутно прорывались къ Красному крыльцу, которое было все усыпано народомъ. Феропонтъ принялся снова работать плечьями, валилъ народъ направо и налево, и лишь только потряхивалъ курчавую голову, когда какой-нибудь невѣжливый кулакъ задѣвалъ его по затылку. Вотъ наконецъ наши пріятель протѣснились до Краснаго крыльца и, оставивъ Феропонта внизу,

начали взбираться по лѣстницѣ. Мимоходомъ они замѣтили, что большая часть людей, захватившихъ всѣ входы въ Грановитую палату, состояла изъ раскольниковъ: у каждаго за поясомъ четки, у иныхъ въ рукахъ книги и почти у всѣхъ за пазухою камня. Всѣ эти раскольники были въ какомъ-то изступленіи, и у нѣкоторыхъ лица выражали такое нечеловѣческое звѣрство и остервенѣніе, что страшно было на нихъ взглянуть.

Въ сѣняхъ передъ Грановитой палатою столпилось человѣкъ двѣсти этихъ бѣшеныхъ изувѣровъ — пройти было невозможно.

— Посторонитесь ребята! — сказалъ Левшинъ. — Мы идемъ въ Грановитую палату.

— Постоите и въ сѣняхъ! — промолвилъ одинъ высокій старикъ въ длинномъ балахонѣ.

— Говорятъ вамъ, посторонитесь! — повторилъ вспльчиво Левшинъ.

— А тебѣ говорятъ, стой тамъ, гдѣ стоишь!... Вишь, какой выскочка!... Да не пыли, не пыли, молодецъ, надорвешься!

Колобовъ толкнулъ локтемъ Левшина и, оборотясь къ старику, сказалъ вполголоса: — Экій ты, братецъ, какой!... Да тамъ въ палатѣ, чай, православныхъ меньше, чѣмъ никоновцевъ, такъ что жъ вы своихъ то не пускаете? Вѣдь этакъ мы не одолѣемъ.

— А вы развѣ наши?

— Ваши, ваши! — шепнулъ Колобовъ.

— Посторонитесь, правовѣрные! — закричалъ старикъ.

Толпа разступилась. У дверей Грановитой палаты стоялъ довольно сильный отрядъ изъ стрѣльцовъ и дѣтей боярскихъ; разумѣется, Колобовъ и Левшинъ, какъ стрѣleckіе начальныя люди, были пропущены. Они вошли въ палату, и вотъ что представилось ихъ взорамъ: на царскомъ мѣстѣ сидѣли цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи; рядомъ съ ними, по лѣвую сторону, сидѣла на великолѣпныхъ креслахъ *соправительница*, царевна Софья Алексѣевна; подлѣ нея вдовствующая царица Наталья Кирилловна, великія княжны Татьяна Михайловна и Марья Алексѣевна. Потомъ на скамьяхъ, которыя тянулись вдоль стѣнъ всей палаты, размѣщены были по старшинству думные бояре, окольничьи и прочіе первые государственные и придворные сановники. По правую сторону царскаго мѣста сидѣлъ свя-

тѣйшій патриархъ Іоакимъ, одиннадцать митрополитовъ, четыре архіепископа, два епископа\*) и всѣ московскіе архимандриты. Съ обѣихъ сторонъ царскаго мѣста стояли рынды, младшіе придворные чины и человекъ пятьдесятъ вооруженныхъ жальцовъ, одѣтыхъ въ шелковые разноцвѣтные *терлики*. Вся средина палаты была занята толпою раскольниковъ: тутъ были люди всѣхъ званій, и въ томъ числѣ многіе, принадлежащіе, повидимому, къ духовному сословію. Это были бѣглеы чернецы, выгнанные изъ монастырей послушники и разстриги изъ бѣлаго духовенства; одни изъ нихъ держали въ рукахъ иконы, другіе огромныя зажженные свѣчи. Впереди этой буйной сволочи стоялъ передъ налоемъ разстрига Никита Пустосвятъ. По обѣимъ сторонамъ у входа въ Грановитую палату толпились стрѣльцы разныхъ полковъ съ своими начальниками. Колобовъ присоединился къ отряду Сухарева полка; Левшинъ стальподлѣ него. Когда они вошли въ палату, дьякъ Борисъ Протасовъ читалъ, по приказу царей, челобитную Никиты, въ которой этотъ мятежный разстрига, называя себя и своихъ единомышленниковъ православными, а все духовенство, начиная съ патриарха, отступниками отъ истинной вѣры, требовалъ собора для всенароднаго обличенія всѣхъ послѣдователей, по словамъ его, нечестивой Никоніанской ереси. Когда челобитная была прочтена, Никита и нѣкоторые изъ его сообщниковъ, ссылаясь на принесенныя ими древнія рукописи, начали въ самыхъ дерзкихъ и обидныхъ выраженіяхъ обвинять духовенство въ злоумышленномъ искаженіи церковныхъ книгъ. Святѣйшій патриархъ и митрополитъ астраханскій Никифоръ отвѣтствовали имъ, что сдѣланныя при патриархѣ Никонѣ поправки въ церковныхъ книгахъ были необходимы; что нѣкоторые списки, при сличеніи ихъ, оказались несходными межъ собою, и что даже многіе изъ прежнихъ переводовъ греческихъ церковныхъ книгъ не во всемъ были сходны съ своими подлинниками. Но всѣ эти доказательства, основанныя на истинѣ и здоровомъ смыслѣ, остались тщетными. Грубое невѣжество и эта фарисейская гордость, которую мы называемъ фанатизмомъ, ненавидятъ истину. Многоглаголюе, пустословіе, превратное толкованіе текстовъ и насиліе—вотъ ихъ здравый смыслъ и логика. Въмѣсто того,

---

\*) Одинъ изъ нихъ былъ, причтенный нынѣ къ лику святыхъ угодниковъ, преподобный епископъ Митрофаній.

чтобъ слушать съ должнымъ уваженіемъ слова своихъ духовныхъ пастырей или, по крайней мѣрѣ, возражать имъ съ кротостію и приличіемъ, Никита и его сообщники, забывъ, что находятся въ присутствіи самихъ царей, подняли такой неистовый крикъ, что заглушили совершенно рѣчи архипастырей и не давали имъ выговорить ни слова. Я думаю, всякому случалось видѣть людей и пообразованнѣе раскольниковъ, которые полагаютъ, что побѣдили своихъ противниковъ, потому что имъ удалось ихъ *перекричать*, — такъ удивительно ли, что Никита и его товарищи, почитая себя побѣдителями, приступили смѣло къ главной своей цѣли, то есть къ торжественному проповѣдыванію, въ присутствіи царей и всего духовенства, своихъ невѣжественныхъ бредней и богопротивной ереси; но тутъ возсталъ противъ нихъ архіепископъ холмогорскій Афанасій. Онъ нѣкогда раздѣлялъ самъ заблужденія этихъ послѣдователей Аввакумоваго раскола, и слѣдовательно зналъ лучше другихъ, на чемъ они основывали свои превратныя понятія о вѣрѣ. На всѣ ихъ лживыя умствованія онъ возражалъ словами Спасителя, его апостоловъ, святыхъ отцевъ, и самыми ясными, неоспоримыми доказательствами изобличалъ всю нелѣпость ихъ противозаконныхъ толковъ и вѣрованій; но это вовсе не усмирило, а только привело въ большую ярость мятежниковъ. — «Эта, по словамъ лѣтописца, гидра изувѣрія, чѣмъ болѣе была поражаема, тѣмъ страшнѣе становилась». Угрозы заступили мѣсто доказательствъ, и разстрига Никита, видя себя совершенно побѣжденнымъ, въ безумной ярости бросился на архіепископа Афанасія и ударилъ его въ грудь. Это, буйное святотатство было началомъ всеобщаго смятенія. Иступленные крики и неистовые вопли мятежниковъ заглушили все. Раскольники, бывшіе въ сѣняхъ, сломили стражу и ворвались въ палату; тѣ, которые стояли на Красномъ крыльцѣ, обратились къ народу и начали кричать: «Ступайте, правовѣрные, спасайте церковь! на соборѣ насиліе! Никоновцы бьютъ православныхъ!» Въ самой палатѣ раздавались вездѣ мятежные крики: «Очистимъ отъ хищныхъ волковъ церковь!» — вопили раскольники: истребимъ всѣхъ слугъ антихристовыхъ! Въ эту минуту общаго смятенія, царь Іоаннъ Алексѣевичъ, Софья Алексѣевна и весь дворъ, по выраженію того же лѣтописца, въ несказанномъ страхѣ и слезахъ ушли изъ палаты, и на царскомъ мѣстѣ осталось одно десятилѣтнее дитя; но это дитя былъ Петръ.

Окинувъ смѣлымъ взглядомъ мятежную толпу, онъ всталъ, снялъ съ головы своей царскій вѣнецъ и дѣтскимъ, но уже мощнымъ голосомъ сказалъ: «Пока этотъ вѣнецъ на главѣ моей и душа въ тѣлѣ, не поущу воевать святую церковь; и какъ я самъ нарицаю ее матерью и вѣрю, что она есть правая и истинная, такъ и всѣмъ повелѣваю вѣрить! Ну что жъ вы?»—продолжалъ онъ, обращаясь къ стрѣльцамъ, и грозные взоры его засверкали гнѣвомъ,—«берите этихъ крамольниковъ!» Въ одно мгновеніе все измѣнилось. Голосъ царя Русскаго, какъ гласъ Божій, поразилъ мятежниковъ. Стрѣльцы, державшіе сторону раскольниковъ, выдали ихъ руками. Левшинъ первый съ обнаженною саблею кинулся въ толпу, а за нимъ всѣ тѣ изъ стрѣльцовъ, которые не принадлежали къ расколу. Въ нѣсколько минутъ зачинщики были схвачены, и всѣ ихъ сообщники выгнаны изъ палаты.

Во все это время юный государь стоялъ на царскомъ мѣстѣ; его грозный, но спокойный взоръ былъ устремленъ на толпу стрѣльцовъ, которые не принимали участія въ усмирении мятежниковъ; казалось, онъ чувствовалъ, что только одинъ всемогущій взоръ помазанника Божія могъ оковать буйную волю крамольныхъ стрѣльцовъ, готовыхъ стать грудью за своихъ сообщниковъ. Когда въ палатѣ не осталось ни одного раскольника, то державшіе ихъ сторону стрѣльцы стали также выходить понемногу. Эта вовсе неожиданная развязка, разрушивъ всѣ замыслы дерзкихъ бунтовщиковъ, превратила ихъ въ толпу робкихъ преступниковъ, которые помышляютъ только о томъ, чтобъ избѣгнуть заслуженнаго наказанія. Одни изъ нихъ пробрались потихоньку на Лыковъ дворъ — этотъ главный притонъ мятежныхъ стрѣльцовъ, а другіе присоединились даже къ тѣмъ, которые гнали изъ Кремля раскольниковъ. Вскорѣ не осталось во всей Грановитой палатѣ никого, кромѣ государя Петра Алексѣевича, нѣсколькихъ ближнихъ его бояръ и всего духовенства. Тогда началось умиленное зрѣлище, о которомъ повѣствуютъ лѣтописцы. Престарѣлый патріархъ Іоакимъ, а вмѣстѣ съ нимъ и весь священный синклитъ, спасенный единымъ словомъ державнаго отрока, пали къ стопамъ его. Владыка православной церкви русской, святители московскіе, всѣ пастыри духовные—старцы, посѣдѣвшіе въ подвигахъ вѣры, трудахъ и молитвѣ—у ногъ десятилѣтняго ребенка!... Но этотъ ребенокъ былъ уже великій

мужъ духомъ, мудростію и силою своей непреклонной воли.

Когда Дворцовая площадь и окружныя мѣста быи совершенно очищены отъ мятежниковъ и вся эта сволочь, всегда дерзкая при успѣхѣ и трусливая при малѣйшемъ сопротивленіи, разсыпалась во всѣ стороны,—Левшинъ, который во время этой суматохи разлучился съ Колобовымъ, встрѣтился съ нимъ опять у подворья Крутицкаго монастыря \*).

— Это ты, Левшинъ?—вскричалъ Колобовъ. Ну, слава тебѣ Господи! А я ужъ было совсѣмъ отчаялся, думалъ, что ты попалъ въ руки къ твоимъ злодѣямъ.

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ.

— Погоди-ка, братъ!—сказалъ Колобовъ.—Онъ поглядѣлъ кругомъ; казалось, все было спокойно; изрѣдка прокрадывался около стѣнки какой-нибудь горожанинъ, робко озираясь кругомъ; кой-гдѣ мелькали черныя рясы духовенства, которое помаленьку пробиралось изъ Грановитой палаты въ Чудовъ монастырь, и только вдали, у Спасскихъ воротъ, слышны были крики стрѣльцовъ, которые продолжали гнать изъ Кремля остальной народъ.

— Смотри-ка,—сказалъ Колобовъ,—давно ли здѣсь негдѣ было и яблоку упасть, а теперь хотя шаромъ покати!... Зато, чай, на Красной площади народъ такъ и кипитъ!... Дѣлать то нечего, братъ: придется тебѣ пообождать.

— Да,—отвѣчалъ Левшинъ,—теперь врядъ ли я доберусь благополучно до Мещевского подворья.

— Тише, тише, братецъ!... что ты кричишь!—прервалъ Колобовъ озираясь.—Ну, если кто-нибудь подслушаетъ...

— Да вѣдь мы здѣсь одни.

— Нѣтъ, братъ, не одни!... Кажись, тамъ за угломъ кто-то кашлянулъ...

— Я ничего не слышалъ.

— А вотъ посмотримъ.

Колобовъ обошелъ кругомъ подворья.

— Ну, что?—спросилъ Левшинъ.

— Теперъ никого нѣтъ. Только вотъ что, Дмитрій Афанасьевичъ: какъ я зашелъ за тотъ уголь, такъ мнѣ пока-

---

\*) Это подворье стояло нѣкогда на нынѣшней Разводной площади, рядомъ съ церковью Никола Густонскаго, въ близкомъ разстояніи отъ дома боярина Шереметева.

залось, что кто-то юркнулъ на дворъ къ боярину Шереметеву.

— Кто-нибудь изъ его холопей.

— Статься можетъ, а все-таки лучше, коли ты будешь поопасливѣе... Чу! слышишь, какъ шумять на площади?

— Слышу, братецъ.

— Да вотъ скоро рабредутся. Время обѣденное—пора и за кашу приниматься. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, хорошу было кашу заварилъ этотъ Никита, какъ то ему придется ее расхлебывать!... Вѣришь ли, братецъ, очнуться не могу! Какъ это намъ помочь Господь?... Вѣдь въ палатѣ, кромѣ нашихъ Сухаревскихъ, почитай всѣ стрѣльцы были за раскольниковъ; съ тѣмъ и пришли, чтобъ за нихъ стоять.

— Да, Колобовъ, кабы не батюшка Петръ Алексѣевичъ...

— Да, да!... Исполать ему! Какъ онъ всталъ на своемъ царскомъ мѣстѣ, такъ, вѣришь ли Богу, показался мнѣ выше тебя!... Подумаешь: всего десять годковъ—что жъ будетъ, какъ онъ подрастетъ?... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, вотъ это царь такъ царь!

— И всѣ его покинули!—сказалъ Левшинъ;—оставили одного посреди мятежниковъ!...

— Въ томъ то и дѣло братецъ!... Охъ, матушка Софья Алексѣевна! хитра ты, а все не будетъ по твоему; кого Господь Богъ хранить, тому люди ничего не сдѣлаютъ. Вотъ хоть ты, Левшинъ: видѣлъ ли, какъ въ палатѣ смотрѣлъ на тебя полковникъ Чермновъ? Вотъ такъ бы и проглотилъ живого! И негодяй Чечотка и Оедька Лутохинъ глазъ съ тебя не спускали,—а что они тебѣ сдѣлали?

— Не до того было, братецъ.

— И ничего не сдѣлаютъ! Ты, Левшинъ, видѣлъ ли въ палатѣ боярина Кириллу Андреевича Буйносова?

— Нѣтъ, не видѣлъ.

— А онъ тебя видѣлъ, долго шептался съ нашимъ воеводою, княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ и они оба на тебя смотрѣли.

— Такъ ты думаешь, князь Хованскій за меня заступится?

— А какъ же?... Онъ для Кириллы Андреевича все на свѣтѣ сдѣлаетъ; только теперь то не попадись въ руки къ твоимъ злодѣямъ, а ужъ тамъ дѣло какъ-нибудь уладить.

— Постой-ка,—сказалъ Левшинъ,—кажется и на площади все утихло. Не пора ли намъ идти?

— Ну, пожалуй! Пойдемъ къ Спасскимъ воротамъ, а тамъ посмотримъ.

Левшинъ и Колобовъ дошли до Вознесенскаго монастыря, не встрѣтивъ почти никого; но когда они вышли за Спассія ворота, то увидѣли, что на Красной площади много еще было стрѣльцовъ и народъ толпился около Лобнаго мѣста.

— Погоди, братъ!—сказалъ Колобовъ.—Вотъ, кажется, идутъ сюда стрѣльцы моей сотни... Ну, такъ и есть! Ивашка Троцкій... вонъ Ларька Недосѣкинъ... Знаешь ли что? Я вмѣстѣ съ ними провожу тебя до Зарядья; мы пойдемъ кучкою, ты въ серединѣ: тамъ никто тебя не увидитъ.

— Ну что вы, молодцы, нейдете? Теперь вѣдь проторно,—раздался позади ихъ знакомый голосъ Гриши. Онъ сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ, прислонясь къ стѣнѣ.—Вотъ, подумаешь,—продолжалъ нищій,—шли въ Кремль какъ на праздникъ, чинно, шажкомъ, съ иконами, а изъ Кремля то... у!... батюшки!... словно дождь—всѣ въ разсыпную! кто куда попалъ: кто домой, кто въ лавки, кто въ разбойный приказъ...

— Въ разбойный приказъ?—спросилъ Левшинъ.

— А какъ же? Вѣдь Никиту не домой отвели... Эхъ, буйная, буйная головушка! Не долго тебѣ головушкѣ на плечахъ оставаться!... Зачѣмъ пошелъ, то и нашель!

— Ты это говоришь,—спросилъ Колобовъ,—о разбойникѣ Никитѣ?

— Разбойникъ?... Дай то Богъ, чтобъ было по твоему, голубчикъ!... Разбойникъ что!... А вотъ худо, какъ онъ въ Гуды попадется—помилуй Господи!...

— Эй, Недосѣкинъ!—закричалъ Колобовъ.—Троцкій!... Ребята!... Подите-ка сюда!

Человѣкъ пятнадцать стрѣльцовъ подошли къ Колобову.

— Вы куда, братцы?—спросилъ Колобовъ.—Въ слободу?

— Въ слободу, батюшка Артемій Никифоровичъ!—отвѣчалъ одинъ изъ стрѣльцовъ.

— Такъ и мы съ вами. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьичъ!

Окруживъ своими стрѣльцами Левшина, Колобовъ повелъ эту небольшую толпу прямо къ Москворѣцкому мосту. Дойдя до воротъ, которыя также назывались Москворѣцкими, онъ остановился и шепнулъ:

— Теперь съ Богомъ, Дмитрій Афанасьичъ!... До дому тебя съ такой ватагой довести нельзя: всѣхъ переполошишь.



Да и къ чему? Видишь, кругомъ все пусто; ты здѣсь мимо заборовъ прокрадешься такъ, что тебя никто не увидитъ. Ступай теперь налѣво по улицѣ, а тамъ какъ повернешь въ третій переулочекъ, ты и дома. Прощай, братъ!... Вечеромъ я у тебя побываю.

Левшинъ, простясь съ Колобовымъ, добрался благополучно до своего переулка; въ немъ было все тихо и спокойно. Увидѣвъ издали Мещовское подворье, онъ остановился посмотреть, можетъ ли пройти въ него такъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. При взглядѣ на это подворье мысль о прекрасной незнакомнѣ снова овладѣла его душею. Кто не знаетъ, что любовь безъ надежды—не радость; но послѣ того, что Левшинъ видѣлъ, уходя съ подворья, ему нельзя было не надѣяться; онъ не могъ чувствовать тогда вполне своего счастья; онъ шелъ на встрѣчу къ своимъ злодѣямъ, его ожидала почти вѣрная смерть или, по-крайней мѣрѣ, заточеніе и ссылка; а теперь!... Господь помиловалъ его; онъ остался живъ и свободенъ; онъ опять ее увидитъ, услышитъ снова ея плѣнительный голосъ... быть можетъ... о, нѣтъ сомнѣнья!... она дозволитъ ему говорить съ нею... Но если отецъ ея?... Да кто жъ онъ такой?... Знатный и богатый человекъ не станетъ жить на этомъ подворьѣ... Такъ неужели онъ не согласится выдать дочь свою за родового человека и богатаго помѣщика?... Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ быть: ей нельзя принадлежать другому—она его суженая!... И вотъ Левшинъ женатъ!... вотъ ѣдетъ на житье въ свое костромское помѣстье... О! какимъ земнымъ раемъ будетъ для него это привольное село на берегу Волги-матушки! этотъ свѣтлый и красивый домъ на высокомъ холму, съ котораго вся Кострома какъ на блюдечкѣ! этотъ заветный лугъ, эта березовая роща, въ которой онъ станетъ гулять съ своимъ милымъ, ненагляднымъ другомъ сперва вдвоемъ, а тамъ—если Богъ благословитъ... Нѣтъ, страшно подумать о такомъ счастьи!... Вѣдь такъ блаженствуютъ только на небесахъ!... Такъ мечталъ Левшинъ, подходя скорыми шагами къ подворью. Когда онъ поровнялся съ избою, въ которой жила Архипьева, она высунулась изъ окна и закричала: «Эй, молодецъ, молодецъ! пода-ка сюда!» Но Левшинъ ничего не слышалъ; онъ вбѣжалъ въ ворота и, не обращая вниманія на то, что происходило вокругъ него, спѣшилъ скорѣе дойти до задняго двора. И до того ли ему было, чтобъ смотрѣть по сторо-

намъ: въ пяти шагахъ отъ него, въ свѣтлицѣ, у раствореннаго окна, на томъ же самомъ мѣстѣ, стояла она. Онъ видѣлъ этотъ взоръ, исполненный счастья и любви, онъ слышалъ это радостное восклицаніе, которое при его появленіи вырвалось невольно изъ прелестныхъ устъ незнакомки... Но вдругъ лицо ея покрылось смертной блѣдностію и въ то же время, позади Левшина, загремѣлъ грубый голосъ: «здравствуй, господинъ костромской помѣщикъ».

Левшинъ обернулся—передъ нимъ стояли стрѣleckіе сотники Лутохинъ и Чечотка, а въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ человѣкъ десять стрѣльцовъ, вооруженныхъ саблями и короткими бердышами.

— Смотри, какой свѣсивый сталъ!—сказалъ Чечотка.— Къ нему гости пришли, а онъ шапки не ломаетъ.

— Что вамъ надобно?—спросилъ Левшинъ.

— Да такъ!—отвѣчалъ Лутохинъ.—Не угодно-ли твоей милости прогуляться съ нами къ полковнику Чермнову.

— Зачѣмъ?

— Видно хочеть съ тобой побесѣдовать. Вишь ты какой невидимка! пріѣхалъ изъ побывки, да къ начальнику и глазъ не кажешь. Пойдемъ-ка, братъ, пойдемъ!

— А если я не пойду?

— Такъ мы тебя поведемъ.

— И какъ еще!—подхватилъ Чечотка.—Съ почетомъ: руки назадъ, да веревку на шею.—Эй, молодцы! вяжите его.

— Меня!—вскричалъ Левшинъ. Онъ отскочилъ назадъ, прислонился къ избѣ спиною и выхватилъ свою саблю.

— Такъ ты еще драться хочешь?—заревѣлъ Чечотка, вынимая также свою саблю.—Ахъ ты измѣнникъ этакій! Братцы,—продолжалъ онъ, обращаясь къ стрѣльцамъ,—намъ приказано отыскать и схватить этого предателя живаго или мертваго. Не дается живой—такъ рубите его!

— Стрѣльцы бросились всей толпою на Левшина; но вдругъ двери избы отворились и раздался повелительный голосъ:—Стойте, ребята!... Что вы дѣлаете?

— Князь Иванъ Андреевичъ,—вскричалъ Чечотка, опустивъ свою саблю.—Всѣ стрѣльцы остановились и сняли почтительно шапки, когда къ нимъ подошелъ человѣкъ средняго роста, пожилыхъ лѣтъ, въ шелковомъ полукафтаньи, сверхъ котораго надѣта была простая однорядка изъ чернаго сукна; въ рукѣ у него была костяная трость въ золо-

той оправѣ, а на головѣ шапка мурmolка съ собольимъ околышемъ. Это былъ главный начальникъ стрѣлецкаго войска и приказа, князь Иванъ Андреевичъ Хованскій.

— Что у васъ адѣсь за драка была? — спросилъ онъ строгимъ голосомъ.

— Не драка, государь милостивый князь, — отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Лутохинъ. — А вотъ мы по приказу нашего полковника хотѣли взять этого бунтовщика...

— Бунтовщика... Какого бунтовщика?

— Да вотъ нашего сотника Левшина.

— Левшина! — вскричалъ Хованскій. — Такъ это ты, голубчикъ?... Ага, сердечный дружокъ, попался!... О! да ты еще, братъ, отбиваться хотѣлъ, — видишь какой бойкій... Возьмите у него саблю!

Левшинъ молча подалъ ее Лутохину.

— Такъ это ты, измѣнникъ? — продолжалъ Хованскій. — Да если правда, что ты дерзнулъ говорить такія непригожія рѣчи и позорить христоролюбивую надворную потѣху...

— Истинно правда, батюшка князь Иванъ Андреевичъ, — сказалъ Лутохинъ. — Пожалуй, онъ теперь отопрется...

— Кто? — сказалъ Левшинъ; — я отопрусь?...

— Молчи, бунтовщикъ! — закричалъ Хованскій. — Я знаю, что ты хочешь сказать. — Мнѣ, дескать, и запираться не въ чемъ, я этого не говорилъ, — да вотъ погоди, какъ попадешь въ застѣнокъ, такъ смолвишь!... Да еще то ли я о тебѣ слышалъ!... Мнѣ Кирилла Алексѣевичъ Буйносовъ все пересказалъ. Ты зачѣмъ вѣдилъ въ Кострому?... Знаемъ мы — все знаемъ!... Вишь что затѣяли, окаянные крамольники!...

— Я никогда не былъ крамольникомъ, — сказалъ Левшинъ. — Я вѣдилъ въ Кострому...

— Молчи, говорятъ тебѣ! — прервалъ гнѣвно Хованскій. — Вѣдумалъ меня учить!... Я знаю лучше тебя, что говорю!

— А коли тебѣ, батюшка князь Иванъ Андреевичъ, — сказалъ Четотка, — доподлинно извѣстно, что онъ измѣнникъ, такъ ужъ съ нимъ бы одинъ конецъ. Прикажи только: мы его сей же часъ при тебѣ казнимъ.

— Казнимъ! — повторилъ Хованскій. — Ахъ ты глупая голова?... Одного казнишь, а десятеро останутся... Ужъ коли этотъ измѣнникъ говорилъ такія рѣчи на площади, такъ неужели вы думаете, что онъ одинъ?... Нѣтъ, ребята,

ихъ цѣлая шайка. Этого молодца надобно будетъ и въ Кострому спосылать для улики; и коли правда то, о чемъ мнѣ донесли, такъ тебѣ, дружокъ, и на плахъ то мѣста не будетъ; а коли неправда, такъ я все-таки ушлю тебя туда, куда и воронъ костей не заносилъ. Лутохинъ! возьми съ собою двухъ молодцовъ, да отведи этого мятежника въ земскій приказъ. Ты мнѣ за него головою отвѣчаешь. А тамъ скажи, что покамѣстъ я за нимъ не пришлю, берегли бы его съ великимъ опасеніемъ. Чего добраго, пожалуй, этотъ сорви-голова самъ на себя руки подыметъ; а намъ улика надобна... Съ Богомъ, ребята! ступайте по домамъ! Благодарствую вамъ за ваше усердіе—и впередъ всѣхъ измѣнниковъ ловите!

— Будемъ, отецъ нашъ, будемъ!—закричали стрѣльцы.

— Ну, батюшка, — сказала Лутохинъ, обращаясь къ Левшину, — не угодно ли вашей милости!.. Ты, Сучковъ, ступай по правой сторонѣ; ты, Мутовкинъ, по лѣвой, а я ужъ пойду сзади. Да смотрите, чтобъ онъ стрелка не далъ: вѣдь молодець-то легокъ на ногу — не догонишь! Пожалуй, батюшка, пожалуй!

Левшинъ, уходя со двора, взглянулъ на свѣтлицу: окно было открыто по прежнему; но гдѣ же его прекрасная незнакомка?.. О, въ эту минуту она была счастливѣе своего суженаго! Она не чувствовала, что, можетъ быть, разтаеетъ съ нимъ навсегда!—Когда толпа бѣшеныхъ стрѣльцовъ, съ поднятыми бердышами, бросилась на Левшина, кровь застыла въ ея жилахъ, сердце перестало биться и она упала безъ чувствъ подлѣ окна своей свѣтлицы.

## V.

Вѣроятно, мои читатели не забыли, что земскій приказъ, куда велѣно было отвести Левшина, находился на Красной площади, недалеко отъ Лобнаго мѣста. Когда Лухотинъ привелъ въ этотъ приказъ своего арестанта, солнце стояло уже высоко, и вся площадь была пуста. Въ старину, и простой народъ, и купцы, и бояре, однимъ словомъ, всѣ, не исключая самого царя, обѣдали всегда въ одинъ и тотъ же часъ, то есть около полуденъ, и непременно отдыхали послѣ обѣда. Въ это время по всему городу распространялась глубокая тишина, и даже бездомные нищѣ не бродили по

опустѣвшимъ улицамъ; но пообѣдавъ, чѣмъ Богъ послалъ, отдыхали, разумеется, лѣтомъ, въ хорошую погоду, на погостахъ, а въ дурную на папертяхъ приходскихъ церквей, которыхъ было тогда въ Москвѣ, конечно, вчетверо болѣе, чѣмъ теперь.

Въ передней комнатѣ земскаго приказа, если только можно назвать комнатою какой-то подвалъ съ низкимъ сводомъ, грязнымъ каменнымъ помостомъ и узенькимъ окномъ, сидѣло на скамьяхъ человекъ десять *объѣзжилъ* земскихъ ярыжекъ и одинъ очередной *огнищанинъ*, то есть полицейскій офицеръ тогдашняго времени.

— Здравствуйте, братцы!—сказалъ Лутохинъ, входя въ этотъ покой.—Князь Иванъ Андреевичъ Хованскій прислалъ къ вамъ гостя.

— Милости просимъ!—отвѣчалъ огнищанинъ вставая.— Эге! да онъ никакъ вашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ?

— Нашъ братъ?.. Нѣтъ, любезный, мы съ измѣнниками не братаемся.

— Съ измѣнниками?.. Вотъ что! Такъ надобно разбудить нашего дневальнаго подьяка. То-то разгнѣвается!.. Онъ только что прилегъ всхрапнуть, — да воля его... измѣнникъ дѣло не шуточное!

Огнищанинъ растворилъ двери въ другой покой и закричалъ: «Вставай, Ануфрій Трифонычъ!»

Вмѣсто отвѣта послышалось что-то похожее на глухой ревъ медвѣдя, котораго потревожили въ берлогѣ; потомъ все опять затихло.

— Слышишь, Ануфрій Трифонычъ? — закричалъ опять огнищанинъ.—Вставай!

— Что тамъ еще? — пробормоталъ охриплый голосъ. — Прахъ бы васъ взялъ! Зачѣмъ?

— Отъ князя Ивана Андреевича... Ступай проворнѣй!

— Иду, иду!

Двери растворились настежь, и изъ сосѣдняго покоя вышелъ, или, вѣрнѣй сказать, выльзъ человекъ непомѣрной толщины, съ круглымъ багровымъ лицомъ, широкимъ расплющеннымъ носомъ и почти голымъ подбородкомъ, на которомъ два клочка короткихъ волосъ замѣняли бороду. На немъ былъ долгополый, запачканный чернилами, кафтанъ съ высокимъ *козыремъ*, то есть стоячимъ воротникомъ; на ногахъ поношенные желтые сапоги; на головѣ шелковая *тафья*; или круглая шапочка, похожая на жидовскую ер-

молку, а за поясомъ висѣла на цѣпочкѣ мѣдная чернилица и футляръ, также мѣдный, для пера.

— Эка служба, подумаешь! — сказалъ онъ, перевалась черезъ порогъ и протирая свои заспаные глаза. — Чай, теперь и каторжные-то спать въ острогѣ, а ты вставай!.. Нелегкая меня понесла!.. Ну, что вамъ надобно?

— Да вотъ сдать тебѣ этого барина. — сказалъ Лутохинъ, указывая на Левшина. — Князь Иванъ Андреевичъ приказалъ держать его подъ крѣпкою стражею, пока онъ за нимъ не придетъ, да присматривать хорошенько, чтобъ онъ тяги не далъ или не подвялъ самъ на себя рукъ.

— Небось, въ кандалахъ не уйдетъ и рукъ на себя не подыметъ: я велю ихъ въ колодку заколотить.

— Ужъ тамъ какъ знаешь!.. Теперь давай мнѣ ярлыкъ, что я тебѣ сдалъ его съ рукъ на руки.

Подьякъ написалъ на клочкѣ бумаги расписку и отдалъ ее Лутохину.

— Прощай, господинъ костромской помѣщикъ! — сказалъ Лутохинъ, — уходя. Счастливо оставаться!.. Какъ выйдешь въ люди, да будешь стольникомъ, такъ не забудь и насъ грѣшныхъ!

Левшинъ поглядѣлъ съ презрѣніемъ на Лутохина и не отвѣчалъ ни слова.

— Эй, вы! — сказалъ подьякъ. — Васька Фуфлыга, Андрюшка Бутузъ, ведите-ка этого молодца ко мнѣ.

Двое земскихъ ярыжекъ ввели Левшина во второй покой. Въ немъ стоялъ большой столъ, покрытый краснымъ сукномъ и заваленный бумагами; кругомъ стола съ полдюжины небольшихъ скамеекъ, вдоль стѣны широкая лавка и въ углу на полкѣ икона въ раззолоченномъ кивотѣ.

— Да ты, молодецъ, — сказалъ подьякъ, — кажись, изъ начальныхъ людей надворной пѣхоты!.. Смотри пожалуй — усь только пробивается!.. Ну, братъ, раненко ты въ чины заѣлся!.. Вотъ то-то и есть! кабы вашу братью молокососовъ держали въ черномъ тѣлѣ, какъ вы бы жили посмирнѣе... Ты что?.. Чай, вздумалъ бунтовать противъ начальниковъ!

Левшинъ молчалъ.

— О, да ты спѣсивъ, голубчикъ, — продолжалъ подьякъ, — и отвѣчать не хочешь!... Да вотъ погоди, какъ сведутъ тебя въ Константино-Еленскую башню, такъ тамъ, братъ, заговоришь! Въ застѣнкѣ то не по нашему допра-

пиваютъ. Ребята, общите его: нѣтъ ли съ нимъ ножа. Вишь, онъ смотритъ какимъ разбойникомъ!

Земскіе ярыжки не нашли ничего у Левшина, кромѣ небольшого кошелька съ серебряною монетою.

— Э! да ты, братъ, съ денежками!—сказаль подьякъ.— Дайте-ка сюда!

Онъ взялъ кошелекъ и высыпаль всѣ деньги на столъ.

— Ого!—шепнулъ онъ, и глаза у него засверкали.— Да тутъ рублей десять будетъ!... Эхъ, любезный! жаль мнѣ тебя,—видитъ Богъ, жаль!... Человѣкъ ты молодой, неприличный... какъ посидишь этакъ сутокъ двое въ колодкѣ, да въ цѣпяхъ, такъ жутко покажется!... Фуфлыга! что въсу то въ нашихъ кандалахъ?

— Да пудика полтора съ походцемъ будетъ,—отвѣчалъ ярыжка.

— Слышишь, молодецъ?... И въ колодку то, какъ руки забьютъ, такъ,—не прогнѣвайся! больно косточки побаливать стануть... Бутузъ! помнишь того купца?...

— Какъ-же,—отвѣчалъ другой ярыжка.— Вотъ ужъ третій мѣсяць, какъ онъ руками не владѣеть.

— Слышишь, молодецъ?... И покоецъ то, куда вашу братью сажаютъ, со всячинкой: лечь коротко, стать низко, присѣсть не на чемъ...

— Для чего ты все это мнѣ говоришь?—спросилъ Левшинъ.

— А вотъ для чего, молодецъ: хочешь ли, я не велю тебя ковать, и ты останешься здѣсь со мною?

— Какъ не хотѣть.

— Только вотъ что, любезный: жаль то мнѣ тебя жаль, да и на свой страхъ братъ не хочется. Я человѣкъ небогатый, семейный: жена, дѣти...

— Ну, ну, хорошо! — прервалъ Левшинъ: — я знаю, чего ты хочешь. Возьми эти деньги себѣ.

— Спасибо, добрый молодецъ, спасибо!... Только не всѣ: надо подѣлиться. Вотъ вамъ полуполтинникъ, ребята!—продолжалъ подьякъ, обращаясь къ ярыжкамъ.— Да вотъ еще два алтынника: купите винца и попотчивайте своихъ товарищей, чтобъ имъ завидно не было. Ну, ступайте, ребята!... А ты, молодецъ, хочешь присѣсть, такъ садись; а коли хочешь отдохнуть, такъ ложись, — вонъ тамъ на лавкѣ. Я и самъ прилягу: глаза такъ и слипаются... Да ты что на окна то посматриваешь?—промолвилъ подьякъ.—

Нѣтъ, голубчикъ! всѣ съ желѣзными рѣшетками; да и безъ нихъ не пролѣзешь—узеньки! А изъ дверей не выпускать. Ложись-ка лучше, братъ, да сосни.

Поддьякъ положилъ себѣ подъ голову связанную кипу бумагъ, протянулся на скамьѣ, зѣвнулъ раза два и захрапѣлъ, какъ удушенный. Левшинъ прилегъ также на лавку, но только не для того, чтобъ спать. Говорятъ, что сонъ утѣшитель несчастныхъ; да ихъ то онъ рѣдко и посѣщаетъ. Эта лиходѣйка, томительная бессонница, почти всегда бываетъ неразлучной подругой душевной грусти и тоски. О себѣ Левшинъ не очень заботился: ему не трудно было отгадать, что князь Хованскій вовсе не имѣетъ желанія погубить его, и что всѣ эти строгія рѣчи и угрозы не значатъ ничего. Хованскій не могъ иначе говорить при стрѣльцахъ; и еслибъ сталъ имъ явно противорѣчить, то, вѣроятно, они вышли бы изъ всякаго повиновенія. Даже самое обвиненіе, что будто бы Левшинъ участвовалъ въ какомъ-то костромскомъ заговорѣ, и что его должно отправить туда для улики, доказывало, что князь Хованскій хотѣлъ только подъ этимъ предлогомъ услатъ его подалѣе отъ Москвы. Однимъ словомъ, Левшинъ могъ надѣяться, что жизнь его теперь въ безопасности; но зато для него исчезла вся надежда увидѣть опять свою незнакомку. Онъ не зналъ, кто она, кто этотъ чудакъ, ея отецъ, который прячетъ отъ всѣхъ свою дочь, — живетъ въ Зарядьѣ на плохомъ подворьѣ, какъ самый простой горожанинъ или какой-нибудь иногородный небогатый купецъ — и котораго однажды посѣщаетъ старшій воевода всего стрѣлецкаго войска, властолюбивый и надменный князь Хованскій. Почему знать, можетъ быть, этотъ пролѣзкій сегодня, завтра или черезъ нѣсколько дней уѣдетъ навсегда изъ Москвы?... И вотъ чѣмъ кончились всѣ надежды бѣднаго юноши! Эта приволжская деревня, этотъ рай земной, эти вечернія прогулки съ милымъ другомъ, всѣ эти радости, все это блаженство земное—обманчивый призракъ, безумная мечта, необычайный минутный сонъ!

Чего не передумалъ, чего не почувствовалъ Левшинъ въ эти два часа, въ продолженіе которыхъ толстый поддьякъ пыхтѣлъ и храпѣлъ попеременно то басомъ, то дискантомъ. Наконецъ этотъ стражъ, котораго впрочемъ нельзя было назвать неусыпнымъ, потянулся, зѣвнулъ и всталъ.

— Ну что, молодецъ, — спросилъ онъ, — вздремнулъ?



— Нѣтъ,—отвѣчалъ отрывисто Левшинъ. — Я не сплю послѣ обѣда.

— Не спишь? Не хорошо, любезный, не хорошо! Всѣ православные должны спать послѣ обѣда; одни только еретики,—вотъ какъ былъ самозванецъ Гришка Отрепѣевъ, — и въ баню по субботамъ не ходять и не отдыхаютъ поѣвпи. Да ты, молодецъ, обѣдалъ ли сегодня?

— Нѣтъ, не обѣдалъ.

— Такъ что жъ ты не скажешь, голубчикъ? Ужъ коли я взялъ тебя на руки, такъ ты мой гость.

Поддьякъ подошелъ къ столу, выдвинулъ ящикъ и вынулъ деревянное блюдо, на которомъ лежало полпирога.

— На-ка, любезный,—сказалъ онъ, — покушай на здоровье. Знатный пирогъ, съ кашею!

Вы уже знаете, любезные читатели, что Левшинъ вовсе не походилъ на этихъ героевъ любви и самоотверженія, которые умираютъ, произнося имя своей любезной и въ продолженіе нѣсколькихъ томовъ питаются одной любовью и воздухомъ. Онъ не ѣлъ болѣе сутокъ, и хотя чувствовалъ непреодолимое отвращеніе отъ своего собесѣдника, однакожъ присѣлъ къ его пирогу и утомялъ свой голодъ.

— Ну, теперь, молодецъ, — сказалъ поддьякъ, — не хочешь ли подкрѣпить себя травничкомъ?

— Спасибо! Я вина не пью,—отвѣчалъ Левшинъ.

— И это напрасно, любезный!... Вино веселитъ сердце человеческое, и одни поганые татары его не пьютъ, а вѣдь мы съ тобой православные. Выкушай чарочку!

— Нѣтъ, право, не могу.

— Ну, какъ хочешь! — Поддьякъ спряталъ блюдо съ остатками пирога, сѣлъ къ столу и началъ что-то писать, а Левшинъ прилежъ опять на лавку и предался своимъ грустнымъ думамъ. Такъ прошло часа два или три. Вдругъ въ передней комнатѣ послышались громкіе голоса: «Ступай, ступай!» кричалъ кто-то. «Ребята, помогите! Вишь, онъ въ притолку упирается!»

— Что у васъ тамъ? — спросилъ поддьякъ, вставая. Двери открылись, и вошелъ огнищанинъ, а за нимъ трое земскихъ ярыжекъ, изъ которыхъ одинъ велъ за воротъ мужика, оборваннаго, замараннаго грязью, съ подбитыми глазами и окровавленнымъ лицомъ.

— А! это ты, Антошка Шельганъ?—сказалъ поддьякъ,

обращаясь къ земскому ярыжкѣ, который тащилъ за собою мужика. — Кого ты это подтенетилъ?

— Да вотъ, батюшка Ануфрій Трифонычъ, идемъ мы: я да Ивашка Кучумовъ, по Зарядью; глядимъ — лежитъ этотъ хмѣльной на улицѣ на самой серединѣ. Ну, долго ль до грѣха, — мѣсто проѣзжее. Мы стали его подымать, а онъ учаль драться, да еще вздумалъ народъ скликать: кричить, что мы его обобрали.

— Ахъ, онъ мошенникъ!... пьяница этакій!

— Помилуй, батюшка! — промолвилъ мужикъ.

— Молчи! — закричалъ подьякъ. — Ты кто таковъ? Колотырникъ какой-нибудь!... Бездомный бродяга!...

— Нѣтъ, батюшка! я живу при мѣстѣ, работникомъ на подворьи.

— А валяешься пьяный по улицамъ.

— Отецъ родной! — вскричалъ мужикъ, кланяясь въ ноги, — прикажи слово вымолвить!

— Ну что? Говори!

— Вотъ какъ дѣло было: стою я у стѣнки...

— У стѣнки! — прервалъ огнищанинъ. — Видно, ноги то не держать!

— Батюшка! да я хмѣльного въ ротъ не беру!... видить Богъ, не беру!

— Добро, добро! — сказалъ подьякъ. — Ну говори: стоишь ты у стѣнки...

— Вотъ они, батюшка, ко мнѣ и подошли, да ни съ того, ни съ другого — и ну ко мнѣ придираются: что, дескать, ты тутъ стоишь? — Да такъ, молю, стою! — Ты, дескать, воръ, высматриваешь, какъ-бы что стянуть!... — Да и ну меня по скуламъ!... Сбили съ ногъ, вытащили мошну съ деньжонками...

— Не слушай, Ануфрій Трифонычъ, — прервалъ одинъ изъ земскихъ ярыжекъ. — Онъ вретъ; мы его пальцемъ не тронули, а, видно, онъ самъ съ пьяна гдѣ-нибудь рожей-то на уголь наткнулся.

— Не тронули! — повторилъ мужикъ. — Бога вы не боитесь!... Посмотрите-ка на мои глаза!

— Что глаза? — прервалъ подьякъ. — Глаза какъ глаза! заплыли съ перепоя — вотъ и все!

— Съ какого перепоя, батюшка?... Я и по праздникамъ то вина не пью.

— Не пьешь!... да ты и теперь еле живъ — пьяница

этакій!... Алексѣй Пахомычъ! — продолжалъ поддьякъ, обращаясь къ огнищанину:—ну, посмотри, хмѣленъ ли онъ?

— Какой хмѣленъ! — сказалъ огнищанинъ; — лыкомъ не вяжетъ!... Бутузъ подойди-ка къ нему поближе... Ну, что?

— Фу ты, батюшки!—промолвилъ земскій ярыжка, наморщивъ рожу.—Да отъ него, какъ отъ бочки, такъ винищемъ и несеть!

Мужикъ заревѣлъ: — Господи Боже мой!—говорилъ онъ всхлипывая. — Вотъ грѣхъ какой! Ни за что, ни про что избили—да я же виноватъ!—Кормилецъ!... отецъ родной!... да вели мнѣ хоть деньжонки то отдать!

— Ахъ ты дуракъ этакій!—подхватилъ огнищанинъ. — Да почему ты знаешь, кто твои деньги взялъ? На улицѣ народу то много: какъ валяешься пьяный, такъ тебя всякій прохожій обереть.

— Пустите, пустите! — раздался въ передней комнатѣ женскій голосъ. — Я дойду и до вашего старшаго, что вы, въ самомъ дѣлѣ!... Иль на вась управы нѣтъ?

— Кто тамъ это кричитъ?—спросилъ поддьякъ.

— Я, батюшка! — сказала толстая пожилая горожанка, входя въ комнату.

— Что ты, голубушка?

— А вотъ что, кормилецъ: управы прошу... дневной грабежъ!...

— Что ты это мелешь?

— Нѣтъ, не мелю!... Этотъ парень мой батракъ...

— Такъ что жъ?

— А то, что его избили и ограбили вотъ эти озорники.

— Врешь ты, дура! Они подняли его пьянаго на улицѣ.

— Пьянаго?... Что ты, батюшка, перекрестись! Да онъ вина то сродясь не пиваль!

— Такъ, видно, сегодня въ первый разъ хлебнулъ. — сказалъ одинъ изъ ярыжекъ.

— Неправда!... Моя работница стояла у воротъ и все видѣла. — Вотъ что, батюшка, — продолжала старуха: — этотъ земскій ярыжка на меня элится: въ прошлый праздникъ я ему ничего не дала, такъ онъ и хотѣлъ выместить на моемъ работникѣ.

— Ахъ ты разбойница!—вскричалъ поддьякъ.—Да какъ ты смѣешь такія рѣчи говорить?...

— Пстой-ка, голубушка!—сказаль огнищанинъ.—Вѣдь ты держишь Мещевское подворье?

— Я, батюшка!

— Заявляли ли тебѣ наказъ боярина нашего князя Михайлы Никитича Львова, чтобъ мести каждый день улицу передъ домомъ—а?

— Заявляли.

— Такъ что жъ ты не исполняешь этого приказа? Вотъ ужъ четвертый день, Ануфрій Трифонычъ, не могу добиться; самъ заходилъ,—не слушаетъ, да и только!

— Помилуй батюшка: вѣдь всю прошлую недѣлю дождикъ такъ и лиль, грязь по колѣно, — чего тутъ мести?

— Чего мести? — заревѣль подьякъ.—Ахъ ты бунтовщица этакая!... Сказано, мести, такъ мети!

— Да она никогда не мететь, — подхватила огнищанинъ.—Всѣ сосѣди жалуются.

— Сосѣди! — повторила старуха. — Ну такъ я всю же правду скажу. У меня, какъ просохнетъ передъ домомъ, такъ пылочки не найдешь; а вотъ мой сосѣдъ, Михей Бутрюмовъ, у него и метлы то въ заводѣ нѣтъ, а все съ рукъ сходить—и не диво: онъ къ твоей милости каждый праздникъ съ поклономъ ходитъ.

— Эге!—вскричалъ подьякъ:—извѣтъ!... доносъ въ лихонствѣ!... О, старуха! да это дѣло не шуточное!... Алексѣй Пахомычъ! садись-ка, братъ, да пиши, а я порядкомъ ее допрошу.

— Что ты, что ты, кормилецъ!—вскричала старуха испуганнымъ голосомъ.—Какой извѣтъ?... Я это... такъ—къ слову молвила.

— Къ слову?... Вотъ мы тебѣ дадимъ слово!... Пиши: такого-то мѣсяца и числа, земскіе ярыжки, Ивашка Кучумовъ и Антошка Шельганъ, подняли на улицѣ въ Заряди пьянаго батрака съ Мещевского подворья. Хозяйка батрака... Какъ тебя зовутъ?...

— Батюшка, помилуй!—завопила старуха, повалилась въ ноги.—Сглуповала, отецъ мой, сглуповала!

— Чего тутъ миловать! Говори, какъ тебя зовутъ?...

— Федосья Архипова.

— Федосья Архипова... хорошо!... Женка Федосья Архипова... Да ты что? замужняя, вдова или дѣвка?

— Горькая вдова, батюшка, сиротинка горемычная!...

Взмилуйся, отецъ родной! не погуби!... Баба я старая, глупая!...

— А вотъ какъ тебя вспрыснуть шелепами, да посидишь въ острогѣ, такъ будешь умнѣ!... Ну, пиши: хозяйка вышесказаннаго батрака, вдова Федосья Архипова, съ великимъ шумомъ и буйствомъ и насиліемъ ворвалась въ земскій приказъ, и учла она вышереченная вдова Федосья Архипова говорить непригожія рѣчи и разными хульными словами позорить честь не токмо земскаго ярыжки Шелыгана, но и начальнаго человѣка, огнищанина Алексѣя Подпекалова, якобы оный Подпекаловъ, предаваясь злomu лихоимству и хищенію...

— Батюшка, я этого не говорила!—вскричала старуха.— Видитъ Богъ, не говорила!... Къ присягѣ пойду...

— Пиши, Алексѣй Пахомычъ, пиши!

— Послушай, Ануфрій Трифонычъ,—сказалъ Левшинъ, подойдя къ столу.— Мнѣ надо съ тобой словечко перемолвить.

— Ну что, молодецъ? — спросилъ подьякъ, отойдя къ сторонѣ съ Левшинымъ.

— А вотъ что: денегъ у меня нѣтъ...

— Знаю, любезный, знаю!

— А есть золотой перстень—вотъ посмотри.

— Да!... перстенецъ хоть куда.

— Возьми и носи его на здоровье, только дозвожь мнѣ поговорить съ этой старухою и отпусти ее домой вмѣстѣ съ работникомъ.

— Нельзя, любезный, право, нельзя! Какъ дашь повадку, такъ послѣ съ ними и не сладишь.

— Такъ ты не берешь?

— Какъ бы не взять... Да, право, надобно поучить уму-разуму эту старую коргу—высочка этакая!

— Ну, полно!... Надѣнь-ка перстень на палецъ...

— Дай-ка, дай!... Смотри пожалуй!... какъ по мнѣ дѣлань!... И онъ, точно, золотой?

— Я не стану тебя обманывать.

— Ну, что съ тобой дѣлать! быть по твоему.

Подьякъ подошелъ къ огнищанину, пошептался съ нимъ и сказалъ старухѣ, которая дрожкомъ дрожала и едва держалась отъ страха на ногахъ:

— Что, голубушка, присмирѣла небось? Будешь поминить?...

— Буду, батюшка, буду!  
— И напередки не забывай: выше лба уши не растутъ.  
— Такъ, батюшка, такъ!  
— На носу себѣ заруби!...  
— Зарублю, батюшка, зарублю!  
— То-то-же!... Ну, ужъ такъ и быть, Богъ тебя проститъ!... Ступай домой съ своимъ батракомъ, — да смотри, старуха, впередъ всегда мети передъ домомъ!

— Кормилецъ! да я и такъ каждый день...

— Опять заговорила!... Ужъ коли сказано, что не метешь—такъ не метешь! Да смотри за работникомъ, чтобъ онъ впередъ по улицамъ-то пьяный не валялся.

— Батюшка! дѣло прошлое, а вѣдь онъ человѣкъ терзвый, — покарай меня Господь...

— Эка назойливая баба!—вскричалъ подьякъ. — Ты у ней хоть колъ на головѣ теши, а она все свое!... Ужъ коли въ земскомъ приказѣ по обыску окажется, что ты и сама пьяна, такъ не смѣй поперечить—дура этакая!... Безъ вины виновата!

— Слышу, батюшка, слышу!

— То-то слышу!... Смотри, попадешься въ другой разъ... да и теперь... кланяйся вотъ этому молодцу. Кабы не онъ упросилъ...

— Ахъ, Господи!—вскричала старуха. — Да это никакъ... Ну, такъ и есть!... Ахъ ты мой ясный соколъ!

— Да, бабушка, это я. Поди-ка сюда на минутку.

Левшинъ отвелъ ее къ сторонѣ и сказалъ:

— Ну что, Архипьевна, чай, твои жильцы, сосѣди-то мои, больно перепугались?

— Ахъ, батюшка! какихъ страстей я-то натерпѣлась!... Думаю, убьютъ у меня въ дому человѣка!

— А мои сосѣди что?

— Вѣдь я тебя все у окна дожидалась. Хотѣла сказать, что на дворѣ-то засада; кликала тебя, да ты, какъ пальной, такъ на дворъ и пробѣжалъ.

— Не о томъ рѣчь, Архипьевна. Ты мнѣ скажи, что мои сосѣди?...

— Да что, батюшка, видно, больно переполошились: лишь только тебя со двора свели, такъ жилецъ-то мигомъ собрался...

— Собрался!... Куда?

— А кто его знаетъ! Въ дорогу, батюшка.

Левшинъ поблѣднѣлъ. — Въ дорогу! — повторилъ онъ. — Кто?... Вотъ тотъ постоялецъ?

— Ну, ду! у котораго дочка-то жила рядомъ съ тобою, въ свѣтелкѣ. Батюшки, какъ заторопились!... Запрягли двѣ тройки, расплатились со мной, да и поминай, какъ звали!

— Такъ они уѣхали?

— Уѣхали, батюшка.

— Послушай, Архипьевна: ты вѣрно знаешь, кто такой этотъ проѣзжій?

— Нѣтъ, родимый, видитъ Богъ не знаю!

— Да развѣ ты не могла спросить у работницы?

— Пыталась, да, видно, заказано: не говорить да и только... На что, дескать, тебѣ, Архипьевна, знать, кто твои жильцы? Платили бы они только исправно за постой.

— И ты не знаешь также, куда они поѣхали?

— Не вѣдаю, батюшка!... Ну, прощенья просимъ, мой отецъ!... Охъ, скорѣй бы отсюда убраться!... Спасибо тебѣ, что ты меня старуху изъ бѣды выручилъ!... Не даромъ, батюшка, говорится: «языкъ мой, врагъ мой!» Эка я дура, подумаешь, пришла управы просить!... Вотъ то-то и есть: вѣкъ прожила, а ума не нажила!... Ну, дай Богъ тебѣ добраго здоровья!... Счастливо оставаться!

Вслѣдъ за старухою и ея работникомъ вышли всѣ изъ покоя, и Левшинъ остался попрежнему одинъ съ поддьякомъ, который принялся разсматривать съ большимъ вниманіемъ перстень. Онъ снялъ его съ пальца, положилъ на ладонь, привѣсилъ и сказалъ вполголоса:

— Что за прахъ такой!... Легокъ, больно легокъ!... А кажись не дутый!... Ну, молодецъ, поддѣлъ ты меня!... Вѣдь перстень то не золотой!...

— Мнѣ однакожъ давали за него пятнадцать рублей, — отвѣчалъ Левшинъ.

— Пятнадцать!... Что больно много! Кабы мнѣ дали за него пять, такъ я бы въ ножки поклонился!... Ну, да дѣлать нечего: что съ воза упало, то пропало!... А только если онъ мѣдный, такъ это, любезный, на твоей совѣсти останется. Вѣдь мы не жида: намъ грѣшно другъ друга обманывать.

— Да кто тебя обманываетъ? — прервалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ. — Вольно жъ тебѣ не вѣрить!

— Ну, ну, не гнѣвись! — молвилъ поддьякъ, принимаясь,

опять за письмо. — И то сказать: даровому коню въ зубы не смотрять.

Левшинъ сѣлъ на скамью и предался снова своимъ грустнымъ размышлениямъ. И такъ все кончено! Сбылись его предчувствія: она уѣхала изъ Москвы!... Онъ навсегда разстался съ нею... О, конечно навсегда.... Гдѣ станетъ онъ искать ее?... И въ Москвѣ не найдешь того, кого не знаешь по имени; а не Москвѣ чета наша матушка святая Русь: широко она раскинулась; въ ней одной полтретья всего міра Божьяго и, куда ни поѣдешь, вездѣ люди живутъ.

— Нѣтъ! — думалъ Левшинъ, — не судилъ мнѣ Господь быть счастливымъ! Сиротой я живу — сиротой и умереть придется!... Я знаю, Колобовъ сказалъ бы мнѣ: «Что ты, братъ! развѣ одна звѣзда на небѣ свѣтитъ? Мало ли красныхъ дѣвицъ на Руси живетъ! Приглянулась тебѣ одна — погоди: приглянется другая! — Нѣтъ, коли не она моя суженая, такъ не обходить мнѣ наложь рука въ руку съ сердечнымъ другомъ, не мѣняться съ нимъ кольцами?... Видно моя суженая-ряженая — мать сыра земля. Много звѣздъ на небѣ... да, много — не перечесть... да солнышко-то одно!... И то слава Богу — поглядѣлъ я на него, полюбовался... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! лучше-бъ вовсе его не видать!...»

На дворѣ стало смеркаться; поддьякъ прибралъ къ сторонѣ свои бумаги, вынулъ изъ поставца сулею съ травникомъ, ковригу хлѣба, студень, горшокъ съ гречневой кашей, накрылъ столъ ширинкою и расположился на немъ ужинать вмѣстѣ съ огнищаниномъ. Разумѣется, онъ пригласилъ также и своего арестанта; но Левшинъ отказался. Когда поддьякъ и огнищанинъ опорожнили по нѣскольку чарокъ травника, то у нихъ пошла такая разгульная рѣчь, побасенки, которыя они принялись рассказывать другъ другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшинъ не могъ скрыть своего омерзения; онъ легъ на лавку, повернулся къ нимъ спиною и притворился спящимъ. Часа полтора продолжалась эта пытка, наконецъ полупьяные собесѣдники разошлись. Поддьякъ скинулъ съ себя верхнее платье, пробормоталъ молитву, отвѣсилъ нѣсколько земныхъ поклоновъ — и лишь только повалился на скамью, то въ ту же минуту заснулъ мертвымъ сномъ. Левшинъ не скоро послѣдовалъ его примѣру. Онъ также помолился — и, вѣроятно, молитва его была усерднѣе; но глаза его не смыкались почти во всю ночь. Онъ заснулъ передъ самымъ раз-



свѣтомъ или, лучше сказать, задремалъ, потому что этотъ сонъ не мѣшалъ ему слышать безпрестанный стукъ, похожій на работу плотниковъ, которые что-то строили въ близкомъ разстояніи отъ земскаго приказа.

## VI.

На восточной сторонѣ небосклона начинали уже тухнуть звѣзды; но увѣнчанный своими заборами, высокій кремлевскій холмъ былъ еще покрытъ ночью тѣнью. Внизу, у его подошвы, какъ сѣдое море, волновался утренній туманъ надъ обширнымъ Замоскворѣчьемъ. Все было погружено въ глубокій сонъ. Но вотъ, темноглубые небеса начинаютъ становиться прозрачнѣе; вотъ осыпались искрами и засверкали кресты высокихъ калоколенъ; вотъ облились свѣтомъ и позлащенные главы церквей; народъ зашевелился по улицамъ. Москва проснулась.

Межъ тѣмъ тревожный сонъ Левшина все еще продолжался; этотъ ночной стукъ, который онъ слышалъ въ своемъ забытїи, превратился въ какой-то невнятный говоръ людей; потомъ началось громкое чтеніе, вслѣдъ за нимъ послышались стоны, плачь и рыданія, а тамъ какъ будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль — и все затихло. Во все это время Левшинъ не спалъ, а находился въ томъ полусознательномъ состояніи, когда мы сквозь сонъ слышимъ близкіе къ намъ звуки и, хотя не очень ясно, однакожь различаемъ окружающіе насъ предметы: но въ то же самое время грезимъ и видимъ сны, въ которыхъ, разумѣется, ложь и истина безпрестанно смѣняются другъ друга. Левшинъ слышалъ очень ясно этотъ говоръ, чтеніе, плачь и вопли; полузакрытымъ глазамъ его представлялись, какъ будто бы въ туманѣ, низкіе своды земскаго приказа, его тяжелыя стѣны, окно съ желѣзной рѣшеткою; онъ видѣлъ лампаду, которая висѣла передъ иконою — и межъ тѣмъ ему казалось, что онъ стоитъ въ церкви, гдѣ при тускломъ свѣтѣ погребальныхъ свѣчей, отпѣвають покойника; что священникъ читаетъ разрывшительную молитву; что родные и друзья усопшаго лобызаютъ его съ плачемъ и рыданіемъ: что вдругъ тяжелая гробовая крыша съ громкимъ стукомъ падаетъ на церковный помостъ — и среди общаго мертваго молчанія раздается удуш-

ливый вопль покойника. Онъ медленно подымается изъ гроба. Левшинъ слышитъ вокругъ себя какой-то непонятный шопотъ; всѣ тѣснятся, спѣшатъ къ церковнымъ дверямъ, а онъ стоитъ, какъ прикованный, и не можетъ пошевелиться ни однимъ членомъ. Вотъ тухнуть всѣ свѣчи: но вмѣсто темноты разливается кругомъ кровавый свѣтъ, похожій на зарево отдаленнаго пожара; церковный помостъ начинаетъ колебаться. По всѣмъ угламъ, вдоль стѣнъ, вездѣ поднимаются надгробныя плиты и сотни мертвецовъ въ бѣлыхъ саванахъ начинаютъ показываться изъ своихъ могилъ. Покойникъ окидываетъ бездушнымъ ледянымъ взоромъ всю церковь. Глаза его встрѣчаются съ глазами Левшина: онъ подымаетъ свою изсохшую руку, указываетъ на него пальцемъ—и вотъ вся толпа мертвецовъ, заскрежетавъ зубами, бросается прямо къ нему; одинъ изъ нихъ хватаетъ его за грудь... Онъ вскрикиваетъ и въ ту же самую минуту подлѣ него раздается знакомый голосъ: «Что ты, что ты, молодецъ?... Это я!»

Левшинъ очнулся и вскочилъ.

— Экъ ты какъ заспался! — продолжалъ поддьякъ. — Не прогнѣвайся, раненько я тебя бужу, да дѣлать нечего; меня—прахъ бы ихъ взялъ!—еще ранѣе твоего разбудили, а теперь то самый лучший сонъ и есть!... За тобой, молодецъ, пришли отъ князя Ивана Андреевича.

— Отъ князя Хованскаго?

— Ну, да! Тамъ въ прихожей дожидается тебя пятидесятникъ съ двумя стрѣльцами! Пойдемъ, любезный!

Поддьякъ сдалъ пятидесятнику своего арестанта, и когда вышелъ вслѣдъ за нимъ на крыльцо, то сказалъ: «Взгляни-ка, братъ, сюда на-лѣво!» Левшинъ обернулся. Почти рядомъ съ земскимъ приказомъ, на высокихъ подмосткахъ, лежалъ трупъ человѣка, одѣтаго въ черное платье; подлѣ, на окровавленной плахѣ, стояла отрубленная голова его. Это блѣдное, обезображенное лицо, на которомъ замерло судорожное выраженіе нестерпимой муки и отчаянія, было до того ужасно, что Левшинъ невольно отворотился.

— Кто это? — спросилъ онъ вполъ-голоса.

— Да вотъ этотъ разстрига, что такъ вчера храброваль, — отвѣчалъ поддьякъ.

— Никита?

— Да! Никита Пустосвятъ.

«Боже мой! — подумалъ Левшинъ, — давно ли этотъ мя-

тежникъ, окруженный безчисленной толпою народа, шель въ Кремль, какъ торжествующій побѣдитель; а теперь!... Куда дѣвались всѣ его защитники?... Онъ умеръ одинъ—и трупъ его, выставленный на позоръ, брошенъ, покинутъ всѣми!»

Въ самомъ дѣлѣ, вся площадь была пуста; въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста казни стояли вооруженные стрѣльцы; по временамъ остававливались прохожіе и, взглянувъ издалека на казненнаго преступника, продолжали спокойно идти своей дорогою. Одинъ только нищій въ изорванномъ рубищѣ, съ распущенными по плечамъ волосами и непокрытой головою, стоялъ на подмосткахъ подлѣ казненнаго преступника; склонивъ надъ нимъ свою сѣдую голову, онъ тихимъ голосомъ творилъ молитву и слезы его капали на окровавленный трупъ. Этотъ нищій былъ Гриша.

— Ну, прощай, любезный!—сказалъ подьякъ, обложивъ Левшина. — Дай Господи, чтобъ все кончилось благополучно!... Жаль мнѣ тебя—видитъ Богъ жаль!... Парень ты добрый, а коли правду говорить, что ты измѣнникъ...

— Мнѣ нечего бояться, — прервалъ Левшинъ: — совѣсть моя чиста.

— Совѣсть?... Что совѣсть, любезный... Коли у тебя другой заступы нѣтъ, такъ дѣло-то плоховато!... Конечно, Богъ не безъ милости, — почему знать, можетъ статься пожалѣютъ твоей молодости... только смотри, любезный, коли тебя не казнятъ, такъ не забудь, заверни опять сюда.

— Зачѣмъ?

— А вотъ зачѣмъ: ты говорилъ, что тебѣ давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, другъ сердечный... такъ и быть! я тебѣ этотъ перстень за четырнадцать рублей уступлю?

— Хорошо, хорошо! — сказалъ Левшинъ, уходя вслѣдъ за своими провожатыми. Они вышли изъ Китай-города Каретными воротами и повернули на лѣво.

— Куда вы меня ведете?—спросилъ Левшинъ.

— Куда велѣно, — отвѣчалъ пятидесятникъ.

— Да вѣдь, кажется, домъ князя Ивана Андреевича Хованскаго не въ этой сторонѣ?

— Вѣстимо, не въ этой. Онъ живетъ на Знаменкѣ.

— Такъ мы идемъ не къ нему?

— Нѣтъ.

— Куда же?

— А вотъ какъ придешь, такъ узнаешь.

Левшинъ замолчалъ. Дойдя до того мѣста, гдѣ рѣчка Неглинная впадаетъ въ Москву-рѣку, они поворотили направо, и когда, миновавъ церковь Ильи Обыденнаго и Зачатейскій монастырь, переправились Крымскимъ бродомъ на ту сторону рѣки, то Левшину не трудно было догадаться, что его ведутъ къ боярину Кириллѣ Андреевичу Буйносову: онъ жилъ недалеко отъ Калужскихъ воротъ и, вѣроятно, одинъ изъ всѣхъ ближнихъ бояръ не имѣлъ дома въ Кремлѣ, или, по крайней-мѣрѣ, въ его окрестностяхъ. Подходя къ этимъ брусянымъ хоромамъ, которыя стояли въ глубинѣ обширнаго двора, Левшинъ увидѣлъ, что у воротъ дожидается дворецкій боярина Буйносова. Пятидесятникъ сдалъ ему съ рукъ въ руки Левшина и отправился съ своими стрѣльцами въ обратный путь.

— Милости просимъ, Дмитрій Афанасьевичъ! — сказалъ дворецкій, отпирая калитку. — Бояринъ давно ужъ тебя дожидается. — Всѣ твои пожитки, — продолжалъ онъ, идучи съ Левшинымъ по двору, — перевезли сегодня къ намъ. Ужъ не изволь опасаться, батюшка: синяго пороха не пропадетъ!... У насъ, слава Богу, кладовыхъ довольно.

— Да это, кажется, Феропонтъ? — спросилъ Левшинъ.

— Вонъ что тамъ у конюшни держитъ двухъ осѣдланыхъ коней?... Да, батюшка, это твой служитель.

Войдя по широкому крыльцу въ обширныя сѣни, въ которыхъ толпилось человѣкъ двадцать боярскихъ холопей, дворецкій отворилъ двери въ первый покой и сказалъ:

— Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду, доложу о тебѣ боярину; а ты побесѣдуй покамѣстъ съ его милостію, — прибавилъ онъ, указывая на Колобова, который кинулся на шею къ своему другу и закричалъ:

— Здравствуй, Дмитрій Афанасьичъ! Ну, слава тебѣ Господи! Не чайлъ я видѣть тебя живымъ.

— И ты здѣсь, Артемій Никифоровичъ?

— Какъ же! Ты помнишь, мы вчера съ тобой уговорились придти сюда попозднѣе вечеркомъ?... Вотъ я этакъ въ сумерки и отправился за тобою на Мещовское подворье; лишь только дошелъ до Зарядья, глядь — на встрѣчу мнѣ Архипьевна бѣжитъ бѣгомъ, шушунъ на распашку — въ попыхахъ. — «Куда бабушка?» — «Въ земскій приказъ». «Зачѣмъ?» — «Управы просить!... Душегубцы этакіе! разбойники!... кнутобойцы!...» — «Да что такое?» — Ограбили,

батюшка, прибили до полусмерти моего Оедотку!» — «Да кто?» — «А вотъ эти живодеры, кровопійцы, земскіе ярыжки!... Ни за что, ни про что изувѣчили у меня парня!... Да его же, за то, что онъ кричалъ, въ земскій приказъ оттащили... воры этакіе, висѣльники!» — «А я, Архипьевна, иду къ тебѣ на подворье». — «Ужъ не къ твоему ли крестовому братцу?» — «Къ нему». — «Ахъ, родной, ты мой, да вѣдь его захватили стрѣльцы!» — «Какъ такъ?» — «А вотъ какъ: пришли прежде его ко мнѣ на подворье, засѣли по угламъ и какъ твой крестовый братецъ вошелъ на дворъ — они его и цапъ-царапъ!» — «И увели съ собой?» — «Увели батюшка!... Ну, ужъ перепугалась я!... Экій денекъ! и стрѣльцы и земскіе ярыжки!... Да съ ними то я справлюсь! Слыханое ли дѣло: дневной грабежъ!... Нѣтъ, батюшка, я ихъ доѣду!... Ударю на нихъ челомъ боярину князю Львову; а коли онъ суда не дастъ, такъ я закричу слово и дѣло!... до царей дойду!... Прощай, батюшка — прощай!» — Я было хотѣлъ ее поразспросить хорошенько — куда! Моя старуха пустилась благимъ матомъ по улицѣ, а я кинулся къ боярину Кириллѣ Андреевичу, рассказалъ ему все; онъ отправился къ князю Хованскому, а мнѣ приказалъ перевести сюда всѣ твои пожитки. Ну, братъ Левшинъ, истинно Господь тебя помиловалъ! Вчера у насъ въ слободѣ одинъ молодецъ, сотникъ полку Лопухина, сболтнулъ по-твоему, такъ его тутъ же уходили. Нѣтъ, братъ, что Богъ дастъ вперёдъ, а теперь держи ухо востро!...

— Дмитрій Афанасьичъ! пожалуй, батюшка, къ боярину! — сказалъ дворецкій, выходя изъ сосѣдняго покоя.

Въ этомъ покоѣ, въ которомъ обыкновенно хозяинъ *трапезничалъ* съ своими гостями, вся домашняя утварь состояла изъ большого дубоваго стола, лавокъ, покрытыхъ коврами, и двухъ огромныхъ поставцовъ, наполненныхъ серебряною посудой. Разумѣется, въ переднемъ углу стояла на полкѣ святыя иконы въ великолѣпныхъ окладахъ; но голыя стѣны комнаты не были ничѣмъ украшены, и только на одной изъ нихъ висѣлъ, весьма дурно написанный масляными красками, портретъ царя Алексѣя Михайловича. Пройдя этой комнатой, Левшинъ вошелъ въ угольный покой, убранный по тогдашнему времени весьма роскошно: стѣны въ немъ были обтянуты кожаными позолочеными обоями, которыя вывозились тогда изъ Голландіи, а полъ обитъ краснымъ сукномъ. Въ одномъ углу подыма-

лась до самаго потолка, росписанная крупными узорами, изразцовая печь, на ножкахъ или столбикахъ, также изразцовыхъ. Вдоль стѣнъ стояло нѣсколько стульевъ съ высокими спинками; посреди комнаты, за столомъ, сидѣлъ въ креслѣ, обитыхъ малиновымъ рытымъ бархатомъ, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ; на немъ былъ шелковый *ходильный зипунъ*, а сверхъ него камлотовый *опахень*. Это былъ бояринъ Кирилла Андреевичъ Буйносовъ. Не смотря на грустное выраженіе его взоровъ, которые изобличали какую-то глубокую душевную скорбь, онъ вовсе не казался ни угрюмымъ, не суровымъ. Его блѣдное и худое лицо, на которомъ были еще замѣтны остатки прежней красоты, исполнено было благородства, безъ всякой примѣси этой смѣшной боярской спѣси, которая и въ старину и въ нашъ вѣкъ, и вѣроятно въ будущія времена, всегда останется вѣрнымъ признакомъ или грубаго невѣжества, или природной глупости, слегка прикрытой *европейскимъ* просвѣщеніемъ.

— Здравствуй, Дмитрій Афанасьевичъ! — сказалъ ласковымъ голосомъ Буйносовъ. — Садись, голубчикъ!

Левшинъ съ низкимъ поклономъ отказался отъ предложенной чести.

— Ну, полно, безъ чиновъ!... Садись, любезный!... Ты, я чаю, больно умаялся!

— Я не знаю, какъ мнѣ тебя благодарить, бояринъ... — промолвилъ Левшинъ.

— Что я, Дмитрій Афанасьевичъ! — прервалъ Буйносовъ. — Я тутъ не причемъ!... Благодарю во-первыхъ Бога, а во-вторыхъ князя Ивана Хованскаго. Что я хлопоталъ о тебѣ, такъ это не большое диво: ты сынъ задушевнаго моего пріятели — дай Богъ ему царство небесное!... И тебя самого я люблю, почитай, какъ родного, а все бы мнѣ не удалось вырвать тебя изъ злодѣйскихъ рукъ, кабы не князь Иванъ Андреевичъ. Да и ты, молодецъ, охота же тебѣ дразнить этихъ бѣшеныхъ собакъ!

— Что жъ дѣлать, бояринъ, не утерпѣлъ... Когда я услышалъ и увидѣлъ самъ, до чего дошло буйство этихъ богоотступныхъ мятежниковъ, такъ сердце во мнѣ заговорило.

— Сердце?... Да неужели ты думаешь, что мы, старики, смотримъ на это, какъ не потѣху?... Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, и наше сердце обливается кровью, и мы, называя это мя-

тежное войско православнымъ и христоробивымъ, скорбимъ и сокрушаемся душою; да дѣлать то нечего: пришлось мирволить, коли сила не беретъ.

— Власть твоя, бояринъ, а по мнѣ лучше погибнуть, чѣмъ мирволить злодѣямъ. Вѣдь за правду умереть не бѣда.

— Кто говорить... Дай Господи и мнѣ умереть за правду, лишь только бы смерть то моя пошла въ прокъ; а коли я умру только для того, чтобъ убавилось число вѣрныхъ слугъ царскихъ, которыхъ и безъ того немного остается, такъ что въ этомъ толку? Князя Долгорукие, Ромодановскіе, бояринъ Матвѣевъ—попытались стать грудью противъ крамольниковъ—что жъ вышло?... Они погибли, а мятежники унялись ли злодѣйствовать?... Нѣтъ: они еще больше ожесточились. Когда дикій звѣрь сорвется съ цѣпи, да отвѣдаетъ крови человѣческой, такъ не присмирѣетъ, а сдѣлается еще злѣе.

— Такъ что жъ, бояринъ, неужели давать волю этому звѣрю?...

— Коли сила есть, такъ не давай; а коли тебѣ одолѣть его нельзя, такъ не лучше ли до поры до времени прикармливать его, да въ тихомолку обкладывать тенетами, чѣмъ дразнить и гибнуть понапрасну?... Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ! и я былъ молодъ, какъ ты, и у меня также кровь кипѣла въ жилахъ—да уходилъ! Не даромъ говорятъ: вѣкъ пережить, не поле перейти; чего не увидишь, чего не услышишь, чего не натерпишься!... А горя то горя!...— промолвилъ бояринъ, и на глазахъ его навернулись слезы.— Да, Дмитрій Афанасьичъ!—продолжалъ онъ,—и тебѣ грустно жить въ одиночествѣ; но ты еще молодъ: Богъ дастъ, у тебя будетъ своя семья, добрая жена, милыя дѣти; а каково быть круглымъ сиротою тому, кто смотритъ ужъ въ могилу?... Какъ подумаешь: умереть на рукахъ челядинцовъ, не оставить послѣ себя ни роду, ни племени... Да что говорить объ этомъ! Коли Господь послалъ крестъ, такъ носи его безъ ропота и покоряйся... Поговоримъ какъ лучше о другомъ. Тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, нельзя въ Москвѣ оставаться, и чѣмъ скорѣе ты отсюда уѣдешь, тѣмъ лучше. Я на будущей недѣлѣ хочу отправиться въ мою Брянскую вотчину, такъ возьму тебя съ собою, а теперь побѣжай въ мою подмосковную; она на Серпуховской дорогѣ и только въ пяти верстахъ отъ Коломенскаго, да зато въ сторонѣ, кругомъ лѣсная дача, проѣзжей боль-

шой дороги нѣтъ, такъ ты покажѣшь можешь тамъ жить безъ всякаго опасенія. Только смотри—въ Коломенское ни ногой! Туда часто изводитъ навъзжать государь Петръ Алексѣевичъ, такъ иногда бываетъ очень людно. Неравно еще съ кѣмъ ни есть повстрѣчаешься, а на первыхъ порахъ не худо бы, чтобъ твои сослуживцы вовсе о тебѣ забыли: пусть себѣ думаютъ, что ты безъ вѣсти пропалъ. Можетъ статься, денька черезъ четыре я съ тобой увижусь, а теперь прощай, любезный!... Мѣшкать нечего. Съ тобой побѣдетъ твой слуга и одинъ изъ моихъ домашнихъ. Ну, съ Богомъ, Дмитрій Афанасьичъ,—отправляйся!

Когда Левшинъ откланялся боярину и вышелъ на дворъ, то увидѣлъ, что все уже готово къ его отъезду: у воротъ дожидался боярскій вершникъ, а у крыльца стоялъ Феропонтъ, держа подъ уздцы двухъ осѣдланныхъ коней. Въ одномъ изъ нихъ Левшинъ узналъ своего аргамака. Колобовъ былъ тутъ-же. Онъ смотрѣлъ съ нѣмымъ восторгомъ на Султана. Этотъ гордый персидскій конь, почуя своего сѣдока, заходилъ ходуномъ, заплясалъ и началъ грызть свои, покрытыя пѣною, удила.

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ Колобовъ, — достался тебѣ конь! Я еще его подъ сѣдломъ-то не видѣлъ. Вотъ ужъ подлинно всѣмъ взялъ!... Огонь, а не лошадь!... Жилки всѣ igraютъ!... Хорошъ и тотъ, котораго ты мнѣ пожаловалъ, а все не то... Ну, прощай, другъ сердечный!... Когда то приведетъ Господь опять увидѣться?

— И, батюшка! — сказалъ Феропонтъ, подводя къ Левшину Султана: — гора съ горой не сойдется, а человѣку съ человѣкомъ какъ не сойтись!

— Бояринъ не сказалъ мнѣ, куда тебя отправляетъ, — продолжалъ Колобовъ, — а намекнулъ только, что врядъ ли ты скоро въ Москву вернешься. Ну, да Богъ милостивъ, увидимся когда-нибудь.

Левшинъ обнялъ Колобова, вскочилъ на коня и черезъ нѣсколько минутъ доѣхалъ до земляного вала, то есть нынѣшней Садовой улицы. Выѣхавъ Калужскими воротами за городъ, онъ, по старинному обычаю, снялъ шапку и помолился на соборы. Феропонтъ послѣдовалъ его примѣру, перекрестился и сказалъ: «Прощай, матушка Москва бѣлокаменная! Не долго мы въ тебѣ погостили! Слава тебѣ Господи, что я въ Кремль побывалъ, а то бы не удалось и угодникамъ то московскимъ поклониться!» Оставя въ



правой рукѣ Калужскую дорогу, Левшинъ пустился по Серпуховской. Онъ не говорилъ ни слова, но душа его была преисполнена грусти. Два дня тому назадъ онъ спѣшилъ возвратиться въ свой родимый городъ, а теперь бѣжить изъ него, какъ изгнанникъ. Онъ былъ въ Москвѣ и не успѣлъ даже сходить на могилу отца своего и матери. Привязанность къ родимой сторонѣ всегда становится сильнѣе, когда мы переживаемъ всѣхъ близкихъ нашему сердцу; намъ кажется, что мы еще не вовсе осиротѣли, если живемъ тамъ, гдѣ покоятся кости нашихъ кровныхъ и родныхъ, гдѣ мы родились, гдѣ встрѣчаемъ тѣхъ, съ которыми свыклись еще въ ребячествѣ; гдѣ все напоминаетъ намъ о прежней семейной жизни, о дѣтскихъ нашихъ радостяхъ... Покинуть это мѣсто; быть можетъ, навсегда разстаться съ своей родимой стороною — о, конечно, это второе сиротство едва ли легче перваго!

Солнце было уже довольно высоко, когда наши путешественники, отѣхавъ версть семь отъ Москвы, стали спускаться съ крутой горы. Левшинъ продолжалъ ѣхать молча, но спутники его давно разговаривали межъ собою. Боярскій челядинецъ, пожилой человекъ лѣтъ пятидесяти, узнавъ, что Феропонтъ видѣлъ Москву только мимоѣздомъ, пустился въ рассказы.

— Я голубчикъ, — говорилъ онъ, — старожилъ московскій и не только въ ней всякій закоулочекъ назову тебѣ по имени, да и что вокругъ то ея, все знаю... Да вотъ, примѣромъ сказать, хоть это урочище: оно прозывается Котлы — и деревню также зовутъ — знаешь ли, любезный, что на этомъ самомъ мѣстѣ сожгли проклятаго самозванца Гришку Отрепьева?

— Живого?

— Нѣтъ, мертваго. Вотъ ужъ лѣтъ тридцать, какъ мнѣ это рассказывалъ мой дѣдушка — упокой Господи его душу! А онъ ужъ и тогда доживалъ седьмой десятокъ. Господи Боже мой, чего онъ не насмотрѣлся!... и боярскихъ смуть, и польскихъ погромовъ, и какъ ляхи завладѣли Москвою, какъ воевода князь Пожарскій бился съ ними на Лубянкѣ, какъ онъ послѣ, вмѣстѣ съ Кузьмой Миничемъ, привелъ изъ Понизовья православное войско подъ Москву; какъ ляхи отсиживались въ Кремль, какъ наши, при помощи Божіей, ихъ одолѣли — все видѣлъ!... Вотъ онъ то мнѣ сказывалъ, что вывезли сюда окаянное тѣло Гришки Отрепьева, сожгли

на костръ, потомъ собрали весь пепель, зарядили имъ пушку, да и шарахнули по вѣтру.

— А ради чего — спросилъ Феропонтъ, — сожгли этого самозванца? Или ужъ такъ бояре присудили и царь указалъ?

— А вотъ ради чего, любезный. Онъ сначала лежалъ убитый трое сутокъ на пожарѣ...

— На пожарѣ?

— Сирѣчь на Красной площади: ее, братъ, въ старину этакъ называли. Во все это время, кругомъ въ околodкѣ, никому покоя не было: каждую ночь, вплоть до первыхъ пѣтуховъ, начнется, бывало, надъ нимъ такая бѣсовщина дѣяться, что всѣ и по домамъ то дрожкой дрожать: и въ бубны бьютъ, и въ сопѣлы играютъ, и шумъ, и гамъ, и свистъ!... Вотъ стащили его въ убогій домъ за Лузскія ворота — и тамъ возня поднялась! Ночью всѣ мертвецы въ убогомъ домѣ повставали, да ну-ка пѣсни орать!... Мало того: поднялись бури, вихри, всякая непогодица, и послѣ вешняго Николы выпалъ снѣгъ по колѣно. Вотъ бояре то и призадумались. Доложили царю Василию Ивановичу; а царь Василій Ивановичъ, вида, что дѣло то плохо, и указалъ его сжечь поодаль отъ Москвы.

— Вотъ что!... Только правда ли это, любезный?

— Экій ты, братецъ, какой! Да развѣ ты не знаешь, что Гришка то Отрепьевъ былъ колдунъ и чернокнижникъ?

— Право?

— Какъ же!... Вѣдь онъ и родную то матушку царевича Дмитрія обморочилъ и боярину Басманову глаза отвелъ.

— Ну, это дѣло иное!... Коли онъ былъ колдунъ, такъ не диво!

— Что жъ ты думаешь? — продолжалъ рассказчикъ. — Гришку Отрепьева казнили и сожгли на костръ — кажись, чего бы еще?... Такъ нѣтъ! Не прошло двухъ лѣтъ, какъ опять проявился такой же самозванецъ. — «Это, дескать, не меня сожгли... меня, дескать, хотѣли извести, да не удалось». Простой народъ сталъ къ нему приставать — пошла опять кутерьма: кто за него, кто за царя Василя Ивановича. Вотъ и этотъ самозванецъ подступилъ къ Москвѣ и долго стоялъ съ войскомъ въ подмосковномъ селѣ Тушинѣ. Покойный дѣдушка самъ туда ходилъ.

— Что жъ это? — прервалъ Феропонтъ. — Да коли вся

Москва видѣла, какъ сожгли самозванца, такъ какъ же народъ повѣрилъ этому вору?

— Ну, вотъ поди ты!... Вѣстимо, нашъ братъ дворовый человекъ не повѣритъ, а вѣдь простой то народъ глупъ!... Принесетъ ему сорока на хвостѣ вѣсточку, а онъ уши то и развѣситъ!... Глупой бабѣ да сермяжнику, что хочешь, братъ, плети, они съ дуру всему повѣрятъ... Э! да что жъ это твой баринъ?... Куда онъ своротилъ! Дмитрій Афанасьевичъ! не туда: направо по дорожкѣ.

Левшинъ повернулъ по узенькой тропинкѣ, которая, пробираясь между засѣянныхъ полей, вела къ густому березовому лѣсу. Когда онъ увидѣлъ себя подъ тѣнью этихъ столѣтнихъ березъ, то ему стало еще грустнѣе. Онъ невольно вспомнилъ и о своей березовой рощѣ на берегу Волги и о той, которая превратила бы для него эту рощу въ земной рай. Проѣхавъ версты три этимъ заповѣднымъ лѣсомъ, наши путешественники очутились на обширной полянѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ густымъ чернолѣсьемъ. Когда Левшинъ окинулъ взглядомъ это лѣсное *удолье*, то забылъ на минуту все свое горе. Средину всей поляны занимала боярская усадьба. Въ глубинѣ двора, застроеннаго съ обѣихъ сторонъ службами, стоялъ господскій домъ, то есть большая брусая изба, крытая тесомъ, у которой, вмѣсто обыкновеннаго крыльца, былъ устроенъ подъ навѣсомъ досчатый *рундукъ* или помостъ, похожій на нынѣшнія террасы. Передъ самымъ домомъ, въ пушистыхъ зеленыхъ берегахъ, разливался прихотливо широкій проточный прудъ; съ одной стороны онъ оканчивался плотиною, обсаженною раkitникомъ, съ другой вливался въ него довольно большой ручей. Поодаль отъ пруда, кругомъ ветхой, деревянной церкви, какъ дѣти вокругъ родной матери, приютились низенькія крестьянскія избы, съ ихъ соломенными кровлями и плетневыми заборами. Конечно, все это вмѣстѣ не составляло ничего особенно прекраснаго или живописнаго; но эта тишина, этотъ лѣсъ, этотъ свѣтлый прудъ, эта зелень, усыпанная цвѣтами, и даже простота и убогость приходской церкви и боярскаго дома, — все наполняло душу какимъ-то кроткимъ, неизъяснимымъ спокойствіемъ. Левшинъ вовсе не желалъ, — да и вы бы не захотѣли, — встрѣтить въ этомъ смиренномъ уголкѣ ни великолѣпный храмъ Божій, ни каменные палаты барскія: все что напоминаетъ намъ о земномъ величій, роскоши и суетѣ

мірской, показалось бы вамъ не у мѣста въ этомъ тихомъ и спокойномъ убѣжищѣ, поселясь въ которомъ, вы могли бы думать, что живете за тысячу верстъ отъ Москвы.

— Ну, вотъ и пріѣхали!—сказалъ провожатый, слѣзая съ коня.—Добро пожаловать!—промолвилъ онъ съ низкимъ поклономъ. — Милости просимъ, Дмитрій Афанасьичъ, въ наше село Богородское!... Въ немъ часто гащивалъ покойный твой батюшка; вотъ Богъ привелъ и тебѣ съ нами пожить. Милости просимъ!

Онъ отворилъ околицу, и Левшинъ, объѣхавъ правымъ берегомъ пруда, сошелъ съ коня у воротъ боярскаго дома.

## VII.

Вотъ уже прошло болѣе трехъ недѣль, какъ Левшинъ оставилъ Москву. Въ селѣ Богородскомъ ждали со дня на день боярина Буйносова, но онъ не ѣхалъ. Впрочемъ, Левшинъ вовсе не скучалъ: въ хорошую погоду онъ ходилъ иногда съ мѣткой пищалью стрѣлять дичь, а ея очень много было въ этихъ заповѣдныхъ дачахъ, въ которыхъ изрѣдка только охотился самъ бояринъ; въ дурную погоду бесѣдовалъ съ приходскимъ священникомъ или проводилъ время въ разговорахъ съ словоохотнымъ челядинцемъ боярскимъ и своимъ добрымъ Феропонтомъ. Въ нашъ вѣкъ это послѣднее занятіе показалось бы довольно страннымъ; но тогда еще просвѣщеніе не положило въ отечествѣ нашемъ этой рѣзкой грани между господиномъ и его слугою. Въ старину было много и такихъ господъ, которымъ грамота вовсе не далась; да и дворяне, по тогдашнему образованные, отличались, по большей части, отъ своихъ безграмотныхъ домочадцевъ не образомъ мыслей, не познаніями и ученостію, а только тѣмъ, что *умѣли* читать и писать. Сверхъ того между служителями и ихъ господами существовала тогда связь особеннаго рода: ее почти можно назвать семейною. Господа называли своихъ слугъ домочадцами, и эти *чады дома* готовы были при всякомъ случаѣ умереть за своихъ бояръ, которые въ свою очередь любили ихъ какъ *домашнихъ* и дарили иногда за вѣрную службу

цѣлыми деревьями \*). Чаще всего Левшинъ бродилъ безъ всякой цѣли по лѣсу, особенно тамъ, гдѣ должно было прокладывать себѣ дорогу; онъ любилъ продираться сквозь эту глушь, гдѣ сплошныя деревья сплетаются своими вершинами и ни одинъ лучъ полуденнаго солнца не падаетъ на влажную землю, покрытую полусгнившими листьями и валежникомъ. Эта пустынная, мрачная дичь была ему по душѣ. Въ одну изъ своихъ прогулокъ онъ зашелъ въ глубокой, поросшій мелкимъ лѣсомъ, оврагъ. На днѣ его журчалъ ручей, тотъ самый, который передъ господской усадьбою вливался въ прудъ. Въ концѣ этого оврага, сквозь густыя вѣтви дикой черемухи, видѣлся высокій плетень, а за нимъ соломенная кровля небольшой избушки. Левшинъ пошелъ къ этому жилью. Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ изъ за плетня показался служитель его, Феропонтъ съ довольнымъ лицомъ и съ распухшимъ прищуреннымъ глазомъ.

— Это ты, Феропонтъ?—сказалъ Левшинъ.

— Я, батюшка,—отвѣчалъ Феропонтъ, вытирая рукою свои длинные усы и бороду.

— Что это у тебя глазъ то?

— Ничего, Дмитрій Афанасьичъ! Я былъ вотъ здѣсь на пчельникѣ у Савельича, такъ пчела ужалила. Что за медь!... Ну, ужъ нечего сказать: бѣлый, зернистый!... Да не угодно ли, батюшка, и тебѣ отвѣдать?...

— Пожалуй.

— Только самъ туда не ходи: какъ разъ облѣпять пчелы. Побудь здѣсь на минуту, я сейчасъ вынесу тебѣ свѣжій сотникъ, прямехонько изъ улья.

Феропонтъ ушелъ опять на пчельникъ, а Левшинъ прилегъ подъ тѣнь черемухи у ручья, который тихо струился въ своихъ берегахъ, поросшихъ осокою. Вотъ послышались ему вдали охотничьи рога. Эти невнятные, исчезающіе въ воздухъ, звуки долетали до него только по вѣтру — и черезъ нѣсколько минутъ вмѣстѣ съ нимъ затихли. Межъ тѣмъ Феропонтъ возвратился, неся деревянное блюдо, на

---

\*) При царѣ Феодорѣ Іоанновичѣ опальный бояринъ, Иванъ Григорьевичъ Нагой, отдалъ своему слугѣ, Богдану Сидорову, за вѣрную его службу и усердіе, наследственную свою вотчину село Ануфриево съ деревьями. Вѣроятно, въ старину подобныя случаи повторялись нерѣдко.

которомъ лежалъ свѣжій сотъ меду, ножикъ и ломоть чернаго хлѣба.

— Покушай, Дмитрій Афанасьичъ, на здоровье, — сказалъ онъ, подавая ему блюдо. — Савельичъ при мнѣ подрѣзалъ этотъ сотъ. Ну, батюшка, какой онъ досужій пчеловодъ!... А знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ? Вѣдь Савельичъ то жилъ въ скиту у твоего дядюшки, Андрея Яковлевича Девисова.

— Въ какомъ скиту?

— Да вотъ тамъ за Онегою.

— Какъ же онъ туда попалъ?

— Въ бѣгахъ былъ. Савельичъ мнѣ все разсказалъ. Вотъ изволишь видѣть: онъ долго былъ раскольниковомъ; лѣтъ шесть тому назадъ Господь вразумилъ его принять опять православную вѣру, такъ онъ пришелъ съ повинной головой къ боярину. Бояринъ, — дай Богъ ему здоровье! — принялъ его не съ гнѣвомъ, а съ милостію, и порадовался, что онъ, хотя и позденъко, а все-таки обратился на путь истинный.

— Послушай, Феропонтъ: я все еще путемъ не знаю, покойный дядюшка, Семень Яковлевичъ, въ ссорѣ что ль былъ съ своимъ братомъ, Андреемъ Яковлевичемъ?

— Въ ссорѣ, батюшка. А, говорятъ, въ старину они жили душа въ душу. Андрей Яковлевичъ продалъ всѣ свои вотчины и уѣхалъ сначала въ Соловки, а тамъ долго жилъ за Онегою и присылалъ часто гонцовъ къ твоему покойному дядюшкѣ, и тотъ также писалъ къ нему грамотки.

— А за что они поссорились.

— Вотъ за что, батюшка: можетъ быть, ты не знаешь, что покойный твой дядюшка, а нашъ баринъ, Семень Яковлевичъ, держался одного толку съ своимъ братомъ, сирѣчь — не прогнѣвайся, батюшка! — былъ такой же еретикъ, какъ и онъ. Правда, только то и было въ немъ худаго... Этакой доброй души поискать! Не токма свои, да и всѣ чужіе то шли къ нему словно къ отцу родному. Случится ли съ кѣмъ бѣда: домишко сгорить — къ Семену Яковлевичу! Выбьетъ ли поле градомъ — къ Семену Яковлевичу!... Сосѣди межъ собой повздорятъ — къ нему же на судъ! А ужъ объ нищей братіи и говорить нечего: со двора не сходили. Грѣшно также сказать, чтобъ онъ обижалъ нашъ церковный причетъ; онъ и имъ въ нуждѣ помогать, только ни самъ въ Божью церковь не входилъ,

ни священника къ себѣ съ крестомъ не допускалъ; а молился у себя въ образной по какимъ-то стариннымъ книгамъ. Намъ никому не было помѣхи говѣть, исповѣдываться и ходить къ причастію, да самъ то онъ никогда не исповѣдывался и не приобщался. Вотъ, батюшка, годовъ пять тому назадъ наслалъ на него Господь какую-то немощь; сталъ онъ чахнуть: что день, то хуже. Приводили къ нему всякихъ знахарей — все лучше нѣтъ! Вотъ послали въ Москву по какого-то досужаго человѣка изъ нѣмчинъ. Пріѣхалъ и тотъ, прожилъ у насъ сутокъ трое, давалъ барину всякія снадобья; да какъ увидѣлъ, что ему отъ нихъ льготы никакой нѣтъ, а стало еще тяжелѣе, и что вся дворня посматриваетъ на него изъ подлѣбья, такъ онъ за добра ума, поворота оглобли, да и былъ таковъ!... Прошло этакъ еще съ недѣлю; баринъ пересталъ ужъ и съ постели вставать; не ѣсть, не пьеть — кости да кожа. Худо дѣло!... Однажды подъ вечерокъ, собрались мы всѣ въ людскую, да и толкуемъ межъ собой: что съ нами сиротами станется, кто будетъ у насъ бариномъ?... Вотъ нашъ дворецкій, Прокофій Иванычъ — ты ужъ его не засталъ, батюшка — и началъ намъ говорить: «Что вы, ребята, о пустякахъ то болтаете?... Кому достанемся, кто бариномъ будетъ? — Вѣстимо дѣло, безъ барина не останемся; а вы о томъ подумайте, что нашъ батюшка Семень Яковлевичъ — кормилецъ нашъ, родной отецъ! — умираетъ какъ собака!» Вотъ всѣ мы такъ руками и всплеснули. «Ахъ, батюшки! вѣдь правда: умереть онъ безъ покаянія!» — «Да что жъ дѣлать-то, Прокофій Иванычъ?» — сказалъ ключникъ Терентій. — «А вотъ что: ступай хоть ты скорѣй къ отцу Василию, скажи ему, что Семень Яковлевичъ умираетъ и зоветъ его къ себѣ; а мы пойдемте всѣ къ барину, повалимся ему въ ноги. Господь милостивъ — авось упросимъ его, чтобъ онъ души-то своей не губилъ!» — Идемте, ребята! — закричали всѣ, — да цѣлой гурьбой, и старый и малый, всѣ до одинаго пошли къ барину. Стали входить потихоньку въ его опочивальню — глядимъ, лежитъ сердечный, чуть живъ! — Что вы, братцы? — промолвилъ онъ, — зачѣмъ пришли? — Кормилецъ ты нашъ! — сказалъ дворецкій, — ты былъ намъ всѣмъ вмѣсто отца родного, и мы, какъ дѣти, пришли просить тебя — не откажи намъ въ послѣдней нашей просьбѣ! Дворецкій повалился въ ноги, а за нимъ и мы всѣ упали на землю. — Ну, что? —

шепнулъ Семень Яковлевичъ;—говори!—Батюшка баринъ!—сказалъ Прокофій Ивановичъ,—ты человекъ добрый, за тебя богомольцевъ много будетъ, да всѣ ихъ молитвы-то въ прокъ не пойдутъ, коли ты умрешь, какъ нехристь какая. Прикажи позвать священника! Глядимъ—баринъ нахмурился.—Ступайте вонъ, дурачье! — молвилъ онъ гнѣвно.—Не ваше дѣло!—Какъ, батюшка, не наше!—заговорилъ дворецкій.—Да коли ты, отецъ нашъ, умрешь безъ покаянія, такъ какой отвѣтъ дадимъ мы Господу Богу, когда на страшномъ судѣ онъ скажетъ намъ: «Окаянные! вашъ добрый господинъ кормилъ и поилъ васъ, берегъ какъ дѣтей родныхъ, а вы, рабы нечестивые, не лежали у его порога, не умоляли его покаяться!» — Братцы! — промолвилъ дворецкій, заливаясь слезами, — просите всѣ барина! — Вотъ поднялся, батюшка, такой вопль и плачь, что и сказать нельзя! Баринъ долго крѣпился, все гналъ насъ вонъ, да видно подъ конецъ слезы-то наши одолѣли. — Ну, ну, глупые! — промолвилъ онъ,—позовите попа! — А батька и въ двери!—Ты, Дмитрій Афанасьичъ, и его также не засталъ: о спожинкахъ будетъ ровно годъ, какъ онъ померъ... Вотъ ужъ былъ подлинно Божій человекъ!... Такой смиренный, любовный! И горя-то ему, сердечному, много было: похоронилъ подъ старость жену, да семерыхъ дѣтей, а все не унывалъ! Иногда ему сгрустнется — заплачетъ, да тутъ же и начнетъ каяться: «Ахъ, я грѣшникъ, грѣшникъ! да развѣ Господь не воленъ въ своемъ?... Онъ далъ, Онъ и взялъ — буди Его святая воля!» Утретъ глаза и какъ ни въ чемъ не бывало. — Вотъ какъ онъ вошелъ въ барскую опочивальню, — какъ теперь все помню, — помолился на святые иконы и сказалъ:—Миръ дому сему!...—Здравствуй, Семень Яковлевичъ? — промолвилъ онъ, подойдя къ барину. — Ну, слава тебѣ Господи! видно попомнилися передъ Богомъ твои добрая дѣла, и милостыня твоя принесла свой плодъ. Ты желаешь, Семень Яковлевичъ, исполнить послѣдній долгъ христіанскій?—Не я,—проговорилъ бояринъ, — а вотъ они пристали.—А самъ-то ты, Семень Яковлевичъ?...—спросилъ священникъ. — Я бы тебя, Василій Алексѣичъ, не потревожилъ! — Вотъ что, молвилъ отецъ Василій. — Такъ прощай, бояринъ! Мнѣ у тебя дѣлать нечего.

Мы всѣ кинулись къ священнику: «Батюшка, не уходи!» «Эхъ, дѣтушки!» сказалъ отецъ Василій, «не знаете сами, чего просите. Да коли онъ хотѣлъ приступить къ такому



дѣлу ради того только, чтобъ отъ васъ отвязаться, такъ это будетъ ему не во спасеніе, а въ пущую гибель. Ужъ по мнѣ лучше ему умереть еретикомъ, чѣмъ лукавымъ Іудею». Іудею! — прошептала баринъ привставая. «Да, Семень Яковлевичъ» — сказалъ отецъ Василій. «Вѣруешь ли ты, что я служитель истинной, православной церкви и желаешь ли отъ всей твоей души примириться съ нею!... Отвѣчай, Семень Яковлевичъ!»

У насъ у всѣхъ сердца такъ и замерли. Глядимъ на барина, ждемъ, что онъ скажетъ... Ни словечка! Молчитъ, какъ убитый.

— Ну вотъ видишь ли, бояринъ, — заговорилъ опять отецъ Василій, — ты молчишь, такъ не правду ли я говорю? Лукавый Іуда, предавая Спасителя, называлъ Его своимъ наставникомъ и лобзалъ Его, а ты что хотѣлъ дѣлать? развѣ не то же самое?

— Да знаешь ли, — промолвилъ наконецъ баринъ, — что скоро уже тридцать лѣтъ...

— Какъ ты самъ отлучилъ себя отъ церкви, — перебилъ отецъ Василій. — Знаю, бояринъ!... Великій грѣхъ — подлинно великій!... А все не бѣда! Ты грѣшникъ — такъ что жъ? Мы всѣ грѣшники: да для кого же Христосъ и распинался, какъ не для насъ? Не онъ ли самъ сказалъ: «Приде бо сынъ человѣческій взыскати и спасти погибшаго!...» Вотъ онъ и пришелъ къ тебѣ. А ты, Семень Яковлевичъ, прими Его съ вѣрой и любовію — не такъ, какъ Іуда, но какъ мытарь. Не бойся грѣха твоего: Господь милосердъ. Вѣдь Онъ, нашъ батюшка, несетъ на себѣ грѣхи всего міра — такъ ужъ твои не много Ему тяготы прибавятъ.

Мы всѣ словечка не могли вымолвить отъ слезъ, а баринъ молчалъ, только въ щекахъ у него заиграла румянецъ, и глаза изъ мутныхъ сдѣлались такими свѣтлыми.

— Да, Семень Яковлевичъ, — сказалъ опять отецъ Василій, — кто кается, того Господь не отвергаетъ. Не намъ грѣшнымъ чета великій апостоль Петръ, а вѣдь и онъ трижды отрекся отъ Христа, да какъ покался, такъ остался попрежнему первымъ ученикомъ Господнимъ. Ты также отрекся отъ православной церкви, покайся и ты — возвратись къ ней, какъ блудный сынъ къ отцу, и она такъ же, какъ этотъ сродобольный отецъ, приметъ тебя съ радостію, со-

грѣть на груди своей, отреть твои слезы и облечетъ въ лучшую свою одежду!...

Тутъ самъ отецъ Василій заплакалъ; глядимъ—и баринъ нашъ, молчалъ, молчалъ, да какъ вдругъ зарыдаетъ!... а слезы то.— слезы! такъ рѣкой и потекли!... Отецъ Василій махнулъ намъ рукой; мы всѣ вышли, и что жъ, Дмитрій Афанасьичъ? покойный твой дядюшка исповѣдался, приобщился, и съ того самага часа пошло ему все лучше, да лучше, такъ что онъ недѣли черезъ двѣ почитай совсѣмъ оправился. Вотъ радость-то была, когда онъ, отецъ нашъ, въ первый разъ прѣхалъ къ обѣднѣ... Ну, вѣришь ли Богу, Дмитрій Афанасьичъ, такое было для всѣхъ веселье, словно въ великій день Христовъ!... Народу набилось въ церковь видимо-невидимо: и дѣды и внучата, всѣ поднялись!... Иной старикъ ужъ года два не слѣзаль съ полатей, а тутъ—откуда ноги взялись,—бредетъ въ церковь, чтобъ на барина взглянуть, да помолиться о его здоровьи. Вотъ какъ обѣдня отошла, отецъ Василій вышелъ на амвонъ и сказалъ: «Православные! возблагодаримъ теперь всѣмъ міромъ Господа за душевное и тѣлесное исцѣленіе благочестиваго раба Его, боярина нашего Симіона». Онъ началъ служить благодарственный молебень; мы всѣ пали на колѣни, а баринъ повалился передъ иконою Спасителя, да такъ во всю службу и не вставалъ. Спустя недѣлю послѣ этого, дядюшка твой отправилъ гонца съ грамотой къ братцу своему. Эту грамоту возилъ Алешка Косой. Какъ Андрей Яковлевичъ прочелъ ее, такъ распалился такимъ гнѣвомъ, что и Господи!.. Учаль кричать, топтать ногами!... «Скажи, дескать, твоему барину, что изо всѣхъ моихъ родныхъ я любилъ только его одного, а теперь онъ хуже для меня всякаго татарина... Вонъ отсюда, холопъ предателя! Нѣтъ тебѣ здѣсь ни хлѣба, ни воды, ни кровли! Я скорѣй приму въ свой домъ разбойника и накормлю бѣшенаго пса, чѣмъ слугу окаяннаго отступника!»—Вѣстимо дѣло, Алешка Косой поклонился, да и давай Богъ ноги!—Вотъ, Дмитрій Афанасьичъ, какъ поссорились твои дядюшки. Не знаю, что Андрей Яковлевичъ, а покойный твой дядюшка Семенъ Яковлевичъ, очень объ этомъ горевалъ, и не разъ еще посылалъ къ своему брату, только пріемъ то посланнымъ былъ всегда одинакій: на порогъ да въ шею!

— А что, Ферапонтъ, дядюшка Андрей Яковлевичъ женатъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, батюшка, объ этомъ и рѣчи никогда не было... Э! да что это?... Чу! слышишь, Дмитрій Афанасьичъ?

— Да, слышу: охотничьи рога.

— И кажись не далеко... Пойдемъ-ка, батюшка, посмотримъ, что это такое.

— Пойдемъ,—сказаль Левшинъ вставая. — Да лѣсомъ то еще далеко?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ; и полверсты не будетъ. Вонъ по той дорожкѣ мы какъ разъ выйдемъ вонъ изъ лѣсу.

Левшинъ и Ферапонтъ пошли по узенькой тропинкѣ и черезъ нѣсколько минутъ повстрѣчались съ боярскимъ челядцемъ, который также пробирался въ поле.

— И ты, Сидорычъ, идешь туда же? — сказалъ Левшинъ.

— Какъ-же, Дмитрій Афанасьичъ, и я хочу взглянуть на царскую охоту.

— На царскую?

— Да, батюшка! Вѣдь это изволить охотиться государь Петръ Алексѣевичъ съ ближними своими боярами. Сейчас пріѣхаль на село стремянный нашего господина, Антонъ Курьшовъ; онъ сказываль, что сегодня поутру собралось въ Коломенскомъ до двадцати бояръ.

— И все съ охотами?—спросилъ Ферапонтъ.

— Вѣстимо съ охотами.

— То-то, чай, народу-то!

— Какъ-же! Однихъ стремянныхъ человекъ до тридцати, да только имъ приказано всѣмъ остаться, и за своими боярами на охоту не ѣздить.

— Какъ такъ?... Вѣдь ловчіе то и псары будутъ съ гончими порскать по лѣсу, да звѣря поставлять въ чистое поле, а при борзыхъ то собакахъ кто останется?

— Видно, одни господа. Антонъ говорилъ, что и нашему боярину пришлось взять четырехъ собакъ на свору: Злодѣя, Налета, Буяна и Касатку. Онѣ привыкли рыскать за стремянными, такъ за бариномъ нейдуть. Лихія собаки—что и говорить! Да какъ-то онъ съ ними справится!... Коли онѣ завидять сердечнаго дружка, а онъ не успѣетъ ихъ со своры спустить...

— Да!... не усидить на конѣ... Я самъ былъ у покойнаго барина стремяннымъ; ѣздокъ не плохой и сидишка есть, а такъ грохнулся однажды съ лошади, что небо съ

овчинку показалось! Нѣтъ, любезный, коли собаки у тебя на сворѣ, такъ не зѣвай!... Да что это бояремъ-то вздумалось?...

— А Богъ ихъ знаетъ!... За споромъ что ль дѣло стало, или такъ, ради потѣхи.

— Хороша потѣха!... И что за неволя, подумаешь!...

— Эхъ, братъ! да вѣдь у бояръ-то часто охота бываетъ пуще неволи.

— Ну вотъ припомни мое слово, Сидорычъ: безъ грѣха дѣло не обойдется.

Въ продолженіе этого разговора они дошли непримѣтнымъ образомъ до конца лѣса. Передъ ними открылись обширныя, холмистыя поля. Направо по суходолу разстились заповѣдныя луга села Богородскаго; налѣво по лощинамъ тянулся длинный рядъ болотъ, поросшихъ мелкимъ кустарникомъ. Прямо передъ ними въ живописномъ безпорядкѣ разбросано было нѣсколько отдѣльныхъ рощъ, которыя на охотничьемъ языкѣ называются *отъемными островами*. Между этими рощами и лѣсомъ, на опушкѣ котораго стоялъ Левшинъ, было не болѣе полу-версты. Одѣтые въ разноцвѣтныя платья, псаря, ловчіе и доѣзжачіе, которые, очевидно, принадлежали разнымъ господамъ, стояли поодаль отъ крайней гощи и дожидались только приказанія, чтобъ *бросить* гончихъ въ островъ. Бояре на красивыхъ персидскихъ коняхъ разѣзжали по полю, держа на шелковыхъ сворахъ борзыхъ собакъ, которыя безпрестанно путались между собою, подбѣгали подъ лошадей и, повидимому, весьма тревожили непривычныхъ къ этому дѣлу господъ. Вотъ бояре начали занимать мѣста по перелѣскамъ, нѣкоторые изъ нихъ потянулись къ Богородскому лѣсу и стали шагахъ въ пятидесяти отъ его опушки.

— Кто этотъ господинъ? — спросилъ Феропонтъ у боярскаго челядинца; — вонъ что прямо противъ насъ на соврасомъ конѣ?

— Въ голубомъ аксамитномъ кафтанѣ?

— Да... кажись такой строгій, смотреть все изъ-подъ лодья.

— Это, любезный, ближній комнатный стольникъ государя Петра Алексѣевича, князь Феодоръ Юрьевичъ Ромодановскій.

— А вотъ этотъ бояринъ—такой дородный, что стоитъ у куста?

— Въ скарлатномъ зипунѣ и парчевой мурмолкѣ?... Это князь Яковъ Федоровичъ Долгорукій; а вотъ подѣхалъ къ нему князь Троекуровъ... Экъ онъ собакъ-то нацѣплялъ! никакъ съ поль-дюжины будетъ!... Ахъ онѣ проклятыя, такъ и рвутся!... А вонъ отъ перелѣску ѣдетъ сюда на ворономъ конѣ бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ...

— Да ты никакъ всѣхъ бояръ-то знаешь, Никита Сидорычъ!

— А какъ-же!... Вѣдь они почитай всѣ къ намъ жаждутъ... Э! смотри-ка—смотри!... Долгоруковскія-то собаки начали грызться съ Троекуровскими... Ну!... пошла свалка!... Вотъ оно безъ стремянныхъ то!... Куда боярамъ ладить съ этими псами!... Гляди-ка, братъ, подѣ княземъ Троекуровымъ конь-то никакъ испугался!.. Экъ онъ началъ прыгать!... Ахти, батюшки! убьетъ онъ его.

— Нѣтъ,—сказалъ Феропонтъ, — ничего!... Вонъ и собака-то кой-какъ растащили...

— Да это что!—молвилъ боярскій челядинецъ.—Погоди, братъ, то ли еще будетъ!

— Посмотри ка сюда, Никита Сидорычъ; кто это тамъ изъ-за рожи выѣхалъ... вотъ тотъ, безъ собакъ?

— На сѣромъ конѣ?

— Да, въ красномъ кафтанѣ съ золотыми петлицами... Ого, братъ! да передъ нимъ всѣ бояре шапки снимаютъ!...

— Постой-ка — постой!... Ужъ не онъ ли это, нашъ батюшка?... Ну, такъ и есть — онъ! точно онъ!... Шапку долой, братецъ!...

— Да что жъ это за бояринъ такой? — спросилъ Феропонтъ, снимая шапку.

— Что-ты!... Какой бояринъ!... Развѣ не видишь? Это самъ государь Петръ Алексѣвичъ!

— Право!... Вѣдь я сродясь его не видывалъ!... Кабы онъ, нашъ батюшка, поближе сюда подѣхалъ!

— Нѣтъ, изволилъ поворотить направо... Вонъ взѣхалъ на холмикъ... Знать оттуда будетъ смотрѣть на охоту.

— А эти-то, что позади эго ѣдутъ, видно самыя наибольшіе бояре?

— Ну, вѣстимо!... Одинъ, чай, дядька его, Кирилла Полуектовичъ Нарышкинъ! а другой... нѣтъ любезный!... кажись и не бояринъ, и не ратный человекъ... Вишь какъ онъ позади плетется... Лошаденка невзрачная и самъ-то

онъ сидитъ на ней тавимъ увальнемъ... Долженъ быть учитель государя Петра Алексѣевича.

— А развѣ царскій-то учитель не бояринъ?

— Нѣтъ. Дьякъ челобитнаго приказа, Никита Алексѣевичъ Зотовъ... Ну, вотъ и псаря зашевелились!... Видно приказано спускать гончихъ!...

Тутъ словоохотный челядинецъ и Феропонтъ перестали разговаривать; они обратили вниманіе на толпу псарей, которые спѣшились и начали суетиться около своихъ гончихъ собакъ.

### VIII.

Пока охотники дѣлали всѣ нужныя распоряженія и *распаривали* гончихъ собакъ, сѣпленныхъ попарно желѣзными *смычками*, прошло довольно времени. Вотъ двинулись, наконецъ, псаря съ своими стаями; за ними потянулись ловчіе и довѣзжачіе, и въ нѣсколько минутъ вся эта пестрая толпа разсыпалась по роцѣ.

— Что, братъ, — сказалъ вполголоса Никита, — твой баринъ охотникъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ отрывисто Феропонтъ.

— То-то, я гляжу: мы ждемъ, не дождемся, когда потѣха начнется, а ему, кажись, и дѣла нѣтъ!... Прислонился къ дереву, задумался, глазъ кверху не подымаетъ!... Ну, я не въ него!... Не знаю, какъ ты, а у меня теперь такъ сердце и замираетъ; такъ и поджидаю; вотъ тяфкнетъ первая!

— Что дѣлать, любезный! — сказалъ Феропонтъ, покачивая головою. — Диковинка, да и только!... Подумаешь, какъ не любить псовую охоту?... Да есть-ли на свѣтѣ потѣха лучше этой?... У покойнаго дядюшки Дмитрія Афанасьича знатная была охота — и гончія отличныя. За одного выжлеца сосѣдъ давалъ ему двѣ семьи крестьянъ — такъ онъ и слышать не хотѣлъ! Что жъ ты думаешь, любезный: вѣдь баринъ всѣхъ перевелъ!

— Неужли?

— Видитъ Богъ, такъ!

— Чѣмъ-же онъ забавлялся, когда жилъ въ своей вотчинѣ?

— Хозяинчалъ, судилъ и рядилъ крестьянъ, да также, какъ здѣсь, пострѣливалъ и гулялъ по лѣсу.

— Видно ужъ, братъ, такой у него обычай!... А вѣд баринъ, кажись, добрый?

— Такой-то добрый, что мы всё за него хоть сейчасъ въ огонь и въ воду!... Да ты что это, Садорычъ, все по-сматриваешь?...

— А вотъ смотрю: что жъ это они ни изъ короба, ни въ коробъ? Пора бы на слѣдъ напасть; кажись, народу не мало!... Чу!... никакъ тѣкнула!... Такъ и есть!... Натекла!... Ну! подхватили!...

Вся роща оживилась; громкіе крики, свистъ и порсканье псарей начали сливаться съ лаемъ собакъ. Бояре стояли неподвижно на своихъ мѣстахъ, устремивъ внимательные взоры на рощу; борзые собаки, приподнявъ уши, прислушивались къ гоньбѣ гончихъ. Эта гоньба, сначала слабая, безпрестанно усиливаясь, превратилась наконецъ въ какой-то безумный лай и визгъ.

— Ого! — вскричалъ челядинецъ, — напали на горячій слѣдъ!

— Какой слѣдъ!—прервалъ Феропонтъ. — Чу?... слышишь? гонять по зрячему.

— Да, любезный, да, точно по зрячему!

— Такъ что жъ они такъ разметались? — продолжалъ Феропонтъ.—И тутъ и тамъ. Ну, братъ! видно зайцевъ то у васъ въ рощѣ довольно!... Вотъ, вотъ!... Гляди, гляди!...

Въ одномъ перелѣскѣ мелькнулъ заяцъ, въ то же время съ полъ-дюжины другихъ, отдѣлясь отъ лѣсной опушки, понеслись по полю — и тутъ началась эта чудная охота, описанная довольно подробно въ Дѣянїяхъ Петра Великаго и въ одной русской лѣтописи \*). Всѣ бояре разсыпались въ разныя стороны, поднялась бѣшеная скачка, крикъ, безпорядица. Кто не успѣлъ спустить своихъ собакъ, того онѣ стаскивали съ коня; кто успѣлъ, тотъ летѣлъ вслѣдъ за ними по кочкамъ и пенькамъ. Не привыкшія къ такой отчаянной вѣдѣ, лошади спотыкались, падали и давили подъ собой перепутанныхъ въ своры собакъ. Тутъ лежала лошадь, прижавъ къ землѣ своего всадника; тамъ мчался конь безъ сѣдока; здѣсь валялась въ грязи боярская шапка, а подлѣ купался въ лужѣ самъ бояринъ. Однимъ словомъ, въ нѣ-

\*) Исторія послѣдованїа царствъ отъ Рюрика до Петра Великаго.

сколькo минутъ все пространство между рощами и Богородскимъ лѣсомъ превратилось въ настоящее поле сраженія, или, по крайней мѣрѣ, кавалерійской схватки.

— Вотъ тебѣ и охота!—вскричалъ челядинецъ. — Ну, бояре то сегодня понатѣшутся — будутъ помнить!... Батюшки свѣты! куда это скачетъ вонъ тотъ бояринъ?... Прямохонько въ трясину!... Правѣй, бояринъ!... Правѣй!... болото!... Ну!!! съль!... Вонъ и другой!...

— Совсѣмъ завязали! — прервалъ Феропонтъ. — Экъ лошади то бьются!... Да побѣжимъ, Никита Сидорычъ, вытащимъ ихъ какъ-нибудь!

— Вытащимъ!... Поди-ка, братъ, сунься!... Я однажды забрелъ ночью въ это болотце, такъ по поясъ втюрился. Нѣтъ, братъ, тутъ безъ жердей ничего не сдѣлаешь.

— Да здѣсь валежнику то много; вонъ лежитъ цѣлая елка.

Въ продолженіе этого разговора, направо отъ нихъ показался пожилыхъ лѣтъ бояринъ, подъ которымъ испуганный конь летѣлъ, какъ стрѣла. Закусивъ удила, онъ мчался во всю прыть вдоль самой опушки лѣса. Вдругъ цѣлая стая собакъ, гоняся за зайцемъ, который пробирался въ Богородскій лѣсъ, кинулась подъ ноги бѣшеному коню; онъ запрыгалъ, началъ бить и передомъ, и задомъ, но бояринъ, повидимому, хорошій ѣздокъ, удержался въ сѣдлѣ, и конь, какъ будто бѣ чувствуя, что не можетъ сбить своего сѣдока, взвился на дыбы, скакнулъ впередъ и со всѣхъ четырехъ ногъ грянулся о землю.

— Господи!... что это?—вскричалъ челядинецъ.—Да это никакъ нашъ бояринъ!... Ну, такъ и есть!

Феропонтъ съ Никитою, вслѣдъ за нимъ и Левшинъ, бросились на помощь къ боярину Буйносову. Они подняли его на ноги.

— Батюшка ты нашъ!—сказалъ челядинецъ,—да ты, я чай, совсѣмъ расшибся!

— Ничего,—отвѣчалъ Буйносовъ.—Кажись, я не очень ушибся... вотъ только на правую то ногу ступить не могу.

— Ужъ не переломилъ ли ты ее, Кирилла Андреевичъ?—спросилъ съ безпокойствомъ Левшинъ.

— Не знаю, только больно кажется зашибъ. Помогите-ка мнѣ съестъ на коня, да поскорѣй въ Богородское.

Буйносова посадили на лошадь; Феропонтъ взялъ ее подъ уздцы и пошелъ шагомъ, а Левшинъ пошелъ подлѣ стре-



мени, чтобъ въ случаѣ нужды поддержать ушибленнаго боярина. Межь тѣмъ челядинецъ побѣжалъ на пчельникъ за Савельичемъ, который не только былъ хорошимъ пчеловодомъ, но слылъ также во всемъ околдкѣ лучшимъ костоправомъ и *досужимъ* человекомъ; у него все лѣчились и многіе выздоравливали, вѣроятно, потому, что его медицинскіе способы ограничивались, по большей части, *наговорами* и слѣдовательно не мѣшали дѣйствовать натурѣ, этому медику, которому хорошіе доктора иногда помогаютъ, а дурные почти всегда задаютъ двойную работу. Черезъ полчаса бояринъ Буйносовъ доѣхалъ до своей подмосковной. Когда его раздѣли и уложили въ постель, явился Савельичъ, мужикъ пожилой, но еще здоровый, съ угрюмымъ лицомъ и окладистой бородою, которая начинала уже сѣдѣть. Прочитавъ длинную молитву, онъ подошелъ къ боярину, перекрестилъ три раза его ногу, приговаривая: «помоги Господи!» — и началъ ее ощупывать. Эта операція продолжалась нѣсколько минутъ. Наконецъ Савельичъ вымолвилъ: «Слава Тебѣ Господи! ножка твоя, батюшка Кирилла Андреевичъ, цѣлехонька, суставчики по своимъ мѣстамъ, только кость то крѣпко зашиблена. Прикажи ее припаривать трухою, такъ, Богъ милостивъ, все пройдетъ».

— А что, Савельичъ,—спросилъ бояринъ,—дня черезъ три можно мнѣ ѣхать въ дорогу?

— Нѣтъ, кормилецъ. Велика будетъ милость Божья, коли ты и черезъ недѣлю встанешь съ постели.

— Черезъ недѣлю?... Какъ же это Савельичъ! а вѣдь мнѣ крайняя нужда...

— Что жъ дѣлать, батюшка, потерпи!

— Я собирался ѣхать въ знакомую тебѣ сторону, такъ хотѣлъ и тебя взять съ собою.

— Власть твоя, батюшка!

— И ты думаешь, что прежде трехъ недѣль...

— Можетъ статья, немного и попрежде, только наврядъ.

— Ну, дѣлать нечего!... Ступай, Савельичъ, да только никуда не отлучайся, неравно ты мнѣ понадобишься.

— Слушаю, батюшка.

Савельичъ поклонился въ поясъ своему боярину и вышелъ вонъ изъ покоя.

— Садись-ка Дмитрій Афанасьичъ!...—сказалъ Буйносовъ,—вотъ здѣсь—подлѣ моей кровати. Ну что, всѣмъ ли доволенъ?

— Всѣмъ, Кирилла Андреевичъ. По милости твоей, я живу здѣсь, какъ въ родномъ своемъ дому.

— Вотъ подумаешь,—продолжалъ Буйносовъ,—загадывать то никогда не должно. Завтра я хотѣлъ отправиться въ дорогу—и вмѣсто этого... А все князь Ѳеодоръ Юрьевичъ Ромодановскій!... Кабы не онъ, такъ не лежать бы мнѣ сегодня въ растяжку.

— Что жъ онъ такое сдѣлалъ?

— А вотъ что: онъ давно уже приставалъ къ царю Петру Алексѣевичу: «Пожалуй дескать, государь, позабавься когда ни есть любимою потѣхою твоего покойнаго родителя, царя и великаго государя Алексѣя Михайловича — дозвожь намъ, вѣрнымъ слугамъ твоимъ, хоть разъ потѣшиться вмѣстѣ съ тобою псовой охотою». Глядя на него и я и другіе бояре начали о томъ же государю челомъ бить. Онъ все изволилъ отпѣкиваться: времени дескать, нѣтъ, учиться надобно—и то и другое.—Такъ нѣтъ! Князь Ромодановскій не унялся и насъ все подбивалъ о томъ же. Третьяго дня учитель царскій, Никита Алексѣевичъ Зотовъ, сказалъ мнѣ, будто бы государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ говорить, что и боярамъ то не слѣдъ ѣздить съ собаками; это дескать, и забава то псарская, а не боярская; бояре, дескать, должны не за зайцами рыскать, а съ врагами воевать или засѣдать въ царской думѣ.—Послушайтесь меня,—примолвилъ Зотовъ,—отстаньте отъ государя Петра Алексѣевича, а не то ужъ онъ сыграетъ съ вами шуточку. Ну, вотъ и вышло такъ! Вчера князь Ромодановскій началъ опять подзывать государя на охоту; къ нему присталъ князь Иванъ Андреевичъ Хованскій,—а вѣдь онъ краснобай!—началъ расписывать такъ псовую охоту, что и Господи!... Это почитай, дескать, то же ратное дѣло; тутъ, дескать, потребны и проворство, и смѣлка, и воинская хитрость, и то и се.—Подлинно, не даромъ прозвали этого Хованскаго тарорумъ—закидалъ всѣхъ словами. Государь Петръ Алексѣевичъ слушалъ, ухмылялся, да и сказалъ: «Ну, инъ быть по вашему, бояре. Просимъ завтра ко мнѣ въ Коломенское; оттуда поѣдемъ охотиться въ дачахъ Кириллы Андреевича Буйносова. Мы слышали, что въ его заповѣдныхъ рощахъ много всякаго звѣря». Вотъ сегодня поутру и собрались мы съ нашими охотами въ Коломенское. Какъ государь Петръ Алексѣевичъ вышелъ садиться на коня, то изволилъ сказать, указывая на стреляющихъ: «На что этотъ народъ? Дѣло

другое псари: они при гончихъ, а съ борзыми то собаками мы сами станемъ охотиться». Я было промолвилъ, что намъ безъ стрелянныхъ остаться нельзя; но Государь изволилъ заговорить свое: «Мнѣ дискать не пригоже тѣшиться охотою съ вашими холопами; я, дискать, бояре, хочу охотиться съ одними вами».—Что будетъ дѣлать? воля его царская; пришлось брате на своры собакъ. Ты, чай, видѣлъ, Дмитрій Афанасьичъ, какъ мы охотились? Кто съ лошади слѣтѣлъ, кто въ болото попалъ. А батюшка Петръ Алексѣвичъ сталъ въ сторонкѣ, глядитъ, какъ мы рыскаемъ словно шальные по полю, да посмѣивается. Ну, нечего сказать, уменъ, дай Богъ ему здоровья!... Охъ нога!... Вотъ ужъ подлинно разумъ не по лѣтамъ! Коли онъ и теперь нашу братью стариковъ учить уму, такъ что жъ будетъ впередъ.... Ой, батюшки!... вотъ и бока то стали побаливать!

— Не послать ли, Кирилла Андреевичъ, за Савельичемъ?

— Нѣтъ, а потрудись сказать, чтобъ пришли скорѣе припарить мнѣ ногу, да не мѣшало бы и баню истопить. Теперь я отдохну немного, а ты ступай, Дмитрій Афанасьичъ, покушай; и коли мой дворецкій прѣхалъ изъ Москвы, такъ пошли его ко мнѣ.

Левшинъ, передавъ людямъ приказаніе боярина, пообѣдалъ на скорую руку и отправился, по своему обыкновению, бродить по лѣсу. Дикое мѣстоположеніе пчельника, близъ котораго Левшинъ былъ поутру, очень ему приглянулось, и онъ захотѣлъ побывать еще разъ въ этомъ лѣсистомъ оврагѣ, въ глубинѣ котораго было свѣжо и прохладно даже въ самый знойный день. Подходя къ пчельнику, онъ повстрѣчался опять съ Феропонтомъ.

— Э, голубчикъ!—сказалъ Левшинъ,—да ты видно до меду то большой охотникъ?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ Феропонтъ; — я былъ на пчельникѣ, только не затѣмъ, чтобъ медку поѣсть. Мнѣ надобно было кой-о-чемъ потолковать съ Савельичемъ.

— Да развѣ ты боленъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ. Я все разспрашивалъ Савельича о Брынскихъ лѣсахъ. Вѣдь онъ и тамъ бывалъ. Я этой стороны вовсе не знаю, такъ не мѣшаетъ поразспросить о ней бывалыхъ людей... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, какъ онъ мнѣ поразсказалъ, такъ вѣда то по этимъ Брынскимъ лѣсамъ со всячинкою!... Не худо намъ запастись всякимъ оружіемъ.

— Намъ?... Да развѣ бояринъ посылаетъ меня въ Брынскіе лѣса?

— Такъ ты ничего не слышалъ?

— Ничего.

— Ну, видно, бояринъ не успѣлъ еще тебѣ сказать. Какъ ты отъ него вышелъ, такъ онъ позвалъ къ себѣ дворецкаго, велѣлъ ему снарядить меня въ дорогу и дать добраго коня съ своей конюшни. Я выбралъ себѣ, батюшка, лошадку не такъ чтобъ очень взрачную собою—а ужъ лошадь!... убить, да уѣхать! Бояринъ купилъ ее на Дону; первая лошадь во всемъ косякѣ была.

— Да почему ты знаешь?...

— Что тебя, Дмитрій Афанасьичъ, посылаютъ въ Брынскій лѣсъ?... Мнѣ дворецкій объ этомъ сказывалъ.

— Вѣдь это, кажется, далеко отсюда?

— Не такъ чтобы очень. Савельичъ говорить, что по зимнему пути и порожнякомъ можно на четвертые сутки доѣхать.

— Такъ это путь недалній.

— И дорога то, говорятъ, бредеть, да только до Мецовска, и тамъ лѣсами больно плоха; а съ тѣхъ поръ, какъ въ нихъ развелись раскольничьи скиты, такъ проселочнымъ дорогамъ и перекресткамъ счету нѣтъ, какъ разъ заплутаешься. Да и сброду всякаго много: коли вора сослѣдили и ему придержаться негдѣ, такъ онъ юркнетъ въ Брынскій лѣсъ и поминай какъ звали!... Разбойникъ ли уйдетъ изъ острога — куда? въ Брынскій лѣсъ; разстрига какой-нибудь, бѣглый холопъ — всѣ туда!... Не то, чтобъ всякій раскольничій скитъ былъ воровской пристанью, — нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ! Савельичъ говорить, что въ иныхъ скитахъ живутъ очень смирно и зазнамо разбойника держать не станутъ; да вѣдь у него на лбу не написано, что онъ разбойникъ; а мошеннику что вѣру переменить?... Придетъ въ любой скитъ, да скажетъ: «хочу, дескать, спастись и постоять за истинную вѣру»,—такъ его какъ разъ примутъ.

— Коли это правда, такъ Брынскій то лѣсъ настоящее разбойничье гнѣздо?

— Да, батюшка, въ старину, говорятъ, и проѣзду не было. Теперь начали тамъ селиться и завелись большія помѣстья, такъ стало потише; а съ той поры, какъ переѣхалъ туда на житье въ свою вотчину какой-то бояринъ

Куродавлевъ, — по дорогамъ-то шалить почитай вовсе перестали. Знаешь ли что, батюшка, ужъ не къ этому ли Куродавлеву посылаетъ насъ бояринъ?... Въдь они старинные пріятели.

— Можеть быть и къ нему.

— Э!... постой-ка, батюшка!... Да это никакъ тебя кличуть?... Ну, такъ и есть!... Здѣсь!... здѣсь!... Видно бояринъ тебя спрашиваетъ... Сюда, Сидорычъ, сюда!... Дмитрій Афанасьичъ здѣсь.

— Что это, батюшка, въ какую ты зашелъ трущобу?— сказалъ Сидорычъ, продираясь сквозь густые кусты. — Насилу я тебя нашель! Пожалуй къ боярину; онъ давно ужъ изволить тебя спрашивать.

Левшинъ успѣшилъ исполнить приказаніе Буйносова. Онъ нашель его за столомъ, на которомъ было все нужное для письма. Бояринъ перечитывалъ про себя довольно большой столбецъ, исписанный его рукою. Окончивъ чтеніе, онъ свернулъ въ круглый свитокъ эту длинную полосу бумаги, обвязалъ ее снуркомъ и сталъ прикладывать къ концамъ этого снурка восковую печать съ изображеніемъ подобнаго Кириллы чудотворца Новозерскаго.

— Присядь, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Буйносовъ, продолжая заниматься своимъ дѣломъ.—Мнѣ надо съ тобою поговорить.

— А что твоя нога, Кирилла Андреевичъ! — спросилъ Левшинъ.

— Да поваливается, а ужъ стать на нее вовсе не могу. Это бы ничего — я еще по милости Божіей, дешево отдѣлался, и кабы мнѣ не нужно было ѣхать въ дорогу, такъ и охъ бы не молвилъ... А нужда крайняя!... Ну, да видво Богу не угодно, дѣлать нечего! Ты помнишь, я думаю, что я собирался ѣхать въ мою Брынскую вотчину и хотѣлъ тебя взять съ собою?... Здѣсь тебѣ оставаться нельзя, Дмитрій Афанасьичъ; хоть моя подмосковная и въ сторонѣ, а все какъ-то не надежно — близко больно; того и гляди, что забредутъ сюда прежніе твои сослуживцы, или кто-нибудь изъ моихъ домашнихъ проболтается — долго ли до грѣха!... А тамъ хоть цѣлый вѣкъ живи, никто о тебѣ не провѣдаетъ. Тебѣ надобно будетъ ѣхать за Мещовскъ, Брынскими лѣсами. Въ этихъ лѣсахъ живеть, въ своей вотчинѣ, въ полуверстѣ отъ пробѣжей дороги, старинный мой пріятель, Юрій Максимовичъ Куродавлевъ. Ты отве-

зешь ему эту грамотку, — продолжалъ бояринъ, подавая запечатанный свитокъ Левшину, — и погостишь у него до моего приѣзда. Юрій Максимовичъ человекъ очень добрый; есть у него свои причуды, — да у кого ихъ нѣтъ! Въ старину онъ былъ чудо-богатырь, удалой воинъ, лихой наѣздникъ и за круговой братиною такой весельчакъ, что хотъ кого распотѣшить; теперь онъ поуходился, а все еще удали то въ немъ на трехъ молодцовъ станеть. А какой радушный хозяинъ, какой хлѣбосоль!... Только ужъ не прогнѣвайся: что ему въ голову засѣло, того, какъ говорится, клиномъ не выколотишь. Да вотъ хотъ теперешнее его житье; ну что за радость? забился въ этакую глушь! И добро бы еще былъ человекъ семейный, а то вдовецъ, дѣтей нѣтъ; я чаю, вовсе одичалъ!... Бывало, водилъ хлѣбъ-соль съ своею братьею боярами, жилъ всегда съ людьми, а теперь живетъ съ разбойниками, медвѣдами, волками да и тѣхъ то скоро не будетъ: онъ ихъ всѣхъ переведеть. А все вѣдь по упрямству: задумалъ считаться мѣстами, когда покойный государь Феодоръ Алексѣевичъ указалъ быть безъ мѣстъ. Я пытался было вызвать его опять въ Москву, да нѣтъ, и слышать не хочеть. «Я, дескать, обиженъ крѣпко — стою въ томъ, и самъ ни за что не попячусь: безъ царскаго указу не вернусь въ Москву!» Что будешь съ нимъ дѣлать... Я недавно получилъ отъ него вѣсточку: — пишетъ онъ мнѣ, что до него дошли слухи о послѣднемъ стрѣльцкомъ мятежѣ. «Да я, дескать, и вѣры этому не даю — не можетъ статься, чтобъ рускіе люди дерзнули возстать противъ своего Царя, и помазанника Божія. Да этакое, дескать, срама никогда не бывало на святой Руси». — Вотъ ты будешь для него живой грамоткой, Дмитрій Афанасьичъ, и когда онъ узнаеть, ради чего ты бѣжалъ изъ Москвы, такъ онъ съ тобою и разстаться не захочеть. Юрій Максимовичъ пишетъ также ко мнѣ... Да что!... и вѣрить этому и говорить объ этомъ не хочу!... А то еще, пожалуй, дашь себѣ волю — обнадѣешься!... Зачѣмъ?... Я ужъ привыкъ къ моей грусти и давно пересталъ надѣяться... — Бояринъ опустилъ голову, закрылъ руками глаза и, помолчавъ нѣсколько времени, заговорилъ опять, обращаясь къ Левшину: — Тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, должно отправиться сегодня въ ночь, такъ, чтобъ къ свѣту верстъ тридцать отѣхать. Днемъ около Москвы вездѣ стрѣльцы шатаются, какъ разъ кому-нибудь попадешься. Коли дастъ Господь, и я смогу дней

черезъ пять пуститься въ дорогу, такъ мѣшкать не стану. Да скажи-ка мнѣ, Дмитрій Афанасьичъ, не нужны ли тебѣ деньги?...

— Нѣтъ, Кирилла Андреевичъ, благодарствуй за твое отеческое попеченіе!... Денегъ у меня довольно: онѣ вѣдь не всѣ со мною были, когда я попался въ руки къ моимъ злодѣямъ; а коли милость твоя будетъ, такъ прикажи мнѣ дать какое-нибудь оружіе: меня привели къ тебѣ съ пустыми руками.

— А вотъ, — сказалъ бояринъ, — сними-ка со стѣнки эту саблю... Нѣтъ! не эту... Эту пожаловалъ мнѣ царь Алексѣй Михайловичъ; ее дѣлали на заказъ въ оружейной мастерской палатѣ... А вотъ подлѣ то... Сабля казылбашская, въ серебряной оправѣ... Ну, да! вотъ эта!... Изволь владѣть ею. Сабля добрая, булатная, и вѣрно тебѣ по рукѣ придется... Да возьми ка еще съ собою вотъ эти турскіе пистолы...

— Зачѣмъ, бояринъ?... и такъ много твоихъ милостей, — сказалъ Левшинъ, любуясь великолѣпной полоскою своей сабли. — Будетъ съ меня и этого товарища.

— Такъ скажи дворецкому, чтобъ онъ отпустилъ слугѣ твоему пицаль или пару пистолей. По дремучимъ лѣсамъ спустя рукава ѣздить не надо; почему знать?... не разбойникъ, такъ медвѣдь попадетъ. Теперь, Дмитрій Афанасьичъ, потрудись вынуть изъ кіота—вонъ эту икону Иверской Божіей Матери, въ серебряномъ золоченомъ окладѣ.

Левшинъ исполнилъ приказаніе Буйносова.

— Подай мнѣ ее сюда, — продолжалъ бояринъ. — Я хочу благословить тебя на дорогу. Да сохранить тебя отъ всякаго зла Пречистая Дѣва подѣ святымъ покровомъ Своимъ. Она заступница и мать всѣхъ сиротъ, а ты вѣдь также, какъ я, круглый сирота.

Когда Левшинъ приложился къ иконѣ, бояринъ поцѣловался съ нимъ и сказалъ:

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ, я снабдилъ тебя оружіемъ земнымъ и духовнымъ, теперь съ Богомъ!... Да смотри же, лишь только смеркнется, такъ и отправляйся; чѣмъ дальше ты за ночь отъѣдешь отъ Москвы, тѣмъ лучше.

Простясь съ Буйносовымъ, Левшинъ пошелъ въ свою свѣтлицу. Онъ засталъ въ ней Феропонта, который, уложивъ въ небольшой кожаный чемоданъ свои и барскія пожитки, набивалъ суконную кису съѣстными припасами.

— Что это?—сказалъ Левшинъ;—жареный гусь!... кру-  
пичатый пирогъ!... цѣлый окорокъ ветчины!... Да мы всего  
этого и въ десять дней не съѣдимъ.

— Такъ что жъ, батюшка?... Люди умные говорятъ:  
ѣдешь въ дорогу на день, бери хлѣба на недѣлю!

— А это хлѣбъ что ль?—спросилъ Левшинъ, указывая  
на огромную жестяную сулею, штофа въ два.

— Подчасъ лучше хлѣбца, Дмитрій Афанасьичъ! Съ  
людьми дорожными всяко бываетъ: иной разъ придется по-  
чевать въ чистомъ полѣ, подъ дождемъ — промокнешь, про-  
дрогнешь, такъ было бы чѣмъ душу отвести.

— То то, смотри! не больно часто въ эту сулею то  
заглядывай!

— И, что ты, батюшка! Да развѣ я пьяница какой?...  
Выпилъ стаканъ, другой—много три, да и шабашъ!

Левшинъ пошелъ проститься съ священникомъ, а Фе-  
ропонтъ отправился въ людскую поужинать; хлебнулъ на  
дорогу винца и принялся сѣдлатъ лошадей.

Вотъ солнышко сѣло и по ночнымъ небесамъ разсыпа-  
лись звѣзды. Левшинъ простился въ послѣдній разъ съ этимъ  
тихимъ убѣжищемъ, въ которомъ провелъ нѣсколько дней,  
если не вовсе чуждыхъ грусти, то, по крайней мѣрѣ, спо-  
койныхъ. Наши путешественники, выѣхавъ за околицу села  
Богородскаго, добрались проселкомъ до большой Калужской  
дороги и пустились по ней рысью. Утренняя заря только  
еще стала заниматься, когда они, *пробѣжавъ*, съ неболь-  
шими отдыхами, слишкомъ тридцать верстъ сряду, своро-  
тили въ сторону и остановились покормить лошадей въ не-  
большой деревнѣ, которая, притаясь за лѣскомъ, стояла въ  
полуверстѣ отъ проѣзжей дороги.

## IX.

Въ концѣ семнадцатаго столѣтїя въ числѣ непроходи-  
мыхъ лѣсовъ, покрывавшихъ нѣкогда большую часть Рос-  
сїи, одно изъ первыхъ мѣстъ занимали, находящїеся въ  
нынѣшней Калужской губерніи, дремучїе лѣса, посреди ко-  
торыхъ протекаетъ небольшая рѣчка *Брынъ*. И теперь еще  
лѣса *Брынскіе*, о которыхъ нѣрѣдко упоминаютъ въ народ-  
ныхъ сказкахъ и повѣрьяхъ, представляются воображенію  
простолюдиновъ какими-то безвѣстными дебрями, мрачнымъ



и пустыннымъ жилищемъ косматыхъ медвѣдей, голодныхъ волковъ, лѣшихъ, оборотней и разбойниковъ; въ этомъ отношеніи они берутъ даже первенство надъ знаменитымъ Муромскимъ лѣсомъ, и если крестьянинъ степныхъ губерній желаетъ сказать про какого-нибудь бѣглаго, что онъ пропалъ безъ-вѣсти, то нерѣдко выражается слѣдующимъ образомъ: «Кто его отыщетъ, кормилецъ!... чай, ушелъ въ Брынскіе лѣса». Въ 1682 году, среди этихъ непроходимыхъ лѣсовъ, на старой Мещовской дорогѣ, стоялъ, близъ рѣчки Брыни, верстахъ въ шестидесяти отъ ея впаденія въ рѣку Жиздру, постоялый дворъ. Окруженный со всѣхъ сторонъ дремучимъ лѣсомъ, онъ былъ единственнымъ пріютомъ для проезжихъ. Верста на десять кругомъ не было, какъ говорится, ни кола, ни двора, и зимою голодные волки приходили выть подъ самыми окнами *Краснаго стана*: такъ назывался этотъ постоялый дворъ.

Въ одинъ жаркій лѣтній день человекъ до двадцати дорожныхъ людей, изъ которыхъ одни ѣхали въ Мещовскъ, а другіе въ Брянскъ, остановились кормить въ Красномъ станѣ. Въ избѣ было душно, и почти всѣ проезжіе по большей части простые обозники, пообѣдавъ чѣмъ Богъ послалъ, то есть похлебавъ щей и поѣвъ крутой гречневой каши съ масломъ, отдыхали на завалинѣ передъ избою. Шагахъ въ пятидесяти отъ нихъ, вдоль длинной поляны, обхваченной со всѣхъ сторонъ сплошнымъ боромъ, струилась рѣчка Брынь; по лѣвому ея берегу тянулась песчаная дорога, которая, въ полуверстѣ отъ постоялаго двора, какъ будто-бы соскучивъ слѣдовать за всѣми изгибами рѣчки, круто поворачивала въ сторону и терялась въ лѣсной глуши. У самыхъ воротъ постоялаго двора, поодаль отъ другихъ, сидѣлъ на скамьѣ человекъ пожилыхъ лѣтъ, въ короткомъ суконномъ балахонѣ съ узкими рукавами. Это платье, не подпоясанное ни кушакомъ, ни поясомъ, было застегнуто въ двухъ мѣстахъ на мѣдныя круглыя пуговицы. На лѣвой рукѣ его висѣли кожаныя чотки, которыя оканчивались, вмѣсто креста, двумя треугольниками, также кожаными. Этотъ проезжіи держалъ у себя на колѣняхъ деревянную, крытую олифой, чашку, изъ которой ѣлъ гречневую кашу оловянной ложкою, а подлѣ него на скамьѣ стояла сулея, оплетенная берестю. Онъ остановился кормить въ одно время съ другими проезжими, но не захотѣлъ обѣдать за общимъ столомъ и ѣсть изъ посуды, принадлежащей хо-

зяину постоялаго двора. Наружность этого проѣзжаго была довольно замѣчательна. Длинная съ просѣдѣвъ борода, приглаженная и расчесанная съ большимъ стараніемъ, но къ которой, сколько можно было замѣтить, никогда не прикасались ножницы; курчавая голова, крутой, широкій лобъ, вздернутый кверху носъ и сѣрые угрюмые глаза, по временамъ задумчивые, а иногда сверкающіе и исполненные жизни—все это вмѣстѣ составляло физиономію не очень красивую, но весьма выразительную и носящую на себѣ отпечатокъ какого-то самобытнаго и твердаго характера. Съ краю на завалинѣ сидѣлъ другой проѣзжій, котораго можно было принять, по одеждѣ, за простого горожанина или слугу богатаго боярина. Подлѣ него отдыхалъ, также на завалинѣ, худощавый купецъ съ длинной бородою и подбритымъ затылкомъ, который прикрывался высокимъ *козыремъ*, то есть стоячимъ воротникомъ суконнаго *охабня* съ закинутыми назадъ рукавами. Этотъ купецъ разговаривалъ съ своимъ сосѣдомъ протяжно, свысока и какимъ-то вычурнымъ языкомъ, который, повидимому, казался его собесѣднику верхомъ краснорѣчія и прѣмудрости человѣческой.

— Ну, господинъ прикащикъ,—говорилъ этотъ сладкоглаголивый купецъ, обращаясь къ своему сосѣду,—если бы я вѣдалъ, что по симъ Брынскимъ лѣсамъ лѣтняя дорога столь тяжка и многотрудна, то ни за какія блага въ мірѣ не поѣхалъ бы самъ изъ Москвы въ этотъ Брянскъ, который,—прости Господи!—словно кладъ намъ не дается.

— А ваша милость обыватель московскій? — спросилъ почтительно приказчикъ.

— Да любезный!—отвѣчалъ купецъ, поглаживая съ довольнымъ видомъ свою длинную бороду. — Мы, благодаря вопервыхъ Господа, а во вторыхъ родителей нашихъ, числимся въ Московской гостиной сотнѣ.

— Такъ-съ, батюшка, — такъ-съ!... А что, я думаю, куда красна наша матушка Москва бѣлокаменная?... Хоть бы издалека однимъ глазкомъ на нее взглянуть!

— А развѣ ты никогда не бывалъ въ нашемъ престольномъ градѣ?

— Нѣтъ, батюшка!... Бояринъ посылаетъ меня по своимъ отчинамъ, а въ его московскій домъ ѣздитъ другой прикащикъ.

— Вотъ что!... Да, братецъ, да! благолѣпна наша матушка Москва златоглавая, различныйъ зодчествомъ укра-

шена; а сколько храмовъ Божьихъ!... какіе терема царскіе!...

— Чай, все, батюшка, такъ золотомъ и горить?

— Да, любезный, да!... Истинно очеслѣпительное велѣніе! И золотомъ чистымъ, и каменьемъ честнымъ, и жемчугомъ многоцѣннымъ, и мусіемъ дивнымъ—всѣмъ украшены чертоги царскіе.

— Такъ, батюшка, такъ!... То-то, подумаешь, наше деревенское дѣло—что мы? Люди темные, ничего не видали, ничего не слышали!... Что и говорить: въ лѣсу росли, пенькамъ Богу молились. А, чай, въ Москвѣ то и другихъ всякихъ диковинокъ много?... Вотъ мнѣ недавно рассказывали про какую-то заморскую вещь. Она стоитъ на царскомъ дворѣ за Благовѣщенскимъ соборомъ—сама въ колоколь бьетъ.

— А, знаю, знаю!—подхватилъ купецъ.—Эта вещь, любезный, называется часомѣрье, на всякій часъ ударяетъ молотомъ, размѣряя часы дневные и ночные. Не бо человекъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно, страннolѣпно и сотворено человѣческою хитростію...

— А вся хитрость человѣческая суета бо есть,—прервалъ громко проѣзжій въ балахонѣ,—и всѣ дѣла ея богомерзки и богопротивны.

Купецъ обернулся и поглядѣлъ съ удивленіемъ на проѣзжаго, который принялся снова ѣсть свою гречневую кашу.

— А что, батюшка,—сказалъ приказчикъ, не обращая вниманія на слова проѣзжаго,—давно ли ты изъ Москвы?

— Да близко недѣли, любезный.

— Ну что, хозяинъ, какъ здравствуютъ государи и великіе цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи? И все ли благополучно въ нашемъ престольномъ градѣ?

— Теперь, благодареніе Господу, нечестивые крамольники перестали злодѣйствовать, смятенія народныя прекратились—и заступленіемъ Владимірской Божіей Матери и московскихъ угодниковъ, устыжены и поправаны всѣ враги православія. А съ мѣсяць тому назадъ куда тяжело было!... Смуты да мятежи!... Бывало каждый день гудить всполошный колоколь и буйные стрѣльцы, яко звѣри хищныя, рыскають по стогнамъ градскимъ!... Сколько знаменитыхъ бояръ они перегубили!... Да еще мало того: соорудили на Красной плащади столбъ съ таковою надписью, якобы они, проклятые крестомѣшники, постояли за правду и казнили

не честныхъ бояръ, а предателей и злодѣевъ. Вотъ стрѣльцы поугомонились, такъ залаяли эти псы нечестные—стригольники, авакумовцы и разные другіе еретики; а пуще то всѣхъ этотъ продерзостный авакумецъ, разстрига, Никита Пустосвятъ,—сей волкъ насытый, до-стойно стяжавшій...

— Вънецъ мученическій! — прервалъ пробѣзжій въ балахонѣ.

Купецъ нахмурилъ брови и сказалъ въ полъ-голоса:— Ну, такъ и есть—раскольникъ!... Экъ они, окаянные, плодятся! словно саранча какая!... Вотъ ужъ третьяго сего дня вижу.

— Да развѣ ты не знаешь, хозяинъ,—прервалъ также въ полъ голоса приказчикъ,—вѣдь здѣсь въ Брынскихъ то лѣсахъ настоящій ихъ притонъ и есть?

— Притонъ!... Имъ теперь вездѣ притонъ!... Кабы ты зналъ да вѣдалъ, у кого они подь крылышкомъ!... Ну, дасть отвѣтъ передъ Господомъ царевна Софья Алексѣевна... Богъ съ ней!...

— Какъ такъ?... Да неужели благочестивая наша царевна Софья Алексѣевна...

— Да, любезный,—продолжалъ купецъ, понизивъ еще голосъ,—она то имъ, окаяннымъ, и мирволить... Что грѣхъ таить: и смуты, и мятежи, и всякія безчинства стрѣлецкія—все было по ея наущенію; такъ диво ли, что она раскольниковъ приголубливаетъ?... Вѣдь стрѣльцы-то почитай, всѣ еретики: кто стригольникъ, кто авакумецъ, кто субботникъ—такой сбродъ, что не приведи Господи!... Прилучилось мнѣ однажды, по моимъ торговымъ дѣламъ зайти къ нимъ на Лыковъ дворъ,—вотъ что въ Кремлѣ у Троицкихъ воротъ,—такъ я не зналъ, куда дѣваться отъ ихъ богохульныхъ рѣчей. И въ старину бывали еретики: еще при дѣдушкѣ царя Іоанна Васильевича Грознаго, ближній дьякъ Курицынъ, по прозванью Волкъ, казненъ за жидовскую ересь, да тогда они отметались отъ церкви тайно и во услышаніе всѣмъ не дерзали богохульствовать, — а нынѣ... Истинно любезный, неусыпающая скорбь душѣ моей, какъ помыслию, до чего мы дожили!... Окаянные раскольники съ буйными воплями вызываютъ на состязаніе святителей православной церкви; крамольные стрѣльцы врываются въ царскіе чертоги, губятъ неповинныхъ бояръ—и что жъ любезный?... Имъ же дають похвальныя грамоты и, ради почета, жалуютъ изъ стрѣльцовъ въ надворную пѣтоху!... А все

вѣдь Софья Алексѣевна!... Эхъ, кабы не она, такъ благодать бы Божья!... У насъ былъ бы одинъ царь Петръ Алексѣевичъ,—а то двое!... Ну, когда это бывало на святой Руси?... И Господь Богъ одинъ на небесахъ, такъ на что же намъ двухъ царей?

— Да вѣдь они, хозяинъ, родные братья, такъ почему жъ имъ обоимъ не царствовать?

— Нѣтъ, господинъ приказчикъ! То ли дѣло, когда одна глава править всѣмъ гѣломъ. Хорошъ царь — Божья милость; неблагой и немилосердый—что жъ дѣлать, любезный —наказанье Господне!... Вѣдь все отъ Господа: и благораствореніе воздуховъ небесныхъ, и изобиліе плодовъ земныхъ, и язва, и гладъ, и трусь, и казнь, и милость,—все въ руцѣ Божіей!... Такъ что жъ намъ мудровать?... Вотъ хоть въ Божѣ почивающій покойный государь Алексѣй Михайловичъ царствовать началъ съ юныхъ годовъ; были протавъ него и смуты народныя и самозванцы. Одинъ разбойникъ Стенька Разинъ чего стоилъ! Да какъ никто царю не мѣшаль, такъ онъ со всѣми управился, распространилъ и увеличилъ Царство Русское, воротилъ назадъ Смоленскъ, выгналъ ляховъ изъ Украины, а царство Миритинское само ему поддалось.

— Такъ батюшка, такъ!... Что и говорить: былъ царь-государь! Врядъ ли вымолимъ у Господа другого подь-стать ему покойнику.

— Да врядъ, любезный!... То-то было времячко!

— Такъ, батюшка! было, было, — да видно былъемъ поросло!

— Вотъ ужъ истинно,—продолжалъ купецъ,—пожили мы во всякомъ гобзованіи и довольствѣ!... А веселья то какія бывали!... И псовая охота съ рогами и трубами за селомъ Алексѣевскимъ, и соколиная потѣха... А игрища то какія!... Какъ теперь гляжу: была комедь въ Преображенскомъ, потѣшали государя иноземцы, какъ Олоферну царю голову отсѣкли; да еще о Новуходоносорѣ царѣ, о телѣ златѣ и о трехъ отроцѣхъ... А ужъ лучше то всего было, однажды, зимою—кажись въ день Аксиньи полухлѣбницы—въ домѣ боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева, дворовые люди его лицедѣвали, какъ царь Артаксерксъ указалъ повѣсить Амана; и нѣмцы въ органы играли, и на фіолахъ, и всякія другія потѣхи разныя...

— Да какъ это, хозяинъ,—прервалъ приказчикъ,—уда-

лось тебѣ побывать на этихъ игрищахъ? Хоть ты и гость московскій, да вѣдь, чай, на такія игрушки и потѣхи царскія допускаютъ однихъ только князей да бояръ?

— А вотъ какъ, любезный: въ Преображенскомъ есть у меня пріятель, подключникъ кормоваго двора, по прозванію Ершъ Кутерма; а на пиру боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева приказалъ пропустить меня въ потѣшную палату свойственникъ его, а мой благодѣтель, Кирилла Андреевичъ Буйносовъ.

— Кирилла Андреевичъ Буйносовъ?... Да вѣдь онъ то и есть мой бояринъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?... Ну, любезный, въ сорочкѣ же ты родился!... Да такихъ господъ, каковъ твой, на бѣломъ свѣтѣ мало.

— Что и говорить, батюшка,—дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!

— Дай Господи!... Да что онъ у васъ все такой грустный!... Вотъ ужъ я его милость третій годъ знаю, а никогда не видывалъ, чтобъ онъ изволилъ распотѣшиться. Все какъ будто бы сердце ему что-то щемить.

— Охъ, батюшка! да какъ у него сердцу то и не болѣтъ: вѣдь онъ круглый сирота!... А семья то какая была! одиннадцать дочерей, одна другой лучше!

— И ни одной въ живыхъ не осталось?

— Ни единой! всѣхъ прибралъ Господъ. Три утонули, переѣзжая на паромѣ черезъ Оку, пять скончались отъ разныхъ недуговъ, двѣ померли отъ оспы, а послѣдняя то дочка, самая меньшая, Богъ знаетъ гдѣ.

— Какъ такъ?

— Да такъ, батюшка, безъ вѣсти пропала!

— Безъ вѣсти пропала?... Что за диво такое!... Я, чай, у вашего боярина хожалыхъ то за дочками было довольно?

— Какъ же: и матушки, и нянюшки — мало ли этой челяди у нашего боярина.

— Такъ чего же онъ смотрѣли?

— Что жъ дѣлать, на грѣхъ мастера нѣтъ, кормилецъ! Ужъ подлинно, нянюшка Татьяна и мамушка Игнатъевна смотрѣли за своей барышней, съ глазъ ее не спускали, по пятамъ ходили, а все-таки сгубла да пропала. Вотъ то-то и есть: чего Господъ Богъ беречь не станетъ, того ужъ люди не уберегутъ.

— Такъ, любезный—такъ! Да не даромъ и пословица:

у семи нянекъ дитя всегда безъ глазу.—Да какъ же это случилось?

— А вотъ какъ: тому годовъ пятнадцать назадъ, лѣтомъ, объ эту же пору, бояринъ мой со всей семьей ѣхалъ изъ Мещовска въ свою Брынскую волость. Верстахъ въ тридцати отсюда, близъ села Бѣликова, разсудилось покойной его сожительницѣ остановиться пополдничать на одной полянѣ, въ лѣсу. Бояринъ нашъ всегда ѣдитъ по дорогамъ людно. Насъ было всѣхъ этакъ человекъ до пятидесяти. Вотъ мы раскинули для господъ шатры, сводили коней на водопой, разложили огни, да и ну варить кашицу. Господа пополдничали, прилегли отдохнуть, а дочки ихъ съ нянюшками и съ сѣнными дѣвушками разбрелись во всѣ стороны, однѣ стали на лугу въ горѣлки играть, другія пошли въ лѣсъ по грибы. Вотъ этакъ около вечеренъ, господа поднялись, начали укладываться; барышни стали разсаживаться по колымагамъ и кибиткамъ, а я пошелъ, нарвалъ на лугу колокольчиковъ, ландышей, ноготковъ, связалъ одинадцать пучечковъ, да и сталъ ихъ раздавать всѣмъ боярскимъ дочкамъ, каждой по пучку. Кажись, роздалъ всѣмъ, а гляжу—одинъ пучокъ лишній. Кой прахъ,—подумалъ я,—видно заѣдливъ какую-нибудь! Обошелъ опять всѣ повозки, перечелъ всѣхъ барышенъ... а! вотъ что: самой то меньшей нѣтъ! Смотрю, мамушка Игнатъевна роется въ кибиткѣ, да укладываетъ подушки.—Гдѣ твое дитя? —спросилъ я. — А вонъ тамъ въ лѣсу съ нянюшкою. Я въ лѣсъ—вдругъ пырь мнѣ въ глаза Татьяна!—А барышня твоя гдѣ?—Чай тамъ у повозки съ мамушкой Игнатъевной.—Да вѣдь она была съ тобою?—Ну да, прежде изволила ходить по лѣсу со мною, а тамъ, какъ набрала грибовъ, и побѣжала показывать ихъ мамушкѣ, да видно ужъ такъ при ней и осталась.—Что ты! перекрестись!... Игнатъевна вонъ тамъ, одна-одинехонька, а дитя то ваше гдѣ?—Ахъ, Господи—закричала Татьяна,—такъ видно барышня осталась въ лѣсу!... Вотъ мы съ Татьяной въ лѣсъ. Начали кричать, аукать—кто-то откликается, да только не ребячьимъ голосомъ. — Охъ, худо! — подумалъ я,—не доброе! Ужъ не лѣшій ли?... Избави Господи! Онъ и взрослога обойдетъ, такъ бѣда!—Мы съ Татьяной обѣгали всю опушку, осмотрѣли каждый кусточекъ,—нѣтъ какъ нѣтъ!... Вотъ и господа хватились своей дочки. Батюшки, какая пошла тревога!... Самъ бояринъ сѣлъ на коня; холопи, кто верхомъ, кто пѣшкомъ разбрелись въ

разсыпную по лѣсу, проискали всю ночь, осипли кричавши... нѣтъ барышни—сгибла да пропала!... Трое суток просто-яли мы на этомъ мѣстѣ, изо всего околodka сбили поголовно крестьянъ, версты на пятнадцать обшарили гругомъ...

— И все по напрасну?

— Да, батюшка.

— Таки вовсе никакихъ слѣдовъ не оказалось?

— Ну, нѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ какъ будто бы на слѣдъ напали: этакъ версты три отъ нашей стоянки, одинъ изъ холопей поднялъ четырехъ-конечный серебрянный крестикъ; его признали за тотъ самый тѣльникъ, который носила боярышня.

— Четырехъ-конечный крестикъ?... Куда раскольники не жалуютъ этихъ крестиковъ!... А что, ничего больше не нашли?

— Ничего.

— Да какъ же она его обронила: вѣдь, чай, крестъ то висѣлъ у нея на гайтанчикѣ?

— Какъ же, батюшка.

— Видно металась больно, сердечная!

— Видно что такъ, кормилецъ. Одному только мы очень дивовались: вмѣстѣ съ этимъ крестикомъ, на томъ же самомъ гайтанѣ, барышня носила образокъ въ серебряномъ окладѣ — икону святой великомученицы Варвары; этимъ образкомъ благословилъ ее крестный отецъ, бояринъ Куродавлевъ. Такъ ужъ если она крестикъ обронила, такъ и образокъ бы вмѣстѣ съ нимъ нашли.

— Ну, это еще не диво; завалился кудз-нибудь. А какихъ она была годковъ?

— Да еще четырехъ лѣтъ не было.

— Атъ, дитятко горемычное!... Видно она, голубушка, увязалась за бабочкой, или за птичкой какою!... Долго ли такому младенцу заплутаться!... А тамъ чай забрела въ трясину, или дикій звѣрь...

— Должно быть такъ, батюшка!... То-то жалость была!.. И теперъ, какъ вспомню, такъ сердце кровью обольется! Бояринъ рветъ на себѣ волосы, боярыня лежитъ какъ мертвая—слезъ даже нѣтъ. Нянюшка Татьяна убѣжала въ лѣсъ, да ужъ назадъ и не бывала; Игнатьевну изъ петли вынули, а боярыня съ той поры стала хизнуть, прочахла всю осень, а тамъ хуже, да хуже, да о зимнемъ Николаѣ Богу душу и отдала. Подлинно, правду говорятъ: «пришла



бѣда, отворяй ворота». Одно горе съ плечъ, другое на плечи: скончалась сожительница, стали умирать дочери. Каково, подумаешь: съ небольшимъ въ три года изъ люднаго семьянина сдѣлаться круглымъ сиротою!... Ты, батюшка, знаешь господина — ужъ подлино добрая душа!... Благочестивъ, богомоленъ...

— Да, да! истинно христоробивый бояринъ.

— Отходилъ ли отъ него когда нищій безъ подаенія?...

Обижалъ ли онъ кого?

— Сохрани Господи!... Да таковой клеветы не изречеть и врагъ его.

— Такъ какъ же послѣ этого не согрѣшишь, не скажешь: за что такой гнѣвъ Божій...

— Что ты это, господинъ приказчикъ?—прервалъ купецъ:—и думать этого не моги... Да развѣ ты не вѣдаешь: кого Господь любитъ, того и наказуетъ?

— Такъ, батюшка, такъ!... Кто и говорить, конечно. буди во всемъ Его святая воля!... А все какъ подумаешь...

— Пстой-ка, пстой, любезный!... Вотъ никакъ еще ѣдутъ постояльцы... Видишь, вонъ тамъ два вершника, по дорогѣ изъ Мещовска?... Вонъ опять выѣхали!... Э! да это, кажись, люди ратные!

Отъ лѣсной опушки отдѣлились два всадника и шибкой рысью подѣхали къ воротамъ постоялаго двора.

## Х.

Съ перваго взгляда можно было отгадать, что одинъ изъ прѣхавшихъ всадниковъ былъ господинъ, а другой его слуга. Подъ первымъ былъ дорогой персидскій аргмакъ, въ бархатной, шитой золотомъ, уздечкѣ, подъ вторымъ поджарый донецъ, не очень възрачный собою, но повидимому не знающій усталы и готовый верстъ двадцать сряду мчать удалого сѣдока, какъ говорится въ сказкахъ: «по горамъ и по доламъ, по болотамъ зыбучимъ и пескамъ сыпучимъ». Господинъ былъ прекрасный и видный собою молодецъ, лѣтъ двадцати двухъ или трехъ. Слугѣ казалось лѣтъ подъ сорокъ; онъ былъ небольшого роста, но необычайно плотенъ, могучъ плечами, съ длинными жилистыми руками и высокой богатырской грудью; его широкое, изрытое оспою, лицо

было вовсе некрасиво, но, не смотря на это, оно казалось даже приятнымъ, потому что выражало какую-то простодушную веселость и доброту, не чуждую однакожь ни ума, ни смѣтливости, которыми всегда отличался коренной русский народъ отъ своихъ сѣверныхъ и западныхъ сосѣдей. Мы зовемъ теперь этихъ сосѣдей финнами и бѣлоруссами, а въ старину ихъ величали Чудью бѣлоглазой и Литвою долгополой. Этотъ старинный обычай давать и чужимъ и своимъ прозвища, въ которыхъ почти всегда заключается насмѣшка, принадлежитъ также къ числу особенностей русского народнаго характера.

Провѣзжій господинъ былъ одѣтъ очень щеголевато; на немъ былъ свѣтло-зеленый суконный кафтанъ съ малиновымъ подбоемъ и золотыми петлицами, малиновая остроконечная шапка съ мѣховымъ околышемъ и желтые сафьянные сапоги съ мѣдными скобами. Къ шелковому съ золотыми кистями кушаку была привѣшана богатая персидская сабля, а на толстомъ шелковомъ снуркѣ висѣла, черезъ плечо, нагайка, у которой кнутовище было украшено перламутромъ и слоновою костью. Слуга этого провѣзжаго былъ одѣтъ очень просто: на немъ была войлочная бѣлая шапка, посконный *азял* и въ накидку длинная *однорядка* изъ толстаго сермяжнаго сукна; но за то онъ былъ вооруженъ лучше своего господина... Онъ былъ также при саблѣ, и сверхъ того изъ-за кушака виднѣлась деревянная рукоятка длиннаго ножа, а надѣтая черезъ плечо *берендейка* или ремень, съ привѣшенными къ нему деревянными патронами и привязанная къ сѣдельной лукѣ *ручница*, то есть ручная короткая пищаль, доказывали, что онъ имѣлъ при себѣ не одно холодное оружіе и могъ бы, въ случаѣ нужды, биться съ врагомъ—какъ говорили въ старину—огненнымъ боемъ. Я думаю, читатели давно уже узнали въ этихъ провѣзжихъ знакомца своего Левшина и слугу его Феропонта.

— Богъ помощь, добрые люди!—сказалъ Левшинъ, соскочивъ молодцемъ съ своего коня.

— Милости просимъ!—отвѣчали купецъ и приказчикъ, вставая и вѣжливо кланяясь провѣзжему. Обозники сняли также свои шапки и отвѣсили ему по низкому поклону; одинъ только провѣзжій въ балахонѣ не привсталъ, не поклонился, а только взглянулъ изъ-подлобья на провѣзжаго молодца, сначала довольно сурово, а потомъ съ примѣтнымъ любопытствомъ.

— Феропонтъ!—продолжалъ Левшинъ,—дай конямъ то немного простынуть, а тамъ своди ихъ на рѣчку.

— Да не велишь ли, батюшка, ихъ разсѣдлатъ, — сказалъ хозяинъ постоялаго двора, подойдя съ почитительнымъ поклономъ къ проѣзжему.

— Нѣтъ, любезный — отвѣчалъ Левшинъ, — мы здѣсь кормить не станемъ, а дадимъ только конямъ вздохнуть и немного поразомнемся.

— Такъ не въ угоду ли будетъ твоей милости перекусить чего-нибудь? У меня есть гречневая каша съ масломъ, щи добрыя...

— Спасибо, хозяинъ!... Я обѣдалъ верстъ пятнадцать отсюда—въ селѣ Бардуковѣ.

— Пятнадцать верстъ!... Нѣтъ, кормилецъ, будетъ и двадцать съ хвостикомъ.

— Ого! такъ мы скоро ѣхали.

— Да видно такъ, господинъ честной. Эва, какъ ваши лошадки то уморились!... такъ паръ отъ нихъ и валить!

— Ничего, любезный, кони добрые.

— Такъ, батюшка, такъ!... А вишь какъ они умаялись!... Право слово, кормилецъ, прикажи задать имъ сѣнца, пусть себѣ перехватятъ сердечные!

— Нѣтъ, голубчикъ, некогда дожидаться.

— А куда такъ поспѣшаетъ твоя милость? — спросилъ купецъ.

— Да не такъ чтобы далеко отсюда: въ село Толстошеино.

— Толстошеино?—повторилъ хозяинъ постоялаго двора.— Знаемъ, батюшка, знаемъ! Тутъ еще на озерѣ есть барская усадьба; хоромы такія знатныя — съ большимъ огородомъ.

— Да, да,—подхватилъ купецъ;—мы прошлаго года зимою тутъ ѣхали. Истинно боярская усадьба! Брусной домъ, съ теремомъ и двумя вышками, крытъ весь гонтомъ, а окна наихитрѣйшей рѣзбою украшены. Намъ сказывали, что тутъ живетъ на покоѣ самъ помѣщикъ, какой-то бояринъ Куродавлевъ. Не къ нему ли, господинъ честной, ты изволишь ѣхать?

— Къ нему, любезный.

— Ужъ не гонцомъ ли отъ князя Ивана Андреевича Хованскаго?

— Почему ты это думаешь?

— Да вотъ, я вижу, ты самъ изъ начальныхъ людей стрѣleckаго войска... сирѣчь надворной пѣхоты — не прогнѣвайся, по старой привычкѣ промолвился!..

— Все едино, хозяинъ.

— Нѣтъ, господинъ честной, не все едино. Коли васъ за усердіе пожаловали въ надворную пѣхоту, такъ называть стрѣleckимъ войскомъ не приходится. За службу и почетъ, батюшка!.. А вотъ я все гляжу на тебя... кажись, по всѣмъ примѣтамъ... ну, такъ и есть... ты долженъ быть сотникомъ полка Василія Ивановича Бухвостова.

— Отгадай, любезный.

— Да какъ и не отгадать? Вѣдь ты въ своемъ служильномъ нарядѣ: свѣтлозеленый кафтанъ съ малиновымъ подбоемъ... Мы, батюшка, сами люди московскіе, не въ глуши живемъ. Мы и съ головою то твоимъ — сирѣчь полковникомъ Василюмъ Ивановичемъ Бухвостовымъ старинные пріятели.

— Право?

— Какъ же, батюшка! Онъ и товары въ моей лавкѣ забираетъ... Мы съ нимъ всегда хлѣбъ соль важивали... Вотъ ужъ подлинно достойный сановникъ! Во всемъ старины держится... Истинно благоцвѣтущая вѣтвь прежней православной рати стрѣleckой!..

— Прежней... Такъ по твоему нынѣшняя...

— Также православное войско, — подхватилъ торопливо купецъ. — Кто и говорить, господинъ честной!.. Ну, если этакъ и бывали смуты — такъ что жъ?.. и стрѣльцы такіе же люди; а всѣ мы подъ Богомъ ходимъ: — единъ Господь безъ грѣха!.. Да они же всегда возставали противъ измѣнниковъ, а коли случаемъ между измѣнниками попадались имъ на копья и неповинные бояре и люди добрые, такъ это Божьимъ попущеньемъ!.. Человѣкъ слѣпецъ, батюшка! Вѣдь онъ часто и самъ не вѣдаетъ, что творить!.. Нѣтъ, господинъ честной: кто другой, а я стою въ томъ, что и нынѣшняя надворная пѣхота христоклюбивое войско. Говорятъ, будто бы иные изъ васъ отступили отъ православія; да я этому и вѣры не даю — видитъ Богъ, не даю!.. И что мнѣ до этого?.. На то есть пастыри духовные—а я что?.. Я человѣкъ торговый, не богословъ какой...

— Неправда!—сказалъ громко проѣзжіи въ балахонъ.— Ты точно богословъ, да только не однословъ.

Этотъ неожиданный, но справедливый упрекъ до того

смутить купца, что онъ совершенно остолбенѣлъ и не могъ вымолвить ни слова.

— Что? прикусилъ язычекъ?—продолжалъ проѣзжій въ балахонѣ.—Эхъ вы, торгаши московскіе! Душей-то кривить только умѣете, двуличники этакіе!.. Каждый изъ васъ, какъ трость, колеблемая вѣтромъ: куда онъ подулъ, туда и вы!.. Ужь если что по твоему правда, такъ стой за правду. Что изъ за угла-то кулакомъ грозиться!.. Коли заговорила въ тебѣ совѣсть—такъ выходи!.. Послушаютъ—хорошо! потянутъ на плаху—ложись!

— Что ты, что ты, любезный! — проговорилъ купецъ, опомнясь отъ перваго удивленія.

— Что я?.. А вотъ что: ты называешь теперь стрѣльцовъ христоробивымъ воинствомъ, а давно ли ты ихъ величалъ еретиками и нечестивыми крамольниками?

Купецъ поблѣднѣлъ и закричалъ испуганнымъ голосомъ:

— Не вѣрь ему, господинъ честной: онъ лжетъ! видитъ Богъ — лжетъ!.. Ахъ ты, полоумный этакій!.. Да какъ у тебя языкъ повернулся сказать, что я говорилъ съ тобой такія непригожія рѣчи?

— Не со мной, а вотъ съ этимъ холопомъ, — сказалъ проѣзжій, указывая на прикащика.

— Холопъ! — повторилъ сквозь зубы прикащикъ. — Видишь бояринъ какой!.. Холопъ, да не твой!

— Ахъ ты клеветникъ этакій! — подхватилъ купецъ. — Да я съ господиномъ прикащикомъ говорилъ объ этомъ шопотомъ, такъ какъ же ты могъ слышать?

Левшинъ засмѣялся.

— Полно, ховяинъ, — сказалъ онъ. — Ну, есть о чемъ спорить!.. Мало ли что за уголкомъ говорится!.. Въ глаза-то меня только не обижай, а заочно хоть голову руби!

— Истинно такъ, господинъ честной!.. — промолвилъ почтительно прикащикъ. — Заочная брань не брань, а на пересказы смотрѣть нечего. На всякое чиханье не наздравствуешься.

— А что, батюшка,—сказалъ рослый парень лѣтъ тридцати, подойдя къ проѣзжему въ балахонѣ, — не пора ли запрягать?

— Да, время—запрягай!

— Ты куда ѣдешь, любезный?—спросилъ Левшинъ проѣзжаго.

— На что тебѣ, молодецъ?.. Мы съ тобой не попутчики.

— Такъ ты ѣдешь въ Мещовскъ?

— Хотъ и не въ Мещовскъ, а все мы не попутчики. Вишь въ какъ своихъ-то коней упарили, а я моихъ лошадокъ берегу.

— Вотъ что!.. Такъ тебѣ, видно, далеко еще ѣхать?

— Далекъ или близко, не о томъ рѣчь. Коней-то можно и на пяти верстахъ уморить.

— Ты здѣшній что ль, или изъ другой какой стороны?

— Да мы покамѣстъ всѣ здѣшніе; вотъ какъ переѣдемъ на иное мѣсто...

— Я спрашиваю тебя, откуда ты родомъ?

— Откуда родомъ?.. Да, чай, мы оба съ тобой родились на святой Руси.

— Да Русь-то велика, любезный!.. Вотъ я, напримѣръ: я родомъ изъ Москвы; а ты откуда?

— Не знаю. Мнѣ покойная матушка не сказывала, гдѣ я родился.

— Экій ты какой!.. Ну, гдѣ твой домъ?

— Какъ построю, такъ буду знать, а теперь не вѣдаю.

— Не знаю, не вѣдаю!.. Что жъ ты знаешь!

— Что знаю?.. Да, не прогнѣвайся, побольше твоего.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— А вотъ изволишь видѣть: ты не знаешь, откуда я родомъ, что за человекъ и куда ѣду; а я знаю, что ты родомъ изъ Москвы, служишь сотникомъ въ полку Василя Ивановича Бухвостова и ѣдешь въ село Толстошеино къ боярину Максимовичу Куродавлеву.

— Большое диво, что ты знаешь то, о чемъ я самъ говорилъ.

— Въ томъ-то и дѣло, молодецъ!.. Вѣдь тотъ, кто молчитъ, всегда знаетъ больше того, кто болтаетъ.

— Да не всякому же быть такимъ медвѣдемъ, какъ ты.

— По мнѣ лучше быть медвѣдемъ, чѣмъ сорокою.

Левшинъ вспыхнулъ.

— Эге, любезный!—сказалъ онъ,—да ты ужъ никакъ начинаешь поругиваться!

Провѣзій въ балахонѣ не отвѣчалъ ни слова и принялся преспокойно укладывать въ свою дорожную кису початый коровай хлѣба, деревянную чашку, ложку и огромный складной ножъ, который, въ случаѣ нужды, могъ служить оружіемъ; потомъ всталъ и пошелъ на дворъ постоялаго

двора, гдѣ, подѣ высокимъ навѣсомъ, работникъ его запрягалъ въ телѣгу пару дюжихъ вороныхъ коней.

— Ну, батюшка! — сказалъ купецъ, проводивъ глазами проѣзжаго, — видишь ли теперь, что это какой-то шальной, грубіанъ этакій!.. Когда твоя милость изволить спрашивать, такъ люди и почище его отвѣчаютъ, а этотъ балахонникъ — прости Господи!.. Сказалъ бы онъ мнѣ, что я не знаю, кто онъ таковъ, я бы ему отвѣтилъ.

— А чтобы ты ему отвѣтилъ?

— Я сказалъ бы ему, что онъ еретикъ проклятый!.. Вотъ что!

— Еретикъ!.. Почему ты это знаешь?

— А какъ же, батюшка? Да это какъ взглянешь, такъ видно. И ѣсть съ нами не хотѣлъ и рѣчи такія богопротивныя, а туда жъ, какъ чернецъ какой, чотки перебираетъ — раскольникъ проклятый! — Не старообрядецъ, батюшка, а раскольникъ, — продолжалъ купецъ, спохватясь. — Старообрядцы дѣло другое; ихъ, чай, и въ вашемъ полку довольно; они люди добрые и, почитай, такіе же православные, какъ и мы; не жалуютъ только патріарха Никона да любятъ по старымъ книгамъ Богу молиться — вотъ и все!.. А эти отщепенцы хуже язычниковъ: соборную церковь не признаютъ, духовенство поносятъ...

— Истинная правда! — прервалъ прикащикъ. — Я вѣдь здѣшній, такъ понаслушался и понасмотрѣлся. Здѣсь въ Брынскихъ лѣсахъ, этихъ раскольниковыхъ скитовъ и не перечтешь. И все разные толки: безпоповщина, филипповщина, селезневщина, новожены, перекрециванцы, щельники — кто ихъ знаетъ!.. Я знаю только, что всѣ они чуждаются церкви Божіей, а есть и такіе, что не приведи Господи!.. Вотъ мнѣ рассказывали о запащеванцахъ и морельщикахъ — такъ видитъ Богъ, батюшка, волосъ дыбомъ становится!

— Ну, вѣрно, — подхватилъ купецъ, — и этотъ не простой отщепенецъ; но злобный и яко левъ рыкающій на православіе еретикъ!

— А можетъ статься и хуже, — промолвилъ вполголоса прикащикъ. — Видѣлъ ли ты, хозяинъ, какой у него ножище?

— А что ты думаешь?.. Въ самомъ дѣлѣ!.. Глаза у него такіе воровскіе, рѣчь буйная, — ну вотъ такъ и смотритъ душегубцемъ!

— А развѣ здѣсь разбойники водятся? — спросилъ Левшинъ.

— Всяко бываетъ, — отвѣчалъ прикащикъ. — Вѣдь здѣсь лѣса дремучіе, такъ волки-то не всѣ на четырехъ ногахъ ходятъ. Прощае лѣто у насъ трехъ мужичковъ здѣсь ограбили. Везли оброкъ въ Москву...

— Что жъ, у нихъ всѣ деньги отняли?

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ! До боярскихъ денегъ не добрались. Мужички то себѣ на умъ: сто рублевиковъ запекли въ хлѣбъ, да столько же въ комутѣ было зашито. Съ нихъ только одежку снимали, да мѣдными грошами рубля два отняли.

— Тебѣ бы, господинъ сотникъ, — сказалъ купецъ, — пообождать немного. Вотъ обозники скоро подымутся, они тебѣ по пути. Васъ всего двое, а по такимъ лѣсамъ, чѣмъ ѣдешь люднѣе, тѣмъ лучше.

— Спасибо, любезный! Довѣдемъ и безъ провожатыхъ.

— Кто и говорить, почему не доѣхать, а все съ народомъ-то веселѣе и отважнѣе. Право такъ, батюшка!.. Неровень часъ, — ну какъ въ самомъ дѣлѣ наткнешься на разбойниковъ?

— Мы разбойниковъ не боимся, хозяинъ, — сказалъ Феропонтъ, ведя въ поводу отдохнувшихъ коней. — У насъ есть для нихъ гостинцы: поднесемъ, такъ другихъ не попросятъ!.. Сабли-то у насъ годятся не одну капусту рубить!.. А вотъ еще товарищъ, — продолжалъ онъ, указывая на свою пицаль. — Малъ да удалъ! Какъ свинцовымъ орѣхомъ свистнетъ, да по лбу хлыстнетъ, такъ затылокъ-то у всякаго зачесется!

— Охъ, любезный, не хвались — сказалъ прикащикъ. — Въ лѣсу не то, что въ чистомъ полѣ: какъ изъ-за куста хватятъ тебя кистенемъ, такъ и ты молодецъ, на конѣ не усидишь.

— Богъ милостивъ!.. Мы по лѣсамъ-то и ночью ѣзжали, да разбойниковъ не встрѣчали.

— Ай да Султанъ! — сказалъ Левшинъ, садясь на своего коня, который храпѣлъ отъ нетерпѣнія и бороздилъ копытомъ песчаную землю. — Вовсе не усталъ; словно съ конюшни, — такъ и рвется.

— Да зато скорѣй и надорвется! — прошепталъ Феропонтъ, отвязывая пицаль отъ сѣдельной луки и вынимая ее изъ чехла.



— Ну что жъ ты, Феропонтъ? — продолжалъ Левшинъ, обращаясь къ своему служителю. — Садись проворнѣй!

— Сейчасъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ! — отвѣчалъ Феропонтъ, надѣвая черезъ плечо ремень, къ которому пристегивалась пищаль. — Хоть насъ до сей поры Господь миловалъ и дневнымъ-то разбоямъ я небожно вѣрю, а все-таки лучше, коли оборона подъ руками. На Бога надѣйся, а самъ не плошай!

— Экъ тебя настращали!.. Да полно, садись!

— Вотъ и готовъ! — промолвилъ Феропонтъ, вскочивъ на своего донца.

— Ну, прощайте, добрые люди! — сказалъ Левшинъ, приподымая свою шапку.

— Прощай, господинъ честной! — закричали въ одинъ голосъ купецъ и прикащикъ. — Благополучной дороги, счастливаго пути!

Левшинъ, выѣхавъ на большую дорогу, далъ волю своему коню. Онъ помчался сначала вскачь, потомъ рысью внизъ по теченію рѣчки Брыни; а Феропонтъ, приударивъ плетью своего поджараго донца, пустился вслѣдъ за своимъ господиномъ. Черезъ нѣсколько минутъ наши путешественники, покинувъ берегъ рѣчки, повернули направо и скрылись въ глуши дремучаго непроходимаго бора.

## XI.

Дорога, по которой ѣхали наши путешественники, становилась часъ отъ часу хуже. Проѣхавъ верстъ шесть, они очутились опять на берегу рѣчки Брыни, которая въ этомъ мѣстѣ прокладывала свое русло среди топкихъ болотъ, покрытыхъ ржавчиною, мхомъ и мелкимъ кустарникомъ. Узкая гать, по которой съ трудомъ можно было проѣхать въ телѣгѣ, вывела ихъ опять на песчаную дорогу, изрытую корнями столѣтнихъ деревьевъ. Эти великаны лѣсовъ русскихъ, вѣчно зеленыя сосны и вѣтвистыя ели росли почти сплошной стѣною по обѣимъ сторонамъ дороги, или, лучше сказать, широкой тропы, которая превращалась иногда въ настоящее лѣсное ущеліе. Надъ головами путешественниковъ тянулась свѣтлая полоса небесъ, но по сторонамъ все было мрачно; вверху солнце сіяло во всей красотѣ своей, а внизу начинались уже сумерки.

Этотъ таинственный мракъ, эта глушь и запустѣніе по-дѣйствовали даже и на весельчака Феропонта: онъ пересталъ мурлыкать про себя цѣсенку, только не задумался, какъ его господинъ; напротивъ, безпрестанно озирался, смотрѣлъ по сторонамъ, и пытливый взоръ его, стараясь проникнуть въ глубину лѣса, встрѣчалъ вездѣ одно и то же: непроходимую дичь, мракъ и горы валежника. Феропонтъ былъ вовсе не трусъ, и въ чистомъ полѣ не испугался бы никого; но тутъ онъ вспомнилъ невольно слова приказчика, который совѣтовалъ ему не хвалиться. Подлинно, — думалъ Феропонтъ, — хвалиться то нечего!... Здѣсь и мальчишка убьетъ тебя изъ-за куста полѣномъ. Эка дачь, подумаешь!... Днемъ ничего не видно, а по дорогѣ то знать черти въ горѣлки играютъ, — корни да рытвицы!... Да тутъ въ сумерки бѣда!... Ну, нечего сказать, пронеси Господи!... Поттише, батюшка Дмитрій Афанасьевичъ! — прибавилъ онъ вслухъ, видя, что Левшинъ продолжаетъ ѣхать рысью. — Вишь дорога то какая — корень на корнѣ!... Какъ разъ или себя или коня уходишь.

— Небось, Феропонтъ, — отвѣчалъ Левшинъ, — мой Султанъ никогда не спотыкается.

Онъ не успѣлъ это вымолвить, какъ вдругъ Султанъ со всего размаха упалъ на оба колѣна; ловкій всадникъ удержался въ сѣдлѣ и, сильно потянувъ за поводъ, поднялъ своего коня.

— Ну вотъ, не говорилъ ли я тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ! — вскричалъ испуганнымъ голосомъ Феропонтъ. — Эй, батюшка, послушайся меня, поѣдемъ шажкомъ!... Мнѣ сказывали на постояломъ дворѣ, что этой трущобою намъ ѣхать только до перваго поворота, а тамъ пойдетъ дорога лучше.

— Ну хорошо, поѣдемъ шагомъ. И то сказать: спѣшить то нечего, успѣемъ пріѣхать за-свѣтло.

— Какъ не пріѣхать, лишь только бы помѣхи какой не было.

— Помѣхи?... Какой помѣхи?

— А Господь знаетъ!... Коли правду говорили на постояломъ дворѣ, такъ вотъ здѣсь, въ этомъ то самомъ заходустьѣ и пошаливаютъ. Вишь глушь какая! По сторонамъ ни зги не видно... Э!... что это тамъ?... Пстой-ка, батюшка, стой!...

Левшинъ остановился.

— Видишь, Дмитрій Афанасьичъ? — шепнулъ Феропонтъ: — вонъ тамъ впереди... на-лѣво... что за человѣкъ такой въ бѣломъ балахонѣ?

— Человѣкъ!... Гдѣ?

— Да вонъ тамъ за кустомъ... подлѣ самой дороги. Левшинъ засмѣялся.

— Ну,—сказалъ онъ,—правду говорятъ, что у страха глаза велики!... Да это березовый пенъ.

— Неужели!... Ахъ онъ проклятый!... Въ самомъ дѣлѣ пенекъ!

— Разбойниковъ то я не боюсь, — прервалъ Левшинъ, продолжая ѣхать впередъ,—лишь только бы намъ не запутаться... Да ты хорошо ли спросилъ о дорогѣ?

— Какже!... Намъ все надо держаться правой руки, пока не доѣдемъ до большой поляны; а тамъ повернуть на-лѣво мимо пожарища...

— Какого пожарища?

— Да вотъ хозяинъ постоялаго двора мнѣ сказывалъ, что на этой полянѣ, въ большомъ скиту, жили еще прошлаго года раскольники, и жили, говорятъ, смирно. Да пришелъ къ нимъ какой то старецъ Пафнуцій, изъ Сибири— и учалъ ихъ уговаривать: «примите дескать, православные, ради царствія небеснаго, вѣнецъ мученическій: окреститесь, братія, крещеньемъ огненнымъ!» Они съ дуру-то ему и повѣрили: заперлись кругомъ, подожгли свой скитъ, да вмѣстѣ съ нимъ и сгорѣли. Говорятъ, будто бы теперь на этомъ пожарищѣ не разъ слышали по ночамъ проѣзжіе, какъ стонуть и воють души погорѣвшихъ еретиковъ.

— А этотъ злодѣй, что ихъ подучилъ, сгорѣлъ также съ ними?

— Нѣтъ, онъ себѣ на-умѣ!... «Мнѣ, дескать, братія, нельзя быть вмѣстѣ съ вами вольнымъ мученикомъ: мнѣ надо и другимъ проповѣдывать». Хозяинъ постоялаго двора сказывалъ мнѣ, что онъ и теперь еще спасается-гдѣ то здѣсь въ лѣсу, на соснѣ.

— На соснѣ!

— Да, батюшка!... Живетъ на ней, ни дать, ни взять, какъ соловей-разбойникъ.

— А почему знать, можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ разбойничаетъ?

— Видно что нѣтъ, а то бояринъ Куродавлевъ давно бы спустилъ его съ этой сосны, да только на веревкѣ.

— А развѣ этому Куродавлеву указано разбойниковъ ловить?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, онъ такъ—ради своей потѣхи ловить воровъ. Савельичъ рассказывалъ мнѣ, что этотъ Куродавлевъ такая гроза на всѣхъ здѣшнихъ разбойниковъ, что и сказать нельзя! Дворня у него большая, народъ все удалой. Какъ пройдетъ слухъ, что начали часто проѣзжихъ грабить, такъ онъ мигомъ, холопей своихъ на ноги, самъ на коня и ужъ тутъ ему не попадается!... У него съ разбойниками расправа короткая: попался живой—петля на шею, да на первую сосну! А тамъ мотайся себѣ, пока добрые люди снимутъ. Савельичъ мнѣ рассказывалъ, что онъ этакъ однажды настигъ въ пустомъ скиту цѣлую шайку разбойниковъ, человекъ до пятнадцати,—отбилъ у нихъ двухъ проѣзжихъ купцовъ, которыхъ они захватили на большой дорогѣ, а ихъ всѣхъ до единого, кого изъ пщалей перебилъ, кого перевѣшалъ.

— Неужели всѣхъ?

— А что жъ, батюшка... Иль по головкѣ разбойниковъ то гладить?... Вѣдь не даромъ пословица: «вора помиловать, добраго погубить».

— Да вѣдь и разбойникъ такой же человекъ.

— Кто и говоритъ! вѣстимо такой же. А тѣ, которыхъ онъ станетъ рѣзать, коли я его какъ ни есть изъ рукъ выпущу, не люди что ль?... Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, уличеннаго разбойника можетъ помиловать Господь, а людямъ не слѣдъ его миловать.

— Что это, Феропонтъ,—прервалъ Левшинъ,—смотри, какъ стало вдругъ темнѣть, или тучки набѣжали?

— Какія тучки! — проговорилъ Феропонтъ, взглянувъ вверху.—Эва какъ заволокло!...

— Фу, батюшки, какъ душно!—пропенталъ Левшинъ, снимая шапку.

— Да, больно парить, — сказалъ Феропонтъ. — Видно передъ грозою.

И подлинно, влажный, удушливый воздухъ стѣснялъ дыханіе; черныя облака, медленно подвигаясь отъ запада, ложились густыми слоями на свѣтлыя небеса и устилали своею грозной тѣнью поля, дремучій боръ, холмы и равнины. Ясный день начиналъ по-немногу превращаться въ сумрачный вечеръ. Мелкія пташечки перестали перепаркивать съ вѣтки на вѣтку, замолкли, пріютились—и только

однѣ стан воронѣ и крикливыхъ грачей кружились заботливо подѣ облаками, да кой-гдѣ плавалъ надѣ вершинами деревьевъ хищный коршунѣ. Но вотѣ и они разсыпались врозь—и эта зловѣщая, мертвая тишина распространилась по всему лѣсу.

— Ну, баринѣ,—сказалѣ Феропонтѣ,—будетѣ гроза!... Чу!... вотѣ ужѣ и громѣ сталѣ постукивать!... Охѣ, худо дѣло!... Бѣда, коли насѣ захватитѣ здѣсь эта непогодица!...

— Что жѣ дѣлать: отѣ грозы не уѣдешь.

— Вѣстимо, Дмитрїй Афанасьичѣ;—да не о томѣ рѣчь: намѣ бы только выбратѣся изѣ этого захоlustья. Мы и теперь дорогу то здѣсь плохо видимѣ, а какѣ вовсе стемнѣеть, такѣ придется ѣхать ощупью....

— Такѣ поѣдемѣ скорѣе.

— Куда скорѣе!... Видишь дорога то—прахѣ ее возьми!—хуже тропинки становится... Смотри, смотри, Дмитрїй Афанасьичѣ... колода!... Ахѣ, ты Господи! вотѣ трущоба то проклятая!

Наши путешественники проѣхали еще кой-какѣ версты двѣ: наконецѣ Левшинѣ остановился и сказалѣ:

— Посмотри, Феропонтѣ, тутѣ и ѣзды вовсе нѣтъ,—болото!...

— Постоить-ка на минутку!—прервалѣ Феропонтѣ, обѣзжая своего господина.—Ну, такѣ и есть—трясина!

— Что жѣ это? Видно мы заплутались?

— Видно что такѣ!... А вотѣ и гроза!—промолвилѣ Феропонтѣ, снимая шапку и крестясь.

Раздался близкїй ударѣ грома и крупныя капли дождя зашумѣли по листьямѣ деревьевъ, вершины которыхѣ начали уже сильно колебаться.

— Что жѣ мы будемѣ теперь дѣлать? — спросилѣ Левшинѣ.

— Да что, батюшка, — отвѣчалѣ Феропонтѣ, — дѣлать нечего: чѣмѣ ѣхать Богѣ вѣсть куда, лучше переждать на одномѣ мѣстѣ; а какѣ прояснитѣся, такѣ вернемѣся назадѣ, да поищемѣ поворота; видно мы его миновали.

— Переждать!... Да этакѣ намѣ пожалуй и ночевать здѣсь придется.

— Нѣтъ, Дмитрїй Афанасьичѣ, большїя грозы скоро проходятѣ; а гроза то, кажись, не на шутку!... Господи помилуй!... Фу, батюшки, такѣ и палить!... Ну, молонья!...

Левшинѣ и Феропонтѣ едва успѣли сойдти съ коней и

стать подъ защиту огромной сосны, какъ вдругъ завылъ и промчался по лѣсу ужасный вихрь: всѣ небеса вспыхнули; удары грома не слѣдовали другъ за другомъ, но слились въ одинъ непрерывный гулъ, заглушаемый по временамъ тѣмъ отрывистымъ, пронзительнымъ трескомъ, который производитъ молнія, падая въ близкомъ отъ насъ разстояніи. Кого сильная громовая буря не заставляла въ дремучемъ лѣсу, тотъ не можетъ представить себѣ, до какой степени великолѣпна и ужасна эта картина. Въ лѣсу молнія не разливается свободно по небесамъ; вы ихъ не видите: она прокрадывается межъ листьевъ и какъ будто бы осыпаетъ искрами деревья, змѣится по ихъ вѣтвямъ и стелется огненной рѣкою по землѣ. Бурный вихрь, встрѣчая на каждомъ шагу сопротивленіе, крутитъ въ воздухѣ сухой валежникъ, рветъ съ корня столѣтнія деревья и лоскомъ кладетъ молодой лѣсъ. Эти тропическія бури бываютъ у насъ очень рѣдко, но за то и кажутся для насъ ужаснѣе. Феропонтъ долго крѣпился, творилъ про себя молитву и молчалъ; но когда сильнымъ порывомъ вѣтра погнуло сосну, подъ которой онъ стоялъ вмѣстѣ съ своимъ господиномъ, и на нихъ посыпались изломанные сучья — вся твердость его исчезла.

— Господи помилуй насъ грѣшныхъ! — вскричалъ онъ. — Ну! видно пришелъ нашъ послѣдній часъ!

— И, полно, Феропонтъ! — сказалъ Левшинъ. — Иль тебя гроза никогда въ лѣсу не заставляла?

— Да это какая гроза, Дмитрій Афанасьичъ!... Свѣту представленье!... Видалъ я грозы, а ужъ этакой!... Господи помилуй! Господи помилуй!...

Ослѣпительная молнія облила яркимъ свѣтомъ всѣ окружные предметы, въ одно время съ нею раздался страшный ударъ грома, и шагахъ въ двадцати отъ путешественниковъ высокая ель съ трескомъ повалилась на землю.

— Живъ-ли ты, батюшка? — спросилъ Феропонтъ дрожащимъ голосомъ.

Левшинъ молчалъ.

— Ахъ, Господи!... Да что жъ ты не говоришь?...

— Ничего! — промолвилъ Левшинъ. — Меня немного оглушило.

— Какъ не оглушить!... Посмотри-ка, батюшка, и кони-то наши дрожкой дрожать.

— Ну, если мы остались живы, — сказалъ, помолчавъ

нѣсколько времени, Левшинъ, — такъ видно Господь насъ помилуетъ. Вотъ уже становится и потипе.

Въ самомъ дѣлѣ, удары грома стали рѣже и слабѣе; вѣтеръ стихъ, и дождь, который въ минуту самыхъ сильныхъ ударовъ, пересталъ было идти, полился рѣкою. Но этотъ отдыхъ не долго продолжался: черныя тучи, одна другой страшнѣе, нахлынули снова отъ полудня, слились вмѣстѣ, налегли на лѣсъ, и вторая гроза, едва-ли не сильнѣе первой, разразилась надъ головами нашихъ путешественниковъ. Не смотря на то, что они стояли подъ защитою густой сосны, дождь пробилъ ихъ до костей. Вотъ, наконецъ, буря затихла, всѣ громовыя тучи прошли; но, покрытая сплошными облаками, небеса не прочищались, и хотя въ лѣсу стало немного посвѣтлѣе прежняго, однакожь все еще было такъ темно, что едва можно было различать предметы.

— Ну, — сказалъ Левшинъ, садясь на коня, — теперь мѣшкать нечего: дѣло идетъ къ вечеру. Поѣдемъ отыскивать поворотъ.

Феропонтъ не отвѣчалъ ни слова и, казалось, прислушивался къ чему-то съ большимъ вниманіемъ.

— Полно зѣвать по сторонамъ! — продолжалъ Левшинъ. — Садись!

Феропонтъ не двигался съ мѣста.

— Да что жъ ты, оглохъ что ль? — вскричалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, слава Богу, слышу! — прошепталъ Феропонтъ. — Чу!... такъ и есть — человѣческіе голоса!... Вотъ и собака залаяла!... Тутъ должно быть близко жилье.

— Какое намъ до этого дѣло.

— Какъ, Дмитрій Афанасьичъ, какое?... Вѣдь ужъ солнышко-то на закатѣ; чай, скоро смеркаться станеть.

— Ну, то-то и есть!... мѣшкать нечего.

— Да неужели ты, батюшка, думаешь, что мы сегодня доѣдемъ? Пока мы станемъ отыскивать поворотъ, пока что, анъ глядишь — ночь-то насъ и захватитъ. Вѣдь намъ вплоть до самой вотчины боярина Куродавлева надобно ѣхать лѣсомъ, такъ мы опять собьемся съ дороги, да еще, пожалуй, заѣдемъ въ какой-нибудь оврагъ или трясины; такъ не лучше ли намъ поискать ночлега?

— Да гдѣ ты его сыщешь?...

— А вотъ на лѣво-то... Слышишь, опять залаяла собака?

— Слышу; да тутъ долженъ быть какой-нибудь раскольничій скитъ.

— Такъ что жъ? Вѣдь раскольники то не звѣри какіе. Въ такую непогодицу ѣ татаринъ не откажетъ дорожному человѣку въ пріютъ. Ъсть мы у нихъ не попросимъ: у меня еще въ кисѣ найдется чѣмъ закусить; а конямъ-то нашимъ неужли они сѣнца не дадутъ!... Вотъ опять вѣтромъ стало наносить... Ну, точно человѣческіе голоса!

— И, кажется, очень близко, — сказалъ Левшинъ. — Да только пройдемъ ли мы цѣликомъ: видишь лѣсъ-то какой частый?

— А вотъ постой, Дмитрій Афанасьичъ, никакъ тропинка, по которой мы ѣхали... Ну, да! вотъ она! заворачиваетъ на лѣво... Я, батюшка, поѣду передомъ, — продолжалъ Феровонтъ, садясь на лошадь, — а ты ступай позади: гуськомъ-то лучше пройдемъ.

Наши путешественники пустились по этой, едва замѣтной, тропинкѣ; она огибала болото, въ которое чуть было не попалъ Левшинъ. Чѣмъ далѣе они ѣхали, тѣмъ яснѣе становились и лай собаки и человѣческіе голоса.

— Что это они, — прошепталъ про себя Феровонтъ, — пѣсни что ль поютъ или перекликаются межъ собою?...

Межъ тѣмъ деревья стали рѣдѣть и черезъ нѣсколько минутъ путешественники выѣхали на поляну. Теперь они ясно могли различать, что человѣческіе голоса доносились до нихъ изъ небольшого зданія, которое, безъ всякой усадьбы и двора, стояло посреди поляны. Но эти голоса вовсе не походили на пѣсни. Удушливый рыданіе, болѣзненный стонъ и по временамъ вопли, исполненные отчаянія и выражающіе адскую муку, раздавались въ этомъ уединенномъ жильѣ.

— Что это, батюшка?... — вскричалъ Феровонтъ, осадивъ свою лошадь. — Съ нами крестная сила!... Да это никакъ пожарище?...

— О которомъ ты мнѣ рассказывалъ?

— Да, Дмитрій Афанасьичъ, это не люди, а души погорѣвшихъ еретиковъ.

— И, полно, Феровонтъ, какія души!

— Да ты вслушайся, батюшка!... Ну станутъ ли живые люди такъ выть?... Чу!... слышишь?

— Нѣтъ, нѣтъ! — сказалъ Левшинъ: —этотъ стонъ, эти



вопли... О, это вѣрно какіе-нибудь несчастные, которыхъ захватили разбойники!

— А что ты думаешь?—первалъ Феропонтъ, ободрясь.— Можетъ статься что и живые люди. Вѣдь разбойники-то иногда огонькомъ выпытываютъ, куда у проѣзжихъ деньги припрятаны.

— Такъ чего жъ мы дожидаемся?—вскричалъ Левшинъ.

— Постой, постой, батюшка!... Насъ только двое, а ихъ, можетъ быть...

— Что за дѣло!... Иль ты не слышишь, какъ кричатъ эти несчастные?...

— Слышу, Дмитрій Афанасьичъ; да все лучше...

— Что?... Ужъ не мимо ли проѣхать?... Эхъ, Феропонтъ! Да развѣ мы не христіане?

— Ну, если такъ — такъ такъ!... Съ Богомъ, батюшка; была не была!...

Левшинъ выхватилъ свою саблю и шибкой рысью пустился прямо къ жилью.

## ХІІ.

Зданіе, къ которому ѣхалъ Левшинъ со своимъ слугою, отличалось отъ обыкновенныхъ бревенчатыхъ сараевъ только тѣмъ, что у него по стѣнамъ сдѣланы были небольшія отдушины, а вмѣсто воротъ прорублена узкая дверь. Огромная дворная собака, завидѣвъ нашихъ путешественниковъ, кинулась на нихъ съ громкимъ лаемъ, и въ то же время изъ шалаша, построеннаго подлѣ самыхъ дверей сарая, вышелъ человѣкъ высокаго роста, съ черной бородою, смуглый, какъ цыганъ и необычайно безобразный собою; онъ держалъ въ рукѣ дубину, а за поясомъ у него висѣли чотки.

— Ты что за человѣкъ такой? — спросилъ Левшинъ, подѣхавъ къ шалашу.

— А вы кто такіе? — промолвилъ чернобородый, взглянувъ недовѣрчиво на нашихъ путешественниковъ.

— Мы проѣзжіе.

— Такъ что жъ вы здѣсь шатаетесь? Ступайте на большую дорогу.

— Кто у васъ запертъ въ этомъ сараѣ?

— Не твое дѣло. Ступай, куда ѣдешь!

— Ахъ, ты, разбойникъ этакій!—вскричалъ Феропонтъ.— Отвѣчай, когда тебя спрашиваютъ!

— Развѣ ты разбойникъ,—прервалъ чернобородый,—а мы православные христіане. Говорятъ вамъ: ступайте вашу дорогою. Не мѣшайте божьему дѣлу.

Въ эту минуту снова послышались въ сараѣ отчаянные вопли, плачь, рыданіе и раздались голоса: «Батюшки, спасите!... Умираемъ голодною смертію!... Хлѣба, Бога ради хлѣба!... Батюшки, умиосердитесь!... Дайте хлѣбнуть водицы!... Смерть моя!... Умираю!»

— Не дастся вамъ! — отвѣчалъ грубый голосъ изъ шалаша. — Не дастся—да не лишитесь свѣтлыхъ вѣнцовъ мученическихъ!

— Возможно ли! — вскричалъ съ ужасомъ Левшинъ. — Злодѣи! За что вы ихъ морите голодомъ?

— Сами захотѣли,—отвѣчалъ чернобородый.

— Какъ сами!

— Ну, да!... Вѣдь здѣсь сидятъ въ затворѣ благочестивые запощеванцы, сирѣчь, вольные мученики.

— Вольные!... Да развѣ ты не слышишь, что они кричатъ?...

— Такъ что-жь?... Покричатъ, покричатъ, да перестанутъ

— Отъидите, нечестивые!—воскликнулъ громкимъ голосомъ, выходя изъ шалаша, худощавый старикъ съ растрепанными волосами, взъерошенной бородою и сверкающими, полоумными глазами. — Не дерзайте нарушать святыни!... Грядите, убо, грядите!... Да не како постигнетъ васъ десница Господня! А вы, православные! — продолжалъ онъ, обращаясь къ дверямъ сарая, — потерпите ради царствія небеснаго!... Свершайте, братіе, непрегновенно ваше поприще...

— Нѣтъ!—завопили въ одинъ голосъ всѣ заключенные. — Не желаемъ!... отрекаемся!... Спасите насъ, добрые люди, спасите!

— Душегубцы проклятые!—вскричалъ Левшинъ, — коли вы сей же часъ не выпустите этихъ затворниковъ...

— Такъ что жъ?—прервалъ чернобородый, подбирая къ рукамъ свою дубину.

— А вотъ что!—сказалъ Феропонтъ, выхвативъ саблю. — Слушай ты, черномазое пугало: или отворяй дверь, или я раскрою тебя на-двое!

Чернобородый отскочилъ, поднявъ дубину; но, вѣроятно, рассудивъ, что бой будетъ неравный, опустил ее опять и сказалъ:

— Ну, коли хочешь, такъ самъ попытайся: двери-то заколочены.

— Феропонтъ!—вскричалъ Левшинъ,—выломай ихъ!

Феропонтъ соскочилъ съ коня.

— Не дерзайте! — завопилъ неистовымъ голосомъ старикъ.—Господь укрѣпитъ мышцы мои, не поущу вамъ, окаяннымъ святотатцамъ, губить души христіанскія!

— Да ты, дѣдушка, не ругайся! — сказала Феропонтъ, подходя къ старику, который заслонилъ собою дверь.—Ну, ты самъ въ толкъ возьми: доброе ли дѣло морить живыхъ людей голодной смертію? И Господь этого не велѣлъ и царь не указалъ. Пусти-ка, пусти!...

— Смерть вкушу на семь прагъ,—продолжалъ кричать старикъ,—предамъ душу Господу; но доколѣ живъ, не дамъ вамъ посрамить хвалу нашу, срацине проклятые!

— Эхъ, полно, дѣдушка, не дури!—молвилъ Феропонтъ, отталкивая старика.—Пусти, говорятъ тебѣ—зашибу!

Старикъ замолчалъ; но глаза его налились кровью, онъ заскрипѣлъ зубами, кинулся на своего противника, и его сухіе, костянистые пальцы, какъ когти дикаго звѣря, впились въ грудь Феропонта.

— Ахъ ты, старый хрычъ!—шепнулъ Феропонтъ, потерявъ все уваженіе къ сѣдой бородѣ и постному лицу старика:—такъ ты еще драться!...

Онъ схватилъ его могучей рукою за кушакъ, поднялъ, какъ двухлѣтняго ребенка, и отбросилъ шаговъ на десять. Чернобородый подбѣжалъ къ старику и, пособляя ему встать, проговорилъ что-то шопотомъ.

— Да, чадо Федосей! — сказалъ старикъ, — грядемъ къ братіи, возвѣстимъ о презорствѣ сихъ нечестивцевъ!... А вы, окаянные отступники православія, вяще поганыхъ огарянь, сыны погибели — да будете вы прокляты огнемъ и до вѣка!

— Бранись, бранись, старый хрѣнъ, — промолвилъ Феропонтъ, глядя вслѣдъ за уходящимъ старикомъ и его товарищемъ.—Собака лаетъ, вѣтеръ носить!... Экій назойливый старичишка, подумаешь! — продолжалъ онъ, принимаясь выламывать дверь.—Кажись такой испитой, въ чемъ душа держится, а туда жъ на драку лѣзетъ!

Не смотря на свою богатырскую мощь, Феропонтъ не скоро выломалъ крѣпко заколоченную дверь; но вотъ, наконецъ, она соскочила съ петель. Четверо мужчинъ и двѣ

женщины, одна старая, а другая молодая, давя другъ друга, кинулись съ такою поспѣшностію вонъ изъ сарая, что чуть было не сбили съ ногъ Феропонта. Страшно было взглянуть на эти человѣческіе остовы: ихъ блѣдныя, искаженные страданіемъ лица, ихъ помутившіеся, полоумные глаза, были ужасны. «Хлѣба, Бога ради, хлѣба!» кричали они, толпясь около Феропонта. — Молодая женщина, которая, повидимому, казалась покрѣпче другихъ, уцѣпилась за него и простонала едва слышнымъ голосомъ: «Воды — ради Христа, воды!»

— Ахъ, сердечная! — сказалъ Феропонтъ, — хлѣба-то я вамъ найду, да воды-то гдѣ мнѣ взять?

— Вотъ здѣсь близехонько есть ключъ, — проговорилъ одинъ изъ затворниковъ: кабы было чемъ зачерпнуть...

— Ключъ?... Гдѣ?

— Вонъ за кустами, въ овражкѣ.

— Побудь-ка, батюшка, съ ними, — сказала Феропонтъ; — я сбѣгаю да принесу въ шапкѣ водицы, а ты вынь изъ кисы початой хлѣбъ; да смотри, Дмитрій Афанасьичъ, не давай по многу — не годится!.. Коли они денька два ничего не ѣли...

— Нѣтъ, — прошептала одинъ изъ затворниковъ, — вотъ ужъ третьи сутки...

— Эва-на! — прервалъ Феропонтъ, — шутка вымолвить: — третьи сутки безъ ѣды!... Вотъ, дай имъ теперь хлѣба вволю, такъ они всѣ перемрутъ. Я помню, дядя мой Терентій попалъ однажды въ волчью яму и не ѣвши просидѣлъ въ ней трое сутокъ...

— Да провались ты съ своимъ Терентьемъ! — вскричалъ Левшинъ. — Видишь, они чуть живы!

Феропонтъ побѣждалъ за водою, а Левшинъ слѣзъ съ коня, привязалъ его къ дереву и велѣлъ этимъ вольнымъ мученикамъ сѣсть въ кружокъ. Когда онъ вынулъ изъ кисы хлѣбъ, они не усидѣли на своихъ мѣстахъ и съ радостнымъ воплемъ кинулись, исключая молодой женщины, на встрѣчу къ Левшину.

— Тише, братцы, тише! — сказалъ онъ, стараясь удержать хлѣбъ, который они вырывали у него изъ рукъ. — Садитесь опять въ кружокъ — всѣмъ достанется. Да садитесь же!... — повторилъ онъ строгимъ голосомъ; — а не то я вамъ ничего не дамъ!

Эта угроза подѣйствовала: затворники усѣлись попреж-

нему на землю и Левшинъ, отламывая небольшіе куски отъ хлѣба, сталъ ихъ одѣлять по-очереди. Когда онъ подошелъ къ молодой женщинѣ, которая томилась жаждою, то она промолвила:

— Батюшка, и ѣсть-то не могу!... Дай мнѣ пить!... Охъ, тошно!... смерть моя!

— Потерпи, любезная, потерпи! — сказалъ Левшинъ. — Ну вотъ, мой слуга и несетъ вамъ водицы!

Женщина вскочила и, не смотря на свою слабость, бросилась бѣгомъ на встрѣчу къ Феропонту.

— На-ка, лебедка! — сказалъ онъ, подавая ей свою войлочную шапку. — Выкушай!... Да тише, тише!... Будетъ покамѣсть.

— Батюшка, дай еще!

— Нѣтъ, голубка, погоди!... Надо и другимъ горло промочить.

— Еще немножечко!...

— Да напѣешься до сыта, не торопись!... Поѣшь теперь хлѣбца, а тамъ, пожалуй, я тебѣ еще воды почерпну.

Когда всѣ эти несчастные затворники съѣли или, лучше сказать, проглотили по куску хлѣба, то принялись снова такимъ жалобнымъ и убѣдительнымъ голосомъ просить пищи, что Левшинъ началъ опять было ихъ одѣлять; но Феропонтъ остановилъ его.

— Что ты, батюшка! — сказалъ онъ; — не слушай ихъ!... Дай прежде имъ водицы выпить. Вѣдь сухой хлѣбъ на тощій животъ бѣда!... Вотъ этакъ-то покойный мой дядя Терентій навалился съ голодухи на хлѣбъ, да въ тотъ-же самый день и померъ.

— Такъ давай имъ скорѣе пить!

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!... А тамъ можно еще по кусочку хлѣба; да не худо будетъ и вина хлебнуть.

Пока Феропонтъ поилъ ихъ водою, а потомъ сталъ опять одѣлять хлѣбомъ и давать изъ своей дорожной фляги по глотку вина, Левшинъ разсматривалъ со вниманіемъ молодую женщину, которая, выпивъ еще воды и съѣвъ кусокъ хлѣба, совершенно успокоилась. Хоть лицо ея вѣроятно очень измѣнилось отъ продолжительнаго страданія, однакожь, не смотря на это, оно казалось ему знакомымъ. Онъ не могъ только никакъ припомнить, гдѣ и когда видѣлъ эту женщину. Межъ тѣмъ товарищи ея, поутоливъ нѣсколько свой голодъ, встали, и одинъ изъ нихъ, высокій

старикъ лѣтъ шестидесяти, сказалъ: «Дай Богъ тебѣ, господинъ честной, много лѣтъ здравствовать! Кабы не ты, умирать бы намъ голодной смертію. Да воздастъ Господь этому окаянному старцу!... Прельстилъ насъ, проклятый, прельстилъ!... Братіе!—продолжалъ онъ, обращаясь къ другимъ затворникамъ, — кто изъ васъ желаетъ приступить къ адамантовскому согласію, тотъ иди со мною въ скитъ поморскаго старца Григорія: онъ приметъ всѣхъ насъ съ любовію; а къ этимъ филиповцамъ я ни за что теперь не пойду».

— И мы также! — закричали въ одинъ голосъ его товарищи.

— А ты пойдешь съ нами? — продолжалъ старикъ, обращаясь къ молодой женщинѣ.

— Нѣтъ! — отвѣчала она. — Я какъ-нибудь добреду до нашего скита. Авось отецъ Андрей меня помилуетъ. Не послушалась я его, окаянная!

— Ну, какъ хочешь. Пойдемте, братцы! До Григорьева скита версты три будетъ, а вотъ ужъ вечерняя заря тухнетъ. Какъ-то мы доплетемся?... Прощай, Дарья!

— Дарья! — повторилъ Левшинъ. — Неужли это? .. О, нѣтъ, нѣтъ! быть не можетъ!...

— Да! — шептала молодая женщина, глядя вслѣдъ за своими прежними товарищами, которые, шатаясь какъ пьяные, шли въ разсыпную по полю.—Да, пойду я къ вашему старцу Григорію!.. Эка невидаль!... Онъ у моего хозяина въ Выгорѣцкомъ скиту былъ пасухомъ... Старецъ Григорій!... Больно скоро въ старцы то попалъ!

— Послушай-ка, голубка, — сказалъ Феропонтъ, — ты хочешь идти въ свой скитъ, а далеко ли это?

— Версгы четыре будетъ.

— Да вѣдь въ лѣсу-то теперь хоть глазъ выколи. Какъ же ты пойдешь одна?

— Что-жъ дѣлать: пришлось идти одной, коли товарищей нѣтъ.

— Хочешь ли, мы тебя проводимъ?

— Какъ, батюшка, не хотѣть!

— А ты, красавица, за эту службу и насъ куда-нибудь приюти.

— Да вы кто такіе?

— Дорожные люди.

— Охъ, кормилицъ! хозяинъ то нашъ такой строгій!...

Ну, да если онъ васъ въ скитъ не пустить, такъ вы въ сторожкѣ переночуете; а вашимъ лошадямъ я ужъ какъ-нибудь сѣнца то вынесу.

— И на томъ спасибо!... Вставай же, лебедка, пора. Хочешь—садись на мою лошадь, а я пѣшкомъ пойду.

— Нѣтъ, батюшка, куда мнѣ!... Я сродясь на лошадахъ не ѣзжала, а дайте-ка мнѣ поотдохнуть немного, да еще водицы выпить, такъ я какъ-нибудь и пѣшкомъ до-тащусь.

— Ну, хорошо!... Я схожу за водой, а ты... на-ка тебѣ, поѣшь еще хлѣбца.

— Послушай, любезная,—сказаль Левшинъ, оставшись одинъ съ молодою женщиною, — мнѣ все кажется, что я гдѣ-то тебя видѣлъ.

— Не знаю, молодець.

— И голосъ твой мнѣ знакомъ... Да не была ли ты недавно въ Москвѣ?

— Какъ же, батюшка!... Всего три недѣли какъ от-туда. Я была тамъ съ моимъ хозяиномъ и его дочкою.

— И вы жили въ Зарядѣ, на Мещовскомъ подворьѣ?

— Да, на Мещовскомъ подворьѣ. А почему ты это знаешь?... Постой ка, постой!... Ахъ, батюшки-свѣты!... Да ты никакъ тотъ самый молодець, котораго чуть было не убили стрѣльцы?... Вотъ диво то! какъ это тебя Господь сюда занесъ?

— Ёду въ село Толстошеино,—недалеко отсюда.—А ты какъ, Дарья, попала въ затворницы?

— Охъ, батюшка, не говори!... Истинно Божье попу-щенье!... Вотъ изволишь видѣть... такъ и быть! все тебѣ скажу, какъ на духу... Я прошлаго года гадала объ святкахъ и видѣла во снѣ нашего батрака Архипку, а Архипка то ужъ былъ женатъ; вотъ я и смекала: видно онъ женится на мнѣ, когда овдовѣетъ. Какъ поѣхали мы въ Москву, жена его захворала, а какъ воротились назадъ, такъ ужъ ее давнымъ давно и на погостъ снесли. Ну,—думаю я,—правду говорятъ: суженаго конемъ не облѣдешь. Дѣлать нечего: видно мнѣ на роду написано быть за вдовцомъ. Вотъ я Архипкѣ-то и говорю: «Архипушка! вѣдь я видѣла тебя объ святкахъ: ты мой суженый». А онъ рыжій, — чтобъ ему ни дна ни покрышки... озорникъ этакій! — и ну надо мной смѣяться. «Видно, дескать, я тебѣ, Дарья, суженый да неряженный; ищи себѣ другого жениха,

а я ужъ помолвилъ на Дуняшкѣ». Такъ меня, кормилецъ, словно ножемъ и зарѣзалъ! — На Дуняшкѣ!... И добро бы человекъ, а то вѣдь такъ... дѣвка чернавка — взглянуть не на что!... Зло такое меня взяло, что и сказать нельзя! . Опротивѣлъ мнѣ этотъ рыжий — видѣть его не могу!... А какъ живешь вмѣстѣ, такъ по неволѣ видишь. Потерпѣла я денекъ, другой—нѣтъ! тоска меня вовсе одолѣла. Вотъ я и говорю хозяйну: «Хочу, дескать, батюшка, идти въ филипповщинское согласіе за тѣмъ, дескать, что у нихъ строже, — скорѣй спасешься». А у самой, грѣшницы, не то на умѣ: какъ бы только уйти подальше отъ Архипки, да не видѣть эту поскудную Дуняшку. Вотъ Андрей Яковлевичъ началъ меня уговаривать: «Эй, Дарья, не ходи къ филипповцамъ! У нихъ наставникомъ старецъ Пафнутій, а онъ вовсе полоумный: научить онъ тебя такимъ дѣламъ, что ты и животу не будешь рада. — И дочка-то его со слезами упрашивала меня не ходить къ филипповцамъ... такъ нѣтъ! — никого не послушалась — пошла!... Что-жъ, батюшка? не прошло недѣли, какъ я вовсе обезумѣла; только и слышу, что у нихъ какой-то великій угодникъ, ради царствія небеснаго, велѣлъ похоронить себя живого; такая-та угодница сожглась въ печи, такая-то запостилась. И въ молитвахъ то ихъ поминаютъ и чинятъ имъ поклоненія. Стали мнѣ рассказывать, что будто бы видали ихъ въ свѣтлыхъ одеждахъ, въ золотыхъ вѣнцахъ... а я съ дуру слушаю да вѣрю. Вотъ пришелъ въ скитъ старецъ Пафнутій. Онъ, батюшка, самъ въ скиту не живетъ, а, говорятъ, спасается гдѣ-то на соснѣ.

— Да не онъ ли караулилъ васъ въ этомъ шалашѣ? — спросилъ Левшинъ.

— Онъ, батюшка, онъ!... Вотъ этотъ разбойникъ подговорилъ человекъ пять идти въ запошеваницы, да началъ и меня уговаривать: «Ты, дескать, сестра Дарья, не бойся; коли Богу будетъ угодно, такъ ты и сорокъ дней не ѣвши проживешь, а останешься жива; а коли умрешь, такъ смерть твоя будетъ честна предъ Господомъ и ты причтешься къ лику святыхъ мучениковъ. Да съ вами же и насилія никакого не будетъ. Кто снесетъ, тотъ неси, а кому придется не въ моготу, такъ пусть себѣ отречется; и коли не пожелаетъ промѣнять временную жизнь на вѣчное блаженство — такъ его воля». — Что будешь дѣлать, прельстилъ и меня лукавый старецъ... Вотъ, батюшка,



какъ насъ заперли въ эту запощевальню, первыя то сутки мы смирно просидѣли, и другія кой-какъ промаялись; но ужъ за то на третьи... Господи, Боже мой!... ну, мука!... Я первая закричала, что отрекаюсь — отвѣту нѣтъ. Закричали и другіе. Слышимъ, Пафнутій съ кѣмъ-то пошептался, да и говоритъ намъ: «Нѣтъ, братія! коли вы сами не радѣете о душахъ вашихъ, такъ мы за васъ порадуемъ. Нѣтъ вамъ отсюда выхода!... Мужайтесь, братія, и когда Господь сподобитъ васъ стяжать вѣнцы мученическіе, такъ помолитесь и о насъ грѣшныхъ». — Вотъ тутъ то, батюшка, поднялся вопль и плачь!... Когда мы увидѣли, какъ предъстилъ и обманулъ насъ этотъ душегубецъ, всѣ мы стали словно бѣшеные: кричимъ, воемъ, рвемъ на себѣ платье, кусаемъ руки; а онъ, злодѣй, только что и твердитъ: «Потерпите, братіе, потерпите! Мзда ваша велика на небеси!»—Я еще, батюшка, не очень отошала: у меня въ карманѣ была просвирка; ее принесла мнѣ изъ Кіева одна странница, когда я жила еще у прежняго хозяина. На второй день я потихоньку ее съѣла; но ужъ за то пить мнѣ такъ хотѣлось, что я дала бы себѣ отрѣзать любой палецъ за одну каплю воды... Ахъ! батюшка, подумаешь: что бы съ нами было, еслибъ Господь не привелъ васъ сюда!... Подлинно правду говорятъ: голодная смерть хуже всякой смерти.

— Такъ ты, Дарья, надѣешься, — сказалъ Левшинъ, — что прежній хозяинъ приметъ тебя опять къ себѣ въ домъ?

— Приметъ, батюшка: онъ человѣкъ добрый. Поважусь ему въ ноги, скажу: виновата, кормилецъ, согрѣшила!... Да и дочка то за меня заступится.

— А кто такой твой хозяинъ?

— Отецъ Андрей.

— Отецъ Андрей!... Да развѣ у него нѣтъ никакого прозванія?

— Да какъ бы тебѣ сказать: въ глаза его зовутъ отцемъ Андреемъ, а за глаза Андреємъ Поморяниномъ.

— Да кто онъ такой? Дворянинъ чтоль, купецъ, или изъ духовнаго званія?

— И этого не вѣдаю, батюшка; а знаю только, что въ здѣшней сторонѣ онъ у всѣхъ въ большемъ почетѣ, даже старецъ Пафнутій и тотъ его побануется.

— Ну, что, — промолвилъ робко Левшинъ, — дочь его, Софья Андреевна, здорова?

— А ты имячко то ея знаешь?... Вотъ что!... здорова, батюшка, здорова... только все что то кручинится, да тоскуеть.

— Тоскуеть!—повторилъ въ полъ голоса Левшинъ.

— Да, батюшкэ; говорить, что по Москвѣ... вишь больно ей приглянулась. А я такъ думаю, что теперь и въ Москвѣ то она стала бы тосковать.

— Отчего же?

— Отчего!... Ну, ужъ это, молодець, самъ смекай.

— На-ка, красавица, вотъ тебѣ и еще водицы, — сказалъ Феропонтъ, подходя къ Дарьѣ и подавая ей свою шапку съ водою. — Пей себѣ на здоровье!... Да только поскорѣе въ путь. Благо теперь облачка то поразошлись, все-таки кой-что видно будетъ; а неравно опять набѣгутъ тучи, такъ и ты, голубушка, заплутаешься.

Молодая женщина встала, а Левшинъ и Феропонтъ пошли отвязывать своихъ коней. Въ эту самую минуту изъ-за угла сарая высунулась безобразная рожа чернородога раскольника.

— Вотъ они!—заревѣлъ онъ, оборотясь назадъ, и чело-вѣкъ пятнадцать вооруженныхъ дубинами мужиковъ высыпало на поляну.

— Хватайте ихъ, братіе!... бейте этихъ проклятыхъ святотатцевъ! — кричалъ чернородый, бросаясь съ поднятой дубиною на Левшина. Отскочивъ быстро въ сторону, Левшинъ выхватилъ свою саблю, она свиснула и чернородый, какъ снопъ, повалился на землю. Но Левшинъ не успѣлъ повторить удара: его сбили съ ногъ, скрутили назадъ руки и цотащили въ лѣсъ. Разумѣется, Феропонтъ, который былъ шагахъ въ двадцати отъ своего господина, кинулся къ нему на помощь; къ несчастью, онъ наткнулся на пенекъ и упалъ. Когда онъ приподнялся, чело-вѣкъ пять раскольниковъ, не давъ ему справиться, кинулись на него гурьбою, вырвали изъ рукъ саблю и ухватились за него со всѣхъ сторонъ. Но Феропонтъ устоялъ на ногахъ. Онъ круто повернулся кругомъ, тряхнулъ своими богатырскими плечами, высвободилъ руки и пошелъ работать на право и на лѣво; сломалъ, какъ медвѣдь, двухъ противниковъ, шиибъ съ ногъ ударомъ кулака третьяго, подмялъ подъ себя четвертаго; но пятый, отскочивъ назадъ, ударилъ его дубиною такъ сильно по головѣ, что у него, какъ послѣ самъ онъ рассказывалъ, искры изъ глазъ посыпа-

лись и въ ухахъ загудѣло, какъ будто бы ударили въ успенскій колоколъ. Онъ пошатнулся, ступилъ нѣсколько шаговъ впередъ и упалъ безъ чувствъ на землю.

— Что, улегся, проклятый еретикъ! — сказалъ одинъ изъ раскольниковъ, помогая приподняться двумъ товарищамъ, которые болѣе другихъ поизмяты были въ рукахъ Феропонта. — Ну, здоровъ, разбойникъ!... кулакъ словно свинчатка!... Какъ онъ хлыснулъ меня, такъ я думалъ, что голова съ плечъ слетитъ!

— Что жъ вы, братцы? — сказалъ, подходя къ нимъ, другой раскольникъ. — Мы того молодца ужъ спровадили, тащите и этого.

— Зачѣмъ? — молвилъ широкоплечій дѣтина, тотъ самый, который ударилъ Феропонта дубиною.

— Какъ зачѣмъ?... Ихъ надо обоихъ допросить. Отецъ Пафнутій говоритъ, что они подосланы отъ калужскаго архіерея.

— Не знаю тотъ, а этотъ ужъ вамъ ничего не отвѣтитъ.

— Ой-ли?

— Да ужъ небойсь!... Кого я съвѣжу по маковкѣ дубиною, тотъ не встанетъ.

— Такъ прибрать бы его къ сторонкѣ.

— И безъ насъ приберутъ: волковъ то здѣсь довольно. Ну, что кричите, ребята? — продолжалъ широкоплечій дѣтина, обращаясь къ своимъ товарищамъ. — Или реберъ не досчитываетесь?... Экій лѣшій, проклятый, какъ онъ ихъ исковеркалъ!... Ну, пойдете, братцы!

Черезъ нѣсколько минутъ на полянѣ не осталось никого. Изрѣдка раздавались вдали голоса уходящихъ раскольниковъ и раза два лѣсной отголосокъ повторилъ имя Феропонта; но вѣрный слуга не слышалъ призывнаго голоса своего господина. Когда затихли и эти отдаленные голоса, послышался въ кустахъ легкій шорохъ, и Дарья, робко озираясь кругомъ, вышла на поляну.

— Вотъ кто то лежитъ!... — прошептала она, подходя къ Феропонту. — Ахъ, Господи!... Неужели они убили... Нѣтъ! я видѣла, его утащили въ лѣсъ... Видно это слуга... Ну, такъ и есть!... Сердечный! — прошептала она, наклонясь надъ Феропонтомъ. — По милости твоей и твоего барина, я жива, а ты... Да онъ никакъ дышитъ... Видитъ Богъ, дышитъ! — вскричала съ радостію Дарья. — Кабы только успрыснуть его водицею... А! да вотъ и шапка!

Дарья схватила войлочную шапку Феропонта, подняла мимоходом саблю, которая, шагахъ въ десяти отъ него, лежала на землѣ, почерпнула въ родникъ воды и, возвратясь назадъ, начала обливать ею голову и лицо Феропонта. Съ полъ-минуты онъ оставался въ прежнемъ положеніи; но вотъ, наконецъ, вздохнулъ и пошевелился.

— Ну, слава тебѣ Господи, очнулся!—сказала Дарья.

— Фу, какъ шумить въ головѣ! — прошептала Феропонтъ.—Что это со мною было?

— Ничего. Тебя немного позашибли.

— Да гдѣ я?

— Въ лѣсу, на полянѣ... Чу! слышишь, какъ воютъ волки?... Ухъ, страшно!... Вставай, молодецъ!

Феропонтъ приподнялся до половины и началъ ощупывать голову.

— Кажись, цѣла,—промолвилъ онъ.—Фу ты, батюшки, какъ меня ошеломили!

— Вотъ твой тесака!—сказала Дарья.— Вставай, молодецъ; мѣшкать нечего.

— Да кто ты?—спросилъ Феропонтъ.

— Я Дарья... ну, вотъ та затворница, которую ты поилъ водою. Я все сидѣла за кустомъ и видѣла, какъ съ вами дрались филипповцы.

— Съ нами?

— Ну, да!... Съ тобой и съ твоимъ бариномъ.

— Съ бариномъ?—повторилъ Феропонтъ и, какъ будто бы пробудясь отъ сна, быстро вскочилъ на ноги, схватилъ саблю и закричалъ:— А гдѣ жъ мой баринъ? Дмитрій Афанасьичъ!... Дмитрій Афанасьичъ!

— Да не кричи!—прервала Дарья.—Его здѣсь нѣтъ; его увезли съ собой филипповцы.

— Господи!... — завопилъ отчаяннымъ голосомъ Феропонтъ.—Убьютъ они его, злодѣи!

— Небойсь!... Коли здѣсь не убили, такъ не убьютъ.

— Куда они пошли?

— Вѣстимо куда: въ свой скитъ.

— Такъ веди меня туда—скорѣй, скорѣй!

— Зачѣмъ?.. Чтобы тебя опять дубиной хватили?..

— Эхъ, что нужды? Умирать, такъ умирать вмѣстѣ.

— Да что ты одинъ сдѣлаешь?.. Вѣдь ихъ тамъ чело-вѣкъ до ста. Барина ты своего не выручишь, а полъзешь на драку, такъ убьютъ тебя—вотъ и все!

— Да пусть себѣ убьютъ!.. По дѣломъ! — прервалъ Феропонтъ.—Коли я не умѣлъ сберечь моего барина, такъ туда мнѣ и дорога!.. Пойдемъ!

— Полно, молодецъ, послушайся меня: пойдемъ лучше въ скитъ къ отцу Андрею. Онъ скорѣе выручитъ твоего барина.

— А кто этотъ отецъ Андрей?

— Мой прежній хозяинъ; его здѣсь все слушаются, и если онъ самъ поѣдетъ къ филипповцамъ...

— Да поѣдетъ ли онъ?

— Поѣдетъ!.. Ужъ я тебѣ говорю... онъ выручитъ твоего барина; только мѣшкать нечего... Чу! слышишь?

Вдругъ раздался вблизи зловѣщій вой; онъ повторился въ разныхъ мѣстахъ по лѣсу то ближе, то далѣе. Привязанные къ деревьямъ кони начали храпѣть и порываться.

— Чу! — продолжала Дарья робкимъ голосомъ, — слышишь, какъ перекликаются эти голодные волки?.. Охъ, худо, молодецъ!.. Видно они почуяли добычу!.. Ради Христа, поѣдемъ скорѣе!.. Ужъ такъ и быть, и я какъ-нибудь сяду на коня.

Феропонтъ отвязалъ коней, помогъ своей спутницѣ сѣсть на донца, вскочилъ самъ на Султана и, не смотря на темноту, пустился рысью по дорожкѣ, которую ему указала Дарья. Они не успѣли еще проѣхать и поль-версты, какъ на противоположной сторонѣ поляны заблестали между деревьевъ огненные звѣздочки, захрустѣлъ валежникъ и два огромныхъ волка, оцетинясь и сверкая глазами, промчались вдоль опушки лѣса къ тому мѣсту, гдѣ за минуту до того стояли кони.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### I.

Въ двухъ верстахъ отъ этой поляны, на которой раскольники захватили Левшина и едва не убили его слугу, на берегу широкаго оврага, въ глубинѣ котораго лѣниво струилась, въ тонкихъ берегахъ своихъ, рѣчка Брынь, стояло нѣсколько большихъ избъ, соединенныхъ межъ собою крытыми переходами. Одна изъ этихъ избъ была въ два жилья; къ ней примыкала низкая лачужка, которая, вѣроятно, служила кладовою; это можно было заключить изъ того, что она освѣщалась однимъ только прорубленнымъ подъ самой кровлею волоковымъ окномъ, и что ея толстыя дубовыя двери были окованы желѣзомъ. Кругомъ этого главнаго жилья разбросаны были, безъ всякаго порядка, отдѣльныя избы, клѣти, сараи и амбары. Нѣсколько поодаль отъ прочихъ строеній стояла *молежня*, длинное и широкое зданіе съ узкими окнами, въ которыхъ, вмѣсто стеколъ, была вставлена слюда. На досчатой кровлѣ этой молежни возвышался осмиконечный деревянный крестъ. Вся эта группа строеній, занимавшихъ довольно большое пространство, обнесена была высокимъ бревенчатымъ тыномъ; въ оградѣ было двое воротъ: одними выѣзжали на дорогу, которая, круто спускаясь на дно оврага, вела къ узкому мосту, перекинутому черезъ рѣчку Брынь; другія, находящіяся въ противоположной сторонѣ ограды, обращены были къ расчищенному мѣсту. На этой искусственной полянѣ разбросаны были огороды и нѣсколько пчельниковъ, обнесенныхъ плетневыми заборами. Надъ первыми

воротами, подъ навѣсомъ изъ листового желѣза, стояла большая икона Спаса Нерукотвореннаго, передъ которой теплилась лампада. Внизу, съ одной стороны воротъ устроена была низенькая сторожка, съ другой—висѣли: огромная оловянная умывальница и чистый ручникъ, или полотенце изъ бѣлаго холста. На воротахъ, подъ самымъ образомъ, было написано крупнымъ полууставомъ: «Аще кто входяй во святыя врата сїи не отречется отъ міра и вся скверны его, тотъ да будетъ намъ яко же мытарь и язычникъ».

Этотъ раскольничій скитъ принадлежалъ филипповцамъ.

Пользуясь правомъ рассказчика, для котораго нѣтъ запертыхъ дверей, я попрошу васъ, любезные читатели, заглянуть вмѣстѣ со мною во внутренность этой кладовой, которая примыкала къ избѣ о двухъ жильяхъ. Въ ней стояло нѣсколько сундуковъ, окованныхъ желѣзомъ, и сидѣлъ на скамьѣ, съ связанными назадъ руками, Левшинъ. Разумѣется, въ этой кладовой, въ которую и днемъ едва проникалъ слабый свѣтъ, было темно, какъ въ подземельѣ. Вотъ уже прошло болѣе часу, какъ нашего путешественника втолкнули и заперли въ эту лачужку. Конечно, положеніе его было не очень завидное: Левшинъ могъ всего ожидать отъ этихъ неистовыхъ изуверовъ, въ глазахъ которыхъ онъ былъ не только еретикомъ, но даже святоотатцемъ и явнымъ врагомъ православія; но, несмотря на это, онъ вовсе не раскаявался въ своемъ поступкѣ: онъ спасъ отъ мучительной смерти шесть человѣкъ и въ томъ числѣ женщину, по милости которой знаетъ теперь, гдѣ живетъ *его незнакомка*. О себѣ самомъ Левшинъ безпокоился несравненно менѣе, чѣмъ о вѣрномъ своемъ слугѣ, который, вѣроятно, не спрятался за кустъ, когда на нихъ напали раскольники. Отбиться одному отъ цѣлой толпы невозможно; но Левшинъ зналъ также, что Ферапонта одолѣть не легко, что онъ не дастся живой въ руки и, безъ всякаго сомнѣнія, перестанетъ драться только тогда, когда его или вовсе изуверчатъ, или убьютъ до смерти. Последнее было даже гораздо вѣроятнѣе: и на кулачной потѣхѣ бывають убитые, а этотъ бой вовсе не походилъ на потѣшный: всѣ раскольники были вооружены дубинами и, вѣроятно, ожесточенные упорнымъ сопротивленіемъ Ферапонта, дрались съ нимъ не на животь, а на смерть.

Нѣсколько разъ Левшинъ обходилъ кругомъ свою ка-



морку. Онъ давно бы обшарилъ все и попытался узнать, нѣтъ ли для него какого-нибудь средства къ побѣгу, но что онъ могъ сдѣлать съ связанными руками?... Въ одинъ изъ этихъ обходовъ Левшинъ зацѣпилъ локтемъ за гвоздь, вколоченный въ стѣну. Мысль, что онъ можетъ какъ-нибудь перетереть на этомъ гвоздѣ веревку, которою его руки были скручены назадъ, мелькнула въ его головѣ. И вотъ онъ, оборотаясь спиною къ стѣнѣ, приложилъ къ гвоздю свои связанные руки и принялся за работу. Съ четверть часа трудился онъ безъ отдыха, измучился, испарялъ себѣ въ кровь пальцы, — но перепилилъ наконецъ кое-какъ веревку и страхнулъ ее на полъ. Когда его одеревенѣвшія руки поотдохнули, онъ принялся ощупывать стѣны своей тюрьмы. Добравшись до дверей, Левшинъ попытался упереться въ нихъ плечомъ, но тотчасъ же увидѣлъ, что этихъ дверей онъ не могъ бы выломать и при помощи своего могучаго богатыря Фералонта. Продолжая обшаривать всѣ углы, онъ ощупалъ въ одномъ изъ нихъ преставленную къ стѣнѣ лѣстницу. Хотя Левшинъ былъ увѣренъ, что лѣстница упирается однимъ концомъ въ потолокъ и не ведетъ никуда, однакожь рѣшился вѣлѣзть по ней вверхъ; поднявшись ступеней на семь отъ земли, онъ почувствовалъ, что на него пахнуло свѣжимъ воздухомъ изъ отверстія, сдѣланнаго въ потолкѣ. Левшинъ сталъ подыматься еще выше и очутился на чердакѣ, подлѣ открытаго слухового окна. Въ первую минуту ему представилась какая то возможность къ спасенію; но эта надежда не долго продолжалась: слуховое окно было такъ мало, что онъ не могъ даже просунуть въ него головы и посмотреть, что дѣлается на дворѣ. Подышавъ нѣсколько времени прохладнымъ ночнымъ воздухомъ у открытаго окна, Левшинъ сталъ искать, нѣтъ ли на этомъ чердакѣ какого-нибудь отверстія побольше этого слухового окна. Онъ не успѣлъ сдѣлать трехъ шаговъ, какъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться. Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что кладовая, которая служила для Левшина тюрьмою, пристроена была къ высокой избѣ о двухъ жильяхъ, слѣдовательно, чердакъ ея примыкалъ къ стѣнѣ второго жилья—и за этой то стѣною слышался Левшину, хотя невнятный, но довольно звучный людской говоръ. Левшинъ подошелъ къ стѣнѣ, повелъ по ней рукою и ощупалъ небольшія, но плотныя двери съ желѣзными про-

бами, которыя однакожь, отъ легкаго прикосновенія, тихо отворились внутрь. Притаивъ дыханіе и медленно подвигаясь впередъ, Левшинъ вошелъ въ просторный чуланъ, въ которомъ по стѣнамъ развѣшаны были платья. Этотъ чуланъ отдѣлялся отъ покоя, гдѣ раздавались громкіе голоса разговаривающихъ, толстой бревенчатой стѣною и дверью, которая повидимому была заперта снаружи; въ ней было прорубленное небольшое окошечко, вѣроятно служившее для освѣщенія чулана. Конечно, Левшину не трудно было бы отгадать, что это сообщеніе между его тюрьмою и жилыми покоями сдѣлано было для того, чтобъ хозяинъ избы о двухъ жильяхъ могъ во всякое время, и не выходя на дворъ, заглянуть въ свою кладовую; но Левшинъ думалъ вовсе не объ этомъ. Притаивъ у прорубленнаго въ дверяхъ окна, онъ могъ и слышать и видѣть все, что происходило въ сосѣдномъ покоѣ, или, вѣрнѣй сказать, большой избѣ, потому что въ ней были и полати, и печь съ горнушкою, и шестакъ, — однимъ словомъ, все то, что мы видимъ и теперь въ крестьянскихъ избахъ; разница была только въ томъ, что надъ самымъ устьемъ печи были сдѣланы небольшія круглыя отверстія; они служили для того, чтобъ во время молитвы хозяина благодать, проникая въ печь, свободно входила въ горшки, въ которыхъ варились щица. Большая часть этой обширной избы была въ тѣни, но весь передній уголъ ярко освѣщался тремя лампадами и восковыми свѣчами, которыя горѣли передъ иконами. Въ этомъ почетномъ углу за столомъ сидѣло шесть человѣкъ. Первое мѣсто, то есть подъ самыми образами, занималъ худощавый старикъ лѣтъ шестидесяти; изъ подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей его сверкали сѣрые блестящіе глаза. Во всѣхъ чертахъ лица его отражались внутренняя духовная гордость, жестокосердіе и дикая, ничѣмъ не преклонная воля; а этотъ, исполненный мрачнаго огня, быстрый и безпокойный взглядъ изобличалъ, если не совершенное безуміе, то, по крайней-мѣрѣ, какое то изступленное состояніе, близкое къ сумасшествію. На немъ былъ черный подрясникъ и *каптырь*, или раскольниковій клобукъ, который отличался отъ обыкновенныхъ монашескихъ клобуковъ только тѣмъ, что тулья его имѣла форму жидовской ермолки и обшивалась мѣхомъ; въ правой рукѣ держалъ онъ костыль, похожій на игуменскій посохъ, на лѣвой висѣли у него длинныя лѣстовки, т. е. кожаныя чотки.

Левшину не трудно было узнать въ этомъ чернецѣ полоумнаго раскольника, котораго называли старцемъ Пафнутиемъ. Подлѣ него сидѣлъ человекъ пожилыхъ лѣтъ въ бѣломъ суконномъ балахонѣ; онъ вовсе не походилъ на своего сосѣда: его приглаженные волосы и небольшая опрятная бородка представляли разительную противоположность съ косматою и нечесаною бородою старика. Съ перваго взгляда Левшинъ подумалъ, что видитъ передъ собою воплощенную доброту, кротость и смиреніе. Этотъ раскольникъ, котораго называли отцемъ Филиппомъ, говорилъ такъ тихо, такимъ мягкимъ, благозвучнымъ голосомъ, что, казалось, изъ устъ его могли исходить только одни слова любви и милосердія; но Левшину стоило только посмотрѣть на его прищуренные, лукавые глаза, чтобъ увѣриться въ противномъ. Въ нихъ выражалось такое коварное двуличіе, такая искусственная кротость и приторное смиреніе, кто, конечно, всякій предпочелъ бы имѣть дѣло съ его полоумнымъ сосѣдомъ, чѣмъ съ нимъ. Тотъ походилъ на злую цѣпную собаку, а этотъ сладко-глаголевымъ лицемѣръ,—на дикую кошку, которая прикидывается смиренницей для того, чтобъ вѣрнѣй поймать и задушить свою добычу. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ небольшого роста старикъ, въ сѣромъ зипунѣ, опоясанномъ веревкою. На огромной и вдавленной въ широкія плечи головѣ его не было ни одного волоска; но зато необычайно длинная борода его, которая, покрывая всю грудь, опускалась ниже пояса, была предметомъ явнаго уваженія и тайной зависти всѣхъ раскольниковъ Брынскаго лѣса. Ученикъ знаменитаго наставника черноболдцевъ, Антипа *Коровы ножки*, онъ самъ былъ извѣстенъ во всѣхъ скитахъ подъ именемъ *Волосатаго* старца. Его прямой и узкій лобъ, его бездушные, оловянные глаза, безсмысленные взгляды и совершенное отсутствіе выраженія въ этихъ пошлыхъ чертахъ лица, безжизненнаго въ высочайшей степени, — все носило на себѣ отпечатокъ и природной глупости и совершеннаго невѣжества. Еслибъ борода этого лысаго старика была не длиннѣе обыкновенныхъ бородъ, то, вѣроятно, онъ прожилъ бы незамѣтно свой вѣкъ въ толпѣ безграмотныхъ рядовыхъ раскольниковъ, которые повинуются своимъ наставникамъ ради того, что они люди *начитанные*, и слѣпо вѣрятъ имъ потому, что они говорятъ съ ними языкомъ, похожимъ на церковный языкъ, котормъ писаны всѣ наши духовныя книги.

Казалось, случай какъ будто бы нарочно свелъ вмѣстѣ этихъ трехъ раскольниковъ, чтобы олицетворить передъ глазами Левшина три главныя начала почти всякаго раскола: безумный фанатизмъ, фарисейское лицемеріе и грубое, закоснѣлое невѣжество. Остальные три раскольника, сидѣвшіе за столомъ, не отличались ничѣмъ отъ обыкновенныхъ важиточныхъ мужиковъ и, повидимому, не принимали никакого дѣятельнаго участія въ бесѣдѣ своихъ старшинъ.

— Оле бѣдствіе!.. Оле скорбь неуладимая!..—говорилъ старецъ Пафнутій. — Православные призываютъ еретиковъ, отрекаются отъ своего обѣта!.. Да потребить же Господь отъ земли память сихъ окаянныхъ отступниковъ!.. Да воспомянутся беззаконія отцевъ ихъ предъ Господомъ, да придетъ на главу ихъ...

— Эхъ, полно, отецъ Пафнутій, не кляни! — прервалъ Филиппъ. — Или ты не вѣдаешь, что изрекающихъ проклятія отвращаетъ Господь, ибо гортань ихъ яко гробъ отверстый. Прежде бывшіе братья и сестры наши не до конца свершили свой подвигъ, — такъ чтожъ?.. Коли было начало благое, такъ будетъ и конецъ благой; а что они призвали на помощь еретиковъ, и тѣ ихъ выручили, такъ въ этомъ мы сами виноваты; коли они волей пошли въ запощеванцы, такъ мы бы могли имъ и здѣсь въ скиту мѣстечко найти; здѣсь бы ихъ никто не выручилъ. Вотъ, погоди, они вернутся къ намъ со своими пожитками.

— Да не дерзаютъ! — закричалъ Пафнутій. — И како возмогутъ сіи нечестивые грѣхолоубцы и плотоугодники внити во святыя врата обители нашей?

— Ну, коли не во святыя, такъ мы проведемъ ихъ и задними. Я приму ихъ съ любовью, яко заблудшихъ овецъ...

— Недостойное глаголеши, брате Филиппе! — прервалъ Пафнутій. — Удобъ тѣмъ смѣшаться со свѣтомъ, чѣмъ единому изъ братій нашихъ имѣть общеніе и любовь съ сими отступниками отъ правой вѣры...

— Эхъ, отецъ Пафнутій! да вѣдь человекъ слабъ: протекая свое поприще, онъ претыкается, а претыкающійся падаетъ — потщимся же возставить его. Ты станешь ихъ увѣщевать, я тебѣ пособлю и, можетъ быть, они опять пойдутъ охотно въ запощеванцы...

— А не захотятъ охотою, такъ можно и поневолить, — проговорилъ долгобородый.

— Ни, ни!—завопилъ Пафнутій. — Недостойны бо стяжать свѣтлыя вѣнцы мученическіе. Пусть гибнуть окаяныя во грѣхѣ своемъ.

— И впрямь, — промолвилъ долбобородый, — пусть гибнуть во грѣхѣ!

— Ну, какъ хотите!.. Такъ мы ихъ въ скитъ не пустимъ, а пожитки ихъ оставимъ у себя.

— Нѣтъ, брате Филиппе! — прервалъ Пафнутій. — Все ихъ доброе, сирѣчь пожитки, яко еретикамъ принадлежатъ, да предадутся огню.

— Огню! — повторилъ Филиппъ. — Что ты, отецъ Пафнутій!.. Какъ станемъ этакъ все предавать огню, такъ намъ и перекусить нечего будетъ.

— Да, братіе! — продолжалъ Пафнутій. — Да! и пепель оныхъ развѣйте по вѣтру, — да не како прикасаясь къ достоянію нечестивыхъ, осквернимся и мы, православные.

Кошачьи глаза Филиппа завертѣлись во всѣ стороны; онъ приподнялся, хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ остановился и началъ молча перебирать свои чотки.

— Истинно такъ! — промолвилъ долбобородый. — И покойный наставникъ мой Антипій увѣщевалъ братію сохранять себя отъ оскверненія; онъ часто говаривалъ, что коли гдѣ погребенъ еретикъ, и на могилѣ его вырастетъ трава, и той травы пощиплетъ корова, и отъ этой коровы кто изъ братій выпьетъ молочка, то отлучить такового на шесть мѣсяцевъ отъ церкви и троекратно читать надъ нимъ молитву отъ оскверненія.

— Эхъ, братіе, братіе! — заговорилъ опять Филиппъ кроткимъ и тихимъ голосомъ. — Да вѣдь и скверное, проходя чрезъ руки православныхъ, освящается. Мало ли изъ нашихъ и продаютъ и покупаютъ, и деньги на торгу берутъ, а изъ какихъ онѣ идутъ рукъ?

— Деньги! — прервалъ Пафнутій. — Берегитесь, братіе, сей прелести сатанинской!.. Деньги бо суть печать антихристова.

— Деньги печать антихристова! — повторилъ Филиппъ, вовсе уже не кроткимъ голосомъ. — Нѣтъ, отецъ Пафнутій, не безумствуй!.. Деньги даръ Божій.

— Даръ Божій!.. О людие крѣпковыя и съ окаменнымъ сердцемъ!.. Да развѣ ты не читалъ, Филиппъ, о звѣрѣ и драконѣ антихриста?

— Читалъ.

— А что же мнится изображеннымъ на сихъ еретичныхъ деньгахъ — не драконъ ли?.. Какъ же онѣ не суть печать антихристова?

— Эхъ, Пафнутій! Да на нихъ изображенъ Георгій Побѣдоносецъ, поражающій дракона, сирѣчь сатану.

— Толкуй по своему, толкуй!... Нѣтъ, брате Филиппе, нечиста твоя вѣра. Се бо плоды кичливой мудрости бывшего твоего наставника — Андрея Поморянина. Берегись, возлюбленный Филиппе, берегись внимать льстивымъ рѣчамъ сего прелестника!... Не пастырь бо есть овецъ, а наемникъ... Что глаголю—наемникъ!... Волкъ бо есть, пожирающій стадо!

— Ну, хоть и не волкъ,—прервалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ Филиппъ;—а нечего грѣха таить: отецъ Андрей не великій ревнитель православія—осуегился, обмірщился!... Да все-таки каковъ ни есть, а вѣдь другой заступы у насъ нѣтъ... Кабы не онъ, такъ давно-бы намъ отъ прежняго Мещовскаго воеводы житья здѣсь не было. Вы всѣ вѣдаете, что благочестивая наша царевна Софья Алексѣевна въ своей царской милости его содержитъ, и не токмо жалуетъ, но даже грамотки къ нему пишетъ; такъ поди-ка—обличи его!

— Обличу нещадно сего міроугодника! — воскликнулъ Пафнутій.—Не убоюсь ни льва, ни скимна...

— Ну, хорошо, хорошо!—прервалъ Филиппъ.—Да рѣчь теперь не о томъ. Послушайте, братіе: мы захватили одного изъ провѣзжихъ еретиковъ, посягнувшихъ на свободу служенія нашего...

— Да, да! — сказалъ Пафнутій. — Святые угодники невидимо поборали съ нами, и сей буйный нечестивецъ ятъ и вверженъ въ узилище...

— Сирѣчь запертъ въ моей кладовой. Да чтожь мы станемъ, православные, съ нимъ дѣлать?

— Вѣстимо что, отецъ Филиппъ,—сказалъ одинъ рыжій раскольникъ изъ числа тѣхъ, которые не принимали еще участія въ бесѣдѣ. — Не отпустить же его съ поклономъ домой!... Вѣдь онъ, проклятый, разнесъ тесакомъ почитай на-двое голову брату Ѳедосею. Богъ вѣсть, будетъ ли живъ?

— Такъ что жъ торговаться съ этимъ еретикомъ?—подхватилъ долгобородый.—Петлю ему на шею...

— А мы съ братіей вотъ какъ думаемъ, — продолжалъ рыжій:—держать его взапарты, да не давать хлѣба: пусть себѣ умираетъ своею смертію.

— Яко благочестивый запощеванецъ? — прервалъ Пафнугій. — Нѣтъ, братіе, да не будетъ! Пусть гибнетъ сей еретикъ по закону, сказано бо есть: подъявшій мечъ, отъ меча да погибнетъ!

— Оно такъ! — промолвилъ въ полголоса Филиппъ; — да чтобъ оглядокъ не было. Вѣдь онъ былъ не одинъ.

— Да тотъ въ доносъ не пойдетъ, — сказалъ рыжій. — Гаврилъ такъ хватилъ его по маковкѣ дубиною, что онъ и не пикнулъ.

— Полно, такъ ли?

— Да ужъ небойсь, отецъ Филиппъ, не встанетъ!

Во всякое другое время Левшинъ пришелъ бы въ отчаяніе отъ этихъ словъ: онъ истинно любилъ вѣрнаго своего слугу; но на этотъ разъ его собственное положеніе было такъ ужасно, что ему некогда было пожалѣть о бѣдномъ Ферапонтѣ.

— Ну, это дѣло другое! — сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, Филиппъ. — Коли того убили, такъ этого нельзя помиловать: живая улика! Да что это у васъ за обычай такой?... Одного уходятъ, а другого нѣтъ. Иль вы не знаете пословицы: семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ?

— Да вотъ отецъ Пафнугій указалъ намъ захватить ихъ живьемъ; ихъ, дескать, допросить надобно: они подосланы отъ врага нашего, калужскаго архіерея.

— Истинно такъ! — подхзатилъ Пафнугій. — Не странники бо суть мимодущіе, но лукавые соглядатаи.

— Сирѣчь, языки? — сказалъ Филиппъ. — Нѣтъ, отецъ Пафнугій! Коли бы они были языки, такъ не полѣзали бы съ нашими на драку: все бы въ тихомолку высмотрѣли, а тамъ подали бы извѣтъ калужскому архіерею или Мещовскому воеводѣ. Да это все равно: подосланъ ли онъ или нѣтъ, а коли отпустимъ его живаго, такъ онъ докажетъ на насъ, что мы убили его товарища. Ну, дѣлать нечего, жаль молодца, да своя рубашка ближе къ тѣлу... Чу!... Что это? Кто-то вѣвхалъ къ намъ на дворъ... Что больно поздно?... Кому бы кажется?...

— Отецъ Филиппъ, — сказалъ молодой дѣтина, входя поспѣшно въ избу. — Андрей Поморянинъ пріѣхалъ.

— Андрей Поморянинъ!... Зачѣмъ?

— А вотъ какъ скажу, такъ узнаете! — раздался въ дверяхъ громкій голосъ.

— Отецъ Андрей! — вскричалъ Филиппъ, вставая. Всѣ

собесѣдники его также встали, исключая Пафнутія, который однакожь поотодвинулся, чтобъ очистить мѣсто для прїѣзжаго гостя. Въ избу вошелъ человекъ пожилыхъ лѣтъ. Мы не станемъ описывать его наружность, потому что она известна нашимъ читателямъ. Левшинъ съ перваго взгляда узналъ въ немъ проѣзжаго раскольника, съ которымъ пострѣчался на постояломъ дворѣ.

## II.

Когда этотъ проѣзжій, котораго называли Андреемъ Поморяниномъ, помолился передъ иконами, Филиппъ сказалъ ему съ низкимъ поклономъ:

— Милости просимъ, батюшка!... Радуюсь твоему посѣщенію и творю тебѣ землекасательное поклоненіе!...

— Дозволь, отецъ Андрей, и мнѣ, — промолвилъ почтительно рыжій раскольникъ, — привѣтствовать тебя съ лицемъ низкимъ поклономъ.

Всѣ остальные раскольники отвѣсили также по низкому поклону, исключая Пафнутія, который сидѣлъ, не трогаясь, на своемъ мѣстѣ.

— И я бы васъ привѣтствовалъ, — сказалъ прїѣзжій, окинувъ строгимъ взглядомъ всѣхъ присутствующихъ, — и я сказалъ бы: миръ вамъ, братіе! да языкъ не повернется. Нѣтъ мира для вводящихъ богопротивныя ереси; нѣтъ мира для сѣющихъ плевела сатанинскія; нѣтъ мира для васъ, окаянныхъ душегубцевъ, всеу призывающихъ имя Господне!

Эти неожиданныя слова совершенно смутили Филиппа и всѣхъ прочихъ раскольниковъ; одинъ Пафнутій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ что-то сказать, но прїѣзжій не далъ выговорить ему ни слова и продолжалъ своимъ громвымъ голосомъ.

— Безумные! что вы это опять затѣяли?... Морить людей голодной смертію! Тому ли я училъ тебя, Филиппъ, когда ты жилъ въ поморьѣ и былъ моимъ келейникомъ?... Ты человекъ грамотный, самъ испытывалъ писанія; такъ говори же при всѣхъ: со временъ апостольскихъ бывали ли когда вольные мученики, по вашему запощеванцы?... Святые отцы наши, ради того, чтобъ побѣдить земныя страсти, постились, умерщвляли плоть свою; кто изъ нихъ



уморилъ себя голодомъ?... Мученики!... Да мученикъ тотъ, кого враги православія предають страдальческой смерти, и кто, несмотря на всѣ истязанія, остается вѣренъ своему Господу. Вотъ еслибы тебѣ, Филиппъ, должно было избрать или казнь, или отреченіе отъ православной вѣры отцевъ нашихъ; когда бы тебѣ сказалъ судія неправедный: «Филиппъ! прими нашу новую никоніанскую вѣру или гряди на мѣсто казни». О! тогда иди смѣло на всѣ мученія, иди, рабъ Божій, съ радостію и веселіемъ; ибо чело твое украсится негнѣннымъ вѣнцемъ мученика. Если даже ты, дабы не осквернить себя, вкушая пищу изъ одной чаши съ еретикомъ, погибнешь отъ глада, то и тогда страдальческая смерть твоя вмѣнится тебѣ въ добрый подвигъ. Но тотъ, кого никто не вынуждаетъ отступить отъ вѣры православной, кто можетъ вкушать отъ трапезы братьевъ своихъ и просто, по собственному своему изволенію, уморить себя голодомъ, сожжетъ огнемъ или предасть иной какой люттой смерти — тотъ не мученикъ, а самоубійца, а наставники его — душегубцы; ибо навѣки погубили его душу. Ты вѣдалъ все это, Филиппъ, для чего же ты дозволилъ?...

— Согрѣшилъ, батюшка!—сказалъ Филиппъ, смиренно преклонивъ голову.—Обезумѣлъ!... Вотъ старецъ Пафнугій прельстилъ насъ!...

— Да, да! — повторили вслѣдъ за Филиппомъ и другіе раскольники,—старецъ Пафнугій прельстилъ насъ!

Пафнугій вскочилъ съ своего мѣста; глаза его сверкали какъ у дикаго звѣря, посинѣвшія губы дрожали; вмѣсто словъ вылетали изъ устъ его невнятные звуки—и вотъ, наконецъ, онъ завопилъ неистовымъ голосомъ:

— О, маловѣры окаянные!... Ученицы непотребніи!... Рабы неключимые!... Тако ли посѣянное мною въ сердцахъ вашихъ сѣмя, не возникнувъ, погибло отъ хульныхъ рѣчей сего нечестиваго поморянина?... Бѣгите убо, предатели, да не како пожретъ васъ огонь небесный!... А ты, проклятый міролюбецъ, волкъ хищный, облеченный въ одежду пастыря, внимай своему обличенію...

— Умолкни, окаянный!—прервалъ Андрей. — Давно ли ты сгубилъ всю братію въ Фадѣвскомъ скиту, уговоря ихъ креститься, по твоему, какимъ-то крещеньемъ огненнымъ... Теперь опять за то же?... Ступай на свою сосну, спасайся на ней, какъ умѣешь; но съ нами нѣтъ тебѣ части!... Послушайте, братіе!—продолжалъ онъ, обращаясь

къ другимъ раскольникамъ, — я не стану препираться съ этимъ полоумнымъ о вѣрѣ, и коли вы желаете со мною примириться, такъ извергните его, не медля, изъ среды вашей и дайте мнѣ клятвенное обѣщаніе, отнынѣ и навсегда, не имѣть никакого общенія съ этимъ звѣроподобнымъ старцемъ.

— Ну, что же, братіе? — сказалъ Пафнутій, окинувъ быстрымъ взглядомъ всѣхъ учениковъ своихъ. — Что медлите?... Изгоняйте вашего наставника!

— Да не погнѣвайся, отецъ Пафнутій, — промолвилъ Филиппъ, — мы батюшку нашего, отца Андрея, на тебя не промѣняемъ.

— О, мерзость запустѣнія! — возопилъ Пафнутій. — Приемлется наемникъ злочестивый, изгоняется пастырь добрый!...

— Да что, Пафнутій, — сказалъ одинъ изъ раскольниковъ, который еще не говорилъ ни слова, — коли доподлинно никто изъ святыхъ отцевъ не былъ запощеванцемъ, такъ чему же ты насъ учишь?

— Истинно такъ! — подхватилъ долгобородый. — Коли и угодики Божіи вкушали пищу, такъ какой слѣдъ намъ грѣшнымъ?...

— Соблазнилъ ты насъ, старецъ Пафнутій! — прервалъ рыжій раскольникъ. — Богъ тебѣ судья!

— Ступай-ка, добро, ступай! — промолвилъ долгобородый. — Чай, на твоей соснѣ грачи-то ужъ гнѣздъ навили.

— Съ Богомъ, Пафнутій, съ Богомъ! — сказалъ Филиппъ, указывая рукою на дверь.

Пафнутій подошелъ молча къ дверямъ, схватилъ съ полки глиняный горшокъ, ударилъ его о-земь, и указывая на черепки, воскликнулъ:

— Тако да сокрушить Господь главы ваши, Іудѣ подобные отступники и предатели!... Да постигнетъ васъ скорбь земная и гибель вѣчная!... Да приложитъ Господь беззаконія къ беззаконіямъ вашимъ!... Да будетъ ваша постъ пресыщеніемъ, молитва грѣхомъ и хвалебная пѣснь хулою!... Се отрясаю на васъ и прахъ, прилипшій къ ногамъ моимъ!... Да будетъ тако, да будетъ!

— О, Господи! — прошепталъ рыжій, глядя вслѣдъ за уходящимъ Пафнутиемъ, — какъ онъ клянеть!

— Эхъ, не ладно! — сказалъ долгобородый, почесывая затылокъ. — Чтобъ худо не было!... Вы слышали, православные, что онъ намъ сулитъ?

— Слышали! — отвѣчали вполголоса всѣ раскольники, поглядывая другъ на друга съ примѣтнымъ ужасомъ.

— Что вы это, братіе, чего испугались? — спросилъ Андрей.

— Да какъ же, батюшка! — промолвилъ долгодородый. — Развѣ ты не слышалъ?... Старецъ Пафнутій проклялъ насъ!

— Такъ чтожъ?... Проклятiя, изрекаемыя нечестивымъ, падаютъ на главу его.

— Вѣстимо! — подхватилъ Филиппъ. — Ну, чего вы испугались?... Да пусть себѣ лается, надъ нимъ бы и тряслось, — разбойникъ этакій!... Всѣ горшки у меня перебилъ!

— Я давно бы спровадилъ его изъ нашихъ мѣсть, — сказалъ Андрей, садясь въ передній уголъ, — да боюсь, что ъ этотъ шальной и васъ всѣхъ не оговорилъ: и такъ идутъ о насъ дурные слухи... Эхъ, братіе, братіе! губите вы вашими дѣлами нашу правую вѣру!... Да чтожъ вы стоите?... Садитесь! Мнѣ надобно еще о другомъ побесѣдовать съ вами.

Когда всѣ помѣстились кругомъ стола, Андрей, обращаясь къ Филиппу, сказалъ:

— У васъ сегодня въ сумерки была въ лѣсу драка съ провѣзжими?

— Была, батюшка! — отвѣчалъ Филиппъ.

— За то, что они помѣшали Пафнутію довершить его беззаконное дѣло.

— Да мы еще тогда, отецъ Андрей, думали, что дѣло то наше законное.

— Лжешь, Филиппъ! Ты и тогда этого не думалъ.

— Покарай меня Господи!...

— Полно, Филиппъ, не клянись; не прилагай грѣха къ грѣху!... Ну, пусть другіе это думали, а ты себѣ на умѣ!... Эхъ, Филиппъ, завла тебя корысть!... Ну, да рѣчь не о томъ. Вы захватили одного изъ провѣзжихъ...

— Не я, отецъ Андрей!... Я не указывалъ никого братъ. Все это старецъ Пафнутій переполошилъ всю братію. Это, дескать, языки калужскаго архіерея — ихъ надо допросить.

— Я не о томъ тебя спрашиваю. Одинъ изъ этихъ провѣзжихъ у васъ ли теперь въ скиту?... Ну что же ты молчишь?... Ужъ не опоздалъ ли я?... Избави Господи!... Да отвѣчайте же мнѣ, живъ ли этотъ провѣзжій?

— Живехонекъ, батюшка, — сказалъ долгобородый. — Онъ сидитъ теперь въ кладовой отца Филиппа.

— Ну, слава тебѣ, Господи! — промолвилъ Андрей, перекрестясь. — Отлегло отъ сердца!... Да знаете ли вы, глупые, кто этотъ проѣзжій?... Вѣдь онъ человѣкъ не простой: онъ изъ начальныхъ людей стрѣлецкаго войска, и присланъ сюда не отъ калужскаго архіерея, а ѣдетъ изъ Москвы съ грамотою къ боярину Куродавлеву.

— Къ боярину Куродавлеву! — повторили съ робостію всѣ раскольники. Филиппъ поблѣднѣлъ.

— Да, къ боярину Куродавлеву, — продолжалъ Андрей. — Дѣло то не шуточное. Его надо немедленно освободить.

— Освободить? — сказалъ Филиппъ. — Нѣтъ, отецъ Андрей, это легко вымолвить.... Вѣдь онъ одного изъ нашихъ вовсе изувѣчилъ... полно, будетъ ли живъ.

— А чтожъ ему было дѣлать?... Не шею же протянуть, когда на него напали!

— Да это бы ужъ такъ и быть! А вотъ что худо, батюшка: коли мы его отпустимъ, такъ намъ всѣмъ бѣды не миновать... А все этотъ озорникъ Пафнугій!... Сидѣлъ бы да сидѣлъ на своей соснѣ — сытъ этакій!

— Да чего же ты опасаясь?

— Какъ чего?... Ты насъ, батюшка, не выдашь. Ну, былъ грѣхъ, что дѣлать! Улики бы только не было, такъ и всѣ концы въ воду!.. А коли мы этого проѣзжаго выпустимъ, да онъ донесетъ, что мы товарища его убили...

— Вотъ то-то и дѣло, что Господь васъ помиловалъ. Вы его не убили: онъ теперь у меня въ скату.

— Какъ такъ? — вскричалъ Филиппъ. — Какъ же ты мнѣ сказалъ, Ефремъ...

— Самъ видѣлъ, отецъ Филиппъ! — прервалъ рыжій. — Экое диво, подумаешь!... Такъ Гаврила его только что оглушилъ?... Ахъ, Господи!... Ну, видно, у него лобъ то чугунный!

— Этотъ слуга стрѣлецкаго сотника, — продолжалъ Андрей, — рассказалъ мнѣ обо всемъ. Коли вы сегодня не отпустите его господина, такъ онъ завтра отправится къ Куродавлеву; а вы знаете этого боярина: онъ шутить не любитъ. Какъ нагрянетъ къ вамъ съ своими холопами, такъ вы отъ него и мѣста не найдете.

— Сохрани Господи! — вскричалъ Филиппъ.

— Да, да! — сказалъ долгобородый. — Коли дадимъ ему

отпоръ, такъ онъ и скитъ-то нашъ по бревешку размететь.

— А коли покоримся,—промолвилъ рыжій, — такъ, чего добраго, онъ всѣхъ начальныхъ людей въ скиту, сирѣчь насъ, оддереть нещадно батогами.

— Такъ мѣшкать-то нечего!—молвилъ Андрей, вставая. — Я возьму этого проѣзжаго съ собою, пусть онъ переночуетъ въ моемъ скиту... Пойдемъ, Филиппъ!

Если вамъ случалось видѣть во снѣ, что вы приговорены къ смерти, или—что еще ужаснѣе — что ваша земная подруга, которую вы любите болѣе своей жизни, лежитъ въ гробу, что вы не можете ни плакать, ни вздыхать, и съ чувствомъ, которому нѣтъ названія, съ этимъ чувствомъ вѣчной, безнадежной скорби, смотрите на ея безжизненное лицо, покрытое смертною блѣдностію... и вдругъ вы пробуждаетесь, и первый взглядъ вашъ встрѣчаетъ привѣтливую улыбку той, которая за минуту до того казалась вамъ бездушнымъ трупомъ;—если вы испытали на себѣ и весь ужасъ этого тяжкаго сна и все блаженство этого радостнаго пробужденія, то вы можете имѣть нѣкоторое понятіе о томъ, что чувствовалъ Левшинъ. Казалось, что могло быть отчаяннѣе его положенія? Ферапонтъ погибъ; онъ самъ подъ ножемъ убійцы, для которыхъ смерть его необходима—и вотъ вѣрный слуга его живъ, а онъ свободенъ и, можетъ быть, проведетъ остатокъ этой ночи подъ одною кровлей съ тою, которую и въ мечтахъ своихъ онъ не надѣялся уже встрѣтить въ здѣшнемъ мірѣ!... О, конечно, такіе быстрые переходы отъ совершеннаго отчаянія къ неизъяснимой радости бывають рѣдко наяву.

Когда Андрей Поморянинъ вслѣдъ за Филиппомъ вышелъ изъ избы, Левшинъ отправился также назадъ въ свою кладовую. Онъ только что успѣлъ спуститься съ лѣстницы, какъ послышался снаружи звукъ ключей, и тяжелая дубовая дверь со скрипомъ отворилась. Филиппъ вошелъ первый; онъ держалъ въ рукѣ фонарь.

— Здравствуй, господинъ честной! — сказалъ онъ. — Я пришелъ освободить тебя. Не погнѣвайся, батюшка! теперь только узналъ... Ахъ, Господи, Господи!... Этотъ безумный старецъ Пафнутій переполошилъ всю братію, да какихъ было дѣлъ надѣлали!... Вотъ твой тесакъ, батюшка,—цѣлехонекъ!... Да пожалуй-ка, — продолжалъ онъ, поставивъ свой фонарь на одинъ изъ сундуковъ, — пожалуй, я

тебѣ ручки то развяжу!... Ахти! да чтожъ это?... У тебя руки не связаны!

— Нѣтъ, любезный!

— Ахъ они дурачье, дурачье!... Посадить человѣка въ кладовую...

— Не бойся!—прервалъ Левшинъ.—Всѣ твои пожитки цѣлы.

— Да твоя милость дѣло другое: вѣстимо, ты ничего не украдешь; а вѣдь они съ глупа-то, не связавши руки, посадятъ всякаго ко мнѣ въ кладовую. Ну, случись кто-нибудь другой — такъ долго ли до грѣха?... Здѣсь всего довольно... Экій глупый народъ!

— Пожалуй со мною, молодецъ, — сказалъ Андрей, — я отвезу тебя въ мой скитъ. Твой слуга, кони и пожитки, все тамъ.

— Да не пообождаютъ ли вамъ, какъ начнетъ свѣтатъ?— промолвилъ Филиппъ, посматривая заботливо на свои сундуки.

— И теперь доѣдемъ,—сказалъ Андрей.—Дорога то знакомая.

Они вышли на дворъ. У крыльца большой избы стояла телѣга, запряженная парой пѣгихъ лошадей. На передкѣ сидѣлъ тотъ самый рослый дѣтина, котораго Левшинъ видѣлъ на постояломъ дворѣ.

— Ну, садись, молодецъ!—сказалъ Андрей Поморянинъ Левшину. — Поѣдемъ!... Тебѣ, я чаю, пора отдохнуть: понатерпѣлся ты сегодня... Ступай, Егоръ,—продолжалъ онъ,—теперь шажкомъ, а какъ спустимся въ оврагъ, да переѣдемъ за Брынъ, такъ рысью. Ну, съ Богомъ!

Когда они взѣхали на противоположной берегъ оврага и повернули направо лѣсомъ по торной и довольно широкой дорогѣ, Левшинъ сказалъ своему спутнику:

— Вѣдь мы кажется, любезный, не въ первый разъ съ тобою видимся?

— Да,—отвѣчалъ Андрей;—мы сегодня кормили вмѣстѣ съ тобою на постояломъ дворѣ... Ну вотъ, господинъ сотникъ, ты все добивался, чтобъ я сказалъ тебѣ, куда ѣду. Видишь ли, что мы и сами не знаемъ, куда насъ приведетъ Господь? Думаешь ѣхать въ одно мѣсто, а попадешь въ другое.

— Истинно такъ, Андрей... А дозвошь узнать, какъ по батюшкѣ?

— Зови меня просто Андреемъ. Вѣдь при крещеньи то двухъ именъ не дають.

— Мнѣ еще надо много благодарить тебя, — сказала Левшинъ, помолчавъ нѣсколько времени. — Еслибъ ты меня не выручилъ...

— Такъ ты бы просидѣлъ взаперти всю ночь—вотъ и все!

Левшинъ хотѣлъ было сказать, что слышалъ весь разговоръ раскольниковъ, но побоялся огорчить этимъ своего избавителя. Хотя Андрей осуждалъ и самъ поступки своихъ единовѣрцевъ, однакожъ, по всему было замѣтно, вовсе не желалъ, чтобъ посторонніе знали, до какой степени дѣла ихъ преступны и беззаконны.

— Нѣтъ, молодець,—продолжалъ Андрей,—не тебѣ меня, а мнѣ тебя надо благодарить: ты помѣшалъ этому безумному Пафнутію совершить злодѣяніе, которое покрыло бы стыдомъ и посрамленіемъ все наше братство. Поди-ка послѣ увѣрай, что мы всѣ, соблюдающіе старую вѣру, непричастны къ такому богопротивному дѣлу.

— Да я слышалъ,—сказалъ Левшинъ,—что это не въ первый разъ; говорятъ, въ прошломъ году здѣсь сожглись добровольно въ одномъ скиту...

— Не вѣрь, молодець!—прервалъ съ живостію Андрей.— Эти слухи распускають враги наши. Оадѣвскій скитъ дѣйствительно сгорѣлъ прошлаго года, да его не нарочно подожгли, и коли сгорѣли въ немъ старушки двѣ или три, да человекъ съ пятокъ хворыхъ, такъ это потому, что они не успѣли выскочить. Вотъ то-то наша и бѣда: однажды кто-нибудь напроказить, и пошла навсегда слава!... Ну, кто говорить, въ семьѣ не безъ урода!.. Есть и у насъ отщепенцы, которые заводять свои толки да согласія. Мы хотимъ держаться неизмѣнно вѣры отцовъ нашихъ, а они свое выдумываютъ. Противники наши говорятъ: «Какъ, дескать, вѣрѣ вашей быть истинной вѣрою, коли у васъ повсюду раздѣленіе?»—Да когда же этого не бывало? И при апостолахъ были уже ереси; а въ первыя времена христіанскія мало ли было отступниковъ, вводящихъ всякіе нелѣпые толки; да развѣ отъ этого правая вѣра сдѣлалась неправою? Говорятъ также: «коли паства безъ пастыря—такъ овцы всѣ врозь разбредутся,—и диво ли, что тогда однѣ въ лѣсу заплутаются, а другія въ болотѣ увязнутъ?» — Паства безъ пастыря—такъ!.. Да полно, лучше ли, когда пастыремъ то стада будетъ волкъ?.. Скажи-ка, молодець, — продолжалъ

Андрей, замѣтивъ, что Левшинъ слушаетъ его съ большимъ вниманіемъ, — вѣдь въ вашихъ стрѣleckихъ полкахъ, ка- жись, много есть такихъ, которые придерживаются старой вѣры?

— Да, много.

— А ты какъ?

— Я держусь того, что заповѣдалъ мнѣ покойный ба- тюшка.

— Сирѣчь, ты исповѣдуешь никоніанскую вѣру?

— По вашему, видно, такъ.

— А по твоему какъ, молодець?

— По моему, я принадлежу къ православной соборной восточной церкви.

— Право?.. А дозволю спросить тебя: слуга твой мнѣ сказывалъ, что тебя зовутъ Димитріемъ Афанасьичемъ Лев- шиннымъ?

— Да.

— А матушка твоя чья родомъ?

— Денисова.

— Не сестрица ли Андрею Яковлевичу Денисову?

— Родная сестра.

— Вотъ что!.. Такъ ты вѣрно слыхалъ отъ нея, что твой дядя, Андрей Яковлевичъ, человекъ умный, начитан- ный и не изъ простыхъ людей, а крѣпко держится старой нашей вѣры?

— Да, слыхалъ.

— Ну вотъ, еслибъ онъ сталъ тебѣ говорить: «Неужели ты думаешь, племянникъ, что я ни съ того, ни съ другого, а просто—такъ, очертя голову, присталъ къ старообрядцамъ?— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, повѣрь мнѣ: ваша никоніанов- ская вѣра вовсе неправая вѣра. Желаетъ ли, племянникъ, чтобъ я открылъ твои душевныя очи и наставилъ тебя на путь истинный?.. Да не бойся!.. захочу ли я зла тебѣ— сыну любимой сестры моей, одному, котораго я еще могу назвать кровнымъ и роднымъ!»

Эти послѣднія слова были сказаны такимъ ласковымъ и даже нѣжнымъ голосомъ, что Левшину показалось, будто бы съ нимъ въ самомъ дѣлѣ говоритъ его дядя. Разумѣется, онъ не могъ и полминуты оставаться въ этомъ заблужденіи: дядя его никогда не былъ женатъ, а у этого Андрея Помо- рянина была дочь невѣста; при томъ же, по всѣмъ извѣ- стіямъ, Денисовъ давно уже переселился въ Стародубъ, и



если еще не умеръ, то, безъ всякаго сомнѣнія, не переѣхалъ бы подъ старость на житье въ Брынскій лѣсъ.

— Ну что же ты молчишь, Дмитрій Афанасьичъ?—продолжалъ Андрей.—Скажи, что бы ты отвѣтилъ своему дядѣ?

— Что объ этомъ толковать, любезный! — сказалъ Левшинъ.—Ты вѣрь по-своему, а я стану вѣрить, какъ мнѣ указано отъ отца и матери.

— Да ты самъ то какъ думаешь?

— Ну, если хочешь знать, изволь—скажу!.. Вотъ что бы я отвѣтилъ Андрею Яковлевичу: Дядюшка! не за свое дѣло ты берешься! У насъ есть наставники и пастыри духовные, которые имѣютъ на себѣ рукоположеніе, идущее отъ самихъ апостоловъ; а тебя кто рукоположилъ въ наставники и пастыри духовнаго стада?.. Вѣдь ты такой же мірянинъ, какъ и я. Да изъ чего ты хлопочешь?.. Ты, дядюшка, читаешь: «Вѣрую во единого Бога Отца Вседержителя», по старому,—и я также по старому; такъ мы оба исповѣдуемъ съ тобою одинаковую святую вѣру. А если въ какихъ-нибудь обрядахъ или въ другомъ-чемъ неважномъ и сдѣланы измѣненія, такъ неужели изъ этого я перестану ходить въ церковь Божію и лишу себя святого причастія?.. Избави Господи!..

— Да ты этого не понимаешь, Дмитрій Афанасьичъ,—прервалъ Андрей.—Вѣдь грѣхъ то не на тебѣ, а на тѣхъ, которые заставили тебя отдѣлиться отъ церкви; на тѣхъ, которые исказили книги духовныя.

— А можетъ статья не исказили, а исправили?.. Эхъ, любезный, про то лучше насъ съ тобою знаютъ тѣ, которыхъ для сего освѣтила и помазала сама церковь.

— Лучше знаютъ!—повторилъ съ досадою Андрей.—Да коли ваши пастыри духовные въ этомъ неправы?

— Такъ они и въ отвѣтъ. А если я самъ начну мудрить, да собьюсь съ толку и сдѣлаюсь еретикомъ—такъ чѣмъ же я тогда оправдаюсь?...—«Нѣтъ, дядюшка!»—сказалъ бы я—«о чемъ другомъ, а объ этомъ я съ тобой и говорить то не хочу».

— Да врядъ ли бы и онъ сталъ послѣ этого говорить съ тобою,—промолвилъ вполголоса Андрей.

Разговоръ прекратился. Левшину не трудно было замѣтить, что его спутникъ былъ очень недоволенъ своей неудачной попыткою; онъ сидѣлъ, отворотясь отъ Левшина, и, казалось, вовсе не былъ расположенъ возобновить свою бе-

сѣду. Съ полчаса продолжалось это молчаніе, наконецъ, Левшинъ рѣшился заговорить опять съ угрюмымъ своимъ товарищемъ, и спросилъ, далеко ли еще осталось до его скита.

— Не знаю!—промолвилъ нехотя Андрей.—Вѣдь здѣсь версты то не мѣрныя.

— А что, любезный,—продолжалъ Левшинъ,—ты говорилъ о моемъ дядѣ Андрѣ Яковлевичѣ; — что ты знавалъ что ль его.

— Нѣтъ!.. Слышать о немъ слыхалъ, а никогда не видывалъ.

— Не знаешь ли, гдѣ онъ живетъ?

— Напречь сего жилъ въ Стародубѣ.

— А теперь гдѣ?..

— Теперь?.. Да Богъ вѣсть!.. Можетъ статься, на томъ свѣтѣ; говорятъ, что онъ померъ.

— А вѣрныхъ извѣстій объ этомъ нѣтъ?

— Не знаю. Я на похоронахъ у него не былъ.

— Ну не ты, такъ кто ни есть изъ вашихъ.

— Да что тебѣ за дѣло, живъ ли онъ или умеръ. Тебѣ, чай, покойный батюшка заказалъ съ нимъ и знаться?

— Нѣтъ, батюшка никогда мнѣ этого не заказывалъ.

— А матушка?

— А матушка и подавно. Кабы ты зналъ, какъ она горевала о томъ, что родной братъ, который прежде жилъ съ нею душа въ душу, вовсе забылъ ее, покинулъ!..

— Неужели въ самомъ дѣлѣ горевала?...—прошепталъ Андрей.—Такъ она помнила своего брата?

— Какъ же!... Матушка бывало всегда говорить о немъ со слезами.

— Со слезами!... Чтожъ она, о чемъ плакала?

— Я ужъ тебѣ сказалъ о чемъ.

— Да полно, о томъ ли?... Чай, думала: «какъ мнѣ не плакать! я, благодаря Господа, православная, а бѣдный братъ мой раскольникъ! я ужъ навѣрное спасусь, а онъ что?... чорту барань!»

— Нѣтъ, Андрей, этого она никогда не говорила.

— Видно, не случалось... Да что объ этомъ!... Ну, погоняй, Егоръ: теперь дорога то пойдетъ все ровная.

Разговоръ снова прекратился. Вотъ прошло еще съ полчаса. Густой лѣсъ, по которому ѣхали наши путешественники, становился все чаще и темнѣе. Вдругъ послышался вблизи громкій лай.

- Ну, вотъ и прїѣхали!—промолвилъ Андрей.  
— Прїѣхали! — повторилъ Левшинъ. — Да гдѣ же твоя усадьба?  
— Вотъ прямо то, за этимъ березнякомъ.  
— Я ничего не вижу.  
— Какъ ближе подъѣдешь, такъ увидишь.

Дорожка повернула направо, и черезъ нѣсколько минутъ они подъѣхали къ воротамъ обширной усадьбы, которая была со всѣхъ сторонъ окружена крупнымъ березовымъ лѣсомъ. Эта усадьба была обнесена такъ же, какъ и скитъ филипповцевъ, бревенчатымъ тыномъ. Сторожъ растворилъ широкія дубовыя ворота, и Левшинъ, при свѣтѣ утренней зари, которая начинала уже заниматься, увидѣлъ передъ собою просторный дворъ, обставленный съ двухъ сторонъ высокими избами. Посреди двора подымались, по тогдашнему, довольно обширныя хоромы; къ нимъ съ правой стороны пристроена была вышка, или теремъ, съ тремя красными окнами, а съ лѣвой огромное крыльцо съ рундукомъ и широкимъ досчатымъ навѣсомъ.

Когда Левшинъ, подъѣхавъ къ этимъ хоромамъ, спрыгнулъ съ телѣги, къ нему подбѣжалъ человекъ, у котораго голова была обвязана бѣлымъ платкомъ.

— Батюшка!—вскричалъ онъ.—Ты живъ!... Ну, слава тебѣ Господи!

— Здравствуй, Феропонтъ!—сказалъ Левшинъ, обнимая своего вѣрнаго слугу.—Ну что, бѣдняжка, тебя больно зашибли?

— Ничего, батюшка!... Мнѣ здѣсь примочили винцомъ, такъ теперь какъ рукой сняло. Правда, шишка порядочная, съ кулакъ будетъ—да это что!... до свадьбы заживетъ.

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Андрей,—намъ обоимъ пора отдохнуть. Твой служитель покажетъ тебѣ свѣтлицу, которая для тебя приготовлена... Да не хочешь ли покушать?

— Нѣтъ, благодарю покорно!

— Да ты не опасайся, Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ Андрей.—Вѣдь у нашей брата, раскольниковъ, всегда есть про васъ, господа православные, особая посуда; не бойсь—не осквернишься.

— Я этого не боюсь, любезный!—сказалъ Левшинъ,—и готовъ ѣсть съ тобой одной ложкою и пить изъ одного стакана; да я вовсе не голоденъ.

— Ну, воля твоя! Насильно угощать не стану... Прощай, молодец! — промолвил Андрей, уходя въ домъ.— Коли вѣсть не хочешь, такъ ступай, отдохни!... Ты, чай, умаялся.

— Пойдемъ. Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Феропонтъ.— Намъ отвели ночлеги вотъ здѣсь, въ этой клѣтѣ. Знатная свѣтлица!... Теперъ въ покояхъ то, чай, жарко, а въ ней такой прохлада, что и сказать нельзя!... Пожалуй, батюшка, пожалуй!

### Ш.

Левшинъ, вслѣдъ за своимъ слугою, вошелъ въ небольшую избушку, въ которой не было ни печи, ни полатей; въ ней горѣлъ ночникъ, и стояла кровать съ затрапезнымъ пологомъ. Въ одномъ углу лежала ихъ пожитки, оружіе и вся конская сбруя; въ другомъ—на широкой скамьѣ былъ постланъ войлокъ для Феропонта.

— Ложись-ка, батюшка, скорѣй,—сказалъ Феропонтъ,— да сосни хоть немножко. Вишь, какой выдался денекъ! И мнѣ и тебѣ ломки-то было... Господи Боже мой!

— Мнѣ вовсе спать не хочется,—отвѣчалъ Левшинъ:— а вотъ развѣ прилягу только, да отдохну.

— Ну, нѣтъ! — промолвилъ Феропонтъ зѣвая, — меня такъ больно сонъ клонить.

— Такъ чего жъ ты дожидаяешься? Ложись да спи.

— Успѣю выспаться, Дмитрій Афанасьичъ; а благо ты почивать не хочешь, такъ Расскажи-ка мнѣ лучше, что съ тобою было?

Левшинъ скинулъ съ себя верхнее платье, прилегъ самъ на кровать, а Феропонту велѣлъ сѣсть на скамью и сталъ ему рассказывать о томъ, что извѣстно уже нашимъ читателямъ. Несмотря на то, что Феропонта сильно одолѣвала дремота, онъ слушалъ съ большимъ вниманіемъ своего барина.

— Такъ они хотѣли уходить тебя? — вскричалъ онъ, когда Левшинъ кончилъ свой рассказъ.— Ахъ, они проклятые!... Ну, дай Богъ здоровья здѣшнему хозяину!... Кабы онъ тебя не выручилъ, такъ бѣды бы не миновать!

— А ты какъ сюда попалъ, Феропонтъ? — спросилъ Левшинъ.

— А вотъ какъ, батюшка: меня эти разбойники оста-

вили замертво на полянѣ, и еслибы Дарья — вотъ дѣвка-то, что была съ другими запощеванцами, — не попрыскала меня водицею, такъ я не скоро бы очнулся, а можетъ статься меня и волки бы заѣли. Вотъ какъ я очнулся и узналъ, что эти душегубцы увели тебя съ собою, такъ хотѣлъ было бѣжать въ ихъ скитъ, да Дарья то меня отговорила. — «Ты, дескать, одинъ ничего не сдѣлаешь; поѣдемъ лучше къ прежнему моему хозяину: онъ ужъ навѣрное выручитъ твоего барина». Вотъ мы и поѣхали. Этотъ Андрей принялъ насъ сначала не больно ласково, да какъ я рассказалъ ему, за что мы поссорились съ филипповцами, и какъ они меня чуть не убили, а барина моего, стрѣleckаго сотника Дмитрія Афанасьевича Левшина, захватили живьемъ — такъ онъ — батюшки свѣты!... заторопился такъ, что и Господи! Кричить: «запрягай лошадей!... проворнѣй!... живо!...» Меня сдалъ на руки Дарьѣ, а самъ въ телѣгу, да и покатилъ со двора. Дарья накормила меня, примочила голову виномъ, поразболталась со мною, да такія стала рѣчи говорить, что я ротъ разинулъ. «Я, дескать, твоего барина то знаю!» — Какъ такъ? — «Ну да! я видѣла его въ Москвѣ; и дочка то моего хозяина его знаетъ. Онъ, дескать, ей очень приглянулся!» — Какъ не приглянуться! — сказалъ я: — вѣдь баринъ то мой молодецъ! — «А она то пришла ли ему по сердцу?» — спросила Дарья. — Виновать, батюшка! стыдно было вымолвить, что я ничего не знаю. — Какъ же! — сказалъ я, — и очень-на пришла по сердцу. Вѣдь она пригожа собою? — «У! батюшки!» — закричала Дарья, — «что твое красное солнышка!... Вотъ, Феропонтъ, кабы твой баринъ... Вѣдь онъ не женать?» — Нѣтъ, молю, не женать. — «То то бы парочка!» — Вишь, съ чѣмъ подѣхала! — подумалъ я. — Нѣтъ, лебедка! баринъ то мой не вашего поля ягода!... Коли онъ задумаетъ жениться, такъ не пойдетъ искать невѣсты въ раскольникемъ скиту!... Такого молодца и богатаго помѣщика не токмо гдѣ-нибудь на городу, да и въ самой то Москвѣ бѣлокаменной съ руками оторвутъ!

— Нѣтъ, Феропонтъ, — прервалъ Левшинъ, — ты напрасно это думаешь. Я точно люблю дочь здѣшняго хозяина, и если не женюсь на ней, такъ навсегда останусь холостымъ.

— Вотъ тебѣ разъ! — прошепталъ Феропонтъ. — Ахъ, батюшки! думалъ солгать, а сказалъ правду!... Такъ она

въ самомъ дѣлѣ, Дмитрій Афанасьичъ, пришла тебѣ по сердцу?

— Да такъ то пришла, Феропонтъ, что безъ нея и жизнь не красна, и молодость не въ утѣху, и богатство хуже нищеты!

— Ну, это иная рѣчь!... Коли она тебѣ люба, такъ дѣлать нечего, — женись, батюшка!

— Ахъ, Феропонтъ, я боюсь: согласится ли ея отецъ...

— Что ты, Дмитрій Афанасьичъ! — вскричалъ Феропонтъ съ такимъ негодованіемъ, что, казалось, на эту минуту сонъ его прошелъ. — Да въ своемъ ли ты умѣ?... Чтобъ этотъ балахонникъ, у котораго и прозвища то нѣтъ, обраковалъ тебя, родословнаго человѣка, такого молодца и красавца!... Да смѣетъ ли онъ это и подумать?

— Ты, видно, забылъ, что онъ старообрядецъ?

— Такъ чтожъ?... А мы то, православные, татары что ли или нѣмцы какіе?... Кажись, мы въ одного съ ними Христа вѣруемъ!... Нѣтъ, батюшка, за этимъ дѣло не станетъ: Да вотъ, примѣромъ сказать, хотъ Дарья, — продолжалъ Феропонтъ, зѣвая, — вѣдь она старообрядка, а знаешь ли, что она мнѣ говорила? — «Я, дескать, Феропонтъ, что гляжу на тебя, то больше дивлюсь. Какъ я гадала въ прошломъ году на святкахъ, такъ видѣла во снѣ вовсе не Архипку рыжаго, а тебя — точно тебя!... Видно, ты мой суженый...» — Вотъ оно, батюшка, и выходитъ... коли она... сирѣчь, Дарья...

— А что, Феропонтъ, — сказала Левшинъ, не замѣчая, что слуга его заснулъ, — взялъ ли бы ты за себя Дарью?... Феропонтъ!...

— Фу ты пропасть!... вздремнулъ!... Что, батюшка Дмитрій Афанасьичъ?

— Женился ли бы ты на Дарьѣ?

— На Дарьѣ!... А почему же нѣтъ? — пробормоталъ Феропонтъ, покачиваясь на своей скамьѣ. — Дѣвка знатная... дородная... Ухъ, батюшки!... какъ на зарѣ то маришь человѣка!... такъ глаза и слипаются!... Оно, конечно, Дмитрій Афанасьичъ... почему бы... я ужъ въ лѣтахъ... и Дарья... не то чтобы... однакожъ все-таки... и тово...

Феропонтъ прошепталъ еще слова два или три, голова его помоталась нѣсколько времени то направо, то налево, потомъ опустилась на грудь, и онъ заснулъ этимъ богатырскимъ сномъ, о которомъ такъ часто говорятъ въ русскихъ

сказкахъ, то есть, по словамъ нашихъ древнихъ рассказчиковъ, которые любили красное словцо отпустить: «захрапѣлъ такъ, что сыр-боръ застоналъ, и кругомъ вся земля ходуномъ пошла».

Несмотря на соблазнительный примѣръ своего слуги, Левшинъ не могъ заснуть. Тысячи различныхъ мыслей и радостныхъ и грустныхъ волновали его душу. За нѣсколько часовъ до этого онъ не могъ даже надѣяться, что останется живъ, а и того менѣе, что можетъ быть мужемъ той, которая пришла ему по сердцу. Онъ любилъ и зналъ, что его любили... Но кто она, эта краса-дѣвица, которая съ перваго взгляда сдѣлалась для него милѣе всего на свѣтѣ?... гдѣ живетъ?... какъ зовутъ ея отца?... Все это было для него загадкою. Левшинъ, конечно, не могъ ожидать, что случай сведетъ ихъ опять вмѣстѣ, и если не переставалъ думать о своей незнакомкѣ, если мечталъ иногда о какомъ то несбыточномъ счастіи, такъ это потому, что ему все-таки отраднѣе было обманывать себя этой утѣшительной мечтою, чѣмъ вовсе отъ нея отказаться, — и чтожъ?... Вотъ Левшинъ не только знаетъ теперь, кто эта незнакомка, но можетъ сказать отцу ея: «Я люблю твою дочь, она также меня любитъ, и коли ты не хочешь сгубить навѣки и ее и меня, такъ благослови насъ...»—Боже мой!—думалъ Левшинъ, — неужли въ самомъ дѣлѣ Софья можетъ быть моею женою?... О! мнѣ кажется, я не переживу этой радости!... Но если Андрей не захочетъ назвать меня сыномъ... если онъ... избави Господи!... вотъ тогда то я буду несчастливъ!... Ты встрѣтился опять съ тою, которая была уже для тебя какъ умершая... вотъ она!... жива, любить тебя, можетъ быть твоей женою... Ну чтожъ?... Полубуйся на нее, посмотри, какъ она прекрасна — и прости съ нею навсегда!... Навсегда!... Отъ этой ужасной мысли сердце леденѣло въ груди бѣднаго Левшина; онъ приходилъ въ отчаяніе, а потомъ опять надежда оживала понемногу въ душѣ его.—Нѣтъ!—думалъ онъ,—Андрей вовсе не походитъ на этого безумнаго Пафнутія... Феропонтъ правду говорилъ: онъ старообрядецъ—такъ чтожъ?... А я то развѣ татаринъ или нѣмецъ?... Онъ молится по старымъ, а я по новымъ книгамъ, а все-таки мы оба молимся тому же Христу... Но онъ такъ крѣпко стоитъ за свою старую вѣру... Почему знать, можетъ быть, я въ глазахъ его хуже некрещенаго... О, Боже мой, Боже мой!—шепталъ Левшинъ,

чувствуя, что кровь снова застываетъ въ его жилахъ. — Скоро ли придетъ утро?... Ужь одинъ бы конецъ!

Левшинъ успѣлъ нѣсколько разъ повторить это желаніе прежде, чѣмъ оно исполнилось. Когда первый солнечный лучъ, прорвавшись сквозь густыя березы, заискрился на тускломъ стеклѣ единственнаго окна свѣтлицы, Левшинъ вскочилъ съ постели и накинулъ на себя верхнее платье; въ эту самую минуту постучались въ дверь.

— Кто тутъ?— спросилъ Левшинъ.

— Я, батюшка: Дарья. Можно войти?

— Ступай.

— Не погнѣвайся, господинъ честной!— сказала Дарья, входя въ свѣтлицу. — Я, можетъ статья, помѣшала тебѣ почивать?

— Нѣтъ, голубушка; ты видишь, я ужь одѣтъ.

— Вижу, батюшка!... А твой слуга, кажись, вовсе не ложился... Ахъ, сердечный: спать сидя!...

— Не тронь его, пусть себѣ спитъ.

— Я, батюшка, покамѣстъ у насъ никто еще не вставалъ, хотѣла съ тобой повидаться и еще разочекъ поблагодарствовать тебя за твою великую милость. Кабы не ты, Дмитрій Афанасьичъ, умирать бы мнѣ голодной смертью!...

— Что объ этомъ говорить, Дарья. И мнѣ бы также худо пришло, если-бъ ты не проводила Феропонта къ моему хозяину. Скажи-ка лучше мнѣ...— промолвилъ запинаясь Левшинъ.

— Что, батюшка?... Знаетъ ли Софья Андреевна, что ты здѣсь?... Какъ же!... Ну, Дмитрій Афанасьичъ... хотя бы мнѣ вовсе не слѣдъ объ этомъ говорить, да ужь такъ и быть—скажу!.. Заполонилъ ты ее совсѣмъ!.. Вотъ, подумаешь, что на роду то написано, такъ того никакъ не минуешь. И то ужь диво, что вы другъ съ другомъ въ Москвѣ повстрѣчались, а теперь опять сошлись въ Брынскихъ лѣсахъ!... Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ, кабы ты зналъ, какъ ова обрадовалась!... Всю ночь на пролетъ не почивала: и плачетъ, и смѣется, и Богу молится!... Теперь пошла на огородъ поливать свои любимыя цвѣточки... Да не хочешь ли ты, батюшка, туда прогуляться?... А есть чего посмотреть: огородъ у насъ такой знатный!... Сколько яблонь, вишенъ!... Коли хочешь, я тебя провожу....

Левшинъ не могъ отвѣчать ни слова: вся кровь прилила къ его сердцу. Мысль, что черезъ минуту онъ увидитъ



Софью и станеть говорить съ нею, возбудила въ душѣ его такую радость, такой восторгъ—и въ то же время такой болѣзненный, неизъяснимый трепеть, такое чувство боязни, что онъ не звалъ, на что рѣшиться, и въ первую минуту почти готовъ былъ отказаться отъ этого счастья. Кто истинно любилъ, тотъ пойметъ это чувство и, вѣроятно, не станеть смѣяться надъ Левшинымъ и дивиться, какъ дивилась Дарья, которая не могла понять, чего онъ дожидается.

— Ну, чтожь, молодець? — сказала она. — Иль ты не хочешь полюбоваться нашимъ огородомъ?... Вѣдь какъ всё подымутся, — промолвила Дарья вполголоса, — такъ Софья то Андреевна уйдетъ опять въ свой теремъ.

— Ну, пожалуй, — прошепталъ наконецъ Левшинъ, съ трудомъ переводя дыханіе. — Пойдемъ!...

— Пожалуй! — повторяла про себя Дарья, идя дворомъ и поглядывая на Левшина, который шелъ вслѣдъ за нею. — Пожалуй!... Чтожь это?... Ужь полно, любить ли онъ ея?... Смотри, какъ нехотя идетъ!... Словно его насильно тащутъ... Ну, если и онъ такъ же, какъ Архипка рыжій, скажетъ: «Я твой суженый, да не ряженный!»... Чего добраго!... Можетъ статься, и этотъ пострѣлъ помолвленъ на какой-нибудь Дунашкѣ!...

Левшинъ и его проводница дошли, не встрѣтивъ никого, до высокаго частокола, которымъ отдѣлялся отъ двора и всѣхъ строеній обширный плодovitый садъ, или, по тогдашнему, огородъ.

— Пожалуй сюда, Дмитрій Афанасьичъ, — сказала Дарья, отворяя калитку. — Вотъ тутъ, за этимъ вишнякомъ, растутъ у насъ подсолнечники, да еще какіе, батюшка: выше тебя ростомъ. Бывало, я ухаживала за ними вмѣстѣ съ Софьей Андреевной; а съ той поры, какъ батюшка ея вывезъ изъ Москвы два кустика махровыхъ розановъ, такъ она на подсолнечники и смотрѣть не хочетъ... Сюда, батюшка, сюда, по этой тропинкѣ... Ну, вотъ и Софья Андреевна...

Я не берусь описать вамъ то, что почувствовалъ Левшинъ, когда увидѣлъ передъ собою Софью. Она стояла, наклонясь надъ кустомъ розановъ; одна рука ея была плотно прижата къ сердцу, другой она обрывала съ куста сухіе листья. Длинные черныя рѣсницы ея опущенныхъ глазъ рѣзко отдѣлялись отъ помертвѣвшаго лица, блѣднаго какъ бѣлый мраморъ, но все еще прекраснаго и исполненнаго необычайной прелести. Несмотря на ея положеніе, не

трудно было отгадать, что въ эту минуту она вовсе не думала о розаняхъ, на которые смотрѣла. Рука ея дрожала, высокая бѣлоснѣжная грудь сильно волновалась. Она не подымала глазъ: ея дѣвственный, стыдливый взглядъ не повстрѣчался еще съ пламеннымъ взоромъ влюбленнаго юноши, но сердце въ ней чувствовало близость того, чей милый образъ не покидалъ ее ни днемъ, ни ночью, кто былъ единственнымъ предметомъ всѣхъ тайныхъ думъ ея, надеждъ и робкихъ ожиданій.

— Софья Андреевна!—сказала Дарья.—Ты хотѣла сама поблагодарить за меня Дмитрія Афанасьича... Ну, вотъ онъ!

Блѣдное лицо красавицы вспыхнуло; она приподнялась, хотѣла что-то сказать, но слова замерли на устахъ ея. Левшинъ также не могъ вымолвить ни слова. И до рѣчей ли тому, кто чувствуетъ себя вполнѣ счастливымъ; а въ эту минуту Левшинъ былъ совершенно счастливъ. Жадные взоры его насыщались наконецъ давно желаннымъ благомъ; въ нихъ переселилась вся душа его: онъ смотрѣлъ съ восторгомъ на Софью и молча наслаждался этимъ неожиданнымъ блаженствомъ.

— Ну чтожъ ты, матушка Софья Андреевна, — сказала Дарья, — промолви хоть словечко!

Вотъ розовыя губки стыдливой красавицы зашевелились, и она прошептала едва слышнымъ голосомъ:

— Дай Богъ тебѣ здоровья, Дмитрій Афанасьичъ!... Коли Дарья смотреть теперь на свѣтъ Божій, такъ это по твоей милости...

— А я то, Софья Андреевна, — прервалъ Левшинъ, — развѣ не по ея милости вижу тебя и разговариваю съ тобою?

— Вотъ это дѣло на-стать!—молвила про себя Дарья;— а то сошлись, да ни словечка!... Ну, чтожъ вы стоите?—продолжала она.—Присядьте на этой скамеечкѣ рядкомъ, да поговорите ладкомъ, а я межъ тѣмъ цвѣточки полью.

Левшинъ и Софья сѣли на скамью, которая стояла посреди небольшой куртины мелкихъ вишневыхъ деревьевъ.

— Я слышала отъ Дарьи, — сказала Софья, — что тебя чуть не убили, Дмитрій Афанасьичъ....

— Небольшая бѣда, еслибъ меня и убили, — промолвилъ съ грустію Левшинъ.—Вѣдь я сирота: обо мнѣ пожалѣть некому.

— Некому!—повторила съ живостію Софья.—Некому!... И ты можешь это думать?

Эти слова были сказаны такимъ нѣжнымъ голосомъ, что Левшинъ совершенно обезумѣлъ отъ радости.

— Такъ ты стала бы жалѣть обо мнѣ?—спросилъ онъ робкимъ голосомъ.—Такъ ты любишь меня?

Вмѣсто отвѣта, Софья потупила опять свои ясныя очи и покраснѣлась какъ маковъ цвѣтъ.

— О! скажи мнѣ, Софья!—шепталь Левшинъ;—скажи, что ты меня любишь!

— Да развѣ ты этого не видишь?—промолвила Софья.— И зачѣмъ мнѣ таиться?... Можетъ быть мы никогда уже не встрѣтимся другъ съ другомъ, и я въ разлукѣ съ тобой зачахну съ горя—такъ все-таки сердцу будетъ польготнѣе, когда, умирая, подумаю: «онъ знаетъ, какъ я люблю его!»... Да, Дмитрій Афанасьичъ!—продолжала она, устремивъ на Левшина взоръ, исполненный неизъяснимой любви.— Да! я люблю тебя болѣе всего на свѣтѣ—ты милѣе для меня отца и матери...

— А я, Софья, — прервалъ Левшинъ, — я не найду и рѣчей, чтобъ высказать тебѣ все, что у меня на сердцѣ. Кабы ты знала, какъ я тосковалъ о тебѣ!... Весь Божій міръ мнѣ опостылѣлъ, для другихъ было и ведро красное и свѣтлые лѣтніе денечки, а для меня все непогодица и осень темная!... Мнѣ казалось, что и солнышко меня не грѣветъ, что и свѣтитъ то оно не для меня!... Только и бывало радости, какъ увижу тебя во снѣ, моя ненаглядная!... Да и тутъ бѣда: во снѣ то я радуюсь, а какъ проснусь, такъ мнѣ пуще Божій свѣтъ не взмидится; вотъ такъ бы и легъ живой въ могилу!... И могъ ли я думать, что увижусь съ тобою здѣсь?... О, повѣрь мнѣ: самъ Господь Богъ благословляетъ любовь нашу!... Не будь вчера грозы, не залутайся я въ лѣсу, не поссорься съ филипповцами, и мнѣ бы вѣкъ не узнать, что ты живешь въ этихъ Брынскихъ лѣсахъ,—такъ какъ же не самъ Господь привелъ меня опять увидѣться съ тобою.

— Да на долго ли мы свидѣлись?—промолвила Софья.— Ахъ, чуетъ мое сердце: скоро мы опять разстанемся и, можетъ статья, эта разлука будетъ уже вѣчной разлукою!

— Вѣчной разлукою?—вскричалъ Левшинъ.—О, нѣтъ, Софья! теперь ужъ я не разстанусь съ тобою!... Да не плачь, мой милый другъ!... Богъ милостивъ!... Я богатъ, у меня нѣтъ ни отца, ни матери, мнѣ не у кого спраши-

ваться... Я откроюсь во всемъ твоему батюшкѣ, скажу ему, что ты меня любишь...

— Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ; не знаешь ты его!... Коли ты не придешь ему по нраву, не посмотритъ онъ на мои слезы!...

— Да развѣ онъ тебя не любитъ?

— Говорятъ, что любить, да, видно, по-своему. Онъ ничего для меня не жалѣетъ, у меня всего довольно, да зато, коли онъ чего не захочетъ, такъ Боже сохрани сказать ему словечко вопреки. Ты сирота, Дмитрій Афанасьичъ, да вѣдь и я также сирота. Батюшка такъ рѣдко бываетъ со мною ласковъ; порадуетъ иногда, приголубитъ... да какъ будто бы самъ этого испугается; ну, словно я ему вовсе чужая. А покойную матушку я даже и не помню. Хотѣлось бы иногда поговорить о ней съ батюшкой, да не смѣю: онъ этого не любитъ. Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ, кабы ты зналъ, что подъ-часъ приходитъ мнѣ въ голову!... Страшно вымолвить!...

— А что такое, Софья?...

— Мнѣ кажется иногда...

— Ну, молодець!—раздался въ кустахъ рѣзкій голосъ,— видно, ты всталъ вмѣстѣ съ солнышкомъ!

Левшинъ и Софья вскочили: позади ихъ стоялъ Андрей.

— Не больно же ты умаялся, Дмитрій Афанасьичъ,— продолжалъ Андрей. — Вотъ твой слуга, такъ его насилу добудились... Да и ты что то, Софья, поднялась сегодня ни свѣтъ, ни заря.

— Я, батюшка, пришла сюда...—промолвила Софья.

— Добро, добро! — прервалъ Андрей;—нечего отвѣчать, коли тебя не спрашиваютъ!... Утренняя роса вредна для дѣвушекъ. Ступай-ка, голубушка, въ свою свѣтлицу. А тебѣ, молодець,—промолвилъ онъ, провожая глазами уходящую Софью,—пора въ дорогу; кони ваши осѣдланы... съ Богомъ!...

— Позволь мнѣ прежде,—сказалъ Левшинъ,—переговорить съ тобой.

— Со мной!... О чемъ?... Ужь не о томъ ли, что ты зашелъ ко мнѣ въ огородъ нечаянно; что вовсе не думалъ и не гадалъ повстрѣчаться здѣсь съ молодою дѣвушкой?...

— Нѣтъ, Андрей, я пришелъ сюда нарочно.

— Нарочно?...

— Я хотѣлъ повидаться съ твоею дочерью.

— Вотъ что!... Спасибо, молодець!...

— Выслушай меня: я люблю Софью Андреевну...

— Что, что?... Ты любишь Софью?... Да чтожь ты прежде то во снѣ что ль ее видѣлъ?...

— Я видѣлъ ее въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ?... Что ты, молодецъ!... Да въ Москвѣ то она и на крылечко никогда не выходила.

— Я жилъ вмѣстѣ съ вами на Мещовскомъ подворьѣ, въ небольшомъ покойчикѣ, рядомъ...

— Съ свѣтлицей моей дочери?—прервалъ съ живостію Андрей.—И хозяйка пустила тебя?... Проклятая старуха!... Ужь я ли ей не заказывалъ..

— Не гнѣвайся, Андрей!... Мнѣ въ Москвѣ не удалось даже и поговорить съ Софьей Андреевной; но теперь, когда я знаю, что она меня любитъ...

— А ты ужь успѣлъ это узнать?... Ну, молодецъ, проворень ты!

— Ахъ, Андрей!—сказалъ Левшинъ,—будь милостивъ!.. Не погуби навѣки и меня, горемычнаго сироты, и твоей родной дочери!... Благослови насъ...

Андрей не отвѣчалъ ни слова, но только угрюмые взоры его сдѣлались еще мрачнѣе.

— Я самъ себѣ господинъ,—продолжалъ Левшинъ:—у меня хорошее помѣстье; ты знаешь, что я человѣкъ родовый и служу сотникомъ въ стрѣлецкомъ войскѣ...

Андрей взглянулъ съ такой презрительной и насмѣшливой улыбкою на Левшина, что онъ совершенно смутился и не могъ продолжать начатой рѣчи. Съ полминуты продолжалось молчаніе.

— Ну, чтожь, Дмитрій Афанасьичъ, — молвилъ наконецъ Андрей,—ты родовый человѣкъ, стрѣлецкій сотникъ, богатый помѣщикъ... Нѣтъ ли еще чего-нибудь?... Ужь ты разомъ все высказывай, а тамъ я повалюсь тебѣ въ ноги и завоплю: Батюшка! чѣмъ заслужилъ я такую милость, что ты, знатный господинъ, желаешь породниться со мною, недостойнымъ раскольниковъ и безымяннымъ человѣкомъ?... Да стоитъ ли моя Сонька того, чтобъ ты изволилъ ее назвать своей супругою?... Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, велика честь, а принять ея не смѣю. Гдѣ намъ, простымъ людямъ, нарохотиться въ такое знаменитое родство!

— Да я не ради хвастовства говорилъ объ этомъ, — прервалъ Левшинъ;—а для того, чтобъ ты зналъ, что дочь твоя будетъ жить во всякомъ довольствѣ.

— Такъ, Дмитрій Афанасьичъ, такъ!... А вѣдь она то у меня, сердечная, живетъ въ нуждѣ.

— Я не говорю этого.

— Конечно, ты бы и меня тогда пристроилъ къ мѣстечку: на первыхъ порахъ взялъ бы къ себѣ въ приказчики, а тамъ, глядишь, я и въ дядьки бы попалъ къ своимъ внучатамъ.

— Ты напрасно это говоришь, Андрей!... Я сталъ бы тебя любить и почитать какъ отца родного.

— И, что ты, господинъ честной!.. Ну, пригоже ли простому балахоннику называть сыномъ родового человѣка и такого знаменитаго сановника!

— О, ради Бога!—вскричалъ Левшинъ, почти съ отчаяніемъ,—коли ты не хочешь выдать за меня твоей дочери, такъ не глумись надо мной, а скажи прямо!

— Ты желаешь этого?... Такъ слушай, Дмитрій Афанасьичъ!... Еслибы ты былъ изъ нашихъ, то и тогда я не ударилъ бы съ тобою по рукамъ, не узнавъ тебя хорошенько. И какъ въ голову тебѣ пришло, что я отдамъ мою дочь за перваго проѣзжаго молодца?... Богатствомъ ты меня не удивишь, а чиномъ своимъ и подавно; да это все ничего!... Будь ты въ самомъ дѣлѣ знаменитымъ сановникомъ, воеводою, думнымъ бояриномъ,—чѣмъ хочешь, а все-таки моей дочери не бывать за тобою... Я воспиталъ ее въ правой вѣрѣ, такъ отдамъ ли въ руки никоніанца, который совратитъ съ истиннаго пути и погубитъ навѣки ея душу.

— Да развѣ, Андрей, я не такой же христіанинъ, какъ ты?

— И нѣмцы говорятъ то-же. Спроси у любого лотаря, какой онъ вѣры, такъ и тотъ отвѣтитъ, что онъ христіанинъ... Да что толковать объ этомъ!... Вотъ тебѣ мой отвѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ: еслибъ мнѣ сказали, что дочь моя умретъ сегодня же, коли я не выдамъ ее за того, кто исповѣдуетъ никоніанскую вѣру, такъ я бы пошелъ и самъ сколотилъ ей гробъ. Прощай, молодецъ.

Хотя Левшинъ и долженъ былъ ожидать этого рѣшенія, но оно поразило его какъ внезапный громовой ударъ. Какъ бы не былъ увѣренъ подсудимый, что для него нѣтъ никакой пощады, но онъ все еще чего то надѣется и, его, конечно, не столько поразитъ прощенье, котораго онъ не могъ ожидать, чѣмъ строгій приговоръ, къ которому онъ былъ уже приготовленъ. Прошло нѣсколько минутъ, а Лев-

пинъ все еще не могъ опомниться: онъ стоялъ неподвижно на прежнемъ мѣстѣ. Въ головѣ его не было ни одной мысли; онъ смотрѣлъ и ничего не видѣлъ, повторялъ послѣднія слова Андрея и не понималъ ихъ; но на груди его лежала свинцовая гора, и онъ, хотя смутно, какъ во снѣ, однакожь чувствовалъ, что съ нимъ случилось что то ужасное. Можетъ быть, Левшинъ пробылъ бы еще долго въ этомъ полусознательномъ состояннн, еслибъ не послышался ему въ двухъ шагахъ голосъ вѣрнаго его слуги.

— Пожалуй, Дмитрій Афанасьичъ! — сказала Феропонтъ.—Все готово.—Теперь то настоящая и вѣзда; по холодку ѣхать и конямъ легче и намъ привольнѣе. Да насъ же,—продолжалъ онъ вполголоса,—только что не въ шею отсюда гонять!... Поѣдемъ, батюшка!

Левшинъ молча пошелъ вслѣдъ за Феропонтомъ; они сѣли на коней, и когда выѣхали за ворота скита, изъ сторожки выглянула Дарья и сказала шопотомъ Феропонту: «Смотри же, голубчикъ, не забудь: Аксинья Никитишна».

— Небойсь, лебедка, не забуду! — промолвилъ также шопотомъ Феропонтъ.

— Ну, прощай, добрый молодець!

— Прощай, мое солнышко весеннее! — сказалъ Феропонтъ, подмигнувъ Дарьѣ и на дѣвая набекрень свою войлочную шапку.

#### IV.

Когда наши путешественники отѣхали съ полверсты отъ скита, Феропонтъ сказалъ своему барину: «Ну, батюшка, какого мы дали кроку!... Я все разспросилъ порядкомъ. Отъ постоялаго двора, гдѣ мы вчера кормили, до села Толстошеина считаютъ съ небольшимъ двадцать верстъ; а теперь намъ придется ѣхать верстъ шесть до одного раскольничьяго скита: въ немъ живутъ какіе то Федосѣевцы, съ которыми Андрей Поморянинъ и знаться не хочетъ. Отъ этого скита до полсела Куклина безъ малаго пятнадцать верстъ, а отъ Куклина до Толстошеина почитай то же, анъ и выходитъ гораздо за тридцать. Да это бы еще ничего, а вотъ что худо, Дмитрій Афанасьичъ: лошадки наши сѣнца пощипали, а овса то не успѣли перехватить. И на водопой ихъ не водили... Да что это хозяйнв нашъ такъ заторопился?... Какъ разбудили меня, я вскочилъ—глядь: а ужъ

кони осѣдланы!... Вотъ они раскольники то, батюшка!... Нѣтъ, мы, православные, не такъ гостей принимаемъ: кушай вдоволь, спи себѣ до полудня, прохладжайся, а пришла пора ѣхать, такъ мы и ворота на запоръ!... А это что?—«Просимъ, дескать, милости!—Рады гостю дорогому... Только не засиживайся, а не то въ шею!...» Ну что, батюшка, успѣлъ ли ты намекнуть Андрею о своемъ дѣльцѣ?..

— Онъ все знаетъ,—сказалъ Левшинъ.

— Ну чтожь?

— Что, Феропонтъ!... Не судилъ мнѣ Господь быть счастливымъ!

— Какъ такъ?... Да неужли онъ не выдаетъ за тебя своей дочери?

— И слышать не хочетъ!

— Нѣтъ!... Да чтожь онъ—рехнулся что-ль!... Коли ты ему не зять, такъ за кого же онъ хочетъ выдать свою дочь?... Ахъ, онъ, балахонникъ проклятый!... Ужь не прочить ли онъ свою дочку за какого-нибудь знаменитаго воеводу?... Вишь, бояринъ какой!... Сермяжникъ этакій!... Да ты, батюшка, не кручинься!—продолжалъ Феропонтъ, по-сматривая съ участіемъ на своего барина.—Это еще дѣло поправное.

— А какъ ты его поправишь? — сказалъ Левшинъ.— Ужь не думаешь ли ты, что я забуду Софью... полюблю другую?...

— И это бываетъ, Дмитрій Афанасьичъ...

— О, нѣтъ, Феропонтъ!... Я ужь тебя говорилъ, что безъ нея и жизнь мнѣ не красна... Мнѣ и прежде было тяжело, а теперь... о, теперь... я вѣрно зачахну съ горя!... Да не качай головою: вотъ какъ тоска сведетъ меня въ могилу, такъ по неволѣ повѣришь!...

— Эхъ, батюшка баринъ!... Да почему-жь ты говоришь, что тебѣ стало теперь еще тяжелѣе?... А прежь сего зналъ ли ты, гдѣ живетъ твоя красавица?

— Нѣтъ. Я не зналъ даже, кто ея отецъ и какъ его зовутъ.

— Ну, видишь ли!... Вотъ тогда было отъ чего кручиниться — поди ка, отыщи на святой Руси того, кого не знаешь по имени!... А теперь то-ли дѣло: ты знаешь, гдѣ она живетъ, да и мы то станемъ жить близехонько: отъ села Толстошеина до Андреева скита рукой подать... Мало ли что можетъ случиться? Вѣрнѣй всего, что самъ Андрей



спохватится. Въдь онъ это такъ—съ дуру тебя ошеломилъ!... А него хотѣлъ почваниться, да поломаться надъ тобой. Погоди, батюшка, перемелется рожь — будетъ мукой!... Дочка станетъ къ нему приставать, а ты межъ тѣмъ въ-сточки отъ нея получать будешь.

— Въсточки!... Да черезъ кого-же?

— Ну ужь такъ и быть, все тебѣ скажу!... Въдь Дарья то стоитъ въ томъ, что она моя суженая; коли правду сказать, такъ и я не прочь—дѣвка такая здоровенная, знатной будетъ работницей!... Вотъ она мнѣ и сказала: «Есть, дескать, у меня знакомая старушка, Аксинья Никитишна; живетъ она въ скиту Федосѣевского согласія; вы мимо его поѣдете. Поклонись ей и скажи, чтобъ она ждала меня къ себѣ въ будущее воскресенье; а ты и самъ, молодецъ, прѣзжай изъ села Толстошеина, такъ и со мной повидаешься и барину твоему привезешь въсточку отъ Софы Андреевны».

— Ну чтожъ, Феропонтъ, ты, вѣрно, обѣщаль?

— Въстимо, батюшка!... Коли дѣвица красная зоветъ на свиданьице, такъ молодцу не пригоже отнѣкиваться. Ну, Дмитрій Афанасьичъ! правду ли я тебѣ говорилъ, что дѣло то поправное?... Андрей поупрямится, да какъ увидить, что съ дочкой то дѣлать нечего...

— Нѣтъ!—прервалъ Левшинъ,—онъ не сжалится надъ ея слезами. Андрей сказалъ мнѣ, что ему легче видѣть свою дочь въ гробу, чѣмъ женою того, кто исповѣдуетъ никоніанскую вѣру.

— Такъ вотъ что?... Ну, коли этотъ шальной станеть все упираться, такъ чтожъ?... Или доброму молодцу въ нареканы оставаться?... Что, въ самомъ дѣлѣ: была бы только ея воля, а въдь она не за тремя каменными стѣнами живетъ!... Подъѣхаль вечеркомъ на лихой тройкѣ, притаился на задахъ, да и жди урочнаго часу. Ей долго ли,—шмыгъ въ калитку, а мы и тутъ!... Подъ бѣлы руки, въ телѣгу—да и катай!

— И ты думаешь, она согласится?

— И, батюшка! коли любить, такъ на все пойдетъ... Кто и говорить: съ отцовскимъ благословеньемъ лучше; да коли отецъ то этакой упрямый дѣшій!... А знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: можетъ статься, онъ и радехонекъ будетъ, коли ты дочку то его сманишь?

— Почему ты это думаешь!

— Да какъ же, батюшка: она выйдетъ за богатаго помѣщика, а онъ передъ своей братьей старообрядцами правъ останется. «Моей, дескать, воли не было, братцы: дѣвка то не спросясь меня подъ вѣнецъ пошла. А ужъ коли ихъ повѣнчали, такъ дѣлать нечего, развѣнчивать не стануть».

Несмотря на то, что всѣ эти предположенія и надежды казались Левшину не очень сбыточными, онъ слушалъ съ жадностію утѣшительныя рѣчи Феропонта. Левшинъ выѣхалъ изъ Андреева скита съ отчаяніемъ въ сердцѣ, а теперь хотя и не смѣлъ ни на что надѣяться, но ужъ и то было для него большою отрадою, что Софья можетъ, хотя изрѣдка, давать ему о себѣ вѣсточку. Мало-по-малу на сердцѣ у него стало полегче: «Богъ вѣсть»,—думалъ онъ,—«когда я увижу опять Софью?... Но, по крайней мѣрѣ, буду знать, что съ ней дѣлается; можетъ быть, Андрей и въ самомъ дѣлѣ сжалится надъ своею дочерью; а коли не сжалится, да еще задумаетъ выдать ее насильно замужъ, такъ я узнаю объ этомъ—и тогда... о! только бы Софья то захотѣла, а ужъ я выручу ее!»

Наши путешественники проѣхали версты четыре, не говоря ни слова. Дорожка, по которой они съ трудомъ пробирались, была проложена по сыпучимъ пескамъ; кругомъ не видно было ни травки, ни цвѣточка. Одной отрадой для глазъ были сучковатыя ели, высокія сосны съ своей мертвой зеленью и кой-гдѣ небольшія лужайки, поросшія, вмѣсто травы, желтоватымъ мхомъ и мелкими кустами можжевельника.

— Эхъ, батюшка!—промолвилъ наконецъ Феропонтъ,—пора бы намъ коней напоить: вишь, какъ у нихъ пахи то подвело!... Они, сердечные, со вчерашняго дня капли воды не видали... Да и мѣста то здѣсь какія!... Вотъ ужъ я давно посматриваю, нѣтъ ли гдѣ травки или проточной водицы,—нѣтъ какъ нѣтъ!... Дождевыя водопромоины пополамъ съ пескомъ, да сухія еловыя шишки—кушай и пей себѣ на здоровье!...

— А вотъ мы, чай, скоро доѣдемъ до этого скита, гдѣ живетъ Дарьина знакомая.

— Кажись бы надо скоро доѣхать. Да шутъ ихъ знаетъ: скажутъ шесть верстъ, а глядишь—всѣ десять!... Постой ка, Дмитрій Афанасьичъ! Видишь, вонъ тамъ избушка какая то?... Можетъ статья и колодезь есть... Поѣдемъ ка, батюшка, поскорѣе.

Путешественники подѣхали къ небольшой избѣ, у которой тесовая кровля была окаймлена со всѣхъ четырехъ сторонъ широкимъ жолобомъ; на углахъ были сдѣланы деревянные отливы, а отъ нихъ проведены другіе жолобья въ огромной величины плетушку, обмазанную снаружи и изнутри глиною; эта плетеная посуда походила на большой продолговатый чанъ и была почти вся наполнена водою.

— Вотъ знатный водопой!—сказалъ Феропонтъ, остановивъ свою лошадь. — Смотри, Дмитрій Афанасьичъ, какъ ухитрились!... Простая плетушка, а вода то въ ней стоитъ какъ въ чану!... Сойдемъ-ка, батюшка, съ коней, такъ я ихъ обоихъ разомъ напою.

— Что вы, что вы?—вскричалъ, выходя изъ избы, небольшого роста мужикъ съ калмыковатымъ лицомъ, косматой головою и жиденькой свѣтлорусой бородкой. — Не смѣйте поить здѣсь лошадей!... Не оскверняйте воды небесной!

— Воды небесной? — повторилъ Феропонтъ. — А! вотъ что!... Это у тебя дождевая водица... Такъ чтожъ, дядя: и по лужамъ то вездѣ дождевая вода... Чѣмъ она лучше другой?

— То по лужамъ, а развѣ ты не видишь, что это купель?

— Купель?.... Что ты, перекрестись!.... Какая это купель!

— Полно, Феропонтъ,—прервалъ Левшинъ. — Не наше дѣло. Послушай-ка, любезный: коли здѣсь нельзя, такъ укажи, гдѣ намъ напоить коней.

— Да вотъ недалеко отсюда рѣчка; ступайте прямо: тамъ можно поить лошадей; ужь что осквернено, того не осквернишь.

— Поѣдемъ, Феропонтъ.

— Постойте-ка, постойте! — сказалъ хозяинъ избы. — Вы люди, кажись, добрые; хотите ли, братцы, омыть грѣхи ваши и окреститься крещеньемъ истиннымъ?

— Ахъ, ты полоумный этакій!—вскричалъ Феропонтъ. — Вотъ еще что вадумаль!... Да развѣ мы люди некрещеные?..

— Нѣтъ, братцы!... Или вы не знаете, что наступили времена антихристовы, и ничего уже нѣтъ чистаго на землѣ?... Нѣтъ ни рѣкъ, ни озеръ, ни источниковъ, ни кладезей, ни студенцевъ, которые не были бы осквернены прикосновеньемъ окаянныхъ слугъ антихристовыхъ. А коли неоскверненной воды не обрѣтается на всемъ лицѣ земли,

такъ не подобаеъ ли намъ креститься во единой водѣ, иже съ небесъ исходитъ?

— Сирѣчь дождевой?—сказалъ Левшинъ.—Да ужь мы, дядя, въ ней вчера купались—нитки живой на тѣлѣ не осталось.

— Поѣдемъ, батюшка,—прервалъ съ примѣтной досадою Феропонтъ.—Что слушать этого шального!... Вишь, онъ, какъ съ перепоя, и самъ не знаетъ, что говорить.

— Послушайтесь, братцы!—кричалъ имъ вслѣдъ хозяинъ изъбы.—Эй, говорю вамъ, примите крещеніе въ водѣ небесной, да не помянутся грѣхи ваши!... Не губите вашихъ душъ—послушайтесь меня!

— Дери горло то, дери!—шепталъ про себя Феропонтъ.—Вотъ напустилъ на себя какую дурь—уродина этакій!... Ну, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, народецъ живетъ въ здѣшной сторонѣ!... Что это такое?... Съ виду люди какъ люди, а съ любимъ заговори,—понесетъ такую околесную, что уши вянутъ!... Ну, гдѣ видано, чтобы крещеныхъ людей перекрещивали?... И добро бы еще онъ былъ чернецъ или церковникъ какой, а то простой сермяжникъ!... Да ему, лапотнику, и мордвина не слѣдъ крестить... Кто его въ попы то ставилъ—чучела этакая!

— Эхъ, Феропонтъ, охота тебѣ сердиться!—сказалъ Левшинъ.

— Да какъ же, Дмитрій Афанасьичъ,—обидно!... Ужъ эти раскольники хотятъ насъ, православныхъ, перекрещивать!... Скопилъ въ плетушкѣ дождевой водицы, да и кричить: «Креститесь, братцы, крещеньемъ истиннымъ!»—Эхъ, батюшка! будь я безъ тебя, такъ я бы этого перекрещеванца окрестилъ по своему!... Пересталъ бы онъ у меня свою плетушку купелью называть!... Кабы ребра два не дощупался, такъ заказалъ бы и другу и недругу перекрещивать православныхъ христіанъ.

— Ну, вотъ еще!—прервалъ Левшинъ.—Вчера было намъ за что драться съ раскольниками, а теперь изъ чего мы станемъ съ ними ссориться?

— Такъ, батюшка, такъ!... Да зло беретъ!... Чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, мы ихъ зовемъ только раскольниками, а они ужъ насъ крестить хотятъ!... Словно мы жида какіе.

Въ продолженіе этого разговора наши путешественники подѣхали къ небольшому холму, у подошвы котораго струился широкій ручей. По всему скату холма и по бе-

регу ручья разбросаны были, въ живописномъ безпорядкѣ, высокія избы и низкія лачужки. Этотъ скитъ, совершенно похожій на обыкновенныя деревни, не былъ обнесенъ изгородью, и только по одной *молельні*, на кровлѣ которой водруженъ былъ осьмиконечный крестъ, можно было догадаться, что тутъ жили раскольники. Надъ ручьемъ, противъ самой молелни, стоялъ деревянный шатеръ, надъ которымъ также возвышался осьмиконечный крестъ.

— Послушай-ка, любезный!—сказалъ Феропонтъ одному молодому парню, который ѣхалъ порожнякомъ въ телѣгѣ навстрѣчу къ нашимъ путешественникамъ.—Вѣдь это скитъ Федосѣевского согласія?

— Ну, да!—отвѣчала парень, взглянувъ съ любопытствомъ на проѣзжихъ.

— Укажи-ка намъ, молодець, гдѣ живетъ здѣсь Аксинья Никитишна.

— Бабушка Аксинья—портниха?... А вотъ съ краю то третья изба—противъ самой іордани.

— Сирѣчь, вотъ этого шатра, что на рѣчкѣ то?

— Шатра?... Какого шатра?... Тебѣ говорятъ: противъ іордани... Развѣ шатры съ крестами то бываютъ?

Феропонтъ и Левшинъ, подѣхавъ къ низенькой избушкѣ, сошли съ коней; подъ окномъ на завалинѣ сидѣла пожилая баба лѣтъ шестидесяти; на ней, сверхъ синяго сарафана, который отличался покроемъ отъ нынѣшнихъ только тѣмъ, что былъ вовсе безъ грудной выемки, надѣта была сврая суконная тѣлогрѣя съ красной оторочкою. На головѣ ея была бисерная повязка и большая фата изъ пестрой бумажной матеріи. Наружность этой старухи была весьма приятная: ея умные голубые глаза одушевлялись веселостію, а правильныя черты лица и нѣкоторые остатки прежней красоты доказывали, что нѣкогда она была очень хороша собою.

— Не ты ли, бабушка, Аксинья Никитишна? — спросилъ Феропонтъ.

— Я, кормилецъ, — отвѣчала старуха. — Что тебя надобно?

— Мы были въ скиту Андрея Поморянина, и меня Дарья просила отвезти тебѣ поклонъ.

— Спасибо, молодець, спасибо!. . Ну, что она, по добру ли, по здорову?

— Все слава Богу!... Сбирается къ тебѣ въ гости.

- Милости просимъ! Давно пора.
- Жди ее, бабушка, къ себѣ въ будущее воскресенье.
- Будемъ ждать, мой отецъ, будемъ!
- Да ужь и я, Аксинья Никитишна, твой гость.
- Ты, батюшка?... А ты зачѣмъ ко мнѣ пожалуешь?
- Да вѣдь Дарья то моя суженая.

— Вотъ что?... Ну, батюшка, милости просимъ!... Ай Дарьюшка! исполать ей!... Какого она себѣ женишка вымолила... Да какъ это васъ Господь свелъ?... Что вы приглянулись что-ль другъ другу?

- Видно, что такъ, бабушка.
- Чтожъ ты, молодець, очень ее любишь?
- Да такъ то люблю, что коли скажу, такъ не повѣришь.
- Какъ не повѣрить, батюшка!... Дѣло бывалое: вѣдь и я не всегда была старухою; было и мое времячко, и про меня говаривали: «сухота, дескать, сердцу молодецкому!»... Э, да что это я?... Тьфу! старуха старая, а какія рѣчи говорю! Охъ, я многогрѣшная, многогрѣшная! — продолжала Аксинья, вытаскивая изъ-за пояса чотки. — Ну вотъ, не успѣю покаяться, и опять за то же!... И что за радость вспоминать про прежніе годочки?... Вѣдь они ужь не вернутся!

— Дмитрій Афанасьичъ! — сказалъ Феропонтъ, — побудь покамѣстъ здѣсь, а я напою коней. Вѣдь въ рѣчкѣ то можно, бабушка?

— Пожалуй себѣ!... Только вонъ туда, внизъ — дальше.

— Скажи мнѣ, Аксинья Никитишна, — спросилъ Левшинъ, оставшись одинъ со старухою, — чтожъ это за чело-вѣкъ такой живетъ недалеко отсюда, у самой дороги, — что, изъ вашихъ что-ль?

— Нашъ, батюшка, нашъ!... Такъ, убогій чело-вѣкъ, юродивый — Павелъ, по прозванью Калмыкъ. Онъ, вѣрно, хотѣлъ васъ крестить въ дождевой водѣ?

— Да, бабушка!... Я такъ и думалъ, что онъ безумный.

— Нѣтъ, не безумный — и старецъ усердный, большой постникъ; да, видно, у него умъ за разумъ зашелъ... Мало ли и намъ возни то съ нимъ было! Онъ на прошлой недѣлѣ собиралъ соборъ.

— Соборъ!... Какой соборъ?

— Какъ же!... Ивана Ерша, Илью Степанова — всѣхъ нашихъ учителей и наставниковъ собралъ.

— Чтожъ они, о чемъ съ нимъ толковали?

— Что, батюшка, грѣхъ, да и только!... Зачали за здравіе, а свели за упокой!... Собрались о вѣрѣ толковать, а покончили смѣхомъ.

— Смѣхомъ?

— Да, батюшка. Павелъ началъ говорить объ антихристѣ, сталъ уговаривать братію, чтобъ всѣ крестились въ дождевой водѣ;—другой, дескать, неоскверненной воды на всей землѣ нѣтъ. — Вотъ отецъ Илья и говоритъ ему: «Мы тебѣ, Павелъ, безъ знаменья не повѣримъ. Святые проповѣдники чудеса великія творили: болящихъ исцѣляли, мертвыхъ воскрешали; а ты, Павелъ, во увѣреніе наше хотя единаго жука или муху оживотвори!»—Нѣтъ, братіе, — сказалъ Павелъ,—я вамъ другое покажу знаменіе: дайте мнѣ какую хотите отраву, при васъ же выпью и невредимъ останусь. Илья хотѣлъ было попотчивать его купороснымъ маслицемъ, да Иванъ Ершъ отговорилъ, и вмѣсто отравы поднесъ ему стаканъ добраго вина, а Павелъ сродясь его не отвѣдывалъ... Вотъ, батюшка, какъ онъ увидѣлъ, что ему отъ этого зелья никакой болѣзни не приключилось, такъ загорланилъ пуще прежняго: «Что, дескать, окаянные!... Видите ли, что ваша отрава меня не беретъ?.. Будете ли теперь меня слушаться?.. А коли вамъ этого мало, такъ давайте еще стаканъ». Какъ у него въ головушкѣ то позашумѣло, такъ онъ пересталъ и о вѣрѣ говорить. Только что кричитъ: «Подавайте вашей отравы!»—Отецъ Алексѣй велѣлъ поднести ему третій стаканъ, да и говоритъ: «Слушай, Павелъ, коли послѣ этого ты будешь сидѣть прямо, такъ вѣра твоя права, а коли покривишься, такъ и вѣра твоя кривая». Какъ Павелъ хватилъ третій стаканъ, такъ его вовсе разобрало; онъ не успѣлъ и двухъ словъ вымолвить, свалился подъ лавку, да тутъ и заснулъ.

— Ну, чтожъ, какъ онъ выпался?

— И, батюшки!... Учаль насъ всѣхъ позорить на чемъ свѣтъ стоитъ!... «Я, дескать, васъ, окаянныхъ неслуховъ, призывалъ къ истинному крещенію, да вы не захотѣли—такъ нѣтъ же вамъ части со мною!... Пойду на перепутье и стану всѣхъ провѣзжихъ крестить».

— Хорошо, что вы не послушались этого шального; ну, гдѣ видано, чтобъ крещеные люди перекрещивались?

— Нѣтъ, батюшка, и наши всѣ перекрещиваются.

— Что ты, бабушка?

— Да, молодецъ!... Только не въ дождевой водѣ, а вотъ здѣсь въ рѣчкѣ... Вотъ видишь, прямо то—іордань!

— Такъ и ты, Аксинья Никитишна, перекрещивалась?

— Мнѣ зачѣмъ, кормилецъ!... Я ужь человекъ немолодой: меня крестили по старинному, когда православная вѣра не была еще въ растлѣніи. Вотъ Дарьѣ такъ надобно креститься. Я давно уговариваю, да ее все этотъ пострѣлъ Андрей Поморянинъ сбиваетъ.

— Ну, батюшка, — сказала Феропонтъ, подводя Султана, — садись-ка, пора въ путь!... Мнѣ сказали, что отсюда все прямая дорога вплоть до полсела Куклина, а тамъ намъ укажутъ.. Послушай, бабушка: коли Дарья придетъ къ тебѣ прежде, чѣмъ я приѣду, такъ скажи ей, что я безотмѣнно буду.

— Скажу, батюшка!... Ну, прощайте, добрые молодцы! Не поминайте лихомъ.

— Счастливо оставаться, Аксинья Никитишна! Смотри, припасай пироговъ къ воскресенью; да коли бражки выставишь, такъ мы тебѣ челомъ; а коли винца — такъ и по-давно!

## V.

Солнце было уже высоко, когда Левшинъ и Феропонтъ, проѣхавъ полсело Куклино, стали приближаться къ цѣли своего путешествія. Версты за двѣ до вотчины боярина Куродавлева, проселокъ, по которому они ѣхали, вывелъ ихъ на большую Мещовскую дорогу. Миновавъ боярскій хуторъ съ обширной винокурнею, на которую Феропонтъ поглядѣлъ очень умильно, путешественники повернули въ широкую просѣку. Она оканчивалась на берегу небольшого, но весьма красиваго озера. Когда они выѣхали изъ лѣсу, передъ ними раскрылся очаровательный видъ. Съ версту отъ нихъ, прямо черезъ озеро, на гористомъ берегу возвышались огромныя хоромы, которыя, со своими службами и всей усадьбою, походили на небольшой городокъ. Съ перваго взгляда, Левшинъ замѣтилъ, что бояринъ Куродавлевъ хотѣлъ выстроить себѣ домъ, похожій — разумѣется въ маломъ видѣ — на знаменитый Коломенскій дворецъ... Средину его составляло большое двухъ-этажное зданіе съ высокой выгнутой кровлею, у которой выпуклые бока суживались



книзу. Съ правой стороны къ этому зданію была пристроена *вышка*; она, по своей двойной кровлѣ и остроконечному верху, походила на небольшія безымянныя башни Московскаго кремля. Съ лѣвой стороны, крытымъ переходомъ, соединялся съ главнымъ зданіемъ красивый теремъ о трехъ жильяхъ, съ большими уступами. Къ этому терему примыкала особая палата съ куполомъ или главою, которой не доставало только креста, чтобъ совершенно походить на церковную главу. Левшинъ узналъ вполслѣдствіи, что въ этой палатѣ была образная боярина Куродавлева. Все это огромное зданіе, не исключая самой вышки, было построено изъ толстыхъ сосновыхъ брусевъ. Направо отъ господскаго дома, который съ своими принадлежностями, дворомъ и огородомъ, занималъ нѣсколько десятинъ земли, начинался длинный рядъ красивыхъ избъ; въ нихъ жила отдѣльными семьями многочисленная дворня боярина. По лѣвой сторонѣ, на большомъ пространствѣ, разбросаны были конюшни, скотные дворы и обширная псарня съ высокой свѣтлицею для боярскихъ соколовъ и кречетовъ. Вся описанная мною усадьба, занимала почти весь берегъ, противоположный тому, на которомъ въ эту минуту находился Левшинъ. Полюбовавшись нѣсколько минутъ этимъ прекраснымъ видомъ, Левшинъ повернулъ назадъ и поѣхалъ берегомъ озера вдоль длиннаго ряда крестьянскихъ избъ.

— Ну, батюшка! — сказали Феровпонтъ, — какъ здѣсь мужички-то пообстроились!.. Одна изба лучше другой!.. И то сказать: лѣсу-то имъ не занимать стать!.. Да, видно, и баринъ у нихъ господинъ милостивый и добрый.

— А что?

— Какъ же, Дмитрій Афанасьичъ!.. Посмотришь, въ иной деревнѣ народишка такой чажлый, испитой, взглянуть не на что!.. А здѣсь, погляди ка, батюшка, какіе все ребята дородные — молодецъ къ молодцу!.. А бабы то!.. Вонъ сидятъ на завалинѣ—печь печью!.. Вонъ и другая... видишь, батюшка?

— Вижу; такъ чтожь?

— А то, Дмитрій Афанасьичъ, что, видно, житье-то ихъ плохое: съ горя люди не жирѣютъ.

Миновавъ село, наши путешественники переѣхали черезъ плотину и повернули направо, по широкой дорогѣ, которая вела прямо къ господской усадьбѣ. Подѣхавъ къ воротамъ, Левшинъ, изъ уваженія къ высокому сану хо-

зяина, не въѣхалъ на дворъ: онъ отдалъ своего коня Феропонту и пошелъ пѣшкомъ. На крыльцѣ боярскаго дома стояло человѣкъ пять служителей, а посреди двора, кругомъ высокаго столба, который оканчивался лежащимъ колесомъ, похаживалъ на цѣпи ручной медвѣдь. Когда Левшинъ сталъ приближаться къ дому, двое слугъ сошли внизъ, на встрѣчу къ гостю, поклонились ему въ поясъ и ввели подъ руки на крыльцо. Въ сѣняхъ дворецкій боярина, встрѣтивъ Левшина обыкновеннымъ привѣтствіемъ: «добро пожаловать, батюшка, милости просимъ!» вошелъ вслѣдъ за нимъ въ огромную прихожую. Въ ней сидѣло на скамьяхъ до тридцати слугъ, просто, но очень опрятно одѣтыхъ. Вдоль одной изъ стѣнъ прихожей развѣшены были длинныя пищали, винтовки, ручницы, сабли, ножи, чеканы, кольчуги и желѣзныя шашки-ерихонки. На другой висѣла богатая конская сбруя, охотничьи рога и шкуры затравленныхъ волковъ и лисицъ; а у дверей, ведущихъ въ сосѣдній покой, стояли: съ одной стороны чучело огромнаго медвѣдя, убитаго самимъ хозяиномъ, а съ другой—большая клѣтка, въ которой сидѣлъ ученый воронъ. Когда Левшинъ вошелъ въ прихожую, всѣ слуги встали и поклонились ему очень вѣжливо.

— Какъ прикажешь о себѣ доложить боярину? — спросилъ дворецкій.

— Доложи Юрію Максимовичу, что стрѣлецкій сотникъ Левшинъ пріѣхалъ къ нему изъ Москвы съ письмомъ отъ боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Отъ Кириллы Андреевича?.. Ну, батюшка, порадуешь ты нашего боярина!.. Пожалуй сюда, — вотъ въ этотъ покой... Я пойду, доложу о тебѣ.

Левшинъ вошелъ въ сосѣдній покой; въ немъ вся домашняя утварь состояла, такъ же, какъ и въ прихожей, изъ однѣхъ лавокъ, да сверхъ того стоялъ дубовый столъ, покрытый узорчатой скатертью, на которой вытканы были изображенія тарелокъ со всѣмъ столовымъ приборомъ и блюды съ жаренымъ павлиномъ, поросенкомъ, пирогами и разнымъ другимъ кушаньемъ. вмѣсто нынѣшнихъ люстръ, опускались съ потолка на тоненькихъ бичевкахъ красивыя клѣтки съ пѣвчими птицами; и у одного изъ оконъ въ кругломъ коробкѣ, съ нитянымъ плетенымъ верхомъ, бился и *вавакаль* неугомонный перепелъ... Минуть черевъ пять вошли изъ прихожей двое слугъ, одинъ съ лоханью и умывальникомъ, другой съ подносомъ, на которомъ стояла се-

ребриная кружка. Левшинъ вымылъ руки, обтеръ мокрымъ полотенцемъ запыленное лицо и выпилъ съ большимъ удовольствіемъ кружку холоднаго меда, который показался ему очень вкуснымъ. Вскорѣ за тѣмъ явился опять дворецкій и сказалъ, что бояринъ дожидается съ нетерпѣніемъ своего гостя. Левшинъ, идя вслѣдъ за нимъ, замѣтилъ, что почти всѣ комнаты были тѣсны, безъ всякаго убранства и по большей части обезображены огромными и неуклюжими печами. Пройдя крытымъ переходомъ, они стали подыматься въ верхнее жильѣ терема. Дворецкій остановился у дверей, подлѣ которыхъ сидѣли два мальчика, одѣтые въ красные терлики. Одинъ изъ нихъ отворилъ дверь, и Левшинъ вошелъ въ обширную, обитую малиновымъ сукномъ свѣтлицу; по стѣнамъ ея висѣли турецкіе ятаганы и пистолеты въ серебряной оправѣ, дорога казылбашскія сабли, стальные зеркала, то есть латы съ золотой и серебряной настьчкою; на широкихъ полкахъ разставлены были серебряныя кружки, братины и китайскія фарфоровыя сулеи, а въ особомъ ставцѣ за стекломъ стояли жалованные кубки, высокая *юрлатная* шапка боярская и лежалъ серебряный *шестоперъ*, или булава, богато украшенные бирюзюю и драгоценными камнями. Въ переднемъ углу, то есть подъ образами, сидѣлъ бояринъ Юрій Максимовичъ; передъ нимъ на небольшомъ столикѣ лежала раскрытая книга въ бархатномъ переплетѣ. На бояринѣ былъ шелковый *турскій* кафтанъ, то есть длинное платье безъ *козыря* и петлицъ, похожее своимъ покроемъ на бухарскій халатъ. Хотя темнорусая окладистая борода Куродавлева была уже съ просѣдю, но онъ могъ еще, по своему росту, осанкѣ и бодрому виду, называться молодцемъ. Во всѣхъ чертахъ его красиваго и мужественнаго лица выражались веселость, привѣтъ и эта русская удаль, для которой, при случаѣ, все трынъ-трава. Въ его улыбкѣ было много радушія; но еслибъ Левшинъ былъ хорошимъ физиономистомъ, то безъ труда бы замѣтилъ по взгляду и особенному выраженію въ голосѣ, что Куродавлевъ, несмотря на свою веселость и добродушіе, вовсе не чуждъ этой боярской спеси, которая была нѣкогда любимымъ грѣхомъ всѣхъ русскихъ сановниковъ.

— Добро пожаловать, господинъ сотникъ!—сказалъ Куродавлевъ, не вставая самъ и не приглашая Левшина садиться.—Полно, такъ ли доложилъ о тебѣ мой дворецкій?... Вѣдь ты прозываешься Левшинымъ?

- Да, Юрій Максимовичъ.
- Левшины бывали встарину люди родословные — да вѣдь нынче не разберешь!.. Не прогнѣвайся, если я тебя спрошу, — продолжалъ бояринъ, заглянувъ въ раскрытую книгу, — какъ называли твоего дѣдушку?
- Дмитриемъ Степановичемъ.
- Вотъ, по разрядной книгѣ, не онъ ли былъ при царѣ Михаилѣ Феодоровичѣ?..
- Стольникомъ и суздальскимъ воеводою, — прервалъ Левшинъ.
- Такъ!.. А начальнѣйшій человекъ вашего рода прозывался Суволь-Левша — такъ ли, молодецъ?
- Такъ, бояринъ.
- Садись, любезный!
- Позволь мнѣ прежде вручить тебѣ письмо отъ боярина Кириллы Андреевича, — сказалъ Левшинъ, подавая свитокъ.
- Пожалуй, пожалуй!.. Что то онъ, дружище, ко мнѣ пишетъ? — Левшинъ, — продолжалъ вполголоса Куродавлевъ, поглядывая на своего гостя, — внукъ суздальскаго воеводы — стрѣleckимъ сотникомъ!.. Эки времена!.. Да что, твой батюшка здравствуетъ?
- Нѣтъ, бояринъ. Онъ давно ужъ померъ.
- Такъ вотъ что!.. Тебѣ, чай, молодецъ, приглянулся кафтанъ съ петлицами, да шапка ухорская?.. Разумъ молодой, а воля то своя!..
- Покойный мой батюшка, — прервалъ Левшинъ почти-тѣльнымъ, но твердымъ голосомъ, — былъ самъ стрѣleckимъ сотникомъ.
- Право?.. Такъ батюшка твой былъ стрѣleckимъ головою?.. И ужъ вѣрно по царскому указу?.. Вотъ и у меня пріятель, Никита Даниловичъ Глѣбовъ, взятъ въ нынѣшнемъ году по неволѣ въ полковники къ стрѣleckому полку. Да онъ челобитную подавалъ: «Цари, дескать, и государи великіе князья, пожалуйте меня, холопа своего, за крови и за смерти, и за многія службы сродниковъ моихъ, и за мои, холопа вашего, службишки, велите челобитье мое записать, чтобъ, государи, нынѣшняя моя полковничья служба мнѣ, холопу вашему, и дѣтишкамъ моимъ и сродникамъ, отъ иныхъ родовъ была не въ упрекъ и не въ укоризну, и съ моею ровною братією не въ случай». Такъ на эту челобитную и данъ указъ, чтобъ службу въ стрѣлец-

комъ войскѣ ему, Никитѣ Глѣбову, и дѣтамъ, и сродникамъ и всему роду въ упрекъ и укоризну не ставить, и его, Глѣбова, тѣмъ чиномъ не смѣть никому безчестить... А твой батюшка подавалъ ли челобитную?

— Нѣтъ, бояринъ... Онъ пошелъ въ стрѣleckiе головы охотю.

— Охотю?.. Ну, это иная рѣчь!.. Ужь коли онъ самъ своей чести поруку сдѣлалъ, такъ пенять не на кого!.. Да садись, молодецъ; а я межъ тѣмъ посмотрю, что пишетъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ.

Левшинъ сѣлъ на стулъ подлѣ окна, а Куродавлевъ развернулъ свитокъ и прочелъ вслухъ: «Государю моему и другу сердечному, Юрiю Максимовичу!.. Здравствуй, другъ мой Юрiй Максимовичъ, на многія впредь будущія лѣта!.. Пишешь ты ко мнѣ, другъ сердечный»... Тутъ Куродавлевъ началъ читать про себя, а Левшинъ, окинувъ любопытнымъ взглядомъ боярскiй покой, полюбовался развѣшеннымъ по стѣнамъ оружіемъ и подивился огромнымъ серебрянымъ братамъ, изъ которыхъ многія были величиною съ ведро. Но когда онъ взглянулъ въ открытое окно, подлѣ котораго сидѣлъ, то едва могъ удержаться отъ невольнаго восклицанiя при видѣ великолѣпной картины, которая представилась его взорамъ. И подлинно, видъ изъ терема на всѣ противоположныя окрестности озера былъ въ высочайшей степени живописенъ. Прямо, за господскимъ дворомъ, начинался покрытый пушистою зеленою дугъ; онъ опускался пологимъ скатомъ до самаго озера, котораго спокойныя воды, блестящiя и прозрачныя, какъ чистый хрусталь, разливались версты на двѣ кругомъ. Налѣво, по берегу, а потомъ вдоль рѣчки Брыни, росло густое чернолѣсье; направо тянулось выстроенное въ одинъ рядокъ большое село съ каменной церковью; еще правѣе, за селомъ, виднѣлась высокая плотина, которую заслонялъ по мѣстамъ вѣтвистый и раскидистый вѣтляникъ, а за нею разстились обширныя поля и синѣлись вдали, какъ подернутое туманомъ море, сплошной и безконечный боръ.

— Эхъ, братъ Кирилла! — промолвилъ вполголоса Куродавлевъ, остановясь читать письмо, — жаль мнѣ тебя, горемычнаго!.. — Ты, чай, любезный, знаешь, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Левшину, — что у Кириллы Андреевича, тому лѣтъ пятнадцать назадъ, въ здѣшнихъ Брынскихъ лѣсахъ пропала, вмѣстѣ съ своею нянюшкою, родная дочка,

а моя крестная дочь—дита лѣтъ четырехъ... Вотъ недавно прошелъ слухъ, что эта нянюшка, по имени Татьяна, живетъ здѣсь въ одномъ раскольникѣмъ скиту; я написалъ объ этомъ Кириллѣ Андреевичу, а самъ поѣхалъ въ скитъ, чтобъ допытаться отъ этой бѣглой дѣвки, куда дѣвала она свою барышню. Чтожь ты думаешь?.. Я засталъ Татьяну на смертномъ одрѣ, безъ языка — при мнѣ и душу Богу отдала. Отъ другихъ въ скиту я не могъ ничего добиться, и съ чѣмъ пріѣхалъ, съ тѣмъ и уѣхалъ назадъ. Кирилла Андреевичъ пишетъ ко мнѣ, что зашибъ ногу, и оттого не могъ самъ ко мнѣ пріѣхать; но лишь только сможетъ, такъ не мѣшкая отправится въ дорогу. Великая для меня радость повидаться съ другомъ сердечнымъ, да жаль, что его то мнѣ нечѣмъ будетъ порадовать!.. Посмотримъ, что онъ еще пишетъ, — продолжалъ Куродавлевъ, принимаясь опять за письмо.—Что это? — вскричалъ онъ, прочтя нѣсколько строкъ.—Владыка живота моего!.. Такъ это правда?.. Ахъ они богоотступники!.. Воры проклятые!.. Да какъ ихъ, окаянныхъ, земля носитъ!.. Неужели въ самомъ дѣлѣ эти крамольные стрѣльцы...

— Да, бояринъ, все правда, что пишетъ тебѣ Кирилла Андреевичъ.

— Не можетъ быть!—первалъ Куродавлевъ.—Ну, пусть они извели своихъ начальныхъ воеводъ, князей Долгорукихъ, убили Нарышкиныхъ и Ромодановскаго подняли на копы боярина Матвѣева—отъ этихъ разбойниковъ все стается; но чтобъ они посягнули на власть помазанниковъ Божіихъ... Нѣтъ, нѣтъ! это сказки—я этому и вѣрить не хочу!

— Вотъ то-то и есть, бояринъ, что всѣ это, попуценьемъ Господнимъ, истинная правда.

— Истинная правда!—повторилъ Куродавлевъ.—Да что Москва-то деревня что-ль?.. Или въ ней, кромѣ однихъ стрѣльцовъ, и народу не стало?.. Господи Боже мой! злодѣи дерзнули ворваться силою въ царскія палаты, вломилась въ теремъ нашей матушки царицы Натальи Кирилловны и вся Москва не поднялась разомъ, не заслонила грудью своихъ царей православныхъ, не закидала шапками эту поганую сволочь!...

— Все это, Юрій Максимовичъ, случилось такъ внезапно...

— И зачинщики этихъ смуть еще живы!—продолжалъ

съ возрастающимъ жаромъ Куродавлевъ.—И эти крестоизмѣнники стрѣльцы похваляются своимъ удалствомъ!... И ихъ позорнымъ именемъ не клеймятъ еще всякаго мошенника и негодяя!...

— Нѣтъ, бояринъ!.. Всѣмъ стрѣльцамъ дана похвальная грамота и велѣно ихъ, ради почета, называть не стрѣльцами, а надворной гѣхотою.

Лицо боярина покрылось смертной блѣдностію, онъ сжалъ въ кулакъ письмо Буйносова и замолчалъ; но это нахмуренное чело, эти пылающіе гнѣвомъ взоры сильнѣе всякихъ словъ выражали то, что происходило въ душѣ его.

— Вотъ до чего мы дожили!—промолвилъ наконецъ Куродавлевъ.—Эхъ, Москва православная, что съ тобою стало!.. Или всѣ эти заморскіе выходцы вовсе тебя обасурманили, нашу матушку?.. Слава тебѣ Господи, что я уѣхалъ на житье въ Брынскіе лѣса. Здѣсь воры и мошенники меня боятся, а тамъ бы мнѣ пришлось кланяться имъ въ поясъ!.. И эту вѣсть о срамѣ московскомъ,—продолжалъ бояринъ, устремивъ свой гнѣвный взоръ на Левшина,—эту вѣсть о неслыханномъ злодѣйствѣ стрѣльцовъ прислалъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ съ тобою — стрѣлецкимъ сотникомъ.

— Я, бояринъ, ни дѣломъ, ни словомъ не участвовалъ въ этомъ мятежѣ стрѣльцовъ; меня тогда и въ Москвѣ не было.

— Еще бы участвовалъ!.. Будетъ и того, что у тебя на плечахъ то этотъ опозоренный кафтанъ!.. Ну, голубчикъ, кабы я все это зналъ да вѣдалъ, такъ не бывать бы тебѣ моимъ гостемъ!

Левшинъ вспыхнулъ.

— Коли прикажешь, Юрій Максимовичъ,—сказалъ онъ вставая,—такъ я сейчасъ же уйду.

— Ну, полно, любезный, не сердись!—прервалъ Куродавлевъ ласковымъ голосомъ.—Я это такъ... сгоряча сказалъ. Вѣстимо, правый за виноватаго не отвѣтчикъ; да дѣло то, видишь, такое, что надо вовсе быть бабою, что бы кровь во всемъ тебѣ, какъ въ котлѣ, не закипѣла!... А моя то еще покамѣсть бурлива: вотъ такъ и боюсь опять за письмо приняться... сердце замираетъ!.. Ну, что еще онъ пишетъ?.. А!.. это никакъ о тебѣ... «Вручитель сей грамотки стрѣлецкій сотникъ, Дмитрій Афанасичъ Левшинъ!...»

— Какъ!.. Такъ стрѣльцы то и тебя, своего товарища, хотѣли уходить?

— Хотѣли, бояринъ.

— За то, что ты... ахъ, молодець!... ты сказалъ про стрѣльцовъ, что они бунтовщики и разбойники?

— Чтожъ дѣлать, Юрій Максимовичъ, не вытерпѣлъ.

— И ты сказалъ это не тайкомъ?

— То-то и есть, что не тайкомъ, но на Красной площади.

— Ай да молодець!... Ну, чтожъ они?

— Вѣстимо дѣло! хотѣли меня убить.

— Какъ же это тебя Богъ помиловалъ?

— Да пріятель нашелъ мнѣ укромное мѣстечко на одномъ подворьѣ...

— Такъ ты до твоего отъѣзда изъ Москвы и глазъ на лицу не показывалъ?

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ. Когда былъ соборъ противъ еретика Никиты Пустосвята, и всѣ измѣнники опять поднялись, такъ я ходилъ въ Грановитую палату...

— Въ Грановитую палату!.. Да она, чай, биткомъ была набита стрѣльцами?

— Какъ же!.. Всѣ мои злодѣи тамъ были.

— И ты, не глядя на это?...

— А чтожъ, бояринъ?... Да неужели мнѣ было прятаться и сидѣть взаперти, когда въ государевыхъ палатахъ толпились сотнями измѣнники, а вѣрныхъ то слугъ царскихъ было наперечеть?... Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, не тому училъ меня покойный батюшка. «Умереть что!»— говорилъ онъ,—«лишь бы только привелъ Господь сложить голову за вѣру, да за царя православнаго».

— Такъ, молодець, такъ!—прервалъ Куродавлевъ.—Ну, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ онъ, едва скрывая свой восторгъ,—такъ стрѣльцы то тебя не захватили?

— Какъ же, бояринъ!.. И захватили и убить хотѣли.

— Ну чтожъ, какъ они собрались тебя убить, ты не попятился?

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ.

— Не просилъ у нихъ милости?

— Милости!... У этихъ измѣнниковъ?... Сохрани Господи!... При мнѣ была сабля, бояринъ, а съ ней я милости ни у кого не прошу!

— Вотъ что!—промолвилъ Куродавлевъ, вставая съ кре-



сель.—Такъ ты вотъ каковъ!... Ну-ка, братъ, поди сюда— поди... поцѣлуемся!... Ахъ ты, соколь мой ясный!... Молодецъ ты мой!.. Голубчикъ!...

— Да чтожь я такое сдѣлалъ, Юрій Максимовичъ? — сказалъ скромный юноша, удивленный этой неожиданной выходкой боярина.

— Что сдѣлалъ?—вскричалъ Куродавлевъ.—Ты сказалъ въ глаза стрѣльцамъ, что они разбойники... не побоялся явиться передъ ними и стать грудью за вѣру и царей православныхъ; попался къ нимъ въ руки, а не попытился, не вымаливалъ себѣ пощады, не кланялся этимъ окаянными душегубцамъ!.. Молодецъ изъ молодцовъ!.. А я было со всѣмъ тебя разобидѣлъ!...

— Ничего, бояринъ.

— Какъ ничего!.. Прости меня, Бога ради!... А все этотъ проклятый служильный нарядъ!.. Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ! да потѣши меня, сбрось ты этотъ опозоренный кафтанъ!.. Ну, вотъ какъ Богъ святъ, видѣть его не могу!

— Да у меня другаго платья нѣтъ,—сказалъ Левшинъ

— За платьемъ не станеть, Дмитрій Афанасьичъ: бери любое изъ моихъ... Да вотъ мы какъ разъ это дѣло уладимъ.

Бояринъ свистнулъ и сказалъ мальчику, который вошелъ въ покой:

— Позови сюда Кондратія — да живо!.. Мы съ тобой почитай одного роста,—продолжалъ онъ, обращаясь опять къ Левшину. Я только подороднѣе и поплечистѣе тебя—да это не бѣда! Вѣдь здѣсь московскихъ красавицъ нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, такъ тебѣ радиться не для кого. Да и то сказать: что бы ты ни надѣлъ, а все будешь молодцомъ. — Эхъ,—промолвилъ Куродавлевъ, глядя почти съ отцовскимъ участіемъ на Левшина,—подумаешь: этакой удалой дѣтина, красавецъ, родовой человекъ сгубленъ ни за что ни про что... ну, жаль!

— Да Богъ милостивъ, — сказалъ Левшинъ. — Можетъ статья, я скоро вернусь опять въ Москву. За меня похлопочетъ князь Хованскій, Кирилла Андреевичъ замолвить словечко...

— И, любезный!—прервалъ бояринъ,—не о томъ рѣчь!.. То дѣло поправное; а вотъ ужъ службишка-то окаянная твоя—такъ это дѣло безъ поправки!.. Нетокма тебѣ, да и всему роду-то вашему безчестье на вѣки вѣковъ.

— Дозволь слово молвить, бояринъ, — сказалъ Левшинъ. — Да развѣ есть служба безчестная, коли я служу царю-государю, и служу вѣрой и правдою?.. Воля твоя, Юрій Максимовичъ, а я въ толкъ не возьму, почему родословному человѣку не зазорно писаться въ жильцахъ и даже въ дѣтяхъ боярскихъ, а безчестно служить начальнымъ человѣкомъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?

— Чтожъ дѣлать, любезный, ужь такъ испокони ведется.

— Такъ, видно, бояринъ, пріятель твой, Кирилла Андреевичъ Буйносовъ, не такъ мыслить. Хотя покойный мой батюшка и былъ стрѣлецкимъ головою, однакожь Кирилла Андреевичъ не брезговалъ нашимъ хлѣбомъ и солью, и называлъ батюшку своимъ другомъ задушевымъ.

— Да это что, Дмитрій Афанасьичъ?.. Почему не быть пріателемъ съ добрымъ человѣкомъ, хотя бы кто изъ роду его или даже онъ самъ служилъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?.. А вотъ породниться съ нимъ—ну нѣтъ, любезный, это рѣчь другая! Дружба дружбой, а родство родствомъ. Да вотъ хоть, примѣромъ, ты, Дмитрій Афанасьичъ: вѣрный царскій слуга, удалой молодець, красавецъ, внукъ суздальскаго воеводы—кажись, кому бы ты не женихъ?... Анъ нѣтъ!... Дѣдушка у тебя былъ воеводою, да батюшка то пошелъ охотою въ стрѣлецкіе головы, и самъ ты служишь въ стрѣльцахъ, такъ не прогнѣвайся! — никакой родословный человѣкъ, хотя бы вовсе безпомѣстный, такъ и тотъ не выдастъ за тебя своей дочери. Тебя то самого и я бы не обраковалъ, любезный, — продолжалъ бояринъ привѣтливимъ голосомъ: — ты мнѣ крѣпко пришель по сердцу!.. Давай намъ этакого роденьку!.. Милости просимъ!.. Для такого жениха ворота настезь!.. Только вотъ бѣда: ты самъ, Дмитрій Афанасьичъ, въ наши боярскія ворота пройдешь, да твой чинъ то, вмѣстѣ съ тобою не пролѣзаетъ!

— Что изволишь приказать, батюшка Юрій Максимовичъ?—спросилъ дворецкій, войдя въ комнату.

— А вотъ что, Кондратій, — сказалъ Куродавлевиъ. — Видишь ты этого молодца?.. Это дорогой мой гость, Дмитрій Афанасьичъ Левшинъ.

— Знаю, батюшка.

— Пока онъ станетъ у меня гостить, у васъ будетъ два барина—понимаешь?

— Понимаю, Юрій Максимовичъ.

— Что онъ прикажетъ, то я приказалъ—слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Служитель его твой гость, Кондратій; смотри, чтобъ онъ былъ всѣмъ доволенъ. Коней отдай на руки Терешкѣ—скажи, чтобъ онъ ихъ холилъ и берегъ пуще своего глаза!.. Да вели баню истопить—слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Теперь проводи Дмитрія Афанасьича въ его покои и принеси къ нему мой scarлатный ходильный зипунъ, голубой камчатный терликъ, да дымчатый опашень изъ зуфи. А ты, Дмитрій Афанасьичъ, — промолвилъ Куродавлевъ, обращаясь къ Левшину, — носи ихъ на здоровье!.. Да уговоръ лучше денегъ: коли хочешь потѣшить хозяина, такъ смотри, молодець, не гости, а живи у меня какъ въ своемъ дому, запросто, нараспашку!.. Ну, прощай покамѣстъ, любезный! ступай, отдохни немного. Чай, у тебя съ дороги то всѣ косточки побаливаютъ; а вотъ погоди: какъ выпаришься хорошенько въ банѣ, такъ будешь завтра какъ встрепанный.

## VI.

Спустясь внизъ по лѣстницѣ до нижняго жилья терема, Левшинъ вошелъ, вслѣдъ за дворецкимъ, въ чистую и веселую свѣтлицу, въ которой стояли: кровать съ бѣлымъ пологомъ, столъ и нѣсколько стульевъ, обитыхъ казанской юфтью. За этой свѣтлицей была небольшая каморка для слуги, сѣни и выходъ на задній дворъ, который отдѣлялся отъ боярскаго огорода рѣшетчатымъ заборомъ.

— Ну, что, Дмитрій Афанасьичъ, — спросилъ Кондратій, — любви ли тебѣ эти покойчики?

— Чегожъ мнѣ лучше? — отвѣчалъ Левшинъ, — и видѣ отсюда такой веселый.

— Да, батюшка, и озеро наше и село—все въ глазахъ. Да не угодно ли тебѣ, Дмитрій Афанасьевичъ, выкупать чарку доброй настоечки и закусить чѣмъ-нибудь? Вѣдь бояринъ изволить кушать не ранѣ полуденъ, такъ до обѣда то еще не близко.

— Нѣтъ, любезный, не надо. Я раздѣнусь, да отдохну немного.

— Ну, какъ изволишь; а я сейчасъ принесу тебѣ платье

съ боярскаго плеча. Коли не вовсе будетъ впору, такъ не осуди, Дмитрій Афанасьевичъ,—не по тебѣ дѣлано.

Когда дворецкій вышелъ изъ свѣтлицы, Левшинъ скинулъ верхнее платье и сѣлъ возлѣ открытаго окна. Онъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на обширный господскій дворъ, который представлялъ живую картину этого привольнаго житья нашихъ старинныхъ богатыхъ помѣщиковъ и беззаботнаго разгульнаго быта ихъ многочисленныхъ челядинцевъ. Разумѣется, эта роскошь старинныхъ бояръ не значила ничего передъ нынѣшнею утонченною европейскою роскошью; она почти всегда заключалась только въ различныхъ охотахъ, неисчерпаемомъ изобиліи первыхъ потребностей и забавахъ, не слишкомъ разборчивыхъ, но которыя однакожъ имѣли достоинство, весьма рѣдкое въ наше время. Эти забавы, несмотря на то, что доставались очень дешево, всегда достигали своей цѣли, то есть забавляли; и если вѣрить преданьямъ старины, такъ наши предки никогда не разорялись для того, чтобы умирать отъ скуки. Впрочемъ, такъ и быть должно: ребенка тѣшить и копѣчная игрушка, а мы ужъ люди взрослые, и если подѣ-часъ тратимъ также деньги на игрушки, то, по крайней мѣрѣ, платимъ за нихъ очень дорого и вовсе ими не забавляемся.

Ясная и теплая погода выманила на дворъ всѣхъ боярскихъ челядинцевъ. Въ одномъ углу молодые ребята играли въ городки; подлѣ нихъ человѣкъ пять тѣшилось въ свайку. Тамъ дворовыя женщины кормили русскихъ куръ и заморскихъ *цесарокъ*; тутъ мальчики дразнили задорнаго козла, который, гоняясь за ними, дѣлалъ предиковинные скачки; съ полдюжины павъ чинно прогуливались по двору, а два павлина, распустивъ колесомъ свои радужные хвосты, сидѣли на заборѣ, вдоль котораго, какъ важный бояринъ, медленно и гордо похаживалъ долгоногій журавль; кругомъ высокаго столба съ лежачимъ колесомъ толпилось человѣкъ двадцать холопей. Сначала Левшинъ не могъ разсмотрѣть, чѣмъ забавлялась эта господская челядь. Онъ слышалъ только отъ времени до времени смѣхъ и громкія восклицанія; но вотъ толпа разступилась, и онъ увидѣлъ потѣху, отъ которой въ первую минуту сердце его замерло отъ ужаса: широкоплечій, презимистый дѣтина боролся въ *охабку* съ медвѣдемъ. Крѣпко прижавъ этого смѣльчака къ мохнатой груди своей, медвѣдь ревѣлъ ужаснымъ образомъ и силился поднять его подѣ себя. Но, видно, этотъ борецъ

былъ самъ медвѣжьей породы: онъ стоялъ крѣпко на ногахъ и, казалось, не старался даже воспользоваться неповоротливостію своего соперника, а хотѣлъ взять просто на силу. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ, ему удалось какъ то сломить медвѣдя и повалить его на спину; разумѣется, они упали вмѣстѣ.

— Ай да молодецъ! — закричали холопи. — Что, братъ Мишка, видно, нашель по себѣ!... Ну, любезный, смотри! онъ теперь отъ тебя не отвяжется.

И подлинно, обиженный Мишка не вдругъ разстался съ своимъ побѣдителемъ. Съ полминуты валялись они оба, и медвѣдь и человѣкъ, въ грязной лужѣ, которая, послѣ проливнаго дождя, не совсѣмъ еще высохла. Наконецъ медвѣдь выбился изъ силъ, а человѣкъ, высвободясь изъ его объятія, всталъ и началъ оправляться.

— Что это? — молвилъ про себя Левшинъ. — Да это никакъ Феропонтъ?... Ну, такъ и есть!.. Эй, Феропонтъ! — закричалъ онъ, высунясь въ окно.

Черезъ минуту явился передъ нимъ не лаврами увѣнчанный, но запачканный грязью побѣдитель медвѣдя.

— Что это, Феропонтъ, въ умѣ ли ты? — сказалъ Левшинъ. — Вотъ нашель забаву — бороться съ медвѣдемъ!... Ну, долго ли до грѣха?...

— Ничего, батюшка, ничего! — отвѣчалъ Феропонтъ, обтирая рукавомъ свое покрытое потомъ и разгорѣвшееся лицо. — Медвѣдь ручной; съ нимъ вся здѣшняя дворня борется.

— Посмотри-ка на себя: какъ чортъ изъ болота выльзъ — весь въ грязи!... Стыдно, Феропонтъ!... Мы люди пріѣзжіе...

— Да такъ, Дмитрій Афанасьичъ, за споромъ дѣло стало. Вотъ какъ ты, батюшка, пошелъ къ боярину, у меня тотчасъ отобрали коней, а самого повели въ застольную, начали завтракомъ угощать, винца поднесли...

— То-то и есть! Я вижу, ты ужъ хлебнулъ...

— Что, батюшка!... Ну, выпилъ стаканчикъ, закусилъ пирогомъ, а тамъ на пирогъ еще хватилъ чарочку — вотъ и все!... Ты бы посмотрѣлъ, какъ пьютъ здѣшніе холопи!... Одинъ при мнѣ ткнулъ такой стаканище — право, съ польосьмухи будетъ, а ни въ одномъ глазѣ: словно бражки выпилъ. И то сказать — втянулись, батюшка: вино то не покупное — пей, сколько хочешь!... Говорятъ, и бояринъ то

самъ гуляка, такъ диво ли, что его челядинцы стаканчика придерживаются!... Не даромъ ведется пословица: «игуменья за чарку, а сестры за ковши».

— Ну пригожее ли дѣло, Феропонтъ: насъ здѣсь приняли какъ родныхъ, а ты какія рѣчи говоришь?

— Да я вѣдь, батюшка, не то говорю, чтобъ здѣшній бояринъ или холопи его были пьяницы—сохрани Господи!.. Что за бѣда, коли человѣкъ пьетъ вино? лишь бы разумъ не терялъ! Вѣдь кто пьянъ да уменъ, два угодыя въ немъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ!

— Полно вздоръ то говорить!

— Слушаю, батюшка, слушаю!... Ну вотъ, изволишь видѣть: какъ я позавтракалъ, да познакомился съ здѣшними холопьями, такъ мы отъ бездѣлья начали силку пытаться. Выставили противъ меня трехъ молодцовъ, выше тебя ростомъ; я грохнулъ оземь одного, другого, а третьему то никакъ и ногу повихнулъ. Вотъ любимый боярскій шутъ, Тришка, по прозванью Пузырь—такой уродина, что и сказать нельзя!... А рожа то какая!... Ну, повѣришь ли, батюшка, я такой образины сродясь не видывалъ; а какъ начнетъ говорить—голосъ то у него съ хрипомъ, да съ присвистомъ—ну такъ и умрешь со смѣху!... Вотъ Тришка то Пузырь и молвилъ мнѣ: «поди-ка, братъ, да побори нашего медвѣдя; такъ ужъ будешь молодцомъ». Къ нему пристали другіе, а пуще всѣхъ старшій боярскій конюхъ—Терентьемъ зовутъ—такъ меня и подзадориваетъ... «Ни за что, дескать, не поборешь—нашъ Мишка тебя въ грязь втопчетъ». Фу, досадно стало!... А мнѣ вѣдь, батюшка, не впервые; у покойнаго твоего батюшки былъ также ручной медвѣдь—такой задорный бороться; бывало не отвяжешься. Слово за слово,—заспорили. Я пошелъ, схватился съ Мишкой, да и сломалъ его. Только и онъ, проклятый, помялъ меня порядкомъ, такая здоровая скотина.

— Вотъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ дворецкій Кондратій, входя въ свѣтлицу, — бояринъ прислалъ къ тебѣ свой скарлатный зипунъ. Онъ и трехъ разовъ не изволилъ его надѣвать... А этотъ камчатный терликъ, кажись, еще не обновленъ, опасень также вовсе новехонекъ. Просимъ, батюшка, принять и носить на здоровье. Да пожалуй въ столовую палату: бояринъ, чай, ужъ вышелъ.

Когда дворецкій ушелъ, Левшинъ надѣлъ на себя скарлатный зипунъ.

— Вотъ одежда то знатная!—сказаль Феропонтъ, любуясь своимъ бариниомъ.—Ну ужъ подлинно боярскій нарядъ!... Маленько не по тебѣ... да пошире то лучше, Дмитрій Афанасичъ!... То ли дѣло, какъ одежда съ запасцемъ: похудѣешь—ничего; раздобрѣешь — также не бѣда: все впору!

Левшинъ нашель въ столой комнатѣ, той самой, въ которой онъ любовался узорчатой скатертью, боярина, приходскаго священника и человекъ десять *очередныхъ* холопей, изъ которыхъ каждый смотрѣль въ глаза Юрію Максимовичу, ожидая его приказаній. Въ одномъ углу, на низенькой скамеечкѣ сидѣль безобразный мужикъ, небольшого роста, толстый, неуклюжій, съ короткими кривыми ногами и огромной головою. Передъ нимъ стояла на полу большая деревянная чашка, а рядомъ съ ней другая поменьше, подлѣ которой лежала огромная борзая собака, любимый волкодавъ боярина. Толстый безобразный мужикъ былъ тотъ самый шутъ Тришка Пузырь, о которомъ Феропонтъ говорилъ уже Левшину. Въ старину рѣдкій бояринъ не держаль при себѣ нѣсколькихъ шутовъ: одни изъ нихъ были просто дураки или полоумные, а другіе занимались этимъ ремесломъ по собственной охотѣ или, лучше сказать — по расчету. Съ ними шутили иногда безчеловѣчнымъ образомъ: ихъ дразнили, мучили и, ради господской потѣхи, стравливали межъ собою какъ собакъ; но зато сытно кормили, поили виномъ и не заставляли ничего дѣлать. Были еще и другіе боярскіе *смѣхотворы*, которые хотя ничѣмъ не отличались отъ прочихъ слугъ, однакожъ балагурили, подшучивали и умѣли рассказывать сказки съ разными прибаутками, не всегда остроумными; да вѣдь наши предки, не такъ, какъ мы, за умомъ не очень гонялись. Къ этому послѣднему разряду можно отнести и неумимыхъ плясунувъ, которые по цѣлымъ часамъ растягались въ присядку, гудочниковъ, балалаечниковъ, удалыхъ запѣвалъ и разныхъ другихъ доморощенныхъ гаеровъ и скомороховъ, которыми въ старину набиты были дома всѣхъ богатыхъ людей.

— Милости просимъ! — сказаль Куродавлевъ, встрѣчая ласковой улыбкою своего гостя. — Коли пьешь водочку, такъ прошу покорно!

Одинъ изъ слугъ подаль Левшину, на серебряномъ подносѣ, золотую чарку, другой налиль въ нее изъ штофа

водки, и оба низко поклонились гостю. Левшинъ отказался.

— Ну, коли не пьешь водки, молодець, — сказалъ бояринъ, — такъ мы почнемъ съ тобой завѣтный боченочекъ фряжскаго. Мнѣ прислалъ его прошлаго мѣсяца Кирилла Андреевичъ. Больно хвалить: оно, дескать, идетъ изъ Угорской земли, и хоть сладенько, а забористо, и нашимъ оржанымъ хлѣбцемъ попахиваетъ. Ну, отецъ Егоръ, благослови трапезу!..

Священникъ прочелъ молитву. Бояринъ сѣлъ за столъ и посадилъ подлѣ себя съ правой стороны Левшина, а съ лѣвой отца Егора. Первое самое блюдо былъ огромный студень; потомъ начали подавать похлебки, а тамъ блюдо пирожковъ подовыхъ на торговое дѣло, сырники и пирогъ расольный. Сначала бояринъ Куродавлевъ вовсе не походилъ на радушнаго хозяина, который славился своимъ хлѣбосольствомъ и веселымъ обычаемъ. Онъ сидѣлъ, насупивъ брови, ѣлъ очень мало и не посылалъ *подачекъ* ни шуту Тришкѣ, ни любимой своей борзой собакѣ, которые, какъ голодные волки, посматривали изподлобья на сытный столъ своего боярина. Изрѣдка только Куродавлевъ потчевалъ своихъ гостей и приглашалъ ихъ допивать стаканы, въ которые безпрестанно подливали шипучій медъ. Вотъ ужъ дѣло доходило до жаркихъ, а бояринъ все не начиналъ бесѣды и хмурился часъ отъ часу болѣе.

— Нѣтъ! — промолвилъ онъ наконецъ, — и ѣда на умъ нейдетъ! — Ну, Дмитрій Афанасьичъ, привезъ ты мнѣ вѣсточку! Подумаешь, когда это бывало, чтобъ за воровское измѣнниче дѣло по головѣ гладили?.. Да этакъ всѣмъ ворами и крамольникамъ такую дашь повадку, что и житья-то въ Москвѣ не будетъ!.. Кто и говоритъ: государь Петръ Алексѣевичъ еще молодецъ, гдѣ ему справиться съ этими разбойниками; да бояре то чего смотрѣли?.. Иль они опять принялись за прежнее, какъ при царѣ Василии Иоанновичѣ, — заводить всякія смуты, измѣны и предательства, да подъ шумокъ въ мутной водѣ рыбу удить!.. Эхъ, кабы воля да воля, такъ я бы сегодня же покатишь въ Москву!

— Да развѣ ты, Юрій Максимовичъ, не воленъ ѣхать въ Москву?—спросилъ Левшинъ.

— Воленъ то воленъ: я вѣдь не опальный какой, а все-таки безъ царскаго указа не поѣду.

— Не прогнѣвайся, бояринъ, коли я тебя спрошу:



зачѣмъ же тебѣ царскій указъ, коли ты не подѣ опалою и воленъ ѣхать, куда хочешь?

— За тѣмъ, Дмитрій Афанасьичъ, чтобъ не попятиться. Коли я при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ былъ обиженъ, такъ что мнѣ за слѣдъ ѣхать теперь безъ царскаго указа въ Москву? Пожалуй, еще скажутъ: «вотъ де пріѣхалъ бояринъ Куродавлевъ съ повинной головою!»

— А дозволю спросить, Юрій Максимовичъ, чтожъ это за случай такой былъ?

— Да такой то случай, что не приведи Господи!—прервалъ Куродавлевъ, и глаза его заблестали. — Хотѣли учинить смертную обиду, поруку всему роду нашему, безчестіе и позоръ на вѣки вѣковъ!.. Да вотъ я тебѣ все перескажу, Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ бояринъ, махнувъ рукою, чтобъ ему не подавали жаренаго гуся. Въ первый годъ царствованія государя Ѳеодора Алексѣевича, наканунѣ Вербнаго воскресенья, прислали ко мнѣ отъ разряда подьяковъ Ваську Мясникова да Ваську Буслаева, со сказкою: «быть, дескать, боярину Юрію Куродавлеву на Вербное воскресенье вверху у царскаго стола, — а столъ де будетъ безъ мѣстъ. А за столомъ-де будутъ князь Дмитрій Трубецкой, Ѳеодоръ Бутурлинъ, князь Григорій Пронскій и ты, бояринъ Юрій Куродавлевъ». Какъ такъ?.. — подумалъ я. — Неужли я въ послѣднихъ?.. Да вѣдь мнѣ вовсе не приходится сидѣть подѣ княземъ Григорьемъ Пронскимъ... Мы, Куродавлевы, также ведемъ свой родъ отъ князя Святослава, что сидѣлъ на Пронѣ. У князя Юрія Пронскаго было четыре сына: князь Ѳеодоръ Рыба, да князь Иванъ Баранья Голова, да князь Юрій Куродавъ, да меньшой князь Дмитрій безъ прозвища; отъ князя Юрія пошли Куродавлевы, а отъ князя Дмитрія теперешніе Пронскіе—такъ я нетома по службѣ дѣда и прадѣда, да и по роду-то старше его... Вотъ я съ тѣми же подьяками и ударилъ челомъ Ѳеодору Алексѣевичу: что мнѣ князя Григорія Пронскаго меньше быть невмѣстно. «А мы, дескать, государь, холопи твои Куродавлевы, кому въ версту, тому въ версту, а кто насъ меньше, тотъ меньше, и не котормъ дѣломъ не мочно тому быть больше насъ». Гляжу, этакъ часика черезъ два — шастъ ко мнѣ на дворъ разрядный дьякъ Иванъ Улановъ... Милости просимъ!.. «Указъ, дескать, тебѣ, боярину Юрію Куродавлеву отъ великаго государя идти заутре безъотмѣнно въ верхъ и мѣстами не

считаться. Велѣно быть безъ мѣстъ, такъ и поруки большимъ родомъ твоему отечеству въ томъ не будетъ. А ты бы государя не кручинилъ и садился бы въ столъ подъ княземъ Григорьемъ Пронскимъ». Вотъ я опять ударилъ челомъ: «Лучше бы, дескать, государь, ты меня, холопа своего, велѣлъ казнить смертію, а меньше князя Григорія быть не велѣлъ... Да мнѣ же, дескать, государь, за хворостію и недугомъ ни которыми мѣрами въ городъ ѣхать не мочно». Жду, пожду—отвѣта нѣтъ. Ну, думаю, видно, царь-государь взмиловался! На другой день, послѣ ранней обѣдни, пріѣхалъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ Буйносовъ и говоритъ: «Велѣно, братъ, тебя, коли ты станешь упорствовать и отговариваться хворостію, привезти неволею къ Красному крыльцу въ простой телѣгѣ, на одной лошади»... Такъ чтожь?—сказалъ я, — въ этомъ никакой поруки роду моему не будетъ: не я поѣду, а меня повезутъ... «Послушай, Юрій», — учаль опять говорить Кирилла Андреевичъ, — «не гнѣви государя!.. Неровень часъ!.. Смотри, чтобы тебѣ не быть разорену и сослану!» — Въ разореньѣ и ссылкѣ воленъ Богъ да государь, — молвилъ я, — а ужъ меньше Гришки Пронскаго мнѣ не бывать!..—«Эй, полно, Юрій Максимовичъ!.. Ну, коли грѣхомъ Государя прогнѣвается не путемъ, да за твое непослушаніе укажетъ тебя высѣчь въ подклѣти батогами?» — Такъ чтожь? Власть его царская: что хочетъ, то и дѣлаетъ, а ужъ я своей волею ниже Гришки Пронскаго ни за что не сяду! Вотъ этакъ, около полуденъ, пріѣхалъ ко мнѣ разрядный дьякъ Кобяковъ, а съ нимъ двое подьяковъ. Какъ я сказалъ, такъ и сдѣлалъ: самъ не пошелъ изъ дому, а вывели меня подъ руки, посадили въ телѣгу и привезли къ Красному крыльцу. Какъ меня вынули изъ телѣги, я тутъ же на первой ступенькѣ легъ, да и лежу: «отнялись, дескать, вове ноги—нейдутъ!» Дѣлать то нечего! кликнули народу, внесли меня на крыльцо, а тамъ въ столовую палату и посадили неволею за столъ рука объ руку съ Пронскимъ. Лишь только меня покинули, я тотчасъ со скамьи, да и брякъ оземь!.. Пускай же лежу подъ лавкою, а не похваляться вору Гришкѣ, что я сидѣлъ за царскимъ столомъ ниже его!.. Велѣно меня поднять, посадить опять силою на скамью и во весь столъ держать подъ руки двумъ разряднымъ дьякамъ... Пожалуй себѣ!.. Это воля царская, лишь только бы моей то воли не было!.. Послѣ стола при-

казано мнѣ идти домой... Ну вотъ, думаю, отдѣлся!.. Такъ вѣтъ!.. Мошеникъ Гришка ударилъ на меня въ безчестьи челомъ царю-государю!.. Этакъ дня черезъ два, въ обѣденную пору, пожаловалъ ко мнѣ опять разрядный дьякъ Иванъ Улановъ и съ нимъ два пристава. Дьякъ объявилъ мнѣ государевъ указъ, что велѣно меня выдать головою князю Григорию Пронскому... Что будешь дѣлать, воля царская!.. Повели меня, добраго молодца, пѣшечкомъ, черезъ весь Китай-городъ на Лубянку, гдѣ у Пронскаго свой домишка; народъ останавливается, всѣ смотрять, какъ ведутъ меня подъ руки, словно колодника—за карауломъ!.. Пришли!.. Ввели меня на дворъ, поставили на нижнее крылечко и послали доложить хозяину. Пронскій поломался, повыдержалъ меня съ полчаса на крыльцѣ; гляжу — идетъ!.. Такой радостный, ухмыляется! Погоди, мошеникъ Гришка! — думаю я про себя; — будетъ и тебѣ тошно!.. Дьякъ Улановъ учалъ ему рѣчь говорить: «Великій-де государь указалъ и бояре приговорили боярина Юрія Куродавлева, за то, что онъ не хотѣлъ быть вмѣстѣ съ тобою у царскаго стола, выдать тебѣ за такое боярское безчестье его, Куродавлева, головою». Пока дьякъ Улановъ объявлялъ царскій указъ, я стоялъ какъ вкопанный, ни словечка!.. а какъ онъ свою рѣчь кончилъ, такъ я молвилъ про себя: «Слава тебѣ Господи — вытерпѣлъ!.. Ну, теперь, Гришка, держись!..» А онъ передъ дьякомъ такъ и разсыпается!.. «Я, дескать, на царскомъ жалованьи бью челомъ и земно кланяюсь за его государевъ великій оборонъ. А тебя, Юрій Максимовичъ,—промолвилъ онъ,—прошу отвѣдать моего хлѣба-соли».

— Спасибо на твоёмъ хлѣбѣ! пусть имъ давится кто хочеть! — сказалъ я, да и пошелъ его позорить!.. Ужъ маялъ, маялъ!.. Всю подноготную высказалъ: какъ правдѣдушка его былъ въ Зарайскѣ губнымъ старостою, какъ его высѣкли плетями и сослали въ Березовъ, за то что онъ мирволилъ ворами и разбойникамъ; какъ дѣдушка при царѣ Феодорѣ Иоанновичѣ наушничалъ и былъ на побѣгущкахъ у думнаго дьяка Щелкалова, а дялюшка, князь Петръ, при царѣ Михаилѣ Феодоровичѣ, измѣнилъ подъ Вязмою, и какъ его за эту измѣну били кнудомъ... Все вычелъ до тла!.. А тамъ надѣлъ шапку, да и со двора. Въ тотъ же самый день я ударилъ челомъ государю, чтобъ онъ дозволилъ мнѣ, по хворости и ради моихъ домашнихъ

дѣлишекъ, ѣхать на житье въ Мещовскую вотчину, а государь изволилъ сказать: «Пусть, дескать, ѣдетъ куда хочеть». Вотъ я прѣѣхалъ сюда и живу себѣ,—не то что подь опалю, не то что въ милости, а такъ, ни то, ни се!.. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, видишь ли теперь, что мнѣ вовсе не слѣдъ ѣхать въ Москву безъ царскаго указа?

— Вѣстимо, Юрій Максимовичъ,—сказалъ Левшинъ,—коли не хочешь, такъ зачѣмъ ѣхать. А дозвожь мнѣ спросить тебя, — продолжалъ онъ, — я что то въ толкъ не возьму: какъ могъ ты позорить князя Пронскаго? Вѣдь не онъ тебѣ, а ты ему былъ выданъ головою.

— Въ томъ-то и дѣло, любезный!.. Иль ты не знаешь, что тотъ бояринъ воленъ того боярина, которому онъ выданъ головою, лаять и безчестить всякую бранью, а тотъ ему, за его злыя слова, ничего чинить не смѣетъ; а кто бы надъ такимъ выданнымъ человѣкомъ за его брань учинилъ какое убойство или безчестіе, тому бы самому указъ былъ противъ того вдвое, за тѣмъ, что онъ безчеститъ не того, кто выданъ ему головою, а того, кто прислалъ его, сирѣчь самого царя.

— Вотъ что!.. Ну, этого я не зналъ, Юрій Максимовичъ.

— Да мало ли вы чего не знаете?... И гдѣ безроднымъ стрѣльцамъ знать наши боярскія родословныя дѣла. Вѣдь разрядныя то книги не про нихъ написаны. У васъ какія мѣста?... Посмотришь, у иного стрѣлецкаго головы батюшка былъ подьякомъ, а дѣдушка земскимъ ярыжкою; а кто былъ его прадѣдъ, такъ онъ и самъ этого не знаетъ... Да что объ этомъ толковать!.. Выпьемъ-ка лучше угорскаго, что рѣшотнымъ-то хлѣбцомъ папахиваетъ!.. Тебя, отецъ Егоръ, — промолвилъ Куродавлевъ шутя, — я имъ потчевать не стану: идетъ оно изъ еретичной земли, а ты особа духовная, такъ тебѣ не слѣдъ его пить, выкушай лучше вишневки; я и самъ пью это заморское вино— такъ! ради прихоти. То-ли дѣло наша православная налибочка!.. Эй, подавайте кубки!

Хозяину и гостямъ подали небольшіе серебряные кубки, немного побольше нынѣшнихъ хрустальныхъ бокаловъ. Куродавлеву и Левшину налили въ нихъ венгерскаго, а отцу Егору вишневки. Хозяинъ всталъ; гости, разумѣется, послѣдовали его примѣру. Держа въ рукѣ кубокъ, бояринъ отошелъ на средину комнаты и сказалъ: — За здравіе и благополучное царствіе великаго государя...

— Великихъ государей нашихъ! — прошепталъ священникъ.

— Охъ, не могу привыкнуть! — сказалъ бояринъ. — Ну, дѣлать нечего: за здравіе великихъ государей нашихъ: Петра Алексѣевича...

— Иоанна Алексѣевича! — прервалъ опять священникъ.

— Эхъ, полно, отецъ Егоръ! — вскричалъ съ нетерпѣньемъ Куродавлевъ. — Вѣдь это не эктинья!.. Ну, инъ просто: за здравіе великихъ нашихъ государей и всего царскаго рода!.. Да дай Господи батюшкѣ нашему, Петру Алексѣевичу, скорѣй подрасти и прибрать къ рукамъ всѣхъ крамольниковъ, зачинщиковъ всякихъ смуть; да и тѣхъ, — промолвилъ вполголоса бояринъ, — которые исподтишка имъ мирволятъ!

Когда хозяинъ и гости осушили до дна свои кубки, Куродавлевъ приказалъ ихъ снова наполнить и предложилъ выпить за здравіе святѣйшаго патріарха, потомъ за благоденствіе всего царства русскаго, а тамъ за здравіе Кириллы Андреевича Буйносова. Одинъ заздравный кубокъ смѣнялся другимъ — и вотъ къ концу стола — грѣшно сказать, чтобъ хозяинъ подгулялъ, однакожь порядкомъ раскраснѣлся, и гости стали также поразговорчивѣе и веселѣе.

— Эге! — молвилъ бояринъ. — Да я никакъ Тришку и Буяна вовсе забылъ. Что, Пузырь, хочешь ѣсть?

Тришка покосился исподлбья на своего барина и прохрипѣлъ:

— Нѣтъ, не хочу. Зачѣмъ мнѣ ѣсть? Я вѣдь и такъ проживу.

— А что и въ самомъ дѣлѣ, — прервалъ Куродавлевъ, — на что тебѣ, Тришка, ѣсть? Жилъ бы себѣ такъ — не ѣвши!.. Сбирайте со стола!

— Постой, постой! что вы? — закричалъ шутъ. — Ахъ ты, глупая голова! да чтожь я дѣлать то буду, коли ѣсть не стану?

— Правда, правда! Эй! отнесите имъ этого поросенка!.. Да смотри, Пузырь, не задѣли Буяна.

Вѣроятно и голодная собака опасалась того же, потому что, не дожидаясь раздѣла, схватила на лету жаренаго поросенка, когда его подали Тришкѣ, и кинулась вонъ изъ комнаты.

— Ай да Буянь! — промолвилъ съ громкимъ хохотомъ

Куродавлевъ.—Что, братъ Тришка, прозѣваль?... А поросенокъ то былъ какой!

— Ну что ты зубы то скалишь, жидъ этакій— заревѣлъ Тришка.—Тебѣ хорошо: вишь, развѣлся, какъ быкъ,—раздуло бы тебя горой!... Уродина этакій!...

— Ну, ну, не гнѣвайся!— прервалъ бояринъ, умирая со смѣху.—Дайте ему вотъ эту утку съ груздями... Да смотри, Пузырь, коли ты всю ее не съѣшь, такъ я тебя двое сутокъ кормить не волю.

— Небось, Максимычъ!—закричалъ Тришка, схвативъ съ жадностію утку.—Небось! я тебѣ да Буяну однѣ косточки оставлю.

Шутъ принялся убирать утку, ворча и передразнивая всѣ приемы голодной собаки, которая жлохнетъ кость; а бояринъ, помолчавъ нѣсколько времени, обратился къ священнику и сказалъ:

— Знаешь ли, батька, какіе слухи идутъ о новомъ мещовскомъ воеводѣ?... Говорятъ, будто бы онъ раскольникъ.

— И я слышалъ объ этомъ, Юрій Максимовичъ, — отвѣчалъ отецъ Егоръ.—Мнѣ рассказывалъ мещовскій соборный псаломщикъ, что ихъ новый воевода, хотя и бываетъ по праздникамъ въ соборѣ, да во всю службу ни разу лба не перекрестить, къ святымъ иконамъ не прикладывается, и лишь только іерей возгласитъ: «благословеніе Господне на васъ» — такъ онъ тотчасъ и вонъ изъ церкви. Видно, за тѣмъ, чтобъ къ кресту не подходить.

— Ахъ, онъ еретикъ проклятый!... Да прахъ его возьми!.. Ну-ка, Дмитрій Афанасычъ, — выпьемъ еще по послѣднему!.. За чье бы здоровье?... Э!... да вѣдъ ты человекъ молодой — жилъ всегда въ Москвѣ, а тамъ красавицъ то не перечесть, — что звѣзды на небѣ!... Ужъ вѣрно и у тебя, добрый молодець, есть зазнобушка... Да полно, Дмитрій Афанасычъ, не краснѣй!... Ты человекъ холостой, въ годахъ, такъ какъ же тебѣ не смышлять о невѣстѣ?... Ну, выпьемъ за ея здоровье!... А какъ бишь ее зовутъ!... Что, братъ, молчишь!.. Ну, коли не хочешь сказать, такъ выпьемъ просто за здравіе твоей суженой!...

Опорожнивъ послѣдній кубокъ, бояринъ оборотилъ его вверхъ дномъ и поставилъ къ себѣ на голову, въ доказательство того, что въ немъ не осталось ни капельки. Всѣ поднялись изъ-за стола. Священникъ прочелъ опять молитву; потомъ, поблагодаривъ хозяина за хлѣбъ за соль и благо-

слова его и Левшина, отправился домой. Куродавлевъ, по тогдашнему русскому обычаю, собрался отдохнуть, а Левшинъ пошелъ въ свою свѣтлицу, и хотя не имѣлъ привычки спать каждый день послѣ обѣда, но, утомясь отъ скорой ѣзды и проведенной безъ сна ночи, послѣдовалъ охотно примѣру своего хозяина.

## VII.

Левшинъ проспалъ бы до самаго вечера, еслибъ его не разбудилъ Феропонтъ.

— Пора вставать, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ онъ, толкнувъ подъ бокъ своего барина. — Посмотри-ка въ окно: ужъ солнышко то на закатъ.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ? — промолвилъ Левшинъ, вскочивъ съ постели и протирая глаза.

— Право слово такъ!... Ну, батюшка, — продолжалъ Феропонтъ, надѣвая на Левшина зипунъ, въ которомъ онъ былъ за обѣдомъ: — коли тебя такъ же угостили, какъ меня, такъ я тебѣ скажу!... Вотъ ужъ подлинно разливное море!.. По стакану вина, по ковшу браги, щи богатые, каша съ масломъ, пироги съ мясной начинкою... Эко житье, подумаешь, здѣшнимъ холопамъ!... Дѣла почитай никакого, пей себѣ волю, ѣшь до отвала и спи, сколько хочешь!... Да ужъ зато, Дмитрій Афанасьичъ, и они всѣ до единого лягутъ головами за своего боярина. Зыкни только онъ, батюшка, такъ каждый на рогатину полѣзеть!... Ну, дай Господи намъ подольше здѣсь погостить!... Такъ отъѣдимся, Дмитрій Афанасьичъ!...

— Эхъ, полно, Феропонтъ! ты только объ ѣдѣ и думаешь.

— А чтожъ, батюшка?... Ыда дѣло доброе. По милости твоей, я всѣмъ доволенъ: служба моя льготная, жены и дѣтей нѣтъ, такъ о чемъ же думать?... Коли тебя и въ будни кормятъ пирогами, такъ и ѣшь себѣ на здоровье пироги, а объ завтрашнемъ днѣ не загадывай!.. Придетъ нужда, сама скажется. По мнѣ вотъ какъ, Дмитрій Афанасьичъ: привелъ Богъ пожить въ довольствѣ, такъ ѣшь, пей и гуляй себѣ, добрый молодецъ; пришла нужда — не горюй, — воля Божья!... Русскій человѣкъ всегда такъ: коли есть что въ печи, все на столъ мечи! а коли нѣтъ, такъ и на

томъ спасибо! Выпилъ водицы, закусилъ сухарикомъ, да и слава тебѣ Господи!

— Не прогнѣвайся, господинъ честной, — сказала дворецкій Кондратій, входя въ комнату, — что осмѣлился къ тебѣ придти за моимъ собственнымъ дѣломъ!

— Милости просимъ!—отвѣчалъ Левшинъ. — Что тебѣ надобно, любезный?

— А вотъ что, Дмитрій Афанасьичъ! Мы вѣдь здѣсь въ глуши ничего не знаемъ, что дѣлается въ престольномъ градѣ, въ нашей матушкѣ, богоспасаемой Москвѣ... Вотъ мы здѣсь недавно цѣловали крестъ одному царю-государю Петру Алексѣевичу, а тамъ наслали указъ, чтобъ цѣловать крестъ и братцу его, Иоанну Алексѣевичу. Да еще же поговариваютъ, что врядъ ли мы не будемъ цѣловать креста и старшей ихъ сестрицѣ, царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ. Чтожъ это такое, батюшка!... Я пришелъ ударить челомъ твоей милости, чтобъ ты рассказалъ мнѣ, что у васъ въ Москвѣ-то понадѣлалось. Говорятъ, будто бы стрѣлцкое войско вовсе вышло изъ послушанія, и были великія смуты и мятежи. Правда ли все это?

Левшинъ рассказалъ въ короткихъ словахъ Кондратью о всѣхъ злодѣйствахъ мятежныхъ стрѣльцовъ, объ ихъ измѣнѣ, неслыханномъ буйствѣ и посрамленіи святыни въ лицѣ первыхъ сановниковъ церковныхъ и самого святѣйшаго патріарха. Когда Левшинъ кончилъ свой рассказъ, старикъ дворецкій, человекъ грамотный и усердный поборникъ православія, принялся такъ же, какъ бояринъ Куродавлевъ, осыпать ругательствами сослуживцевъ Левшина, съ тою только разницею, что тотъ вовсе не церемонился и позорилъ ихъ всѣхъ, не думая о томъ, что его слушаетъ стрѣлцкій сотникъ. Кондратій, напротивъ, при каждомъ новомъ ругательствѣ низко кланялся, говоря: «Не погнѣвайся, батюшка!... На осуди меня, старика, за правду!... Не при тебѣ будь слово сказано!» Болѣе всего Кондратій досадовалъ на стрѣльцовъ за то, что они почти всѣ были преданы расколу.—Чего ждать путнаго отъ этихъ еретиковъ!—говорилъ онъ.—Вотъ и здѣсь, Дмитрій Афанасьичъ, того и гляди, что будетъ бѣда. Засѣло ихъ въ здѣшнихъ лѣсахъ видимо-невидимо! Еще хорошо, что у нихъ завелись разные толки и нѣтъ согласія межъ собою, а то бы они всю здѣшнюю сторону заполонили. У нихъ же есть и коноводъ, какой-то книжный человекъ, Андрей Поморянинъ,



о которомъ и Богъ вѣсть что разсказываютъ. Кто онъ таковъ, никто не знаетъ, а такую силу взялъ надъ своей братьей, раскольниками, что и сказать нельзя!... Прежній мешцовскій воевода хотѣлъ было унять здѣшнихъ еретиковъ: перепись началъ имъ дѣлать, бѣглыхъ ловить, да зато не долго и усидѣлъ на воеводствѣ. Теперь въ Мещовскѣ воеводою Ѳедоръ Степановичъ Токмачевъ — такой же еретикъ, какъ и Андрей Поморянинъ, съ которымъ онъ живетъ душа въ душу. Поговариваютъ также, что будто бы этотъ Поморянинъ выдаетъ за новаго то мешцовскаго воеводу свою родную дочь.

Левшинъ поблѣднѣлъ.

— Мнѣ это сказывалъ, — продолжалъ дворецкій, — мой кумъ, Тихонъ Фадѣичъ Масѣевъ, мешцовскій купецъ, у котораго я останавливаюсь, а ему объ этомъ самъ воевода говорилъ: «ты, дескать, Фадѣичъ, добудь мнѣ изъ Москвы жемчужныя рясны, да запястья съ камушками: невѣсту хочу дарить. Я, дескать, вдовецъ, борода у меня съ просѣдью, а она дѣвка молодая, такъ надо чѣмъ нибудь ей угодить».

— И онъ сказалъ Масѣеву, что женится на дочери Андрея Поморянина?—прервалъ съ живостію Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, да Фадѣичъ то смекаетъ, что должно быть такъ. Недаромъ, дескать, по всему городу объ этомъ слухи идутъ, не даромъ и раскольники, которые живутъ въ Мещовскѣ, зазнались такъ, что къ нимъ и приступу нѣтъ. При прежнемъ воеводѣ—говорить кумъ — бывало въ крестовые ходы они, окаянные, сидятъ по домамъ, а теперь такъ вовсе не прячутся: стоятъ себѣ на улицѣ, да зубы скалятъ!... Мы, православные, когда духовенство проходитъ съ хоругвями и святыми иконами, молимся и кладемъ земные поклоны, а они, проклятые, и шапокъ не ломаютъ!... Вотъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, до чего мы дожили!... Э! да какъ я заговорился съ твоею милостью: вонъ и солнышко-то гдѣ!... А у меня дѣла съ три пропасти!... Прощенья просимъ, Дмитрій Афанасьичъ! Благодарствую тебѣ, батюшка, что ты не погнушался мною, старикомъ, и изволилъ со мною побесѣдовать! Дай Богъ тебѣ многу лѣтъ здравствовать.

— Ты слышалъ, Феропонтъ? — промолвилъ Левшинъ, когда дворецкій вышелъ изъ свѣтлицы.

— Слышалъ, Дмитрій Афанасьичъ.

— Ну не правду ли я говорилъ, что Господь не судилъ мнѣ быть счастливымъ?

— Эхъ, батюшка! охота же тебѣ всему вѣрить!... Да мало ли что отъ бездѣля болтаютъ?... У мещовскаго воеводы часто бываетъ Андрей Поморянинъ, а у него есть дочка невѣста, такъ вотъ ихъ и обвѣнчали!... Ну, ты самъ разсуди: статочно ли дѣло, чтобъ царскій сановникъ—воевода породнился съ этимъ балахонникомъ?... Ты дѣло другое: и чинъ-то твой поменьше, и Софья-то Андреевна пришла тебѣ по-сердцу.

— Да кому она не придетъ по сердцу, Феропонтъ?

— Кому!... Да развѣ ты не слышалъ, что мещовскій то воевода въ годахъ?... А вѣдь пожилой человѣкъ не то, что молодой: коли онъ захочетъ жениться, такъ станетъ искать себѣ ровни. Да вотъ хоть я, батюшка: въ старые годы я бы на Дарью и взглянуть не захотѣлъ, а теперь мнѣ что за дѣло, что съ лица то она небольшо смазлива—была бы хорошей работницей... Вотъ такъ-то и мещовскій воевода, станетъ онъ искать пригожей невѣсты: была бы только знатнаго рода, да приданые-то сундуки потяжеле, а красота что, батюшка!... Послѣднее дѣло!... Подъ боярской шапкою и глупая голова умна, подъ золотой фатою и рябая дѣвка красавица!... Да ты не кручинься, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ Феропонтъ, глядя съ участіемъ на своего господина.—Времени-то еще много впереди. Вѣдь дочку замужъ выдать не пирогъ спечь. Вотъ я въ воскресенье повидаюсь съ Дарьей и, можетъ статья, привезу тебѣ добрую вѣсточку...

— Въ воскресенье!.. А теперь еще пятница...

— Такъ чтожъ?.. Всего два денечка. Потерпи, батюшка!.. Да что это?.. Посмотри-ка, Дмитрій Афанасьичъ!.. Видишь, передъ господскимъ дворомъ, на лугу, собираются мужички и бабы; видно, хотя въ хороводы играть. Мнѣ сказывали, что oprичъ соколиной и псовой охоты, это любимая забава боярина... Да вотъ никакъ и онъ самъ изволить сюда идти... Ну, такъ и есть!

— Что, гость дорогой, — сказалъ Куродавлевъ, подойдя къ открытому окну, — отдохнулъ чтоль?

— Отдохнулъ, Юрій Максимовичъ.

— Такъ не хочешь ли взглянуть на наши деренскія забавы?.. Милости просимъ за ворота, на лугъ!

Левшинъ вышелъ вмѣстѣ съ бояриномъ на обширный

лугъ, посреди котораго огромный сибирскій кедръ, раскинувъ свои роскошныя и благовонныя вѣтви, прикрывалъ, какъ шатромъ, дубовую скамью и столъ, на которомъ стояла серебряная братина, наполненная медомъ, въ ней плавалъ небольшой позолоченный ковшъ, а подлѣ стояли двѣ кружки, также серебряныя.

— Прошу покорно сюда, Дмитрій Афанасьичъ! — сказалъ бояринъ, садясь на скамью. — Здѣсь, любезный, моя красная площадь, только на ней никто не бунтуеть, а всѣ веселятся.

Весь лугъ передъ господскимъ дворомъ кипѣлъ народомъ. Всѣ были одѣты по праздничному, то есть женщины въ кумачныхъ сарафанахъ и бѣлыхъ поневахъ, мужчины въ красныхъ и синихъ рубахахъ; на иныхъ были сермяжные кафтаны въ накидку, на другихъ бѣлые холстяные аямы; замужнїя крестьянки были въ нарядныхъ кичкахъ, дѣвушки въ повязкахъ, а всѣ мужчины безъ исключенїя въ войлочныхъ шапкахъ или шляпахъ безъ крыльевъ, совершенно сходныхъ съ тѣми, которыя и теперь еще носятъ въ Бѣлорусси.

— Ну, что, зачѣмъ дѣло стало?.. — сказалъ Куродавлевъ. — Что они толкутся на одномъ мѣстѣ, словно бараны?.. Эй, Демка!.. — продолжалъ онъ, обращаясь къ одному изъ своихъ челядинцевъ. — Скажи бабамъ то, чтожъ онѣ не покоятъ и въ хороводы не играютъ!.. Иль нѣтъ... постой... я ихъ расшевелю!.. Подавай сюда Оедьку Козла!

Оедька Козель, дѣтина лѣтъ тридцати пяти, вышелъ изъ толпы слугъ. Взглянувъ на его худощавое лицо, съ раздавленнымъ плоскимъ лбомъ, выдававшимися впередъ челюстями, длиннымъ горбатымъ носомъ и небольшой остроконечной бородкою, не трудно было догадаться, почему его прозвали козломъ. Онъ держалъ подъ мышкою гудокъ.

— Слушай, Оедька! — сказалъ бояринъ: — ступай-ка туда къ бабамъ, дахвати плясовую. Вишь, онѣ сегодня что-то жмутся.

— Ничего, батюшка Юрій Максимовичъ, — сказалъ Оедька Козель, натягивая струны на своемъ гудкѣ. — Видно, засмотрѣлись на его милость, небывалого гостя. Да вѣдь все дѣло въ починѣ; вотъ какъ я затыну бычка, такъ ноги то у нихъ порасходятся.

Гудочникъ сказалъ правду: лишь только струны заскри-

пѣли подѣ его бойкимъ смычкомъ, и онъ самъ началъ пошевеливаться и потряхивать своей козлиной бородкою, все пришло въ движеніе. Разсыпанные по лугу крестьяне столпились въ одну кучу, примкнули къ бабамъ, и вотъ въ нѣсколько минутъ составилось съ полдюжины хороводовъ. Ѳедька Козель перебѣгалъ отъ одного хоровада къ другому, подлаживалъ на своемъ гудкѣ подѣ пѣсни, свистѣлъ соловьемъ и морилъ со смѣху бабъ своими прибаутками. Около часу продолжались эти непрерывныя потѣхи; хороводныя пѣсни не умолкали ни на минуту. Лишь только гдѣ оказывалось небольшое охлажденіе, являлся Ѳедька гудочникъ, и въ тотъ же часъ пѣсни и пляски начинались снова. Во все это время Куродавлевъ не говорилъ почти ничего: онъ смотрѣлъ съ улыбкой удовольствія на забавы своихъ крестьянъ, хохоталъ отъ всей души при каждомъ новомъ шутовствѣ гудочника, пилъ медъ и потчевалъ имъ безпрестанно своего гостя... Вотъ наконецъ неутомимый Ѳедька Козель выбился изъ силъ и присѣлъ отдохнуть на траву; многіе изъ крестьянъ послѣдовали его примѣру; пѣсни затихли и хороводы стали по немногу расходиться. Въ эту самую минуту подошли къ боярину два мужика и повалились ему въ ноги.

— Что вы, братцы?—спросилъ Куродавлевъ.

— Пришли къ тебѣ, батюшка! — сказала одинъ изъ нихъ вставая.

— Вижу, что пришли, да кто вы такіе?

— Бѣлопомѣстные крестьяне, батюшка, изъ Бобровской волости.

— А, сосѣди!.. Ну что вы, ребята?

— Челомъ бьемъ, государь Юрій Максимовичъ, — разсуди насъ.

— Да что я вамъ за судья?.. У васъ есть своя управа. Коли вы суда просите, такъ шли бы къ земскому головѣ.

— Нѣтъ, кормилецъ! — сказалъ другой крестьянинъ, — куда намъ идти на судъ къ земскому головѣ: вѣдь къ нему безъ приноса и глазъ не кажи; либо свинку, либо барана, а ужъ съ поросенкомъ и не ходи!.. Мы, батюшка, люди бѣдные, такъ — знаешь, такъ подумали, да и стали на томъ, чтобъ идти къ тебѣ, Юрій Максимовичъ... Какъ ты, кормилецъ, насъ разсудишь, такъ тому и быть.

— Ну, хорошо!.. Только слушайте, братцы: коли вы

пошли ко мнѣ на судъ, такъ чуръ послѣ не пенять!.. Ну, кто изъ васъ на кого жалуется?

— Я, батюшка! — сказалъ первый мужикъ. — Вотъ мы съ Андрюшкой ходили вдвоемъ на медвѣдя; уговоръ былъ шкуру пополамъ. А какъ у насъ дошло до дѣлежа, такъ онъ попятился и шкуру то беретъ на одного себя.

— Ну, все ли ты сказалъ?

— Все, батюшка.

— Ладно!.. Теперь ты, Андрюшка: былъ ли у васъ уговоръ шкуру пополамъ?

— Былъ, кормилецъ.

— Такъ зачѣмъ же ты пятишься?

— А вотъ изволь выслушать: на прошлой недѣлѣ Васька — сирѣчь онъ, батюшка, — завернулъ ко мнѣ, да и говорить: «Андрюха! я обошелъ медвѣжью берлогу, близехонько отсюда, въ Хотисинской засѣкѣ. Хошь идти?» — Изволь, молъ!.. Мнѣ не впервые ходить на медвѣдя — пойдемъ! — Вотъ мы взяли по рогатинѣ да по топору и пошли. Какъ стали мы подходить къ берлогѣ, слышимъ — реветъ косолапый. Кажись, мы шли противъ вѣтру, а онъ все-таки почуялъ, что до его шкуры добираются. Я глядь на Ваську, — а на немъ и лица нѣтъ!.. «Что ты, братъ?» — молвилъ я, — «никакъ тебя страхъ беретъ?.. Эй, Васька, не робѣй!.. Вѣдь медвѣдь то этого не любитъ.» — Нѣтъ, дескать, я не робѣю, а меня что то знобить. То-то знобить!.. Смотри, Васюкъ, не выдавай!.. Вотъ слышимъ въ лѣсу то захрустѣло, словно вихремъ деревья ломаютъ. «Чу!» — сказалъ я, — «прямехонько идетъ на насъ!» Смотрю, Васька то ужъ назадъ поглядываетъ. «Ну! думаю, худо дѣло!.. выдастъ онъ меня!» — Такъ и есть!.. Лишь только Мишка то насъ взвидѣлъ да поднялся на дыбы, Васька бросилъ рогатину, да давай Богъ ноги!

— Ахъ, трусишка проклятый! — прошепталъ бояринъ. — Ну! а ты что.

— Я, батюшка, наждакъ на себя звѣря, перекрестился, да хватъ его рогатиной подъ лѣвую лопатку.

— Такъ, такъ!.. Ну, что, медвѣдь то полѣзъ на рогатину?

— Сначала полѣзъ, батюшка; такъ и претъ!

— А ты ратовище то рогатины себѣ подъ ногу?

— Вѣстимо, кормилецъ!

— Такъ, такъ!.. Ну, что, медвѣдь началъ около тебя круги давать?

— Да, батюшка!.. ужь онъ кружилъ, кружилъ!.. и ратовище пытался сломить, да, слава тебѣ Господи—устояло!.. а кровь то изъ него такъ и хлещетъ!.. Какъ онъ далъ этакъ круговъ тридцать, да вовсе изъ силъ то выбился, такъ вдругъ какъ зареветь въ источникъ голосъ,— и пошелъ прямо по рогатинѣ на меня, а я топоръ изъ-за пояса, хватъ его по мордѣ—вотъ онъ и повалился!

— Ну, Андрюха,—сказалъ Куродавлевъ, глядя съ удовольствіемъ на крестьянина,—ты, я вижу, человѣкъ бывалый!

— Какъ же, Юрій Максимовичъ, на томъ стоимъ!.. Вѣдь и батюшку то моего медвѣдъ сломалъ, и дѣдушка умеръ калѣкою, а меня еще покамѣсть Господь миловалъ... Ну вотъ, кормилецъ, какъ я медвѣдя то убилъ, да и думаю: за чтожъ я съ Васьюкой подѣлюсь?.. Вѣдь онъ меня руками выдалъ.

— Эхъ, братъ! — прервалъ второй крестьянинъ, — съ кѣмъ грѣха не бываетъ?.. Что будешь дѣлать — сробѣлъ!.. А вѣдь все-таки уговоръ то былъ пополамъ, и медвѣдя не ты сослѣдилъ, Андрюха, а я.

— Да ты полно, Васюкъ, нишни! Вотъ какъ его милость насъ разсудить.

Куродавлевъ призадумался.

— Ну!—сказалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени, — послушайте, ребята: у васъ не было выговорено, что тотъ, кто сробитъ и не пойдетъ на медвѣдя, тому нѣтъ части въ шкурѣ?

— Нѣтъ, батюшка, лгать не хочу,—сказалъ Андрей: — объ этомъ и рѣчи не было.

— А коли не было рѣчи, да онъ же тебя и на звѣря навелъ, такъ дѣлать то, братъ, нечего,—дѣлись!

— Вотъ слышишь, Андрюха? — вскричалъ съ радостію Василій, — я вѣдь говорилъ тебѣ, что моя правда!

— Слышу-ста! — промолвилъ Андрей, почесывая затылокъ.

— Благодарствую тебѣ, государь Юрій Максимовичъ! — продолжалъ Василій, повалился въ ноги, — что ты, батюшка, изволилъ такъ разсудить!

— А вотъ посмотримъ, скажешь ли ты мнѣ спасибо, — прервалъ Куродавлевъ. — Эй, ребята! возьмите ка этого гостя, да сведите-ка на конюшню.

— На конюшню! — повторилъ съ ужасомъ Василій. — Зачѣмъ, батюшка?

— Затѣмъ, чтобъ отодратъ тебя нещадно батогами.  
— Помилуй, кормилецъ,—за что?  
— За что?.. Ахъ ты, мошенникъ этакій! еще спрашиваетъ за что?.. Да коли ты самъ напросился идти вдвоемъ на медвѣдя, такъ какъ же ты могъ выдать своего товарища?.. Да знаешь ли ты, что въ нашемъ охотничьемъ быту за такое дѣло порятъ вашу братью до полусмерти?.. Нѣтъ, любезный! пошелъ ко мнѣ на судъ, такъ не прогнѣвайся... задамъ я тебѣ зорю!.. Ведите его!

— Батюшка! — завопилъ Василій, котораго двое слугъ схватили подъ руки, — отецъ родной, помилуй!.. И отъ шкуры отступаюсъ!

— Ага, голубчикъ! видно, своей то жаль?.. Да нѣтъ! что тебѣ слѣдуетъ — бери, а ужъ дерку тебѣ зададутъ!.. Кондратій! ступай съ ними, да при себѣ — знаешь... путемъ!

— Государь Юрій Максимовичъ, — сказалъ другой крестьянинъ, когда увели его товарища, — вѣмилуйся! не прикажи его наказывать! Я на немъ ничего не ищу; коли онъ дѣлежа не просить, такъ Богъ съ нимъ!

— Нѣтъ, братецъ, нѣтъ!

— Да что толку то, кормилецъ?.. Какъ его не пори, а онъ смѣлѣе не будетъ. Ужь, видно, такимъ уродился.

— Такъ не берись за гужъ, коли не дюжь!.. Вѣдь ты бы, чай, одинъ на медвѣдя не пошелъ?

— Не пошелъ бы, батюшка.

— Вотъ то-то-же!.. а вышло, что ты одинъ съ нимъ возился. Ну, кабы звѣрь-то тебя сломалъ—за что?

— Такъ, батюшка, такъ!.. Да что мнѣ за прибыль, что его отдерутъ батогами: вѣдь тогда шкуру-то придется дѣлать съ нимъ пополамъ?.. Благо онъ отъ нея отступился, такъ помилуй его, кормилецъ!

— А что тебѣ за медвѣдя давали?

— Два рубля, батюшка.

— Два рубля?.. Ну, хорошо: чтобъ ты не былъ въ убыткѣ, вотъ тебѣ рубль. Да полно — не кланяйся!.. Эй, Оедька Козель!.. Что у васъ тамъ все стало?.. Еще не время по домамъ расходиться. Ну-ка, молодцы: «заплетися, плетень», а не то: «мы просо сѣяли!»

Игры опять начались, и этакъ черезъ четверть часа привели назадъ крестьянина Василя. Онъ посматривалъ не очень весело.

— Что, братъ, — сказалъ Куродавлевъ, — будешь ли впередъ ходить на медвѣдя?

— И дѣтямъ и внучатамъ закажу, батюшка!

— Дурачина ты этакій!.. Хорошо, что Богъ помиловаль, а то долго ли до грѣха!.. Другой на тебя понадѣется, да и пропадетъ не за денежку.

— Правда, кормилецъ, правда!.. Знай сверчокъ свой шестокъ!.. Ну, гдѣ мнѣ на медвѣдя ходить — пропадай онъ ставши, проклятый!

— Вотъ этакъ-то лучше!.. Ну что, ребята: такъ ли я васъ разсудилъ?

— Такъ, батюшка, такъ, — отвѣчали оба крестьянина въ одинъ голосъ.

— Довольно ли вы?

— Довольны, батюшка!

— Демка! поднеси имъ по чаркѣ вина!.. Ну, теперь ступайте съ Богомъ!.. Э! да никакъ еще гость пожаловаль!.. Кондратій! поди-ка, посмотри, кто это тамъ тройкой въ телѣгѣ у воротъ остановился.

Кондратій возвратился черезъ нѣсколько минутъ и доложилъ боярину, что пріѣхаль изъ Мещовска земскій дьякъ.

— Изъ Мещовска!.. Зачѣмъ? — спросилъ Куродавлевъ.

— Не вѣдаю, батюшка, — отвѣчалъ Кондратій. — Онъ говорить, что присланъ къ тебѣ отъ мещовскаго воеводы Токмачева.

— Вишь, какой бояринъ — пословъ разсылаеть!.. Могъ бы и самъ облегчиться, да пріѣхать, коли дѣло есть... Ну, позови его!

Пріѣзжій, человекъ пожилыхъ лѣтъ и весьма некрасивой наружности, подошелъ тихими шагами къ боярину, снялъ шапку и поклонился.

— Что ты, голубчикъ, — спросилъ Куродавлевъ, — зачѣмъ пожаловаль?.. Говори!

— Бояринъ Юрій Максимовичъ! — началъ говорить дьякъ, повторивъ свой поклонъ, — мещовскому воеводѣ и стольнику, Федору Степановичу Токмачеву, ударили челомъ на тебя, боярина, сосѣди твои, куклинскіе помѣстные люди, что ты, Юрій Максимовичъ, изволишь самовольно охотиться въ ихъ дачахъ, и луга ихъ топчешь, и птицу бьешь, и краснаго звѣря выводишь, и тѣмъ имъ, куклинскимъ помѣстнымъ людямъ, чинишь обиду и крайнее разореніе...



— Врутъ они, дурачьё! — прервалъ Куродавлевъ. — Стану я въ ихъ одноворческихъ дачахъ охотиться!.. Ну, а коли случаемъ я травлю звѣря, да онъ изъ моихъ дачъ перебѣжитъ въ чужія, такъ мнѣ шапку снять, да поклониться ему чтоль?

— Мещовскій воевода и стольникъ Фѣдоръ Степановичъ Токмачевъ, — продолжалъ дьякъ, не отвѣчая на вопросъ Куродавлева, — присудилъ ихъ челобитье записать, а къ тебѣ, боярину, послать земскаго дьяка съ указомъ...

— Съ указомъ? — Повторилъ Куродавлевъ, нахмуривъ брови. — Вотъ что!.. Ну чтожь его милость, господинъ мещовскій воевода и стольникъ, мнѣ, холопу своему, изволятъ указывать?

Не обращая вниманія на эту насмѣшку, дьякъ вынулъ изъ-за пазухи небольшой бумажный свитокъ и подаль его Куродавлеву.

— Ну! — сказалъ бояринъ, развернувъ столбецъ, — дно, вамъ дѣлать-то нечего!.. Смотри, пожалуй, сколько навараксали!.. да этого и въ сутки не прочтешь!.. Скажи-ка лучше мнѣ на словахъ, что тутъ написано?

— Коли изволишь, такъ и на словахъ скажу, — молвилъ дьякъ. — Тутъ написано, бояринъ, чтобы тебѣ напредь сего въ чужихъ дачахъ не охотиться и сосѣдей не обижать; а коли ты, бояринъ, противъ сего воеводскаго указа ослушнымъ учинишься, то да будетъ тебѣ вѣдомо, что взыщутъ съ тебя за потравленнаго звѣря, за побитую птицу и за потоптанные дуга, безъ всякаго обыска и разбора, втрое противъ того, что тѣ куклинскіе помѣстные люди станутъ сами показывать, сирѣчь имъ сполна за всѣ ихъ протори и убытки, да по стольку же на царскую казну и богадѣльный приказъ.

— Вотъ какъ! — прошепталъ Куродавлевъ, и глаза его засверкали. — Ну, что, — продолжалъ онъ, — ты все пересказалъ?

— Все, бояринъ.

— Нѣтъ не все!.. — Ты забылъ мнѣ сказать, что твой воевода рехнулся. Къ кому онъ тебя прислалъ — а?.. къ одноворцу чтоль или къ посадскому?.. Ахъ онъ неучъ проклятый!.. холопъ!.. да знаетъ ли онъ, что такое Юрій Максимовичъ Куродавлевъ?.. мошенникъ этакій!.. Вишь, бояринъ какой!.. Токмачевъ!.. И откуда этакіихъ хамовъ въ воеводы-то набирають?.. А ты, голубчикъ, о двухъ

чтоль головахъ, что пріѣхалъ ко мнѣ съ такимъ указомъ отъ своего воеводишки?.. Да не знаешь ли, что я съ тобой сдѣлаю?..

Дьякъ поблѣднѣлъ.

— Батюшка бояринъ, — промолвилъ онъ дрожащимъ голосомъ, — не изволь на меня гнѣваться — я что!.. я чело-вѣкъ маленькій: что мнѣ прикажутъ, то я и дѣлаю.

— Доложи своему раскольнику-воеводѣ, — сказалъ бояринъ, вставая, — что я и своихъ то дачъ въ двое сутокъ не объѣду, такъ стану ли по чужимъ дачамъ таскаться; а коли мнѣ вздумается и мещовскаго воеводу Токмачева травить собаками, да онъ изъ моего лѣса перебѣжитъ въ чужой, такъ я на это не посмотрю. Да перескажи ему это слово отъ слова—слышишь?

— Слышу, Юрій Максимовичъ!

— Вотъ его указъ! — продолжалъ Куродавлевъ, раздирая на части столбецъ. — На, вотъ тебѣ... на... подбери всѣ кусочки, да отвези къ своему воеводѣ и стольнику, пусть онъ ими подавится!.. и скажи ему отъ меня, Юрія Максимовича Куродавлева: «коли, дескать, ты, холопъ Ѳедька Токмачевъ, по твоему собачьему обычаю, учнешь еще такія же грамоты писать ко мнѣ, царскому боярину, такъ ты отъ меня и въ Мещовскѣ не спрячешься — я и тамъ тебя, голубчика, достану... Ну, теперь чтобъ и духу твоего здѣсь не пахло!.. Вонъ отсюда, приказная строка!

Дьякъ исчезъ.

— Фу, батюшки! — промолвилъ бояринъ, помолчавъ нѣсколько времени, — часъ отъ часу не легче!.. — Экія времена!.. Господи, Боже мой! вотъ, до чего я дожилъ: какой-то холопій сынъ Токмачевъ плетъ ко мнѣ дьяка съ указомъ!.. Да этого въ старину не посмѣлъ бы сдѣлать и калужскій воевода... И я не велѣлъ заковать въ кандалы этого дьяка, не отодралъ его плетями!.. Эхъ, устарѣлъ я — смиренъ сталъ!.. А все-таки не приведи Господи этому мещовскому воеводѣ повстрѣчаться со мною!.. Проваль бы его взялъ — сквернавецъ этакій!.. совсѣмъ меня растревожилъ. И веселье на умъ нейдетъ!.. Да тебѣ же и пора, Дмитрій Афанасьичъ, въ баню, а тамъ еще надо поужинать; только не погнѣвайся, дорогой гость, коли я ужинать съ тобою не стану: мнѣ что то не здоровится... Прикажи накрыть столъ у себя въ комнатѣ... Прощай,

любезный!.. Тьфу ты, пропасть! — промолвилъ бояринъ, уходя, — ну стоитъ ли эта гадина, этотъ Ѳедька Токмачевъ, чтобъ я такъ сердился?.. А все-таки жаль — видитъ Богъ жаль, что онъ теперь у меня не подъ руками!

Левшинъ отправился въ банку, потомъ поужиналъ и легъ спать. Такъ кончился первый день, проведенный имъ у боярина Юрія Максимовича Куродавлева.

## VIII.

Другой день прошелъ почти такъ-же, какъ первый, съ тою только разницею, что поутру бояринъ тѣшилъ своего гостя соколиною охотою и за обѣдомъ не рассказывалъ уже о своемъ мѣстничествѣ съ княземъ Пронскимъ, а продолжалъ позорить мещовскаго воеводу и подарилъ серебряный алтынникъ Тришкѣ за то, что этотъ догадливый шутъ, на боярскій вопросъ: хочеть ли онъ познакомиться съ Ѳедькой Токмачевымъ, отвѣчалъ: «Нѣтъ, Максимиць! я со своей братьею, дураками, не знаюсь». Вечеромъ Куродавлевъ вышелъ опять съ своимъ гостемъ на лугъ, на которомъ собрались попрежнему удалые молодцы, пригожая молодежи и дѣвицы красныя, пѣсенки попѣть, поиграть въ хороводы и покачаться на *колыскахъ*: такъ назывались въ старину висячія качели. На этотъ разъ, вѣроятно, по приказанію боярина, хороводы кончились забавами, которыя напоминали олимпійскія потѣхи древнихъ грековъ. Дворовые люди и крестьяне бѣгали *взатуски*, боролись въ *охабку* и въ *одноручку*, бились въ кулачки одинъ-на-одинъ и наконецъ составили кулачный бой *стѣна на стѣну*. Эти кулачные бои имѣли въ старину свои правила, законы, и представляли довольно вѣрную картину настоящаго боя. Обѣ стороны маневрировали, то подвигались впередъ, то отступали назадъ; передъ каждой стѣною разсыпаны были, какъ застрѣльщики, отборные бойцы; къ нимъ высылали съ обѣихъ сторонъ подкрѣпленія, и все это оканчивалось обыкновенно общей свалкою, а потомъ совершеннымъ разстройствомъ и бѣгствомъ одной изъ стѣнъ... Всѣ участвующіе въ кулачномъ бою должны были драться съ непокрытыми головами: кто надѣвалъ шапку, тотъ становился лицомъ неприкосновеннымъ, и его, точно такъ же, какъ *лежащаго*, не дозволялось

*бить* никому. Само по себѣ разумѣется, что и тотъ, кто былъ въ шапкѣ, не смѣлъ уже никого ударить; въ противномъ случаѣ его избили бы до полусмерти.

Хотя Феропонтъ былъ страстный охотникъ до борьбы и кулачнаго боя, однакожь не принималъ никакого участія въ этихъ молодецкихъ потѣхахъ, а присоединился къ толпѣ зрителей, которые, почти всѣ безъ исключенія, состояли изъ стариковъ, ребятишекъ и бабъ.

— Вѣдь это твой служитель, Дмитрій Афанасьичъ? — сказалъ бояринъ, взглянувъ нечаянно на Феропонта.

— Гдѣ, Юрій Максимовичъ? — спросилъ Левшинъ.

— А вонъ тамъ, подлѣ бабъ.

— Да, это мой слуга Феропонтъ.

— Экій ражій дѣтина!.. Да что это онъ такъ коверкается?

Въ самомъ дѣлѣ, Феропонтъ, не замѣчая, что на него смотритъ Куродавлевъ, дѣлалъ какіе то знаки своему барину, кивалъ головою и наконецъ поманилъ его просто къ себѣ рукою.

— Эй ты, Феропонтъ! — закричалъ бояринъ, — кого ты это къ себѣ манишь?

— Никого, батюшка Юрій Максимовичъ! — отвѣчалъ Феропонтъ, выступая впередъ и кланяясь барину.

— Такъ чтожь ты рукою то къ себѣ махалъ?

— Такъ, батюшка — муха!.. привязалась проклятая! — молвилъ Феропонтъ, подмигнувъ значительно своему барину.

— Чтожь ты, братъ, — продолжалъ Куродавлевъ, — стоишь тамъ съ бабами да смотришь?.. Мнѣ сказывали, что ты силачъ. Коли не хочешь къ стѣнѣ пристать, такъ вызови кого-нибудь.

— Нѣтъ, батюшка Юрій Максимовичъ, мнѣ что-то сегодня нездоровится.

Въ эту самую минуту раздался на лугу громкій голосъ: «Нечестно, дворовые, нечестно!.. Лежачаго не бьютъ!» — Вслѣдъ за этимъ поднялся общій крикъ, посыпались ругательства. — «Стойте грудью, братцы!» — кричали мужики. — «Бейте холуевъ!» — «Сюда, молодцы, сюда!» — заревѣли дворовые; — «катайте сермяжниковъ!» — Противники кинулись другъ на друга, обѣ стороны смѣшались, и началась ужасная свалка. — Эге! — шепнулъ бояринъ вставая, — да они ужъ расходились непутемъ!.. — Эй, вы! —

зыкнулъ онъ своимъ молодецкимъ голосомъ, — ребята, шабашъ!» Лишь только прогремѣлъ этотъ приказъ, все затихло. — Кто смѣетъ бить лежачаго? — продолжалъ бояринъ, подойдя къ присмирѣвшимъ бойцамъ. Сотни голосовъ отвѣчали на этотъ вопросъ; одни обвиняли, другіе оправдывались. — Молчать, — закричалъ Куродавлевъ. — Никто ни гугу!.. Говори ты, Мирошка Козырь!.. — промолвилъ онъ, обращаясь къ широкоплечему мужику съ растрепанной рыжей бородою и огромной шишкой на лбу. — Помилуй, государь Юрій Максимовичъ! — сказалъ мужикъ. — Изволь самъ разсудить: при мнѣ Пахомку Лысаго твои дворовые сбили съ ногъ, да и ну его, лежачаго, валять не на животъ, а на смерть!

— Вретъ онъ, батюшка! — прервалъ одинъ изъ дворовыхъ: — вовсе не лежачаго. Онъ было хотѣлъ прикинуться — упалъ! — Да мы его подняли: двое держали подъ руки, а третій билъ. А били его за то, что онъ ударилъ Митьку Сурка; а вѣдь Митька то Сурокъ былъ въ шапкѣ.

— Давай сюда Митьку Сурка и Пахомку Лысаго! — сказалъ Куродавлевъ. Двое бойцовъ, одинъ съ подбитымъ глазомъ, другой съ разбитыми скулами, вышли впередъ. Дворовые и мужики обступили плотной толпою своего боярина — и судъ начался.

Левшинъ воспользовался этой минутою: онъ подошелъ къ своему слугѣ.

— Дмитрій Афанасьичъ, — шепнулъ Феропонтъ. — Пожалуй-ка, батюшка, сюда.

— Да что ты? — спросилъ Левшинъ.

— А вотъ какъ отойдемъ поодаль, такъ я тебѣ скажу... Пожалуй сюда, батюшка!... Вотъ за амбары то: тамъ никого нѣтъ.

— Ну, что такое?.. Говори скорѣй! — сказалъ Левшинъ, когда они зашли за уголь огромныхъ барскихъ житницъ.

— А вотъ что, Дмитрій Афанасьичъ: я хотѣлъ въ воскресенье ѣхать въ Одессѣвскій скитъ, чтобы повидаться съ Дарьей...

— Ну, да!.. Такъ что?

— А то, что ѣхать мнѣ будетъ не зачѣмъ.

— Какъ не зачѣмъ?

— Да, батюшка!.. Вѣдь Дарья то здѣсь.

— Здѣсь?..

— Пышкомъ пришла; говорить, что ей надо съ тобой повидаться.

— Гдѣ она?

— Да тамъ, за боярскимъ огородомъ, въ конопляхъ.

— Такъ пойдемъ же скорѣй!

— А вотъ пожалуй со мной.

Феропонтъ повелъ своего боярина вдоль плетня, изъ-за котораго поднимался цѣлый лѣсъ яблонь и вишневыхъ деревьевъ.

— Ну, что, видишь, батюшка?—сказаль Феропонтъ, — вонъ въ красной душегрѣйкѣ то — это Дарья. Эка дѣвка бой, подумаешь!.. Еще хорошо, что я успѣлъ ее перехватить, а то вотъ такъ прямехонько къ тебѣ и ломить!.. Мы съ ней только словечка два-три перемолвили... Вишь, хозяинъ то, Андрей Поморянинъ, согналь ее со двора... Ужь какъ она его позорить — Господи!.. И съ дочкой-то своей онъ что-то недоброе хочеть сдѣлать... Да вотъ она сама тебѣ все перескажетъ.

Дарья, увидѣвъ Левшина и Феропонта, вышла къ нимъ навстрѣчу.

— Здравствуй, Дарья! — сказалъ Левшинъ. Ну, что ты?

— Что, батюшка? — промолвила Дарья, всхлипывая, — вѣдь злодѣй-то меня выгналь!.. Выгналь, кормилецъ!.. «Ступай, дескать, куда хочешь!» А куда я пойду?.. Человѣкъ я одинокій; ни роду, ни племени. Есть одна тетка, да и та въ Казани... Злющій этакій! чтобъ ему самому издохнуть гдѣ-нибудь подъ елкою, жиду проклятому!..

— Да ужь не бойся, Дарья, — прервалъ Левшинъ, — я тебя не покину. Ну что Софья Андреевна?

— Что, батюшка!.. Коли ты не ыручишь, такъ пропала ее головушка!.. Да вотъ я тебѣ все раскажу. Какъ ты, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, изволил отъ насъ уѣхать, въ тотъ же самый день, около полуденъ, пожаловаль къ намъ изъ Мещовска какой-то приказный, отъ тамошняго воеводы Токмачева; хозяинъ приняль его съ честію, отвелъ къ себѣ въ образную, да тамъ съ нимъ и заперся. Вотъ я думаю себѣ: «о чемъ это они втихомолку толкуютъ межъ собою?.. дай-ка послушаю!» Рядомъ съ образной есть покоецъ, въ которомъ Андрей послѣ обѣда отдыхаетъ, — я и шмыгъ туда!.. Подкралась потихоньку къ двери, да ушкомъ то къ замочной щелкѣ. Чтожь ты думаешь я услышала, Дмитрій Афанасьичъ?.. Хозяинъ то

просваталь свою дочку за мещовскаго воеводу, а тотъ прислалъ ему сказать: привези, дескать, ее въ воскресенье ко мнѣ въ городъ, а ужь у меня все будетъ готово. Липь прїѣдете, такъ тутъ же и къ вѣнцу; надобно, дескать, этимъ дѣломъ круто повернуть; какъ сказать ей впередъ, такъ, чего добраго, она еще пожалуй заломается — начнетъ говорить, что я ей неровня, да то, да се; а какъ вдругъ изъ повозки да въ церковь, такъ этакъ будетъ лучше: дѣвка то не успѣетъ и опомниться. «Ахъ, злодѣи!» — подумала я, — «за что они Софью то Андреевну сгубить хотятъ? Вѣдь этотъ Токмачевъ ей въ дѣдушки годится! Да говорятъ, уродина какой: горбатый, плѣшивый!.. Вотъ, слышу, прїѣзжій прощается съ хозяиномъ; я скорѣй отъ дверей, да къ окну и ну тереть тряпичею стекла. Андрей проводилъ гостя, вернулся назадъ и говоритъ мнѣ: «Ты что здѣсь, голубушка, дѣлаешь?.. За чѣмъ пришла?» — «А вотъ, батюшка, стеклышки протереть». — «То то стеклышки!.. Да напрасно трудиться, любезная; изволь-ка забрать свои пожитки, да чтобъ сегодня же тебя здѣсь не было!.. Слышишь?» — «Я такъ и обомлѣла!.. «Какъ, батюшка! ты меня гонишь вонъ?» — «Да, матушка — не прогнѣвайся!» — «Помилуй! за что?» — «А такъ! чтобъ ты на огородъ то прїѣзжихъ молодцовъ не водила... Да что съ тобою толковать: пошла, пошла!» — Я было въ слезы... куда! повернулъ меня, да и въ шею!.. Ну, батюшка, хоть я челобѣкъ смиренный, а зло меня взяло!.. Выгнать безпрїютую сироту!.. Что онъ, мошенникъ, какія знаетъ за мной художества?.. Я дѣвка честная!.. Небось, Марѳутку то не выгонитъ, скаредъ этакій!.. «Постой же!» думаю, «коли ты гонишь меня вонъ какъ собаку, такъ я же тебѣ, голубчикъ, и сама насолю!» — Вотъ я къ Софьѣ Андреевнѣ... Сидитъ пригорюнившись моя горемычная... Ужъ такъ мнѣ ее жаль стало!.. «Что ты такъ призадумалась, красавица моя? — сказала я. — «Ужъ не чуешь ли твое сердечко, что тебя выдаютъ замужъ за этого стараго лѣшаго, мещовскаго воеводу Токмачева?..» «Какъ!» — вскрикнула Софья Андреевна. — Да, родимая, послѣзавтра, сирѣчь въ воскресенье, батюшка отвезетъ тебя въ городъ, да тутъ же и подъ вѣнецъ. — Софья Андреевна всплеснула руками и покатилаь словно мертвая. Я попрыскала ее водицей — очнулась моя голубушка! да только не на радость: ухватила меня руками за шею, припала къ плечу, да такъ рѣкой и льется!.. —

Эхъ, матушка! — сказала я, — что толку то плакать: вѣдь на это не посмотрятъ; а коли хочешь, я тебѣ помогу. — «Да какъ же ты мнѣ поможешь?» — промолвила она сквозь слезы. — А вотъ какъ: я пойду къ Дмитрію Афанасьевичу; село Толстошеино отсюда верстъ тридцать, такъ я завтра же съ нимъ увижусь. Была бы только твоя воля, а ужъ онъ тебя выручить; и коли дѣло на то пошло, такъ въ воскресенье ты выйдешь замужъ, да только не за этого стараго хрыча — чтобъ ему, проклятому, послѣднимъ зубомъ подавиться! — «Да какъ же это? — спросила Софья Андреевна. — Вѣстимо какъ!.. Дмитрій Афанасьичъ пріѣдетъ сюда тайкомъ вмѣстѣ со мною, ты къ намъ выйдешь... — «Какъ!» — молвила Софья Андреевна, «я убѣгу отъ моего отца, выйду замужъ безъ его благословенія»... — Эхъ, матушка! — сказала я, — это дѣло поправное: теперь не благословить, такъ благословить послѣ; не цѣлый же вѣкъ станеть гнѣваться... Кто и говорить — на первыхъ порахъ посердится, а тамъ, глядишь, и помилуетъ. Ну, а коли ты выйдешь за этого стараго пса Токмачева, такъ что тебѣ и въ отцовскомъ благословеніи?.. Вѣдь постылый то мужъ — бѣда, матушка! А онъ же, проклятый, чего добраго, проживеть аридовы вѣки!.. Эй, Софья Андреевна, не послушаешься меня, станешь у себя локотки кусать! — Куда! моя Софья Андреевна и руками и ногами! «Какъ, дескать, бѣжать изъ родительскаго дома — да такую бѣглянку самъ Богъ не благословить. — «Я и то, я и се... нѣтъ, подь ладъ не дается!.. Ну, матушка, — молвила я, — воля твоя, какъ хочешь; вѣдь не меня выдаютъ замужъ, а тебя. Ступай за Токмачева: можетъ быть онъ тебѣ полюбится. А я все-таки пойду къ Дмитрію Афанасьичу. Вѣдь твоя батюшка меня выгналъ, такъ авось онъ, кормилецъ, куда нибудь меня пристроить. Да только какъ сказать ему?.. Охъ, Софья Андреевна, губишь ты молодца! Я знаю, онъ не переживетъ этого горя. «Что ты говоришь?» — сказала Софья Андреевна. — Да, матушка, да! не переживетъ; коли самъ на себя рукъ не подыметъ, такъ ужъ вѣрно зачахнетъ съ тоски. Да тебѣ что до этого: ты, сударыня, будешь воеводшею; выйдешь замужъ съ отцовскимъ благословеніемъ, и коли дойдетъ до тебя слухъ, что Дмитрія Афанасьича не стало, такъ тебѣ старый мужъ и поплакать о немъ не дастъ — сохрани Господи!.. Ну, прощай, матушка, когда то Богъ приведетъ увидѣться...

— Чтожъ Софья Андреевна? — прервалъ Левшинъ.



— Опѣшила, батюшка!.. Ухватилась за меня, да въ слезы!.. Мало ли что было — дѣло дѣвичье: и жаль тебя, и страшно, и хочу, и не хочу, а все-таки покончила тѣмъ, что велѣла тебѣ сказать, что завтра, сирѣчь въ воскресенье, передъ свѣтомъ, когда еще въ скиту всѣ будутъ спать, она выйдетъ изъ огорода задней калиткою въ лѣсъ и поведетъ съ тобою, куда ты хочешь; лишь только съ уговоромъ: чтобъ ты завтра же съ ней и обвѣнчался.

— Завтра! — повторилъ съ восторгомъ Левшинъ. — Неужели въ самомъ дѣлѣ завтра она можетъ быть моею женою?

— Будетъ, батюшка, только мѣшкать не надо... Коли ты завтра чѣмъ свѣтъ не поспѣешь къ ней на выручку, такъ не прогнѣвайся!..

— Ъдемъ, Феропонтъ! — вскричалъ Левшинъ. — Скорѣй, скорѣй!

— Ъдемъ!... Да на чемъ, Дмитрій Афанасьичъ? Вѣдь намъ за такимъ дѣломъ не верхами же ѣхать. Не знаю, мой Донецъ, а твой Султанъ въ упряжи никогда не хаживали, и повозки у насъ нѣтъ.

— Эхъ, Феропонтъ!... Да неужели нельзя достать на селѣ?

— Какъ не достать; за деньги все достанешь.

— Такъ что же ты?... Ступай скорѣе!

— А что проку то, Дмитрій Афанасьичъ, коли мы Софью Андреевну увеземъ, да некуда будетъ съ нею дѣваться?... Вѣдь мы здѣсь не дома, батюшка!... Ступай-ка лучше, да поклонись боярину; онъ, говорятъ, и самъ съ молоду на все ходокъ былъ, такъ ужъ вѣрно тебѣ поможетъ; а коли поможетъ — такъ дѣло въ шапкѣ!

— Въ самомъ дѣлѣ, Феропонтъ, пойду, расскажу ему все, какъ отцу родному, авось, онъ меня не покинетъ.

— Ступай, батюшка!... А ты, Дарьюшка, пойдѣмъ-ка со мной: я сведу тебя на село къ знакомому мужичку; ты у него отдохнешь и щецъ похлебаешь. Здѣсь тебѣ не пригоже оставаться: вѣдь всѣ дворовые то народъ продувной, какъ разъ на зубки подымуть.

Когда Левшинъ вышелъ опять на лугъ, то съ перваго взгляда замѣтилъ, что во время его отсутствія получено какое-нибудь извѣстие, которое обратило на себя особенное вниманіе Куродавлева. Толпы дворовыхъ и крестьянъ, тѣснясь съ любопытствомъ около своего боярина, составляли обшир-

ный полукругъ, посреди котораго Куродавленъ разспрашивалъ о чемъ-то двухъ пожилыхъ мужиковъ, вооруженныхъ толстыми дубинами. Когда Левшинъ подошелъ, одинъ изъ этихъ мужиковъ говорилъ:

— Да, батюшка! Матюху Безпалаго больно избили; мы насилу довели его до села; полно, будетъ ли живъ.

— Да точно ли это Хотисенскіе крестьяне? — прервалъ бояринъ.

— Какъ же, кормилецъ! Мы ихъ знаемъ. Въдъ эти Хотисенскіе всё поголовно такіе озорники, что не приведи Господи!... При тебѣ они стали потише, а напрежь сего не проходило году, чтобъ они въ нашемъ лѣсу порубокъ не дѣлали.

— Да какъ же они смѣють?...

— Ну вотъ, поди ты!... Стоять на томъ, что это въвѣзжій лѣсъ...

— Въвѣзжій лѣсъ?... Ахъ они, мошенники!.. Да ты бы имъ сказалъ, что покойный мой батюшка и дѣдушка и прадѣдъ владѣли этимъ лѣсомъ...

— Пытался говорить, кормилецъ, да они орутъ свое.— «Это, дескать, лѣсная дача отведена на всѣхъ сосѣдей; въ ней, дескать, всякій человекъ воленъ лѣсъ валить». — Матюха то Безпалый, мужикъ задорный, сцѣпился съ ними ругаться, слово за слово—онъ одного изъ нихъ по зубамъ, а они его въ дубь!... Кабы мы его не выхватили, до смерти бы убили...

— Въвѣзжій лѣсъ! — повторилъ бояринъ. — Вотъ я имъ дамъ въвѣзжій лѣсъ!... Да много ли ихъ?

— Многонько, кормилецъ: на двадцати подводахъ пріѣхали, человекъ за тридцать будетъ.

— Только то? .. Кондратій, посади побольше народу на коней, да пѣшихъ человекъ тридцать съ села наряди.

— Съ оружіемъ, батюшка?

— Нѣтъ, просто съ дубинами. Коли эти озорники ударятся бѣжать, такъ ты поймай кого-нибудь, да припугни хорошенько, захвати у нихъ побольше лошадей: пусть себѣ походятъ послѣ, да поклоняются!... А коли на драку пойдутъ, такъ валяй ихъ въ мою голову—слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Да у меня чтобъ всё дрались на чистоту, а не то что ударилъ, да самъ и за кустъ!... Я, братъ, этого не люблю: драться, такъ драться!... Коли кто изъ нашихъ

попятится или пролежить за кочкою, такъ задай ему такую баню, чтобъ онъ до новыхъ вѣвниковъ не забылъ — слышишь?

— Слушаю, Юрій Максимовичъ!... Да только, батюшка, воля твоя, теперь ужь позднеенько, и коли свалка будетъ въ лѣсу, такъ не досмотришь, кто изъ нашихъ сбердилъ.

— Экій ты, братецъ, какой!... Да неужли ты не знаешь, что кто дерется молодцомъ, тому и самому на орѣхи достается?

— Вѣстимо, батюшка.

— Такъ ты какъ вернешься домой, осмотри всѣхъ: на комъ нѣтъ боевыхъ знаковъ, того и пори: ужь вѣрно за кустомъ пролежалъ.

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступай же!

— Юрій Максимовичъ, — сказала Левшинъ, когда бояринъ пересталъ говорить съ Кондратьемъ, — я было хотѣлъ тебѣ челомъ ударить; у меня есть до тебя кровное дѣло, да ты теперь такъ растревоженъ, тебя разсердили...

— Кто? — прервалъ бояринъ. — Эти Хотисенскіе ворышки?... И, Дмитрій Афанасьичъ! стану я объ этомъ думать. У насъ такія проказы зачастую бываютъ. Дѣло сосѣдское, разберемъ полюбовно. Вотъ какъ имъ нагрѣвютъ порядкомъ затылки, да отберутъ лошадей, такъ они сами придутъ съ повинной головою.

— Не прогнѣвайся, Юрій Максимовичъ, коли я буду просить тебя...

— О чемъ?

— А вотъ. о чемъ, бояринъ: если ты мнѣ не поможешь, не выручишь меня, такъ я сгибну и пропаду навѣки.

— Ого! такъ это дѣло не шуточное!... Говори, Дмитрій Афанасьичъ, говори!... Я все готовъ для тебя сдѣлать... Деньги что ль тебѣ нужны — бери, сколько хочешь.

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, деньгами тутъ не поможешь?

— Такъ чего жъ ты хочешь?

— Я хочу жениться, бояринъ.

— Жениться!... На комъ?

— На одной дѣвицѣ, съ которой познакомился въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ!... Такъ чтожъ я могу для тебя сдѣлать?

— Все, Юрій Максимовичъ!... Коли ты только захочешь...

— Въ Москвѣ!—повторилъ бояринъ.—Постой-ка, молодецъ!... Да у меня въ Москвѣ есть племянницы невѣсты... Ужь не нарохтишься ли ты ко мнѣ въ родню?... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, коли я отгадалъ, такъ не прогнѣвайся—этому не бывать... Нѣтъ, нѣтъ, любезный! — продолжалъ Куродавлевъ, не давая Левшину молвить ни слова; — проси у меня, чего хочешь, а объ этомъ не заикайся!... Дружба дружбой, а родство родствомъ...

— Да выслушай, бояринъ: я...

— Знаю, любезный, знаю!... У тебя есть и хорошее помѣстье, и самъ ты молодецъ отличный, да твоя службишка то поскудная—всему дѣлу помѣха. Ужь я тебѣ толковалъ: кто своею волею, а не по царскому указу пошелъ въ стрѣльцы, тотъ забудь и думать породниться съ нашей братьею, родословнымъ бояриномъ. Кому охота сдѣлать такую поруху всему роду своему и отечеству.

— Да позволъ слово вымолвить, — сказалъ почти съ нетерпѣніемъ Левшинъ. — Та, на которой я хочу жениться, дѣвица простого рода, и ты ея вовсе не знаешь.

— Не знаю?... А коли не знаю, такъ о чемъ же ты меня просишь?

— А вотъ выслушай, я все тебѣ расскажу.

Левшинъ началъ свой рассказъ съ того, какъ онъ увидѣлъ въ первый разъ Софью въ Мещовскомъ подворьѣ и какъ полюбилъ ее, не зная, кто она такова; потомъ рассказалъ, какимъ неожиданнымъ образомъ онъ познакомился съ отцомъ ея, Андреемъ Поморяниномъ, и какъ этотъ Поморянинъ объявилъ ему наотрѣзъ, что никогда не выдастъ за него своей дочери.

— А, вотъ что! — прервалъ Куродавлевъ. — Ты вѣрно думаешь, что я скорѣй твоего уломаю этого раскольника? Ну, коли такъ — изволь, Дмитрій Афанасьичъ!... Я самъ отправлюсь къ нему сватомъ.

— Это не поможетъ, Юрій Максимовичъ: онъ ужъ просваталъ свою дочь...

— Право?... Ну, коли просваталъ, такъ дѣлать то, братъ, нечего; видно, тебѣ не судьба на ней жениться.

— Нѣтъ, бояринъ: лишь только бы ты мнѣ помогъ, а то ужъ я ее выручу. Она прислала мнѣ сказать, что если я завтра, чѣмъ свѣтъ, не увезу ее изъ отцовскаго скита и не обвинчаюсь съ нею, такъ завтра же ее выдадутъ замужъ за постылаго человѣка.

— Такъ ты хочешь, чтобъ я помогъ тебѣ увезть ее изъ родительскаго дома?... Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ, — не хорошо!... Безъ отцовскаго благословенія проку не будетъ!... Правда, теперь она раскольница, а какъ выйдеть за тебя, такъ будетъ православною... да и батюшка то ея не Богъ знаетъ кто!... Чай, купчишка или посадскій, а не то еще — бѣглый дьячекъ или разстрига какой, такъ не велика бѣда, коли его дочка выйдеть за стрѣleckаго сотника... А все, какъ подумаешь — увезти родную дочь у отца!... Да и тебѣ то что за охота напрашиваться въ зятя къ этому раскольнику?! Ты православный, а онъ ужъ вѣрно просваталъ свою дочь за такого же еретика, каковъ онъ самъ...

— Да, Юрій Максимовичъ, ее выдадутъ замужь за мещовскаго воеводу...

— Какъ!... за этого сквернавца Токмачева?...

— Да, бояринь.

— Такъ ты у него то хочешь отбить невѣсту?... Ну, это иная рѣчь!... Изволь, любезный — помогаю!... Тебѣ надо поспѣть туда чѣмъ свѣтъ... А далеко ли этотъ скитъ отсюда?

— Верстѣ около тридцати.

— Такъ мѣшкать нечего!... Эй, Демка! ступай, скажи, чтобъ сейчасъ запрягли тройкой мою дорожную кибитку. Въ корень Беркута, на пристяжку Сокола да Ласточку — проворнѣй!... Это, любезный, башкирки — взглянуть не на что, а такіе кони, что и цѣны нѣтъ!... Имъ шестьдесятъ верстѣ не кормя — ни почему!... Ты ступай туда полегоньку, передъ свѣтомъ будешь; а оттуда, какъ дѣло спроворишь, катай по всѣмъ по тремъ!... лишь бы на козлахъ то сидѣлъ молодецъ, а то ужъ только держись!

— Я возьму съ собой Феропонта.

— Ну, этотъ малый дюжій — сладить!... А я безъ тебя все приготовлю. Вѣдь мы дѣвшника справлять не станемъ: изъ кибитки да и къ вѣнцу, а тамъ за веселье... Ну, что?... Такъ ли, Дмитрій Афанасьевичъ?...

— По гробъ не забуду твоихъ благодѣяній, Юрій Максимовичъ!... По милости твоей я буду самыхъ счастливымъ человѣкомъ въ свѣтъ.

— Самымъ счастливымъ!... Давай Господи! Только впередъ, любезный, не загадывай. Какъ проживешь съ женою лѣтъ десять, такъ скажи тогда. Вѣдь и я былъ также женатъ и мнѣ на первыхъ порахъ казалось, что я живу съ

Авдотьей Саввишной словно въ раю земномъ; а тамъ какъ пошло хуже, да хуже... Э! да что говорить объ этомъ! Дай Богъ ей царство небесное—всѣ мы люди, всѣ чловѣки!... Пойдемъ ка, Димитрій Афанасьевичъ, да пока запрягутъ лошадей, перехватимъ чего-нибудь... Вѣдь твой будущій тестъ угощать тебя не станетъ, такъ не худо застись.

Черезъ полчаса лихая тройка въѣхала на боярскій дворъ и, повинувась могучей рукѣ удалого Феропонта, остановилась какъ вкопанная передъ крыльцомъ. Левшинъ сѣлъ въ кибитку, заѣхалъ на село, чтобъ взять съ собою Дарью, и лишь только Феропонтъ, желая пощеголять своимъ удалствомъ передъ нареченной невѣстою, поослабилъ возжи, коренная рванулась впередъ, пристяжныя подхватили и, какъ изъ лука стрѣла, съ визгомъ помчались вдоль озера.

— Эки черти! — шепнулъ Феропонтъ, сдерживая одной рукою всю тройку.—Кажись одры, а такъ и рвутъ!... Ну, батюшка!—продолжалъ онъ, оборотясь къ своему барину,—съ ними дремать то нечего: звѣри, а не лошади!

## IX.

Утренняя заря едва стала заниматься, и ни одна звѣздочка не потухла еще на темно-синихъ небесахъ, когда Левшинъ и его спутники, миновавъ Фодосѣвскій скитъ, то есть деревушку, въ которой жили перекрещеванцы, стали приближаться къ цѣли своего путешествія. Доѣхавъ до березовыхъ рощей, окружающихъ со всѣхъ сторонъ скитъ Андрея Поморянина, они остановились.

— Ну, что голубка,—спросилъ Феропонтъ вполголоса Дарью,—куда намъ теперь?

— А вотъ ступай направо то по дорогѣ.

— Да не лучше ли здѣсь подождать? Вѣдь по зарѣ то какъ разъ услышать конскій топотъ.

— Небось, не услышать; теперь всѣ спать.

— А сторожъ?

— Чай, также спать... Вѣдь эту недѣлю сторожемъ то Архипка, его очередь.

— Архипка!... Вотъ этотъ рыжій парень, что ты на святкахъ видѣла?...

— Ну, да!... Соня такой!... Бывало, нѣтъ чтобы обойти

ночью разика два кругомъ скита — храпять себѣ да и только!... Третьяго дня хозяинъ ужь щуняль, щуняль его за это...

— Вотъ то-то и есть!... Ну, коли его нелегкая понесетъ сегодня?...

— Да нѣтъ!... Вѣдь онъ такая дрянь, что и сказать нельзя!... И Дуняшка то его такая же, только бы дрыхнуть!... За что хлѣбомъ кормить!

— Ну что, батюшка, — продолжалъ Феропонтъ, обращаясь къ своему барину, — что намъ, подѣвхатъ къ самому огороду или нѣтъ?

— А вотъ мы съ Дарьей пойдемъ пѣшкомъ, — молвилъ Левшинъ, выпрыгнувъ изъ кибитки, — а ты ступай потихоньку за нами.

Когда Левшинъ прошелъ шаговъ двѣсти по дорожкѣ, изрытой глубокими колеями, Дарья сказала ему шопотомъ:

— Вонъ, батюшка, за толстой то березою должна быть калитка. Побудь-ка здѣсь, а я пойду, посмотрю, дожидается ли насъ Софья Андреевна. Коли она тутъ, моя голубка, такъ я вмѣстѣ съ ней и приду... Да смотри, батюшка, стой смирно... Хоть я и не чаю, чтобъ этотъ увалень, Архишка, сталъ ходить дозоромъ, да вѣдь кто знаетъ: тутъ то его чортъ и дернетъ!

Левшинъ остался одинъ: позади него, шагахъ въ десяти остановился Феропонтъ съ лошадьми. Кругомъ все было такъ тихо, что Левшинъ не только чувствовалъ, но даже слышалъ каждое бѣненіе своего сердца. Кто не испыталъ на себѣ самомъ эту неизъяснимую тоску тревожнаго ожиданія, эту томительную лихорадку души, это болѣзненное, почти безумное состояніе, въ которомъ минута кажется надъ годомъ, а день цѣлой жизнію—да! кто не испыталъ этого на самомъ себѣ, тотъ не пойметъ никогда, что чувствовалъ Левшинъ, стоя неподвижно на одномъ мѣстѣ около часу. То ему казалось, что Софья, эта кроткая, боязливая дѣвица, никогда не рѣшится на такой смѣлый поступокъ! то думалъ онъ, что она занемогла; то приходило ему въ голову, что Андрей догадался и увезъ ее въ Мещовскъ.— Вотъ ужь утро, а ея нѣтъ какъ нѣтъ!—прошепталъ онъ наконецъ съ отчаяніемъ.— Боже мой, Боже мой!... И чего я жду, чего надѣюсь?... Безумный! да развѣ ты не знаешь, что тебѣ не суждено быть счастливымъ?... Ступай-ка лучше, да похорони себя заживо,—авось подъ черной расою

замреть въ тебѣ навѣки ретивое!... Помаюсь оно, пона-терпѣлось горя—будеть съ него!

Вдругъ послышалось ему что то похожее на тихій шелестъ отдаленныхъ шаговъ... Да! такъ точно!... Кто то медленно и робко крадется по лѣсу... У Левшина занялся духъ. Его съ головы до ногъ обдало холодомъ. Еще нѣсколько минутъ, и участь его рѣшена навѣки!... Напрасно нетерпѣливый взоръ его сидился проникнуть въ глубину лѣса—онъ не видѣлъ ничего... Но вотъ! шорохъ становится слышнѣе, вотъ близехонько хрупнула сухая вѣтка... «Нѣтъ, я не могу идти далѣе!» — раздался въ десяти шагахъ отъ него этотъ знакомый, очаровательный голосъ. Левшинъ вскрикнувъ, бросился впередъ, и полумертвая Софья упала безъ чувствъ въ его объятія.

— Софья! другъ мой! ты ли это?—повторялъ Левшинъ, прижимая ее къ груди своей.

— Она, Дмитрій Афанасьичъ—она!—шепнула Дарья.— Да мѣшкать то нечего—наговоритесь послѣ.

— Боже мой! она безъ памяти!

— Очнется, батюшка!... Неси ее скорѣй въ повозку!

Въ самомъ дѣлѣ, прежде чѣмъ Левшинъ донесъ Софью до кибитки, она пришла въ себя.

— Садитесь поскорѣй!—молвилъ Феропонтъ.—Вотъ ужъ зоря то почитай совсѣмъ занялась. Время, батюшка, время!

Софья и Дарья помѣстились въ кибиткѣ; Левшинъ при-сѣлъ на облучекъ.

— Ну что, сѣли? — спросилъ Феропонтъ, подбирая возжи.

— Стой! — раздался грубый голосъ, и рыжій широко-плечій дѣтина, выскочивъ изъ-за куста, схватилъ подъ уаццы лошадей.

— Архипка!—вскрикнула Дарья.

— Эй, братцы, сюда!... Воры!—заревѣлъ сторожъ, продолжая удерживать лошадей.

— Отцѣпись!—закричалъ Феропонтъ,—а не то стопчу!

— Сюда, ребята, сюда!

— Батюшки, перебудить онъ всѣхъ!—шепнула Дарья.

— Ахъ, ты упрямая башка!—молвилъ Феропонтъ —Ну, такъ смотри же, братъ, держись!... Эй вы, соколики!

Вся тройка рванулась впередъ, и сторожъ, отброшенный шаговъ на десять въ сторону, упалъ между кустомъ. Вихремъ понеслись удалые кони, какъ сплошной частоколъ за-



мелькали по обѣимъ сторонамъ высокія деревья, кибитка запрыгала по колеямъ и минутъ черезъ пять наши путешественники, оставивъ позади себя березовыя рощи, выѣхали на проселочную дорогу, которая вела въ скитъ перекрещеванцевъ.

— Ну что, батюшка,—спросилъ Феропонтъ, сдерживая лошадей,—всталъ онъ или нѣтъ?

— Кто?—подхватила Дарья.—Архипка то рыжій?... Вѣстимо всталъ — что ему дѣлается?... Развѣ ты не видѣлъ, что онъ упалъ въ кусты?

— Ну, такъ звать то нечего: за нами будетъ погоня. Эй, вы!

Левшину некогда было и словечка перемолвить съ своей суженой; онъ смотрѣлъ заботливо по сторонамъ и безпрестанно остерегалъ Феропонта. Изгибистая и неровная дорога была мѣстами до того дурна, что даже и при тихой ѣздѣ повозка могла весьма легко опрокинутсся, а они мчались то вскачь, то шибкой рысью. Изрѣдка только удавалось Левшину взглянуть на Софью, которая сидѣла закутавшись въ свою фату и горько плакала. Дарья не утѣшала ея; напротивъ, она шептала ей отъ времени до времени:

— Плачь, матушка, плачь!... Невѣсты всегда плачуть... Вотъ какъ и мнѣ Господь приведетъ идти подъ вѣнецъ, такъ ты и меня не изволь уговаривать — ревкой буду реветъ!... Нельзя, Софья Андреевна. Какъ можно невѣствъ не плакать: всѣ добрые люди осудятъ!

Благодаря искусству Феропонта и заботливой осторожности его барина, все шло покамѣстъ благополучно: повозка ни разу не опрокинулась, и вотъ наконецъ путешественники, или, вѣрнѣй сказать, наши бѣглецы, могли вздохнуть свободно. До перекрещеванскаго скита оставалось не болѣе полуверсты, а тамъ ужъ начиналась широкая и гладкая дорога, вплоть до самаго полусела Куклина. Вдругъ лошади на всемъ бѣгу остановились, коренная попятилась назадъ, а пристяжныя начали храпѣть и кидаться на стороны...—Ахти!—шепнулъ Феропонтъ,—никакъ медвѣдь!—Онъ едва успѣлъ выговорить эти слова, какъ шагахъ въ двадцати передъ ними раздался болѣзненный ревъ, и огромный медвѣдь, облѣпленный со всѣхъ сторонъ медовыми сотами и усыпанный безчисленнымъ множествомъ пчелъ, перебѣжалъ черезъ дорогу. — Ага, воръ косолапый! — промол-

виль Феропонтъ,—не станешь впередъ таскаться по пчельникамъ!

— Держи лошадей то, держи!—закричалъ Левшинъ. Но испуганные кони вышли совершенно изъ повиновенія. Несмотря на всѣ усилія Феропонта, они свернули съ дороги и какъ шальные бросились прямо въ лѣсъ. Проскакавъ шаговъ сто по кустамъ и мелкой зарости, они врѣзались въ самую средину лѣса; повозка задними колесами задѣла за сосну, лошади остановились, но колесы разлетѣлись вдребезги, и кибитка упала на бокъ. Къ счастью, никто не ушибся, и когда Левшинъ высадилъ изъ повозки своихъ спутницъ, то увидѣлъ, что изъ нихъ гораздо болѣе испугалась Дарья, чѣмъ Софья.

— Господи Боже мой!—вопила толстая дѣвка,—что съ нами будетъ?... Вѣдь медвѣдь то насъ всѣхъ перебѣстъ!...

— Эхъ, Дарья, нишни!—прервалъ Феропонтъ.—Небось! онъ никого не съѣстъ.

— Чу! слышишь, какъ онъ реветъ?... Ахъ, батюшки! никакъ онъ идетъ сюда!... Ну, пропали наши головушки!

— Да что тебѣ дался медвѣдь?... Говорятъ тебѣ—небось!... Ему теперь не до насъ; ему бы поскорѣй до водицы добраться, а не то пчелы то закусаютъ до смерти. Ну что, батюшка,—продолжалъ Феропонтъ, обращаясь къ Левшину, который суетился вокругъ кибитки,—что колесы?

— Однѣ ступицы остались.

— Ну, вотъ те бабушка и Юрьевъ день! Чтожъ намъ теперь дѣлать то, Дмитрій Афанасьичъ?

— Вѣстимо, что!... Вѣдь отсюда близехонько скитъ перекрещеванцевъ; ступай, купи у нихъ телѣгу.

— Да они пожалуй заломятъ и Богъ знаетъ что.

— Все равно! У тебя деньги есть, давай, что попросятъ.

— Нѣтъ, Феропонтъ, — сказала Дарья, — хоть вовсе не ходи: теперь всѣ еще спятъ, а коли гдѣ и достучишься, такъ тебя ни за что въ избу не впустятъ. Вѣдь здѣсь такой народъ, что не приведи Господи!

— Э! знаешь ли что, Дарьюшка?... Пойдемъ ка вмѣстѣ къ твоей знакомой старушкѣ, Аксиньѣ Никитичнѣ...

— Да ея нѣтъ дома. Я вчера къ ней заходила. Ушла за пятнадцать верстъ и домой то вернется развѣ сегодня къ вечеру.

— Ну, плохо дѣло!... Мы будемъ здѣсь валандаться, а Андрей Поморянинъ, того и гляди, что нагрянетъ сюда

съ цѣлой ватагаю... Пстой ка, пстой!... Вѣдь избенка этого безумнаго Павла—вотъ, что хотѣлъ насъ въ дождевой водѣ перекрещивать—кажись близехонько отсюда? Попытаться раввѣ... Неровенъ часъ: иногда и дуракъ сослужить службу лучше умнаго... Ты, батюшка, останься здѣсь, только смотри, чтобъ васъ и слышно не было... Какъ знать, неровно вдругъ нагрянуть. А чтобъ и лошади то стояли смирно, такъ нациплите травки, да дайте имъ перехватить, а я пойду, толкнусь къ этому шальному.

Феропонтъ не ошибся въ своемъ предположеніи: избушка перекрещеванца Павла была шагахъ въ трехстахъ отъ того мѣста; гдѣ ихъ разбили лошади. Онъ тотчасъ узналъ ее по огромной плетушкѣ съ дождевой водой, которая стояла попрежнему у самыхъ воротъ. Феропонтъ стукнулъ подъ окномъ.

— Кто тамъ?—раздался въ избѣ звонкій голосъ Павла.

— Я, батюшка—я!

— Да кто ты?

— Знакомый.

Окно растворилось, и Павелъ высунулъ изъ него свою косматую голову.

— Здравствуй, отецъ Павелъ! — сказалъ Феропонтъ. — Мнѣ надо съ тобой словечко перемолвить.

— Да ты кто таковъ?

— А вотъ помнишь, третьяго дня проѣзжіе—еще ты угваривалъ насъ креститься въ дождевой водѣ.

— Ну, такъ чтожь?

— А то, батюшка, что мнѣ надо объ этомъ путемъ съ тобой потолковать. Ужь полно, не правду ли ты говоришь, отецъ Павелъ?

— Ну, коли ты хочешь объ этомъ со мною побесѣдовать, такъ милости просимъ.

Павелъ отперъ ворота и, введя своего гостя въ избу, пригласилъ его сѣсть на лавку подѣ образами; но Феропонтъ низко поклонился и промолвилъ смиреннымъ голосомъ.

— Нѣтъ, отецъ Павелъ, изволь ка садиться самъ въ передній уголъ: ты вѣдь наставникъ, а я что? я и постою.

Павелъ, который во всю жизнь свою не могъ попасть ни къ кому въ наставники, обомлѣлъ отъ радости; онъ вытащилъ изъ-подъ лавки рогожку, разостлалъ ее по полу, потомъ снялъ съ полки толстую книгу въ кожаномъ пе-

реплетъ, разогнулъ ее и положилъ на столъ, а самъ, помѣстясь подъ образами, погладилъ съ важностію свою жиденькую бородку и сказалъ:

— Ну, коли ты прибѣгаешь ко мнѣ яко суетный и избираешь меня въ свои отцы духовные и наставники, такъ я приѣмлю тебя съ любовію. Я вижу, ты желаешь покаяться въ грѣхахъ твоихъ—кайся, чадо, кайся!

— Вотъ тебѣ разъ! — подумаль Феропонтъ.—Ахъ, ты шельмецъ этакій! еще хочеть исповѣдовать!...

— Ну чтожь ты, чадо? — продолжалъ Павелъ. — Преклони колѣна и кайся во грѣхахъ своихъ!

— Нѣтъ, батюшка! — прервалъ Феропонтъ, — эта рѣчь впереди. Я хотѣлъ только сказать тебѣ, что третьяго дня мы съ бариномъ торопились въ село Толстошееино, такъ намъ некогда было тебя послушать, а все-таки насъ радумье взяло... Немного ты словъ сказалъ, отецъ Павелъ, а всѣ они у меня и у моего барина крѣпко въ головѣ за-сѣли.

— Право?

— Какъ подумаешь — подлинно правда: вся земля осквернена.

— Ужь я тебѣ говорю!... Живого мѣстечка не осталось. Куда ни оборотись, все мераость запустѣнія!

— Истинно такъ!... И баринъ мой говорить то же.

— А коли вся земля предана сквернѣ, такъ какъ же текущія по лицу ея воды могутъ оставаться неоскверненными?

— Такъ, такъ!... И баринъ мой говорить то же.

— А вѣдь окрещенныхъ въ оскверненной водѣ надо опять перекрещивать?

— Надо, батюшка, надо!

— Ну!... А въ чемъ же ты ихъ станешь крестить?... Ань дѣло то и выходитъ, что одно только и есть вода, непричастная сему злу—вода небесная.

— Сирѣчь дождевая?... Вотъ и баринъ мой говорить то же.

— А коли такъ, зачѣмъ же дѣло стало?... Гдѣ твой баринъ?... Подавай его!... Я васъ сейчасъ окрещу.

— Нѣтъ, отецъ Павелъ, погода!... Дай намъ прежде подумать, да приготовиться; вѣдь это дѣло не шуточное.

— Эй, не откладывайте!... Благо вы попали на правый путь... Что тутъ мѣшкать, коли у меня есть про васъ и

крещенье истинное, и отпущенье грѣховъ, и спасенье душевное...

— Такъ, батюшка, такъ!... А есть ли у тебя телѣга?

— Телѣга! На что тебѣ?

— Да вотъ дѣло какое, отецъ Павелъ: мой баринъ былъ нареченнымъ женихомъ дочери Андрея Поморянина.

— Какъ!... этого пришеца... отщепенца окаяннаго, который называется насъ еретиками?

— Да вѣдь дочь то вовсе не въ батюшку, и она то же говорить, что баринъ.

— Ой-ли?

— Какъ же!... Вѣдь за это и дѣло стало. Андрей какъ то подслушалъ, что мой баринъ уговорился съ его дочерью взять тебя въ наставники—вотъ и пошла потѣха!... Батюшки, какъ онъ осерчалъ!

— Эка зависть, подумаешь!... Мало ли у него учениковъ то, разбойникъ этакій!

— Ну, вотъ поди ты!... Поднялъ такой крикъ, что святыхъ вонь понеси!... Ужь онъ позорилъ, позорилъ тебя!... Что, дескать, этотъ Павелъ—дурачина, мужикъ безграмотный!...

— Безграмотный?... Вретъ онъ, нечестивецъ этакій!... Вишь, ученъ больно!... Да я плевать хотѣлъ на его сатанинскую мудрость! Что мудрость земная?... Прахъ!

— Вотъ и баринъ мой говорить то же, да онъ то свое несетъ. «Коли, дескать, ты идешь въ ученики къ этому лапотнику Павлушкѣ Калмыку, такъ не выдаю за тебя дочери; пошелъ вонъ изъ дому!»—Ну, дѣлать нечего, вотъ мы и поѣхали въ село Толстошеино: тамъ у барина моего есть прятель; а сегодня чѣмъ свѣтъ подѣхали къ Андрееву скиту, да дочку то у него и сманили.

— Право?... Дѣло, ребята, дѣло!... Ай да молодцы!... Ништо ему, еретикъ проклятому!

— Да вотъ, отецъ Павелъ, какой грѣхъ случился: недалеко отъ твоей избы медвѣдь перебѣжалъ черезъ дорогу...

— Медвѣдь?... Такъ вотъ что!... То то я слушаю, что это жучка у меня на пчельникѣ воетъ какъ за языкъ повѣшенная...

— Кони то у насъ молодые,—продолжалъ Феропонтъ,—испугались, кинулись въ сторону, изломали повозку—вотъ мы теперь и сидимъ; а того и гляди, что за нами погоня будетъ.

— Да вы куда ѣдете?  
— Въ село Толстошеино.  
— А кони ваши гдѣ?  
— Тамъ, съ бариномъ, въ лѣсу — близехонько отсюда.  
— Телѣга то у меня есть — и знатная телѣга!  
— Мы тебѣ за нее заплатимъ, отецъ Павелъ.  
— Зачѣмъ!... Вѣдь вы скоро опять ко мнѣ будете?  
— Какъ же!... Дай только намъ свадьбу отпировать, а тамъ всѣ къ тебѣ пріѣдемъ.

— Такъ вы захватите ее съ собою.

— И то дѣло!... А ты нашу повозку побереги. Да только пожалуйста, отецъ Павелъ, поторопись!... Вѣдь Андрей какъ разъ нагрянетъ съ народомъ, а насъ всего двое.

— Ну, пойдѣмъ!

Когда они вышли на дворъ, Феропонтъ, не мѣшкая, осмотрѣлъ телѣгу и принялся уже тащить ее со двора, какъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться.

— Постойка на минутку, — шепнулъ онъ, выпуская изъ рукъ оглобли. — Что это какъ будто бѣ вѣтромъ наноситъ?.. Чу! слышишь?

— Да, слышу!... Сюда ѣдутъ и, кажись, очень шибко.

— Ну, такъ и есть! Отецъ Павелъ, запри-ка ворота, да пойдѣмъ въ избу. Коли они остановятся, да станутъ тебя разспрашивать...

— Небось! Ужъ я знаю, что имъ отвѣтить.

Не прошло двухъ минутъ, какъ этотъ глухой шумъ превратился въ громкій и внятный конскій топотъ; можно было ясно различить, что довольно многолюдная толпа всадниковъ скачетъ по лѣсу. Вотъ они поровнялись съ избою Павла... «Стой!» — закричалъ кто-то повелительнымъ голосомъ. — Павелъ выглянулъ въ окно: подлѣ самой завалины стояла телѣга, запряженная тройкой пѣгихъ лошадей, а кругомъ нея человекъ десять верховыхъ.

— Послушай-ка, любезный, — сказалъ человекъ пожилыхъ лѣтъ, который сидѣлъ въ телѣгѣ, — проѣхала здѣсь повозка тройкою?

— Проѣхала, — отвѣчалъ Павелъ.

— Куда?

— Да прямо по дорогѣ въ Куклино... Вѣдь здѣсь другой ѣзды нѣтъ.

— А давно они проѣхали?

— Да не такъ, чтобъ давно, а ужь, чай, далеко впереди—гонять такъ, что и, Господи!

— Пошелъ! — закричалъ пожилой человекъ. Тройка помчалась, а вслѣдъ за нею понеслась вся толпа всадниковъ.

— Ну, вотъ и слѣдъ простылъ,—сказалъ Павелъ.

— Да что въ этомъ толку? — прервалъ Феропонтъ. — Вѣдь другой дороги въ село Толстошеино нѣтъ, кромѣ Кукулинской?

— Нѣтъ.

— Эхъ, плохо дѣло!... Вотъ, говорятъ, бѣглому одна дорога, а погонщикамъ много — анъ выходить дорога то у насъ одна; или мы ихъ догонимъ, или они съ нами повстрѣчаются, а ужь намъ ихъ не миновать. Да нѣтъ ли, отецъ Павелъ, какого-нибудь проселка?

— И дорога есть другая, да только зимняя.

— Гдѣ?

— А вотъ, не доѣзжая до околицы, поворотъ направо. Зимомъ дорога знатная, все лѣсомъ, почитай вплоть до села Толстошеина; а лѣтомъ больно плохо; два раза Брынь надо переѣзжать, и болотца есть.

— Да лишь бы только была какая ни есть ѣзда, а то кони у насъ добрые: вывезутъ.

— Ну, коли такъ, ступайте съ Богомъ! Не знаю, какъ дальше, а верстъ десять проѣдете хорошо. Я вчера ходилъ по этой дорогѣ навѣстить знакомаго старца. Онъ живетъ въ лѣсу одинъ.

— Какъ! и лѣтомъ и зимою?

— Да!... Зимомъ онъ живетъ въ землянкѣ, а лѣтомъ спасается на соснѣ... Такой строгій старецъ!...

— На соснѣ!.. Ужь это не Паенутій ли?

— Да, старецъ Паенутій. Онъ сказывалъ мнѣ, что третьяго дня по этой дорогѣ проѣхалъ одинъ мужичекъ порожнякомъ, такъ авось и вы проѣдете. Лѣто стоитъ жаркое, чай, болотца то повисохли, а черезъ Брынь, гдѣ хочешь ступай, вездѣ бродъ... Только смотрите, не сбейтесь съ дороги. Сначала просѣлка пойдетъ все прямо, а тамъ какъ въ первый разъ переѣдете Брынь, такъ не доѣзжая до сосны, на которой живетъ Паенутій, поворотъ въ село Толстошеино, а прямо то пойдетъ дорога въ село Боброво.

— Ну, дѣлать нечего! — сказалъ Феропонтъ. — Коли нѣтъ сапоговъ, такъ и лапти въ чести. Прощай покамѣсть, отецъ Павелъ! Я пойду, возьму телѣгу.

— Пойдемъ, я помогу тебѣ.

— Не трудись, батюшка, я свезу одинъ.

— Вдвоємъ то лучше; да я же хочу перемолвить словечко съ твоимъ барининомъ.

— Послѣ, отецъ Павелъ, послѣ!... Успѣете наговориться, а теперь сходи-ка лучше къ себѣ на пчельникъ.

— А что?

— Да за медвѣдемъ то, что перебѣжалъ намъ дорогу, гнались пчелы, и онъ весь испачканъ въ меду,—такъ не у тебя ли онъ это проворилъ.

— А что ты думаешь!—вскричалъ Павелъ.—Вѣдь другого пчельника здѣсь нѣтъ... Ну, такъ и есть!—продолжалъ онъ, кинувшись опроретью изъ избы.—Проклятый! чай, онъ всѣ пеньки у меня перевалилъ!

Феропонтъ очень обрадовался, что успѣлъ отдѣлаться отъ этого Павла, котораго онъ вовсе не желалъ свести съ своимъ барининомъ.

— Фу ты, батюшки!—молвилъ онъ, выходя на дворъ,—насилу отвязался. Бѣда, кабы онъ присталъ къ барину: вѣдь тотъ, пожалуй, все дѣло бъ испортилъ. Ну, теперь за работу!

Феропонтъ впрегся въ телѣгу и, какъ добрый конь, довезъ ее въ двѣ минуты до того мѣста, гдѣ лежала на боку ихъ повозка. Онъ нашель всѣхъ въ большой тревогѣ.

— Феропонтъ! — сказалъ торопливо Левшинъ, — что это за люди проскакали по дорогѣ?... Ужь не погоня ли?

— Да, батюшка.

— Чтожь намъ дѣлать? Вѣдь дорога то одна?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ! — отвѣчалъ Феропонтъ, спѣша запрягать лошадей.—Мнѣ добрый человекъ показалъ дорогу. Мы выѣдемъ по ней прамехонько къ селу Толстошеину. Говорятъ, больно плоха; да Богъ милостивъ, авось проѣдемъ какъ-нибудь!

Черезъ нѣсколько минутъ все было готово. Наши путешественники выбрались потихоньку изъ лѣсу и, доѣхавъ до околицы Федосѣевского скита, повернули налѣво въ узкую просѣку, по обѣимъ сторонамъ которой тянулся безконечный рядъ огромныхъ деревьевъ. Внизу, поросшая высокой травой дорога была еще покрыта густою тѣнью, но на высокихъ вершинахъ этихъ вѣковыхъ сосенъ играли уже первые лучи восходящаго солнца.



Х.

Встрѣча съ медвѣдемъ до того перепугала Дарью, что когда они вѣхали въ эту темную и пустынную просѣку, ей стали поминутно мерещиться то огромные медвѣди, то цѣлыя стаи косматыхъ волковъ. Съ трепетомъ озираясь кругомъ, она творила про себя молитву и вскрикивала всякій разъ отъ ужаса, когда въ лѣсу раздавался шорохъ или хрустѣль валежникъ подъ ногами какого-нибудь звѣря: Впрочемъ, эти опасенія раздѣлялъ съ нею—разумѣется, до нѣкоторой степени, и самъ Феропонтъ; онъ замѣчалъ, что лошади отъ времени до времени пугались, храпѣли и робко прижимали къ головамъ свои чуткія уши. Софья, напротивъ, казалась гораздо спокойнѣе и даже веселѣе прежняго; по крайней мѣрѣ она уже не плакала. Пока Феропонтъ бесѣдовалъ съ Павломъ, то есть старался выманить у него тѣлгу, Левшинъ успѣлъ обо всемъ переговорить съ своей невѣстою. Теперь она знала, что у боярина Куродавлева все готово для ихъ свадьбы, и что черезъ нѣсколько часовъ она уже будетъ не бѣглянкою, но законной супругою Левшина. Конечно, для нея очень было прискорбно идти замужъ безъ отцовскаго благословенія; но она и тутъ утѣшала себя мыслию, что рано или поздно отецъ проститъ ее; а сверхъ того Софья рѣшилась на этотъ отчаянный поступокъ потому только, что ей ничего другого не оставалось дѣлать. «О, я никогда бы не вышла изъ отцовской воли!» — думала Софья; — «и еслибъ батюшка не хотѣлъ меня выдать за этого мещовскаго воеводу, то, можетъ быть, я умерла бы съ горя, а все-таки не обвѣнчалась бы ни съ кѣмъ безъ его благословенія».

Когда наши путешественники проѣхали верстъ около шести по этой, хотя и ровной, но зато вовсе не торной дорогѣ, Феропонтъ, замѣтивъ, что лошади начинаютъ уставать, пересталъ ихъ понукать и далъ волю идти шагомъ.

— Вотъ, — сказалъ онъ, — дорога, кажись, гладкая, а какъ разъ лошадокъ уморишь. Намъ хорошо, да имъ то какво бѣжать цѣликомъ: вѣдь колесы по травѣ вовсе не катятся... Правда, гнать то намъ нечего: мы здѣсь съ Андреемъ не встрѣтимся.

— А что, дорога все будетъ этакая? — спросилъ Левшинъ.

— Да Богъ вѣсть! — отвѣчалъ Феропонтъ, посматривая вдоль просѣки. — Говорять, впереди есть болотца и Брынь надо переѣзжать. Вѣдь лѣтомъ по этой дорогѣ никто не ѣздитъ.

— Такъ проѣдемъ ли мы?

— Проѣдемъ какъ-нибудь. Ну, можетъ статья, разика два-три и побьемся. Какъ попадешь въ трясины, такъ не скоро выгѣдешь. Правда, мнѣ говорили, что вчера еще одинъ мужичекъ проѣхалъ порожнякомъ по этой дорогѣ, такъ авось и насъ Господь пронесетъ.

— Говорили!... Да кто тебѣ говорилъ?

— А вотъ этотъ перекрещеванецъ, Павелъ.

— Такъ ты у него и телѣгу-то купилъ?

— Нѣтъ, не купилъ: онъ мнѣ такъ ее далъ.

— Вотъ что... Да какъ же это онъ?...

— А такъ же!... Въ томъ то и дѣло, Дмитрій Афанасьичъ: какъ погладишь дурака по шерсти, такъ онъ за тебя въ воду полѣзаетъ. Кабы я не сказалъ этому полоумному, что хочу идти въ его вѣру, такъ онъ бы меня и на дворъ не пустилъ.

— Такъ ты ему сказалъ, что хочешь перекрещиваться?

— Какъ же, батюшка!... Я сказалъ, что и ты желаешь взять его въ свои наставники.

— Что ты, въ умѣ ли, Феропонтъ?... И какъ у тебя языкъ повернулся...

— Да чтожь мнѣ было дѣлать, Дмитрій Афанасьичъ?... Коли на правду не возьмешь, а на силу взять нельзя, такъ пришлось подыматься на хитрости. Иль ты думаешь, мнѣ весело было, когда этотъ сермяжникъ выдумалъ меня исповѣдовать.

— Исповѣдовать?

— Да, батюшка!... Насилу отвязался. Вытащилъ какую то книгу, и рожку мнѣ подостлалъ, чтобъ я сталъ на колѣни; да такъ и пристаешь—лапотникъ этакій!... «Кайся, чадо, кайся!»—Вотъ ты, Дмитрій Афанасьичъ, смѣешься, а мнѣ вовсе не до смѣху было. Кабы воля да воля, такъ я бы этого Павлушку богохульника отучилъ исповѣдовать; а тутъ дѣлать то нечего, и зло беретъ, да поневолѣ кланяешься и говоришь этому замарашкѣ: «батюшка, отецъ Павелъ!» Вотъ то то и есть, Дмитрій Афанасьичъ, не даромъ пословица: «неволя плачетъ, неволя скачетъ, неволя пѣсенки поетъ».

— Ступай-ка, Феропонтъ, скорѣй, — прервалъ Левшинъ. Мы ѣтакъ, пожалуй, цѣлый день протащимся.

— Куда цѣлый день!... Лишь только бы не сидѣть гдѣ-нибудь въ болотѣ, а то коли и все шагомъ поѣдемъ, такъ будемъ дома прежде полудень. Ну что, сердечныя, вздохнули?... Эй вы!

Несмотря на свою усталость, лошади приняли дружно и побѣжали шибкой рысью.

— Э! да что это? — промолвилъ Феропонтъ, когда они проѣхали еще версты двѣ. — Никакъ Брынь?... Ну, такъ и есть!... Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ онъ, сдерживая лошадей, — возьми-ка, батюшка, вожжи, а я пойду поищу, гдѣ намъ переѣхать.

Феропонтъ возвратился черезъ нѣсколько минутъ, неся въ рукахъ свою обувь.

— Ну, что? — спросилъ Левшинъ. — Есть ли бродъ?

— Знатный, батюшка! — Не глубоко; въ одномъ только мѣстѣ по поясъ, а то все по колѣно.

— Такъ садись скорѣе.

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, лошадей то надо выпрячь.

— А что?

— Да съ нашей стороны спускъ больно плохъ. Видно, весной большая вода была: весь берегъ подмыло. Такой обрывъ, что не приведи Господи!... Въ поводу то лошадей мы какъ-нибудь переведемъ, а ужъ телѣгу надо на себѣ спустить.

— Ахъ, батюшки! — вскричала Дарья. — Да намъ то какъ же?... Неужли по водѣ идти?

— Зачѣмъ? Вы только спуститесь съ берега, а тамъ садитесь опять въ телѣгу, ужъ я васъ перевезу. Да ты не изволь тревожиться, матушка Софья Андреевна! — промолвилъ Феропонтъ, обращаясь къ невѣстѣ своего барина. — Мы и не такіе возы на себѣ вживали. Что въ васъ обѣихъ тяги то много ли!... А я однажды, за споромъ, сорокоушу съ водой на берегъ вывезъ.

Левшинъ перевелъ по одиночкѣ лошадей черезъ Брынь, а Феропонтъ, привязавъ къ телѣгѣ вожжи, спустилъ ее почти съ отвѣснаго берега въ воду, потомъ помогъ сойти Софьѣ и Дарьѣ, усадилъ ихъ опять въ телѣгу и повезъ на себѣ черезъ Брынь.

— Ну! — прошептала Дарья, поглядывая съ невольнымъ

уваженіемъ на своего суженаго, — послалъ мнѣ Господь женишка!... Посмотрика-ка Софья Андреевна: словно лошадь везеть, да хоть бы разъ понатужился!... Вотъ это молодець, такъ молодець: ужъ не Архипкѣ ружему чета!

Когда лошадей опять запрягли, Феропонтъ, желая вознаградить потерянное время, погналъ ихъ снова рысью. Не прошло и четверти часа, какъ они выѣхали на небольшую луговину, посреди которой росли отдѣльной куртиною нѣсколько сосенъ. Одна изъ нихъ была необычайной толщины, и ея вѣтвистая вершина не подымалась остроконечной пирамидою къ верху, но раскидывалась во всѣ стороны огромнымъ шатромъ. Просѣка, которая оканчивалась этой поляною, начиналась снова на ея противоположной сторонѣ. Поровнявшись съ сосновой куртиною, Феропонтъ остановилъ лошадей.

— А что, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ онъ, — какъ ты думаешь: прямо что-ль намъ ѣхать?

— Да развѣ ты не видишь: вонъ просѣка то передъ нами.

— Вижу, батюшка, вижу!... Только не здѣсь ли гдѣ-нибудь поворотъ въ Толстошеино?... Кажись, нѣтъ. Я посматривалъ и направо и налево.

— Такъ, видно, мы еще до поворота не доѣхали.

— Видно, что такъ!

— Внимайте, путники, внимайте! — закричалъ кто-то пронзительнымъ и дикимъ голосомъ. Этотъ внезапно раздавшійся въ пустынномъ лѣсу человѣческій голосъ заставилъ невольно содрогнуться Левшина и Феропонта. Софья поблѣднѣла, а Дарья вскрикнула съ ужасомъ: «Батюшки—лѣшій!»

— Чего ради блуждаете въ сихъ дебряхъ! — раздался опять тотъ же самый голосъ. — Или желаете обрѣсти смиреннаго старца Пафнутія, и святой бесѣдою его очистить оскверненныя грѣхомъ сердца ваши?

— Э! да это Пафнутія — прошептавъ Феропонтъ. — Ну, помнишь, батюшка, запощеванцевъ?... Да откуда онъ намъ кричитъ?... А, вотъ онъ!... Посмотри-ка, Дмитрій Афанасьичъ, вонъ на соснѣ... видишь, онъ сидитъ какъ сычъ въ дуплѣ!... Подержи-ка, батюшка, лошадей, а я сойду съ нимъ поговорить, авось онъ намъ укажетъ, гдѣ поворотъ.

Феропонтъ снялъ шапку и подошелъ къ толстой соснѣ. Изъ дупла, которое было сажени двѣ отъ земли, выгляды-

вало знакомое уже нашимъ читателямъ, худощавое, звѣрское лицо, съ полоумными, сверкающими глазами.

— Богъ помощь, отецъ Пафнутій!—сказалъ Феропонтъ, кланяясь въ поясъ.—Я привезъ тебѣ поклонъ отъ Федосѣевского старца, отца Павла.

— Да ты то самъ, чадо, мимо грядешь,—прервалъ Пафнутій,—или пришелъ въ сію пустыню ради меня, труженника и благовѣстника истинной вѣры?

— Нѣтъ, батюшка! Я теперь ѣду въ село Толстошеино, да скоро вернуся назадъ и ужъ тогда послушаю твоихъ рѣчей. Я затѣмъ и поѣхалъ зимней дорогою, чтобъ отвезти тебѣ отъ отца Павла поклонъ, да и самому мнѣ хотѣлось тебѣ поклониться.

Пафнутій поглядѣлъ недоувѣрчиво на Феропонта и сказалъ:

— Въ село Толстошеино!... А почто грядешь ты, чадо, въ сей вертепъ льва рыкающаго, въ сіе жилище слуги и сподвижника антихристова?

— Послали, батюшка; дѣло невольное; велятъ, такъ поѣдешь.

— А кто сей мужъ, что сидитъ у тебя на возу съ покрытой главою?

— Это, батюшка, недужный человекъ, слѣпой и нѣмой. Мнѣ приказано отвезти его въ село Толстошеино.

— А юныя отроковицы, съ нимъ сидящія?

— Сестра его и работница... Теперь, отецъ Пафнутій, скажи пожалуйста: вѣдь прямо то просѣкою дорога куда пойдетъ?

— Въ нѣкую вѣсь, селомъ Бобровымъ именуемую.

— А гдѣ же поворотъ въ Толстошеино?

— Обратися вспять, чадо! Зришь ли тамо четыре древа, ихъ же берегами нарицають?

— Четыре березы?... Вижу, отецъ Пафнутій, вижу.

— На восточной странѣ оныхъ, среди мелкодревесія, и обрѣтается путь, ведущій въ сіе гнѣздилище разврата и нечестія, глаголемое село Толстошеино.

— Такъ мы поворотъ то проѣхали! Ну,—промолвилъ Феропонтъ, надѣвая шапку,—спасибо тебѣ, старинушка, что ты голось подаль! Кабы не ты, такъ мы сбились бы съ дороги такъ же, какъ дня четыре тому назадъ... ну, вотъ помнишь, Пафнутій, какъ мы у тебя залощеванцевъ отбили?

— Какъ! — вскричалъ Пафнутій; — такъ это вы, богоотступники окаянныя?

— Мы, дѣдушка, мы! Счастливо оставаться!

— Ахъ вы святотатцы проклятые!... Еретики, разбойники, душегубцы!

— Врешь ты, сычъ этакій — прервалъ Феропонтъ, уходя. — Мы не въ тебя, старый чортъ: мы живыхъ то людей голодомъ не моримъ!

— Умолкни, буселовъ нечестивый! завопилъ неистовымъ голосомъ раскольникъ. — Да будетъ часть твоя съ Каиномъ, Иудюю и три краты окааннымъ наставникомъ вашимъ, Андреемъ Поморяниномъ!

— Экій злющій! — шепнулъ Феропонтъ, подходя къ телѣгу. — Словно цѣпная собака — такъ и надсѣдается!

— Да постигнуть васъ всѣ казни египетскія! — продолжалъ кричать Пафнутій. — Да пожретъ васъ въ живѣ адскій пламень, и ни единая капля воды да не прохладитъ богохульныхъ устъ вашихъ.

— Тьфу ты, старый хрѣвъ! — сказалъ Феропонтъ отплевываясь. — Надъ тобой бы самимъ и тряслось, филинъ этакій! Вишь, что сулить, проклятый! — промолвилъ онъ, сядя на козлы и поворачивая лошадей.

Довѣхавъ до березъ, они отыскали поворотъ въ село Толстошеино и потащились шагомъ по дорогѣ, которая до того была узка и изрыта корнями сосенъ, что по ней невозможно было ѣхать иначе. Долго еще доносились до ихъ слуха дикіе вопли Пафнутія, который продолжалъ бѣсноваться и осыпать ихъ проклятіями.

— Что это онъ такъ осерчалъ? — спросилъ Левшинъ.

— Да вотъ что, батюшка, — отвѣчалъ Феропонтъ. — Онъ меня не призналъ; а я, какъ выпыталъ отъ него, куда намъ ѣхать, такъ и напомнилъ ему о запощеванцахъ.

— Охота же тебѣ дразнить сумасшедшихъ.

— Нельзя, Дмитрій Афанасьичъ!... За что же я передъ нимъ шапку то снималъ, да кланялся ему въ поясъ?.. Чего добраго, этотъ гордецъ сталъ бы думать, что я и вправду приходилъ къ нему на поклоненіе.

— Да вѣдь Павелъ же думаетъ, что ты хочешь быть его ученикомъ.

— То дѣло другое, батюшка! Павелъ далъ намъ телѣгу, изъ бѣды насъ выручилъ — такъ пусть себѣ и потѣшается. А этотъ что?... Дорогу то показалъ!... Да и воля

твоя, батюшка: Павелъ просто человекъ убогій, шальной, а этотъ Пафнутій не человекъ, а дикій звѣрь!... Чу! слышишь ли, Дмитрій Афанасьичъ—онъ все еще ореть!... Эко горло, подумаешь!... Ну! не диво, что этотъ еретикъ живетъ въ лѣсу одинъ: коли онъ этакъ часто покрикиваетъ, такъ медвѣди то и волки, чай, верстъ за пять кругомъ дрожкой дрожать!

Наши путешественники переправились вторично безъ дальняго труда черезъ рѣчку Брынъ и проѣхали благополучно трясины, по которымъ въ лѣтнюю пору почти всегда не было никакого проѣзда. На этотъ разъ догадка перекрещеванца Павла оправдалась на самомъ дѣлѣ: отъ сильныхъ и постоянныхъ жаровъ болота во многихъ мѣстахъ вовсе пересохли, а въ другихъ окрѣпли до того, что колеса оставляли на нихъ едва замѣтный слѣдъ. Но, несмотря на это, имъ нельзя было ѣхать скоро по усѣянной кочками и крупнымъ валежникомъ дорогѣ, или, лучше сказать, цѣлику, который въ зимнее только время превращался въ гладкую и ровную дорогу. Солнце было уже довольно высоко, когда Феропонтъ, посмотрѣвъ внимательно впередъ, сказалъ своему барину:

— Ну вотъ, Дмитрій Афанасьичъ, — слава тебѣ Господи! — сейчасъ выберемся изъ этой трупцобы. Видишь, прямо между деревьями?... Теперь позаслонило кустами... вотъ опять мелькнула... это большая дорога, батюшка!... А посмотри-ка лѣвѣе, вонъ за елкой то, высокая кровля съ трубою... вѣдь это боярская винокурня!... Всего съ версту до села осталось.

Въ самомъ дѣлѣ, они выѣхали черезъ нѣсколько минутъ на большую дорогу, и почти въ то же самое время послышался въ близкомъ отъ нихъ разстояніи конскій топотъ. Феропонтъ неволью осадилъ лошадей.

— Господи! — вскрикнула Дарья, — вонъ скачутъ прямо къ намъ... Ну! попались мы.

— Постой-ка, постой! — молвилъ Феропонтъ. — Да это ѣдутъ отъ села... вѣрно, къ намъ навстрѣчу... Ну, такъ и есть: Кондратій Тиховычъ!...

Феропонтъ не ошибся: къ нимъ подѣхалъ, въ сопровожденіи трехъ верховыхъ, дворецкій боярина Куродавлева. Увидѣвъ незнакомыхъ людей, Софья опустила свою фату. Какъ ни любила она Левшина, но въ эту минуту чувство стыда было въ ней сильнѣе самой любви: ей со-

вѣстно было глядѣть на свѣтъ Божій. Ей казалось, что всѣ должны были смотрѣть на нее съ этимъ обиднымъ любопытствомъ, съ этой насмѣшливой улыбкою, которая только что не говоритъ: «Ай да дочка! потѣшила батюшку!... Теперь ушла отъ отца, а тамъ, глядишь, и отъ мужа убѣжить!...»

— О! зачѣмъ я не умерла съ тоски!—шептала про себя бѣдная дѣвушка, заливаясь слезами. — Ужь одинъ бы конецъ... А теперь... Боже мой, Боже мой!... да развѣ легче для меня не смѣть взглянуть на добрыхъ людей и по сту разъ на день умирать со стыда!

Левшинъ соскочилъ съ телѣги, а Кондратій спѣшился, подошелъ къ нему и сказалъ почтительнымъ голосомъ.

— Здравствуй, батюшка Дмитрій Афанасьичъ! Ужь мы тебя ждали, ждали!... Юрій Миксимовичъ начиналъ тревожиться и выслалъ меня къ вамъ навстрѣчу... Онъ приказалъ тебѣ доложить, чтобъ ты пожаловалъ къ нему, а для твоей суженой отведена изба у старосты. Тамъ ее примутъ и уберутъ къ вѣнцу сѣнныя дѣвушки, а боярская кормилица, Матрена Никитишна, вмѣсто посаженной матери благословить ее святой иконою. Въ свахи большія, съ осыпаломъ, наряжена моя старуха, а въ меньшія свахи ключница Игнатъевна. Бояринъ изволилъ сказать, что онъ у тебя посаженнымъ отцомъ, и хочетъ снарядить твою невѣсту, какъ свою дочь родную. Отецъ Егоръ ужь давно васъ въ церкви дожидается, а самъ бояринъ не будетъ въ поѣздѣ; а какъ вы обвѣнчаетесь, такъ встрѣтитъ васъ у себя съ хлѣбомъ да солью. Онъ прежде вѣнца, — промолвилъ вполголоса Кондратій, — не желаетъ видѣть твоей суженой: боится, что ей будетъ стыдно.

Въ продолженіе этого разговора, Дарья, которая также, ради дѣвичьей стыдливости, опустила фату, шептала Софьѣ:

— Смотри-же, Софья Андреевна, когда стануть тебя одѣвать къ вѣнцу, да начнутъ косу расплетать, такъ ты, моя голубушка, тутъ то себя покажи—такъ и разрывайся!

Левшину подвели верховую лошадь; онъ присоединился къ поѣзду и, проводивъ свою невѣсту до старостина двора, который былъ въ двухъ шагахъ отъ церкви, отправился къ боярину Куродавлеву.

## XI.

Левшинъ нашелъ боярина въ его любимомъ теремномъ покоѣ.



— Добро пожаловать, Дмитрій Афанасьичъ! — вскричалъ Куродавлевъ, идя къ нему навстрѣчу. — Ну, что твоя суженая? Привезъ ли ты ее?

— Привезъ, Юрій Максимовичъ.

— Ай да молодецъ!... То-то потѣха будетъ въ Мецовскѣ!... Чай, Ѳедька Токмачевъ затѣялъ пиръ во весь міръ!... Гостей назвалъ!... Изхарчился!... Анъ вотъ тебѣ и невѣста!... Что взялъ?... По усамъ текло, да въ ротъ не попало... мошенникъ этакій!... А я, Дмитрій Афанасьичъ, начиналъ ужъ побаиваться... Да что вы, шагомъ что-ль ѣхали?

— Туда ѣхали скоро, Юрій Максимовичъ, а назадъ почитай все шагомъ, насили дотащились.

— Какъ такъ?... На этой тройкѣ?

— Что-жъ дѣлать: дорога-то больно плоха. Вѣдь мы ѣхали зимнимъ путемъ.

— Зачѣмъ?

— За нами была погоня, а повозка-то у насъ сломалась. Вотъ пока мы сидѣли притаясь въ лѣсу, погонщики взяли у насъ переду. Мы послѣ кое-какъ телѣгу достали, да ѣхать-то намъ нельзя было по одной съ ними дорогѣ.

— Вотъ что!... Такъ за вами была погоня?... А знаетъ ли Андрей Поморянинъ, что это дѣло ты спроворилъ?

— Какъ-же!... И меня и слугу моего видѣлъ сторожъ.

— Ну такъ мѣшкать нечего!... Чай, будущій твой тесть знаетъ, что ты гостишь у меня и ужъ вѣрно сюда пожалуетъ. Ступай-ка, Дмитрій Афанасьичъ, принарядись на скорую руку, да и къ вѣнцу!... Коли васъ успѣютъ повѣнчать прежде, чѣмъ онъ пріѣдетъ, такъ и всѣ концы въ воду!... Вотъ этакъ-то будетъ лучше, — продолжалъ бояринъ, когда Левшинъ вышелъ изъ покоя; — а то вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, какъ скажешь отцу: да, дескать, любезный, дочка твоя здѣсь, и я, посторонній человекъ, хочу выдать ее замужъ; а тебѣ, дескать, родному ея батюшкѣ, до этого и дѣла нѣтъ. — Хочешь съ нами пировать — милости просимъ, а не хочешь — такъ со двора долой! Да этого сказать и языкъ не поворотится!... Вотъ дѣло другое, какъ повѣнчались, такъ ужъ тутъ и батюшкѣ говорить нечего: въ женѣ воленъ мужъ, а не отецъ. — Эй! кто тамъ?

Въ комнату вошелъ дворецкій.

— Кондратій, — молвилъ Куродавлевъ, — пошли-ка сказать, чтобъ невѣсту скорѣй снаряжали; да готова-ли колымага, въ которой повезутъ ее къ вѣнцу?

— Какъ-же, Юрій Максимовичъ: она ужъ давно стоитъ у старосты на дворѣ.

— А много-ли вершниковъ будетъ въ жениховомъ поѣздѣ?

— Всего пятнадцать человекъ. Впереди Андрюшка Барсукъ поѣдетъ съ тулумбасникомъ, за нимъ шестеро вершниковъ по-парно, тамъ женихъ съ двумя дружками, а позади еще шестеро вершниковъ.

— Эхъ, маленько!... Ну, да такъ ужъ и быть. А женихъ на чемъ поѣдетъ?

— На своемъ аргамакѣ, батюшка; только мы осѣдали его твоимъ кизылбашскимъ сѣдломъ съ каменьями; платье подъ сѣдломъ изъ травчатого аксамиту, наузъ изъ витаго золота, а поводная пѣвь серебряная.

— Хорошо!... Теперь ступай, да поторопи жениха; мѣшкать нечего.

Оставшись одинъ, Куродавлевъ подошелъ къ окну, изъ котораго былъ виденъ дворъ, озеро, церковь и все село; онъ съ примѣтнымъ безпокойствомъ посматривалъ на дорогу, которая шла по той сторонѣ озера.

— Вотъ, такъ и жду, — прошепталь онъ, — что этотъ Андрей Поморянинъ нагрянеть ко мнѣ какъ снѣгъ на голуву!... Э! да вотъ ужъ тамъ кто-то ѣдетъ, тройкою въ телѣгѣ... Ахти, никакъ онъ!... Кажись, въ телѣгѣ сидитъ старикъ... Вотъ шибко поѣхали... Авось мимо... Нѣтъ! заворачиваютъ на плотину... сюда ѣдутъ!... Ну!!! такъ и есть... Вѣрно Андрей Поморянинъ!... Эй, Степка!—продолжалъ бояринъ, растворивъ сѣнную дверь.—Сбѣгай проворнѣй—узнай, кто это ко мнѣ пріѣхаль?

Черезъ нѣсколько минутъ слуга воротился и доложилъ Куродавлеву, что пріѣхаль передовой боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Какъ!—вскричалъ съ радостію Куродавлевъ, — другъ сердечный, Кирилла Андреевичъ?... Ну, не ждалъ я такъ скоро дорогого гостя!... Милости просимъ!.. Вотъ кстати то пожалуетъ!... Въ посаженные отцы его къ молодой!... Да, хочеть или не хочеть, а ужъ угорское-то вино мы съ нимъ покончимъ!... Веди сюда передового.

— Вотъ онъ, Юрій Максимовичъ, — сказалъ дворецкій, введя въ покой Савельича, этого досужаго пчеловода и коstopрава, который былъ нѣкогда раскольниковомъ и жилъ въ работникахъ у Андрея Денисова.—А я, батюшка,—

промолвилъ Кондратій, — пришелъ доложить тебѣ, что женихъ готовъ и сейчасъ ѣдетъ въ церковь.

— Да вотъ и повѣздъ тронулся, — прервалъ Куродавлевъ; — а вотъ и женихъ... Экій молодчина, подумаешь!... Любо-дорого взглянуть!... И осанка-то кака!... Ну, похожъ-ли онъ на стрѣлцакаго сотника?... Эхъ, жаль!... А что, братъ, — продолжалъ бояринъ, садясь въ кресла и обращаясь къ прѣвѣзшему, — какъ тебя зовутъ?

— Антошка Савельевъ, батюшка.

— Ну что, Савельичъ, ты далеко оставилъ своего барина?

— Нѣтъ, государь Юрій Максимовичъ: много, если версты четыре передъ взялъ. Лошадки-то у меня поплосше боярскихъ, да и больно поумаялись.

— Такъ другъ-то мой сердечный того и гляди прикатить?... Да какъ же онъ это пустился въ дорогу: вѣдь путь не близкій, а онъ мнѣ писалъ, что не можетъ встать съ постели?

— Да, батюшка! Кирилла Андреевичъ изволилъ зашить правую ножку, и на первыхъ-то порахъ я думалъ, что не скоро встанетъ; да видно, что это мнѣ такъ съ испугу показалось.

— Тебѣ?

— Да, Юрій Максимычъ: вѣдь боярина-то я пользовалъ.

— Вотъ что! Такъ ты человекъ досужій?

— Знаемъ кой-что, кормилецъ. Я-таки на мой вѣкъ много косточекъ повыправилъ.

— Такъ ты костоправъ?... А руду метать умѣешь?

— И это маракуемъ. Коли надо твоимъ лошадкамъ кинуть кровь, прикажи, батюшка; а коли часомъ и тебѣ самому надо будетъ жилку открыть...

— Нѣтъ ужъ, братъ, спасибо!... Вотъ развѣ какъ-нибудь ногу или руку повихнуть...

— Дай-то Господи, батюшка!... Ужъ я-бы тебѣ послужилъ...

— Что ты, что ты? — прервалъ съ громкимъ смѣхомъ бояринъ. — Вотъ о чемъ Бога молить!

— А что жъ, государь Юрій Максимычъ?... Коли тебѣ на-роду написано повихнуть ручку или ножку, такъ ужъ лучше при мнѣ: вѣдь неровенъ костоправъ, батюшка, какому попадешься...

— Да лучше, братъ, никакому. А скажи мнѣ: что Кирилла Андреевичъ совсѣмъ чтоль выздоровѣлъ?

— Нѣтъ, батюшка, все еще изволить прихрамливать; а подождать не хотѣлъ: что то больно къ тебѣ торопился.

— Знаю, знаю!... Да порадовать то его будетъ нечѣмъ.

— Юрій Максимычъ! — сказала дворецкій, входя торопливо въ комнату, — сейчасъ взѣхалъ на дворъ вотъ этотъ раскольникій то голова...

— Кто?... Андрей Поморянинъ?

— Да, батюшка.

— Ступай проворнѣй... прими его со всякимъ почетомъ.

— Какъ, батюшка!... Этого еретика?

— Да, да!... Какъ самага дорогого гостя—слышишь?

— Слушаю, сударь! — пробормоталъ дворецкій, съ трудомъ скрывая свое негодованіе.

— Введи его въ большую расписную палату: оттуда онъ ничего не увидитъ; да попроси его обождать минутки двѣ, а тамъ, какъ я къ тебѣ пришло, проводи его сюда. Ну, ступай проворнѣй!

Куродавлевъ подошелъ опять къ окну.

— Да чтожъ это они ѣдутъ не ѣдутъ? — сказалъ онъ съ примѣтнымъ нетерпѣніемъ. — Что за увальни такіе!... И зачѣмъ я не приказалъ имъ ѣхать рысью!... Вонъ плетутся какъ!... Ну, слава тебѣ Господи—доѣхали!... Вошли въ церковь... Теперь за невѣстой дѣло станетъ!... Эхъ, проваландаются они вплоть до вечеренъ!... Вѣдь эти дѣвки передъ вѣнцомъ — бѣда!... Чай, реветъ теперь въ восточный голосъ, а мой то дуры, чѣмъ бы ее скорѣе снаряжать, глядишь—также голосять!... Охъ, эти бабы! какъ примутся вопить, да причитать, такъ ихъ ничѣмъ не уймешь!... А! вотъ никакъ зашевелились... отворяютъ ворота... вотъ невѣста выѣхала!... Благо церковь то близко... Вотъ и свахи принимаютъ ее изъ колымаги... ведутъ на паперть... Ну, теперь можно!... Послушай-ка, Савельичъ, пошли сѣннаго мальчика сказать Кондратію, чтобъ онъ ввелъ сюда прѣзжаго гостя, а самъ подожди въ сѣняхъ: мнѣ еще надо будетъ съ тобой словечка два перемолвить.

Оставшись одинъ, бояринъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Несмотря на свою природную отвагу, онъ очень былъ встревоженъ. Да и было отчего: въ первый разъ еще въ жизни познакомился онъ съ чувствомъ, вовсе ему неизвѣстнымъ. Что грѣхъ таить: у боярина Юрія Максимыча Куродавлева сердце замирало отъ страха; и тотъ, кто не дрогнулъ бы стать одинъ противъ цѣлой толпы вра-

говъ, не могъ подумать безъ ужаса, что онъ долженъ остаться съ глазу на глазъ съ какимъ то Андреемъ Поморяниномъ, ничтожнымъ раскольникомъ, безоружнымъ старикомъ. Но этотъ раскольникъ былъ обиженный отецъ — этотъ старикъ пришелъ требовать отъ него своей дочери. Какъ ни старался убѣдить себя Куродавлевъ, что онъ дѣлаетъ доброе дѣло, помогая православному жениться на раскольницѣ, что этимъ онъ возвращаетъ духовной паствѣ одну изъ ея заблудшихъ овецъ, и что лучше было для невесты Левшина покинуть отца, чѣмъ остаться навсегда отлученною отъ истинной церкви—но все это было напрасно. Неумолимая совѣсть говорила свое; она шепнула ему: «Не ради добраго дѣла ты отнимаешь дочь у отца — нѣтъ! а ради того, чтобъ отомстить мещовскому воеводѣ. До сей поры ты не краснѣлъ ни передъ кѣмъ, Куродавлевъ; кому ты не смѣлъ глядѣть прямо въ глаза? А теперь... Ну ка, Юрій Максимычъ, не смигни, любезный, когда глаза этого раскольника встрѣтятся съ твоими; не покраснѣй, когда этотъ старикъ начнетъ съ тобою говорить о своей дочери»...

— Да чтожъ это такое?—прошептала бояринъ, стараясь ободрить себя. — Вѣдь дѣвку то не я сманилъ, да и Левшинъ увезъ ее не насильно... А коли дочка сбѣжала съ молодцомъ, такъ еще батюшка долженъ мнѣ спасибо сказать, что я поторопился этотъ грѣхъ вѣнцомъ прикрыть... Чу! да вотъ никакъ онъ идетъ! — промолвилъ Куродавлевъ, садясь въ кресла.

Двери распахнулись настезь, и Андрей Поморянинъ, войдя въ комнату, низко поклонился хозяину.

— Милости просимъ, сосѣдь любезный! — сказалъ Куродавлевъ, привставая.—Вѣдь мы, чай, съ тобой сосѣди?

— Да, бояринъ, я живу недалеко отсюда.

— Очень радъ съ тобой познакомиться.

— Не о знакомствѣ рѣчь, Юрій Максимовичъ, — сказалъ почтительнымъ голосомъ Андрей.—Гдѣ намъ, простымъ людямъ, вести знакомство съ такимъ знаменитымъ сановникомъ.

— И, полно любезный! — прервалъ Куродавлевъ. — Что тутъ разбирать чины: дѣло сосѣдское.

Желая чѣмъ-нибудь задобрить Андрея Поморянина, Куродавлевъ рѣшился отступить отъ своихъ правилъ, и, не смотря на то, что гость его былъ въ простомъ сѣромъ балахонѣ, онъ пригласилъ его садиться.

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, — сказалъ Андрей, — я и постою. Не пригоже мнѣ сидѣть передъ тобою: я не гость твой, а челобитчикъ.

— Все равно! — возразилъ Куродавлевъ. Можетъ быть, тебѣ не въ привычку сидѣть передъ нашей братьей, боярами?... Да вѣдь у насъ не Москва, любезный: мы здѣсь живемъ попросту... Вонъ скамеечка, придвинь-ка ее сюда, да садись, голубчикъ!

Въ продолженіе этихъ рѣчей, которыя, казалось, сильно потревожили Андрея, угрюмое лицо его покрылось яркимъ румянцемъ. Онъ не тронулся съ мѣста, не вымолвилъ ни слова; но что то похожее на исполненную неприязни и презрѣнія улыбку изобразилось на блѣдныхъ устахъ его.

— Да полно, не чинись! — продолжалъ бояринъ. — Ужь коли я тебя прошу, такъ садись, братецъ!

Та же самая улыбка была отвѣтомъ боярину, но на этотъ разъ Андрей его послушался: онъ молча взялъ, только не скамью, а точно такія же кресла, на какихъ сидѣлъ хозяинъ, поставилъ противъ него и опустился въ нихъ такъ небрежно, съ такою свободою, какъ будто бы весь свой вѣкъ сиживалъ въ боярскихъ креслахъ.

— Ахъ, онъ балахонникъ! — подумалъ Куродавлевъ. — Вишь какъ плюхнулъ!.. такъ и развалился — словно передъ своимъ братомъ!.. Могъ-бы и на кончикъ посидѣть, охреянъ этакой!

— Юрій Максимовичъ! — сказалъ Андрей, не обращая никакого вниманія на весьма замѣтное неудовольствіе хозяина, — я пріѣхалъ просить твоей защиты.

— Говори, любезный, говори!

— Кто не знаетъ въ нашей сторонѣ, бояринъ, что ты не даешь потачки ни ворами, ни разбойникамъ, стоишь горой за правду и не покривишь душею нетокому ради знакомства и пріязни, но и ради собственного живота своего.

— Ну! — подумалъ Куродавлевъ, — съ нимъ держи ухо востро!.. Вишь какой лисой подѣвжается!

— Я и подумать то не смѣю, — продолжалъ Андрей, — чтобъ ты захотѣлъ помогать въ дѣлѣ воровскомъ какому-нибудь разбойнику... Вѣдь ты лучше всякаго знаешь, бояринъ, что тотъ, кто мирволитъ недобрымъ людямъ, и самъ недобрый человѣкъ; а кто помогаетъ и даетъ пріютъ отъявленнымъ ворами и разбойникамъ, тотъ самъ такой же точно воръ и разбойникъ, какъ они.

Вся кровь бросилась въ лицо Куродавлева.

— Да о какихъ ты это говоришь разбойникахъ? — промолвилъ онъ едва внятнѣмъ голосомъ. — Я, братъ, обя-няковъ не люблю!.. Говори прямо!

— Изволь, бояринъ!.. Прямо, такъ прямо. Меня ограбилъ стрѣлецкій сотникъ Левшинъ, который живетъ въ твоемъ дому.

— Ограбилъ!.. Что ты, братецъ, въ умѣ-ли?

— Да!—продолжалъ Андрей, вставая, — ограбилъ!.. Ты спросишь, можетъ быть, бояринъ: «а что онъ у тебя укралъ? серебро чтоль изъ сундука вытащилъ, коней свелъ, кладовую подломалъ, деньги отнял..?» Деньги!.. Да еслибъ онъ обобралъ меня до послѣдней копѣйки, поджогъ домъ, разорилъ въ конецъ, пустилъ бы по міру въ одной рубашкѣ — такъ я махнулъ бы рукою и сказалъ: «Богъ съ нимъ! И деньги, и добро, и домъ все дѣло наживное!.. А не наживу, такъ чтожъ?.. Земное достояніе прахъ!.. Но этотъ злодѣй укралъ у меня единственную дочь, сдѣлалъ меня на старости сиротою, погубилъ душу христіанскую!..

— Погубилъ душу! — вскричалъ Куродавлевъ, обрадовавшись, что можетъ на что-нибудь опереться. — Ужъ не душу ли твоей дочери, которая съ нимъ убѣжала?.. Нѣтъ, голубчикъ — погода!.. Она будетъ законной супругою Левшина и православной христіанкою. Слышишь ли, господинъ Поморянинъ—православной!

— Я пришелъ къ тебѣ не о вѣрѣ состязаться, — прервалъ Андрей. — Кто-бъ я ни былъ по вашему: раскольникъ, татаринъ, жидъ, а я все-таки отецъ, и говорю тебѣ, бояринъ Куродавлевъ: отдай мнѣ мою дочь!

— Да небойсь, Андрей; дочь твоя не пропадетъ!.. Послушай, любезный, — продолжалъ Куродавлевъ ласковымъ голосомъ, — вѣдь ты знаешь пословицу: «снявши голову о волосахъ не плачутъ». Ужъ коли дочь твоя бѣжала съ молодымъ парнемъ, такъ на что она тебѣ?.. Да я бы на твоемъ мѣстѣ перекрестился, что она замужъ выходитъ за Левшина. Вѣдь послѣ такого дѣла кто на ней женится?

— Это моя забота, бояринъ; захочу, такъ выдамъ ее замужъ.

— Чай, за мещовскаго воеводу?.. Чего добраго! этотъ срамецъ на все пойдетъ!.. Да какая жизнь то ея будетъ?.. Вѣчный попрекъ!.. Эй, любезный, не упрямясь!.. Ну, самъ скажи: чѣмъ Левшинъ ей не женихъ?

— Нѣтъ! — вскричалъ Андрей, — я никогда не соглашусь...

— Экій ты какой! — прервалъ Куродавлевъ. — Самъ не умѣлъ сберечь дочери, такъ чего тутъ — не соглашусь!.. Ужь если прежде тебя не спрашивались, такъ теперь и подавно спрашиваться не стануть. Да и что ты этакъ упираешься?.. Коли ради того, что Левшинъ не вашъ братъ старообрядецъ...

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, это другая рѣчь.

— А коли другая, такъ о чемъ же и говорить?.. Левшинъ отличный молодецъ, человекъ родословный, помѣстный!.. Не будь онъ стрѣлецкимъ сотникомъ, такъ и я бы не задумался съ нимъ породниться...

— Да если тебѣ, Юрій Максимовичъ, безчестно породниться съ стрѣлецкимъ сотникомъ, такъ почему же ты думаешь, что я захочу выдать за него мою дочь?

— Что, что? — промолвилъ Куродавлевъ. — Экъ, куда хватилъ!.. Ты, голубчикъ, говори, да не заговаривайся!.. Развѣ я то, что ты?

— А почему ты знаешь, бояринъ, кто я?

— Кто ты?.. Да, не прогнѣвайся, любезный, я, чаю, ты или бѣглый дьячекъ, или попъ разстрига; ну, а можетъ стать и гость московскій. Тамъ вашихъ братья много развелось.

— Нечего дѣлать! — прошепталъ Андрей. — Да не вмѣнить мнѣ Господь, что я нарушаю обѣтъ мой!.. Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, я не попъ разстрига, не бѣглецъ, а такой же родовой человекъ, какъ ты. Отецъ мой былъ окольнічій, Яковъ Яковлевичъ Денисовъ, а я старшій сынъ его, Андрей.

— Андрей Яковлевичъ Денисовъ, племянникъ князя Мышецкаго?

— Да, бояринъ.

— Въ этомъ сѣромъ балахонѣ?

— А на что ваши парчи и бархаты тому, кто гнушается всей земной роскошью. Это рубище, этотъ сѣрый балахонъ, — моя труженическая ряса, бояринъ, и я не промѣняю ее на всѣ ваши золотыя ферязи.

— Денисовы! — повторилъ Куродавлевъ, стараясь что то припомнить. — Постой ка, Андрей Яковлевичъ!.. Да тебѣ все-таки нечего браковать Левшина: вѣдь, помнится, твоя родная сестра вышла не за боярина!



— Нѣтъ. Она была замужемъ за стрѣлецкимъ головою, Афанасьемъ Левшинымъ?

— Какъ!.. Такъ дочь твоя...

— Двоюродная сестра стрѣleckoмy сотнику, Дмитрію Афанасьичу Левшину.

— Двоюродная сестра! — повторилъ съ ужасомъ бояринь. — Ахъ, батюшки!.. Эй, кто тамъ? Всѣ сюда!

Въ комнату вошли: дворецкій, Савельичъ и двое слугъ.

— Бѣгите скорѣй въ церковь! — закричалъ Куродавлевъ. — Скажите отцу Егору, чтобъ остановился вѣнчать!.. Да ну же!.. поворачивайтесь!

Двое слугъ кинулись опрoметью вонъ, а дворецкій и Савельичъ остались въ комнатѣ.

— Какъ! — молвилъ Андрей. — Такъ они ужъ въ церкви?

— Да ужъ, чай, и повѣнчаны!.. Ну! надѣлали мы дѣла!.. Господи Боже мой! братъ и сестра!.. Что теперь дѣлать!.. Придется подавать челобитную въ патриаршіи приказъ, да развѣнчивать!.. Экій грѣхъ, подумаешь!.. Экій грѣхъ!.. Да и ты, Андрей Яковлевичъ... ну что ты ломался!.. Сказалъ бы прямо: «они, дескать, двоюродные»... Да постой ка, любезный, — продолжалъ Куродавлевъ, поглядывая недоброумно на своего гостя. — Вѣдь я тебя не знаю, такъ ты пожалуй и сказку плетешь... Полно, правда ли, что ты Денисовъ, и что дочь твоя двоюродная сестра Левшину?

— Дозволь мнѣ, государь Юрій Максимовичъ, словечко вымолвить, — сказалъ Савельичъ, выступая впередъ. — Его милость доподлинно Андрей Яковлевичъ Денисовъ. Когда еще онъ изволилъ жить въ Выгорѣцкомъ скиту, за Онегою, я былъ у него служителемъ, и на Вятку вмѣстѣ съ нимъ ѣздилъ... Да неужели то, батюшка Андрей Яковлевичъ, ты не изволилъ опознать меня?..

— Семень Савельичъ? — промолвилъ Денисовъ, нахмуривъ брови.

— Я, сударь—я.

— Такъ онъ точно Денисовъ? — сказалъ Куродавлевъ.

— Истинно такъ! — отвѣчалъ Савельичъ. — Только дочка то его вовсе не родня Дмитрію Афанасьичу,

— Не родня?.. Такъ Левшинъ ему не племянникъ?

— Какъ же! родной племянникъ; да Софья то Андреевна не родная ему дочь: она приемышъ!

— Кто смѣетъ это сказать? — прервалъ вспыльчиво Денисовъ.

— Я, батюшка, — молвилъ Савельичъ.

— Ты?.. Измѣнникъ проклятый, бѣглець, отступникъ отъ истинной вѣры, предатель!..

— Да ты, сударь, не изволь такъ лаяться — я правду говорю. Я еще покамѣвствъ живой человѣкъ, и память то не вовсе сгнбла. Какъ теперь гляжу: ты привезъ въ Выгорѣцкій скитъ дѣвочку годковъ трехъ и строго всѣмъ наказаль не говорить ей, что она приемышь. «Пусть, дескать, бѣдная сиротинка думаетъ, что я родной ея батюшка».

— Ты лжешь, Иуда окаянный!

— Эхъ, полно, кормилецъ!.. Какой у тебя быть дочери: вѣдь ты и женатъ то никогда не былъ.

— Фу, батюшки! — промолвилъ Куродавлевъ, поглаживая свою широкую грудь. — Какъ гора съ плечъ!.. Такъ вотъ дѣло то какое!.. Они вовсе не родня?.. Ну, перепугаль ты меня, Андрей Яковлевичъ!.. Эку шутку выкинулъ!.. Да какъ прикинулся: родная дочь, да и только!.. Теперь не прогнѣвайся, любезный, мы ухаживать за тобой не станемъ; хочешь благословить свою нареченную дочь — милости просимъ! А не хочешь — такъ Богъ съ тобой!.. Савельичъ, ступай ка, скажи, чтобъ ихъ довѣнчивали... Да только правду ли ты говоришь?

— Помилуй, государь мой Юрій Максимовичъ! захочу ли я ваять на душу такой грѣхъ — избави Господи!

— Ну, такъ ступай же, проворный!

— Приемышь! — прошепталъ Денисовъ. — Да развѣ та, которую я вспоилъ и вскормилъ, нянчилъ на рукахъ своихъ, называлъ своею дочерью?..

— Все-таки не двоюродная сестра Левшину, — прервалъ Куродавлевъ. — А что ты вспоилъ и вскормилъ ее, такъ это не диво, любезный. Въ вашихъ скитахъ будутъ поить и кормить всякаго, лишь только бы привести въ свою вѣру. Вотъ и ты думаль сдѣлать то же, и тебѣ не хотѣлось, чтобъ эта сиротинка была православною; а Господь то сдѣлаль по своему. Да полно, Андрей Яковлевичъ, — не кручинься! — продолжалъ Куродавлевъ, — а попируй ка лучше съ нами. Я же жду съ часу на часъ друга моего сердечнаго, Кириллу Андреевича Буйносова. Вотъ, любезный, не тебѣ ужъ чета — понатерпѣлся горя. Было у него

одиннадцать дочерей, а ни одной не осталось: десять померло, а одиннадцатая, крестница моя—пропала без вѣсти, здѣсь, въ нашихъ Брынскихъ лѣсахъ.

Денисовъ вздрогнулъ.

— Здѣсь, въ Брынскихъ лѣсахъ?—повторилъ онъ.

— Тому назадъ ровно пятнадцать лѣтъ.

— Пятнадцать лѣтъ?—повторилъ опять Андрей.

— А что... Развѣ ты объ этомъ слыхалъ?

— Нѣтъ! — отвѣчалъ отрывисто Денисовъ. Онъ снова задумался и вдругъ мрачное лицо его прояснилось, глаза заблестали, и злобная улыбка мелькнула на устахъ. — Вотъ, — сказалъ онъ, — твой пріятель Кирилла Андреевичъ Буйносовъ, хоть баринъ большой, а, чай, выдалъ бы свою дочь и за стрѣleckаго сотника, лишь только бы она отыскалась.

— За стрѣleckаго сотника!.. Чтобъ моя крестница, дочь боярина Буйносова, была какой-нибудь стрѣльчихою?.. Сохрани Господи!.. По мнѣ лучше вѣкъ не находишь... Да къ чему ты это говоришь?

— Такъ.

— Нѣтъ, видно, что-нибудь не даромъ.

— Ну, — продолжалъ Денисовъ, какъ будто бы говоря съ самимъ собою, — видно, дѣтей то въ Брынскихъ лѣсахъ теряютъ частехонько.

— А развѣ и твой пріемышь?..

— Да, Юрій Максимовичъ! Я эту дѣвочку нашелъ въ здѣшнемъ лѣсу, также лѣтъ пятнадцать назадъ и, кажись, объ эту пору.

— Объ эту пору?

— Да. Я изъ здѣшнихъ мѣстъ ѣхалъ тогда за Онегу; вотъ этакъ недалеко отъ села Бѣликова...

— Отъ села Бѣликова?..

— Да. Гляжу, лежитъ подъ кустомъ дѣвочка лѣтъ трехъ или четырехъ въ красной кофточкѣ...

— Въ красной кофточкѣ?.. Что ты говоришь?..

— Правду, бояринъ. Сначала я подумалъ, что она мертвая — не дышитъ; а тамъ, какъ ее поднялъ, да поотгреблъ, такъ она и глазки раскрыла. Вотъ, — подумалъ я, — видно, Господь сжаился надъ моимъ сиротствомъ и посылаетъ мнѣ дѣтище. Завернулъ ее въ кафтанъ и увезъ съ собою.

— Господи! — вскричалъ Куродавлевъ. — Неужели въ самомъ дѣлѣ?..

— Право такъ! — продолжалъ спокойнымъ голосомъ Денисовъ, взглянувъ украдкою въ окно. — Всю дорогу она была безъ памяти, а тамъ, какъ очнулась и стали ее расспрашивать, такъ начала что то лепетать; да мы разобрали только, что ее зовутъ Сонюшкою.

— А не было ли у нея чего-нибудь на шеѣ? — прервалъ, едва дыша, бояринъ.

— Какъ же!.. У ней висѣлъ на шелковомъ гайтанѣ обдѣланный въ серебро финифтяный образокъ съ ликомъ преподобной великомученицы Варвары.

— Боже мой!.. Боже мой! — вскричалъ Куродавлевъ. — Это она!.. Точно она!..

— Она!.. Кто она, бояринъ?

— Моя крестница — дочь Кириллы Андреевича Буйносова!

— Неужли въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ ее то теперь вѣнчаютъ съ стрѣлецкимъ сотникомъ?

— Господи Боже мой!.. Кондратій, бѣги!..

— Что его трудить, бояринъ, — прервалъ Денисовъ, указывая на окно. — Вонъ, посмотри, молодые то изъ церкви ужь ѣдутъ.

— Обвѣнчаны! — завопилъ неистовымъ голосомъ Куродавлевъ.

— Да, Юрій Максимовичъ... И развѣнчивать ихъ не стануть: они вѣдь не родные. А вотъ, кажется, и батюшка ея изволить ѣхать.

Подлинно, въ самое то время, какъ свадебный поѣздъ, переѣхавъ черезъ плотину, сталъ приближаться къ господскому двору, на противоположномъ концѣ села показался длинный рядъ повозокъ.

— Это Кирилла Андреевичъ, — сказалъ Кондратій, глядя въ окно. — Точно, онъ!.. Вонъ ѣдетъ впереди его лѣтній возокъ, обитый краснымъ сукномъ.

— Эхъ, жаль! — промолвилъ Денисовъ, — не успѣеть онъ принять молодыхъ съ хлѣбомъ и солью!

— Молодыхъ! — повторилъ отчаяннымъ голосомъ Куродавлевъ. — Ну! снялъ я себѣ голову съ плечъ!.. Что мнѣ теперь дѣлать?.. Что сказать Кириллѣ Андреевичу?.. Какъ показаться ему на глаза?.. Фу, батюшки!.. Смерть моя!.. Ноги не держать!.. — промолвилъ бояринъ задыхаясь. Онъ опустился въ кресло и закрылъ руками лицо.

Съ полминуты продолжалось молчаніе. Денисовъ тор-

жестовалъ. Онъ смотрѣлъ съ такой радостной улыбкою, съ такимъ наслажденіемъ на отчаяніе Куродавлева, что, казалось, въ эту минуту вовсе не жалѣлъ о потерѣ своей нареченной дочери.

— Правду ты говорилъ, Юрій Максимовичъ! — промолвилъ онъ наконецъ. — Истинно, всѣ наши земные помыслы прахъ и суета. Думалъ ли я, что мое доброе заплатится мнѣ зломъ?.. Вотъ и тебѣ также, бояринъ, больно не хотѣлось, чтобъ твоя крестница была стрѣльчихою, а Господь то сдѣлалъ по своему — да еще какъ!.. Ты самъ снарядилъ ее къ вѣнцу!..

— Молчи, проклятый! — закричалъ бояринъ, вскочивъ съ кресель. — Все это сказки, вздоръ, выдумки! Эта дѣвка никогда не была дочерью Буйносова. Ты отъ кого-нибудь слышалъ, да и сплелъ все это нарочно, чтобъ только осрамить меня и моего друга... Да нѣтъ, голубчикъ, не на того попалъ!.. Слушай, Кондратій: если какъ-нибудь дойдетъ до Кириллы Андреевича — коли кто ни есть изъ нашихъ вымолвить хоть одно словечко — заикнется сказать, что этотъ приемышь дочь боярина Буйносова, такъ я и тебя и его живыхъ въ землю закопаю!.. Слышишь?.. А ты, господинъ родословный человѣкъ въ сермяжномъ балахонѣ! — продолжалъ Куродавлевъ, обращаясь къ Денисову, — ступай куда хочешь, да рассказывай свои сказки, а здѣсь, въ моемъ дому, чтобъ сей же часъ и слѣдъ твой простылъ!.. Милости просимъ вонъ отсюда, коноводъ раскольничій!

— Не гони, Юрій Максимовичъ: самъ пойду! — сказалъ Денисовъ, взглянувъ съ неизъяснимымъ презрѣніемъ на Куродавлева. — Благодарствую тебя, бояринъ, за угощенье, ласковый пріемъ и радушные проводы. Дай Господи и тебѣ встрѣчать всегда такихъ же хлѣбосоловъ!

— Проклятый еретикъ! — прошепталъ Куродавлевъ, когда Денисовъ вышелъ вонъ. — Кондратій, прими молодыхъ и приведи ихъ въ расписную палату.

— Въ расписную палату?... Да вѣдь столъ то накрытъ...

— Молчи и дѣлай, что тебѣ приказываютъ!

— Слушаю, Юрій Максимовичъ!

— А объ этомъ, что здѣсь говорено было, смотри — ни гугу!

— Слушаю, батюшка!.. Только воля твоя... не прогнѣвайся, кормилецъ!.. вѣдь, кажись, въ самомъ дѣлѣ...

— Дуракъ!... Да развѣ жена какого-нибудь стрѣльца можетъ быть дочерью Кириллы Андреевича?... Ступай!... Вонъ онъ сердечный!—продолжалъ бояринъ, подойдя къ окну.—Видно, сердце въ немъ не чувствуетъ, что родная дочь его у меня въ дому?... Не поѣхалъ бы онъ шажкомъ!... И что это я такъ заторопился?... Вѣнчай да вѣнчай!... Вотъ и повѣнчали!... Эхъ, Юрій Максимовичъ! не кривить бы тебѣ душою, не выдавать-бы замужъ дочери безъ отцовскаго благословенія! Такъ нѣтъ! дай-ка я путемъ насолю этому скверванцу Токмачеву!... Анъ вотъ тебя лукавый то и попуталъ!... А какая была-бы радость!... Какое веселье!... Ужъ то-то былъ бы для тебя гостинецъ, другъ сердечный!... Ты ко мнѣ въ двери, а родная то твоя—твоя Сонюшка къ тебѣ на шею!... Охъ, да вѣдь она ужъ не дѣвица Буйносова, а стрѣлечка жена Левшина!.. Нѣтъ, нѣтъ! лучше ему вѣкъ не знать, что дочь его нашла: вѣдь ужъ онъ привыкъ къ своему горю... Чтожъ это возокъ то его остановился?... Кто то подѣхалъ къ нему на тройкѣ... соскочилъ съ телѣги... Ахти! да это никакъ... такъ и есть... мошеникъ Денисовъ!... Зарѣжетъ онъ меня безъ ножа!... Они разговариваютъ... вотъ Кирилла Андреевичъ машетъ руками... кричитъ что то своимъ людямъ... Ну!!! поскакали!... Все знаетъ!

## ХП.

Черезъ нѣсколько минутъ возокъ, обитый краснымъ сукномъ, вкатилъ на господскій дворъ и подѣхалъ къ крыльцу, на которомъ стоялъ уже Куродавлевъ. Онъ принялъ самъ изъ возка боярина Буйносова.

— Здравствуй, другъ сердечный!—говорилъ онъ, обнимая Кириллу Андреевича.—Милости просимъ!

— Гдѣ она? Гдѣ она? — промолвилъ дрожащимъ голосомъ старикъ Буйносовъ, вырываясь изъ объятій своего друга.

— Она!... Кто она?...

— Дочь моя!... Дитя мое!...

— Тише, мой другъ—тише!... Что ты это говоришь?... Вѣдь пожалуй эти дурачье повѣрятъ!... Войдемъ, любезный, въ покои, войдемъ!... Мы ужъ тамъ потолкуемъ объ этомъ...

— Чего тутъ толковать!—вскричалъ Буйносовъ. — Она здѣсь, у тебя...

— Да успокойся, Кирилла Андреевичъ!... Пожалуй, пожалуй!

Куродавлевъ схватилъ подъ руку своего гостя, провелъ его черезъ переднюю и столовую, затворилъ за собою всѣ двери и, войдя вмѣстѣ съ нимъ въ первую пріемную комнату, по нашему гостиную, сказалъ:

— Ну вотъ, теперъ отдохни, любезный другъ,—садись!

— Да гдѣ жъ она?...

— Садись!... Мы поговоримъ...

— Эхъ, Юрій Максимовичъ!... Да чтожь ты, уморить что-ль меня хочешь?

— Говорятъ тебѣ, садись!... Не сядешь, такъ я тебѣ и отвѣчать не стану.

— Ну, ну, изволь!... Вотъ я сижу.

— Послушай, другъ сердечный,—сказалъ Куродавлевъ, сядясь подлѣ Кирилла Андреевича, — ну что толку безъ пути радоваться, коли, можетъ статься, вовсе нѣтъ никакой радости?

— Что ты говоришь!...

— Ну, да!... Мало ли что намъ кажется на первыхъ порахъ, и такъ и этакъ, а тамъ, какъ поразмотришь, да поразсудишь хорошенько—такъ ой, ой, ой!... въ такой бы просакъ попалъ, что и, Господи... Вотъ и мнѣ было сгоряча показалось: ахти-моль ужъ не крестница ли это моя?.. А какъ подумалъ путемъ, да припомнилъ все—анъ и выходить: вовсе не то!

— Да какъ не то, когда мнѣ сейчасъ рассказалъ обо всемъ тотъ самый, кто нашель ее, вспоилъ и вскормилъ, какъ родную дочь!...

— А знаешь ли, кто это тебѣ рассказывалъ, и что это за человекъ такой?... Да ему здѣсь и малый ребенокъ ни въ чемъ не повѣритъ!... Вѣдь это отъявленный мошенникъ и еретикъ, Андрушка Поморянинъ!

— Что нужды, кто бы онъ ни былъ!

— Да и почему ты думаешь, что этотъ найденышъ точно твоя потерянная дочь?

— Какъ почему?... Онъ ровно пятнадцать лѣтъ тому назадъ нашель ее въ здѣшнемъ лѣсу...

— Эко диво!... Да здѣсь почитай каждый годъ дюжины по двѣ ребятишекъ въ лѣсу находятъ. Вѣдь ты не знаешь,

какіе здѣсь водятся раскольники: иные дѣтей то своихъ нарочно въ лѣсу покидають. «Пусть, дескать, они гибнуть отъ дикихъ звѣрей—мученики будутъ!» Ну, разсуди самъ, что хорошаго, еслибы ты при всѣхъ началъ цѣловать и назвалъ бы своею дочерью какого-нибудь раскольникыяго подкидыша?

— Но этотъ Поморянинъ говорилъ мнѣ, что дѣвочкѣ было на взглядъ годка три или четыре, что она была въ красной кофточкѣ...

— Въ красной кофточкѣ!... Эка невидаль!... Да здѣсь и старый и малый, всѣ поголовно носятъ красныя кофты.

— Да это все еще ничего! Онъ сказалъ мнѣ, что у дѣвочки былъ на шеѣ финифтяный образокъ съ ликомъ святой великомученицы Варвары; что онъ и теперь еще на ней... А вѣдь ты самъ благословилъ свою крестницу такимъ образомъ.

— Вотъ то-то и дѣло, что нѣтъ!... Я точно благословилъ ее, да только образомъ святой Вѣры, а не Варвары.

— Господи!—промолвилъ съ ужасомъ Буйносовъ. — Да нѣтъ, нѣтъ! ты забылъ!

— Охъ, любезный! то-то и бѣда, что не забылъ... Ты постарѣе меня, память становится у тебя плоха, а имена то сходны межъ собою: Вѣра, Варвара—вотъ ты и перепуталъ!... А я какъ теперь помню...

— Боже мой, Боже мой!—простоналъ бѣдный старикъ.— Неужли Ты порадовалъ меня для того только, чтобъ мнѣ горчѣе стало жить на бѣломъ свѣтѣ.

Онъ закрылъ руками глаза, и крупныя слезы потекли по его блѣднымъ щекамъ.

— Ахъ, я окаянный!—прошепталъ Куродавлевъ. — Ну, надѣдалъ я дѣла!... А что, мой другъ,—продолжалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—говорилъ ли тебѣ еще что-нибудь этотъ Андрюшка Поморянинъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Буйносовъ.— Онъ только успѣлъ вымолвить то, что я тебѣ пересказалъ; да объявилъ мнѣ, что эта дѣвица у тебя въ дому.

— Дѣвица!—подумалъ про себя Куродавлевъ. — Вотъ что!... Такъ онъ не сказалъ, что она повѣнчана?

— Вѣра!... Варвара!—повторялъ Буйносовъ.—Охъ, кажется, Варвара!... Да постой!... Лучше всего... позволь, любезный.



Кирилла Андреевичъ вскочилъ, выпелъ въ переднюю и сказалъ дворецкому Кондратію:

— Послушай, братецъ, попроси у этой пріѣзжей, что у васъ теперь въ дому, финифтяный образокъ, который она носитъ на шеѣ.

— Да на что тебѣ?—спросилъ съ примѣтнымъ смущеніемъ Куродавлевъ, когда гость его возвратился опять въ пріемную.

— Какъ на что?—отвѣчала Буйносовъ. — Я хочу самъ видѣть. Почему знать: коли ты, мой другъ, точно помнишь, что благословилъ свою крестницу образомъ святой Вѣры, такъ можетъ статься этотъ Поморянинъ ошибся, когда сказалъ мнѣ, что на этомъ образкѣ ликъ великомученицы Варвары.

— Помилуй, любезный!... Да неужели въ пятнадцать лѣтъ они не разсмотрѣли, какая святая написана на образѣ?

— Эхъ, Юрій Максимычъ!... Кто тонетъ, тотъ и за соломенку хватается!

Черезъ нѣсколько минутъ Кондратій возвратился, неся бархатную ладонку, привѣшенную къ шелковой тесьмѣ. Куродавлевъ предупредилъ Кирилла Андреевича. Онъ выхватилъ ладонку изъ рукъ Кондратія, вынулъ изъ нея образокъ, взглянулъ на него и, казалось, совершенно успокоился.

— Ну вотъ—сказалъ онъ, передавая образокъ Буйносову,—посмотри самъ.

— Да!—промолвилъ съ отчаяньемъ Буйносовъ, — такъ и есть: великомученица Варвара!

— И образокъ то вовсе не такой!—подхватилъ Куродавлевъ.—Вспомни хорошенько: вѣдь у того, которымъ я благословилъ крестницу, были только краешки серебряные, а этотъ весь въ серебро обдѣланъ. Поддай-ка его сюда.

— Погоди!—сказалъ Буйносовъ, осматривая кругомъ образокъ.—Ты мнѣ что то напомнилъ... Да, такъ точно!... Я самъ отдавалъ его обдѣлать въ серебро... И зачѣмъ бишь?... О, дай Богъ память... А! помню! помню!... Для того, чтобъ надпись не стерлась... Пстой!

И прежде чѣмъ хозяинъ могъ догадаться, что хочетъ дѣлать Буйносовъ, онъ съ живостію молодого человѣка выхватилъ изъ кармана дорожный ножикъ, отогнулъ имъ края у серебряной спинки образа, снялъ ее... Вотъ на задней сторонѣ иконы открылась надпись, и Кирилла Андреевичъ

прочелъ громкимъ голосомъ: «Сей святой иконою великомученицы Варвары благословилъ крестницу свою, дѣвицу Софью Буйносову, бояринъ Юрій Максимовичъ Куродавлевъ».

— Ну, Юрій Максимычъ!—вскричалъ Буйносовъ,—вѣришь ли теперь, что это моя дочь?

Куродавлевъ молчалъ. Блѣдный, съ поникнутой головою стоялъ передъ Буйносовымъ, какъ стоитъ уличенный преступникъ передъ своимъ неумолимымъ судьей.

— Чтожъ ты молчишь?—продолжалъ Буйносовъ.—Иль не вѣришь, любезный?... На вотъ—прочи!

— Ну!—прошепталъ Куродавлевъ,—нечего дѣлать!... Кирилла Андреевичъ!—молвилъ онъ, повалился въ ноги своему гостю,—прости меня, Бога ради!

— Что ты, что ты?... Богъ съ тобою!—вскричалъ Буйносовъ.—Да встань—пожалуйста!

— Нѣтъ, не встану, пока ты меня не простишь!

— Прощаю, братецъ, прощаю!... Да въ чемъ?

— Охъ! страшно вымолвить!

— Господи!.. Да чтожъ такое?

— Какими глазами мнѣ на тебя взглянуть?.. Что я надѣлалъ!.. Другъ мой!.. Кирилла Андреевичъ!.. вѣдь я, не зная, что это твоя дочь, выдалъ ее замужъ!

— Замужъ!.. За кого?

— Вотъ въ томъ то и дѣло!.. Языкъ не повернется вымолвить!

— Да говори, Бога ради!

— Ее сейчасъ обвинчали.

— Съ кѣмъ?

— Ну! рѣзать, такъ рѣзать!.. Я обвинчалъ ее съ присланнымъ отъ тебя стрѣleckимъ сотникомъ...

— Левшинымъ?

— Да!.. Теперь ты все знаешь. Вотъ тебѣ моя голова, дѣлай съ нею, что хочешь!

— Фу, батюшки!—промолвилъ Буйносовъ, перекрестясь.— Слава тебѣ Господи!.. А я ужъ думалъ и Богъ знаетъ что!.. Ну, Юрій Максимычъ, напугалъ ты меня.

— Напугалъ!—повторилъ Куродавлевъ.—Да чего жъ тебѣ еще?.. Иль ты не слышалъ?.. Стрѣleckій сотникъ...

— Такъ чтожъ?

Этотъ вопросъ до того поразилъ Куродавлева, что онъ нѣсколько времени не могъ вымолвить ни слова.

— Батюшки!—прошептала онъ наконецъ,—да онъ никакъ съ радости то обезумѣлъ?.. Что ты это, другъ сердечный?.. Христось съ тобою!

— Чему жъ ты дивишься?—сказала Буйносова.—Отецъ Левшина былъ моимъ задушевнымъ пріятелемъ... Онъ самъ молодецъ прекрасный... Левшины люди родословные...

— Хороши родословные! — прервалъ Куродавлевъ. — И батюшка и сынокъ—оба стрѣльцы!

— Стрѣльцы, да не измѣнники; а по мнѣ, тотъ, кто служить вѣрой и правдой царю-государю—гдѣ бы онъ ни служилъ... да вотъ, хоть на примѣръ, стрѣлецкій полковникъ Сухаревъ...

— Ну, что по твоему?.. Чай, нашему брату будетъ въ версту?

— А почему же нѣтъ?

У Куродавлева руки опустились.

— Эге!—промолвилъ онъ, глядя на своего гостя,—какъ вы тамъ въ Москвѣ то онѣмечились!.. Ну!!! такъ тебѣ ничего, что твоя дочь стрѣлецкая сотничиха?

— Ничего.

— Ну, а коли тебѣ ничего, такъ мнѣ и подавно!.. Вѣдь Софья то Кирилловна моя крестница, а не дочь родная.

— Да что объ этомъ говорить?.. Веди меня скорѣй къ ней...

— Постой!.. Вѣдь надобно же ей сказать, кто она такая, а то вѣдь ты ее перепугаешь: кинешься къ ней на шею, закричишь, заплачешь... Побудь немного здѣсь. Я самъ къ тебѣ приведу молодыхъ... Эки времена! — продолжалъ попотомъ Куродавлевъ, идя во внутренніе покои.—И думалъ, что съ ногъ его срѣжу, а онъ какъ ни въ чемъ не бывало!.. Стрѣлецкій сотникъ ничего... ну!!!

Прошло нѣсколько минутъ; разумѣется, каждая изъ нихъ не имѣла конца для Буйносова. Нѣсколько уже разъ хотѣлъ онъ бѣжать навстрѣчу къ своей дочери, искать ее по всему дому, проклиналъ медленность Куродавлева, и вотъ наконецъ въ сосѣдственныхъ покояхъ послышались скорые шаги; двери растворились; молодая женщина, съ закинутой назадъ фатою, вбѣжала въ комнату и съ радостнымъ крикомъ бросилась въ объятія Буйносова.

— Дочь моя, дитя мое!.. Сонюшка, другъ мой!—не говорилъ, а рыдалъ старикъ отецъ, прижимая къ груди своей ту, которую онъ давно уже оплакалъ.

А Софья... о, въ эту минуту она была совершенно счастлива! Все прошедшее воскресло въ душѣ ея. Вотъ этотъ другой отецъ, который мечтался ей иногда какъ будто бы во снѣ—вотъ его родныя, милыя черты!.. Эти дѣтскія воспоминанія не мечта,—нѣтъ! Этотъ тайный шопотъ сердца не обманулъ ее: она не дочь Андрея Поморянина!

Я не стану описывать, или, вѣрнѣе сказать, я не могу описать вамъ, что чувствовали отецъ и дочь при этомъ неожиданномъ свиданіи. Какъ ни богатъ, какъ ни роскошенъ языкъ русскій, но онъ такъ же, какъ и всѣ языки земные, бѣденъ и мертвъ, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ описать эту чистую, непорочную радость души, это тихое, неизъяснимое блаженство, которыя сближаютъ землю съ небесами; но тамъ они вѣчны, а здѣсь эта радость, это блаженство минутные гости. Тамъ Господь Богъ даетъ ихъ даромъ, а здѣсь почти всегда мы покупаемъ ихъ страданьемъ цѣлой жизни.

Когда первый восторгъ свиданья прошелъ, Буйносовъ обнявъ съ нѣжностію Левшина и назвалъ его своимъ милымъ сыномъ. Хозяинъ хотя и поморщился, однакожь не сказалъ ни слова и пригласилъ всѣхъ въ самую обширную комнату своего дома. Тамъ былъ накрытъ столъ и дожидался священникъ. Послѣ молитвы, отецъ Егоръ надѣлъ на молодыхъ вѣнды, которыми они вѣнчались въ церкви, а хозяинъ посадилъ ихъ рядомъ на кресла, обитыя богатою парчею. Передъ ними стоялъ, по обычаю нашихъ предковъ, огромный свадебный коровай, начиненный всякими сластями. По правую руку Левшина, Юрій Максимовичъ посадилъ священника, Буйносовъ сѣлъ рядомъ съ дочерью, а подлѣ него помѣстился хозяинъ. За креслами *князя и княгини*—такъ называли въ старину всѣхъ молодыхъ—стоялъ, свѣтлый какъ мѣдный грошъ, нашъ давнишній знакомецъ Феропонтъ. Онъ не могъ наглядѣться на своихъ молодыхъ господъ, перемигивался съ Дарьей, которая, вмѣстѣ съ другими сѣнными женщинами, выглядывала изъ за двери, и ухмылялся повременамъ такъ выразительно, что шутъ Тришка отвелъ его послѣ обѣда къ сторонѣ и сказалъ:

— Ну, братъ Феропонтъ, какія ты рожи корчилъ за столомъ!.. Нечего сказать—мастерища!.. Выучи меня пожалуйста, голубчикъ!

Когда хозяинъ выпилъ нѣсколько кубковъ знаменитаго угорскаго винца за здоровье своего друга, Кириллы Андревича и дѣтокъ его, то сталъ немного повеселѣе.

— А вѣдь надо сказать правду,—молвилъ онъ, толкнувъ локтемъ Буйносова:—любо на молодыхъ то посмотрѣть—парочка! Хороша твоя дочка, другъ сердечный, да и Дмитрій Афанасьичъ—экій писанный красавецъ!... Эхъ, жаль! не служи только этакій молодецъ въ стрѣлцкомъ войскѣ...

— Да онъ ужь въ немъ не служить, — прервалъ Буйносовъ.

— Какъ?

— Да, онъ приписанъ къ царской охотѣ. Государь Иванъ Алексѣичъ изволилъ мнѣ обѣщать пожаловать его въ свои начальныя сокольники.

— Прямо въ начальныя сокольники?... Ну, это полегче!.. А все, любезный, хоть дойди онъ до чина старшаго подсокольничьяго, такъ и тутъ стануть говорить: «Что, дескать, онъ ходитъ такимъ козыремъ—оглянулся бы назадъ!.. Теперь, дескать, онъ шапку то заломалъ, а напрежь сего не великъ былъ человекъ. Служилъ-де въ стрѣльцахъ, и батюшка его былъ стрѣлцкимъ головою».

— Да полно объ этомъ толковать!—сказалъ Буйносовъ.— Эхъ, братъ Юрій Максимовичъ! зажился ты въ своихъ Брынскихъ лѣсахъ!.. Пора тебѣ пріѣхать въ Москву провѣтриться. Тамъ ужь не объ этомъ рѣчь идетъ. У государя Петра Алексѣевича пображиваютъ въ головушкѣ свои замыслы. У него только тотъ и бояринъ, кто по боярски служить, сирѣчь не жалѣя живота своего! А лежебоковъ то онъ не очень жалуется—не прогнѣвайся.

— Послужили и мы!—сказалъ Куродавлевъ.—И если бъ меня не обидѣли...

— Обидѣли?.. Вотъ то-то и есть!.. Да погоди, любезный, дай только подрасти государю Петру Алексѣевичу: у него бояре мѣстами считаются не стануть.

— Право?.. Да вѣдь батюшка то его, царь Алексѣй Михайловичъ, не глупѣй его былъ, а въ наши боярскія дѣла не вступался...

— А этотъ вступится!.. Вотъ попомни мое слово; повернетъ онъ все по своему.

— Что ты говоришь?.. Да не дай Господи дожить до этого!

— А врьдъ ли не доживемъ,—прошепталъ бояринъ Буйносовъ, принимаясь за новый кубокъ угорскаго вина.

К О Н Е Ц Ъ .



**РУССКІЕ**  
**ВЪ НАЧАЛѢ ОСЪМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.**  
— — —  
**РАЗСКАЗЪ**  
**ИЗЪ ВРЕМЕНЬ ЕДИНОДЕРЖАВІЯ**  
**ПЕТРА ПЕРВАГО**

---





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

---

### I.

Прежде чѣмъ я приступлю къ разсказу, мнѣ должно поговорить съ моими читателями о положеніи, въ которомъ находилась Россія въ эпоху, избранную мною для этой повѣсти.

Послѣдній стрѣлецкій бунтъ, вспыхнувшій во время отсутствія Царя Петра Алексѣевича, имѣлъ самыя гибельныя послѣдствія для этого своевольнаго и мятежнаго войска; главные зачинщики и участники мятежа были казнены, а остальные сосланы въ Сибирь, разселены по отдаленнымъ городамъ, и стрѣлецкая рать, нѣкогда знаменитая, исчезла навсегда съ лица земли Русской. вмѣстѣ съ прекращеніемъ политическаго существованія этихъ русскихъ янычаръ, уничтожилось и пагубное вліяніе на умы властолюбивой царевны Софьи Алексѣевны. Шведскій король Карлъ XII, разбитый на голову близъ Полтавы, едва могъ спастись отъ плѣна, убѣжавъ въ пограничный городъ Бендеры. Вся армія его была истреблена, и на берегахъ Невы, нашимъ рабочимъ людямъ помогали шведскіе солдаты сооружать, на ихъ же собственной землѣ, вторую столицу царства Русскаго. Рига, Ревель и вся Лифляндія признавали надъ собой верховную власть Государя Петра Алексѣевича; Польша, исполняя его волю, призвала снова на царство изгнаннаго ею короля Августа II-го. Предатель Мазепа убѣждалъ съ

Карломъ XII-мъ въ Бендеры; почти всѣ малороссійскіе православные казаки отступились отъ своего, опозореннаго измѣною и заклеяннаго церковнымъ проклятіемъ, гетмана. Однимъ словомъ, изъ всѣхъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ Россіи, вредящихъ ея возвышенію, устройству и возрастающей силѣ, оставался одинъ только врагъ, но самый упорный. Этотъ врагъ была почти общая, безотчетная привязанность русскихъ ко всѣмъ древнимъ обычаямъ и предразсудкамъ старины. Слѣдствіемъ этой слѣпой привязанности были: неподвижность, презрѣніе ко всему иноземному, невѣжественная спѣсь и закоренѣлое упрямство, всегда враждебное всѣмъ переменамъ и улучшениямъ, если они хотя нѣсколько противорѣчатъ существующимъ обычаямъ, иногда совершенно нелѣпнымъ, но которые обыкновенно оправдываются извѣстнымъ изреченіемъ: «такъ, дескать, искони важивалось—въ старину бывало; а стариковъ умнѣй не будешь». Одна самодержавная воля великаго Петра могла осилить этого послѣдняго врага и заставить русскихъ, хотя не хотя, а все-таки перешагнуть черезъ завѣтный рубежъ, который отдѣлялъ ихъ такъ долго отъ всѣхъ другихъ народовъ Европы. Все покорилось этой могучей, непреклонной волѣ; она возбуждала иногда бояливый ропотъ спесивыхъ бояръ, упрямыхъ гражданъ, суевѣрной черни; но давно уже не встрѣчала нигдѣ явнаго сопротивленія. Люди, приверженные къ стариннымъ обычаямъ, отстаивали ихъ съ жаромъ въ своихъ семейныхъ кругахъ—осуждали шопотомъ указы царскіе, возставали втихомолку противъ разныхъ нововведеній, называли ихъ богопротивными; но никто не смѣлъ говорить объ этомъ вслухъ; времена мятежей прошли; Петръ Алексѣевичъ былъ уже не вторымъ Царемъ Русскимъ, а Государемъ единодержавнымъ; не юношей неопытнымъ, но знаменитымъ побѣдителемъ Карла XII-го—этого вѣнчаннаго богатыря, передъ которымъ нѣкогда трепетала вся Европа. Несмотря однакожь на это, повидимому, спокойное состояніе Россіи, нельзя было не замѣтить, что въ ней происходило что то необычайное: этотъ домашній ропотъ, который тихо разливался въ народѣ; это тревожное ожиданіе какихъ то новыхъ и небывалыхъ переменъ волновало всѣ умы, и даже люди дальновидные и умные, начинавшіе уже понимать, чего желаетъ Государь Петръ Алексѣевичъ, шептали про себя, покачивая головами: «Дѣло то дѣло, да крутенько онъ, батюшка нашъ,

за него принимается». И надобно сказать правду: мы едва ли можем осуждать многих изъ современниковъ Петра Великаго за то, что они, если не дѣломъ, такъ мыслью, грѣшили, осуждая непонятныя для нихъ дѣйствія этого необъятнаго, всеобъемлющаго генія, котораго и мы, вкусившіе уже отъ плодовъ имъ посвященныхъ, не можемъ еще вполне оцѣнить.

Въ 1711 году, въ одну темную февральскую ночь, шагихъ въ двухстахъ отъ серпуховской дороги, въ богатомъ и большомъ селѣ Вздвиженскомъ, свѣтился огонекъ; его трудно было замѣтить проѣзжимъ людямъ, потому что погода была бурная, снѣгъ валилъ хлопьями и сильный вѣтеръ съ метелицею бушевалъ въ чистомъ полѣ. Этотъ огонекъ свѣтился въ бревенчатомъ, крытомъ соломою, господскомъ домѣ, въ которомъ жилъ помѣщикъ или, вѣрнѣе сказать, *отчентикъ* села Вздвиженскаго, окольничій Максимъ Петровичъ Прокудинъ. Чтобъ провести какъ нибудь время до ужина, Максимъ Петровичъ, пріютясь въ самомъ тепломъ покоѣ своихъ барскихъ хоромъ, изволилъ забавляться въ шашки съ любимымъ своимъ челядинцемъ и дворецкимъ Прокофьемъ Кулагою. Максимъ Петровичъ сидѣлъ въ обитыхъ кожею широкихъ и спокойныхъ креслахъ; дворецкій лѣпился кое-какъ на узенькой скамеечкѣ. Баринъ былъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, дородный и видный собою, довольно пріятной наружности, съ окладистою темнорусою бородою, которая, впрочемъ, начинала уже мѣстами серебриться. Онъ былъ одѣтъ по домашнему, въ цвѣтной шелковой рубашкѣ съ косымъ воротомъ и покрытомъ узорчатою камкою калмыцкомъ тулупѣ, на распахку. Дворецкій былъ также человѣкъ немолодой, съ широкимъ рябымъ лицомъ, рѣденькою бородкою и огромнымъ краснымъ носомъ. Сверхъ суконнаго кафтана съ козыремъ, на немъ надѣта была затасканная шелковая ферязь, съ оборванными петлицами, которую онъ только что удостоился получить съ барскаго плеча за свою усердную и вѣрную службу. У дверей покоя дремалъ, прислонясь къ стѣнѣ, длинный, неуклюжій дѣтина въ смуромъ кафтанѣ; онъ держалъ въ рукѣ жестыя щипцы, въ родѣ тѣхъ, которые и теперь еще употребляются по церквамъ; слѣдовательно, не трудно было отга-

дать, что главное занятіе этого парня состояло въ томъ, чтобъ сниматьъ съ двухъ сальныхъ огарковъ, которыми освѣщалась вся комната.

— Ну чтожъ ты, Кулага? — сказалъ Максимъ Петровичъ, взглянувъ съ довольнымъ видомъ на своего дворецкаго. — Или пришло въ тупикъ, что некуда ступить? Да полно, братецъ, — ходи какъ-нибудь!

— А вотъ пойдемъ, батюшка, — промолвилъ дворецкій, подвигалъ впередъ шашку.

— Такъ ты вотъ какъ... хорошо!... А мы вотъ этакъ!.. Что, братъ, опять призадумался?

— Призадумается, батюшка, — прошепталъ Прокофій, почесывая затылокъ: дѣло то плоховато!... Вишь она куда, озорница, — въ доведи лѣзетъ!... Нечего дѣлать, пойду такъ.

— А я такъ... Фу, батюшки! — промолвилъ Максимъ Петровичъ, посматривая на окна: — что это на дворѣ то?... Господи Боже мой!

— Да, сударь, разыгралась погодка!

— То-то, чай, теперь въ полѣ свѣту представленье: и снѣгъ и метель; а морозъ то самъ по себѣ... Ну чтожъ ты, пошелъ что ль?

— Пошелъ, батюшка.

— И я пошелъ... Чу, слышишь, какъ воетъ вѣтеръ?... Охъ, дорожнымъ то людямъ теперь... помилуй Господи!

— Истинно такъ, батюшка Максимъ Петровичъ, — бѣдовое дѣло!... Собьешься съ дороги, заѣдешь въ сугробъ, да коли одеженка то плохая, такъ читай себѣ отходную... Изволилъ ступить?

— Ступилъ.

— А коли ступилъ, такъ, не погнѣвайся, батюшка, — фукъ!...

— Какъ такъ?... Пстой, постой!... За что ты взялъ мою шашку?...

— Не взялъ, сударь, а фукнулъ.

— За что?

— А за то, чтобъ она брала, коли ей приходится брать. Вотъ я двинулъ сюда мою шашку, а твоя стояла здѣсь, — такъ ей приходилось брать назадъ.

— Такъ, такъ!... Ну, нечего дѣлать, — прозѣвалъ!... А игра то была какая богатая!... Да постой, любезный! Хотя ты у меня и фукнулъ шашку, а я все-таки прежде твоего въ доведяхъ буду... Вотъ мы этакъ... Пошла!

- А мы, сударь, вотъ эту тронемъ.
- Трогай себя, трогай... а ужъ на выручку не поспѣешь... Пошла дура!
- Изволиль ступить?
- Ступиль, братецъ!
- Такъ не прогнѣвайся, батюшка,—фукъ!
- Какъ?... Еще?... Тѣфу ты пропасть какая!... Да что это у меня глаза то въ затылкѣ что ль?... Нѣтъ, не могу играть, не то въ головѣ... Степка!... Смотри-ка, Прокофій, смотри: стоя спать!... Эй ты, болванъ!

Дѣтина, который дремалъ, прислонясь къ стѣнѣ, вадрогнулъ и кинулся, какъ шальной, къ столу, чтобъ снять со свѣчей.

— Тихе ты, дурачина! — закричалъ Максимъ Петровичъ.—Что ты бѣльмы то выпучиль, да лѣзешь словно уторѣлый какой!... Полно, полно... погасишь!... Ну, такъ и есть!... Эка уродина, подумаешь... а ужъ борода растетъ!

— Да что ему борода, батюшка, — прервалъ дворепкій, у него борода то выросла, да ума не вынесла. Я ужъ тебѣ докладывалъ: что его держать во дворѣ, онъ и въ пастухи то наврядъ годится.

— Эхъ, Прокофій, стыдно, братъ!... Ну, кто говоритъ: сына не за что и хлѣбомъ кормить, да отецъ то служиль мнѣ тридцать лѣтъ вѣрою и правдою... Эй ты, простофиля, пойди, скажи... Да нѣтъ, — переврешь, дуракъ!... Пошли Андрюшку.

Черезъ полминуты вошелъ въ комнату здоровый и рослый дѣтина лѣтъ тридцати; все платье его было въ снѣгу.

— Что ты это, братецъ? — спросиль Максимъ Петровичъ.—Иль валялся по снѣгу?

— Никакъ нѣтъ, — отвѣчалъ слуга:—я ходилъ сейчасъ на погребъ.

— И тебя этакъ занесло?... Ну, видно погодка!

— Не приведи Господи, батюшка: и снизу и сверху мететь.

— Темно?

— Зги Божьей не видно.

— И холодно?

— Холодно вато, батюшка,—сильно морозить.

— Ну, худо дѣло!... Отъ нашего села вплоть до самаго Шарпова вовсе жилья нѣтъ.

— Да, Максимъ Петровичъ, по большой дорогѣ нѣтъ.

— Вот то-то и дѣло: долго ли до грѣха! Вѣдь на прошлой недѣлѣ подняли же проѣзжаго мужичка, — замерзъ, бѣдняга; и добро бы еще въ полѣ, а то у насъ на задахъ. Послушай, Андрюшка, возьми съ собою кого-нибудь, ступайте за околицу, да поближе къ большой дорогѣ разведите огонь.

— Слушаю, батюшка!... Только вѣтеръ то больно силенъ...

— И, полно, братецъ!... Вязанки двѣ сухихъ березовыхъ дровъ, да лучины побольше... а огонь донесете въ фонарь... Ступай!... Этакъ будетъ лучше, — продолжалъ Максимъ Петровичъ: — на огонекъ то всякій поѣдетъ.

— Да, сударь, — сказалъ дворецкій, — коли лошадки не вовсе еще изъ мочи выбились. Чай, теперь и большую дорогу занесло сугробами, такъ цѣликомъ то далеко не уѣдешь. И то сказать: кого нелегкая понесетъ въ такую непогодь; вѣдь метель то началась еще засвѣтло.

— Ну, Прокофій, не говори! русскій человекъ на томъ стоитъ, — ему все тринь-трава! Куда нѣмецъ носа не покажетъ, а онъ туда ломить себѣ на удаю: авось, дескать, проѣду — Господь пронесетъ!

— Да, сударь, что правда, то правда. И я, бывало, въ старину хаживалъ чрезъ Оку по вешнему льду; изъ подъ ногъ вода брызжетъ, а тебѣ и горюшка мало. Что, дескать, въ самомъ дѣлѣ: двухъ смертей не бывать!.. Чтожъ, батюшка: вѣдь мы еще игру то не кончили, — прикажешь?

— Нѣтъ, Прокофій, будетъ: ужъ я тебѣ говорилъ: не то на умѣ.

— Ну, какъ изволишь! — сказалъ дворецкій, вставая. — Да не погнѣвайся, батюшка, — промолвилъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени, — дозволю спросить: что это тебя такъ тревожитъ?... Вотъ ты другой день все какъ будто бы задумываешься... Или эта грамотка, что прислалъ къ тебѣ вчера съ ходокомъ изъ Москвы пріятель твой Лаврентій Никитичъ Рокотовъ...

— Да, — прервалъ Максимъ Петровичъ, — хорошія получиль я отъ него вѣсточки, — есть чему порадоваться!...

— А что такое, батюшка?

— Худо, братъ Прокофій, больно худо!... Мы здѣсь живемъ въ глуши, у насъ все попрежнему: тишь да гладь, да Божья благодать. А кабы ты зналъ, что на Москвѣ то дѣлается...

— А что, сударь?... Неужели опять стрѣльцы завозились.

— Вотъ до глухого вѣсти дошли—стрѣльцы!... Да объ этихъ мятежникахъ давно и рѣчи нѣтъ. Мы и прежняго то срама не переживемъ... Помилуй, братецъ, кто нынче станетъ бунтовать противъ помазанника Божія?...

— Такъ чтожь, батюшка? Ужь не шведъ ли опять поднялся на святую Русь?

— Куда ему!... И король то ихъ безъ вѣсти пропалъ; говорить, въ плѣну у турскаго салтана.

— Такъ все ли здорово на Москвѣ?... Не морь ли, батюшка?...

— Что морь: Господь казнить, Господь и помилуетъ; а тамъ, глядишь, опять пойдутъ времена благодатныя.

— Да чтожь такое, сударь?...

— А вотъ что, любезный,—продолжалъ Максимъ Петровичъ, понизивъ голосъ.—Мнѣ пишетъ Лаврентій Никитичъ, что нашъ православный Государь... охъ, страшно вымолвить!... Нашъ батюшка Царь Петръ Алексѣвичъ... совсѣмъ онѣмечился.

— Что ты говоришь, батюшка!—вскричалъ Прокофій.— Съ нами сила крестная!... Да какъ это можетъ быть?

— Да, любезный! Онъ такія дѣла затѣваетъ, что не приведи Господи!... Хочетъ, чтобъ мы перенимали все у нѣмцевъ.

— У нѣмцевъ?... Вотъ еще!... Что намъ у этихъ еретиковъ перенимать!... Да давно ли этихъ поскудныхъ нѣмцевъ и въ царскихъ то указахъ позорнымъ именемъ называли?...

— Вотъ то то и есть!... А теперь посылаютъ боярскихъ дѣтей въ еретичнія земли учиться нѣмецкимъ обычаямъ, хотять насъ нарядить въ разнополдые нѣмецкіе кафтаны... обрить бороды...

— Обрить бороды!—воскликнулъ Прокофій. Нѣтъ, батюшка, ужъ этого то никакъ нельзя! Вѣдь мы православные, а не басурманы какіе!

— Ну вотъ поди ты!..

— Да я хоть сейчасъ голову на плаху!... Господи Боже мой, и что это нашему батюшкѣ Петру Алексѣвичу дались эти нѣмцы?... Что они, обошли что-ль его?

— Эхъ, Прокофій: лиха бѣда податься демонской прелести, а тамъ все пойдетъ какъ по маслу! Вотъ кабы Госу-

дарь не изволил ѳздить за море, такъ ничего бы не было, все осталось бы попрежнему; а теперь, какъ онъ набрался нѣмецкаго духу, такъ и слышать ничего не хочетъ. Да ужь пускай бы помаленьку, не торопясь,—мы бы, старики, свой вѣкъ отжили, а тамъ что Богъ велить!... Ну, можетъ статься, и въ самомъ дѣлѣ есть что перенять у нѣмцевъ... Вотъ, примѣромъ сказать, хитрость ратную, корабельное плаваніе—то, другое; да это бы полегоньку, исподволь... а то вынь да положи!... Вчера нашъ братъ, русскій, и якшаться съ нѣмцемъ не хотѣлъ, а сегодня ступай къ нему подъ начальъ... Ну, да что объ этомъ: выше лба уши не растутъ. И кабы мнѣ не было надобности ѳхать въ Москву, такъ я бы рукой махнулъ...

— А развѣ ты, батюшка, въ Москву собираешься?...

— Чтожъ дѣлать, братецъ: и не хочешь, да ѳдешь. Ты знаешь, что я мою племянницу, Ольгу, люблю какъ дочь родную.

— Какъ не знать, батюшка!... Да и кого же тебѣ любить? Она сиротка, выросла на твоихъ рукахъ, а у тебя отъ покойной твоей сожительницы дѣтокъ не осталось. Да вѣдь ты изволил говорить, что Ольга Дмитриевна по веснѣ сама къ намъ сюда пожалуетъ.

— Нѣтъ, братъ, до весны то далеко, а я теперь ее въ Москвѣ у моей дуры сестры ни за что не оставлю. То то бабы то, подумаешь! Подлинно правда, что у нихъ волосъ дологъ, да умъ коротокъ. «Отпусти, дескать, батюшка братецъ, племянницу ко мнѣ погостить: вѣдь она у тебя живетъ въ захоlustѣ, свѣту Божьяго не видитъ!» Вотъ тебѣ и отпустилъ.

— Такъ чтожъ, сударь?... Вѣдь сестрица твоя Аграфена Петровна...

— Да, была когда то баба путная—русская барыня; а теперь хуже всякой нѣмки стала.

— Какъ такъ?

— А вотъ достань-ка тамъ за образами грамотку Даврентія Никитича,—я тебѣ прочту, что онъ о ней пишетъ.

Прокофій вынулъ изъ за образовъ довольно толстый свитокъ и подалъ его своему господину.

— Сначала-то,—сказалъ Максимъ Петровичъ, развертывая длинный столбецъ,—Даврентій Никитичъ пишетъ ко мнѣ о прѣздѣ Государя Петра Алексѣевича въ Москву, о новыхъ указахъ царскихъ, о посылкѣ дворянскихъ дѣтей



въ Нѣметчану, о шутовскомъ нѣмецкомъ нарядѣ; а вотъ здѣсь... нѣтъ... это онъ пишетъ о своей меньшей дочери... вотъ что: «Крестница твоя, Максимъ Петровичъ, Катюшка, премного тебѣ челомъ бьетъ и твоего отеческаго благословенья просить. Она будетъ у насъ большая грамотница: доучиваетъ теперь заутреню; а напрежъ сего училъ Катюшку Макарка, нашъ приходскій пономарь, и онъ, кутейникъ, меня обманывалъ: не доуча заутрени, часы началъ учить. А нынѣ учить Катюшку Успенскаго собора псаломщикъ Григорій, и я ученьемъ его зѣло доволенъ. Еще-жъ, другъ сердечный, хотя мнѣ весьма прискорбно говорить тебѣ объ этомъ, а дѣлать нечего, долженъ сказать: сестрица твоя Аграфена Петровна и племянница Ольга Дмитриевна свели дружбу съ Ягужинскими, а тѣ ихъ вовсе съ толку сбили и теперь о нихъ—не при тебѣ будь слово сказано—идутъ такія непригожія рѣчи, что всѣ наши и знаться съ ними не хотятъ. Онѣ изволятъ щеголять въ какихъ то заморскихъ фуру, повадились ѣздить въ Нѣмецкую слободу, и даже говорить, что будто бы дошли до такого окаянства, что на прошлой недѣлѣ въ нѣмецкой киркѣ были»... Что, братъ Прокофій, какво?

— Въ нѣмецкой киркѣ?!—повторилъ Прокофій, всплеснувъ руками.

— Слушай, слушай!—продолжалъ Максимъ Петровичъ.— «Сестрица твоя—и это я доподлинно знаю—наняла двухъ нѣмчинъ; у одного твоя племянница обучается разнымъ еретичнымъ наукамъ и басурманскимъ нарѣчьямъ, а другой учить ее играть на какихъ то кравироцымбалдахъ—сирѣчь заморскихъ гуслихъ»... Что, братъ Прокофій—а?... Вишь нашли какую гуслистку!.. Да слушай, слушай,—то ли еще будетъ!... «Еще жъ скажу тебѣ, другъ сердечный, что у насъ завелись въ Москвѣ бѣсовскія сходбища, они прозываются асамблеями. Чаще всего бываютъ эти асамблеи въ Нѣмецкой слободѣ у голландскаго купца Гутфеля. Вотъ съѣдутся къ нему и наша братья, дворяне, съ женами и дочерьми и всякая нѣмецкая сволочь. И тутъ ужъ, любезный, не жди себѣ никакого почета: что знатная барыня, что нѣмецкая купчиха—все едино; сядутъ онѣ всѣ рядышкомъ, а этотъ чортовъ сынъ, Гутфель, какъ бояринъ какой, учнетъ похаживать, да потчевать сластями нашихъ барышень и своихъ нѣмокъ; а тамъ, какъ сберется ихъ побольше, затрубятъ въ трубы, заиграютъ на фіюляхъ, молодые ребята-

офицерики и нѣмцы всякіе подлетятъ къ барышнямъ, разберутъ ихъ по рукамъ и пойдутъ пляски! Начнется всякое тресбѣсіе, шумъ, гамъ, веселье;—ну, ни дать, ни взять, Содомъ и Гоморра въ лицахъ. А дураки то отцы и мужья, какъ будто бы не ихъ дѣло, заберутся въ особый покой, читають куранты, играютъ въ шахматы, танутъ пиво, да вмѣстѣ со старыми нѣмцами табачище жрутъ. И по этимъ то сатанинскимъ игрищамъ Аграфена Петровна изволила всю зиму таскаться съ твоею племянницей, которая, слышала я стороною, познакомилась тамъ съ какимъ то гвардейскимъ фенрикомъ,—сирѣчь прапорщикомъ, и, говорятъ, будто бы этотъ фенрикъ очень за нею ухаживаль». Ухаживаль!... Слышишь, Кулага?

— Слышу, батюшка.

— Ну что, братъ,—продолжалъ Максимъ Петровичъ, переставъ читать,—вхатъ ли мнѣ въ Москву?

— Какъ не вхатъ, батюшка! Вѣдь надобно же нашу барышню выручить изъ этого омута. И что это съ государыней Аграфеной Петровной сдѣлалось?

— Воля, братецъ!... Кути себѣ, какъ хочешь: мужъ на службѣ царской въ Азовѣ, Богъ вѣсть, когда назадъ вернется. Правда, и онъ хорошъ!... Чай, радехонекъ, что жена его подружилась съ Ягужинскими: «Теперь, дескать, у меня рука есть!»

— А я такъ, батюшка, очнуться не могу. Эко непотребство, подумаешь!... Какой-нибудь нѣмчура, чумичка проклятый,—чай, у себя дома то булки пекъ, а теперь съ боярскою дочерью, съ племянницею твоею, изволилъ поплясывать!... Нахали этакіе!... Какъ ходу то имъ не было, такъ, небось, были тише воды, ниже травы; а какъ посадили ихъ за столъ, такъ они и ноги на столъ.

— Пстой ка, пстой, Прокофій!—прервалъ Максимъ Петровичъ, вставая.—Чу! .. Слышишь?... Никакъ ворота за скрипѣли?...

— Да, сударь,—сказалъ дворецкій, подойдя къ окну, кажись, кто то въехалъ во дворъ.

— Кого это Господь даетъ?... Ступай ка, Прокофій, провѣдай. Коли пріятель—милости просимъ, коли провѣзкій—также добро пожаловать! Вели перемѣнить свѣчи, водки приготовь, да проворнѣй сварить сбитню съ имбиремъ! чтобъ провѣзжимъ то людямъ было чѣмъ душу отвести. Чай они, голубчики, больно прозябли.

— Все будетъ готово, батюшка.

Хозяинъ, оставшись одинъ, свернулъ бережно длинный столбецъ, положилъ его за образа, поправился, запахнулъ тулупъ, пригладилъ бороду и усълся опять въ свои широкія кожаныя кресла.

## II.

— Спусти нѣсколько минутъ, дворецкій возвратился, неся въ рукахъ пару рѣзныхъ желѣзныхъ подсвѣчниковъ, въ которые вставлены были цѣльные салныя свѣчи.

— Ну, что?—спросилъ Максимъ Петровичъ.

— Пріѣзжай, батюшка, военный и, кажись, начальный человекъ.

— Одинъ?

— Нѣтъ, сударь. При немъ служивый,—видно, денщикъ.

— Что, они очень продрогли?

— И Господи!... Насилу говорятъ. Служивые то люди туда и сюда, а ямщикъ еле живъ. Я велѣлъ втащить его въ людскія сѣни, да оттирать снѣгомъ: совсѣмъ окоченѣлъ, сердечный! Ну, сударь, надоумилъ тебя Господь! Кабы ты не изволилъ приказать развести огонь за околицею, такъ пить бы имъ горькую чашу.

— А что, развѣ проѣзжіе то на огонекъ къ нимъ выѣхали?

— Какъ же! Они съ дороги сбились, да плутали все по полю.

— Что, этотъ офицеръ парень молодой?

— Да, батюшка: ему, чай, и тридцати годковъ не будетъ.

— Ну чтожь, зови его сюда.

— Просилъ пообождать. Я, дескать, поразомнусь и отогрѣюсь немного, а то языкъ не шевелится.

— Ты провѣдалъ, кто онъ таковъ?

— Спрашивалъ у служиваго: Василій Михайловичъ Симскій, прапорщикъ Преображенскаго полка; такой красивый собою, ловкій дѣтина, и по всему видно, не изъ потѣшныхъ какихъ, а. роду хорошаго. Сейчасъ спросилъ, какъ зовутъ тебя по имени и по отчеству.

— Вотъ что!... Симскій... Мнѣ что то сдается... самъ что ль я знавалъ или слыхалъ о какихъ то Симскихъ,—не

помню хорошенько. Ступай, Прокофій, скажи, чтобъ ему изготовили постель въ передбанникѣ. Покои то въ домѣ красивѣе, да въ нихъ холодненько. Деньщика сведи въ людскую; коли пьетъ, такъ поднеси ему добрую красаулю вина, а коли нѣтъ, такъ, напоить сбитнемъ, а тамъ, чѣмъ Богъ послалъ.

— Будетъ сытъ, батюшка.

— Ямщика также, какъ онъ совсѣмъ отгааетъ, напойте, накормите и спать положите; а лошадокъ его вели убрать Парфену, да чтобы задалъ имъ побольше овсеца. Ну, ступай, и коли пріѣзжій офицеръ пообогрѣлся, проси его сюда.

— Слушаю, сударь... Да вотъ никакъ онъ и самъ изволить идти.

Долговязый Степка растворилъ дверь, и въ комнату вошелъ молодой человекъ лѣтъ двадцати пяти. Этотъ пріѣзжій былъ дѣйствительно замѣчательной наружности. Несмотря на багровый цвѣтъ его лица, которое горѣло отъ мороза, нельзя было не назвать его красавцемъ. Его черные глаза блистали умомъ и веселостію, а длинные шелковистые волосы разстилались крупными кудрями по широкимъ плечамъ. На немъ былъ мундиръ темнозеленаго цвѣта, весьма похожій на нынѣшніе короткіе однобортные сюртуки, съ тою только разницею, что онъ былъ безъ воротника, на груди не сходилса, и что у него спереди на фалдахъ были большіе клапаны, вырѣзанные по краямъ городками, а на рукавахъ широкіе разрѣзные обшлага. Этотъ мундиръ былъ съ мѣдными золочеными пуговицами; подъ нимъ суконный камзолъ и нижнее платье, также темнозеленые. На шеѣ бѣлый холстинный галстукъ съ висячими концами, а на ногахъ высокіе, по самое колѣно, сапоги съ небольшими раструбами. Все украшеніе этого, не слишкомъ затѣйливаго, наряда состояло въ томъ, что мундиръ, камзолъ, клапаны и обшлага обшиты были по борту золотымъ галуномъ, пальца въ полтора шириною.

Максимъ Петровичъ всталъ.

— Милости просимъ, Василій Михайловичъ!— сказалъ онъ, идя навстрѣчу къ своему гостю. Эй, Степка, стулъ!

— Зѣло благодарствую вамъ, высокопочтеннѣйшій Максимъ Петровичъ,—промолвилъ офицеръ, кланаясь хозяину,— что вы меня, страннаго человекъ, изволили укрыть отъ холода и непогоды.

— Помилуй, батюшка, да за это нечего и спасибо сказать. Просимъ садиться.

— Всепокорнѣйше благодарю!

— Да зачѣмъ же на скамейкѣ? Вотъ стулъ.

— Все равно, Максимъ Петровичъ. Нижайше прошу васъ, не извольте себѣ чинить, ради меня, никакой турбаціи.

— Турбаціи!—повторилъ про себя Максимъ Петровичъ, взглянувъ съ удивленіемъ на офицера. Ну что, Василій Михайловичъ,—продолжалъ онъ,—поотогрѣлся ли ты? Вѣдь погода то не приведи Господа!

— Истину извольте говорить: совершеннѣйшее подобіе морского штурма, или, паче сказать, смятеніе всѣхъ элементовъ.

— А по нашему просто метель. Дозволь спросить: откуда путь держишь?

— Изъ Санктпетербурга. Вздилъ по указу начальства въ Смоленскъ и Калугу; теперь пробираюсь въ Москву.

— Такъ ты, сударь, не изъ здѣшной стороны?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, прошу экскузовать! Я родомъ изъ Москвы, а служу теперь...

— Знаю, знаю: по нынѣшнему, въ царской гвардіи, а по старинному—въ опричникахъ.

— Не прогнѣвайтесь, Максимъ Петровичъ,—сказалъ офицеръ улыбаясь,—я противъ этого протестую. Опричнѣ была при Государѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, а лейбъ-гвардія учреждена Государемъ Петромъ Алексѣевичемъ по примѣру всѣхъ царствующихъ potentatovъ.

— Potentatovъ! — прошепталъ опять про себя Максимъ Петровичъ, нахмурилъ брови.—Такъ ты, Василій Михайловичъ, — молвилъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени, — недавно изъ этого... какъ, бишь, вы его зовете?... Санкъ-санкъ... Не прогнѣвайся, молодець, я по нѣмецкому то негораздъ. Ну вотъ изъ этого бурха то...

— Изъ Санктпетербурга. Я выѣхалъ оттуда на прошлой недѣлѣ.

— Ну, что у васъ тамъ подѣлывается?

— Мало ли что: строятъ всякія зданія, проводятъ каналы...

— И все идетъ успѣшно?

— Да, Максимъ Петровичъ! По истинѣ, доложу вамъ:

Санктпетербургъ, яко нѣкій парадись, процвѣтаетъ, и на подобіе преизряднаго младенца, каждодневно возрастая, всякими инвенциями украшается.

— Не осуди меня, старика,—перервалъ Прокудинъ:—ты, молодець, изволишь такія мудренныя рѣчи проговаривать, что я тебя и въ толкъ не возьму. Ну вотъ, примѣромъ сказать, уподобляешь ты вновь созидаемый градъ какому то парадису,—а что такое парадись?

— Парадись? Это иноземное слово; оно соотвѣтствуетъ нашему слову: земной рай.

— Вотъ что! Такъ на чтожь ты, говоря съ русскимъ человѣкомъ, называешь земной рай по нѣмецки?

— Привычка, Максимъ Петровичъ. У насъ въ Санктпетербургѣ всѣ такъ говорятъ.

— Видно, подь стать къ ващимъ нѣмецкимъ кафтанамъ. Послушай, Василій Михайловичъ: я человѣкъ старый, никакимъ заморскимъ хитростямъ не обучался, такъ нельзя ли тебѣ говорить со мною попросту?

— Прошу прощенья, Максимъ Петровичъ. Я мыслить...

— Что и мы деревенскіе также онѣмечились. Нѣтъ, батюшка, гдѣ намъ! Мы все такіе же неучи, какими были прежде. Ну скажи-ка мнѣ, Василій Михайловичъ, что у васъ тамъ строятъ! *въ царскомъ дворцѣ*

— Царскій дворець, адмиралтейство, фортецію—сирѣчь крѣпость.

— Крѣпость! Чтожь она сооружается на подобіе московскаго кремля?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ. Эта крѣпость строится по заморскимъ чертежамъ, безъ башенъ, со многими бастіонами и болверкомъ—сирѣчь съ выступами и съ землянымъ раскатомъ.

— А что, обывательскіе то дома прибавляются?

— Словно грибы растутъ.

— Не диво! Въдѣ по царскому указу всѣ зажиточные дворяне должны тамъ строить дома. Вотъ и мнѣ на старости придется выстроить домишко; да только врядъ ли я въ немъ новоселье буду справлять. Приказано строить—построю; а живи въ немъ кто хочеть.

— Напрасно, Максимъ Петровичъ. Почему жъ вамъ не пріѣхать, хоть недѣльки на двѣ, взглянуть на вашъ домъ, полюбоваться нашимъ Санктпетербургомъ?..

— Нѣтъ, батюшка! Коли я въ Москву не могу собраться, такъ поѣду ли къ вамъ, за тридевять земель въ тридесятое государство. Да и что мнѣ у васъ смотрѣть?

— Мало ли что? Вотъ, напимѣръ, вы побывали бы тамъ въ кудсткамерѣ...

— А что это, батюшка, такое?

— Это особый домъ, въ которомъ показываютъ всякія рѣдкости.

— А, знаю, знаю!... Еще недавно объявляли царскій указъ, чтобъ со всѣхъ сторонъ присылали туда всякихъ уродцевъ. Вотъ мнѣ сказывали: въ прошломъ мѣсяцѣ послали къ вамъ изъ Серпухова мертваго теленка о пяти ногахъ,—эка вещь!... Да я и живого то теленка о пяти ногахъ видѣть не хочу,—что тутъ за краса такая?...

— Ну, такъ посмотрѣли бы море.

— Море? Вотъ невидаль! Я съ молоду служилъ въ Астрахани воеводскимъ товарищемъ и видѣлъ море то почище вашего,—море Хвалынское!

— Поглядѣли бы, какъ иноземные гости къ вамъ на корабляхъ приходятъ.

— Иноземныхъ гостей и въ Москвѣ много, и корабли-то мнѣ не въ диковинку. Покатался я вдоволь по морю Хвалынскому; вплоть до самаго Дербента ходилъ на парусахъ.

— Да это все не то, Максимъ Петровичъ! Что ваши волжскіе струга? Вы посмотрѣли бы на нашу гребную флотилію, галеры, осьмидесяти-пушечные корабли, покатались въ шлюпкѣ по Невѣ... Да что по Невѣ! У насъ такое обиліе водъ, что можно весь городъ объѣздить въ лодкѣ.

— А пѣшкомъ то ходить, видно, не приходится: въ болотѣ увязнешь.

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ: у насъ почитай всѣ большія улицы вымощены булыжникомъ.

— Не диво: городишка маленькій, рукъ много, а за булыжникомъ дѣло не станеть. Мнѣ рассказывали, что у васъ поля то всѣ усыпаны голышами: ни пахать, ни косить нельзя. А что, молодець, правду ли мнѣ также говорили, будто бы въ вашей сторонѣ не русскій народъ живеть, а какіе то латыши?

— Теперь и руссикахъ много.

— Чтожъ, эти латыши по латыни что-ль говорятъ?

— Да, рѣчь у нихъ совсѣмъ иная.

— Ну, нечего сказать: далеконько же этотъ новый городокъ поотшатнулся, и я — не прогнѣвайся, Василій Михайловичъ — мыслю такъ, что ему никогда не бывать знатнымъ городомъ.

— Напрасно вы это изволите думать: Санктпетербургъ и теперь ужь городъ нарочитый, и коли онъ сдѣлается царскою резиденцією, сирѣчь столицей, такъ не диво, если и съ первопрестольнымъ градомъ поверстается...

— Съ Москвою?.. Экъ хватилъ!.. Нѣтъ, Василій Михайловичъ, далеко кулику до Петрова дня!.. Ну, можетъ статья, по времени, вашъ новый городишка будетъ не хуже города Архангельска; но чтобъ онъ съ Москвою когда поровнялся, — не моги этого и думать.

— Да вѣдь и Москва, Максимъ Петровичъ, не всегда была такая, какъ теперь.

— Москва!.. Москва-то, любезный, не что другое: она и великому Царьграду въ версту будетъ!.. Ее, нашу матушку, не три дня строили!.. Вишь скорохваты какіе! Тяпъ да ляпъ, — анъ и другая Москва готова. Нѣтъ, молодець, погода!

Въ комнату вошли двое слугъ, одинъ съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ стояли три полуштофика и двѣ позолоченныя чарки; другой съ закускою, то-есть съ хлѣбомъ, паюсною икрою и жирнымъ балыкомъ.

— Прошу покорно! — сказалъ хозяинъ. — Какой прикажешь? Вотъ травничекъ, зорная...

— Никайше благодарю! — отвѣчалъ Симскій, кланяясь.

— Да выкушай, гость дорогой! А коли не хочешь ни травника, ни зорной, такъ милости просимъ отвѣдать вотъ этой... отличная анисовка!.. Говорять, нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ изволилъ ее жаловать, такъ вамъ, вѣрнымъ его слугамъ, непригоже отъ нея отказываться... Выкушай за его здоровье, и я съ тобой выпью чарочку.

Хозяинъ и гость налили себѣ по чаркѣ анисовой водки, выпили, стоя, за здоровье Царя Русскаго, закусили; потомъ, когда слуги вышли, Максимъ Петровичъ завелъ рѣчь о мундирѣ, въ которомъ былъ его гость.

— Чтожъ это, батюшка, — спросилъ онъ, — праздничный что ль это кафтанъ, или ужь вы всегда въ такихъ празументахъ ходите!

— У насъ нѣтъ другихъ мундировъ, — отвѣчалъ Симскій.



— Подумаешь: ну чѣмъ этотъ нѣмецкій кафтанъ лучше нашего? Спереди вся грудь раскрыта, сзади затылокъ ничѣмъ прикрытъ,—и коротенько и узенько!.. Сапоги выше колѣнъ..

— Да это по походному, — прервалъ Сивскій, — а на стоянкѣ мы сапоговъ не носимъ

— Право!.. Такъ въ чемъ же вы ходите?

— Въ башмакахъ и зеленыхъ чулкахъ.

— Чулкахъ?.. Лѣтомъ?

— И лѣтомъ и зимою.

— И зимою?.. Да какъ же это?.. Вѣдь русскій морозъ чулочки то не очень жалуется.

— Ничего, Максимъ Петровичъ. Ну, какъ больно холодно, можно поддѣть что-нибудь.

— Поддѣть?.. Вѣстимо, можно. Да на чтожъ людей то морочить? Я, дескать, и по морозу въ чулкахъ похаживаю! А глядишь: подъ чулками то онучи намотаны.

— Чтожъ дѣлать, Максимъ Петровичъ! Ужъ коли за моремъ такъ одѣваются...

— За моремъ то, говорятъ, тепло, а у насъ холодно... Ахъ Ты, Господи Боже мой!.. Вотъ оно и впрямь выходить, что нѣмцы то насъ умнѣе. Русскій человекъ хоть замерзши, да одѣвайся по нѣмецки; а поди-ка уговоритъ какого-нибудь нѣмца, чтобъ онъ надѣлъ нашъ полушубокъ, — какъ бы не такъ!.. Онъ тебѣ тотчасъ скажетъ: «Нѣтъ, братъ, спасибо: наша земля не ваша, у насъ въ русскомъ полушубкѣ то задохнешься!».. Ну, а на головахъ то что вы носите?.. Вотъ этакія шапки чтоль?..

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, это по дорожному, а на службѣ мы носимъ шляпы съ пригнутыми полями.

— А, знаю, знаю!.. У меня проѣздомъ былъ одинъ нѣмецкій купчина въ этакой шляпѣ; ни дать, ни взять — пирожекъ безъ начинки. По морозцу въ ней не далеко увидишь! Хорошо еще, что вы теперь волосы отпускаете: все-таки есть чѣмъ уши прикрыть.

— А когда бываютъ парадные строи, такъ волосы то у насъ еще длиннѣе.

— Какъ такъ?

— Да, Максимъ Петровичъ: мы сверхъ своихъ волосъ надѣваемъ пудреные парики.

— Пудреные парики? Что это за вещь такая?

— Париками называютъ накладные волосы, а коли

они посыпаны пудрою, сирѣчь мукою, такъ ихъ зовутъ пудренными.

— Ну, хитро придумано!.. На свои родные волосы надѣвать чужіе, да еще мукою ихъ посыпать!..

— Такъ ужъ веадѣ заведено, Максимъ Петровичъ.

— Веадѣ!.. Да пускай себѣ нѣмцы хотъ круглый голь святки справляютъ, а намъ, православнымъ, грѣшно ядаться такими халдейцами и тратить понапрасну даръ Божій.

— Я вижу,—сказалъ улыбаясь Симскій,—что вамъ всѣ эти новинки не по сердцу.

Прокудинъ взглянулъ недовѣрчиво на своего гостя и повторилъ вполголоса.

— Не по сердцу... не то что не по сердцу... Коли такъ угодно нашему батюшкѣ Петру Алексѣвичу, такъ воля его царская, — мы всѣ рабы его: что прикажетъ, то и дѣлаемъ... а это такъ между словъ скажешь иногда... Человѣкъ же есть: посумнишься, подумаешь... что, дескать, ради чего это, на какую потребу?.. Да вотъ хотъ, при мѣромъ сказать, поговариваютъ, будто бы не токмо вамъ, людямъ ратнымъ, но и всѣмъ православнымъ указано будетъ бороды брить и носить нѣмецкое платье. Но будь же милостивъ—скажи мнѣ, ради чего это?

— А вотъ ради чего, Максимъ Петровичъ: Государю Петру Алексѣвичу желательно, что бы мы, русскіе, ни въ чемъ не были хуже нашихъ сосѣдей нѣмцевъ и другихъ иноземныхъ народовъ.

— Да чѣмъ же мы ихъ хуже?

— А тѣмъ, Максимъ Петровичъ, что они, по своей эдюкаціи и наукѣ, во всякомъ дѣлѣ больше толку знаютъ, чѣмъ мы. Навигация, ратное дѣло, свободныя искусства и многія другія хитрости, въ которыхъ мы еще не иску- сились, находятся у нихъ въ презрядномъ процвѣтаніи; такъ любы ли намъ нѣмцы или нѣтъ, а перенимать у нихъ слѣдуетъ. Вы скажете, можетъ быть: «на что, дескать, намъ всѣ эти хитрости, — вѣдь мы жили же безъ нихъ». Не тѣ времена, Максимъ Петровичъ! То было въ старину, а теперь безъ науки не далеко уйдешь. Да вотъ хотъ въ дѣлѣ ратномъ: давно ли насъ шведы похода били, а какъ мы понаучились отъ нѣмцевъ, такъ и сами стали ихъ поколачивать, да еще какъ!.. Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, воля ваша, а намъ, русскимъ, нельзя не перенимать

у нѣмцевъ. Вотъ какъ наберемся отъ нихъ ума-разума, такъ, можетъ статья, и сами другихъ поучимъ. Вѣдь это, сударь, круговая порука и обижаться этимъ нечего.

Прокудинъ улыбнулся.

— Ну, молодецъ, — сказали онъ, много ты наговорилъ, а все-таки не далъ отвѣта на то, о чемъ я тебя спрашивалъ. Наука сама по себѣ — и мы, старики, знаемъ пословицу: «ученье свѣтъ, а неученье тьма», да у насъ рѣчь шла вовсе не о томъ; я спрашивалъ тебя, ради чего должны мы, православные, одѣваться какъ еретики и брить себѣ бороды? Да неужели Государь Петръ Алексѣевичъ изволить думать, что коли русскій человѣкъ отмахнетъ себѣ бороду, такъ въ немъ отъ этого ума прибудеть? А если вмѣсто фезы натянетъ на себя кургузый кафтанчикъ, такъ станетъ хитрѣ всякаго нѣмца?

— Нѣтъ, онъ этого не думаетъ.

— А коли не думаетъ, такъ въ чемъ же передъ нимъ провинились наши бороды, и почему русское одѣяніе, которымъ не гнушались наши предки, хуже этого общипаннаго заморскаго платья?

— Да это, Максимъ Петровичъ, не что иное, какъ препарація, сирѣчь приготовленіе или, такъ сказать, начало. Чтобъ перенять что-нибудь у нѣмцевъ, надобно имѣть съ ними обхожденіе, не чуждаться ихъ; а какое можетъ быть у насъ общеніе съ иноземцами, коли между ними и нами не будетъ даже и наружнаго подобія? Вы сами знаете, что въ старину мы, русскіе, презирали иноземцевъ, смѣялись надъ ними, называли ихъ погаными и даже за людей то признавать не хотѣли, — и все это не потому только, что они другой вѣры, а больше потому, что они явно отличались отъ насъ своимъ платьемъ, обычаями и бритою бородою. Теперь, какъ мы сами будемъ брить бороды и одѣваться какъ они, такъ мало по малу свыкнемся съ ними, перестанемъ ихъ чуждаться, и намъ будетъ вовсе не зазорно учиться у нихъ тому, чего мы еще не знаемъ, и что намъ зѣло знать надлежитъ. Да вотъ хоть, напри- мѣръ, случалось мнѣ принимать къ намъ въ полкъ рекрутовъ, сирѣчь новобранцевъ; пока они еще въ своихъ сержанскихъ зипунахъ, въ лаптяхъ и съ бородами, такъ глядятъ медвѣдями на своихъ товарищей солдатъ, да и тѣ на нихъ не больно ласково посматриваютъ; а какъ ихъ обрѣютъ, да одѣнутъ въ мундиры, такъ они какъ вѣкъ

съ ними жили: все разомъ переймутъ, откуда возьмется и удаль и смѣтка солдатская, ну, словомъ, вовсе переродятся. Такъ изволите видѣть, Максимъ Петровичъ, что значить платье то! Оно, кажись, ничего, а посмотришь— нѣтъ: тотъ же человѣкъ, да не тотъ.

— Вижу, Василій Михайловичъ, вижу! Такъ вотъ оно что: нѣмцы то солдаты, а мы новобранцы... Такъ, батюшка, такъ!.. Да только вотъ что: бородъ то много на святой Руси, а не у всякаго руки на самого себя подымутся, такъ всѣхъ то брить отъ казны тяжеленько будетъ.

— И, Максимъ Петровичъ, была бы на это воля царская!

— Воля царская! — прервалъ Прокудинъ. — Не прогнѣвайся, молодецъ: борода то не что другое, — съ ней не всякій захочетъ разстаться. Нѣтъ, Василій Михайловичъ, не знаю, какъ вы, люди молодые, а мы, старики, не то думаемъ... Да, батюшка, да! Въ головѣ моей Царь воленъ, а въ бородѣ нѣтъ!.. Что ухмыляешься? Всеконечно, такъ! Пусть себѣ брѣютъ бороды эти заморскіе еретики... имъ что! Они, чай, и Бога то не знаютъ. А чтобъ у православнаго рука поднялась на такое искаженіе образа Божія... нѣтъ, любезный! Ужь коли желаешь кого осрамить, такъ прежде сними съ него голову, а тамъ и ругайся надъ нимъ, какъ хочешь... Да что объ этомъ говорить! — продолжалъ Прокудинъ, вспомнивъ, что человѣкъ, съ которымъ онъ бесѣдуетъ, вовсе ему не знакомъ. Мало ли что болтаетъ народъ. Нашъ благовѣрный Царь Петръ Алексѣевичъ — Государь милостивый: можетъ статья ему и въ голову не приходило насильно брить намъ бороды. И къ чему насильно? Охотниковъ найдется много. Одинъ оскоблить себѣ рыло, чтобъ на нѣмца походить, другой ради того, чтобъ выслужиться... Вѣдь нынче не прежнія времена: столбовые то люди повывелись... Эй, Степка, вели накрыть здѣсь столъ! Милости просимъ, Василій Михайловичъ, поужинать съ нами, чѣмъ Богъ послалъ. Да не прогнѣвайся, поваришка то у меня простой, у нѣмцевъ не учился.

Во время ужина Прокудинъ началъ снова спрашивать своего гостя о Петербургѣ и слушалъ его съ большимъ вниманіемъ; но когда Симскій сказалъ, между прочимъ, что широкая и многоводная Нева, по красотѣ своей, можетъ назваться первою русскою рѣкою, онъ прервалъ его и промолвилъ, улыбаясь:

— Конечно, Василий Михайлович, конечно! Гдѣ нашимъ старымъ рѣкамъ, Волгѣ, Дону и Днѣпру, равняться съ вашею новою рѣкою! Правда, по этой рѣчонкѣ, что мы Волгой зовемъ, пройдешь почитай все царство Русское. Да это что!.. То ли дѣло ваша Нева!.. Говорять, будто бы она вытекаетъ изъ Ладожскаго озера и течетъ вплоть до самаго моря Нѣмецкаго, сирѣчь невступно шестьдесятъ верстѣ. Эка рѣчица, подумаешь!

— Однакожъ по ней большіе корабли ходять.

— Какъ же, батюшка! Не даромъ говорится: «большому кораблю большое плаванье». Вѣдь шутка вымолвить — шестьдесятъ верстѣ!.. Поди ка, пройди ихъ! Ну, да Богъ съ ней! Пусть она лучше нашей кормилицы Волги, такъ же какъ вашъ новый городъ лучше нашего первопрестольнаго града—передъ вами!.. А кстати о первопрестольномъ градѣ: что ты, батюшка, поживешь таки въ Москвѣ?

— Недолго, Максимъ Петровичъ, съ недѣлю можетъ быть.

— Сирѣчь до Великаго поста? Что у тебя тамъ, знакомые что ль есть, или сродственники?

— Знакомыхъ довольно, а близкихъ родственниковъ одинъ только дядя. Я у него и остановлюсь.

— А кто твой дядюшка?

— Стольникъ Данила Никифоровичъ Загоскинъ.

— Данила Никифоровичъ?.. Старинный, батюшка, приятель! И отцы то наши межъ собою хлѣбъ-соль важивали. Ну вотъ, Василий Михайловичъ, примѣромъ сказать, твой дядюшка — худо что ль послужилъ и словомъ и дѣломъ нашимъ Царямъ-Государямъ? Ты, чай, знаешь, что, во время стрѣлецкаго мятежа и нестроенія, Данила Никифоровичъ въ Коломенскомъ походѣ, въ Савинѣ монастырѣ и въ разныхъ другихъ мѣстахъ, не жалѣя живота своего, стоялъ за Царей православныхъ? Я самъ читалъ въ царской жалованной грамотѣ, какъ онъ пришелъ въ скорыхъ числахъ многолюдствомъ и, видя въ царствующемъ градѣ мятежъ, стоялъ съ бояры и воеводы крѣпко, мужественно и вѣрно, по своему отечеству и по породѣ, за что и жалованъ многими отчинами и всякою милостію царскою. Ужь нечего сказать, — вѣрный слуга Государя Петра Алексѣевича, да къ тому жъ и ума палата; а все-таки старины придерживается: не ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ и бороды не брѣтѣ.

— Давно бы обрилъ, — сказалъ Симскій улыбаясь, — кабы не тетушка Марфа Савишна...

— Нѣтъ, молодець! — прервалъ съ жаромъ Прокудинъ. — Видно, ты плохо дядю то своего знаешь. Конечно, онъ любить и даже чтить свою благочестивую супругу, но ужъ вѣрно бы не послушался ея, когда бы она не дѣло ему совѣтовала. Данила Никифоровичъ человекъ умный, видно, смекнулъ, что русская борода ни уму, ни наукѣ, ни службѣ царской не помѣха; и я голову мою прозакладаю, что онъ не промѣняетъ своей бороды ни на какія почести, и хоть вѣкъ останется стольникомъ, а ужъ ни за что не надѣнетъ нѣмецкаго кафтана!.. Ну, Василій Михайловичъ, — продолжалъ Прокудинъ вставая, — коли голоденъ, такъ не осуди: я не ждалъ сегодня такого дорогого гостя.

— Помилуйте, Максимъ Петровичъ! — сказалъ Симскій, низко кланаясь хозяину. — Да вы изволили меня такъ оттрактовать, что я и словъ не нахожу для моего благодаренія; искали вашею ласкою, накормили и напоили до-сыта.

— Ну, коли сытъ, батюшка, такъ и слава Богу!.. Да не пора ли тебѣ отдохнуть, Василій Михайловичъ? Ты, я чаю, сегодня больно умаялся...

— Да, Максимъ Петровичъ, признательно вамъ доложу...

— Такъ съ Богомъ!.. Кулага, вели проводить его милость въ опочивальню; да приходи скорѣй назадъ, — и мнѣ ужъ время на боковую. Прощай, молодець, — до завтра.

— Я завтра отправлюсь чѣмъ свѣтъ — сказалъ Симскій, — такъ врядъ ли съ вами увижусь. Не прикажете ли чего въ Москву?

— Кланяйся отъ меня дядюшкѣ.

— Буду кланяться. Прощенья прошу, Максимъ Петровичъ!

— Спокойной ночи, Василій Михайловичъ, пріятнаго сна.

Когда Прокудинъ, помолясь Богу, началъ раздѣваться, Прокофій спросилъ его, понравился ли ему проѣзжій служивый.

— Какъ тебѣ сказать? — отвѣчалъ Максимъ Петровичъ... Парень бойкій и собой молодець, да не нашего поля ягода.

— А что, сударь?

— А вотъ что, братецъ: имя то у него русское, да рѣчь то полузаморская, а душа, я чаю, вовсе нѣмецкая.

— Эка жалость, подумаешь! А вѣдь молодець, и роду, сударь, хорошаго. Денщикъ мнѣ сказывалъ, что батюшка вашего гостя былъ казанскимъ воеводою и оставилъ сынку то своему знатныя помѣстья.

— А все бы я за него племянницы ни за что не выдалъ. Ее и теперь дура сестра таскаетъ съ собой къ этому нѣмцу Гутфелю, а съ такимъ мужемъ она пожалуй и къ обѣднѣ то станетъ ѣздить въ нѣмецкую кирку... Ну, ступай, Кулага!—промолвилъ Прокудинъ, ложась на широкую скамью, которая замѣняла ему постель.—Да пошли ко мнѣ Егорку слѣпого; онъ началъ еще на прошлой недѣлѣ рассказывать мнѣ сказку о какомъ то новгородскомъ богатырѣ и царевнѣ Прекрасѣ. Никакъ не могу дослушать: лишь приметя рассказывать, тотчасъ и засну: видно, ужь сказка такая.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ въ комнату сказочникъ Прокудина, Егорка слѣпой. Онъ допелся оцупью до перваго угла, прислонился къ стѣнѣ и началъ:

— Вчера, государь Максимъ Петровичъ, я досказалъ тебѣ, какъ новгородскій богатырь-дворянинъ Заолѣшанинъ побилъ на голову все помѣстное войско поганаго царя Аспаруха, и какъ онъ, поганый царь Аспарухъ, бѣжалъ въ свой крѣпкій градъ Буюсланъ и засѣлъ въ немъ за тремя каменными стѣнами въ своемъ высококомъ теремѣ. Изволишь помнить, Максимъ Петровичъ?

— Помню, помню!... Рассказывай небось!

— Слушаю, батюшка!.. Ну вотъ, сильный, могучій богатырь Заолѣшанинъ погулялъ и понатѣшился, потопталъ своимъ удалымъ конемъ рать басурманскую, разметалъ ее по широкимъ степямъ и гналъ ее, не отдыхаючи, вплоть до самаго града Буюслана. Тутъ онъ далъ маленько вздохнуть своему борзому коню, снялъ съ него уздечку позволоченую, далъ пощипать травки въ заповѣдныхъ лугахъ, напоилъ водицею изъ царскаго студенца любимаго, а тамъ вскочилъ на него опять соколомъ и учалъ ѣздить вокругъ высокихъ стѣнъ; затрубилъ въ свой рогъ серебряный и крикнулъ зычнымъ голосомъ: «О, ты гой еси поганый царь Аспарухъ! Коли сердце въ тебѣ молодецкое, выходи со мной помѣриться во чисто поле, а не выйдешь — разорю твой крѣпкій градъ до тла, раскидаю твои высокія стѣны по макушку, сорву съ могучихъ плечъ твою буйную головушку и отвезу ее въ торокахъ во свя-

той градъ Кіевъ, ребятишкамъ на потѣшище и посадскимъ бабамъ ради игрища». Вотъ кричитъ онъ день, кричитъ другой, кричитъ третій...

Тутъ рассказчикъ остановился, сталъ прислушиваться. помолчалъ нѣсколько времени, потомъ махнулъ рукою и, пробираясь вдоль стѣны, вышелъ потихоньку вонъ изъ комнаты.

### III.

Солнце было уже близко полудень, когда Симскій, перемѣнивъ лошадей въ Подольскѣ, миновалъ наконецъ село Коломенское и сталъ приближаться къ Москвѣ. День былъ ясный, погода тихая, воздухъ легкій и прозрачный, — словомъ, одни только наносные бугры снѣгу, которыми покрыта была большая дорога, напоминали о прошедшей бурной ночи. Вотъ вдали проглянулъ и началъ подыматься Иванъ Великій, заблѣлись соборы и обрисовался на свѣтлоголубыхъ небесахъ опоясанный своею зубчатою стѣною, усѣянный башнями и обставленный царскими палатами высокій холмъ кремлевскій; потомъ зачернѣлась необозримая громада зданій, въ которой сливались въ одну сплошную и волнистую полосу безчисленные избы простыхъ обывателей, церкви, монастыри, брусняныя хоромы зажиточныхъ людей и каменные боярскіе дома съ ихъ вышками и теремами.

— Ну что, Деминъ, — сказала Симскій своему денщику, который сидѣлъ на санномъ облучкѣ, рядомъ съ ямщикомъ, — видишь Москву?

— Вижу, Василій Михайловичъ.

— Бывалъ ли въ ней когда-нибудь?

— Никогда не бывалъ.

— Такъ ты, видно, родомъ не изъ понизовья?

— Никакъ нѣтъ, Василій Михайловичъ: и я, и Батюшка мой, и дѣдъ, и прадѣдъ, мы всѣ родомъ изъ Великаго Новгорода.

— Ого, братъ Деминъ! Да ты, я вижу, человекъ родословный: все родство свое помнишь.

— Какъ не помнить! Вѣдь Батюшка мой былъ человекъ грамотный, а прадѣдушка служилъ господину Великому Новгороду, въ Шалонской пятинѣ, въ селѣ Александровскомъ, волостнымъ старостою.



— Вотъ что! Ну, а какъ тебѣ, Деминъ, отсюда Москва кажется?

— Хороша, Василій Михайловичъ! Ни дать, ни взять какъ нашъ батюшка Великій Новгородъ, и кремль, кажись, такой же; чай, только этакого собора нѣтъ, какъ наша Софія.

— А вотъ прїѣдешь, такъ посмотришь.

— Что это тамъ вдали бѣлѣтся? — спросилъ Деминъ ямщика, указывая на круглую башню, къ которой наши путешественники быстро приближались.

— Вонъ энта-то, съ черною верхушкою! — отвѣчалъ ящикъ. — Это Калужскія ворота.

— Ворота!... Чтожь за ними ужъ и Москва пойдетъ?

— Ну да, — Замоскворѣчье.

— Ого!. А вотъhalb то отъ кремля — Москва же?

— Какъ же — Москва! Вотъ прямо Бѣлый-городъ, полѣвѣ Чертолье, а тамъ слободы.

— А направо то?.. Неужели это все Москва?

— Коли не Москва, — а то что-жь?

— Что, новгородскій уроженецъ, — сказалъ Симскій, замѣтивъ удивленіе своего денщика, — видно спеси то въ тебѣ было.

— Ну, — прошепталъ Деминъ, — никакъ и впрямь Москва то побольше будетъ Новгорода!... У, батюшки!.. Вонъ еще вдали забѣлѣлись церкви... Ахъ, Господи, да ей и конца нѣтъ!..

— Конецъ то есть, — прервалъ ящикъ, помахивая кнутомъ. — А неча сказать, коли мнѣ придется васъ везти отъ Калужскихъ воротъ до Нѣмецкой слободы, такъ я лошадокъ то больно упарю.

— Небось, братъ, — сказалъ Симскій, — дальше Знаменки не поѣдемъ

— До Знаменки только?. Ну это что, — рукой подать!.. Эй вы, други!

Наши путешественники вѣхали Калужскими воротами въ ту часть Земляного города, или *скородома*, которая, по своему мѣстному положенію, называлась, и теперь еще называется Замоскворѣчьемъ. Кругомъ нихъ царствовала мертвая тишина, изрѣдка только попадались имъ какіе то нищѣ въ лохмотьяхъ, которые однакожь не просили милостыни, а, робко озираясь кругомъ, пробирались сторонкою вдоль домовъ, по большей части совершенно разоренныхъ.

Одни изъ этихъ прохожихъ, видя, что въ саняхъ сидятъ люди служивые, одѣтые на нѣмецкую статью, отворачивались и даже прятались за углами домовъ; другіе, напротивъ, останавливались и, гордо посматривая на проѣзжихъ, провожали ихъ взорами, въ которыхъ не замѣтно было ничего пріязненнаго.

— Что это, братъ, — шепнулъ Деминъ, толкнувъ локтемъ ямщика, — ѣдемъ мы городомъ, а людей не видимъ, и куда ни поглядишь, все пустые да разоренные дома. Вотъ хорошая презрѣдная, а посмотри-ка: окна выбиты, двери настежь... вона опять домишко на боку... воротъ нѣтъ, однѣ веревы остались... А это что?.. Кажись, не горѣло, а весь домъ съ корня разорень. Чтожъ это такое?

— Да козявѣ то нѣтъ дома, — отвѣчалъ ямщикъ.

— Куда жъ они подѣвались?

— А кто ихъ знаетъ. Чай, перебрались всѣ на Божедомку, а оттуда разбрелись по погостамъ.

— Сирѣчь померли... Чтожъ это такое? Или у васъ моръ былъ?

— Моръ не моръ, а много буйныхъ головушекъ легло. Мы, служивый, ѣдемъ теперь Стрѣлецкою слободою.

— Вотъ что!.. — прошепталъ Деминъ, робко посматривая кругомъ.

Въ продолженіе этого разговора, ямщикъ, который ѣхалъ до того все прямо улицею, поворотилъ направо и, миновавъ обширный лугъ, выѣхалъ на Серпуховскую улицу. Тутъ стали съ ними встрѣчаться довольно часто и проѣзжіе и проходящіе. Вотъ мимо нашихъ путешественниковъ промчался, на красивомъ аргамакѣ, боярскій сынокъ въ собольей шапкѣ и бархатномъ зипунѣ съ золотыми петлицами; вслѣдъ за нимъ проѣхала московская барыня въ своемъ зимнемъ экипажѣ, то есть въ обитомъ краснымъ сукномъ огромномъ ящикѣ, поставленномъ на длинныя дровни. Этотъ неуклюжій возокъ запряженъ былъ гусемъ въ двѣ лошади, изъ которыхъ переднюю вель подъ-узды конюхъ; позади, на полозкахъ, стоялъ слуга, а впереди шли, разумѣется шагомъ, два *скорохода*. Вслѣдъ за этимъ чиннымъ повѣздомъ прокатилъ, на лихой тройкѣ въ красивыхъ пошевняхъ, молодой купчикъ, а за нимъ протащился шажкомъ архимандритъ сосѣдняго монастыря, въ длинныхъ лубочныхъ саняхъ, у которыхъ не было кучерского мѣста, потому-что кучеръ, или по тогдашнему *повозчикъ*, правилъ лошадей, сидя на ней верхомъ.

— Ну вот здѣсь полуднѣ,—сказалъ Деминъ.—А все не то, какъ у насъ въ Новгородѣ. Тамъ почитай всегда и на Софійской сторонѣ и въ Славянскомъ концѣ народъ такъ и кишить.

— Погоди, служивый,—прервалъ ямщикъ,—какъ выѣдемъ на бойкое мѣсто, такъ ты не то заговоришь. Здѣсь что! А вотъ какъ подѣдемъ къ Берсеневскому мосту, такъ пронеси Господи! Въ базарный день провзду нѣтъ, а пуще обозы; иной разъ всю улицу запрудятъ,—ни взадъ ни впередъ! А сунься-ка на удаю, такъ тебя разомъ вверхъ коньями!.. Да вотъ посмотри-ка впередъ... вишь, какъ они дерутъ порожнякомъ!.. Эва на!.. Ряды въ четыре ѣдутъ.

Въ самомъ дѣлѣ, съ каждымъ шагомъ впередъ, на улицѣ становилось тѣснѣе. Кому изъ московскихъ жителей случилось ѣхать въ базарный день отъ Москворѣцкаго моста по Пятницкой, тотъ знаетъ, что такое эти безконечные обозы, а особливо ѣдущіе порожнякомъ, которые скачутъ иногда сломя голову, потому что лошадьми или вовсе никто не правитъ или правятъ мужички подъ хмелькомъ, для которыхъ въ эту минуту море по колено. Въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій, обычай русскихъ крестьяннъ почти вовсе не измѣнился,—и въ старину такъ же, какъ нынче, рѣдкій мужичекъ, продавъ на базарѣ привезенный имъ товаръ, не завернетъ бывало въ *царское кружало*, то есть въ кабакъ; а ужъ если русскій человекъ хватитъ лишнюю чарку, такъ вы его никакъ не заставите ѣхать по-нѣмецки, то есть шагомъ или маленькою рысцою; онъ будетъ кричать, орать пѣсни и скакать до тѣхъ поръ, пока не одолѣетъ его сонъ и возжи не вывалятся изъ рукъ. Когда наши провзжіе стали приближаться къ Москвѣ-рѣкѣ, на встрѣчу имъ, отъ Всесвятскихъ воротъ, хлынулъ одинъ изъ этихъ безумныхъ поѣздовъ. На переднемъ возу, въ нагольномъ тулупѣ на распашку, сидѣлъ рыжій дѣтина, красный какъ маковъ цвѣтъ; заломивъ набекрень свою шапку, онъ гналъ и въ хвостъ и въ голову саврасую лошаденку, запряженную въ широкія розвальни. Вслѣдъ за нимъ неслись дюжины двѣ порожнихъ саней; въ однихъ сидѣли и правили полупьяные, въ другихъ лежали и также правили вовсе пьяные мужики, а нѣкоторые изъ подводъ были оставлены совершенно на волю лошадей; и, надобно сказать правду, — эти добрыя крестьянскія лошадки вели себя гораздо благоразумнѣе людей: онѣ должны были скакать поневолѣ, но по крайней

мѣръ не обгоняли другъ друга и не кидались изъ стороны въ сторону. Вся эта разгульная ватага, не обращая вниманія на крикъ и угрозы двухъ проѣзжихъ, мчалась вдоль по улицѣ, наполненной народомъ, зацѣпляя и ломая все, что ей ни попадалось навстрѣчу.

— Экъ ихъ черти несутъ!—прошептала ямщикъ, завидѣвъ издали этотъ обозный ураганъ.—Смотри-ка, смотри,— всю улицу захватили, мошенники этакіе!..

— Эй вы, мужичье!..—гаркнулъ Деминъ.—Иль не видите кто ѣдетъ?.. Держи къ одной!

— Куда вы лѣзаете?—закричалъ ямщикъ, грозя кнутомъ.— Ахъ вы, борноволокни этакіе!.. обломы проклятыя!.. Держи правѣй!.. Держи правѣй!.. Тише вы, тише... дери васъ горой!.. Ахъ вы, разбойники!.. Ну!!!

Это послѣднее восклицаніе сдѣлалъ ямщикъ, лежа ужъ на боку подлѣ своей пристяжной; ее подшибли раскатившіяся розвальни передового обозника, которыя въ то же время опрокинули и сани проѣзжихъ. Прежде чѣмъ они успѣли справиться, на нихъ наѣхали еще двѣ подводы, смяли остальныхъ лошадей, изорвали всю сбрую и сшибли съ ногъ Демина, который хотѣлъ было своротить ихъ въ сторону.

— Держите ихъ, держите!—заревѣлъ Деминъ, вскочивъ на ноги.

— Держите!—закричали многіе изъ проходящихъ, не трогаясь съ мѣста.

— Держите!—повторили уличные ребятишки, прыгая босикомъ по снѣгу и помахивая своими спущенными рукавами.

Но держать было некому. Всѣ кричали: «Держи, держи!» и всѣ разступались, что бы пропустить этихъ хмельныхъ мужиковъ, для которыхъ, какъ я уже сказалъ, въ минуту разгула всегда бываетъ море по колено.

— Ну, правду ли я вамъ байлъ?—сказалъ ямщикъ, подымая вмѣстѣ съ Деминимъ сани и пристяжную лошадь. Здѣсь, подлѣ Всесвятскихъ воротъ, въ базарный день бѣдовое дѣло! А на Берсеневскомъ мосту и того хуже: со всѣхъ сторонъ народъ такъ и валитъ, вовсе пробѣду нѣтъ... Эге!—продолжалъ ямщикъ, осматривая лошадей.—Да сбрую то вся хотъ брось!.. Ахъ, они шальные, пьяницы этакіе!.. Смотри ка, что понадѣлали!

— Да, братъ,—сказалъ Деминъ:—постромки никуда не годятся...

— Что построжки!... Ты посмотри-ка шлею на пристяжной... А дуга то гдѣ?.. Оба гужа лопнули... Ну!.. Озорники этакіе!.. Чтобъ имъ до дому не доѣхать, проклятымъ!..

— Да нельзя ли какъ-нибудь связать; чай, съ тобой веревки есть?

— Чего связать!.. Нѣтъ, ужь дѣлать нечего: побудьте-ка здѣсь, а я какъ разъ сбѣгаю.

— Куда?

— Да вотъ тутъ недалече живеть у меня куманекъ, — поучусь ему, авось дастъ хомуть на коренную.

— Такъ оставайся, Деминъ, здѣсь, — сказалъ Симскій, — а я пойду пѣшкомъ. Послушай-ка, любезный, — продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику: какъ ты управишься, такъ ступай на Знаменку. Ты знаешь тамъ домъ стольника Данилы Никифоровича Загоскина?

— Нѣтъ, батюшка.

— Ну, а знаешь ли ты на Знаменкѣ домъ князя Хованскаго?

— Большая каменная палаты... въ три жилья... крыша такая узорчатая?

— Ну да!

— Какъ не знать.

— Такъ насупротивъ то крытыя гонтомъ бревенчатая хоромы...

— А!.. Знаю, знаю, батюшка! На дворѣ еще такая высокая голубятня, съ длиннымъ шестомъ, а на шестѣ то пѣтушокъ?

— Ну, такъ пріѣзжай же туда.

— Ладно, батюшка, пріѣду.

Ямщикъ побѣжалъ къ своему куму, а Симскій, оставивъ при саняхъ Демина, пошелъ къ Всесвятскимъ воротамъ. Эти ворота, сходныя по своему зодчеству съ нынѣшними Иверскими воротами, стояли на берегу Москвы-рѣки, у самаго въѣзда на Берсеневскій мостъ, который назывался также и Всесвятскимъ.

Этотъ мостъ, замѣненный впоследствии нынѣшнимъ Каменнымъ мостомъ, служилъ въ то время единственнымъ постояннымъ и надежнымъ сообщеніемъ Замоскворѣчья съ остальными частями города, потому что, вмѣсто нынѣшняго Москворѣцкаго моста, перекинуть былъ черезъ рѣку деревянный *живой* мостъ, то есть длинный плотъ безъ перилъ,

по которому ъздить не всегда было безопасно. Берсеневскій каменный мостъ былъ вовсе не щеголеватой наружности, но за то весьма прочной постройки. На немъ во всю длину выстроены были лавки, а подъ арками поднята вода, и у каждаго быка стояло по водяной мельницѣ о нѣсколькихъ поставвахъ. На другой сторонѣ Москвы-рѣки, противъ Всесвятскихъ воротъ, подымалась широкая четырехсторонняя башня съ воротами, которыми, прямо съ Берсеневского моста, вѣзжали въ Бѣлый городъ. Это ворота, которыя давно уже не существуютъ, назывались Троицкими.

Симскій съ трудомъ могъ продраться сквозь толпу проѣзжихъ и прохожихъ, которые тѣснились на Берсеневскомъ мосту; но ему еще труднѣе было попасть въ Троицкія ворота, потому что, за исключеніемъ узкаго проѣзда, все пространство между ними и мостомъ было загромождено шалашами, мазанками, выносными очагами, на которыхъ пекли лепешки, скамьями и лавочками съ разнымъ мелочнымъ товаромъ, съ поношеннымъ платьемъ, со всякою ветошью и ломанымъ желѣзомъ. Продавцы этого хлама, называемые въ старину не купцами, а *щепетильниками*, кричали во все горло, выхваляя свой товаръ и приглашая покупателейъ. Посреди толпы шныряли сбитенщики со своими баклагами, разносчики гречневиковъ съ коноплянымъ масломъ, медовой патоки съ имбиремъ и знаменитаго калужскаго тѣста безъ всякой приправы. Посадскія бабы въ коломенковыхъ шубахъ и мѣховыхъ шапкахъ, горюжанки въ теплыхъ ферязяхъ съ длинными рукавами, приказные въ долгополыхъ синихъ кафтанахъ, боярскіе слуги въ нагольныхъ тулупахъ и сотни разныхъ праздношатающихся зѣвакъ лакомились этими сластями, толпились около лавочекъ, торговали, шумѣли, спорили и не давали никому прохода. Наконецъ Симскому удалось выбраться за Троицкія ворота. Оставивъ въ лѣвой сторонѣ Крымскій дворъ, онъ пошелъ вдоль стѣны Бѣлаго города; дойдя до Лебединого пруда, повернулъ мимо Царскаго сада, расположеннаго на берегу Неглинной, и вышелъ на Знаменку. Тутъ Симскій долженъ былъ снова остановиться, потому что два обоза, изъ которыхъ одинъ тянулся отъ Чертольскихъ, а другой отъ Арбатскихъ воротъ, съѣхались съ третьимъ, ѣдущимъ изъ Кремля, и захватили совершенно всю улицу. Тогда въ Москвѣ во многихъ мѣстахъ, и почти на всѣхъ перекресткахъ, стояли нищенскія избы или богадѣльни,

въ которыхъ жили и питались мѣрскимъ подаваніемъ убогіе и недужные люди. Эти богадѣльни служили также иногда приютомъ подкидышей, которые тамъ и воспитывались, слѣдовательно, почти всегда, какъ безпріютные сироты, поступали въ число *нищей братіи*, безъ которой и до сихъ поръ наша доброхотная и христіанская Москва обойтись не можетъ. Чтобъ выждать, когда пройдутъ обозы, Симскій остановился у одной изъ этихъ нищенскихъ избъ. У самыхъ ея дверей, на завалинѣ, сидѣли двѣ старухи и грѣлись на солнышкѣ. Обѣ онѣ были въ овчинныхъ шубейкахъ, которыхъ покрыши составлены были изъ разноцвѣтныхъ полинялыхъ лоскутовъ. У одной были на ногахъ истасканные коты, другая была обута въ поношенные лапти.

— Ну вотъ, Ѳедосѣевна, — молвила старуха въ котахъ, не замѣчая, что близехонько подлѣ нихъ стоитъ прохожій баринъ, — вотъ намъ Господь Богъ и весну даетъ. Эка теплынь, подумаешь!

— И, что ты, голубка! — отвѣчала старуха въ лаптяхъ. Что дастъ Господь опосля Великаго поста, а теперь мы еще и блинковъ не ѣли, такъ до весны то далеко. Да что твоя Настька, не вернулась?

— Нѣтъ еще, Ѳедосѣевна. О-хо-хо-хо, избаловалась она совсѣмъ! Вотъ и вчера и третьяго дня ходила, ходила, и въ городѣ по рядамъ, и въ Кремль по боярскимъ домамъ, — а что принесла? Двѣ полушки, серебряную копѣечку, да полкалача!... Охъ, Ѳедосѣевна, обманываетъ она меня.

— И я то же мекаю, Кондратьевна. Да вотъ хоть нынче ночью мнѣ не спалось, — слышу, она щелкаетъ орѣхи. «Откуда это у тебя, Настька, орѣшки то завелись, а?» — спросила я. «Добрые, дескать, люди подали». А я себѣ думаю: «врешь, проклятая, купила!» Ну, гдѣ слыхано, чтобъ милостыню подавали калеными орѣхами!

— То-то и есть, Ѳедосѣевна: приемышь все приемышь! А мало ли я съ ней горя натерпѣлась! Вотъ ровно четырнадцать годковъ, какъ ее въ Петровъ день подкинули; я взяла ее на свои руки, ноченьки цѣлыя не спала; выкормила рожкомъ, сколько денегъ на молоко поистратила, а вотъ тебѣ и спасибо!...

Тутъ подошла къ избѣ безобразная дѣвчонка въ ломотьяхъ, сверхъ которыхъ висѣлъ у нея черезъ плечо, на мочальной веревочкѣ, сплетенный изъ лыкъ кошель.

— А, это ты, Настыка!—сказала Кондратьевна.—Поди-ка сюда, поди!... Да постой, постой!—продолжала она, схвативъ ее за руку.—Куда ты?

— Въ избу, бабушка, погрѣться,—отвѣчала дѣвочка.— Я вовсе окоченѣла.

— Вишь, барыня какая,—окоченѣла!... Мы и старухи, да въ избѣ не сидимъ.

— Да полно, бабушка, отцѣпись,—пусти!...

— погоди, голубушка, не замерзнешь. Ты мнѣ скажи, гдѣ ты до этой поры таскалась?

— Мало ли гдѣ: въ Чертольѣ была, у Арбатскихъ воротъ, здѣсь, по Знаменкѣ, ходила...

— А много ли выходила?...

— Да что, бабушка,—видно, ужъ такой день выдался: никто не подаетъ.

— Такъ ты ничего не принесла?

— Ломтика четыре хлѣбца.

— Только то? А что я тебѣ говорила: какъ пойдешь по Знаменкѣ, зайди неотмѣнно на дворъ къ боярынѣ Марѣѣ Саввишнѣ Загоскиной?

— Заходила, бабушка.

— Такъ тебѣ и тамъ ничего не подали?

— Ничего.

— Врешь, врешь, негодная!... Кто другой, а Марѣя Саввишна всегда подаетъ. Она, дай Богъ ей много лѣтъ здравствовать, нищую братію любить.

— Да у нихъ, бабушка, въ дому что то нездорово.

— Нездорово?

— Видно, что такъ. Я сначала зашла съ передняго крыльца; на крыльцѣ стоитъ, пригорюнившись, дворецкій Сидоръ Ивановичъ. Бывало онъ и самъ всегда мнѣ подаетъ, да еще по головкѣ погладить, а тутъ какъ закричитъ: «Пошла, пошла,—не до тебя!» Вотъ я отъ него прочь, да къ дѣвичьему крыльцу... постояла, постояла — никто нейдетъ. Думаю: взойду въ дѣвичью, мнѣ не впервые. Взойшла; гляжу — нянюшка Прокофьевна сидитъ, да такъ и заливается слезами; на всѣхъ сѣнныхъ дѣвушкахъ лица нѣтъ. Не дали мнѣ словечка вымолвить: «Ступай, ступай! Богъ подаетъ!»... «Кормилицы,—сказала—я, доложите вашей барынѣ»... «Куда докладывать!»—молвила Прокофьевна.—«До того ли ей теперь!» Да какъ вдругъ завопитъ: «Ахъ ты, батюшка нашъ, Данила Никифоровичъ, снялъ ты со всѣхъ съ насъ голову!» А



ключница Матрена—такая злющая, завсегда лаятся—какъ вскинется на меня: «Убирайся, говорятъ, а не то я тебя голикомъ! Пошла, пошла!» Такъ по шеямъ меня и выгнала. Да пусти же меня, бабушка, въ избу то: я вовсе прозябла.

— Постой, постой! Дай-ка мнѣ свой кошель.

— Да на что тебѣ? Въ немъ, окромя хлѣба, ничего нѣтъ.

— Добро, добро, — прошептала Кондратьевна, — я посмотрю... Ломоть, другой, третій... А это что?—вскричала она, вынимая изъ кошеля медовую сосульку и пряничнаго конька съ золоченою гривой.—Это что?... Ахъ, ты воровка, мошенница этакая!

Симскій, который слышалъ весь разговоръ, не сталъ дожидаться конца этому розыскному дѣлу. Ему было вовсе не до того. Онъ любилъ своего дядю какъ отца родного, а если дѣвочка говорила правду, такъ съ Данилою Никифоровичемъ случилось какое-нибудь несчастіе, или онъ былъ при смерти боленъ. Несмотря на то, что на улицѣ было еще очень тѣсно, Симскій пустился бѣгомъ по Знаменкѣ. Пробираясь между возовъ, онъ вышелъ кое-какъ на свободное мѣсто, и съ ужасною тоскою и замираніемъ сердца добѣжалъ наконецъ до обширнаго двора, посреди котораго стояли длинныя хоромы дяди его, заслуженнаго стольника Данилы Никифоровича Загоскина

## VI.

Симскій прошелъ всѣмъ дворомъ, не встрѣтивъ никого. Въ передней не было тоже ни души. Онъ вошелъ по тихоньку въ столовую; въ этой комнатѣ сидѣла подь окномъ и горько плакала пожилая барыня, одѣтая по домашнему; въ штофной поношенной кофтѣ и тафтяной юбкѣ, которая была когда то краснаго цвѣта. Въ то время давно уже вошли въ употребленіе женскіе черевички, то есть башмаки; но эта барыня была обута, по старинному обычаю, въ сафьянныхъ сапожкахъ, вышитыхъ бисеромъ. За поясомъ у нея висѣла связка ключей, а на головѣ надѣта была круглая бархатная шапочка съ мѣховымъ околышемъ.

— Ахъ, другъ мой сердечный! — вскричала барыня. — Васинька!

— Здравствуйте, тетушка!—сказалъ Симскій торопливо. —Что дядюшка?

Марѳа Саввишна всплеснула руками, ухватила за шею племянника и, опустивъ голову на его плечо, громко зарыдала.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!—проговорилъ Симскій.— Да гдѣ же дядюшка?... Покажите мнѣ его.

— Пойдемъ, мой другъ, пойдемъ,—сказала Марѳа Саввишна, всхлипывая:—я тебѣ покажу его!... Не узнаешь ты своего дядю!—продолжала она, заливаясь слезами.

— Господи!—подумалъ Симскій, идя вслѣдъ за своею теткою.—Такъ видно ужъ добрый мой дядюшка лежитъ въ гробу?

Пройдя нѣсколько комнатъ, Марѳа Саввишна отворила дверь небольшого покоя и промолвила едва слышнымъ голосомъ:

— Ну вотъ, Василій Михайловичъ, гляди!

Симскій, который воображалъ, что найдетъ въ этой комнатѣ своего дядю, если не умершимъ, то по крайней мѣрѣ при послѣднемъ издыханіи, переступилъ съ ужасомъ черезъ порогъ, и вотъ что онъ увидѣлъ передъ собою: старикъ лѣтъ шестидесяти пяти, но повидимому довольно еще бодрый, сидѣлъ въ креслахъ, обитыхъ цвѣтною камкою. Цырюльникъ, преважный нѣмецъ съ красною рожеею и длиннымъ носомъ, добривалъ бороду этому пожилому барину. Позади кресель стоялъ, какъ приговоренный къ смерти, мрачный и угрюмый служитель съ перекинутымъ черезъ плечо бѣлымъ полотенцемъ. Поодоль плакала втихомолку старая женщина, держа въ рукахъ серебряную лохань съ рукомойникомъ. На столѣ лежала полная пара нѣмецкаго платья и треугольная шляпа, а надъ ними висѣлъ на гвоздикѣ огромный парикъ съ длинными кудрями.

— Дядюшка!—проговорилъ съ удивленіемъ Симскій.

— А, здравствуй, братъ Василій!—вскричалъ Данила Никифоровичъ.—Добро пожаловать!

— Такъ вы здоровы?

— Слава Богу.

— А я было какъ перепугался! Глядя на тетюшку...

— Ты подумалъ, что мнѣ ужъ отходную читають? Ну, что съ ней будешь дѣлать: реветъ себѣ, да и только!

— Батюшка Данила Никифоровичъ!...

— Что, матушка Марѳа Саввишна, иль еще вдоволь не наплакалась?

— Да какъ мнѣ не плакать? Ну посмотри на себя, на кого тыходишь?

— А что и въ самомъ дѣлѣ: чай, годковъ десять съ плечъ свалилось?... Дайте-ка мнѣ зеркальце!.. Ступай, любезный,—продолжалъ Данила Никифоровичъ, обращаясь къ цирюльнику. — Скажи дворецкому, чтобъ онъ тебѣ заплатилъ.

Цирюльникъ, какъ истый нѣмецъ, вытеръ не торопясь свои бритвы, уложилъ ихъ бережно въ футляръ, свернулъ бритвенный ремень и, поклонясь съ тою гордою важностью, которою вообще отличаются всѣ нѣмецкіе ремесленники, вышелъ вонъ изъ комнаты.

— Ну что, Марѳуша,—сказалъ Данила Никифоровичъ, обтираясь мокрымъ полотенцемъ,—вѣдь этакъ то гораздо лучше?

— Помилуй, батюшка, да что тутъ хорошаго? А грѣхъ то какой, грѣхъ!..

— И, полно, жена!.. Коли нѣтъ грѣха стричь волосы, такъ какой же грѣхъ обрить, себѣ бороду?... Вѣдь это все едино. Съ насъ будетъ и старыхъ грѣховъ, матушка, такъ новыхъ то выдумывать нечего.

— Мнѣ, батюшка, гдѣ съ тобою спорить: я баба глупая, а послушай-ка, что говорятъ умные люди.

— Умные люди: сирѣчь Максимъ Петровичъ Прокудинъ, да Лаврентій Никитичъ Рокотовъ съ братією...

— А что, развѣ они люди глупые?

— Нѣтъ, Марѳа Саввишна, особенно Максимъ Петровичъ Прокудинъ крѣпко не глупъ. Да вѣдь есть и старообрядцы люди очень умные, а заговори-ка съ ними о православіи, такъ они занесутъ такую околесную, что уши вянутъ.

— Вотъ вздумалъ съ кѣмъ равнять своихъ пріятелей!

— Да воля твоя, Марѳа Саввишна, въ чемъ другомъ, а въ упрямствѣ они старообрядцамъ не уступятъ. Чай, по ихнему безъ бороды и въ рай не попадешь.

— А почему знать, батюшка? Что, если въ самомъ дѣлѣ...

— Слышишь, что тетка то говоритъ?—прервалъ Данила Никифоровичъ, улыбаясь. Ну, племянникъ, худо намъ съ тобою будетъ!

— На него, сударь, не изволь ссылаться, — сказала съ жаромъ Марѳа Саввишна:—онъ человѣкъ служивый, хотеть не хотеть, а дѣлай, что ему прикажутъ; этотъ грѣхъ не на немъ. А тебя кто неволилъ? Ты вѣдь не служишь, живешь на покоѣ, царскаго указа тебѣ не читали... Такъ изъ

чего-жъ ты взялъ на душу этотъ грѣхъ? А коли по твоему грѣху въ этомъ нѣтъ, такъ ты бы хотъ людей постыдился. Ну что ты теперь? На молодого парня неходишь, на старую бабу также,—ни дать, ни взять нѣмецъ булочникъ, что намъ хлѣбы ставить!... Ужь если ты не пожалѣлъ своихъ сѣдыхъ волосъ, такъ пожалѣлъ бы меня, старуху!... Мнѣ стыдно будетъ въ люди показаться: всѣ добрые люди станутъ на меня пальцами указывать. Вѣдь я, батюшка, жена твоя; твой стыдъ—мой стыдъ! И на что, и для чего?..

— Я ужъ тебѣ толковалъ для чего, да ты слушать меня не хочешь.

— Батюшка Данила Никифоровичъ, не изволь на меня гнѣваться, можетъ статья я глупо скажу, а воля твоя: какъ ни толкуй, а по мнѣ, что стриженная дѣвка, что бритый мужикъ—все едино. Я ужъ не говорю о томъ, что скажетъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ: онъ теперь и знаться съ тобой не захочетъ...

— Такъ чтожъ? Коли онъ любилъ не меня, а мою бороду, такъ Господь съ нимъ!

— А что мнѣ будетъ отъ Надежды Карповны, отъ Аполлинари Степановны, отъ Нимфодоры Алексѣевны?... Батюшки мои!... Да онѣ меня со свѣту Божьяго сживуть, въ гробъ вгонять!... «Что, дескать, Марѳа Саввишна, вашъ Данила Никифоровичъ, говорятъ, бородку обрить изволилъ, нѣмецкое платье носить?... Ну что, матушка, къ лицу ли ему?» Господи, Господи! Какъ полумаю объ этомъ, такъ у меня сердце и оторвется!...

— Ну что, Марѳа Саввишна, никакъ опять собираешься плакать? Добро, добро, ступай-ка лучше, да похлопочи, чтобъ нашему дорогому гостю комнату приготовили. Ему послѣ обѣда не худо будетъ отдохнуть,—чай, усталъ съ дороги. Ступай, матушка!... Ступай и ты, Еремѣй, я еще погожу одѣваться. А ты, Прохоровна, оставь здѣсь рукомыльникъ и лохань, а сама убирайся въ дѣвичью, да коли у тебя такая охота рюмить, такъ плачь тамъ; будетъ съ меня и жены... Повѣришь ли, племянникъ,—продолжалъ Данила Никифоровичъ, когда они остались одни,—замучили! Ревуть да хнычутъ все утро, словно по покойникѣ.

— Зато я не плачу, дядюшка, а очень радъ... нашего полку прибыло.

— Ну, братъ Василій, не ждали мы тебя. Вѣдь и двухъ мѣсяцевъ нѣтъ, какъ ты отъ насъ уѣхалъ.

— Да, дядюшка, я и самъ не чаялъ попасть такъ скоро опять въ Москву. Теперь абшита взять нельзя: нашъ полкъ выступилъ въ походъ.

— Куда?

— Покамѣстъ въ Польшу. Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ оставилъ меня на время при себѣ. Недѣли двѣ тому назадъ онъ послалъ меня съ депешами въ Смоленскъ и Калугу, дозволилъ завернуть на недѣлку въ Москву, повидаться съ родными, а тамъ ужъ мнѣ указано отправиться по прямому тракту къ моей командѣ.

— Вотъ что!... Ну, радъ, мой другъ, что мы съ тобой хоть недѣлку проживемъ вмѣстѣ. Вотъ ужъ масленица на дворѣ, блинковъ съ нами поѣшь, повеселишься... А, да, кстати, о весельи: мнѣ сказывали, что сегодня у твоего пріятеля, Адама Ѳомича Гутфеля, будетъ вечеринка, по вашему асамблея.

— Въ самомъ дѣлѣ?—вскричалъ съ радостію Симскій.— Такъ ужъ позвольте мнѣ, дядюшка, я сегодня къ нему поѣду.

— Ступай, мой другъ; я затѣмъ и сказалъ тебѣ. Дѣло твое молодое, почему не повеселиться. Только знаешь ли что, племянникъ? Въ послѣдній твой пріѣздъ ты не пропустилъ ни одной вечеринки; только бывало и слышишь: Ѳду, дескать, къ Адаму Ѳомичу на асамблею. И теперь что то не путемъ обрадовался. Ужъ не приглянулась ли тебѣ у Гутфеля какая-нибудь красоточка?... Эге, братъ, что-жъ ты этакъ покраснѣлъ?... Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Мнѣ сказывали, что у Гутфеля дочка такая пригожая... Послушай, племянникъ: я слышалъ отъ многихъ, что Адамъ Ѳомичъ старикъ добрый, богатый; знаю и то, что Государь его жалуетъ, а все-таки онъ купецъ и не нашей вѣры. Я человекъ не спесивый и нѣмцевъ не чуждаюсь, а, не прогнѣвайся, и я скажу: нашему брату, родовому дворянину, жениться на какой-нибудь купеческой дочкѣ вовсе не приходится. Какъ бы мужъ ее ни любилъ, а все житье ей будетъ коротенькое: мужнина родня станетъ ее поѣдомъ ѣсть, а посторонніе будутъ смотрѣть на нее свысока, знаться съ нею не захотятъ... Да еще и Гутфель то захочетъ ли выдать свою дочь за русскаго: вѣдь они также крѣпко своей вѣры держатся.

— Помилуйте, дядюшка, да я и самъ ни за что не женюсь на дочери Адама Ѳомича.

— А коли ты только такъ, ради одной потѣхи, хочешь бѣдную дѣвку съ ума свести, такъ это еще хуже. У насъ на Руси за хлѣбъ-соль и ласковый приемъ говорятъ спасибо, а ты хочешь... Эхъ, племянникъ, нехорошо.

— Да почему вы думаете?...

— Какъ не думать! Лишь только я объ этомъ намекнулъ, такъ, посмотри, какъ ты раскраснѣлся.

— Ну, дядюшка, дѣлать нечего: я лучше отдамся вамъ на discreцію и всю правду скажу. Я точно повстрѣчался у Гутфеля съ одною дѣвицею, которая зѣло мнѣ по сердцу, пришла; но только эта дѣвица русская и хорошаго рода.

— Право? А кто-жъ она такая?

— Я видѣлъ ее три раза у Гутфеля; она прѣвзжала къ нему съ своею теткою, Аграфеной Петровной Ханыковой.

— Съ Аграфеной Петровной Ханыковой, у которой мужъ на службѣ въ Азовѣ?

— Точно такъ, дядюшка.

— А племянницу то какъ зовутъ! Не Ольгой ли Дмитріевной?

— Да, Ольгой Дмитріевной.

— Э, такъ это Запольская. Она такъ же, какъ ты, братъ, круглая сирота: у нея нѣтъ ни отца, ни матери. Мы съ ея роднымъ дядею, Максимомъ Петровичемъ Прокудинымъ, старинные пріятели.

— Ахъ, Боже мой!... Да я у него вчера ночевалъ, и онъ еще велѣлъ вамъ кланяться. Да чтожъ, это, дядюшка: коли вы съ ними знакомы, такъ какъ же я ни разу ихъ у васъ не видалъ?

— Бабы сплетни, братецъ! Жена моя стала выговаривать Аграфенѣ Петровнѣ, зачѣмъ она ѣздитъ въ Нѣмецкую слободу; та разгнѣвалась, перестала къ намъ жаловать, а ужъ Марѳа Саввишна сама ни за что на свѣтѣ къ ней не поѣдетъ.

— Ну что, дядюшка, не правда ли, что Ольга Дмитріевна...

— Да, дѣвица хорошая, умная и, говорятъ, очень благонравная. Ее охуждаютъ, что она частенько по вечеринкамъ извоить ѣздить, и тетушку за это побраниваютъ; а какъ ихъ послушаешь, такъ онѣ объ правы. Ольга Дмитріевна ѣздитъ за тѣмъ, что это угодно тетушкѣ, а Аграфена Петровна за тѣмъ, чтобъ племянницу повеселить, — такъ и выходитъ, что онѣ объ ѣздить поневолю. Да пускай

себѣ и по охотѣ, — бѣда небольшая. Пора намъ перестать держать взаперти нашихъ женъ и дочерей; и добро бы еще это былъ коренной русскій обычай, а то вѣдь нѣтъ: мы переняли его у татаръ.

— Такъ вы думаете, дядюшка...

— Да, братъ Василій, да: она по всему тебѣ пара, и достатокъ есть.

— Такъ чтожь, дядюшка?...

— Да вотъ изволишь видѣть: Максимъ то Петровичъ ей вмѣсто отца родного, а онъ человекъ упрямый, держится старины и не очень жалуется вашу братію — гвардейскихъ офицеровъ.

— Помилуйте!... Да онъ меня такъ обласкалъ, такую атенцію во всемъ показывалъ..

— Это само по себѣ. Прокудинъ вовсе не походить на какого-нибудь Лаврентія Никитича Рокотова: тотъ не сталъ бы и говорить съ тобою; а Максимъ Петровичъ мужикъ умный, большой хлѣбосоль, и всегда радъ угостить проѣзжаго человека, кто бы онъ ни былъ; но только врядъ ли выдастъ за тебя племянницу, — не то у него въ головѣ. Онъ часто мнѣ говаривалъ: «Коли посвѣтается за Олинку человекъ добрый, степенный, хорошаго рода, русскій по имени, русскій по обычаю, — такъ милости просимъ; а за какого-нибудь молодчика съ бритою бородкою, который на нѣмца смахиваетъ, я ни за что ее не выдамъ». Да ты какъ вчера къ нему попалъ?

— Вовсе нечаянно: меня загнала къ нему метель.

— Ну что онъ съ тобою поговорилъ?

— Да все смѣялся надъ Петербургомъ.

— А ты?

— А я за него горой стоялъ...

— Охъ, худо, братъ!

— Потомъ началъ позорить нашъ мундиръ, надъ нѣмцами подшучивать...

— А ты?

— А я за нихъ заступался.

— Ну, худо!... Вотъ то-то и есть, — зачѣмъ ты съ нимъ спорилъ?... Молчалъ бы, да и только.

— Но развѣ я могъ отгадать...

— Что Ольга Дмитріевна родная племянница Максиму Петровичу?... Ну, конечно, этого ты отгадать не могъ. Да Максимъ то Петровичъ тебѣ въ дѣдушки годится, такъ при-

гоже ли тебѣ съ нимъ заѣдаться? Я — дѣло другое: у насъ съ нимъ бой равный. А ты что передъ нимъ?... Молокосось. И что за бѣда старику уступить? Да пусть онъ себѣ говорить, что хочеть.

— Такъ поэтому, дядюшка, мнѣ нечего и надѣяться?

— Да, племянникъ, большой надежды нѣтъ... Впрочемъ, почему знать: попытка не шутка, а спрось не бѣда. Я съѣзжу прежде поговорить съ теткою, а тамъ, пожалуй, и въ деревню къ Максиму Петровичу поѣду, и если мы его уломаемъ, такъ теперь на-словѣ положимъ, а тамъ, какъ вернешься изъ похода, веселымъ пиркомъ да за свадебку!... Сегодня, можетъ статья, ты опять увидишь ее у Гутѣля?... Вѣдь вы, чай, тамъ межъ собой разговариваете?

— Какъ же, дядюшка, и танцуемъ, и разговариваемъ.

— Такъ ты, братецъ, пораговорись съ нею хорошенько, разсмотри ее порядкомъ и себя ей покажи. Вотъ, подумаешь, — продолжалъ Данила Никифоровичъ, — когда Государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ учредить эти асамблеи и указалъ на нихъ бывать и женамъ и дочерямъ боярскимъ, такъ мало ли крику то было: «Послѣднія, дескать, времена наступили, антихристь воцарился! Ужь коли православный Государь заводитъ такія богопротивныя сходбища, такъ чего ждать путнаго?» А прежнія то пирушки лучше что ль были? Съѣдутся на вечеринку, начнется попойка; барынь и барышень нѣтъ, такъ стыдиться некого, — пей себѣ въ мертвую чашу! — А какъ нарѣжутся, такъ пойдуть всякія непригожія рѣчи, срамныя холопскія пляски, непотребныя пѣсни! То ли дѣло на этихъ асамблеяхъ. Какъ ты станешь безчинствовать? Коли не постыдишься своей жены, такъ передъ чужою будетъ совѣстно. Иной бы, пожалуй, хватилъ темную, да въ присядку пошелъ, а тутъ вельзя! Выпьеть стаканчикъ, другой, да и къ сторонкѣ. А это также разнѣ бездѣлица? Теперь ты пріѣдешь на асамблею, увидишь дѣвицу, она тебѣ приглянется; ты съ нею поговоришь, познакомишься, и если залумаешь на ней жениться, такъ знаешь, на комъ женишься; не то, что прежде: бывало ты свою невѣсту и въ лицо никогда не видывалъ, а чтобъ промолвить съ нею словечко, — да забудь объ этомъ и думать! Подъ вѣнцомъ она стоитъ въ покрывалѣ; кто ее знаетъ, — можетъ быть пригожа, а можетъ статья и рожа то на сторонѣ! Меня точно такъ же вѣнчали... Да я-то еще слава Богу: моя Марѣа Саввишна была красавица. Когда въ опо-



чивальнѣ она встрѣтила меня безъ покрывала, да поклонилась въ поясъ, такъ у меня сердце запрыгало отъ радости! Съ другими не то бывало: иному сваха наговорить и Богъ вѣсть что: грудь лебединая, и брови соболя, и съ поволокою глаза.. а ужъ разумница то какая: что слово скажетъ, то рублемъ подарить!... А тамъ, посмотришь, прѣдетъ отъ вѣнца, заговоришь съ нею—дура набитая, взглянешь на нее—батюшки, пугало огородное: рябая, кривая, носастая!... Вотъ тебѣ и съ поволокою глаза! Ну, пожалуй, послѣ залучи къ себѣ сваху, потѣшься, отломай ей бока, а что прибыли: жена не башмакъ, съ ноги не сбросишь!...

— Такъ, дядюшка, такъ!... Асамблеи, а также и австеріи, по истинѣ, наиблежайшія и зѣло премудрыя учрежденія. Ну, разсудите сами: какой я могу ожидать сатисфакціи отъ супружества съ дѣвицею, которую не только не знаю персонально, но и въ глаза то никогда не видывалъ? Вѣдь жена, какъ вы сами изволите говорить, не башмакъ; вы его не станете носить, коли онъ натираетъ вамъ мозоль, а съ женою то что будешь дѣлать?...

— Да, любезный, какова попадется, а ужъ не прогнѣвайся—развѣнчивать не стануть. Ну-ка, братъ Василій,—продолжалъ Данила Никифоровичъ вставая, пособи мнѣ халать надѣтъ, чай, пора обѣдать... Да вотъ, кажется, за нами пришла... Что ты, Ѳаддей, кушанье готово?

— Готово, батюшка,—сказалъ слуга съ низкимъ поклономъ. Марѳа Саввишна изволить васъ дожидаться.

— Пойдемъ, племянникъ, покушай на здоровье, а тамъ прилягъ да сосни хорошенько. Ты съ дороги то ни на что не походишь; а вѣдь тебѣ, любезный,—промолвилъ Данила Никифоровичъ, выходя вмѣстѣ съ Симскимъ изъ комнаты, — слѣдуетъ явиться къ Адаму Ѳомичу молодцомъ. Смотри, братъ, чтобъ гсѣ нѣмки, глядя на тебя, раззахались; только самъ то не больно за ними ухаживай,—помни, братъ, охотничью пословицу: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

## V.

Симскій отправился въ шестомъ часу послѣ обѣда къ Адаму Ѳомичу Гутфелю. Иноземный гость, амстердамскій уроженецъ, Адамъ Ѳомичъ Гутфеля жилъ на Кукуфъ, то

есть въ Нѣмецкой слободѣ, противъ самой кирки, въ собственномъ домѣ. Хотя этотъ длинный деревянный домъ очень походилъ на обширныя хоромы русскаго боярина, однакожь во многомъ напоминалъ родину своего хозяина. Особенно отличался онъ отъ другихъ домовъ своими широкими равно-сторонними окнами, черепичною кровлею, подъѣздомъ съ улицы и рѣзными дубовыми дверьми съ двумя огромными мѣдными скобами, изъ которыхъ одна, повѣшенная на петляхъ, замѣняла колокольчикъ, то-есть возвѣщала о приходѣ гостя, который могъ постучать ею какъ молоткомъ въ при-дѣланную къ дверямъ мѣдную бляху. Какой то путешественникъ, говоря о голландцахъ, сказалъ, что они любятъ жить очень чисто и для того безпрестанно моютъ все на свѣтѣ, исключая своихъ собственныхъ рукъ. Не знаю, до какой степени справедливо это замѣчаніе, но во всякомъ случаѣ Адамъ Ѳомичъ вполнѣ оправдывалъ его собою. У него во всемъ домѣ не было ни пылинки; столы, стулья, поставцы— словомъ, вся домашняя утварь лоснилась и блестяла, какъ будто бы ее сейчасъ привезли изъ лавки. Но зато онъ самъ почти всегда ходилъ неряхою, и его толстыя красныя руки вовсе не могли назваться опрятными, даже и тогда, когда у него была асамблея и онъ принималъ гостей; но на этотъ разъ Адамъ Ѳомичъ, видно, объ этомъ позаботился. Его борода была выбрита гладко, руки не запачканы, манжеты накрахмалены, и коричневый суконный кафтанъ съ огромными пуговицами былъ почти такъ же чистъ, какъ цвѣтной коверъ, посланный въ сѣняхъ и по всѣмъ ступенькамъ лѣстницы. Говоря о кафтанѣ Адама Ѳомича, я упомянулъ только мимоходомъ о его огромныхъ пуговицахъ, а онѣ заслуживаютъ особеннаго описанія. Собственно сказать, это были не пуговицы, а весь махитрой работы круглые медальоны, съ выпуклыми стеклами, подъ которыми очень искусно уложены были пестрыя бабочки, красивыя козявки, зеленые жучки и разныя другія диковинныя букашки; однимъ словомъ, это портище пуговицъ или, лучше сказать, этотъ голландскій кунстъ-штыкъ могъ служить вывѣскою для знаменитой петербургской кунстъ-камеры. Отчего же Адамъ Ѳомичъ принарядился такимъ необычнымъ образомъ? Зачѣмъ стоялъ онъ въ сѣняхъ у самаго крыльца, несмотря на то, что на дворѣ было довольно холодно? Ради чего дорогая его супруга, въ пышномъ фуру изъ шелковой японской матеріи, вышла въ переднюю и держала въ рукахъ

китайскій лакированныйъ подносъ, на которомъ лежалъ хлѣбъ, голландскій сыръ и стояла серебряная чарка съ анисовою водкою?... Читатель, можетъ быть, позадумается, желая рѣшить этотъ вопросъ; но Симскій, войдя въ домъ, сейчасъ догадался, что Адамъ Ѳомичъ ожидаетъ къ себѣ на асамблею Государя Петра Алексѣевича. Вслѣдъ за Симскимъ подѣхалъ, въ простыхъ лубочныхъ саняхъ, царскій комнатный писецъ Иванъ Антоновичъ Черкасовъ \*). Онъ вошелъ въ сѣни и, обращаясь къ хозяину дома, сказалъ:

— Государь мой Адамъ Ѳомичъ Гутфель! Его Царское Величество изволилъ прислать меня экскузоваться передъ вами. Сегодня онъ никоимъ родомъ не можетъ у васъ быть и ради того приказалъ мнѣ, вмѣсто себя, поклонъ вамъ отдать, поцѣловать фрау Гутфель, вышить за ея здорovie кружку полпива и повеселиться на вашей асамблеѣ.

Проговоривъ эти слова, Черкасовъ чинно поклонился Адаму Ѳомичу, потомъ, чтобъ исполнить въ точности высочайшее повелѣнiе, облобызался съ фрау Гутфель и пошелъ вмѣстѣ съ ними въ приемную комнату. Эта приемная комната, лучшая во всемъ домѣ, была оклеена китайскими бумажными обоями; по угламъ стояли фарфоровыя кувшины съ цвѣтами, а въ простѣнкахъ висѣли овальныя зеркала въ золоченыхъ узорчатыхъ рамахъ. За этимъ покоемъ была обширная гостиная, которая въ то же время служила и танцевальною залою. Въ третьей и послѣдней комнатѣ, обитой голландскими кожаными обоями, стояли вдоль стѣнъ дубовыя столы, на которыхъ насыпаны были, небольшими кучками, амстердамскій кнастеръ и гамбургскій вакъ-штапъ. Тутъ же лежали глиняныя голландскія трубки и сверхъ того на каждомъ столѣ поставлено было по нѣскольку оловянныхъ кружекъ съ полпивоми; на одномъ только кружка была серебряная и кругомъ, вмѣсто простыхъ деревянныхъ стульевъ, стояли четыре стула и одно кресло, обитыя пунцовымъ утрехтскимъ бархатомъ. Разумѣется, этотъ столъ былъ приготовленъ для Государя и остался незанятымъ. Посреди комнаты, на кругломъ столѣ разбросаны были нѣмецкiя газеты, которыя въ то время назывались по русски *курантами*, а на особыхъ столикахъ приготовлены были, для охотниковъ, шахматныя доски. Вообще, всѣ комнаты освѣщались саль-

---

\*) Впослѣдствiи баронъ и кабинетъ-министръ Государя Петра Алексѣевича.

ными свѣчами, а полы, исключая одной гостиной, усыпаны были мелкимъ пескомъ.

Войдя въ гостиную, Симскій увидѣлъ съ перваго взгляда, что въ числѣ посѣтительницъ асамблеи не было Аграфены Петровны Ханыковой и ея племянницы. Почти всѣ русскія барыни сидѣли вмѣстѣ, особнячкомъ отъ нѣмокъ, и рѣзко отличались отъ нихъ, не только своимъ пышнымъ нарядомъ, но и какимъ то принужденнымъ видомъ, чопорною осанкою и совершенною неподвижностію. Затянутыя въ длинныя талии своихъ робрентовъ онѣ не смѣли пошевелиться и, казалось, приросли къ стульямъ. Изрѣдка только и разомъ всѣ, какъ будто бы по командѣ, онѣ поворачивали свои головки, чтобъ взглянуть на входящихъ гостей. Потомъ тѣ изъ нихъ, которыя были побойчѣе, перешептывались межъ собою, а другія принимали снова свое неподвижное положеніе и продолжали молчать. Разумѣется, въ числѣ русскихъ барынь не было старыхъ женщинъ. На частныя асамблеи никто не былъ обязанъ ѣздить поневолѣ, слѣдовательно, однѣ только *львицы* тогдашняго времени осмѣливались такъ явно нарушать обычаи своихъ предковъ. Совсѣмъ не то происходило на нѣмецкой сторонѣ: тамъ говорили довольно громко, смѣялись, молодыя вертлявыя нѣмочки задирали мужчинъ, разговаривали съ ними; пожилыя голландки, изъ которыхъ многія были въ кофтахъ, вязали чулки, и даже одна старуха, теща Адама Ѳомича, преспокойно штопала бумажный полосатый колпакъ, вѣроятно принадлежащій его тестю. Вотъ, наконецъ, вошелъ какой то русскій баринъ съ молодою женою и двумя дѣвцами; онѣ показались Симскому гораздо развязнѣе и ловчѣе другихъ, по крайней мѣрѣ эти гости и говорили и двигались. Когда вслѣдъ за ними пріѣхало еще нѣсколько гостей, Адамъ Ѳомичъ, въ сопровожденіи двухъ служанокъ, которыя несли подносы, уставленные тарелками, началъ подчивать дамъ всякими сладостями, то-есть цукатами, китайскимъ леденцомъ, марципанами и разными другими заморскими лакомствами. Симскій, повертясь нѣсколько времени въ гостиной и не встрѣчая никого изъ своихъ знакомыхъ, прошелъ въ угольную комнату. Въ ней находились одни только мужчины, и въ томъ числѣ много русскихъ; но они всѣ безъ исключенія были въ нѣмецкихъ кафтанахъ. За однимъ столомъ сидѣлъ Черкасовъ и разговаривалъ съ какимъ то необычайно дороднымъ баринкомъ, которому вѣроятно очень надоѣдалъ туго подтянутый гал-

стухъ, потому что онъ вертѣлъ поминутно головою и даже запуская по временамъ за галстухъ пальцы, чтобъ оттянуть и сдѣлать хотя нѣсколько просторнѣе этотъ проклятый нѣмецкій ошейникъ, который мѣшалъ ему дышать свободно.

— Такъ, сударь Иванъ Антоновичъ, правда, батюшка, — говорилъ онъ, повертывая головою: — этотъ нѣмецкій нарядъ, который я недавно еще ношу, истинно лучше нашего русскаго одѣянія: и краса не та и покою больше...

— Право? — прервалъ съ насмѣшливою улыбкою Черкасовъ. — Такъ чтожъ вы, Андрей Алексѣвичъ, безпрестанно вертитесь, какъ будто бы вамъ неловко?

— Привычка, Иванъ Антоновичъ, привычка! Меня и маленькаго за это часто журили: все бывало верчу головою. А, смѣю васъ спросить, по какой причинѣ Государь Петръ Алексѣвичъ не пожаловалъ сегодня къ господину Гутфелю?

— Я думаю для того, чтобъ не соблазниться и не скушать чего-нибудь за ужиномъ.

— Да развѣ его Царское Величество изволить недомогать?

— Нѣтъ, слава Богу, онъ здоровъ.

— Такъ почему-жъ ему не покушать? Гутфель кормить своихъ гостей хорошо.

— Въ томъ то и дѣло; а Государь уже четвертую недѣлю не изволить ничего кушать, кромѣ пустыхъ щей, хлѣба и гречневой каши.

— Что вы говорите?...

— Право такъ. Государь Петръ Алексѣвичъ хотѣлъ извѣдать на самомъ себѣ, достаточна ли для пропитанія и полнаго продовольствія солдата отпускаемая для него казенная порція; и для этого въ теченіе цѣлаго мѣсяца рѣшился питаться однимъ солдатскимъ пайкомъ.

— Скажите пожалуйста! Ахъ, Господи, да зачѣмъ же онъ изволить себя такъ изнурять? Приказалъ бы кому-нибудь изъ своихъ генераловъ...

— Нѣтъ, Андрей Алексѣвичъ, у его Царскаго Величества обычай ужъ таковъ. «Извѣдаю, дескать, на себѣ самомъ, такъ это будетъ повѣрнѣе». Вѣдь онъ же не послалъ въ Голландію никого изъ своихъ генераловъ учиться корабельному художеству, а самъ пошелъ въ рабочіе люди; зато ужъ его теперь никакой иноземный мастеръ не проведетъ; онъ тотчасъ ему скажетъ: «Врешь, нѣмецъ, — я это дѣло не хуже твоего знаю».

— А что, осмѣлюсь васъ спросить: господинъ фельд-маршалъ, Александръ Даниловичъ Меншиковъ, пожалуетъ ли къ намъ въ Москву?

— Не думаю, — отвѣчалъ сухо Черкасовъ, закуривая свою трубку.

— Жаль, очень жаль!

— А почему вы такъ объ этомъ жалвете? — спросилъ Черкасовъ, глядя пристально на толстаго барина.

— Да какже, Иванъ Антоновичъ: я еще ни разу не удостоился его видѣть и, признательно вамъ доложу, желалъ бы очень взглянуть на столь великаго мужа.

Черкасовъ нахмурился.

— Да, сударь, — продолжалъ толстый баринъ, — дорого бы я далъ, чтобъ посмотрѣть на сего знаменитаго полководца и вѣрнаго слугу царскаго, который въ столь короткое время...

— Попалъ въ фельдмаршалы, — прервалъ Черкасовъ. — Ну, чтожъ тутъ диковиннаго? Государь воленъ жаловать кого хочетъ.

— Конечно, конечно! Да вѣдь жалуетъ то за дѣла...

— Неравны дѣла, Андрей Алексѣевичъ: за иное дѣло какъ не пожаловать; а есть и такія дѣла, за которыя слѣдуетъ по законамъ, несмотря на лицо, не токмо сослать въ каторжную работу, но даже и весьма живота лишить.

— Неоспоримо есть, да вѣдь такové люди достойное по своимъ дѣламъ и пріемлютъ; а я говорю вамъ объ Александрѣ Даниловичѣ Меншиковѣ.

— И я вамъ о немъ же говорю.

— Какъ съ? — прошепталъ съ ужасомъ толстый баринъ.

— Да такъ: сегодня фельдмаршалъ, а завтра капраль.

— Кто съ?...

— Да тотъ, кто Государя обманываетъ... Да что объ этомъ говорить: коли Господь до времени терпитъ и Царь покамѣстъ милуетъ, такъ не наше дѣло!... Только, право, не мѣшало бы господину фельдмаршалу почаще вспоминать пословицу: «повадилса кувшинъ по воду ходить»...

Андрей Алексѣевичъ, который до того, по милости своего галстуха, былъ ярко-пунцоваго цвѣта, вдругъ побѣлѣлъ какъ мука; онъ робко посмотрѣлъ кругомъ, хотѣлъ что то вымолвить, поперхнулся, началъ кашлять и, не говоря ни ни слова, всталъ съ своего мѣста, а Черкасовъ взялъ со стола гамбургскія газеты и принялся ихъ читать. Межъ

тѣмъ Андрей Алексѣвичъ подошелъ къ двумъ господамъ, которые играли въ шахматы; одинъ изъ нихъ, замѣчательный по своей необычайной худобѣ и быстрымъ лукавымъ глазамъ, игралъ повидимому гораздо бойчѣе своего соперника, человѣка пожилыхъ лѣтъ, въ огромномъ парикѣ съ длинными кудрями и нѣмецкомъ свѣтло-голубомъ кафтанѣ.

— Шахъ и матъ! — возгласилъ торжественно первый игрокъ, подвигая впередъ пѣшку.

— Позвольте, позвольте!... — прервалъ господинъ въ голубомъ кафтанѣ.

— Не безпокойтесь, Аркадій Тимоѣевичъ: шахъ и матъ! Хотя до завтра думайте, вамъ ходу нѣтъ. Здѣсь конь, а тамъ визирь... ну, куда вы ступите?

— Ахъ, какая досада!... Такъ вы мнѣ дѣлаете шахъ и матъ пѣшкою?

— Да, не прогнѣвайтесь, иногда простая пѣшка задастъ такого шаху, что и визирь не очнется.

— Истинно такъ! — сказалъ толстый баринъ вполголоса. Неравна пѣшка: вотъ хоть этотъ кабинетскій писецъ Черкасовъ... Ну что такое писецъ?.. Не велика птица...

— Да ноготокъ востеръ! — молвилъ господинъ въ голубомъ кафтанѣ.

— Подлинно востеръ! Кабы вы послушали, что онъ сейчасъ со мною говорилъ...

— А что такое, батюшка Андрей Алексѣвичъ? — спросилъ съ любопытствомъ худощавый баринъ.

— И теперь очнуться не могу!.. Какъ онъ изволилъ позорить... да вѣдь вслухъ!..

— Позорить? Кого?

— Страшно вымолвить... Александра Даниловича Меншикова!..

— О, Господи! — воскликнулъ съ ужасомъ худощавый баринъ. — И онъ это говорилъ съ вами?..

— Я, батюшка, сейчасъ ушелъ... видитъ Богъ — ушелъ... слушать не сталъ!..

— Смотри пожалуй, эка дерзость, подумаешь!.. Ну вотъ, сведи знакомство съ такимъ человѣкомъ — бѣда!.. Пропадешь не за денежку!.. И добро бы еще особа какая!.. Дѣло другое князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій, князь Ромадановскій... Шереметевъ... а то писецъ... мальчишка... слетокъ этакій!.. Да что онъ, о двухъ головахъ что-ль?..

— И одна, да, видно, хороша! — прервалъ господинъ въ

голубомъ кафтанѣ.— Не даромъ онъ въ такой милости у Государя.

— Право?..

— А какъ же? Да смѣлъ ли бы онъ этакъ поговаривать... помилуйте!.. Мнѣ сказывалъ Бартеневъ, сослуживецъ Черасова, что онъ и въ глаза то Меншикову Богъ знаетъ что говорить. Вамъ, я думаю, извѣстно, что Александръ Даниловичъ человекъ надменный?..

— Какъ же, батюшка... вельможа!

— Вотъ однажды онъ обошелся грубенко съ Черкасовымъ, а тотъ ему, при свидѣтеляхъ, напрямикъ сказалъ, что если бы о всѣхъ дѣлахъ его узналъ Государь, такъ пересталъ бы онъ кичиться своею знатностію и презирать честныхъ людей.

— И Меншиковъ это вытерпѣлъ?..

— Гдѣ вытерпѣтъ!.. Разгнѣвался, поѣхалъ жаловаться Государю.

— Чтожь было съ Черкасовымъ?

— Да ничего.

— Скажите пожалуйста!.. Ну, я думаю, Александръ Даниловичъ не очень его долюбиваетъ?

— Вѣроятно; только онъ держитъ это про себя. Мнѣ рассказывалъ Крекшинъ, что однажды Государь сильно изволил разгнѣваться на Меншикова, и позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ. Что тамъ было, никто не видѣлъ, а слышать слышали. Меншиковъ, который подозрѣвалъ въ этомъ дѣлѣ Черкасова, вышелъ изъ кабинета растрепанный, сталъ оправляться... вдругъ пырь ему въ глаза Черкасовъ. Чтожь вы думаете?.. Чай, Александръ Даниловичъ, сгоряча, взглянулъ на него звѣремъ, ругнулъ?.. Ничуть не бывало: онъ пожалъ ему руку и сказалъ очень ласково: «Все ли вы, другъ мой, въ добромъ здоровьѣ?»

— Ну!.. Такъ, видно, Государь очень его жалуетъ.

— Да такъ то жалуетъ, что я не подивлюсь, коли Иванъ Антоновичъ махнетъ прямо изъ кабинетныхъ писцовъ въ кабинетъ-министры.

— Что вы говорите!..

— Право такъ.

— Въ кабинетъ-министры!.. Вотъ подлинно, кому какая судьба!.. А знаете ли что?—продолжалъ худощавый господинъ, обращаясь къ толстому барину:—мы съ Иваномъ Антоновичемъ въ свойствѣ: моя внучатная тетка была за его



двоюроднымъ... да еще, полно, не за роднымъ ли дядею; а вѣдь стыдно сказать: мы съ нимъ не знакомы... Все какъ то не случилось: онъ онъ въ Санктпетербургѣ, я въ Москвѣ; онъ пріѣдетъ въ Москву, я въ деревнѣ... Ну, словно въ гулочки играемъ!.. И жена мнѣ сколько разъ говорила: «Что это, батюшка, ты не познакомишься съ Иваномъ Антонычемъ,—вѣдь мы съ нимъ свои»... Послушайте, Андрей Алексѣвичъ, благо случай вышелъ: сведите насъ теперь.

— Съ моимъ удовольствіемъ.

— Скажите ему просто: вотъ, дескать, Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, племянникъ вашей тетушки, Ирины Савельевны Таракановой...

— Хорошо... пойдете же...

— Пойдите, пойдите!... Мнѣ кажется... ну, такъ и есть: онъ изволитъ читать куранты, такъ мы ему помѣшаемъ... лучше послѣ.

— Какъ вамъ угодно.

Межъ тѣмъ Симскій, выкуривъ трубку табаку, пошелъ опять въ гостиную; въ одно время съ нимъ вошли въ эту комнату, только съ противоположной стороны, двѣ новыя гостьи: одна изъ нихъ женщина лѣтъ подъ тридцать, довольно пріятной наружности, другая въ самомъ цвѣтѣ молодости, то есть лѣтъ семнадцати, высокаго роста, съ темными голубыми глазами и очаровательнымъ лицомъ, бѣлымъ какъ снѣгъ и румянымъ какъ весенняя заря, однимъ словомъ, прелесть собою. Адамъ Ѳомичъ и его супруга встрѣтили ихъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ. И надобно сказать правду—эти новыя гостьи вовсе не походили на прежнихъ. вмѣсто того, чтобъ поклониться слегка хозяйкѣ и ея дочери, онѣ просто расцѣловались съ ними. Разумѣется, такое свободное обхожденіе показалось для многихъ совершенно неприличнымъ. Чопорныя русскія дамы стали поглядывать другъ на друга, ухмыляться, началась общая шопотня, и насмѣшки градомъ посыпались на этихъ новопріѣзжихъ барынь.

— Посмотрите, Матрена Дмитріевна,—шепнула одна толстая краснощекая госпожа, толкнувъ локтемъ свою сосѣдку, молодую женщину, которая была бы очень недурна собою, если бъ ея лицо поменьше лоснилось отъ бѣлилъ и огромныя брови дугою были насурмлены немного по-искуснѣе.—Посмотрите, Бога ради, ну на что это походить?.. Кто говоритъ: почему не пріѣхать на асамблею къ какой-

нибудь нѣмецкой купчихѣ... да надобно, чтобъ она знала себя и разумѣла другихъ; а обходиться съ ней какъ съ своей сестрой дворянкой... помилуйте!...

— Конечно, конечно!.. Вѣдь, пожалуй, эта нѣмка сдуру подумаетъ, что она и въ самомъ дѣлѣ намъ ровня.

— Вонъ, къ нимъ идетъ Адамъ Ѳомичъ... Господи, того и гляжу, что онъ бросится къ нему на шею!

— Ахъ, что вы говорите, Ирина Никитична!—прервала Матрена Дмитриевна, закрываясь своимъ опухаломъ.—Какъ это вамъ не стыдно?

— Да отъ этой Ханыковой все станется!.. А племянница то ея, Запольская... ахъ, какая бестыдница!.. Посмотрите: расхаживаетъ, улыбается, говорить... ну, точно у себя дома, дѣвчонка этакая!..

— Вся въ тетушку!.. Да куда это она кинулась?.. Ирина Никитична, посмотрите: сама подошла къ этой старухѣ... вонъ что въ углу то колпакъ штопаетъ... Матушки, матушки!.. Слышите ли? Вѣдь она говорить съ нею по нѣмецки!

— Неужели?

— Видитъ Богъ, такъ!..

— Скажите пожалуйста!.. Чтожъ, это для того, чтобъ почваниться передъ нами.

— Извѣстное дѣло!

— Видишь какая!.. Вотъ бы ей кстати выйти замужъ за какого-нибудь нѣмца булочника.

— А что вы думаете... я не поручусь!.. Ужъ коли она выучилась говорить по-нѣмецкому, такъ почему жъ и вѣру не переѣмнитъ и замужъ не выдти за нѣмца?

— Конечно, конечно!.. Посмотрите, Матрена Дмитриевна, что это за молодецъ къ ней подлетѣлъ?.. Кажется, гвардейскій офицерикъ?

— А, знаю, знаю!.. Онъ давно уже за нею ухаживаетъ... Фу, какой шаркунъ!.. Такъ и рассыпается!

— Да кто онъ такой?

— Мнѣ сказывали, какой то Симскій... Что это онъ ей напѣваетъ?.. А, видно, что-нибудь такое... глядите, какъ она вспыхнула!

— Ну, это еще хорошо, Ирина Никитична: видно, совѣсть есть.

— Какая совѣсть!.. Вонъ видите: она прямехонько смотритъ ему въ глаза, говорить съ нимъ... смѣется... Фу, срамъ какой!

— Отъ нея чего ждатель, Ирина Никитична: дѣвчонка глупая; да теткѣ то какъ не стыдно, чего она смотритъ?

— Помилуйте, до того ли ей!.. Поглядите, какъ ее облѣпили и нѣмцы и русскіе!.. А она то, матушка моя, такъ и коверкается, то съ тѣмъ, то съ другимъ!.. Ну, нечего сказать, хороша барыня!..

— И, Матрена Дмитріевна: мужъ въ Азовѣ, унять некому, такъ что ей,—гуляй себѣ, да и только!

— А вотъ начинаются и танцы... Что вы, Ирина Никитишна, минавею пойдете!

— Можетъ быть.

— А если васъ стануть подымать на кондратанецъ?

— Нѣтъ, Матрена Дмитріевна, покорнѣйше благодарю!.. Въ прошлый разъ достался мнѣ какой то долгоногій нѣмецъ, да прыгунъ какой... замучилъ, проклятый!.. Ни за что не пойду!

Черезъ нѣсколько минутъ во всю длину гостиной выстроились въ два ряда всѣ танцующія пары, кавалеры противъ дамъ. Двѣ скрипки и одна флейта затянули что то похожее на протяжную нѣмецкую пѣсню, и балъ открылся неизбѣжнымъ *церемоннымъ* менуэтомъ, который впоследствии замѣнился круглымъ, а потомъ уже теперешнимъ длиннымъ польскимъ. Этотъ церемонный танецъ, въ которомъ дамы безпрестанно присѣдали, а кавалеры поминутно кланялись, продолжался довольно долго. Разумѣется, Симскій танцевалъ съ Запольскою, и, надобно сказать правду, весьма неудачно. вмѣсто того, чтобъ заниматься своимъ дѣломъ, онъ не спускалъ глазъ съ Ольги Дмитріевны, подымалъ правую руку вмѣсто лѣвой и почти всегда кланялся невпопадъ. Въ числѣ зрителей, которые сошлись со всѣхъ сторонъ посмотреть на танцы, находился также Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, этотъ худощавый шахматный игрокъ, который успѣлъ уже познакомиться съ Черкасовымъ. Повидимому, этотъ господинъ не обращалъ ни на кого особеннаго вниманія, а межъ тѣмъ исподтишка посматривалъ безпрестанно на Симскаго и его танцовщицу, при каждой новой ошибкѣ Симскаго онъ улыбался съ такимъ лукавствомъ и такъ выразительно, что, казалось, хотѣлъ сказать: «А, голубчикъ, знаемъ мы, отчего ты ошибаешься!» Вотъ подъ конецъ и Ольга Дмитріевна стала ошибаться, сбилась съ кадансу, потомъ забыла присѣсть и, вмѣсто двухъ рукъ, подняла одну. Вертлявые глаза худо-

щавого барина заблестали радостію; въ нихъ можно было прочесть, что въ эту минуту онъ говорить про себя: Ага, красавица, попалась... Подмѣтилъ я тебя! Что, сударыня, видно, и тебѣ также не до танцевъ!»

Менуэтъ кончился; кавалеры раскланялись, то есть поклонились въ сотый разъ своимъ дамамъ; дамы также присѣли, разошлись, и посреди гостиной осталась одна только пара: хозяйская дочь и аптекарь Францъ Карловичъ Цвибахъ,—рыжій, худощавый нѣмецъ высокаго роста, съ длиннымъ блѣднымъ лицомъ, украшеннымъ безчисленнымъ множествомъ веснушекъ, и съ свѣтлосѣрыми глазами, въ которыхъ выражалась если не спесь, то по крайней мѣрѣ глубокое сознаніе собственнаго своего достоинства. Господинъ Цвибахъ былъ уже человѣкъ пожилой, но танцовщикъ неутомимый и совершенный мастеръ своего дѣла. Музыканты заиграли альмандъ, и эта образцовая пара пустилась въ ходъ и начала выдѣлывать необычныя штуки. Францъ Карловичъ превзошелъ самого себя: онъ вывертывалъ такимъ неестественнымъ образомъ руки своей танцовщицы, такъ хитро переплеталъ ихъ со своимъ, дѣлалъ такіе чудные выверты и обороты, что нельзя было довольно удивиться его искусству; то, поднявшись на цыпочки, онъ изгибался какъ змѣй надъ своею дамою и заставлялъ ее кружиться у себя подъ плечомъ, то самъ подвертывался къ ней подъ руку, и все это не какъ-нибудь, а чисто, отчетливо, не отставая отъ музыки и не выпуская ни на минуту изъ рукъ своей танцовщицы, которая также съ необычною ловкостію выполняла всѣ эти танцевальныя кунштюки и не сбивалась съ кадансу даже тогда, когда руки ея были совершенно выворочены. Всѣ зрители, не исключая дамъ, встали съ своихъ мѣстъ, и, чтобъ видѣть поближе танцующихъ, обступили ихъ со всѣхъ сторонъ. Одна только Ольга Дмитриевна, стоя позади толпы, не обращала на нихъ никакого вниманія; съ нею разговаривалъ Симскій.

— Да, Ольга Дмитриевна,—говорилъ онъ,—я привезъ вамъ вѣсточку отъ дядюшки вашего, Максима Петровича; онъ, благодаря Бога, здоровъ.

— Когда жъ вы у него были?—спросила Запольская.

— Вчера проѣздомъ. Онъ, по милости своей, укрѣлъ меня отъ непогоды и оставилъ ночевать.

— Вчера!.. Такъ вы пріѣхали сегодня?

— Сегодня поутру и. признательно вамъ скажу, зѣло

утомленъ моимъ вояжемъ; но, несмотря на фатигу, которую чувствую съ дороги, не хотѣлъ пропустить сегодняшней асамблеи, въ томъ чаянїи, что, можетъ быть, увижу здѣсь персону, которую я желалъ бы видѣть не только всѣдневно, но даже всечасно.

— Чтожъ, эта персона здѣсь?

— О, всеконечно здѣсь!—подхватилъ Симскій.—Иначе я не остался бы ни минуты.

— Почему же? Развѣ вамъ здѣсь не весело? Вы, кажется, любите танцовать.

— Только не со всѣми, Ольга Дмитріевна.

— А съ этою персоною?—спросила улыбаясь Запольская.

— О, это для меня такая великая сатисфакція,—отвѣчалъ Симскій, не смѣя взглянуть на Ольгу Дмитріевну,— что когда я нахожусь вмѣстѣ съ тою персоною на асамблеѣ, то ужь никакъ не могу резолвоваться поднять другую даму.

— Такъ какъ же вы со мною танцовали?—спросила съ самымъ простодушнымъ видомъ Ольга Дмитріевна.

Этотъ весьма естественный вопросъ до того смутилъ Симскаго, что онъ совершенно растерялся. Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать что-нибудь Ольгѣ Дмитріевнѣ, онъ началъ разсматривать огромный эстампъ, который висѣлъ на стѣнѣ, и проговорилъ заикаясь:

— Ахъ, какой прекрасный купферъ-штыкъ!... Мнѣ кажется, это изображеніе полтавской викторїи... Не правда ли, Ольга Дмитріевна?...

— Право не знаю,—отвѣчала Запольская съ примѣтнымъ замѣшательствомъ.

Симскій покраснѣлъ; глядя на него, Ольга Дмитріевна также вспыхнула, и они оба замолчали.

Не смѣйте надъ моимъ Симскимъ, любезныя читательницы: вѣдь то, что я вамъ рассказываю, происходило въ 1711 г., то есть безъ малаго полтора ста лѣтъ тому назадъ; тогда наши молодые люди, не исключая и гвардейскихъ офицеровъ, вовсе не умѣли изъясняться въ любви, и только осмѣливались иногда намекать объ этомъ обиняками, сторонкою, да и то съ большою осторожностію. Чтобъ отвѣчать на вопросъ Ольги Дмитріевны, Симскому надобно было признаться, что она то именно и есть та самая *персона*, для которой онъ прїѣхалъ на асамблею, то есть, другими словами, что

онъ ее любить и желаетъ быть ея мужемъ, а это было бы неслыханнымъ нарушеніемъ всѣхъ приличій. Въ старину и круглый сирота не могъ предлагать своей руки иначе, какъ черезъ посредниковъ, а человѣкъ съ родствомъ, дозволившій себѣ такое безчинство, возстановилъ бы противъ себя не только всѣхъ родныхъ и двоюродныхъ дядей и тетушекъ, но даже и всѣхъ замужнихъ сестрицъ до седьмого колѣна. Я ужь не говорю о самой дѣвицѣ, которая, вѣроятно, сгорѣла бы отъ стыда и почла бы себя очень обиженною, если бы молодой человѣкъ сказалъ ей прямо въ глаза, что хочетъ на ней жениться.

Вотъ наконецъ альмандъ кончился и такъ благополучно, что не было никакой надобности посылать за костоправомъ. Вся толпа разсѣялась, и къ Симскому подошла Аграфена Петровна Ханыкова.

— Что я вижу?—вскричала она.—Это вы, Василій Михайловичъ?.. Опять въ Москвѣ?

— Знаете-ли, тетушка, — прервала Ольга Дмитриевна.— Василій Михайловичъ былъ вчера у дядюшки Максима Петровича.

— У брата? — проговорила съ примѣтнымъ безпокойствомъ Ханыкова. — Чтожъ, вы ему сказали, что познакомились со мною на асамблеѣ у Гутфеля?

— О, нѣтъ! Я только сегодня узналъ, что Максимъ Петровичъ вамъ родня.

— Вотъ что!.. Вы не слышали отъ него, собирается онъ въ Москву или нѣтъ?

— Максимъ Петровичъ не изволилъ ничего объ этомъ говорить; онъ все спрашивалъ меня о Санктпетербургѣ...

— И вѣрно очень съ вами спорилъ?

— Да, у насъ были небольшіе диспуты. Кажется, вашъ братецъ не очень жалуется Санктпетербургъ?

— Охъ, ужь и не говорите!.. Батюшка-братецъ человѣкъ очень умный и почтенный, но такой старовѣръ, что не приведи, Господи... Вы долго у насъ пробудете?

— Не больше одной недѣли.

— Только то!.. Хорошо еще, что вы пріѣхали къ масленицѣ; по крайней мѣрѣ повеселитесь, покатаетесь... время будетъ прекрасное.

— А почему вы изволите думать, что погода будетъ хороша?

— Это напечатано въ календарѣ, въ прогностикѣ двѣнадцати мѣсяцевъ.

— Прошу эскузовать меня! Не очень я вѣрю сему прогностикѣ, государыня моя!.. Въ этомъ же календарѣ напечатано, что въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ конъюкціи планетъ показываютъ добрую гармонію между всѣми потентатами, однакожь войска наши находятся въ походѣ и, вѣроятно, несмотря на сію конъюкцію, мы побываемъ въ гостяхъ у турскаго салтана.

— Что вы говорите?.. Война съ туркомъ? А мой Степанъ Герасимовичъ въ Азовѣ... Господи Боже мой!..

— Да вы не извольте предаваться напрасной турбаціи, — прервалъ Симскій. — Азовъ не что другое: вѣдь это зѣло крѣпкая фортеція, его взять не легко. И я мыслю такъ, что скорѣе мы будемъ въ Царьградѣ, чѣмъ турки въ Азовѣ. Будьте благонадежны, Аграфена Петровна: этотъ прогностикъ повѣрнѣе того, который напечатанъ въ календарѣ.

— Ахъ, дай-то, Господи!.. А, вотъ опять музыка заиграла?.. Кажется, кондратанецъ?

Тутъ подвернулся къ Аграфенѣ Петровнѣ неутомимый Францъ Карловичъ Цвибахъ и въ самыхъ отборныхъ выраженіяхъ пригласилъ ее стать вмѣстѣ съ нимъ въ первую пару. Одинъ русскій щеголь въ бархатномъ кафтанѣ разлетѣлся было къ Ольгѣ Дмитріевнѣ, но Симскій предупредилъ его и сталъ съ нею во вторую пару.

— Опять вмѣстѣ! — прошепталъ Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, глядя на Ольгу Дмитріевну и Симскаго. — Ужь, видно, у нихъ все дѣло слажено... Вонъ и тетушка пошла выплясывать съ аптекаремъ!.. Да она-то, голубушка, изъ чего бьется?.. Вѣдь отъ живого мужа нельзя выйти замужъ и за нѣмца... Ну, — промолвилъ Обиняковъ, потирая руки, — будетъ мнѣ что поразсказать Лаврентію Никитичу.

Послѣ этого танца, Аграфена Петровна, у которой разболѣлась голова, отправилась домой вмѣстѣ со своею племянницей, а вслѣдъ за ними уѣхалъ и Симскій. Это послѣднее обстоятельство не укрылось также отъ бдительныхъ взоровъ Ардаліона Михайловича, который, впрочемъ, остался до самаго конца асамблеи, ради того, что у Адама Ѳомича Гутфеля эти вечеринки оканчивались всегда сытнымъ и хорошимъ ужиномъ.

VI.

Въ Землянѣмъ городѣ, между Тверской улицей и Никитскою, на самомъ *тупикѣ*, то есть въ концѣ глухого переулка, стоялъ высокій брусяной домъ съ теремомъ и *рундукомъ*, или по нынѣшнему террасою, надъ которою подымалась остроконечная кровля, подпертая двумя выдѣланными изъ толстыхъ бревенъ огромными балаясинами. Этотъ домъ, принадлежащій думному дворянину Лаврентію Никитичу Рокотову, стоялъ посреди обширнаго двора или, вѣрнѣе сказать, огороженнаго поля, на которомъ, во всякомъ нѣмецкомъ городѣ, помѣстилось бы, по крайней мѣрѣ, двѣ площади, а при нуждѣ и нѣсколько улицъ съ переулками. Чтобъ добраться обыкновеннымъ ходомъ до хозяина дома, надобно было непременно пройти черезъ запачканную переднюю, въ которой оборванные холопы днемъ сидѣли на лавкахъ, а ночью спали гдѣ ни попало: одни на коникѣ, а другіе въ повалку на грязномъ полу. По праву рассказчика, я могу васъ избавить отъ этого, любезные читатели, и попрошу васъ перенестись вмѣстѣ со мною прямо въ гостиную. Эту комнату можно было бы назвать, сравнительно съ другими, довольно опрятною, еслибъ въ ней, хотя изрѣдка, промывали стекла въ окнахъ и хотя разъ въ году обметали по угламъ паутину, которая, со дня кончины супруги Лаврентія Никитича, то-есть ровно три года сряду, оставалась неприкосновенною. Хозяинъ дома, Лаврентій Никитичъ Рокотовъ, бодрый старикъ лѣтъ шестидесяти, средняго роста, дородный, съ длинною бородою, крутымъ широкимъ лбомъ, навислыми бровями и угрюмымъ лицомъ, сидѣлъ за сытнымъ завтракомъ, на которомъ не было ни гданской водки, ни сыру, ни голландскихъ сельдей, ни нѣмецкихъ колбасъ, а была просто добрая настойка, жирный пирогъ съ вязигю, вяленая астраханская шема, икра, балыкъ и цѣлыя пирамиды разнообразныхъ блиновъ. Съ нимъ сидѣлъ Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, тотъ самый худошавый баринъ, который на асамблеѣ Адама Ѳомича Гутфеля подсматривалъ изподтишка за Симскимъ и Ольгою Дмитріевною.

— Ну что, Ардаліонъ Михайловичъ, — сказалъ хозяинъ, — вѣдь пирогъ то на славу испечень.



— Да, Лаврентій Никитичъ, пирога диковинный!  
— Не прикажешь ли еще?  
— Всенижайше благодарю!  
— Такъ милости просимъ блинковь!.. Ну что, каковы!  
— У, батюшки!.. Что это... такъ во рту и таютъ!  
— Право?.. Да, подлинно хороши!.. Ай да Аксинья!  
Истинно скажу: такой отличной стряпухи во всей Москвѣ не найдешь... Изволь ка вотъ этихъ съ припекою... Ну, что?

— Презрѣдныя!..

— Въ самомъ дѣлѣ? Пожалуй ка сюда... Да, не дурны, а все не то, что мои любимыя... Вотъ откушай-ка этихъ, со снятками.

— Еще лучше!.. Пухлые, поджаристыя!.. Вотъ это блины!.. Страшно вѣтъ, Лаврентій Никитичъ: того и гляди, языкъ проглотишь!

— Не бойся, любезный; не проглотишь. Кушай на здоровье, кушай!.. И я тебѣ помогу... Да чтожъ ты, Ардалионъ Михайловичъ, съ однимъ блиномъ не сладись?.. Эхъ, братъ, съ тѣхъ поръ, какъ ты нарядился нѣмцемъ, такъ и кушать то сталъ по нѣмцки.

— Вы все еще, батюшка, изволите меня упрекать, зачѣмъ я по нѣмцки одѣваюсь... Да помилуйте, Лаврентій Никитичъ, ужъ я вамъ докладывалъ: чтожъ мнѣ было дѣлать? Неволья скачетъ, неволья плачетъ, неволья пѣсенки поетъ. Я человѣкъ, служебный, состою подъ властію, а, вы знаете, всѣмъ магистратскимъ указано ходить въ нѣмецкихъ платьяхъ. Вотъ товарищъ мой, Степанъ Ивановичъ Спѣшневъ, сталъ было отнѣкиваться, такъ его тотъ же-часъ на порогъ, да въ шею.

— Такъ чтожъ?.. Не служи!..

— Не служи! Вамъ хорошо, батюшка: вы проживете и отцовскимъ благословеніемъ. Вѣдь покойникъ то счету не зналъ своимъ отчинамъ, а я человѣкъ бѣдный... жена, дѣти...

— Нѣтъ, любезный, я на твоёмъ мѣстѣ лучше бы съ сумою пошелъ, сталъ бы питаться Христовымъ именемъ... Ну, да и то сказать: человѣкъ на человѣка не приходится... Э, да чтожъ ты, любезный, пересталъ кушать?

— Нижайше благодарю, Лаврентій Никитичъ,—будетъ!

— Такъ то?.. Чтожъ это, первый блинъ да комомъ?

— Какой первый—помилуйте! Вотъ ужъ за поддюжину перешло.

— Эка важность!.. Кушай, любезный, кушай!

— Никоимъ родомъ не могу, Лаврентій Никитичъ: душа не принимаетъ.

— Вотъ то-то и есть, братецъ, набаловался ты у этихъ нѣмцевъ; вѣдь они, чай, гостей то своихъ счетнымъ зерномъ кормятъ. Вотъ, примѣромъ, вчера на бѣсовскомъ сходбищѣ, у этого собачьяго сына, Гутфеля, ужъ вѣрно также про гостей ужинъ былъ; чай, по ломтику протухлаго сыра, да по селедкѣ на брата — кушай на здоровье! А что, Ардалионъ Михайловичъ, какъ ты свой ломтикъ сыру скушалъ, такъ другого и не попросилъ?

— Кто? Я-съ? Помилуйте, — стану я эту нѣмецкую дрянъ ѣсть! Я и на вечеринкѣ то у него былъ ради того только, чтобъ пересказать вамъ...

— Да, да!.. Ну, что эта дура, Ханыкова, была тамъ со своею племянницей?

— Была, Лаврентій Никитичъ.

— Срамница!.. Чтожъ, онѣ плясали?

— Плясали; да еще какъ, Батюшка: всѣхъ нѣмокъ за поясъ заткнули!

— Безстыдницы этакія!

— Лишь только вошли, вся молодежь такъ къ нимъ гурьбой и бросилась — и нѣмцы и русскіе; а онѣ съ ними и пошли, тара-бара, — и такъ и этакъ, и по нѣмецки...

— Какъ, ужели по нѣмецки?

— Да, сударь! Я самъ слышалъ.

— Вотъ до чего дошли!

— А пуще племянница—такъ и рѣжетъ!

— Ну, пора дядѣ пріѣхать!.. Я къ нему писалъ. Съ сестрой Максиму Петровичу дѣлать нечего — она отрѣзанный ломоть, а племянницу прибрать къ рукамъ не мѣшаетъ: вѣдь онъ ей вмѣсто отца родного... Что, чай, молодежь то около нихъ очень увивалась?

— Да, сударь. За Аграфеною Петровною Ханыковою сильно ухаживалъ какой то аптекарь, нѣмецъ, а за Ольгою Дмиріевною Запольскою вотъ этотъ офицерикъ, что мѣсяца два тому назадъ...

— Такъ онъ опять сюда пріѣхалъ?

— Видно, что такъ. Они все вмѣстѣ изволили выпля-

сывать. Сначала пошли минавею... Ужь было чего посмотреть—смѣхъ да и только!

— А что?

— Да какъ же, батюшка; чѣмъ бы имъ думать о своей пляскѣ, а они другъ на друга смотрять. Надо поклониться направо, а они кланяются налево. Она то вспыхнетъ, то поблѣднѣетъ; а онъ, пострѣвъ этакій, глядитъ на нее, да такъ глазами и вѣсть!

— Экій срамъ, экій срамъ!

— А тамъ, какъ Аграфена Петровна собралась домой, такъ и онъ за ними слѣдомъ, — словно въ одной колымагѣ прѣвхали.

— Узналъ ли ты, какъ зовутъ этого подлипалу?

— Спрашивалъ, сударь; говорятъ, какой то... ну вотъ и позабылъ!.. Помню только, что роду хорошаго.

— Да вѣдь нынче не узнаешь, любезный. Ты отпустишь холопа на волю, а онъ твоимъ прозвищемъ станетъ называться. Теперь это ни почемъ, — какъ себѣ хочешь, такъ и прозывайся; истинно вавилонское столпотвореніе — смѣшеніе языковъ.

— Да, сударь, да, все перековеркано, Лаврентій Никитичъ, — продолжалъ Обиняковъ, смотря въ окно, — къ вамъ еще гость прѣвхалъ... кажись, Герасимъ Николаевичъ Шетневъ.

— Да, точно, это онъ... Эй, Ванька, вели подать свѣжихъ блиновъ!.. Я не ждалъ его сегодня... Видно, есть что-нибудь новенькое...

— Опять какая-нибудь нѣмецкая выдумка, батюшка.

— А вотъ посмотримъ.

Въ комнату вошелъ баринъ лѣтъ пятидесяти, въ шелковой фезязи, изъ-за которой подымался вышитый золотомъ высокій *козырь*, то-есть стоячій воротникъ кафтана, также шелковаго. Герасимъ Николаевичъ Шетневъ принадлежалъ къ числу *недовольныхъ* тогдашняго времени; онъ былъ человѣкъ не глупый, большой краснобай и отъявленный ненавистникъ всякихъ нововведеній и перемѣнъ, сближающихъ православную Русь съ этимъ окаяннымъ Западомъ. Шетневъ называлъ всѣ эти преобразования нѣмецкимъ духомъ, и никто лучше его не доказывалъ, что этотъ нѣмецкій духъ есть духъ антихристовъ. Онъ не сказалъ бы Петру Алексѣевичу, какъ извѣстный Кикинъ: «Ты говоришь, Государь, что я уменъ; да за то-то я тебя и не

люблю: умъ любить просторъ, а при тебѣ ему тѣсно». Нѣтъ, Шетневъ любилъ, по его словамъ, рѣзать правду, да только втихомолку, въ кругу искреннихъ своихъ друзей; но зато ужъ когда онъ сидѣлъ съ ними въ огромномъ покоѣ съ запертыми дверьми, за версту отъ передней, то надобно было его послушать. О, какъ доставалось тогда всѣмъ: и ближнимъ боярамъ, и нѣмецкимъ генераламъ, и этимъ выскочкамъ-временщикамъ, и самому старшему, котораго впрочемъ онъ въ этихъ случаяхъ никогда не называлъ по имени.

— Милости просимъ, Герасимъ Николаевичъ!—сказалъ хозяинъ, идя навстрѣчу къ своему гостю. Не ждалъ я тебя сегодня поутру.

— Здравствуйте, Лаврентій Никитичъ, здравствуйте!— промолвилъ Шетневъ, садясь.—Фу, батюшки, усталъ!

— Усталъ? Отчего?

— Какъ отчего? Ужъ я сегодня ѣздилъ, ѣздилъ!.. Сейчасъ былъ на Крутицахъ у Ивана Ильича Чуфаровскаго. Я засталъ у него все нашихъ: князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго, Абрама Васильевича Воропанова, князя Алексѣя Трофимовича Хворостинина, Софрона Саввича Возницына, Петрушу Сорокоумова... Поговорили, потолковали. Что, братъ Лаврентій Никитичъ: часъ отъ часу не легче!

— А что?

— Да вотъ что: ты знаешь, что годовъ шесть тому назадъ, нашъ батюшка—дай Богъ ему добраго здоровья!— изволилъ обложить податью всѣ дворянскія бороды?

— Какъ не знать! Вѣдь и съ меня, старика, берутъ по шестидесяти рублей въ годъ за то, что я, православный, не хочу на поганаго нѣмца походить... Нечего сказать, дай, Господи, ему добраго здоровья!

— А вотъ Софронъ Саввичъ Возницынъ говорить, что слышалъ отъ вѣрныхъ людей, будтобъ вмѣсто шестидесяти станутъ брать съ каждой бороды по сту рублей.

— Ну, это еще что! То не бѣда, коли на деньгу пошла; пожалуй, бери себѣ!..

— Бери себѣ! Хорошо, кому въ моготу; а вотъ Петруша Сорокоумовъ такъ и завылъ.

— Скажи ему отъ меня: не горюй, дескать: не безъ добрыхъ людей,—помогутъ.

— И князь Шелешпанскій больно переполошился.

— Князь Шелешпанскій? Да онъ богаче меня.

— Богатъ, да не торовать. Ну, вотъ припомни мое слово: коли Возницынъ сказалъ правду, такъ этотъ скряга отмахнетъ себѣ бороду.

— Нѣтъ, любезный: хоть двѣсти рублей наложи, такъ онъ и тогда сберетъ съ крестьянъ рубликовъ триста прибавочнаго оброка, двѣсти отдастъ въ казну, сто положить себѣ въ карманъ, а ужь бороды ни за что не обрѣетъ,— не такой человекъ. Я сегодня звалъ его къ себѣ на блины... Что, онъ будетъ или нѣтъ?

— Будетъ. Онъ хотѣлъ было ѣхать вмѣстѣ со мною, да Чуфаровскій также масленицу справляетъ, а ты знаешь князя: какъ онъ наляжетъ на блины, такъ ты съ нимъ что хочешь, хоть въ дубѣ прими,—ни за что не отстанетъ.

— Да, русскій человекъ,—любитъ покушать.

— Я ему говорю: «Полно, князь Андрей, что ты на блины то навалился!» А онъ и ухомъ не ведетъ. «Поѣдемъ, говорю, князь, пора!» А онъ молчитъ да убираетъ за обѣ щеки. Ну, нечего сказать: здоровъ ѣсть! Какъ я сталъ прощаться съ хозяиномъ, такъ онъ между двухъ блиновъ пробормоталъ мнѣ въ догонку: «Скажи, дескать, Лаврентію Никитичу, что я безотмѣнно буду»... Ахъ, батюшка! Эка память, подумаешь, совсѣмъ забылъ! Какъ я къ тебѣ ѣхалъ, такъ знаешь ли, кого обогналъ?.. Максима Петровича Прокудина. Тащится нога за ногу въ дорожной повозкѣ; видно, прямо изъ своей серпуховской отчины.

— Слава тебѣ, Господи,—давно бы пора пріѣхать!

— А что?

— Такъ, любезный, домашнія дѣла. Ну что, нѣтъ ли у тебя еще чего-нибудь новенькаго?

— Есть, Лаврентій Никитичъ, есть!.. Да вотъ погоди... Не Прокудинъ ли въѣхалъ во дворъ?

— Онъ и есть!—вскричалъ хозяинъ, вставая.

Черезъ полминуты вошелъ въ гостиную Максимъ Петровичъ Прокудинъ; въ дверяхъ встрѣтилъ его съ низкимъ поклономъ Обиняковъ; хозяинъ принялъ съ распростертыми объятіями; Шетневъ также съ нимъ облобызался. Когда, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій и вопросовъ о здоровьѣ, всѣ опять усѣлись, двери снова распахнулись настежь, и въ комнату вошелъ князь Шелешпанскій. Этотъ сіятельный баринъ, ведущій свой родъ отъ удѣльныхъ князей Бѣлозерскихъ, заслуживаетъ особеннаго описанія.

За нѣсколько мѣсяцевъ до смерти своего родителя, князь

Андрей Юрьевич Шелешпанскій поступилъ изъ недорослей въ московское *жилицкое* войско *новикомъ*. Ему было тогда съ небольшимъ двадцать пять лѣтъ. Похоронивъ своего отца, онъ ударилъ челомъ объ увольненіи его на покой, ради всегдашней хворости, многораазличныхъ недуговъ и крайняго тѣлеснаго безсилія. Князь Андрей Юрьевичъ обыкновенно жилъ въ своей коломенской отчинѣ и только изрѣдка пріѣзжалъ въ Москву повидаться съ родными, изъ числа которыхъ былъ и Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Этого отставнаго новика можно было назвать виднымъ и красивымъ мужчиною; онъ былъ роста высокаго, широкъ въ плечахъ и очень дороденъ: румяное, полное лицо его, опущенное небольшою окладистою бородкою, казалось также, издалека, довольно благообразнымъ; но зато въ круглыхъ огромныхъ глазахъ его, похожихъ на слуховыя окна, выражалось какое то тупоуміе, которое однакожь онъ не всегда оправдывалъ своими поступками и дѣлами. Пошлый дуракъ во всемъ, онъ былъ не только не глупъ, но даже очень смышленъ, когда дѣло шло о томъ, чтобъ дешево купить или дорого продать. Князь Шелешпанскій былъ извѣстный лошадиный охотникъ или, вѣрнѣе сказать, барышникъ, то-есть онъ любилъ не лошадей, а лошадиный торгъ такъ, какъ любятъ его и понимаютъ всѣ дюжинные барышники и цыгане. У него никогда не бывало завѣтнаго коня. Онъ безпрестанно покупалъ, продавалъ, а всего чаще мѣнялся лошадьми; и, надобно отдать ему справедливость, онъ былъ мастеръ этого дѣла. Никто не могъ бы выгнать его сбыть съ рукъ испорченной лошади или промѣнять какую-нибудь запаленную, разбитую клячу на добраго и здороваго коня. Князь Андрей Юрьевичъ былъ очень богатъ и въ то же время чрезвычайно скупъ. Живя въ деревнѣ, онъ развѣзжалъ по своимъ сосѣдямъ, весьма рѣдко угощалъ ихъ у себя, а остальное время обѣдалъ и ужиналъ поочереди у своихъ крестьянъ. Однажды забрались къ нему въ кладовую какъ то воры и украли тридцать окороковъ ветчины; это ужасное происшествіе до того поразило князя Шелешпанскаго, что съ тѣхъ поръ, рассказывая о какомъ-нибудь случаѣ, онъ всегда опредѣлялъ время покражею своей ветчины, то-есть вмѣсто того, чтобъ сказать: это случилось тогда то, или въ такомъ то году, онъ обыкновенно говаривалъ, что это было или до покражи или по покражѣ его ветчины.

— А, князь Андрей! Здравствуй, любезный! — сказала Рокотовъ, обнимая своего гостя. — Хорошъ молодець, — объѣдался ко мнѣ на блины, а поѣхалъ къ Чуфаровскому!

— Ничего, Лаврентій Никитичъ, ничего, — проревѣлъ князь Шелешпанскій: — намъ не впервые въ одно утро на двухъ блинахъ побывать; мы еще, благодаря Бога, стоимъ за себя!

— Любезный другъ, — продолжалъ Рокотовъ, подводя Шелешпанскаго къ Максиму Петровичу, — прошу познакомиться: пріятель мой и родственникъ, князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій.

— Очень радъ, батюшка, познакомиться съ тобою, — сказалъ Прокудинъ.

— Просимъ любить и жаловать!... — пробормоталъ Шелешпанскій. — Имя и отчества вашего не знаю.

— Окольничій Максимъ Петровичъ Прокудинъ, — прервалъ хозяинъ.

— Прокудинъ?... Слыхали, батюшка, слыхали!

— Ну чтожъ, дорогіе гости, — промолвилъ Рокотовъ, — блины горячіе на столъ, — милости просимъ!

— Спасибо, Лаврентій Никитичъ, — отвѣчалъ Прокудинъ; — я ужъ поѣлъ.

— А ты, князь Андрей?

— Пожалуйте, пожалуйте!... Я отъ этого никогда не отказываюсь.

Шелешпанскій выпилъ добрую чарку настойки, присѣлъ къ столу и началъ дѣйствовать отличнымъ образомъ. Пока онъ справлялся съ блинами, Лаврентій Никитичъ усадилъ своихъ гостей, и между ними начался слѣдующій разговоръ.

ПРОКУДИНЪ.

Ну что, друзья сердечные, что у васъ новенькаго?

РОКОТОВЪ.

Мало ли что? Съ тѣхъ поръ, какъ Государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ пожаловать въ Москву, у насъ дня не пройдетъ безъ разныхъ выдумокъ. Вотъ Герасимъ Николаевичъ хотѣлъ мнѣ что то сообщить...

ШЕТНЕВЪ.

Да, новая новинка — и вещь не шуточная. Слыхалъ ли ты, Лаврентій Никитичъ, что такое сенать?

РОКОТОВЪ.

Сенать?... Нѣтъ, не слыкаль.

ПРОКУДИНЪ.

Сенать?... Постойте ка!... Ну да, я читалъ въ книгѣ о языческихъ царствахъ, что въ древнемъ Римѣ былъ сенать, сирѣчь верховное судилищѣ.

ШЕТНЕВЪ.

Такъ прошу знать и вѣдать, что сегодня учрежденъ въ Москвѣ правительствующій сенать.

РОКОТОВЪ.

Правительствующій, то есть который станеть всѣмъ править?

ШЕТНЕВЪ.

Да, онъ будетъ и разрядныя дѣла вѣдать, судить всякія тяжбы выше всѣхъ другихъ приказовъ, и царскую волю объявлять, и указы разсылать...

РОКОТОВЪ.

Да это ни дать, ни взять боярская дума...

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, любезный, сенать.

РОКОТОВЪ.

Да вѣдь въ этомъ сенатѣ будутъ засѣдать бояре?

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, Лаврентій Никитичъ, сенаторы.

РОКОТОВЪ.

А изъ кого же этихъ сенаторовъ понадѣлають?

ШЕТНЕВЪ.

Вѣстимо дѣло, изъ боярь.



РОКОТОВЪ.

Такъ и выходить по моему, что боярская дума, что этотъ сенать...

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, любезный, разница превеликая: боярская то дума, изволишь видѣть, по нашему—по русски, а сенать—по иноземному.

РОКОТОВЪ.

Чтожь, отъ этого лучше что ль будетъ.

ПРОКУДИНЪ.

А какъ же! Посмотрите, какъ теперь дѣла то пойдуть.

ШЕТНЕВЪ.

Думныхъ дьяковъ ужь не будетъ, а вмѣсто нихъ будутъ оберъ-секретари.

ПРОКУДИНЪ.

Вотъ оно что! Слышишь, Лаврентій Никитичъ: вмѣсто думныхъ дьяковъ будутъ... какъ бишь ихъ?

ШЕТНЕВЪ.

Оберъ-секретари.

РОКОТОВЪ.

Такъ чтожь? Крапивное семя какъ ни называй...

ПРОКУДИНЪ.

Что ты, что ты, помилуй! Коли думнаго дьяка будутъ называть по нѣмецки, такъ ужь къ нему, братъ, съ приносомъ не ходи!

РОКОТОВЪ.

А почему жь нѣтъ?

ПРОКУДИНЪ.

Какъ это можно! Станеть онъ взятки братъ—сохрани,

Господи!... Развѣ ты не знаешь: любого мошенника Ваньку назови Иоганомъ—тотчасъ уймется воровать!

*(Всѣ смѣются).*

РОКОТОВЪ.

Ахъ ты, Господи, Господи!... Видно, нечего дѣлать... А знаешь ли ты, Герасимъ Николаевичъ, кого въ этотъ сенатъ посадили?

ШЕТНЕВЪ *(вынимая изъ за пазухи исписанный листъ бумаги).*

Какъ же! Вотъ у меня и списокъ есть.

РОКОТОВЪ.

Чай, все заморская братья.

ШЕТНЕВЪ.

Нѣтъ, имена то русскія.

ПРОКУДИНЪ.

Читай, читай!

ШЕТНЕВЪ *(читая).*

Во первыхъ: графъ Мусинъ-Пушкинъ...

ПРОКУДИНЪ.

Ужъ коли графъ, такъ какой русскій!

РОКОТОВЪ.

Кто, Пушкинъ?... Хуже всякаго нѣмца.

ОВИНЯКОВЪ.

А спесь то, сударь, какая... Фу ты, батюшки! Съ тѣхъ поръ, какъ онъ изволилъ побывать въ Нѣмечинѣ, такъ и приступу къ нему нѣтъ.

РОКОТОВЪ.

Куда!... Онъ теперь съ нашимъ братомъ и говорить

не захочетъ. За моремъ побываль, уменъ сталъ! Вѣдь тамъ народъ все ученый; отъ послѣдняго мужика до знатнаго барина всѣ говорятъ по нѣмецкому. Тамъ все лучше нашего: и скоть, и люди, и дома... Что дома! Тамъ, дескать, и звѣзды то свѣтять ярче нашего русскаго солнышка.

ПРОКУДИНЪ.

Читай, Герасимъ Николаевичъ, читай!

ШЕТНЕВЪ (*читая*).

Тихонъ Стрѣшневъ.

ОВИНЯКОВЪ.

Задушевный другъ Адама Ѳомича Гутѳеля.

РОКОТОВЪ.

Свой своему поневоля братъ.

ШЕТНЕВЪ (*читая*).

Князь Петръ Голицынъ, князь Михайла Долгорукій...

ПРОКУДИНЪ.

Князь Михайла Долгорукій?... Первый изъ всѣхъ бояръ обрѣлъ себѣ бороду.

ШЕТНЕВЪ (*читая*).

Григорій Племянниковъ...

РОКОТОВЪ.

Хорошъ молодецъ!.. Съ нѣмецкимъ пасторомъ хлѣбъ и соль водить!

ШЕТНЕВЪ (*читая*).

Князь Григорій Волконскій, Михайла Самаринъ и Василій Опухтинъ.

РОКОТОВЪ.

Василій Опухтинъ?... Какой это Опухтинъ?

ШЕТНЕВЪ.

И я его не знаю.

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ (*обтираясь салфеткою*).

Василій Опухтинъ?.. Мы съ нимъ люди знакомые.

РОКОТОВЪ.

Ну что онъ за человѣкъ такой?

КНЯЗЬ ШЕЛЕШПАНСКІЙ.

Мужикъ добрый... плоховать немного. Вотъ тому годовъ пять... или вѣтъ... это ужъ было по покражѣ моей ветчины... года три или четыре... купилъ онъ у меня вороного жеребчика, статей не отличныхъ, и передкомъ слабенець... у меня въ возу ходилъ, а ему продалъ за персидскаго аргамака. Ужъ онъ имъ любовался, любовался!... Такой простофиля, что и сказать нельзя!

ОБИНЯКОВЪ.

Вотъ, подумаешь, кажись, чего лучше: вы, Максимъ Петровичъ, изволили засѣдать въ старину въ боярской думѣ; вы, батюшка Лаврентій Никитичъ, также; такъ чѣмъ бы хватать на улицѣ и встрѣчнаго и поперечнаго...

РОКОТОВЪ.

И, полно, Ардаліонъ Михайловичъ, куда намъ въ сенаторы!

ШЕТНЕВЪ.

Правда, другъ сердечный, правда! (*Встаетъ*). Ну, прощай, Лаврентій Никитичъ!...

РОКОТОВЪ.

Куда ты спѣшишь?

ШЕТНЕВЪ.

Да надобно, любезный, еще мѣстахъ въ трехъ побывать.

Теперь ъду на Берсеньявку, къ Матвѣю Сидоровичу Баклановскому.

ОБИНЯКОВЪ.

Такъ сдѣлайте милость, Герасимъ Николаевичъ, доведите меня до дому: вамъ по дорогѣ.

ШЕТНЕВЪ.

Изволь, братецъ, доведу. До свиданья, другъ сердечный!.. Милости просимъ къ намъ, Максимъ Петровичъ! (*Шетневъ и Обиняковъ уходятъ*).

КНЯЗЬ ШЕЛЕСПАНСКІЙ (*вставая*).

И мнѣ пора

РОКОТОВЪ.

А ты, князь, куда?

КНЯЗЬ ШЕЛЕСПАНСКІЙ.

Къ Григорію Фаддеичу Таптыкову; онъ звалъ меня сегодня на блины.

РОКОТОВЪ.

Ну, князь, видно, у тебя жернова то хорошо мелютъ. Въ одно утро на трехъ блинахъ!

КНЯЗЬ ШЕЛЕСПАНСКІЙ.

Да это что, Лаврентій Никитичъ! Такъ ли я бывало ѣдалъ въ старину. Вотъ однажды... давно ужъ, этакъ еще годовъ шесть до покражи моей ветчины, у князя Гагина, на завтракъ, за споромъ дѣло стало; говорятъ мнѣ: «Не съѣшь, дескать, князь, за одинъ пріемъ двѣ дюжины блиновъ съ припекою»; а я говорю, «съѣмъ!» Вотъ подали блины; я присѣлъ сначала полегоньку, а тамъ какъ принялся вплотную, — пошелъ да пошелъ!... Какъ теперь помню — такъ за уши и пицить. Съѣлъ дюжину, съѣлъ другую, — кричу: «подавай третью!» Чтожъ, сударь, какъ съѣли мы послѣ объѣдать, такъ я какъ ни въ чемъ не бывало! Польгуса съѣлъ, да ни одной похлебки не пропустилъ, а ихъ было до восьми!.. Нѣтъ, теперь ужъ не то!

РОКОТОВЪ.

И, князь, что Бога гнѣвить: хорошо и теперь!

КНЯЗЬ ШЕЛЕСПАНСКІЙ.

Счастливо оставаться, Лаврентій Никитичъ!... Прощенья просимъ, батюшка Максимъ Петровичъ! Прошу не оставлять меня вашею милостью!..

*(Цѣлуется въ Рокотовымъ и Прокудинымъ; потомъ, низко поклонясь обоимъ, уходитъ).*

VII.

— Уѣхали!—сказалъ Прокудинъ.—Теперь, Лаврентій Никитичъ, намъ можно поговорить съ тобой на просторѣ. Ну, любезный, получилъ я отъ тебя грамотку... И теперь очнуться не могу!... Ты пишешь ко мнѣ...

— Сущюю правду, другъ сердечный: Аграфена Петровна сгубить твою племянницу. Вотъ и вчера онѣ были на асамблеѣ у этого колбасника Гутфеля, плясали съ нѣмцами, говорили по нѣмецкому и разныя другія неподобныя дѣла чинили. Около твоей сестрицы увивался какой то аптекаръ-нѣмецъ, а съ племянницею только что не цѣловался тотъ же самый офицерикъ, о которомъ я тебѣ писалъ. Эй, Максимъ Петровичъ, послушайся меня: увези отсюда племянницу!

— Я затѣмъ и пріѣхалъ. Да что это съ сестрой то сдѣлалось?

— Что сдѣлалось? Вѣстимо что: плясать то веселѣе, чѣмъ сидѣть дома за рукодѣльемъ.

— Ну, такъ ли она была воспитана въ отцовскомъ дому!

— И, любезный, стоитъ только начать, а ужъ тамъ лукавый поможетъ! Да ты съ нею видѣлся или нѣтъ?

— Нѣтъ еще; я прямо къ тебѣ въѣхалъ.

— И хорошо сдѣлалъ, Максимъ Петровичъ.

— Конечно, ей очень будетъ прискорбно, что я не хотѣлъ у ней остановиться...

— А Богъ вѣсть! Ты для нея теперь хуже всякаго пугала. «Вотъ, дескать, бука пріѣхалъ какой! При немъ

нельзя будетъ и повеселиться!» Да и ты, Максимъ Петровичъ, не долго бы у нея нагостилъ: къ ней шляются всякіе нѣщцы, а вѣдь ты ихъ не очень жадуешь. И что тебѣ до сестры? Она замужемъ, сама себѣ госпожа... Ты подумай-ка лучше о племянницѣ.

— Думаю, Лаврентій Никитичъ, думаю, да не знаю, что придумать. Вотъ кабы она была дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, такъ увезъ бы ее къ себѣ въ деревню, да и концы въ воду; а вѣдь Ольга Дмитриевна ужъ невѣста, отвѣдала волюшки, такъ съ ней теперь и не сладить. И то сказать: я человѣкъ вдовый, одинокій, ей не съ кѣмъ будетъ у меня словечка перемолвить, съ тоски умретъ!... Вотъ кабы Богъ послалъ женишка...

— А что ты думаешь! Послушай-ка, Максимъ Петровичъ, тебѣ какого надобно жениха?

— Извѣстное дѣло: я хочу, чтобъ онъ былъ ровня моей племянницѣ.

— Сирѣчь роду хорошаго, человѣкъ добрый, не старій, съ достаткомъ, а пуще всего нашъ братъ русскій.

— Ну да!

— Такъ изволь, другъ сердечный, я тебѣ жениха поставлю. Онъ ужъ давно ищетъ себѣ невѣсты и меня объ этомъ просилъ.

— А кто онъ таковъ?

— Ты сейчасъ его видѣлъ: князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій. Вѣдь онъ еще не женатъ.

Прокудинъ покачалъ головою.

— А что, — продолжалъ Рокотовъ, — чѣмъ же онъ худъ? Собою молодецъ...

— Да, — молвилъ Максимъ Петровичъ, — что и говорить: высокъ и дороденъ.

— Природный князь...

— Что князь! Этимъ насъ, любезный, не удивишь. Такихъ дробныхъ князей, какъ онъ, у насъ на Руси пудовками мѣряютъ.

— Человѣкъ богатый.

— Вотъ это не худо... Конечно, и племянница моя невѣста богатая: я за нею укрѣплю все мое имѣнье, и отцовскаго то у нея довольно...

— Тѣмъ лучше, любезный, — подавай намъ! — Маслоу капи не испортишь.

— А что, обычаемъ то онъ каковъ?

— Сущій ягненокъ! Малый тихій, разсудительный; ему еще и сорока годовъ нѣтъ, а такой степенный, что нашему брату-старикѣ подѣ-стать будетъ. Любитъ держаться старины, нѣмцевъ терпѣть не можетъ...

— Вотъ что хорошо, то хорошо! А все, любезный...

— Что все?... Ужъ не браковать ли хочешь? Помилуй, Максимъ Петровичъ!... Коли князь Андрей не женихъ, такъ какого же тебѣ жениха надобно?

— Кто говоритъ, женихъ хорошій: въ порѣ, собой не дуренъ; да вотъ тутъ то,—промолвилъ Прокудинъ, указывая на свою голову,—кажись, у него вѣтерокъ посвистываетъ.

— А что? По твоему глупъ? Нѣтъ, любезный, ошибаешься! Конечно, онъ парень не рѣчистый и смотритъ увальнемъ, а попытайся-ка его провести,—трехъ дней не проживешь. Да, Максимъ Петровичъ, князь Андрей не краснобай, не фертикъ какой-нибудь, а человекъ дѣльный. Говорятъ, будто бы скупенекъ немного, да это не бѣда: скупость не глупость. Поглядишь, у другого изъ отцовскихъ вотчинъ ни кола, ни двора не осталось, а у него изъ двухъ тысячъ родовыхъ душъ выросло четыре...

— Четыре тысячи душъ?

— А поживетъ, такъ и восемь будетъ.

— Ну, конечно, такого женишка охаять нельзя; ты же его хвалишь...

— Такъ чтожъ? По рукамъ что ль?

— Я не прочь отъ этого, Лаврентій Никитичъ, и если онъ приглянется моей племянницѣ...

— Приглянется?... Вотъ еще!... Да ей то что до этого? Развѣ у насъ на Руси невѣсты сами жениховъ себѣ выбираютъ? Какъ мы это дѣло межъ собой уладимъ, такъ ты ей скажешь: «Племянница, я выдаю тебя замужъ за князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго; мы ужъ съ нимъ по рукамъ ударили». Вотъ и все!

— Конечно, любезный, конечно! У насъ всегда такъ важивалось, и женихъ вовсе не знаетъ, на комъ женится, и невѣста не вѣдастъ, за кого выходитъ замужъ. . Да полно, хорошо ли это?...

— Что, что?... Хорошо ли то, чему насъ учили отцы и дѣды?... Максимъ Петровичъ, о своемъ ли ты умѣ?... И какъ языкъ у тебя повернулся говорить такія рѣчи?...

— Да ты не гнѣвайся, а выслушай. И ты, чай, не ку-



пишь за глаза деревни? Дай, дескать, посмотрю самъ, каковы угодыя, то, другое...

— Вотъ куда тебя бросило!... Да развѣ это то? Развѣ мужа то покупаютъ?

— Оно такъ! Да скажи-ка мнѣ: женился ли бы на моей племянницѣ твой князь Шелешпанскій, кабы за ней не было души христіанской?

— Ну, вотъ еще!... Да и ты не выдалъ бы ее за какого-нибудь нищаго, а коли онъ богатъ и она съ достаткомъ, такъ о чемъ и толковать?

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, посмотрѣлся я на моемъ вѣку! Не приведи, Господи, жить съ немилымъ человѣкомъ! Вѣдь вѣкъ то прожить не поле перейти.

— А чтожъ, по твоему, лучше бъ было, жениха то съ невѣстою познакомить, да спросить у нихъ любви ли они другъ другу?

— А почему бы и не такъ?

— Ба, ба, ба... Максимъ Петровичъ, что это съ тобой сдѣлалось?... Гдѣ ты набрался этого нѣмецкаго духу?

— Ну, вотъ ужъ и нѣмецкаго духу!... Да я не знаю, какъ нѣмцы то и женятся, а говорю такъ по своему разсужденію.

— Полно, Максимъ Петровичъ, не хитри! Я вижу, братъ, чего ты хочешь. Тебѣ захотѣлось изъ окольныхихъ то въ сенаторы.

— Нѣтъ, Лаврентій Никитичъ, не обижай!

— Что не обижай! Не ты первый, не ты послѣдній... Дѣлать нечего: служи, любезный, служи двумъ господамъ!

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, ну какъ тебѣ не совѣстно? Ты знаешь, что я крѣпко держусь нашихъ старинныхъ обычаевъ, а это такъ на мысль мнѣ пришло. Что, дескать, это такое? И пріятелемъ не будешь человѣку, если прежде съ нимъ не познакомишься: а вѣдь мужъ то и жена не то, что пріятели: коли они не живутъ душа въ душу, такъ жите то ихъ не больно завидное.

— Да неужели, Максимъ Петровичъ, по твоему, коли дѣтина личмянный приглянется дѣвкѣ, такъ онъ ей и мужъ?

— Кто говоритъ! Коли дѣвица будетъ на одну мужскую красоту зариться...

— А ты думаешь на что? Станетъ молодая дѣвка толковать о томъ, о чемъ мы теперь съ тобой толкуемъ? Ей что за дѣло, есть ли у суженаго достатокъ, хорошаго ли

онъ роду, каковъ обычаемъ, — былъ бы только молодецъ собою. У нихъ только и рвчей: «хорошъ, дескать, и пригожь—по-сердцу пришель!» А тамъ, глядишь, пригожий то мужъ хуже чорта будетъ. Да вотъ, примѣромъ сказать, дай волю своей племянницѣ, такъ я голову мою прозакладаю, что она выйдетъ замужъ за этого офицера, который по вечеринкамъ то около нея изволить ухаживать. А что онъ за человекъ такой? Кто его знаетъ?... Чай, какая-нибудь голь безпомѣстная, а можетъ статься и холопскій сынъ. Вѣдь нынче не узнаешь, и коли отдаешь въ солдаты парня попроворнѣе, такъ кланяйся ему въ поясъ: «будешь, дескать, батюшка, во времени, о насъ, грѣшныхъ вспоминай!»

— Нѣтъ, Лаврентій Никитичъ! — прервалъ съ жаромъ Прокудинъ, я еще изъ ума не выжилъ, и хоть Ольга не дочь моя родная, а изъ послушанія моего не выступить. Пока я живъ, не бывать ей замужемъ за какимъ-нибудь прындикомъ въ кургузомъ кафтанишкѣ, да съ бритою бородою. Я хочу жить съ племянникомъ въ ладу, а съ заморскимъ цеголемъ и полунѣмцемъ у меня никогда ладу не будетъ.

— Такъ то говоришь, любезный, а все до поры до времени. Вѣдь этотъ молодецъ, говорятъ, въ большой милости у Александра Даниловича Меншикова, а можетъ статься и самъ Государь его жалуешь.

— Этимъ, Лаврентій Никитичъ, меня не прельстишь.

— Знаю, другъ сердечный, знаю! Да если самъ Государь Петръ Алексѣевичъ возьмется за это дѣло? Вѣдь онъ ужъ много этанкихъ бобылей пережениль.

— А что ты думаешь?... Чего добраго!... Мнѣ сказывали, что онъ за крестника своего, какого то черномазаго арапа, сирѣчь мурина, высваталъ знатную и богатую невѣсту.

— Вотъ то-то-же! Ну, коли онъ самъ, нашъ батюшка, пожалуетъ къ тебѣ сватомъ?...

— Сохрани Господи!

— Что ты тогда скажешь, а?...

— Вѣстимо что: его царская воля!

— Вотъ то-то и есть. Эй, послушайся меня, выдавай скорѣй племянницу замужъ! У этихъ гвардейскихъ офицеровъ, а пуще у царскихъ деньщиковъ, чутье хорошее, — какъ разъ провѣдаютъ о богатой невѣстѣ, да тамъ и бухъ

Царю въ ноги; а ему то, нашему батюшкѣ, то и съ руки. Поди ка, жалуй всѣхъ за службу помѣстьями!... А тутъ что? Сосваталь, да жениль на богатой дввицѣ—вотъ тебѣ голубчикъ, и помѣстье!

— Правда, правда, любезный,—дѣло статочное!...

— Да и гдѣ ты найдешь лучше жениха для твоей Ольги Дмитріевны? Князь Шелешпанскій роду знаменитаго, богатъ, парень добрый,—онъ ее на рукахъ станетъ носить; да и къ тому жъ одинъ какъ перстъ; у племянницы твоей ни свекра, ни свекрови не будетъ,—кланяться некому; лишь только отъ вѣнца, такъ и хозяйка въ дому, барыня!...

— Такъ, такъ!

— Князь Андрей станетъ почитать тебя какъ отца роднаго. Ступай ка, любезный, породнись съ какимъ-нибудь нынѣшнимъ молодчикомъ, такъ онъ тебѣ и слова не дастъ вымолвить; а этотъ зятекъ умничать не будетъ: что ты скажешь, то и свято.

Прокудинъ приадумался.

— Ну что, Максимъ Петровичъ,—продолжалъ Роко-товъ,—помолчавъ нѣсколько времени,—по рукамъ что-ль?

— По мнѣ пожалуй!—отвѣчалъ Прокудинъ.—Ты такъ расхваливаешь своего жениха... а я тебѣ, другъ сердечный, вѣрю. Неужли ты захочешь погубить мою племянницу?

— Сохрани Господи?

— Вотъ то-то и есть!... Я боюсь только, чтобъ она не заартачилась.

— Вѣстимо дѣло, если ты скажешь ей объ этомъ теперь. Здѣсь она изволить забавляться, по асамблеямъ раз-бѣжать, около нея ухаживаютъ всякіе молодчики... Ну, конечно, это веселѣе, чѣмъ выйти замужъ, сидѣть дома, да хозяйничать. Ты прежде увези ее къ себѣ въ деревню. Вотъ какъ поживетъ съ тобой мѣсяцъ другой, такъ дурь то изъ головушки выйдетъ.

— Полно, выйдетъ ли? Вѣдь она ужъ теперь поизбаловалась: ей будетъ у меня скучно...

— Тѣмъ лучше, Максимъ Петровичъ; того то намъ и надо!... Коли ей скучно будетъ у тебя жить, такъ пой-детъ охотой замужъ. Отъ веселья веселья не ищутъ, а отъ скуки-то иногда и въ петлю полѣзешь. Я здѣсь улажу все дѣло съ княземъ, ты ей аскжешь, что слово далъ, а тамъ, на Оминой недѣлѣ, я прикачу къ тебѣ съ женихомъ, остановлюсь съ нимъ на селѣ; ты свою невѣсту снарядишь.

отвезешь въ церковь, мы ее примемъ, да и подь вѣнецъ!... Ну что головой покачиваешь? Конечно такъ.

— А если она заупрямится?

— Что на это смотришь; ты все таки вези ее въ церковь.

— Учнетъ плакать...

— И, Максимъ Петровичъ, — двѣчи слезы — вода! Известное дѣло: всѣ невѣсты до вѣнца плачутъ, ужь это у нихъ такъ заведено. Да будь же благонадеженъ, все уладится какъ нельзя лучше, увези только отсюда племянницу.

— Ну, хорошо. Мы еще объ этомъ съ тобой потолкуемъ, — молвилъ Прокудинъ, вставая, а межъ тѣмъ прикажи ка заложить для меня сани, я поѣду къ сестрѣ. Да не худо бы также принарядиться: на мнѣ дорожное платье, а еще неравно у сестры гостей застанешь...

— А вотъ пожалуй со мною, — сказалъ Рокотовъ, — также вставая. — Я провожу тебя до твоей половины; изволь тамъ располагаться какъ у себя дома.

Теперь, пока Максимъ Петровичъ одѣвается, чтобъ ѣхать къ сестрѣ, мы можемъ предупредить его, то есть отправиться на Покровку, къ Аграфенѣ Петровнѣ Ханыковой. Въ то время Покровская улица была почти вся застроена княжескими и боярскими домами. Въ ней были дворы князей: Пронскихъ, Сицкихъ, Мосальскихъ, Волконскихъ, Мещерскихъ, Мордкиныхъ, Куракиныхъ, Лыковыхъ и многихъ другихъ. Не смотря на это аристократическое сосѣдство, домъ, въ которомъ жила Аграфена Петровна, вовсе не могъ назваться барскимъ. Этотъ небольшой, чистенькій домикъ, съ свѣтлыми окнами и красною черепичною кровлею, казался еще менѣе, но въ то же время и красивѣе оттого, что рядомъ съ нимъ стояли съ одной стороны огромныя уродливыя хоромы сибирскаго царевича Андрея Кучумова, а съ другой ветхія, обросшія мхомъ и запачканныя палаты князя Василя Тюменскаго. Въ одной изъ комнатъ этого скромнаго домика сидѣли за рукодѣльемъ Аграфена Петровна и племянница ея, Ольга Дмитріевна Запольская; онѣ обѣ обшивали кружевами атласное пунцовое фуру, въ которомъ Запольская была наканунѣ у Гутфеля.

— Ну, вотъ такъ и есть! — сказала Ханыкова, снимая съ пальца наперстокъ: ровнехонько полъяршина не достаешь... Дѣлать нечего! Ты думишь, Олинька, лавку, въ которой мы кружево покупали?

— Помню, тетушка.

— Так возьми съ собою мамушку Григорьевну, да Максимку на запятки и съѣзди въ городъ. Я возокъ давно ужъ велѣла заложить. Олинька, — промолвила Ханыкова, — вставая, — на ка тебѣ платье то... приподыми его кверху... вотъ такъ... Ну что, не правду ли я тебѣ говорила: со-всѣмъ другое стало?

— Да, тетушка; только цвѣтъ...

— И, полно, радость моя, что такое цвѣтъ!... Какъ будто бы у тебя двухъ алыхъ фуру быть не можетъ. Да ужъ повѣрь мнѣ, жизнь моя, никому и въ голову не придетъ, что ты была въ немъ на асамблеѣ у Гутфеля.

— А что, тетушка, завтра у Стрѣшневыхъ простая вечеринка или также асамблея?

— Асамблея, мой другъ.

— И много будетъ?

— Я думаю. Стрѣшнева вчера у Гутфеля звалъ къ себѣ всю молодежь.

— Такъ поэтому у него будетъ и Василій Михайловичъ?...

— Симскій?... Какъ же! Стрѣшнева при мнѣ его просилъ.

— Такъ онъ будетъ?... Какъ я рада!

— Что ты, что ты, матушка, перекрестись!

— А что, тетушка?

— Ну можно ли двѣцифъ такія рѣчи говорить! Хорошо, что мы однѣ, а коли ты этакъ при людяхъ промолвишься, вѣдь иной подумаетъ и Богъ вѣсть что! Симскій, конечно, молодецъ прекрасный и танцуетъ хорошо, а все таки тебѣ не слѣдъ радоваться, что ты съ нимъ увидишься у Стрѣшневыхъ.

— Я это, тетушка, сказала... такъ...

— Вотъ кабы онъ былъ твоимъ женихомъ, такъ это дѣло другое, тогда такая и мѣра; а теперь ты знай себя... Да что объ этомъ говорить!... Все это пустячки, мой другъ!.. Эти гвардейскіе офицеры любятъ только такъ... пошалберить, амурное словцо отпустить, а какіе они женихи!... Вѣдь они у насъ въ Москвѣ ни дать, ни взять перелетныя пташечки: сегодня здѣсь, а завтра и поминай какъ звали!.. Олинька, посмотри ка, мой другъ, кто это въѣхалъ къ намъ во дворъ?

— Не знаю, тетушка. Какой то господинъ, только я его никогда не видывала.

— Лицо какъ будто бы знакомое, а хоть убей—не знаю кто.

— Здравствуйте, матушка Аграфена Петровна! — сказалъ Данила Никифоровичъ Загоскинъ, входя въ комнату. — Не прогнѣвайтесь, что я вошелъ къ вамъ безъ доклада: у васъ въ передней никого нѣтъ. Да чтожь вы, Аграфена Петровна, изволите на меня такъ смотрѣть? И вы, сударыня Ольга Дмитриевна?... Иль не узнали стариннаго пріятеля?

— Возможно ли! — вскричала съ радостію Ханыкова. — Это вы, Данила Никифоровичъ?

— Я, матушка.

— Ахъ, какъ я рада! Насилу то вы за умъ взялись!

— А что, Аграфена Петровна, этакъ лучше?

— Какъ можно сравнить! Да вы теперь совсѣмъ другой человекъ.

— И жена говорить то же, да только не такъ.

— Привыкнетъ, Данила Никифоровичъ.

— Вѣстимо дѣло, привыкнетъ когда-нибудь. А знаете ли что, матушка: бороду я себѣ обрилъ, а вѣдь часомъ и мнѣ бываетъ ее жаль.

— И, полноте!

— Право такъ. Все какъ будто бы чего то не достаетъ. Я-жь ее, мою голубушку, такъ холилъ!... Ну, да что объ этомъ!... Не съ бородою жить, а съ добрыми людьми. Я пріѣхалъ къ вамъ, Аграфена Петровна, во-первыхъ ради того, чтобъ повидаться съ вами и съ вашею прелюбезною племянницею, а во-вторыхъ, матушка, — промолвилъ Данила Никифоровичъ вполголоса, — у меня до васъ и дѣльце есть.

— А что такое?

— Да мнѣ бы нужно объ этомъ съ глазу на глазъ поговорить съ вами.

— Извольте, батюшка, извольте! Олинька, ну что жъ ты въ городъ то не ѣдешь. Пора!... Ступай, мой другъ.

Когда Ольга Дмитриевна вышла изъ комнаты, Данила Никифоровичъ примѣтнымъ образомъ смутился; онъ началъ переминаться, кашлять и поглаживать рукою свой голый подбородокъ.

— Ну, вотъ мы теперь одни, — сказала Ханыкова, — извольте говорить.

— Охъ, сударыня моя! — промолвилъ Данила Никифоровичъ, — дѣло то мое непривычное... не знаю съ чего начать...

— Чтожъ это такое?

— Не бойтесь, матушка, страшнаго ничего нѣтъ. Вотъ изволите видѣть... какъ бы мнѣ вамъ сказать... ну, такъ и быть, — вѣдь въ старину всегда этимъ начинали... Матушка Аграфена Петровна, у васъ есть товаръ, а у насъ купецъ.

— Какъ, Данила Никифоровичъ, вы пріѣхали ко мнѣ сватомъ?

— Да, государыня, я пріѣхалъ сватать вашу племянницу, Ольгу Дмитріевну Запольскую.

— За кого?

— Есть у меня родной племянникъ, такой же сирота, какъ и ваша Ольга Дмитріевна: отца у него убили подъ Нарвою, а старушка мать скончалась въ запрошломъ году. Онъ человѣкъ съ достаткомъ, малый прекрасный, на хорошей дорогѣ, собой молодець... да что тутъ говорить: вы лично его изволите знать.

— Я его знаю? Да кто жъ онъ такой?

— Василий Михайловичъ Симскій.

— Симскій!... Такъ онъ вашъ племянникъ?

— Да, матушка, сынъ родной моей сестры, Авдотьи Никифоровны. Ну чтожъ, какихъ вы о немъ мыслей?

— Самыхъ хорошихъ, батюшка. Онъ молодець прекрасный, умный и, какъ мнѣ кажется, истинно достойный человѣкъ.

— Такъ поэтому племянникъ можетъ надѣяться?

— Вотъ это рѣчь иная, Данила Никифоровичъ: на это отвѣчать я ничего не могу. Объ этомъ извольте спросить у брата моего, Максима Петровича Прокудина, изъ воли котораго Оленька никакъ не выступить.

— Я знаю, матушка, что Ольга Дмитріевна выросла на рукахъ у вашего братца Максима Петровича и всеконечно должна во всемъ ему повиноваться, да неужели онъ обракуетъ такого жениха, какъ мой племянникъ?

— А Богъ вѣсть, Данила Никифоровичъ. Максимъ Петровичъ человѣкъ нравный, не очень долюбливаетъ нынѣшнюю молодежь, и коли онъ забралъ себѣ въ голову выдать племянницу за человѣка, который такъ же, какъ онъ, придерживается старины, бороды не брѣетъ и въ нѣмецкомъ платьѣ не ходитъ, такъ не прогнѣвайтесь!... Онъ любитъ Оленьку какъ дочь родную, да за то хочетъ, чтобъ и она его слушалась какъ отца роднаго.

— Ну, дѣлать нечего,—надобно будетъ скакать къ нему въ деревню. А вы ужь, Аграфена Петровна, сдѣлайте милость, скажите объ этомъ вашей племянницѣ.

— Что вы, Данила Никифоровичъ, стану я объ этомъ говорить Олинкѣ!... Коли дѣло пойдетъ на ладъ, успѣю сказать и тогда; а коли изъ этого ничего не выйдетъ, такъ лучше, чтобъ она вовсе не знала, что Василій Михайловичъ за нее сватался. Можетъ статья, онъ и теперь ей нравится, да это все не то: мало ли молодцевъ на свѣтѣ, обо всѣхъ плакать не станешь, а женихъ... сохрани Господи, да его вѣкъ не забудешь!

— Правда, матушка, правда!... Ну, дай Богъ вамъ здоровья, — разумный вы человекъ, Аграфена Петровна!... Да что и говорить: въ этихъ дѣлахъ нашъ братъ мужчина не токмо передъ вами, да и передъ всякою женщиной дуракъ дуракомъ!

Въ комнату вошелъ или, лучше сказать, вбѣжалъ слуга; онъ растворилъ настежь обѣ половинки дверей и проговорилъ торопливымъ голосомъ:

— Государыня Аграфена Петровна, Максимъ Петровичъ изволилъ пріѣхать!

Ханыкова вспыхнула; Данила Никифоровичъ также смутился.

— Здравствуй, сестра! — сказалъ Прокудинъ, входя въ комнату.

— Ахъ, батюшка братецъ! — вскричала Ханыкова, кидаясь на шею къ Максиму Петровичу. Вотъ ужь я никакъ не ожидала...

— Я думаю, что не ожидала, — молвилъ Прокудинъ, взглянувъ изъ подлобья на Данилу Никифоровича.

— Что, матушка, видно не въ пору гость хуже татарина?

— Ахъ, братецъ, боитесь ли вы Бога? Ну можно ли этакъ шутить!... Какъ жаль, что Олинки нѣтъ дома: она поѣхала съ мамушкой въ городъ кой что себѣ купить, — сейчасъ воротится.

— Здорово, другъ сердечный! — сказалъ Данила Никифоровичъ, подходя къ Прокудину. Ну что ты на меня смотришь?

— Да вотъ гляжу, батюшка! откуда Господь шлетъ мнѣ такого сердечнаго друга?

— Скажи пожалуйста!... Такъ ты по голосу то меня не узнаешь?



— Господи, Господи! — вскричалъ съ ужасомъ Прокудинъ. Данила Никифоровичъ!

— Да, любезный, это я...

— Ты?... Да, нѣтъ, нѣтъ, — это демонское навожденіе!... Въ этомъ нѣмецкомъ кафтанѣ... съ бритою бородою!... Фу, батюшки, въ глазахъ позеленѣло, ноги подкосились! — прибавилъ шопотомъ Максимъ Петровичъ, опускаясь въ кресла, которыя ему пододвинула Аграфена Петровна.

— И, любезный! — сказала, садясь подлѣ него, Данила Никифоровичъ, есть отъ чего ногамъ подкоситься!

— Ну, — промолвилъ Максимъ Петровичъ, — этого то ужъ я никакъ не ожидалъ!... До меня слухи дошли, что сестра водить хлѣбъ соль съ нѣмцами и что они, проклятые, каждый день къ ней таскаются. Ну, такъ и есть, подумалъ я, вотъ ужъ одинъ нѣмецъ на лицо! Нѣмецъ!... Данила Никифоровичъ!!

— Эхъ, полно, Максимъ Петровичъ! Ну, что въ самомъ дѣлѣ: погнѣвался, пожурилъ, да и будетъ!

— А что, старинный другъ и пріятель, — продолжалъ Прокудинъ, скажи ка мнѣ по совѣсти... О, Господи, и спросить то страшно... Да ужъ такъ и быть — рѣжь однимъ разомъ!... Что ты, Данила Никифоровичъ, вѣру перемѣнилъ?

— Вѣру?... Что ты, что ты, перекрестись!

— Такъ еще не перемѣнилъ? Слава тебѣ Господи!

— Помилуй, съ чего ты взялъ?...

— Съ чего! Да не погнѣвайся, коли нашъ братъ, старикъ, безъ всякаго принужденія, а по своей собственной охотѣ пойдетъ на такое дѣло, такъ поневолѣ подумаешь, что ему въ нѣмецкую кирку захотѣлось.

— Эхъ, любезный!... Ну какъ тебѣ не совѣстно, человеку умному, такія рѣчи говорить? Да неужели по твоему вся сила православія въ нашей бородѣ? И коли я, по какимъ ли есть причинамъ...

— Такъ сдѣлай милость, — подхватилъ Прокудинъ, скажи мнѣ, ради чего ты изволилъ оскоблить свою бороду?

— Изволь, скажу. Не знаю, захочешь ли ты понять меня, а коли захочешь, такъ поймешь. Господь Богъ послалъ намъ такого Царя, какого еще до сихъ поръ нигдѣ не бывало. На войнѣ — Александръ Македонскій, на судѣ — премудрый Соломонъ; въ чужихъ краяхъ — простой работникъ, поденщикъ, ради того, чтобъ перенять все хорошее и извѣдать, не по рассказамъ, а на себѣ самомъ, что при-

годно и полезно для нашей матушки святой Руси; дома у себя — хозяинъ, да еще какой! Ему нужды нѣтъ, что онъ трудится въ потѣ лица и сѣтъ то, что пожнутъ другіе: «Я, дескать, умру, но Русь то святая не умретъ; теперь можетъ быть на меня стануть досадовать, роптать, да зато внучата спасибо скажутъ». Ты себѣ, Максимъ Петровичъ, какъ хочешь ухмыляйся, покачивай головою, а я все-таки буду говорить одно. Какъ свята Господь, такъ правда то, что нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ ничего не дѣлаетъ ради только одной прихоти иди своей забавы, а если иное кажется намъ непонятнымъ, такъ это потому, что мы какъ дѣти: ихъ учать складамъ, а они думаютъ про себя: «Ради чего это заставляютъ насъ твердить: буки азъ — ба, вѣди азъ — ва, что, дескать, это такое?» Ради того, дѣточки, чтобъ вы грамоту знали; вотъ какъ станете сами читать, такъ и поймете тогда, зачѣмъ васъ складамъ учили.

— Вотъ подлинно—вѣкъ живи, вѣкъ учись!—прервалъ Прокудинъ. Недавно одинъ премудрый молокососъ толковалъ мнѣ, что нѣмцы солдаты, а мы русскіе новобранцы; теперь ты мнѣ изволишь говорить, что мы всѣ, старики, безграмотные ребятишки, и что насъ, дураковъ, складамъ учать... Спасибо, любезный!

— Да это я говорю такъ, Максимъ Петровичъ, на прикладъ...

— И нечего сказать, — красно говоришь. А все-таки я не знаю...

*Зачѣмъ я бороду обрилъ?*  
Зачѣмъ я бороду обрилъ? А вотъ послушай. На прошлой недѣлѣ завернулъ ко мнѣ пріятель, Иванъ Андреевичъ Бухвостовъ и рассказалъ, что было при немъ въ Воронежѣ, когда Государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ тамъ находиться. Въ самый день Свѣтлаго Воскресенья Александръ Даниловичъ Меншиковъ обрилъ всѣмъ магистратскимъ членамъ бороды и одѣлъ ихъ въ нѣмецкое платье. Въ соборѣ, у заутрени, Государь, увидя ихъ въ этомъ нарядѣ, такъ обрадовался, что съ ними первыми похристосовался, благодарилъ, что они его для такого великаго праздника порадовали, пригласилъ къ своему столу, пилъ за ихъ здоровье и во весь тотъ день былъ такъ веселъ, что и сказать нельзя. Вотъ и пошло у меня бродить въ головѣ; думаю про себя: «Что это Государю нашему такъ полюбилось нѣмецкое платье?» Думаль, думаль, да вотъ что мнѣ пришло на мысль: хоть я не вѣдаю, почему нашъ премудрый Го-

сударь желаетъ, чтобъ мы всё одѣвались по иноземному, а ужь вѣрно тутъ что-нибудь да есть! Не сталъ бы онъ такъ налегать на это, кабы тутъ не было никакой пользы. Я старъ, живу на покоѣ, ни на что ему не пригоденъ, такъ дай же я ему, нашему батюшкѣ, хоть этимъ послужу. Авось, глядя на меня, и другіе тѣмъ же его потѣшутъ. Вотъ я заказалъ себѣ нѣмецкое платье, а какъ мнѣ вчера его принесли, такъ послалъ за цирюльникомъ, да и отмахнулъ себѣ бороду. Ну, понимаешь ли теперь, для чего я—твоими же словами скажу—оскобилъ себѣ бородку?

— Понимаю, любезный! Ты увѣренъ и не сомнѣваешься, что Государь Петръ Алексѣевичъ знаетъ лучше всякаго, что для насъ пригодно и полезно, и что онъ, какъ истинный Царь Русскій, любитъ свой народъ паче всего на свѣтѣ...

— Да, видитъ Богъ, я это думаю.

— Хорошо, любезный. Ну, а еслибъ ты думалъ со всѣмъ другое? Если бы ты вѣрилъ и не сомнѣвался, что Государь Петръ Алексѣевичъ, попущеніемъ Божиимъ и въ наказаніе за тяжкіе грѣхи наши, предался вовсе нѣмецкой прелести и любитъ не свой православный народъ, а нѣмцевъ, голландцевъ и всякихъ другихъ еретиковъ, которые теперь словно саранча обѣли всю землю Русскую, такъ и ты бы, Данила Никифоровичъ, такъ же, какъ я, сталъ чтить Государя Петра Алексѣевича, какъ помазанника Божія и повиноваться безпрекословно его царскимъ указамъ, но ужь вѣрно ты для его потѣхи не нарядился бы какимъ-нибудь заморскимъ шутомъ и не сталъ бы кланяться въ поясъ всякому нѣмецкому колбаснику потому только, что онъ нѣмецъ.

— Да помилуй, Максимъ Петровичъ, съ чего ты взялъ, что Государь Петръ Алексѣевичъ больше любитъ нѣмцевъ, чѣмъ насъ?

— А коли нѣтъ, такъ зачѣмъ же онъ, нашъ батюшка, имя то свое, говорятъ, подписываетъ по иноземному и новый городъ свой назвалъ по нѣмецки и насъ всѣхъ нѣмцами подѣлать хочетъ?... Да что объ этомъ говорить: коли Господь Богъ наслалъ казнь, такъ молчи и покоряйся.

— И то правда, другъ сердечный, что объ этомъ толковать! По твоему это гнѣвъ небесный, а по моему Божье милосердіе, такъ мы во вѣки вѣковъ съ тобой не поладимъ. Давай-ка лучше побесѣдуемъ кой о чемъ другомъ, любез-

ный, а намъ есть о чемъ поговорить. Знаешь ли что, Максимъ Петровичъ? Вѣдь я собирался къ тебѣ въ деревню!...

— Милости просимъ!

— У меня есть до тебя дѣло и дѣло не шуточное; я сейчасъ объ этомъ говорилъ съ Аграфеной Петровной. Племянникъ мой, Василій Михайловичъ Симскій, мѣсяца два тому назадъ познакомился здѣсь въ Москвѣ съ твоею сестрицею и съ Ольгою Дмитриевною...

— Познакомился!... И вѣрно на вечеринкѣ или, по вашему, на асамблеѣ у этого... Сестра, какъ бишь зовутъ твоего пріятеля то?...

— Какого пріятеля, братецъ?

— Ну, вотъ этого нѣмца, у котораго ты вчера съ аптекаремъ плясала.

— У Адама Ѳомича Гутфеля?— прервалъ Данила Никифоровичъ.— Да, любезный, мой племянникъ бывалъ у него на вечеринкахъ вмѣстѣ съ твоею сестрицею и племянницею... Да ты ужь не думаешь ли, что этотъ Гутфель какой-нибудь булочникъ?... Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, онъ человекъ именитый, къ нему самъ Государь извольтъ жаловать...

— Какъ не жаловать!... Вѣдь онъ нѣмецъ.

— Что нѣмецъ!... Нѣмцевъ много. Адамъ Ѳомичъ и человекъ хорошій и живетъ баринкомъ. Онъ здѣсь у всѣхъ въ большомъ почетѣ...

— Еще бы!... Дѣлать то нечего, станешь почитать и татарина, коли онъ тебѣ господинъ!... Такъ твой племянникъ познакомился съ моею племянницею у этого Гутфеля?.. Знаю, знаю!... Вѣдь онъ, сирѣчь твой племянникъ, какъ по вашему то,—фенрикъ что-ль?...

— А вотъ, Богъ дастъ, скоро и подпоручикомъ будетъ.

— Такъ, такъ!

— Онъ третьяго дня ночевалъ у тебя въ деревнѣ.

— Ночевалъ, любезный.

— Ну что, какъ онъ тебѣ кажется?

— Молодецъ прекрасный!

— Такъ онъ тебѣ приглянулся?

— Какъ-же!

— А что, другъ сердечный, если-бъ онъ посватался за твою племянницу Ольгу Дмитриевну!...

— Такъ я долго не сталъ бы его маять, а тотчасъ бы сказалъ: этому не бывать.

- Какъ не бывать?..
- Да такъ!...
- Фу, батюшки,—какъ дубиной по лбу!
- Не прогнѣвайся!
- Да ты хоть подумай, Максимъ Петровичъ: Симскій роду хорошаго...
- Знаю, знаю! Его батюшка былъ казанскимъ воеводою.
- Человѣкъ богатый .
- И это знаю.
- Такъ почему-жь?...
- Долго рассказывать, Данила Никифоровичъ; да и на что? Ты спросилъ, я отвѣчалъ,—чего-жь еще тебѣ?
- Батюшка братецъ! — промолвила робкимъ голосомъ Ханыкова.
- Не твое дѣло, матушка! Покойная сестра, умирая, сдала мнѣ съ рукъ на руки свою дочь, завѣщала воспитать ее во всякомъ благочестіи и страхѣ Божиємъ, беречь и любить какъ родное свое дѣтище. Что будешь дѣлать, согрѣшилъ я передъ покойницей: не вполнѣ соблюлъ ея приказаніе... Да Богъ милостивъ, — это еще дѣло поправное... Теперь ужь я съ ней ни за что не разстанусь...
- Какъ, братецъ, — вскричала Ханыкова, вы хотите Оленьку увезти въ деревню?...
- Я затѣмъ и пріѣхалъ, матушка.
- Такъ моему племяннику нечего и надѣяться?—проговорилъ Данила Никифоровичъ, вставая.
- Зачѣмъ не надѣяться,—сказалъ Прокудинъ:—Богъ въ животѣ воленъ, а я человѣкъ смертный.
- Эка упрямая башка!—прошепталъ Загоскинъ.—Прощай, старинный пріятель! — промолвилъ онъ, выходя вонъ изъ комнаты.—Нечего сказать, потѣшилъ ты меня!
- Ничего, любезный,—прервалъ Максимъ Петровичъ,—это дѣло обоюдное: мы, кажется, оба другъ друга потѣшили. До свиданья!

### VIII.

— Да полно, Василій, кручиниться! И вчера ты цѣлый день прогоревалъ и сегодня словно въ воду опущенный!... Что, въ самомъ дѣлѣ, иль про тебя одна только невѣста и

была Ольга Дмитріевна Запольская? Ну, конечно, она дѣвица хорошая, да, Богъ милостивъ, найдемъ и почище ея.

Такъ говорилъ Данила Никифоровичъ, утѣшая Симскаго, которому онъ наканунѣ объявилъ о своей неудачной попыткѣ.

— У насъ въ Москвѣ, — продолжалъ Данила Никифоровичъ, — чего другаго, а невѣстами то хоть прудъ пруди! — Вотъ покажѣсть ты будешь въ походѣ подъ туркомъ, мы постараемся, похлопочемъ, да такую прищемъ тебѣ невѣсту, какой ты и во снѣ не видывалъ. Не правда ли, жена?

— Ужъ конечно, батюшка, не чета будетъ этой вертушкѣ Запольской, — отвѣчала Марѣя Саввишна. — И что тебѣ, Васенька, понравилось въ этой дѣвчкѣ? Ну какая она будетъ хозяйка? Ей бы только вырядиться заморскою куклою, поплясать, да передъ молодежью покобениться...

— Нѣтъ, тетушка, — прервалъ Симскій, — напрасно вы это изволите говорить. Ольга Дмитріевна дѣвица скромная и по своему отличному мериту зѣло достойна всякаго эстиму.

— Да ты какъ хочешь ее по нѣмецки то хвали, а все-таки она немного лучше своей тетушки! Да ужъ Аграфена Петровна... объ ней что и говорить — отмѣнный соболь!... Ни стыда, ни совѣсти...

— И полно, Марѣя Саввишна! — прервалъ Данила Никифоровичъ. — Ну за что ты ее такъ позоришь?... Что она тебѣ сдѣлала?

— Виновата, батюшка Данила Никифоровичъ, — согрѣшила!... А, воля твоя, правду всегда скажу.

— И вы увѣрены, дялюшка, — сказалъ Симскій, — что Максима Петровича нельзя никакъ умилостивить?

— Куда умилостивить!... Приступу нѣтъ; такъ съ дуба и рветъ!... «Не бывать этому!» да и только!

— Ну, видно, ужъ такое мое счастье!...

— Полно, братъ Василій! Ты еще молодъ, твое счастье впереди.

— Ахъ, дялюшка, кабы вы знали, какъ мнѣ грустно!... Я и самъ не думалъ, что такъ люблю Ольгу Дмитріевну... Нѣтъ, уѣду поскорѣй, догоню мой полкъ, стану драться съ турками... быть можетъ, положу голову за святую Русь...

— Что ты, мой другъ! — вскричала Марѣя Саввишна. — Христось съ тобой!... Ну, какъ ты въ самомъ дѣлѣ себѣ напророчишь...

— Такъ чтожь, тетушка? Я сирота, обо мнѣ плакать некому.

— Спасибо, племянникъ! — прервалъ Данила Никифоровичъ. — А мы то тебѣ посторонніе что-ль? Полно, братъ, выкинь эту дурь изъ головы! Пойдемъ-ка лучше позавтракать; у меня есть завѣтная бутылочка фряжскаго винца; выпьемъ чарки по двѣ, такъ авось у тебя на сердцѣ то будетъ повеселѣе.

— Нѣтъ, дядюшка, у меня голова и безъ этого горить. Пойду лучше пройдуся пѣшкомъ.

— Ну, ступай, мой другъ. Да смотри же, приходи къ обѣду.

— Приду, дялюшка.

Симскій накинулъ свой форменный плащъ и, сойдя со двора, повернулъ внизъ по Знаменкѣ къ Кремлю. День былъ ясный, погода теплая, разумѣется, по зимнему; самый умѣренный морозецъ, безъ вѣтру, не допускалъ только портиться санному пути и придавалъ воздуху какую то особенную легкость и живительную прохладу. Всѣ жители Москвы справляли масленицу, то есть веселились, гуляли и катались по улицамъ. На каждомъ шагу встрѣчались съ Симскимъ разодѣтыя въ пухъ слободскія дѣвки, посадскія бабы, городскіе мѣщане, и мужички подъ хмелькомъ, которые, обнявшись другъ съ другомъ и пошатываясь изъ стороны въ сторону, *растабарывали и гуторили* межъ собою. Тутъ цѣлая гурьба веселыхъ горожанокъ шла по срединѣ улицы и пѣла, немного на разладъ, но зато во все горло, плясовую пѣсню, подъ которую разбитной дѣтина, медленно подвигаясь передъ толпою, разстилался въ присядку. Подлѣ питейнаго дома лихіе пѣсенники, окруживъ самоучку-музыканта, отпускающаго удивительныя трели на берестовомъ рожкѣ, заливались въ удалой бурлацкой пѣснѣ: «внизъ по матушкѣ по Волгѣ». Тутъ же, въ одномъ уголку, народъ умиралъ со смѣху, глядя на медвѣдя, который плясалъ съ козю, и нѣсколько шаговъ подалѣе толпился вокругъ лубочнаго балагана, въ которомъ заморскій *знахарь* глоталъ огромные камни, дышалъ огнемъ и жупедомъ, ѣлъ хлопчатую бумагу и дѣлалъ разныя другія бѣсовскія штуки. Мимо Симскаго, въ широкихъ пошевняхъ, покрытыхъ коврами, и расписныхъ саняхъ, мелькали поминутно московскія барыни, богатая купчихи и гости иноземныя; то проѣзжалъ рысцою обитый полинялымъ сукномъ рыдванъ на

полозкахъ, изъ котораго выглядывали набѣленные старухи въ собольихъ шапочкахъ; то вдругъ, какъ птица, пролеталъ мимо всѣхъ разгульный молодецъ на борзомъ казанскомъ иноходцѣ; однимъ словомъ, всѣ веселились, гуляли, и Симскому отъ этого стало еще грустнѣе. Чтобъ не смотреть на эти забавы, въ которыхъ онъ не могъ и не хотѣлъ принимать никакого участія, Симскій, пройдя нѣсколько шаговъ по Неглинной, повернулъ Троицкими воротами въ Кремль. Въ то самое время, какъ онъ, пробираясь къ соборамъ, миновалъ дворецъ Бориса Годунова, съ нимъ повстрѣчались парныя сани, и кто то проговорилъ громкимъ голосомъ:

— Здравствуй, Василій Михайловичъ!

Симскій остановился; изъ саней выскочилъ молодой гвардейскій офицеръ и бросился къ нему на шею.

— Мамоновъ!—вскричалъ Симскій, обнимая своего однополчанина.—Вотъ ужъ никакъ не ожидалъ! Я думалъ, что ты при полку.

— Нѣтъ, мой другъ, я здѣсь въ откомандировкѣ. А ты какими судьбами?...

— Меня отпустили на недѣлку повидаться съ родными.

— Такъ ты не долго здѣсь пробудешь?

— Еще денька два или три.

— А потомъ?

— Отправляюсь догонять полкъ.

— Счастливыи человѣкъ!... Да садитесь-ка, братъ, въ сани; поѣдемъ ко мнѣ. Я живу близехонько, на Варваркѣ, въ домѣ дяди моего, Степана Ивановича Шеина.

Симскій сѣлъ въ сани къ Мамонову. Черезъ нѣсколько минутъ они вѣхали во дворъ и остановились у небольшого кирпичнаго домика, вовсе не затѣливой наружности.

— Вотъ, какъ видишь, Василій Михайловичъ,—сказалъ Мамоновъ, вылѣзая изъ саней:—палаты небольшія, да зато въ нихъ тепло, и я живу одинъ-одинехонекъ. Милости просимъ!

Когда они вошли въ сѣни, имъ послышались въ передней комнатѣ голоса; казалось, о чемъ то спорили:

— Да погоди, тетка, сейчасъ вернется! — говорилъ кто то басомъ.

— Чего годить!—раздался въ отвѣтъ пискливый голосъ.— Что мнѣ до вечеренъ что-ль у васъ дожидаться?

— Ну, такъ и есть! — сказалъ Мамоновъ, входя въ переднюю:—это Игнатъевна. Здравствуй, голубушка!



— Здравствуй, мой соколъ ясный! — пропищала, кланяясь въ поясъ, пожилая женщина въ штофной шубейкѣ и бархатной, опушенной куницею, шапочкѣ. Ужь я тебя ждала, ждала!...

— Такъ подожди еще немножко, мы съ тобою поговоримъ.

— Охъ, кормилецъ ты мой, часочки то у меня счетныя! Мнѣ еще надобно побывать у Спаса на Чигасахъ, а оттуда къ Харитонию въ Огородникахъ; не задержи меня, батюшка!

— Небось, Игнатъевна, не задержу.

Мамоновъ и Симскій отдали денщику свои плащи и, пройдя чрезъ столовую комнату и небольшую гостиную, вошли въ угольный покой, въ которомъ стояло нѣсколько стульевъ, большой шкапъ, рѣзной дубовый столъ и кровать съ бѣлымъ пологомъ.

— Садись, любезный! — сказалъ Мамоновъ, снимая съ себя трехцвѣтную шелковую перевязь, которая была у него надѣта по мундиру.

— Ого, да ты въ полномъ парадѣ, — сказалъ Симскій: — шарфъ черезъ плечо.

— Какъ-же, Василій Михайловичъ: я былъ въ сенатѣ; мнѣ тамъ читали царскій указъ.

— Указъ? О чемъ?

— А вотъ, изволишь видѣть: у насъ теперь война съ туркомъ, и велѣно забирать на службу всѣхъ взрослыхъ недорослей изъ дворянъ, неслужащихъ новиковъ и всякихъ разночинцевъ, которые еще молоды и здоровы, а подъ разными предлогами отбываютъ отъ царской службы и проживаютъ въ Москвѣ. Вотъ какъ пошелъ переборъ, такъ всѣ эти тунеядцы, которымъ бы только на боку лежать, да ничего не дѣлать, и бросились вонъ изъ Москвы, кто куда попалъ. Меня для этого и прикомандировали къ сенату, чтобъ я ихъ вездѣ отыскивалъ, хваталъ и представлялъ на службу; объ этомъ мнѣ и указъ сегодня читали. Эхъ, Симскій, счастливъ ты: будешь драться съ турками, станешь бить этихъ басурмановъ, въ плѣнъ брать, а я... Правда, и я буду брать въ плѣнъ матушкиныхъ сынковъ, сорокалѣтнихъ недорослей и этихъ мироѣдовъ, которые называютъ себя дворянами, а дворянской службы нести не хотятъ. Да какая мнѣ будетъ отъ этого сатисфакція? Въдъ ужъ тутъ доброю манирою не кончишь. Хлопотъ не обе-

решься, брани также. Всѣ московскія барыни, а пуще барышни, закидаютъ меня камнями... Ну, нечего сказать, вынулъя мнѣ жеребьекъ!... Добро бы еще оставили меня въ Санктпетербургѣ, а то живи здѣсь—въ этомъ захоlustьѣ.

— Вотъ какъ!... Такъ ты называешь Москву захоlustьемъ?

— А какъ-же прикажешь ее назвать? Неужели такую же резиденцію, какъ нашъ Санктпетербургъ? Нѣтъ, любезный: кто привыкъ обходиться съ людьми эдокованными и понасмотрѣлся иноземныхъ обычаевъ, тому здѣсь какое житье? Такъ ли веселятся и проводятъ время въ нашей резиденціи!... Конечно, и здѣсь бываютъ асамблеи,—да только курамъ на смѣхъ. Вѣдь почитай всѣ московскія дамы, ни дать, ни взять, — шарманъ-катеринки: заведутъ ихъ, онѣ какъ будто живыя, танцуютъ; не заведутъ — такъ просто сидятъ какъ разряженныя куклы. А что за кавалеры!... Посмотришь, иной одѣтъ какъ челоувѣкъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, въ парикѣ, подыметъ даму какъ слѣдуетъ, а примется танцовать — фу, батюшки!... Въ какія позытуры становится, что за ухватки!... Такъ и смотришь, сейчасъ пойдетъ въ присядку!... Заведешь съ нимъ какую-нибудь конверсацію, онъ выпучитъ глаза, слушаетъ и не понимаетъ самыхъ обыкновенныхъ рѣчей. Да что и говорить,—въ Москвѣ не токмо народъ ординарный, но даже люди принципиальные только бороды себѣ выбрили, а рожи то у нихъ все немытыя! Нѣтъ, Василій Михайловичъ, наша резиденція не то!

— Ну, конечно, Андрей Степановичъ; однакожъ и Москва...

— Что Москва?... Москва просто русскій городъ.

— А развѣ нашъ Санктпетербургъ городъ не русскій?

— Нѣтъ, любезный, извини!... Санктпетербургъ городъ нѣмецкій, — знаешь, этакъ... какъ бы тебѣ сказать?... Европа!... А здѣсь что? И люди, и дома, и обхождение, все на русскую старинную стать. Здѣсь, братъ, и съ деньгами пропадешь: ничего нѣтъ порядочнаго. Пива хорошаго не отыщешь, изряднаго голландскаго сыру не спрашивай, ужь о добромъ гамбургскомъ кнастерѣ или старомъ францвейнѣ и не заикайся. Деревня, братецъ, деревня!

— Хороша деревенька!

— Велика!... Да что въ этомъ толку?... Знаешь пословицу...

— Полно, Мамоновъ! Ты поворишь Москву, потому что тебѣ скучно, а скучно оттого, что ты въ ней никогда не живаль.

— И дай, Господи, никогда не жить! Знаешь ли, Василій Михайловичъ, чѣмъ я отвожу себѣ душу?... Одна только забава и есть!... Ты видѣлъ въ передней старуху?

— Видѣлъ. Кто она такая?

— Самая знаменитая московская сваха, Ѳедосья Игнатьевна, по прозванію Перепекина.

— Сваха? Да развѣ ты хочешь жениться?

— И не думаю... Ну, братъ, видно, здѣсь въ Москвѣ залежалыхъ то невѣсть довольно. Недѣли двѣ тому назадъ, Игнатьевна явилась ко мнѣ отъ какой то вдовушки, которая видѣла меня у Гутфеля, и съ тѣхъ поръ отбою нѣтъ: что день, то новая невѣста.

— И это тебя забавляетъ?

— А какъ же! Во первыхъ, каждый день смотрѣть: то въ томъ приходѣ, то въ другомъ. Я, разумѣется, всегда невѣсту обракую, Игнатьевна разгнѣвается; я начну ее поддразнивать, она примется меня ругать, — потѣха да и только!... А сверхъ того, если я проживу здѣсь мѣсяца три или четыре, такъ ужъ вѣрно всѣхъ московскихъ невѣсть по одиночкѣ переберу; коли самъ не женюсь, услужу пріятелю. Да не хочешь ли, Симскій, я тебѣ какъ разъ невѣсту найду?

— Нѣтъ, мой другъ, моя невѣста не здѣсь.

— А гдѣ же?

— Да Богъ знаетъ. Можетъ быть въ чистомъ полѣ, а можетъ статься и подъ какою-нибудь турецкою фортеціею: булатная сабля, свинцовая пуля, чугунное ядро — вотъ мои невѣсты, Мамоновъ; другихъ суженыхъ у меня не будетъ.

— И, полно, братецъ, — живой живое и думаетъ. Да что это съ тобой сдѣлалось?... Ты въ самомъ дѣлѣ грустенъ... Что ты, любезный, съ похоронъ что-ль?

— Такъ, ничего... пройдетъ!

— А вотъ постой, я тебя развеселю, — сказалъ Мамоновъ, отворяя дверь въ гостиную.

— Ѳедосья Игнатьевна, — закричалъ онъ, — милости просимъ сюда!

Игнатьевна вошла въ комнату, перекрестилась на икону и поклонилась низехонько хозяину и гостю.

— Садись-ка, любезная, къ намъ поближе,—продолжалъ Мамоновъ, указывая ей на порожній стулъ.

— Присяду, батюшка, присяду! — молвила Игнатъевна садясь.— Не прогнѣвайся,—бѣды то у меня много, а коней всего одна безсмѣнная пара, да и та ужъ старенька, шестой десятокъ служить.

— Ну чтожь, Ѳедосья Игнатъевна, поговоримъ-ка о дѣлѣ.

— Да какъ же это, кормилецъ: у тебя гость?

— Ничего; это мой задушевный другъ: при немъ все можно говорить.

— Такъ, батюшка, такъ!... Ну что, сударь, ты вчера, какъ обѣдня отошла у Николы въ Пыжахъ, изволилъ быть на паперти?

— Какъ же! Вѣдь ты меня видѣла?

— А видѣлъ ли ты, мой соколъ ясный, барышню, съ которою я шла рука объ руку?

— Чтожь, эта барышня та самая невѣста, о которой ты мнѣ говорила?

— Да, батюшка, да!

— Видѣлъ.

— Что, мое красное солнышко, правду ли я тебѣ сказала—красавица!

— Кто?... Эта барышня? Эхъ, Ѳедосья Игнатъевна, ну не грѣшно ли тебѣ такъ людей морочить? Что она за красавица?... Набѣлена, наругана...

— Безъ этого нельзя, сударь: дѣло дѣвичье... Да она и такъ, Богъ съ нею, такая бѣлолица, румяная, что и сказать нельзя!

— Носъ въ полъ-аршина.

— Ужь и въ полъ-аршина!... Что ты, кормилецъ!... Носъ какъ носъ, поменьше твоего будетъ.

— Я, Игнатъевна, дѣло другое: я мужчина и человекъ рослый, а она дѣвица и собой то больно невеличка.

— А чтожь тебѣ, батюшка, Сухареву башню что-ль?

— Да, воля твоя, Игнатъевна, по мнѣ лучше Сухарева башня, чѣмъ этакій недоростокъ. Я жену въ карманѣ носить не хочу.

— Въ карманѣ? Не упрячешь, батюшка!

— Она же, кажется, на лѣвую ножку изволилъ прихрамывать.

— Прихрамывать? Что ты, батюшка, перекрестись!

— И глазки то у нея... не прогнѣвайся, любезная...

— Что глазки?..

— Да такъ,—немножко врозь посматриваютъ.

— Что, что?... Такъ она, по твоему, коса?

— Есть грѣшочекъ, Игнатъевна.

— Коса?!... Да что ты, сударь, вчера до обѣдни то не хлебнула ли?

— Двухъ переднихъ зубковъ, кажется, нѣтъ.

— Тѣфу ты, окаянный этакій!—вскричала старуха, вскочивъ со стула. Да что-жъ ты, въ самомъ дѣлѣ, всѣхъ моихъ невѣсть цыганишь; что я тебѣ дура что-ль досталась?

— Ну, полно, Федосья Игнатъевна, не гнѣвайся!—сказалъ Мамоновъ, усаживая ее опять на стулъ.—На-ка вотъ тебѣ за труды,—продолжалъ онъ, подавая ей два рублевика. Что-жъ дѣлать, коли мнѣ такъ показалось.

— Показалось! — повторила Игнатъевна, все еще нѣскольکو сердитымъ голосомъ.—Вишь, какой зубоскаль!... Чего тутъ показаться?... Благо ты господинъ то добрый и тароватый, а то бы я давно перестала къ тебѣ жаловать!... Вотъ то-то и есть: дали вамъ повадку, голубчики!... Бывало, въ старину, хочешь вѣрь, хочешь не вѣрь, а ужъ невѣсты тебѣ не покажутъ. Видишь, что выдумали: изволь товаръ лицомъ продать!... А кто на васъ угодить?... То не такъ, другое не этакъ... Охъ, вы, баловники этакіе!

— Да вѣдь такъ то лучше, Федосья Игнатъевна. Теперь женихъ пеняй на себя, а прежде, бывало, за все отвѣчаетъ сваха. Что, любезная, скажи-ка правду: чай, тебѣ иногда доставалось на орѣхи?

— Ну, конечно, батюшка, всяко бывало. Ужъ наше дѣло таковское. Бывало угодишь, такъ матушкѣ Федосьѣ Игнатъевнѣ челомъ; а не угодишь—такъ старую чертовку Игнатъевну позорятъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этакъ, случится, и потасовку зададутъ?

— Кому, сударь?... Мнѣ?... Нѣтъ, батюшка, велико безчестье заплатишь!... Я вѣдь не посадская баба какая; мой покойный муженекъ служилъ подьякомъ въ холопьемъ приказѣ; ему подчасъ и бояре кланялись. И кабы не бѣдность моя, не стала бы я по вашей братьи шататься... Ну что, молодець, такъ эта невѣста тебѣ не люба?

— Нѣтъ, Федосья Игнатъева, подавай другую.

— Подавай другую!... Эва какъ поговариваетъ!... Да развѣ невѣсты то блины?... Подавай другую!

— На-ка вотъ тебѣ еще рублевикъ... Полно, голу-

бушка, не скупись: что есть въ печи, все на столъ мечи!

— Спасибо, кормилецъ, спасибо!... Ахъ, ты мой со-  
коль ясный! Хотѣлось бы мнѣ тебѣ послужить... Да ты,  
Андрей Степановичъ, человекъ то бѣдовый!... Видишь, ка-  
кой привередникъ!... Ну, такъ и быть—скажу! Ужь только  
и ты, батюшка, не забудь меня, старуху. Есть у меня на  
примѣтѣ невѣста и хороша и пригожа, дѣвица рослая, не  
то, чтобы очень дородная, а этакъ, знаешь, наливное  
яблочко; свѣжая, румяная, глаза голубые, брови черныя..  
Да это еще ничего, — богатство то какое!.. Покойный ея  
батюшка тридцать лѣтъ сряду былъ якутскимъ воеводою,  
а вѣдь тамъ воеводамъ житье! Отъ царя земного далеко, а  
Царь небесный грѣшниковъ милуетъ, такъ дѣлай, что хо-  
чешь,—своя рука владыка. Ты, чай, изволишь знать, Си-  
бирь то золотое дно. Тамъ, говорятъ, изъ черныхъ соболей  
нагольные тулупы носятъ, а простыхъ куницъ никто и  
даромъ не беретъ, такъ есть около чего ручки погрѣтъ!..  
Да онъ таки и понагрѣлъ ихъ, дай Богъ ему царство не-  
бесное! Легко вымолвить: тридцать годовъ на воеводство  
просидѣлъ!... А дочка то у него одна, одиныхонька оста-  
лась, дѣлится не съ кѣмъ... Ну, что?... Неужели ты, кор-  
милецъ, и эту невѣсту охаешь?

— А вотъ какъ посмотрю.

— Тебѣ бы все посмотрѣть!

— Нельзя безъ этого, Игнатьевна... Э, да постой, лю-  
безная!... Давно хочу тебя спросить: я недѣли двѣ тому  
назадъ познакомился на асамблеѣ у Стрѣшневыхъ съ од-  
ною барыней—не знаешь ли ты ея?... Аграфѣна Петровна  
Ханыкова...

— Какъ, сударь, не знать!... Я у нея зачастую бы-  
ваю. Приношу всякую всячину: то кружева и ленточки,  
то шелковые платочки. Вѣдь я человекъ бѣдный, батюшка,  
всѣмъ промышляю. Да что ты о ней изволишь спрашивать?  
Развѣ она овдовѣла?

— Нѣтъ, Игнатьевна: съ ней живетъ племянница.

— Ольга Дмитріевна?... Вишь, ты какой!... Губа то у  
тебя не дура, батюшка!

— А что?

— Какъ что? Да Ольга Дмитріевна не то, что всякая  
другая; это, сударь, нещечко! Собою красавица, богатство  
большое, родство знатное, ни отца, ни матери... Нѣтъ,  
Андрей Степановичъ, тутъ взятки то гладки!

— И, полно, Игнатьевна! Коли Ольга Дмитріевна невѣста...

— Невѣста, сударь, невѣста, да только не твоя.

— А почему жъ не моя?

— Да потому, батюшка, что она ужъ просватана.

Симскій поблѣднѣлъ.

— Просватана?—повторилъ Мамоновъ.—За кого?

— Охъ, молодець, крѣпко на крѣпко заказано не сказывать... А я все-таки скажу... на зло ему скажу... скряга этакій!.. Я, батюшка Андрей Степановичъ, часто хаживала къ одному богатому женишку, князю Андрею Юрьевичу Шелешпанскому; его ужъ давно разбираетъ охота жениться, и онъ также куда браковаль невѣсть; да только не такъ, какъ ты, кормилецъ: онъ все добивался богатой невѣсты. Вотъ я, сударь, и прискала ему одну купеческую дочку—лѣтъ этакъ подь сорокъ и собою некрасива: рябая, черномазая... да зато вся въ жемчугахъ; у отца чугунные заводы, рыбныя ловли въ Астрахани и всего только двѣ дочери. Сегодня по утру я зашла объ этомъ поговорить съ княземъ Андреемъ Юрьевичемъ, а онъ мнѣ и слова не далъ выговорить. «Спасибо, дескать, Игнатьевна, за твою службу и труды, а я ужъ покончилъ; мой двоюродный братецъ, Лаврентій Никитичъ Рокотовъ, высваталъ мнѣ богатую невѣсту. Вчера по рукамъ ударили, а на Оминой будетъ и свадьба». «Ахъ, батюшка,—молвила я,—да дай же порадоваться твоей радости,—скажи мнѣ имячко нареченной; можетъ статья и я ее знаю». Князь Андрей Юрьевичъ учалъ отпѣкиваться, а я все приставала. Вотъ онъ помялся, помялся, да и сказалъ мнѣ, что Максимъ Петровичъ Прокудинъ выдаетъ за него племянницу свою, Ольгу Дмитріевну Запольскую, и что ужъ это дѣло совсѣмъ поконченное. Какъ я стала съ нимъ прощаться, такъ говорю ему: «Батюшка, милостивый князь, я много для тебя потрудилась, не одну пару чоботовъ истоптала, и денно и ночью заботилась о томъ, какъ бы тебѣ угодить; не забудь же теперь меня на такой радости,—пожалуй мнѣ, старой сиротинкѣ, хоть что-нибудь на хлѣбецъ!» Ахъ, батюшки, какъ его, сударь, стало коробить!.. Инда въ потъ ударило! Учалъ онъ ходить по комнатѣ и туда и сюда; гляжу: пошелъ къ себѣ въ чуланчикъ... Ужъ онъ тамъ шарилъ, шарилъ!... Вотъ изволить опять идти,—такой красный, такъ и пышетъ! Подошелъ, да и сунулъ мнѣ въ руку... что-жъ ты думаешь, кормилецъ?..

Полтинникъ!.. Да еще проткнутый,—видно, съ какой-нибудь мордовки! «На, дескать, Игнатъевна, у меня его не берутъ, а ты вездѣ шатаешься, у тебя съ рукъ сойдетъ».

— Неужели ты, Ѳедосья Игнатъевна, взяла?

— Что ты, батюшка! Я этотъ дырявый полтинничекъ положила ему на столъ, низехонько поклонилась, да сказала: «Прими, батюшка, Христа ради!» а сама и вонъ. Вотъ, сударь, скряга то!

— Да, хорошъ! И за него выдаютъ Ольгу Дмитріевну!

— Чтожъ дѣлать, Андрей Степановичъ: богатъ, природный князь и, нечего сказать, собою молодець.

— Право?

— У, батюшка!.. Дѣтина такой ражій, дородный... что вы, молодцы! Обоихъ то васъ сложить, такъ его одного не будетъ.

— Вотъ какъ!

— Да, сударь, да!.. Не будь онъ такой скула, такъ нечего сказать, женихъ недюжинный!.. Э, да что толковать объ этомъ шмольникѣ. Ты мнѣ лучше скажи, батюшка, хочешь что-ль посмотришь воеводскую то дочку?

— Какъ же, Игнатъевна, хочу.

— Такъ изволь, сударь, знать, что она завтра будетъ у Троицы на Кулишкахъ, послѣ ранней обѣдни, милостыню нищимъ раздавать, и я съ ней вмѣстѣ буду.

— У Троицы на Кулишкахъ! Гдѣ-жъ это?

— Ничего, батюшка: я твоему Ѳедоту растолкую, такъ онъ тебя прямехонько довезетъ. Ну, мое красное солнышко,—промолвила Игнатъевна вставая, —заболталась я съ тобой!.. А дѣла то у меня, дѣла, Господи Боже мой!.. Прощенья прошу, батюшка! Смотри же, не забудь: завтра послѣ ранней обѣдни...

— Небойсь, Ѳедосья Игнатъевна, не забуду. Прощай, любезная!.. Ну что, — продолжалъ Мамоновъ, обращаясь къ своему гостю, какова моя сваха?.. Э, да ты никакъ стала еще грустнѣе!.. Что это съ тобой?

— Такъ, что то нездоровится.

— Катайся больше, любезный, такъ все пройдетъ. Знаешь ли что, Симскій: привѣжай завтра ко мнѣ пораньше, поѣдемъ вмѣстѣ смотреть воеводскую дочку.

— Нѣтъ, Мамоновъ, я сегодня въ ночь или завтра, чѣмъ свѣтъ, уѣду отсюда.

— Сегодня? Да вѣдь ты хотѣлъ пробыть въ Москвѣ еще дня два или три?



— Ни за что на свѣтъ!

— Что, братъ, видно, я правду говорилъ, видно, Москва то не Санктпетербургъ?

— Да, мой другъ! Мнѣ скучно, мнѣ тошно здѣсь... такъ душа и рвется! Скорѣй бы туда, гдѣ пули посвистываютъ и люди валятся какъ снопы!.. Вотъ какъ, Богъ дастъ, догоню нашъ полкъ, да подъ турецкими ядрами почерпну водицы въ Дунаѣ, такъ, авось, тогда на душѣ то у меня будетъ повеселѣе. Прощай, Мамоновъ!

— Прощай, Симскій!—сказалъ Мамоновъ, обнимая своего пріятеля. Коли Господь поможетъ тебѣ отличиться, такъ вспомни, другъ сердечный, и пожалѣй обо мнѣ. Я бы отъ тебя не отсталъ.

На другой день, рано по утру, изъ Калужскихъ воротъ выѣхала на серпуховскую дорогу лихая ямская тройка. Въ открытыхъ пошевняхъ лежалъ закутанный въ медвѣжью шубу Симскій; впереди на облучкѣ сидѣлъ денщикъ его, Деминъ.

— Ну, чтожъ вы стали поперекъ дороги? — закричалъ ямщикъ, сдерживая лошадей.

Симскій приподнялся. Въ пяти шагахъ отъ него стоялъ большой возокъ; двое слугъ помогали кучеру перепрягать коренную лошадь.

— Возьми полѣвѣе,—сказалъ Симскій: — ихъ не переждешь.

Когда ямщикъ, своротя въ сторону, поровнялся съ возкомъ и Василій Михайловичъ взглянулъ на открытое окно, изъ котораго выглядывала какая то барыня, то вся кровь его прилила къ сердцу: эта барыня была Ольга Дмитриевна Запольская; подлѣ нея сидѣлъ Максимъ Петровичъ Прокудинъ.

— Ну чтожъ ты?—сказалъ Деминъ ямщику. Коли выбрался на торную дорогу, такъ ступай!

— Эй, вы, соколики!—гаркнулъ ямщикъ.

Рысистая коренная легла въ гужи, отлетныя подхватили, и снѣжная пыль вихремъ закрутилась изъ подъ копытъ удалыхъ коней.

## IX.

Мы должны теперь разстаться на нѣсколько времени съ Василюмъ Михайловичемъ Симскимъ и воротиться опять въ

Москву. Въ то самое утро, когда Симскій такъ неожиданно повстрѣчался на большой дорогѣ съ Ольгой Дмитриевной, но только гораздо позднѣе, Аграфена Петровна Ханыкова сидѣла у себя въ гостиной съ Ардаліономъ Михайловичемъ Обиняковымъ. Я думаю, читатели не забыли еще этого худошаваго господина, котораго люди неблагонамѣренные называли приказною строкою, нахлѣбникомъ, переметною сумою, и даже подозрѣвали, что онъ «языкъ», то есть тайный доносчикъ, готовый при случаѣ *оговорить* и выдать руками своего родного брата. Разумѣется, Аграфена Петровна не знала ничего объ этомъ, и, по случаю одного тяжёбнаго дѣла, очень часто совѣтовалась съ Ардаліономъ Михайловичемъ, какъ съ человѣкомъ знающимъ и дѣловымъ.

— Такъ вы, батюшка, полагаете,—говорила она,—что, этакъ мѣсяца черезъ два, наше дѣло должно рѣшиться?

— Да, Аграфена Петровна, по всему бы такъ слѣдовало. Крѣпостныя записи и межевыя книги вами представлены, всѣ справки собраны и задержекъ формально никакихъ нѣтъ; а все-таки, можетъ статья, дѣло ваше протянется. Слабенько вы изволите дѣйствовать, матушка Аграфена Петровна!

— Да чтожь прикажете мнѣ дѣлать?

— Всякая тяжба, сударыня, требуетъ хожденія. Теперь дѣло поступило въ отчинную коллегію, — такъ чтожь звѣдаетъ вашъ повѣренный! Надо попросить.

— Да я сама ѣздила къ президенту, просила его

— И, сударыня!.. Что президентъ!.. Дѣла то вершатъ не президенты, а секретари.

— Что вы, Ардаліонъ Михайловичъ! Хоть я и женщина, а все-таки кой-что знаю: у секретарей и голосовъ нѣтъ.

— Такъ, сударыня, такъ! Только вотъ что: когда вы изволите играть, примѣромъ сказать, на гусяхъ, такъ голосъ то подають они, а все-таки сила не въ нихъ, а въ васъ: что вы захотите, то они и заиграють.

— Такъ по вашему, Ардаліонъ Михайловичъ, и предсѣдатель и судьи...

— Гусли, сударыня, гусли!.. Ну, Аграфена Петровна, не прогнѣвайтесь: я вижу по всему, что вашъ повѣренный вовсе приказнаго порядку не знаетъ и, кажись, дѣло то безъ меня не обойдется.

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Вотъ изволите видѣть, матушка Аграфена Петровна: надобно, во-первыхъ, подарить секретаря, у котораго въ рукахъ ваше дѣло; не мѣшаегь также и протоколиста подмазать, чтобъ оно ходчѣе пошло; а тамъ еще кой кому: регистратору, актуариусу; такъ можетъ статься и ближе двухъ мѣсяцевъ эта тяжба кончится въ вашу пользу. Да ужь положитесь во всемъ на меня, Аграфена Петровна, я это дѣльцо обработаю... Не извольте только забывать одного, матушка: коли плохо съешь, такъ и жатва бываетъ плоха.

— Андрей Степановичъ Мамоновъ пріѣхаль,—сказаль слуга, войдя въ комнату.

— Ты сказалъ, что я дома?

— Сказаль, сударыня.

— Такъ дѣлать нечего,—проси!

— Здравствуйте, государыня моя Аграфена Петровна!—сказаль Мамоновъ, входя въ гостиную и кланяясь хозяйкѣ.— Зѣло радуюсь, что нахожу васъ въ вождѣльнномъ здравіи.

— И я также, государь мой Андрей Степановичъ,—отвѣчала Ханыкова, вставая,—съ великою сатисфакціею вижу, что и вы совершенно здоровы, въ чемъ, я признательно скажу, начинала уже сомнѣваться. Въ послѣдній разъ, на асамблеѣ у Стрешневыхъ, вы дали мнѣ вашъ пароль посѣтить меня и вотъ уже скоро двѣ недѣли...

— Прошло эскузовать меня, Аграфена Петровна: я нѣсколько разъ хотѣлъ къ вамъ презентоваться, но все это время такъ былъ занятъ службою...

— То-есть гуляли, веселились... Ну, да Богъ васъ простить!.. Прошу покорно садиться!

Обиняковъ взглянулъ исподлобья на Мамонова, лукаво улыбнулся и взялся за свою шапку.

— А вы куда, Ардаліонъ Михайловичъ? — сказала Ханыкова.—Побудьте съ нами.

— Коли вамъ это угодно, Аграфена Петровна, — промолвилъ Обиняковъ съ тою же самою двусмысленною улыбною,—такъ я съ моимъ удовольствіемъ!.. Мнѣ торопиться некуда.

— Я пріѣхаль къ вамъ, государыня моя,—сказаль Мамоновъ, садясь подлѣ хозяйки,—во-первыхъ, для того, чтобъ отдать вамъ мой всенижайшій респектъ, а во-вторыхъ, чтобъ поздравить...

— Поздравить? Съ чѣмъ?

— Какъ съ чѣмъ? Вѣдь ваша племянница, Ольга Дмитріевна, выходитъ замужъ.

— Оленька выходитъ замужъ? Съ чего вы это взяли?

— Я слышалъ отъ вѣрныхъ людей.

— Помилуйте, да ея даже нѣтъ и въ Москвѣ: она уѣхала въ деревню къ своему родному дядѣ, Максиму Петровичу Прокудину.

— Можетъ быть, Аграфена Петровна, вамъ не угодно разглашать о помолвкѣ Ольги Дмитріевны, и я поступаю весьма неполитично, говоря объ этомъ; но, воля ваша, когда самъ женихъ объявляетъ, что дѣло уже кончено...

— Самъ женихъ!.. Ахъ, Боже мой! Да неужели въ самомъ дѣлѣ Максимъ Петровичъ, не сказавъ мнѣ ни слова, просваталъ племянницу?

— И я также, сударыня,—прервалъ Обиняковъ,—слышалъ кой-что объ этомъ стороною.

— Что вы говорите?!

— Я ужиналъ вчера у Лаврентія Никитича Рокотова, а у него былъ князь Андрей Юрьевичъ. Они изволили немного подгулять, и Лаврентій Никитичъ, этакъ между рѣчей, проговаривалъ, что свадьбы дальше Фоминой недѣли откладывать не должно, а то, дескать, чего добраго, тетушка какъ-нибудь и разобьетъ. Отъ этой, дескать, Аграфены Петровны Ханыковой все станется. А вѣдь, кажется, сударыня, окромя васъ никакой Аграфены Петровны Ханыковой въ Москвѣ нѣтъ, а у васъ одна только племянница Ольга Дмитріева.

— Возможно ли? Такъ это правда?

— Видно, что такъ.

— Да за кого же ее выдаютъ?

— За какого то князя,—сказалъ Мамоновъ.—Вспомнить не могу... Шпанскаго!... Гишпанскаго...

— Должно быть, — прервалъ Обиняковъ, — за князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго.

— Да, точно такъ!

— Ахъ, бѣдная Оленька!—вскричала Ханыкова, всплеснувъ руками.—Да вѣдь этотъ Шелешпанскій совершенный мужикъ, дурачина!..

— Такъ вы его знаете?—спросилъ Мамоновъ.

— Я только одинъ разъ его видѣла. Года два тому назадъ, онъ пріѣзжалъ къ намъ торговать деревню. Господи Боже мой!.. Что за фигура, какія ухватки! А ужъ глупъ то какъ!.. Представьте себѣ: для перваго знакомства сталъ

намъ рассказывать, какъ у него украли ветчину, а тамъ принялся хвастаться своимъ конскимъ заводомъ, да такія рѣчи началъ говорить, что я изъ комнаты вонъ ушла... И я должна буду называть этого человѣка моимъ племянникомъ!

— А почему знать, Аграфена Петровна? Вѣдь насильно вѣнчать никого нельзя; и если этотъ женихъ не понравится Ольгѣ Дмитріевнѣ...

— Такъ она будетъ втихомолку плакать, зачахнетъ съ горя, а все-таки выйдетъ за него замужъ. Вы не знаете Оленьки: вѣдь это ангель во плоти; ей и въ голову не придетъ, что она можетъ не повиноваться своему дядѣ. Оленька же привыкла его любить и почитать, какъ отца родного...

— Да чтожъ это вздумалось вашему братцу? Неужели онъ не могъ найти лучшего жениха для своей племянницы?

— Женишокъ то, сударь, хорошъ,—прервалъ Обиняковъ: — четыре тысячи душъ.

— Нѣтъ, тутъ есть что-нибудь другое,—подхватила Ханькова. На одно богатство Максимъ Петровичъ никогда бы не польстился.

— Богатство само по себѣ, да вѣдь не худо и то, сударыня, коли мою родную племянницу стануть княгиней величать.

— И, полноте, Ардаліонъ Михайловичъ! Да что такое князь Шелешпанскій?

— Шелешпанскій! — повторилъ Мамоновъ.—Позвольте, позвольте!.. Да у меня, кажется, въ списокѣ есть какой то князь Шелешпанскій.

— Въ какомъ списокѣ?—спросила Ханькова.

— А вотъ изволите видѣть: я здѣсь прикомандированъ къ сенату, ради того, чтобъ забирать и рассылать по полкамъ всѣхъ дворянъ, которые или вовсе еще не служили, или еще въ силахъ продолжать службу. По этой то оказіи и выданъ мнѣ регистръ разнымъ лицамъ и, помнится, въ числѣ ихъ... Да вотъ постоитъ—я посмотрю...

Мамоновъ вынулъ изъ кармана исписанный кругомъ листъ бумаги и началъ читать про себя.

— Ну, да! — вскричалъ онъ. — Такъ и есть: «Князь Андрей Шелешпанскій, тридцати осьми лѣтъ, по разрядамъ писанъ былъ въ московскомъ жалецкомъ войскѣ новикомъ, проживаетъ въ своихъ отчинахъ и бываетъ наѣздомъ въ Москвѣ». Ну что—онъ ли это?

— Онъ и есть,—сказалъ Обиняковъ.

— Такъ не безпокойтесь, Аграфена Петровна,—продолжалъ Мамоновъ. Что будетъ впереди, я не знаю, но по крайней мѣрѣ теперь этому князю Шелешпанскому жиниться будетъ некогда. Да что, онъ въ Москвѣ? — промолвилъ Мамоновъ, обращаясь къ Обинякову.

— Какъ же! Я съ нимъ вчера ужиналъ у Лаврентія Никитича Рокотова.

— А гдѣ онъ живетъ?

— Кто, сударь? Лаврентій Никитичъ?

— Нѣтъ, этотъ князь Шелешпанскій?

— А кто его знаетъ! Чай, гдѣ-нибудь на подворьѣ... Помнится, онъ всегда останавливается по Троицкой дорогѣ, у Креста.

— Да это все равно. Я завтра же велю его отыскать и повѣстить ему, чтобъ онъ ко мнѣ явился.

— А чтожь послѣ будетъ?—спросила Ханыкова.

— Извѣстное дѣло: коли еще молодъ и здоровъ, такъ послужи, голубчикъ!

— А гдѣ жъ онъ будетъ служить?

— Да не опасайтесь, Аграфена Петровна: въ Москвѣ не останется. Я слышалъ, что онъ молодецъ собою.

— Да, сударь,—сказалъ Обиняковъ:—князь Шелешпанскій человекъ рослый, повыше васъ будетъ.

— Такъ, можетъ статья, и къ намъ въ Преображенскій полкъ попадетъ, а не то въ драгуны или въ бомбардирскую роту. Не безпокойтесь, найдемъ мѣсто.

— Чтожь, его примутъ офицеромъ?—спросила Ханыкова.

— Изъ новиковъ да прямо въ офицеры,—помилуйте! За что? Послужить и солдатомъ.

— Ахъ, бѣдненькій!

— Ну вотъ ужъ вы о немъ и жалѣть стали.

— Да какъ же, Андрей Степановичъ: подумаешь, человекъ богатый, привыкъ жить баринномъ, и вдругъ—ступай, служи солдатомъ!

— Чтожь дѣлать, Аграфена Петровна. Я, кажется, ничѣмъ его не хуже, а годика три солдатомъ послужилъ.

— Да вы еще были тогда очень молоды, а этому князю Шелешпанскому подъ сорокъ лѣтъ.

— Вольно жъ ему было до сихъ поръ лежать на боку. Да вы не горюйте о немъ, Аграфена Петровна: служба пойдетъ ему въ прокъ. Онъ, по вашимъ словамъ, и совершен-

ный мужикъ и дурачина, а посмотри, какъ мы его вышкoлимъ,—не узнаете! Будьте спокойны, Аграфена Петровна, —промолвилъ Мамоновъ, вставая, я этимъ дѣломъ займусь.

— Вы ужь ѣдете?—сказала Ханыкова, также вставая.

— Мнѣ еще надобно кой-гдѣ побывать. Да сдѣлайте милость, государыня моя,—продолжалъ Мамоновъ, очень вѣжливо и съ большою ловкостію, пятясь назадъ спиною,—не извольте принимать для меня никакой фатиги! Останьтесь, прошу васъ!

— Какъ это можно, Андрей Степановичъ, — это моя облигація: я хозяйка, а вы мой гость.

— Вы меня конфузите, сударыня! Да, по крайней мѣрѣ, не извольте провожать такъ далеко.

— Помилуйте, что за далеко! Развѣ вы не знаете пословицы: «для дорогого гостя и семь верстъ не околица».

— Всенижайше прошу васъ... безъ проводовъ, Аграфена Петровна!..

Однакожъ Аграфена Петровна проводила своего гостя до самой передней.

— И вы также ѣдете, Ардаліонъ Михайловичъ,—сказала она Обинякову, который повстрѣчался съ нею въ дверяхъ гостиной.

— Пора, сударыня, время обѣденное; чай, жена давно ужь меня дожидается.

— Ну, Богъ съ вами, только смотрите же, не забудьте о моей тяжбѣ.

— Какъ это можно! Я на этихъ дняхъ непременно у васъ побываю.

— Сдѣлайте милость!

Обиняковъ отправился, но только не къ себѣ на Берсеневку, а въ Зарядьѣ, къ Андрею Юрьевичу Шелешпанскому, который никакъ не подозрѣвалъ, что надъ его беззащитною головою собирается такая ужасная гроза. Этотъ потомокъ удѣльныхъ князей Бѣлоозерскихъ останавливался обыкновенно въ одномъ изъ самыхъ худшихъ постоялыхъ дворовъ Зарядья. Онъ занималъ три небольшіе покоя, или, вѣрнѣе сказать, одну грязную, запачканную комнату, раздѣленную на-трое досчатыми перегородками. Первая комната служила лакейскою для двухъ холопей, которые, судя по ихъ тощей наружности, были великіе постычки; во второй—князь Андрей Юрьевичъ принималъ своихъ гостей, а въ третьей, болѣе похожей на теплый

чуланъ, чѣмъ на комнату, онъ изволилъ спать ночью и отдыхать полъ обѣда на высокой лежанкѣ, которой не доставало только полатей, чтобъ походить совершенно на самую простую крестьянскую печь. Нечаянный прїѣздъ Обинякова помѣшалъ любимому занятію князя Шелешпанскаго: онъ считалъ свои деньги, отбиралъ къ сторонѣ истертую мелочь и чистилъ кирпичнымъ порошкомъ серебряные рублевники.

— Ахъ, батюшка Ардаліонъ Михайловичъ!—вскричалъ онъ.—Какъ ты меня захватилъ!.. Сейчасъ... сейчасъ!.. Сочту послѣ, — продолжалъ онъ, всыпая торопливо деньги въ кожаную суму и кладя ее за пазуху. Что это тебѣ вздумалось?

— Да надобно кой о чемъ поговорить съ вами.

— Поговорить? О чемъ? Ужъ не хочешь ли опять торговать моихъ саврасыхъ?

— Нѣтъ, сударь, дорого просите.

— Дорого?.. Что ты, Ардаліонъ Михайловичъ, бойся Бога! За эту цѣну у меня ихъ съ руками оторвутъ. Такихъ коней на свѣтѣ мало: трехвершковыя казанки— да вѣдь это диковинка, любезный!.. Имъ на охотника и цѣны нѣтъ. Вотъ у меня была — давно ужъ, еще до покражи моей ветчины — такая же пара, такъ я взялъ за нее двѣсти рублевъ чистоганомъ, да еще жеребчика въ придачу, вотъ того самаго, что я продалъ Опухтину за персидскаго аргамака.

— Да не о томъ рѣчь, князь Андрей Юрьевичъ. Я прїѣхалъ съ вами поговорить о дѣлѣ нешуточномъ. Впервыхъ: честь имѣю поздравить васъ съ невѣстою...

— Съ какою невѣстою?

— А какъ же?.. Вѣдь вы женитесь на племянницѣ Максима Петровича Прокудина.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Помилуйте, — объ этомъ вся Москва говоритъ.

— Неужели?.. Да отъ кого же это вышло?

— Видно, вы сами какъ-нибудь проговорились.

— Я только сказалъ объ этомъ одной Федосѣ Игнатьевнѣ Перепекиной... Ты знаешь ее?

— Сваху Игнатьевну? Какъ не знать! Ну, батюшка, нашли человѣка! Да вы бы еще взлѣзли на Ивана Великаго, да ударили въ успенскій колоколъ!

— Такъ это Игнатьевна разболтала?.. Ахъ она, чор-



това тетка!.. А вѣдь какъ божилась, проклятая!.. «Никому, батюшка, не скажу; видитъ Богъ, не скажу! Отсохни у меня правая рука по локоть, коли я кому ни есть хоть словечко вымолвлю!» Ну, дѣлать нечего!.. Да и то сказать: пускай себѣ говорятъ, что князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій женится на Ольгѣ Дмитріевнѣ Запольской... Эка бѣда! Что она, краденая чтоль какая?.. Невѣста богатая...

— Такъ, сударь, такъ! Да вотъ изволите видѣть: я сейчасъ былъ у ея тетушки...

— Аграфены Петровны Ханыковой?

— Да, князь. Ей при мнѣ объ этомъ сказали... Батюшки-свѣты!.. Она такъ на стѣны и полѣзла... «Не хочу, да и только!»

— Вотъ еще! Да ей-то какое до этого дѣло? Она тутъ не при чемъ.

— Помилуйте, родная тетка!..

— Такъ чтожъ? Не пріѣдетъ ко мнѣ на свадьбу?.. Да пожалуй себѣ не ѣзди! Кума съ возу, возу легче!

— Это бы ничего, князь, да у нея есть пріятель, гвардейскій офицеръ, Андрей Степановичъ Мамоновъ...

— Эка важность! Велика фря, гвардейскій офицерикъ... Да что онъ мнѣ сдѣлаетъ?

— Ну, сударь, не говорите! Знаете ли, зачѣмъ прислали въ Москву этого Мамонова?

— А кто его знаетъ.

— Ему указано отъ Царя забирать и разсылать по полкамъ всѣхъ неслужащихъ дворянъ.

— Всѣхъ? Какъ всѣхъ?

— Ну, вѣстимо дѣло, сирѣчь тѣхъ, которые еще молоды и здоровы, а пуще то всего молодыхъ дворянъ, которые писаны были въ новикахъ, а службы никакой не несли.

— Батюшка Ардаліонъ Михайловичъ!—вскричалъ князь Шелешпанскій, поблѣднѣвъ какъ полотно. Да вѣдь этакъ пожалуй...

— Да, князь, и до васъ доберутся. Этотъ Мамоновъ читалъ при мнѣ списокъ дворянъ, которыхъ потребуютъ на службу, а въ немъ и ваше имячко есть.

— Что ты говоришь?

— Былъ, дескать, писанъ въ московскомъ жилецкомъ войскѣ новикомъ, тридцати осми лѣтъ; живетъ, дескать,

праздно въ своихъ отчинахъ, и доселѣ облыжно показывалъ, что онъ человѣкъ недужный.

— Такъ и написано?

— Такъ, сударь. Я поспѣшилъ васъ объ этомъ увѣдомить, потому что завтра, а можетъ быть и сегодня вечеромъ пришлютъ за вами.

— Неужели пришлютъ?

— Непремѣнно,

— Ну, а коли я не поѣду?

— Нельзя: возьмутъ насильно.

— Неужели насильно?

— А вы думаете, кланяться вамъ станутъ?..

— Ахъ ты, Господи!.. Вотъ дѣло какое!..

— Кажись, этотъ Мамоновъ, — продолжалъ Обиняковъ, очень желаетъ угодить Аграфенѣ Петровнѣ. Онъ при мнѣ говорилъ: «Ужь вы не безпокойтесь, матушка: князь Шелешпанскій не женится на вашей племянницѣ». Да еще какъ похвалялся, разбойникъ! Я, дескать, этого женишка ушло туда, куда воронъ и костей не заносилъ.

Блѣдное лицо князя Андрея Юрьевича покрылось багровыми пятнами, холодный потъ выступилъ на лбу; онъ вскочилъ со стула и началъ, какъ шальной, бѣгать по комнатѣ, повторяя шопотомъ:

— Куда воронъ костей не заносилъ! Вотъ тебѣ на!.. Фу, ты, нелегкая!.. Эка притча, подумаешь!.. Да что же этотъ проклятый Мамоновъ говоритъ? — промолвилъ онъ наконецъ, остановясь напротивъ Обинякова. — Меня опять чтоль новикомъ запишутъ?

— Какіе, сударь, теперь новики! Объ нихъ давно нѣтъ и въ поминѣ. Васъ запишутъ въ драгуны или въ какой ни есть пѣхотный полкъ солдатомъ.

— Какъ солдатомъ?

— Да такъ! Бороду обрѣютъ, надѣнутъ на васъ лямку..

— Солдатомъ!.. Да вѣдь солдатъ то бьютъ?..

— Бьютъ, сударь.

— Да вѣдь этакъ, пожалуй, неровень часъ, и меня палочьемъ вздуютъ?

— Вздуютъ, батюшка.

— Ахъ ты, Господи! — завопилъ Шелешпанскій. Отцы мои!.. Сударики!.. Кормильцы!.. Да чтожь мнѣ дѣлать?

— Я вамъ, батюшка князь, объявилъ объ этомъ заранѣе; а ужъ тамъ какъ сами знаете.

— Постой, Ардалионъ Михайловичъ! Знаешь ли что?.. Дай-ка я себѣ растравлю руку или ногу,..

— Такъ чтожь? Васъ отвезуть въ лазаретъ, сирѣчь въ казенную больницу, а тамъ какъ разъ выльчатъ.

— Эко дѣло, подумашь! Куда ни кинь, все клинь!.. Да нельзя ли хоть деньгами откупиться?..

— Деньгами? Нѣтъ, сударь, не такой человѣкъ этотъ Мамоновъ: его не подкупишь.

— И что ты, Ардалионъ Михайловичъ! Да кто же себѣ злодѣй? Стануть мнѣ деньги давать, а я не возьму?

— Вы дѣло другое, сударь: вы человѣкъ умный, а этотъ Мамоновъ что? Шелопай, мотыга, — ему деньги ни по чемъ. Да и что вы ему дадите? Вѣдь онъ богаче васъ.

— Неужели?.. Ну, пропала моя головушка!.. Коли нельзя и деньгами взять, такъ дѣлать то нечего, — ложись да умирай!

— Оно конечно, — молвилъ Обиняковъ, помолчавъ нѣсколько времени, — дѣло то плоховато... Тутъ надобно, чтобъ и волки были сыты и овцы цѣлы... Развѣ подняться на какія-нибудь хитрости?

— Ахъ, другъ сердечный! — прервалъ Шелешпанскій, — сдѣлай милость, дай, батюшка, ума... приставъ голову къ плечамъ!

— Вотъ то-то, князь Андрей Юрьевичъ, теперь дай ума, приставъ голову къ плечамъ! А какъ въ прошломъ мѣсяцѣ я просилъ у васъ займы двадцать пять рубликовъ, такъ и денегъ нѣтъ!

— Право не было!.. Видить Богъ, не было!

— А теперь, кажется, есть: вы при мнѣ считали. Одолжите, сударь, пятьдесятъ рублей, мнѣ крайняя нужда.

— Да вѣдь это деньги то не мои.

— Ну, коли не ваши, такъ и говорить нечего. Счастливо оставаться, батюшка!

— Постой!.. Куда ты?

— Къ Аграфенѣ Петровнѣ Ханыковой: она вѣрно не откажетъ мнѣ въ пятидесяти рубляхъ; барыня богатая...

— Помилуй, да на что тебѣ пятьдесятъ рублей?.. Ну, двадцать пять рублей куда ни шло! — продолжалъ Шелешпанскій, вынимая изъ-за пазухи мѣшокъ съ деньгами.

— Премного благодарю, батюшка князь, да мнѣ этого мало; и коли пришлось занимать, такъ лучше занять у

одного пріятеля, чѣмъ у двоихъ. . Прощенья просимъ, Андрей Юрьевичъ!

— Постой, постой! Ну, Ардалионъ Михайловичъ, не даромъ говорятъ, что ты красивое сѣмя! На, вотъ тебѣ, считай! — промолвилъ князь, высыпая деньги на столъ. Возьми себѣ пятьдесятъ рублевъ... Да вѣдь ты мнѣ ихъ отдашь?

— Какъ же, князь! — отвѣчалъ Обиняковъ, отсчитывая себѣ пятьдесятъ рублевиковъ. Непремѣнно отдамъ, когда будутъ деньги... Ну, спасибо вамъ, князь Андрей Юрьевичъ, — помогли бѣдному человѣку въ нуждѣ! — продолжалъ Обиняковъ. Теперь мы поговоримъ о вашемъ дѣлѣ. Коли забираютъ на службу всѣхъ дворянъ, такъ это потому, батюшка, что у насъ война съ туркомъ; а вотъ какъ сдѣлается съ нимъ замиреніе, такъ тревожить никого не станутъ и дѣла то пойдутъ по прежнему. Намъ бы только съ вами какъ ни есть время протянуть, а тамъ, Господь милосердъ, все будетъ шито да крыто. Вся сила въ томъ, князь Андрей Юрьевичъ, чтобъ вы къ Мамонову не явились, и чтобъ васъ, не смотря на это, нельзя было назвать ослушникомъ.

— Да какъ же ты это сдѣлаешь?

— А вотъ какъ: коли вы не знаете, что онъ васъ требуетъ, такъ вамъ нечего къ нему и являться, — не правда ли?

— Ну, вѣстимо! Да вѣдь ты сказалъ, что по меня пришлютъ?

— За вами пришлютъ завтра, а вы уѣзжайте въ деревню сегодня, да только не въ ту, въ которой всегда живете. Я слышалъ, что у васъ около Москвы много отчинъ.

— Какъ же, всѣ мои отчины около Москвы; однихъ сель до десяти будетъ.

— И все по разнымъ дорогамъ?

— Все по разнымъ: и по тверской, и по коломенской и по серпуховской, и по Владиміркѣ, есть и по Остромынкѣ...

— Ну вотъ изволите видѣть!.. Поѣзжайте теперь въ какую-нибудь отчину, а здѣсь оставьте вѣрнаго человѣка. Лишь только я узнаю, что Мамоновъ провѣдалъ, гдѣ вы живете, я къ вамъ тотчасъ гонца. Незваные то гости на дворъ, а вашъ и слѣдъ простылъ! «Уѣхалъ, дескать».

«Куда?» «Да Богъ вѣсть — не то въ Москву не то въ ко-  
ломенскую отчину». А вы переѣзжайте въ серпуховскую;  
а коли надобно будетъ, такъ въ другую, въ третью, а  
тамъ въ четвертую, — устануть за вами гоняться. Ну, а  
если какимъ ни есть случаемъ васъ и захватятъ, — такъ  
чтожь? «Я, дескать, не зналъ, что меня требуютъ, и отъ  
царскаго указа не прятался; а ѣздилъ по моимъ отчи-  
намъ». Да и какъ васъ захватить? Я буду здѣсь сторо-  
жить, и коли вы сами зѣвать не станете, такъ будь этотъ  
Мамоновъ хоть семи пядей во лбу, а все-таки на своемъ  
не поставитъ. Ему же и безъ васъ дѣла то будетъ до-  
вольно; погоняется за вами, а тамъ, глядишь, плюнетъ,  
да скажетъ: «Чертъ его побери совсѣмъ!»

— Ну, Ардаліонъ Михайловичъ, головка то у тебя...

— Годится покамѣсть, батюшка.

— Только вотъ что: какъ же я женюсь? Вѣдь свадьбѣ  
положено быть на Ѳоминой недѣлѣ.

— Здѣсь въ Москвѣ?

— Нѣтъ, въ серпуховской отчинѣ Максима Петровича  
Прокудина.

— Такъ чтожь? Тѣмъ лучше: въ чужомъ селѣ и по-  
давно васъ искать не стануть. Да еще до Ѳоминой не-  
дѣли много воды утечетъ, лишь только бы на первыхъ то  
порахъ вы не попались въ лапы этому Мамонову. Извѣст-  
ное дѣло: новая метла всегда чисто мететъ; теперь онъ  
сгоряча и рветъ и мечетъ, а тамъ, Богъ милостивъ, ухо-  
дится, голубчикъ! Только ужъ вы не мѣшчайте, батюшка,  
уѣзжайте скорѣй изъ Москвы.

— Чего мѣшкать... Эй, Ѳомка!.. Сидорка!

Двое слугъ вошли въ комнату.

— Скажите Андрону. — продолжалъ Шелешпанскій,  
чтобъ скорѣй запрягалъ лошадей; мы сейчасъ ѣдемъ. Ты,  
Сидорка, поѣдешь со мною, а ты, Ѳомка, останься  
здѣсь.

— Слушаю, батюшка! — отвѣчалъ Ѳомка съ низкимъ  
поклономъ.

— Найми себѣ какой-нибудь уголочекъ, да смотри—  
подешевле! Харчевыхъ я тебѣ оставлю. Будетъ съ тебя  
копѣйки по двѣ на день?

— Воля твоя, государь князь Андрей Юрьевичъ.

— Чегожь еще тебѣ?.. Скоро постъ. Былъ бы только  
хлѣбъ, а за водой и самъ на рѣку сходишь. Смотри, каж-

дый день являйся къ Ардаліону Михайловичу, и что онъ тебѣ прикажетъ, то и дѣлай—слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступайте же, помогайте Андрону запрягать лошадей, а я стану здѣсь укладываться. Да у меня смотри—живѣ!

— Прощайте, князь Андрей Юрьевичъ!—сказалъ Обиняковъ, вставая. Мы, кажется, все порядкомъ уладили теперь вамъ бояться нечего.

— Нѣтъ, Ардаліонъ Михайловичъ, боюсь, крѣпко боюсь!.. Какъ подумаю объ этомъ Мамоновѣ, такъ меня вотъ такъ трясушка и начнетъ бить... У, батюшки, страсть какая! Пожалуй еще пошлютъ подъ турка...

— Вѣстимо дѣло! Теперь съ нимъ война, объ этомъ ужъ и манифестъ объявленъ.

— А вѣдь тамъ, говорятъ, людей то до смерти бьютъ.

— Да, батюшка,—по головкѣ не глядятъ.

— Вотъ то-то же!.. Ужъ ты, сдѣлай милость, Ардаліонъ Михайловичъ, не зѣвай, ради Бога! Лишь только узнаешь что-нибудь, мигомъ посылай ко мнѣ Ѳомку.

— Да куда-жъ посылать то?

— По смоленской дорогѣ, въ село Сысоево: я теперь туда поѣду.

— Такъ оставьте-жъ ему деньги на ѣзду.

— Зачѣмъ? Дойдетъ и пѣшкомъ: вѣдь всего только пятьдесятъ верстъ.

— Ну вотъ еще!.. Онъ пойдетъ пѣшкомъ, а команда отъ Мамонова поѣдетъ на подводѣ,—что вы это!

— Да вѣдь онъ у меня ходокъ.

— Эхъ, князь, вотъ нашли время алтынничать! Вѣдь дѣло то нешуточное!

— Ну, хорошо, хорошо!

— Прощенья прошу, князь Андрей Юрьевичъ... Ну что, сударь, послужилъ ли я вамъ?

— Какъ же, любезный! — сказалъ Шелешпанскій, поглядывая съ горемъ на свой кожаный мѣшокъ съ деньгами. — Ахъ ты, мошенникъ этакій!—прошпенталъ онъ, когда Обиняковъ вышелъ вонъ изъ комнаты. Послужилъ!... Ну за что содралъ съ меня пятьдесятъ рублей?... Отдамъ, дескать, когда деньги будутъ! Да когда у тебя деньги то бываютъ, голь проклятая!... А тамъ еще для Ѳомки лошадей нанимай, плати за него харчи... Вотъ не было печали,

да черти накачали! — промолвилъ князь Андрей Юрьевичъ, начиная укладывать въ чемоданъ свое добро. Эка притча какая!... Копишь, копишь деньги: не довшъ, не допьешь, собираешь по копѣечкамъ; а пришла бѣда, такъ рубли ни по чемъ!... Ну, нечего сказать, выдался денекъ!

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

### I

«Лѣтомъ деревня — рай» — говорятъ всѣ любителя сельскаго быта, и въ этомъ я съ ними совершенно согласенъ; разумѣется, если деревня, въ которой я провожу лѣто, окружена рощами, а не голою степью, и передъ моимъ веселымъ домикомъ разстилается не грязный, подернутый зеленью, прудъ, но изумрудный лугъ, усыпанный цвѣтами, между которыми вьется игривая и свѣтлая рѣчка. О, конечно, такой сельскій пріютъ не грѣшно назвать земнымъ раемъ, только не приведи, Господи, жить въ этомъ раю зимою, а особливо человѣку несемейному. Если онъ не умретъ со скуки, то ужъ, конечно, можно сказать утвердительно, что люди отъ скуки не умираютъ. Вотъ, напримеръ, ночью подымется погода; вы просыпаетесь по утру, протираете глаза и думаете: «неужели еще ночь?» Нѣтъ, на дворѣ ужъ полдень, — да вашъ домъ занесло метелью, и огромные сугробы снѣга лѣзутъ къ вамъ прямехонько въ окна. Если иногда проглянетъ солнышко и улыбнется по лѣтнему, — не спѣшите къ нему навстрѣчу, потому что на дворѣ ужъ вѣрно трескучій морозъ. Полюбуйтесь этимъ солнышкомъ сквозь двойныя стекла и оставайтесь попрежнему въ натопленныхъ комнатахъ, въ которыхъ мы всѣ, какъ тепличныя растенія, должны прозябать большую часть нашей жизни. Если, наконецъ, вамъ надоѣсть это искусственное тепло, и вы захотите подышать свѣжимъ воздухомъ, надѣвайте на себя шубу, шапку, теплые сапоги и ступайте гулять, то есть ходить взадъ и впередъ по утопанной тро-

пинкъ, которая ведетъ отъ барскаго дома къ селу. Вѣроятно, эта прогулка не принесетъ вамъ большого удовольствія, — напротивъ, вамъ сдѣлается очень грустно. Посмотрите вокругъ себя: неужели эти голыя, огромныя метлы были когда-нибудь роскошными, пушистыми деревьями, подъ тѣнью которыхъ вы съ такимъ наслажденіемъ отдыхали въ знойный полдень? Неужели это однообразное бѣлое поле, эти наносные бугры снѣга, эти непроходимые сугробы — тотъ самый лугъ, на которомъ мы рвали цвѣты? А эта изгибистая дорожка, прорѣзанная глубокими колеями, та самая рѣчка, въ которой вы купались нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ? Согласитесь, что лучше сидѣть дома, въ теплой комнатѣ, чѣмъ мерзнуть и смотрѣть на эти мертвыя деревья, засыпанныя снѣгомъ поля и это безжизненное солнце, которое, вмѣсто тепла, обдаетъ васъ холодомъ. Но чтожь вы будете дѣлать дома? Читать безпрестанно нельзя: и голова устанетъ, и глаза заболятъ; а общества въ деревнѣ нѣтъ. Бываютъ иногда сосѣди, да и тутъ бѣда: на одного умнаго и пріятнаго собесѣдника заберется къ вамъ съ полдюжины такихъ пріятелей, для которыхъ въ городѣ ваши двери были бы всегда заперты, а тутъ отворяйте ихъ настежь. Деревенскій бытъ имѣетъ свои собственные условія и законы. Въ городѣ вы можете одного гостя принять, а другому сказать, что васъ нѣтъ дома; попытайтесь это сдѣлать въ деревнѣ... Да сохрани, Господи: васъ закидаютъ камнями!... Нѣтъ, круглый годъ жить въ деревнѣ можно только тамъ, гдѣ солнце грѣетъ и зимою, гдѣ я могу и въ декабрѣ мѣсяцѣ открыть окно, сорвать на лугу цвѣтокъ, покататься въ лодкѣ и отдохнуть подъ тѣнью густого дерева, покрытаго зелеными листьями.

Вѣроятно, въ старину зимняя деревенская жизнь была еще скучнѣе. Наши предки не знали этихъ отрадныхъ минутъ, которыми дарятъ насъ умственные занятія: словесность, музыка и всѣ изящныя художества; ничѣмъ не сокращаемые длинные зимніе вечера должны были имъ казаться безконечными. Вы можете судить поэтому, какъ весело было жить Ольгѣ Дмитріевнѣ въ деревнѣ Максима Петровича Прокудина. Бѣдная дѣвушка тосковала какъ ручная птичка, которая побывала на волѣ, полетала подъ открытымъ небомъ, полюбовалась на свѣтъ Божій, и потомъ попала опять въ ту же самую тѣсную клѣтку, въ которой томила почти со дня своего рожденія. Чтобъ не

зачахнуть съ тоски, она старалась забыть о своемъ настоящемъ положеніи; нарѣдка, да и то съ какою то безнадежною грустью, мечтала она о будущемъ; но зато безпрестанно думала о прошедшемъ, то-есть о томъ счастливомъ времени, которое она провела въ Москвѣ, у своей тетки. Какъ часто, сидя за рукодѣльемъ, она переносилась мыслію на эти веселыя асамблеи Гутфеля, у котораго въ первый разъ встрѣтился съ нею Василій Михайловичъ Симскій. «Гдѣ онъ теперь?» — думала Ольга Дмитріевна. «Помнить ли меня?... Ахъ, нѣтъ, чай, давно ужъ забылъ!... И зачѣмъ ему обо мнѣ помнить? Можетъ быть мы ужъ вѣкъ не увидимъ другъ друга... Да и мало ли на бѣломъ свѣтѣ дѣвицъ милѣе и пригожѣ меня... И что это мнѣ казалось, что будто бы онъ... Да нѣтъ, если-бы я пришла ему по сердцу, такъ ужъ вѣрно бы онъ за меня посватался.. Правду говорила тетушка: «эти гвардейскіе офицеры — что имъ! Имъ бы только въ Москвѣ погулять, повеселиться, да посмѣяться надъ бѣдными московскими барышнями»... Такъ зачѣмъ же я безпрестанно о немъ думаю? Отчего онъ мерещится мнѣ и днемъ и ночью? Можетъ быть онъ теперь ухаживаетъ за какой-нибудь красавицей... смотреть ей въ глаза... любитъ ея, а я... О, слава Богу, что это моя завѣтная тайна!... Ну, если-бъ кто узналъ объ этомъ?... Избави, Господи!... Да мнѣ бы тогда стыдно было и на людей смотрѣть!... Нѣтъ, не стану о немъ думать—забуду его!»... повторяла про себя Ольга Дмитріевна, потомъ начинала плакать, тосковать и принималась снова думать о Симскомъ.

Въ лѣтнее время кругомъ Максима Петровича Прокудина жило много сосѣдей. Въ десяти верстахъ отъ него была отчина Лаврентія Никитича Рокотова, нѣсколько подалѣе помѣстье Герасима Николаевича Шетнева и въ весьма близкомъ разстояніи пять или шесть господскихъ усадебъ, принадлежащихъ, по большей части, богатымъ помѣщикамъ; но зимою они всѣ уѣзжали въ Москву, за исключеніемъ только двухъ, которые жили безвыѣздно въ своихъ деревняхъ. Одинъ изъ нихъ, бывший нѣкогда комнатнымъ стольникомъ Царя Алексѣя Михайловича, Антонъ Кондратьевичъ Чередѣевъ, дряхлый старикъ, разбитый параличомъ; другой, помѣщикъ тридцати душъ, Карпъ Саввичъ Пыжовъ; служившій при Царѣ Феодорѣ Алексѣевичѣ городскимъ дворяниномъ въ Серпуховѣ, лысый старикъ, весьма некрасивой

наружности, не слишком грамотный, но человекъ очень добрый и простодушный. Этотъ мелкопомѣстный дворянинъ, вмѣстѣ съ приходскимъ священникомъ села Воздвиженскаго, отцомъ Филиппомъ, составляли зимою единственное общество Максима Петровича. Къ нимъ можно было присоединить и дворецкаго, Прокофія Сидорыча Кулагу, который принималъ иногда участіе въ общихъ разговорахъ, игралъ въ шашки съ бариномъ, толковалъ съ Карпомъ Саввичемъ Пыжовымъ о старинѣ и осмѣливался даже, какъ человекъ начитанный, рассуждать съ отцомъ Филиппомъ о разныхъ духовныхъ предметахъ, въ особенности о древнихъ церковныхъ книгахъ, которымъ онъ, несмотря на свое православіе, отдавалъ явное преимущество передъ новыми. Ольга Дмитріевна рѣдко находилась при этихъ бесѣдахъ. Она тотчасъ послѣ обѣда уходила въ свою комнату, сначала принималась за работу, а тамъ, покинувъ свое руководѣлье, сидѣла иногда по нѣскольکو часовъ сряду въ какомъ то забытій и думала, разумеется, о томъ, о чемъ столько разъ закаивалась думать. Такъ прошелъ весь Великій постъ. Вотъ, наконецъ, «эта сѣдая чародѣйка», русская зима, понатѣшила въдоволь; повѣялъ весенній вѣтерокъ, зашумѣли снѣжные потоки, вода хлынула съ горъ, и всѣ поля покрылись безчисленнымъ множествомъ быстрыхъ ручейковъ. Вотъ появился первый гость весны, голосистый жаворонокъ, и началъ перепархивать съ одной проталинки на другую. Прошло еще нѣсколько дней, насталъ великій праздникъ Божій, и весь русскій міръ закипѣлъ жизнью и весельемъ. Казалось, что вмѣстѣ съ Христовымъ воскресеньемъ воскресло все—и люди и природа. Холмы опушились зеленью, озимыя поля, сбросивъ свой снѣжный покровъ, разостлались роскошными коврами. На всѣхъ лицахъ сіяла радость, все дышало любовью и всѣ, встрѣчаясь другъ съ другомъ и восклицая «Христось воскресе», обнимались какъ родные братья.

Въ Свѣтлое Воскресенье Максимъ Петровичъ, по старинному русскому обычаю, разговѣлся за однимъ столомъ со всѣми своими *домочадцами*, потомъ вышелъ съ Ольгой Дмитріевной на крыльцо, поклонился всему *міру*, который собрался на его барскій дворъ, и перехристосовался поодиночкѣ со всѣми крестьянами, изъ которыхъ каждый принесъ своимъ господамъ по красному яичку. Къ обѣду Максимъ Петровичъ поджидалъ своего сосѣда Пыжова, но онъ

не пріѣхаль. На другой день праздника, когда Прокудинъ садился за столъ вдвоемъ съ своей племянницей, Карпъ Савичъ вошелъ въ столовую.

— А, сосѣдушка любезный!—вскричалъ Максимъ Петровичъ.—Христоръ воскресе! Милости просимъ откушать нашего хлѣба и соли!

Пыжовъ облобызался съ Прокудинымъ, съ Ольгой Дмитріевной, со всѣми служителями, которые на ту пору были въ комнатѣ, перекрестился и сѣлъ за столъ.

— Что это, другъ сердечный,—сказалъ Максимъ Петровичъ,— за что такая немилость? Когда это бывало, чтобъ ты не обѣдалъ у меня въ Свѣтлое Воскресенье?

— Чтожь дѣлать, батюшка! — отвѣчалъ Пыжовъ, кушая, съ прохладой и съ разстановкою, сытную похлебку изъ гусиныхъ потроховъ. Я и самъ не чаялъ этого. Ужь я отговаривался, отговаривался, да онъ присталъ ко мнѣ какъ съ ножемъ. «Ты, дескать, мой прихожанинъ, зачѣмъ тебѣ ѣхать къ Максиму Петровичу? Разговѣйся у меня, а къ нему и завтра поѣдешь».

— Да о комъ ты говоришь?

— О Лаврентіи Никитичѣ Рокотовѣ.

— Какъ? Да развѣ онъ здѣсь?

— Здѣсь, батюшка. Трегьяго дня изволил пріѣхать въ свою отчину и завтра собирается къ тебѣ.

— Милости просимъ.

— Ну, батюшка, дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать, потѣшилъ онъ меня, старика.

— А что?

— Да вотъ что, Максимъ Петровичъ: глаза то у меня становятся больно плохи; ужъ чего, кажется, крупнѣе акаѳистовъ кіевской печати,—и тѣ съ грѣхомъ пополамъ читаю; что-жь онъ, мой кормилецъ, привезъ мнѣ изъ Москвы какіе то стеклянные наглазники...

— Сирѣчь очки?

— Да, сударь, по иноземному, окулары; знаешь, этакъ на носъ надѣваются. Нѣмецкая выдумка, батюшка, а, нечего сказать, хитро придумано.

— Что-жь, тебѣ въ нихъ лучше?

— Какъ же, батюшка, свѣтъ увидѣлъ!

— Вотъ что! Такъ стекла то пришли тебѣ по глазамъ?

— Да какъ бы тебѣ сказать... не очень по глазамъ.

Сначала все какъ будто бы застлало, да я фортель нашель.

— Какой фортель?

— А вотъ какой: какъ я начну читать, такъ книгу то держу подалше, а наглазники спущу пониже, да черезъ нихъ и смотрю. Ну, этакъ хорошо!... Что-жъ ты, батюшка Максимъ Петровичъ, смѣешься?... Право такъ!

— Ахъ ты голова, голова! Да коли ты черезъ нихъ смотришь, такъ на что-жъ они тебѣ?

— Ну вотъ, поди ты! Я и самъ въ толкъ не возьму; а лучше, право лучше!... Видно ужъ такъ хитро устроено, и князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій тоже говоритъ: «Знать, дескать, тутъ есть пружина какая-нибудь».

— Князь Шелешпанскій? Такъ и онъ здѣсь?

— Какъ же, батюшка!... Пріѣхалъ погостить къ Лаврентію Никитичу. У него здѣсь недалеко и своя отчина есть. Фу, батюшки, богатъ!... Куда ни поѣзжай кругомъ Москвы, все его отчины! И самъ то онъ какой молодчина!... Вотъ бы тебѣ, государыня Ольга Дмитриевна, женишокъ! То то была бы парочка!

— Что вы это, Карпъ Саввичъ!—прервала Запольская.— Охота вамъ говорить!

— А что-жъ, матушка? Ты у насъ дѣвица на возрастѣ, невѣста.

— Да полноте, какъ это вамъ не стыдно!

— Да что-жъ тутъ стыднаго, Ольга Дмитриевна? Дѣло житейское. Не вѣкъ же тебѣ сидѣть въ дѣвкахъ.

— А вамъ то что до этого?—сказала съ улыбкою Ольга Дмитриевна, стараясь обратить этотъ разговоръ въ шутку.

— Какъ что, матушка?—подхватилъ Карпъ Саввичъ.— Да вѣдь ты наше красное солнышко; мы всѣ Бога молимъ, чтобъ Онъ послалъ тебѣ суженаго роду знатнаго, богатаго, молодца собою, и чтобъ онъ человѣкъ то былъ добрый. Ну кто говоритъ: и ты у насъ, Ольга Дмитриевна, невѣста первостатейная: и красотой, и умомъ, и богатствомъ—всѣмъ надѣлилъ тебя Господь. Да и князь то Шелешпанскій не другимъ чета. Такіе женишки, каковъ онъ, и въ старину за углами не валялись, а теперь, не прогнѣвайся, матушка, въ сапожкахъ ходятъ! Человѣкъ смирный, молодецъ собою, и, легко вымолвить—четыре тысячи душъ! А въ кладовыхъ то, говорятъ, отцовское серебро такъ ворохами и навалено; однѣхъ серебряныхъ братинъ десятка два наберется, а разнымъ кубкамъ, ковшамъ и позолоченымъ чаркамъ счету нѣтъ!... Такъ какъ же, матушка, не поже-

латъ тебѣ счастья, а намъ, старикамъ, радости; то-то бы попиروвали на твоей свадьбкѣ!... Ну, вотъ ужь ты и нахмуриться изволила!... А за что, матушка?... Вѣдь это я любя говорю...

— Я очень вамъ благодарна, только сдѣлайте милость...

— Ну, хорошо, сударыня, хорошо. Мы теперь объ этомъ говорить не станемъ; эта рѣчь впереди... Да я же, видитъ Богъ, ни съ чего другого объ этомъ заговорилъ, а такъ, матушка, къ слову пришлось... И то правда,—промолвилъ вполголоса Пыжовъ, обращаясь къ хозяину,—дѣло дѣвичье!... Ушки то у нихъ золотомъ завѣшены, и слышать да не слышать, и любо да не скажутъ!

Послѣ обѣда Карпъ Саввичъ пошелъ отдохнуть. Ольга Дмитріевна хотѣла также уйти къ себѣ въ комнату, но дядя приказалъ ей остаться, посадилъ подлѣ себя, приласталъ; потомъ, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:

— Послушай, Оленька, вѣдь Карпъ Саввичъ то дѣло говорилъ, и если-бъ князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій за тебя посватался...

— Ахъ, что вы, дядюшка!—вскричала Запольская.

— А что, мой другъ?... И я также тебѣ скажу: ты ужь, матушка, невѣста, — не вѣкъ же тебѣ въ дѣвкахъ сидѣть.

— Нѣтъ, дядюшка, я не хочу съ вами разставаться.

— И я этого не хочу, мой другъ. Да въ томъ то и дѣло: если-бъ ты вышла замужъ за князя Андрея Юрьевича, такъ мы бы никогда съ тобой не разстались; онъ переѣхалъ бы на житье въ здѣшнюю свою отчину, вы стали-бъ ѣздить ко мнѣ, я къ вамъ...

— Да отчего вы думаете, дядюшка, что этотъ князь...

— За тебя посватается. А почему знать?... Конечно, онъ женихъ не дюжинный, да вѣдь Карпъ то Саввичъ и про тебя правду сказалъ: такихъ невѣсть, какъ ты, въ Москвѣ не много наберется... Ну что, мой другъ, коли онъ въ самомъ дѣлѣ за тебя посватается?...

— Избави, Господи!

— Что ты, что ты, Ольга Дмитріевна? Да ужь это, не прогнѣвайся, глупо! Ты его въ лицо не знаешь, тебѣ говорить, что онъ молодець, ты слышишь о немъ рѣчи все хорошія и, ничего не видя, руками и ногами!... Какъ будто бы тебя за какого-нибудь стараго чорта выдаютъ замужъ!

— Ахъ, дядюшка! Бога ради, не выдавайте меня замужъ! И зачѣмъ вамъ торопиться?... Я еще такъ молода...

— Да я то старъ, мой другъ, и мнѣ бы очень хотѣлось пристроить тебя, пока еще живъ. На сестру у меня плохая надежда. Конечно, она баба добрая, да—не при тебѣ будь сказано—вовсе свихнулася: изъ русскои барыни сдѣлалась нѣмкаю, да и тебя было совсѣмъ онѣмечила. Какъ подумаю: что бы сказала покойница твоя мать, если-бъ ты при ней поѣхала на пирушку къ этому еретику Гутфелю?... И зачѣмъ?... Чтобъ поплясать тамъ съ какимъ-нибудь колбасникомъ или сорванцомъ, гвардейскимъ офицерикомъ, для котораго что ты, благородная и честная дѣвица, что какая-нибудь разбитная нѣмка, все едино. Ну, да что объ этомъ говорить: кажись, Богъ милостивъ,—я успѣлъ еще въ пору выручить тебя изъ этого омута... Не по грѣхамъ наказалъ меня Господь: ты все еще разумная, моя послушная и добрая племянница—милое дитя мое!... Не правда ли, мой другъ, ты все еще любишь меня, какъ отца родного?

— О, конечно, какъ отца родного!—вскричала Ольга Дмитриевна, обнимая своего дядю.—И вамъ не грѣшно мени объ этомъ спрашивать?

— Эхъ, Оленька! Ты вѣдь человекъ молодой, а тамъ, я думаю, чего тебѣ въ уши то не напѣвали? Да вотъ, примѣромъ сказать, кабы ты не жила у своей тетки, такъ вѣрно бы не стала говорить, что не хочешь замужъ идти, а по русскому благочестивому обычаю отвѣчала бы мнѣ: «воля ваша, дядюшка!»... Хочешь ли, я тебѣ скажу, что ты теперь думаешь? «Да зачѣмъ мнѣ идти замужъ? Мнѣ и въ дѣвкахъ не скучно. Вотъ поѣду опять къ тетускѣ,—начну веселиться, ѣздить по пирушкамъ»... Да нѣтъ, Ольга Дмитриевна, ты напрасно это думаешь: не отпущу я тебя на житье къ теткѣ; не видать тебя московскимъ коршунамъ, моя чистая бѣлая голубушка!... Эхъ, что я говорю!.. Вотъ годика черезъ три, какъ ты войдешь въ совершенныя лѣта, будешь полною госпожею, такъ, можетъ быть, сама покинешь своего дряхлаго дядю. «Пусть, дескать, этотъ старый ворчунъ умираетъ здѣсь на чужихъ рукахъ, а я поѣду въ Москву плясать да веселиться у нѣмца Гутфеля!»

Ольга Дмитриевна заплакала.

— Ну вотъ ужъ и въ слезы!—проговорилъ Максимъ Петровичъ встревоженнымъ голосомъ.—Охъ эти мнѣ слезы! И откуда онѣ у тебя берутся?.. Да полно же, мой другъ!—



продолжалъ онъ, лаская свою племянницу.— Не плачь, жизнь моя!.. И о чемъ тутъ плакать?.. Въѣдь это такъ—простой разговоръ!

— И вы могли сказать, дядюшка,—молвила сквозь слезы Ольга Дмитриевна, что я покину васъ на старости!..

— Ну, виновать, моя радость, виновать! Прости меня, Бога ради!.. И какъ это непригожее слово сорвалось у меня съ языка!.. Вотъ то-то и есть, другъ сердечный: коли человекъ одинокій доживетъ до старости, такъ ему подѣчасть и Богъ въсть что придетъ въ голову!.. Ну, ступай, моя душа, къ себѣ; мнѣ пора ужь отдохнуть, и ты также прилягъ, успокойся... Да полно же — перестань!.. Эхъ, худо дѣло! — прошепталъ Максимъ Петровичъ, покачивая головою и глядя вслѣдъ за уходящей племянницей. Ужъ не опоздалъ ли я тебя увезти изъ Москвы?... Кто говоритъ: здѣсь житье скучнѣе московскаго, да отъ скуки этакъ не плачутъ... Охъ мнѣ этотъ гвардейскій фенрикъ!.. Хорошо еще, что племянница не знаетъ, что онъ за нее сватался.

## II.

На другой день, то есть во вторникъ на святой недѣлѣ, дворецкій и приказчакъ Максима Петровича, Прокофій Сидоровичъ Кулага, выѣхалъ на телѣжкѣ осмотрѣть барскія поля, которыя тянулись версты на три по обѣимъ сторонамъ большой серпуховской дороги.

— Эка благодать Божья! — шепталъ онъ про себя, посматривая съ радостію на яркую и густую зелень озимыхъ полей. Что, братъ Феропонтъ,—молвилъ онъ, обращаясь къ сѣдому старику, который правилъ лошадыю,—каковы всходы?

— Да, батюшка Прокофій Сидоричъ, — отвѣчалъ старикъ,—изъ годовъ вонъ!.. Давно я живу на свѣтѣ, а такихъ озимей не видывалъ!.. Нечего сказать: коли Господь не нашлетъ какой невзгоды, такъ будемъ съ хлѣбцемъ.

— Феропонтъ, — прервалъ Кулага, — посмотри, что это впереди то... на большой дорогѣ... вонъ тамъ изъ-за горки... кажись, кто то скачетъ.

— Да, Прокофій Сидоричъ, два вершника... А вонъ за ними катитъ кто то на тройкѣ вороныхъ.

— Въ телѣжѣ?

— Нѣтъ, батюшка: кажись, въ одноколкѣ.  
— Э, да это никакъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ!  
— Онъ и есть, Прокофій Сидорычъ. Вонъ передній то  
вершникъ, на саврасомъ конѣ, куманекъ мой, Оома Дерюгинъ.  
Когда одноколка поровнялась съ Прокофьемъ Кулагою,  
онъ спрыгнулъ съ телѣги и снялъ шапку.

— Постой! — закричалъ Рокотовъ. — Здорово, Кулага!  
Христось воскресе!

— Во истину воскресе, государь Лаврентій Никитичъ!  
— отвѣчалъ Прокофій съ низкимъ поклономъ.

— Что, баринъ твой здоровъ?

— Слава Богу, сударь.

— Гостей у него нѣтъ?

— Никого нѣтъ, батюшка.

— Хорошо. Пошелъ!

Минуть черезъ пять Максимъ Петровичъ встрѣтилъ  
своего гостя на крыльцѣ. Послѣ обыкновенныхъ друже-  
скихъ привѣтствій и лобызаній, Лаврентій Петровичъ ска-  
залъ Прокудину:

— Ну вотъ, другъ сердечный, мы, кажись, не запо-  
здали. Готовъ ли ты, а мы, пожалуй, хоть наканунѣ Оо-  
мина понедѣльника нагрянемъ къ тебѣ со всѣмъ поѣздомъ

— Помилуй! — прервалъ съ примѣтнымъ смущеніемъ  
Прокудинъ. — Что это тебѣ такъ загорѣлось, любезный? До  
другого то поста еще далеко.

— Эхъ, Максимъ Петровичъ, или ты не знаешь рус-  
ской пословицы: «куй желѣзо пока горячо?» Чего тутъ  
мѣшкать? Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Мы съ тобой по  
рукамъ ударили, женихъ на-лицо...

— Такъ что-жь? Пусть онъ погостить у тебя недѣлекъ  
пять или шесть.

— Что ты, другъ сердечный, легко вымолвить: шесть  
недѣль! Да ты этакъ моего парня вовсе замаешь: онъ такъ  
и бредить твоей Ольгой Дмитриевной. Хочешь вѣрь, хочешь  
нѣтъ, а видитъ Богъ—исхудаль! Бывало, живетъ безвыѣз-  
дно въ своей коломенской отчинѣ, а теперь ему на мѣстѣ  
не посидится: поживетъ въ одномъ селѣ недѣльки двѣ, а  
тамъ переѣдетъ въ другое, изъ другого въ третьемъ, словно  
его кто-нибудь гоняетъ. Тоска, дескать, одолѣла, хлѣба  
лишился!

— Да отчего жъ, любезный? Вѣдь онъ моей племян-  
ницы и въ глаза не видываль.

— Ну вот поди ты!... Видно ужь я не путемъ ее расхвалилъ. Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, откладывать нечего. Ужь коли ты со мной порѣшилъ, такъ чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.

— А Богъ вѣсть, любезный! Какъ поспѣшишь, да людей насмѣшишь.

— Какъ такъ?

— Да такъ! Я вчера пытался сторонкою намекнуть объ этомъ племянницѣ...

— Ну что-жъ она?

— И руками и ногами!

— Чай, прежде хочеть посмотрѣть своего жениха?

— Нѣтъ, объ этотъ и рѣчи не было.

— Такъ изъ чего-жъ она упрямится?

— Изъ чего? Вотъ въ томъ то и дѣло, другъ сердечный. Ты говоришь, что князь Андрей съ тоски умираеть по моей племянницѣ, и она все тоскуеть да плачетъ, только, кажись, не о немъ.

— Что ты говоришь?

— Да, любезный. Помнишь, ты мнѣ рассказывалъ объ этомъ гвардейскомъ фенрикѣ, сирѣчь прапорщикѣ, который позвакомился съ нею у нѣмца Гутфеля?

— Какъ же! Василий Михайловичъ Симскій, племянникъ Данилы Никифоровича. Оба хороши—и племянникъ и дядюшка! Ты знаешь, что этотъ старый чортъ оскобилъ себѣ бороду?

— Знаю, знаю!... Да это что! У всякаго свой царь въ головѣ. Захотѣлъ осрамить себя на старости—его воля! А вотъ что худо, Лаврентій Никитичъ: мнѣ сдается, что этотъ Симскій не въ добрый часъ свелъ знакомство съ племянницею.

— А что?

— Вѣстимо, что: Симскій—молодецъ, собою красавецъ...

— Да неужели ты думаешь, Максимъ Петровичъ, что племянница твоя до того забыла весь дѣвичій стыдь...

— Что, не спросяся меня, полюбила этого Симскаго!... Эхъ, Лаврентій Никитичъ! И не хотѣлось бы этого думать, да думается.

— И, полно, другъ сердечный! Можетъ ли статья, чтобъ воспитанная въ благочестивомъ домѣ, благородная и разумная дѣвица полюбила заѣзжаго дѣтину, который сегодня здѣсь, а завтра Богъ вѣсть гдѣ!... Да и онъ, чай, вовсе о ней не думаетъ. Вѣдь эта петербургская молодежь

на нашихъ московскихъ барышень и смотрѣть не хочеть. Вотъ кабы онъ посватался за твою племянницу...

— Да то-то и бѣда, любезный, что онъ сватался.

— Неужли?

— Да, Лаврентій Никитичъ! Дядюшка его, Данила Никифоровичъ, самъ изволилъ сватомъ пріѣзжать.

— Ну что-жь, ты его порядкомъ отбояришь?

— Да. Я сказалъ наотрѣвъ, что этому не бывать.

— А Ольга Дмитриевна знаетъ, что Симскій за нее сватался?

— Какъ это можно! Ея на ту пору и дома не было.

— Да Аграфена то Петровна не сказала ли объ этомъ племянницѣ?

— Сохрани Господи!... Хоть она и очень поглупѣла, а все еще настолько то у ней въ головѣ толку есть, чтобъ понапрасну дѣвку не тревожить.

— Полно, такъ ли?

— Ужь я тебѣ говорю. Сестра мнѣ сама сказала, что она объ этомъ Оленькѣ никогда не заикнется. Ужь если, дескать, ей, бѣдной, не суждено быть за Симскимъ, такъ лучше вовсе не знать, что онъ хотѣлъ на ней жениться.

— Ну, коли ты правду говоришь, такъ это еще дѣло поправное.

— И я тоже думаю, только надобно за него умненько взяться. Круто повернешь — хуже будетъ, любезный! Теперь, можетъ статься, она частехонько думаетъ объ этомъ Симскомъ, а какъ пройдетъ мѣсяць, другой, такъ дурь то понемногу изъ головы выйдетъ.

— Эко дѣло, подумаешь! — прервалъ Рокотовъ. — Вотъ онѣ—эти проклятыя асамблеи! Бывало, наша сестра, благородная дѣвица, сидитъ у себя въ терему, болтаетъ съ подружками о томъ, о семъ, погадаетъ на святкахъ о суженомъ, да, можетъ статься, иногда, выходя изъ церкви, взглянетъ украдкою на какого-нибудь молодого парня—вотъ и все!... А теперь, на этихъ бѣсовскихъ сходбищахъ, обступятъ ее, мою голубушку, удалые молодцы, начнутъ подхваливать, да всякія другія неподобныя рѣчи говорить,— такъ диво ли, что у нея голова то кругомъ поидеть. Да вотъ хоть твоя племянница — почему ты знаешь, можетъ быть этотъ подлипало, Симскій, давно ужъ ей сказалъ, что хочеть на ней жениться?

— Ну, этого не думаю, любезный: племянница не

стала бы такихъ рѣчей и слушать; да и онъ, какой бы ни былъ сорви-голова, а не посмѣлъ бы такъ обидѣть благородную дѣвицу.

— А кто его знаетъ! Вѣдь нынѣшніе то молодые ребята не то, что мы были съ тобою въ старину; отъ этихъ пострѣловъ всего жди... Да вотъ стой, любезный, — вѣдь Ольга Дмитріевна съ нами будетъ кушать?

— Вѣстимо дѣло: она у меня хозяйка въ дому. Да ты не хочешь ли ужь самъ объ этомъ съ нею поговорить?... Иабави, Господи: ты все дѣло испортишь!... Она сгоритъ со стыда...

— Да ужь не бойся, Максимъ Петровичъ, я маху не дамъ... У меня есть кой-что въ головѣ... и коли правда, что она ничего не знаетъ, такъ погоди, любезный, будетъ какъ шелковая!

— Да ты скажи мнѣ...

— Теперь ничего не скажу; а велика, братъ, подать водки, да чего-нибудь закусить: я что то очень проголодался.

Передъ самымъ обѣдомъ Ольга Дмитріевна, желая угодить своему дядѣ, который очень любилъ всѣ старинные обычаи, вошла въ гостиную и взяла изъ рукъ слуги, который шелъ позади нея, небольшой серебряный подносъ съ двумя позолочеными чарками.

— Милости просимъ, Лаврентій Никитичъ! — сказалъ Прокудинъ. — Подавай, племянница!

— Ахъ ты, моя красавица! — молвилъ Рокотовъ, принимаясь за чарку. Ну, стою ли я этой милости?... Да это и дѣло то не дѣвичье!

— Знаю, другъ сердечный! — прервалъ Максимъ Петровичъ. — Вотъ кабы моя покойница была жива, такъ она бы поднесла тебѣ чарочку, а теперь не осуди, любезный: другой хозяйки у меня въ дому нѣтъ.

Ольга Дмитріевна поднесла другую чарку Максиму Петровичу, похристосовалась съ Лаврентіемъ Никитичемъ и, пригласивъ къ столу хозяина и гостя, пошла — не прогнавшись, любезныя читательницы — не впереди нихъ, а *вслѣдъ* за ними въ столовую комнату. Къ концу обѣда Рокотовъ началъ говорить о московскихъ новостяхъ.

— Дошелъ ли до тебя слухъ, Максимъ Петровичъ, — сказалъ онъ, — что Государя Петра Алексѣевича, когда онъ изволилъ быть въ польскомъ городѣ Луцкѣ, сильно схватилъ какой то недугъ?

— Помилуй Господи! А теперь то что?

— Говорять, совсѣмъ оправился; а такъ было прихватило, что не чаяли ему, нашему батюшкѣ, и въ живыхъ остаться.

— Скажи пожалуйста!... Вотъ была бы напасть то! И дома умирать не легко, а умереть въ дорогѣ...

— Да это будетъ когда-нибудь. Разъѣзжать то онъ больно охочь, нашъ батюшка: сегодня въ Архангельскѣ, а тамъ, глядишь, черезъ недѣлю въ Воронежѣ... Въ старину этого не бывало: наши православные Цари всегда жилали дома.

— Такъ, Лаврентій Никитичъ, да за то, чай, иногда за глазами то и Богъ вѣсть что дѣлалось. Вѣдь Русскій Царь въ своемъ государствѣ, что хозяинъ въ дому; а коли хозяинъ самъ за всѣмъ не присмотритъ, такъ пеняй на себя. Нѣтъ, этимъ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ хорошъ: все хочеть видѣть своими глазами, все знать доподлинно; и самъ не лѣнится, и другихъ понукаетъ. Нечего сказать—хозяинъ!... Эхъ, если-бъ онъ, нашъ кормилецъ, поменьше любилъ этихъ проклятыхъ нѣмцевъ!...

— Если-бъ!... Вотъ то-то и есть, любезный: кабы не тучи на небѣ, такъ мы бы солнышко видѣли... Ну, да что объ этомъ!... Поговорилъ бы я съ тобою...—промолвилъ шопотомъ Лаврентій Никитичъ, поглядывая на слугъ, которые суетились вокругъ стола; поспорилъ бы... да ушей то здѣсь больно много... А знаешь ли ты, другъ сердечный,—продолжалъ Рокотовъ, какая была у насъ въ Москвѣ богопротивная содомщина?... Какъ ты думаешь: на первой недѣлѣ Великаго поста, у этого собачьяго сына, Гутфеля, была асамблея съ музыкою и со всякими бѣсовскими потѣхами! Знаешь, нѣмецкую масленицу справлялъ.

— Да ужь вѣрно у него никого изъ русскихъ не было?

— Вотъ то-то и дѣло! Говорять, что были.

— Не можетъ статься...

— И я плохо этому вѣрю, а мнѣ называли... Ну ка, отгадай, кого?... Андрея Семеновича Юрлова съ женою и съ дочерью!

— Ахъ онъ, старый хрычъ.. Да что, онъ перешель что-ль въ нѣмецкую вѣру?

— Вотъ изволишь видѣть: старикъ простоватъ, а мать баловница; видно, хотѣла свою дочку развеселить. Говорять, она больно тоскуетъ по своемъ женихѣ.

— А развѣ дочка то ихъ помолвлена.

— Такъ ты объ этомъ и не слыхалъ? Давно ужъ помолвлена. Ну, нечего сказать,—убили бобра!

— А что?

— Правду говорить, любезный, что глупость то подчасъ хуже воровства! Помолвили они свою дочь за гвардейскаго офицера. Дѣтина, говорятъ, видный собою, а такой вѣтрогонъ, что не приведи Господи! На другой день помолвки онъ поскакалъ догонять свой полкъ, который теперь въ походѣ. Ну чтобъ имъ, кажется, не сказать: «ты, дескать, батюшка, сходи прежде подъ турка, а тамъ, какъ вернешься живъ и здоровъ, такъ мы объ этомъ и поговоримъ съ тобою». А то, разсуди самъ, Максимъ Петровичъ: воротится онъ объ одной рукѣ или на деревяшкѣ, — тогда то что?.. Попятятся и взять свое слово назадъ — дѣло не честное, да и дочку то выдать за калѣку большой радости нѣтъ; анъ и выходить: сглуповали такъ, что и сказать нельзя. И чему обрадовались? Достатка большого нѣтъ и, говорятъ, мальчишка пребезпутный. Онъ съ перевозимья былъ также въ Москвѣ и тогда еще втихомолку сватался за Юрлову, а въ то же время, говорятъ, у Алексѣя Тихоновича Стрешнева старшую дочь съ ума свелъ, разбойникъ! Да ты долженъ его знать, Максимъ Петровичъ: онъ родной племянникъ пріятелю твоему, Данилѣ Никифоровичу.

— Родной племянникъ?

— Ну, да!.. Какъ бишь его... дай Богъ память... Да!..  
Василій Михайловичъ Симскій.

Ольга Дмитріевна поблѣднѣла.

— Олинъка, что ты, мой другъ? — вскричалъ Прокудинъ, вскочивъ со стула и подходя къ племянницѣ.

— Такъ, дядюшка, — отвѣчала дрожащимъ голосомъ Ольга Дмитріевна.—Голова болитъ.

— На-ка, мой другъ, выкушай водицы... Ахъ, Господи, на тебѣ лица вовсе нѣтъ!

— Ничего... пройдетъ...

— Пройдетъ,—повторилъ Рокотовъ, вставая.

— Ступай, мой другъ, къ себѣ, — сказалъ Прокудинъ.

Прилягъ, да сосни, если можешь...

— Да, дядюшка... позвольте мнѣ...

— Ступай, мой другъ, ступай!..

Ольга Дмитріевна вышла вонъ изъ комнаты

— Ахъ, Господи! — прошепталъ Максимъ Петровичъ. Какъ ее вдругъ перевернуло!.. Эхъ, любезный!..

— А что?—спросилъ Рокотовъ.

— Какъ можно этакъ... вдругъ... не говоря добраго слова...

— Нѣтъ, доброе то слово я сказалъ; посмотри, что будетъ!.. Да пойдемъ отсюда.

— Андриушка, — молвилъ Максимъ Петровичъ, ступай, провѣдай барышню—что она...

— Да что ты тревожишься? — продолжалъ Лаврентій Никитичъ, когда они вошли въ гостиную. Эка важность!.. Ну, поплачетъ денекъ, много другой—вотъ и все.

— Бѣдненькая!.. Эхъ, сестра, сгубила ты мою Ольгу Дмитріевну!

— И, полно, братецъ!.. Велика бѣда, что молодой дѣвкѣ приглянулся пригожій дѣтина. Небойсь, любезный: теперь, какъ она знаетъ, что онъ помолвленъ съ другой, такъ въ головкѣ то у нея бродить перестанетъ.

— Да что этотъ Симскій въ самомъ дѣлѣ женится на Юрловой?

— А почему знать, можетъ быть я ему и напороочилъ.

— Такъ ты солгалъ, любезный?

— Солгалъ, Максимъ Петровичъ.

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, нехорошо!

— А почему-жъ не хорошо? Да развѣ ты не знаешь, что ложь бываетъ иногда во спасеніе?

— Нѣтъ, я этого не знаю.

— Вольно-жъ тебѣ не знать. Мнѣ сказывали, что это въ какой то духовной книгѣ напечатано.

— Вѣрно въ той же, въ которой говорится: «отруби по локоть ту руку, которая добра себѣ не желаетъ?»

— Можетъ статься.

— Нѣтъ, любезный, такихъ духовныхъ книгъ не было и не будетъ. Не то заповѣдалъ намъ Господь: Онъ говорить, что что всякая ложь есть отъ дьявола.

— Ахъ ты, святоша этакій! Ну что за грѣхъ солгать ради пользы? Вѣдь ты не хочешь выдать свою племянницу за этого Симскаго?

— Не хочу.

— Такъ не лучше ли, чтобъ она вовсе о немъ не думала?.. Что покачиваешь головою?.. Ну, добро, добро,—коли по твоему это грѣхъ, такъ я беру его на свою душу.



— И что толку то будетъ изъ этого?

— А вотъ погоди: дай ей денька два наплакаться досыта, а тамъ заговори съ нею опять о князѣ Андрѣе Юрьевичѣ, такъ увидишь, что она тебѣ отвѣтитъ.

— Ну что, Андрюшка,—спросилъ Прокудинъ у слуги, который вошелъ въ гостиную,—что Ольга Дмитріевна?

— Все слава Богу, батюшка. Нянюшка Ѳедосья говорить, что барышня ни на какую болѣзнь не жалуется, а только прилегла на постель и втихомолку изволилъ плакать...

— Ступай!.. Ну, слышишь, Лаврентій Никитичъ: она плачетъ...

— Еще бы: и нашему брату въ такомъ дѣлѣ сгрустнется, а вѣдь она дѣвица. Да пусть себѣ поплачетъ, — ничего, пройдетъ.

— Пройдетъ!.. Вѣстимо дѣло, все пройдетъ, да каково то ей теперь?

— И, любезный,—стерпится, слюбится.

— Хорошо кабы такъ. Да точно ли ты увѣренъ, что князь Андрей Юрьевичъ будетъ добрымъ мужемъ?

— Я, Максимъ Петровичъ, боюсь только одного, что онъ вовсе избалуеетъ жену. Такіе добрые люди, какъ онъ, въ диковинку.

— Это то хорошо. По мнѣ доброта лучше разума, а все бы не мѣшало, еслибъ онъ былъ..

— Такъ же умень, какъ твоя Ольга Дмитріевна?

— Ну хоть и не также..

— Да что ты такъ за умомъ то гонишься?.. Вѣдь съ умнымъ мужемъ жена не барыня. То ли дѣло, когда онъ по ея дудочкѣ пляшетъ.

— Не хорошо и это, Лаврентій Никитичъ.

— Вѣстимо не хорошо, коли жена не умнѣ мужа; а вѣдь у твоей Ольги Дмитріевны ума то на двоихъ мужей достанетъ. Увидишь, другъ сердечный, заживутъ такъ, что любо!.. Князь Андрей будетъ во всемъ ее слушаться, да и она также иногда его послушается. Я ужъ тебѣ говорилъ, что онъ не простофиля же какой-нибудь; онъ смотритъ только простячкомъ, а гдѣ надобно, такъ вовсе не глупъ. Ну да что объ этомъ говорить! Коли дѣло совсѣмъ сладится, такъ скажешь спасибо, и Ольга то Дмитріевна не разъ мнѣ поклонится; а теперь не худо бы отдохнуть, любезный, а тамъ и въ путь.

— Какъ,—равнѣ ты у меня не ночуешь?

— Нельзя. Чай, теперь князь Андрей ждет меня не дождется. Я ему скажу, Максимъ Петровичъ, что на Ооминой недѣлѣ свадьба будетъ.

— И, что ты, Лаврентій Никитичъ, помилуй!

— Хорошо, хорошо!.. Приѣзжай ко мнѣ этакъ денька черезъ три, такъ, можетъ статься, мы съ тобой поладимъ.

Лаврентій Никитичъ, отдохнувъ часа полтора, распрощался съ Прокудинымъ и отправился обратно въ свою деревню.

На другой день по утру Ольга Дмитріевна пришла въ комнату къ своему дядѣ. Она была такъ блѣдна, такъ исхудала въ однѣ сутки, что Максимъ Петровичъ перепугался.

— Олинька, другъ мой — вскричалъ онъ. Что съ тобой?.. Да ты никакъ въ самомъ дѣлѣ больна?

— Нѣтъ, дядюшка, — отвѣчала Ольга Дмитріевна. Теперь, слава Богу, мнѣ гораздо лучше.

— Лучше? Да отъ чего же ты такъ блѣдна?

— Я всю ночь не могла заснуть.

— И, вѣрно, плакала?.. Посмотри ка, глаза то у тебя!..

— Теперь ужъ я не плачу, дядюшка. Всю ночь у меня болѣла голова и сердце. что то очень тосковало. Вотъ въ самыя заутрени я встала съ постели, начала молиться предъ иконою Божіей Матери; мнѣ какъ будто бы сдѣлалось полегче, а тамъ все лучше да лучше, тоска прошла, и теперь я почти совсѣмъ здорова.

— Дай то Господи!.. А все что то смотришь невесело. Вотъ то-то и есть: тебѣ скучно, ты вовсе отвыкла отъ нашего деревенскаго житья.

— Привыкну опять, дядюшка.

— Нѣтъ, Ольга Дмитріевна, не привыкнешь. Вотъ еслибъ ты была замужемъ — дѣло другое: съ добрымъ мужемъ вездѣ весело.

— Да мнѣ и съ вами не скучно.

— Такъ то говоришь, мой другъ, а въ самомъ то дѣлѣ у тебя, чай, все Москва на умѣ.

— О, нѣтъ, дядюшка! Богъ съ нею совсѣмъ.

— Добро, добро!.. А знаешь ли что, Олинька? Вѣдь я тебѣ напророчилъ: князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій за тебя сватается...

Максимъ Петровичъ остановился и посмотрѣлъ съ удивленіемъ на свою племянницу. Да и было чему подивиться.

«За тебя сватаются»,—кажется, отъ этихъ словъ у каждой дѣвушки должно сердце замереть отъ радости или отъ ужаса, смотря потому, кто сватается, а Ольга Дмитріевна преспокойно ихъ выслушала, не обрадовалась, не испугалась, не перемѣнилась въ лицѣ, ну точно какъ будто-бы рѣчь шла о какой-нибудь вовсе не знакомой ей дѣвицѣ.

— Да, мой другъ, — повторилъ Максимъ Петровичъ, помолчавъ нѣсколько времени, — князь Шелешпанскій за тебя сватается.

— Слышу, дядюшка.

— Ну чтожъ прикажешь ему сказать?

— Что вамъ угодно.

— Такъ ты пойдешь за него замужъ?

— Воля ваша.

— А коли моя, такъ послушай, мой другъ: князь Андрей Юрьевичъ женихъ не дюжинный; онъ роду знатнаго, человѣкъ молодой, одинокій, собою молодецъ; я слышу отъ всѣхъ, что онъ очень добръ, а ужъ какъ богатъ...

— И, дядюшка,—мнѣ все равно...

— Все равно? Даже и то, мой другъ, если твой мужъ увезетъ тебя за тридесять земель, или будешь жить почти вмѣстѣ со мною?

— О, нѣтъ,—вскричала Ольга Дмитріевна, кинувшись на шею къ своему дядѣ,—я не хочу съ вами разставаться!

— Милое дитя мое!—сказалъ Прокудинъ, обнимая племянницу. Ну какъ же мнѣ не любить тебя какъ дочь родную! Знаешь ли что, мой другъ? Коли ты выйдешь замужъ за князя Шелешпанскаго, такъ мы по зимамъ не будемъ жить въ деревнѣ. Ты человѣкъ молодой, любишь Москву...

— Москву!.. Нѣтъ, дядюшка, мнѣ тамъ будетъ скучно.

— Скучно? Да вѣдь ты о ней тосковала?..

— Да, дядюшка, сначала, а теперь я вовсе въ Москву не хочу. Я хотѣла бы только повидаться съ тетускою...

— Вотъ кстати напомнила! Ужъ коли у насъ дѣло идетъ на ладъ, такъ мы тетуску то на свадьбу выпишемъ. Да нечего и мѣшкать: сегодня же пошлю къ ней нарочнаго въ Москву.

— Сегодня?—повторила встревоженнымъ голосомъ Ольга Дмитріевна. Такъ вы хотите?..

— Затѣмъ откладывать, мой другъ? Веселымъ пиркомъ да за свадебку!

— Ахъ, дядюшка,—промолвила сквозь слезы Ольга Дмитріевна: онъ только что посватался...

— Нѣтъ, мой другъ... Дѣло прошлое: вѣдь князь Шелешпанскій сватался за тебя еще до великаго поста. Уже если ты согласна выдти за него замужъ, такъ чтожь его, бѣдняжку, маить? За мною дѣло не станетъ: твое приданое готово... Вотъ мы этакъ въ четвертокъ на Фоминой недѣлѣ сдѣлаемъ дѣвичникъ, а въ пятницу съ Божьимъ благословеніемъ...

Ольга Дмитріевна опустила голову на плечо къ своему дядѣ и громко зарыдала.

— Что ты, что ты, мой другъ! — вскричалъ Максимъ Петровичъ. Да успокойся, Бога ради!... Коли хочешь, мы отложимъ свадьбу на мѣсяць... на два... на три... какъ тебѣ угодно! Конечно,—продолжалъ онъ, я желалъ бы... да и какъ мнѣ старику не желать, чтобъ это было поскорѣе! Вѣдь ужъ мнѣ давно седьмой десятокъ пошелъ, станешь каждымъ денечкомъ дорожить! Что будешь дѣлать, вотъ и теперь: я здоровъ, слава, Богу, а все мнѣ кажется, что не доживу до этой радости и какъ подумаю: ну, коли Господь Богъ пошлетъ по-душу, прежде чѣмъ я пристрою моего друга сердечнаго, такъ, повѣришь ли, сердце у меня такъ и обольется кровью!

Ольга Дмитріевна подвняла голову: въ ея задумчивыхъ голубыхъ глазахъ выразалось какое то грустное спокойствіе; на длинныхъ рѣсницахъ блистали еще слезы, но она ужъ не плакала. Съ полминуты продолжалось молчаніе... Вдругъ блѣдныя ея щеки вспыхнули, она взглянула съ необычайнымъ оживленіемъ на своего дядю и сказала твердымъ голосомъ:

— Да, дядюшка, вы правду говорите: зачѣмъ откладывать.

— Такъ ты согласна, Ольга Дмитріевна?... Въ будущей четвергъ...

— Какъ вамъ угодно, дядюшка!... Теперь позвольте мнѣ...

— Что, мой другъ?...

— Я пойду къ себѣ... Да не бойтесь: я иду не плакать... нѣтъ, я хочу помолиться Богу, дядюшка.

— Ступай, мой ангелъ, ступай!... Ну, — прошепталъ Максимъ Петровичъ, когда племянница его вышла вонъ изъ комнаты, — нечего сказать: хитеръ Лаврентій Никитичъ!

Какъ онъ отгадалъ, что будетъ!... Дай то Господи, чтобъ только въ добрый часъ!... Да чтожь это сердце то у меня... радуется что-ль или тоскуеть?... Кажись, какъ бы ему не радоваться, а все какъ будто бы щемить... Вотъ то-то и есть: идти то замужъ она идетъ, да какъ идетъ!... Бѣдняжка!... То-ли бы дѣло было... Эхъ, не бывать бы ей за княземъ Шелешпанскимъ, если-бъ этотъ пострѣль Симскій не служилъ въ Питерѣ и не стоялъ, какъ за своихъ кровныхъ, за этихъ окаянныхъ, паскудныхъ нѣмцевъ!

### III.

Въ среду на Оминой недѣлѣ, часу въ пятомъ послѣ обѣда, народъ гулялъ толпами по широкой улицѣ села Вадвиженскаго. На барскомъ дворѣ замѣтно было необычайное движеніе. Вся господская дворня занималась приготовленіемъ къ наступающему торжеству. Одни выкатывали изъ погребовъ бочки съ пивомъ, другіе ставили на дворѣ длинные столы для угощенія *меньшихъ братьевъ христовыхъ*, то-есть нищихъ, увѣчныхъ и недужныхъ, которые начинали уже по-немногу собираться изъ всѣхъ окрестныхъ мѣстъ въ село Вадвиженское на свадебный пиръ къ боярину Максиму Петровичу Прокудину. Передъ самымъ господскимъ домомъ толпились въ праздничныхъ нарядахъ крестьянскія старухи, молодыя бабы и красныя дѣвицы; онѣ смотрѣли въ окна, какъ ихъ барышня, государыня Ольга Дмитріевна, изволить справлять свой дѣвичникъ.

— Смотри-ка, смотри!—молвила одна старуха, толкнувъ локтемъ свою внучку. Вонъ видишь за столомъ то сидятъ?

— Вижу, бабушка.

— Это все боярскія дочки.

— Да ихъ что то немного.

— Да, маленько!.. Вотъ двѣ то, что сидятъ подлѣ нашей матушки Ольги Дмитріевны, съ правой руки, дочки боярина Шетнева, а съ лѣвой... вонъ энта... бѣлобрысая то... это, кажись, внучка кадыковскаго барина, Карпа Саввича Пыжова... А ужъ другихъ то я не знаю.

— Чай, изъ Москвы понаѣхали. Да какія же онѣ, бабушка, все пригожія!..

— Эхъ, дитятко, кому-жь и быть то пригожимъ? Боярскія дочки сладко ѣдятъ, живутъ въ холѣ... что имъ дѣ-

лается!... А все далеко имъ до нашего краснаго солнышка, нашей родной то Ольги Дмитриевны, дай ей Господи много лѣтъ здравствовать!... Эка пава, подумаешь!

— Бабушка,—прервала одна молодлица,—да что-жъ это наша барышня то... гляди-ка... кровинки нѣтъ въ лицѣ!... И головку то изволила понурить...

— Эхъ ты, глупая, глупая!—молвила старуха, покачивая головою. Да гдѣ видано, чтобъ невѣста ухмылялась? Чай, и ты на своемъ дѣвичникѣ зубы то не скалила?

— Кто? Она? — подхватила пожилая баба. Да она на своемъ дѣвичникѣ только что не плясала, словно не ее замужъ выдавали.

— Ну, Авдотья,—сказала старуха,—такъ не даромъ же тебя муженекъ то поколачиваетъ. Коли ты такая озорница, что и въ невѣстахъ не плакала...

— Эхъ, бабушка,—да коли не плачется...

— Такъ ты бы хрѣнку понюхала, дура этакая!... Вѣдь старые люди говорятъ: коли дѣвка въ невѣстахъ не плачетъ, такъ наплачется вдоволь замужемъ.

— А что, Потапевна, —спросила пожилая баба старуху,—что говорятъ о женихѣ?

— Да говорятъ, что онъ и собой молодець, и отчинъ много, и роду княженецкаго...

— Ну, слава тебѣ Господи! А что, онъ завтра что ль прїѣдетъ съ повѣдомъ, прямехонько въ церковь Божию?

— Нѣтъ, Ѳедосья. Прокофій Сидорычъ говорилъ при мнѣ батькѣ Филиппу, что женихъ прїѣдетъ къ намъ сегодня и переночуетъ здѣсь на селѣ со всѣмъ своимъ повѣдомъ. Для нихъ... вонъ тамъ за рѣчкою, на верхнемъ порядкѣ десять дворовъ отведено... Постоите-ка!..

— Что, бабушка?

— Нишни, Аксютка! Кажись, въ дому то собираются пѣть!.. Чу!

Въ комнатѣ раздались звуки унылой пѣсни, подъ которую подлинно трудно было невѣстѣ не заплакать. Сѣнныя дѣвушки запѣли:

„Ласточка, касаточка,  
Не вей гнѣзда во высокомъ терему:  
Ужъ не жить тебѣ здѣсь и не летывать“...

— Чтожъ это онѣ?—шепнула старуха.

— Да это, кажись, пѣсня то не свадебная, а подблюдная.

— Знать, обмисулились, — сказала молодница.

— Эй, вы, голубки! — закричалъ крестьянскій парень, подбѣгая къ бабамъ. — Что вы здѣсь глаза то пялите?... Ступайте за околицу.

— А что? — спросила старуха.

— Женихъ съ повѣдомъ ѣдетъ.

— Ой-ли?

— Право такъ!

— То-то же! Вѣдь ты, Фомка, озорникъ, — пожалуй даромъ насъ перебулгатишь!

— Вотъ те святъ — ѣдетъ! Весь народъ и валить изъ села.

— Да чтожь, онъ близко что-ль?

— Баютъ, ужъ выѣхалъ изъ господской застѣвки и подымается на горку.

Въ полминуты на барскомъ дворѣ не осталось никого, и даже дворовые люди, покинувъ свою работу, пустились бѣгомъ за остальными мужиками, которые спѣшили всѣ на встрѣчу къ жениху. У самой околицы, приходскій священникъ, отецъ Филиппъ, держа въ рукахъ крестъ, дожидался, со всѣмъ церковнымъ причтомъ, суженаго боярышни Ольги Дмитриевны. Позади него стоялъ, съ хлѣбомъ и солью, дворецкій, Прокофій Сидорычъ Кулага. Народъ толпился по обѣимъ сторонамъ дороги. Разумѣется, всѣ стояли безъ шапокъ. Прокофій Сидорычъ, какъ человѣкъ опытный и бывалый, посматривалъ заботливо на православныхъ, стараясь замѣтить, нѣтъ ли въ числѣ ихъ какого-нибудь *чедобраго* человѣка. Вотъ толпа заколыхалась, народъ разступился: старая, безобразная баба, опираясь на клюку, вышла впередъ и остановилась на самой дорогѣ. Прокофій Сидорычъ нахмурился.

— Послушай-ка, Антонъ, — шепнулъ онъ дворовому парню, который стоялъ подлѣ него, — вѣдь эта старуха... вотъ что вышла впередъ... кажись, кадыковская ворожея Савельерна?

— Да, Прокофій Сидорычъ, она.

— Зачѣмъ пожаловала, старая чертовка!.. Знаемъ мы ихъ!.. Поди-ка, скажи ей, чтобъ она убиралась по добру, по здорову... намъ этакихъ гостей не надобно... Погоди, погоди!.. На вотъ тебѣ алтынъ... сунь ей въ руку, а то еще пожалуй разгнѣвается, вѣдьма проклятая, всю скотину перепортитъ, — чего добраго!.. Эй, Антонъ, стой!.. Ну хоть вовсе то не гони ее, — провались она ставни, — а только

отведи къ сторонѣ, подальше отъ дороги.. знаешь, чтобъ глазъ то у нея до жениха не хватилъ.

— Слушаю, Прокофій Сидорычъ; ужь я ее спроважу.

— Ну, то-то же, смотри!

— Ъдутъ, ъдутъ!—раздались голоса изъ толпы.

Шагахъ въ двухстахъ показались изъ за горки два передовые вершника съ бѣлыми ширинками черезъ плечо; за ними потянулся длинный поѣздъ щеголевато одѣтыхъ холопей Лаврентія Никитича,—ихъ было до сорока: всѣ они сидѣли на красивыхъ коняхъ и ѣхали по-парно: потомъ ѣхали также верхомъ двое жениховыхъ дружекъ, сыновья Герасима Николаевича Шетнева, а немного позади — князь Андрей Юрьевичъ Шелешпанскій и Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Подъ первымъ красовался отличный персидскій аргамакъ, бѣлый какъ снѣгъ, съ заплетенною гривой и перевязаннымъ хвостомъ; второй сидѣлъ на ворономъ черкасскомъ жеребцѣ. На женихѣ была шапка мурмолка съ соболинымъ околышсмъ, красный объяринный кафтанъ и парчевая ферязь съ золотыми петлицами. Надобно сказать правду: князь Шелешпанскій сидѣлъ молодцомъ на своемъ борзомъ аргамакѣ, и когда этотъ полный огня и жизни красавецъ-конь начиналъ подъ нимъ играть, онъ сдерживалъ его могучею рукой и, какъ будто бы шутя и безъ всякаго усилія, заставляя идти ровнымъ и тихимъ шагомъ. Поѣздъ оканчивался длиннымъ рядомъ всякаго рода повозокъ, съ числѣмъ которыхъ отличалась особенно, обитая алымъ сукномъ, огромная колымага съ позолоченными колесами. Въ ней сидѣли: посаженная мать князя Шелешпанскаго—супруга Лаврентія Никитича Рокотова, Герасимъ Николаевичъ Шетневъ и сваха изъ мелкопомѣстныхъ дворянокъ, которая должна была принимать молодыхъ въ опочивальнѣ и осыпать ихъ хмѣлемъ. Всѣ мужики, завидя господъ, примолкли и низко поклонились; бабы также поклонились, но только принялись болтать пуще прежняго.

— Посмотри-ка, Акулина,—молвила одна молодая баба:— съ правой то стороны женихъ что-ль ѣдетъ?

— Вѣстимо, женихъ. Съ лѣвой ѣдетъ бояринъ Рокотовъ.

— Такъ это женихъ то?.. Ну, неча сказать: соколь ясный!..

— Батюшки свѣты,—закричала другая молодлица, — какой на немъ зипунъ то!.. А сбруя то на лошади... матушки!.. Никакъ литого серебра!



— Какого серебра! Развѣ самоцвѣтнаго золота,—вишь, какъ на солнышкѣ то горить!

— Смотри, кума, смотри, какъ лошадь то подъ нимъ прядаетъ!.. Ну, молодець!

— У, батюшки, какой рослый, дородный!..

— Да личмянный какой!.. Гляди-ка, тетка, гляди, лицо-то у него такъ и пышетъ!

— Ну, послалъ Господь женишка нашей боярышнѣ!

— Подавай ей, Господи!..

— Эй вы, бабье,—закричалъ Кулага,—тише вы!.. Что вы такъ горланите, чечотки этакія... Тише, говорить!.. Наболтаетесь дома!

Подѣхавъ къ околицѣ, поѣздъ пріостановился; князь Андрей Юрьевичъ сошелъ съ коня, приложился къ кресту, принялъ отъ дворецкаго коровай, на которомъ стояла серебряная солонка, потомъ сѣлъ опять на своего аргамака, и поѣздъ двинулся снова впередъ. За нимъ кинулся весь народъ. Старики плелись позади, молодые ребята забѣгали впередъ и, останавливаясь на каждомъ крестцѣ, встрѣчали жениха низкими поклонами. Когда поѣздъ поровнялся съ господскимъ домомъ, за ворота высыпала цѣлая толпа свѣнныхъ дѣвушекъ, а изъ домовыхъ оконъ высунулись головки пріѣзжихъ барышень. Всѣ онѣ казались очень пригожими,—вѣроятно потому же, почему и звѣзды кажутся ярче, когда нѣтъ на небѣ свѣтлаго мѣсяца: Ольги Дмитриевны не было въ числѣ этихъ любопытныхъ.

Максимъ Петровичъ, принявъ жениха и почетныхъ гостей въ просторной избѣ своего старосты, пригласилъ къ себѣ въ домъ Рокотова съ женою и Герасима Николаевича Шетнева. Женихъ, сваха, дружки и всѣ, составлявшіе поѣздъ, размѣстились по отведеннымъ для нихъ избамъ. Прокофій Сидорычъ заправлялъ угощеньемъ. Различныя наливки, вино, пиво и сладкіе меды лились рѣкою. Сваха набила себѣ препорядочный мѣшокъ черносливомъ, винными ягодами, финиками и всякими другими иноземными сластями; женихъ выпилъ цѣлую ендову имбирнаго меду и скушалъ фунтика три изюму; дружки также позабавились около сластей и посмаковали вдоволь прокудинской вишневки, которая подъ этимъ названіемъ славилась во всемъ околоткѣ. Объ остальномъ поѣздѣ и говорить нечего. Прокофій Сидорычъ не успокоился до тѣхъ поръ, пока не уложилъ въ лоскъ всѣхъ холопей Лаврентія Никитича; ему не удалось только

справиться съ однимъ ражимъ дѣтиною, который, по привычкѣ или по какой то особенной способности, пилъ вино какъ простой квасъ, а пиво какъ воду; впрочемъ, и тотъ, хотя стоялъ еще крѣпко на ногахъ, но не могъ ужъ вымолвить ни слова.

Вотъ этакъ часу въ седьмомъ, князь Шелешпанскій, которому стало душно въ избѣ, снялъ съ себѣ ферязъ и вышелъ въ одномъ кафтанѣ за ворота. Къ нему явился Прокофій Сидорычъ.

— Что, батюшка князь,—сказалъ онъ,—не угодно ли тебѣ прогуляться?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Шелешпанскій.—Я сяду вотъ здѣсь, на скамеечкѣ.

— Присядь, батюшка, присядь!.. Отсюда пригоже посмотреть на всѣ стороны. Мѣстечко дальновидное—на горкѣ вышло: верстъ за десять кругомъ видно, и все село какъ на блюдечкѣ.

— А что, старина,—сказалъ Шелешпанскій,—вѣдь это село то все ваше?

— Какъ-же, сударь.

— Отчина или помѣстье?

— Отчина, батюшка. Жалована еще при дѣдушкѣ Максима Петровича.

— Доброе село, доброе!.. Чай, этакъ дымовъ до полутора ста будетъ?

— Безъ малаго двѣсти.

— Вотъ какъ!... А что, вонъ энти поля за большою дорогою—ваши?

— Наши, сударь.

— А чернолѣсье, которымъ мы ѣхали?

— Это господская засѣвка.

— А вонъ вдали то боръ?

— Нашъ, батюшка, нашъ.

— Знатное село, знатное!.. Чай, у васъ по рѣчкѣ то луга заливные?

— Да, сударь, заливные. По той сторонѣ верстъ на пять пойдетъ все пойма. Наша рѣка не величка, батюшка, а весной по ней хоть струга ходи. Вонъ ракитникъ то на лугу,—въ полу ю воду однѣ вершинки видны.

— Знатное село!.. Кажись, и крестьяне у васъ исправные.

— Да, сударь, благодаря, во-первыхъ, Бога, а во-вторыхъ, государя Максима Петровича, мужички у насъ по

міру не ходять. Много есть зажиточныхъ, и развѣ рѣдкій только по мясоѣдамъ то пустыя щи хлебаеть.

— Вотъ какъ!.. Ну, знатное село!.. А что это, направо то, дорога куда пошла?

— Въ Москву, батюшка.

— Откуда жъ мы пріѣхали?

— Отъ Серпухова.

— Такъ!.. Посмотри-ка, старина, кто это тамъ по московской дорогѣ ѣдетъ?

— А кто ихъ знаетъ!.. Здѣсь ѣзда не малая. Бываетъ, временемъ, какъ въ Москву повезуть хлѣбецъ, такъ по дорогѣ и денно и ночью тянутся обозы. Въдѣ Серпуховъ—городъ торговый, батюшка; пристань на Окѣ, а кремль то никакъ почище былъ московскаго, весь изъ бѣлаго камня построенъ. Теперь онъ поразвалился, а все еще мѣстами какъ взглянешь на стѣну, такъ шапка съ головы валится. Говорять, будто бы его строилъ царь Иванъ Васильевичъ, — не Грозный, сударь, а дѣдушка Грознаго...

— Что это, братъ,—прервалъ Шелешпанскій, который, не слушая дворецкаго, продолжалъ смотрѣть съ примѣтнымъ безпокойствомъ на большую дорогу,—эти проѣзжіе то, видно, не мимо ѣдутъ?

— А что, сударь?

— Вонъ, видишь, своротили съ большой дороги... ѣдутъ сюда!

— Сюда?.. Такъ можетъ статься это сестрица Максима Петровича.

— Кто? Аграфена Петровна Ханыкова?

— Должно быть, она. Къ ней посылали нарочнаго въ Москву.

— Зачѣмъ?

— Что ты, батюшка князь!.. Какъ зачѣмъ? Въдѣ она родная тетушка твоей нареченной, такъ какъ же ея не позвать на свадьбу?

— Такъ она знаетъ, что завтра свадьба? — вскричалъ съ ужасомъ князь Андрей Юрьевичъ.

— Какъ не знать.

— Ну, плохо дѣло!

— А что, сударь?

— Бѣда, да и только!

— Бѣда,—повторилъ съ удивленіемъ Прокофій Сидорычъ.

— Да какъ же не бѣда! Вѣдь Аграфена то Петровна скажетъ объ этомъ Мамонову.

— Какому Мамонову?

— Ну вотъ этому—проваль бы его взять!.. Ахъ, Господи!.. Смотри-ка, смотри!.. На четырехъ тройкахъ!

— Да, сударь, это не Аграфена Петровна, а, кажись, люди служивые.

— Вотъ тебѣ разъ! — вскричалъ Шелешпанскій, вскочивъ со скамьи.

— Да, сударь. Вонъ остановились за околицей... говорить съ мужичками... вонъ одна подвода поѣхала прямо къ господскому дому... а съ другой то сошли служивые и стали воалѣ околицы... А вонъ остальные то двѣ подводы, кажись, повернули сюда... Ну, такъ и есть!.. Видно, къ старостѣ...

— А гдѣ живетъ староста?

— Здѣсь, батюшка. Это его изба.

Князь Андрей Юрьевичъ помертвѣлъ.

— Да вотъ ужъ они и ѣдутъ,—сказалъ дворецкій.—Экъ деруть!.. Видно, животы то не свои.

Князь Андрей Юрьевичъ кинулся на дворъ и началъ метаться по сторонамъ какъ угорѣлый. На всѣ вопросы Прокофія Сидорыча онъ не отвѣчалъ ни слова, а только повторялъ прерывающимся голосомъ:

— Гдѣ ворота, гдѣ ворота?

— Ворота?—спросилъ дворецкій, который, видя необычайный испугъ жениха, и самъ также немного испугался.— Какія ворота?

— На зады, на зады!

— Да вотъ, сударь, передъ тобою.

Шелешпанскій распахнулъ ворота, выскочилъ на огородъ и ударился бѣжать.

— Батюшка князь! — закричалъ Кулага, стараясь догнать жениха.—Да постой!.. Куда ты?..

Добѣжавъ до плетня, который отдѣлялъ огородъ отъ поля, Шелешпанскій остановился.

— Уфъ!.. Задохся!..—промолвилъ Прокофій Сидорычъ.— Да что это, сударь князь, куда ты изволишь бѣжать?

— И самъ не знаю! Куда глаза глядятъ! Ну вотъ хоть въ лѣсъ!

— Въ лѣсъ?.. Ахъ, Господи!.. Да отъ кого жъ ты это изволишь прятаться?

— Какъ, отъ кого? Вѣдь это пріѣхалъ Мамоновъ!

— Такъ чтожь?.. Да Богъ съ нимъ!.. Пускай онъ Мамоновъ... что тебѣ до этого?

— Да вѣдь онъ ужь два мѣсяца за мной гоняется.

— Гоняется?

— Ну да! Вѣдь у него указъ есть схватить меня, да въ солдаты.

— Какъ такъ?

— Да такъ! Слышь, велѣно всѣхъ новиковъ забирать на службу, и Аграфена то Петровна съ ними заодно... Ахъ, батюшки-сударики! Вотъ тебѣ и свадьба.

На заднемъ дворѣ избы раздался грубый голосъ:

— Эй, староста!.. Гдѣ староста? Подавайте его сюда!..

Князь Шелешпанскій полвѣзъ черезъ плетень.

— Погоди, батюшка!—закричалъ—Кулага. Тутъ болото: увязнешь по уши... Пстой, пстой!

Но Шелешпанскій перскинулся со всего размаху черезъ плетень, грянулся оземь и, къ счастью, попалъ не въ трясины, а между двухъ кочекъ, въ грязную лужу, въ которой онъ увязъ только по поясъ. Прокофій Сидорычъ перелѣзъ бережненько черезъ плетень и, придерживаясь за него, помогъ жениху выбраться на сухое мѣсто.

— Вотъ я говорилъ тебѣ, батюшка!—сказалъ онъ.—Тише, тише!.. Изволь ступить сюда... на кочку... вотъ такъ!..

— Ухъ, батюшки!—промолвилъ Шелешпанскій, отряхиваясь какъ медвѣдь, который вылѣзъ изъ болота. Грязи то на мнѣ, грязи!.. А кафтанчикъ новенькій, съ иголки...

— И, батюшка, сошьешь другой!.. Чу, никакъ ужь служивые то по огороду ходятъ...

Въ самомъ дѣлѣ, на огородѣ слышались голоса.

— Голубчикъ ты мой... родной, — прошепталъ князь Андрей Юрьевичъ, дрожа всѣмъ тѣломъ,—спрячь меня куда-нибудь!

— Да куда-жь я тебя спрячу, батюшка,—сказалъ Кулага, почесывая затылокъ.—Лѣсъ далеко и идти то до него все чистымъ полемъ. Вотъ кабы лѣтомъ, такъ дѣло иное: засѣлъ бы въ конопляхъ, такъ тебя наискались бы до-сыта; а теперь время весеннее, и въ лѣсу то спрятаться негдѣ.

— Ухъ, батюшки!—проговорилъ, заикаясь, Шелешпанскій.—Слышишь?.. Идутъ!

— Ну дѣлать нечего!—прошепталъ Кулага.—Ступай-ка, батюшка, вдоль плетня... вонъ тамъ налѣво барское гумно...

Все-таки лучше, чѣмъ здѣсь на юру: тамъ можно и въ ригу и межъ одоньевъ завалиться,—не вдругъ найдуть.

— Ступай же впередъ, голубчикъ, ступай!

Пройдя шаговъ двѣсти вдоль крестьянскихъ огородовъ, они вошли калиткою на барское гумно.

— Ну вотъ, сударь,—сказалъ дворецкій,—хочешь гдѣ-нибудь за одоньемъ прилечь, или въ ригу?..

— Постой-ка, голубчикъ!.. Вѣдь это кладъ соломы?..

— Да, сударь.

— Такъ я залѣзу въ нее.

— Что ты, батюшка! Вѣдь это хорошо минутки на двѣ, а то задохнешься; да еще неравно съ барскаго двора придуть за соломою, начнутъ валить ее на телѣгу, да какъ хватятъ тебя вилами въ бокъ... избави, Господи!... Вотъ развѣ, сударь, въ овинную яму, такъ авось туда не заглянуть.

— Въ самомъ дѣлѣ!.. Ахъ ты, мой любезный!.. Голубчикъ мой!.. Пойдемъ скорѣе...

— Вотъ тебѣ развѣ! — вскричалъ Кулага, подойдя къ овинной ямѣ:—лѣстницы то нѣтъ!.. Да постой, батюшка, я спущу тебя на кушакъ...

Прокофій Сидорычъ снялъ съ себя поясъ, захлестнулъ одинъ конецъ за тугоподвязанный кушакъ Шелешпанскаго и началъ спускать потихоньку въ яму.

— Охъ, батюшка князь,—промолвилъ онъ кряхтя,—грузень ты больно!... Не сдержу... видитъ Богъ, не сдержу!..

— Ничего,—сказалъ Шелешпанскій,—пускай: внизу то солома.

Кулага выпустилъ изъ рукъ кушакъ... князь Андрей Юрьевичъ повалился на солому, крякнулъ и всталъ на ноги.

— Ну что, батюшка, не ушибся?—спросилъ дворецкій.

— Нѣтъ. Ступай-ка теперь, голубчикъ, на барскій дворъ, провѣдай, что тамъ дѣлается, да приди сказать мнѣ.

— Ладно, сударь, я какъ разъ сбѣгаю... Да послушай, батюшка,—промолвилъ Прокофій, воротясь,—смотри, сиди смирно, и коли кто подойдетъ къ овину, голосу не подавай... Какъ я приду, такъ первый тебя окличу.

#### IV.

Въ то самое время, какъ князь Шелешпанскій прятался отъ служивыхъ въ овинной ямѣ, къ дому Максима Петро-

вича подъѣхалъ на тройкѣ молодой гвардейскій офицеръ. Онъ соскочилъ съ телѣга и, войдя въ переднюю, приказалъ доложить, что пріѣхалъ по царскому указу поручикъ Мамоновъ; потомъ, сбросивъ съ себя забрызганный грязью плащъ, вошелъ въ столовую комнату. Черезъ нѣсколько минутъ его попросили въ гостиную. Въ этой комнатѣ встрѣтилъ его Максимъ Петровичъ; тутъ же, разваливъ на креслахъ, сидѣлъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ, подлѣ него, на стулѣ, Герасимъ Николаевичъ Шетневъ, а нѣсколько поодаль стоялъ, прислонясь къ печкѣ, Карпъ Саввичъ Пыжовъ. Когда Мамоновъ вошелъ въ гостиную, Карпъ Саввичъ низехонько поклонился, Шетневъ привсталъ, а Лаврентій Никитичъ не тронулся съ мѣста. На поблѣднѣвшемъ лицѣ Карпа Саввича ясно изображались сильный испугъ и самая рабская, безусловная покорность; хотя въ глазахъ Шетнева замѣтно было также что то похожее на страхъ, однакожь онъ не смутился и даже посмотрѣлъ довольно спесиво на пріѣзжаго. Въ надменномъ и непріязненномъ взглядѣ Лаврентія Никитича выражалось негодованіе, которое онъ вовсе не старался скрывать: онъ взглянулъ исподлобья на Мамонова, нахмурилъ брови и повернулся къ нему спиною. Казалось, что этотъ нечаянный пріѣздъ не потревожилъ одного только хозяина.

— Милости просимъ, батюшка! — сказалъ онъ спокойнымъ голосомъ. — Ты приказалъ доложить мнѣ, что пріѣхалъ сюда по царскому указу... вотъ я тебя слушаю: изволь мнѣ сказывать царскій указъ.

— Во-первыхъ, государь мой Максимъ Петровичъ, — отвѣчалъ Мамоновъ, вѣжливо кланаясь, — я осмѣливаюсь презентовать вамъ мой всенижайшій респектъ!...

— Благодарю, батюшка, хотя, признательно сказать, и не очень понимаю, что ты изволишь мнѣ говорить.

— Всепокорнѣйше прошу васъ экскузовать меня! — продолжалъ Мамоновъ, не обращая никакого вниманія на замѣчаніе Максима Петровича. Можетъ быть я вовсе не въ пору потревожилъ васъ моимъ пріѣздомъ?

— И, что ты, батюшка: царскій указъ всегда въ пору!

— Не извольте только гнѣваться на меня, Максимъ Петровичъ. Я человѣкъ служивый и долженъ поступать въ силу данной мнѣ отъ правительствующаго сената инструкціи — сирѣчь наказа.

— Отъ сената?... Такъ ты, батюшка, не по царскому указу изволилъ ко мнѣ прѣхать?

— Все едино, Максимъ Петровичъ. Развѣ не изволите знать, что сенатскимъ указамъ, яко-бы своеручно подписаннымъ его Царскимъ Величествомъ, должны повиноваться всѣ подъ опасеніемъ строгаго наказанія?

— Знаю, батюшка, знаю. Ну, чего-жъ отъ меня этотъ господинъ сенатъ изволитъ спрашивать?

— Дѣло идетъ вовсе не о васъ, Максимъ Петровичъ. Его Царскому Величеству Государю Петру Алексѣевичу угодно было указать, чтобы, ради войны съ турскимъ салтаномъ, всѣхъ неслужащихъ молодыхъ дворянъ забирать на службу. Въ именномъ регистрѣ, данномъ мнѣ отъ сената, значится также и неслужащій дворянинъ, князь Андрей Юрьевъ сынъ Шелешпанскій...

— Князь Андрей Юрьевичъ?...

— Да, Максимъ Петровичъ. Меня извѣстили, что онъ здѣсь.

— Здѣсь, батюшка. Да вѣдь, кажется, онъ уже служилъ...

— Никакъ нѣтъ, Максимъ Петровичъ: онъ былъ только записанъ новикомъ въ московскомъ жилецкомъ войскѣ и на службу не являлся; а такъ какъ ему еще нѣтъ и сорока лѣтъ...

— Да ты знаешь ли, господинъ офицеръ, — прервалъ Шетневъ, подойдя къ Мамонову и толкнувъ потихоньку локтемъ Прокудина, — что князь Андрей Шелешпанскій, хотя еще въ порѣ, однакожъ давно уже уволенъ на покой ради его хворости и всегдашнихъ недуговъ?

— Знаемъ мы эти недуги! — возразилъ Мамоновъ. — Сенатъ ужъ извѣстенъ и о томъ, что онъ облыжно называетъ себя недужнымъ. Люди хворые сидятъ на одномъ мѣстѣ, а этотъ князь только и дѣлаетъ, что развѣжаетъ кругомъ Москвы. Вотъ ужъ я два мѣсяца за нимъ гоняюсь.

— Какъ такъ? — спросилъ съ удивленіемъ Прокудинъ.

— Да, Максимъ Петровичъ! У него около Москвы много деревень; вотъ мнѣ дадутъ знать, въ которой деревнѣ онъ живетъ, я пошлю за нимъ, — не тутъ то было: «Изволилъ уѣхать неизвестно куда». Я пошлю въ другую: «Былъ. дескать, и здѣсь, да вчера выѣхалъ». Я въ третью: «Сейчасъ только выѣхать изволилъ». Повѣрите-ль: всю команду съ ногъ сбиль. Видно, у него есть приятели въ Москвѣ, ко-



торые вѣсточку ему подають. Да ужь теперь вы сами изволили мнѣ сказать, что онъ здѣсь, такъ я его изъ рукъ не выпущу.

Въ комнату вошелъ слуга и доложилъ Прокудину, что изъ сосѣдняго села пришелъ земскій староста съ понятными.

— Съ понятными?... Это зачѣмъ?—спросилъ Прокудинъ.

— Не прогнѣвайтесь, — сказала Мамоновъ:—я человекъ военный и приказнаго порядка не вѣдаю; но со мною есть подьячій, который говорить, что формальную выемку безъ понятыхъ и свидѣтелей дѣлать не слѣдуетъ

— Выемку?... Да почему-жъ ты думаешь, батюшка, что князь Андрей Юрьевичъ не поѣдетъ съ тобой волею? Можетъ статься онъ вовсе и не знаетъ, что ему должно къ тебѣ явиться.

— Помилуйте, какъ не знать! Чай, ему давно ужь объ этомъ донесли. Во всѣхъ его отчинахъ наказывали объ этомъ всѣмъ старостамъ и приказчикамъ... Да вотъ, кажется, вошелъ на крыльцо мой сержантъ. Я послалъ его съ командою къ старостѣ. Ваши крестьяне сказывали мнѣ, что князь Шелешпанскій остановился у него въ избѣ. Позвольте, Максимъ Петровичъ, войти сюда сержанту.

— Изволь, батюшка.

Мамоновъ отворилъ дверь въ столовую и закричалъ:

— Прохоровъ, ступай сюда!

Въ гостиную вошелъ пожилой служивый. Онъ перекрестился на икону, опустилъ руки по швамъ и вытянулся передъ своимъ командиромъ.

— Ну что, Прохоровъ,—спросилъ Мамоновъ,—нашелъ ли ты князя Шелешпанскаго?

— Никакъ нѣтъ!—отвѣчалъ сержантъ.

— Какъ нѣтъ? Да вѣдь онъ стоялъ у старосты?

— Стоялъ, господинъ поручикъ, да вдругъ изволили безъ вѣсти пропасть.

— Куда же онъ дѣвался?

— Не могу знать. Изъ избы онъ никуда не уходилъ, а въ избѣ его нѣтъ. Мы всѣ уголки обшарили: и подъ лавками смотрѣли, и въ печи, и на полатахъ; на чердакъ лазили, всѣ хлѣва обошли. Артемьевъ и Забудыгинъ ходили смотрѣть на огородъ, не залегъ ли онъ гдѣ-нибудь между грядками, — нигдѣ нѣтъ, словно сквозь землю провалился.

— Ну вотъ, изволите видѣть, Максимъ Петровичъ,—

сказалъ Мамоновъ.—Да это ему не поможетъ. Прохоровъ, возьми съ собой понятыхъ и обойдите всѣ дворы!... Ступай!

— Ты, батюшка, напрасно это дѣлаешь, — молвилъ Прокудинъ съ примѣтнымъ негодованіемъ.—Коли князь Шелешпанскій не по невѣдѣнію, а знаючи отбываетъ отъ царской службы, такъ я и самъ не стану его у себя держать: у меня притона для бѣглыхъ нѣтъ.

— О, если такъ, Максимъ Петровичъ, такъ съ меня довольно вашего слова. Да и то сказать: коли онъ смекнулъ, что за нимъ пріѣхали, такъ ужъ вѣрно у васъ на селѣ не останется. — чай, давно убѣждалъ туда, откуда пріѣхалъ. Мнѣ сказывали, что онъ недалеко отъ васъ гоститъ у какого то Рокотова...

— У какого то Рокотова!... — повторилъ Лаврентій Никитичъ.—Вишь, какъ изволить поговаривать!... Этотъ Рокотовъ при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ засѣдалъ въ боярской думѣ, и самъ Государь не называлъ его какимъ то, а изволилъ чествовать Лаврентіемъ Никитичемъ.

— Такъ это вы, государь мой, Лаврентій Никитичъ Рокотовъ?—сказалъ Мамоновъ

— Я, батюшка... имя и отчества твоего не знаю, да, по правдѣ то сказать, и знать не хочу.

— Лаврентій Никитичъ!—молвилъ Прокудинъ.

— Я все молчалъ, Максимъ Петровичъ, — прервалъ Рокотовъ;—а теперь, какъ дѣло дошло до меня, такъ не мѣшай мнѣ говорить. Ты, голубчикъ, называешь себя Мамоновымъ и сказываешь, что пріѣхалъ по царскому указу. Вотъ Максимъ Петровичъ и повѣрилъ тебѣ на слово, а коли ты ко мнѣ пожалуешь, такъ я тебѣ впередъ говорю, что у меня на однѣхъ то рѣчахъ не много выторгуешь.

— Чтожъ вы думаете, государь мой, что я самозванецъ какой-нибудь?—сказалъ вспльчиво Мамоновъ.

—А кто тебя знаетъ! Коли Гришку Отрепьева угораздило назвать себя Царемъ Русскимъ, такъ не велика важность, если какой-нибудь пройдоха напаялитъ на себя нѣмецкій кафтанншко, назовется какимъ то Мамоновымъ и пріѣдетъ будто бы по царскому указу, а въ самомъ то дѣлѣ, чтобъ сорвать что-нибудь... Вѣдь голь хитра на выдумки!

Мамоновъ вспыхнулъ. Онъ вынулъ изъ кармана бумаги и, подавая ихъ Прокудину, сказалъ:

— Я точно виноватъ: мнѣ слѣдовало бы начать съ это-

го. Вотъ сенатскій указъ на мое имя и регистръ дворянамъ, которыхъ требуютъ на службу.

Пока Максимъ Петровичъ разсматривалъ бумаги, Шетневъ подошелъ къ Рокотову и шепнулъ ему:

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ, разсердилъ ты его!

— Такъ чтожь? Баринъ не большой,—отвѣчала Рокотовъ:—пусть себѣ сердится!

— Пусть сердится!... Да развѣ отъ этого князю Андрею легче будетъ?... Нѣтъ, другъ сердечный, за это не такъ надо было вѣстаться. Да вотъ, постой, я поговорю съ нимъ съ глазу на глазъ, такъ авось дѣло то какъ-нибудь поправлю.

— Такъ, батюшка, такъ!—молвилъ хозяинъ, отдавая бумаги Мамонову. Ты дѣлаешь, что тебѣ указано,—да я въ этомъ и не сомнѣвался.

— Позвольте мнѣ,—сказалъ Мамоновъ,—оставить у васъ въ селѣ небольшую команду,—не ради какого-нибудь надзора—избави, Господи! Я питаю къ вамъ, Максимъ Петровичъ, столь великую астиму, что для меня достаточно вашего слова,—это необходимо ради всякаго случая: неравно князь Шелешпанскій снова появится въ вашемъ селѣ, такъ было бы кому задержать его и препроводить немедленно въ Москву.

— Хорошо, батюшка, хорошо!

— А я,—продолжалъ Мамоновъ,—сей-же часъ отправлюсь съ понятыми къ господину Рокотову.

— Милости просимъ!—промолвилъ Рокотовъ, нахмуривъ брови.—Намъ не впервые принимать незваныхъ гостей, и за проводами у насъ дѣло не станеть.

— Чтожь это?—прервалъ Мамоновъ.—Угрозы что-ль?... Такъ прошу васъ, государь мой, быть извѣстнымъ, что коли вы осмѣлитесь оказать какое-нибудь сопротивление, такъ васъ самихъ потребуютъ къ отвѣту!... Счастливо оставаться, Максимъ Петровичъ!... Еще разъ прошу васъ все-нижайше не поставить мнѣ въ вину...

— Ничего, батюшка, ничего! Ты человекъ служивый и дѣлаешь то, что тебѣ приказано.

Шетневъ вышелъ вслѣдъ за Мамоновымъ въ столовую.

— Господинъ офицеръ!—сказалъ онъ самымъ ласковымъ и привѣтливомъ голосомъ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ Мамоновъ, остановясь.

— А вотъ что: я преусерднѣйше прошу тебя, батюшка,

не изволь гнѣваться на Лаврентія Никитича Рокотова. Онъ крутенекъ немного, заносчивъ, а, право, старикъ добрый!

— Да, конечно, заносчивъ и даже черезчуръ. Нынче не прежнія времена, государь мой: коли приказано, такъ слушайся.

— Да вѣдь онъ только такъ—языкъ чешетъ, а въ самомъ то дѣлѣ, сохрани, Господи!... А что, батюшка господинъ Мамоновъ, ты, по всему видно, человекъ добрый... Нельзя ли какъ-нибудь это дѣльце уладить?

— Какое дѣльце?

— Да вотъ чтобъ князя то Андрея не тревожить. Онъ ужь человекъ не молодой, ему давно подь сорокъ, здоровье у него хилое, и хоть съ виду еще молодцевать, а не стоитъ нашего брата-старика: одышка, ногами плохъ, животомъ жалуется—вовсе не жилецъ! Малый такой рахманный... увалень!... Ну изъ чего тебѣ за нимъ тянуться? Что, въ самомъ дѣлѣ, или безъ него у васъ и войска не стало?

— Это, государь мой, до меня не лежитъ: про то знаютъ старшіе.

— И, батюшка, гдѣ имъ все знать, и коли-бы ты захотѣлъ...

— Да чтожъ я могу сдѣлать?

— Какъ что! Ты можешь донести своему начальству, что онъ хвораетъ. Вовсе, дескать, для службы не годенъ—даромъ паекъ будетъ получать, и то и се... Да что тутъ говорить: ученаго учить—лишь только портить! Ты, чай, лучше моего знаешь, какъ эти дѣла дѣлаются.

— Нѣтъ, не знаю.

— И, полно, батюшка!... Шелешпанскій человекъ богатый, а вы, господа служивые... не прогнѣвайся,—чай, иногда какъ рыба объ ледь бьется. Вотъ если-бъ ты, молодецъ, намъ помирволилъ, такъ князь Андрей ударилъ бы тебѣ челомъ... знаешь этакъ—посильное мѣсто... сотенку, другую рублевиковъ...

— Что?—проговорилъ Мамоновъ.—Вы сулите мнѣ двѣсти рублей?... Да о своемъ ли вы умѣ?

— А что?... Маленько?... Ну, такъ три сотни... Э, да что тутъ толковать!... Шелешпанскій не постоятъ и за чепыре...

— Чтожъ это, государь мой, вы шутите или нѣтъ?

Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ такимъ голосомъ, что Шетневъ отступилъ шага два назадъ.

— Да за чтожь ты изволишь гнѣваться?—сказаль онъ, смотря съ удивленіемъ на Мамонова. Вѣдь это дѣло полюбовное, и коли тебѣ четырехсотъ рублей кажется мало, такъ мы, пожалуй, и еще накинемъ.

— Я такихъ срамныхъ холопскихъ рѣчей и слушать не хочу!—прерваль Мамоновъ. Онъ повернулся къ Шетневу спиною и вышелъ вовъ.

— Не беретъ, пострѣль этакій, ничего не беретъ!—сказаль Шетневъ, входя въ гостиную.—А все ты, Лаврентій Никитичъ! Кабы ты его не раасердилъ, такъ мы бы вѣрно съ нимъ поладили...

— Мальчишка этакій, молокосось!—прошепталь Рокотовъ.—Вишь, какой,—стращать вздумаль!... Потребуяють, дескать, къ отвѣту... Такъ чтожь?... Коли пошло на то—милости просимъ: примемъ гостя!... Ужь коли отвѣчать, такъ было бы за что!

— Что ты, Лаврентій Никитичъ?—прерваль Прокудинъ. Вѣдь Государь Петръ Алексѣевичъ шутить не любить. Что тебѣ голова что-ль надѣла, или захотѣлось въ Березовъ?

— Въ Березовъ?... И, полно, любезный: страшень сонъ, да милостивъ Богъ!... Березовъ то далеко, и Царь теперь не близко... Э, да что-жь мы зѣваемъ!... Надо послать кого-нибудь ко мнѣ въ село; и коли князь Андрей въ самомъ дѣлѣ туда перебрался... Да вотъ кстати Кулага!...

Въ гостиную вошелъ Прокофій Сидорычъ.

— Ну что, Прокофій?—сказаль Максимъ Петровичъ.

— Все слава Богу!—отвѣчалъ дворецкій. Пріѣзжіи офицеръ оставилъ у насъ двухъ служивыхъ, а самъ забралъ съ собою понятыхъ и отправился...

— Ко мнѣ?—спросилъ Рокотовъ.

— Да, батюшка Лаврентій Никитичъ.

— Такъ ступай, братецъ, прикажи кому-нибудь изъ моихъ молодцовъ сѣсть на коня, да живо проселкомъ въ Знаменское, и коли князь Шелешпанскій тамъ...

— Никакъ нѣтъ, сударь!—проговорилъ вполголоса Кулага.—Князь Андрей Юрьевичъ здѣсь.

— Здѣсь?... Гдѣ-жь онъ.

Прокофій посмотрѣлъ вокругъ себя и сказалъ шопотомъ:

— На барскомъ гумнѣ, сударь, въ овинной ямѣ.

— Ахъ, онъ сердечный!—вскричалъ Шетневъ.—Больно перепугался?

— У, батюшки,—дрожкой дрожить.

— Слышишь, Максимъ Петровичъ? — сказала Рокотовъ.  
— Вѣдь князь то Андрей здѣсь!

— А ты, Лаврентій Никитичъ, — молвилъ Прокудинъ, — слышала ли, что я говорилъ этому Мамонову?

— А что?

— Я сказала ему, что у меня притона для бѣглыхъ нѣтъ; и коли князь Шелешпанскій знаючи отбываетъ отъ царской службы, такъ я и самъ не стану его у себя держать.

— Что ты, что ты, Максимъ Петровичъ, перекрестись!

— Да, Лаврентій Никитичъ, ты себѣ думай какъ хочешь, но по мнѣ и простому мужичку зазорно быть въ бѣгахъ, а ужъ коли нашъ братъ, дворянинъ, учнетъ прятаться по овинамъ, чтобъ отвилать какъ-нибудь отъ царской службы...

— Служба службъ розъ, любезный! Вотъ и мы съ тобой служили, кажись, вѣрою и правдою, да только кому?... Православнымъ Царямъ Алексѣю Михайловичу, Феодору Алексѣевичу...

— А онъ пусть послужить Царю Петру Алексѣевичу.

— Что, небось, языкъ то у тебя не повернулся сказать: православному?...

— А какому же? Развѣ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ въ церковь Божию не ходитъ?... Эхъ, Лаврентій Никитичъ, не хорошо, видитъ Богъ — не хорошо!... Царей то не мы выбираемъ, а Господь намъ даетъ, такъ если-бъ что и не по нашему было...

— Толкуй себѣ, толкуй!... Ну вотъ, Герасимъ Николаевичъ, ты со мною спорилъ, анъ и выходитъ моя правда, что другъ то нашъ сердечный, Максимъ Петровичъ, въ сенаторы захотѣлъ... Слышишь, какъ поговариваетъ?

— Въ сенаторы!... — повторилъ Прокудинъ. — А ты во что, Лаврентій Никитичъ... Сказалъ бы я тебѣ, да только обидѣть не хочу.

— Говори, небось, я не обижусь.

— Да не объ этомъ рѣчь! — прервалъ Шетневъ, стараясь замаять разговоръ, который, по его мнѣнью, вовсе не слѣдовало заводить при какомъ-нибудь Пыжовѣ, а и того менѣе при дворецкомъ Максима Петровича. Скажите-ка лучше, чтожъ свадьба то у насъ?

— Дѣлать нечего, — молвилъ Рокотовъ: — придется на время отложить.

— Знаете ли что? — продолжалъ Шетневъ. — Вѣдь по-  
вѣнчать то можно у меня на селѣ; ко мнѣ Мамоновъ не  
пожалуетъ.

— Повѣнчать! — сказалъ Прокудинъ. — Нѣтъ, ужь объ  
этомъ что и говорить. Чай, теперь жениху то не до вѣнца:  
ему служить надобно.

— Служить! — подхватилъ Рокотовъ. — Зачѣмъ?... Авось  
дѣло и такъ обойдется. Я найду ему укромное мѣстечко: у  
меня верстахъ въ тридцати отсюда есть хуторокъ къ лѣсу...

— Да чтожь ему тамъ цѣлый вѣкъ чтоль жить?

— А кто знаетъ, Максимъ Петровичъ? Мало ли что  
можетъ быть: Государь то Петръ Алексѣевичъ не на сва-  
дебный пиръ поѣхалъ: еще, Богъ вѣсть, вернется ли изъ-  
подъ турка или нѣтъ

— И, Лаврентій Никитичъ, охота тебѣ говорить!...

— Ну вотъ еще, — и поговорить нельзя! Вѣдь отъ слова  
ничего не сдѣлается. Подъ Полтавою ему, нашему батюшкѣ,  
шляпу то продырили; ну, а какъ теперь въ Туретчинѣ,  
этакъ, грѣхомъ зацѣпить немного пониже... Вѣдь пуля  
дура, не разбираетъ!

— Избави Господи!

— Да чтожь, Максимъ Петровичъ: мы всѣ люди смерт-  
ные... А случись что-нибудь такое, такъ дѣла то пойдутъ  
инымъ чередомъ... Конечно, нашей матушки Софьи Алек-  
сѣевны не стало, да за то говорятъ сынокъ то его — дай  
Богъ ему много лѣтъ здравствовать!...

— Эхъ, Лаврентій Никитичъ! — прервалъ съ примѣтною  
досадою Прокудинъ: — не тебѣ бы говорить, не мнѣ бы слу-  
шать. Чтожь мы, въ самомъ дѣлѣ, крамольники чтоль  
какіе, стрѣльцы?...

— Стрѣльцы! — повторилъ Рокотовъ. — Стрѣльцы то были  
удальцы!... Ну кто говорить: теперь они крамольники...  
Вѣстимо дѣло: чья взяла, тотъ и правъ.

— Послушай, Лаврентій Никитичъ, — сказалъ съ него-  
дованіемъ Прокудинъ, — коли ты хочешь оставаться со мною  
пріателемъ, такъ не изволь при мнѣ такихъ непригожихъ  
рвчей говорить!

— Вишь какъ!... А самъ то ты?

— Грѣшвыи человекъ — и я иногда поропщу, но все-  
таки люблю нашего батюшку Петра Алексѣевича и молюсь  
о его здравіи; а тотъ, кто называетъ Софью Алексѣевну  
своею матушкой и подхваливаетъ мятежныхъ стрѣльцовъ,

тотъ самъ, коли не дѣломъ, такъ словомъ такой же точно крамольникъ, какъ они... не прогнѣвайся!...

— Вотъ какъ!

— Да, Лаврентій Никитичъ, кто ненавидитъ законнаго своего Государя и любитъ враговъ его, тотъ по моему: не русскій, не православный и даже не христіанинъ... не прогнѣвайся!

— Такъ ты этакъ то?—молвилъ Рокотовъ, вставая.— Ну, Господь съ тобою! Поѣдемъ, Герасимъ Николаевичъ: намъ здѣсь дѣлать нечего.

— Что ты, что ты!—вскричалъ Шетневъ.

— Что я?... Да развѣ не слышалъ: я не русскій, не православный и даже не христіанинъ. Прощай, Максимъ Петровичъ,—спасибо за угощенье!

— Лаврентій Никитичъ!—сказалъ Прокудинъ.—Я, можетъ статья, погорячился, и если сказалъ лишнее слово, такъ прости меня... да только, воля твоя, и тебѣ непригоже такія рѣчи говорить. Вѣдь, кажись, и ты также, какъ я, цѣловалъ крестъ Государю Петру Алексѣевичу. Послушай, любезный: мнѣ, право, жаль, что я тебя обидѣлъ...

— Добро, добро, чего жалѣть: снявши голову, о волосахъ не плачуть. Прощай!

— Да погоди, Лаврентій Никитичъ!—сказалъ Шетневъ, идя вслѣдъ за Рокотовымъ.—Воротись!

— Ни за что на свѣтъ!... Поди-ка лучше, да похлопочи, чтобъ князя Андрея свезли на мой красноярскій хуторъ, а я прикажу сдѣлать коней.

— Да неужели ты не помиришься съ Прокудинымъ?

— Зачѣмъ? Чтобъ опять поссориться? Вѣдь это ужъ не впервые. Да и Богъ съ нимъ совсѣмъ! Кто говорить: «помоги Господи и нашимъ и вашимъ», съ тѣмъ каши не сваришь!

Черезъ полчаса въ селѣ Вздвигенскомъ изъ всѣхъ гостей остались только Карпъ Саввичъ Пыжовъ и двое служивыхъ, пріѣхавшихъ съ Мамоновымъ, изъ которыхъ, благодаря гостепримству Прокофія Сидорыча, одинъ сидѣлъ, покачиваясь на лавкѣ, и пѣлъ во все горло: «Какъ во стольномъ градѣ во Кіевѣ», а другой давно уже лежалъ подъ лавкою и спалъ богатырскимъ сномъ.

V.

Премудрый вѣкъ, въ которомъ мы живемъ, можетъ по



всей справедливости назваться вѣкомъ изобрѣтеній, открытій и всякихъ улучшеній. Начиная отъ сѣрныхъ фосфорныхъ спичекъ до желѣзной атмосферической дороги, чего ни сдѣлано, ни придумано, ни открыто, ни доведено до совершенства въ теченіе нашего девятнадцатаго столѣтія, а не смотря на это, мы все еще не выдумали *коврика самолета*, извѣстнаго намъ по древнимъ преданіямъ, которыя мы, Богъ знаетъ почему, называемъ сказками. Теперь, по милости желѣзныхъ дорогъ, мы переносимся изъ одного мѣста въ другое довольно скоро, однакожъ все-таки не скорѣе птицъ. Ну есть ли тутъ чѣмъ хвастаться? Такъ ли въ старину летали досужіе люди на коврикѣ самолетъ, съ быстротою котораго можетъ сравниться только одинъ электрической телеграфъ, также придуманный въ наше время. Вамъ стоило тогда присѣсть на этотъ коверъ и сказать: «коврикъ, коврикъ самолетъ, перенеси меня изъ села Воздвиженскаго въ Бессарабію, на берега Днѣстра», и прежде, чѣмъ звукъ этихъ словъ исчезъ бы въ воздухъ, вы очутились бы тамъ, куда я хочу теперь, за неимѣніемъ этого воздушнаго экипажа, перенести васъ, если не дѣломъ, такъ по крайней мѣрѣ мыслію.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Могилева, уѣзднаго города нынѣшней Подольской губерніи, на бессарабской сторонѣ Днѣстра, есть небольшой городокъ, который прежде всѣ звали Сорокою, а теперь зовутъ иногда и Соколомъ. Не знаю, по какой причинѣ дали ему это птичье названіе; но во всякомъ случаѣ, если въ старину, когда этотъ городъ былъ укрѣпленнымъ и довольно значительнымъ городомъ, онъ назывался Сорокою, такъ теперь и подавно не за что его величать Соколомъ. Представьте себѣ огромный лугъ, или, вѣрнѣе сказать, цвѣтушую, роскошную долину, а посреди ея сотни полторы выбѣленныхъ известью домиковъ, которые, вмѣстѣ со своими обширными плодовитыми садами, составляютъ почти равносторонній четырехугольникъ. Въ близкомъ разстояніи отъ рѣки, изъ-за низкихъ кровель домовъ, поднимаются стѣны небольшого замка или крѣпости, вѣроятно построенной генуэзцами. Излучистый Днѣстръ, выгибаясь дугою, обхватываетъ эту долину съ трехъ сторонъ, а съ четвертой заслоняютъ ее утесистые холмы нагорной стороны Днѣстра, то-есть бессарабскаго берега этой необычайно красивой и живописной рѣки.

Въ тысячу семьсотъ одиннадцатомъ году, на одномъ изъ

этихъ холмовъ стоялъ хорошенькій домикъ, напоминающій своею восточною архитектурою затѣйливые турецкіе кіоски, которыми обставлены всѣ берега Босфора. Сзади примыкала къ этому домику частая буковая роща, а съ лицевой стороны, обращенной къ огороду, окружали его обширные виноградные сады; опускаясь широкими уступами, они тянулись по скату горы вплоть до самаго Днѣстра, который въ этомъ мѣстѣ, обогнувъ всю долину, приближался снова къ своему гористому бессарабскому берегу. Этотъ домъ принадлежалъ молодой вдовѣ, богатой молдаванской куколѣ Смарагдѣ Хереско. Въ немъ стоялъ временнымъ постоемъ больной русскій офицеръ. Я думаю, вы отгадали уже, любезные читатели, что дѣло идетъ о вашемъ старомъ знакомцѣ, Василии Михайловичѣ Симскомъ. Онъ догналъ свой полкъ близъ Львова, почувствовалъ себя нездоровымъ, перемогался, и когда Государь Петръ Алексѣевичъ прибылъ, 12-го числа іюня, съ Преображенцами и Семеновцами въ городъ Сороку, Симскій сдѣлался до того боленъ, что долженъ былъ снова разстаться съ своимъ полкомъ. Генералъ Вейде, котораго дивизія была расположена на бессарабскомъ берегу Днѣстра, зналъ Симскаго лично и, по совѣту доктора, перевелъ его изъ городского лазарета на мызу молдаванской помѣщицы Смарагды Хереско. 17 іюня Государь Петръ Алексѣевичъ выступилъ въ походъ къ Пруту съ полками Преображенскимъ и Семеновскимъ. Хотя эти полки были также, какъ и теперь, пѣхотными, однакожъ въ походѣ садились всегда на коня и шли съ литаврами, штандартами и трубами, когда-же приходили на мѣсто, имъ возвращали барабаны, и эти временные конные полки становились снова пѣхотными. Вслѣдъ за Государемъ выступила вся артиллерія подъ начальствомъ генерала Брюса, пѣхотная дивизія генерала Вейде, конница подъ командою бригадира Моро-де-Бразе, и въ городѣ Сорокѣ осталась одна только дивизія князя Рѣпина, которому препоручено было окончить всѣ начатыя крѣпостныя работы.

Нѣсколько дней, проведенныхъ споконнымъ и даже весьма приятнымъ образомъ, помогли Симскому лучше всѣхъ лѣкарствъ: въ немъ осталась одна слабость; но она была еще такъ велика, что онъ никакъ не могъ сѣсть на коня или отправиться въ *каруцъ*, то-есть огромной тряской телѣгъ догонять свой Преображенскій полкъ. Я сказалъ, что Симскому было не только спокойно, но

даже пріятно жить на дачѣ куконы Хереско. Эта молодая и прекрасная вдова могла свободно объясняться съ своимъ постояльцемъ: она научилась говорить по нашему, гостя очень часто у своей родной сестры — жены одного русскаго барина, который жилъ безвыѣдно въ Кіевѣ. Когда Симскаго помѣстили къ ней въ домъ, она, какъ добрая и гостепріимная хозяйка, приняла его ласково, и съ самымъ радушнымъ участіемъ позаботилась о его покоѣ. Казалось, это участіе было совершенно искреннимъ, потому что оно не только не уменьшалось, но безпрестанно увеличивалось, и самымъ замѣтнымъ образомъ. Въ первый день она зашла на минуту къ своему больному постояльцу, на второй провела съ нимъ цѣлый вечеръ, а на третій почти безвыходно просидѣла въ его комнатѣ. Когда Симскому стало полегче и онъ, хотя съ трудомъ, однакожь могъ переступить и выдти на открытый воздухъ, Смарагда водила его по своимъ винограднымъ садамъ, отдыхала вмѣстѣ съ нимъ подъ тѣнью буковой рощи, поила изъ своихъ рукъ серальскимъ шербетомъ, кормила *дुльчецомъ*, то-есть сахарнымъ вареньемъ, ухаживала за нимъ, смотрѣла ему въ глаза, однимъ словомъ, не оставляла его ни на минуту и няньчилась съ нимъ, какъ самая нѣжная мать съ своимъ больнымъ ребенкомъ.

Однажды по утру, въ тотъ самый день, когда Государь Петръ Алексѣевичъ выступилъ съ гвардейскими полками изъ Сороки, Симскій, опираясь на руку своей хозяйки, вышелъ изъ дома и присѣлъ на одну изъ ступенекъ крыльца, надъ которымъ подымалось великолѣпное орѣховое дерево, посаженное у самыхъ дверей дома. Смарагда Хереско сѣла подлѣ него. Трудно было-бъ рѣшить, кто изъ нихъ былъ прекраснѣе; разумѣется, каждый въ своемъ родѣ. На молдаванкѣ, сверхъ утренняго платья изъ полосатой шелковой *аладжи*, накинута была бархатная, опушенная горностаемъ, *фермеле*, то-есть кофточка, похожая на нынѣшнія женскія коцавейки. Черная, блестящая, какъ вороново крыло, коса ея, обвиваясь дважды вокругъ головы, служила околышемъ для пунцовой албанской фески или круглой шапочки, съ которой опускалась на одну сторону густая кисть изъ сянго шелку. Блѣдное и даже нѣсколько смуглое, но роскошно прелестное лицо ея соединяло въ себѣ все то, что составляетъ идеаль восточной красоты: черные влажные глаза, которые то выражали какую-то усталость, исполнен-

ную сладострастія и нѣги, то горѣли страстію и жгли своимъ огненнымъ взглядомъ, длинныя рѣсницы, тонкія брови дугою, коралловыя уста и два ряда зубовъ:

«Какъ два жемчужныхъ ожерелья».

Представьте себѣ все это и вы будете тогда имѣть понятіе о прекрасной куковѣ Смарагдъ Хереско.

Симскій, рослый, статный юноша, съ лицомъ, поху-дѣвшимся отъ болѣзни, но все еще румянымъ, съ задумчивымъ взоромъ своихъ свѣтло-голубыхъ глазъ и русыми волнистыми кудрями, которыя опускались небрежно на его бѣлую шею и широкія плечи, могъ также назваться образцомъ этой славяно-русской самобытной красоты, плѣняющей насъ не страстнымъ выраженіемъ лица, не пламенемъ очей, но какимъ-то величавымъ спокойствіемъ, тихою, привѣтливою улыбкою и этимъ мощнымъ, свѣтлымъ взглядомъ, который обѣщаетъ не минутную, безумную страсть, но вѣрную, постоянную любовь до гроба; не бѣшеную, мимолетную храбрость, но твердое, ничѣмъ непоколебимое мужество... Молдаванка сидѣла молча подлѣ своего больного и не спускала съ него глазъ; казалось, Симскій не замѣчалъ этого и смотрѣлъ все на городъ, изъ котораго выходило русское войско. Вдругъ задумчивый взоръ его оживился и онъ, обратясь къ своей хозяйкѣ, сказалъ:

— Смарагда, видишь ли ты это войско, вонъ что подымается въ гору?... Это Преображенскій полкъ, въ котормъ я служу.

— Если ты въ немъ служишь, — промолвила кукона, глядя съ нѣжностію на Симскаго, — то ужъ вѣрно этотъ полкъ лучше всѣхъ полковъ.

— Да! Государь его жалуетъ.

— Куда же онъ идетъ?

— Въ походъ.

— За Дунай?

— А Богъ вѣсть! Говорять, визирь переправился черезъ Дунай и хочетъ насъ встрѣтить подъ Прутомъ.

— Подъ Прутомъ? Да это недалеко. У меня помѣстье есть въ орхеевскомъ цынутѣ на самомъ берегу Прута.

— Можетъ быть, — продолжалъ Симскій грустнымъ голосомъ, — дней черезъ пять, храбрый Преображенскій полкъ помѣрится съ врагомъ, отличится передъ другими полками, а я буду сидѣть здѣсь, сложа руки...

— Такъ чтожъ? — прервала съ живостію молдаванка. —

Тѣмъ лучше! Дай Богъ, чтобъ ты долго, долго не выздоровѣлъ!

— Спасибо, Смарагда!

— Ахъ, Василий Михайловичъ, ты не знаешь этихъ турокъ: они такіе злые!... Они тотчасъ отрѣжутъ тебѣ голову.

— Авось не отрѣжутъ! Вѣдь наши русскіе багеты стоютъ ихъ турецкихъ ятагановъ.

Молдаванка покачала печально головою.

— Небось, добрая Смарагда,—сказалъ Симскій,—мы за себя постоимъ.

— Дай то Богъ! — прошептала кукона. — Только и въ Яссахъ и въ Бухарестѣ, вездѣ я слышала, что сильнѣе турокъ нѣтъ народа на свѣтѣ.

Симскій улыбнулся. Вѣроятно, ему пришло въ голову то, что въ наше время высказалъ Крыловъ, у котораго мыши убѣждены, что сильнѣе кошки на свѣтѣ звѣря нѣтъ.

— Чему-жъ ты смѣешься? — сказала почти съ упрекомъ Смарагда.—Да если русскіе и одолѣютъ турокъ, такъ развѣ тебя не могутъ убить?

— Такъ чтожъ? Дай Богъ нашему великому Царю остаться въ живыхъ и побѣдить супостата, а я умру съ радостію. Смерть за Царя и за родину честна предъ Господомъ.

— О, нѣтъ,—вскричала молдаванка,—пусть пропадетъ все русское войско, пусть гибнетъ вашъ Царь, лишь только бы ты остался живъ!

— Я?... И, кукона, охота тебѣ говорить такія рѣчи!... Ну что такое я одинъ въ сравненіи съ Царемъ и всѣмъ православнымъ русскимъ войскомъ? Да развѣ всякій изъ насъ не долженъ умереть съ радостію за свое отечество?

— Отечество!—повторила съ презрѣніемъ молдаванка.— И у меня есть отечество: я родилась въ Молдавіи. Да что мнѣ до нее? Пусть ею владѣютъ турки, нѣмцы, русскіе — по мнѣ все равно!... Ахъ, нѣтъ, — теперь я хотѣла бы, чтобъ мы были вашими, тогда и я была бы русская!...

Бѣдняжка! — подумалъ Симскій, глядя съ сожалѣніемъ на свою хозяйку. Нѣтъ, ты не знаешь, что такое свой царь и свое отечество!... Ты молдаванка, вѣруешь въ Христа и все-таки раба невѣрнаго турка!... О, конечно, у такихъ рабовъ нѣтъ ни царя, ни отечества!

— Вотъ дѣло другое, — продолжала кукона, — умереть

за одного... О, это я понимаю!.. Умереть за того, кого любишь!... Да тутъ и спрашивать нечего: эта смерть милѣе жизни!

— А я такъ думаю, — сказала Симскій, — что лучше умереть за всѣхъ, чѣмъ за одного

— За всѣхъ, за всѣхъ! — прервала съ досадою Смарагда.—Ты, я вижу, всѣхъ любишь!

— Такъ чтожь, кукона? Намъ и Богъ велѣлъ всѣхъ любить.

— Скажи мнѣ, Василій Михайловичъ, — прошептала молдаванка, помолчавъ нѣсколько времени, — только скажи правду: любишь ли ты меня?

— Тебя?... Да какъ же мнѣ тебя не любить? Ты приняла меня какъ своего кровнаго, заботилась обо мнѣ какъ о родномъ братѣ... У меня сестры не было, Смарагда, но мнѣ кажется, что я сталъ бы ее любить точно также, какъ люблю тебя.

— Сестры!... А любилъ ли ты кого-нибудь больше родной сестры, больше самого себя... больше всего на свѣтѣ?

— Да, Смарагда, любилъ и теперь еще люблю.

Молдаванка вадрогнула; ея смуглыя щеки покрылись блѣдностію, и уста посинѣли и она промолвила прерывающимся голосомъ:

— Чтожь та, которую ты любишь, русская?

— Русская.

— И вѣрно... твоя невѣста?

— О, нѣтъ! Я хотѣлъ на ней жениться, но ея родные этого не захотѣли. Теперь, я думаю, она давно ужъ замужемъ.

— Замужемъ? — повторила Смарагда и потухшій взоръ ея снова оживился.—Такъ ты любишь замужнюю женщину?.. Ахъ, Василій Михайловичъ, это не хорошо!

— И радъ бы не любить, кукона, да видно любовь-то дѣло невольное.

— А знала-ли она, что ты ее любишь?

— Какъ не знать, вѣдь я за нее сватался.

— Такъ видно эта русская тебя не любила?

— Любила или нѣтъ, про то знаетъ она. Вѣдь у насъ дѣвицы очень скромны, Смарагда... Однакожь, по всему было замѣтно, что я пришелъ по-сердцу.

— И она, любя тебя, вышла замужъ за другого.

— Поневолѣ пойдешь, когда прикажутъ.

— Когда прикажутъ! И вы называете это любовью? — прервала съ жаромъ молдаванка. — Да кто можетъ прика-  
зать мнѣ?...

— Вѣстимо кто: отецъ, мать, родные...

— Родные! Да какое же имъ дѣло до моей любви?.. Развѣ они могутъ сказать мнѣ: отдай себя немилому че-  
ловѣку и забудь о томъ, кого ты любишь; сноси съ по-  
корностію ненавистныя ласки твоего мужа, ласкай его  
сама и не люби того, кому ты отдала всѣ помышленія,  
всю душу свою!.. Не люби! Да развѣ это не все то-же,  
еслибъ мнѣ сказали: живи себѣ на здоровье, да только  
не дыши воздухомъ, безъ котораго ты не можешь жить!..  
Нѣтъ, Василій Михайловичъ, эта русская не стоитъ твоей  
любви! Еслибъ я была на ея мѣстѣ, ты увидѣлъ бы тогда,  
какъ любятъ молдаванки!.. Быть твоею женою, твоею лю-  
бовницей... рабою... О, за одинъ день этого блаженства я  
отдала бы всю жизнь мою, ушла бы за тобой на край  
свѣта! Пусть бы отецъ проклялъ меня, мать покинула,  
родные бросили, — что мнѣ до этого: я ужь не ихъ, когда  
люблю!

Страстная кукона была въ эту минуту неизъяснимо  
прекрасна; дикій пламень ея черныхъ очей былъ такъ  
очарователенъ, что всякій просвѣщенный юноша тотчасъ  
бы упалъ передъ нею на колѣна; но Василій Михайловичъ  
былъ въ этомъ отношеніи совершенный варваръ. Понятія,  
которыя онъ имѣлъ о женской скромности, разумѣтся  
понятія невѣжественныя, отсталыя, но закоренѣлыя, какъ  
всякій старый предрасудокъ, сгубили одну изъ самыхъ  
поэтическихъ минутъ въ его жизни. Въмѣсто того, чтобъ  
восхищаться и падать на колѣна, онъ молча и съ примѣт-  
нымъ ужасомъ глядѣлъ на свою хозяйку. Эта безумная  
страсть, эти почти богохульныя слова, въ устахъ жен-  
щины, казались ему до того преступными, что онъ готовъ  
былъ перекреститься и сотворить молитву. Впрочемъ, это  
непріятное впечатлѣніе продолжалось недолго; несмотря  
на его неопытность — общій недостатокъ молодыхъ людей  
тогдашняго времени, ему нельзя было не отгадать, что  
Смарагда его любить; и надобно отдать справедливость  
Симскому: онъ не обрадовался этому; напротивъ, ему стало  
жаль бѣдной куконь. Онъ чувствовалъ, что можетъ быть  
только ея другомъ и любить какъ родную сестру. Не знаю,

что дѣлать бы Симскій, еслибъ сердце его было свободно, но вѣроятно и тогда бы онъ не захотѣлъ на ней жениться, не потому, чтобъ она ему не нравилась... О, нѣтъ, кукона Хереско была истинно прекрасная женщина; но въ любви ея было что то страшное для Симскаго, и эта буйная, неистовая страсть казалась ему чувствомъ, не только не женскимъ, но даже вовсе неестественнымъ.

— Ну, чтожъ ты на меня такъ смотришь?—продолжала Смарагда.—Иль ты не вѣришь, русскій, что мы, молдаванки, можемъ такъ любить?

— Да, кукона, — отвѣчалъ Симскій, — мнѣ что то не вѣрится. Вмѣнять ни во что отцовское проклятіе, отказаться отъ родной матери, да это, чай, не водится и у турокъ, а вѣдь вы христіане.

Молдаванка посмотрѣла съ удивленіемъ на Симскаго.

— Такъ ты этого не понимаешь?—сказала она.

— Нѣтъ, Смарагда, не понимаю.

— Да какъ же ты любилъ свою русскую?

— Я любилъ ее какъ будущую мою подругу, какъ счастье и радость всѣхъ дней моихъ; но вовсе не хотѣлъ, чтобъ она была моею рабою, и самъ бы не пошелъ къ ней въ рабы.

— Такъ ты еще никогда не любилъ, Василій Михайловичъ, да врядъ ли и будешь когда-нибудь любить!.. Правду говорятъ, что ваша Русь земля холодная...

— Бываетъ и у насъ тепло, Смарагда, — сказалъ съ улыбкою Симскій.

— Да, видно, такъ рѣдко, — прервала кукона, — что вамъ и оттаять некогда... Да что объ этомъ!.. Ты мнѣ сказалъ, что любишь меня какъ сестру родную...

— О, конечно, моя добрая Смарагда!..

— Такъ я могу называть тебя милымъ другомъ... ласкать какъ родного брата... не правда ли, Василій?.. — промолвила молдаванка, опустивъ свою предестную головку на плечо Симскаго.

Въ эту самую минуту, сквозь густыя виноградныя лозы, сверкнулъ, какъ молнія, огненный взглядъ, потомъ послышались шаги, и на тропинку, которая подымалась въ гору, вышли двое мужчинъ: одинъ, одѣтый довольно просто, другой, залитой въ золото и укутанный въ турецкія шали. Этотъ послѣдній, несмотря на свою богатую одежду, шелъ позади и несъ въ рукахъ пунцовый, шитый золотомъ



мѣшокъ и турецкую трубку съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ.

— Кто это?—спросилъ Симскій.

— Кажется... — сказала Смарагда.—Ну, такъ и есть: это бояръ Алеско Палади съ своимъ арнаутомъ.

— Что, онъ твой родственникъ?

— Нѣтъ, чужой... и чего онъ отъ меня хочетъ?.. Кажется, въ послѣдній разъ я обошлась съ нимъ не очень ласково... Да вотъ я его такъ угощу, что онъ долго ко мнѣ не пожалуетъ!

Высокій и статный молдаванинъ подошелъ къ крыльцу и, не удостоивъ Симскаго взглядомъ, поклонился Смарагдѣ. Этотъ бояръ Алеско Палади былъ еще довольно молодъ, и могъ бы назваться прекраснымъ мужчиною, еслибъ его орлиный носъ былъ нѣсколько поменьше, а черныя густыя брови не придавали его взгляду такой угрюмой, неприязненной видъ.

— Здравствуй, кукона,—сказалъ онъ по молдавански.

Смарагда кивнула молча головою. Молдаванинъ сѣлъ подлѣ нея на ступеньку крыльца и закричалъ арнауту:

— Хе!.. Янке, ада чубуче!

Арнаутъ высѣкъ огня, закурилъ трубку и подаль ее своему господину.

— Смарагда,—сказалъ Симскій, вставая, — я пойду къ себѣ въ комнату и прилягу на минутку.

— Въ самомъ дѣлѣ, Василій Михайловичъ, отдохни. Мы съ тобой сегодня много ходили... А вотъ, постой, — я тебя провожу,—промолвила Смарагда, вставая.

— Зачѣмъ?.. Я и самъ дойду.

— Да ты еще такъ слабъ...

— О, нѣтъ, сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Останься съ своимъ гостемъ.

— Хорошо, я съ нимъ останусь, да только будетъ ли ему со мною весело.

Симскій вошелъ въ домъ, а кукона сѣла опять на прежнее свое мѣсто.

## VI.

— Кукона, — сказалъ вполголоса бояръ Палади, указывая чубукомъ на уходящаго Симскаго, — что это за человѣкъ?

— Мой постоялецъ,—отвѣчала Смарагда:—русскій офицеръ.

— Къ тебѣ поставили больного офицера, а этотъ, кажется, здоровъ.

— Здоровъ! Да развѣ ты не видишь, что онъ насилу ходитъ?

— Скажи мнѣ, кукона, — промолвилъ Алеско Палади, помолчавъ нѣсколько времени,—что съ тобою сдѣлалось?

— Со мною? Ничего...

— Какъ ничего? Я не узнаю тебя. Ты почти не говоришь со мной, не хочешь меня видѣть. Третьяго дня меня увѣрили, что ты уѣхала въ городъ, а въ городѣ тебя не было; вчера вышла ко мнѣ твоя цыганка и сказала, что ты нездорова... Ну, вотъ теперь я засталъ тебя на крыльцѣ, и по лицу твоему нельзя замѣтить, чтобъ ты была больна... Чтожъ это значить?.. Если я въ чемъ провинился передъ тобою, такъ скажи.

Смарагда молчала.

— Чтожъ ты не отвѣчаешь, кукона?—продолжалъ бояръ Палади.—Я хочу непременно знать, отчего ты такъ ко мнѣ перемѣнилась?

— Да съ чего ты взялъ, что я перемѣнилась? — сказала Смарагда, взглянувъ равнодушно на своего гостя.

Этотъ вопросъ, конечно, очень неумѣстный, но довольно обыкновенный въ подобныхъ случаяхъ, заставилъ вспыхнуть молдаванина.

— И ты можешь меня объ этомъ спрашивать! — вскричалъ онъ.

— Ахъ, не кричи, бояръ!—прервала Смарагда.—Я этого терпѣть не могу!.. Ну, да! Съ чего ты взялъ, что я перемѣнилась? Развѣ я не все та-же знакомая твоя кукона Хереско, которая принимала тебя, какъ хорошаго пріятеля, и которой—не прогнѣвайся, бояръ—ты начинаешь ужасно надоѣдать своею любовью.

— Надоѣдать? — повторилъ молдаванинъ, и глаза его засверкали. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но остановился и, помолчавъ нѣсколько времени, промолвилъ тихимъ голосомъ:—Ну, кукона, видно, память то у тебя очень коротка! Давно ли, вотъ здѣсь, подъ этимъ самымъ орѣховымъ деревомъ, ты говорила мнѣ: «Погоди, милый Алеско, дай мнѣ подумать!

— Ты лжешь, — прервала съ живостью Смарагда,—я

не называла тебя милымъ, а хотѣла подумать—это правда. Ну, вотъ я подумала, и говорю тебѣ рѣшительно: Бояръ Алеско Палади, я не хочу выходить замужъ.

— Ни за кого?

— Нѣтъ, этого я не говорю. Захочу, такъ выйду.

— Смарагда! — проговорилъ, задыхаясь отъ бѣшенства, молдаванинъ.

— Да, бояръ, — продолжала твердымъ голосомъ кукона, — я могу отдать себя тому, кто придетъ мнѣ по сердцу, могу сдѣлаться его женою или невольницей — все равно, была бы на это моя воля; но ни ты, ни нашъ господарь, ни самъ падишахъ не возьмутъ меня насильно. Ступай въ Стамбуль, бояръ Палади, покупай тамъ на базарѣ невольницъ, а Смарагда Хереско не раба: ее нельзя ни купить, ни продать.

— Да развѣ я этого не знаю? — сказалъ молдаванинъ, стараясь удерживать свой гнѣвъ. — Ты, конечно, вольна отдать себя, кому захочешь, но гдѣ ты найдешь человѣка, который любилъ бы тебя такъ страстно, какъ я? Давно ли ты сама — не гнѣвайся, кукона, я говорю правду — давно ли ты сама была со мною такъ ласкова, встрѣчала меня всегда съ такою радостною улыбкою; и вдругъ я сдѣлался тебѣ противенъ, ты стала убѣгать меня, отворачиваться отъ меня съ презрѣніемъ, ну, вотъ какъ теперь... не слушать рѣчей моихъ...

— Такъ зачѣмъ же ты говоришь со мною? — промолвила Смарагда, которая, отворотясь отъ своего гостя, смотрѣла разсѣянно въ ту сторону, гдѣ проходило густыми рядами русское войско.

— Зачѣмъ? — повторилъ молдаванинъ. — Неблагодарная! Да знаешь ли, какъ я люблю тебя?... Въ Бухарестѣ господарь предлагалъ мнѣ руку своей племянницы, я отказался отъ этой чести, и онъ сдѣлался навсегда врагомъ моимъ; мой родственникъ, любимый драгоманъ великаго падишаха, звалъ меня въ Стамбуль, обѣщалъ и богатство и почести, — я не поѣхалъ для того, чтобъ не разстаться съ тобою. Для кого отказался я отъ званія великаго спатаря, которое предлагалъ мнѣ князь Кантемиръ? Для кого покинулъ я мою родину, уѣхалъ изъ Яссы, разстался съ родными?..

— Ужь вѣрно не для меня, — прервала Смарагда, продолжая смотрѣть въ поле. — Я тебя объ этомъ никогда не просила.

Бояръ Палади поблѣднѣлъ.

— Смарагда, — сказалъ онъ, — ты не женщина, а дикій звѣрь!

Влюбленный молдаванинъ ошибся. Нѣтъ, вамъ скорѣй удастся разжалобить дикаго звѣря, чѣмъ женщину, страстно влюбленную, но только не въ васъ. Если вы перестали ей нравиться, и она любитъ другого, то все, что бы вы ни дѣлали, будетъ напрасно. Чѣмъ болѣе вы имѣете правъ на любовь ея, тѣмъ вы будете казаться ей несноснѣе. Если вы не хотите этого, такъ скрывайте ваши страданія, терпите, глотайте молча слезы... Конечно, и это вамъ не поможетъ: она не сжалится надъ вами, но по крайней мѣрѣ пожалѣетъ о васъ. Перестаньте любить ее, постарайтесь забыть, что и она также васъ любила... О, тогда, быть можетъ, вы сдѣлаетесь ея другомъ! Но Боже васъ сохрани упрекать, жаловаться и пуще всего вспоминать о прошедшемъ, — это увеличитъ только ея ненависть, и она не захочетъ васъ знать даже и тогда, когда пройдетъ этотъ душевный недугъ, этотъ безумный бредъ, который не покидалъ ее ни днемъ, ни ночью, и отъ котораго да избавить васъ Господь Богъ, любезныя читательницы!

Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе. Смарагда встала.

— Извини меня, бояръ, — сказала она. — Я не могу долѣе съ тобой бесѣдовать: у меня на рукахъ больной.

— Больной! — повторилъ съ горькою усмѣшкою Палади. — Да, онъ очень походить на больного!.. Пстой, кукона, еще одно слово!.. Когда я подходилъ къ твоему дому, ты сидѣла, кажется, очень близко подлѣ этого больного?

— Такъ чтожъ?

— Мнѣ показалось даже что ты лежала на его плечѣ?

— Можетъ быть.

— И ты въ этомъ признаешься?..

— А для чего я буду запираться передъ тобою? Что ты, мужъ мой, братъ или женихъ?

— Ты любишь этого русскаго?

— Да, люблю.

Молдаванинъ вскочилъ; глаза его налились кровью, а правая рука судорожно ухватила за рукоятку кинжала.

— Бояръ Палади, — сказала кукона, глядя смѣло въ глаза своему гостю, — этотъ русскій не виноватъ, что я его люблю, онъ даже и не знаетъ объ этомъ: такъ если

тебѣ вздумается убить кого-нибудь изъ насъ — убей меня! Я смерти не боюсь! — промолвила грустнымъ голосомъ Смарагда.

Эти слова, казалось, немного успокоили молдаванина.

— Ты его любишь! — сказалъ онъ. — Не даромъ же я ненавижу этихъ русскихъ!.. Да вотъ увидимъ, какъ то они вернутся изъ подъ Прута!.. Черезъ нѣсколько дней и твой постоялецъ отправится туда же, и, можетъ быть, его угостятъ тамъ не по твоему, кукона!.. Визирь ужъ близко, а гдѣ онъ съ непобѣдимымъ войскомъ великаго падишаха, тамъ гибнетъ все!.. Неужели, Смарагда, ты будешь думать объ этомъ русскомъ даже и тогда, когда онъ погибнетъ?

— Нѣтъ, я не стану тогда о немъ думать, а умру поскорѣе, чтобъ никогда съ нимъ не разставаться.

— О, если такъ, — прервалъ Палади, — такъ ты не долго наживешь! Прощай, кукона!

— Прощай, бояръ.

— Прощай, любовница русскаго офицера!

— Да, — прервала съ жаромъ молдаванка, — я его любовница, а не жена твоя! Слышишь, бояръ Палади?

— Слышу, — прошепталъ молдаванинъ, взглянувъ угрюмо на Смарагду. Слышу, кукона, и не забуду объ этомъ.

— Я презираю твои угрозы и ругательства, злой чловѣкъ! — сказала Смарагда, глядя вслѣдъ за своимъ незваннымъ гостемъ. — Кукона Хереско не была ничьей любовницей, но она скорѣй будетъ рабой послѣдняго изъ русскихъ, чѣмъ твоею женою, ненавистный молдаванинъ.

Прошло еще два дня Бояръ Палади не показывался, а Симскому становилось все лучше и лучше. Вотъ на третій день, часу въ осьмомъ утра, онъ надѣлъ на себя полный мундиръ и вошелъ въ комнату къ своей хозяйкѣ.

— Прощай, Смарагда! — сказалъ онъ. — Я иду въ городъ.

— Въ городъ? — повторила съ примѣтнымъ испугомъ кукона. — Зачѣмъ?

— Сначала зайду къ коменданту и скажу, чтобъ меня выписали изъ числа больныхъ, а тамъ явлюсь къ князю Рѣпнину.

— Я слышала, что онъ завтра уходитъ съ войскомъ изъ Сороки.

— Да, его дивизія идетъ къ Пруту. Чѣмъ мнѣ догонять

армію одному, я попрошу, чтобъ меня прикомандировали къ какому-нибудь полку.

— Такъ ты хочешь завтра отправиться?

— Я ужь совсѣмъ здоровъ, Смарагда; такъ мнѣ грѣшно будетъ передъ Богомъ и стыдно передъ товарищами оставаться здѣсь на покоѣ. Мнѣ кажется, — промолвилъ съ улыбкою Симскій, — я и такъ у тебя довольно погостилъ.

— Довольно!.. Нѣсколько дней!.. Ну, видно, ты не очень любишь свою сестру!

— Что же дѣлать, мой другъ? Мнѣ и самому грустно съ тобой разстаться...

— А почему знать, можетъ быть, мы съ тобой не разстанемся?.. Я тебѣ говорила, что у меня есть помѣстье Куть-Маре, на самомъ берегу Прута: развѣ я не могу туда переѣхать?

— Да вѣдь Прутъ то не маленькая рѣчка, Смарагда. Говорятъ, онъ немногимъ поменьше Днѣстра; такъ, можетъ статься, наше войско остановится верстъ за сто отъ твоего помѣстья.

— А можетъ быть и недалеко. Верстъ пять отъ Куть-Маре есть урочище, которое зовутъ «Рябою Могилою». Мнѣ сказывали, что тамъ войску расположиться очень хорошо: мѣсто такое привольное. Не знаю отчего, а мнѣ кажется, что вы будете тамъ стоять лагеремъ.

— Вотъ этого то я и боюсь, моя добрая Смарагда. Въ военное время чѣмъ дальше живешь отъ войска, тѣмъ лучше. Мало ли что можетъ случиться! Хоть у насъ и очень строго, а все поручиться нельзя: и казаки къ тебѣ заѣдутъ, и шалуны солдаты забредутъ. Нѣтъ, мой другъ, останься лучше здѣсь.

— Ни за что на свѣтѣ!

— Ну, коли на бѣду мы около тебя сойдемся съ турками?

— Такъ чтожь?.. Господь милостивъ, можетъ быть, съ тобой ничего не будетъ; а если, Боже сохрани, тебя ранятъ, кто станетъ за тобой ходить, кто сбережетъ тебя?.. Нѣтъ, мой милый другъ, ужь если ты назвалъ меня сестрою, такъ покину-ль я тебя!

— Послушай, Смарагда: да коли мы и въ самомъ дѣлѣ остановимся подлѣ твоего помѣстья, такъ чтожь отъ этого?.. Мы все-таки не будемъ видѣться. Въ военное время изъ лагеря отлучиться нельзя.

— Такъ я сама къ тебѣ приѣду.

— Какъ это можно, Смарагда! Что скажутъ о тебѣ добрые люди?

— Что мнѣ до этого!.. Да и почему-жъ мнѣ не приѣхать къ вамъ въ лагерь?.. У васъ такъ много будетъ барынь. Всѣ жены вашихъ нѣмецкихъ генераловъ поѣхали на Прутъ съ своими мужьями: я познакомлюсь съ ними...

— И все-таки, можетъ быть, не увидишь меня. Въдъ военный лагерь не городъ: тамъ у всякаго свое дѣло. Я же съ нашими нѣмецкими генеральшами вовсе не знакомъ.

— Да ужъ какъ хочешь! — прервала кукона. Что будетъ, то будетъ, а я непременно поѣду въ Куть-Маре, и если не увижу тебя, такъ, по крайней мѣрѣ, буду знать, гдѣ ты...

— Да, воля твоя!.. Только я, право, боюсь за тебя..

— И, мой милый другъ! Коли эти чопорныя нѣмки не побоялись ѣхать за своими мужьями, такъ чего же ты за меня боишься?.. Да что это тебѣ вадумалось идти въ городъ пѣшкомъ, Василій Михайловичъ? Въдъ это не близко. Вели заложить мою кочу.

— Нѣтъ, я хочу пройтись пѣшкомъ. Прощай, моя добрая Смарагда!

— Прощай, мой милый братъ!

Окончивъ въ городѣ всѣ свои дѣла, Симскій отправился въ обратный путь. День былъ жаркій; полуденное солнце горѣло на темносинихъ, безоблачныхъ небесахъ. Изрѣдка только затихающій вѣтерокъ шелестилъ между деревьями и игралъ въ струяхъ Днѣстра, по берегу котораго шель Симскій. Хоть онъ вовсе не спѣшилъ и шель очень тихо, однакожъ почувствовалъ наконецъ большую усталость, и, чтобъ отдохнуть гдѣ-нибудь подѣ тѣнью, свернулъ съ дороги въ большой, поросшій лѣсомъ оврагъ, который шель покатиною лощиною межъ двухъ высокихъ холмовъ, покрытыхъ также частымъ дубовымъ лѣсомъ. Дойдя до перваго вѣтвистаго дерева, Симскій присѣлъ подѣ тѣнь его, и когда посмотрѣлъ вокругъ себя, то увидѣлъ, что не онъ одинъ приютился отъ жары въ этомъ прохладномъ и тѣнистомъ оврагѣ: въ двадцати шагахъ отъ него, подлѣ широкаго ручья, который вливался въ Днѣстръ, расположились таборомъ вольные цыгане. Пары четыре усталыхъ воловъ лежало между деревьями; три спутанныя лошади и два жеребенка бродили по берегу ручья и щипали траву. Въ се-

рединѣ полукруга, составленнаго изъ нѣсколькихъ огромныхъ каруцъ, висѣлъ надъ огонькомъ чугунный котель. Вокругъ него валялись запачканные ребятишки, изъ которыхъ многіе не были даже покрыты и лохмотьями. Повидимому, эта роскошь была предоставлена однимъ взрослымъ и въ особенности женщинамъ, но и тѣ не слишкомъ были обременены одеждою, то есть всякаго рода тряпьемъ и ветошками, которыя кажутся намъ такъ красивы и живописны на картинѣ и которыя такъ отвратительны на самомъ дѣлѣ. Одинъ молодой цыганъ гудѣлъ на скрипкѣ, передъ нимъ двѣ босыя дѣвчонки коверкались и прыгали какъ полоумныя, припѣвая молдаванскую пѣсню: «Мититика винамъ коче»; подлѣ нихъ два безобразныхъ цыганенка дрались и грызли другъ друга, какъ цѣпныя собаки, а третій, не обращая на нихъ никакого вниманія, боролся съ ручнымъ медвѣженкомъ. Всѣ взрослые цыгане, собравшись въ кружокъ, разсуждали о чемъ то съ большимъ жаромъ. Симскому не трудно было отгадать, что предметомъ совѣщанія была какая то тощая лошадь. Этотъ лошадиный остовъ, который цыгане ощупывали и осматривали со всѣхъ сторонъ, стоялъ, повѣсивъ голову и, вѣроятно, вовсе не подозрѣвая, что досужіе люди собираются подкрасить ему зубы, понахлестать хорошенько, и превратить и выхолить изъ старой клячи въ молодого и борзаго коня. Ближе всѣхъ къ Симскому сидѣла на пенькѣ высокаго роста женщина, лѣтъ подъ сорокъ. Она вся была обвѣшена старыми тряпками и всякою цвѣтною ветошью, которыя, впрочемъ, такъ искусно были на нее набросаны, что издали она казалась почти одѣтою. Рѣзкія черты ея смугловато-желтаго лица были довольно правильны; но дикій, почти безумный взглядъ, и нечесаные, раскинутые по плечамъ, черные какъ смоль волосы придавали ей видъ настоящей вѣдьмы, которыя, какъ извѣстно, собираются по ночамъ на Лысой-горѣ, близъ Кіева. Она сидѣла, покачиваясь изъ стороны въ сторону, и пѣла вполголоса:

„Арды ма, фриджи ма,  
Пи карбуне пуне ма,  
Дай май пуне пи карбуне—  
Амурезо ну ти спуне!“

то есть:

„Жги меня, жарь меня,  
На огнѣ пали меня  
И на угляхъ на каменныхъ—  
Имя друга не скажу!“



Вдругъ ея быстрый взглядъ повстрѣчался съ взглядомъ Симскаго; она встала, подошла къ нему и сказала довольно чисто по русски:

— Здравствуй, бояръ!

— Здравствуй, голубушка!—отвѣчалъ Симскій.—Гдѣ ты научилась говорить по нашему?

— Я жила долго въ Могилевѣ и въ Черниговѣ, а матуся моя была родомъ изъ Москвы... Ну что, мое красное солнышко: хочешь, я тебѣ поворожу?..

— О чемъ?

— Вѣстимо, о чемъ: о твоей московской зазнобушкѣ.

— У меня нѣтъ никакой зазнобушки.

— Лжешь, бояръ!.. Вишь, ты какой молодець!.. Ужь коли у тебя нѣтъ коханочки, такъ, видно, у васъ въ Москвѣ и краснымъ дѣвушкамъ не водъ. Ну что, хочешь ли, я поворожу тебѣ о суженой?

— Нѣтъ, не хочу.

— Такъ о томъ, молодець, уцѣлѣетъ ли твоя головушка на плечахъ.

— Моя голова?

— Ну, да! Вѣдь вы пришли сюда съ туркомъ то не бражничать. Небойсь,—я тебѣ всю правду скажу.

— Нѣтъ, голубуша, я этого впередъ знать не хочу.

— Экій ты какой!.. Да дай же мнѣ, золотой, свою ручку!.. Ты мнѣ на ладонку положи серебро, а я тебѣ скажу добро.

Симскій, чтобъ отвязаться отъ цыганки, подаль ей серебряный пяти-копѣечникъ.

— Спасибо, добрый молодець!—молвила цыганка.—Дай же я тебѣ поворожу.

— Ну, поворожи, да только скорѣй,—сказалъ Симскій, протягивая руку

— Ай, ай, ай!—прошептала цыганка.—Да ты никакъ заколдованъ, молодець!.. Смотри-ка, смотри: сабли турецкія тебя не берутъ, ядра и пули мимо летятъ... А есть у тебя злодѣй... Ухъ, какъ черная немочь его коробить... Вотъ такъ бы и съѣлъ тебя... Да не потѣшится онъ надъ твоею головушкой... Не таковъ его таланъ: самому глаза въ чистомъ полѣ галки выключють, а тебя Господь помилуетъ... Да, да!.. Смотри: вонъ онъ, подъ кустомъ лежитъ, а ты, молодець... у, далеко отсюда... видишь, тамъ... вонъ, гдѣ золотыя то маковки на солнышкѣ горятъ...

— Ужь не въ Москвѣ ли?—перервалъ Симскій.—Нѣтъ, любезная, не отгадала: я въ Москву ни за что не поѣду.

— Эхъ, мой ясный соколъ!—сказала цыганка, ну вотъ и помѣшалъ: теперь ничего не вижу. Положи-ка еще на ладонку!

— Хорошо, голубушка, будетъ съ меня и этого. Ступай съ Богомъ!

Цыганка не успѣла отойти нѣсколькихъ шаговъ, какъ вдругъ изъ за деревьевъ раздался выстрѣлъ, и пробитая насквозь шляпа слетѣла съ головы Симскаго. Въ то же время поднялся ужасный крикъ во всемъ таборѣ: пуля, назначенная повидимому для Симскаго, не сдѣлавъ ему никакого вреда, попала въ старую клячу, около которой хлопотали цыгане, и убила ее наповаль.

— Ну вотъ, мое красное солнышко,—молвила цыганка, оборотясь къ Василю Михайловичу,—правду ли я сказала, что тебя пули не берутъ и что у тебя есть злодѣй? Смотри же, молодець, и впередъ цыганкамъ вѣрь!—промолвила она, садясь попрежнему на пенекъ и запѣвая снова:

„Арды ма, фриджи ма,  
Пи карбуне пуни ма!“

— Нѣтъ,—подумалъ Симскій, рассматривая свою шляпу, —это не дробь!?. А вѣдь охотники по дичинѣ пулями не стрѣляютъ... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, у меня есть злодѣй!?. Да кто жъ онъ такой!?. Я здѣсь, кромѣ Смарагды, никого не знаю. Чтожъ это такое?..

Разсуждая съ самимъ собою и теряясь въ догадкахъ, Симскій дошелъ потихоньку до мызы куконы Хереско. Тамъ все было въ движеніи: дворовыя цыганки бѣгали изъ комнаты въ комнату, кучера суетились вокругъ дорожныхъ каруць, арнауты и слуги укладывались и сама кукона была въ большихъ хлопотахъ. Когда Симскій сталъ ей рассказывать о своемъ приключеніи, она сначала испугалась, поблѣднѣла, потомъ вдругъ глаза ея засверкали гнѣвомъ.

— Это ты, злодѣй!—проговорила она вполголоса. — Да погоди, разбойникъ, если ты осмѣлишься показаться подлѣ Куть-Маре, такъ я велю застрѣлить тебя какъ бѣшеную собаку!

— О комъ ты это говоришь?—спросилъ съ удивленіемъ Симскій.

— Ты видѣлъ у меня бояра Палади? Это онъ хотѣлъ убить тебя.

— Меня? За что?

Смарагда примѣтнымъ образомъ смутилась.

— Я его совсѣмъ не знаю,—продолжала Симскій.

— Да онъ тебя знаетъ,—прошептала кукона.—О, какъ я рада, что ты поѣдешь въ походъ вмѣстѣ съ войскомъ! Отсюда до самаго Прута все степи, и если злой человѣкъ захочетъ кого-нибудь убить...

— Да чтожь я сдѣлалъ этому Палади?..

— Что сдѣлалъ!.. Ты русскій, а онъ ненавидитъ русскихъ...

— И хочеть одинъ всѣхъ насъ перебить поодиночкѣ?— прервалъ съ улыбкою Симскій.— Ну, молодецъ!.. Я вижу, ты собираешься въ дорогу, Смарагда?

— Да, я завтра поѣду въ Куть-Маре.

— Воля твоя, а право, лучше бѣ, если ты осталась.

— Ужь я тебѣ сказала, мой другъ: ни за что на свѣтѣ!

— Ну, дѣлать нечего, укладывайся. У меня сборы не велики, однакожь пойду и я кой-что уложить.

На другой день рано по утру дивизія князя Рѣпина отправилась въ походъ. Обозъ этого войска тянулся еще по горамъ бессарабскаго берега Днѣстра, когда изъ мызы куконы Хереско выѣхала дорожная вѣнская карета на пасахъ; съ каждой стороны этого тяжелаго рыдвана ѣхало по одному вооруженному съ ногъ до головы арнауту; на козлахъ, подлѣ кучера, сидѣла Мариорица, любимая цыганка куконы, а позади тащились на волахъ огромныя каруцы съ поклажею и многочисленною дворнею, первой, по своему богатству, сорокинской барыни, Смарагды Хереско.

## VII.

Русское войско, подлѣ личнымъ начальствомъ Государя Петра Алексѣевича, пройдя въ пять дней Буджакскія степи, остановилось въ прекрасной, орошаемой Прутомъ долинѣ. Рѣка Прутъ гораздо уже Днѣстра, но несравненно его быстрѣе. Въ своемъ излучистомъ теченіи, она очень часто отрываетъ отъ берега огромныя глыбы и сильнымъ напоромъ воды производитъ береговыя осыпи и провалы, весьма опасныя для запоздалыхъ путешественниковъ.

27 июня, то-есть въ день полтавскаго сраженія, рано по утру, шли по берегу этой рѣки, разговаривая межъ собою, двое молдаванъ. Одинъ изъ нихъ былъ средняго роста, но весьма стройный и прекрасный мужчина. Другого описывать мнѣ нечего: вы ужь его знаете. Первый былъ господарь молдавскій, князь Кантемиръ, второй — бояръ Алеско Палади. Они шли къ небольшой рощицѣ, на опушкѣ которой стоялъ арнауть, держа въ поводу двухъ красивыхъ турецкихъ коней.

— Да точно ли ты увѣренъ, бояръ, — говорилъ князь Кантемиръ, — что только небольшая часть турецкой арміи переправилась черезъ Дунай, и что самъ визирь не прежде будущей недѣли тронется со всѣмъ войскомъ?

— Я это навѣрно знаю, — отвѣчалъ Палади.

— Полно, такъ ли, бояръ? Для чего, кажется, визирю мѣшкать за Дунаемъ, когда войско Русскаго Царя стоитъ на Прутѣ?

— Для чего!.. Да развѣ ты, Домне господарь, не знаешь турокъ? Они всегда такъ: гдѣ надо поспѣшить, они тутъ примутся разсуждать; да и теперешній то визирь, Ахметъ-паша, говорятъ, очень трусоватъ. Чай, онъ сидитъ въ своей палаткѣ, пьетъ шербетъ, да думаетъ про себя: «Что, дескать, мнѣ идти навстрѣчу къ русскимъ? Можетъ, они постоятъ мѣсяць-другой на Прутѣ, а тамъ и сами уйдутъ домой!»

— Нѣтъ, бояръ, на это полагаться нечего. Ахметъ-паша человекъ не глупый, и вѣрно не станетъ думать, что русскіе пришли сюда для того только, чтобъ вернуться ни съ чѣмъ домой. Ну, если, Боже сохрани, онъ переправится втихомолку гдѣ-нибудь черезъ Прутъ и отрѣжетъ насъ отъ дивизіи генерала Рене, такъ дѣло то будетъ худо.

— Да какъ же это можно, свѣтлѣйшій Домне? Вѣдь стотысячная армія не одинъ человекъ. Какъ бы она ни шла осторожно, а вы ужь вѣрно объ этомъ узнаете.

— Въ томъ то и дѣло, бояръ, что есть слухи, будто бы визирь не только переправился черезъ Дунай, но ужь нѣсколько дней идетъ безостановочно къ Пруту.

— Не вѣръ этому, Домне господарь: это сказки. Я ѣздилъ до самой Журжи, а теперь прямехонько изъ Бухареста. Ну, можетъ быть, гдѣ-нибудь въ Валахіи передовые татары сожгли деревню или ограбили проѣзжихъ; такъ и пошли всѣ говорить, что визирь идетъ. Да вотъ я сейчасъ

ѣду опять въ Бухарестъ, и если узнаю, что визирь тронулся съ мѣста, такъ или самъ къ тебѣ прїѣду, или пришлю къ тебѣ гонца.

— Такъ, по твоemu, бояръ, намъ нечего опасаться нечаяннаго нападенія?

— Да, свѣтлѣйшій Домне! Что будетъ впередъ — не знаю; а теперь вы можете здѣсь спать и веселиться такъ же спокойно, какъ у себя дома.

— Смотри же, бояръ: послужи мнѣ и Русскому Царю. Будь увѣренъ, Палади, ты въ этомъ раскаиваться не станешь.

— Конечно, не стану,—прервалъ бояръ:—да только не такъ, какъ ты думаешь: я не наемникъ и не прошу никакихъ наградъ. Ты знаешь, свѣтлѣйшій Домне, какъ я тебѣ преданъ, но ты еще не знаешь, какъ я люблю русскихъ. Чтобъ доказать имъ это на самомъ дѣлѣ, я готовъ на все рѣшиться. Не пожалѣю головы своей, лишь бы только послужить имъ такъ, какъ душѣ моей угодно.

Еслибъ господарь хотя нѣсколько сомнѣвался въ преданности Палади, то, вѣроятно, обратилъ бы вниманіе на странную противоположность этихъ словъ съ угрюмымъ и злобнымъ взоромъ молдаванина; но князю Кантемиру нельзя было и подумать, чтобъ человѣкъ, осыпанный его милостями, рѣшился на какую-нибудь измѣну или предательство. Въ продолженіе этого разговора они подошли къ роуцѣ. Палади махнулъ арнауту, и когда тотъ подвелъ къ нему осѣдланную лошадь, онъ простился съ господаремъ, вскочилъ на коня и пустился рысью по дорогѣ, ведущей въ селеніе Русешти. Князь Кантемиръ возвратился въ лагерь.

Желая какъ можно скорѣе увѣдомить Государя о полученномъ извѣстіи, онъ пошелъ къ его ставкѣ. Передъ нею, на обширномъ лугу, преображенскіе солдаты, подъ надзоромъ нѣсколькихъ офицеровъ, ставили длинный столъ, за которымъ могло свободно помѣститься человѣкъ двѣсти. У дверей палатки стоялъ царскій денщикъ: онъ пригласилъ Кантемира войти, сказавъ ему, что Государь Петръ Алексѣевичъ принимаетъ поздравленія отъ всѣхъ начальныхъ людей и будетъ сегодня праздновать вмѣстѣ съ ними вторую годовщину знаменитой полтавской викторіи. Черезъ полчаса Его Величество, въ сопровожденіи первыхъ чиновъ, отправился къ обѣднѣ въ походную артиллерійскую церковь, подлѣ которой выстроены были въ боевомъ порядкѣ всѣ

пѣхотные полки. Они составляли три стороны огромнаго каре, котораго четвертую сторону занимала артиллерія. По окончаніи литургіи, извѣстный проповѣдникъ тогдашняго времени, Феофанъ Прокоповичъ, произнесъ длинное поучительное слово, потомъ стали служить благодарственный молебенъ, и когда зашѣли «Тебѣ Бога хвалимъ», началась безпрерывная стрѣльба: бѣглый ружейный огонь и пальба изъ всѣхъ орудій не умолкали нѣсколько минутъ сряду. Изъ церкви всѣ отправились за Государемъ къ обѣденному столу. Его Величество помѣстился въ самой срединѣ стола; по правую его руку сидѣлъ молдавскій господарь князь Кантемиръ, по лѣвую графъ Головкинъ, баронъ Шафировъ и Савва Рагузинскій. Всѣ генералы, бригадиры, полковники и проч., начальныя люди размѣстились сообразно ихъ званію и *табели о рангахъ*. Преображенскіе и семеновскіе капитаны разносили вино; каждый изъ нихъ прислуживалъ шести особамъ, имѣя въ своемъ распоряженіи трехъ служителей для перемѣны стакановъ и бутылокъ. Пированье было на славу, и лучшее венгерское вино лилось рѣкою. Это царское угощеніе продолжалось цѣлый день и кончилось не прежде одиннадцати часовъ ночи.

На другой день, послѣ обѣда, въ палатку старшаго нѣмецкаго генерала Януса сошлись покурить трубки и побѣсѣдовать также всѣ нѣмцы: генераль-лейтенанты: баронъ Алартъ, Брюсъ, Данебергъ, Остенъ, Берхгольцъ, Адамъ Вейде, генераль-маіоръ Бушъ и бригадиръ французъ Мороде-Бразе. Всѣ они сидѣли за большимъ круглымъ столомъ, на которомъ стояли: серебряная чаша съ пуншемъ, нѣсколько стакановъ, тарелка съ лимонами и два картуза гамбургскаго табаку,—одинъ съ вакштафомъ, другой съ кнастеромъ. Благодаря неутомимой болтовнѣ француза Мороде-Бразе, это общество вовсе не походило на тихую бесѣду важныхъ нѣмцевъ, которые, какъ извѣстно, курятъ безпрестанно табакъ, мало говорятъ, много думаютъ и, по большей частей, сходятся вмѣстѣ для того только, чтобъ кой о чемъ помолчать. Разговоръ шель о вчерашнемъ угощеніи. — Надобно отдать справедливость поварамъ его Царскаго Величества,—говорилъ Мороде-Бразе:—столь былъ отлично скверенъ; эти русскіе супы, эта жареная и вареная баранина, эти пироги, однимъ словомъ, все было такъ дурно, что еслибъ не подали подѣ-конецъ стола голландскаго сыра, такъ я умеръ бы съ голоду.

— Да! — пробормоталъ толстый генераль-маіоръ Бушъ.  
— То ли дѣло наша нѣмецкая кухня!

Французъ поморщился. Вѣроятно онъ подумалъ: «хороша и ваша!»

— А какъ вамъ показалось вино? — спросилъ генераль Брюсъ.

— О, что касается до вина, — воскликнулъ Моро-де-Бразе съ восторгомъ истиннаго знатока, — такъ я вамъ скажу!... Намъ подавали такое вино, какого я въ жизнь мою не пивалъ!

— Да, вино хорошее! — промолвилъ генераль Янусъ, выпустивъ носомъ двѣ густыя струи табачнаго дыму. — Оно мало чѣмъ уступитъ нашему хорошему рейнвейну.

Французъ опять поморщился.

— Конечно, — сказалъ онъ, — ваши нѣмецкія вина хороши, господинъ генераль, но они немного кисловаты; а это старое токайское, которое намъ подавали, настоящій нектаръ!... И нечего сказать: Его Величество не поскупился!... Вотъ ужъ истинно, какъ говорится, пили, такъ пили! Не знаю, какъ вы, господинъ генераль, а вы, господинъ баронъ, кажется, по моему, — не отказывались.

— Да, господинъ бригадиръ, — отвѣчалъ баронъ Алартъ, вытряхивая свою трубку, — я пилъ довольно.

— Хорошо-бъ очень, — сказалъ баронъ Остенъ, — еслибъ Его Величество такъ же былъ не скупъ и во всемъ... Вы понимаете, что я хочу сказать, господинъ генераль?

— Понимаю, господинъ генераль-лейтенантъ, — отвѣчалъ Янусъ, — и я давно объ этомъ думаю. Теперь невремя, но когда кончится кампанія, я буду непременно просить о значительной прибавкѣ жалованья.

— Просить то можно, — замѣтилъ Брюсъ, — да врядъ ли вы что-нибудь выпросите.

— А не выпрошу, такъ пусть дадутъ мнѣ абшиль.

— И я послѣдую вашему примѣру, — сказалъ Остенъ.

— И я! — промолвили въ одинъ голосъ генералы Берхгольцъ, Алартъ, Данебергъ и Бушъ.

— Эхъ, господа — прервалъ Брюсъ, — намъ грѣшно на это жаловаться: посмотрите, что получаютъ русскіе генералы.

— Русскіе! — повторилъ французъ. — Русскіе обязаны и даромъ служить своему Царю. Да если правду сказать, такъ стоять ли они и того, что имъ даютъ?

— Стоять или нѣтъ, — сказалъ Берхгольцъ, — а очень изволятъ обижаться, что мы больше ихъ получаемъ жалованья, и даже такъ дерзки, что говорятъ, будто бы они служатъ изъ чести, а мы, нѣмцы, изъ однѣхъ только денегъ.

— Ахъ, они варвары! — вскричалъ Моро-де-Бразе. — Желалъ бы я, чтобъ кто-нибудь изъ нихъ сказалъ это при мнѣ.

— Чтожъ-бы вы сдѣлали? — спросилъ Брюсъ.

— Я отвѣчалъ бы этому русскому, что онъ точно правъ: что мы, иностранцы, дѣйствительно служимъ изъ денегъ, а русскіе изъ чести; да это потому, что каждый старается добыть то, чего у него нѣтъ.

Глубокомысленные нѣмцы взглянули другъ на друга и призадумались. Они подозрѣвали, что въ словахъ француза скрывается какая-нибудь обидная насмѣшка; однакожъ не вдругъ поняли смыслъ этой эпитаграммы.

— То, чего у него нѣтъ, — повторилъ наконецъ Янусъ. — А, понимаю, господинъ бригадиръ, понимаю!... Ну, это зло, очень зло!...

— И совершенно справедливо, — промолвилъ Берхгольцъ.

— Фу, какъ остроумны эти французы! — шепнулъ Бушъ, толкнувъ локтемъ Остена.

— Конечно, конечно! — сказалъ Остенъ. — Это очень остро, да только не совсѣмъ справедливо. Ну, можно ли говорить, что мы служимъ изъ денегъ? Вотъ хоть я, наприимѣръ: третій годъ служу все на одномъ трактamentѣ, да еще на какомъ?... Стыдно сказать: триста рублей въ мѣсяцъ!

— То есть, — прервалъ Моро-де-Бразе, — на наши французскія деньги восемнадцать тысячъ ливровъ въ годъ. Конечно, это мало, но все еще сносно. А я, представьте себѣ, получаю всего на всего двѣнадцать тысячъ ливровъ жалованья.

— А гдѣ бы вамъ дали больше этого, господинъ бригадиръ? — спросилъ Брюсъ, выпивъ однимъ духомъ полстакана пуншу. — Ужъ не во Франціи ли?

— Да, господинъ генераль-лейтенантъ, — возразилъ Моро-де-Бразе, — да, во Франціи! Деньгами я получилъ бы гораздо менѣе, но взамѣнъ ихъ дали бы то, чего никакой Русскій Царь дать не можетъ, то есть: прекрасный климатъ, просвѣщенное общество, любезныхъ женщинъ, хорошее вино и превосходный театръ, о которомъ, не прогнѣвайтесь, и вы, господа нѣмцы, не имѣете никакого по-



натія. Вы думаете, господинъ Брюсъ, что если я отказался отъ этихъ высокихъ наслажденій просвѣщеннаго человѣка, если я закопалъ себя живого въ эту снѣжную могилу, которую мы называемъ Московскимъ царствомъ, такъ я ужъ вознагражденъ съ избыткомъ за это необъятное пожертвованіе тѣмъ, что получаю въ годъ какихъ-нибудь ничтожныхъ двѣнадцать тысячъ ливровъ жалованья.

— Да развѣ вамъ обѣщали больше этого или заставили насильно служить Русскому Царю.

— Конечно, не насильно; но вы знаете, господинъ Брюсъ, что въ жизни встрѣчаются разныя обстоятельства: я былъ молодъ, любилъ пожить и, натурально, прожилъ все мое состояніе. Мой дядя, старикъ лѣтъ семидесяти пяти, послѣ котораго доставалось мнѣ большое имѣніе, женился на молодой дѣвушкѣ; у его жены родился сынъ... однимъ словомъ, я былъ въ такомъ положеніи, что мнѣ должно было выбрать одно изъ двухъ: или всаить себѣ пулю въ лобъ, или идти въ русскую службу. Къ несчастію, я выбралъ послѣднее...

— Ну, это еще не большое несчастіе!—сказалъ Брюсъ. —Конечно, Россія не Франція, но, не прогнѣвайтесь, въ ней жить можно; и вы, господинъ бригадиръ, напрасно называете Русскую землю могилою. Вотъ я ужъ давно живу въ этой могилѣ, а, кажется, на мертвеца вовсе не похожъ, — промолвилъ Брюсъ, допивъ свой стаканъ пуншу.

— Я это сказалъ,—возразилъ французъ,—относительно ея умственнаго состоянія и совершеннаго отсутствія всякой человѣческой жизни. Разумѣется, въ этомъ смыслѣ, въ ней все мертво какъ въ могилѣ. Сошлюсь на всѣхъ: скажите, господа, есть ли гдѣ-нибудь, не говорю въ Европѣ, но въ цѣломъ мірѣ, земля, скучнѣе этой Московіи и народъ, невѣжественнѣе этихъ грубыхъ, необразованныхъ *москвитовъ*?

— Да, да!—пробормотали въ одинъ голосъ всѣ нѣмецкіе генералы, исключая Брюса и Вейде.

— Вы, вѣроятно, читали,—продолжалъ французъ,—въ книгѣ знаменитаго путешественника, Адама Олеаріуса, что онъ пишетъ о русскихъ? Помните ли то мѣсто, гдѣ онъ приводитъ мнѣнія нѣкоторыхъ шведскихъ и ливонскихъ ученыхъ, которые доказываютъ, что русскіе вовсе не христіане, да и людьми то могутъ назваться только потому, что имѣютъ даръ слова?

— То ли еще вы найдете въ этой книгѣ! — прервалъ

Брюсъ.—Помните ли, какъ этотъ Олеариусъ, описывая русскую свадьбу, говоритъ, что, во время вѣнчанія, и молодые и всѣ приглашенные на свадьбу пляшутъ въ церкви, подъ пѣніе псалмовъ, какой-то особеннаго рода танецъ, похожій на французскій *бранль*. Ну, скажите, господа: можно ли имѣть какую-нибудь довѣренность къ путешественнику, который рассказываетъ такіа нелѣпости?

— Вы, господинъ Брюсъ, — сказалъ хозяинъ, — всегда застываетесь за русскихъ.

— Не за русскихъ, господинъ генераль, а за правду. Еслибъ вы горили, что русскіе народъ еще необразованный, что они начинаютъ только просвѣщаться, такъ я не сталъ бы съ вами спорить; но вы ихъ даже и за людей почитать не хотите.

— Извините, господинъ Брюсъ, — прервалъ Моро-де-Бразе, — я первый этого не думаю: русскіе говорятъ и пьютъ иногда хорошее вино, слѣдовательно, они люди.

— Ваши шуточки, — возразилъ Брюсъ, — доказываютъ только, что вы французъ, господинъ бригадиръ, и любите пошутить; такъ ужъ посмѣйтесь и надо мною. Я думаю вотъ что о русскихъ: они еще дѣти, но дайте имъ возмужать, такъ у васъ пройдетъ охота смѣяться надъ ними. Что русскіе народъ самобытный, этого, я думаю, и вы оспаривать не станете. Ихъ не могли стереть съ лица земли ни татары, ни поляки; напротивъ, послѣ каждого народнаго бѣдствія Россія становилась все сильнѣе и сильнѣе. До татарскаго ига, она была вся раздроблена на мелкія княжества; татары исчезли, и всѣ эти отдѣльныя части слились въ одно огромное, мощное тѣло. Послѣ междоусобствія и, хотя минутнаго, однакожъ тяжкаго владычества поляковъ, Россія, безъ всякой посторонней помощи стряхнувъ съ себя постыдныя оковы, двинулась впередъ и стала на ряду всѣхъ европейскихъ государствъ. Вы, я думаю, слышали, что здоровыя и сильныя дѣти почти всегда хвораютъ къ росту? Вотъ точно такъ же Россія: она часто бывала больна и, казалось, больна смертельно, а въ самомъ то дѣлѣ это была только болѣзнь къ росту. Да вотъ хоть въ наше время, что можно было ожидать послѣ нарвскаго сраженія? Ужъ, конечно, если не порабоженія и совершенной гибели, такъ по крайней мѣрѣ совершеннаго униженія Россіи, а вышло напротивъ: Россія точно такъ же, какъ прежде, прихворнула, да вдругъ и выросла на цѣлую Лифляндію. И объ этомъ то,

исполненномъ жизненной силы и самобытномъ народѣ вы говорите съ такимъ презрѣніемъ! Нѣтъ, господа, не знаю, будетъ ли когда Россія предписывать законы другимъ народамъ, но я убѣжденъ въ душѣ моей, что, лѣтъ черезъ пятьдесятъ, она займетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ числѣ всѣхъ просвѣщенныхъ государствъ Европы.

— Срокъ то очень длиненъ, — сказалъ Моро-де-Бразе, — а то-бы я побился съ вами объ закладъ, что ваши русскіе и черезъ пятьдесятъ лѣтъ будутъ точно такими же варварами, какіе они теперь.

— То есть мы, иностранцы, станемъ называть ихъ варварами? Да, это можетъ быть и черезъ полтора ста лѣтъ. Известное дѣло: мы всегда не жалуемъ и позоримъ тѣхъ, которыхъ боимся.

— Охота вамъ объ этомъ спорить!... — прервалъ Янусъ. — Поговоримте-ка лучше о туркахъ. Чтобы это значило, господа: мы заняли всю Молдавію, перешли Прутъ, а визирь, какъ слышно, все еще стоитъ за Дунаемъ. Чего-жъ онъ дожидается?

— Чтобы мы подошли къ нему поближе, — отвѣчалъ Остенъ.

— А можетъ быть и раздумье беретъ, — сказалъ Брюсъ. — Вѣдь съ русскими ладить не легко.

— И, полноте! — вскричалъ Моро-де-Бразе. — Турки народъ храбрый, станутъ они трусить вашихъ русскихъ! А вотъ развѣ что: не узналъ ли визирь, что при русской арміи находится много иностранныхъ генераловъ, — это всего вѣрнѣе. Поневоля призадумаетесь, когда надобно имѣть дѣло съ знаменитымъ генераломъ Янусомъ!...

Янусъ улыбнулся и кивнулъ головою.

— Съ такимъ необычайнымъ стратегомъ, какъ вы, господинъ Алартъ.

Алартъ поклонился.

— Съ такими испытанными тактиками — продолжалъ французъ, — каковы генералы: Данебергъ, Остенъ, Брюсъ, Вейде.

— Позвольте мнѣ прибавить, — сказалъ Остенъ: — и съ такимъ храбрымъ начальникомъ кавалеріи, какъ вы, господинъ Моро-де-Бразе.

— Да ужь если вамъ, господа, не угодно сказать ни слова о фельдмаршалѣ Шереметевѣ, — прервалъ Брюсъ, — такъ не забудьте хоть самого Государя Петра Алексѣевича.

Кто разбилъ на-голову перваго полководца нашего времени, Карла XII, съ тѣмъ шутить нельзя.

— Разбилъ! — повторилъ французъ. — Да, конечно, разбилъ, по милости фельдмаршала Гольца и другихъ иностранныхъ генераловъ.

— Мы всё только исполняли приказанія Русскаго Царя, господинъ Моро-де-Бразе, — ~~продолжалъ Брюсъ,~~ — а всёми распоряжался и былъ душою всего самъ Государь Петръ Алексѣевичъ. Вы не были подъ Полтавой, такъ можете говорить все, что вамъ угодно; но мнѣ грѣшно бы было не отдать справедливости не только самому Царю, но также и князю Меншикову и многимъ изъ русскихъ генераловъ.

— А позвольте спросить, господинъ Брюсъ, — сказалъ Янусъ, — кто-жъ по вашему эти русскіе генералы?... Вотъ, напримѣръ, хоть оба фельдмаршала, которыми такъ хвастаются русскіе: Шереметевъ и князь Меншиковъ, — неужели вы назовете ихъ хорошими генералами? Меншиковъ, конечно, человекъ способный; но имѣетъ ли онъ свѣдѣнія, необходимыя для искуснаго полководца? А вы сами знаете, что одной практики для этого недостаточно. Я отдаю также полную справедливость необычайной храбрости Шереметева, но онъ вовсе не тактикъ и, вѣроятно, не понимаетъ даже, что значить слово: стратегія.

— А почти всегда билъ шведовъ! — прервалъ Брюсъ.

— Случай, господинъ генералъ-лейтенантъ, счастье — и больше ничего.

— А надобно сказать правду, — подхватилъ Моро-де-Бразе: — старикъ Шереметевъ въ дѣлѣ молодецъ! Чтобы спасти простаго солдата, онъ готовъ самъ кинуться съ саблею на непріятеля.

— Это, господинъ бригадиръ, храбрость, приличная оберъ-офицеру, а Шереметевъ фельдмаршалъ.

— Такъ, господинъ генералъ, такъ! Только вы ужь слишкомъ строго судите и князя Меншикова и Шереметева. Не забудьте, что они русскіе, такъ чего же вы отъ нихъ хотите?

— Чего! — повторилъ Брюсъ. — Да я увѣренъ, что Шереметевъ, князь Меншиковъ и князь Рѣпинъ, несмотря на то, что они русскіе, были бы вездѣ отличными генералами.

— Въ самомъ дѣлѣ? — прервалъ французъ. — Такъ зачѣмъ же Русскій Царь окружаетъ себя иностранцами? Нѣтъ,

господинъ Брюсъ: хотя и онъ также русский человекъ, но у него много природнаго ума. Онъ очень понимаетъ, что безъ насъ ему нельзя шагу сдѣлать, и что только при помощи иностранцевъ онъ можетъ,—не просвѣтить свой народъ, это, я думаю, дѣло невозможное, — но придать ему, по крайней мѣрѣ, хотя наружность и физиогномію просвѣщеннаго народа. Однимъ словомъ, я убѣжденъ, что Русский Царь, какъ человекъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, гениальный, не можетъ уважать своихъ русскихъ, и охотно бы промѣнялъ ихъ на иностранцевъ, которые одни могутъ понимать его.

— Полно, такъ ли? — прошепталъ генераль-лейтенантъ Адамъ Вейде, который во все время слушалъ другихъ, а самъ молчалъ и курилъ трубку.—Я думаю, что Царь Петръ Алексѣевичъ ни на кого не промѣняетъ своихъ русскихъ, потому что онъ, кажется, ихъ очень любитъ.

— А насъ, господинъ генераль-лейтенантъ? — спросилъ Моро-де-Бразе, бросивъ на полъ лимонъ, который лежалъ подлѣ него на столѣ.

Адамъ Вейде затянулся, выпустилъ въ одинъ приемъ цѣлое облако табачнаго дыму и не отвѣчалъ ни слова.

— Чтожъ вы не отвѣчаете на мой вопросъ? — продолжалъ французъ, прихлебывая пуншъ изъ своего огромнаго стакана.

— Вы, кажется, всегда любили свѣжіе лимоны, господинъ бригадиръ? — промолвилъ наконецъ Вейде, приостановясь курить.

— Да, господинъ баронъ, я ихъ люблю.

— Такъ чтожъ вы бросили вашъ лимонъ на полъ?

— А на что онъ мнѣ? Я выжалъ изъ него весь сокъ... Да дѣло не объ этомъ, вы отвѣчайте на мой вопросъ: если, по вашему, Царь Петръ Алексѣевичъ, несмотря на свою страсть къ просвѣщенію, очень любитъ этихъ русскихъ варваровъ, такъ какъ же онъ любитъ насъ, образованныхъ иностранцевъ?

— Да я думаю точно такъ же, какъ вы любите свѣжіе лимоны, господинъ бригадиръ!—сказалъ Вейде, принимаясь снова курить свою трубку.

Въ палатку вошелъ адъютантъ и доложилъ Янусу, что Царь требуетъ къ себѣ его и генераловъ Брюса и Аларта.

— Извините, господа!—сказалъ Янусъ.—Я пригласилъ васъ къ себѣ, полагая, что насъ сегодня не потревожатъ,

а, кажется, безъ нашего совѣта и сегодня дѣло не обойдется. Что, господинъ баронъ,—промолвилъ онъ, взглянувъ съ насмѣшливою улыбкою на Вейде,—видно, въ лимонахъ то соку еще довольно?

Всѣ гости откланялись хозяину, и онъ, накинувъ плащъ, отправился, вмѣстѣ съ Брюсомъ и Алартомъ, въ ставку Государя Петра Алексѣевича.

### VIII.

Вѣроятно, многіе изъ нашихъ читателей не знаютъ всѣхъ подробностей турецкой войны 1711 года; слѣдовательно, вовсе будетъ не излишнимъ, если я скажу нѣсколько словъ о положеніи, въ которомъ находилась русская армія въ теченіе первыхъ чиселъ іюля мѣсяца. Обманутый ложными извѣстіями, Государь Петръ Алексѣевичъ узналъ весьма поздно о приближеніи всей турецкой арміи. Генераль Янусъ, посланный съ сильнымъ отрядомъ для того, чтобъ помѣшать непріятелю переправиться черезъ Прутъ и зайти въ тылъ русской арміи, не исполнилъ какъ слѣдуетъ своей обязанности: столкнувшись нечаянно съ турецкимъ авангардомъ, который только что началъ переправляться черезъ рѣку, генераль Янусъ не только не задержалъ его, но отступилъ немедленно съ своимъ отрядомъ и донесъ Государю, что визирь со всѣми войсками перешелъ черезъ Прутъ. Вслѣдствіе этого невѣрнаго донесенія, ему приказано было идти назадъ и присоединиться къ арміи. Визирь воспользовался этою ошибкою: не встрѣчая никакого сопротивленія, онъ перевелъ большую часть своего войска на бессарабскій берегъ Прута, занялъ всѣ высоты и совершенно отрѣзалъ этимъ движеніемъ русскую армію отъ войскъ, находящихся подъ начальствомъ генерала Рене. Дивизіи генераловъ Вейде и князя Рѣпина находились также не въ близкомъ разстояніи отъ главной арміи. Ночью, на девятое число іюля, она выступила изъ лагеря и къ разсвѣту, соединясь съ этими дивизіями, продолжала идти вдоль Прута, избирая удобное мѣсто, на которомъ могла бы, несмотря на неравенство силъ, вступить въ бой съ непріателемъ. Поутру, когда армія была въ походѣ, турки напали на нашъ арьергардъ, состоящій изъ одного Преображенскаго полка; этотъ храбрый полкъ не только не допу-

стиль себя отрѣзать отъ войска, которое продолжало идти впередъ, но послѣ пяти часовъ непрерывнаго сраженія, откинувъ назадъ непріятеля, примкнулъ къ обозу главной арміи. Въ тотъ же день, визирь, полагая, что ему вовсе не трудно съ двумястами тысячъ войска уничтожить сорокъ тысячъ русскихъ, напалъ со всѣми своими силами на нашу армію; но послѣ упорнаго сраженія былъ отбитъ съ большимъ урономъ, и русскіе, дойдя до урочища, извѣстнаго подъ названіемъ «Рябая Могила», остановились на берегу Прута. Наше войско выстроилось въ каре, въ срединѣ котораго былъ весь обозъ и нѣсколько палатокъ. Пока одна часть солдатъ укрѣпляла по возможности этотъ со всѣхъ сторонъ открытый лагерь, другая перестрѣливалась съ отдѣльными турецкими партіями, которыя продолжали тревожить русскихъ до самой глубокой ночи. Межъ тѣмъ визирь расположился на противоположномъ, гористомъ берегу Прута; онъ развернулъ свое безчисленное ополченіе огромнымъ полукругомъ, котораго концы, упираясь въ Прутъ, обхватывали съ трехъ сторонъ русскій лагерь, а съ четвертой, то есть съ тылу, всѣ высоты были заняты буджакскими и крымскими татарами. Въ этомъ затруднительномъ положеніи Государь Петръ Алексѣевичъ не падалъ, какъ и всегда, своей собственной жизни. Вотъ что разсказываетъ очевидецъ, человекъ не русскій и вовсе не преданный Русскому Царю: «Могу засвидѣтельствовать, говорить онъ, что Царь не болѣе себя берегъ, какъ и храбрѣйшій изъ его воиновъ. Онъ переносился повсюду и подъ непріятельскимъ огнемъ говорилъ съ генералами, офицерами и рядовыми ласково и по дружески, разспрашивая о томъ, что происходило на ихъ постахъ».

Надобно прибавить, что русскимъ угрожало еще новое бѣдствіе, несравненно ужаснѣе всего остального: имъ предстояла голодная смерть. Волошскій господарь Бранкованъ, который вызвался продовольствовать наше войско, измѣнилъ своему слову. Въ русскомъ лагерѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ непріателемъ, едва ли оставалось на нѣсколько дней провіанта, и несмотря на то, что вода была подъ руками, многіе умирали отъ жажды, потому что днемъ турецкіе стрѣлки не давали никому подойти къ рѣкѣ и даже ночью осыпали пулями весь берегъ, вдоль котораго тянулись наша лагерныя укрѣпленія, составленныя изъ деревянныхъ рога-токъ, засыпанныхъ землею. Однимъ словомъ, гибель Рус-

скаго Царя, а съ нимъ всего войска, казалась неизбѣжною. 10 числа іюля, турки, не возобновляя своего нападенія на русскій лагерь, открыли по немъ сильный огонь изъ всѣхъ своихъ орудій. Весь день прошелъ въ этой непрерывной и, къ счастью, почти безвредной для насъ стрѣльбѣ. Вечеромъ Государь Петръ Алексѣевичъ, собравъ военный совѣтъ, объявилъ фельдмаршалу Шереметеву и всѣмъ генераламъ, что, по совершенному недостатку продовольствія, нельзя было оставаться долѣе въ оборонительномъ положеніи, что всей арміи предстояло одно изъ двухъ: или сдаться военноплѣнными, или пробиться сквозь непріятели и, соединясь съ дивизіею генерала Рене, отступить къ своимъ границамъ; что это послѣднее средство одно могло спасти, если не армію, то по крайней мѣрѣ славу нашего оружія, и что онъ, Русскій Царь, желаетъ лучше идти на вѣрную смерть, чѣмъ сдаться безусловно на волю непріятели. Фельдмаршалъ, вмѣсто отвѣта, подалъ Государю бумагу, подписанную имъ и всѣми генералами еще за нѣсколько часовъ; содержаніе этой бумаги было совершенно согласно съ настоящею волею Русскаго Царя. Государь Петръ Алексѣевичъ, приказавъ, чтобъ рано по утру всѣ полки были готовы къ бою, распустилъ совѣтъ и заперся одинъ въ своей палаткѣ, строго наказавъ не пускать къ себѣ никого.

Эта рѣшительная мѣра, конечно, не спасла бы русскихъ. У визира было слишкомъ двѣсти тысячъ свѣжаго, неизнуреннаго войска; а у насъ, за исключеніемъ безконныхъ казаковъ и плохо вооруженной молдаванской сволочи, всего двадцать двѣ тысячи, почти безъ конницы и съ артиллеріею, которая, въ сравненіи съ турецкою, могла назваться ничтожною. Еслибъ русская армія, ударивъ дружно, и прорвалась сквозь турецкія полчища, то могла ли она уцѣлѣть и дойти до границы, неся на плечахъ своихъ въ десять разъ сильнѣйшаго непріятели? Туркамъ очень легко было заслонить отъ насъ Яссы и заставить идти назадъ тѣмъ же самымъ путемъ, которымъ мы пришли къ Пруту, а тогда что могло спасти русскихъ? Нѣсколько дней усиленнаго похода по безводнымъ степямъ буджакскимъ, вѣроятно, довершили бы совершенное истребленіе арміи; турки не стали бы и драться съ нами: имъ пришлось бы только забирать въ плѣнъ отсталыхъ и прирѣзывать умирающихъ отъ усталости, жажды и голода. Супруга Русскаго Царя, Екатерина Алексѣевна, узнавъ объ этомъ от-



чаянномъ намѣреніи, собрала всѣ свои драгоценныя вещи, поручила Шереметеву доставить ихъ къ визирю, а сама, несмотря на запрещеніе, рѣшилась войти въ палатку Государя и просить его, чтобъ онъ дозволилъ фельдмаршалу вступить въ мирныя переговоры съ непріятелемъ. Шереметевъ получилъ это позволеніе не прежде ночи и тотъ же часъ отправилъ съ трубачемъ въ турецкій лагерь гвардейскаго унтеръ-офицера Шепелева.

Теперь, любезные читатели, познакомивъ васъ съ ходомъ дѣлъ и положеніемъ нашей арміи, я отказываюсь отъ важной обязанности историка, которая мнѣ возсе не по плечу, и превращаюсь снова въ смиреннаго рассказчика, отъ котораго вы въ правѣ требовать только того, чтобъ онъ не вовсе надѣдалъ вамъ свою болтовню.

Въ небольшой походной палаткѣ, раздѣленной на двое парусиннымъ занавѣсомъ, да простымъ деревяннымъ столомъ, на которомъ догорали двѣ свѣчи, сидѣлъ, погруженный въ глубокую думу, Государь Петръ Алексѣевичъ. Передъ нимъ лежалъ листъ исписанной бумаги. Облокотяся на столъ, онъ поддерживалъ руками свою поникшую голову. Какъ пасмурныя осеннія небеса, туманно и мрачно было высокое чело вѣнценоснаго владыки; но въ задумчивыхъ его взорахъ не замѣтно было ни страха, ни тревоги: въ нихъ выражалась только одна глубокая душевная грусть. Много было грустныхъ минутъ въ твоей жизни, Русскій Царь, но никогда мощная душа твоя не страдала такъ, какъ въ эту ужасную ночь. Что думалъ ты, великій Петръ, ожидая рѣшенія гордаго визиря, отъ котораго зависѣла не жизнь твоя, — о ней ты мало заботишься, — но вся будущность твоей великой державы, твоей православной родины, которую ты хотѣлъ, какъ милое дитя твое, вынянчить и валелѣять на рукахъ своихъ? Ты возвеличилъ твою Россію, двинулъ ее впередъ, поставилъ на чреду могучихъ и великихъ царствъ. И вотъ всѣ заботы, всѣ труды твои, всѣ надежды, все могло погибнуть въ одну минуту! На кого оставлялъ ты свою святую Русь? Кто сталъ бы продолжать послѣ тебя начатое? И кто окончилъ бы то, что было уже почти приведено къ концу?... О, конечно, въ этотъ горькій часъ, ты долженъ былъ вспомнить и могъ повторить проникнутыя неизъяснимою грустію слова Спасителя: «при- скорбна есть душа моя до смерти!»

Подоль отъ Государя, въ темномъ углу палатки, сидѣ-

ла, на складномъ лагерномъ стулѣ, Царица Екатерина Алексѣевна. Она смотрѣла молча на своего державнаго супруга и робкимъ взоромъ слѣдила за каждымъ его движеніемъ.

— Катенька,—сказалъ наконецъ Государь Петръ Алексѣевичъ, обращаясь къ своей супругѣ,— послушай, я прочту тебѣ то, что написалъ въ сенатъ. Это мое духовное завѣщаніе.

— Ахъ, Петръ Алексѣевичъ,— прервала Царица,— да почему жѣ намъ не надѣяться, что визирь...

— Пойдетъ на миръ? Можетъ быть, и пошелъ бы: онъ знаетъ, что мы живые въ руки не дадимся; да вотъ что худо: Бендеры не далеко отсюда. Я чаю, мой братецъ, шведскій король, давно ужъ въ гостяхъ у визиря и вѣрно не то ему совѣтуетъ. Я ужъ сказалъ тебѣ, что не сдамся ни за что на дискрецію. Можетъ быть, мнѣ посчастливится, и я умру съ оружіемъ въ рукахъ; а коли Господь меня не помилуетъ, коли я попаду въ турецкій плѣнъ, чтожъ тогда?..

— Избави Богъ!—вскричала Екатерина Алексѣевна.— Да нѣтъ, этого не будетъ!

— Что будетъ послѣ предстоящей отчаянной акціи, про то знаетъ одинъ Господь, мой другъ! И вотъ для чего я написалъ этотъ, можетъ быть, послѣдній указъ моему сенату. Слушай, Катенька!

Государь Петръ Алексѣевичъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги и началъ читать:

«Господа сенатъ! Извѣщаю васъ, что я со всѣмъ своимъ войскомъ, безъ вины или погрѣшности нашей, но единственно только по полученнымъ ложнымъ извѣстіямъ, въ семь кратъ сильнѣйшею турецкою силою такъ окруженъ, что всѣ пути къ полученію провіанта пресѣчены, и что я, безъ особливья Божія помощи, ничего иного предвидѣть не могу, кромѣ совершеннаго пораженія, или что я впаду въ турецкій плѣнъ. Если случится сіе послѣднее, то вы не должны меня почитать своимъ Царемъ и Государемъ, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то по собственноручному повелѣнію отъ васъ было требуемо, покамѣстъ я самъ не явлюсь между вами въ лицѣ моемъ; но если я погибну, и вы вѣрныя извѣстія получите о моей смерти, то выберете между собою достойнѣйшаго мнѣ въ наслѣдники».

— Какъ, Петръ Алексѣевичъ,—сказала съ удивленіемъ

Царица, — если ты попадешь въ плѣнъ, такъ твои подданные не должны ужь тебя и слушать?

— Да, мой другъ! Вѣдь я человекъ, и почему знать, на что могу рѣшиться, когда буду въ неволѣ у турокъ. Чтобъ выручить себя изъ плѣну, я, можетъ быть, соглашусь на все, что отъ меня потребуютъ, не пожалѣю ничего и разорю въ конецъ мое царство. Нѣтъ, Катенька, русскіе должны слушаться меня, своего законнаго Государя, пока я свободенъ, а коли я въ плѣну, такъ я самъ не хочу, чтобъ мнѣ повиновались: вѣдь тогда ужь не я стану приказывать, а турецкій султанъ.

— Да зачѣмъ же такъ отчаиваться, Петръ Алексѣвичъ? Богъ милостивъ! Ну, конечно, выгоднаго мира намъ ожидать нельзя...

— Вѣстимо, Катенька! Теперь намъ объ этомъ и думать нечего, да лишь только бы миръ то намъ заключить не поворный... Я охотно возвращу туркамъ Азовъ, разорю построенную на ихъ землѣ Троицкую крѣпость, заплачу всѣ военныя издержки...

— Я думаю, — сказала Царица, — визирь прежде всего потребуетъ, чтобъ ты выдалъ ему князя Кантемира...

— Князя Кантемира? — прервалъ съ жаромъ Государь. — Ни за что на свѣтѣ!... Вотъ тогда то подлинно я заключилъ бы поворный миръ!... Молдавскій господарь положился на мое обѣщаніе, былъ вѣрнымъ моимъ союзникомъ, и я выдамъ его туркамъ, — допущу умереть на плахѣ!... Нѣтъ, Катенька, скорѣй уступлю я туркамъ русскія земли по самый Курскъ: Господь поможетъ мнѣ воротить ихъ назадъ; но если я замѣню моему царскому слову, такъ этого ужь ничѣмъ не воротить!

Въ палатку заглянулъ царскій денщикъ

— Что ты? — спросилъ Государь

— Прапорщикъ Симскій, Ваше Величество.

— Хорошо. Позови его сюда.

Симскій вошелъ въ палатку.

— Господинъ прапорщикъ, — сказалъ Петръ Алексѣвичъ, — мнѣ рекомендовалъ тебя генералъ Вейде, какъ отлично хорошаго и расторопнаго офицера. Я хочу послать съ тобою въ Москву указъ нашему сенату. Надѣнешься ли ты довести его?

— Если Богъ поможетъ, Ваше Величество, — отвѣчалъ Симскій, — такъ доведу.

— Знакома ли тебѣ здѣшняя сторона?

— Меня часто посылали фуражировать, Ваше Величество, такъ я всѣ окольные дороги знаю.

— Хорошо. А по какой дорогѣ ты поѣдешь?

— Надобно дать кругъ, Ваше Величество, и ѣхать на Яссы.

— Такъ!... Ступай же, не мѣшкай ни минуты. Турки далеко не посылаютъ своихъ развѣздовъ; и если ты успѣешь отѣхать ночью верстъ пятнадцать, такъ авось, съ Божьей помощью, доберешься благополучно до Яссъ, а тамъ ужъ тебѣ никакой остановки не будетъ. На всякій случай вмѣстѣ съ тобою поѣдетъ казакъ, который хорошо говорить по молдавански и по турецки. Ну, теперь погоди немного, господинъ прапорщикъ: я сейчасъ тебя отправлю.

Государь Петръ Алексѣевичъ сложилъ свой указъ, запечаталъ его и, отдавая Симскому, сказалъ:

— Отправляйся скорѣе! Я чаю, до разсвѣта и трехъ часовъ не осталось. Прощай, молодецъ! — промолвилъ Государь, поцѣловавъ Симскаго въ лобъ. — Господь съ тобою!... Только смотри, не забывай русской пословицы: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай!»

Симскій, выходя изъ царской палатки, повстрѣчался съ Шереметевымъ.

— Ну что, господинъ генераль-фельдмаршалъ, — спросилъ Петръ Алексѣевичъ, — есть ли какой отвѣтъ отъ визиря?

— Никакого, Государь! — сказалъ Шереметевъ.

— Да вѣдь онъ долженъ же что-нибудь отвѣчать.

— Шепелевъ не воротился, Ваше Величество. И коли его убили на непріятельскихъ форпостахъ, такъ, можетъ быть, визирь и не знаетъ, что мы желаемъ начать съ ними переговоры.

— Да, конечно, дѣло статочное. Такъ пошлите, господинъ фельдмаршалъ, сей же часъ другого парламентаря; прикажите ему требовать немедленнаго отвѣта, и объявите визирю, что если онъ не хочетъ вступать съ нами въ переговоры, то мы, съ Божіей помощью, постараемся проложить себѣ дорогу съ оружіемъ въ рукахъ и ляжемъ всѣ до одинаго, но ни за что не сдадимся на дискрецію.

Фельдмаршалъ, отправивъ въ турецкій лагерь своего адъютанта, возвратился опять въ царскую палатку.

Прошло болѣе двухъ часовъ — отвѣта не было. Вотъ

облака зардѣлись на востокъ. Раскинутый въ долину русскій станъ былъ еще покрытъ ночною тѣнью, но на гористомъ берегу Прута начинали уже бѣлѣться верхи турецкихъ палатокъ. Вотъ первый лучъ восходящаго солнца отразился на позолоченной лунѣ великолѣпнаго шатра визирскаго; на передовой турецкой батарее сверкнулъ огонекъ, раздался пушечный выстрѣлъ, и непріятельское ядро просвиѣло надъ царскою палаткою.

— Вотъ намъ и отвѣтъ отъ визира! — сказалъ Шереметевъ. — Слышишь, Государь?

— Слышу, Борисъ Петровичъ!... Ну, какъ ты думаешь?

— Да о чемъ тутъ думать?... Дѣлать то нечего, — потѣшимся въ послѣдній разъ... Что, въ самомъ дѣлѣ: умирать, такъ умирать!... Да не легко же и туркамъ то будетъ! — промолвилъ фельдмаршалъ, нахмуривъ свои сѣдыя брови.

— А если мы не пробьемся? — спросилъ Петръ Алексѣвичъ.

— Такъ чтожь, надежа Государь! — прервалъ старикъ Шереметевъ, помолодѣвъ двадцатью годами: — мертвымъ срама нѣтъ. А мы всѣ готовы умереть съ тобою.

— Спасибо, добрый и вѣрный слуга мой! — сказалъ Петръ, обнимая Шереметева. — Спасибо, братъ Борисъ!

Вотъ снова раздался пушечный выстрѣлъ, за нимъ другой, третій; всѣ непріятельскія батареи вспыхнули, и турецкія ядра посыпались въ русскій лагерь.

— Экъ они, проклятые! — проговорилъ Шереметевъ. — Видно, пороху то у нихъ много!...

— Господинъ фельдмаршалъ, — сказалъ Государь Петръ Алексѣвичъ твердымъ и спокойнымъ голосомъ, — прикажите строиться войску въ каре; обозъ, понтоны и артиллерія въ срединѣ. Въ переднемъ фасѣ полки Преображенскій и Семеновскій; кавалерія въ арьергардѣ; всѣ генералы и штабъ-офицеры по своимъ мѣстамъ.

— Слушаю, Ваше Величество!

— Катенька, — сказала Государь, — палатку сейчалъ снять; ступай, садись въ карету и посади съ собой князя Кантемира.

— Петръ Алексѣвичъ! — вскричала Царица, обнимая со слезами Государя.

— Полно, Катенька, полно! Теперь не до того. Господь съ тобою!

Государь Петръ Алексѣвичъ вышелъ изъ палатки. Весь лагерь былъ въ движеніи. Быстро, но стройно и спокойно становилось войско въ боевой порядокъ; полки примыкали одинъ къ другому, и въ нѣсколько минутъ, подъ непріятельскими ядрами, вокругъ всего стана образовалась сплошная стѣна изъ русскихъ воиновъ.

Фельдмаршалъ подошелъ къ Государю.

— Ну что нашъ парламентаръ?—спросилъ Петръ Алексѣвичъ.

— Все еще въ турецкомъ лагерѣ, — отвѣчалъ Шереметевъ;—а можетъ статься и его такъ же убили, какъ Шепелева. Да ужъ что, батюшка Петръ Алексѣвичъ, одинъ бы конецъ!

— И то правда, Борисъ Петровичъ: коли визирь упрямится и молчитъ, такъ пора намъ заговорить. Прикажи бить походъ!... Съ Богомъ!

Государь и всѣ генералы сѣли на коней. Черезъ полминуты раздался по всему войску барабанный бой, и вотъ, какъ стальная нива, заволновались на солнышкѣ русскіе штыки; огромное каре двинулось съ мѣста.

— Да что это, —прошепталъ Шереметевъ:—никакъ турки то не стрѣляютъ?

Въ самомъ дѣлѣ, непріятельскія батареи замолки, и отъ противоположнаго берега Прута отчалила лодка.

— Стой!—скомандовалъ Шереметевъ.—Государь Петръ Алексѣвичъ,—продолжалъ онъ,—у тебя глаза то помоложе моихъ,—видишь?

— Вижу!... Это оба наши парламентаря... и съ ними турецкій офицеръ; они машутъ платками...

— Вотъ что!... Такъ, знать, визирь то надумался?

— Видно, что такъ.

— Ну, слава тебѣ, Господи! — сказалъ Шереметевъ, перекрестясь.—Я что, я ужъ мой вѣкъ отжилъ; а куда бы жаль было всѣхъ этихъ молодцовъ!

— Да, другъ сердечный!—скавалъ Петръ Алексѣвичъ, пожавъ крѣпко руку фельдмаршала.—Да, слава Богу: мы увидимъ еще съ тобой святую Русь!

## IX.

Теперь, любезные читатели, мы возвратимся опять къ Симскому.

Ночь была темная, порывистый вѣтеръ гналъ отъ запада густыя тучи и на мрачныхъ небесахъ изрѣдка только проглядывали звѣзды. Два всадника, одинъ закутаный въ широкій плащъ, другой въ черкесскую бурку, ѣхали шагомъ по узкой тропинкѣ, которая вела то берегомъ Прута, то, отбѣгая въ сторону, терялась въ глуши мелкаго дубоваго лѣса, поросшаго густымъ кустарникомъ. Эти ночные путешественники ѣхали почти рядомъ и оба молчали. Одинъ изъ нихъ былъ Василій Михайловичъ Симскій, другой казачій урядникъ Никита Фроловъ. Вдали слышны еще были оклики русскихъ часовыхъ, а до разсвѣта оставалось ужъ не болѣе двухъ часовъ.

— Да чтожь мы этакъ плетемся нога за ногу?—промолвилъ наконецъ Симскій.—Фроловъ, пойдемъ рысцею...

— Нѣтъ, сударь, теперъ рысью не далеко уѣдешь, — отвѣчалъ урядникъ. Вишь какая темь, хоть глазъ выколи!.. Мы же ѣдемъ берегомъ, а тутъ мѣстами есть такіе провалы, что не приведи Господи!..

— Да вѣдь этакъ мы и десяти верстъ не проѣдемъ до разсвѣта.

— Проѣдемъ, сударь, и всѣ пятнадцать, лишь только бы Господь Богъ отъ встрѣчи помиловалъ... Что ты... что ты, гнѣдко... чего испугался?. Экій чортъ! Иль нагайки захотѣлъ?...

— А что, Фроловъ, мы долго этимъ лѣсомъ то поѣдемъ?

— Вотъ скоро долженъ быть поворотъ на-право; въ деревню Куть-Маре, мы примемъ лѣвѣе, да и выѣдемъ въ чистое поле; и кабы намъ добраться только по добру по здорову до села Германешти, такъ дѣло то было бы въ шапкѣ: тамъ пойдетъ дремучій лѣсъ верстъ на десять, вплоть до помѣстья Будешти, а за Будештами прямая дорога до самыхъ Яссы.

— Да ты, видно, Фроловъ, хорошо знаешь здѣшнюю сторону?

— Какъ не знать, сударь: меня раза три въ Яссы посылали; дорога знакомая.

— Пстой-ка, братъ, пстой! — сказалъ въ полголоса Симскій, приостановя свою лошадь.

— Ничего, Василій Михайловичъ, — молвилъ Фроловъ: это вѣтеръ шумить по лѣсу. Здѣсь намъ и днемъ опаски большой бы не было, а вотъ какъ выберемся въ чистое поле, такъ ужъ тутъ держи ухо востро!.. Благо ночь то...

темна, а то проклятые басурманы какъ-разъ бы насъ подозрили, а пуще эти бюджетскіе татары: они, словно волки, такъ вездѣ и рыщутъ.

— Неужели ты, Фроловъ, испугаешься татарина?

— И двухъ, сударь, не испугаюсь, да вѣдь ихъ здѣсь видимо не видимо!.. всѣхъ не перебеешь, а на утекъ и не думай: у нихъ кони знатные!.. Вотъ не такъ что бы давно, этихъ поганыхъ татаръ вовсе здѣсь не было, да вдругъ какъ полая вода нахлынули,—вовсе простору не даютъ!.. А что, сударь, правду ли говорятъ, что Государь Петръ Алексѣевичъ хочетъ съ туркомъ то миръ учинить?

— Можетъ статья.

— Такъ чтожъ велѣно всему войску готовиться къ сраженію?

— Видно такъ надобно.

— Знать по пословицѣ: миру проси, а камушекъ съ собой носи!..

— Ну, разумѣется. Почему знать, коли визирь не пойдетъ на мировую...

— Такъ придется съ нимъ роспить круговую? Такъ, сударь!.. Да и пора чѣмъ ни есть порѣшить съ туркомъ то: вѣдь нашимъ скоро перекусить нечего будетъ. Что, въ самомъ дѣлѣ: миръ такъ миръ, а не то перекрестясь, да и пошелъ на удалю. Вынесетъ Господь—хорошо, не вынесетъ—Его святая воля! Лишь только бы нашъ батюшка уцѣлѣлъ, а наши головы что!.. Вѣдь Царство то Русское не нами стоять!

— Да, братъ Фроловъ, за нашего Государя не жаль своей головы положить!

— Чего жалѣть, батюшка! Да вѣдь такихъ царей, какъ нашъ Государь Петръ Алексѣевичъ, сродясь нигдѣ не бывало. И собой молодець, и удалъ вся русская. Какъ теперѣ смотрю: подъ Полтавою летаетъ себѣ соколомъ на своей лошаdkѣ; вокругъ его народъ такъ варомъ и варить, а ему и горюшки мало! Гдѣ погуще, тутъ и онъ! А ужъ заботливый то какой! Подумаешь: кому бы, кажется, и понѣжиться, какъ не Царю,—Ему никто не указъ; такъ нѣтъ: говорятъ, ночи не спать!.. Да за то ужъ у него и другіе не дремлютъ. Вотъ иноземные то государи—фу, батюшки,—чай, къ нимъ и приступу нѣтъ! А къ нашему Царю, коли ты правъ или за дѣломъ идешь—ступай прямо! Онъ, нашъ кормилецъ, со всѣми милостивъ; простого ла-



потника не погнушается. Да вотъ я, сударь, расскажу тебѣ, что слышалъ отъ одного крестьянина, у котораго года два тому назадъ стоялъ постоемъ. Забылъ, какъ село то прозывается... ну, да это все равно. Вотъ что онъ рассказывалъ: «Бду, дескать, я однажды порожнякомъ съ базару по большой дорогѣ; заѣзжалъ маленько, попалъ въ рытвину, задняя ось-то и пополамъ; а до села еще версты четыре оставалось. Что дѣлать, — на одномъ передкѣ далеко не уѣдешь. Со мною былъ парнишка: я послалъ его за осью на село, а самъ остался подлѣ воза. Вотъ, гляжу, ѣдетъ на тройкѣ въ телѣгѣ какой то баринъ, а съ нимъ служивый; поровнялся со мною и велѣлъ остановиться. Я шапку долой. «Что, дескать, мужичекъ, стоишь ты здѣсь съ возомъ празно?» «Да вотъ, молъ, батюшка, притча сдѣлалась: ось лопнула». «Такъ чтожь, — у тебя, кажись за поясомъ топоръ?» «Да, кормилецъ, купилъ на базарѣ». «Ну такъ чего же ты сложа руки стоишь? Иль ужъ ты яси то сдѣлать не сумѣешь? Лѣсокъ здѣсь есть, срубилъ бы деревцо, да и за работу». «Нельзя, кормилецъ; здѣсь лѣсъ рубить Царемъ заказано». «Экій ты какой, да кто про это узнаеть?.. Я никому не донесу». «А Богъ то на что, батюшка?» Вотъ, гляжу, баринъ прыгнулъ съ телѣги, подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за виски и поцѣловалъ въ маковку. «Добрый ты мужичекъ, говоритъ, добрый: и Бога боишься и Царя слушаешься». «Да кого жъ намъ и слушаться» — молвилъ я. «А видаль ли ты когда-нибудь Царя то?» — спросилъ баринъ: «Нѣтъ, батюшка, сродясь не видывалъ». «Ну, такъ посмотри на меня вѣдь я то и есть Царь Петръ Алексѣевичъ». Я въ ноги, а онъ поднялъ меня и говоритъ: «За то, что ты, мужикъ, присягу помнишь и царскій указъ хранишь, я самъ тебѣ послужу и сдѣлаю тебѣ ось моими руками». Вотъ онъ взялъ у меня топоръ, срубилъ деревцо, да въ два мига такую смастерилъ ось, что любо-дорого по-смотришь! Приладилъ какъ быть надо, сѣлъ опять въ телѣгу и покатилъ. Я пріѣхалъ на село да прямехонько къ батькѣ». «Вотъ, дескать, отецъ Ѳеодоръ, како дѣло со мной было». Батка выслушалъ, подивился и говоритъ мнѣ: «Не подобаетъ тебѣ, Гаврила, ѣздить на оси, которую дѣлалъ своими ручками помазанникъ Божій: отдай ее въ церковь!» \*)

\*) Теперь эта ось перенесена на паперть соборнаго храма города Волоколамска.

«Ну, вѣстимо, я отдалъ, и ее поставили на паперти, у самыхъ церковныхъ дверей». Вотъ что, сударь, Гаврила мнѣ рассказывалъ, а ось то я самъ видѣлъ: она и теперь все тамъ же на паперти стоитъ. Такъ вотъ онъ каковъ нашъ батюшка! И разной мудрости иноземной обучень, и царствомъ править, да и въ мужичьемъ то дѣлѣ всякаго за поясъ заткнеть!

Въ продолженіе этого разсказа, наши путешественники доѣхали до опушки лѣса.

— Вотъ и поле пошло,—сказалъ Фроловъ. Теперь зѣвать не надо... Пстой-ка, сударь...

Урядникъ слѣзъ съ лошади, нагнулся къ землѣ и сталъ слушать.

— Ну что?—спросилъ Симскій.

— Тихо, батюшка, ничего не слышно.

— Да за то скоро видно будетъ. Посмотри-ка, Фроловъ: всѣ облака разошлись.

— Да, сударь, да!... Мѣшкать нечего—съ Богомъ!

Симскій и Фроловъ выѣхали на изрытую колеями дорогу, которая, судя по частымъ насыпямъ и гатамъ, шла низкими и болотными мѣстами.

— Вотъ, кажись, и поворотъ,—прошепталъ урядникъ. Два дубка... столбъ... ну, такъ и есть!.. Эхъ, больно свѣтло становится... Пронеси Господи!.. Сюда, батюшка, сюда, на лѣво!.. Ну, что это?—промолвилъ вполголоса Фроловъ, осадивъ свою лошадь. Слышишь, сударь, что вѣтромъ то наносить?

— Да не близко ли мы къ рѣкѣ?.. Можетъ быть, это шумитъ Прутъ?

— Какой Прутъ!.. Рѣка должна быть правѣе, а это прямехонько противъ насъ.. Нипни-ка, батюшка! Такъ и есть—конскій топотъ!.. Вдуть къ намъ на встрѣчу... Слышишь?

— Теперь слышу. Это должны быть татары, или турецкій разъѣздъ.

— Полуночники проклятые!.. Вотъ ихъ чортъ несетъ!..

— Думать то нечего, Фроловъ: свернемъ съ дороги въ сторону, а какъ они пробѣдутъ...

— Вотъ то-то и бѣда, сударь! Здѣсь по сторонамъ все ѣзды нѣтъ—трясинникъ да болота; днемъ бы еще, можетъ статься, пробѣхали, а ночью какъ попадешь въ какуюнибудь трущобу, такъ и сиди до утра, а тамъ тебя ру-

ками возьмутъ. Нѣтъ, батюшка, ужь лучше ѣхать на Куть-Маре, хоть и дадимъ крюкъ, да авось ли какъ-нибудь доберемся проселками до села Германешти. Намъ въ Куть-Маре проводника дадутъ.

— Куть-Маре!—повторилъ Симскій. Куть-Маре! Вѣдь это, кажется, помѣстье молдаванской барыни Хереско.

— Да, сударь. Въ Германешти лошадей вовсе нѣтъ, такъ я у нея часто подводы бралъ и сѣнцомъ не разъ поживлялся. Такая ласковая... Чу, слышишь?.. Близехонько и, кажись, ихъ много... Ну, сударь, дѣлать то нечего—на утекъ!

Путешественники приняли на право и пустились по дорогѣ, которая вела въ деревню Куть-Маре. Проѣхавъ шибкою рысью версты двѣ, они выѣхали на берегъ Прута. Кругомъ все было тихо; вдали передъ ними мелькалъ огонекъ.

— Вотъ, немного полѣвѣе, долженъ быть мостъ,—сказалъ Фроловъ,—а за нимъ какъ-разъ господская усадьба.

— Такъ поэтому, —спросилъ Симскій, — и огонекъ то свѣтится?

— Должно быть въ барскихъ хоромахъ. Тамъ есть у меня пріятели; одинъ дѣтина по имени Димитраки, сирѣчь Дмитрій, и любимая сѣнная дѣвушка куконь, цыганка... помнится, Маріорицею зовутъ. Она всѣмъ домомъ заправляетъ. Кабы намъ до нея только добраться, такъ барыни и тревожить нечего: Маріорица дѣвка добрая, русскихъ любить, и ужь вѣрно дастъ намъ проводника.

— Постой-ка, Фроловъ!—прервалъ Симскій. Что это?... Мнѣ кажется, какъ будто бы...

— Да, сударь, что то шумить!.. Или это такъ вѣтеръ чтоль шелестить?.. Кажись вѣтеръ... Вотъ опять затихло!.. Чу, на господскомъ то дворѣ собаки залаяли!... Видно насъ почуяли... Слышишь, сударь?.. Вонъ ворота за скрипѣли... Чтожъ это ни свѣгъ, ни заря?.. Ужъ не дожидаются ли они кого-нибудь?..

— А вотъ увидимъ!—сказалъ Симскій, пріударивъ нагайкою свою лошадь.

Черезъ нѣсколько минутъ наши путешественники, переѣхавъ черезъ мостъ, вѣхали на господскій дворъ, обнесенный высокимъ тыномъ, и остановились шагахъ въ десяти отъ барскаго дома. Прямо, зъ глубинѣ двора, тянулось длинное зданіе, покрытое соломкою, налѣво чернѣлся густой садъ, а направо разбросаны были по двору отдѣльныя,

выблѣнные извѣстью, мазанки. Симскій и Фроловъ спѣшились. Къ нимъ подошелъ съ фонаремъ дюжій дѣтина въ овчинномъ кожухѣ.

— Ты, пріятель, караульщикъ чтоль?—спросилъ его по молдавански Фроловъ.

— Караульщикъ,—отвѣчалъ молдаванинъ.

— Э, здравствуй, братъ Димитраки!

— Здравствуй!.. Да ты кто?

— Иль не узналъ козачьяго урядника Никиту... помнишь?

— Помню... Такъ это ты?.. А твой товарищъ?

— Русскій офицеръ.

— Русскій офицеръ... Да какъ это васъ сюда чортъ занесъ?

— Ужь это не твое дѣло. Поди, разбуди Маріорицу и вышли ея къ намъ. Ну чтожь ты ротъ разинулъ?

— Да какъ же это вы сюда пріѣхали?

— Говорятъ, не твое дѣло—ступай!

Молдаванинъ почесалъ затылокъ, поглядѣлъ съ удивленіемъ на Фролова и отправился. Минуты черезъ двѣ съни господскаго дома освѣтились и Димитраки вышелъ на крыльцо вмѣстѣ съ женщиною, закутанною въ длинную коцавейку.

— Ну вотъ и Маріорица!—прошепталъ Фроловъ.

— Да, это, кажется, она,—сказалъ Симскій.

— Такъ и ты, сударь, ея знаешь?

— Знаю.

Симскій подошелъ къ крыльцу, и лишь только свѣтъ отъ фонаря отразился на его лицѣ, цыганка вскрикнула, всплеснула руками и кинулась опрометью назадъ въ домъ.

— Постой, постой!—закричалъ Фроловъ. Куда ты, Маріорица... Постой... Димитраки, чтожь это она, чего испугалась?

— Да видно этого чорта,—отвѣчалъ молдаванинъ,—вонъ что идетъ сюда изъ людскихъ то. Онъ всю ночь шатается по двору, да за всѣми присматриваетъ, цѣпная собака этакая!

— А кто онъ такой?

— Янко, арнауть бояра Палади.

— Какого бояра? Вѣдь здѣшняя то помѣщица кукона Хереско?

— Ну, да.

— Такъ видно этотъ бояръ къ ней въ гости пріѣхалъ?

— И не одинъ: съ нимъ гостей то много наѣхало.

Огромнаго роста арнаутъ подошелъ къ караульщику. вырвалъ у него изъ рукъ фонарь, посмотрѣлъ молча на нашихъ путешественниковъ и, сказавъ вполголоса нѣсколько словъ, отправился назадъ.

— Что этотъ долговязый съ тобой говорилъ?—спросилъ Фроловъ.

Вмѣсто отвѣта, Димитраки подошелъ къ воротамъ и началъ ихъ запираеть.

— Эхъ, плохо дѣло,—шепнулъ урядникъ: никакъ мы въ ловушку попались!.. Послушай-ка, пріятель,—продолжалъ онъ, обращаясь къ молдаванину,—ты зачѣмъ ворога запираешь?

— А вотъ скоро опять отопру,—промолвилъ Димитраки: кажись гости ѣдутъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ Симскій: конскій топоть!

— Кто жъ это къ вамъ ѣдетъ?—спросилъ Фроловъ.

— Ночь то больно темна, а то бы ты не сталъ меня спрашивать. Вонъ—посмотри! Видишь ли ты тамъ что-нибудь подлѣ забора?

— Нѣтъ, не вижу.

— Подойди поближе.

Фроловъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и остановился.

— Чтожъ это?—сказалъ онъ. Никакъ осѣдланная лошадь?

— Ну, да!.. Вотъ ты бы днемъ тотчасъ увидѣлъ, что на нихъ турецкая сбруя.

— Такъ здѣсь турки?

— Другой день стоятъ. Ихъ привелъ бояръ Палади.

— Гдѣ онъ, гдѣ онъ?—раздался женскій голосъ. Василій Михайловичъ, гдѣ ты?

— Я здѣсь, Смарагда!—сказалъ Симскій, идя на встрѣчу въ куконѣ.

— Боже мой, ты здѣсь и въ какую минуту!.. Мариорича!.. Димитраки!.. Приберите куда-нибудь лошадей, а ты, Василій, и твой товарищъ ступайте ко мнѣ въ домъ.

На дворѣ замелькали огни.

— Скорѣй, скорѣй!—шепнула Смарагда, таща за собой Симскаго.

Но прежде, чѣмъ они добѣжали до крыльца, бояръ Палади съ цѣлою толпою турокъ заступили имъ дорогу.

— Пстой, кукона! — сказалъ онъ, схвативъ за руку Смарагду. Мы и безъ тебя угостимъ этихъ русскихъ.

Симскій и Фроловъ не успѣли вынуть своихъ сабель, ихъ схватили и тотчасъ обезоружили.

— Свяжите хорошенько этихъ бродягъ! — продолжалъ Палади, обращаясь къ туркамъ. Какъ вашъ ага воротится, такъ мы разспросимъ ихъ порядкомъ, зачѣмъ они сюда пожаловали, и если они подосланы...

— О, нѣтъ, — вскричала Смарагда, — увѣрю тебя... они заплутались... заѣхали сюда нечаянно!..

— Э, да какъ ты за нихъ заступаешься, кукона!.. Посвѣтите-ка сюда, — продолжалъ Палади, подходя къ Симскому. Ну такъ и есть! — сказалъ онъ, нахмуривъ свои густыя брови. Милости просимъ, господинъ офицеръ!.. Теперь мы съ тобой разочтемся!.. Я даль по тебѣ промахъ, проклятый русскій, да авось теперь не промахнусь! — промолвилъ онъ, вынимая изъ за пояса пистолеть.

— Такъ убей и меня вмѣстѣ съ нимъ! — вскричала Смарагда.

Она обвила Симскаго обѣими руками и крѣпко прижалась къ груди его. Въ эту самую минуту ворота распахнулись снова и видный собою турецкій ага въ сопровожденіи многочисленнаго отряда спаговъ вѣхалъ во дворъ.

— Что у васъ такое? — спросилъ онъ, спрыгнувъ молодцомъ съ коня.

— Да вотъ, — отвѣчала Палади, опустивъ пистолеть, — къ намъ заѣхали сюда русскіе, такъ я хотѣлъ съ ними поскорѣй раздѣлаться.

— Русскіе?.. Хошъ халды! Добро пожаловать! Гдѣ жъ они?

— А вотъ здѣсь.

— И только двое? Да чтожъ эти Московъ съ ума чтоль сошли?

— Видно ихъ подослали нарочно.

— И ты хотѣлъ ихъ застрѣлить?

— А развѣ не прикажешь?

— Нѣтъ, не прикажу. Ну, стоятъ ли эти собаки, чтобъ ты тратилъ для нихъ порохъ? Хамидъ, — продолжалъ ага, обращаясь къ одному изъ спаговъ, — возьми себѣ ихъ головы.

Хамидъ, пожилой турокъ съ сѣдою бородою, спустился медленно съ коня.

— Ну, Василій Михайловичъ, — молвилъ Фроловъ, —

пришелъ нашъ конецъ!.. Я по турецкому то маракую, — знаешь ли, что сказалъ этотъ турка?

— А что?—спросилъ торопливо Смарагда.

— Онъ велѣлъ покончить съ нами.

Кукона вскрикнула, голова ея скатилась на грудь, руки опустились и она упала безъ чувствъ на землю. Маріорица подняла свою госпожу и, при помощи Димитраки, внесла ее въ домъ.

— Дѣлать нечего, Фроловъ, — сказалъ Симскій: воля Господня... молись Богу!

— Поганые басурманы, — прошепталъ урядникъ: экъ они намъ руки-то скрутили... и перекреститься нельзя!

Хамидъ вынулъ изъ ноженъ свой булатный ятаганъ, оберъ его полою кафтана и, обращаясь къ своему начальнику, сказалъ:

— А что, эфенди, здѣсь чтоль, или тамъ за воротами?

— Да, сведи ихъ со двора. Палади, — продолжалъ ага, — ты спрашивалъ этихъ Московъ, что они за люди такіе?

— Одного изъ нихъ я знаю: онъ долженъ быть русскій юзъ-баши.

— Юзъ-баши!—вскричалъ ага, Аллахъ киримъ!.. И ты хотѣлъ застрѣлить его?.. Постой, Хамидъ, постой!.. Мы до сихъ поръ не могли еще захватить въ плѣнъ ни одного русскаго юзъ-баши: они, проклятыя собаки, ни за что живые въ руки не даются. Нашъ визирь Ахметъ-паша — да сохранить его аллахъ и да утонетъ онъ въ морѣ милостей великаго падишаха! — дорого бы далъ, что бы поразспросить хорошенько хоть русскаго анъ-баши, а это юзъ-баши!.. Онъ отъ него все можетъ вывѣдать...

— Такъ ты его отошлешь къ визирю?

— Я самъ, послѣ утренней молитвы, отвезу этихъ плѣнныхъ въ лагерь и сдамъ съ рукъ на руки великому каймакану... Ханукъ, Селимъ, заприте куда-нибудь до утра этихъ гяуровъ!.. Да если они уйдутъ...

— Не заботься объ этомъ, — прервалъ молдаванинъ: не уйдутъ! За это я берусь.

— Ну, не говори, Палади! Этимъ русскимъ — да истребить аллахъ весь нечестивый родъ ихъ! — самъ шайтанъ помогаетъ: они въ мышиную щелку пролѣзутъ, проклятые! Смотри, не упusti ихъ!

— Чтобъ я ихъ упустилъ? Да застрѣли меня какъ

собаку, если я выпущу изъ рукъ этихъ разбойниковъ русскихихъ!

— Хорошо, эфенди!.. Помни же, что ты теперь сказалъ!

— Не забуду. Я ихъ такъ припру, что къ нимъ и муха не влетитъ!.. А что ты думаешь, ага: визирь что съ ними сдѣлаетъ?

— Извѣстно что: разспросить обо всемъ.

— Да, скажутъ они правду!

— Скажутъ. Да вѣдь ихъ станеть допрашивать визирскій палачъ Абдуль-Мукирь, а у него и мертвый заговорить.

— А какъ ихъ допросить?

— Такъ велеть задушить. Кто побывалъ въ рукахъ у Абдуль-Мукира, тотъ ужъ ни на что не годится.

— Вотъ что!.. Хорошо же, что я ихъ не застрѣлилъ. Алейкумъ саламъ эфенди!

Палади велѣлъ вести за собою Симскаго и Фролова. Всѣ турки, убравъ лошадей, разбрелись въ разныя стороны и на опустѣломъ дворѣ остался снова одинъ каральщикъ Димитраки.

## Х.

Въ небольшой комнатѣ, при слабомъ свѣтѣ лампы, которая висѣла передъ образомъ Божіей Матери, сидѣла на своей постели, блѣдная, убитая горестью, кукона Хереско. Она молчала и по временамъ только удушливья рыданія вырывались изъ груди ея. Подлѣ кровати стояла любимая ея цыганка.

— Мариорица, — промолвила наконецъ кукона, — не обманывай меня! Ты говоришь, что онъ живъ, но я сама слышала...

— Да, кукона, — прервала цыганка, — имъ хотѣли отрубить головы; но видно турки передумали.

— Да точно ли это правда?

— Какъ же, кукона! Ужь я тебѣ говорила, что ихъ отвели въ каменную кладовую. Димитраки видѣлъ, какъ ихъ туда заперли.

— А чтожь неидеть ко мнѣ бояръ Палади?

— Кто его знаетъ! Когда я ему сказала, что ты зовешь его къ себѣ, такъ онъ поглядѣлъ на меня такимъ звѣремъ, что я и отвѣта не стала дожидаться.



— Боже мой, а межъ тѣмъ время такъ и летитъ!.. Что, Маріорица, посмотри, свѣтаетъ?

— Да, кукона! Вонъ ужъ тамъ, гдѣ изъ-за рощи то солнышко выходитъ, звѣзды стали тухнуть.

— А Палади неидетъ!..

— Чу, что то стукнуло... Вотъ и въ дѣвичьей зашумѣли... Идетъ, кукона, идетъ!

Двери открылись и въ комнату вошелъ бояръ Палади. Онъ ваглянулъ угрюмо на Смарагду; ея заплаканные глаза и помертвѣвшее лицо, казалось, не возбудили въ немъ никакого сожалѣнія; напротивъ, взоръ его сдѣлался еще мрачнѣе.

— Проклятый,—прошепталъ онъ: какъ она его любитъ!

— Садись, бояръ!—сказала тихимъ голосомъ Смарагда.

— Зачѣмъ, кукона? Мнѣ некогда съ тобою долго разговаривать: я отвѣчаю головою за плѣнныхъ русскихъ, такъ самъ ихъ караулю. Конечно, имъ уйти не легко, да вѣдь здѣсь, пожалуй, и помогутъ.

— Бога ради, Палади, скажи мнѣ всю правду: что съ ними будетъ?

— Извѣстно что: Ибрагимъ сказалъ мнѣ, что онъ, послѣ утренней молитвы, отвезетъ ихъ въ лагерь къ визирю; тамъ отъ нихъ допытаются, зачѣмъ они сюда пожаловали, разспросятъ о русскомъ войскѣ. Турки на это молодцы: коли примутся пытать, такъ у нихъ всякій заговорить, — по жилочкѣ вытянуть изъ человѣка! А тамъ какъ узнаютъ отъ нихъ все, что надо, такъ отмахнуть имъ головы, или велеть задушить. Вѣдь у нихъ расправа короткая!

— Милосердый Боже! — вскричала Смарагда. А я еще радовалась, что Симскій живъ!

— Вольно-жъ тебѣ было мнѣ помѣшать: я сгоряча убилъ бы его непременно. Теперь, не прогнѣвайся, и самъ ни за что не трону этого красавчика: пусть онъ прежде побываетъ въ рукахъ у визирскаго палача. Посмотримъ тогда, каковъ то онъ будетъ!

— Боже мой, Боже мой!.. Да за чтожъ ты его такъ ненавидишь?

— За что?.. И ты спрашиваешь объ этомъ?.. За что? Ты любила меня, Смарагда... Да, да, ты любила меня!.. И еслибъ не этотъ пришлецъ, не этотъ демонъ-соблазнитель, я былъ бы давно твоимъ мужемъ! Теперь онъ въ

рукахъ моихъ, его ждетъ мучительная смерть, а знаешь ли, что я завидую ему? Онъ умретъ любимый тобою, а я останусь жить... На что?.. Для чего?.. Еслибъ я ненавидѣлъ тебя, какъ ненавижу этого русскаго... о, тогда бы я могъ еще жить! Я былъ бы счастливъ твоею горестью, я упивался бы слезами твоими. Твое отчаяніе было бы моимъ блаженствомъ; но я люблю тебя!.. И если бы ты знала, Смарагда, какой адскій пламень обхватываетъ мое сердце, какъ рвется оно на части при одной мысли, что ты признаешь любовь мою, что этотъ злодѣй владѣлъ тобою!

— Ты ошибаешься, боярь...

— Я ошибаюсь — я?.. Такъ онъ не для тебя пріѣхалъ въ Куть-Маре, не для тебя пошелъ на явную гибель?

— Онъ здѣсь первый разъ и заѣхалъ сюда нечаянно.

— Да не ты ли сама признавалась мнѣ, что любишь этого русскаго?

— Да, я люблю его; но та, которую онъ любитъ, не здѣсь, Палади: она русская. Симскій зоветъ меня сестрою и, можетъ быть, любить какъ сестру, но никогда не будетъ моимъ мужемъ.

— Еслибъ я тебѣ и повѣрилъ, — сказалъ молдаванинъ, такъ чтожъ отъ этого? Любить ли тебя этотъ русскій или нѣтъ, но онъ сталъ между тобою и мною...

— Но развѣ Симскій желалъ этого?.. О, повѣрь, Палади, онъ ни въ чемъ не виноватъ передъ тобою!..

— А въ чемъ виноваты передъ турками солдаты Русскаго Царя? Они не сами пришли: ихъ привели на Прутъ; такъ по твоему падишахъ долженъ ихъ всѣхъ помиловать? Нѣтъ, кукона, если этотъ русскій не виноватъ предо мною, такъ пусть кровь его будетъ на тебѣ: не я, а ты его убійца!

— Боярь Палади, — прервала кукона, — время дорого, выслушай мою послѣднюю и непремѣнную волю: клянусь тебѣ Господомъ Богомъ, если Симскій погибнетъ, такъ я никогда не буду твоею женою и умру, проклиная тебя; а если ты спасешь его, то веди меня завтра же къ вѣнцу!

— Завтра... тебя?! — повторилъ съ удивленіемъ Палади. Ты шутишь, кукона!

— Вотъ какъ я шучу! — сказала Смарагда, снимая со стѣны икону. Гляди, Палади: я цѣлую ликъ Божіей Матери и повторяю мою клятву.

— Да подумала ли ты, Смарагда, что до завтрашняго

дня осталось только нѣсколько часовъ и что въ Куть-Маре есть церковь и священникъ?

— Прикажи ему быть готовымъ.

— Такъ ты будешь моею?—прошепталъ Палади, устремивъ сверкающій взоръ на блѣдную, истерзанную горестью, но все еще прекрасную молдаванку. Моею! — повторилъ онъ, схвативъ ее за руку.

— Да, — прошептала кукона, — если ты спасешь Симскаго.

— Смарагда, — сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, бояръ, — я вѣрю, что теперь ты на все готова; но кто поручится мнѣ за будущее? Пройдетъ мѣсяцъ, другой...

— Но развѣ я тебѣ не сказала, что ты можешь завтра же вести меня къ вѣнцу?

— Завтра!.. Да вѣдь я отвѣчаю за этихъ плѣнныхъ головою, и чтобъ спасти ихъ, долженъ самъ уйдти вмѣстѣ съ ними, а ты останешься здѣсь.

— Нѣтъ, бояръ, я здѣсь не останусь, а поѣду къ моимъ роднымъ въ Кіевъ; ты можешь также туда пріѣхать, и если докажешь, что Симскій доѣхалъ благополучно до Россіи...

— А чѣмъ я докажу это?

— Привези отъ него письмо.

— Письмо! — повторилъ молдаванинъ. Письмо, въ которомъ, можетъ быть, онъ станетъ увѣрять тебя въ любви своей!..

— Я ужъ сказала тебѣ, Палади, что онъ любитъ меня какъ сестру и никогда не будетъ моимъ мужемъ.

— Почему я знаю, — продолжалъ молдаванинъ, — что у тебя на умѣ, кукона? Можетъ быть, вмѣсто Кіева, мнѣ придется ѣхать съ этимъ письмомъ въ Москву.

— Боже мой, Боже мой, да чѣмъ же я могу тебя увѣрить?.. Постой! — промолвила Смарагда, снимая съ себя золотой крестъ. Вотъ благословеніе покойной моей матери: она завѣщала мнѣ никогда съ нимъ не разставаться, но ты—мой женихъ, Палади, возьми его! И пусть благословеніе моей матери превратится въ вѣчное проклятіе; если я измѣню моему слову!.. Да, клянусь передъ Богомъ: только тотъ, кто возвратитъ мнѣ этотъ крестъ, будетъ моимъ мужемъ! Ну, вѣришь ли теперь, что я тебя не обманываю?

— Хорошо, кукона, я постараюсь спасти этихъ русскихъ! Помни только, что дѣло идетъ о головѣ моей и

что съ этой минуты ты принадлежишь мнѣ на всегда. Погибну я или нѣтъ — все равно! Да, Смарагда: этого креста не возвратитъ тебѣ никто, кромѣ меня... Прощай!

Палади вышелъ изъ дома. На дворѣ все было тихо. У дверей кладовой, въ которой заперты были плѣнные, стоялъ Янко, арнауть бояра Палади. У коновязи сидѣлъ, поджавши ноги, турецкій часовой; онъ не курилъ даже трубки, потому что спалъ мертвымъ сномъ. Одинъ только Димитраки расхаживалъ подлѣ запертыхъ воротъ и мурлыкалъ про себя пѣсенку.

— Димитраки, — сказалъ Палади, подойдя къ караульщику, — что, все спокойно?

— Все, бояръ.

— Кажется, турки то всѣ спятъ?

— Да когда-жъ имъ соснуть, коли не теперъ? Всю ночь прошатались.

— А ты что не спишь, Димитраки?

— Нѣтъ, бояръ, спасибо!.. Вишь какой! — промолвилъ онъ шопотомъ. Еще спрашиваетъ, чертъ этакій!

— Я вчера поколотилъ тебя за это, — продолжалъ Палади, — а сегодня, ужъ такъ и быть, — жаль мнѣ тебя, ступай, спи!

— Да вонъ ужъ свѣтаетъ, бояръ, высплюсь днемъ.

— Ну пошелъ же, когда тебѣ говорятъ! Да возьми съ собою въ избу собакъ: надоѣли, — все лаютъ.

— Да кто же дворъ то станетъ караулить?

— А вотъ кто, — прервалъ Палади, ударивъ кулакомъ караульщика. — Когда приказываютъ, такъ слушайся!

Димитраки подкликалъ къ себѣ собакъ и отправился вмѣстѣ съ ними въ одну изъ мазанокъ, которыми уставленъ былъ весь дворъ, а Палади, поглядѣвъ внимательно вокругъ себя, пошелъ къ каменной кладовой. Минуты черезъ двѣ Димитраки высунулъ голову изъ дверей избы.

— Проклятый полуночникъ! — прошепталъ онъ. Вчера приколотилъ меня за то, что я спалъ, сегодня за то, что нейду спать; разбойникъ этакій!.. Да чтожъ это такое, — продолжалъ караульщикъ, выходя по-тихоньку изъ избы: и меня прогналъ и собаки ему надоѣли?.. Это что-нибудь не даромъ... Ужъ не пойти ли мнѣ сказать объ этомъ туркамъ?.. Что, въ самомъ дѣлѣ, — вѣдь я и передъ ними также въ отвѣтъ! Упаси Господи, коли грѣхъ какой сдѣ-

лается, вѣдь тогда за меня перваго примутся!.. Ты, дескать, караульщикъ!..

Разсуждая такимъ образомъ, Димитраки пробрался стороною до длиннаго надворнаго строенія, въ которомъ помѣщался турецкій ага со своимъ отрядомъ. Въ одномъ окнѣ свѣтился огонекъ.

— Э!—прошепталъ Димитраки, — да никакъ ага то не спить!.. Ну такъ и есть! кажись, молится по своему Богу... Не пойдти ли мнѣ сказать ему?.. Нѣтъ, дай прежде посмотрю, гдѣ этотъ чортовъ сынъ, Палади..

Между надворнымъ строеніемъ и заборомъ сада росъ высокій бурьянъ и разбросано было нѣсколько кустовъ смородины; Димитраки почти ползкомъ прокрался между ними до самой коновязи. При свѣтѣ утренней зари, которая стала уже заниматься, можно было различать довольно ясно всѣ предметы. Въ пяти шагахъ отъ Димитраки бояръ Палади и его арнаутъ Янко суетились около лошадей.

— Проворнѣй, проворнѣй! — шепталъ Палади, я все боюсь, что этотъ проклятый турокъ... Эхъ, лучше бы!..

— Да небось, бояръ, — прервалъ Янко: я ему ротъ завязалъ платкомъ и скрутилъ такъ, что ему пошевелиться нельзя, а закричать и полно; еще, пожалуй, задохнется. Да ништо ему: коли приставили караулить, такъ не спи!

— Ну, веди теперь лошадей садомъ, а тамъ задними воротами въ рощу,—знаешь, гдѣ старая винокурня?

— Знаю, бояръ.

— Тамъ и дождайся, а я пойду къ русскимъ.

— Эге, — подумалъ Димитраки: и турка связали и лошадей ведутъ украдкою, такъ дѣло то не ладно, надо сказать агѣ. Ну, бояръ, какъ то ты съ нимъ раздѣлаешься: вѣдь онъ не нашъ братъ, его не поколотишь!

Межъ тѣмъ Палади подошелъ къ каменному небольшому зданію съ однимъ окномъ, въ которое вставлена была толстая желѣзная рѣшетка, отперъ ключемъ дубовую оконную дверь и вошелъ съ кладовую. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ изъ нея съ Симскимъ и Фроловымъ, и перерѣзалъ кинжаломъ веревки, которыми они были связаны.

— Теперь за мной!—сказалъ Палади.

— Симскій и Фроловъ, вслѣдъ за молдаваниномъ, перелѣзли черезъ заборъ и пустились бѣгомъ по саду.

— Скорѣй, скорѣй! — прошепталъ бояръ. Вонъ видите тамъ за воротами?.. Эти кони приготовлены для насъ.

— Ты лжешь, Палади! — сказалъ кто то по молдавански. Изъ за кустовъ высыпали вооруженные спаги и турецкій ага заступилъ дорогу бѣглецамъ.

— Ибрагимъ! — вскричалъ бояръ.

— Да, ты лжешь, Палади, — повторилъ ага: эти кони приготовлены для меня. Возьмите русскихъ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ туркамъ, — и посадите ихъ на коней: я самъ съ ними поѣду; а ты, проклятый гяуръ, оставайся дома.

Вслѣдъ за этими словами раздался выстрѣлъ и бояръ Палади упалъ мертвый на землю. Ага продулъ спокойно затравку своего пистолета, заткнулъ его за кушакъ и пошелъ къ роцѣ, а два или три турка, которые остались въ саду, принялись раздѣвать и обшаривать убитаго бояря.

Солнце начинало уже всходить, когда наши плѣнные выѣхали на дорогу, ведущую отъ помѣстья Куть-Маре къ турецкому лагерю; онъ тянулся по высотамъ, которыя шли вдоль низкаго берега Прута, поросшаго густымъ камышемъ. Вотъ забѣлѣлись безчисленныя палатки и красивые наметы турецкаго войска. Вдали, какъ бѣлоснѣжная, увѣчанная золотою луною гора, возвышался огромный шатеръ великаго визиря. Посреди обширнаго поля, отдѣлявшаго таборы крымскихъ татаръ отъ турецкаго стана, гарцовали сотни лихихъ наѣзтниковъ. Они крутились вихремъ по полю, гонялись другъ за другомъ, бросали свои джириды и на всемъ скаку подхватывали ихъ на воздухъ. Эта необычайная быстрота движений, этотъ восточный живописный нарядъ, это блестящее на солнышкѣ и залитое въ серебро оружіе, отъ котораго сыпались огненные искры—все это вмѣстѣ было такъ прекрасно и такъ великолѣпно, что Фроловъ, несмотря на свою ненависть къ басурманамъ, не могъ удержаться отъ восторга и прошепталъ:

— Эхъ, жаль, что эти поганые турки Христа-то не знаютъ!... А, нечего сказать, удалой народъ!

Не доѣхавъ шаговъ пятидесяти до визирской ставки, ага сошелъ съ коня; русскіе плѣнные и ихъ провожатые также слѣзились. Сказавъ нѣсколько словъ янычарамъ, стоявшимъ у входа въ шатеръ, онъ вошелъ въ него и велѣлъ нести за собою плѣнныхъ. Пройдя два отдѣленія, въ

которыхъ толпились турецкіе аги и татарскіе мурзы, они вошли въ третье; въ немъ, на низкомъ диванѣ или, вѣрнѣй сказать, широкомъ тюфякѣ, сидѣлъ каймаканъ, то есть намѣстникъ великаго визиря. Передъ нимъ стояли въ почтительномъ молчаніи пять или шесть бимбашей и сидѣли на коврѣ двое осанистыхъ пашей. Нѣсколько поодаль писалъ, стоя на колѣняхъ передъ низенькимъ столомъ, ада-баши — по нашему, оберъ-квартирмейстеръ. Въ углу, позади каймакана, стояла цѣлая толпа чаушей, готовыхъ, по первому мановенію визиря или его намѣстника, отколотить по пятамъ весь главный штабъ турецкой арміи. Русскихъ остановили при входѣ, а Ибрагимъ, ставъ противъ каймакана, наклонилъ голову и, приложивъ къ губамъ правую руку, — сказалъ обыкновенное привѣтствіе правовѣрныхъ:

— Машъ аллахъ! — то есть: да благословитъ тебя Господь!

— Аллахъ разола! — пробормоталъ каймаканъ, кивнувъ слегка головою. — Ну, что скажешь, Ибрагимъ?

— Я сегодня ночью, — отвѣчалъ ага, — захватилъ вотъ этихъ двухъ русскихъ. Одинъ изъ нихъ юзъ-баши.

— Пекъ-эй, пекъ-эй!... А который изъ нихъ юзъ-баши?

— Вотъ этотъ, что выше ростомъ.

— Какъ, этотъ мальчишка?... И онъ юзъ-баши!... Ну, видно, у этихъ Московъ не по нашему! — промолвилъ онъ, поглаживая свою сѣдую бороду.

Занавѣска дверей, ведущихъ во внутреннія отдѣленія визирской ставки, зашевелилась. Всѣ турецкіе чиновники встрепнулись, паши вскочили съ своихъ мѣстъ, и самъ каймаканъ приподнялся. Но эта тревога тотчасъ же кончилась, потому что вмѣсто великаго визиря вошелъ русскій подъ-канцлеръ Шафировъ съ своимъ переводчикомъ.

— Что я вижу! — вскричалъ онъ. — Симскій!... Ты какъ здѣсь?

— Въ плѣну, Петръ Павловичъ.

— Въ плѣну?... Да когда-жъ ты попался?

— Сегодня ночью. Государь изволилъ отправить меня съ указомъ въ московскій сенатъ.

— Съ указомъ?... Такъ погоди же!...

Шафировъ подошелъ къ каймакану и началъ говорить съ нимъ черезъ переводчика. Турокъ слушалъ его съ большимъ вниманіемъ, улыбался, и когда Шафировъ пересталъ говорить, кивнулъ привѣтливо головою и сказалъ:

— Пекъ-эй, пекъ-эй!

— Что это онъ говорить?—спросилъ Шафировъ.

— Хорошо, дескать,—отвѣчалъ переводчикъ.

Шафировъ поклонился каймакану и, проходя мимо Симскаго, спросилъ, не отобрали ли у него царскаго указа?

— Нѣтъ, Петръ Павловичъ,—отвѣчалъ Симскій:—указъ, слава Богу, при мнѣ.

— Такъ авось ты довезешь его благополучно до Москвы. Прощай!

Черезъ нѣсколько минутъ вынесли отъ визиря бумагу; каймаканъ прочелъ ее съ примѣтнымъ удовольствіемъ, повторяя безпрестанно свое «пекъ-эй»; потомъ передалъ ее адабаши и, проговоривъ съ набожнымъ видомъ «шюкюръ аллахъ», потребовалъ свою трубку; но прежде чѣмъ онъ успѣлъ затянуться первымъ глоткомъ благовоннаго любека, вошелъ торопливо пожилой бимъ-баши и сказалъ ему что то вполголоса.

— Аллахъ киримъ! — вскричалъ каймаканъ съ примѣтнымъ ужасомъ.—Что ты говоришь, онъ здѣсь?

— Здѣсь и прямо идетъ сюда.

Передъ шатромъ послышался шумъ. Каймаканъ вскочилъ, паши также встали; шумъ приближался, и вдругъ въ палатку вошелъ или, лучше сказать, вбѣжалъ человекъ высокаго роста, не слишкомъ пріятной, но весьма значительной наружности. Этотъ, повидимому вовсе неожиданный, гость не отличался ничѣмъ отъ трехъ шведскихъ офицеровъ, которые вошли вмѣстѣ съ нимъ въ палатку. На немъ была небольшая треугольная шляпа, однобортный зеленый мундиръ съ желтымъ подбоемъ, такого же цвѣта исподнее платье, ботфорты со шпорами, лосиная португеза съ мѣдною пряжкой и замшевыя перчатки съ широкими раструбами по самый локоть.

— Гдѣ визирь?—сказалъ онъ повелительнымъ голосомъ, не снимая шляпы и не отвѣчая на почтительный поклонъ каймакана —Понятовскій, спроси ихъ!

— Вотъ, государь, намѣстникъ его,—сказалъ Понятовскій, указывая на каймакана.

— Какое мнѣ дѣло до его намѣстника! Гдѣ Мехмедъ-паша?

Каймаканъ молча указалъ на двери, ведущія въ соседнюю комнату. Карлъ XII — читатели вѣроятно ужь отгадали въ этомъ посѣтителѣ шведскаго короля—отдернулъ за-



навѣску и вошелъ, вмѣстѣ съ Понятовскимъ, въ обширное отдѣленіе палатки, устланное персидскими коврами и обтянутое богатымъ штофомъ. Въ глубинѣ этой походной аудіенцъ-залы, на роскошномъ атаманѣ, покрытомъ турецкими шалами, сидѣлъ, поджавъ ноги, и курилъ трубку великій визирь. Съ одной стороны подлѣ него стоялъ съ серебрянымъ подносомъ и золотую кружкою сербеть-агланъ, то есть чашникъ или кравчій; съ другой—черный невольникъ обмахивалъ мухъ павлинымъ хвостомъ и въ то же время навѣвалъ прохладу на его благополучіе, побѣдоноснаго Ахметъ-пашу, который, несмотря на лѣтній жаръ, сидѣлъ въ шубѣ и уродливой визирской чалмѣ, совершенно похожей на огромный, поставленный вверхъ дномъ, цвѣточный горшокъ. Нѣсколько турецкихъ сановниковъ и драгоманъ сидѣли на коврѣ и перечитывали какія то бумаги. Нечаянное появленіе шведскаго короля повидимому очень смутило визиря. Онъ всталъ съ своего мѣста и хотѣлъ что то сказать, но Карлъ XII не далъ ему вымолвить ни слова; кинувъ на него гнѣвный взглядъ, онъ опустился небрежно на диванъ и сказалъ:

— Понятовскій, переводи этой турецкой чучелѣ все, что я буду говорить; да смотри,—слово отъ слова!

Визирь сѣлъ опять на прежнее свое мѣсто, и между нимъ и шведскимъ королемъ начался черезъ переводчика слѣдующій разговоръ:

— Правда ли, визирь,—спросилъ Карлъ XII,—что ты хочешь заключить миръ съ Русскимъ Царемъ?

— Правда,—отвѣчалъ Мехметъ-паша.

— Я надѣюсь, этого не будетъ.

— Нельзя не быть: миръ ужъ заключенъ.

— Заключенъ? — вскричалъ король. Ахъ, онъ измѣнникъ!... Да какъ же ты, Мехметъ-паша, осмѣлился заключить этотъ миръ?

Визирь поглядѣлъ съ удивленіемъ на своего гостя и сказалъ:

— Да развѣ ты не знаешь, что я имѣю право и войну вести и миръ заключать?

— Вотъ то то и худо, что тебѣ дали это право. У меня бы ты не смѣлъ этого сдѣлать. Вотъ и мои сенаторы вздумали было также умничать, да я послалъ имъ мой старый сапогъ и приказалъ, чтобъ они спрашивались у него, что дѣлать. Переведи ему это, Понятовскій!

Вѣроятно, Понятовскій исполнилъ въ точности это приказаніе, потому что визирь поглядѣлъ съ ужасомъ на короля и отодвинулся отъ него подалѣе.

— Да для чего же ты, Мехметъ-паша, — продолжалъ Карлъ XII, — заключилъ миръ съ Русскимъ Царемъ, когда все войско его и онъ самъ были въ твоихъ рукахъ?

— Нашъ законъ, — отвѣчалъ съ важностію визирь, — повелѣваетъ падить враговъ, когда они просятъ помилованія.

— А развѣ этотъ законъ запрещалъ тебѣ взять въ плѣнъ Русскаго Царя?

— Взять въ плѣнъ Московъ-султана? А кто же бы тогда сталъ править его Царствомъ?

— Ну, вотъ, — прошепталъ Карлъ XII, — говори съ этимъ безсмысленнымъ скотомъ!... Да какое тебѣ дѣло, Мехметъ-паша, что некому бы было управлять Русскимъ Царствомъ?

— Аллахъ не любитъ безначалія, — возразилъ визирь.

Потомъ, взглянувъ исподлобья на шведскаго короля, промолвилъ еще нѣсколько словъ. Понятовскій видимымъ образомъ смутился.

— Что онъ еще тамъ бормочетъ?—спросилъ король.— Ну чтожъ ты молчишь, Понятовскій?

— Онъ говоритъ такой вздоръ, ваше величество, что, право, не стоитъ и переводить.

— Все равно, я хочу знать!... Да смотри, — не обманывай меня!

— Онъ говоритъ, ваше величество, что не хорошо будетъ, если всѣ цари станутъ жить по чужимъ землямъ.

Карлъ XII вспыхнулъ.

— Ваше величество, — сказалъ торопливо Понятовскій, — не гнѣвайтесь на этого турка: онъ не знаетъ самъ, что говорить.

— Ты правъ, Понятовскій, — промолвилъ король: съ этимъ болваномъ разсуждать нечего. Поѣдемъ!

Онъ вскочилъ съ дивана, зацѣпилъ шпорою за шубу визиря, разорвалъ ее, потомъ выбѣжалъ вонъ изъ палатки, вспрыгнувъ на своего коня и поскакалъ назадъ въ Бендеры.

— Собака! — прошепталъ Мехметъ-паша, принимаясь снова курить свою трубку.

Спустя минутъ десять, каймаканъ вошелъ къ визирю.

— Что ты, Османъ?—спросилъ Мехметъ-паша.

— Я пришел донести твоему великолѣпно, — отвѣчал каймаканъ, — что ага Ибрагимъ захватилъ въ плѣнъ двухъ русскихихъ; одинъ изъ нихъ юзь-баши.

— А когда онъ взялъ ихъ въ плѣнъ?

— Ночью, за часъ до утренней молитвы.

— То есть прежде, чѣмъ мы заключили миръ съ русскими?

— Прежде.

— Такъ пускай Ибрагимъ возьметъ ихъ себѣ.

— А я думаю, что ихъ лучше отпустить.

— Зачѣмъ?

— Да вотъ мнѣ сейчасъ русскій рейсъ-эфенди говорилъ, что Московъ-султанъ послалъ ихъ съ фирманомъ въ свою землю затѣмъ, чтобъ тамъ скорѣй собирали подать, которую онъ долженъ положить къ ногамъ великаго падишаха.

— Ну, это другое дѣло!... Ты правду говоришь, Османъ: ихъ должно отпустить. Да ужь, кстати, скажи Ибрагиму, чтобъ онъ взялъ съ собою человекъ двадцать спаговъ и проводилъ этихъ русскихихъ; а не то, пожалуй, ихъ захватятъ крымскіе татары. Вѣдь для этихъ разбойниковъ все равно, война или миръ: имъ только бы грабить.

Каймаканъ поклонился и вышелъ вонъ.

Черезъ полчаса Симскій и Фроловъ, которымъ отдали оружіе, сидѣли уже на коняхъ.

— Ну, вотъ, сударь, — сказалъ Фроловъ: — Господь насъ помиловалъ! Насъ даже и въ плѣнъ не берутъ. Ага сказалъ мнѣ, что ѣдетъ съ нами для того только, чтобъ насъ не обидѣли татары.

— Чтожъ это значитъ?

— Должно быть, перемиріе, сударь. Да, видно, за насъ очень просилъ и бояринъ Шафировъ, дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!

— Хайде! — крикнулъ ага, и весь повѣздъ двинулся по дорогѣ, ведущей къ Яссамъ.

## XI.

Теперь мы должны возвратиться опять въ Москву; но вы не узнаете ея, любезные читатели:

„Она грустна, она уныла,  
Какъ мрачная осенняя ночь“!..

Дурныя вѣсти скоро доходятъ, да это бы еще ничего: что было, того не воротить; но вотъ, что худо: почти всегда, какъ будто бы для того, чтобъ оправдать пословицу: «пришла бѣда, отвори ворота», за каждой нерадостною вѣстью слѣдуютъ тысячи новыхъ, одна другой ужаснѣе. Есть люди, для которыхъ всякое народное бѣдствіе сущій кладъ. Въ спокойное время они обыкновенно сидятъ по домамъ, но случись какая-нибудь общая бѣда, и они, какъ зловѣщія птицы, появятся вездѣ, начнутъ всѣхъ пугать своимъ отвратительнымъ крикомъ; и надобно отдать справедливость этимъ вѣстовщикамъ горя: они вполне обладаютъ непостижимымъ искусствомъ—изъ небольшой мухи сдѣлать огромнаго слона. На этотъ разъ для нихъ было настоящее раздолье: нашествіе турокъ на святую Русь, погромъ Москвы, оскверненіе храмовъ Божіихъ—было надъ чѣмъ уму-разуму потрудиться; и, нечего сказать, эти господа потрудились порядкомъ. Въ Москвѣ не знали ничего вѣрнаго о положеніи нашего войска: знали только по слухамъ, что дѣла идутъ худо; но, по милости этихъ зловѣщныхъ птицъ, и неробкіе люди стали призадумываться; о трусоватыхъ и говорить нечего,—тѣ ужъ давно распорядились: одни припрятали подалѣе свое серебро и наличныя денежки, другіе уложились и держали на-готовѣ лошадей, чтобъ, при первой опасности, ускакать изъ Москвы.

Семнадцатаго іюля, часу въ десятомъ утра, Данила Никифоровичъ Загоскинъ бесѣдовалъ въ гостиной комнатѣ своего московскаго дома съ Герасимомъ Николаевичемъ Шетневымъ.

— Да, батюшка Данила Никифоровичъ,—говорилъ Шетневъ:—ты себѣ вѣрь или нѣтъ, а ужъ шила въ мѣшкѣ не утаишь,—плохо дѣло!

— Да вѣдь это только слухи, — сказала Данила Никифоровичъ.

— Какіе слухи! Говорятъ тебѣ: изо всего русскаго войска ни одной живой души не осталось.

— Помилуй, любезный! Да какъ же это можетъ быть? Вѣдь люди не мухи, а и тѣхъ всѣхъ не перебьешь. Русская то рать была не маленькая. Ну, коли турокъ было и впятеро больше...

— Впятеро! Нѣтъ, Данила Никифоровичъ, ихъ пришло слишкомъ шестьсотъ тысячъ, а татаръ то собралось вдвое противъ этого. Говорятъ, весь Крымъ поголовно вышелъ на

подмогу къ туркамъ, такъ ужь тутъ дѣлать нечего, — на-силу не возьмешь!

— Воля твоя, Герасимъ Николаевичъ, а я этому не вѣрю; не до конца же прогнѣвался на насъ Господь. Вѣдь, по твоему и войско и Государь...

— Все погибло, любезный, все!... Вотъ они, нѣмецкіе то кафтаны!... Кабы жили да жили по старинѣ...

— А въ старину то насъ, чай, никогда не бивали?

— Случалось, да только не этакъ. Бывало, Господь накажетъ, а тамъ и помилуетъ.

— Ну такъ, можетъ быть, и теперь то же.

— Нѣтъ, любезный: теперь мы сами отъ Господа отступились, такъ и Онъ насъ покинулъ. Послушалъ бы ты, что говорить объ этомъ Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Я третьяго дня былъ вмѣстѣ съ нимъ въ селѣ у Максима Петровича Прокудина.

— Такъ они помирились?

— Да, помирились, а вчера опять было поссорились.

— За что?

— А вотъ за что: Максимъ Петровичъ такъ же, какъ ты, не очень вѣрить слухамъ. «Какъ, дескать, мы ни грѣшны», — говоритъ онъ, — «а все-таки рабы Божьи, и Онъ не предастъ помазанника Своего и насъ, рабовъ Своихъ, на поруганіе язычникамъ». А Лаврентій Никитичъ и скажи ему на это: «Коли, дескать, все правда, что говорятъ, такъ тутъ есть и гнѣвъ и милость Божья. Придетъ разореніе на святую Русь, — ну чтожъ: не впервые, — авось какъ-нибудь оттерпимся, зато послѣ легко будетъ. Вѣдь по мнѣ, дескать, нѣмецкій то погромъ хуже турецкаго». Батюшки, какъ Максимъ Петровичъ расходился!... Да, нечего сказать, и я Лаврентія Никитича не похвалилъ. Ну, коли какимъ ни есть чудомъ Государь Петръ Алексѣевичъ вернется, да узнаетъ о такихъ рѣчахъ... Господи Боже мой, пропадешь не за денежку. Насилу, насилу ихъ помирилъ; да и то, что Лаврентій Никитичъ догадался и ска-залъ, что онъ это такъ... пошутилъ, чтобъ подразнить Мак-сима Петровича.

— Здравствуйте, Герасимъ Николаевичъ! — сказала, входя въ комнату, Марѳа Саввишна.

Шетневъ всталъ и поклонился.

— У тебя гости были, жена? — спросилъ Данила Ники-форовичъ.

— Да, батюшка: Аполинарья Степановна Бирдюкова, да Нимфодора Алексѣевна Добрынская.

— То то, чай, навезли тебѣ вѣстей!

— О, Господи, такія страсти, что и сказать нельзя!... И что имъ за утѣха рассказывать?... Держали бы про себя ..

— Куда! Чай, такъ и рвутся одна передъ другой!

— И добро бы еще слухи то были хорошіе, — такъ нѣтъ! Съ радостною вѣсточкой ни за что не прїѣдутъ.

— Охота тебѣ, жена, ихъ слушать.

— А что такое онѣ вамъ рассказывали?—сказаль Шетневъ. Сдѣлайте милость, сообщите намъ!

— Охъ, батюшка!... Коли правда, что онѣ говорятъ...

— А что онѣ говорятъ такое?

— Да вотъ Аполинарья Степановна рассказывала мнѣ: она получила письмо отъ одной прїятельницы изъ Чернигова, и въ этомъ письмѣ къ ней пишутъ, что турки то ужъ въ Полтавѣ.

— Слышишь, Данила Никифоровичъ? — прервалъ Шетневъ.

— Слышу, батюшка, слышу!

— Ну чтожъ они, Марѳа Саввишна, съ Полтавой то сдѣлали?

— Камня на камѣ не оставили! И мѣсто, гдѣ она стояла, вспахали, проклятые, да солью посыпали, чтобъ трава не росла!

— А съ православными то что сдѣлали? Къ себѣ чтоль угнали?

— Нѣтъ, батюшка,—перебили всѣхъ до одинаго.

— И женщинъ также?

— Охъ, нѣтъ, кормилецъ!... Говорятъ, молоденькихъ всѣхъ по рукамъ разобрали.

— А что, отъ Полтавы они назадъ чтоль пошли?

— Куда назадъ!... Говорятъ, ужъ дошли до Кіева.

— Что ты, матушка,—прервалъ Данила Никифоровичъ: —да вѣдь Кіевъ то ближе къ туркамъ, чѣмъ Полтава!

— Я этого, сударь, не знаю, а рассказываю тебѣ, что слышала. И Нимфодора Алексѣевна говоритъ тоже, и ей также пишутъ, изъ Курска что-ль,—не знаю, что кругомъ Полтавы нѣтъ дерева, на которомъ бы человѣкъ десяти не висѣло.

— Скажите пожалуйста,—вскричалъ Шетневъ:—и рѣжутъ и вѣшаютъ!

— То ли еще они, душегубцы, дѣлають съ православными, — продолжала Марѳа Саввишна: — и подумать то страшно!

— А что такое, матушка?

— А вотъ что, Герасимъ Николаевичъ: возьмутъ чело-вѣка, зарокуютъ его по самую голову въ землю, да такъ въ степи и оставятъ. Вотъ какъ онъ, голубчикъ, ротъ рас-кроетъ, такъ въ него и поползаетъ всякій гадъ: и ящерицы, и змѣи, и козявки всякія...

— Господи Боже мой!.. Охота же была связываться съ такимъ народомъ!

— Охъ, батюшка, правду ты говоришь! Знаешь ли ты, что мнѣ сказывала Аполинарѳа Степановна, а она слышала это отъ людей бывалыхъ: гдѣ намъ воевать съ турками! Они все народъ тучный, дородный, — что имъ дѣлается? Вотъ турокъ ударить саблею русскаго, такъ онъ тутъ же изойдетъ кровью, сердечный! А коли нашъ пырнетъ чѣмъ ни есть турка, такъ ему это ни почемъ: тотчасъ заплываетъ жиромъ... Ну чтожь ты смѣешься, Данила Никифоровичъ?

— Да повеселѣе на сердцѣ стало, матушка. Коли и другія то вѣсти такъ же вѣрны, какъ эти, такъ еще слава Богу!

— Нѣтъ, Данила Никифоровичъ, — прервалъ Шетневъ, — не говори этого. То, что изволила рассказывать Марѳа Саввишна, само по себѣ, а то, что я тебѣ говорилъ, такъ это вѣрно, какъ Богъ святъ. Вотъ какъ и дѣло было: мы перешли за рѣку Днѣстръ, а за этою рѣкою пойдутъ арапскія пустыни... Это, матушка Марѳа Саввишна, должна быть та самая земля, въ которой живутъ мурины, сирѣчь арапы.

— Такъ, батюшка, такъ!

— Ну вотъ, сударыня моя, наши много нужды натерпѣлись; мѣста, знаете, такія безводныя, а жары такія, что тамъ и огня вовсе не разводять.

— Да какъ же, Герасимъ Николаевичъ, тамъ хлѣбы то пекутъ?

— На солнышкѣ, матушка. Вотъ наши шли, шли, да и пришли на какой то прудъ, а можетъ быть и озеро, — навѣрно не знаю; говорятъ только, что рыба въ немъ такъ и кишить, и даже тюлени водятся.

— Такъ какой же это прудъ, батюшка?

— Да, Марѳа Саввишна, должно быть озеро. Мы стали

по сю сторону, а турки по ту. Вотъ какъ они собрались всѣ во-едино, такъ пошли въ обходъ, а мы стоимъ да стоимъ. Глядь-поглядь, а турки то ужъ и съ тылу зашли, да и ну палить въ нашихъ изъ пушекъ. Мы также, а тамъ въ рукопашную,—и пошла жарня! Наши, сударыня, двое сутокъ стояли крѣпко, денно и ночью бились съ врагомъ. Въ первыя сутки перебили у него пятьдесятъ тысячъ, на вторыя еще пятьдесятъ, а на третьи то и силы ужъ не стало. Легко вымолвить, поди-ка, перебей сто тысячъ чело-вѣкъ,—руки отмотаешь!... Вотъ какъ турки замѣтили, что наши вовсе изъ мочи выбились, такъ кинулись на нихъ гурьбою и пошли рвать какъ барановъ. Я слышалъ отъ вѣрныхъ людей, что всѣхъ до тла перерѣзали. Ну, можетъ статься, сотни двѣ-три въ живыхъ и осталось; кто подъ кустомъ отлежался, кто успѣлъ тягу дать... да это все какая-нибудь лагерная челядь; а настоящая то рать и царская гвардія вся поголовно легла.

— Слышишь, Лаврентій Никитичъ? — сказала Марѳа Саввишна, заливаясь слезами.—А нашъ то Васинька!...

— Племянникъ вапъ, Симскій?—прервалъ Шетневъ.— Да, вѣдь онъ служилъ въ Преображенскомъ полку!

— Охъ, не даромъ я тосковала, когда съ нимъ прощалась!—продолжала Марѳа Саввишна, рыдая.—Голубчикъ ты мой, соколъ мой ясный! Умереть въ такихъ годахъ, на чужой сторонѣ, и, можетъ быть, безъ покаянія!... Батюшка Данила Никифоровичъ, поѣду я, отслужу по немъ панихиду!...

— Что ты, матушка, помилуй! Ну что хорошаго, коли ты о живомъ чело-вѣкѣ панихиду отпоешь?

— Нѣтъ, Данила Никифоровичъ,—сказалъ Шетневъ,— не мѣшай! Что, въ самомъ дѣлѣ, племянникъ твой за выскочка,—одинъ изъ всего полка уцѣлѣлъ! Вѣдь онъ у тебя, я слышалъ, молодецъ,—такъ живой въ руки не дастся.

— Да, это правда; а за кустъ и давно не спрячется.

— Такъ и думать нечего! Ступайте, матушка Марѳа Саввишна: дѣло христіанское, богоугодное...

Въ столовой послышались шаги поспѣшно идущаго чело-вѣка. Двери отворились и Симскій вошелъ въ комнату.

— Съ нами крестная сила! — вскричала Марѳа Саввишна.—Что это?... Васинька!

— Другъ сердечный, Василій, ты ли это?—сказалъ Данила Никифоровичъ, обнимая племянника.



— Я, дядюшка, я!... Здравствуйте, тетушка!

— Голубчикъ ты мой!—воскликнула Марѳа Саввишна, осыпая поцѣлуями Симскаго. — Ты живъ... тебя турки не убили?

-- А вотъ какъ видите.

— Ну, Герасимъ Николаевичъ, — сказала хозяйнѣ, обращаясь къ Шетневу, — ты совѣтовалъ женѣ отслужить по немъ панихиду...

— Ну чтожъ, Данила Никифоровичъ, теперь Марѳа Саввишна, вмѣсто панихиды, отслужить благодарственный молебенъ!

— Отслужу, батюшка, отслужу!... Подлинно милость Божія! Подумаешь: одинъ какъ перстъ изъ всего полка остался!

— Нѣтъ, тетушка, не одинъ: нашъ полкъ, благодаря Бога, цѣлехонекъ.

— Что вы говорите, батюшка?—прервалъ Шетневъ. — Такъ поэтому вашъ только полкъ и уцѣлѣлъ?

— Нѣтъ, государь мой, всѣ цѣлы. Ну конечно, въ иномъ полку народу гораздо поубыло, и нашъ поменьше сталъ, да безъ этого нельзя.

— Скажите пожалуйста!... Охъ, ужъ мнѣ эти вѣстовщики!... И вѣдъ выдумаютъ же, проклятые!

— А что, видно насъ всѣхъ похоронили?

— Чего, батюшка! У насъ слухи были, что изъ всего русскаго войска ни души не осталось.

— И что турки то ужъ въ Полтавѣ!—подхватила Марѳа Саввишна.

— Нѣтъ, тетушка, далеко отъ Полтавы,—сказалъ Симскій, улыбаясь.—Да врядъ ли туда и пойдутъ.

— А что Государь?—спросилъ Данила Никифоровичъ.

— Слава Богу, здоровъ. На прошлой недѣлѣ онъ самъ изволилъ отправить меня съ имяннымъ указомъ. Я сейчасъ былъ въ сенатѣ и вручилъ его господамъ сенаторамъ.

— Такъ онъ, батюшка нашъ, живъ и здоровъ!—вскричалъ Шетневъ, сложивъ умильно руки.--Слава Тебѣ Господи! Не оторнулъ Ты грѣшныхъ молитвъ нашихъ!

— А что, племянникъ, — молвалъ Данила Никифоровичъ, — скажи по правдѣ: что, дѣла то наши худо идутъ?

— Да, дядюшка, тѣсненько намъ приходило.

— Слышишь, любезный?—прервалъ Шетневъ.

— Турки обложили насъ со всѣхъ сторонъ...

— Слышишь?—повторилъ Шетневъ.

— И надобно сказать правду: наше дѣло было десперантное.

— Какое?—спросилъ Данила Никифоровичъ.

— Десперантное, то-есть отчаянное.

— Слышишь, Данила Никифоровичъ?

— Слышу, любезный!... А теперь?

— Теперь, кажется, пошло на мировую.

— Почему ты это думаешь?

— А вотъ почему, дядюшка: когда Государь изволилъ послать меня въ Москву, такъ съ визиремъ шли переговоры. Меня отправили ночью, затѣмъ, что мнѣ надобно было пробираться сквозь все турецкое войско. Сначала то мнѣ не очень посчастливилось: турки меня захватили...

— Господи!—вскричала Марea Саввишна. Такъ ты былъ у нихъ въ полону?

— Былъ, тетушка.

— И тебя не зарѣзали, не повѣсили, не закопали живого въ землю?

— Нѣтъ, тетушка, Богъ помиловалъ. Напротивъ: они и въ плѣну меня не оставили, а отпустили съ честью и даже дали мнѣ проводниковъ. Вотъ потому то я и думаю, что у насъ съ турками положенъ штиль-штандъ.

— Штиль-штандъ!—повторилъ Данила Никифоровичъ.

— Да, дядюшка, то-есть армистиціумъ.

— Армистиціумъ. А это что такое?

— Сирѣчь перемиріе.

— Ну такъ бы и сказалъ, братецъ. Да что это, племянникъ, или у васъ въ Питерѣ то всѣ такъ говорятъ?

— О, нѣтъ, дядюшка, какъ можно, чтобъ всѣ такъ говорили! Вѣдь и въ Петербургѣ много людей непросвѣщенныхъ.

— Вотъ что! Ну этого я еще не зналъ. Такъ по вашему просвѣщенный человѣкъ долженъ говорить по русски такъ, чтобъ его свои не понимали?... Охъ, вы петербургскіе,—перехитрили вы, кажется!

— Ну, прощай любезный!—сказалъ Шетневъ.—Пора домой.

— Батюшка Герасимъ Николаевичъ, — молвила Марea Саввишна, провожая гостя, — ты поѣдешь мимо Нимфодоры Алексѣевны Добрынской, заверни къ ней на минутку, скажи о нашей радости и о томъ, что мы слышали отъ Васиньки...

— Извольте, Марѳа Саввишна. Только она мнѣ не повѣритъ.

— Что ты, батюшка!

— Право, не повѣритъ. Да не прогнѣвайтесь, и я не вовсе вѣрю вашему племяннику. Человѣкъ служивый говорить то, что ему приказано. Ну, да утро вечера мудренѣе: узнаемъ когда-нибудь всю правду. Прощайте, матушка!

— Долго ли ты у насъ пробудешь? — спросилъ Данила Никифоровичъ Симскаго.

— Не знаю, дядюшка. Коли миръ состоится, такъ, можетъ быть, мнѣ дадутъ здѣсь отдохнуть. Теперь позвольте на часокъ отлучиться...

— Куда?

— Я видѣлъ въ сенатѣ моего однополчанина, Андрея Степановича Мамонова, и обѣщаль побывать у него сегодня до обѣда.

— Ну, ступай, мой другъ... Да постой: я велю тебѣ заложить мою одноколку.

— Нѣтъ, дядюшка, мнѣ ѣзда до смерти надоѣла; пойду лучше пѣшкомъ.

— Только, пожалуйста, Васинька, — сказала Марѳа Саввишна, — не замѣшкайся, дай мнѣ насмотрѣться на тебя, мое сокровище!

— Часа черезъ два непременно ворочусь, тетушка.

Мамоновъ жилъ все тамъ же, то-есть на Варваркѣ, въ домѣ своего родственника, Шеина. Симскій, входя къ нему, повстрѣчался съ какимъ то бариномъ, который, посторонясь, отвѣсилъ ему низкій поклонъ. Лицо этого господина показалось Симскому знакомымъ, но онъ никакъ не могъ припомнить, гдѣ его видѣлъ.

— Спасибо, другъ сердечный, — вскричалъ Мамоновъ, — спасибо! Я думалъ, что ты не сдержишь своего слова. Чай, всѣ твои родные такъ за тебя и уцѣпились. И то сказать: выходецъ съ того свѣта!

— Да, любезный, тетушка собиралась по мнѣ панихиду служить.

— Ну, Симскій, хороша ваша бѣлокаменная! Вотъ сплетница то, подумаешь!... И всѣхъ васъ перебили, и турки идутъ на Москву.

— Да за этимъ, Мамоновъ, дѣло не станетъ и у насъ въ Петербургѣ. Конечно, тамъ поменьше праздныхъ людей,

тамъ и вздорныхъ слуховъ не такъ много, какъ здѣсь; а все, я думаю, и тамъ вѣстей то не оберешься.

— Судя по тому, Симскій, что ты рассказывалъ мнѣ въ сенатѣ, у насъ съ турками долженъ быть армистиціумъ, такъ надобно надѣяться, что скоро будетъ и миръ заключенъ.

— Да, Мамоновъ, коли пошло дѣло на переговоры, такъ авось какъ-нибудь поладятъ.

— Ахъ, дай то Господи! Тогда, можетъ быть, и моя откомандировка кончится. Нѣтъ, Василій Михайловичъ, изъ мочи выбился, Такая скука, что я подчасъ съ ума схожу.

— А невѣсты то, Мамоновъ?

— Что невѣсты!.. И онѣ надоѣли, пересмотрѣлъ я ихъ больше сотни; все одно и то же. Сначала это меня забавляло, а теперь нѣтъ. Да и Федосья Игнатьевна перестала ко мнѣ жаловать. Видно, догадалась, что я на бобахъ ее провожу. Была у меня здѣсь одна знакомая, Аграфена Петровна Ханыкова; съ ней можно было время проводить: барыня умная, съ хорошей эдюкаціей, да и та давно ужъ уѣхала въ Воронежъ, чтобъ быть поближе къ мужу, который на службѣ въ Азовѣ. Ягужинскіе уѣхали изъ Москвы, Стрѣшневъ также; у Гутфеля умерла старуха теща, такъ онъ никого не принимаетъ. Ну тоска да и только!

— Однакожь у тебя гости бываютъ. Вотъ я сейчасъ повстрѣчался въ дверяхъ съ какимъ то господиномъ; лицо мнѣ знакомо, только не могу вспомнить, гдѣ я его видѣлъ.

— Это одинъ магистратскій чиновникъ, Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ; онъ вездѣ шатается. Вотъ мошенникъ то, братецъ, такъ ужъ я тебѣ скажу! Знаешь ли, зачѣмъ онъ у меня былъ? Да вотъ я расскажу все дѣло. Тебѣ извѣстно, что мнѣ поручено забирать на службу всѣхъ недорослей изъ дворянъ и новиковъ, которые не явились къ своей командѣ. Вотъ я почти всѣхъ забралъ: кто самъ явился, кого привезли насильно. Одинъ только, словно кладъ, мнѣ не дается: какой то сорокалѣтній новикъ, князь Шелешпанскій. Охотился ли ты когда, Симскій, съ борзыми собаками?

— Какъ же. Мой покойный батюшка любилъ псовую охоту.

— А случалось ли тебѣ травить лису?

— Случалось.

— Такъ ты знаешь, какъ она проводитъ и охотниковъ

и собакъ. Ты думаешь: ну, настигли!.. Какъ бы не такъ: проклятая вильнетъ хвостомъ, собаки промечутся въ одну сторону, она шмыгнетъ въ другую и поминай, какъ звали! Вотъ точно такъ же и князь Шелешпанскій: ужь я ли, кажется, не давалъ этой ласѣ угонокъ. Провѣдаю, гдѣ онъ нагряну ни свѣтъ, ни заря,—не тутъ то было: и слѣдъ простылъ. Теперь ужь третій мѣсяць, какъ я ничего о немъ не слышу. Всѣ его отчины здѣсь кругомъ Москвы, а онъ, какъ въ воду канулъ. Вотъ передъ тобой явился ко мнѣ этотъ Обиняковъ и объявилъ, что князь Шелешпанскій скрывается верстъ за шестьдесятъ отсюда въ лѣсу, на хуторѣ богатаго помѣщика Рокотова, и что если я дамъ ему, Обинякову, команду, такъ онъ этого бѣглеца руками возьметъ и представитъ ко мнѣ въ Москву. Да это бы еще ничего, а вотъ что скверно: я знаю доподлинно, что князя то Шелешпанскаго этотъ самый Обиняковъ и уговорилъ отъ меня прятаться. Каковъ молодецъ!

— Да изъ чего же онъ это дѣлаетъ?

— Изъ чего! А вотъ прочти эту копію съ царскаго указа,—сказалъ Мамоновъ, подавая Симскому исписанный листъ бумаги.

— Чтожъ это?—молвилъ Симскій, читая. — Тутъ рѣчь идетъ о томъ, что дозволяется всякому чину торговать съ платою пошлины.

— Это пунктъ первый; читай дальше.

— Пунктъ второй,—продолжалъ Симскій: «съ семьсотъ перваго году выписать сколько какихъ выморочныхъ деревень роздано и кому». И это, кажется, къ дѣлу нейдетъ?

— Читай, читай!

— Пунктъ третій: «кто скрывается отъ службы, объявить въ городѣ, кто такого сыщеть или возвѣститъ, тому отдать всѣ деревни того, кто ухоранивался».

— Ну что, любезный, теперь понимаешь, изъ чего бѣется Обиняковъ?

— Ахъ онъ разбойникъ!

— По мнѣ, хуже разбойника. Подбилъ человѣка на дурное дѣло, да самъ же на него и въ доносъ.

— И этотъ мошенникъ получить все имѣнье князя Шелешпанскаго?

— Разумѣется. Завтра послѣ обѣда онъ отправится съ командою, сдѣлаетъ выемку, привезетъ сюда этого новика, получить отъ меня свидѣтельство, а тамъ представитъ его

при своей челобитной въ сенать и отбереть отъ этого бѣдняжки Шелешпанскаго все имѣнье; а вѣдь имѣнье то какое: слишкомъ четыре тысячи душъ.

— Да чтожь это, — спросилъ Симскій, — тотъ самый князь Шелешпанскій, который былъ помолвленъ на племянницѣ...

— Аграфены Петровны Ханыковой. Ну да, тотъ самый. Мѣсяца два тому назадъ, Аграфена Петровна, которая была еще здѣсь, уведомила меня, что родной ея братъ, Максимъ Петровичъ, зоветъ ее на свадьбу племянницы въ подмосковное свое село. Надобно тебѣ сказать, что Ханыкова и слышать не хочетъ объ этой свадьбѣ. Вотъ я взялъ съ собою команду и отправился втихомолку къ Прокудину. Подъѣзжая къ селу, я узналъ отъ мужичковъ, что женихъ, то есть князь Шелешпанскій, прибылъ со всѣмъ своимъ поѣздомъ въ село Максима Петровича. Кажется, я хорошо распорядился: одну часть моей команды оставилъ на караулѣ у самой околицы, другой приказалъ ѣхать съ обыскомъ на село, а самъ отправился прямо въ господскій домъ. Свадьбѣ то я помѣшалъ—это правда, а женихъ все-таки ушелъ. Что будешь дѣлать, сквозь пальцевъ проскользнулъ, проклятый!

— Такъ поэтому онъ еще не женатъ?—спросилъ Симскій такимъ страннымъ голосомъ, что Мамоновъ взглянулъ на него съ удивленіемъ и сказалъ:

— Что ты, братъ, поперхнулся что-ль?

— Да... что то такъ...—промолвилъ Симскій, чувствуя, что сердце его совершенно оледенѣло.—Такъ ты, Мамоновъ, —продолжалъ онъ,—помѣшалъ этому бѣдняжкѣ жениться на племянницѣ Прокудина?

— Да вѣдь жениться то всегда можно. Чай, ихъ давно ужъ обвѣнчали. Коли дѣло полагено, такъ долго ли отпѣтъ «*Исаія михуй?*» Не на седѣ у своего дяди, такъ гдѣ-нибудь на погостѣ. Жаль мнѣ этой... какъ, бишь, ее звали въ дѣвкахъ то?.. Да, Запольская! Такая хорошенькая, уменькая, танцуетъ прекрасно... Бѣдняжечка, вышла за богатаго челоуѣка, а теперъ что онъ будетъ,—нищій!

— Да неужели въ самомъ дѣлѣ этотъ мошенникъ Обиныховъ отбереть у него все имѣнье?

— А ты думаешь, оставить что-нибудь.

— Послушай, Мамоновъ: нельзя ли какъ-нибудь этому пособить?

— Никакъ нельзя. Конечно, если-бъ онъ догадался, да прежде, чѣмъ его захватятъ на этомъ хуторѣ, явился ко мнѣ самъ,—ну, это дѣло другое. Не зналъ, дескать, что меня требуютъ, ѣздилъ по моимъ отчинамъ, хвораль... мало ли, что можно сказать.

— Чтожъ тогда съ нимъ будетъ?

— Ничего: поступитъ на службу, а все имѣнье при немъ останется. Куда-жъ ты, Симскій.

— Прощай, мой другъ,—меня дожидаются обѣдать. Э, да кстати!.. Можешь ты мнѣ дать эту копію съ указа?

— На что тебѣ?

— Показать дядюшкѣ. Можетъ быть онъ еще этого указа не читалъ?

— Пожалуй, возьми, если хочешь.

— Ну, прощай, Андрей Степановичъ!

— До свиданья, мой другъ!

Симскій обнялъ Мамонова и отправился домой.

## ХІІ.

На другой день послѣ рассказаннаго мною въ предыдущей главѣ, часу въ восьмомъ утра, Максимъ Петровичъ Прокудинъ сидѣлъ на рундукѣ своего сельскаго дома вмѣстѣ съ Ольгою Дмитриевною Запольскою. Максимъ Петровичъ читалъ любимую свою книгу «Камень Вѣры» Стефана Яворскаго; племянница сидѣла подлѣ него и вышивала въ пальцахъ.

— А, вотъ и Прокофій ѣдетъ изъ Москвы! — сказалъ Прокудинъ, закрывая книгу. Что онъ везетъ намъ: горе или радость?

Черезъ нѣсколько минутъ Прокофій Сидорычъ стоялъ ужь передъ своимъ господиномъ.

— Ну что, Кулага,—спросилъ Максимъ Петровичъ,—что слышно въ Москвѣ?

— Да мало ли что толкуютъ, батюшка!—отвѣчалъ Прокофій.—Одни говорятъ одно, другіе другое.

— Такъ есть и хорошіе слухи?

— Есть, Максимъ Петровичъ.

— Ну, слава тебѣ, Господи!... Ты былъ у Шетнева?

— Какъ же, сударь. Изволить тебѣ кланяться. «Писать де къ твоему барину не могу — дѣло опасное, а скажи ему

на словахъ: начали, дескать, распускать по Москвѣ слухи, что въ нашемъ войскѣ все благополучно, что Государь Петръ Алексѣевичъ живъ и здоровъ, и что теперь съ турками замиреніе. Да ты, дескать, Максимъ Петровичъ, этому не вѣрь—все это выдумки, и хоть оттолѣ и есть выходцы, да отъ нихъ правды не узнаешь; а все-таки и они поговариваютъ, что дѣло то было сильно плоховато; такъ ты себя на усъ мотай: коли было плохо, такъ отчего-жъ теперь стало хорошо? Вѣдь къ нашему войску на выручку никто не подоспѣлъ!» Вотъ что, батюшка, приказалъ тебѣ сказать его милость—Герасимъ Николаевичъ.

— Такъ Шетневъ думаетъ, что это все сказки? А ты что думаешь, Кулага?

Прокофій Сидоровичъ началъ ухмыляться, почесалъ затылокъ, помялся и наконецъ промолвилъ:

— Не прогнѣвайся, государь Максимъ Петровичъ: я думаю, Герасимъ Николаевичъ изволить называть эти добрые слухи выдумкою ради того, что ему крѣпко бы хотѣлось, чтобъ слухи то были дурные.

— Можеть статья. Да ты то самъ какъ думаешь?

— Я, батюшка, что!... Я человекъ глупый: по мнѣ, лучше вѣрить хорошему, чѣмъ худому.

— И я, видно, Прокофій, не умнѣй тебя. Ну, ступай съ Богомъ!... Тебѣ, чай, надо отдохнуть... Постои-ка, постои! .. Охъ, глаза то у меня плохи стали!... Посмотри, Прокофій: вѣдь это къ намъ кто то ѣдетъ. .

— Ёдетъ, батюшка.

— Кажись, тройкой въ телѣгѣ?

— Да, сударь... У, да какъ задуваетъ! Видно, на разгонныхъ.

— Да, шибко ѣдетъ. Ступай, Прокофій, скажи, чтобъ закуска была готова... Кто бы это такой? — продолжалъ Прокудинъ. Э, да никакъ на немъ шляпа то нѣмецкая?... Или мнѣ такъ кажется... Посмотри ка, Оленька!... Да что ты, мой другъ?

— Ничего, дядюшка.

— Какъ, ничего: ты вся поблѣднѣла... и голосъ у тебя дрожить... Что ты, что ты... Господь съ тобою!

— Да... — прошептала Ольга Дмитріевна,—это онъ!

— Онъ? Кто?... Этотъ гость, который къ намъ ѣдетъ?

— Дядюшка, — сказала Запольская вставая, — я пойду къ себѣ... я не хочу его видѣть.



— Да кто-жь онъ такой?—спросилъ Прокудинъ.

Слезы брызнули изъ глазъ бѣдной дѣвушки; она закрыла руками лицо и назвала едва слышнымъ голосомъ Симскаго.

— Симскій? — повторилъ Прокудинъ. Что ты, матушка, перекрестись: да вѣдь онъ подь туркомъ!...

— Такъ чтожь, дядюшка: видно, пріѣхалъ затѣмъ, чтобъ сдержать свое слово и жениться на Катенькѣ Юрловой.

— На Юрловой!... Да это все вздоръ, Оленька.

— Какъ? — вскричала Запольская, и по блѣдному лицу ея разлился яркій румянецъ.—Такъ онъ не помолвленъ?

— Нѣтъ, мой другъ, — это все выдумки Рокотова. Ступай, моя душа, ступай! Мы послѣ поговоримъ объ этомъ съ тобою.

Межь тѣмъ гость подѣхалъ къ воротамъ и, не вѣзая во дворъ, спрыгнулъ съ телѣги.

— Ну, такъ и есть, — молвилъ про себя Максимъ Петровичъ:—это точно Симскій... Экій бравый дѣтина! И въ этомъ то дурачкомъ нарядѣ молодцомъ смотреть!... Да какой учтивый парень: не вѣхалъ прямо во дворъ... Вонъ и шляпу снялъ!... Эхъ, кабы нѣмцевъ то онъ поменьше любилъ!

— Не прогнѣвайтесь, почтеннѣйшій Максимъ Петровичъ, сказалъ Симскій, взойдя на крыльцо, — что я осмѣлился незваный къ вамъ пріѣхать!

— Ничего, батюшка, ничего; добро пожаловать! Милости просимъ садиться!

Симскій поклонился и сѣлъ подлѣ Прокудина.

— Прежде всего, батюшка, — сказалъ Максимъ Петровичъ,—позволь спросить: ты пріѣхалъ изъ подь турка?

— Да, Максимъ Петровичъ.

— Давно ли?

— Другой день.

— Такъ сдѣлай же милость, Василій Михайловичъ... такъ, кажется, батюшка: Василій Михайловичъ?

— Точно такъ, Максимъ Петровичъ.

— Усердно прошу тебя, скажи мнѣ безъ утайки всю сущую правду, что у васъ тамъ дѣлается.

— Теперь все кончено, Максимъ Петровичъ. Вчера прибѣжалъ въ Москву гонецъ: съ турками заключенъ вѣчный миръ.

— Вѣчный? Такъ авось годика два, три протянется. А что нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ?

— Все слава Богу! Чай, идетъ теперъ съ войскомъ къ нашимъ границамъ.

— Ну, спасибо тебѣ за добрыя вѣсти, молодецъ, спасибо!

— Теперъ позвольте мнѣ доложить, Максимъ Петровичъ, зачѣмъ я къ вамъ ѣхалъ: дѣло важное и требуетъ большой поспѣшности.

— А что такое, Василій Михайловичъ?

— Оно отчасти и до васъ касается.

— До меня?

— То есть до человѣка, очень вамъ близкаго. Ваша племянница, Ольга Дмитріевна Запольская, была помолвлена за князя Андрея Юрьевича Шелешпанскаго и, вѣроятно, теперъ ужъ замужемъ.

— Такъ чтожъ батюшка?

— А вотъ что, Максимъ Петровичъ: коли вы не поторопитесь сдѣлать, что я вамъ скажу, такъ у вашего племянника, сирѣчь князя Шелешпанскаго, все имѣнье отберуть.

— Племянника!—повторилъ Прокудинъ.

Казалось, онъ хотѣлъ что то вымолвить, но остановился и, поглядѣвъ пристально на Симскаго, сказалъ:

— Да какъ же это у него отберуть все имѣние?

— А вотъ какъ, Максимъ Петровичъ. Я думаю, вамъ не безызвѣстно, что Государь Петръ Алексѣевичъ приказалъ забирать на службу всѣхъ взрослыхъ недорослей изъ дворянъ и неслужащихъ новиковъ. Отыскивать ихъ и записывать въ полки поручено моему сослуживцу, Преображенскаго полка господину поручику Мамонову.

— Знаю, батюшка, знаю: онъ у меня былъ.

— Такъ вамъ должно быть извѣстно и то, что князь Шелешпанскій нѣсколько уже мѣсяцевъ отбываетъ отъ службы и прячется по своимъ деревнямъ. Вчера я засталъ у Мамонова какого то приказнаго чиновника Обинякова...

— Ардалиона Михайловича?

— Точно такъ, Максимъ Петровичъ. Этотъ Обиняковъ объявилъ Мамонову, что князь Шелешпанскій скрывается верстъ за шестьдесятъ отъ Москвы въ лѣсу, на хуторѣ помѣщика господина Рокотова, и что онъ, Оби-

няковъ, коли дадутъ ему команду, изловить непременно вашего племянника и доставить его къ Мамонову въ Москву.

— Вотъ что!... А давно ли, батюшка, этотъ мошенникъ Обиняковъ въ сыщики попалъ?

— Онъ не сыщикъ, Максимъ Петровичъ, и дѣлаетъ это не по долгу службы, а по собственной охотѣ.

— Да чтожь ему за прибыль?

— Вотъ то то и дѣло, что для него тутъ прибыль превеликая: коли онъ доставить къ Мамонову князя Шелешпанскаго, такъ отберетъ у него все имѣнье.

— Все имѣнье?... Да по какому же праву, Василій Михайловичъ?

— А вотъ въ силу этого именнаго указа. Извольте прочесть сами... пунктъ третій...

— Ахъ, онъ Иуда предатель! — вскричалъ Прокудинъ, прочтя этотъ третій пунктъ.— Да неужели онъ въ самомъ дѣлѣ завладѣетъ всѣмъ имѣньемъ князя Шелешпанскаго?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, этому дѣлу пособить еще можно. Если вашъ племянникъ не дастъ себя захватить на хуторѣ и успѣетъ самъ явиться къ Мамонову, такъ прежнее отбывательство въ большую вину ему не поставятъ: его только примутъ въ службу, а имѣнье при немъ останется. Теперь,—продолжалъ Симскій, вставая,—прошу прощенья, Максимъ Петровичъ: я свое дѣло сдѣлалъ, извольте дѣлать ваше!

— Постой, постой, любезный! — сказалъ Прокудинъ, схвативъ за руку Симскаго.— Дай мнѣ на тебя полюбоваться... Да чтожь ты за человекъ такой, Василій Михайловичъ?

— А чтожь, Максимъ Петровичъ, я думаю, и всякій другой на моемъ мѣстѣ...

— Нѣтъ, молодецъ, не говори! Я все знаю: тебѣ не за что любить Шелешпанскаго. И добро бы ты думалъ, что племянница моя не замужемъ, — ну, это другое дѣло! Я, дескать, покажу себя добрымъ человекомъ, угожу Максиму Петровичу; а теперь изъ чего ты изволилъ себя тревожить?... Ну, дай Богъ тебѣ здоровья, Василій Михайловичъ, утѣшилъ ты меня, старика! Видно, еще не перевелись честные-то по будату, православные люди, на святой Руси!... Вотъ посмотримъ, что то скажетъ объ этомъ мой пріятель Лаврентій Никитичъ Рокотовъ. Послушаешь

его, такъ вся наша молодежь такъ набралась нѣмецкаго духа, что въ ней русской то правды на волосъ не осталось.

— Да неужели и вы, Максимъ Петровичъ, изволите думать, что между нѣмцами нѣтъ добрыхъ и честныхъ людей?

— Какъ не быть, батюшка! И въ нечестивомъ Содомѣ нашелся праведный Лотъ, а нѣмецкая то земля, чай, побольше будетъ Содома и Гоморы... А, да вотъ намъ и завтракъ несутъ!... Андрюшка, вели заложить мой возокъ, я сейчасъ поѣду къ Рокотову! Милости просимъ, гость дорогой! Покамѣстъ мнѣ запрягають лошадей, мы съ тобой закусимъ, выпьемъ по чарочкѣ, а тамъ и съ Богомъ!

Въ продолженіе завтрака, Максимъ Петровичъ разспрашивалъ подробно своего гостя о прутскомъ дѣлѣ, и когда выслушалъ его рассказъ, то, покачавъ головою, сказалъ:

— Эхъ, молодець, сплеховали ваши набольшіе. Какъ же они этакъ словно въ ловушку попали?

— Чтожь дѣлать, Максимъ Петровичъ,—отвѣчалъ Симскій:—Государя обманули ложными донесеніями, и воложскій господарь намъ измѣнилъ.

— Такъ чтожь смотрѣли ваши нѣмецкіе генералы! Вѣдь ихъ тамъ, говорятъ, неотолченная труба.

— Охъ, Максимъ Петровичъ, — ужь не извольте говорить о нѣмецкихъ генералахъ!...

— А что?

— Да главный то изъ нихъ—генералъ Янусъ—все дѣло испортилъ: перепустилъ турокъ черезъ Прутъ, далъ имъ зайти къ намъ въ тылъ; а подержись онъ хоть съ полдня, такъ мы бы черезъ Прутъ переправились и не дали себя обойти.

— Да чтожь это такое, — промолвилъ съ удивленіемъ Прокудинъ:—этотъ Янусъ нѣмецъ, а ты за него не заступаешься?

— Чего тутъ заступаться! Самъ Государь изволилъ сказать, что генералъ Янусъ нечестно свой долгъ исполнилъ.

— Вотъ что! Такъ видно и нѣмецкіе то генералы со всячинкою: не всѣ съ неба звѣзды хватають!

— Помилуйте, Максимъ Петровичъ! Да есть ли изъ всѣхъ этихъ нѣмецкихъ генераловъ хоть одинъ, котораго можно было бы сравнить съ нашимъ графомъ Шеремете-

вымъ, съ княземъ Меншиковымъ и даже съ княземъ Рѣпиннымъ? Я ужь не говорю о Государѣ Петрѣ Алексѣевичѣ, у котораго въ одномъ мизинцѣ больше ума, чѣмъ у всѣхъ этихъ нѣмцевъ.

— Ахъ, ты мой голубчикъ! — вскричалъ Прокудинъ, всплеснувъ руками. — Такъ вотъ какъ ты изволишь поговаривать!.. А я думалъ, что ты, вовсе погрязъ въ этой нѣмецкой прелести!..

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ, я вамъ и прежде докладывалъ, что намъ должно перенимать все полезное у нашихъ сосѣдей, но не ради того, что-бъ сдѣлаться самимъ нѣмцами. Да развѣ русскій человекъ не можетъ изучиться разнымъ наукамъ и всѣмъ заморскимъ хитростямъ, а межъ тѣмъ остаться такимъ же точно православнымъ русскимъ, какими были его отцы и прадѣды? Вѣдь это вездѣ такъ, Максимъ Петровичъ. Вотъ, примѣромъ сказать: голландцы не уступятъ въ наукѣ англичанамъ, нѣмцы не меньше знаютъ французовъ, а вѣдь не всѣ же за моремъ, сплошь-да-рядомъ или французы или нѣмцы, или голландцы, — и тамъ также наука наукой, а каждый народъ самъ по себѣ. Однакожъ, Максимъ Петровичъ, вамъ надо поспѣшить. Хоть, кажется, времени еще довольно, а вѣдь неровень часъ: коли этотъ Обняковъ поторопится, да захватитъ вашего племянника...

— Племянника! — повторилъ Прокудинъ, улыбаясь, — Ну, а коли Шелешпанскій вовсе мнѣ не племянникъ?

— Что вы говорите? — прервалъ Симскій и глаза его заблестали радостію. — Такъ Ольга Дмитріевна не выпала за князя Шелешпанскаго?

— И никогда за нимъ не будетъ.

— Такъ она не замужемъ?..

— Покаместъ нѣтъ. Ну, прощай, другъ сердечный! Ты, чай, остановился въ Москвѣ у своего дяди?

— Да, Максимъ Петровичъ

— Такъ мы послѣзавтра опять съ тобой увидимся. До свиданья, любезный!

Симскій уѣхалъ. Прошло нѣсколько минутъ. Прокудинъ провожалъ глазами уѣзжающаго гостя и, казалось, размышлялъ въ эту минуту о чемъ то пріятномъ. Онъ поглаживалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ свою сѣдую бороду и улыбался. Вдругъ сѣнныя двери скрипнули и растворились до половины.

— А, это ты, Оленька! — сказалъ Максимъ Петровичъ.

Поди сюда, поди!.. Сядь-ка вотъ тутъ... поближе ко мнѣ... Ну, племянница, глаза то у тебя зорки: издалека ты узнала Симскаго!

— И, что вы, дядюшка!.. Вѣдь онъ ужь былъ близко, — отвѣчала Ольга Дмитріевна, покраснѣвъ, какъ маковъ цвѣтъ.

— И то сказать,—продолжалъ Максимъ Петровичъ: такого молодца за версту узнаешь. Не правда ли, мой другъ?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать на вопросъ дяди, Ольга Дмитріевна придвинула къ себѣ пальцы, нагнулась надъ ними, стала разбирать шелкъ и наконецъ промолвила едва слышнымъ голосомъ:

— А зачѣмъ онъ пріѣзжалъ къ вамъ, дядюшка?

— Да по дѣлу твоего жениха, князя Шелешпанскаго.

— Жениха?—повторила съ ужасомъ Запольская.

— То-есть бывшаго, мой другъ!—прервалъ съ улыбкою Прокудинъ. Ну, чего ты испугалась? Ужь я сказалъ, что скорѣй выдамъ тебя за нѣмца, чѣмъ за этого бѣглаго новика. Вотъ, подумаешь, прошу узнать: этотъ воръ Ардалиюшка Обиняковъ крѣпко стоитъ за нашу старину, позорить всѣхъ иноземцемъ, князь Шелешпанскій также, оба они слывуть людьми русскими, а что въ этомъ толку, коли душонки то въ нихъ жидовскія. Одинъ мошенникъ, а другой, по мнѣ, и того хуже. Обиняковъ что: приказная строка; а Шелешпанскій—богатый бояринъ, природный князь, да любого цыгана научить, какъ обманывать добрыхъ людей. Живетъ хуже всякаго скареда, и, чтобъ отвилать отъ царской службы, по овинамъ изволить прятаться. А вотъ этотъ Симскій... И я, грѣшный человѣкъ, думалъ, что онъ вовсе онѣмечился... Да и какъ не подумать: хвалить всѣ заморскіе обычаи, любить нѣмцевъ, и самъ то говорить иногда, ни дать, ни взять, какъ нѣмецъ; а какъ пришло дѣло на чистоту, такъ его честная русская душа вотъ такъ изъ подъ нѣмецкаго то платья и рвется наружу!.. Ну, нечего сказать, славный малый!

— Такъ онъ вамъ нравится, дядюшка?—спросила робкимъ голосомъ Ольга Дмитріевна.

— Да, мой другъ, очень нравится; а тебѣ?.. Ну, чтожъ ты молчишь, Оленька?.. А, вотъ что; ты не хочешь со мной спорить...

— Какъ, дядюшка?

— Да, мой другъ: я его хвалю, а тебѣ онъ видно не по сердцу.

Ольга Дмитриевна кинулась на шею къ дядѣ и заплакала.

— И, полно, матушка! — сказалъ Прокудинъ, улыбаясь. — О чемъ ты плачешь?

Запольская хотѣла что то сказать, но слезы не дали ей вымолвить ни слова.

— Да не бойся, мой другъ! Коли Симскій тебѣ не нравится, такъ Богъ съ нимъ.

— А развѣ онъ что-нибудь вамъ говорилъ? — промолвила Ольга Дмитриевна.

— Теперь ничего. Да вѣдь онъ ужъ за тебя сватался.

— Что вы говорите?..

— Да, мой другъ. Вотъ, когда ты жила еще у своей тетки, родной его дядя, Данила Никифоровичъ, самъ прїѣзжалъ ко мнѣ сватомъ, а я какъ будто бы отгадалъ, что Симскій тебѣ не по сердцу, и слушать его не сталъ.

— Ахъ, дядюшка!

— Что, племянница?

— Да вы, кажется, смѣтаете надо мною.

— И, что ты, матушка!

— Вы говорите, что Симскій мнѣ не нравится.

— А какъ же, Оленька? Когда я уговаривалъ тебя выйти замужъ за Шелешпанскаго, ты плакала, и теперь также, лишь только я намекнулъ тебѣ о Симскомъ...

— Ахъ, дядюшка! — прервала Запольская, потупивъ глаза. — Да вѣдь тогда я плакала съ горя...

— А теперь съ радости? Ага, смиренница, промолвилась!

— Съ радости!.. — повторила Ольга Дмитриевна, и въ глазахъ ея снова блеснули слезы. — Почему знать, можетъ быть теперь Симскій...

— Нѣтъ, мой другъ, и теперь все то же. Вѣдь онъ прїѣхалъ сюда за тѣмъ, чтобъ выручить изъ бѣды твоего мужа... Да, да, Оленька, Симскій думалъ, что ты давно уже княгиня Шелешпанская, и кабы ты видѣла, какъ онъ обрадовался, когда я сказалъ, что ты еще не замужемъ... Ну, да что объ этомъ говорить! Видно, пословица то не даромъ: «суженаго конемъ не объѣдешь». Прощай, Оленька! Мнѣ пора ѣхать къ Рокотову, а завтра я отправлюсь въ Москву, и если Данила Никифоровичъ опять заговорить о своемъ племянникѣ, такъ чтожь, матушка... прикажешь ударить по рукамъ?

— Воля ваша, дядюшка.

- А твоей то воли вѣтъ?  
— Ахъ, какіе вы!...  
— Ну, добро, добро!.. Прощай, мой другъ!

### XIII.

— Чтожъ это Максимъ то Петровичъ не ѣдетъ? Вѣдь онъ сказалъ тебѣ, племянникъ...

— Да, дядюшка, онъ спросилъ меня, у васъ ли я живу, и сказалъ, что послѣзавтра непременно со мной увидится.

— Ну, такъ и есть... ты былъ у него третьяго дня, и коли онъ выѣхалъ вчера, такъ долженъ быть сегодня къ обѣду. Ты не знаешь, гдѣ онъ остановится?

— Не знаю, дядюшка.

Разумѣется, эти вопросы дѣлалъ Данила Никифоровичъ Загоскинъ племяннику своему, Василию Михайловичу Симскому.

— Коли онъ пріѣдетъ сюда съ племянницей, — продолжалъ Данила Никифоровичъ, — такъ, вѣрно, остановится въ домѣ у сестры; а если одинъ, такъ можетъ статься и ко мнѣ въѣдетъ. Нечего дѣлать, надобно подождать его къ обѣду. Какъ ты думаешь, жена?

— Воля твоя, Данила Никифоровичъ, — промолвила Марья Саввишна. — Только я за гуся не отвѣчаю: пережарится, ба-тюшка.

— Бѣда не большая. Мы съ Максимомъ Петровичемъ люди не привередливые. Ты говорилъ мнѣ, Василій, что онъ тебя ласково принялъ?

— Очень ласково.

— Очень ласково! Да это еще ничего! Максимъ Петровичъ человекъ радушный, ты же пріѣхалъ къ нему съ добрымъ дѣломъ; на его мѣстѣ и всякій обошелся бы съ тобою ласково.

— Нѣтъ, дядюшка! Сначала онъ былъ только привѣтливъ со мною, а подъ конецъ такъ меня обласкалъ, что я и словъ не нашель. Ужъ онъ хвалилъ, хвалилъ меня!... А какъ сталъ прощаться со мною, такъ назвалъ другомъ сердечнымъ.

— Ну, это не дурно. А намекалъ ли онъ тебѣ что-нибудь... знаешь, о томъ?..



— Какъ же, дядюшка, и очень намекаль...

— И это хорошо: Максимъ Петровичъ не скажетъ слова на вѣтеръ,—не такой человекъ. Да и ты не глупо сдѣлалъ, племянникъ; расхвалилъ русскихъ генераловъ, а нѣмецкаго то генерала ругнулъ... Умно, любезный, умно: потѣшилъ старика...

— Я говорилъ это, дядюшка, не ради его потѣхи: это сущая правда.

— И, Василій, ну хоть бы и душой то немного покривилъ, что за бѣда! Вѣдь нѣмцамъ отъ твоихъ словъ ни хуже, ни лучше не будетъ, и Максиму Петровичу это какъ масломъ по сердцу!.. Такъ ты, племянникъ, хочешь, чтобъ я съ нимъ опять рѣчь повелъ объ Ольгѣ Дмитриевнѣ?

— Ахъ, сдѣлайте милость, дядюшка!

— Ну такъ и быть, — попытаемся еще разоукъ. А вѣдь обидно будетъ, коли онъ и теперь также заламается...

— Дай то, Господи! — прошептала Марѳа Саввишна.

— Что, что? — прервалъ Данила Никифоровичъ.

— Да, государь, не прогнѣвайся: кабы моя воля, такъ я бы ни за что не благословила Васеньку жениться на этой Запольской.

— Не благословила? А почему бы такъ, сударыня? Что, она невѣста бѣдная что-ль?

— Нѣтъ, батюшка, съ достаткомъ.

— Собой что-ль не хороша?

— И этого сказать нельзя: личико у нея смазливое и по годамъ она ровня Васенькѣ.

— Всѣ говорятъ, что она предобрая.

— И это можетъ быть.

— Такъ чего-жь еще тебѣ? Рожна, что-ль, прости, Господи!

— Эхъ, Данила Никифоровичъ! Да вѣдь жена должна быть хозяйкой въ дому, угождать мужу, заботиться о дѣтяхъ...

— А почему ты думаешь, что Ольга Дмитриевна...

— И, батюшка, чего ждать отъ такой дѣвицы, которая по нѣмецкимъ асамблеямъ ѣздитъ, въ заморскіе робронты одѣвается и пляшетъ, съ кѣмъ ни попало...

— Такъ чтожь, тетюшка, — прервалъ Симскій. — Ольга Дмитриевна человекъ молодой, почему ей не повеселиться?

— Охъ, Васенька, припомни мое слово: сядетъ тебѣ это веселье на маковку!

— Добро, добро!—прервалъ Данила Никифоровичъ.—Ты это, Марѳа Саввишна, говоришь потому, что сама то устарѣла.

— Ахъ, батюшка, развѣ я не была также молода?

— Была, мой другъ; да въ то время объ асамблеяхъ то у насъ и рѣчи не было, и васъ всѣхъ, моихъ голубушекъ, за ключикомъ держали; а будь-ка ваша воля, такъ, можетъ статься, и ты бы поѣхала на вечеринку къ нѣмцу Гутфелю.

— Сохрани, Господи!

— И, Марѳа Саввишна, такъ-то бы поѣхала, да отхватала минавею съ какимъ-нибудь аптекаремъ!... Вѣдь мы всѣ подъ старость прежніе свои грѣхи забываемъ. У самихъ ноги плохо ходятъ, такъ и другіе не бѣгай... Э, да вотъ никакъ и Максимъ Петровичъ вѣхалъ во дворъ... Ну, племянникъ, коли ты хочешь, чтобъ я высваталъ тебѣ невѣсту, такъ убирайся вонъ!... Максимъ Петровичъ любитъ всѣ старинные обычаи, а въ старину такіе дѣла при женахъ и невѣстѣ не дѣлались.

— Постарайтесь, дядюшка!

— Будемъ стараться, батюшка; а тамъ что Богъ дастъ!

Симскій вышелъ вонъ, а Данила Никифоровичъ пошелъ навстрѣчу къ своему гостю.

— Здравствуй, старый другъ! — сказалъ Прокудинъ, обнимая Загоскѣя. Давно мы съ тобой не видались.

— Давно, Максимъ Петровичъ.

— Марѳа Саввишна!.. Какъ, матушка, ваше здоровье?

— Слава Богу, Максимъ Петровичъ, Господь грѣхамъ терпитъ! — молвила очень сухо Марѳа Саввишна, выходя вонъ изъ комнаты.

— Я, Данила Никифоровичъ, и съ тобой хотѣлъ повидаваться, — сказала Прокудинъ, садясь, — а коли правду молвить, такъ сегодня пріѣхалъ не къ тебѣ, а къ твоему племяннику.

— Все равно, любезный: мы съ нимъ не дѣлимся.

— Мнѣ хотѣлось еще разъ сказать спасибо Василю Михайловичу за то, что онъ не далъ мошеннику Обинякову ограбить князя Шелешпанскаго. Ты вѣдь, чай, объ этомъ знаешь?

— Да, Василій мнѣ сказывалъ.

— Ну, Данила Никифоровичъ, можешь ты похвастаться своимъ племянникомъ: вотъ ужъ подлинно честный малый.

— Да и какъ быть иначе, Максимъ Петровичъ: его покойные родители были истинно честные и благочестивые люди; а вѣдь ты, чай, знаешь пословицу: «недалеко яблочко отъ яблонки падаетъ».

— Такъ, такъ! Да какъ онъ это изъ-подъ турка то къ тебѣ прѣхалъ? Въ побывку что-ль отпустили?

— Нѣтъ, Максимъ Петровичъ: Государь Петръ Алексѣевичъ прислалъ его сюда гонцомъ.

— Вотъ что!

— Онъ привезъ сенату указъ отъ его Царскаго Величества

— Указъ, о чемъ?

— А вотъ, изволишь видѣть... Э, да кстати: помнишь, мы съ тобой спорили,—я говорилъ, что нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ паче всего любить и бережетъ свою святую Русь, а ты стоялъ въ томъ, что онъ любить не свой православный народъ, а нѣмцевъ, голландцевъ и всякихъ другихъ иноземцевъ.

— Помню, Данила Никифоровичъ, помню! Что дѣлать, грѣшный человекъ, я и теперь то-же думаю.

— И думаешь это потому, что Государь жалуется за морскіе обычаи, хочеть, чтобъ мы всѣ одѣвались по иноземному, и подписывается иногда не Петромъ, а Питеромъ?

— Да развѣ этого мало?

— Погоди, любезный, погоди, — выслушай меня!... Вотъ, примѣромъ сказать, если-бъ какой-нибудь царь велъ войну и ему бы не посчастливилось: войско его разбили, а его самого захватили въ полонъ; какъ ты думаешь, что-бы онъ написалъ своему народу?

— Вѣстимо дѣло: онъ написалъ бы, чтобъ его какъ-нибудь выручили; а коли насилу взять нельзя, такъ выкупъ дали.

— Выкупъ! Да вѣдь за царя то пожалуй и полцарства попросять, всю землю разорять...

— Чтожъ дѣлать, любезный! Коли ужъ такой грѣхъ приключился, такъ жалѣть нечего,—все отдавай.

— Ну, а коли этотъ царь напишетъ своему народу: если вы узнаете, что я попалъ въ плѣнъ, сирѣчь нахожусь въ неволѣ, такъ вы ужъ не должны почитать меня своимъ царемъ и государемъ, и никакихъ указовъ моихъ не исполнять. Пусть, дескать, я пропаду, да вы то оставестесь цѣлы.

— Что ты это говоришь? Да неужели Государь Петръ Алексѣевичъ...

— На вотъ, прочти!

— Да это что такое?

— Списокъ съ того указа, который привезъ сюда племянникъ.

— Господи! Боже мой!—вскричалъ Прокудинъ, прочтя указъ.—Ну!

— Что, любезный, кто изъ насъ правъ?

— Ты, Данила Никифоровичъ, ты!... Ахъ, я окаянный ропотникъ!... И я могъ говорить, что Государь Петръ Алексѣевичъ промѣнялъ свой народъ на нѣмцевъ, что онъ вовсе о насъ не думаетъ, а онъ, кормилецъ нашъ, себя не пожалѣлъ для своего Царства!... Ну, правду ты мнѣ говорилъ, Данила Никифоровичъ: Господь послалъ намъ такого Царя, какого до сихъ поръ еще нигдѣ не бывало.

— Что, Максимъ Петровичъ, будешь ли теперь гнѣваться на меня, что я, въ угоду такому великому Государю, нѣмецкое платье на себя надѣлъ?

— Куда мнѣ гнѣваться, Данила Никифоровичъ: да мнѣ стыдно теперь на тебя смотрѣть!

— То-то же, любезный!... А что, другъ сердечный, если-бъ Государь самъ лично тебѣ сказалъ: «Послушай, голубчикъ Максимъ Петровичъ, потѣшь меня: отмахни себѣ бороду?»

— Эхъ, полно, Данила Никифоровичъ, не ищущай!... Да и на что ему моя сѣдая борода? Я прожилъ съ нею весь мой вѣкъ, такъ пусть она при мнѣ и въ могилѣ останется!... А коли я ему, отцу нашему, на что-нибудь надобень,—прикажи только, такъ я, вмѣстѣ съ моею бородою, и голову за него положу!... Такъ вотъ какой указъ привезъ твой племянникъ!

— Да, Максимъ Петровичъ. И знаешь ли что? Въѣлъ онъ самъ напросился ѣхать гонцомъ въ Москву, а это было все равно, что идти на явную смерть.

— Какъ такъ?

— Да развѣ ты не слышалъ, что турки то все наше войско кругомъ обложили, и проѣзду никому не было.

— Такъ какъ же онъ проѣхалъ?

— А вотъ такъ же, какъ русскіе люди по вешнему ледку переходятъ: девятеро пойдутъ ко дну, а десятый кой-какъ доберется до другого берега.

— Такъ чтожь ему за охота была напрашиваться?

— Что за охота! Такъ ты не знаешь племянника? Онъ у меня такой молодець, что и сказать нельзя,—вся русская отвага! И хоть онъ въ нѣмецкомъ платьѣ ходитъ, а удали то въ немъ на десятерыхъ нѣмцевъ станеть. Мало ли что съ нимъ было: попался было въ полонъ къ туркамъ, голову ему срубить хотѣли, а все-таки Господь помиловалъ: и самъ остался невредимъ, и царскій указъ сберечь.

— Да, нечего сказать, молодець!

— Вотъ то-то же, Максимъ Петровичъ! Ты самъ изволишь говорить, что онъ и честный малый и молодець, а все-таки обраковалъ его.

— Да у меня тогда, любезный, не то въ головѣ было, и его то я вовсе не зналъ.

— А теперъ?

— Теперъ иная рѣчь, Данила Никифоровичъ! Теперъ объ этомъ можно поговорить.

— А коли такъ, Максимъ Петровичъ, такъ позволь мнѣ вторично сказать тебѣ, что я и моя Марѳа Саввишна имѣемъ великое желаніе породниться съ тобою.

— И я также, любезный другъ, не прочь отъ этого. Дай время подумать, поразмыслить...

— Да что тутъ размышлять? Коли мой племянникъ тебѣ по-серду...

— Кто говорить: онъ молодець прекрасный, да и нѣмецъ то не такъ любить, какъ я прежде думалъ.

— Кто? Василий? Съ чего ты взялъ, что онъ любить нѣмцевъ? Вѣдь это такъ, любезный, знаешь, этакъ—щегольство: «мы, дескать, люди петербургскіе, такъ у насъ все на нѣмецкую статью!»... А попытайся кто-нибудь сказать при немъ непригожее слово о нашей матушкѣ святой Руси, такъ онъ на ножъ полѣзеть!... Ну чтожь, другъ сердечный, порѣши чѣмъ-нибудь!

— Экій ты проворный.. порѣши! Да вѣдь это не что другое... Иль, по твоему, невеста, въ самомъ дѣлѣ, товарь, а женихъ купецъ?

— А, понимаю!... Ты хочешь прежде посовѣтоваться съ Ольгой Дмитриевной?

— Ну, вотъ еще!... Ея дѣло дѣвичье, стану я съ ней объ этомъ говорить!

— Такъ чтожь тебѣ за охота понапрасну меня маять?

Вѣдь ужь мы оба съ тобой каждый денекъ считаемъ, и коли Господь посылаетъ радость, такъ откладывать нечего.

— Правда, Данила Никифоровичъ, правда!

— А коли правда, такъ о чемъ и думать?... Чтожъ, Максимъ Петровичъ, по рукамъ что-ль?

— Ну, по рукамъ, такъ по рукамъ!

Прокудинъ и Загоскинъ обнялись.

— Поздравляю тебя, любезный свать, съ племянникомъ! — сказалъ Данила Никифоровичъ.

— А тебя, другъ сердечный, и сватью съ племянницей!

— Ну что, Максимъ Петровичъ: не прикажешь ли теперь позвать жениха?

— Зачѣмъ? Это дѣло между нами: чай, ты не станешь спрашивать у твоего племянника, хочетъ ли онъ жениться на моей племянницѣ?

— И то правда! Я вѣдь ему вмѣсто отца родного, такъ онъ долженъ во всемъ меня слушаться. Я ему скажу просто: «Племянникъ, мы ударили по рукамъ съ Максимомъ Петровичемъ: онъ выдаетъ за тебя свою племянницу; такъ хочешь или нѣтъ, а прошу идти съ нею подъ вѣнецъ!» Такъ ли?

— Такъ, такъ! И я то же скажу племянницѣ.

— Конечно, конечно! Ихъ дѣло сторона.

— Они знай только подъ вѣнцомъ стоять, а свадьбу уладить наше дѣло. Такъ ли, Данила Никифоровичъ.

— Такъ, Максимъ Петровичъ, такъ! Станемъ мы ихъ спрашивать!

— Вотъ еще!... Дѣлай, что велятъ... Да чтожъ ты этакъ глазами то поводишь, Данила Никифоровичъ?

— А ты что ухмыляешься, Максимъ Петровичъ?

Оба старика взглянули другъ на друга и засмѣялись.

— Эхъ, любезный свать, — сказалъ Прокудинъ, — что намъ другъ друга морочить? Видно, что было, того не вернешь. Да хоть свадьбу то справимъ по старинѣ; въ этомъ намъ никто не указъ.

— Изволь, другъ сердечный; только пожалуйста не откладывай.

— Чего откладывать! Ужь скоро Успенскій постъ. Милости прошу ко мнѣ съ женихомъ и со всѣмъ поѣздомъ въ село Воздвиженское, на будущей недѣлѣ во вторникъ.

— Будемъ, Максимъ Петровичъ, будемъ!

— Да скажи Василию Михайловичу, что онъ увидитъ

свою невесту тогда только, когда она будетъ Ольгой Дмитриевной Симскою. Чай, у нихъ въ Питерѣ этого не водится, да вѣдь мы люди не петербургскіе. Э, да пожалуй-ста, любезный, пригласи на свадьбу господина Мамонова. Кабы не онъ, дай Богъ ему здоровья!.. Да что объ этомъ говорить: помиловаль Господь и меня и племянницу... А, да вотъ и Марѳа Саввишна!

— Жена, — сказалъ Загоскинъ, — мы сейчасъ покончили съ Максимомъ Петровичемъ: онъ выдаетъ за Василю свою племянницу, Ольгу Дмитриевну; на будущей недѣлѣ свадьба... Ну, чтожь ты стоишь? Поцѣлуйся съ нашимъ дорогимъ сватомъ!

Марѳа Саввишна поцѣловалась, молча, съ гостемъ.

— Прошу меня любить и жаловать, — молвилъ Прокудинъ, — и не оставлять вашей милостью мою Оленьку!

— Помилуйте, Максимъ Петровичъ, — проговорила наконецъ Марѳа Саввишна: — родня всегда родня. Жаль только, что я ужъ стара и хила стала, батюшка. Что дѣлать, не могу во всемъ замѣнить ея тетущку, Аграфену Петровну: та, бывало, съ ней по асамблеямъ ѣздить...

— А вы, матушка, приучите племянницу хозяйничать, заниматься домашними дѣлами: вѣдь ей стоитъ только у васъ перенимать!

— И, батюшка: ученаго учить, лишь только портить!

— Хорошо, хорошо! — прервалъ Данила Никифоровичъ, которому этотъ разговоръ начиналъ не нравиться. Вели ка, Марѳа Саввишна, закуску подавать. Да милости просимъ, дорогой свать, чѣмъ Богъ послалъ!

— Благодарю покорно: я ужъ обѣдалъ.

— Гдѣ?

— У сестры, Аграфены Петровны.

— Какъ, да развѣ она пріѣхала?

— Вчера по-утру. Азовъ сдають опять туркамъ, такъ и мужъ ея скоро вернется въ Москву. Прощай, свать! — продолжалъ Прокудинъ, вставая. — Поѣду отдохнуть немного, а тамъ и домой.

— Такъ ты здѣсь и дня не пробудешь?

— Когда теперъ: надо о свадьбѣ подумать. Вѣдь это дѣло не шуточное, около пальца не обведешь. До свиданья! Жду васъ, любезные сваты, во вторникъ.

— Будемъ, будемъ, Максимъ Петровичъ! — сказалъ Загоскинъ, провожая своего гостя. — Ну что, жена, — спро-

силъ онъ, воротясь въ гостиную:—каково я дѣломъ то повернулъ, а?

— Ухъ, батюшки,—промолвила Марѳа Саввишна:—отлегло отъ сердца!

— А, то-то же! Только что говорила, а, небось, теперь сама радехонька!

— Слава тебѣ Господи! То-то бы срамъ былъ!

— Срамъ не срамъ, а нечего сказать,—обидно бы было.

— Ну, кабы Максимъ Петровичъ остался обѣдать!..

— Такъ чтожь?

— Какъ что? Вѣдь я тебѣ говорила, батюшка: гусь пережарился, похлебка простыла, а пирогъ такъ подгорѣлъ, что стыдно на столъ поставить.

— Вотъ, о чемъ толкуеть!.. Пойдемъ ка обѣдать; да вели позвать нашего затворника; чай, онъ теперь ни живъ, ни мертвъ. Вотъ мы съ нимъ на радости выпьемъ по чарочкѣ, да закусимъ твоимъ подгорѣлымъ пирогомъ.

Черезъ нѣсколько дней въ селѣ Воздвиженскомъ повторилось опять то же самое, о чемъ я рассказывалъ вамъ, любезные читатели, во второй главѣ моего рассказа, съ тою только разницею, что послѣ дѣвишника на другой день была свадьба, и что на этотъ разъ, всѣ безъ исключенія, были счастливы и довольны... Ахъ, нѣтъ, ошибся. Помните вы старуху Потапьевну, которая щуняла молодую бабу за то, что она не плакала на своемъ дѣвишникѣ? Эта старуха осталась очень недовольною. Во время дѣвишника она смотрѣла въ окна и, къ крайнему своему прискорбію, замѣтила, что ненаглядное ея солнышко, боярышня Ольга Дмитриевна, не только не плакала, но безпрестанно улыбалась и была такъ весела, какъ будто бы не ее замужъ выдавали.

— Охъ, худо!—говорила она:—не плачетъ теперь, такъ наплачется вдоволь замужемъ!

Я думаю, вовсе не нужно вамъ сказывать, любезные читатели, что это пророчество не сбылось.

Разумѣется, Рокотовъ не былъ на свадьбѣ и поссорился съ Шетневымъ за то, что онъ не отказался отъ приглашенія. Года черезъ три Лаврентій Никитичъ умеръ преспокойно на своей постели. Вѣроятно, онъ кончилъ бы свою жизнь совсѣмъ другимъ образомъ, если бы времена смуть и мятежей не прошли безвозвратно. По смерти его, Шетневъ одѣлся въ нѣмецкое платье, — но это ему



не пошло впрокъ: онъ не получилъ мѣста, для котораго принесъ въ жертву свою великолѣпную окладистую бороду. Впрочемъ, Шетневъ перенесъ эту невзгоду гораздо великодушнѣе, чѣмъ Ардаліонъ Михайловичъ Обиняковъ, у котораго четыре тысячи душъ... «по усамъ текло, да въ ротъ не попало». Отправясь съ командою, чтобъ захватить князя Шелешпанскаго, Обиняковъ началъ мечтать о будущемъ своемъ барскомъ бытѣ. «Шелешпанскій глупъ» — думалъ онъ, — «и коли онъ получалъ до осьми тысячъ рублей съ своихъ четырехъ тысячъ душъ, такъ я получу вдвое. Построю себѣ на Ильинкѣ каменные палаты, заживу бариномъ и не стану ни передъ кѣмъ шапки ломать!» Представьте же себѣ его ужасъ, когда онъ не нашелъ никого на хуторѣ и узналъ, что князь Шелешпанскій поѣхалъ въ Москву явиться Мамонову. Эта неудача, которой онъ никакъ не могъ предвидѣть, то того его поразила, что онъ слегъ въ постель; потомъ сталъ попивать съ горя, началъ заговариваться и кончилъ тѣмъ, что сошелъ съ ума, — разумѣется, на томъ, что у него четыре тысячи душъ крестьянъ и огромныя каменные палаты на Ильинкѣ.

Предсказаніе Мамонова сбылось: военная служба принесла большую пользу князю Шелешпанскому. Конечно, онъ не поумнѣлъ, но за то изъ неуклюжаго увальня сдѣлался такимъ расторопнымъ молодцомъ, что черезъ два года махнулъ изъ рядовыхъ прамехонько въ сержанты.

Можетъ быть, вы желаете знать, любезные читатели, что сдѣлалось съ молдаванскою куконою, Смарагдою Хереско? Въ такомъ случаѣ, я прошу васъ прочесть слѣдующее письмо Андрея Степановича Мамонова, который, года два спустя послѣ свадьбы Симскаго, былъ откомандированъ, по дѣламъ службы, въ Кіевъ.

«Любезный другъ Василій Михайловичъ!

«Не удивись, что я пишу къ тебѣ такое длинное письмо. Я знаю, что ты меня любишь, такъ вѣрно съ истинною сатисфакціею узнаешь, что твой другъ и сослуживецъ помолвленъ. Я пишу къ тебѣ одному объ этомъ, а ты потрудишься увѣдомить всѣхъ общихъ нашихъ пріятелей, а къ отсутствующимъ напиши универсалы, — пусть всѣ

знають, что я счастливъ! Но я еще не сказалъ тебѣ, кто эта персона, которая въ столь короткое время успѣла меня совершенно заполнить. Да вотъ, стой, я расскажу тебѣ все по порядку. Пріѣхавъ въ Кіевъ, я недѣли три прожилъ совершеннымъ сиротою. Первое мое знакомство было съ отставнымъ полковникомъ Артамономъ Никитичемъ Голушкою. Онъ живетъ безвыѣдно въ Кіевѣ, потому что всѣ его отчины въ Чигиринскомъ повѣтѣ, по Днѣпру. Жена его природная молдаванка, женщина безъ большой адюкаціи, но очень ласковая и обходительная. У нея гоститъ родная сестра ея, молодая и богатая вдова, Смарагда Хереско. Въ жизнь мою я не видывалъ такой красавицы. Представь себѣ... да ты не поймешь меня! Ты, любезный другъ, живешь теперь почти всегда въ Москвѣ, такъ ужъ вѣрно сталъ человѣкомъ старозавѣтнымъ; чай, по твоему, та только и хороша, про которую можно спѣтъ:

«Круглолица,  
Бѣлолица,  
Красная дѣвица».

А моя невѣста смугла, блѣдна, и лицо у нея продолговатое. Для тебя, чай, краше нѣтъ твоей Ольги Дмитріевны. Кто и говоритъ: она, конечно, пригожа, да это все не то. Какъ бы тебѣ сказать? Ну, вотъ, примѣромъ: твоя Ольга Дмитріевна хороша, какъ прекрасное весеннее утро; а моя Смарагда — какъ жаркій ясный полдень. Голубые глаза твоей жены тихи и спокойны, какъ свѣтлый мѣсяцъ на чистыхъ небесахъ; а черныя очи моей молдаванки вотъ такъ и жгутъ, какъ лѣтнее солнышко. Надобно тебѣ сказать, что у нея былъ женихъ, какой то бояринъ Палади; его убили турки, и она, изъ любви къ покойнику, дала обѣщаніе не выходить никогда замужъ. Много у нея было жениховъ въ Кіевѣ, да всѣ они какъ не солоно хлебали! Лишь только кто посватается, такъ и ворота на запоръ. Иной не могъ даже добиться того, чтобъ она съ нимъ словечко перемолвила. Со мной обошлась она гораздо ласковѣе, чѣмъ съ другими; и знаешь ли, почему? Ты вѣкъ не отгадаешь. Она любитъ безъ памяти Преображенскій полкъ, въ которомъ мы съ тобою служимъ. Ты спросишь: за что? А Богъ вѣсть! Я думаю, такъ, — женскій капризь. Въ первый разъ, какъ она со мною объ этомъ говорила, такъ спрашивала, какъ зовутъ моихъ товарищей, и кто

изъ нихъ женать. Ну, разумѣется, въ числѣ жепатыхъ я назвалъ и тебя; рассказывалъ ей, какъ ты былъ влюбленъ въ Ольгу Дмитриевну, какъ ее хотѣли выдать замужъ за князя Щелешпанскаго, а выдали наконецъ за тебя. Вотъ этакъ недѣльки черезъ двѣ, я началъ ей говорить обиняками, пытался завести амурную рѣчь, не тутъ то было, и слушать не хочеть! Что, братъ Василій, тебѣ, какъ другу сердечному, скажу всю правду: не прошло мѣсяца, какъ я исхудалъ такъ, что на себя не сталъ походить, — сна нѣтъ, ѣда на умъ нейдетъ, только и думаю, что о ней! А она все та-же, — ни лучше, ни хуже. Однажды, по-утру, пришелъ ко мнѣ жидъ съ разными товарами: съ колечками, сережками, запонками; въ числѣ этихъ вещей былъ у него золотой крестъ съ молдаванскою надписью, который, по его словамъ, достался ему отъ какого то турка. Онъ уступилъ мнѣ этотъ крестъ очень дешево, и я въ тотъ же день повезъ его показать Смарагдѣ. Ты не можешь себѣ представить, что съ ней сдѣлалось, когда она его увидала. Я думалъ, что моя молдаванка съ ума сошла: ужъ она его цѣловала, цѣловала, прижимала къ груди! Разумѣется, я сталъ просить позволенія благословить ее этимъ крестомъ. Сначала она какъ будто позамялась, подумала минутки двѣ, а тамъ взяла его, да такъ на меня взглянула, что я совершенно ожилъ. Съ этой поры пошло все лучше, да лучше, и вотъ теперь она моя невѣста. Я было, любезный другъ, сначала и возгордился. Думаю про себя: ну, видно, я молодецъ не дюжинный, и знаю, какъ съ женщинами обходиться, когда такая непобѣдимая фортеція сдалась мнѣ на дискрецію! Только вчера моя Смарагдушка спеси то во мнѣ поубавила. Она была со мною очень ласкова, приголубила меня, да вдругъ и говорить: хорошъ ты и пригожь, мой суженый, а всего то для меня милѣе то, что ты носишь преображенскій мундиръ». «А еслибъ я служилъ въ Семеновскомъ полку?» — спросилъ я шутя. «Такъ врядъ ли была бы я твоею невѣстою», — промолвила съ улыбкою Смарагда. — «Да развѣ ты любишь не меня, а мой мундиръ?» — сказалъ я. «О, нѣтъ» — отвѣчала Смарагда: — теперь я и тебя люблю, — вѣдь ты мой женихъ!» И тебя!! Вотъ, толкуй послѣ этого! Подумаешь, какъ женщины то причудливы? Ну, скажи самъ, Василій Михайловичъ, — чѣмъ нашъ преображенскій мундиръ красивѣе семеновскаго?»

«Прощай, другъ сердечный! Поклонись отъ меня своей барынѣ, и коли встрѣтишь гдѣ-нибудь Федосью Игнатьевну Перелекину, такъ скажи ей, чтобъ она обо мнѣ не хлопотала. Онъ, дескать, нашель ужь себѣ невѣсту».

К О Н Е Ц Ъ .

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
1. Брынскій лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго. . . . .	1
2. Русскіе въ началѣ осьмнадцатаго столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра Перваго. . . . .	257

---



М. Н. ЗАГОСКИНЪ





ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ТРЕТІЙ

---



ИЗДАНИЕ  
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Г—ВА М. О. ВОЛЬФЪ  
С.-ПЕТЕРБУРГЪ Гостиный дв., 18 | МОСКВА Кузнецкій мостъ, 12  
1898



ТИПОГРАФІЯ  
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО  
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ  
Сиб., В. О., 16 л., № 1—7.

КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ  
МИРОШЕВЪ

РУССКАЯ БЫЛЬ

ВРЕМЕНЪ ЕКАТЕРИНЫ II

---



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

---

### I

О томъ, гдѣ и когда случилось то, о чемъ разсказывается въ этой истинной повѣсти.

---

Въ нашихъ степныхъ губерніяхъ есть народная поговорка: «Сура рѣчка важная, течетъ потихоньку, доньшко у нея серебряное, круты бережка позолоченые». За что,—думалъ я всегда,—такая похвала этой рѣчкѣ, которую съ грѣхомъ пополамъ называютъ судоходною? Что въ ней хорошаго? Ея угрюмые берега поросли мрачными сосновыми лѣсами, течетъ она къ сѣверу, и хотя въ нее впадаетъ рѣчка, которая называется *Бездна*, но сама то она вовсе не походить на бездну морскую: лѣтомъ черезъ нее во многихъ мѣстахъ куры въ бродъ переходятъ. Мнѣ удавалось слышать отъ пензенскихъ жителей, что въ ней ловятся отличныя стерляди,—быть можетъ, только видно это бываетъ очень рѣдко. Я знаю навѣрное, что когда въ Пензѣ собираются дать какой-нибудь торжественный обѣдъ на славу, то всегда посылаютъ за стерлядьми въ Саратовъ. То ли дѣло близкій сосѣдъ Суры, красавецъ Хоперь, рѣчка также второстепенная; но какими она течетъ привольными мѣстами, какъ роскошествуетъ природа на ея плодоносныхъ берегахъ! Хоперь течетъ на югъ, извиваясь подъ тѣнью своихъ дубовыхъ лѣсовъ, красуясь своими липовыми рощами и оро-

шая свѣтлыми водами своими одинъ изъ счастливейшихъ уголковъ нашей матушки святой Руси. Пуститесь по теченію Хопра, и черезъ нѣсколько дней вы увидите себя среди земель Донского войска, въ Хоперской станицѣ, которая славится по всему Дону своимъ привольнымъ житьемъ и богатствомъ.

Въ тысяча семьсотъ осьмидесятомъ году, на правомъ берегу этой рѣки, верстахъ въ десяти отъ уѣзднаго городка Ново-Хоперска, у подошвы авысокаго холма стоялъ, срубленный изъ дубовыхъ бревенъ и покрытый тесомъ, небольшой господскій домъ о семи окнахъ. Прежде чѣмъ я познакомлю васъ съ хозяиномъ этого дома, Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ, не угодно ли вамъ будетъ прогуляться вмѣстѣ со мною по его владѣніямъ, взглянуть на его наслѣдственную *отчину* и полюбоваться господскою усадьбою? Мы начнемъ съ дома.

Я уже сказалъ вамъ, что онъ былъ срубленъ изъ дубовыхъ бревенъ, покрытъ тесомъ и освѣщался съ лицевой стороны семью окнами. Быть можетъ, вы станете смѣяться надо мною; но я убѣжденъ, что дома, точно такъ же, какъ и люди, имѣютъ свои собственные фizioноміи,—и суровыя, и привѣтливыя, и гордыя, и радушныя. Посмотришь, иной домъ — ну точно хмурить брови, а другой какъ будто улыбаεται. Вотъ, напримѣръ, хоть этотъ, о которомъ идетъ рѣчь, кажется въ наружности его не было ничего привлекательнаго, а я увѣренъ, вы посмотрѣли бы съ удовольствіемъ на этотъ скромный пріютъ небогатаго русскаго помѣщика. Эта ничѣмъ не окрашенная тесовая кровля и кусты великолѣпныхъ розановъ, которые цвѣли подъ окнами дома; эти голыя бревенчатыя стѣны и чистое крылечко, уставленное цвѣтами; этотъ красивый лугъ, который опускался гладкою скатертью отъ дверей дома до самаго Хопра, — все это вмѣстѣ было такъ свѣжо, такъ мило, что вы пожалѣли бы, еслибъ тутъ, вмѣсто простого бревенчатаго домика, стояли каменныя палаты или затѣйливая дача съ разными вычурами и причудами, которыя стоятъ такъ дорого лѣтнимъ жителямъ невскихъ острововъ, петергофской дороги и московскаго парка.

По обѣимъ сторонамъ дома разбросано было нѣсколько жилыхъ службъ и холостыхъ строеній: сарай, конюшня, погреба, амбары, застольная изба, баня и господская кухня; всѣ эти строенія были крыты соломкою. По двору, почти

всегда, переважно расхаживали индѣйскіе пѣтухи, бѣгали куры и гулял павлинъ съ своею павою. Съ лѣвой стороны, за частоколомъ, котормъ обнесена была вся дворовая усадьба, стоялъ довольно обширный скотный дворъ; съ правой тянулось огороженное плетнемъ барское гумно, установленное одоньями. Посреди двора росла огромная черемуха; подъ благовоннымъ и роскошнымъ шатромъ ея пушистыхъ вѣтвей, можно было въ знойный полдень отдохнуть на скамьѣ и подышать прохлагою. Прямо противъ нея, въ глубинѣ двора, за рѣшетчатымъ заборомъ, видѣлся фруктовый садъ, въ котормъ, посреди густыхъ куртинъ вишень, сливъ и черешни, подымали свои курчавыя головы яблони и грушевыя деревья. Этотъ садъ оканчивался небольшимъ огородомъ; за нимъ, по отлогому скату, взбѣгала до половины высокаго холма тѣнистая дубовая роща; потомъ начинался мелкій кустарникъ, а на самой вершинѣ, подъ тѣнью двухъ вѣковыхъ липъ, стояла деревянная часовня, Она была построена надъ истокомъ холоднаго и прозрачнаго, какъ ледъ, горнаго ключа. Простой народъ называлъ этотъ родникъ *громовымъ студеницомъ*, и пилъ изъ него воду, какъ лѣкарство отъ разныхъ болѣзней, вѣроятно потому, что въ часовнѣ была икона Божіей Матери, и что объ этомъ источникѣ передавалась изъ рода въ родъ одна народная легенда, которой содержаніе было слѣдующее:

«Давнымъ-давно, въ незапамятные годы, не извѣстно, при какомъ великомъ князѣ, только прежде еще татарскихъ погромовъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь часовня, стояла уединенная келья одного святаго отшельника. Шестидесять лѣтъ спасался онъ, живя на этомъ холмѣ, посреди дремучаго бора, котораго теперь слѣдовъ не осталось. Двадцать лѣтъ не выходилъ онъ изъ лѣсу, и изъ всѣхъ окружающихъ селеній никто не зналъ о немъ, кромѣ одного благочестиваго деревенскаго священника, который два раза въ году приходилъ приобщать его Святыхъ Таинъ и оставлялъ у него мѣшокъ сухарей; этого было достаточно для пустытника на цѣлые полгода, потому что онъ былъ великій постникъ и съѣдалъ только по два сухаря въ недѣлю; за водой же онъ ходилъ самъ на Хоперь. Вотъ посѣтилъ его Господь Богъ скорбію: отнялись у него ноги. Это случилось лѣтомъ, въ Петровки; жара стояла нестерпимая, у него въ кельѣ не было ни капли воды, и какъ онъ ни сидился доташиться до рѣки, но въ цѣлые два дня не могъ отползти

и пяти шаговъ отъ своей хижины. Вотъ прошелъ день, другой,—зной все тотъ же, на небѣ ни облачка, а солнце такъ и палитъ. Какъ ни велико было терпѣніе благочестиваго старца, но онъ былъ человѣкъ, а жажда еще мучительнѣе голода. На третій день старецъ изнемогъ совершенно, страданія его сдѣлались нестерпимыми, и что то похожее на ропотъ мелькнуло въ душѣ его. Лукавый того только и дожидался: онъ явился передъ старцемъ, но только не такъ, какъ является иногда, не подъ личиною ангела свѣта, не во образѣ даже человѣческомъ, а просто во всѣмъ адскомъ своемъ безобразіи. Старецъ хотѣлъ перекреститься, но демонъ удержалъ его руку, поставилъ передъ нимъ чашу со свѣжею водою и сказалъ: «Вотъ, старикъ, я не въ тебя: ты проклиналъ, ненавидѣлъ меня, а пришла бѣда, такъ я же къ тебѣ на выручку. У тебя нѣтъ ни капли воды,—вотъ тебѣ полная чаша! Да не отварачивайся, старинушка: вѣдь я не жидъ какой, не попрошу твоей души за ковшикъ воды; съ меня будетъ и того, если ты за это мнѣ поклонись.» Нѣтъ,—прошелталъ старецъ,— не поклонюсь я никогда врагу моего Господа. «Врагу!» — повторилъ насмѣшливо сатана. «Да что за радость быть слугою то? Вотъ хоть ты, нечего сказать, вѣрнѣй слуга, а что, много выслужилъ? Нѣтъ, старинушка, твой господинъ живетъ высоко, до тебя ли ему; а я у тебя подъ бокомъ. Не хочешь мнѣ кланяться, такъ, пожалуй себѣ, не кланяйся: я за этимъ не гонюся. Скажешь спасибо—хорошо, не скажешь—такъ и быть! Только не мори себя, голубчикъ, напрасно: выпей водицы! А вода то какая, вода! Посмотри, любезный!» Тутъ онъ поднесъ къ устамъ страдальца чашу съ водою, чистою и прозрачною, какъ хрусталь. Испытаніе было ужасно, но старецъ усоялъ. Онъ зажмурилъ глаза, чтобъ не видѣть соблазнителя, и сказалъ: «Лучше умереть въ страданіяхъ по волѣ Господней, чѣмъ жить тобою, врагъ Божій. Исчезни, сатана!»

Едва онъ выговорилъ эти слова, какъ вдругъ раздался ударъ грома, и ослѣпительная молнія обвилась вокругъ искусителя; онъ вспыхнулъ, разостлался смраднымъ дымомъ по землѣ, завылъ вихремъ по лѣсу, разметалъ, какъ соломинки, направо и налѣво столѣтнія сосны и съ воемъ исчезъ въ рѣкѣ. Еще грянулъ громъ, и у самыхъ ногъ старца огромный камень разсѣлся на двое; изъ трещины брызнулъ источникъ живой воды, закипѣлъ между камнями и



помчался вниз по скату горы. Разумѣется, старецъ напился, вскорѣ почувствовалъ облегченіе отъ своей болѣзни, и прожилъ еще двадцать лѣтъ, хвала и слава Бога.

Теперь, когда вы дошли вмѣстѣ со мною до часовни, то можете однимъ взглядомъ окинуть всѣ владѣнія Кузьмы Петровича Мирошева, и въ то же время полюбоваться живописнымъ видомъ Хопра и всѣхъ его окрестностей. Прямо передъ вами, то-есть по ту сторону холма, широкія поля, господскія усадьбы, села и кой-гдѣ изгибистый Хоперь, который то появляется, то исчезаетъ за рощами и холмами. Вдали, на высокоомъ берегу его, подымается крѣпостной валъ, а за нимъ нѣсколько бѣлокаменныхъ зданій и соборъ, прежде бывшей крѣпости, а нынѣ уѣзднаго города Хоперска. Если мы обернемся, чтобъ идти назадъ, то передъ нами откроются виды, не менѣе прекрасные. Внизу, подъ нашими ногами, дубовая роща. Вотъ вѣтеръ пахнулъ сильнѣе, и вершины сплошныхъ деревьевъ заволновались какъ зеленое море; онъ стихъ, и передъ нами разостлался зеленый бархатный коверъ. Далѣе господская усадьба и покатистый лугъ до самаго Хопра; по ту сторону рѣки обширная пойма, лѣтомъ покрытая густою зеленью и цвѣтами, весной залитая верстъ на пять въ ширину обильными водами Хопра. Налѣво, шаговъ сто отъ барскаго дома, на самомъ берегу рѣки, сельцо Хопровка, то есть двѣнадцать крестьянскихъ дворовъ съ пятидесятью ревизскими душами. Эта небольшая деревенька, съ восемьюстами десятинами земли въ окружной межѣ, съ поемными лугами, рыбною ловлею и разными другими доходными статьями, была наслѣдственной и единственной отчиною Кузьмы Петровича Мирошева; она почти никогда не давала ему менѣе шестисотъ рублей годового дохода. Вы можете судить по этому, какимъ отличнимъ хозяиномъ былъ Кузьма Петровичъ. Правда, было къ чему и руки приложить: Хопровка славилась своими угодьями; всѣ окрестные жители называли ее золотымъ дномъ, и, конечно, самый плохой помѣщикъ не получилъ бы съ нея менѣе трехсотъ рублей въ годъ дохода; однимъ словомъ, эта деревенька вполне оправдывала русскую пословицу: «малъ золотникъ, да дорогъ.»

Съ землею Кузьмы Петровича Мирошева сходилась земля одного порядочнаго села, принадлежащаго графу Р\*\*\*\*му; имъ управлялъ приказчикъ, а самъ баринъ зналъ это село только по слуху; и неудивительно: въ немъ было съ не-

большимъ четыреста душъ; слѣдовательно, оно не составляло даже и четырехсотой части его огромнаго имѣнія. Почти всѣ остальные сосѣди Мирошева были мелкопомѣстные дворяне, исключая одного богатаго помѣщика, о которомъ мы поговоримъ послѣ.

## II.

Откуда происходилъ родъ Мирошевыхъ, и отчего у прадѣда Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, а у него только пятьдесятъ.

Древній родъ дворянъ Мирошевыхъ произошелъ слѣдующимъ образомъ отъ рода князей Барашевыхъ, младшаго колѣна рода князей Звенигородскихъ:

У князя Ивана, князь Петрова сына Звенигородскаго, было два сына: князь Иванъ Барашъ, да князь Михайла Спячій; у князя Бараша сынъ князь Иванъ Адашъ; у князя Адаша сынъ Недашъ; у князя Недаша сыновья: Алексѣй Звѣнецъ, Юрій Мочька и Петръ Мирошъ; отъ Петра пошли Мирошевы. Въ родѣ Мирошевыхъ, которые всѣ служили вѣрою и правдою великимъ князьямъ и царямъ русскимъ, было двое окольныхчихъ, четыре стольника и человекъ пять стряпчихъ, изъ которыхъ одинъ при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ былъ даже стряпчимъ *съ ключемъ и тутемъ*. Онъ удостоился этой особенной милости за то, что отлично трезвонилъ въ колокола. Я думаю, вамъ извѣстно, любезные читатели, что царь Ѳеодоръ Іоанновичъ весьма жаловалъ колокольный звонъ и очень часто изволилъ самъ потѣшаться этою забавою. Въ царствованіе царя Ѳеодора Алексѣевича оставался изъ всего рода Мирошевыхъ одинъ только Петръ Голышъ; у Петра Голыша было три сына: Андрей Кочерга, Степанъ Шарапъ, да Петръ Бутузъ. Андрей и Степанъ умерли бездѣтными. У Петра Бутуза былъ сынъ Кузьма Петровичъ; у Кузьмы Петровича сынъ Петръ Кузьмичъ, а у Петра Кузьмича родился сынъ Кузьма Петровичъ, теперешній помѣщикъ сельца Хопровки.

Прадѣдушка Кузьмы Петровича, то есть Петръ Голышъ, былъ сначала писанъ въ разрядныхъ книгахъ московскимъ жильцомъ и служилъ въ холопьемъ приказѣ; потомъ, при

царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣевичахъ, вошелъ какъ то въ милость у царевны Софьи Алексѣевны, жалованъ отъ нея разными помѣстьями и переименованъ въ стольники. Онъ умеръ, оставивъ послѣ себя двѣ тысячи душъ крестьянъ и домъ какъ полную чашу. Сынъ его, Кузьма Бутузъ, попалъ было при царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ въ потѣшные, но за неуклюжесть и необычайную дородность былъ уволенъ отъ фрунтовой службы, отправился жить въ свои помѣстья, завелъ огромную псовую охоту, и чтобъ перещеголять знаменитаго князя Ромодановскаго, у котораго садилось на коня безъ малаго сто человекъ псарей и стремянныхъ, онъ выѣзжалъ въ поле съ тремя перемѣнными стаями, и охотниковъ у него было сто двадцать человекъ, которые порскали, спали, пили, ѣли и скушали, наконецъ, вмѣстѣ съ борзыми и гончими собаками, почти все его имѣнье. Кузьма Петровичъ Бутузъ скончался на сороковомъ году отъ одышки, передавъ въ наслѣдство единственному своему сыну, Петру Кузьмичу, съ небольшимъ четыреста душъ, до тла разоренныхъ крестьянъ. Мать Петра Кузьмича умерла вскорѣ послѣ своего мужа, оставивъ пятилѣтняго сына совершеннымъ сиротою. Родной братъ покойницы взялъ его на свои руки. По счастью, этотъ дядя былъ человекъ честный и добрый: онъ далъ своему племяннику воспитаніе, по тогдашнему, весьма хорошее. На тринадцатомъ году Петръ Кузьмичъ читалъ безъ запинки псалтырь, а святцы зналъ наизусть отъ доски до доски. Писалъ онъ очень бойко, и выводилъ такіе отличные крючки, что дядя, который служилъ самъ секретаремъ въ провинціальной канцеляріи, не могъ безъ радостныхъ слезъ смотрѣть на необычайный почеркъ своего питомца. Въ ариѳметикѣ онъ также былъ очень силенъ: всякій разъ, какъ дядя его справлялъ свои именины, или день рожденія, — а къ нему въ эти дни съѣзжалось человекъ до тридцати гостей, — Петръ Кузьмичъ долженъ былъ выдерживать публичный экзаменъ. Старикъ дядя, желая похвастаться при всѣхъ ученостью своего племянника, бралъ въ руки огромную книгу въ кожаномъ переплетѣ и начиналъ испытаніе слѣдующимъ образомъ:

— Послушай-ка, братецъ! Вопросъ: что есть ариѳметика?

— Ариѳметика, или числительница, — отвѣчалъ обыкновенно нараспѣвъ и тоненькимъ голоскомъ Петръ Кузьмичъ, —

есть художество честное, независтное, удобопонятное, многополезнѣйшее, многохвальнѣйшее...

— Хорошо! Теперь скажи-ка мнѣ, колико-губа есть ариѳметика практика?

— Есть сугуба: ариѳметика-политика и ариѳметика-логистика.

— Изрядно, изрядно! Ну, а что есть адицію?

— Адицію, или сложеніе, есть дву или многихъ числъ во едино собраніе, или во единъ перечень совокупленіе.

— Такъ, Петруша, такъ! Изрядно!... А что есть мультипликацію?

— Мультипликацію, или умноженіе, есть имъ - же что въ числахъ умножаемъ, или коликимъ вещамъ, по множеству другихъ вещей, раздаемъ и количество ихъ числомъ показуемъ.

— Хорошо! Изрядно, весьма изрядно!.. Ай да, Петруша! Спасибо, братъ, спасибо!

Тутъ добрый дядя закрывалъ книгу, и со всѣхъ сторонъ начинались восклицанія:

— Ну, ребенокъ!... Какіе годы и какое разумѣніе!... Умудряетъ же Господь Богъ младенцевъ!..

— Да это что еще!—говаривалъ дядя, потирая съ радостію руки. — То ли еще мы съ Петромъ знаемъ! Вотъ, наприкладъ: если вы поѣдете отсюда до Москвы, такъ хотите ли, онъ скажетъ, сколько разъ во всю дорогу у вашей повозки колесо обернется?

Всѣ гости ахали отъ удивленія, многіе не вѣрили, иные даже обижались такою явною насмѣшкою хозяина; но никто не смѣлъ прекословить почтенному старику. Одна только двоюродная его сестрица, супруга воеводскаго товарища, не скрывала иногда своего неудовольствія.

— Хи, хи, хи! Что вы это, батюшка-братецъ! — говаривала она, покачивая головою, — побойтесь Бога! Ну кто вамъ повѣритъ? Кто можетъ счесть, сколько разъ колесо и на десяти верстахъ повернется?.. А то, шутка ли—семьсотъ!

— Эка важность! Да будь хоть семь тысячъ, — сочтемъ, матушка, говорю вамъ, сочтемъ!

— Полноте, Иванъ Ѳеодоровичъ! Вѣдь это ужъ и грѣхъ. Да этакъ, пожалуй, про васъ скажутъ, прости, Господи...

— Да, матушка-сестрица, мы съ нимъ колдуны! Или не угодно ли вамъ знать, сколько отъ васъ до Москвы вершковъ будетъ?

— Перестаньте, братецъ, перестаньте! Что вы это, въ самомъ дѣлѣ? Да откуда до Москвы вершкамъ то и счету нѣтъ!

— Авось какъ-нибудь сочтемся! Петруша, ну-ка, братъ, смекни!

Петръ Кузьмичъ бралъ листъ бумаги, въ нѣсколько минутъ приводилъ семьсотъ верстъ въ сажени, сажени въ аршины, аршины въ вершки и, къ удивленію всѣхъ гостей, объявлялъ утвердительно, что до Москвы шестнадцать миллионовъ восемьсотъ тысячъ вершковъ.

— Ахъ, батюшки-свѣты!—сказала однажды эта двоюродная сестрица, когда Петръ Кузьмичъ вычислилъ при ней, сколько капель воды въ сороковой бочкѣ.—Да это ужъ и въ самомъ дѣлѣ премудрость! Да онъ этакъ, братецъ, сочтегъ, сколько песку на днѣ морскомъ!

— Ну, это дѣло другое, матушка-сестрица, — отвѣчалъ простодушно дядюшка.—Этому онъ еще не обучался. Да и какіе здѣсь учителя? Вотъ хоть, напримѣръ, Андрей разстрига,—ну, конечно, проходилъ въ семинаріи всѣ науки; да такой пьяница, что избави, Господи! Схватить за десять уроковъ полтинку, да и въ кабакъ; давнымъ-давно весь умъ пропилъ! Или дьячекъ Ома: училъ Петрушу грамотѣ, а теперъ самъ у него поучится. Нѣтъ, дастъ Богъ, подрастетъ, такъ мы отправимъ его доучиваться въ Москву. Не знаю нынче, а въ старину на Сухаревой башнѣ всему обучали. А не то и до резиденціи доѣдемъ. Тамъ, говорятъ, всякія школы есть и заморскихъ учителей довольно; а все завелъ батюшка Петръ Алексѣвичъ, дай Богъ ему царство небесное! То-то былъ Царь-Государь! Поколачивалъ онъ, бывало, нашу братью-секретарей, и старшимъ подчасъ доставалось,—за то все шло какъ по маслу... Эхъ, да что объ этомъ говорить,—не наше дѣло! Вотъ этакъ годика черезъ три я пооблегчусь, да, можетъ статься, и самъ съ тобою въ Питеръ скатаю!

И точно, онъ поѣхалъ съ нимъ въ Петербургъ, только не черезъ три года, а черезъ пять лѣтъ: по разнымъ обстоятельствамъ дядюшка не могъ собраться прежде въ эту дальнюю дорогу. Межъ тѣмъ Петръ Кузьмичъ подросъ, выровнялся и сталъ такимъ молодцомъ, что любо-дорого было посмотреть! Ростомъ и дородствомъ онъ пошелъ по батюшкѣ, только ладъ то въ немъ былъ не тотъ. Петръ Кузьмичъ былъ малый проворный, ловкій, и, по словамъ стариковъ,

какъ двѣ капли воды походилъ на своего дѣдушку. Когда дядя привезъ его въ Петербургъ, то, по общему совѣту всѣхъ знакомыхъ и благопріятелей, отдалъ его не въ школу, а записалъ въ конногвардейскій полкъ, который только что былъ сформированъ. Петръ Кузьмичъ служилъ такъ удачно, что чрезъ три года попалъ въ каптенармусы, а черезъ шесть махнулъ за отличіе прямо въ старшіе вахмистры. Черезъ годъ послѣ этого умеръ его дядя; имѣньемъ управлять было некому, и Петръ Кузьмичъ долженъ былъ поневолѣ выйти въ отставку, чтобъ заняться своимъ хозяйствомъ. Онъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ армейскаго капитана, и вмѣсто четырехсотъ разоренныхъ крестьянъ, у него оказалось, по милости покойнаго, слишкомъ семьсотъ душъ, устроенныхъ, приведенныхъ въ порядокъ и дающихъ отличный доходъ. Петръ Кузьмичъ могъ бы жить припѣваючи; но, на бѣду, онъ влюбился въ одну дѣвицу княжескаго рода, у которой наслѣдственнаго имѣнья не было, благопріобрѣтеннаго также; но за то много было спеси и глупаго чванства. Она вышла за него замужъ потому, что ей нечего было кушать, но ей такъ тяжело было перейти изъ сіятельныхъ въ благородныя, эта жертва казалось ей столь необъятною, что она полагала себя въ правѣ тиранить своего мужа день и ночь, помыкать имъ какъ слугою и, при всякомъ удобномъ случаѣ, напоминать ему, что она урожденная княжна Бирдюкова. Напрасно возражалъ ей иногда Петръ Кузьмичъ, что онъ также происходитъ отъ князей Барашевыхъ: это не помогало; одно безусловное повиновеніе мужа заставляло ее забывать на нѣсколько минутъ, что она должна вымещать на немъ потерю своего княжескаго достоинства. По волѣ жены своей, Петръ Кузьмичъ переѣхалъ жить въ Москву. Сначала купилъ онъ домъ на Арбатѣ, чистый, спокойный, съ прекраснымъ садомъ, и долго выносили нападки отъ своей жены, которая хотѣла имѣть домъ на Тверской; но подъ конецъ эти напествія сдѣлались такъ часты, что ему пришлось хоть въ петлю лѣзть. Жена кричала съ утра до вечера, что Арбатъ улица мерзкая, что въ ней самый нездоровый воздухъ, что домъ расположенъ скверно, что онъ холоденъ и сыръ, какъ могила, и что она непременно умретъ, если останется жить въ этомъ гробѣ. Дѣлать было нечего: домъ уступили за безцѣнокъ, продали полтораста душъ и купили огромныя двухъ-этажныя развалины на Тверской. Надобно было ихъ отдѣлать, а это стоило

также не дешево. Въдь каменный домъ не то, что деревянный! Конечно, очень пріятно сказать при случаѣ: «мой домъ на Тверской!» Но это еще не все: у кого большой каменный домъ на Тверской, тотъ и живетъ ужь не такъ, какъ живутъ въ деревянныхъ домикахъ подь Дѣвичьимъ или за Москвой-рѣкой. Въ этомъ же домѣ была огромная зала въ два свѣта, а я спрашиваю всякаго: можно ли тому, у кого въ домѣ большая зала въ два свѣта, не дѣлать праздниковъ? Нельзя! Въдь это почти все то-же, что построить театръ и не давать въ немъ представленій.

Въ то же время жить было гораздо дешевле нынѣшняго, да за то и доходы были не такіе, какъ теперь; разумѣется, Петру Кузьмичу ихъ не доставало, чтобъ поддерживать свое полубоярское житье. Дѣтъ черезъ пять накопилось много долговъ. Жена посовѣтовала ему удвоить крестьянскій оброкъ и усилить запашку. И подлинно, въ первый годъ, послѣ этого экономическаго распоряженія, годовой доходъ былъ самый блестящій: старыхъ долговъ не заплатили, но за то не нажили и новыхъ; во второй годъ оказались недоборы. Строгий приказъ управителю: «Взыскать все до копѣйки». Взыскано; но за то на третій годъ всѣ оброчныя статьи превратились въ одну огромную недоимку, и господскія поля остались незасѣянными. «Чтожъ это такое? Сейчасъ смѣнить управителя, послать другого!» Послали, и вотъ новый управитель доноситъ, что тѣхъ крестьянъ, которые были на барщинѣ, ему не зачѣмъ и въ поле выгонять: они, дескать, поморили всѣхъ лошадей на господской запашкѣ, потому что ее удвоили, а число тяглы оставалось все то-же, съ оброчныхъ же мужичковъ брать вовсе нечего, по той причинѣ, что они сами питаются мірскимъ подаянiемъ. Эта причина показалась весьма глупою госпожѣ Мирошевой; она закричала, что второй управитель хуже перваго, что всѣ русскіе приказчики или дураки, или мошенники, и что непременно должно нанять нѣмца. Петръ Кузьмичъ предложилъ было женѣ ѣхать самимъ въ деревню, — куда!... Урожденная княжна Бирдюкова подняла такой штурмъ, что онъ не зналъ, куда отъ нея и дѣваться.

— Да помилуй, матушка, — сказалъ онъ наконецъ своей разгнѣванной супругѣ, когда она поуспокоилась и сѣла за свой туалетный столикъ, — скоро ли найдешь нѣмца? А въдь намъ ѣсть нечего.

— Я, Петръ Кузьмичъ, въ эти подробности не вхожу:

мое дѣло женское,—отвѣчала Екатерина Семеновна, приклеивая къ правому виску черную бархатную мушку;—объ этомъ должны заботиться мужья, а не жены.

— Но чтожь прикажете мнѣ дѣлать?

— Какъ, что? Да почему же вамъ не продать это скверное имѣнье, которое не даетъ намъ никакого дохода? Продайте его и купите подмосковную. У княгини Хабаровой есть подмосковная; у князя Кожухова есть подмосковная; у графини Бирюлькиной есть подмосковная; у всѣхъ порядочныхъ людей есть подмосковныя; — почему-жь у насъ нѣтъ? За семьсотъ верстъ приказчикамъ не трудно грабить и обманывать своихъ господъ, а это будетъ у насъ подъ глазами.

— Такъ, матушка, такъ! Да вѣдь имѣнье то въ два дня не продашь: на это надо время; ну, разсуди сама...

— Это ужь, Петръ Кузьмичъ, не моя забота; я не для того вышла замужъ, чтобы заниматься вашими дѣлами. Продавайте или не продавайте, для меня все равно; только не забудьте, что я сегодня буду играть у княгини Хабаровой въ реверси, и что мнѣ нужны денги.

И вотъ еще двѣсти душъ проданы за полцѣны. Правда, деньги пошли не всѣ на вѣтеръ: на имя Екатерины Семеновны Мирошевой куплено сорокъ душъ въ десяти верстахъ отъ Москвы. Изъ этихъ сорока душъ, выключая малолѣтнихъ, всѣ остальные души были горькіе пьяницы; земли всего двѣсти десятинъ, угольевъ никакихъ; но за то господскій домъ съ бельведеромъ, рѣчка, пруды и саль на двадцати десятинахъ.

Я позабылъ вамъ сказать, любезные читатели, что у Екатерины Семеновны Мирошевой была родная сестра, княжна Елена Семеновна, дѣвица лѣтъ пятидесяти. Она жила гдѣ то въ Саратовскомъ намѣстничествѣ, въ небольшой деревушкѣ, которую отказала ей, по духовной, крестная мать, также изъ рода князей Бирдюковыхъ. Екатерина Семеновна Мирошева была за что-то въ ссорѣ со своею сестрою, не пригласила ее даже къ себѣ на свадьбу и никогда о ней не говорила, какъ будто бы ее вовсе и на свѣтѣ не было. Когда родился у Мирошевыхъ сынъ, а это еще было до ихъ переселенія въ Москву, Петръ Кузьмичъ извѣстилъ потихоньку отъ жены княжну Елену Семеновну объ этомъ счастливомъ событіи, и получилъ отъ нея самый ласковый и родственный отвѣтъ.



Екатерину Семеновну Мирошеву нельзя было назвать нѣжною матерью: она вовсе не хотѣла заниматься воспитаніемъ своего сына; да и то сказать: когда ей было думать объ этомъ? Вѣдь не легко поддерживать большое знакомство, ѣздить на вечера и принимать гостей, а сверхъ того у нея и такъ было на рукахъ двѣ моськи, котъ ангора и дюжины двѣ канареекъ,—было съ кѣмъ нянчиться! Можетъ быть, Екатерина Семеновна не была бы такъ холодна къ этому ребенку, еслибъ у него было другое имя; а то—представьте себѣ: мужъ осмѣлился, безъ ея вѣдома, назвать его, въ честь дѣдушки, Кузьмою!... Кузьмою! А я васъ спрашиваю, какъ можно приласкать ребенка Кузьму? Ну, какъ его назовешь? Кузьенка—не хорошо! Кузя—еще хуже! По крайней мѣрѣ, такъ всегда говорила Екатерина Семеновна.

— Да ужъ это, матушка,—сказаль однажды Петръ Кузьмичъ,—искони вѣковъ ведется въ родѣ Мирошевыхъ: у Кузьмы всегда сынъ Петръ, у Петра сынъ Кузьма...

— Прекрасное обыкновеніе!.. Кузьма! Да Кузьмою можетъ только называться лакей или кучеръ, это — имя холопское. Вотъ что вы, сударь, надѣлали: по вашей милости я не могу любить моего сына!.. Да, да, я видѣть его не могу!.. Лишь только онъ подрастетъ, извольте отвезти его въ Петербургъ и отдать въ кадетскій корпусъ!

Вслѣдствіе сей милостивой резолюціи, Петръ Кузьмичъ не далъ засидѣться въ Москвѣ своему сыну. Когда ему исполнилось тринадцать лѣтъ, батюшка сколотилъ рублей тысячу, то-есть занялъ подъ залогъ имѣнья, и отправился съ сыномъ въ Петербургъ; сына онъ помѣстилъ въ кадетскій корпусъ, деньги истратилъ на разные заморскіе гостинцы для своей супруги и поспѣшилъ возвратиться въ Москву.

Пока Кузьма Петровичъ учится въ кадетскомъ корпусѣ, я расскажу вамъ въ двухъ словахъ, чѣмъ кончилось житье-бытье Мирошевыхъ, которымъ не суждено уже было видѣться въ здѣшнемъ мѣрѣ съ единственнымъ ихъ сыномъ.

Пять лѣтъ еще прожили они кой-какъ на Тверской, а тамъ должны были продать домъ, потому что Екатерина Семеновна не хотѣла разстаться со своею подмосковною; другіе крестьянъ у нихъ давно уже не было. Къ концу шестого года у Петра Кузьмича, вслѣдствіе небольшой семейной размолвки, разлилась желчь, и онъ умеръ скоропостижно. Неутѣшная вдова объявила всѣмъ знакомымъ и

роднымъ, что намѣрена разстаться навсегда со свѣтомъ.

И дѣйствительно, она уѣхала въ свою подмосковную. Это было въ концѣ апрѣля; въ началѣ октября она возвратилась въ городъ посоветоваться съ докторами о своемъ здоровьи; въ ноябрѣ скинула черное платье и надѣла бѣлое; въ декабрѣ, для разсѣянія, начала играть попрежнему въ реверси, а въ январѣ простудилась на балѣ у княгини Хабаровой и умерла нервическою горячкою. Послѣ ея смерти подмосковную описали за долги, продали съ публичнаго торга и отослали сыну триста рублей, которые остались за удовлетвореніемъ всѣхъ займодавцевъ покойной ея матери.

Теперь вы знаете, любезные читатели, отчего у прадышки Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, и куда дѣвалась это богатое родовое имѣніе; но вы еще не знаете, и я долженъ вамъ рассказать, какимъ образомъ Кузьма Петровичъ, которому, кромѣ трехсотъ рублей, ничего не досталось въ наслѣдство, сдѣлался господиномъ пятидесяти душъ, то-есть помѣщикомъ сельца Хопровки.

### III.

Кто такой былъ прохоръ кондратычъ, и какъ онъ выторговалъ тридцать рублей у нѣмца-портного.

Триста рублей, доставшіеся Кузьмѣ Петровичу послѣ матери, пришли очень кстати: онъ назначенъ былъ къ выпуску. По своему отличному поведенію и успѣхамъ въ наукахъ, Кузьма Петровичъ стоялъ однимъ изъ первыхъ кадетовъ по своему корпусу. Грустно было бѣдному сиротѣ подумать, что ему некого было порадовать своимъ офицерскимъ чиномъ. Конечно, онъ не былъ избалованъ ласкою своихъ родителей: мать его не любила, отецъ не смѣлъ любить, и онъ успѣлъ ужь привыкнуть заранѣе къ своему сиротству; но иногда ему приходило въ голову, что когда онъ явится къ матери молодцомъ, въ красивомъ мундирѣ, когда ей можно будетъ взглянуть съ улыбкою гордости на своего сына, то, вѣроятно, сердце ея забьется сильнѣе обыкновеннаго, и она съ любовью протянетъ къ нему свои руки. Бѣдный ребенокъ, онъ не зналъ еще, что у дурной

матери вовсе нѣтъ сердца; онъ не зналъ, до какой степени гордая, упрямая и избалованная женщина можетъ ожесточить свою душу. О, конечно, дурная мать во сто разъ хуже всякой мачихи! Та хоть людей постыдится; а родной матери чего бояться? Кто осмѣлится подумать, что она можетъ безъ причины ненавидѣть свое дитя? Я и самъ бы не повѣрилъ этому, еслибъ не зналъ матерей, которыя одного ребенка боготворять, а другого ненавидятъ со дня его рожденія. Что за небесное созданіе, кроткая и добрая женщина! Но за то, если она зла,—избави, Господи! Мужчина, чѣмъ бы онъ ни былъ, а все-таки въ немъ остается что то человѣческое; одна только женщина можетъ быть и совершеннымъ ангеломъ и воплощеннымъ сатаномъ.

Впрочемъ, я ошибся, когда сказалъ, что Кузьмѣ Петровичу некого было порадовать своимъ офицерскимъ чиномъ: нѣтъ, онъ не вовсе былъ сиротою: у него былъ дядька, по имени Прохоръ Кондратьичъ. Этотъ образчикъ старинныхъ русскихъ домочадцевъ, которые вынянчивали на рукахъ своихъ дворянскихъ дѣтей, стоитъ того, чтобъ я познакомилъ васъ съ нимъ покороче.

Прохоръ Кондратьичъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, приземистый, широкоплечій и нѣсколько сутуловатый. Широкой лобъ его, покрытый морщинами, сливался съ огромною лысиною, которая оканчивалась почти на самомъ затылкѣ нѣсколькими клочками свѣтлорусыхъ волосъ съ просѣдью. Съ перваго взгляда широкое лицо его, нѣкогда румяное, а теперь багровое, не обѣщало ничего добраго: вы побились бы объ закладъ, что онъ горькій пьяница, и проиграли бы навѣрное, потому что Прохоръ Кондратьичъ и въ ротъ не бралъ хмѣльного. Блѣдносѣрые подслѣповатые глаза съ нависшими бровями, толстый, круглый носъ и ротъ до ушей, все это было вовсе не красиво; но подъ этою грубою оболочкою таилась самая добрая и честная душа; въ этихъ прищуренныхъ, безцвѣтныхъ глазахъ блистала по временамъ природный русскій умъ, который мы, по нашему враждебному смиренію, называемъ просто русскимъ толкомъ. Самая нѣжная мать не могла бы любить дитя свое болѣе того, какъ онъ любилъ своего молодого барина. Можетъ быть, онъ не вдругъ бы рѣшился погубить за него свою душу,—но умереть за Кузьму Петровича, идти за него въ огонь и въ воду, заслонить его своею грудью отъ пушечнаго ядра, объ этомъ Прохоръ

Кондратьичъ не призадумался бы ни на минуту. Сколько разъ бывало, когда Екатерина Семеновна разгнѣвается безъ всякой причины на своего сына, прогнать съ глазъ долой и прикажетъ запереть одного въ его темной комнатѣ на антресоляхъ, — Прохоръ Кондратьичъ, несмотря на строгое запрещеніе, прокрадется тихонько въ дѣтскую, подсядетъ къ *своему дитяти*, отдастъ ему какого-нибудь пряничнаго конька или пѣтушка, купленнаго на послѣднюю копѣйку, начнетъ его ласкать, приголубливать, примется строить ему карточный домикъ; ребенокъ забудетъ свое горе, поразвеселится, а добрый Кондратьичъ нѣтъ-нѣтъ, да отворотится и потихоньку, чтобъ дитя не видѣло, утираетъ полою скуртука свои слезы. Вотъ иногда узнаютъ объ этомъ, Прохора Кондратьича отколотятъ по щекамъ, а ему и горюшка мало! Думаетъ про себя: «Бей меня, матушка, сколько душъ твоей угодно, только не мѣшай мнѣ любить твое дѣтище»... Куда дѣвалось это поколѣніе вѣрныхъ слугъ боярскихъ? Оно исчезло вмѣстѣ съ патриархальными нравами нашихъ предковъ. Теперь такая безкорыстная любовь къ чужому ребенку можетъ показаться невѣроятною, а въ старину это бывало сплошь. Обыкновенно, барское дитя переходило отъ кормилицы на руки къ нянюшкѣ, отъ няни мальчикъ поступалъ подъ надзоръ дядьки, и всѣ эти кожатые: кормилица, нянюшка и дядька сохраняли до самой смерти неизмѣнную привязанность къ ребенку, который впоследствии становился ихъ бариномъ. Разумется, эта любовь была всегда самая слѣпая и безотчетная; обыкновенно, каждая нянюшка и каждый дядька не сомнѣвались, что ихъ дитя и умнѣе и лучше своихъ братьевъ и сестеръ. Это бы еще ничего; но они также были увѣрены, что оно не могло быть никогда и ни въ чемъ виноватымъ. Отъ этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало, два братца подерутся между собою, а тамъ—глядишь, и нянюшки таскаютъ другъ друга за волосы.

Теперь, если вы спросите меня, какимъ образомъ Прохоръ Кондратьичъ уцѣлѣлъ одинъ изъ всѣхъ крестьянъ и дворовыхъ людей Петра Кузьмича Мирошева, то я изъясню вамъ это въ двухъ словахъ. Прохоръ Кондратьичъ принадлежалъ Екатеринѣ Семеновнѣ и имѣлъ отъ нея домовую отпускную, въ силу которой онъ не могъ быть проданъ при жизни своей барыни, а по смерти ея дѣлался

навсегда свободнымъ, то-есть имѣлъ полное право умереть на старости съ голоду, или питаться Христовымъ именемъ. Какъ ни лестно это право, но добрый старикъ не захотѣлъ бы имъ воспользоваться, еслибъ даже былъ и молодымъ человѣкомъ: онъ твердо рѣшился жить и умереть при своемъ баринѣ.

Разумѣется, присланные изъ Москвы триста рублей отданы были подъ сохраненіе Прохору Кондратьичу. И баринъ и слуга, оба думали, что съ такою огромною казною имъ ни въ чемъ не будетъ недостатка; но когда дѣло дошло до обмундировки и Кондратьич смекнулъ на счетахъ, что будетъ стоить полный драгунскій мундиръ, то руки у него опустились отъ ужаса.

— Чтожъ это такое?—сказалъ онъ.—Батюшка, Кузьма Петровичъ, да вѣдь мундиръ то будетъ стоить рублей сорокъ! Ахъ ты, Господи!.. Да еще, глядишь, портной заломитъ рубля четыре за работу.

— Что ты, Прохоръ, какіе четыре рубля: и за восемь не сдѣлають.

— За восемь? Нѣтъ, сударь, жирно будетъ!

— Да вотъ мой товарищъ, Заскинъ, — съ него взялъ портной нѣмецъ за всю пару десять рублей.

— Да то нѣмецъ, сударь, а мы поищемъ русскаго.

— И, Прохоръ!.. Да чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь у насъ триста рублей!

— Кто и говорить, сударь, триста рублей велико дѣло; да вѣдь и годовъ то впереди много: на то копѣйка, на другое грошъ, и не увидите, батюшка, какъ денежки выйдутъ.

— Послушай, Прохоръ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, не смѣя взглянуть на своего дядьку, — ты разсердишься?

— А что, сударь?

— Вѣдь я ужъ мундиръ то заказалъ.

— Заказали?.. Какъ заказали?.. Ужъ не нѣмцу ли?

— Нѣмцу.

Прохоръ Кондратьичъ поблѣднѣлъ.

— Вотъ тебѣ разъ! — прошепталъ онъ сквозь зубы. — А сколько онъ съ васъ выпросилъ?

— За полный мундиръ со всею амунициею: и шляпа, и шага, и пуговицы—все его...

— Ну, сударь, ну!.. Сколько онъ съ васъ взялъ? — проговорилъ трепещущимъ голосомъ старикъ.

— Сто рублей.

— Сто рублей! — вскричалъ Прохоръ, всплеснувъ руками. — Ахъ, онъ, басурманская рожа!.. Сто рублей!.. Ахъ, онъ разбойникъ!

— Да за то какъ все будетъ сдѣлано!..

— Что сдѣлано, батюшка!.. Помилуйте—сто рублей!.. Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, воля ваша, плюньте вы на этого нѣмца...

— Да я ужь, Прохоръ, и задатокъ ему далъ.

— Задатокъ?.. А гдѣ вы деньги то взяли?

— Мнѣ Засѣкинъ далъ взаймы двадцать рублей.

— Ну!.. Плакали наши денежки! Ахъ, батюшка-баринъ, что это вы такъ опростоволосились? Легко вымолвить — сто рублей!.. Да этакъ онъ, разбойникъ, въ два года каменные палаты выстроить!.. Да вы бы съ нимъ хоть поторговались, сударь!

— Что ты, Прохоръ, — вѣдь нѣмцы не торгуются.

— Не торгуются?.. Полноте, батюшка, Кузьма Петровичъ! Ну, вѣстимо, съ вами какой торгъ, — что запросилъ, то и даете. Нѣтъ, онъ меня бы попробовалъ!.. Намнись, зашелъ я въ гамазею купить для васъ банку помады; нѣмецъ просить гривну, а я ему грошь, — онъ и говорить не хочетъ. Я посулилъ еще копѣйку, да и вышелъ вонъ. Подождаль — не зоветъ назадъ; вотъ я опять къ нему: «Бери, мусье, пятакъ». А онъ кричитъ по своему: «Попшелъ вонъ!» Я еще денежку надбавилъ, а онъ меня по шеямъ изъ лавки. Я повременилъ, да въ третій разъ къ нему: «Хочешь, мусье, шесть копѣекъ?» Онъ было опять гнать меня изъ гамазеи, да нѣтъ—шутись! Я уперся въ при толку, да и кричу: «Бери семь!» Ну чтожъ, сударь? Вѣдь отдалъ за семь копѣекъ. То-то и есть, съ нашимъ братомъ не то, что съ вами. Вотъ, постойте, я къ этому нѣмцу-портному схожу, да хоть у него и задатокъ есть, а онъ уступить, видить Богъ, уступить!

На другой день Кондратьичъ явился къ своему барину съ радостнымъ лицомъ.

— Ну, батюшка, — сказалъ онъ, — не говорилъ ли я вамъ, что нѣмецъ уступить?

— Неужели ты въ самомъ дѣлѣ что-нибудь выторговаль?

— Да еще сколько, сударь! Я пришелъ къ нему; нѣмецъ такой дородный, сидитъ въ колпакѣ, а въ зубахъ

у него трубка. Я поклонился ему низенько, да и говорю: «Что, батюшка, баринъ мой, Кузьма Петровичъ Мироншевъ, заказаль твоей милости мундирь?» — «Заказаль», дескать. — «За сто рублей?» — «Да, за сто». — «Эхъ, хозяинъ, хозяинъ», — сказалъ я; — «ну, боишься ли ты Бога? Вѣдь баринъ то мой человекъ бѣдный: у него всего на всего сто рублей за душею».

— Зачѣмъ же ты, Прохоръ, солгалъ? Обманывать грѣшно.

— И, сударь, что тутъ за грѣхъ! Вѣдь это не что другое—это дѣло торговое! Вотъ нѣмецъ почесаль у себя затылокъ, да и говоритъ: «Мой нельзя уступай меньше!»— А я ему: «Какъ нельзя, хозяинъ? Вѣдь барину то моему послѣзавтра походъ, а онъ круглый сирота, ни отца, ни матери; ты его обидишь, и тебя Богъ обидитъ». Нѣмецъ замоталь головою. Ахъ ты, Господи! Грустно мнѣ стало; съ чѣмъ мы, въ самомъ дѣлѣ, въ походъ то пойдѣмъ?.. Заплакаль, батюшка!.. Тутъ вдругъ и заговорила съ нимъ, по своему, жена что-ль его, не знаю,—баба также ражая, румяная, а лицо предоброе. Гляжу — нѣмецъ сталъ хмуриться, покачивать головой, надулся; она ему и то и се, а онъ молчитъ, да жретъ свой табачище... Глядь-поглядъ, нѣмка то ужъ и плачетъ. Вотъ, видно, и ему стало жалко. «Ну, добрый человекъ», — сказалъ онъ, — «если твой баринъ сирота, такъ Богъ съ нимъ: возьму съ него мою цѣну. У меня задатку двадцать рублей, приноси пятьдесятъ». — Я было поторговался еще съ нимъ малую толику, да нѣтъ — не уступаетъ. Эко диво, полумаешь: нѣмецъ, а сжалился!

— Да развѣ, по-твоему, Прохоръ, нѣмецъ то не человекъ?

— Да какъ вамъ сказать, сударь? Кажись, образъ человеческій, а вѣдь Богъ знаетъ? Старики то наши не то говаривали... Ну да что объ этомъ! Завтра, батюшка, принесу къ вамъ мундиръ, да и укладываться. Вѣдь отправленіе то ваше готово?

— Генераль сегодня мнѣ отдалъ и сказалъ, чтобъ я торопился: нашъ полкъ выступилъ въ походъ.

— Подъ нѣмца, сударь?

— Да, мы идемъ въ Пруссію.

— Эхъ, батюшка-баринъ, и пощеголять то вамъ здѣсь не дали! Ну, дѣлать нечего; вотъ, Богъ дастъ, вернетесь, такъ нагуляетесь до-сыта.

— А если не вернусь?

— Так авось тогда Господь Богъ и меня приберетъ вмѣстѣ съ вами... Да что объ этомъ загадывать... Богъ милостивъ: вернетесь, батюшка, да еще, можетъ статья, капитаномъ, а тамъ и въ отставку, да домой.

— Домой?.. Куда домой?

— Эхъ, совсѣмъ было забылъ? Что дѣлать, батюшка, Кузьма Петровичъ, негдѣ вамъ, сердечному, и головы преклонить: ни кола, ни двора, ни роду, ни племени... Э, да что говорить! Служите вѣрой и правдой Богу, да Царю, такъ будете съ домикомъ.

Когда Кузьма Петровичъ надѣлъ свой красивый драгунскій мундиръ, Прохоръ Кондратьичъ совсѣмъ обезумѣлъ отъ восторга и радости.

— Экій молодець!—кричалъ онъ.—Экій молодець! Ну, подлинно всѣмъ взялъ! И родятся же этакіе... Ахъ, ты, баринъ, мой голубчикъ, соколь ты мой ясный! Да есть ли на бѣломъ свѣтѣ такіе красавцы? Нѣтъ, видитъ Богъ, нѣтъ,—не бывало и не раживалось! Да и мундирчикъ то, нечего сказать, такъ и поетъ! Ни морщинки, ни складочки!.. Ай да нѣмецъ,—спасибо!.. Пройдите ка, батюшка, пройдите!.. Ахъ, вы, мои родные!.. Писавый красавецъ!.. А поступъ то какая, поступъ!.. Орель!.. Батюшка, Кузьма Петровичъ, ступайте въ Лѣтній садъ!

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Людей посмотрѣть и себя показать. Мы завтра чѣмъ свѣтъ въ дорогу, такъ пускай на васъ хоть сегодня то полюбуются.

Кузьма Петровичъ и самъ хотѣлъ пощеголять своимъ мундиромъ. Спросите у любого прапорщика, что онъ дѣлалъ въ тотъ день, какъ надѣлъ въ первый разъ офицерскій мундиръ. — и онъ вѣрно вамъ скажетъ, что гулялъ; разумѣется, если только была возможность оставаться на открытомъ воздухѣ. Боже мой, какъ весело пройти мимо часового, который дѣлаетъ вамъ на караулъ! Какъ приятно видѣть, что каждый солдатъ снимаетъ передъ вами фуражку! Вамъ кажется, что всѣ даютъ вамъ дорогу и смотрятъ на васъ, какъ на человѣка необыкновеннаго. Если вы встрѣтитесь когда-нибудь съ молодымъ офицеромъ, у котораго мундиръ съ иголки, если этотъ офицеръ дѣлаетъ крюкъ для того только, чтобъ пройти мимо будки часового, уступаетъ дорогу однѣмъ женщи-



намъ, смотреть прямо въ глаза всѣмъ мужчинамъ и не можетъ скрыть презрительной улыбки, взглянувъ на вашу круглую шляпу, — то будьте увѣрены, что онъ прапорщикъ и только что произведенъ въ офицеры.

Вотъ число гуляющихъ въ Лѣтнемъ саду умножилось однимъ драгунскимъ офицеромъ. Онъ бодро шелъ по средней аллеѣ; но такъ-какъ онъ былъ росту небольшого и наружности, хотя пріятной, но самой обыкновенной, то никто не обращалъ на него вниманія, кромѣ одного лысаго, въ коричневомъ сюртукѣ, старика который шелъ позади его шагахъ въ десяти. Этотъ старикъ, слѣдилъ его глазами и поглядывалъ съ удивленіемъ на всѣхъ проходящихъ.

— Экій народъ, — прошепталъ онъ себѣ подъ носъ: — никто и не взглянетъ! Какъ будто-бъ присмотрѣлись къ такимъ молодцамъ.

Вотъ наконецъ одна барыня оглянулась на драгуна, — старикъ улыбнулся; вотъ какая то мѣщанка въ запачканномъ шушунѣ остановилась и устремила свои взоры на проходящаго офицера.

— Что, тетка, — спросилъ ее старикъ, — любишься? Каковъ молодецъ то!

— Хорошъ, мой родимый, хорошъ!

— То-то-же! Это мой баринъ, его благородіе, Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Такъ, батюшка, такъ!

— Экій красавецъ, подумашь! Что, тетка, не видала ли ты этакихъ?

— Да, батюшка, баринъ личмянный; росту только Богъ не далъ.

— Что ты, старуха? Протри глаза то хорошенько! Какого еще тебѣ молодца надобно?

— Такіе ли, родимый, молодцы бываютъ.

— Такіе ли! Чтожь ты на него бѣлмы то палила?

— Да какъ же, батюшка! Вѣдь онъ лицомъ и ростомъ точъ въ точъ мой Ванюша.

— Ванюша? Какой Ванюша?

— Сынокъ мой, батюшка. Теперь онъ извозничаетъ, а прошлаго года совсѣмъ было поставили въ некруты, да въ мѣру не вышелъ.

Прохоръ Кондратьичъ плюнулъ и пошелъ прочь.

На другой день Кузьма Петровичъ, получивъ подорожную, отправился въ свой полкъ и догналъ его на самой границѣ.

IV,

въ которой доказывается справедливость пословицы: «хорошо тому жить, кому бабушка ворожитъ».

Вскорѣ по прибытіи Кузьмы Петровича въ полкъ, онъ выступилъ за границу и соединился съ арміею, которою командовалъ уже, вмѣсто генерала Фермора, знаменитый Салтыковъ. Кузьму Петровича полюбили всѣ товарищи за его кроткій нравъ, примѣрное добродушіе и веселый обычай, который однакожь не мѣшалъ ему быть самымъ разсудительнымъ и степеннымъ прапорщикомъ во всей арміи. Старые служивые, начиная съ маіора, который командовалъ заурядъ полкомъ, говорили о немъ, какъ о самомъ отличномъ и исправномъ фрунтовымъ офицерѣ, а вся молодежь называла его «дядюшкою». Прохоръ Кондратьичъ попалъ также въ большую честь. Онъ заслужилъ такую довѣренность своимъ честнымъ поведеніемъ, что всѣ офицеры, которые были въ одной ротѣ съ Кузьмою Петровичемъ, сдѣлали его своимъ казначеемъ, то-есть отдали ему на сохраненіе свои артельные деньги. Онъ никогда не сердился, когда смѣялись надъ его лысиною и краснымъ носомъ; рассказывалъ молодымъ господамъ разныя побасенки и очень часто служилъ для нихъ переводчикомъ. Прохоръ Кондратьичъ вполне обладалъ этою сметкою и досужествомъ, которые могутъ назваться отличительными чертами русскаго народа. Разумѣется, онъ не зналъ нѣмецкаго языка, а не смотря на это мастерски объяснялся съ нѣмцами; онъ составилъ для этого какой то особенный языкъ, въ которомъ слова: «биръ, бротъ, вайнъ, ницъ, гутъ» служили основаніемъ, а «швернотъ» необходимымъ дополненіемъ каждой фразы; всѣ прочія слова были ни что иное, какъ производныя рѣченія этихъ пяти коренныхъ словъ; онъ примѣшивалъ къ нимъ множество исковерканныхъ на «нѣмецкій манеръ» русскихъ рѣчей и добавлялъ все это чрезвычайно выразительною пантомимою.

Въ доказательство его досужества въ этомъ отношеніи, я приведу одинъ примѣръ изъ тысячи. Однажды хозяинъ-нѣмецъ не могъ никакъ понять, чего требуетъ русскій офицеръ, который стоялъ у него на квартирѣ. Офицеръ просилъ молока, а ему подали варенаго картофеля, потомъ

пива. Офицеръ былъ человѣкъ вспылчивый и вадорный: онъ разсердился, началъ шумѣть и готовъ ужь былъ драться. Послали за переводчикъ; Прохоръ Кондратьичъ пришелъ и началъ изъясняться слѣдующимъ образомъ съ хозяиномъ:

— Послушай-ка, братъ, шверноть, вотъ что: мой не надо биръ,—понимаешь?.. Нихць биръ!

— Ваинъ?—проговорилъ нѣмецъ.

— И не ваинъ; намъ не надобно ни биру, ни ваину, ты давай намъ молока. Твой понимай—молока?

— Ихъ ферштее нихтъ!—сказалъ нѣмецъ, покачивая головою.

— Экій шверноть безтолковый! Ну, вотъ, смотри!

Тутъ Прохоръ сталъ на четвереньки и заревѣлъ коровою. Нѣмецъ побѣжалъ и принесъ жареной говядины.

— Нихць, нихць! — закричалъ Кондратьичъ.—Эхъ, не знаю, какъ по ихнему то молоко зовуть!.. А вотъ постоитъ,—разомъ пойметъ! Эй, хозяинъ, намъ надо вотъ что,—смотри!

Прохоръ сталъ на колѣни и сдѣлалъ видъ, какъ будто бы доить корову.

— Милихъ?—вскрикнулъ хозяинъ.

— Гуть, гуть!—подхватилъ Прохоръ.—Милихъ, сирѣчь молоко! Теперь твой понимай? Давно бы этакъ! Давай намъ, камрадь, милиху!

Нѣмецъ побѣжалъ на погребъ, а Кондратьичъ всталъ и, вытирая свою лысину, проговорилъ запыхавшись:

— Фу, батюшки, усталъ до смерти! Экій олухъ, подумаешь! Другіе на лету хватаютъ, а этотъ шверноть... Ну, попотѣлъ я съ нимъ!

Я уже сказалъ вамъ, любезные читатели, что начальники почитали Кузьму Петровича за самого примѣрнаго и отличнаго фрунтового офицера, а товарищи любили какъ истинно честнаго малаго и добраго сослуживца; но никто еще не зналъ, каковъ онъ будетъ въ дѣлѣ; нѣкоторые изъ молодыхъ офицеровъ сомнѣвались даже въ его храбрости, потому что онъ не горячился и не кричалъ: «Да скоро ли мы будемъ драться? Да когда же мы станемъ лицомъ къ лицу съ непріателемъ?» А такихъ крикуновъ было много, разумѣется, между молодежи. Одни дѣйствительно ожидали этого съ нетерпѣніемъ, а другіе горячились ради молодечества и хвастовства; изъ числа послѣднихъ больше всѣхъ гарцовалъ поручикъ Фурсиковъ, шалунъ, повѣса и страш-

ный забіяка; рѣдко проходилъ день, чтобъ онъ не заводилъ съ кѣмъ-нибудь ссоры и не придирался бы къ кому-нибудь изъ товарищей, изъ которыхъ одинъ только поручикъ Костодомовъ, лихой офицеръ, гуляка, весельчакъ, но истинно добрый малый, — никогда ему не поддавался; многіе уступали Фурсикову потому, что онъ былъ человѣкъ богатый и сорилъ деньгами, а другіе, люди смиренные, не хотѣли съ нимъ связываться, какъ съ отъявленнымъ головорѣзомъ; самъ маіоръ смотрѣлъ сквозь пальцы на буйное поведеніе этого Фурсикова, потому что онъ былъ роднымъ племянникомъ полковому командиру, который прибылъ къ полку наканунѣ сраженія подъ Кросеномъ.

За нѣсколько часовъ до дѣла, сошлись поболтать межъ собою человѣкъ пять офицеровъ, въ числѣ ихъ былъ и поручикъ Фурсиковъ.

— Ну что, господа? — сказалъ онъ, хлебнувъ водки изъ своей походной фляги, съ которой онъ никогда не разставался. — Сегодня, кажется, на нашей улицѣ праздникъ. Ужъ то-то мы потѣшимся надъ этими нѣмцами!

— Давай ихъ сюда! — закричали офицеры. — Мы ихъ порядкомъ обработаемъ!

— Дай Богъ, — сказалъ Мирошевъ; — а, говорятъ, эти прусаки славно дерутся.

— Да, — подхватилъ Фурсиковъ, — такъ говорятъ всѣ трусы.

— Нѣтъ, я слышалъ это отъ нашего маіора, а кажется онъ не трусъ.

— Не трусъ, а всего боится. Вотъ и ты, Мирошевъ, чай, поставилъ бы рублевую свѣчу, чтобъ тебя завтра Богъ помиловалъ.

— За это можно и двухрублевую поставить.

— То-то-же! Да не хочешь ли, я попрошу дядюшку, чтобъ онъ тебя въ обозъ отправилъ?

— Прикажутъ, такъ поѣду, а проситься не стану.

— Какъ, Мирошевъ, такъ ты въ самомъ дѣлѣ согласился бы остаться при обозѣ?

— А чтожъ такое? Вѣдь надобно же кому-нибудь и при обозѣ быть.

— Ну, Кузьма Петровичъ, — вскричалъ Фурсиковъ, ударивъ его по плечу, — долготенъ ты будешь на земли!

— А вотъ узнаемъ сегодня, кто кого переживетъ, — сказалъ Мирошевъ весьма спокойно.

— Хотите ли, господа,—прервалъ Фурсиковъ:—я бьюсь объ закладъ, что дядюшку Мирошева сегодня пуля не зацѣпитъ.

— Почему ты это думаешь?—спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Да такъ! Онъ человекъ осторожный, а береженаго и Богъ бережетъ.

— Полно, братецъ,—сказалъ Кузьма Петровичъ:—отъ пули не спрячешься.

Ударили сборъ; войска стали строиться, и офицеры разошлись по своимъ мѣстамъ.

Сраженіе было упорное. Къ вечеру побѣда склонилась на нашу сторону, и непріятель, сбитый съ поля, началъ поспѣшно отступать по Франкфуртской дорогѣ. Чтобъ приостановить натискъ нашего передового войска, которое сильно напирало на непріятельскій арьергардъ, прусаки разбросали по высотамъ нѣсколько орудій и, подъ ихъ прикрытіемъ, пустили въ атаку на нашу передовую цѣпь полкъ черныхъ гусаръ; они промчались до второй линіи, смяли баталіонъ пѣхоты и изрубили сотни двѣ казаковъ. Драгунскій полкъ, въ которомъ служилъ Мирошевъ, не былъ еще въ дѣлѣ; тутъ онъ получилъ приказаніе ударить во флангъ чернымъ гусарамъ. Драгуны перекрестились, пошли съ мѣста на рысяхъ и, не доѣхавъ шаговъ сто отъ непріятели, кинулись въ атаку. Въ это самую минуту показалось Мирошеву, что поручикъ Фурсикъ, который ѣхалъ съ нимъ почти рядомъ, осадилъ свою лошадь. Кузьма Петровичъ не обратилъ на это никакого вниманія: ему было не до того; въ первый разъ еще въ жизни онъ сталъ лицомъ къ лицу съ непріателемъ; въ душѣ его вспыхнулъ богатырскій духъ истаго русскаго и закипѣла въ жилахъ кровь молодецкая. Этотъ кроткій юноша, который умѣлъ сносить обиды своихъ товарищей, а самъ не обижалъ никого, превратился въ настоящего льва. «Ай да молодецъ!»—кричали вокругъ его усачи-драгуны; «маль, да удалъ!» И подлинно, Кузьма Петровичъ дѣлалъ чудеса храбрости. Когда сабля его коснулась сабли вражеской, онъ не завидѣлъ свѣта Божьяго, первый врѣзался въ толпу непріятелей, и очнулся только тогда, когда драгуны, сломивъ черныхъ гусаръ, помчались по ихъ трупамъ и вскакали на ближайшую непріятельскую батарею, съ которой успѣли однакожъ сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ картечью. Если вы, любезный читатель, бывали когда-нибудь

въ дѣлѣ, такъ знаете, что такое направленные въ толпу картечные выстрѣлы. Все легло вокругъ Мирошева, болѣе десяти офицеровъ выбыло изъ полка, а онъ какимъ то чудомъ остался живъ и невредимъ. Полковой командиръ, который былъ слегка только раненъ, отправилъ Кузьму Петровича съ донесеніемъ къ авангардному начальнику. Возвращаясь къ полку, Мирошевъ взялъ нѣсколько направо отъ того мѣста, гдѣ происходила кавалерійская схватка. Проѣзжая небольшимъ лѣсомъ, шагахъ въ двухстахъ отъ мѣста сраженія, онъ повстрѣчался съ Фурсиковымъ, который, увидавъ его, принялся шпорить и ругать немилосердно свою лошадь.

— Ба, ба, ба! Степанъ Ивановичъ! — вскричалъ Мирошевъ. — Ты какъ сюда попалъ?

— А вотъ по милости этого чорта! — отвѣчалъ Фурсиковъ, продолжая тиранить свою лошадь. — Проклятый одеръ!.. Вотъ я тебя, бестія!

— Да въ чемъ она провинилась?

— Какъ въ чемъ?.. Ахъ, ты скверная, мерзкая кляча!.. Да ужь я же тебя вышколою!

— Эхъ, перестань, братецъ! Мнѣ, право, жаль на нее смотрѣть.

— Издохни она, проклятая! Представь себѣ, Мирошевъ: въ ту самую минуту, какъ мы пошли въ атаку, эта упрямая скотина закусилла удила и понесла меня...

— Впередъ?

— Вотъ то-то и бѣда, что нѣтъ, братецъ.

— Что ты говоришь? Да какъ же это она могла занести тебя не впередъ, а взадъ?

— Я и самъ не знаю, видно на всемъ скаку повернула.

— Видно что такъ.

— Ужь я ее и туда и сюда — нѣтъ, сударь, хоть зарѣжь!.. Шельма этакая!

— Полно, Фурсиковъ! Посмотри, у ней всѣ бока въ крови, да чтожь ты теперь здѣсь дѣлаешь? Нашъ полкъ впереди, на непріятельской батарее.

— Такъ вы взяли батарею?

— Шесть пушекъ.

— А меня тамъ не было!.. Ахъ, ты, скверная!.. Ахъ, ты разбойница!..

Тутъ Фурсиковъ далъ такія шпоры своей несчастной лошади, что она въ самомъ дѣлѣ закусилла удила и понесла

его между деревьями; Мирошевъ выскакалъ вмѣстѣ съ нимъ изъ лѣсу. Въ эту самую минуту тяжело раненый прусскій гренадеръ, вѣроятно желая передъ смертью убить одного русскаго, приподнялся изъ-за куста и выстрѣлилъ въ Фурсикова; онъ вскрикнулъ.

— Что ты, братецъ?—спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Я раненъ,—отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Фурсиковъ,—и, кажется, очень тяжело!

— Постой-ка... И, нѣтъ, тебѣ только оцарапало плечо.

— Не можетъ быть: я чувствую, вся рука у меня горитъ.

— Ну да, обожгло немножко. Вотъ видишь, Степанъ Ивановичъ,—прибавилъ Мирошевъ,—не говорилъ ли я тебѣ, что отъ пули не спрячешься?

Увѣряю васъ, что добрый Кузьма Петровичъ сказалъ это спроста, безъ всякаго злого намѣренія; но Фурсиковъ судилъ о другихъ по себѣ самомъ: онъ вспыхнулъ, не отвѣчалъ ни слова, и съ этой минуты сдѣлался заклятымъ врагомъ Мирошева.

Недѣли черезъ двѣ, Кузьма Петровичъ прочелъ въ приказѣ, что его полковой командиръ изъ полковниковъ производится въ бригадиры, оставаясь по прежнему командиромъ полка, который подъ его начальствомъ отличился въ кросенскомъ дѣлѣ; что всѣмъ офицерамъ, а въ томъ числѣ и Кузьмѣ Петровичу Мирошеву, объявляется благодарность главнокомандующаго, и что изъ числа раненыхъ на полѣ сраженія поручикъ Фурсиковъ, за оказанную неустрашимость во время кавалерійской атаки, производится въ слѣдующій чинъ. Чтожъ, вы думаете, Мирошевъ разсердился? Нѣтъ, онъ покачалъ головою, улыбнулся и пожалѣлъ только о томъ, что вмѣсто его капитана, убитаго на непріятельской батарее, назначенъ эскадроннымъ командиромъ Фурсиковъ. Кузьмѣ Петровичу грустно было подумать, что онъ не можетъ уважать своего начальника. Вскорѣ за этимъ наши войска соединились съ австрійскими, и одержана была знаменитая побѣда, близъ Кунерсдорфа, надъ прусскими войсками, которыя дрались подъ личнымъ начальствомъ своего короля, Фридриха Великаго. Сраженіе было кровопролитное: тридцать двѣ тысячи воиновъ легло съ обѣихъ сторонъ; русскіе взяли въ плѣнъ семь тысячъ человекъ, отбили двадцать семь знаменъ, сто шестьдесятъ орудій и захватили почти весь обозъ. За это сраженіе опять произвели Фурси-

кова; но и Мирошеву, который въ самомъ пылу сраженія взявъ непріятельское знамя, дали слѣдующій чинъ. Этимъ дѣломъ кончилась кампанія 1759 года. Въ слѣдующемъ году русскій генералъ Тотлебенъ, вмѣстѣ съ австрійцами, овладѣлъ Берлиномъ. Положеніе прусскаго короля становилось часу-отъ-часу хуже. Австрія и Франція уступали Россіи на вѣчныя времена всю восточную Пруссію, съ однимъ только условіемъ, чтобъ Россія не прекращала войны съ Фридрихомъ. Столица курфирстовъ бранденбургскихъ, древній Кенигсбергъ былъ причисленъ къ городамъ Русской Имперіи, и въ немъ даже начали бить монету и печатать газеты съ изображеніемъ русскаго двухглаваго орла \*). Вдругъ все перемѣнилось: Императрица Елисавета Петровна скончалась; преемникъ ея, Петръ III, страстный почитатель Фридриха Великаго, объявилъ себя его союзникомъ и положилъ конецъ этой кровопролитной войнѣ, извѣстной въ исторіи подъ названіемъ «Семилѣтней». Къ концу кампаніи Фурсиковъ былъ уже маіоромъ, а Мирошевъ оставался все поручикомъ; но такъ какъ въ полку не было на-лицо и половины офицеровъ, то онъ командовалъ эскадрономъ. Когда наши войска, очистивъ занятые ими прусскія провинціи, возвратились въ свое отечество, драгунскій полкъ, въ которомъ служилъ Мирошевъ, отправленъ былъ во внутренность Россіи; ему предписано было занять квартиры по рѣкѣ Хопру, въ уѣздѣ города Борисоглѣбска. По случаю безсрочнаго отпуска полковаго командира, командовалъ полкомъ маіоръ Фурсиковъ. Вы можете себѣ представить, каково было служить бѣдному Мирошеву. Онъ одинъ во всемъ полку могъ сказать утвердительно, что Фурсиковъ, какъ подлый трусъ, бѣжалъ съ поля сраженія; всѣ прочіе офицеры полагали, что онъ былъ раненъ во время атаки. Хотя Фурсиковъ зналъ, что Кузьма Петровичъ никому объ этомъ не говорилъ, но онъ могъ рано или поздно высказать всю правду и осрамить его передъ офицерами всего полка. Эта мысль приводила его въ бѣшенство. Другой на мѣстѣ Фурсикова постарался бы привязать къ себѣ Мирошева и

---

\*) Есть очень любопытный нѣмецкій романъ тогдашняго времени, подъ названіемъ: „Путешествіе Софіи“. Дѣйствіе происходитъ въ Кенигсбергѣ. Читая эту книгу, можно подумать, что она переведена съ русскаго: въ ней всѣ чиновники служатъ въ нашей службѣ, говорятъ о Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, какъ о законной своей Государынѣ, и считаютъ деньги не талерами, а рублями.



заставить его, хотя изъ благодарности, быть скромнымъ; но обиженная гордость и слѣпая злоба не разсуждаютъ: эти двѣ родныя сестрицы умѣютъ только мстить. Добрый Кузьма Петровичъ не могъ никакъ понять, за что нападаетъ на него маіоръ, который былъ нѣкогда его товарищемъ и съ которымъ онъ никогда не ссорился. Надобно было видѣть, какъ Фурсиковъ придирался ко всему, когда осматривалъ его эскадронъ; какъ онъ радовался, когда могъ отыскать какую-нибудь не хорошо вычищенную пуговицу или плохо застегнутый крючокъ; на ученьи Мирошевъ всегда командовалъ не впору, драгуны не знали своего дѣла; однимъ словомъ, Кузьмѣ Петровичу житья не было. Два мѣсяца выносилъ онъ съ христіанскимъ смиреніемъ это безпрерывное гоненіе. Наконецъ, терпѣніе его истоцилось: онъ рѣшился оставить службу и ѣхать въ Москву, гдѣ надѣялся, при помощи знакомыхъ покойнаго отца своего, найти какое-нибудь мѣстечко и продолжать службу по гражданской части. Онъ подалъ просьбу, и его отставили отъ службы тѣмъ же чиномъ, то-есть поручикомъ.

Получивъ указъ объ отставкѣ, Мирошевъ продалъ своего боевого коня, купилъ телѣгу, пару добрыхъ крестьянскихъ лошадей и распрощался со своими сослуживцами. Болѣе всѣхъ жалѣлъ о немъ поручикъ Костоломовъ, который, несмотря на свой разгульный нравъ, любилъ и уважалъ Мирошева какъ старшаго брата. Прохоръ Кондратьичъ, уложивъ въ небольшой чемоданъ все добро своего барина, набилъ парусинную кису собственнымъ своимъ имуществомъ, положилъ туда же коровай хлѣба, три десятка печеныхъ яицъ и спряталъ за пазуху кожаную кошну, въ которой было рубля полтора мѣдными грошами. И вотъ въ одинъ прекрасный майскій день, часу въ четвертомъ послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ, съ пятью цѣлковыми въ карманѣ и съ надеждою на Господа Бога, Который никогда не покидаетъ сиротъ, выѣхалъ изъ Борисоглѣбска по дорогѣ, ведущей къ Новохоперской крѣпости.

## V.

### Сельцо Хопровка. Первая любовь.

Кузьма Петровичъ, закутанный въ шинель, лежалъ, задувавшись, въ телѣгѣ; Кондратьичъ сидѣлъ на передкѣ, по-

дергиваль возжами, посвистываль, мурлыкаль про себя пѣсенку, а лошади плелись нога за ногу по гладкой дорогѣ, которая тянулась вдоль крутого берега Хопра.

— Да поѣзжай, Прохоръ, скорѣе!—сказаль Мирошевъ.— Вотъ мы ужъ часа четыре ѣдемъ, а, чай, и пятнадцати верстѣ не отѣхали.

— Тихе ѣдешь, дальше будешь, Кузьма Петровичъ.

— Да ты ступай хоть маленькою рысцою.

— Рысцою!... Эхъ, сударь, вѣдь до Москвы не близко. Шагомъ то полсвѣта объѣдешь, а ступай-ка рысью, такъ на двадцати верстахъ лошадокъ поморишь... Да что въ Москвѣ то, батюшка, есть что-ль у васъ мѣстечко на примѣтѣ?

— Я надѣюсь, что пріятели покойнаго моего батюшки за меня похлопочутъ.

— Пріятеля!—повториль Прохоръ Кондратьичъ, покачивая головою.— Знаемъ мы этихъ пріятелей!

— Да почему-жъ ты думаешь, Прохоръ, что никто изъ нихъ не вспомнитъ хлѣба-соли покойнаго моего батюшки?

— Память то стала у людей коротка, Кузьма Петровичъ. Дѣло бывалое, и у меня важивались пріятели. Однажды — это было еще въ деревнѣ—продаль я жеребенка; скопилось таки у меня деньжонокъ довольно. Вотъ, думаю: «По милости господской, я сытъ, одѣтъ, обутъ, клѣтъ у меня важная, полдесятины подъ коноплянникомъ, осьминникъ подъ огородомъ; на что мнѣ деньги! Дай, сварю себѣ бражки!»! Купиль солоду, хмѣлю, свариль; брага вышла знатная! Кажись, я кличь не кликаль, а пріятелей то у меня развелось видимо-невидимо! Вся дворня, да почитай полдеревни: и садовникъ Кудимычъ, и староста Терентій, и Герасимъ овчинникъ, и кузнецъ Трифонъ—такіе друзья, что и сказать нельзя! Тотъ зайдетъ, посмакуеть моей бражки, другой... А посуловъ то, посуловъ, Господи Боже мой!... Одинъ говорить: «Слушай, Прохоръ Кондратьичъ, коли въ чемъ ни есть нужда будетъ, прямо ко мнѣ». Другой тяпнетъ ковшикъ браги, да и начнетъ: «Что тебѣ, любезный, надо: соломки-ли, сѣнца-ли,—ни за чѣмъ не стоимъ!»! И пригошь то я и хорошь! Да вѣстимо: за свой грошъ будешь хорошь! Пуще всѣхъ хвалился Герасимъ овчинникъ. Бывало, подсядетъ къ ендовѣ, расправитъ усы, да и примется говорить: «Пожалуйста, куманекъ, послу-

шайся меня, не покупай ты себѣ тулупа на базарѣ: ужь я те, милому дружку, такой полушубокъ слажу, что на, поди!» Вотъ я себѣ и думаю: «Правду говорятъ:» «кинь хлѣбъ-соль назадъ, будетъ впередя». Да, какъ бы не такъ! Покамѣстъ брага у меня велась, все было ладно, а какъ съѣхалъ опять на квасокъ, такъ друзей какъ не бывало. Понадобилось мнѣ охапки двѣ сѣнца; я челомъ Трифону, — куда, и глядѣть не хочеть! Самому, дескать, надо! Пришла, зима, вотъ я зашелъ къ Герасиму, и говорю: «Чтожь, братъ, полушубокъ то?» — «Какой?» — «Вѣстимо какой: ты еще мнѣ лѣтомъ судилъ.» — «А деньги принесъ?» — «Пообожди немного, объ Рождествѣ заплачу.» — «Вотъ еще съ чѣмъ подѣхалъ! Добро, добро, отваливай!» — «Такъ пожалуйста, любовный, хоть старый то тулупъ почини.» — «Самъ вычинишь!» — «Эхъ, братъ, Герасимъ, не хорошо!» — «Что не хорошо? Что я брагу то твою пилъ? Эко диво! Вотъ на праздникахъ приходи, я и своей поднесу.» Что будешь дѣлать, сударь? Ругнулъ его порядкомъ, да и пошелъ прочь. Вотъ они, Кузьма Петровичъ, друзья каковы! Чай, и господа то все то же. У вашего покойнаго батюшки — дай Богъ ему царство небесное! — много было друзей; они у него каждый день пили, ѣли, прохлаждались; а какъ онъ изволилъ скончаться, такъ врядъ ли по немъ кто-нибудь и панихиду отслужилъ.

— Нѣтъ, Прохоръ, не можетъ статься, чтобъ изъ всѣхъ его знакомыхъ не было ни одного истиннаго друга.

— Конечно, сударь, можетъ быть и есть, — не безъ добрыхъ людей; а все, батюшка, то ли дѣло, еслибъ вы сами были помѣщикомъ, еслибъ у васъ была отчина, душъ тысячу, или двѣ...

— И, Прохоръ, на что мнѣ?... Двѣ тысячи душъ! Да я не зналъ бы, куда съ ними и дѣваться. Былъ бы только пріютъ, небольшая деревенька, при рѣчкѣ, на видномъ мѣстѣ... Ну вотъ этакая, видишь, налѣво то.

— Вижу, сударь.

— Что, еслибъ у меня было такое помѣстье! Посмотри, какъ хорошо разбросаны эти избы по берегу Хопра!.. Какой у нихъ веселый видъ! Ну, точно нарисованныя!

— Да, деревушка хоть куда; не великонька, а стоитъ на привольномъ мѣстѣ... Ахъ, батюшки, смотрите-ка, сударь, на задахъ то словно другая деревня изъ одоньевъ!... Ну, видно, землицы у нихъ вдоволь!...

- Прохоръ, вѣдь это, кажется, господскій домъ?
- Да, сударь!... И домъ и службы: вонъ барское гумно... амбары... скотный дворъ,—знатная усадьба!..
- Видишь, передъ домомъ какой прекрасный лугъ до самаго Хопра.
- Вижу, сударь. И лугъ то, кажется, поемный. То-то сѣнцо то, я думаю, знатное!
- А позади дома... посмотри: въ гору идетъ какая славная роща!
- Да, Кузьма Петровичъ, кажется, лѣсъ строевой.
- Погляди-ка, Прохоръ, что это на самомъ верху горы, — часовня что-ль?
- Часовня, сударь.
- Какой оттуда долженъ быть прекрасный видъ!
- Да, батюшка, мѣсто дальновидное.
- Послушай, Прохоръ, остановимся кормить въ этой деревнѣ.
- Не раненько ли, сударь, будетъ? Мы еще сегодня и двадцати верстъ не отъѣхали.
- Что за бѣда!
- Оно, конечно, на первыхъ то порахъ не худо лошадокъ побережь...
- Вотъ то-то и есть! Ступай, Прохоръ, — вонъ, кажется, налѣво и поверотъ.
- Наши путешественники съѣхали съ большой дороги на проселочную и черезъ нѣсколько минутъ, почти у самой околицы, обогнали крестьянскую бабу, которая шла съ поля.
- Эй, молодица, — закричалъ Кондратьичъ, — какъ зовутъ эту деревню то?
- Хопровкой, господинъ честной, — отвѣчала крестьянка съ низкимъ поклономъ.
- Что, у васъ стоять пускаютъ?
- Какъ же, батюшка: и Федоръ Безпалый пускаетъ, и староста Парфень, — вонъ крайняя то изба съ краснымъ окномъ.
- Спасибо, тетка!
- Не на чемъ, кормилецъ!
- Староста Парфень, мужикъ дюжій, съ окладистою рукою бороною, встрѣтилъ проѣзжихъ у воротъ своей избы.
- Что, хозяинъ, — спросилъ Кондратьичъ, — есть у тебя овесъ и сѣно?
- Есть, батюшка.

— А насъ покормить есть чѣмъ?

— Милости просимъ! Щи добрыя, баранина, каша съ масломъ; а коли милости вашей въ угоду, такъ и курочку зарѣжемъ.

— Не надо, — сказалъ Мирошевъ, выпрыгнувъ изъ тѣлѣги. — Мнѣ что то вовсе ѣсть не хочется; а ты, Прохоръ, ужинай.

— Развѣ вы кушать не станете? — спросилъ Кондратьичъ.

— Послѣ. Теперь пойду, погуляю.

Кузьма Петровичъ не успѣлъ отойти и двадцати шаговъ отъ избы, какъ съ нимъ повстрѣчался сѣдой старикъ лѣтъ шестидесяти, въ старомъ, истасканномъ скюртукѣ съ большими мѣдными пуговицами; онъ снялъ свой кожаный картузъ и поклонился очень вѣжливо Мирошеву.

— Ты, вѣрно, дворовый человѣкъ, любезный? — спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Дворовый, батюшка.

— Можно погулять по этой роцѣ, что позади господскаго дома?

— Не только въ роцѣ, да и по саду извольте гулять сколько вамъ угодно.

— Такъ, видно, господа ваши здѣсь не живутъ!

— Да у насъ теперь никакихъ господъ нѣтъ, сударь.

— Какъ такъ?

— Вотъ ужъ пять мѣсяцевъ, какъ мы осиротѣли: скончалась наша барышня-кормилица, — дай Богъ ей царство небесное!

— Такъ можно и домъ посмотрѣть?

— Можно, сударь. Спросите ключницу Федосью, она вамъ покажетъ.

Мирошевъ отправился далѣе, а старикъ пошелъ мимо избы, подлѣ которой староста Парфень толковалъ о чемъ то съ Прохоромъ; межъ тѣмъ, Кузьма Петровичъ подошелъ къ барской усадьбѣ. Подлѣ отпертой калитки сидѣла на скамьѣ пожилая женщина въ мухояровой кофтѣ и черныхъ котяхъ, надѣтыхъ на босую ногу; на поясѣ у нея висѣла связка ключей,

— Не ты ли, любезная, ключница Федосья? — спросилъ Мирошевъ.

— Я, кормилецъ. Что тебѣ надо?

— Можно погулять по саду?

— Можно, баринъ.

— А посмотрѣть господскій домъ?

— Пожалуй.

Ключница Федосья встала, и Кузьма Петровичъ вошелъ вслѣдъ за нею на обширный дворъ, поросшій густою крапивою и репейникомъ.

— Вотъ тутъ покойница, бывало, часто изволила чай кушать,—сказала Федосья, указывая на вѣтвистую черемуху, которая раскинулась зеленымъ патромъ посреди двора.—Родная ты наша!.. Бывало, по милости своей, и мнѣ чашечку чайку пожалуетъ. Не стало ея, нашей ма-тушки!

Кузьмѣ Петровичу очень полюбилось расположеніе и убранство дома: въ немъ было семь просторныхъ и свѣтлыхъ комнатъ. Въ нихъ стѣны были голыя—это правда, мебель обита простымъ затрапезомъ, не было въ простѣнкахъ зеркалъ, и большая часть печей была съ лежанками; но все было въ такомъ порядкѣ, все имѣло такой чистый и опрятный видъ, какъ будто бы хозяйка дома была налицо. Ключница Федосья, проведя Мирошева черезъ приемныя комнаты и дѣвичью въ широкій коридоръ, который раздѣлялъ на-двое весь домъ, остановилась у запертыхъ дверей.

— Здѣсь, баринъ,—сказала она,—образная комната покойницы. Вотъ ужъ тутъ есть что посмотрѣть! Ей достались еще отъ бабушки такія богатые иконы, что и Господи!... Да чтожъ это я ключа то не найду?... Ахти, батюшки, да я никакъ оставила его у себя на столѣ!... Пообожди, кормилецъ; я сейчасъ за нимъ сбѣгаю. Федосья ушла, а Кузьма Петровичъ, замѣтивъ на противоположномъ концѣ коридора еще другія, до половины растворенныя двери, подошелъ къ нимъ потихоньку, заглянулъ и остановился неподвижно на одномъ мѣстѣ. Прошла минута, двѣ, три, а онъ все стоялъ какъ вкопанный. Чтожъ такое приковало его къ порогу этой комнаты? Въ ней не было ничего особеннаго: нѣсколько кресель, рабочий столъ, небольшой шкапъ съ книгами, и больше ничего; правда, у стола, съ книгою въ рукѣ, сидѣла дѣвушка лѣтъ семнадцати... Такъ чтожъ? Развѣ Кузьма Петровичъ въ жизнь свою не видывалъ молодыхъ дѣвушекъ? О, конечно, онъ много пересмотрѣлъ хорошенькихъ личикъ и въ Россіи, и въ Германіи, и въ Польшѣ; но такого милостиваго лица,

такой неизъяснимо-плѣнительной фязіономіи онъ никогда не видываль. Эта дѣвушка была въ простомъ ситцевомъ платьѣ, длинная русая коса ея висѣла ниже пояса, а на плечи накинута былъ алыи шелковый платочекъ; румянецъ здоровья и молодости игралъ на бѣлоснѣжныхъ щекахъ ея; глаза ея, устремленные въ книгу, были совершенно закрыты длинными рѣсницами; но Мирошевъ побился бы объ закладъ, что эти глаза прекраснѣе всѣхъ женскихъ глазъ, которыми онъ любовался въ Россіи, Польшѣ и Германіи. Вотъ дѣвушка перестала читать, облокотилась, опустила на руку свою голову и задумалась. На кроткомъ лицѣ ея изображалась спокойная, но глубокая горестъ; вдругъ слезы заблестали на густыхъ ея рѣсницахъ; у Мирошева сердце облилось кровью. «Боже мой!»—подумаль онъ,—«и это небесное созданіе, этотъ ангель несчастливъ.»

— Сейчасъ, баринъ,—раздался голосъ въ передней;—иду, иду!

Кузьма Петровичъ отскочилъ отъ дверей.

— Эка память то у меня!—шептала ключница Ѳеодосья, идя навстрѣчу къ Мирошеву.—Ужь я искала, искала этотъ—прости Господи—проклятый ключъ: и на столѣ и подъ лавкою,—сгибъ да пропаль! Насилу то вспомнила, что сама положила его въ ларець. Пожалуй, батюшка!—продолжала Ѳеодосья, отворяя двери образной.

Они вошли въ небольшую комнату. Одинъ уголь ея былъ занятъ широкимъ кивотомъ, наполненнымъ образами; передъ ними висѣла стеклянная лампада. Молча помолились они оба святымъ иконамъ; потомъ Ѳеодосья начала ихъ показывать Мирошеву.

— Вотъ, батюшка, — говорила она: — Иверская Божія Матерь: на ней всѣ ризы изъ жемчуга; а вотъ Спасъ Нерукотворенный: говорятъ, вѣнецъ то на немъ изъ дорогихъ каменьевъ; а это икона Печерскихъ Чудотворцевъ Антонія и Ѳеодосія; ее привезла покойница изъ Кіева, куда она изволила ѣздить на богомолье, тому лѣтъ двѣнадцать назадъ.

Пересмотрѣвъ поодиночкѣ почти всѣ иконы и помолясь опять передъ кивотомъ, они вышли изъ образной. Проходя коридоромъ мимо сосѣднихъ дверей, Кузьма Петровичъ заглянулъ въ комнату: въ ней никого уже не было.

— Что, любезная, — спросилъ Мирошевъ, когда они вышли на крыльцо, — теперь въ этомъ домѣ никто не живетъ?

— Никто, батюшка.

— Какъ же мнѣ показалось въ одной комнатѣ... въ коридорѣ...

— А что тебѣ, баринъ, показалось?

Кузьма Петровичъ вспыхнулъ.

— Развѣ тамъ кто былъ?—продолжала Федосья.

— Да... мнѣ показалось... я такъ, нечаянно заглянуть въ эту комнату... въ ней какъ будто кто то сидѣлъ... кажется, дѣвушка...

— А!... Это вѣрно Марья Дмитріевна.

— А кто она такая?

— Сирота, батюшка, офицерская дочка. Вотъ изволишь видѣть: годовъ десять тому назадъ остановился проѣздомъ въ нашей деревнѣ одинъ служивый, какой то отставной офицеръ; съ нимъ была дочка лѣтъ шести,—вотъ эта самая, что ты, баринъ, видѣлъ. Батюшка ея пробирался въ Москву, чтобъ пристроить себя къ мѣстечку; да, видно, ему на роду было написано не выѣзжать изъ нашей деревни: схватила его какая то немочь, отнялись руки и ноги; началъ онъ, сердечный, хилѣть да хилѣть, да недѣли черезъ три Богу душу и отдалъ. Покойная наша барышня была человѣкъ милостивый: она проѣзжаго во время болѣзни не покидала, а какъ онъ умеръ, взяла сироту къ себѣ въ домъ, взростила ее, вскормила и хотѣла ей, какъ родной дочери, укрѣпить все свое имѣнье. Я сама это не разъ слышала отъ покойной барышни; да, видно, Господу Богу не угодно было, чтобъ наша деревня досталась этой сиротинкѣ. Покойница собиралась да собиралась,—все хотѣла сама за этимъ въ Саратовъ ѣхать, а незваная то гостья и пасть на дворъ!... Вотъ этакъ какъ нынче бы занемогла, а завтра по-утру и не стало ея, нашей кормилицы!

— Такъ эта бѣдная сирота осталась безъ куска хлѣба?

— Кусокъ то хлѣба найдемъ, батюшка. Покамѣстъ я жива и живъ Лаврентій Сидорычъ и его сожительница, такъ она съ голоду не умретъ: послѣднія крохи пополамъ съ нею раздѣлимъ.

— А кто этотъ Лаврентій Сидорычъ?

— Онъ былъ при покойницѣ управителемъ... Да ты, баринъ, какъ шелъ сюда, такъ съ нимъ повстрѣчался.

— Такъ вы очень любите эту сироту?

— Какъ же, батюшка! Вѣдь Марья Дмитріевна не чело-  
вѣкъ, а ангелъ во плоти. Вотъ прошлаго года Лаврентій Сидорычъ былъ при смерти боленъ, а жена то его на ту



пору была въ Саратовѣ: ѣздила съ родными повидаться,—кто за нимъ ходилъ? Марья Дмитріевна! Кто просиживалъ подлѣ его постели цѣлыя ночи? Марья Дмитріевна! Бывало начну говорить: «Барышня, ступай почивать; вѣдь ты этакъ себя совсѣмъ уходишь; поди, матушка, поди: я посижу!» А она и слышать не хочетъ. «Ты, дескать, Федосьюшка, человѣкъ старый, тебѣ покой надобенъ, а я и днемъ высплюсь.» Да что Лаврентій! Кто въ деревнѣ ни занеможетъ, или какое горе кому пошлетъ Господь,—Марья Дмитріевна тутъ какъ тутъ!... А ужь умна то какъ!... Грамотница какая! Вотъ когда, бывало, мы всѣмъ домомъ говѣемъ, она изволить читать намъ и утреннія и вечернія молитвы; да еще какъ: лучше всякаго дьячка, батюшка! Вотъ съ годъ тому назадъ и меня отчитывала, окаянную грѣшницу!

— Какъ отчитывала?

— Да, кормилецъ! Умерла у меня дочка лѣтъ двадцати пяти,—одна только и была, какъ порохъ въ глазу, вся была и лицомъ и обычаемъ въ покойнаго мужа: такая же смиренная и богомольная, и такъ же, какъ онъ, умерла сухоткою. Вотъ я, батюшка, съ горя то совсѣмъ обезумѣла; плачу съ утра до вечера, какъ рѣка льюсь, и мѣсяцъ, и два, и три; да это еще ничего: пришелъ на меня такой грѣхъ, что страшно вымолвить, батюшка! Ну вотъ шепчетъ мнѣ кто то на ухо: «Что, дура, молилась, много вымолила»? Вѣришь ли, баринъ, церковь Божья опостылѣла; только и думаю, какъ бы самой на себя руки наложить. Ужь меня увѣщевали, увѣщевали, и покойная барышня и отецъ духовный—все ничего! Сажу цѣлый день въ уголку, разливаюсь горькими слезами, да на Господа Бога жалуюсь. Вотъ Марья Дмитріевна начала ко мнѣ по вечерамъ приходить, да читать отъ божественнаго и Житія Святыхъ, и Апостоль, и всякія другія разныя книги. Этакъ недѣльки черезъ двѣ, со мною стало какъ будто бы полегче: лукавый унялся шептать мнѣ на ухо, а тоска все меня не покидала; вотъ такъ лиходѣйка сердце у меня и сосеть; да вдругъ—что ты думаешь, батюшка?—какъ рукой сняло!

— Какъ же это?

— А вотъ какъ. Вижу я во снѣ, что я какъ будто бы въ какой то степи: ни деревца, ни травки—все голо; и куда ни поглядишь, этой степи и конца нѣтъ; а небо то,—ну такъ бы и не смотрѣла: такое темное, туча на тучѣ; только вдали передо мною чуть-чуть какъ будто бы заря

занимается. Я туда; иду, иду... а заря все больше, да больше! Вотъ я какъ будто бы на какую то горку взошла; глядь внизъ,—Господи Боже мой!... Что за рай небесный такой: и лѣсочки, и ручейки, и зеленя поляны; а цвѣты то какіе, цвѣты!... А небо свѣтлое, какъ солнце, и отъ него такъ и пышетъ Божьей благодатью и прохладю. Вотъ я вижу, ко мнѣ кто то идетъ... Ближе, ближе... Ахти, моя Дуняша!... Она протянула ко мнѣ руки, я бросилась къ ней... Да вдругъ, гляжу, между нами рѣка; вода такая черная, мутная, и кипитъ какъ въ котлѣ. Я хочу кинуться въ рѣку,— да нѣтъ, что то не пускаетъ. Вотъ дочка моя на томъ берегу и заговорила: «Матушка, вѣдь эта рѣка твой слезы. Полно тебѣ роптать и гнѣвить Бога; перестань обо мнѣ плакать: дай этой рѣкѣ пересохнуть, а не то она будетъ становиться все шире да шире, и мы вѣкъ съ тобой не сойдемся». Тутъ вдругъ все потемнѣло; я стала просыпаться, и въ просонкахъ точно слышала, что кто то меня поцѣловалъ и шепнулъ на ухо: «Прощай, матушка, увидимся!» Вотъ какъ я совсѣмъ очнулась,—ну, батюшка, — откуда слезы взялись, да только ужъ не такія, какъ прежде: тѣ мнѣ сердце такъ и жгли, а отъ этихъ ему становилось все легче, да легче. Видно, оттого, что я ужъ грустила не по дочери, а плакала о грѣхѣ моемъ... Ахти,—продолжала Федосья,—да ужъ солнышко то садится!... Ну, баринъ, какъ я съ тобой заболталась; а у меня дѣло есть... Прощенья просимъ, батюшка! Коли хочешь погулять по саду, такъ вонъ калитка; она отперта.

Когда Мирошевъ, поблагодаривъ словоохотную ключницу Федосью, вошелъ въ садъ, его обдало ароматомъ. Въ одномъ углу росла кустами пахучая *заря*, въ другомъ—подымался среди полевыхъ цвѣтовъ душистый калуферъ; цѣлыя лужайки были усыпаны благовонными ландышами; куртины вишенъ и черешни, сотни яблонь, грушевыхъ деревьевъ и огромныя черемухи въ полномъ цвѣту росли по обѣимъ сторонамъ широкой дорожки, которая вела прямо въ рощу. Въ одномъ мѣстѣ, посреди кустовъ смородины, малины и крыжовника, журчалъ по камешкамъ невидимый ручеекъ, разливая вокругъ себя свѣжесть и прохладу.

— Ахъ, какъ здѣсь хорошо! — сказаалъ вполголоса Мирошевъ.—И все это должно было принадлежать ей... Бѣдная сирота! Такъ добра, такъ прѣкрасна и такъ несчастлива!... О, еслибъ зависѣло отъ меня, еслибъ я былъ душеприказ-

чиномъ покойницы и имѣлъ право исполнить ея послѣднюю волю, съ какою-бъ радостью я сказалъ этой несчастной сиротѣ: «Вотъ твое наслѣдіе, возьми его! Будь хозяйкою, будь ангеломъ этого земного рая!»... Бѣдная, бѣдная дѣвушка!... Ты ѣшь чужой хлѣбъ, живешь по милости людей, которые сами живутъ по чужой милости. Но ты молода и прекрасна, Господь, вѣрно, пошлетъ тебѣ добраго мужа; а я... я такой же сирота, какъ и ты; но, мнѣ кажется, еще несчастнѣе: я видѣлъ тебя и долженъ навсегда съ тобой разстаться!... Черезъ нѣсколько часовъ я помчусь... помчусь!... То есть потащусь шагомъ въ Москву, гдѣ, можетъ быть, никто не встрѣтитъ меня ласковымъ привѣтомъ; гдѣ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ забыли даже и имя отца моего!...

Мирошевъ горько заплакалъ, да и было отъ чего: онъ не понималъ самъ, что происходило въ душѣ его, однакожъ чувствовалъ, что теперь сиротство и бѣдность не составляютъ уже главной причины его грусти; что его ждетъ еще другое горе, несравненно ужаснѣе и бѣдности, и сиротства, и всѣхъ возможныхъ бѣдствій. Кузьма Петровичъ не умѣлъ объяснить себѣ этого темнаго чувства, такъ мы скажемъ за него: онъ въ первый разъ въ жизни и страстно влюбился!... Да, влюбился! И въ кого же? Въ бѣдную дѣвушку, которая никогда его не видала и, вѣроятно, никогда не увидитъ.

Размышляя такимъ образомъ, Кузьма Петровичъ дошелъ до конца сада; онъ отыскалъ небольшую калитку, вышелъ въ дубовую рощу и, по извиистой тропинкѣ, сталъ подыматься въ гору. Солнечные лучи не проникали сквозь сросшія вершины столѣтнихъ дубовъ; но внизу не было ни кустовъ, ни валежника, и вѣтерокъ пробирался свободно между деревьями. Пройдя шаговъ триста, Мирошевъ вышелъ изъ рощи. Остальная часть холма до самой вершины была покрыта частымъ кустарникомъ; вдали шумѣлъ горный источникъ, и подымалась кровля часовни. Кузьма Петровичъ, отдохнувъ нѣсколько времени, началъ забираться выше, и черезъ нѣсколько минутъ стоялъ уже въ часовнѣ, передъ иконою Божіей Матери, утвержденной въ стѣнѣ, надъ самымъ истокомъ родника; онъ билъ ключемъ изъ-подъ камня и переливался съ шумомъ черезъ дубовый срубъ, который служилъ ему бассейномъ. Мирошевъ вышелъ изъ часовни, поглядѣлъ вокругъ себя, и вся грусть его исчезла,

онъ забылъ все, когда передъ нимъ развернулся роскошный видъ Хопра и его окрестностей. Не знаю, какъ вы, любезный читатель, а я совершенно согласенъ съ Карамзинымъ, что все можетъ надѣсть и приглядѣться, кромѣ прекрасныхъ видовъ. Не оттого ли, что все, создаваемое людьми, мертво, а все, творимое Богомъ живетъ своею жизнью и говоритъ душѣ нашей, а не земному разуму, который, какъ и все земное, непостояненъ, измѣнчивъ и лживъ. Великолѣпныя зданія, гениальныя произведенія живописцевъ и ваятелей, конечно, приводятъ насъ въ восторгъ; но это восторгъ облуманный, холодный; мы удивляемся дарованію художника, разбираемъ по правиламъ искусства его произведеніе, и едва ли не менѣе наслаждаемся самимъ созданіемъ художника, чѣмъ мыслію, что мы можемъ понять и оцѣнить его; а если вы также художникъ, то не примѣшивается ли къ этому чувству еще другое, которое отравляетъ всякое наслажденіе, губитъ все прекрасное, и можетъ самый рай сдѣлать адомъ, — чувство зависти и обиженного самолюбія? То ли бываетъ съ нами, когда мы любуемся твореніемъ Божиимъ? Что чувствуетъ душа ваша, когда вы смотрите съ высокаго холма на эту живую зелень обширныхъ равнинъ и тѣнистыхъ роцъ нашей родины? На эту кормилицу Россіи, широкую Волгу, вдоль которой, какъ бѣлыя чайки, несутся подъ всѣми парусами красивые струги и расшивы? Что чувствуетъ душа ваша, когда вы въ первый разъ видите передъ собою этотъ земной образъ вѣчности, этотъ безбрежный океанъ? Когда вы смотрите на снѣжныя вершины заоблачныхъ горъ, и въ ухахъ вашихъ раздается громовой гулъ, современныхъ міру, вѣчно шумящихъ водопадовъ? Разбираете ли вы тогда по правиламъ ледяной эстетики, въ чемъ состоятъ красоты этой дикой природы? О, нѣтъ, нѣтъ! Вы можете наслаждаться и молча благоговѣть передъ величіемъ Божиимъ. Не потухаютъ ли тогда всѣ страсти въ груди вашей, не радуется ли душа, проникнутая какимъ то небеснымъ спокойствіемъ и кроткимъ умиленіемъ? Вы чувствуете всю вашу ничтожность и всю благодать Того, Который, создавъ этотъ дивный свѣтъ, сказалъ человѣку: «Ты будешь его владыкою, потому что сей конечный міръ и всѣ преходящія, подобно ему, безчисленные міры не значатъ ничего передъ одною безсмертною душою твоею, ибо она одна можетъ познавать и любить Меня.»

Съ полчаса стоялъ Кузьма Петровичъ на одномъ мѣстѣ. Онъ молча любовался разнообразіемъ и прелестью видовъ, которые измѣнялись при каждомъ его движеніи. Его очарованный взоръ то обѣгалъ съ быстротою мысли обширный небосклонъ, обставленный селами, и старался проникнуть за темный боръ, который тянулся дымчатою полосою позади Новохоперской крѣпости, то скользилъ по голубымъ струямъ изгибистаго Хопра, то носился надъ его живописными берегами, и перелетая съ одного холма на другой, отдыхалъ, наконецъ, на зеленѣющихъ поляхъ, усѣянныхъ рощами. Когда Мирошевъ оборотился назадъ, у ногъ его, влѣво отъ господской усадьбы, мелькнули опять голубыя воды Хопра; вся деревня, въ которой онъ остановился, была передъ нимъ какъ на ладони, такъ что онъ могъ видѣть все, что происходило на улицѣ. Около двора старосты Парфена толпился народъ, по улицѣ взадъ и впередъ бѣгали ребятишки, крестьянскія бабы въ нарядныхъ сарафанахъ выходили изъ избъ, — во всемъ было замѣтно какое то особенное движеніе, какая то общая суета. «Это что-нибудь не даромъ», — подумалъ Кузьма Петровичъ. «Когда я пошелъ гулять, на улицѣ никого не было, а теперь она запружена народомъ, и, кажется, всѣ въ такихъ хлопотахъ... Вѣрно, что-нибудь случилось необычайное.» Желая узнать скорѣй причину этого народнаго сходбища, Мирошевъ пошелъ по тропинкѣ, которая вела не къ барской усадьбѣ, а прямо на зады деревни.

## VI.

### Чрезвычайное и неожиданное приключеніе.

Тропинка, по которой шелъ Кузьма Петровичъ, свела его въ нѣсколько минутъ къ подошвѣ холма. Пробираясь вдоль огородовъ и коноплянниковъ деревни, онъ дошелъ, не встрѣтивъ никого, до крайней избы, перелѣзъ черезъ плетень и очутился на дворѣ у старосты Парфена. У самыхъ дверей избы съ нимъ повстрѣчалась дородная и пригожая баба въ красномъ кумачномъ сарафанѣ и въ широкой шелковой фатѣ: это была хозяйка дома, старостиха Василиса. Увидѣвъ Мирошева, она, не говоря ни слова, повалилась ему въ ноги, и въ то же самое время позади раздался голосъ Прохора Кондратьича:

— А, батюшка, Кузьма Петровичъ! Насилу то вы пришли!... Пожалуйте въ избу, пожалуйста!

— Да что у васъ здѣсь за суматоха? — спросилъ Мирошевъ.

— Пожалуйте въ избу, пожалуйста!

— Ну, вотъ я и вошелъ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, садясь на лавку. — Теперь скажи мнѣ, что такое случилось?

— Такъ-съ, ничего-съ! — проговорилъ Прохоръ такимъ чуднымъ голосомъ, что баринъ его вѣрно бы испугался, еслибъ не замѣтилъ съ перваго взгляда необычайную веселость, которая выражалась во всѣхъ чертахъ лица добраго Кондратьича, а особливо въ его небольшихъ, прашуренныхъ глазахъ, которые такъ и блистали радостію.

— Ты что то отъ меня скрываешь, Прохоръ? — сказалъ Мирошевъ.

— Помилуйте, сударь, что мнѣ отъ васъ скрывать!

— Такъ и ты не знаешь, отчего въ деревнѣ сдѣлалась такая тревога?

— Да никакой тревоги нѣтъ, Кузьма Петровичъ! Мужички собрались встрѣчать своего новаго помѣщика.

— А развѣ его ждутъ?

— Видно, что такъ, сударь. Ну что, батюшка, погуляли?

— Какъ же!

— Каково, сударь, помѣстье?

— Прекрасное!

— Диковинное, сударь!... Вы изволили быть въ барскихъ хоромахъ?

— Былъ.

— И все осматривали?

— Кажется, все. Премиленькій домикъ!

— Домикъ? Помилуйте, какой это домикъ! Восемь большихъ покоевъ, не считая двухъ кладовыхъ и одного чулана съ окномъ, да на антресоляхъ четыре комнаты. А службы то какія!... Вы ихъ изволили видѣть?

— Нѣтъ.

— А на скотномъ дворѣ были?

— Нѣтъ.

— А на барскомъ гумнѣ?

— И тамъ не былъ.

— Такъ гдѣ же вы были, Кузьма Петровичъ?

— Я былъ на горѣ.

— Эхъ, сударь, что гора, — гора сама по себѣ! Нѣтъ, вы посмотрѣли бы, какія угоды! А садикъ то, сударь, садикъ!

— Да, очень хорошъ.

— То то же, батюшка! Ну что, сударь, еслибъ это помѣстье было наше?

— И, полно, Прохоръ! Охота тебѣ вздоръ говорить.

— Да почему-жъ и не поговорить, Кузьма Петровичъ? Вѣдь отъ этого нашей казны не убудеть. А что, батюшка, еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, эта деревня была ваша, вѣдь вы-бъ ужъ тогда не поѣхали въ Москву искать себѣ мѣстечка?

— Помилуй, зачѣмъ?

— Не правда ли, вѣдь отъ добра добра не ищутъ?

— Разумѣется; я навсегда бы здѣсь остался.

— И были бы счастливы?

— О, совершенно счастливы!

— Такъ извольте же быть счастливы! — закричалъ такимъ нелѣпымъ голосомъ Кондратьичъ, что Мирошевъ вскопчилъ съ лавки.

— Что ты, что ты, Прохоръ? — сказалъ онъ. — Перекрестись!

— И сто разъ перекрестимся, батюшка, и благодарственный молебень отслужимъ!... Эй, Парфень, — продолжалъ Кондратьичъ, выглянувъ въ окно, — ступай со всѣмъ миромъ!

Прежде чѣмъ Мирошевъ успѣлъ опомниться отъ удивленія, двери растворились и толпа крестьянъ ввалила въ избу. Впереди всѣхъ вошелъ староста Парфень; онъ держалъ на деревянномъ блюдѣ каравай хлѣба, на которомъ насыпана была соль и лежало пять цѣлковыхъ; рядомъ съ Парфеномъ, держа подъ мышкою индѣйскаго пѣтуха, стоялъ бывший управитель, Лаврентій Сидорычъ. Помолясь иконамъ, староста подошелъ къ столу, поставилъ на него каравай хлѣба и, вмѣстѣ со всѣми крестьянами, повалился въ ноги Мирошеву.

— Что это значить? — проговорилъ Кузьма Петровичъ, внѣ себя отъ удивленія. — Да встаньте, Бога ради!... Что вы?... Встаньте, говорятъ вамъ!

Парфень всталъ, а за нимъ и всѣ крестьяне.

— Зачѣмъ вы пришли? Чего вы хотите?

— Какъ же, батюшка, — сказалъ Парфень: — вѣдь ты нашъ родной... кормилецъ нашъ!...

— Кормилецъ нашъ!—повторили всѣ крестьяне и повалились опять въ ноги.

— Да полноте, — вскричалъ Мирошевъ: — что вы мнѣ кланяетесь?

— Они, батюшка, пришли къ вамъ съ поклономъ, — прервалъ Кондратьичъ.

— Ко мнѣ?

— Ну да, сударь! Вѣдь это ваши мужички.

— Мои мужички?

— Ваше благородіе, — сказалъ униженнымъ голосомъ Лаврентій, передавая своего индѣйскаго пѣтуха Прохору Кондратьичу, — вѣдь вы Кузьма Петровичъ Мирошевъ?

— Да, я отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Ваша матушка, Екатерина Семеновна, была урожденная княжна Бирдюкова?...

— Да.

— А вѣдь покойная то наша барышня, Елена Семеновна, была также княжна Бирдюкова, сестрица вашей матушки и родная ваша тетушка.

— Ну, сударь, — вскричалъ Прохоръ, — изволите ли понимать теперь?

Кузьма Петровичъ не отвѣчалъ ни слова: онъ совершенно обезумѣлъ. Все это казалось ему не сномъ, — онъ чувствовалъ, что не спитъ, — но какимъ то обаяніемъ, колдовствомъ, волшебною сказкою, въ которой, *«по шучьему велѣнію, по моему прошенію»*, исполняются всѣ желанія какого-нибудь Ивана Царевича. Бѣдный, безпріютный сирота видитъ проѣздомъ хорошенькую деревеньку, останавливается въ ней, чтобъ полюбоваться ея прелестнымъ мѣстоположеніемъ; онъ очарованъ, онъ думаетъ: «О, еслибъ этотъ благословенный уголокъ земли принадлежалъ мнѣ, какъ бы я былъ счастливъ!» И вдругъ желанье его исполняется, это помѣстье становится его собственностію... За минуту онъ не зналъ, куда преклонить свою голову, а теперь онъ баринъ, помѣщикъ!... Да отъ этого хоть какая голова закружится!

— Возможно ли?—проговорилъ, наконецъ, Мирошевъ. — Такъ все, что я видѣлъ, чѣмъ любовался...

— Все ваше, батюшка, — прервалъ Кондратьичъ, — все ваше!... Ахъ, ты, Господи, Боже мой!—продолжалъ онъ. — Подлинно, правду говорить, что сердце въ насъ вѣщунъ!



Ну что вамъ вздумалось остановиться въ этой деревнѣ? Кабы не вы, такъ мы бы сюда и не заѣхали. Ужь какъ же и я, сударь, удивился!... Толкуемъ мы у воротъ съ Парфеномъ, гляжу, — ахти, батюшки, Лаврентій Сидорычъ!... Мы съ нимъ ужъ лѣтъ двадцать пять не видались, а я тотчасъ его узналъ. «Ба, ба, ба, куманекъ, ты какъ здѣсь?» — «А ты, Прохоръ Кондратьичъ?» — «Я здѣсь съ моимъ бариномъ, его благородіемъ, Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ». — «Кузьмою Петровичемъ? Ужь это не сынокъ ли Петра Кузьмича и Екатерины Семеновны Мирошевыхъ?» — «Ну, да!» — Ахъ, батюшки, да вѣдь онъ нашъ помѣщикъ!» — «Какъ такъ?» — «А вотъ какъ!» И началъ мнѣ рассказывать. Ну, такъ и есть! Вѣдь у покойной княжны Елены Семеновны только и была одна сестрица, ваша матушка, а у васъ также нѣтъ никого, ни сестеръ, ни братьевъ, такъ, разумѣется, наслѣдникъ то вы.

— Ваше благородіе, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Лаврентій, — осмѣлюсь вамъ рабски доложить: не благоугодно ли будетъ вамъ пожаловать въ ваши барскія хоромы?

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь, — подхватилъ Кондратьичъ, — что намъ теперь гостить у Парфена: вѣдь ужъ мы съ вами не проѣзжіе.

— А тамъ Ѳедосья и столъ накрыла для вашей милости, — прибавилъ Лаврентій. — Просимъ покорно, батюшка, чѣмъ Богъ послалъ!

— А я, сударь, — шепнулъ Кондратьичъ, — отправилъ на село купить два ведра вина, да Парфенъ на радостяхъ кланяется вамъ бочкой браги: надобно вашихъ мужичковъ попотчевать... Э, да вонъ и бабы собрались на улицѣ. Пожалуйте, Кузьма Петровичъ, пожалуйте!

Хотя Мирошевъ все еще былъ въ какомъ то чаду и съ трудомъ понималъ то, что ему говорили, однакожь, послушался Прохора и вышелъ изъ избы. На улицѣ дожидались его толпа крестьянокъ и старостиха Василиса, которая не могла вмѣстѣ съ ними совершить обычнаго поклона, потому что держала обѣими руками огромное рѣшето съ яйцами. Торжественное шествіе Мирошева, задержанное на нѣсколько минутъ этою новою депутаціею, продолжалось отъ избы старосты Парфена до барскаго двора, черезъ всю деревню. Зрителей было мало, потому что въ этомъ ходѣ участвовали почти всѣ обыватели Хопровки; кой-гдѣ стояли на

завалинахъ полунагія дѣвчонки, высовывались изъ подворотень бѣловолосыя головки ребятишекъ и выглядывали изъ оконъ покрытыя морщинами лица дряхлыхъ стариковъ и старухъ, которые слѣзали съ полатей, чтобъ взглянуть, хотя издалека, на своего новаго барина. У растворенныхъ воротъ господскаго двора встрѣтили Кузьму Петровича ключница Ѳедосья, скотникъ Антоновъ, садовникъ Трифонъ, сожительница Лаврентія — барская барыня Анисья, и пять или шесть дворовыхъ ребятишекъ. Взоры Мирошева невольно устремились на небольшой флигель, въ которомъ жилъ Лаврентій: всѣ окна были открыты, кромѣ одного, задернутаго бѣлою занавѣскою.

— Соколъ ты нашъ ясный, родной ты нашъ! — сказала Ѳедосья, кланаясь Мирошеву. — Милости просимъ!... Да не погнѣвайся на меня, дуру, что я давеча тебя не признала. Ахъ, я глупая, глупая! Ну, что бы мнѣ спросить: «Кто, дескать, ты, батюшка?» Такъ нѣтъ, словно замленіе какое сдѣлалось!...

Мирошевъ не отвѣчалъ ни слова.

— Ахти, батюшки, — прошептала Ѳедосья, — ужь баринъ то никакъ и впрямь на меня гнѣваться изволить?... Посмотри ка, Аксинья, отворотился, взглянуть не хочетъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Кузьма Петровичъ не слышалъ ничего и не замѣчалъ Ѳедосьи; ему показалось, что занавѣска, на которую обращено было все его вниманіе, начинаетъ шевелиться; вотъ мелькнули бѣленькіе пальчики, занавѣска отдернулась... Это она!

— Гляди ка, Антоновъ, — шепнула Ѳедосья, — какъ у него щечки то разгорѣлись, — такъ и пышутъ!... Вѣдь онъ точно гнѣвается... Ну, пропала моя головушка!..

— И, полно, сватья, что ты! — сказала вполголоса Аксинья. За что ему гнѣваться? Эко диво, что ты его не признала!... Развѣ ты святой духъ какой?... Да онъ же, слышно, баринъ такой добрый! Поразговорись ка о немъ съ Прохоромъ Кондратьичемъ.

Занавѣска давно уже опять задернулась, а Мирошевъ все еще смотрѣлъ на окно.

— Вы, вѣрно, изволите смотрѣть на эти людскія? — сказалъ Лаврентій. — Да, батюшка, кровелька то на нихъ плоха становится, стропила поразвѣхались, мѣстами течь. Не прикажете-ли ихъ покрыть соломкою? Вѣдь это дранье только слава то; а, право, хуже всякой соломы.

— А, это ты, Федосья?—сказалъ Мирошевъ, замѣтивъ наконецъ ключницу.

— Я, батюшка, я!... Такъ ты не изволишь гнѣваться?

— За что?

— А вотъ что я давеча то...

— Напротивъ, я тебѣ очень благодаренъ. Ты человекъ добрый, Федосья, и Лаврентій также. Вы меня еще не знаете, а я знаю васъ.

— Какъ же такъ, кормилецъ?

— Да, Федосья. Кто помнитъ добро и не оставляетъ сиротъ, тотъ ужъ, вѣрно, человекъ добрый.

— Вотъ ѣдетъ и Парфенъ съ брагою!—вскричалъ Прохоръ.— Не извольте, сударь, беспокоиться: ужъ я вашихъ мужичковъ угощу, а вы пожалуйста въ домъ, да поужинайте. Вѣдь вы сегодня изволили только завтракать.

— Мнѣ что то вовсе ѣсть не хочется.

— Съ радости, батюшка, съ радости! Ну, да это само по себѣ; и я радуюсь, сударь, а зайду щей похлепать къ Лаврентію Сидорычу. Ступайте ка, батюшка, да поужинайте на здоровье.

Кузьму Петровича ожидалъ въ столовой накрытый столъ. Около него суетился буфетчикъ Тома, племянникъ Лаврентія, который также вошелъ въ столовую, вслѣдъ за своимъ новымъ баринномъ, и сталъ съ тарелкою позади его стула.

Ужинъ продолжался не долго.

— Если вамъ угодно почивать, батюшка,—сказалъ Лаврентій, когда Мирошевъ всталъ изъ за стола,—такъ пожалуйста въ спальню: тамъ все приготовлено.

— Хорошо, любезный; да войди сюда, въ гостиную: мнѣ надобно поговорить съ тобою.

— Слушаю, сударь.

Кузьма Петровичъ горѣлъ какъ на огнѣ: онъ очень хотѣлъ поговорить съ Лаврентіемъ о воспитанницѣ покойной его барыни, но никакъ не могъ собраться съ духомъ: при одной мысли объ этомъ, сердце его сжималось, и слова замирали на языкѣ. Минуть пять продолжалось молчаніе; Кузьма Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, а Лаврентій стоялъ, вытянувшись въ струну, у дверей. Не зная, какъ начать разговоръ, Мирошевъ подошелъ къ окну, постучалъ пальцами въ стекло и сказалъ:

— Какой прекрасный садъ!

— Да, батюшка, хорошъ!—проговорилъ Лаврентій.

— И какое множество цвѣтовъ!

— Да съ; покойница ихъ очень жаловала.

— Что она... одна этимъ занималась?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ у ней были помощники?

— Какже-съ! Садовникъ Трифонъ.

Мирошевъ замолчалъ.

— Да, сударь,—продолжалъ Лаврентій, желая поддержать разговоръ,—бывало, весною, покойница съ утра до вечера въ саду. Она изволила надсматривать, Трифонъ сажаетъ цвѣты, а барышня поливаетъ.

— Барышня?—прервалъ Кузьма Петровичъ, оборотясь къ Лаврентію.—А, да, знаю! Воспитанница покойной тетушки?

— Точно такъ-съ.

— Кто она такая?

— Офицерская дочь, Марья Дмитріевна Терпугова.

— Гдѣ-жъ она теперь.

— Здѣсь, сударь. Послѣ смерти покойной вашей тетушки, она живетъ со мною.

— Въ людской?

— Да, сударь.

— Въ людской!—повторилъ про себя Мирошевъ.

Щеки его пылали; онъ прошелъ молча раза два по комнатѣ, потомъ остановился и, не глядя на Лаврентія, спросилъ:

— Ну, чтожъ она намѣрена теперь дѣлать?

— Да что вамъ будетъ угодно, батюшка Кузьма Петровичъ.

— Мнѣ? Почему же мнѣ? Послушай, Лаврентій, пока здѣсь не было хозяина, она могла жить съ тобой и съ Федосьей въ людской, обѣдать вмѣстѣ съ вами; но теперь...

— Такъ чтожъ?—прервалъ Лаврентій.—Если вы позволите мнѣ держать ее попрежнему.

— Помилуй, да развѣ это можно?...

— Сдѣлайте милость, батюшка! Я отъ васъ и зерна лишняго не потребую. Если вы только моей мѣщины не убавите, такъ будетъ и съ нея и съ меня.

— Да развѣ объ этомъ рѣчь, Лаврентій?—вскричалъ Мирошевъ.—Какъ тебѣ не стыдно! Когда здѣсь никого не было,

такъ она поневолѣ должна была жить съ вами; а теперь... Ну, подумай хорошенько: прилично ли ей, благородной дѣвицѣ, жить въ людской и обѣдать съ дворовыми людьми, когда самъ баринъ на лицо.

— Конечно, сударь, — сказалъ Лаврентій, почесывая въ головѣ, — что и говорить — обидно: офицерская дочь...

— Вотъ то то и есть!

— Да дѣлать то нечего, батюшка! Не такъ живи, какъ хочется, а такъ, какъ Богъ велѣлъ.

— Послушай, Лаврентій: еслибъ я попросилъ ее жить въ домѣ и обѣдать вмѣстѣ со мною...

Лаврентій не отвѣчалъ ни слова.

— Ну, какъ ты думаешь?

— Власть ваша.

— Я спрашиваю тебя не объ этомъ: я хочу знать твоё мнѣніе... Да чтожъ ты переминаешься? Говори прямо. Не правда ли, что это будетъ лучше?

— Полно, лучше ли, сударь! Не погнѣвайтесь, батюшка, Кузьма Петровичъ! У васъ, вѣрно, нѣтъ ничего дурного на умѣ, да человекъ вы молодой, Марья Дмитриевна также съ небольшимъ шестнадцать годковъ; такъ, воля ваша, а ей не приходится жить съ вами въ одномъ домѣ. Добро бы она была вамъ съ родни — двоюродная или хоть внучатная сестрица, а то, — помилуйте: что скажутъ сосѣди?...

— Да, это правда, — прошепталъ Мирошевъ.

Онъ прошелъ молча нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ остановился и сказалъ Лаврентію:

— А ты думаешь, что злые люди ничего не скажутъ, если она будетъ жить въ людской, а не въ домѣ? Вѣдь ты не станешь же держать ее за замкомъ?... Мы будемъ съ нею встрѣчаться.

— Такъ, сударь! Да все это не то; и злой человекъ разсудить, что еслибъ что ни есть такое было, такъ она бы не стала жить въ людской избѣ и ѣсть съ нами гречневую кашу, да горохъ. Конечно, всего бы лучше, еслибъ Господь Богъ послалъ ей женишка.

У Мирошева замерло сердце.

— Когда ваша покойная тетюшка еще здравствовала, — продолжалъ Лаврентій, — такъ жениховъ то довольно наклевывалось; вотъ, напримѣръ, Степанъ Ивановичъ Малышевъ два разъ сваху подсылалъ.

— Малышевъ? А кто онъ такой?

— Гарнизонный прапорщикъ изъ Новохоперска. Собою не красивъ и, говорятъ, стаканчика придерживается; да ужъ теперь, гдѣ разбирать, лишь только бы кто на есть по-сватался...

— А этотъ Малышевъ ужъ не сватается?—спросилъ съ живостію Мирошевъ.

— Вотъ то то и есть, никакъ передумалъ. Бывало, въ недѣлю раза три прїѣдетъ, а какъ узналъ, что послѣ покойницы духовной не осталось, такъ и ногу переломилъ.

— Подлецъ!—вскричалъ Кузьма Петровичъ, вздохнувъ свободнѣе.

— Да Богъ милостивъ!—прибавилъ Лаврентій вполголоса. Пршрое воскресенье былъ у обѣдни въ нашемъ приходѣ, въ селѣ Вознесенскомъ, прїѣзжій подъячій изъ Саратова: онъ что то больно поглядывалъ на Марью Дмитріевну...

— Подъячій!—повторилъ Мирошевъ.—Да неужели она согласится выйти за подъячаго?

— А почему-жь и не выйти, батюшка? Вѣдь жениховъ то бракують однѣ богатые невѣсты. Онъ же молодець такой бравый, и лицомъ хоть куда; только лѣвый глазъ подбитъ, да вѣдь это не болѣзнь какая,—пройдетъ! Вотъ послѣ-завтра онъ, вѣрно, будетъ опять у обѣдни, извольте сами посмотрѣть.

— Хорошо, хорошо, Лаврентій; прощай! Я подумаю, что намъ дѣлать съ Марьей Дмитріевной.

— Да, батюшка, утро вечера мудренѣе. Прощенья просимъ! Крѣпкаго сна, покойной ночи!

Лаврентій ушелъ и черезъ нѣсколько минутъ явился Прохоръ раздѣвать своего барина.

— Ну, сударь,—сказалъ Кондратьичъ,—угостилъ я знатно вашихъ мужичковъ! Староста Парфень лыкомъ не вяжетъ, да и всѣ порядкомъ натянулись; а Федора Безпалаго такъ раздуло отъ браги, что кушакъ на немъ лопнулъ. Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, приказалъ, чтобъ завтра, по-утру, готова была телѣжка: вамъ надобно всѣ поля объѣхать; да не мѣшаетъ и въ лѣсъ завернуть: я слышалъ, въ немъ есть порубки.

Мирошевъ не отвѣчалъ ни слова, а Кондратьичъ, выходя изъ спальни, сказалъ про себя: «Ну, видно, его поряд-

комъ ошеломило: все еще не можетъ образумиться. Эко счастье, подумаешь!... Подлинно, правду говорятъ: «голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ».

## VII.

### Отчаяніе и радость Прохора Кондратьича.

— Что это, Кузьма Пегровичъ,—сказалъ Прохоръ, войдя на другой день, часу въ седьмомъ къ Марошеву, который сидѣлъ совсѣмъ одѣтый у окна и читалъ какую то бумагу,— да вы ужь готовы? Раненько, сударь, изволили подняться! И мнѣ всю ночь не спалось; сегодня, батюшка, я чѣмъ-свѣтъ ходилъ на ваше гумно и пересчиталъ всѣ одоньи. Эка благодать, подумаешь! Одного немолоченаго хлѣба рублей на двѣсти будетъ, да житницы биткомъ набиты. Ну, ужь помѣстье! Нечего сказать, наградилъ насъ Господь Богъ за потерпѣнье!.. Да не угодно ли вамъ чего-нибудь позавтракать, сударь? Иль покушаете, пріѣхавши съ поля? Вѣдь вы изволите ѣхать?

— Да, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ,—мы поѣдемъ, но только не въ поле, а въ городъ.

— Въ городъ? Зачѣмъ, сударь?

— Мнѣ надобно подать просьбу.

— Чтобъ васъ ввели во владѣніе? Да это еще не къ спѣху, батюшка; успѣете и завтра.

— Ты знаешь, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—что у покойной тетушки была воспитанница?

— Офицерская дочь, Марья Дмитріевна Терпугова? Какъ же, сударь, я ее видѣлъ. Что за прекрасная барышня такая! Бѣдная сиротинка: ни отца, ни матери, ни роду, ни племени... Не оставьте ее, батюшка!

— А знаешь ли ты, Прохоръ, что покойная тетушка хотѣла укрѣпить ей все свое имѣніе.

— Кто это вамъ сказалъ, сударь? Помилуйте, кабы хотѣла, такъ и укрѣпила бы! Что вы всему вѣрите!

— Но если я имѣю вѣрныя доказательства...

— Не можетъ быть, Кузьма Петровичъ! Тетушка ваша была барыня добрая и справедливая. Не лалила она съ покойною вашею матушкой,—знаю, сударь! Да вы то въ чемъ

виногаты? Вѣдь вы родной ея племянникъ, а Марья Дмитріевна что: пріемышь!

— Если ты не вѣришь мнѣ, такъ спроси у Федосьи или у Лаврентія.

— Что мнѣ Лаврентій, помилуйте! Эку выдумали штуку!... Видишь, покойница хотѣла отдать все имѣнье чужому человѣку, обидѣть родного племянника!... Ужь не хотѣла ли она отдать все имѣнье Лаврентію да Федосьѣ!... Диво, что они этого не говорятъ! Вѣдь на мертвого лги, что хочешь.

— Да вотъ, кажется, и Лаврентій; мы сейчасъ узнаемъ всю правду. Поди сюда, лк безный!—продолжалъ Мирошевъ, развертывая бумагу, которую держалъ въ рукѣ. Ты грамоту знаешь?

— Какъ же, сударь.

— Посмотри, чья это рука?

— Это рука покойной вашей тетушки.

— Хорошо. Ступай, попроси сюда Марью Дмитріевну. Лаврентій поклонился и вышелъ.

— Я нашель эту бумагу нечаянно,—сказалъ Мирошевъ; —она лежала вмѣстѣ съ другими бумагами въ письменномъ столикѣ. Знаешь ли, Прохоръ, что въ ней написано? Это черновая духовная покойной тетушки: она отказываетъ въ ней все имѣнье воспитанницѣ своей, Марьѣ Дмитріевнѣ Терпуговой.

— Скажите пожалуйста! — вскричалъ Прохоръ.— Ну этого я не чаялъ отъ покойницы. Эхъ, матушка, княжна Елена Семеновна, согрѣшила ты на старости! А все-таки вышло не по твоему: думала покривить душой, да Богъ не допустилъ; хотѣла, да не сдѣлала.

— А развѣ это не все равно?—сказалъ Мирошевъ.

— Какъ, все равно? Что вы, батюшка! Я таки по судамъ шатался довольно, знаю кой-что. Какая это духовная? Куда она явлена? Кто былъ свидѣтелемъ? Да и написана то какъ,—вся въ помаркахъ, на полулистѣ. Помилуйте, да этой духовной никакой судъ не утвердить!

— А если я захочу ее утвердить?

Кондратьичъ остолбенѣлъ.

— Вы?...— проговорилъ онъ.— Какъ вы?... Чтожъ вы хотите сдѣлать?

— Исполнить волю покойной моей тетушки.

— Да что вы, сударь, шутите что-ль?



— Нѣтъ, Прохоръ, не шучу.

— Такъ вы хотите отдать Хопровку этой сиротѣ?... Ахъ, Господи!... Батюшка, Кузьма Петровичъ, да что это съ вами сдѣлалось?

— Послушай, Прохоръ. Еслибъ покойная тетюшка не умерла скоропостижно, а имѣла бы время сдѣлать законнымъ образомъ и предъявить эту духовную...

— Мало ли что, сударь! — прервалъ Кондратьичъ. — Еслибъ то, еслибъ другое... Да вѣдь этого ничего не было. Да чтожъ вы, Кузьма Петровичъ, грѣха что-ль не бонтесь? Господь Богъ послалъ вамъ свою милость, а вы не принимаете!... «Онъ, дескать, рѣшилъ такъ, а я перерѣшу по своему!» Полноте, батюшка, что вы: вѣдь Бога то умнѣй не будете!

— И, Прохоръ, да развѣ не все дѣлается по волѣ Божіей? Развѣ не Онъ вложилъ въ меня совѣсть, которая запрещаетъ мнѣ обидѣть эту круглую сироту?

— Круглую сироту! А вы то что, сударь?

— Оставить ее безъ куска хлѣба!

— А вы то сами что будете кушать?

— Я мужчина — я могу служить; если не найду мѣста въ Москвѣ, то вступлю опять въ военную службу.

— Да, много вы въ ней выслужили!

— Почему знать, что будетъ впередъ! Богъ милостивъ!

— Да, сударь, Онъ былъ до васъ милостивъ: свалилось съ неба имѣніе, да, видно, на васъ и Богъ то не угодить.

— Сердись на меня, какъ хочешь, Прохоръ, а межъ тѣмъ ступай-ка укладываться.

— Укладываться? — повторилъ Кондратьичъ испуганнымъ голосомъ. — Такъ вы и подумать то не хотите?

— Я и такъ ужъ довольно думалъ.

— Господи, Господи! — вскричалъ Прохоръ съ совершеннымъ отчаяніемъ. А помѣстье то какое! Домъ какъ полная чаша; одного хлѣба на пятьсотъ рублей!... Да долго ли мнѣ, окаянному, мыкаться съ вами по бѣлу свѣту! Да что это меня не приберетъ Господь!... Батюшка, Кузьма Петровичъ, не торопитесь, Бога ради не торопитесь!... И что вамъ далась эта сирота?... Что вы съ ней дѣтей, что-ль крестили?... Ну, наградите ее, выдajte замужь...

— Замолчи, Прохоръ! — прервалъ съ досадою Мироншевъ. — Дѣлай, что я приказываю, или я и безъ тебя уѣду отсюда.

Никогда еще Кузьма Петровичъ не говорилъ такъ круто съ своимъ дядкою. У бѣднаго старика руки опустились.

— Безъ меня! — шепталъ онъ, выходя изъ комнаты. — Безъ меня! Вотъ, до чего я дожилъ!

Въ передней повстрѣчались съ нимъ Лаврентій и Марья Дмитріевна. Лаврентію онъ не поклонился, а на Марью Дмитріевну взглянулъ почти съ ненавистью.

— Хопровская помѣщица! — бормоталъ онъ себѣ подъ носъ. — Да она и на барыню то вовсе не походитъ: такъ — дѣвчонка!... И что она показала мнѣ хорошею?... Совсе не хороша! А ужъ какая ледащяя, взглянуть не на что: того и гляди, пополамъ переломится.

Лаврентій вошелъ въ спальню и доложилъ о Марьѣ Дмитріевнѣ.

— Попроси ее въ гостиную, — проговорилъ Мирошевъ прерывающимся голосомъ.

Сердце его такъ сильно билось, что ему нужно было нѣсколько минутъ, чтобъ собраться съ духомъ. Онъ всю ночь провелъ въ ужасной борьбѣ съ самимъ собою. Сначала онъ совсѣмъ было рѣшился предложить Марьѣ Дмитріевнѣ свою руку. Казалось, чего бы лучше? Воспитанница его покойной тетки была бы пристроена, а онъ сдѣлался бы самымъ счастливейшимъ человѣкомъ въ мірѣ; но вдругъ онъ вспомнилъ слова Лаврентія: «Вѣдь жениховъ то бракують однѣ богатыя невѣсты, а ужъ теперь гдѣ ей разбирать: лишь только бы кто-нибудь посватался!» И такъ, еслибъ онъ не понравился Марьѣ Дмитріевнѣ, то она и тогда бы отдала ему свою руку, для того только, чтобъ имѣть кусокъ хлѣба. Сдѣлать предложеніе этой бѣдной дѣвушкѣ въ ту самую минуту, когда участь ея была совершенно въ его рукахъ, не то же ли самое, что сказать ей: «Ты меня не знаешь, никогда меня не видала; быть можетъ, я человѣкъ дурной, быть можетъ, наружность моя тебѣ не нравится, быть можетъ даже, что ты любишь другого; но это все равно: ты должна выйти за меня замужъ, потому что ты нищяя, потому что благодѣтельница твоя хотѣла, но не успѣла обезпечить твое состояніе; ты любила ее, какъ родную мать, а я не зналъ даже, что она и существуетъ; но ты ей чужая, а я родной племянникъ, законный наслѣдникъ и, слѣдовательно, имѣю полное право лишить тебя послѣдняго убѣжища, выгнать вонъ изъ дому или изъ милости кормить вмѣстѣ съ моими людьми на за-

стольной.» О, вѣтъ, вѣтъ, — подумаль Мирошевъ; — пусть будетъ она прежде владѣть тѣмъ, что ей было назначено, пусть выборъ ея будетъ совершенно свободенъ, и тогда, если она не отвергнетъ любовь мою, если согласится добровольно отдать мнѣ свою руку, — о, тогда я буду истинно счастливъ!—Въ наше время какой-нибудь романтической любовникъ и этимъ бы не удовольствовался: его стала бы мучить мысль, что она соглашается выйти за него замужъ только изъ одной благодарности; но разборчивость Мирошева не простиралась до этой степени, во-первыхъ потому, что, несмотря на свою скромность, онъ зналъ, что у него наружность довольно пріятная, а во-вторыхъ потому, что тогда бы уже онъ не могъ ни въ какомъ случаѣ быть ея мужемъ, и, слѣдовательно, ради утонченности своихъ чувствъ, обрекъ бы самъ себя на вѣчное страданіе. Не знаю, какъ думаютъ другіе, а по мнѣ такіе вольные мученики интересны только на сценѣ, гдѣ всѣ горести, бѣдствія и мученія оканчиваются вмѣстѣ съ опущеніемъ занавѣса.

Мирошевъ вышелъ въ гостиную. Марья Дмитріевна въ томъ же самомъ платьѣ и аломъ платочкѣ, въ которыхъ онъ видѣлъ ее въ первый разъ, стояла посреди комнаты; щеки ея пылали, а изъ потупленныхъ глазъ катились крупныя слезы.

— Оставь насъ однихъ, — сказалъ Мирошевъ Лаврентію, который стоялъ у дверей столовой.

Марья Дмитріевна вздрогнула и робко оглянулась назадъ, а Лаврентій посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ на нее, потомъ на своего господина и хотѣлъ что-то сказать; но Мирошевъ повторилъ твердымъ голосомъ свое приказаніе, и Лаврентій вышелъ вонъ.

— Садитесь, Марья Дмитріевна, — сказалъ Мирошевъ, указывая рукою на канапе. — Мнѣ нужно поговорить съ вами... Да сдѣлайте милость... я прежде васъ не сяду!

Почтительный и даже робкій голосъ Мирошева ободрилъ бѣдную сироту: она подняла глаза, и когда взоры ихъ встрѣтились, когда она взглянула на это кроткое, милое лицо, исполненное добродушія и чести, то сердце ея перестало замирать отъ страха и забилось свободнѣе.

— Прошу покорно! — сказалъ Мирошевъ, взявъ ее за руку и посадивъ на канапе. — Это настоящее ваше мѣсто: вы здѣсь хозяйка.

— Хозяйка!—прошептала бѣдная дѣвушка.

Она взглянула почти съ укоромъ на Мирошева и горько заплакала.

— Да о чемъ же вы плачете? — вскричалъ Мирошевъ, садясь противъ нея на стулъ.—Успокойтесь, Бога ради! Я повторяю вамъ еще разъ: вы здѣсь хозяйка: не вы у меня, а я у васъ въ гостяхъ.

— Извините, Кузьма Петровичъ, — сказала прерывающимся голосомъ Марья Дмитріевна, — я очень помню, что я сирота и живу здѣсь по вашей милости.

— Вотъ въ этомъ то вы и ошибаетесь. Вы, вѣрно, знаете, что покойная моя тетушка хотѣла вамъ укрѣпить все свое имѣнье?

Марья Дмитріевна не отвѣчала ни слова.

— Да будьте же со мною откровенны, — продолжалъ Мирошевъ.—Не правда ли, вы это знаете?

— Да, — проговорила вполголоса Марья Дмитріевна, — матушка... то есть благодѣтельница моя, говорила мнѣ объ этомъ за нѣсколько дней до своей смерти; но едва ли она имѣла право это сдѣлать...

— О, что имѣла, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія!

— Но не должна была имъ воспользоваться, хотите въ сказать?—прервала съ живостію Марья Дмитріевна.—Я совершенно съ вами согласна. Я думаю, было бы несправедливо, еслибъ она для чужого человѣка обидѣла своего родного племянника.

— А развѣ она для васъ была чужая?

— О, нѣтъ, нѣтъ! — вскричала бѣдная дѣвушка, залившись слезами.

— Я никогда не видалъ покойной моей тетушки, — продолжалъ Мирошевъ, — а вы были утѣшеніемъ ея старости, она любила васъ, какъ дочь родную...

— Да, это правда.

— Ну, вотъ видите ли, Марья Дмитріевна, что не вы, а я былъ чужой человѣкъ для покойницы; слѣдовательно, это имѣнье должно, по всей справедливости, принадлежать вамъ... Что вы смотрите на меня съ такимъ удивленіемъ? Вѣдь тетушка точно хотѣла укрѣпить вамъ свое имѣнье; вотъ и доказательство этому, — прибавилъ Мирошевъ, подавая Марьѣ Дмитріевнѣ черновую духовную.—Эта бумага не значитъ ничего передъ закономъ, — продолжалъ онъ, — но никто не можетъ запретить мнѣ исполнить то, что въ ней

написано, и отказаться въ вашу пользу отъ этого наслѣдства.

— Въ мою пользу? — повторила Марья Дмитріевна, поблѣднѣвъ, какъ смерть. — Кузьма Петровичъ, вы смѣтаетесь надо мной!...

— Можете ли вы это думать? Да, Марья Дмитріевна, съ этой минуты здѣсь все принадлежитъ вамъ. Позвольте мнѣ только остаться еще нѣсколько дней вашимъ гостемъ: мнѣ надобно будетъ съѣздить въ городъ, подать просьбу и похлопотать, чтобъ васъ скорѣй ввели во владѣніе.

— Боже мой, Боже мой! — прошептала Марья Дмитріевна, сложивъ набожно руки. — Не сонъ ли это?... Ахъ, Кузьма Петровичъ!...

— Благодарите не меня, — сказалъ Мирошевъ, вставая, — а вашу благодѣтельницу: я только исполнитель послѣдней ея воли. Вотъ все, что мнѣ нужно было вамъ сказать. Ступайте, обрадуйте скорѣе добрыхъ людей, которые не оставили васъ въ несчастіи: теперь вы можете съ ними поквитаться. Прощайте, Марья Дмитріевна!

Кто испыталъ надъ самимъ собою, какъ сильно дѣйствуетъ на душу, не постепенный, а внезапный переходъ отъ горя къ счастью, или отъ счастья къ горести, тому будетъ весьма понятно, что Марья Дмитріевна почти совершенно потеряла разсудокъ. Въ передней дождался ее Лаврентій; она упала ему на грудь, рыдала, улыбалась, крестилась и не могла выговорить ни слова. Кондратьичъ, который былъ также въ передней, смотрѣлъ на все это съ примѣтнымъ ужасомъ и, казалось, готовъ былъ отъ отчаянія удариться головой объ стѣну.

— Матушка, барышня, что вы это? — говорилъ Лаврентій. — Что съ вами сдѣлалось? Да перестаньте, ради Христа! Господь съ вами, что вы это: и смѣтаетесь и плачете!...

— Да, — прошепталь Кондратьичъ сквозь зубы, — есть отъ чего и посмѣяться, и поплакать съ радости. — Не было ни полушки, да вдругъ алтынъ! Что, сударыня, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Марьѣ Дмитріевнѣ, — баринъ то вамъ отдалъ Хопровку?

— Какъ такъ? — вскричалъ Лаврентій.

— Да, — проговорила, наконецъ, Марья Дмитріевна. — Кузьма Петровичъ хочетъ непременно исполнить волю покойной моей благодѣтельницы. О, какой это добродѣтельный и благородный человекъ!

— Да, конечно,—прервалъ Кондратьичъ,—баринъ мой человекъ благородный; да вотъ посмотримъ, что то онъ станетъ дѣлать съ своимъ благородствомъ, какъ перекусить то нечего будетъ.

— Что вы говорите? — прервала съ живостію Марья Дмитріевна. — Да неужели Кузьма Петровичъ человекъ бѣдный?

— А вы, чай, думали—богатый? То то и есть: торова-таго съ богатымъ не распознаешь.

— Однакожь, у него есть какое-нибудь имѣнье?

— Какъ же! Телѣга, да пара лошадей.

— Но, можетъ быть, у него есть деньги?

— И деньги есть: у насъ у обоихъ цѣлковыхъ пять наберется.

— Возможно ли?... Да чѣмъ же онъ самъ будетъ жить?

— А чѣмъ живутъ птицы небесныя. Баринъ пробирается въ Москву, чтобъ поискать какой ни есть службы; да надежда то плоха: ни сродниковъ, ни знакомыхъ; найдетъ мѣстечко—хорошо...

— А если нѣтъ?

— Такъ дѣлать нечего: авось Христовымъ именемъ проживемъ какъ-нибудь.

— Боже мой, Боже мой!—вскричала Марья Дмитріевна, всплеснувъ руками.—Кузьма Петровичъ сирота, у него ничего нѣтъ, и онъ рѣшился...

— Матушка-барышня, ваше благородіе—прервалъ Кондратьичъ.—Я вижу, вы человекъ добрый, — будьте мать родная, не пустите насъ по міру! Ну, ужъ такъ и быть, грѣхъ пополамъ: будетъ и съ васъ и съ него.

Марья Дмитріевна молчала. Вдругъ лицо ея покрылось яркимъ румянцемъ, глаза заблестали, она воротилась назадъ и вошла поспѣшно въ гостиную. Мирошевъ сидѣлъ, задумавшись, у окна. Увидѣвъ ее, онъ вздрогнулъ и вскочилъ со стула.

— Кузьма Петровичъ,—сказала Марья Дмитріевна твердымъ голосомъ, — вы рѣдкій, необычайный человекъ, я вѣчно буду молить за васъ Бога; но ни за что не согласусь принять ваше благодѣяніе.

— Что это значить?—спросилъ Мирошевъ.—Что съ вами сдѣлалось?

— Теперь я знаю все,—продолжала Марья Дмитріевна:—вы сами ничего не имѣете; вы такой же сирота, какъ я,

и хотѣли уступить мнѣ, совершенно чужой для васъ и незнакомой дѣвушкѣ, законное ваше наслѣдство... О, нѣтъ, нѣтъ, я никогда на это не соглашусь!

— Но если это была воля покойной вашей благодѣтельницы?

— Почему вы это знаете? Почему вы знаете, что происходило въ душѣ ея, когда она разставалась съ жизнью? Можетъ быть, умирая, тетушка ваша благодарила Бога, что онъ не допустилъ ее поступить такъ несправедливо? И неужели вы думаете, что благодѣтельница моя, эта добродѣтельная, святая женщина рѣшилась бы лишить наслѣдства родного племянника, еслибъ знала, что онъ останется безъ куска хлѣба?

— Вы напрасно это думаете. Я молодъ, могу служить... а вы...

— Обо мнѣ не безпокойтесь. У меня нѣтъ ни отца, ни матери; но тамъ — на небесахъ, есть Отецъ, Который никогда не покидаетъ дѣтей Своихъ. Съ вашею покойною тетушкою была знакома игуменья женскаго монастыря, который недалеко отсюда: она, вѣрно, не откажется принять меня въ свою обитель..

— Какъ!—вскричалъ Мирошевъ,—вы хотите покинуть мѣръ?

— Да для чего же я въ немъ останусь? Здѣсь я сирота, а тамъ будутъ у меня и мать, и сестры...

— Но кто же станетъ заботиться о счастья здѣшнихъ крестьянъ? Кто наградитъ добрыхъ людей, которые не покинули васъ въ сиротствѣ?

— Вы, Кузьма Петровичъ: это имѣнье принадлежитъ вамъ.

— Слѣдовательно, я имѣю право отдать его тому, кому хочу?

— Только не мнѣ!—прервала съ жаромъ Марья Дмитриевна.—Бога ради, не мнѣ! вмѣсто добра, вы сдѣлаете зло. Это благодареніе, какъ тяжелый камень, ляжетъ на груди моей. Теперь я ничего не имѣю; но я сплю спокойно, ничто не тревожитъ моей совѣсти; а тогда!... Да неужели вы думаете, что я или забуду вашъ великодушный поступокъ, или, живя сама въ изобиліи, стану равнодушно думать о томъ, что вы, племянникъ моей второй матери, мой благодѣтель, терпите нужду, не имѣете пристанища, или, что еще грустнѣе, живете по милости чужихъ людей?... О, эта

мысль была бы для меня ужаснѣе и нищеты, и сиротства, и всего на свѣтѣ!... Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, заклиная васъ Богомъ, не дѣлайте этого!...

Когда высокое, святое чувство одушевляетъ всѣ черты лица, когда въ нихъ выражается вся неизъяснимая доброта, все великодушiе, къ которому способно сердце женщины, то еслибъ эта женщина была и дурна собою, она въ эту минуту становится прекрасною. Что же была Марья Дмитриевна, когда, устремивъ на Мирошева свои небесно-голубые глаза, она просила у него, какъ милости, дозволить ей остаться бѣдною сиротою?... О, въ эту минуту она не походила на существо земное! Ей не доставало только крыльевъ, чтобъ быть ангеломъ небеснымъ. Мирошевъ готовъ былъ упасть къ ея ногамъ; несмотря на свою робость онъ чувствовалъ, что не можетъ долѣе скрывать любви своей.

— Если вы не желаете, — сказалъ онъ, заикаясь, — владѣть однѣмъ имѣньемъ покойной моей тетушки, то согласитесь, по крайней мѣрѣ, владѣть имъ вмѣстѣ со мною.

— Какъ, вмѣстѣ съ вами?

— Да, Марья Дмитриевна, — продолжалъ Мирошевъ, — если вы хотите, чтобъ я не отказался отъ этого наслѣдства, то должны... вмѣстѣ съ нимъ... отдать мнѣ вашу руку!...

Больше этого Мирошевъ не могъ сказать ничего, потому что языкъ его пересталъ двигаться.

Марья Дмитриевна поблѣднѣла, потомъ снова румянецъ заигралъ на ея щекахъ. Она до того была поражена этимъ внезапнымъ предложенiемъ, что не могла вымолвить ни слова. Кузьма Петровичъ былъ также не въ лучшемъ положенiи. Онъ высказалъ то, что было у него на душѣ; но этотъ отчаянный порывъ истощилъ все его мужество: онъ стоялъ, какъ приговоренный къ смерти, и только думалъ про себя: «Боже мой, что то она скажетъ?» Но Марья Дмитриевна молчала. Вотъ прошло нѣсколько минутъ, Мирошевъ собрался съ духомъ, мысленно перекрестился и сказалъ:

— Марья Дмитриевна, хотите ли вы быть моею женою?

— Но вы видите меня въ первый разъ, — прошептала испуганная дѣвушка: — вы меня не знаете...

— Я вижу, что вы прекрасны, — вскричалъ съ восторгомъ Мирошевъ, — и знаю, что вы добры, какъ ангелъ! Чего же мнѣ больше?



Застѣнчивый человекъ, когда онъ преодолѣетъ, наконецъ, это врожденное чувство, очень походить на труса, которому некуда спрятаться: онъ до того можетъ расхрабриться, что его ужъ ничѣмъ не уймешь. Да и любовь—дѣло великое; она хоть кому развяжетъ языкъ. Стыдливый и робкій Мирошевъ вдругъ сдѣлался такъ смѣль и настойчивъ, какъ будто бы во всю свою жизнь только и дѣлалъ, что изъяснялся въ любви. Напрасно Марья Дмитриевна просила небольшой отсрочки, Кузьма Петровичъ былъ неумолимъ; онъ требовалъ, чтобъ она, не сходя съ мѣста, отвѣчала на его вопросъ.

— Если вы теперь же не рѣшите моей участи, — говорилъ онъ, — то я приму ваше молчаніе за отказъ: сейчасъ ускачу въ городъ, укрѣплю за вами Хопровку, отправлюсь въ Москву, умру съ горя, сойду съ ума и уѣду на край свѣта!

Читатели, вѣроятно, замѣтятъ, что, говоря эти слова, Кузьма Петровичъ вовсе не заботился о логической постепенности; ему надобно было прежде всего уѣхать на край свѣта и сойти съ ума, а потомъ умереть съ горя; но въ этихъ случаяхъ истинное чувство убѣждаетъ лучше всякой логики, и одинъ взглядъ, который высказываетъ всю душу, дѣйствуетъ сильнѣе сотни самыхъ правильныхъ силлогизмовъ. Вы знаете, что Мирошевъ имѣлъ пріятную наружность, а что онъ былъ добръ и благороденъ, въ этомъ Марья Дмитриевна сомнѣваться не могла; чтожъ оставалось ей дѣлать? Разумѣется, она закрыла руками лицо, заплакала, потомъ взглянула украдкой на Мирошева, потомъ улыбнулась, потомъ протянула ему руку и сказала: «да».

Кузьма Петровичъ, какъ и всѣ добрые люди, не умѣлъ скрывать своей радости, и всегда спѣшилъ подѣлиться ею съ другими. Естественно, первыя минуты были посвящены безмолвнымъ восторгамъ, еще нѣсколько минутъ—увѣреніямъ въ вѣчной любви и вѣрности; потомъ Мирошевъ вышелъ со своею невѣстою въ столовую, позвалъ Лаврентія и Прохора, и сказалъ имъ:

— Вотъ ваша барыня!

Лаврентій поклонился, а Кондратычъ пробормоталъ сквозь зубы:

— Барыня!... Ну, пожалуй себѣ, барыня, да только не моя.

— Марья Дмитриевна,—продолжалъ Кузьма Петровичъ,—

этотъ старикъ былъ моимъ дядькою, или, лучше сказать, вторымъ отцомъ моимъ. Онъ давно уже имѣеть отпускную, но не хотѣлъ никогда меня покинуть. Любите его такъ же, какъ я буду всегда любить Лаврентія и Федосью, которые не оставили васъ въ сиротствѣ. Ну, чтожъ ты, Прохоръ, на меня смотришь?—прибавилъ Мирошевъ.—Кланяйся Марья Дмитріевнѣ: она моя невѣста.

— Невѣста? — повторили въ одинъ голосъ оба старика.

— Да, мои друзья: Марья Дмитріевна согласилась выйти за меня замужъ и сдѣлать меня самымъ счастливейшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Теперь она моя невѣста, и чрезъ недѣлю, надѣюсь, будетъ моею женою.

— Матушка, Марья Дмитріевна, — вскричалъ Лаврентій, — честь имѣю поздравить! Батюшка, Кузьма Петровичъ!...

— Прошу любить меня и жаловать!—сказалъ Кондратьичъ.—Пожалуйте ручку, матушка! Ну, слава Тебѣ, Господи! Вотъ ужъ будетъ парочка!... Ухъ, батюшки, отлегло отъ сердца!... Такъ Хопровка то теперь наша, Кузьма Петровичъ?

— Разумѣется, — отвѣчалъ съ улыбкою Мирошевъ.—Это приданое моей невѣсты.

## VIII.

Какъ Марья Дмитріевна вышла замужъ за Кузьму Петровича, и какъ покойная его тетушка благословила этотъ союзъ.

Радостная вѣсть о помолвкѣ помѣщика сельца Хопровки съ Марьей Дмитріевной Терпуговой облетѣла въ нѣсколько минутъ всѣ крестьянскія избы. Староста Парфень, у котораго отъ вчерашней попойки голова едва держалась на плечахъ, явился первый съ поздравленіемъ. Вслѣдъ за нимъ пришли старики и всѣ тягловые поклониться будущей своей барынѣ; одни изъ усердія, другіе изъ крестьянской политики, третьи изъ любопытства, а большая часть для того, чтобъ при сей вѣрной оказіи опохмѣлиться и выпить по чаркѣ барскаго вина. Прохоръ Кондратьичъ, какъ человѣкъ, знающій порядокъ, стоялъ уже въ лакейской, держа въ одной рукѣ штофъ, заткнутый клочкомъ бумага, а въ другой рюмку съ отбитою ножкою. Женихъ и невѣста

вышли къ своимъ крестьянамъ; мужички, какъ слѣдуетъ, повалились въ ноги, пожелали имъ *совета и любви*, и отправились по домамъ рассказывать своимъ женамъ, какъ ихъ баринъ стоялъ рядышкомъ съ невѣстою, какъ она держала его за руку, и какъ они оба весело и любовно другъ на друга поглядывали. Одинъ Федоръ Безпалый, у котораго раздутое отъ браги лицо лоснилось, какъ покрытое лакомъ, возвратясь домой, не хотѣлъ ничего отвѣчать на разспросы своей жены, а только бормоталъ про себя:

— Ну, ужь отпотчевали! По чаркѣ вина, — эка невидаль!... Да и чарка то съ наперстокъ, — въ руки взять нечего! Хотъ бы по ковшику бражки поднесли.

По просьбѣ Марьи Дмитриевны свадьба была отложена на двѣ недѣли. Объ этомъ также очень хлопотала Федосья.

— Нельзя же, батюшка, Кузьма Петровичъ, — говорила она, — въ одну недѣлю снарядить невѣсту какъ слѣдуетъ, вѣдь это не около пальца обвести. Конечно, покойница позапасла кое-что для барышни; да мало ли что еще нужно: и наволоки не готовы, и сорочки не прострочены, и то, и другое... Дай, отецъ мой, справиться. Вѣдь поспѣшишь, людей насмѣшишь!

Наконецъ, наступилъ день свадьбы. Это было въ воскресенье. Приходская церковь хопровскихъ жителей находилась въ селѣ Вознесенскомъ, до котораго было не далѣе трехъ верстъ. Часовъ въ восемь по-утру стояла уже у крыльца господскаго дома запряженная четверкою древняя колымага, въ которой обыкновенно ѣзжала покойница къ обѣднѣ. Женихъ и невѣста сидѣли въ гостиной; глаза у невѣсты были заплаканы: это въ порядкѣ вещей; но отчего Кузьма Петровичъ былъ также невеселъ? Отчего и на его глазахъ блистали также слезы? О, на это была весьма важная причина! Можетъ быть, нынче она покажется совершенно ничтожною; но отцы и дѣды наши не такъ объ этомъ думали. Кузьма Петровичъ и Марія Дмитриевна ѣхали вѣнчаться, а ихъ некому было благословить. У дверей стояли: Федосья, Кондратьичъ и Лаврентій; они смотрѣли съ грустію, но безъ всякаго удивленія, на печаль своихъ молодыхъ господъ. Добрые, простодушные люди, они понимали, что въ эту минуту и женихъ и невѣста вполнѣ чувствуютъ свое сиротство!

— Чу, — прошептала Кондратьичъ, — благовѣсть!

— Сегодня служба будетъ пораньше, — сказалъ Лаврен-

тій:—вѣдь послѣ обѣдни вѣнчанье, а тамъ молебень... Не пора ли, батюшка, Кузьма Петровичъ?

— Да, пора!—промолвилъ Мирошевъ, вставая. — Послушайте, мои друзья,—продолжалъ онъ:—мы оба сироты,—насъ некому благословить. Ѳедосья и ты, мой добрый дядька, возьмите образъ и благословите насъ вмѣсто отца и матери.

Лаврентій побѣждалъ въ образную, принесъ икону Спаса Нерукотвореннаго... И вѣрно съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ этотъ христіанскій обычай въ нашемъ отечествѣ, не было пролито слезъ теплѣе и благочестивѣе тѣхъ, которыя лились въ эту торжественную минуту, когда молодые господа, преклонивъ колѣна, принимали благословеніе отъ собственныхъ слугъ своихъ. Ѳедосья и оба старика плакали навзрыдь. О, конечно, родные отецъ и мать не могли бы усерднѣе молиться за дѣтей своихъ, какъ молились они Господу Богу, чтобъ Онъ ниспослалъ благодать и милость Свою на этихъ двухъ безродныхъ сиротъ!

Когда Мирошевъ пріѣхалъ со своею невѣстою въ церковь, въ ней было еще довольно просторно; но къ концу обѣдни она до того наполнилась народомъ, что почти нельзя было пошевелиться. Едва ли гдѣ-нибудь любопытство видѣть молодыхъ подъ вѣнцомъ доходитъ до такого неистовства, какъ у насъ въ Россіи: стотъ только растворить церковныя двери и впускать всѣхъ безъ разбору, такъ въ нѣсколько минутъ не останется свободнаго мѣста ни для священника, ни для молодыхъ. И старики, и дѣти, и мужчины, и женщины, всѣ считаютъ какою то обязанностію войти въ церковь, не молиться, — объ этомъ во время вѣнчанья никто не думаетъ, а такъ, взглянуть, если можно, на жениха и невѣсту, или хоть издалека послушать, какъ поютъ: «Исаія ликуй». Спросите у кого хотите изъ этихъ любопытныхъ, зачѣмъ онъ ломится въ двери, зачѣмъ даетъ себя давить и давить самъ другихъ; однимъ словомъ, зачѣмъ онъ пришелъ въ церковь, если вовсе не думаетъ молиться? И онъ вѣрно будетъ вамъ отвѣчать: «Какъ зачѣмъ? Свадьба!» Другой причины вы отъ него не добьетесь. И это бываетъ въ городахъ, гдѣ дворянскія свадьбы вовсе не рѣдки; представьте же себѣ, какая была давка въ деревянной маленькой церкви села Вознесенскаго, когда пронесся слухъ, что въ ней будетъ вѣнчаться помѣщикъ сельца Хопровки съ офицерскою дочерью, которая жила у покойной княжны Бир-

дюковой. Лишь только обѣдня отошла, Прохоръ Кондратьичъ, при помощи дьячка, порастолкалъ кой-какъ народъ, и обрядъ вѣнчанья начался.

Кузьма Петровичъ и Марья Дмитриевна во все время такъ усердно молились, что не замѣтили даже двухъ молодыхъ людей, которые смотрѣли на нихъ болѣе, чѣмъ съ любопытствомъ. Одинъ изъ нихъ былъ въ военномъ мундирѣ, другой въ нѣмецкомъ кафтанѣ.

— Видишь ли этихъ господъ?—шепнулъ Лаврентій на ухо Кондратьичу.—Вонъ что въ мундирѣ то—это гарнизонный прапорщикъ Малышевъ: онъ сватался за Марью Дмитриевну.

— Право?

— Какъ же! Да не по Сенькѣ шапка!

— А что?

— Да такъ: забрали молодцу затылокъ! А вотъ другой то, дѣтина такой видный, — приказный изъ Саратова, и онъ, говорятъ, хотѣлъ сваху заслатъ; да ужь мы бы ее порядкомъ со двора спровадили. Велика фигура—приказный; да еще съ подбитымъ глазомъ! И туда-жъ нарохтился, подъячій!...

Если читатели замѣтятъ, что Лаврентій за недѣлю до этого говорилъ совсѣмъ другое, то я попрошу ихъ не судить его слишкомъ строго за его невинное хвастовство. Онъ уважалъ Марью Дмитриевну какъ свою барыню и любилъ какъ дочь родную; а сколько есть отцовъ и матерей, которые, говоря о женихахъ своей дочери (ихъ обыкновенно бываетъ очень много), поступаютъ точно такъ же, какъ Лаврентій, и подчасъ отказываютъ даже тѣмъ женихамъ, которые вовсе и не думали свататься.

Когда молодые отслужили молебенъ и приложились къ мѣстнымъ иконамъ, Кондратьичъ и Лаврентій отправились домой, чтобъ встрѣтить новобрачныхъ съ хлѣбомъ-солью, а Марья Дмитриевна предложила своему мужу сходить на могилу покойной его тетки.

— Съ мѣсяцъ тому назадъ, — сказала она, идя съ Мирошевымъ по церковной паперти, — я посадила на ея могилѣ кустъ розановъ; сначала онъ очень хорошо принялся, да вдругъ, не знаю, что съ нимъ сдѣлалось. На прошлой недѣлѣ я служила здѣсь панихиду, — жаль было видѣть: цвѣты, которые стали было распускаться, всѣ завяли, листья облетѣли, совсѣмъ пропалъ. Надобно посадить другой.

— Хорошо, мой другъ; я прикажу садовнику.

— Нѣтъ, ужь позвольте мнѣ самой.

— Какъ хочешь, мой ангель! Да гдѣ же тетушкина могила?

— Вонъ тамъ, на той сторонѣ погоста, за березами.

Молодые подошли къ двумъ толстымъ березамъ, позади которыхъ виднѣлся деревянный крестъ, окрашенный черною краскою. Вдругъ Марья Дмитріевна остановилась.

— Боже мой,—вскричала она,—что это значить?

— Что ты, мой другъ? — спросилъ съ безпокойствомъ Мирошевъ.

— Вы не присылали сюда садовника?

— Нѣтъ.

— Посмотрите, посмотрите!

Подлѣ чернаго креста подымался одѣтый яркою зеленью и усыпанный цвѣтами роскошный кустъ розановъ.

— О, матушка, матушка,—вскричала Марья Дмитріевна, упавъ на могилу своей благодѣтельницы,—я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!

Мирошевъ сталъ на колѣна подлѣ жены своей, и тихая молитва этихъ кроткихъ христіанскихъ душъ, которыя слились вѣрою въ одну душу, какъ чистый эфиръ, вознеслась къ престолу Всевышняго.

— О, мой другъ, — сказала Марья Дмитріевна, обнявъ своего мужа, — теперь нѣтъ сомнѣнья, мы будемъ счастливы! Она благословляетъ нашъ союзъ. Вчера этотъ кустъ походилъ на мертвый трупъ, а сегодня... Посмотри, какъ пышны эти розаны, какъ свѣжа эта зелень! Видишь ли, какъ блестятъ на листочкахъ эти алмазные капли росы?.. О, нѣтъ, нѣтъ, это не роса: это радостныя слезы моей второй матери!

---

Теперь, любезные читатели, я рассказалъ вамъ все; вы знаете, кто такой Кузьма Петровичъ Мирошевъ, и какъ онъ сдѣлался помѣщикомъ сельца Хопровки; но, можетъ быть, вы не знаете, что я до сихъ поръ не приступалъ еще къ моему разсказу, и что все прочитанное вами есть только вступленіе или, говоря языкомъ драматическихъ писателей, экспозиція моей были. Если мнѣ удалось обмануть васъ, если вы прочли эти восемь первыхъ главъ безъ скуки, которая почти всегда бываетъ неразлучною подругою всякаго вступленія и всякой экспозиціи, то я могу вздохнуть

свободно и съ радостію опытнаго моряка сказать: «Ну, слава Богу, теперь есть надежда, что я кончу благополучно мое плаваніе: я миновалъ самое опасное мѣсто, не наткнулся на этотъ подводный камень, который такъ страшенъ для всякаго кормчаго, и могу теперь плыть подъ всѣми парусами». Да, любезные читатели, вступленіе, изложеніе, экспозиція, это такіе камни преткновенія, такіа подводныя скалы, что упаси, Господи! Предисловіе ничего: это простая отмель, на которой стоятъ маякъ, и которую почти всѣ объѣзжаютъ.

Однакожь, постойте! Вы еще не совсѣмъ отдѣлились отъ этого длиннаго вступленія. Ради ясности, которую я очень люблю, и для необходимой связи этой истинной повѣсти, мнѣ нужно кой-что еще вамъ пересказать; да не пугайтесь: право только два-три слова. Во-первыхъ, мнѣ должно васъ предупредить, что эту главу раздѣляютъ съ послѣдующею главою ровно осмнадцать лѣтъ, что эти осмнадцать лѣтъ протекли для Мирошевыхъ какъ одинъ тихій и свѣтлый майскій день; разумѣется, не въ Москвѣ, гдѣ май всегда бываетъ хуже апрѣля, который былъ бы очень хорошъ, еслибъ можно было безъ шубы гулять по улицамъ. У Мирошевыхъ всего навсего дѣтей была одна только дочь, которая родилась въ первый годъ ихъ супружества. Ее называли Варенькой; она была прекрасна, станомъ походила на свою мать, лицомъ на отца, а душой на обоихъ. Пылкое сердце и какая то склонность къ мечтательности составляли отличительную черту ея характера: въ этомъ она вовсе была не похожа на своихъ родителей, которые не давали воли своему воображенію, не летали въ туманную даль, а жили по-просту, какъ Богъ велѣлъ, и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми. Бѣдняжки, они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣютъ свою поэзію; что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что мы, хотя живемъ на сѣверѣ, а должны смотрѣть на западъ, и такъ же, какъ тамъ, думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, то-есть, что мы можемъ забыть о небесной нашей родинѣ, но за то должны предъ наукою благоговѣть, какъ предъ святынею, и художеству поклоняться, какъ божеству.

Въ эти осмнадцать лѣтъ много перемѣнилось въ окрестностяхъ Хопповки. Новохоперскую крѣпость переименовали

въ уѣздный городъ; село Вознесенское отъ прежняго помѣщика перешло во владѣніе знаменитаго графа Р\*\*\*\*. Въ близкомъ разстояніи отъ помѣстья Мирошева поселилось нѣсколько небогатыхъ дворянъ и одинъ отставной бригадиръ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, у котораго было восемьсотъ душъ крестьянъ, а спеси достало бы и на тысячу. Его село съ огромнымъ барскимъ домомъ расположено было по берегу рѣки, верстахъ въ двухъ отъ Хопровки. У этого Ивана Никифоровича Кирсанова... Да нѣтъ, довольно! Пора кончить это безконечное вступленіе; а не то, пожалуй, вы скажете, что мои два-три слова не упишутся на десяти листахъ бумаги.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

### IX.

Нѣсколько новыхъ лицъ, съ которыми нужно познакомиться читателямъ.

---

Я думаю, вы не забыли, что передъ домомъ Кузьмы Петровича, на самой срединѣ двора, росла вѣтвистая черемуха. Въ тысяча семьсотъ осьмидесятомъ году, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, то есть часу въ седьмомъ послѣ обѣда, подъ тѣнью этой черемухи, за круглымъ столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, помѣщики сельца Хопровки угощали чаемъ своихъ сосѣдей. Около самовара хлопотала барыня лѣтъ за тридцать, съ такимъ привѣтливымъ и милостивымъ лицомъ, что нельзя было на нее не полюбоваться. Вы, я думаю, не вдругъ бы узнали въ этой румяной, бѣлолицей и плотной барынѣ прежнюю вашу знакомую, Марью Дмитріевну Терпугову. Изъ юной красавицы съ воздушнымъ станомъ сифиды, про которую Прохоръ Кондратьичъ говорилъ, что она того и гляди переломится, Марья Дмитріевна сдѣлалась дородною женщиною съ прекраснымъ лицомъ — это правда, но вовсе не съ гибкимъ станомъ. Противъ нея сидѣлъ мужчина лѣтъ сорока двухъ или трехъ; онъ такъ мало перемѣнился, что, взглянувъ на него, вы тотчасъ бы сказали: «Это Кузьма Петровичъ!» Однакожь, волосы его начали серебриться, а на лбу и

около глазъ, въ которыхъ выражалось совершенное спокойствіе, стали показываться кое-гдѣ морщины. Ему подавала чашку, наливала въ нее сливокъ и всячески старалась услуживать дѣвушка лѣтъ семнадцати, прелесть собою, съ задумчивыми голубыми глазами, очаровательною улыбкою, высокаго роста, стройная какъ пальма... Извините, это сравненіе вовсе не русское; да вѣдь нельзя же сравнить тонкій и ровный станъ прекрасной дѣвушки съ русскою сосною: несмотря на то, что это сравненіе едва ли не будетъ вѣрнѣе, оно рѣшительно никому не понравится. Что будешь дѣлать, — и не хочешь, да идешь по битой тропинкѣ!... Кажется, не нужно говорить читателямъ, что эта молодая красавица—дочь Мирошевыхъ, Варенька. Какъ будто нарочно для того, чтобъ показать различіе между стройнымъ и худымъ станомъ, рядомъ съ ней сидѣла барыня лѣтъ тридцати пяти. Въ ней замѣтны были большія претензіи на красоту и ловкость: она безпрестанно ребячилась, кусала губы, щурила глаза и наклоняла на лѣвую сторону свою голову. Эта барыня точно была бы не дурная и видная собою женщина, еслибъ можно было назвать женщиною однѣ кости, обтянутыя кожею. Несмотря на свои *бочки* и пышное *фуру* съ фалбалою, она была такъ худа, что походила, безъ всякой лести, на существо безплотное, и такъ плоска, какъ будто бы ее сейчасъ пропустили сквозь плющильную машину. Агриппина Львовна Вертлюгина — такъ называлась эта щеголиха — держала себя прежде довольно порядочно и говорила, какъ всѣ добрые люди, но съ тѣхъ поръ, какъ побывала въ Москвѣ у родственницы своей, супруги сенатскаго оберъ-секретаря, Авдотьи Саввишны Припекиной, первой щеголихи всего Замоскворѣчья, — Агриппина Львовна совершенно перемѣнилась: стала коверкаться, говорить съ ужимками и употреблять самыя отборныя слова и щегольскія выраженія второклассныхъ модниковъ и модницъ тогдашняго времени \*).

Супругъ этой барыни, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ, сидѣлъ подлѣ хозяина. Это былъ мужчина лѣтъ пятидесяти, но довольно еще свѣжій, росту средняго, съ небольшимъ брюшкомъ, краснощекій, курносый, съ маленькими сѣрыми

\* Надъ этимъ вычурнымъ языкомъ, который, разумѣется, никогда не былъ языкомъ хорошаго общества, безъ всякой пощады забавлялся одинъ извѣстный журналъ, который въ 1772 году выходилъ подъ названіемъ „Живописца“.

глазами и важною миною чловѣка, душевно убѣжденнаго въ своей глубокой учености. Надобно сказать правду: онъ точно имѣлъ право гордиться своимъ образованіемъ. Илья Сергѣевичъ былъ изъ духовнаго званія, воспитывался въ семинаріи, доходилъ до риторики и не возвратился вспять, какъ знаменитый Кутейкинъ Фонъ-Визина, но перешелъ въ гражданскую службу, втерся какъ то въ милость къ супругѣ саратовскаго воеводы и, благодаря этому покровительству, отправленъ былъ *на поживу* въ какой то небольшой городокъ. Конечно, значительныхъ *акциденцій* Илья Сергѣевичъ тамъ ожидать не могъ; но онъ былъ чловѣкъ терпѣливый, и держался пословицы: «курочка по зернышку клюеть, а сыта бываетъ». И точно, сначала онъ завелъ парочку лошадокъ, а тамъ, годика черезъ три, и домикъ выстроилъ; велъ себя умненько, ни съ кѣмъ не ссорился и такъ пригрѣлъ себѣ мѣстечко, что прослужилъ на немъ пятнадцать лѣтъ сряду. Межъ тѣмъ благодѣтельница его скончалась, и онъ остался бы совсѣмъ безъ покровителей, еслибъ ему не пришла въ голову счастливая мысль породниться съ какою-нибудь знатною особою. Давно ужъ онъ замѣчалъ, что Агрипина Львовна Припекина, двоюродная сестрица сенатскаго оберъ-секретаря, весьма умильно на него поглядываетъ. Она жила въ одномъ съ нимъ городѣ, въ домѣ своей тетки; Илья Сергѣевичъ посватался, — ему не отказали, онъ женился и вскорѣ, по рекомендаціи новаго своего родственника, переведенъ на другое мѣсто, повыгоднѣе прежняго. Онъ прослужилъ еще пять лѣтъ, купилъ на имя жены сто душъ крестьянъ въ Новохоперскомъ уѣздѣ и вышелъ, наконецъ, въ отставку съ чиномъ коллежскаго ассесора. Несмотря на то, что Илья Сергѣевичъ былъ чловѣкъ скупой, онъ одѣвался очень опрятно, всегда въ нѣмецкомъ кафтанѣ, шелковомъ камзолѣ, въ башмакахъ съ пряжками и напудренномъ парикѣ, съ двумя толстыми пучками и длиннымъ пучкомъ, который висѣлъ у него до самаго пояса. Гражданская служба не могла, однакожъ, изгладить въ немъ совершенно слѣды прежняго воспитанія, и господинъ Вертлюгинъ, несмотря на свою одежду, походилъ болѣе на пожилого семинариста, чѣмъ на оставнаго подьячаго.

Еще одинъ гость въ долгополомъ синемъ сюртукѣ, который начиналъ примѣтнымъ образомъ бѣлѣть по швамъ, сидѣлъ за общимъ столомъ. Это былъ одинъ изъ ближай-

шихъ сосѣдей Мирошева, мелкопомѣстный дворянинъ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ, самый униженный и низкопоклонный старичекъ лѣтъ шестидесяти. Онъ служилъ когда то въ бомбардирской ротѣ Преображенскаго полка солдатомъ и, какъ человѣкъ грамотный, употреблялся ротнымъ командиромъ для письменныхъ дѣлъ; потомъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ штыкъ-юнкера, и отправился на Хоперьъ управлять пятнадцатью душами крестьянъ, которыя достались ему по наслѣдству отъ родителей. Андрей Ѳомичъ никогда не былъ женатъ, но всегда велъ себя примѣрнымъ образомъ и, по словамъ собственныхъ его крестьянъ, за нимъ никакихъ *художествъ* не важивалось; правда, онъ любилъ подчасъ выпить лишній стаканчикъ вина, никогда не отказывался отъ наливки, и не только по праздникамъ, но частенько и въ будни, бывалъ навеселѣ. Да вѣдь нельзя же человѣку одинокому не выпить иногда съ горя, — скучно!

— Помилуйте, — говаривалъ онъ всегда, — за что меня называть пьяницей? Ну, конечно, я пью вино, потому что оно веселитъ сердце человѣческое; а видалъ ли кто-нибудь, чтобъ я валялся въ грязи какъ свинья, или буянилъ, или пѣлъ какія-нибудь непотребныя пѣсни?

И подлинно, вопреки извѣстному дѣйствию всѣхъ крѣпкихъ напитковъ, Андрей Ѳомичъ чѣмъ болѣе пилъ, тѣмъ становился смиреннѣе; но только вино вовсе не веселило его сердца, потому что онъ обыкновенно при второмъ стаканѣ начиналъ задыхаться, а при третьемъ принимался такъ горько плакать, что приходскій пономарь Феропонтъ, съ которымъ онъ особенно часто бесѣдовалъ, не могъ никакъ смотрѣть на него равнодушно, и всякій разъ возвращался домой съ заплаканными глазами. Лицо у Андрея Ѳомича было красное и все въ морщинахъ; на самой верхушкѣ головы сияла кругообразная лысина, а на затылкѣ мотался обвитый черною тесемкою жиденкѣй пучокъ, или, лучше сказать, косичка рыжихъ волосъ съ просѣдью. Зарубкинъ могъ бы назваться человѣкомъ рослымъ, хотя это вовсе въ глаза не бросалось, потому что онъ былъ очень сутуловатъ, не отъ природы, а по привычкѣ, и сверхъ того обладалъ необычнымъ искусствомъ, въ нужныхъ случаяхъ, какъ то съеживаться и становиться не только средняго, но даже малаго роста. Это обыкновенно случалось, когда онъ встрѣчался съ человѣкомъ, который былъ чиновникъ его или богаче; говорить также, что у него язычекъ былъ не

очень хороше, и что иногда, съ видомъ глубочайшей кротости и какъ будто бы безъ намѣренія, онъ отпускалъ преобидныя вещи для тѣхъ, которые съ нимъ разговаривали. Хотя Зарубкинъ имѣлъ дурную привычку выносить соръ изъ избы и ссорить межъ собой сосѣдей, но самъ жилъ со всѣми въ ладу, и рѣшительно никогда и ни за что ни съ кѣмъ не ссорился.

Нѣсколько поодаль отъ другихъ сидѣла на особой скамеечкѣ дѣвушка лѣтъ семнадцати, весьма миловидная собою, съ живыми черными глазками и маленькимъ ротикомъ, который улыбался весьма пріятно. Это была Дуныша, воспитанница и фаворитка Марьи Дмитриевны, дочь Лаврентія, который вскорѣ послѣ смерти жены своей, то есть лѣтъ восемь тому назадъ, отошелъ вслѣдъ за нею къ своимъ праотцамъ.

— Что вы, Андрей Омичъ?—сказалъ Мирошевъ, замѣтивъ, что Зарубкинъ не пьетъ чаю.—Да неужели вамъ еще не подавали? Хозяйка, чтожъ ты это смотришь?

— Подавала, Кузьма Петровичъ, да не хочетъ.

— Что такъ, сосѣдущка любезный?...

— Нѣтъ, сударь,—отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Зарубкинъ,—увольте! Что намъ привыкать къ этому чаю, — не по деньгамъ! Да и пить то его не хорошо.

— Отчего-жь? Вы прежде у насъ пивали?

— То было прежде, батюшка, а теперь, какъ мнѣ порастолковали, такъ, воля ваша, какъ то и совѣсть зазираетъ.

— Полно, братецъ, что ты вздоръ то говоришь!— прервалъ съ важностію Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ.—Да развѣ ты не знаешь, что всякое зелье и всякій злакъ созданъ на потребу человѣка?

— Такъ, сударь, такъ-съ! Да вѣдь это не обо всѣхъ говорится: человѣкъ человѣку не указъ. Вотъ вы, напримеръ, ваше высокоблагородіе, вы люди важные, вамъ и Господь Богъ разрѣшилъ; а мы народъ мелкій, съ насъ больше спросится. Я ужъ говорилъ объ этомъ чаѣ съ нашимъ приходскимъ пономаремъ, такъ и онъ не очень его похваливаетъ. «Во всей, дескать, кормчей книгѣ нѣтъ на это зелье никакого разрѣшенія, такъ еще Богъ знаетъ, что это за трава такая».

— Заслони меня, радость,—шепнула Варенькѣ Агрипина Львовна.—Я вовсе теряю контенансъ! Слышишь, чай

называетъ травкою?.. Ахъ, шерочка, какъ онъ смѣшонъ — ужать!

Кузьма Петровичъ проговорилъ что то потихоньку Марья Дмитріевнѣ; она улыбнулась и сказала Зарубкину:

— Да не угодно ли вамъ чаю то съ французскою водкою?

— Какъ-съ?.. Съ французскою водкою-съ?

— Да. Вѣдь этакъ, я думаю, можно?

— То есть, изволите видѣть, это ужъ будетъ не чай, а французская водка, разбавленная чаемъ?

— Разумѣтся.

— Ну, конечно-съ, это не вредить. Но простой чай, — продолжалъ Зарубкинъ, принимая съ поклономъ чашку изъ рукъ хозяйки, — воля ваша — не христіанское питье, матушка!

— Перестань, любезный!—закричалъ Вертлюгинъ.—Не знаешь ни аза въ глаза, а туда-жъ хочешь о законѣ толковать! Скажи-ка лучше намъ, какъ это, братецъ, богатый то нашъ сосѣдъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, стравилъ тебя вчера съ своимъ дуракомъ Аеонькою?

— Да, сударь, привязался ко мнѣ, проклятый! Научили что-ль его, не знаю. Началъ такія непригожія рѣчи говорить, всячески меня порочить; я сначала все въ шутку поворачивалъ, да онъ ужъ больно сталъ нахальничать: натянулъ палець, да и щелкъ меня по носу; я его отпихнулъ, а онъ и драться. А Иванъ Никифоровичъ, чѣмъ бы дурака то унять, кричить: «Не поддавайся, Аеонька!» А тотъ и пуще! Гляжу: ахти, дуракъ то ужъ до рожи добирается!... Я и руками и ногами, кричу: «Батюшки, бьеть; батюшки бьеть!» А его высокородіе такъ и умираетъ со смѣху. Да ужъ сынокъ то его, Владиміръ Ивановичъ,— дай Богъ ему здоровье, такой добрый,—схватилъ Аеоньку за воротъ и оттащилъ прочь; а все-таки этотъ шальной раза два съвздылъ меня по уху. Что будешь дѣлать!

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ,—сказала Марья Дмитріевна,— что это вы такъ даете себя дурачить?

— Да чтожь, матушка, прикажете дѣлать? Мы люди маленькіе, а его высокородіе челоувѣкъ большой; а вѣдь большому кораблю большое и плаванье.

— Полно, братецъ!—прервалъ Вертлюгинъ.—Что это за плаваніе такое? Бьютъ тебя по рожѣ, а ты это называешь плаваніемъ! Не хорошо, Андрей Ѳомичъ, право, не хорошо! Ну, зачѣмъ ты къ нему таскаешься?

— Какъ же, батюшка,—я человекъ бѣдный...

— То-то и есть,—изъ-за полтинки? А куда-жъ хочеть быть нашимъ братомъ, дворяниномъ!.. Ну, какой ты дворянинъ?

Багровое лицо Зарубкина какъ будто-бъ сдѣлалось еще краснѣе, а на лбу прибавилось нѣсколько морщинъ; но это продолжалось одно только мгновение: лицо его приняло снова прежній смиренный видъ, онъ проглотилъ свою досаду, и только не могъ крыть насмѣшливой и коварной улыбки, которой, однакожъ, почти никто не замѣтилъ.

— И что такое этотъ Кирсановъ? — продолжалъ Вертюгинъ.—Надменная тварь, про которую можно сказать: «На челѣ твоемъ, нечестивый, возлежить гордыня, и уста твои глаголятъ тщетная».

— Нѣтъ, батюшка, Илья Сергѣевичъ,—сказалъ Мироншевъ, — вы напрасно это говорите. Иванъ Никифоровичъ спесивъ — это правда, а человекъ добрый. Спросите-ка его мужичковъ: никто не пожалуется; бѣдныхъ сосѣдей не обижаетъ, съ богатыми не ссорится; ну, а кто самъ пойдетъ къ нему охотою въ шуты, такъ не прогнѣвайтесь!

Зарубкинъ взглянулъ исподлобья на Мироншева.

— Вотъ я хоть, напримѣръ, — прибавилъ Кузьма Петровичъ,—кромѣ ласки, отъ него ничего не видалъ.

— Да, конечно, — промолвилъ Андрей Ѳомичъ, какъ будто бы нехотя,—Иванъ Никифоровичъ со всѣми ласковъ; а кабы вы изволили знать, какъ онъ за глаза то трактуетъ все здѣшнее дворянство!.. Эхъ, сударь, говорить то мнѣ только не хочется!..

— И не говорите, Андрей Ѳомичъ! — прервалъ Мироншевъ.—Мало ли что болтають заочно.

— Да-съ, — продолжалъ Зарубкинъ, прихлебывая изъ своей чашки, — не мнѣ одному достается. Вотъ наемни изволить мнѣ говорить: «Послушай, Зарубкинъ, за что тебя зовутъ Андреемъ Ѳомичемъ? По мнѣ, вотъ какъ: у дворянина душъ пятьсотъ, такъ онъ Андрей Ѳомичъ; не меньше сотни—такъ Андрей Ѳоминъ; а коли и сотни то не наберется, такъ будетъ съ него, если назовутъ и Андрюшкою.

— Вотъ что!—сказалъ насмѣшливымъ голосомъ Вертюгинъ.—Такъ поэтому я—Илья Сергѣевъ, сирѣчь—дворянинъ второй статьи?

— Нѣтъ, сударь: васъ то онъ и дворяниномъ назвать не хочеть.

— Не хочеть!. Ахъ, онъ гордецъ! Да чтожь онъ штабъ-офицерскій то мой чинъ и въ грошъ не ставить?

— И я ему докладывалъ. Вѣдь вы, ваше высокоблагородіе, по табели о рангахъ состоите въ маіорскомъ чинѣ.

— Чтожь онъ?

— Свое говоритъ: «Какой, дескать, дворянинъ!»... Да Богъ съ нимъ, батюшка!.. Вѣдь у него языкъ то, прости, Господи, какъ бритва.

— Ну, ну! Что онъ говоритъ?

— Ахъ, да,—вскричала Агриппина Львовна,—душенька Зарубкинъ, скажи: я ужасъ хочу знать! Это должно быть безпримѣрно славно! Ну, чтожь говоритъ о моемъ папенькѣ этотъ мусье Кирсановъ?

— Да мало ли что. Не погнѣвайтесь, Илья Сергѣевичъ,—я не свои рѣчи говорю: «Хорошъ, дескать, дворянинъ, есть чѣмъ похвастаться: съ молоду ѣлъ кутью, а подъ старость запивалъ чернилами».

— Заврался, мой свѣтъ!—прервала Агриппина Львовна.— Не можетъ быть, чтобъ онъ осмѣлился такъ шпетить моего Илью Сергѣича.

— Видитъ Богъ, такъ, матушка! Да вотъ хоть вчера, при мнѣ изволилъ сказать: «Ну что за дворянинъ, у котораго отецъ пономарь, а мать просвирня?» Такой грѣховодникъ, подумаешь!.. Одолжите, Марья Дмитріевна, еще чашечку.

Илья Сергѣевичъ хотѣлъ съ презрѣніемъ засмѣяться, но у него что то засѣло въ горлѣ: онъ поперхнулся, сталъ поправлять свой парикъ, сдернулъ его на сторону, опрокинулъ молочникъ, однимъ словомъ, совершенно растерялся.

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ!—сказалъ Мирошевъ.—Ну, что вамъ за охота пересказывать всякій вздоръ? Мало ли что заочно болтаютъ? Всѣ эти глупости надобно мимо ушей пускать.

— Правду изволите говорить,—подхватилъ Зарубкинъ.— Я и самъ, батюшка, всякихъ сплетенъ и переносовъ терпѣть не могу, да это какъ то къ слову пришлось. А вѣдь если правду сказать, такъ Иванъ Никифоровичъ любитъ только пошутить. Человѣкъ онъ добрый и какой набожный, батюшка!..

— Набожный! — прервалъ Вертлюгинъ.—Кто?.. Этотъ безграмотный баричъ, этотъ гордый Сарданапаль, этотъ



тучный Вителій?.. Нѣтъ, любезный: наѣхся, упихся, разжирѣхъ, забылъ Бога живаго!

— Да, конечно, — продолжалъ Зарубкинъ, — сыночекъ лучше батюшки.

— Прекрасный молодой человекъ! — сказала Мирошевъ.

— Такой скромный и вѣжливый! — прибавила Марья Дмитриевна.

— Ахъ, да, — подхватила Агрипина Львовна, — безпримѣрно милъ, ужасъ какъ славенъ!

— И какой хорошенькій! — прошептала Дуняша.

Изъ всего общества только двое не похвалили молодого Кирсанова: Илья Сергѣевичъ и Варенька. Первый ворчалъ что то про себя о томъ, что яблочко не далеко отъ яблони падаетъ, а другая въ эту минуту чрезвычайно была занята разсматриваніемъ чайнаго блюдечка и, вѣроятно, для этого наклонилась такъ низко, что вся кровь бросилась ей въ лицо.

— А какъ онъ хорошо танцуетъ минаветъ а-ларенъ, — продолжала Агрипина Львовна; — какъ безподобенъ въ гавотѣ!.. О, такихъ дансеровъ не скоро и въ большомъ свѣтѣ набѣжишь! Я съ нимъ встрѣчалась въ Москвѣ въ разныхъ обществахъ. Однажды меня пригласили на балъ къ ея сіятельству княгинѣ Финяковой, — это помнится было... да, точно такъ... на святкахъ... кажется, въ *умойся*...

— Какъ, сударыня? — спросилъ Мирошевъ.

— Въ *умойся*. У насъ въ Москвѣ — понимается въ большемъ свѣтѣ — такъ зовутъ субботу. Это ужъ всѣми принято.

— Вотъ что! А другіе то дни, матушка?

— У всякаго свое имя: понедѣльникъ — сѣренькій, вторникъ — пестренькій, среда — колется, четвергъ — мѣдный тазъ, пятница — сайка, суббота — *умойся*, воскресенье — красное.

— Ну, выдумка! — воскликнулъ Зарубкинъ. — Подлинно: вѣкъ живи, вѣкъ учи! Пятница — сайка, четвергъ — мѣдный тазъ!.. Ахъ, батюшки, куда человекъ то мудренъ, подумаешь!

— Вотъ на этомъ то балѣ, — продолжала Агрипина Львовна, — видѣла я въ первый разъ Владиміра Ивановича. Какъ теперь гляжу: онъ былъ въ зеленомъ бархатномъ кафтанѣ со стразовыми пуговицами, въ кружевныхъ манжетахъ, распысканъ духами, — ну, такой шармантонъ, что

способу нѣтъ! Правда, и все общество было самое бон-тонное. Я еще помню, тутъ со мной все танцевалъ какой то военный мужчина; до смерти надоѣлъ своими деклараціями,—ну, вотъ такъ и напрашивался ко мнѣ въ болванчики!

— Охъ, эти мнѣ болванчики!—сказалъ Верглюгинъ.

— Фуѣ, папенька, какъ тебѣ не стыдно? Ужь въ свѣтъ такъ принято: всѣ куртизаняты.

— А что, сударыня,—спросилъ Зарубкинъ, надъ которымъ французская водка, разбавленная чаемъ, начинала производить обычное свое дѣйствіе, — осмѣлюсь васъ спросить: чай, на этомъ княжескомъ пиру, не такъ какъ у насъ, многогрѣшныхъ, угощенье было отличное?

— Какъ же! Всякіе фрукты, конфекты, цукаты, питье...

— И питье также?

— Разумѣется! Комнаты были освѣщены до невозможности; всѣ подсвѣчники литые серебряные...

— Литые серебряные!... А у насъ и мѣдныхъ нѣтъ!.. Прогнѣвали мы Господа!

— Андрей Ѳомичъ,—сказала Марья Дмитріевна,—да вы никакъ ужъ плачете?

— Грустно, матушка!.. Пожалуйте-ка еще чашечку.

— Но что всего было лучше, — прибавила Агриппина Львовна,—такъ это вотъ что: за ужиномъ, на столѣ было неподобное зеркальное плато, посреди его чрезвычайный храмъ, а въ храмѣ фонтанъ изъ настоящей воды...

— Фонтанъ!—воскликнулъ Зарубкинъ. —О, Господи!

— Сирѣчь водометъ!—сказалъ Верглюгинъ.

— Знаемъ, батюшка, знаемъ! Мы въ Петергофѣ бывали и Самсона видѣли; да тамъ вода то стекаетъ въ каналы, а на столѣ—помилуйте: куда-жъ ей дѣваться?

— Экій ты, братецъ, какой! Машина такая сдѣлана.

— Чудны дѣла Твои, Господи! — пробормоталъ Зарубкинъ съ умиленьемъ, принимаясь за третью чашку чая съ французскою водкою.

— Ужинъ былъ безпримѣрно славенъ, — продолжала Агриппина Львовна: играла музыка, пѣвчіе пѣли. «На бережку у ставка»...

— Батюшка, Кузьма Петровичъ!— раздался вдругъ голосъ человѣка, который, повидимому, торопился доложить о чемъ то хозяину.

Х.

Торжественное посольство отъ Панкратія Лукича Курочкина  
къ Кузьмѣ Петровичу Мирошеву.

Человѣкъ, который помѣшалъ Агриппинѣ Львовнѣ описать со всею подробностію великолѣпный балъ княгини Финиковой, былъ, судя по лицу, лѣтъ семидесяти, но весьма еще бодрый и вовсе не похожій на дряхлаго старика. Его скюртъ, изъ толстаго сѣраго сукна, былъ подпоясанъ кушакомъ; въ одной рукѣ держалъ онъ кожаный картузъ, а въ другой—покрытую различными мѣтками палку. Она служила ему въ одно и то же время тростью и памятною книжкою, на которой *зарубалось* число телѣгъ обмолоченнаго хлѣба, пудовокъ выданной мѣщины, и вообще всѣ предметы прихода и расхода по хозяйственной части. Ровно восемнадцать лѣтъ вы не видѣлись, любезные читатели, съ этимъ старикомъ; но такъ какъ годы не произвели въ немъ никакой перемѣны, кромѣ только того, что клочки сѣдыхъ волосъ на его затылкѣ пожелтѣли, а носъ изъ краснаго сдѣлался сине-багровымъ,—то я не стану вамъ описывать его наружность, а скажу просто, что этотъ старикъ былъ Прохоръ Кондратьичъ, прежде бывшій дядька Мирошева, а теперь, по смерти Лаврентія, дворецкій Кузьмы Петровича и приказчикъ его отчины, сельца Зеленяя горки, Хопровка то-жъ.

— Что ты, Прохоръ?—спросилъ Мирошевъ.

— Да что, сударь, бѣда сдѣлалась.

— Что такое?

— Воля ваша, намъ отъ вознесенскихъ житія нѣтъ. Что это за сосѣди, помилуйте!

— Да говори скорѣй, что случилось?

— Я сейчасъ былъ на полѣ, сударь, недалеко отъ выгона; гляжу—бѣжить ко мнѣ пастухъ Ѳедотка, — лица на немъ нѣтъ! Ну, думаю, вѣрно, бѣда! Вчера видѣли волка, ужь не зарѣзалъ ли онъ барана или телушку?.. Какой волкъ,—хуже, батюшка! Вознесенскій приказчикъ, Панкратій Лукичъ Курочкинъ, объѣзжалъ графскія дачи, да и увидѣлъ, что наша бурая корова, бѣлый бычокъ, да двѣ свинки перешли за между... и добро бы за ней хоть луга были, а то болото...

— Чтожь, онъ велѣлъ загнать?

— Да, сударь. Я бросился къ нему... Куда, и къ дому то близко не подпустили: изволить, дескать, отдыхать.

— Съѣзди опять, да проси отъ меня.

— Дѣлать то нечего, батюшка, поклонисься.

— Ну, этотъ Панкратій Лукичъ бѣдовый человекъ! — сказалъ Мирошевъ. — Съ тѣхъ поръ, какъ онъ здѣсь приказникомъ, только и слышишь: у того скотину загнали, этого въ лѣсу съ грибами поймали, того потянули въ судъ, у другого землю отрѣзали.

— А что будешь съ нимъ дѣлать, Кузьма Петровичъ? — прервалъ Вертлюгинъ. — Волостной приказчикъ его высокографскаго сятельства! Здѣсь, въ уѣздѣ, до четырехъ тысячъ душъ у него подъ началомъ, — поди-ка, потягайся!

— Сохрани, Господи, — промолвилъ Зарубкинъ: — послѣднюю рубашку стащить.

— Рука то сильна больно! — продолжалъ Илья Сергѣевичъ. — Вотъ мой сосѣдъ, князь Лялинъ, человекъ съ состояніемъ, съ родствомъ, только очень глупый.

— Что это вы, батюшка, — прервалъ Зарубкинъ, — да развѣ князья то бывають глупые?

— Случается. Вотъ, сударь, этотъ князь Лялинъ не захотѣлъ знаться съ Панкратіемъ Лукичемъ: «Мнѣ, дескать, низко водить компанію съ какимъ-нибудь приказникомъ». Анъ приказчикъ то его и жигнулъ! Подалъ просьбу, да и отхватилъ у него пятьсотъ десятинъ земли. Тотъ было судиться, — гдѣ: плетью обуха не перешибешь; и мы въ старину дѣла то ломали, — знаемъ! Пятьсотъ десятинъ земли присудили отдать его графскому сятельству, да въ силу какого то документа, который будто бы по дѣлу открылся, прирѣзали ему же изъ дачъ Лялина что ни лучшіе поемные луга по Хопру. Вотъ тебѣ и низко знаться!.. То-то и есть; говорятъ: «съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тягайся». А по мнѣ, пуще всего: передъ слугою большого барина кверху носъ не вздергивай. Ну, конечно, приказчикъ!.. Не велика птица приказчикъ, — да чей? Въ этомъ то вся и сила! Вотъ Андрей Ѳомичъ — природный дворянинъ, а, чай, этому приказчику въ поясъ кланяется.

— Что я, сударь, — сказалъ Зарубкинъ: — мнѣ и Богъ велѣлъ всѣмъ кланяться: ужъ такая моя горькая чаща!

— Ну полно, не плачь! — прервалъ Вертлюгинъ. — Я не

въ обиду тебѣ сказалъ. Если ты, въ самомъ дѣлѣ, въ поясѣ ему кланяешься...

— Да какъ же мнѣ ему не кланяться, батюшка,—подхватилъ Зарубкинъ,—когда и вы, ваше высокоблагородіе, за полверсты шляпу передъ нимъ снимаете; да и почище васъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, и тотъ называетъ его пріятелемъ, говоритъ ему «любезнѣйшій» и изволить самъ изъ одной чарки водку съ нимъ кушать.

— Я его почти не знаю,—сказалъ Кузьма Петровичъ.— Въ церкви онъ всегда стоитъ на правомъ клиросѣ, а я на лѣвомъ. Поклонимся издали другъ другу, да и только. Богъ съ нимъ! Человѣкъ то онъ, въ самомъ дѣлѣ, такой неблагонамѣренный: только и думаетъ притѣснить, да обидѣть сосѣда. Я все дивлюсь, какъ графъ это терпитъ? Вѣдь о немъ идетъ молва, что онъ настоящій русскій бояринъ: справедливъ, милосердъ, любитъ и праздники давать, любить и Богу помолиться; а ужъ сколько бѣдныхъ людей живутъ его милостью, такъ, говорятъ, и счету нѣтъ!

— И, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Вертлюгинъ,—гдѣ такому большому барину все знать? Приказчикъ изъ усердія къ господскому интересу заведетъ несправедливую тяжбу, судья изъ подобострастія къ знаменитому вельможѣ покривитъ душою, а до него то дойдетъ ужъ яичко облупленное. «У такого-де сосѣда была въ насильственномъ завладѣніи земля вашего сіятельства, но по рѣшенію суда обращена снова въ вашу собственность»—вотъ и все! Чтожъ графу то, иль сказать: «Не хочу брать то, что мнѣ принадлежитъ по законамъ?» Будетъ и того, если онъ, по милосердію своему, не прикажетъ взыскивать за пожилое, да за протори, убытки и волокиты.

— Да, конечно! Это ужъ наше несчастье, что къ его сіятельству такой ябедникъ попался въ приказчики. Да что онъ, отпущенникъ что-ль графскій?

— Никакъ нѣтъ, сударь,—сказалъ Кондратьичъ.—Я доподлинно знаю, онъ крѣпостной человѣкъ его сіятельства; а что онъ этакъ фардыбачится, такъ, извѣстное дѣло: «Посади свинью за столъ»...

— Эхъ, Кондратьичъ, что ты это говоришь! — вскричалъ Вертлюгинъ.—Кто бы ни былъ Панкратій Лукичъ, а онъ все-таки довѣренная особа его сіятельства, волостной приказчикъ, ведетъ хлѣбъ и соль съ уѣзднымъ судьей и живетъ за панибрата съ нашимъ капитаномъ-исправникомъ.

Крѣпостной! Да если графъ захочетъ, такъ онъ завтра же будетъ дворяниномъ.

— Ужь не столбовымъ ли, какъ баринъ мой? — сказала съ усмѣшкою Кондратьичъ.— Нѣтъ, сударь, далеко кулику до Петрова дня!

— Полно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Что тутъ столбовой, не столбовой! Да баринъ то Курочкина, самъ графъ, вѣдь ужъ знаменитый бояринъ, нечего сказать, — а кто онъ былъ прежде?

— Да ужъ правда ли, Кузьма Петровичъ?—промолвилъ вполголоса Вертлюгинъ.—Не можетъ статься, чтобъ его сятельство былъ смолоду... ну, вы знаете, что?

— Помилуйте, да это всѣмъ извѣстно!

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, вотъ изволите видѣть!—вскричалъ торжественнымъ голосомъ Илья Сергѣевичъ.—И послѣ этого какой-нибудь дворянчикъ Кирсановъ смѣетъ говорить... Да только,—воля ваша!.. Неужели, дѣйствительно, его высокографское сятельство происходитъ изъ людей низкаго званія?..

— Ну, да, и вовсе этого не стыдится, оттого что онъ человекъ отличнаго ума, и если не по роду, такъ по дѣламъ и душѣ своей истинный вельможа.

— О, конечно!.. Если онъ самъ этого не стыдится, такъ, разумѣется... Но все-таки, Кузьма Петровичъ, говорить то объ этомъ не слѣдуетъ.

— Не безпокойтесь: онъ самъ объ этомъ говорить. Мнѣ рассказывали, будто бы однажды, когда у него полонъ домъ былъ гостей, ему показалось, что сынъ его возгордился: вотъ онъ и сказалъ во услышаніе всѣмъ, что покажетъ рѣдкость, то есть платъе, которое онъ носилъ въ молодости, да и вельѣлъ принести въ гостиную — знаете ли что?.. Сѣрый крестьянскій зипунъ.

Вертлюгинъ не усидѣлъ на мѣстѣ.

— Что вы это, Кузьма Петровичъ, — вскричалъ онъ, вскочивъ со стула,—побойтесь Бога! Ну, можетъ ли быть, чтобъ его сятельство захотѣлъ себя такъ унижить?... Это сочинилъ какой-нибудь сорванецъ, вольнодумецъ, пасквилянтъ!.. Какая дерзость!.. Эхъ, сосѣдушка любезный,—продолжалъ онъ вполголоса,—какъ вы неосторожны!.. Ну, если это разойдется какъ-нибудь?.. Иль вы никогда не читали: «не сварися съ человекомъ сильнымъ, да нѣкогда впадеша въ рущѣ его». Если, помилуй, Господи, дойдетъ какъ-нибудь

до его сіятельства... Да вотъ хоть этотъ Зарубкинъ, вы думаете, онъ дремлетъ? Нѣтъ, все слышитъ! Онъ передастъ Курочкину, Курочкинъ донесетъ графу, графъ доложитъ Государынѣ... О-охъ, Кузьма Петровичъ, молоды вы еще, батюшка, молоды!

— Богъ милостивъ,—прервалъ Мирошевъ съ улыбкою, — авось пройдетъ даромъ. Да дѣло не о томъ: я хотѣлъ только сказать, что иногда и не родовой дворянинъ достойнѣ уваженія всякаго родового, и еслибъ Панкратій Лукичъ былъ человекъ честный, добрый, прямодушный и выпелъ бы какъ-нибудь въ дворяне...

— Въ дворяне!—повторилъ сквозь зубы Кондратьичъ.— Нѣтъ еще, погоди: «улита ѣдетъ, когда то будетъ.» А теперь онъ все-таки нашъ братъ, холопъ.

— Однакожь сынъ то у него давно уже офицеромъ, — сказалъ Илья Сергѣевичъ.—Графъ записалъ его въ военную службу и вывелъ въ прапорщики. Онъ теперь пріѣхалъ въ побывку къ своему батюшкѣ, и вчера вмѣстѣ съ нимъ былъ у насъ въ гостяхъ. Науки, кажется, въ немъ большой нѣтъ, а молодецъ такой видный, вершковъ двѣнадцати росту, держитъ себя прямо, рѣчисть, и хоть говорить отрывисто, но очень внятно.

— Ахъ, шерочка,—шепнула Агриппина Львовна Варенькѣ,—какой это безцирмѣрный уродъ! Такой длинный, деревянный,—ну, настоящій чурбанъ! Я не знала, что съ нимъ дѣлать. Онъ до того темень въ свѣтѣ, что не умѣлъ даже ко мнѣ къ рукѣ подойти. Представь, радость: чуть было не поцѣловалъ меня въ губы! Мужикъ, совершенный мужикъ!

— Что это? — вскричалъ Прохоръ.—Батюшка, Кузьма Петровичъ, у васъ глазки то получше моихъ, извольте-ка взглянуть на улицу: никакъ это гонять бурую корову?

— Въ самомъ дѣлѣ!—сказалъ Кузьма Петровичъ, пойдя къ забору.

— А вонъ и бѣлый бычокъ, вонъ и свинки!... Ахти, батюшки, да ихъ гонитъ вознесенскій пастухъ! Что за диковинка,—какъ это Панкратій Лукичъ умиловивился?... Эге, да при нихъ и посоль есть, сударь!

— Посоль? Какой посоль?

— А какъ же?—продолжалъ Кондратьичъ.—Вонъ, изволите видѣть, позади пастуха ѣдетъ на телѣжкѣ дѣтина въ зеленой бекешѣ? Вѣдь это писарь изъ волостной конторы,

Антонъ Ѳедотовъ,—такой краснобай, что и сказать нельзя! Посмотрите, какіе онъ начнетъ отпускать вамъ турысы на колесахъ.

— Да,—сказалъ Вертлюгинъ,—онъ говорить свысока, и его не скоро поймешь; да и самъ то онъ себя не всегда понимаетъ; а что за рожа!.. Андрей Ѳомичъ, ты знаешь Антона Ѳедотова?

— Какъ же, сударь! Вѣдь онъ правая рука Панкратія Лукича. Полированный человѣкъ, батюшка: все говорить по книжному.

На господскій дворъ вошелъ человѣкъ лѣтъ сорока, весьма опрятно и даже щеголевато одѣтый для деревенскаго писаря; но съ такою уродливою фигурою и такъ глупо ухмыляющимся лицомъ, что при первомъ взглядѣ Кузьма Петровичъ едва могъ удержаться отъ смѣха. Этотъ повѣренный въ дѣлахъ господина волостного приказчика подошелъ къ Мирошеву, поклонился, скосилъ самымъ дурацкимъ образомъ глаза и началъ говорить въ носъ съ какимъ то присвистомъ:

— Ваше благородіе-съ, я присланъ отъ Панкратія Лукича-съ, ради того, чтобъ учинить изъявленіе его нижайшаго высокопочитанія и совокупно принести экскузію въ несоразмѣрномъ загнаніи скота вашего.

— Признаюсь, это нѣсколько меня удивило, — сказалъ Мирошевъ.

— Таковая случайность, батюшка, Кузьма Петровичъ,—продолжалъ писарь,—возымѣла свое происхожденіе единственно по незнанію, что оная скотина принадлежитъ особѣ вашего благородія.

— Да еслибъ и не мнѣ, такъ, право, грѣшно загонять съ болота

— Но рѣченное болото, ваше благородіе, яко неприкосновенная собственность его высокографскаго сіятельства, не долженствуетъ, къ ущербу его интересовъ, подвергаться, безъ всякаго возмездія, попиранію различными четвероногими, топтанію и потравѣ; а посему Панкратій Лукичъ, собственно только изъ атенціи къ особѣ вашей, не обращаетъ сего казуса въ тяжebный искъ, подлежащій законному слѣдствію.

— Конечно, и за это благодаренъ. Если сказать правду, такъ я не ожидалъ отъ Панкратія Лукича никакого снисхожденія.



— Помилуйте, ваше благородіе! Да я осмѣлюсь вамъ партикулярно донести, что Панкратій Лукичъ ни единаго оказующаго случая не упустить, дабы не поусердствовать о благополучіи и благоповеденіи вашемъ, и ради вящшаго доказанія своего эстима персонально явится завтрашняго числа къ вашему благородію.

— Милости просимъ! Я очень буду радъ; а межъ тѣмъ не хочешь ли, пріятель, выпить рюмку водки, закусить чего-нибудь?

— Приношу мое всепокорнѣйшее благодареніе, если милость ваша будетъ!..

— Кондратычъ, попроси къ себѣ господина писаря, да угости его.

— Пожалуйте, батюшка, Антонъ Ѳедотычъ, — сказалъ Прохоръ. — Просимъ покорно!

— Сей моментъ, любезнѣйшій Панкратій Лукичъ, — продолжалъ писарь, откланиваясь Мирошеву, — находится въ въ такой надеждѣ, что его почтительный аташементъ къ особѣ вашего благородія доставитъ ему такой авантажъ, что онъ современемъ удостоится вашей дружеской апробаціи.

— Фу ты, батюшки! — вскричалъ Кузьма Петровичъ, когда писарь вошелъ вмѣстѣ съ Прохоромъ въ людскую. — Ну ужь точно, красобай! Да, я помню, при покойной Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, вотъ точно такія посольскія рѣчи печатались въ газетахъ. Гдѣ это онъ набрался такой премудрости?

— Да въ нихъ то и набрался, — сказалъ Вертлюгинъ. — Онъ сначала былъ писаремъ при самомъ графѣ и читалъ ему по вечерамъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», да, видно, поспился немного, такъ его сюда ва смиреніе и отправили. Однако, чтожь это значить: Курочкинъ не только возвратилъ безъ всякихъ придирокъ загнанный скотъ, да еще прислалъ къ вамъ писаря съ извиненіемъ? Это что-нибудь да не даромъ. Ужь не пронюхалъ ли онъ, что васъ хотятъ въ будущій дворянскій сѣвѣдъ выбрать въ капитанъ-исправники или въ уѣздные судьи?

— Что вы, Илья Сергѣевичъ, помилуйте, какой я судья! Вотъ вы, дѣло другое: васъ секретарь за носъ водить не станетъ.

— Надѣюсь! — промолвилъ съ улыбкою Вертлюгинъ.

— А я, — продолжалъ Мирошевъ, — человекъ военный,

законовъ вовсе не знаю. И кто на выборахъ ставеть обо мнѣ хлопотать? Охотниковъ и безъ меня много.

— Да вѣрно же есть какая-нибудь причина, что Курочкинъ такъ въ глаза вамъ забѣгаетъ?

— Какая причина! Я думаю, просто добрый стихъ нашель.

— Нѣтъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Зарубкинъ, — и я такой же вѣры: что-нибудь да есть!

— Пойдите-ка! — шепнулъ Вертлюгинъ. — Вотъ эта дѣвица, что живетъ у васъ въ домѣ, фаворитка Марья Дмитріевна...

— Дуняша, дочь покойнаго моего приказчика Лаврентія?

— Вѣдь она вольная?

— Какъ же.

— И вы, помнится, мнѣ сказывали, даете за нею въ приданое восемьсотъ рублей?

— И больше дамъ. Мы съ женою восемнадцать лѣтъ для этого по пятидесяти рубликовъ каждый годъ откладывали.

— Такъ знаете ли что? Ужь не хочеть ли Панкратій Лукичъ посватать ее за своего сына?

— А что вы думаете? Да нѣтъ, ему эта невѣста бѣдна покажется!

— А богатая то за него не пойдетъ. Послушайте, Кузьма Петровичъ: вѣдь, между нами будь сказано: кто-жъ захочеть породниться съ Курочкинымъ? Конечно, сынъ его оберъ-офицеръ, да посмотрѣли бы вы, какой! Къ ставцу лицомъ свѣсть не умѣеть. А самъ то онъ что? Крепостной человекъ, холопъ, чуть не угодилъ барину, такъ, глядишь, и заставятъ свиней пасти. Ну, конечно, теперь нечего дѣлать, прїѣдетъ въ гости, посадишь, оставишь и пообѣдать; но включить въ семейство, — нѣтъ, ужъ это, батюшка, извините! Всему есть мѣра!..

— Что у васъ за секреты такіе? — спросила Марья Дмитріевна!

— Такъ, ничего, мой другъ! — отвѣчалъ Мирошевъ.

— Однакожь, — продолжалъ Вертлюгинъ, вставая, — солнце то совсѣмъ ужъ сѣло, пора по домамъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, папенька, ужъ поздно, — сказала Агриппина Львовна, надѣвая свою мантилью съ капишномъ.

— Что вы такъ торопитесь? — проговорила почти нехотя Марья Дмитріевна.

— Еще рано, Илья Сергѣевичъ,— прибавилъ Мирошевъ.  
— Поужинайте у насъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, надобно ѣхать за-свѣтло. Вы знаете, подлѣ моей деревни оврагъ, спускъ такой скверный—по косогору, а жена у меня такая трусиха...

— Неправда, монъ-шеръ, ты трусишь больше моего! Прощайте, Марья Дмитріевна!

Вертлюгины распрощались съ Мирошевыми и пошли за ворота, гдѣ стоялъ ихъ огромный фаэтонъ на пасахъ.

— Ну что, радость,—сказала Агриппина Львовна Варенькѣ, которая провожала ее до экипажа,—ты прочла мои книжки?

— Нѣтъ еще, не всѣ,—отвѣчала Варенька

— Которую же ты теперь читаешь?

— «Любовный вертоградъ, или непреоборимое постоянство Камбера и Арисены».

— Ахъ, шерочка, не правда ли, какая это прекрасная книжка?.. Какъ неподобенъ этотъ Камберъ! Я воображаю, что онъ точно такой же былъ какъ Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ!... Ну что, радость, онъ у васъ, по прежнему, часто бываетъ?

— Да-съ, раза три въ недѣлю.

— Не будетъ ли онъ послѣзавтра?

— Не знаю.

— Ахъ, Варенька, какъ онъ милъ! Безпримѣрно милъ!.. Я отъ него безъ ума, по чести, безъ ума!.. Фуъ, какъ это глупо!.. Чтожъ я тебѣ рассказываю!.. Прощай, шерочка!

— Садись же, матушка!—закричалъ Вертлюгинъ, который ужъ давно расположился въ фаэтонѣ.

Агриппина Львовна, какъ воздушная сильфида, вспорхнула на подножку, споткнулась и со всего размаха упала въ объятія своего мужа.

— Шалуныя! — сказалъ Илья Сергѣевичъ, тронутый ласкою своей супруги. — Такъ ты меня любишь?

— Какъ же, мой жизненочекъ!

— Ахъ, ты, моя голубушка!.. Однакожъ, постой-ка, мой другъ... да ты, кажется, разбила мнѣ головою до крови носъ... Ну, такъ и есть!

— Ничего, папенька, примочимъ уксусомъ.

— Пшелъ скорѣй домой!—закричалъ Вертлюгинъ, приложивъ къ разбитому носу свой платокъ.

— Варенька, Дуныша, ступайте въ комнату, — сказала

Марья Дмитріевна:—на дворѣ становится что то сыро. А вы куда, Андрей Ѳомичъ?

— Да вотъ зайду въ людскую, матушка, — отвѣчалъ Зарубкинъ: — попрошу Антона Ѳедотыча довести меня домой въ своей телѣжкѣ: ему вѣдь по дорогѣ. Прощенья прошу, Кузьма Петровичъ! Покорнѣйше благодарю за угощенье!.. Марья Дмитріевна, Варвара Кузьминична, Авдотья Лаврентьевна, счастливо оставаться!

Варенька и Дуняша пустились бѣгомъ къ дому, а Мирошевъ, идя позади нихъ, шепнулъ женѣ:

— Что ты, мой ангелъ, такъ сухо обходишься съ Агриппиной Львовной? Ты съ нею десяти словъ не сказала.

— Признаюсь, мой другъ, мнѣ очень не нравятся ухватки этой модницы. Вѣдь ей подь сорокъ лѣтъ, пора бы перестать коверкаться.

— Да она и въ восемьдесятъ будетъ такъ же ломаться— привычка такая; а вѣдь дурного про нея ничего не говорятъ. Ну, право, Агриппина Львовна добрая и обходительная женщина. Посмотри, какъ она привѣтлива съ нашей Варенькой: и всячески ее ласкаетъ, и книжки ей даетъ читать...

— Охъ, не люблю я этой дружбы! Ну что Варенька перейметъ у нея хорошаго? Замѣтилъ ли ты, мой другъ, какъ эта франтиха жеманится передъ Владиміромъ Ивановичемъ? Глазки ему дѣлаетъ, улыбки отпускаетъ,—ну такъ и вѣшается ему на шею. Право, со стороны гадко смотрѣть!

— И, матушка, ужь это тебѣ такъ кажется. Глазки дѣлаетъ!.. Да она всѣмъ глазки дѣлаетъ: и мнѣ, и Зарубкину, и мужу,—ужь у нея такая натура; и если немножко вольна въ обращеніи, такъ это, просто, свѣтскій обычай. Она жила въ большемъ свѣтѣ, а тамъ ужь, видно, всѣ такъ обходятся другъ съ другомъ.

— Такъ Господь съ нимъ, съ этимъ большимъ свѣтомъ! — сказала Марья Дмитріевна, входя въ домъ. — Слава Богу, мой другъ, что мы живемъ съ тобой въ деревнѣ!

## XI.

КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЪ ЛЮДСКОЙ. А ОКОНЧИВАЕТСЯ ВЪ БАРСКОМЪ ДОМѢ.

Въ просторной комнатѣ, которая, по своему располо-

женію и убранству, походила болѣе на чистую крестьянскую избу съ красными окнами, чѣмъ на то, что мы называемъ комнатою, за большимъ деревяннымъ столомъ, сидѣли, другъ противъ друга, старикъ Прохоръ и волостной писарь Антонъ Ѳедотычъ. Передъ нимъ стоялъ полуштофикъ ерофеича, деревянное блюдо съ початымъ окорокомъ ветчины и лежалъ огромный пирогъ, начиненный гречневою кашею.

— Любезнѣйшій, — сказалъ Антонъ Ѳедотычъ, принимаясь за вторую чарку ерофеича, — да чтожъ ты самъ то не изволишь?.. Хоть ради компанства выкушай чарочку вмѣстѣ со мною.

— Не пью, Антонъ Ѳедотычъ.

— Напрасно, Прохоръ Кондратьичъ, напрасно! Мы бы съ тобой чокнулись; я выпилъ бы за благоденствіе господъ твоихъ и многолюбезной вашей барышни, а ты бы за здравіе... вотъ хоть нашего прѣзжаго, его благородія, Алексѣя Панкратьича Курочкина, который великое и несоразмѣрное желаніе имѣетъ лично изъяснить вашимъ господамъ свой респектъ и достоюложную венерацію.

— Да что ты, Антонъ Ѳедотычъ, ничего толкомъ не скажешь?—прервалъ Прохоръ.—Что у тебя за слова такія? Ну что за венерація такая?

Писарь улыбнулся и сказалъ съ довольнымъ видомъ:

— Это, Прохоръ Кондратьичъ, слово уважительное. Кабы ты читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», любезнѣйшій, такъ не сталъ бы меня спрашивать.

— А развѣ въ нихъ такія рѣчи есть?

— Какъ же!.. Вотъ, напримѣръ, какой-нибудь иноземный посоль начнетъ говорить и то и се, да и скажетъ: «Пребываемъ, дескать, къ вамъ на вѣки ненарушимо, съ нашимъ глубочайшимъ эстимомъ и венерацією, сирѣчь нижайшимъ почтеніемъ». А ему, на прикладъ, такой дадутъ отвѣтъ: «За ваше, дескать, тонкое деликатство и мерить обѣщается вамъ всякая милость и пропензія».

— Пропензія!.. Да чтожъ это такое?

— Должно быть, или доброхотство, или другое какое-нибудь ласкательное слово.

— Ну, Антонъ Ѳедотычъ, понабрался ты довольно! Нечего сказать, тертый калачъ!

— Да, пріятель, мы таки, живя при лицѣ его высокографскаго сятельства, пооболванились, понаторѣли и, какъ изволишь видѣть, изрядную шлифовку получили.

— Дѣйствительно такъ, Антонъ Ѳедотычъ! Тебѣ и книги въ руки.

— Эхъ, любезнѣйшій, дайте-ка только форсу Антону Ѳедотычу Каврюгину, такъ посмотрите, куда онъ залетитъ.

— Да какъ же ты это залетѣлъ сюда въ писаря?

— Обнесли, почтеннѣйшій! Доложили его сіятельству, что будто бы я съ приказчикомъ акциденціи беру и чарочки придерживаюсь. Что будешь дѣлать!.. Трудился я съ неутомленнымъ раченіемъ, всякую невразумительную ревность оказывалъ, а попалъ изъ ближнихъ графскихъ писчиковъ въ окаянныя земскіе писаря!.. Посмотришь, другой человекъ темный, неполитичный, а вышелъ какъ вышелъ въ люди! Кому какая планида, любезный! Да вотъ, напримѣръ, не въ проносъ будетъ сказано, хоть нынѣшнее то его благородіе, Алексѣй Панкратычъ, конечно, человекъ добрый, смиренный, а вѣдь самый ординарный. Я былъ писаремъ, при его сіятельствѣ, а онъ что?.. Дрова носилъ, да печки топилъ; а теперь, по милости графской, титулярін добился, въ оберъ-офицерскомъ рангѣ обрѣтается.

— А надолго ли онъ къ вамъ въ побывку то пріѣхалъ?

— Въ какую побывку! Онъ вовсе абшить получилъ, сирѣчь ради хворости и слабости тѣлесной уволенъ въ чистую.

— Ради хворости!.. Что ты, Антонъ Ѳедотычъ? Да онъ, говорятъ, такой дѣтина здоровенный, что любо-дорого взглянуть.

— И правду говорятъ, почтеннѣйшій: Алексѣй Панкратычъ поплотнѣе насъ съ тобой, человекъ корпусный, плечистый и кушаетъ съ такимъ несообразительнымъ аппетитомъ, что ужасно видѣть.

— Такъ какъ же онъ это?..

— А вотъ, изволишь видѣть: стали поговаривать, что будто бы вскорѣ имѣеть быть нарушеніе прежнихъ трактатій съ его цесарскимъ величествомъ, и что безъ всякаго сумнительства воспослѣдуетъ военная кампанія противъ всей нѣмецкой земли. Вотъ Панкратій Лукичъ и подумалъ: «Что, дескать, за авантажъ такой, если жизнь моего единороднаго сына довершится на какой-нибудь баталіи? Иль какая мнѣ состисфакція будетъ, коли оторветъ ему ядромъ руки и ноги, и останется у него одно туловище?» Подумалъ, да и написалъ сынку: «Бери, дескать, скорѣй свой абшить!» А тотъ и взялъ.

— Вотъ что!.. Такъ онъ совсѣмъ на житье къ ба-  
тюшкѣ?

— Думаю, что такъ, любезный.

— Вѣдь онъ человѣкъ холостой.

— Да, не женатый.

— А сколько ему лѣтъ?

— Безъ малаго тридцать.

— Такъ не пора ли ужь о невѣстѣ подумать?

— Думаемъ, почтеннѣйшій, думаемъ!

— И есть ужь кто-нибудь на примѣтѣ?

— Вѣроятно.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— За чѣмъ?.. Что ты, Прохоръ Кондратьичъ? Сочетаніе  
законнымъ бракомъ не что другое, да и сватовство дѣло  
немаловажное: тутъ потребны и политичное обхожденіе,  
и засылка свахъ, и разныя другія трактаціи. Вѣдь Пан-  
кратій Лукичъ не захочетъ своей амбиціи уронить и, все-  
конечно, поступокъ свой станетъ такимъ образомъ учреж-  
дать, чтобъ ему никакого сумнительства не оставалось.

— Понимаю! — сказалъ съ улыбкою Прохоръ, — Пан-  
кратій Лукичъ боится, чтобъ его сынку затылокъ не за-  
брили?

— Ну, разумѣется, почтеннѣйшій! Какъ на первыхъ  
то порахъ оконфузять, такъ послѣ и покуражиться нельзя  
будетъ.

— Да вѣдь Алексѣй Панкратъичъ, говорятъ, молодецъ  
бравый, офицерскаго чина, и если онъ прищеть себѣ не-  
вѣсту по плечу, такъ чего ему бояться? А вѣдь за такими  
дѣвицами дѣло не станетъ!.. Да вотъ хоть и у насъ въ  
дому невѣста есть: и собой взяла, и приданое то въ  
осмнадцать лѣтъ накопилось порядочное: Кузьма Петро-  
вичъ каждый годъ откладывалъ...

— Похоръ Кондратьичъ, — прервалъ пи сарь, взглянувъ  
на него пристально, — чтожь это, обозрительная рѣчь что-ль  
какая, или такъ?..

— Знаешь пословицу, Антонъ Ѳедотычъ: «попытка не  
шутка, а спросъ не бѣда».

— Въ самомъ дѣлѣ? — вскричалъ писарь. — Такъ хватимъ  
же по одной!

— Не пью, любезный!

— Да что ты, пріятель, татаринъ что-ль?.. Не пью!..  
При такой оказіи всякій православный пьетъ.

— Право, не могу.

— Экій упрямый, подумаешь!.. Пришлось пить одному.

Писарь выпилъ чарку ерофеича, утерся рукавомъ и сказалъ:

— Ну, Прохоръ Кондратьичъ, коли на то пошло, такъ мы съ тобой это дѣльце поразсортируемъ. Вотъ изволишь видѣть...

— Хлѣбъ да соль, ребятушки, — вскричалъ Зарубкинъ, входя въ людскую.

— Вотъ нелегкая принесла! — шепнулъ писарь, вставая.

— Милости просимъ! — проговорилъ Кондратьичъ сквозь зубы.

— Я къ тебѣ съ просьбой, Антонъ Ѳедотычъ, — продолжалъ Зарубкинъ. — Да садитесь, любезные, садитесь!... Я не спешивъ: я пожалуй и къ вамъ подсяду, — промолвилъ онъ, поглядывая на полуштофикъ ерофеича.

— Помилуйте, батюшка, — намъ совѣстно! — сказалъ Прохоръ.

— Ну, полно, старина! Сиди, добро!.. Вотъ такъ, подлѣ меня... Да что это, братцы, вы здѣсь попиваете?

— Знатная, сударь, настойка! — сказалъ писарь.

— Право!

— Не прикажете ли, Андрей Ѳомичъ? — прибавилъ Прохоръ, наливая чарку.

— А что, и въ самомъ дѣлѣ, дай выпью! Ночь то сыренькая, такъ это не вредить. За твое здоровье, Антонъ Ѳедотычъ! Пожалуйста, любезный, подвези меня: вѣдь ты мимо воротъ моихъ поѣдешь.

— Съ моимъ удовольствіемъ.

— Такъ закусимъ, братецъ, чего-нибудь, да и въ дорогу.

Зарубкинъ подѣлъ къ пирогу, отвѣдалъ ветчины, запилъ второю чаркою настойки, снова закусиль, а тамъ хотѣлъ опять запить, да ужъ въ полуштофѣ то ничего не осталось. Писарь, уходя, шепнулъ Кондратьичу на ухо:

— Послѣзавтра, почтеннѣйшій, какъ пойдешь отъ обѣдни, завернико мнѣ въ контору: мы съ тобой кой о чемъ потратуемъ.

Теперь я попрошу моихъ читателей вообразить, что послѣ этого разговора прошло около часу, и перенестись вмѣстѣ со мною изъ людской въ столовую комнату барскаго дома. Марья Дмитріевна, поужинавъ, отправилась ходить съ дочерью и со своею воспитанницею, Дунашею, по саду; а Кузьма Петровичъ остался въ столовой и тол-



коваль о полевыхъ работахъ со своимъ приказчикомъ, Прохоромъ Кондратьичемъ, который, проводя гостей, пришелъ къ барину за приказаніями.

— Слушаю, сударь!—говорилъ онъ, собираясь идти.— Я сейчасъ пошлю десятскаго повѣстить по всѣмъ дворамъ, что вы завтрашній день отдаете мужичкамъ, и чтобъ на барщину не выходили.

— Постой-ка, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ:— я хочу съ тобою поговорить. Что это значить: отчего Курочкинъ сдѣлался до насъ такъ милостивъ?.. Какъ ты думаешь, вѣдь это что-нибудь не даромъ.

— Кажись, что такъ, сударь! — отвѣчалъ Кондратьичъ съ значительною улыбкою.

— Ужь не хочеть ли онъ, — продолжалъ Мирошевъ, — посватать Дуняшу за своего сына?

— Да, видно, что такъ, батюшка.

— Право?.. Такъ она для него не бѣдна?

— Бѣдна?.. Что вы, сударь! Да какую еще ему невѣсту? Вѣдь вы за ней даете, почитай, тысячу рублей въ приданое. Да пусть онъ поищетъ такую невѣсту у насъ въ городѣ... Не найдетъ, видитъ Богъ, не найдетъ! Тамъ онъ всѣ на счету: двѣ-три купеческія дочки, да межъ приказными есть невѣста пятокъ; и всѣ такая голь, что упаси, Господи!.. Чай, у самой то богатой на пятсотъ рублей приданаго нѣтъ.

— Вотъ то-то и есть! Ужь не думаетъ ли Панкратій Лукичъ, что я за Дуняшей поль-имѣнья даю?.. Чего добраго: пожалуй, наговорять и Богъ знаетъ что.

— И, сударь, не извольте беспокоиться! Не такой человекъ Панкратій Лукичъ: онъ, вѣрно, ужь все до копѣчки знаетъ; а если нѣтъ, такъ погодите, сударь, зашлетъ такую сваху, которая всю подноготную вывѣдаетъ.

— А что, Прохоръ, вѣдь это бы не дурно было?

— Да, сударь, если онъ точно, какъ говорятъ, человекъ добрый и смиренный; а на чины то зариться нечего. Коли мужъ пострѣлъ, такъ что за радость женѣ, что онъ ходитъ при офицѣ? Вѣдь офицерскій то кулакъ не легче нашего холопскаго.

— Разумѣется! Если онъ человекъ недобрый, такъ Богъ съ нимъ и съ его офицерствомъ!.. Надобно хорошенько поразвѣдать. Да что ты, Прохоръ, слышалъ что-ль объ этомъ отъ кого-нибудь, иль только догадываешься?

— Не фигура догадаться, сударь: писарь Федотычъ почти все мнѣ выболталъ. Сначала говорилъ обвиняками, а тамъ ужъ хотѣлъ напрямки сказать, да Андрей Фомичъ зашелъ къ намъ въ людскую, усѣлся съ нами за столъ: о томъ, о семъ, тара-бара, что будешь дѣлать,—помѣшалъ какъ помѣшалъ! Однакожъ, Федотычъ шепнулъ мнѣ мимоходомъ, чтобъ я послѣзавтра завернулъ къ нему въ контору поговорить порядкомъ объ этомъ дѣльцѣ.

— Смотри же, Прохоръ, узнай все толкомъ.

— Да ужъ будьте спокойны, сударь: меня Федотычъ на бобахъ не проведетъ. Что онъ свысока то говоритъ—эка важность! Насъ этимъ не удивишь: мы и съ нѣмцами говаривали!

— Вотъ и жена идетъ изъ саду; я съ ней объ этомъ посоветуюсь. Ступай, Прохоръ, да не забудь повѣстить крестьянамъ, что завтра барщины не будетъ.

— Слушаю, сударь.

— Пора спать, — сказалъ Мирошевъ, идя на встрѣчу къ женѣ.—Прощай, Варенька, Богъ съ тобой!—продолжалъ онъ, перекрестивъ сначала дочь, а потомъ и Дуняшу.—А ты, Дуня, — прибавилъ Кузьма Петровичъ съ улыбкою,—прошу мнѣ завтра рассказать, что тебѣ приснится, слышишь?

— А что такое?—спросила Марья Дмитріевна.

— Ничего, мой другъ, ничего!.. Пойдемъ спать.

Варенька и Дуняша, простясь съ Марьей Дмитріевной, отправились къ себѣ на антресоли. Онѣ спали въ небольшой комнатѣ, свѣтлой и опрятной, но вовсе не роскошной. Окна этой комнаты были обращены во дворъ; изъ нихъ можно было видѣть часть деревни и зеленый лугъ, который, опускаясь незамѣтнымъ скатомъ до самаго Хопра, казалось, сливался съ его голубыми водами. Въ старину и богатые люди не очень заботились объ убранствѣ внутреннихъ комнатъ своихъ домовъ; слѣдовательно, вы можете себѣ представить, что Варенькина спальня вовсе не походила на комфортабельная опочивальни нашего времени. Въ ней стояли двѣ простые деревянные кровати, одна съ ситцевымъ, другая съ холстиннымъ пологомъ; въ углу, кивотъ съ образами; вмѣсто вычурнаго уборнаго столика рококо, покрытый клеенкою дубовый столъ, на которомъ лежали не англійскіе кипсеки съ прелестными гравюрами, а святцы кievской печати съ лубочными картинками; не Бальзакъ, не Дюма, не Жоржъ-Зандъ, то есть, съ позволенія сказать,

Madame du Devant, но «*Любовный вертоградъ*» знаменитаго Эмина, «*Горестная любовь*» маркиза де-Тоledo и «*Несчастные супруги, итальянская повесть, имѣющая печальное окончаніе*». Въмѣсто кушетки и спокойныхъ кресель à la genre, стояли три обитыхъ черною кожею стула, а вза-мѣнъ огромнаго *писи* висѣло на стѣнѣ небольшое зеркальце въ позолоченной сусальнымъ золотѣ рамѣ, и все это освѣщалось не затѣливою кенкеткою подѣ хрустальнымъ матовымъ колпакомъ, но небольшою стеклянною лампадою, которая висѣла передъ иконами.

Вареньку и Дуняшу дождалась въ спальнѣ мамушка Игнатъевна, то есть бывшая ключница Федосья, которую давно уже величали по одному отчеству; во-первыхъ, потому, что ей было безъ малаго семьдесятъ лѣтъ, а во-вторыхъ, потому, что она носила почетное званіе мамушки. Игнатъевна всегда сама съ крестомъ и молитвою укладывала почивать свою барышню, а иногда, когда ей не спалось, садилась подлѣ ея изголовья, болтала всякую всячину о старинѣ, о томъ, о семъ, и *убаюкивала* ее своими сказками. Случалось также,—что грѣха таить,—когда сонъ ея милаго дитяти казался ей безпокойнымъ, она шептала надъ нимъ разные наговоры, обдувала и даже иногда опрыскивала съ уголька водичкою. Игнатъевна была очень набожна: она всегда каялась въ этомъ грѣхѣ на исповѣди, обѣщалась своему духовнику оставить всѣ эти суевѣрные обычаи и примѣты; но лишь только Варенькѣ непоздоровится, или даже чуть-чуть заболитъ у нея голова, Игнатъевна опять за то же. Правда, она всякій разъ послѣ этого, чтобы успокоить свою совѣсть, положить, бывало, сотни три земныхъ поклоновъ, въ первую обѣдню пойдетъ подѣ переносъ и начнетъ мѣсяца два сряду понедѣльничать. Все это съ перваго раза должно вамъ показаться не только смѣшнымъ, но даже очень глупымъ, быть можетъ; а подумайте хорошенько, и вы убѣдитесь, что, несмотря на это грубое невѣжество, на эту странную смѣсь вѣры съ суевѣріемъ, въ старину едва ли не тверже вѣрили и ужь, конечно, лучше нашего умѣли любить.

— Что это, матушка, Варвара Кузьминична, ты такъ рано собралась почивать?—сказала Игнатъевна.—А я думала, что вы еще долго прогуляете. Ночь то больно хороша: ни одной тучки на небѣ. А полный то мѣсяцъ, любо-дорого посмотреть: словно новенькій рублевикъ, такъ и свѣтится!

— Въ самомъ дѣлѣ, — прервала Варенька, — какая прекрасная ночь: свѣтло какъ днемъ! Дуняша, посмотри, какъ хорошо тамъ, на рѣкѣ!... Видишь, какъ мѣсяць играетъ по волнамъ?...

— Вижу, — отвѣчала Дуняша. — Такъ бисеромъ и рассыпается по водѣ.

— Какъ ты думаешь, — не погулять ли намъ?... Въдѣ еще рано.

— Извольте. Я вовсе не устала.

— И я также.

— Такъ погуляй, мой дитятко! — сказала Игнатьевна, цѣлуя Вареньку. — Погуляй, моя родимая!... А я межъ тѣмъ пойду Богу помолюсь. Да только не ходите по травѣ: чай, теперъ роса пала, а въдѣ роса то не равна: иная упаси, Господи!

— Куда же мы пойдѣмъ? — спросила Дуняша. — На Хоперь?

— Нѣтъ, нѣтъ! — вскричала съ живостію Варенька. — Пойдѣмъ лучше въ садъ.

— Да послушайся меня, родная, — подхватила Игнатьевна: — пожалуйста, не ходите въ рощу.

— А что, мамушка?

— Да такъ!... Что туда по ночамъ ходить?... Темнеть такая!... Въ иномъ мѣстѣ и днемъ то хоть глазъ выколи; еще неравно чего-нибудь испугаетесь.

— И, матушка, чего намъ испугаться? Да я же ничего и не боюсь.

— Охъ, дитятко, не хвались! Не хорошо, право, не хорошо! Ну, какъ Богъ попутаетъ, да что-нибудь почудится!.. Знаешь ли, что добрые люди говорятъ объ этой часовнѣ, что на горѣ?

— А что такое?

— Да вотъ что: будто бы подъ большіе праздники, а иногда и въ будни, прохожіе видятъ, что тамъ огонекъ теплится.

— Ну что за огонекъ, бабушка? — прервала Дуняша. — Чай, какая-нибудь гнилушка или свѣтлякъ.

— Гнилушка! — вскричала Игнатьевна. — Охъ, ужъ ты, разумница! Видишь, тотчасъ и гнилушка! Не успѣла подняться на ноги, а умнѣй другихъ стала!... А прошлую то субботу на воскресенье, въ самую полночь, что Парфень то видѣлъ, — гнилушку что-ль?

— А что такое онъ видѣлъ?—спросила Варенька.

— Охъ, матушка, страшно вымолвить!... Парфень ѣхалъ изъ города; ночь также была лунная. Вотъ онъ поровнялся съ горою,—глядь на часовню, такъ у него сердце то и замерло. У самой часовни—съ нами крестная сила!—стоитъ кто-то, сверху весь черный, а снизу бѣлый, да росту то аршинъ четырехъ или пяти...

Варенька засмѣялась и взглянула украдкою на Дуняшу.

— Эхъ, барышня, барышня!—продолжала Игнатьевна.—Ну чему-жь ты изволишь смѣяться?...

— Такъ, мамушка, ничего.

— На васъ, кажется, была черная мантилья и бѣлое платье?—шепнула Дуняша.

— Да!—отвѣчала Варенька также шопотомъ.

— Ну что вы тамъ перешептываетесь? — спросила Игнатьевна.—Смѣтесъ надъ старухою?... Эхъ, молодость, молодость!... Вамъ все теперъ трывъ-трава!... Поживите-ка съ мое!...

— Прощай, мамушка!—сказала Варенька, шутя.—Не дождайся насъ: мы всю ночь проходимъ.

— Что ты, матушка, Христось съ тобою!—вскричала Игнатьевна.—Да если барыня узнаетъ, такъ и мнѣ достанется. Погуляйте этакъ съ полчасака, да и будетъ.

## ХП.

### Ночная прогулка.

Варенька и Дуняша черезъ двѣичье крыльцо отправились въ садъ и пошли по прямой дорожкѣ, которая вела въ рощу.

— Куда же мы пойдемъ? — спросила Дуняша.—Опять на гору, къ часовнѣ?

— Да!—отвѣчала Варенька вполголоса.

— Что это, какъ вы любите это мѣсто?

— Оттуда прекрасный видъ,—прошептала Варенька.

— Да, это правда. Кругомъ верстъ за десять видно, а домъ и вся усадьба Ивана Никифоровича Кирсанова какъ на ладони. Если ѣхать дорогой, такъ отъ насъ до него, говорятъ, версты двѣ будетъ; а какъ стоишь на горѣ, подлѣ часовни, такъ, кажется, всѣ стекла въ окнахъ пересчитать

можно. Однажды мы съ вами видѣли, какъ Владиміръ Ивановичъ смотрѣлъ на насъ изъ окна въ подозрную трубку —помните?

Варенька молчала.

— Какой прелюбезный этотъ Владиміръ Ивановичъ,— продолжала Дуняша.—Такой ласковый, умный и, говорятъ, предобрый; а собой то какой молодець,—не правда ли?...

Варенька опять не отвѣчала ни слова.

— Да чтожь вы ничего не говорите? — сказала Дуняша.—Неужели Владиміръ Ивановичъ на ваши глаза не хорошь?

— О, нѣтъ,—промолвила Варенька,—у него очень пріятная наружность.

— А какая улыбка,—подхватила Дуняша,—а взглядъ то какой! А особливо когда онъ смотритъ на васъ... Ахъ ты, Господи, Боже мой!... Ну вотъ, кажется, глаза то у него такъ и говорятъ!

— А что они говорятъ, Дуняша?—спросила, какъ будто бы шутя, Варенька.

Дуня улыбнулась.

— Мало ли что,—сказала она, взглянувъ на Вареньку, которая вся вспыхнула;—да неужели вы сами этого не замѣчаете? Вѣдь онъ въ васъ влюбленъ... Да, да! Что вы качаете головой? Это правда! Бѣдненькій, онъ васъ любитъ, а вы его терпѣть не можете.

— Почему-жь ты это думаешь?

— Какъ почему?... Сначала то вы были съ нимъ такъ же ласковы, какъ и со всѣми, вовсе его не дичились; бывало, и шутите съ нимъ, и смѣетесь, да вдругъ, Богъ знаетъ, что съ вами сдѣлалось... И отчего онъ вамъ такъ опостылѣлъ? Онъ сидеть подлѣ васъ, а вы тотчасъ и прочь; начнетъ съ вами говорить, а у васъ и рѣчей нѣтъ. Бывало, маменька станетъ хвалить его, и вы хвалите, а теперь никогда ни словечка, только что краснѣете, какъ будто бы вамъ досадно, что его хвалятъ. Вотъ третьяго дня, онъ одинъ остался съ нами въ гостиной; я хотѣла выйти, такъ вы схватили меня за руку, да такъ всѣ и помертвѣли. Вѣдь онъ все это видитъ: каково же ему, бѣдняжкѣ!... Нѣтъ, Агрипина Львовна такъ совсѣмъ не то: онъ отъ нея, а она къ нему; а если Владиміръ Ивановичъ начнетъ съ ней говорить, она такъ и растаетъ! Голову на лѣвое плечо, съежитъ свой ротикъ сердечкомъ и пойдетъ работать

глазами. Ужь они у нея вертятся, вертятся, и такъ и этакъ. Ахъ, батюшки, что она ими дѣлаетъ!.. Я пробовала, да никакъ не могу. Въ прошедшую субботу, помните, онъ пробылъ у насъ цѣлый день. Съ вами что то сдѣлалось: вы ушли къ себѣ въ комнату, да еще расплакались; Владиміръ Ивановичъ собрался ѣхать, а Вертлюгина за нимъ, настигла его въ столовой, прижала къ стѣнкѣ и пошла разсыпаться! Заговорила съ нимъ о какой то симпатіи; начала вздыхать, да подымать глаза къ небу; а лицо то совсѣмъ у нея искривилось, — ну, точно припадокъ какой-нибудь. Я подошла поближе, гляжу, — Господи, гдѣ у нея глаза то? Одни бѣлки остались! Ну, ужъ нечего сказать, мастерица!

— Полно, мой другъ! Что ты надъ нею смѣешься? Она, право, добрая женщина. Поди-ка лучше посмотри: мнѣ кажется, калитка заперта.

Дуныша побѣжала впередъ.

— Нѣтъ, не заперта, — сказала она, отворяя калитку. — Ступайте, ступайте!

Онѣ вошли въ рошу. Игнатьевна говорила правду: въ ней мѣстами было такъ темно, что должно было идти почти ощупью; кой-гдѣ только лунный свѣтъ прорывался сквозь густыя вѣтви и слабо освѣщаль тропинку, которая вела на вершину холма. Привычка много дѣлаетъ: онѣ такъ часто бывали въ этомъ лѣсу, и рано по-утру, и поздно вечеромъ, что онѣ казался имъ не отдѣльною рощею, но продолженіемъ сада, въ которомъ всѣ уголки были для нихъ знакомы, но, несмотря на это, когда онѣ вошли въ глубину лѣса и послѣдній отблескъ луннаго свѣта потухъ среди густой тьмы, онѣ крѣпко схватили другъ друга за руки. Этотъ мракъ и торжественное молчаніе ночи невольно подѣйствовали на ихъ воображеніе. Дуныша начала даже трусить. Пробираясь по знакомой тропинкѣ въ гору, она со страхомъ озиралась по сторонамъ и прислушивалась къ шелесту собственныхъ шаговъ своихъ. Птица ли зашумитъ, перелетая съ одного дерева на другое, зашевелится ли ежъ подъ кустомъ, Дуныша отъ всего вздрагивала и робко прижималась къ своей подругѣ. Варенька молчала. Болтливая Дуныша также не смѣла говорить: она чувствовала, что испугается собственнаго своего голоса; ей казалось, что на этотъ голосъ кто-нибудь откликнется, что подлѣ нихъ изъ-за куста аукнетъ мохнатый лѣшій или захохочетъ лѣсная русалка. Вдругъ на вершинѣ высокаго дуба застоналъ фи-

линь; Дуняша вскрикнула, схватила за руку Вареньку и пустилась съ нею бѣгомъ по тропинкѣ. Въ полминуты достигли онѣ до опушки лѣса, выбѣжали на открытое мѣсто; ихъ облило луннымъ свѣтомъ, и онѣ вздохнули свободно.

— Ухъ, слава Богу!—сказала Дуняша, перекрестясь.— Фу, какъ страшно!...

— Трусиха!—прервала Варенька, у которой также голосъ немного дрожалъ. — Ну, чего ты испугалась? Со-вы!

— Да, сова!... А кто ее знаетъ? Можетъ быть, оборотень какой-нибудь.

— И тебѣ не стыдно? Ну, можно ли вѣрить такимъ глупостямъ!

— Вѣрить то я не вѣрю... однакожъ, какъ подумаю, что надобно идти назадъ... Ухъ, страшно!... Такъ лихорадка и бьетъ.

— Бѣдненькая, тебѣ надобно отдохнуть и успокоиться. Пойдемъ къ часовнѣ.

— Къ часовнѣ?... А развѣ вы не слышали, что говорила Игнатьевна?

— Да не ты ли сейчасъ надъ нею смѣялась?

— Ну, конечно... да это дѣло другое: дома то я ничего не боюсь.

— А здѣсь чего бояться? Посмотри, свѣтло какъ днемъ. Если хочешь, мы воротимся не лѣсомъ. Ты знаешь дорожку между кустовъ, прямо внизъ, къ деревнѣ?

— Какъ не знать: я сколько разъ по ней ходила.

— Ну, пойдемъ же.

Онѣ подошли къ часовнѣ, помолились передъ иконою и сѣли на скамейку, съ которой можно было окинуть однимъ взглядомъ прелестный видъ обширныхъ полей и холмистыхъ береговъ Хопра, описанный нами въ пятой главѣ сей истинной повѣсти. Это очаровательное мѣстоположеніе становилось еще величественнѣе и прекраснѣе при лунномъ свѣтѣ; всѣ предметы представлялись въ какомъ то огромномъ размѣрѣ: роцци превращались въ обширные дремучіе лѣса; холмы, кидая отъ себя густую тѣнь, поднимались какъ исполинскія горы, и освѣщенный луною Хоперь извивался широкою серебряною лентою посреди луговъ, которые казались безпредѣльными равнинами. Но вся эта роскошь природы не обращала на себя вниманія Вареньки: она смотрѣла только въ одну сторону, туда, гдѣ, на кру-



томъ берегу Хопра, стоялъ обитый тесомъ большой господскій домъ, окруженный садами и рощами. По прямому направленію отъ часовни, подлѣ которой сидѣла Варенька, до этой барской усадьбы, казалось, не было и полуверсты. Мѣстахъ въ двухъ или трехъ окна были освѣщены; изрѣдка долетали до внимательнаго слуха Вареньки то голоса громко разговаривающихъ, то веселые звуки разгульной пѣсни. Мало-по-малу все стало утихать; окна дома темнѣли одно послѣ другого; вотъ раздался лай цѣпной собаки, и зазвенѣла чугунная доска ночного сторожа.

— Кажется, у Кирсановыхъ всѣ спятъ? — сказала Дуняша. — Да неужели и Владиміръ Ивановичъ почиваетъ? Онъ мнѣ сказывалъ, что никогда не ложится спать прежде двухъ часовъ ночи.

— Да почему ты думаешь, что онъ спитъ? — спросила Варенька.

— А какъ же? Развѣ вы не видите направо два крайнихъ окна? Вѣдь вы знаете, что это его комната. Еслибъ онъ не спалъ, такъ въ ней былъ бы огонь.

— Да эти окна и прежде не были освѣщены.

— Такъ, видно, онъ гуляетъ. Говорятъ, что онъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ къ намъ ѣздить, совсѣмъ перемѣнился, и сталъ такимъ полуночникомъ, что иногда до самаго разсвѣта шатается по лѣсу.

— Почему ты это знаешь?

— Мнѣ рассказывала Матрена; а она это слышала отъ своей крестной матери, Афимьи, кормилицы Владиміра Ивановича.

— Такъ эта добрая старушка, Афимья, которую я аза два видѣла въ дѣвичьей?...

— Ну, да, она его кормилица. Она говорить, что Владиміръ Ивановичъ, какъ пріѣхалъ изъ Москвы въ побывку къ батюшкѣ, такъ сначала былъ такой веселый, разговорчивый, а теперь какъ въ воду опущенный: тоскуетъ, исхудалъ, не спитъ по ночамъ... А все вы!...

— Почему-жь я?

— Потому, что онъ въ васъ влюбленъ.

— И, полно, Дуняша!

— Да что вы отъ меня таитесь? Ну, можетъ ли быть, чтобъ онъ вамъ объ этомъ не намекалъ?

— Никогда!

— Скажите пожалуйста!... Ну да это оттого, что онъ

не смѣть къ вамъ и приступитья. Попробуйте, будьте съ ними поласковѣе, такъ онъ сейчасъ за васъ посватается.

— Ахъ, Дуня, ты старѣе меня годами, а судишь какъ дитя! Да развѣ онъ можетъ располагать собою? У него есть отецъ.

— Ну, конечно, у него есть отецъ; да почему же отцу то на это не согласиться?

— Потому, что онъ очень богатъ.

— А вы бѣдны что-ль? Вѣдь Хопровка то будетъ ваша. Да гдѣ-жъ Владиміръ Ивановичъ найдетъ здѣсь невѣсту богаче васъ?

— Ребенокъ! — сказала Варенька съ грустною улыбкою. — Да развѣ онъ долженъ непременно жениться на какой-нибудь здѣшней барышнѣ? Мало ли богатыхъ невѣстъ и въ Саратовѣ, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ?...

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! — прервала Дуняша. — Какая же я дура: вѣдь ему никто не заказалъ жениться въ Москвѣ или въ Петербургѣ; а тамъ, конечно, много и богатыхъ невѣстъ, и графинь, и княженъ... Ахъ, знаете ли, что? Афимья сказывала Матрешѣ, что у Владиміра Ивановича въ Москвѣ есть невѣста.

— Право? — проговорила Варенька протяжнымъ голосомъ, стараясь казаться равнодушною. — Кто-жъ она такая?

— Говорятъ, какая то княжна.

— Княжна?... Богатая?

— Пятьсотъ душъ.

— И, вѣрно, молода?

— Девятнадцати лѣтъ.

— А собой хороша?

— Андрей, слуга Владиміра Ивановича, говоритъ, что она прекрасная, распрекрасная собой!

— Чтожъ... они помолвлены?

Голосъ Вареньки дрожалъ болѣе и болѣе съ каждымъ новымъ вопросомъ; послѣдній едва можно было разобрать.

— О, нѣтъ! — отвѣчала Дуняша. — Вѣдь объ этомъ только еще разговаривали, а настоящаго ничего не было. Сначала, когда Владиміръ Ивановичъ сюда пріѣхалъ, онъ писалъ къ этой княжнѣ письма каждую недѣлю...

— А теперь? — прервала Варенька.

— Два мѣсяца сряду ни строчки... Что вы, что вы? — продолжала Дуняша. — Что съ вами?

Варенька рыдала; она опустила голову на плечо Дуняши, и слезы полились рѣкою изъ ея глазъ.

— Ахъ, барышня, барышня! — сказала Дуняша голосомъ, въ которомъ отзывался нѣжный упрекъ. — Зачѣмъ вы отъ меня тайлись?... Вы его любите?

— Да! — прошептала Варенька.

— И онъ этого не знаетъ?

— Нѣтъ.

— Такъ постойте же, если вы сами не хотите...

— Бога ради! — вскричала Варенька, вскочивъ со скамьи. — Что ты хочешь дѣлать?

— Да если Владиміръ Ивановичъ никогда не будетъ знать, что вы его любите...

— Да, я люблю его! — сказала Варенька съ какимъ то отчаяніемъ, и глаза ея вспыхнули необычайнымъ огнемъ. — О, я такъ долго скрывала эту тайну въ душѣ моей, я не смѣла повѣрять ее даже этимъ деревьямъ, не смѣла даже здѣсь, одна, ночью, сказать вслухъ: «Владиміръ, я люблю тебя!»... Пора облегчить мое сердце: оно все изныло. Слушай, Дуняша. Да, я люблю его; но эта любовь... О, какъ она ужасна!... Она не радость, не блаженство... нѣтъ: это адъ со всѣми его муками! Когда меня ласкаетъ отецъ или мать, сердце мое разрывается, я ненавижу, презираю себя! Въ ту самую минуту, когда я читаю въ ихъ глазахъ всю безпредѣльную любовь къ ихъ дочери, я чувствую... не гляди на меня, Дуняша!... Да, я чувствую, что люблю его больше отца и матери!... А за что? Не думаешь ли, что я счастлива, когда онъ вмѣстѣ со мною?... О, нѣтъ! Я хотѣла бы высказать ему всю душу и должна молчать. Понимаешь ли, мой другъ, какъ это тяжело, — любить и не смѣть сказать, что я люблю? Когда я не успѣю отъ него убѣжать, и онъ начнетъ говорить со мною... о, Дуня, Дуня, еслибъ ты знала, что я тогда чувствую!... Сердце мое едва бьется, въ груди горитъ, мнѣ душно!... Когда я съ нимъ розно, я не живу; когда мы вмѣстѣ, я страдаю! Мнѣ кажется иногда, что я похожу на человѣка, измученнаго жестокою болѣзнію: онъ знаетъ, что болѣзнь его неизлѣчима, что жизнь для него одно страданіе и, несмотря на это, онъ любитъ жизнь, любитъ ее болѣе всего на свѣтѣ! Въ молитвахъ моихъ я не прошу Бога о спокойствіи: спокойствіе и равнодушіе — это почти одно и то же; а я не хочу перестать любить его. Безъ этой любви спо-

койствіе будетъ для меня все то же, что смерть для чело-  
вѣка, измученнаго болѣзнію: и у него такъ же сердце пе-  
рестанетъ страдать, когда оно перестанетъ биться, и онъ  
такъ же успокоится, когда его опустятъ въ могилу.

— Боже мой, Боже мой,—вскричала Дуняша, всплес-  
нувъ руками,—зачѣмъ вы его такъ любите?

— Ты говоришь правду, мой другъ. Я чувствую, это  
тяжкій грѣхъ,—не должно такъ любить челоуѣка.. Да,  
Владиміръ жизнь моя; но онъ никогда не будетъ моимъ  
мужемъ и никогда не узнаетъ, какъ я люблю его.

— Да почему же вы думаете, что онъ не будетъ ни-  
когда вашимъ мужемъ? Ну, быть можетъ, сначала ба-  
тюшка его и поупрямится, а тамъ—глядишь, посердится,  
посердится, да и дастъ свое благословеніе. Вѣдь онъ, гово-  
рять, безъ памяти любитъ сына.

— А свой чинъ и свое богатство еще болѣе. И ты ду-  
маешь, что этотъ надмѣнный челоуѣкъ дозволитъ единствен-  
ному своему сыну и наслѣднику жениться на дочери бѣд-  
наго отставнаго поручика? Да можетъ ли это быть?... Нѣтъ,  
мой другъ, зачѣмъ себя обманывать: Владиміръ Ивановичъ  
уѣдетъ въ Москву, забудетъ меня; увидится опять со своею  
княжною, женится на ней или на какой-нибудь другой бо-  
гатой дѣвушкѣ, а я... Богъ милостивъ, я скоро зачахну съ  
горя, умру... Ахъ, нѣтъ, я не могу желать и этого: вѣдь  
я у нихъ одна!

Варенька закрыла руками лицо и горько заплакала. Ду-  
няша молчала и плакала съ нею вмѣстѣ.

— Пойдемъ!—сказала, наконецъ, Варенька, вставая.—Я  
думаю, Игнатъевна успѣла ужъ помолиться Богу и вѣрно  
теперь насъ дожидается.

Варенька и Дуняша, взявшись за руки, побѣжали внизъ  
по тропинкѣ, которая извивалась посреди мелкаго кустар-  
ника; она вывела ихъ въ нѣсколько минутъ на берегъ  
рѣки, вдоль которой тянулся довольно большой *порядокъ*  
крестьянскихъ избъ. Пройдя деревню, онѣ остановились у  
самаго поворота къ дому, чтобъ взглянуть на Хоперь, кото-  
раго струи, освѣщенныя полною луною, искрились и бле-  
стѣли какъ граненый хрусталь.

— Ахъ, какъ теперь хорошо на рѣкѣ!—вскричала не-  
волью Дуняша.—Вѣдь, право, лучше, чѣмъ днемъ?

— Да, — отвѣчала отрывисто Варенька, смотря при-  
стально внизъ по теченію Хопра.

— Что это, — продолжала Дуняша, — никому не вадумается покататься въ лодкѣ? Теперь то и настоящее гулянье: днем жарко, солнцемъ печеть; а теперь и тепло и прохладно...

— А вотъ посмотри сюда, — прервала Варенька. — Видно, есть охотники.

Шагахъ въ пятидесяти отъ того мѣста, гдѣ стояли Варенька и Дуняша, плыла противъ теченія небольшая лодка. Въ ней сидѣлъ одинъ только человекъ; но онъ такъ дружно и искусно работаль двумя веслами, что челнокъ подвигался впередъ почти такъ же быстро, какъ будто бы онъ шель внизъ по теченію рѣки.

— Дуня! — шепнула Варенька, — схвативъ ее за руку. Это онъ!

— И, что вы... помилуйте! Я съ трудомъ вижу, что кто то сидитъ въ лодкѣ, а вы ужь и лицо разсмотрѣли.

Варенька приложила руку Дуняши къ груди своей.

— Слышишь ли, — сказала она, — какъ бьется мое сердце? О, оно никогда меня не обманывало!... Это онъ!

— А вотъ посмотримъ! Станемте здѣсь, — сказала Дуняша, указывая на ракитовый кустъ, который росъ надъ самую водою, прямо противъ господскаго дома. Насъ не будетъ видно, а мы все увидимъ.

Онъ спрятались за кустъ.

Когда челнокъ поровнялся съ домомъ, тотъ, кто управлялъ имъ, пересталь грести, и только нэрѣдка опускаль весла въ воду, чтобъ держаться противъ теченія и стоять на одномъ мѣстѣ. Это былъ молодой человекъ лѣтъ двадцати пяти. Ночь была такъ свѣтла, и онъ причалиль такъ близко къ ракитовому кусту, что изъ-за него можно было безъ труда разсмотрѣть всѣ черты лица и полюбоваться его прекрасною и благородною наружностію. Длинные черныя кудри, которыя въ деревнѣ не нужно было, изъ барскаго подражанія французамъ, завивать въ глупыя букли и обезображивать пудрою, падали свободно на его плечи. Голубой плащъ, до половины спущенный, лежалъ у него на колѣняхъ, а на голову была надѣта одна изъ тѣхъ польскиххъ красныхъ шапочекъ, которыя тогда были въ большой модѣ и назывались *конфедератками*. Предчувствіе не обмануло Вареньку — да, это былъ онъ. Прошло минутъ десять, а челнокъ все стояль неподвижно на одномъ мѣстѣ. Владиміръ смотрѣль задумчиво на господскій домъ, или,

лучше сказать, на два окна въ антресоляхъ этого дома; казалось, онъ хотѣлъ проникнуть взоромъ во внутренность небольшой комнаты, слабо освѣщенной лампадою. Вотъ кто то появился въ ней со свѣчею въ рукѣ, подошелъ къ окнамъ, опустилъ подъемныя рамы, задернулъ гардинки. «Она ложится спать»,—сказалъ про себя Владиміръ.—«Почивай спокойно, мой ангелъ! О, если-бъ ты хотя во снѣ, увидѣвъ меня, улыбнулась съ любовью!» Онъ послалъ по воздуху поцѣлуй, который отправился прямо въ окно къ мамушкѣ Игнатьевнѣ; потомъ подобралъ весла,—челнокъ повернулся и полетѣлъ какъ стрѣла внизъ по теченію рѣки.

Я вѣрю, что истинная любовь вовсе неземное чувство; что человѣкъ, способный любить со всею непорочною и чистотою дѣтской души, обладаетъ до нѣкоторой степени *вторымъ зрѣніемъ* шотландцевъ или ясновидѣніемъ погруженнаго въ магнитическій сонъ, то есть предчувствуетъ и скорую разлуку, и скорое свиданіе съ тѣмъ, кого любить; узнаетъ по тоскѣ души своей, что тотъ, кого онъ любитъ, боленъ, или, по радостному біенію сердца, что онъ близко подлѣ него. Я вѣрю всему этому, можетъ быть, по тому, что я отъ природы чрезвычайно легковѣренъ, и вслѣдствіе этой увѣренности поневолѣ долженъ сказать, что мужчины вообще или не могутъ любить такъ *духовно*, какъ любятъ женщины, или любовь Вареньки была несравненно сильнѣе той, которую чувствовалъ къ ней Владиміръ. Ей сердце сказало, что это онъ, когда глазами она не могла его еще видѣть; почему же Владиміръ, до котораго почти долетало ея дыханіе, не почувствовалъ, что она въ двухъ шагахъ отъ него, притаясь за кустомъ, не сводитъ съ него глазъ, и взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой любви, слѣдитъ за каждымъ его движеніемъ?

— Ну, Дуняша, — сказала она шопотомъ, когда челнокъ, обогнувъ песчаную отмель, исчезъ за крутымъ берегомъ Хопра,—не отгадала ли я?

— Нечего сказать, барышня: зорки глаза у влюбленныхъ.

— Вотъ нѣсколько счастливыхъ минутъ въ моей жизни!—продолжала Варенька.—Онъ не говорилъ со мною, не видѣлъ меня, не зналъ даже, что я подлѣ; а мнѣ можно было смотрѣть на него, любоваться имъ!... О, если-бъ это наслажденіе могло продолжаться годъ... десять лѣтъ... всю жизнь мою!... Вотъ, Дуняша, вотъ блаженство, котораго

жаждетъ душа моя!... Не знаю, понимаешь ли ты меня?..

— Да кто васъ пойметъ, Варвара Кузьминична!—сказала почти съ досадою Дуняша.—Вы ходите на гору смотрѣть издалека на его окна, онъ прѣзжаетъ по ночамъ въ лодочкѣ глядѣть на наши антресоли, а сойдется вмѣстѣ—такъ ни слова! Ну что это за любовь такая?... Оба вы, ничего не видя, худѣете, чахнете, не спите по ночамъ... Ужь, по-моему, лучше одинъ конецъ: пусть онъ попытается, можетъ быть, ему и удастся уговорить своего батюшку... Только вы то сами отъ него не бѣгайте. Вѣдь нельзя же ему за васъ посвататься, если онъ будетъ думать, что вы его терпѣть не можете. Однакожь, пойдѣте скорѣй домой, а не то бабушка Игнатъевна такую пыль подыметъ, что, Боже, упаси; и вѣдь все оборвется на мнѣ!

Дѣйствительно, мамушка встрѣтила ихъ не очень ласково.

— Что это, барышня, не стыдно ли вамъ?—ворчала она.—Пошли на полчаса, да часа два проходили! А, чай, все эта озорница?... «Еще погуляемъ, еще погуляемъ!» Посадила бы тебя плеть кружево, да по урокамъ,—такъ перестала бы полуночничать!... Ну, что смѣтаете?... Молитесь-ка Богу: скоро пѣтухи запоютъ.

Игнатъевна, уложивъ свою барышню, отправились спать. Когда все утихло, и въ сосѣдней комнатѣ захрапѣли дуэтомъ старуха-мамушка и толстая дѣвка Матрена, Дуняша, которая давно уже замѣчала, что Варенька потихоньку плачетъ, спустилась осторожно съ постели и подошла на цыпочкахъ къ ея изголовью.

— Послушайте,—сказала она шопотомъ,—не упрямитесь! Почему знать, что можетъ случиться? Богъ милостивъ! Вѣдь ужъ хуже этого ничего не можетъ быть: того и гляди, что вы оба зачахнете; а если вы подадите Владимиру Ивановичу хотя маленькую надежду...

— Никогда!—сказала прерывающимся голосомъ Варенька и прижалась лицомъ къ подушкѣ, чтобъ заглушить свои рыданія.

Не знаю, въ какой то комедіи, кажется—«*Подложномъ кладѣ*», дядя говоритъ племянницѣ: «Никогда, мой другъ, не надобно говорить никогда». Мы увидимъ впоследствии, могъ ли бы этотъ дядя сказать то же самое Варенькѣ.

### ХІІІ.

КАКЪ АЛЕКСѢЙ ПАНКРАТЫЧЪ КУРОЧКИНЪ РАСШИВЪ СЕБѢ ЛОБЪ  
И ПЕРЕЛОМИЛЪ ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО.

На другой день послѣ описанной нами ночной прогулки, часу въ десятомъ по-утру, семейство Мирошевыхъ, напившись чаю, сидѣло въ той самой комнатѣ, въ которой, осьмнадцать лѣтъ тому назадъ, Кузьма Петровичъ въ первый разъ увидѣлъ Марью Дмитріевну. Варенька и Дуняша вышивали въ няльцахъ; Кузьма Петровичъ читалъ «Санкт-петербургскія Вѣдомости», которыми снабжалъ его, по сосѣдству, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ; а Марья Дмитріевна вязала филе и посматривала съ примѣтнымъ безпокойствомъ на свою дочь.

— Что это, мой другъ Варенька,—сказала она, наконецъ,—ты такъ блѣдна сегодня? Здорова ли ты?

— Здорова, маменька.

— Да отчего-жь ты такъ худѣешь?

— Я худѣю?... Что вы!... Это вамъ такъ кажется.

Марья Дмитріевна покачала головой.

— Не худѣетъ,—сказала она вполголоса,— а платья надобно перешивать! Послушай, мой другъ, если ты что-нибудь чувствуешь, такъ, Бога ради, не скрывай: мы пошлемъ въ городъ за лѣкаремъ.

— Увѣряю васъ, маменька, что я совершенно здорова.

— Такъ отчего-жь ты въ два мѣсяца такъ похудѣла?

— Я тебѣ скажу отчего,—прервалъ Кузьма Петровичъ, положивъ на столъ газеты. Онѣ съ Дуняшей каждый день верстъ двадцать обѣгають. Ужь я ли не люблю ходить пѣшкомъ, а никакъ за ними не угоняюсь.

— Зачѣмъ же такъ много ходить?

— И, матушка, не мѣшай имъ. Когда же и погулять, какъ не теперь? Вотъ придетъ дурное время, такъ поневолѣ стануть сидѣть дома.

— Кузьма Петровичъ — сказалъ Прохоръ, просунувъ свою голову въ растворенныя двери, — купецъ изъ города.

— Какой?

— Да вотъ тотъ самый, что на прошлой недѣлѣ торговалъ у насъ пшеницу; онъ хочетъ съ вами поговорить.

— Позови его въ гостиную,—сказалъ Мирошевъ, вставая.



— Слушаю, сударь... Да не уступайте, батюшка,—прибавил Прохоръ вполголоса,—дасть!

Кузьма Петровичъ подошелъ къ дочери, поцѣловалъ ее въ лобъ и сказалъ, выходя изъ комнаты:

— Жена, съ чего ты взяла, что Варенька сегодня блѣдна? Посмотри: да она какъ маковъ цвѣтъ!

— Въ самомъ дѣлѣ!—проговорила Марья Дмитріевна.— Что это, Варенька, какъ ты часто мѣняешься въ лицѣ?

— Это оттого, маменька, что я долго сидѣла нагнувшись.

Не знаю, показалась ли Марья Дмитріевнѣ эта причина удовлетворительною, но вы, любезные читатели, вѣроятно догадаетесь, что Варенька покраснѣла совсѣмъ отъ другого, если я скажу вамъ, что въ то самое время, какъ Мирошевъ выходилъ изъ комнаты, подѣзжалъ къ воротамъ, на лихомъ горскомъ жеребцѣ, стройный молодой человѣкъ въ щегольскомъ полевомъ кафтанѣ; онъ вскакалъ молодцомъ на дворъ, спрыгнулъ съ коня, отдалъ его стремянному, который за нимъ вѣхалъ, и вбѣжалъ на крыльцо.

— Ахъ, Владиміръ Ивановичъ!—вскричала съ ласковою улыбкою Марья Дмитріевна, когда гость вошелъ въ комнату.—Откуда вы такъ рано?

— Я ѣздилъ на охоту съ батюшкой,—отвѣчалъ Владиміръ, поцѣловавъ у нея руку и поклонясь Варенькѣ и Дунашѣ.—Онъ отправился домой, а я хотѣлъ хоть на минуту завернуть къ вамъ и узнать о вашемъ здоровьѣ.

— Не прикажете ли чаю?

— Покорнѣйше васъ благодарю! Я ужъ завтракалъ. А что, Кузьма Петровичъ здоровъ?

— Слава Богу! Онъ сейчасъ придетъ.

Варенька встала.

— Куда ты, мой другъ?—спросила Марья Дмитріевна.

— Въ садъ, маменька: надобно полить мои цвѣты.

— Я ужъ приказала садовнику.

— Да мнѣ и пройтись хочется; я такъ долго сидѣла.

— Позвольте и мнѣ погулять вмѣстѣ съ вами, — сказала Владиміръ.—Я очень люблю вашъ садъ.

— Полноте смѣяться, Владиміръ Ивановичъ!—прервала Мирошева.—Послѣ вашего великолѣпнаго сада, нашъ незатѣйливый садикъ долженъ вамъ показаться простымъ огородомъ.

— Вы можете мнѣ не вѣрить, Марья Дмитріевна; но я

клянусь вамъ честію, что люблю его гораздо болѣе нашего преогромнаго и прескучнаго регулярнаго сада. Когда я смотрю на его зеленыя стѣны изъ липъ и подстриженныя елки, то мнѣ всякій разъ кажется, что его не сажали, а строили.

— Пойдемъ, Дуняша,—шепнула Варенька.

— Вы позволяете мнѣ быть вашимъ кавалеромъ?—спросилъ ее Владиміръ.

— Какъ вамъ угодно, — отвѣчала она едва слышнымъ голосомъ.

— Ступайте, Владиміръ Ивановичъ, — сказала Марья Дмитріевна. — Я и сама сейчасъ къ вамъ приду; теперь лучшее время для прогулки: черезъ часъ будетъ жарко.

Владиміръ вышелъ вмѣстѣ съ Дуняшей и Варенькой.

— Какъ онъ милъ! — прошептала Мирошева, глядя вслѣдъ за ними. — Ну, право, я не знаю, кто изъ нихъ лучше... Ахъ, если бы!... О, тогда бы я умерла спокойно...

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ опять въ комнату Кузьма Петровичъ.

— Гдѣ нашъ гость?—спросилъ онъ.

— Пошелъ вмѣстѣ съ Варенькой и Дуняшей гулять по саду.

Мирошевъ покачалъ головою.

— Охъ ужъ мнѣ эти гулянья!—сказалъ онъ. — Марья Дмитріевна, смотри, чтобъ послѣ не тужить!

— О чемъ, мой другъ?

— О чемъ?... Да воля твоя, душенька, не худо бы ему порѣже къ намъ ѣздить.

— Кому?... Владиміру Ивановичу?

— Ну, да!

— Помилуй, Кузьма Петровичъ, давно ли ты самъ его хвалилъ?

— И теперь пожалуй похваляю. Да вѣдь у насъ, мой другъ, дочь невѣста.

— Такъ чтожъ?

— Какъ что? Владиміръ Ивановичъ прекрасный мужчина, любезень, уменъ...

— Да, это правда.

— Мнѣ кажется, что Варенька ему нравится.

— Слава Богу, замѣтилъ!—прервала Марья Дмитріевна съ улыбкою.

— А если и онъ также понравится нашей дочери?... Если они полюбятъ другъ друга?...

— Тогда онъ посватается, а она выйдетъ за него замужъ.

Мирошевъ опять покачалъ головою.

— Да что это, мой другъ, ты качаешь головой?—продолжала Марья Дмитріевна.—Мнѣ кажется, Владиміръ Ивановичъ прекрасная партія для нашей дочери...

— О, конечно!... Если-бъ у него не было отца.

— Ахъ, Кузьма Петровичъ, да не все ли это равно? Въдъ Владиміръ Ивановичъ единственный его наслѣдникъ.

— Не объ этомъ рѣчь, матушка...

— А, понимаю!... Говорять, что Иванъ Никифоровичъ вспылчивъ: ты боишься его крутого нрава? Да въдъ онъ, несмотря на это, предобрый человекъ.

— Нѣтъ, Марья Дмитріевна, совсѣмъ не то...

— А, вотъ что! Ты думаешь, что Иванъ Никифоровичъ вдовець и можетъ самъ еще жениться?... Помилуй, ему за шестьдесятъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, матушка!—прервалъ съ нетерпѣніемъ Кузьма Петровичъ.—Я думаю, что Иванъ Никифоровичъ не позволитъ сыну жениться на нашей дочери.

— Не позволитъ?...—повторила съ величайшимъ изумленіемъ Мирошева.—Какъ не позволитъ?...

Бѣдная Марья Дмитріевна! Она была такого высокаго мнѣнія о своей дочери, что изъ всѣхъ различныхъ препятствій, это одно не приходило ей никогда въ голову, потому что оно казалось ей совершенно невозможнымъ.

— Ахъ, Кузьма Петровичъ,—сказала она,—что это у тебя иногда за странныя мысли!... Да найдется ли гдѣ-нибудь такой человекъ, который не захотѣлъ бы назвать Вареньку своею дочерью? И чѣмъ ты хуже Кирсанова? Ты старинный русскій дворянинъ, тебя всѣ уважають...

— Все такъ, матушка; однакожъ, послушай: если-бъ за нашу дочь посватался какой-нибудь отставной прапорщикъ, хотя и честный человекъ, но вовсе безъ состоянія...

— Какая разница, мой другъ!

— Я тутъ не вижу никакой разницы.

— Такъ у тебя глазъ нѣтъ. Да развѣ ты не видишь, что такое Варенька? Самъ Иванъ Никифоровичъ, когда заѣзжаетъ къ намъ, не можетъ ею налюбоваться. Да есть ли въ цѣломъ мірѣ кто-нибудь милѣе, умнѣе и прекраснѣе

нашей дочери?... Кому она не пара? Какой женихъ можетъ быть для нея слишкомъ богатъ или знатенъ?...

— А почему ты знаешь, мой другъ, что Иванъ Никифоровичъ не говоритъ то же самое о своемъ сынѣ? Вѣдь и ему также никто не заказалъ думать, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ невѣсты, которая была бы слишкомъ знатна или богата для его сына. Эй, Марья Дмитріевна, смотри, чтобъ намъ не нажить себѣ горя! Эти частыя посѣщенія...

— Чтожъ?—прервала Мирошева,—не прикажете ли отказать ему отъ дома?...

— Я не говорю этого; но если бы онъ порѣже съ нею видѣлся...

— Признаюсь, я не ожидала, чтобъ вы такъ мало любили вашу дочь!

— Жена... побойся Бога!

— Ну, пускай бы кто-нибудь другой, а то родной отецъ хочетъ помѣшать счастью своей дочери!

— Машенька,—сказалъ Мирошевъ, всплеснувъ руками,—ты ли это говоришь?

Марья Дмитріевна замолчала, потомъ кинулась на шею къ мужу, заплакала и сказала:

— Прости, меня, мой другъ, я виновата!... Но ты не знаешь, какъ я люблю ее!

— Право не больше моего,—продолжалъ Мирошевъ, обнимая жену.—Охъ, вы, матушки, матушки! Что съ вами дѣлать? Вы, видно, всѣ на одинъ покрой. Глядишь, женщина умная, разсудительная, съ толкомъ, а дошло дѣло до того, чтобъ просватать дочку за выгоднаго жениха, такъ съ ней и не говори! Все вздоръ, кромѣ того, что она себѣ въ голу забрала.

— Душенька, другъ мой! — прошептала Марья Дмитріевна, лаская мужа, — какъ же ты хочешь, чтобъ я не желала этого? Впрочемъ, успокойся: за Вареньку намъ бояться нечего; я не думаю, чтобъ она ему отказала, если онъ, съ позволенія отца, будетъ за нее свататься; но что она къ нему совершенно равнодушна, въ этомъ я могу тебя увѣрить. Она даже замѣтнымъ образомъ избѣгаетъ случая быть съ нимъ вмѣстѣ. Да это такъ и быть должно; я сужу по себѣ: я могла влюбиться только въ жениха своего,—а Варенька вся въ меня

— Полно, такъ ли, мой другъ?... Душа то у нея твоя, а сердце, или, вѣрнѣй сказать, голова не вовсе на твою

походить. Ты, кажется, не хаживала по ночамъ смотрѣть на луну, да мечтать; а за нею это водится.

— Ребячество, мой ангелъ! И я бы, можетъ быть, вздыхала по лунѣ, если-бъ у меня не было причины вздыхать о другомъ. Послушай, мой другъ, оставь ихъ! Если, въ самомъ дѣлѣ, Владиміръ Ивановичъ въ нее влюбленъ, такъ неужели ты думаешь, отецъ будетъ противиться его счастью? Вѣдь онъ у него, такъ же какъ наша Варенька, одинъ-одинехонекъ... И на что ему искать богатой невѣсты для сына, когда онъ и безъ этого будетъ богатъ?

— Ну, хорошо, хорошо! Только куда бы я желалъ, чтобъ это все, такъ или этакъ, только скорѣе кончилось. А межъ тѣмъ ступай-ка, душенька, къ нимъ въ садъ.

— Да не безпокойся: вонъ, посмотри, Владиміръ Ивановичъ садится ужъ на лошадь. Видно, торопится: не зашелъ и прѣститься со мною... Какой молодецъ!... Не правда ли, мой другъ?... А это что за гости къ намъ влутъ... Кто это?... Тройкой... въ бричкѣ...

— Пстой-ка!—сказалъ Мирошевъ.—Ну, такъ и есть,—Курочкинъ!... И, кажется, со своимъ сыномъ... Фу ты, батюшки: однаъ женихъ со двора, другой на дворъ!... Только этотъ будетъ понадежнѣе; и если онъ хоть крошечку понравится Дуняшѣ, такъ и съ Богомъ!

— Да неужели ты думаешь, что онъ съ перваго раза такъ и начнетъ свататься?

— О, нѣтъ, Курочкинъ человекъ аккуратный: теперь смотри, а тамъ сваху жди на дворъ; потомъ пойдутъ переговоры. Панкратій Лукичъ станетъ торговаться; мы посулимъ немножко побольше, онъ сдѣлаетъ уступочку, а тамъ и по рукамъ.

Межъ тѣмъ бричка подвѣхала шагомъ къ крыльцу. Сначала выпрыгнулъ изъ нея сынъ,—нельзя сказать, чтобъ очень ловко, потому что шпага его перевернулась эфесомъ внизъ, и онъ зацѣпилъ концомъ ея по носу кучера; потомъ полвѣзъ и батюшка съ большою осторожностію, опираясь на руку сына. Часто бываетъ, что дѣти вовсе не походятъ на своихъ родителей; но едва ли вамъ случалось видѣть такую разительную противоположность и въ моральномъ и физическомъ отношеніи между отцомъ и сыномъ, какую представляли собою Панкратій Лукичъ и Алексѣй Панкратычъ Курочкинъ. Первый, то есть отецъ, былъ низкаго роста, съ кругленькимъ брюшкомъ, на двухъ тоненькихъ и

короткихъ ножкахъ. Большая, съ обширную лысинуголова, казалось была приклеена къ его плечамъ. Панкратій Лукичъ могъ бы смѣло грабить на большихъ дорогахъ въ Англии. Всѣмъ извѣстно, что тамъ законъ исполняется буквально: онъ повелѣваетъ уличеннаго въ разбоѣ преступника вѣшать *за шею*; слѣдовательно, Курочкина рѣшительно нельзя было бы повѣсить: у него вовсе не было шеи. Если-бъ можно было олицетворить подлюку и крючковатую хитрость стариннаго русскаго приказнаго, смѣшанную съ безстыднымъ нахальствомъ лакея большого барина, то, конечно, для этого понадобилось бы лицо Панкратія Лукича. Зеленовато-сѣрые глаза его были въ непрерывномъ движеніи; казалось, онъ боялся остановить ихъ на одномъ предметѣ и дать время прочесть въ нихъ всѣ плутовскія затѣи своей чернильной душонки, преисполненной подъяческими кознями. Его огромный носъ опускался широкимъ навѣсомъ надъ вѣчно-улыбающимися устами и круглымъ подбородкомъ, который, за отсутствіемъ шеи, былъ обернутъ миткалевою бѣлою косынкою. На Панкратія Лукича былъ суконный, бутылочнаго цвѣта, нѣмецкій кафтанъ, гродетуровый плюсовый камзолъ, такое же исподнее платье, и полосатые шелковые чулки. Въ одной рукѣ держалъ онъ *натуральную* трость съ серебрянымъ набалдашиникомъ, въ другой трехъ-угольную шляпу, весьма искусно зашитую черными нитками. Изъ подъ камзола висѣли двѣ семилеровыя цѣпочки съ разными побрякушками: одна отъ серебряныхъ часовъ шарообразной формы; а другая—такъ, вѣроятно, для симметріи.

Теперь поставьте рядомъ съ нимъ виднаго тамбуръ-мажора, котораго, шутки ради, нарядили въ офицерскій мундиръ. Этотъ сыночекъ ровно на двѣ четверти былъ выше своего папеньки, то есть въ немъ было два аршина и двѣнадцать вершковъ росту. Прибавьте къ этому широкія плечи, высокую грудь, прямой, вытянутый станъ и жилистыя ноги, которыя какъ будто бы вовсе разучились сгибаться; однимъ словомъ, если у васъ нѣтъ подъ руками надежнаго столба, а вашъ домъ готовъ повалиться, подпирайте его смѣло Алексѣемъ Панкратычемъ и почивайте спокойно. Румяное лицо его, по своему добродушному выраженію, было бы довольно пріятно, когда бы у него, вмѣсто бездушныхъ оловянныхъ глазъ, были глаза, хотя нѣсколько человѣческіе. Онъ такъ же часто и такъ же не-

кстати хохоталъ, какъ часто и безъ всякой причины улыбался его батюшка. Вы скажете ему пріятливое слово, онъ захохочетъ; спросите о здоровьи—онъ умретъ со смѣху. Однажды было отецъ вздумалъ порядкомъ пожурить за это сына, да послѣ и закаялся.

— Эхъ, Алеша!—сказалъ онъ, — что у тебя за обычай такой? Выпучишь глаза, да, ни къ селу, ни къ городу, захохочешь словно сычъ какой? Вѣдь иной подумаетъ, что ты глупъ, какъ пеня!

Эти два вѣжливыя сравненія показались сынку такъ забавными, что онъ повалился со смѣху на полъ и чуть не задохся: насилу его отлили водою.

Входя на крыльцо, Панкратій Лукичъ безпрестанно шепталъ сыну:

— Смотри, Алеша, не забудь: подойди къ ручкѣ, да не хохочи, пожалуйста! Ухмыляйся только ради пріятства, — ну, вотъ такъ же, какъ я.

— Знаю, батюшка, знаю!—отвѣчалъ сынокъ, выправляя свою шпагу и прижимая къ вискамъ форменныя букли, которыя начинали топыриться и принимать понемногу видъ распростертыхъ крыльевъ.

Мирошевы были уже нѣсколько минутъ въ гостиной; Варенька и Дуныша гуляли еще по саду.

— Чтожъ наши гости такъ долго нейдутъ?—спросила Марья Дмитріевна мужа.

— И, матушка: женихъ, — такъ охорашивается, чтобъ пригляднуться невѣстѣ.

Вдругъ что то такъ сильно стукнуло, что стѣны затряслись въ домѣ, и въ то же время Прохоръ Кондратьичъ закричалъ въ передней:

— Батюшки, убился!

— Ничего!—заревѣлъ кто то басомъ.

— Скорѣй, скорѣй, мѣдный пятакъ!—раздался незнакомый голосъ.

— Боже мой, что это такое?—вскричала Марья Дмитріевна.

— Это какъ будто бы кто-нибудь ударилъ дубиною въ стѣну,—сказалъ Мирошевъ, выходя изъ гостиной.

Кузьма Петровичъ почти отгадалъ. Входя изъ сѣней въ переднюю, трехъ-аршинный женихъ не обратилъ вниманія на то, что двери очень низки, и со всего размаха хватился лбомъ о притолоку. Когда Мирошевъ вошелъ въ лакейскую,

то ему представилась чрезвычайно интересная и трогательная картина: изувѣченный сынъ сидѣлъ на *коникѣ*; съ одной стороны заботливый отецъ, приложивъ къ его лбу мѣдный пятакъ, старался изъ всѣхъ силъ оттиснуть російскій гербъ на огромной шишкѣ, которая, несмотря на всѣ его усилія, становилась все больше и больше; съ другой стороны Прохоръ Кондратьичъ держалъ обѣими руками голову страдальца; въ двухъ шагахъ стояли буфетчикъ Фомка и мамушка Игнатьевна, которой въ эту минуту толстая Матрена подавала бутылку *живой воды*, и двѣ босоногія дѣвчонки робко выглядывали изъ коридора. Вѣроятно, Панкратію Лукичу удалось бы, наконецъ, заклеить своего сына, если-бъ онъ, увидѣвъ Мирошева, не вскочилъ съ коника.

— Ахъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! — сказалъ Курочкинъ-отецъ, положивъ преспокойно въ свой карманъ чужія пять копѣекъ. — Извините!... Какой вышелъ случай!... Извольте видѣть, вотъ онъ... Это, батюшка, мой сынъ... Прошу любить и жаловать!...

— Вы, кажется, больно ушиблись? — спросилъ Мирошевъ.

— Не извольте беспокоиться! — отвѣчалъ женихъ, — обдергивая мундиръ. Пустяки-съ, — шишка и больше ничего!

— Однакожь, вы шибко ударились.

Женихъ умеръ со смѣху.

— Не правда ли? — сказалъ онъ, продолжая хохотать. — Да это нашему брату ни почемъ! У насъ и не такіе желваки бывали. Была бы только голова на плечахъ.

— Вы, кажется, въ отставку? — спросилъ Мирошевъ Курочкина-сына.

— Да-съ, вольный козакъ!... Ха, ха, ха!

— И долго у насъ поживете?

— Какъ же!... Хи, хи, хи!

Панкратій Лукичъ толкнулъ локтемъ сына.

— Да милости прошу къ женѣ! — сказалъ Кузьма Петровичъ.

Оба Курочкина пошли за хозяиномъ, и между ними начался шопотомъ слѣдующій разговоръ:

— Перестанешь ли ты хохотать, дубина!

— Забылъ!

— Забылъ!... Эко чучело!

— Да полно, батюшка, ругаться!... Услышать!



Когда они вошли въ гостиную, Панкратій Лукачъ отвѣсилъ пренизкій поклонъ Марьѣ Дмитріевнѣ и мигнулъ сыну; сынъ приготовилъ правую ладонь, какъ нищій, который собираетъ просить милостыню, двинулся форсированнымъ маршемъ къ хозяйкѣ, уронилъ мимоходомъ работный столикъ съ пальцами и подошелъ къ рукѣ. Въ ту самую минуту, какъ Марья Дмитріевна, по русскому обычаю, наклонилась, чтобъ поцѣловать его въ щеку, Алексѣй Панкратычъ поднялъ голову и, къ счастью, не разбилъ ей носъ, а только замаралъ лицо пудрою.

— Прошу покорно садиться! — сказалъ хозяинъ, едва удерживаясь отъ смѣха.

Курочкины сѣли.

— Вы, кажется, служили въ одномъ полку съ племянникомъ сосѣда нашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина? — спросилъ Мирошевъ, чтобъ начать разговоръ.

— Да-съ! Точно такъ-съ! — отвѣчалъ женихъ. — Мы съ нимъ однокорытники. Расторопный офицеръ!

— Онъ, кажется, произведенъ въ подпоручики?

— Не могу знать. Хорошій товарищъ, весельчакъ; только, смѣю вамъ доложить, такой сорви-голова, что и сказать нельзя! Какъ онъ былъ еще капраломъ, такъ его частехонько подъ ружья ставили. И со мной выкидывалъ порядочныя штучки.

— Право?

— Да вотъ я вамъ доложу. Прошлаго лѣта находились мы съ нимъ въ откомандировкѣ; я былъ старшимъ, а онъ младшимъ. Вѣдь вы изволите знать, въ службѣ палку поставятъ командиромъ, такъ и палки слушайся. Вотъ я, по долгу службы, потребовалъ, чтобы онъ мнѣ рапортовалъ. Чтожь вы думаете?... Онъ подошелъ ко мнѣ и началъ какъ слѣдуетъ: «Честь имѣю рапортовать»... да и пошелъ меня позорить не на животь, а на смерть, — совсѣмъ обругалъ! А самъ стоитъ безъ шляпы, на вытяжку: никакъ нельзя придратъся.

Мирошевъ засмѣялся, Марья Дмитріевна также, а самъ рассказчикъ при сей вѣрной оказіи покотился со смѣху; это бы еще ничего, но онъ такъ навалился на спинку кресель, что опрокинулся вмѣстѣ съ ними на полъ и переломилъ у нихъ ручку.

— Что ты это, Алексѣй? — закричалъ Панкратій Лукачъ. — Что это нынче съ тобой дѣлается?... Извините, батюшка, Кузьма Петровичъ!

— Ничего, ничего! — сказалъ Мирошевъ, помогая гостю подняться на ноги.

— Увести его скорѣе отсюда, — шепнула Марья Дмитріевна мужу, — а не то онъ все у насъ переломаетъ. Не угодно ли вамъ, Алексѣй Панкратичъ, — продолжала она, обращаясь къ жениху, который оправлялся, — взглянуть на нашъ садикъ?

— Съ моимъ удовольствіемъ! Я чрезвычайно люблю сады-съ, особливо плодовые, — очень занимательно: и гуляй себѣ до-сыта, и ѣшь до-отвалу!

Мирошевъ остался одинъ съ Панкратіемъ Лукичемъ. Въ этомъ только мѣрѣ, на этой только землѣ, гдѣ развратъ, нечестіе и злоба идутъ рука объ руку со всеми христіанскими добродѣтелями, могутъ встрѣтиться и бесѣдовать между собою два существа, изъ которыхъ одно — воплощенная честь, а другое — олицетворенное плутовство. Никогда еще у Панкратія Лукича не вертѣлись и не бѣгали такъ глаза, какъ въ эту минуту; онъ чувствовалъ, что они никакъ не выдержатъ встрѣчи съ чистымъ и покойнымъ взоромъ честнаго человѣка. Какъ всѣ мы не можемъ безъ боли смотрѣть прямо на солнце, такъ точно всякій бездѣльникъ не можетъ встрѣтить взглядъ честнаго человѣка безъ какого то непріятнаго чувства, которое несомнѣе всякой физической боли. Я понимаю ненависть совершеннаго негодяя къ истинному христіанину, то есть къ человѣку доброму и честному въ высочайшей степени: онъ не можетъ смотрѣть ему прямо въ глаза. Почему-жъ не можетъ? — спросите вы. Потому, что въ свѣтломъ и кроткомъ взорѣ христіанина начертанъ его приговоръ; въ этомъ взорѣ сіяетъ миръ и благодать Божія, а въ его груди кипятъ страсти и *нѣтъ души его покоя*.

Съ полминуты продолжалось молчаніе; наконецъ, Курочкинъ собрался съ духомъ, глаза его перестали бѣгать изъ стороны въ сторону; онъ приподнялся съ кресель, началъ ухмыляться и сказалъ:

— Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, долженъ вторично просить у васъ прошенья, что по какой то ошибкѣ, вчерашняго числа загнали съ нашихъ полей вашу скотинку. Повѣрите ли, когда я узналъ объ этомъ, такъ меня словно варомъ окатили, — насилу опомнился! Ужь задалъ же я гонку старостѣ!... Господи, Боже мой, загнать скотину Кузьмы Петровича Мирошева, этого почтеннѣйшаго сосѣда нашего!... Разбойникъ!...

— Я вамъ очень благодаренъ, — отвѣчалъ Мирошевъ; — да напрасно вы и у другихъ такъ часто загоняете, а особливо съ болота: дѣло сосѣдское, не убережешься.

— Нельзя, благодѣтель: и радъ бы радостію, да какъ дашь повадку, такъ вовсе одолбють. Находясь здѣсь на приказѣ, я состою въ отвѣтственности передъ его графскимъ сіятельствомъ. Охъ, батюшка!... Конечно, мѣсто мое видное: его высокографское сіятельство первый вельможа во всемъ Русскомъ Царствѣ, а я у него первый человѣкъ, — мнѣ иногда и губернаторъ поклонится, — такъ; да за то и отвѣтъ великъ!

— Кажется, Панкратій Лукичъ, вы о графскихъ пользахъ радѣете довольно. Вотъ недавно у князя Лядина вы оттягали пятьсотъ десятинъ земли...

— Не считая луговъ по Хопру, — прервалъ Курочкинъ, и глаза его засверкали. — Да ништо ему, — спесивъ; а гордымъ Богъ противится... Э, да кстати! Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, перебирая, на этихъ дняхъ, разные крѣпостные акты, отказныя записи и межевыя книги по селу Вознесенскому, нашалъ какъ то печально на одинъ документецъ, который отчасти касается и до вашей отчины.

— До Хопровки?

— Точно такъ, милостивецъ! Вотъ, изволите видѣть: это подлинная дарственная грамота Царя Михаила Ѳеодоровича стольнику князю Григорію Хворостинину, въ которой онъ жалуетъ рѣченному князю въ вѣчное и потомственное владѣніе отчину, село Вознесенское съ деревнями, со всѣми угодьями, живыми урочищами и отъемными дачами, въ числѣ коихъ поименована пустошь Зеленыя Горки, Хопровка то-жъ; изъ чего явствуетъ, что вначалѣ помѣстье ваше было пустошью, а заселено, вѣроятно, уже по переходѣ ея къ другимъ владѣльцамъ.

— Можетъ быть.

— Въ оной же дарственной грамотѣ показано въ сей пустоши земли невступно пятьдесятъ четвертей, что, по общему размежеванію помѣстныхъ земель, составить и съ примѣромъ едва ли сто сороковыхъ десятинъ; а у васъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, кажется, десятинокъ до осьмисотъ наберется.

— Такъ чтожь?

— А то, благодѣтель, что души нарождаются, а земля-то вѣдь не растеть.

— Но развѣ прежніе владѣльцы не могли прикупить земли отъ сосѣдей?

— Справедливо, батюшка, Кузьма Петровичъ, справедливо! Да, сколько мнѣ извѣстно, у васъ на сія покупныя земли ни купчихъ, ни плана не имѣется.

— Это правда: я слышалъ отъ покойнаго Лаврентія, что они лѣтъ сорокъ тому назадъ сгорѣли вмѣстѣ съ прежнимъ домомъ. Впрочемъ, я думаю, и у васъ также никакихъ документовъ нѣтъ, которыми можно было бы доказать, что это земля не моя.

— Документовъ нѣтъ, но если бы я хотѣлъ завести съ вами тяжebu, — отъ чего избави меня, Господи! — такъ я бы въ моей челобитной могъ приписать нижеслѣдующее: «Въ селѣ, дескати, Вознесенскомъ, въ отчинѣ его высокографскаго сіятельства, господина... и прочее, и прочее имѣется наличныхъ душъ, по послѣдней ревизіи, четыреста тридцать семь душъ мужеска пола, и хотя отъ поступленія онаго села изъ короннаго вѣдомства въ вотчинное владѣніе различныхъ помѣщиковъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, никогда изъ принадлежащихъ оному селу дачъ никакихъ земель продаваемо не было; но, несмотря на сіе обстоятельство, при селѣ Вознесенскомъ имѣется земли: удобной и неудобной, пахатной, поемной, подъ лѣсомъ, усадьбою, огородами, конопляниками, гумнами и выгономъ, всего вообще не болѣе двухъ тысячъ восьмисотъ десятиныхъ, то есть гораздо менѣе полагаемой закономъ пропорціи, по десяти десятиныхъ на каждую ревизскую душу мужского пола. По какому же резонту при смежномъ съ вышесказаннымъ селомъ Вознесенскимъ, селѣцѣ Хопровкѣ, прежде бывшей пустоши Зеленыя Горки, гдѣ и теперь, по послѣдней ревизіи, не болѣе пятидесяти душъ, а вѣроятно было несравненно менѣе, имѣется восемьсотъ десятиныхъ земли, сирѣчь, по шестнадцати десятиныхъ на каждую душу? Не явствуетъ ли изъ сего, что вся сія излишняя земля прирѣзана изъ Вознесенскихъ дачъ къ селѣцу Хопровкѣ неправильно и противозаконно, или находится въ насильственномъ завладѣніи у настоящаго помѣщика рѣченнаго селѣца Хопровки, прежде бывшей пустоши Зеленыя Горки?»

— Помилуйте, Панкратій Лукичъ! — сказалъ Мирошевъ, у котораго отъ этихъ приказныхъ выражений сердце замерло отъ ужаса. — Да этимъ имѣнемъ слишкомъ тридцать лѣтъ владѣла спокойно моя родная тетка, прежній вознесен-

скій помѣщикъ ничего не отыскивалъ, жалобъ никакихъ не было...

— И теперь не будетъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! Я это сказалъ такъ,— ради собственной вашей осторожности... Чтобъ я завелъ съ вами тяжбу,— Боже меня сохрани! Нѣтъ, благодѣтель, я постараюсь оградить васъ и отъ будущихъ притязаній. Вѣдь неравень сосѣдъ навяжется, батюшка! Иной такой ябедникъ, что вы и отъ своей земли отступитесь, лишь только бы онъ васъ по судамъ не волочилъ.

— Избави, Господи!— сказалъ Мирошевъ, сложивъ набожно руки.— Да я пуще всего на свѣтѣ боюсь тяжбныхъ дѣлъ.

— Да какъ ихъ и не бояться, Кузьма Петровичъ,— бѣда! Попадись только въ руки къ подъячимъ, къ этимъ проклятымъ пивцамъ, всю кровь изъ васъ выпьютъ по капелькѣ. Подлинно, крапивное сѣмя: ни стыда, ни совѣсти! И колесо подмажешь, такъ оно не скрѣпитъ, а подъячему сунешь цѣлковый въ правую руку, а онъ лѣвую норовитъ запустить тебѣ въ карманъ. Вѣрите-ль Богу, Кузьма Петровичъ, не могу понять, какъ есть на свѣтѣ ябедники?... Да ужъ изъ одного того, чтобъ не знаться съ этою чернильною тварью, я не завелъ бы ни съ кѣмъ процесса... А дѣлать нечего! Какъ довѣренное лицо его высокографскаго сятельства, я долженъ защищать его интересъ; и плѣчу, а че-лобитную подаю!... Совѣсть, батюшка, Кузьма Петровичъ, совѣсть этого требуетъ!

Мирошевъ былъ человекъ не глупый; но его умъ вовсе не походилъ на то, что условились въ свѣтѣ называть умомъ. Во всю жизнь свою онъ не сказалъ ни одного остраго слова, не забавлялся легковѣріемъ дурака, ни надъ кѣмъ не смѣялся, и всегда послѣдній замѣчалъ плутни ка-кого-нибудь обманщика, не потому, чтобъ у него не доста-вало для этого довольно ума и проницательности,—о, нѣтъ! Но чистая, благородная душа его не могла никогда пости-гнуть, что есть на свѣтѣ люди, для которыхъ обмануть, провести, обидѣть точно такъ же пріятно, какъ пріятно для него сдѣлать доброе дѣло или оказать безкорыстную услугу. Слушая Панкратія Лукича, онъ готовъ былъ вѣрить его словамъ. «Почему знать, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ Курочкинъ притѣсняетъ сосѣдей безъ всякаго злого намѣренія, а единственно изъ слѣплого усердія къ своему

господину? Это, конечно, не хорошо, но вѣдь все зависитъ отъ нашего понятія; а если онъ убѣжденъ въ душѣ своей, что долженъ такъ поступать?... Да и станетъ ли какой-нибудь закоренѣлый крючкотворецъ говорить такъ дурно о подъячихъ и ябедникахъ? Кто-жь захочетъ позорить самого себя?... Такъ думалъ Мирошевъ, этотъ простодушный ребенокъ съ сѣдыми волосами. Однакожь, онъ чувствовалъ, что ему какъ то неловко съ Курочкинымъ; вѣроятно, потому, что, несмотря на громкое званіе волостного приказчика знаменитаго вельможи, Панкратій Лукичъ все-таки былъ крѣпостнымъ человѣкомъ, и Мирошевъ не зналъ самъ, какъ долженъ съ нимъ обходиться. Онъ не хотѣлъ оскорбить его или слишкомъ нецеремоннымъ обращеніемъ, или излишнею вѣжливостію, которая могла бы ему показаться насмѣшкою; однимъ словомъ, бесѣдуя глазъ на глазъ съ Курочкинымъ, Кузьма Петровичъ находился въ какомъ то ложномъ и чрезвычайно неприятномъ положеніи. Мирошевъ не зналъ еще, до какой степени можетъ простираться наглая самонадѣянность и дерзость слуги большого барина, когда онъ имѣетъ дѣло съ малочиннымъ и бѣднымъ дворяниномъ. Если-бъ хозяинъ встрѣтилъ его у воротъ своего дома, то и тогда бы Панкратій Лукичъ не принялъ эту чрезвычайную вѣжливость за насмѣшку, а только, можетъ быть, подумалъ бы про себя: «вѣрно, у него есть до меня какое-нибудь дѣло».

— Не хотите ли, Панкратій Лукичъ,—сказалъ Мирошевъ,—пройтись также по саду?

— Съ большимъ удовольствіемъ! — отвѣчалъ Курочкинъ, вставая.—Очень радъ, батюшка: время такое благоприятное.

Они вышли прямо изъ гостиной на небольшое крылечко, которымъ спустились въ цвѣтникъ.

— Жена, вѣрно, въ этой вишневой куртнѣ,—сказалъ Мирошевъ.—Тамъ слышны голоса; пойдете къ нимъ.

Мирошевъ не ошибся: они нашли въ этой куртнѣ всѣхъ гуляющихъ. Марья Дмитріевна отдыхала на дерновой скамьѣ, а Варенька и Дуняша отъ всей души смѣялись, глядя на любезности Голяева Курочкина. Ради общей потѣхи, онъ доставалъ зубами вишни, до которыхъ онъ не могли достать руками, и потомъ, для вящаго удовольствія всей честной компаніи, глотать ихъ вмѣстѣ съ косточками.

— Ну, Марья Дмитріевна, — сказалъ Панкратій Лукичъ, — видно, Господь благословилъ васъ въ нынѣшнемъ году: вишень то у васъ, вишень: такъ и усыпано! Что, вы изволите ихъ на зиму солить или мочить?

— Нѣтъ, Панкратій Лукичъ, мало остается: и сами ѣдимъ, и гости кушаютъ. Да не хотите ли!

— Покорнѣйше благодарю! Я люблю иногда этимъ позабавиться, да только послѣ обѣда.

— Вы, надѣюсь, у насъ кушаете?

— Никакъ не могу сегодня: у меня обѣдаетъ нашъ капитанъ-исправникъ, Антонъ Фаддеечъ Покрапушкинъ. Алеша, — продолжалъ Курочкинъ, увидѣвъ, что Варенька не могла никакъ достать вѣтку съ вишнями на одномъ красивомъ деревцѣ, — чтожь ты смотришь? Видишь, Варвара Кузьминична не можетъ достать?...

Алеша кинулся со всѣхъ ногъ, ухватилъ несчастное деревцо почти за самую вершину, понатужился, крикнулъ, дерево также крикнуло и повалилось на землю

— Ахъ, какая жалость! — вскричала невольно Варенька. — Я это деревцо сама посадила!

— Ну, что за бѣда, — прервала Марья Дмитріевна. — Посадишь другое.

— Эхъ, Алеша, — сказалъ Курочкинъ, подойдя къ сыну, — какъ ты неостороженъ!... Да что ты сегодня какъ медвѣдь все ломаешь! — прибавилъ онъ шопотомъ.

— Вѣдь ты самъ мнѣ велѣлъ! — пробормоталъ сынокъ.

— Велѣлъ!... Заставь дурака Богу молиться!...

— Не журите его! — сказалъ Мирошевъ. — Вѣдь онъ хотѣлъ услужить Варенькѣ.

— Разумѣется, батюшка, Кузьма Петровичъ, разумѣется!.. Онъ у меня малый такой услужливый!... Да торопливъ немногo, — молодъ!... Однакожь, не пора ли гостямъ со двора? И вамъ время кушать, а мнѣ надобно поспѣшать домой. Счастливо оставаться!

Разумѣется, Мирошевы не стали удерживать гостей. Алексѣй Панкратычъ подошелъ опять къ рукѣ; но на этотъ разъ не къ одной Марьѣ Дмитріевнѣ, а также къ Варенькѣ и Дуняшѣ. Эта экспедиція кончилась довольно счастливо; но, уходя изъ саду черезъ гостиную, онъ раздавилъ мимоходомъ горшокъ съ гвоздикoю, выбилъ шпагою стекло въ дверяхъ и, наконецъ, не произведя никакихъ дальнѣйшихъ опустошеній, отправился въ обратный путь вмѣстѣ

со своимъ папенькою, который во всю дорогу читалъ ему мораль, то есть называлъ его быкомъ, лѣшимъ и неотесаннымъ болваномъ.

— Ну что, мой другъ? — спросилъ Мирошевъ вполголоса у жены.

— Больно глупъ! — отвѣчала Марья Дмитриевна, качая головой.

— Да, не уменъ. А лицо вѣдь доброе. Онъ говорилъ что-нибудь съ Дуняшей?

— Говорилъ.

— О чемъ?

— Не знаю. Дуняша, о чемъ говорилъ съ тобою Алексѣй Панкратычъ?

— Я сказала ему, что ѣсть много вишенъ вредно; а онъ отвѣчалъ мнѣ, что ему ничего не вредно, и что онъ за одинъ пріемъ можетъ съѣсть полбарана и цѣлаго гуся.

— Какъ онъ тебѣ кажется?

— Кому? Мнѣ-съ?... А Богъ его знаетъ.

— Вѣдь онъ молодець, — сказала Мирошевъ.

— Да-съ! Такой высокій.

— Ты отъ нея ничего не добьешься, — шепнула Марья Дмитриевна. — Она, видно, начинаетъ догадываться. Да и что объ этомъ говорить: вѣдь онъ еще не сватался... Подождемъ, увидимъ, что будетъ послѣ.

#### XIV.

Разговоръ Прохора Кондратыча съ волостнымъ писаремъ Антономъ Федотычемъ и неожиданныя послѣдствія этой дружеской бесѣды.

Въ деревянной церкви села Вознесенскаго давно уже отошла обѣдня; кой-гдѣ еще сидѣли на паперти дряхлые старушки и старики: они, отстоявъ службу, отдыхали, чтобъ собраться съ силами и добрести до домовъ. Въ церкви оставалось одно семейство Мирошевыхъ: Кузьма Петровичъ служилъ панихиду по своей теткѣ. На погостѣ дожидался господъ своихъ Прохоръ Кондратычъ, разговаривая съ Андреемъ Омичемъ Зарубкинымъ. Онъ также ожидалъ задушевнаго своего друга, пономаря Феропонта, который каждое воскресенье и каждый двенадцатый праз-



никъ раздѣлялъ его убогую трапезу и распивалъ съ нимъ полуштофикъ ерофеича.

— Ну что, любезнѣйшій,—спросилъ Зарубкинъ Кондратьича,—Панкратій Лукичъ былъ у васъ вчера со своимъ пріѣзжимъ?

— Былъ, сударь. Сынокъ то у него молодець.

— Да, верзила порядочный!... Нечего сказать: ни ростомъ, ни умомъ не пошелъ по батюшкѣ. Вчера изволилъ быть у меня. . Ну я, какъ водится, сталъ потчевать тѣмъ, другимъ,—хоть бы отъ чего-нибудь отказался: такъ и жреть!.. Ахъ ты, Господи!... Поставилъ я ему блюдечко черносливу, да тарелку каленыхъ орѣховъ, такъ, мало того, что онъ черносливъ то сталъ убирать за обѣ щеки, какъ гречневую кашу, да и орѣхи то всѣ перещелкалъ!... А ужъ что за околесную городилъ!... Ну, видите Богъ, Кондратьичъ, совѣстно было слушать!

— Однакожь, говорятъ, человекъ онъ добрый.

— А кто его знаетъ! Вѣдь теперь еще онъ у отца подъ началомъ; а вотъ какъ женится, да заживетъ своимъ домикомъ, такъ, можетъ статья, такую прыть покажетъ, что его и не узнаешь. А батюшка то очень хочетъ его женить... Да еще что они затѣваютъ!...

— А что?

— Да такъ!... Можетъ быть, къ вамъ сегодня или завтра сваха во дворъ...

— Ну чтожь? Милости просимъ!

— Право?—сказалъ Зарубкинъ, взглянувъ съ удивленіемъ на Прохора —Ну, конечно,—продолжалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—тамъ что ни говори, а вѣдь онъ оберъ-офицеръ, видный собою... человекъ добрый... поддержка есть... да и кубышка то у батюшки еще не початая... А умъ что?... Безъ денегъ гроша не стоятъ; а съ деньгами и безъ него проживешь... Да вотъ и господа твои идутъ... Батюшка Кузьма Петровичъ, мое нижайшее почтеніе!... Марья Дмитриевна!... Варвара Кузьминична!... Авдотья Лаврентьевна!...

Когда Мирошевы усѣлись въ свою линею, Прохоръ сказалъ потихоньку Кузьмѣ Петровичу:

— Извольте ужъ ѣхать съ однимъ Ѳомкою, а я здѣсь останусь.

— Да, да, — шепнулъ Мирошевъ,—ступай къ писарю, да узнай толкомъ.

— Все будетъ сдѣлано, не безпокойтесь.

Мирошевы отправились домой; Зарубкинъ увелъ къ себѣ пономаря Феропонта, а Кондратьичъ пошелъ въ волостную контору.

Волостная контора села Вознесенскаго помѣщалась въ одномъ изъ флигелей большого деревяннаго дома, въ которомъ жилъ самъ главноуправляющій, Панкратій Лукичъ Курочкинъ. До прибытія нынѣшняго старшаго писаря, Антона Фодотыча, контора была въ самомъ жалкомъ видѣ: ничто не возбуждало въ ней ни страха, ни уваженія въ приходящихъ крестьянахъ; это была просто грязная сборная изба, а не верховное судилище цѣлой волости. Антонъ Фодотычъ привелъ все въ порядокъ. Представьте себѣ просторную комнату, средину которой занимаетъ большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; вдоль внутренней стѣны четыре шкапа; на двухъ изъ нихъ написано крупными буквами: «архивъ»; въ простѣвкѣ между оконъ небольшой столикъ для двухъ младшихъ писцовъ; передъ большимъ столомъ обитыя черною кожею кресла для Курочкина; напротивъ скамья для старшаго писаря; въ углу, при самомъ входѣ, ради грозы, *стулъ*, то есть огромный деревянный чурбанъ съ желѣзною цѣпью и ошейникомъ; надъ нимъ на стѣнѣ, — замѣтьте это гениальное сближеніе, — знаменитая лубочная картина, представляющая страшный судъ; у дверей дежурный десятникъ, въ сѣняхъ очередной караульщикъ и два мальчика для посылокъ.

Антонъ Фодотычъ на этотъ разъ сидѣлъ развалившись въ креслахъ, потому что старшаго не было на лицо. Передъ нимъ стояла крестьянская баба съ блюдомъ яицъ. Антонъ Фодотычъ, со всею важностію грамотнаго человѣка, читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости» и по временамъ пожималъ съ презрѣніемъ плечами.

— Нѣтъ, — прошепталъ онъ, наконецъ, — въ старину не такъ писывали! Ну, что это за рѣчь? Самая ординарная: ни одной тонкой персональности, никакого деликатственнаго изъясненія!... Любой мужикъ пойметъ!

— Батюшка, Антонъ Фодотычъ, — сказала крестьянка съ низкимъ поклономъ, — вотъ ужъ я два часа дожидаюсь...

— Не торопись, голубка: дойдетъ и до тебя очередь.

— Сдѣлай такую милость!

— Да чтожъ ты за персона такая, что и подождать не хочешь?

— Рада-бъ радостью, батюшка, да дѣвчонка то у меня одна дома не управится. Пожалуй, батюшка, грамотку, да отпусти.

— Ну, ну, добро! Поставь - ка яйца то вонъ хоть на окно... Вѣдь ты просила меня написать просьбу къ его графскому сіятельству?...

— Такъ-ста, батюшка, такъ!

— Ты вдова; у тебя было десять человѣкъ дѣтей, да всѣ перемерли, а осталась только одна больная дочь?...

— Нѣтъ, батюшка, здоровая.

— Молчи, глупая: знаютъ лучше тебя! Тебѣ нечѣмъ кормиться... такъ ли?...

— Не то, что нечѣмъ, родимый...

— Врешь, дура, нечѣмъ!

— Такъ, батюшка, такъ,—нечѣмъ.

— Ну, слушай же! — сказалъ Антонъ Ѳедотычъ. Онъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги и началъ читать: — «Ваше высокографское сіятельство! Изъ десяти лозъ, происшедшихъ изъ утробы моей, осталась токмо единая лоза, со-сущая мою внутренность»...

— Здравствуй, Антонъ Ѳедотычъ! — сказалъ Прохоръ, входя въ комнату.

— А, почтеннѣйшій! — вскричалъ писарь, вставая. — Милости просимъ!... Ступай, тетка! Теперъ не до тебя... приходи послѣ.

— Да какъ же, батюшка, Антонъ Ѳедотычъ... — сказала крестьянка, переминаясь съ ноги на ногу.

— Ну, ну, съ Богомъ! Мнѣ съ тобой точить балясы то некогда!... Пошла, пошла!... Милости прошу на сіе сѣдалище! — продолжалъ писарь, указывая Прохору на кожаня кресла и садясь самъ подлѣ него на скамѣ. — Очень одолжилъ, благопріятель, своимъ визитованіемъ!... Прошу покорно!... Эй, Ваня, — прибавилъ онъ, обращаясь къ одному изъ писцовъ, которые сидѣли за маленькимъ столикомъ, — вынь-ка изъ архивнаго шкапа номеръ первый бутылочку рябиновки!

— Не трудись, Антонъ Ѳедотычъ: вѣдь ты знаешь, что я не пью.

— Помилуй, Прохоръ Кондратьичъ, да чтожъ ты за гость такой, коли тебя угощать никакого способія не имѣется?... А рябиновка то какая!... Посмотри, благопріятель, вѣдь масло, бальзамъ небесный!... Да выпей хоть чарочку!

— Ни за что на свѣтѣ.

— Хоть капельку... за здоровье твоихъ господъ.

— Они и такъ, по милости Божіей, здоровы.

— Ну, такъ ради оказанія достоюжнаго уваженія къ ихъ мериту.

— Не могу!

— Тѣфу ты пропасть! Да чтожь ты за курьезный человекъ такой!... Такъ чѣмъ же прикажешь тебя потчевать?

— А вотъ чѣмъ, Антонъ Федотычъ: говори со мной по людски; я твоихъ заморскихъ словъ терпѣть не могу.

Писарь поглядѣлъ съ состраданіемъ на Прохора, выпилъ за него двѣ чарки рябиновки и сказалъ:

— Это то слезамъ и подобно, любезный, что вы здѣсь, въ глуши, яко безсловесныя твари, безъ всякой полировки остаетесь. Ну, да что объ этомъ и говорить! Скажи-ка мнѣ лучше, любезнѣйшій: у васъ вчера Панкратій Лукичъ съ своимъ сыномъ былъ?

— Былъ.

— Ну что? Какъ его благородіе то приглянулся твоимъ господамъ?

— Не знаю.

— А тебѣ?

— По мнѣ, хорошъ. Да обычаемъ то онъ каковъ.

— Настоящій баранъ: самой смирной характерности.

— Право?

— Ужь я тебѣ скажу! Коля сожительница будетъ только всѣ пожелаемыя способы доставлять къ его насыщенію, такъ онъ станетъ жить во всякомъ у нея повиновеніи, и не токмо должный респектъ къ ея особѣ, но и всемѣрную сатисфакцію, при какой бы то ни было случайности, будетъ ей оказывать.

— То, есть по-твоему, онъ человекъ добрый, смиренный и будетъ слушаться во всемъ жены, коли она станетъ его на убой кормить?

— Думаю, что такъ, любезный.

— А батюшка то что?... Пораспояшется ли?... Вѣдь надобно сына то чѣмъ-нибудь наградить?

— Разумѣется, любезный!

— Какъ ты думаешь, этакъ ради перваго обзаведенія прикинетъ рубликовъ пятьсотъ.

— Пятьсотъ!... Нѣтъ, любезный, поколику мнѣ самому

извѣстно, потолику могу и тебя завѣрить: до тысячи пойдеть.

— Вотъ, что дѣло, такъ дѣло! У невѣсты также деньжонки будутъ.

— А натурой ничего?

— Какъ натурой?

— Сирѣчь—семьи три-четыре мужичковъ. Это было бы показистѣ, любезный; а можно бы, кажется: вѣдь у Кузьмы Петровича другихъ дѣтокъ нѣтъ?

Прохоръ Кондратьичъ остолбенѣлъ.

— Варвара Кузьминична, — продолжалъ писарь, — единородная дщерь и наслѣдница, такъ почему же не дать за нею въ приданое и полъ-Хопровки?

— Варвара Кузьминична, — повторилъ Прохоръ глухимъ голосомъ, приподымаясь съ кресель.

— Ну да!... Вѣдь мы хотимъ посватать дочку твоего барина; а ее, кажется, именуютъ Варварою?... Да что это съ тобой, любезный? Что ты вдругъ этакъ побагровѣлъ?.. Ужь не апоплексія ли какая?... Ахти, да у тебя и пальцы сводить!... Выпей скорѣй водицы!..

Въ самомъ дѣлѣ, пальцы правой руки Кондратьича свернулись судорожно въ кулакъ, и онъ готовъ былъ начать развязку этого продолжительнаго недоразумѣннн самымъ неожиданнымъ образомъ для писаря; но, хотя кровь и кипѣла у него въ жилахъ, хотя эта обида казалась ему невыносимою, однакожь, онъ поудержался: взглянулъ на широкоплечаго десятника, который стоялъ у дверей, потомъ на двухъ молодыхъ парней, которые писали за особымъ столикомъ, — стиснулъ губы, разогнулъ кулакъ, обтеръ потъ, который градомъ катился съ его лысины, и сказалъ едва внятнымъ голосомъ:

— Прощай, Антонъ Ѳедотычъ!... Мнѣ что то нездоровится...

— Ахъ, батюшки, какая оказія! — вскричалъ писарь. — Что это съ тобой, любезный?

— Ничего... пройдетъ... А что... вы сваху что-ль къ намъ пришлете?

— Какъ же!

— Когда?

— Да можетъ статья сегодня.

— Вотъ что!... И, вѣрно, просвирню Власьевну?

— Ну, разумѣтся!... Она баба умная и политичная.

— Милости просимъ! — прошептала Прохоръ съ такою сатанинскою улыбкою, что онъ не узналъ бы самого себя, если бъ ему поднесли зеркало.—Милости просимъ; а мы примемъ, угостимъ, да пожалуй и въ банѣ выпаримъ!... Прощай, любезный!

Кондратьичъ почти выбѣжалъ изъ комнаты, не оглянувшись на писаря, который его провожалъ, и остановился перевести духъ не прежде, какъ выбрался за околицу села.

— Милости просимъ, матушка Власьевна! — повторилъ онъ, задыхаясь отъ бѣшенства.—Мы тебя, голубка, отучимъ сватать за холопскихъ дѣтей нашу барышню!... Ахъ, онъ хамово отродье!... Да какъ онъ смѣлъ и подумать?... Нѣтъ, ужъ какъ хочетъ баринъ, а я попрошу воли!

Въ то время, какъ Прохоръ Кондратьичъ свирѣпствовалъ въ чистомъ полѣ, спѣша, какъ можно скорѣе, добраться до Хопровки, баринъ его сидѣлъ преспокойно съ Марьей Дмитриевной на крыльцѣ своего дома и кормилъ, вмѣстѣ съ нею, голубей, которые приучены были слетаться на звонъ колокольчика. Варенька и Дуняша были въ своей комнатѣ на антресоляхъ.

— Что это Прохора до сихъ поръ нѣтъ? — проговорилъ Мирошевъ.—Долго же онъ бесѣдуетъ со своимъ писаремъ!

— Знаешь ли что, мой другъ? — сказала Марья Дмитриевна.—Мнѣ этотъ женихъ вовсе не нравится. У него доброе лицо—это правда; да вѣдь добрый человекъ не всегда бываетъ хорошимъ мужемъ. Ну, легче ли для жены, если мужъ ея будетъ дурнымъ семьяниномъ и плохимъ отцомъ семейства, не по злости, а по глупости? А этотъ Курочкинъ, воля твоя, не то что глупъ, а, полно, не совсѣмъ ли дуракъ.

— Ужъ тотчасъ и дуракъ! Охъ, вы, барыни! Ты не можешь ему простить, что онъ изломалъ у насъ кресло, раздавилъ горшокъ съ цвѣтами и разбилъ окно. Ну, конечно, онъ неловокъ, мужиковать; а, право, дуракомъ его назвать не можно. Такіе ли, мой другъ, бываютъ дураки?.. Онъ просто не на своемъ мѣстѣ, и больше ничего. Не будь на немъ офицерскаго мундира, такъ ты бы и не замѣтила, что онъ глупъ. Ну, вотъ хоть нашъ буфетчикъ Ѳомка, малый смысленный, а наряди его бариномъ, да заставь съ нами бесѣдовать, такъ онъ покажется тебѣ глупѣе Курочкина.

— Не думаю.

— Право, такъ! Они оба, и батюшка и сынъ, не туда попали. Отцу бы слѣдовало быть приказнымъ, а сыну фельдфебелемъ.

— Можетъ быть; только какъ хочешь, мой другъ, а, по моему, лучше намъ выдать Дуняшу за какого-нибудь купца или даже мастерового, чѣмъ за этого офицера, на котораго безъ смѣха смотрѣть не можно.

— Полно, матушка, Марья Дмитріевна! Лучше то, лучше другое!... Не знаешь, гдѣ наше благополучіе, не угадаешь, гдѣ наше и несчастье! Господь лучше насъ всѣхъ это устроитъ. Если мы ничего дурного о женихѣ не узнаемъ, да онъ понравится Дуняшѣ, такъ и съ Богомъ! А если нѣтъ, такъ и говорить нечего... А вотъ и нашъ свать идетъ! Да никакъ съ дурными вѣстами: лицо что то у него вовсе не праздничное.

Прохоръ Кондратьичъ въ ужасныхъ попыхахъ, растрепанный и красный какъ клюква, подошелъ къ господамъ и, но говоря ни слова, повалился въ ноги.

— Что ты, что ты, Прохоръ?—вскричалъ Мирошевъ.

— Батюшка, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Кондратьичъ, стоя на колѣняхъ,—сдѣлайте милость, не откажите!...

— Да встань, говорятъ тебѣ! Ты знаешь, я этого терпѣть не могу!

— Знаю, батюшка, знаю! И я сродясь у васъ въ ногахъ не валялся; а теперь не встану, покамѣстъ вы не позволите мнѣ то, о чемъ я буду васъ просить.

— Да что такое?... Ужь не задумалъ ли ты жениться?

— Помилуйте, какая дура за меня пойдетъ? Нѣтъ, сударь, извольте только сказать: позволяю тебѣ, Прохоръ!

— Что за вздоръ такой!—прервалъ съ нетерпѣніемъ Мирошевъ.—Если ты не встанешь, да не скажешь толкомъ, о чемъ ты просишь, такъ я и говорить съ тобой не стану.

— Только не откажите, батюшка,—сказалъ Прохоръ вставая;—дайте мнѣ за всю мою службу хоть однажды вдоволь понатѣшиться.

— Ну, говори, говори!

— Сюда идетъ просвирня Власьева, —я обогналъ ее за полверсты до околицы: батюшка, Кузьма Петровичъ, матушка барыня, позвольте мнѣ притаскать ее!

— Притаскать? За что?—спросилъ съ удивленіемъ Мирошевъ.

— А за то, сударь, чтобъ она не ходила свахою въ дворянскій домъ отъ какого-нибудь Алешки Курочкина.

— Ты съ ума сошелъ, Прохоръ! Онъ офицеръ, а ты называешь его Алешкою.

— Офицеръ!... А давно ли онъ печки топилъ у своего барина... лѣшій этакій?... А эта пьяница... эта старая колотка, взялась за него высватать... Ахъ ты, Господи Боже мой!...

— Такъ дѣло идетъ не о Дуняшѣ? — спросила съ живостію Марья Дмитріевна.

— О какой Дуняшѣ!... Власьева будетъ сватать за этого холопскаго сынка, за этого статуя, прости, Господи!..

— Неужели Вареньку?—прервала Мирошева.

— Ее, матушка, ее!

Кузьма Петровичъ засмѣялся, а Марья Дмитріевна вспыхнула.

— Признаюсь, этого я не ожидалъ! — сказалъ Мирошевъ, продолжая смѣяться.

— Какая дерзость! — прошептала Марья Дмитріевна.

— Ну, сударь,—вскричалъ Прохоръ,—и послѣ этого вы мнѣ не позволите надавать этой свахѣ подзатыльниковъ и проводить ее шелепами со двора?...

— Нѣтъ, не позволю.

— Однакожъ,—сказала Марья Дмитріевна,—ты не прикажешь ее пускать къ себѣ?

— Почему-жъ не пустить? Она будетъ сватать, а мы очень вѣжливо откажемъ. Алексѣй Панкратычъ оберъ-офицеръ, мой другъ, слѣдовательно, такой же дворянинъ, какъ я.

— Но подумай, Кузьма Петровичъ, вѣдь отецъ его крѣпостной человѣкъ...

— Да развѣ отецъ сватается за Вареньку?

— Признаюсь, это очень обидно!

— И, душенька, чѣмъ тутъ обижаться?... Оно, конечно, смѣшно...

— Воля твоя, мой другъ,—прервала Марья Дмитріевна, вставая,—говори, если хочешь, съ этою свахою, а я видѣть ее не могу... Когда я подумаю только, что этотъ дуракъ... Нѣтъ, лучше уйду!... Прощай!

Марья Дмитріевна вошла въ домъ, а Прохоръ, который все смотрѣлъ за ворота, вдругъ встрепенулся, выхватилъ изъ-подъ крыльца метлу и закричалъ:



— Вот она, сударка то, вот она!... Видишь, какая!.. Батюшка, позвольте!

— Перестань, Прохоръ, — сказалъ строгимъ голосомъ Мирошевъ, — а не то я разсержусь.

— Эхъ, баринъ, баринъ, — пробормоталъ Кондратьичъ, бросивъ метлу, — Богъ тебѣ судья!... Вотъ, служи себѣ въкъ, много выслужишь! Тебя обижаютъ, а ты не смѣй и руку отвести!

## XV.

### С в а т о в с т в о .

Во дворъ вошла пожилая женщина лѣтъ пятидесяти пяти. Поставьте стоймя сороковую бочку, одѣньте ее въ ситцевую тѣлогрѣю и коломенковую полосатую юбку; придѣляйте къ бокамъ этой бочки двѣ руки, къ нижнему дну пару огромныхъ котовъ съ красною оторочкою, къ верхнему — человѣческую голову, въ золотомъ глазетовомъ кокошникѣ; накиньте на все это широкую шелковую фату, и вы будете имѣть довольно приблизительное понятіе объ этой подвижной копѣй, которую называли «просвирней Власьевной». Не извольте также на меня гнѣваться за то, что я употребилъ странное выраженіе: «нижнее и верхнее дно»: въ этомъ случаѣ я совершенно правъ, а виновата бочка, потому что у нея два дна, изъ которыхъ, въ настоящемъ ея положеніи, одно непременно должно быть верхнимъ, а другое нижнимъ! Раздутое отъ жиру и глянцевитое лицо Власьевны покоилось на отвисломъ подбородкѣ, около котораго намотано было нѣсколько нитокъ стекляруса и цвѣтныхъ пронизокъ. Едва замѣтный носъ, жеманный ротикъ, пара глазъ, опухшихъ съ перепоя, а болѣе всего черные, какъ смоль, зубы, придавали ей величественный и почти аристократическій видъ богатой купчихи тогдашняго времени. Она не подошла, а подплыла, какъ пава, къ крыльцу, отвѣсила низкій поклонъ Мирошеву, всползла кой-какъ на лѣстницу, задохнулась, пропыхтѣла съ полминуты, потомъ опять поклонилась и проговорила умильнымъ голосомъ:

— Здравствуйте, батюшка, Кузьма Петровичъ, со всѣмъ благодѣтельнымъ семействомъ вашимъ!

— Здравствуй, Власьевна! — сказалъ Мирошевъ. — Какъ поживаешь?

— Да такъ, отецъ мой,—живу кой-какъ, многогрѣшная, святыми вашими молитвами.

— Что это тебѣ вадумалось къ намъ пожаловать?

— Дѣльце есть, батюшка.

— Говори, Власьевна, говори!

— Во-первыхъ, государь, Кузьма Петровичъ,—я, ваша всегдашняя богомолица, прошу у Господа Бога всякаго вамъ счастья и всякихъ благъ земныхъ!

— Спасибо, Власьевна, спасибо!

— Награди тебя Владыко и въ здѣшнемъ и въ будущемъ мѣрѣ, за всякую твою добродѣтель! Поддай тебѣ Господи во всемъ посѣщеніе; чтобъ тебѣ, батюшка, все спорилось и все въ прокъ шло!

— Пошла разсыпаться мелкимъ бѣсомъ, старая колотвка!—проворчалъ Кондратьичъ.

— Благодарю, любезная!—отвѣчалъ Мирошевъ.—Хотя, по правдѣ сказать, я и не знаю, за что ты меня такъ жалуешь.

— Какъ же, батюшка!—воскликнула сваха.—Вѣдь ты у насъ въ приходѣ первый человѣкъ: ты всѣхъ насъ, какъ солнышко, пригрѣваешь. За то и Господь Богъ тебя милуетъ!... Сожительница твоя какъ ясный мѣсяцъ въ терему; дочка ненаглядная словно утренняя звѣздочка—красавица, лебедь бѣлая, утѣха родительская.

— Видишь, какъ подбирается, лиса проклятая!—прошепталъ Прохоръ.

— А вотъ, отецъ мой,—продолжала Власьевна,—какъ придетъ часъ воли Божіей, да прикроешь ты ея головушку, да Господь дастъ ей дѣточекъ, то то радостно тебѣ будетъ нянчить твоихъ внучатъ!

— Объ этомъ еще, Власьевна, и говорить нечего.

— Какъ не говорить, отецъ мой? Дочка твоя ужъ на возрастъ. А ты послушай меня, бабу глупую: не хорошо, батюшка, если товаръ долго въ лавкѣ залежится,—видитъ Богъ, не хорошо! Вѣдь нынче съ женишками то... ой, ой, ой,—бѣда, отецъ мой: совсѣмъ повывелись! Бывало, всѣ живутъ по домамъ, а теперь кто въ Москвѣ, кто въ Питерѣ, кто на службѣ царской,—избаловались, любятъ волошку; а вѣдь вѣнецъ то, батюшка, не шапка: надѣлъ, такъ не снимай до гробовой доски.

— Все это очень хорошо, любезная; да ты мнѣ хотѣла говорить о какомъ то дѣлѣ...

Власьева скривила на сторону голову, подперла ладонью правой руки локоть лѣвой, приложила два пальца къ щекамъ и начала говорить вполголоса:

— Батюшка Кузьма Петровичъ, есть у меня молодецъ на примѣтъ,—и ростомъ, и дородствомъ, и станомъ, и лицомъ—всѣмъ взялъ! Денежекъ у него и теперь вдоволь; а коли батюшка его поживетъ подольше, такъ онъ по смерти его будетъ рублевики не считать, а мѣрять пудовками. Человѣкъ не простой, въ чинахъ и въ большой милости у нашего графа. А ужъ обычая какого... Господи Боже мой!... Малый смирный, не пьющій, не мотыга... Да что тутъ говорить; ты самъ его, батюшка, изволилъ вчера видѣть.

— Такъ ты сватаешь мою дочь за сына Панкратія Луркича Курочкина?

— Такъ, кормилецъ, такъ!... То то будетъ парочка!

Въ продолженіе этого разговора дверь изъ лакейской безпрестанно растворялась; замѣтно было, что кто то хотѣлъ, но не рѣшался, выдти на крыльцо. Кондратьичъ стоялъ по-прежнему подлѣ лѣстницы; нѣсколько разъ онъ мѣнялся въ лицѣ, губы его дрожали, и не удивительно: его трясла лихорадка.

— Теперь, благодѣтель,—продолжала Власьева смѣясь, видя, что Мирошевъ слушаетъ ее спокойно, и съ большою кротостію, — дозвожь и мнѣ спросить тебя: чѣмъ ты наградишь свою дочку? О приданомъ говорить нечего: чай, матушка давно всего припасла и наготовила; а все-таки, государь Кузьма Петровичъ, кабы ты мнѣ пожаловалъ записочку, сколько того-другого, Божьяго благословенія, въ какихъ окладахъ; сколько бѣлья; нарядовъ, монистовъ...

— Не для чего, Власьева, не для чего!... Если тебя прислалъ Алексѣй Панкратычъ, такъ поклонись ему отъ насъ, поблагодари за честь, которую онъ дѣлаетъ Варенькѣ, и скажи ему, что мы нашу дочь не выдаемъ замужъ.

— Какъ, батюшка?... Да неужто ты хочешь засадить ее въ дѣвкахъ?

— И, любезная, придетъ время, выйдетъ замужъ. Вѣдь на свѣтѣ не одинъ женихъ Алексѣй Панкратычъ Курочкинъ.

— Да онъ то чѣмъ не женихъ?... Эхъ, батюшка Кузьма

Петровичъ,—не прогнѣвайся за мою правду,—коли ты начнешь такихъ жениховъ браковать, такъ не диво твоей барышнѣ и вѣкъ въ дѣвкахъ остаться! Станешь, кормилецъ, локотки кусать, да будетъ поздно!... Ну, чѣмъ Алексѣй Панкратычъ неровня твоей дочкѣ?...

Тутъ двери изъ передней растворились настежь и Марья Дмитриевна выбѣжала на крыльцо; щеки ея пылали.

— Нѣтъ,—сказала она,—это превосходить всякое вѣроятіе!... Помилуй, мой другъ,—нашу дочь смѣютъ равнять съ лакейскимъ сыномъ, а ты слушаешь и молчишь!

— Полно, милая,—сказалъ Мирошевъ;—ну, за что тутъ сердиться?

— Вонъ отсюда, наглая женщина!—продолжала Марья Дмитриевна, не слушая мужа.—Какъ ты смѣла придти сватать дочь нашу за сына крѣпостного человѣка?

Надобно было видѣть, какъ при этихъ словахъ измѣнились двѣ физиономіи: толстое лицо Власьевны вдругъ вытянулось и похудѣло; блѣдное лицо Прохора Кондратыча расцвѣло и засіяло радостію. У Власьевны отъ страха подогнулись ноги; она попятилась задомъ съ лѣстницы и уцѣпилась за перила, чтобъ не упасть; Кондратычъ выпрямился, подхватилъ свою метлу и сталъ въ боевую позицію.

— Матушка... сударыня... Марья Дмитриевна!—проговорила, заикаясь, сваха, продолжая пятиться задомъ съ лѣстницы.—Помилуйте... я въ этомъ вовсе не причинна!... Алексѣй Панкратычъ изволилъ приказать...

— И ты смѣешь называть его ровнею нашей дочери?...

— Виновата, сударыня, виновата!... Дурость какая то напала!... Не помню и сама, что говорила...

— Да знаешь ли, что можно съ тобою сдѣлать?...

— Матушка, барыня, — закричалъ Прохоръ, подымая метлу,—прикажите!...

Власьевна вскрикнула, бросилась въ сторону, упала и скатилась кубаремъ съ лѣстницы.

— Перестань, Прохоръ! — сказалъ Мирошевъ.—А ты, Власьевна, ступай съ Богомъ: у меня въ домѣ тебя никто не обидитъ... Какъ тебѣ не стыдно, мой другъ?—продолжалъ онъ, обращаясь къ женѣ.—Ну, можно ли огорчаться словами этой женщины?

Марья Дмитриевна не отвѣчала ничего: она плакала съ досады. Не осуждайте ее, любезные читатели! Если есть

извинительное самолюбие, такъ это самолюбие матери, которая гордится своею дочерью. Бѣдная Марья Дмитриевна!.. Давно ли она мечтала и надѣялась, что ея Варенька будетъ невѣстою самого знатнаго и богатаго барина въ ихъ уѣздѣ,—и вдругъ крѣпостной человѣкъ сватаетъ ее за своего сына, набитаго дурака, мужика въ офицерскомъ мундирѣ!.. Воля ваша: мать, которая перенесетъ равнодушно такую обиду, должна быть ангеломъ небеснымъ. Мирошева и была настоящимъ ангеломъ, да только земнымъ. Какъ истинная христіанка, она бы перенесла съ кротостію всякую личную обиду; но тутъ дѣло шло о ея дочери!..

Межь тѣмъ Власьева, задыхаясь на каждомъ шагу, спѣшила выбраться за ворота; она по-неволѣ перемѣнила свою плавную походку на скорый шагъ: подлѣ нея шель Прохоръ Кондратьичъ, держа на перевѣсѣ ужасную метлу, которая всякую минуту могла на нее обрушиться.

— Ну, счастлива ты, старая вѣдьма,—шепталъ ей Кондратьичъ:—не на такого барина напала, а то бы перещупали тебѣ косточки!.. Видишь, какъ вырядилась—въ шелковой фатѣ!.. Хуже бы посконной сдѣлали!

Когда сваха подошла къ воротамъ, то передъ нею открылась такая ужасная картина, что сердце у нея замерло; она бросилась назадъ и закричала жалобнымъ голосомъ:

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, помилуй!.. Не прикажи меня срамить на старости!..

— Что тамъ еще?—спросилъ Мирошевъ.

— Да вотъ изволь посмотрѣть: за воротами меня дожидаются мальчишки съ голиками!..

— Опять твои штуки, Прохоръ!

— Виновать, сударь!.. Хотѣлъ было эту барыню съ честию выпроводить за околицу, да дѣлать нечего,—вамъ не угодно. Эй вы, пострѣлята, по домамъ!

— Оумка, — закричалъ Мирошевъ, — ступай, проводи Власьевну до села; да смотри, чтобъ никто не обидѣлъ ее дорогою: ты мнѣ за это отвѣчаешь.

— Слушаю, сударь!—сказалъ Оумка. — Пойдемъ, бабушка!.. То то, Власьева,—прибавилъ онъ, когда они вышли на улицу,—впередъ не суйся не спросясь. Кабы не баринъ, такъ мы бы тебѣ такую баню задали, что ты и вѣкъ бы париться не стала!

Убитая духомъ, сваха молчала и, робко поглядывая

кругомъ, летѣла, какъ птица. Но когда она добралась до околицы села Вознесенскаго, то краснорѣчивыя уста ея раскрылись, и изъ нихъ хлынулъ такой потокъ ругательствъ и бранныхъ словъ, что Оома, заткнувъ уши, побѣжалъ, не оглядываясь, домой.

— Ахъ, Марья Дмитриевна!—говорилъ Мирошевъ своей женѣ, которая продолжала плакать.—Вотъ ужъ я никакъ не ожидалъ, чтобъ ты была такъ малодушна!

— Ровня!—шептала Мирошева.—Нашей Варенькѣ ровня этотъ лакейскій сынъ!

— И, душенька, да вѣдь это говорить сваха, просвирня Власьева! Право, мнѣ за тебя стыдно: чѣмъ бы тебѣ смѣяться...

— Да, мой другъ, и я стала бы смѣяться, если-бъ ты былъ такъ же богатъ и чиновенъ, какъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ; но мы бѣдны. Почему ты знаешь, можетъ быть, найдутся люди, для которыхъ покажется страннымъ, что мы отказали такому выгодному жениху? Вѣдь мы почти нищѣ!... Что такое дворянинъ, если у него только пятьдесятъ душъ крестьянъ?... Да, сынъ волостного приказчика, который накралъ столько денегъ, что можетъ купить три Хопровки, дѣлаетъ намъ много чести, что сватается за нашу дочь!... Боже мой! И какой порядочный человѣкъ рѣшится теперь посвататься за Вареньку? Кто захочетъ стать рядомъ съ какимъ-нибудь Курочкинымъ?

— Полно, матушка! Всякій порядочный человѣкъ посмѣется этому такъ-же, какъ я...

— Ты очень счастливъ, мой другъ, что можешь смѣяться, а я не вижу тутъ ничего забавнаго. Неужели мы до такой степени ничтожны, что лакейскій сынъ, который самъ недавно былъ лакеемъ, смѣетъ свататься за нашу Вареньку?

— Да оттого-то, мой другъ, и смѣетъ, что недавно былъ лакеемъ. Дворянина офицерскій мундиръ съ ума не сведетъ; а произведи лакея въ офицеры, такъ онъ, сгоряча, подумаетъ, что для него во всемъ Русскомъ Царствѣ невѣсты нѣтъ.

— Воля твоя, мой другъ, а я не могу равнодушно подумать...

— Машенька, вѣдь это гордость!

— Да, Кузьма Петровичъ, виновата: я горжусь моею

дочерью!... Быть можетъ, это грѣхъ; но я не могу... я не въ силахъ преодолѣть его!...

— Охъ, душенька, душенька!... Смотри, чтобъ Господь не наказалъ насъ за это. И что тебѣ за охота была вмѣшиваться? Можетъ быть, мой възливый отказъ не оскорбилъ бы этого Курочкина, а теперь онъ будетъ нашимъ непримиримымъ врагомъ.

— Да что онъ можетъ намъ сдѣлать?

— Мало ли что, мой другъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь, — сказалъ Прохоръ, — что онъ можетъ намъ сдѣлать?... Если вы боитесь, что Курочкинъ станетъ нашу скотину загонять, — такъ вадоръ, не удастся ему!... Да я, пожалуй, хоть самъ въ пастухи пойду: а онъ ужь у меня цыпленка не загонитъ!... Да и выгонъ то можно перевести на другое мѣсто.

— Что выгонъ! Я не этого боюсь; а сохрани Господи, какъ онъ заведетъ съ нами тяжбу!

— Тяжбу?... Да о чемъ? — спросила Марья Дмитриевна.

— Ужъ онъ найдетъ о чемъ; отъ такого кляузника все станется. Не даромъ онъ говорилъ мнѣ о какомъ то документѣ, на основаніе котораго можно доказать, что почти вся Хопровская земля принадлежитъ селу Вознесенскому и находится у меня въ насильственномъ завладѣніи.

— Ахъ, онъ разбойникъ! — вскричалъ Прохоръ. — Вѣдь это онъ, сударь, хотѣлъ васъ застращать; чай, думалъ: «Какъ припугну его порядкомъ, такъ, небось, не заломается со своею дочкою!» Экій пройдоха, подумаешь, — хитерь!

— Повѣришь ли, Марья Дмитриевна, — продолжалъ Мирошевъ, — какъ онъ сталъ мнѣ говорить, какую можно на меня просьбу подать, такъ у меня волосы дыбомъ стали!... Ну, ужъ подлинно приказная строка!... Да полно, Машенька, хмуриться! Ну его совсѣмъ!... Стоить ли онъ того, чтобъ ты на него сердилась? Ступай ка лучше, похлопочи объ обѣдѣ, а я межъ тѣмъ пойду да посмотрю, нельзя ли въ самомъ дѣлѣ перевести выгонъ на другое мѣсто.

Кузьма Петровичъ, окончивъ свои хозяйственныя занятія, воротился домой вмѣстѣ съ Прохоромъ. Ихъ встрѣтилъ въ столовой Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ.

— А, сосѣдушка любезный! — сказала Мирошевъ. — Милости прошу похлевать нашихъ щей.

— Покорнѣйше благодарю, батюшка!—отвѣчалъ Зарубкинъ.—А я сейчасъ отъ Панкратія Лукича. Ну, сударь, видно, вы его сваху то не больно ласково приняли?... Да и пришло же ему въ голову!... То то, подумаешь, какъ этотъ народъ зазнается.

— А что, онъ сердится?

— Фу батюшки,—и рветъ и мечеть!... А ужъ Власьева какую на васъ татьбу несетъ, такъ и сказать нельзя! Сынокъ то ничего: онъ еще радехонекъ, что это дѣло не сошлось. Вотъ изволите видѣть, батюшка: «Варвара Кузьминична мелка больно, да, знаете, чопорная такая. Мнѣ, дескать, давай жену рослую, дородную, веселую. А это что: худа, блѣдна, ножки маленьки, душа коротенька; что, мнѣ ее за стекломъ держать чтоль?» Ну, батюшка не то: осерчалъ такъ, что и приступу къ нему нѣтъ!... Позорить васъ на чемъ свѣтъ стоять... «Эка, дескать, фигура — отставной поручишка!»

— Полноте, Андрей Ѳомичъ! Какое мнѣ дѣло знать, что онъ говорить обо мнѣ заочно?...

— Однодворецъ этакій! — продолжалъ Зарубкинъ, не обращая вниманія на слова Мирошева.—Нахваталъ чужой земли къ своей деревнишкѣ и думаетъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ баринъ!... Да этакіе дворянчики, какъ онъ, у камердинера его высокографскаго сіятельства въ сѣняхъ дожидаются!...

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ, что вамъ за охота?...

— Помилуйте, обидно, батюшка! Да какъ онъ, холопъ этакій, смѣетъ говорить такія рѣчи о родовомъ дворянствѣ?... Да еще грозитъ разорить васъ! «Онъ, дескать, называетъ Алешу лакейскимъ сыномъ; да знаетъ ли онъ, что послѣдній конюхъ на графской конюшнѣ и покумиться то съ нимъ не захочетъ? Да вотъ погоди: я, дескать, спесь то съ него собью; онъ, дескать, у меня со своими пятюдесатью душенками по міру находится. Князь Лялинъ почище его, да что взялъ? Небось, пересталъ хорохориться, какъ отмахнули у него десятинокъ семьсотъ земли! Да у того все еще кой-что осталось; а этого гордяшку Мирошева я до-тла разорю!»

— Слышишь, Прохоръ?

— Слышу, сударь, да дѣлать то нечего! Вотъ кабы онъ при мнѣ началъ васъ позорить, такъ ужъ я поднесъ бы ему съ правой руки чарочку! Въдь это не уголовщина какая:



наше дѣло съ нимъ холопское. Онъ графскій слуга, а я дворянскій, а все така скулы то у насъ равныя.

— Не о томъ рѣчь, Прохоръ. Ты слышишь, Курочкинъ хочетъ завести со мною тяжбу? Ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ отрѣжетъ у насъ десятинъ триста?...

— Помилуйте, да кто у насъ можетъ отнять нашу землю?

— Разуmѣется, еслибъ у меня были на нее какія-нибудь купчія или крѣпости; а вѣдь ты знаешь, что всѣ эти бумаги сгорѣли.

— Такъ чтожъ? Покойный Лаврентій мнѣ сказывалъ, что можно въ саратовской провинціальной канцеляріи выправить копія съ этихъ бумагъ!

— Полно, можно ли?

— Да такъ то можно, сударь, что съ Лаврентія просили за это тридцать рублей; да покойная ваша тетушка не захотѣла. «Что, дескать, я стану этихъ подъячихъ кормить, коли со мной и безъ этого никто тяжбы не заводитъ?» Да не извольте беспокоиться, Кузьма Петровичъ: если Курочкинъ подастъ на насъ просьбу въ уѣздный судъ, такъ пошлите меня въ Саратовъ, я это дѣльце обрботаю.

— Хорошо, хорошо, мы послѣ съ тобою потолкуемъ. Да пожалуйста,—прибавилъ Мирошевъ, обращаясь къ Зарубкину,—не говорите объ этомъ ничего при моей женѣ: она сегодня что то разстроена...

— Да, да, батюшка,—прервалъ Зарубкинъ,—я и позабылъ вамъ сказать, что вретъ эта скверная Власьева о вашей почтеннѣйшей супругѣ...

— Да полноте, Бога ради! Я не хочу ничего слышать.

— Ну, какъ вамъ угодно. А вѣдь эта старая сплетница, знаете ли что говоритъ о Марьѣ Дмитриевнѣ? «Что, дескать, она такъ чуфарится?... Эка барыня!... Мы помнимъ: еслибъ не покойная княжна, такъ ей бы пришлось питаться мирскимъ подаваніемъ!»...

— Андрей Ѳомичъ, сдѣлайте милость!...

— Да еще что говорить, батюшка, шельма этакая!... «Знаемъ, дескать, мы, къ кому вѣдять сынокъ то Ивана Никифоровича Кирсанова»...

— Послушайте,—вскричалъ съ нетерпѣніемъ Мирошевъ,—если вы хотите остаться нашимъ пріятелемъ, то прошу васъ не пересказывать мнѣ такихъ вздоровъ!

— Слушаю, сударь, слушаю! Вѣдь это я изъ моей любви къ вамъ, бабушка!... Еслибъ вы изволили знать, какъ я преданъ всему вашему семейству!...

— Такъ докажите же это на самомъ дѣлѣ: не говорите при моей женѣ ни слова объ этомъ глупомъ сватовствѣ.

— Извольте, сударь, извольте,—ни слова не скажу!

— Пойдемте ка лучше въ гостиную, да закусимъ передъ обѣдомъ.

— Съ моимъ удовольствіемъ!... Да вотъ и всѣ ваши идутъ... Марья Дмитриевна!... Варвара Кузьминична!... Авдотья Лаврентьевна!...

Зарубкинъ велъ себя довольно порядочно во время обѣда: онъ не говорилъ ничего о Панкратіи Лукичѣ и свахѣ Власьевнѣ, не потому, впрочемъ, что обѣщалъ это хозяину, но за столомъ ему некогда было пускаться въ разговоры: въ числѣ кушаньевъ были два любимыя его блюда — буженина съ лукомъ и жареный гусь съ капустою; послѣ же обѣда, Марья Дмитриевна, у которой разболѣлась голова, ушла тотчасъ въ свою комнату, а Варенька и Дуныша отправились къ себѣ на антресоли дочитывать «Несчастливыхъ супруговъ, италіанскую повѣсть, имѣющую печальное окончаніе».

## XVI.

Какъ Владиміръ Ивановичъ и Варенька помѣнялись кольцами, и какъ Агриппина Львовна подслушала ихъ разговоръ.

Послѣ всего описаннаго нами въ предыдущихъ главахъ, прошло болѣе мѣсяца безъ всякихъ особенныхъ приключеній. Курочкинъ, повидимому, раздумалъ заводить тяжбу съ Мирошевымъ, или, по крайней мѣрѣ, отложилъ это до перваго удобнаго случая. Вскорѣ, послѣ неудачнаго сватовства, онъ уѣхалъ въ Саратовъ, по словамъ Зарубкина, искать межъ богатыхъ купеческихъ дочекъ невѣсты для своего сына. Марья Дмитриевна перестала сердиться на Власьевну; она рассказала даже обо всемъ Варенькѣ, и отъ всей души смѣялась, вмѣстѣ съ нею, надъ этимъ трехъ-аршиннымъ женихомъ, который, какъ древніе русскіе богатыри, ломалъ

деревья и сѣдалъ за одинъ пріемъ по цѣлому быку. Хотя Мирошева была вовсе незлопамятна, однакожь ея обиженное самолюбіе матери не успокоилось бы такъ скоро, если бы она не имѣла много причинъ радоваться; во-первыхъ, здоровье Вареньки стало примѣтнымъ образомъ поправляться: на блѣдныхъ щекахъ ея заигралъ снова румянецъ, снова улыбка счастья появилась на ея прелестныхъ устахъ и потухшіе глаза вспыхнули жизнью; во-вторыхъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ заѣхалъ однажды къ Мирошевымъ съ поля, былъ со всѣми очень ласковъ, поцѣловалъ въ лобъ Вареньку и сказалъ:

— Ну, братецъ, Кузьма Петровичъ, человекъ ты небогатый, нечиновный, а все-таки за доброту твою благословилъ тебя Господь! Какая у тебя барышня то славная! Кабы у меня была этакая дочка, такъ я бы перекрестился!

Кузьма Петровичъ не видѣлъ въ этихъ словахъ ничего, кромѣ обыкновенной ласки; но Марья Дмитриевна вывела изъ нихъ совсѣмъ другое заключеніе.

— Ну, мой другъ,—сказала она мужу, — справедливы ли мои догадки? Ты слышалъ, что онъ намекаетъ?

— А что такое?—спросилъ Мирошевъ.

— Помилуй, душенька, да это ясно!.. Вѣдь у него сынъ женихъ, такъ сталъ ли бы онъ говорить, что желаетъ имѣть такую дочь, какъ наша Варенька, еслибъ не хотѣлъ, чтобъ его сынъ на ней женился?

— Такъ отчего-жь онъ не дѣлаетъ намъ предложенія?

— Да развѣ онъ какой-нибудь Курочкинъ, мой другъ? Сегодня познакомился, а завтра и свататься! Онъ хочетъ, чтобъ они хорошенько узнали другъ друга, посвыклись...

— Охъ, Машенька, полно, такъ ли?

— Да ужь сдѣлай милость!.. Я знаю сама, ты во сто разъ меня умнѣе, а, не прогнѣвайся, въ подобныхъ случаяхъ женщины всегда проницательнѣе мужчинъ. Вы гораздо глубокомысленнѣе, вашъ умъ несравненно обширнѣе нашего, и потому то именно эти мелочи отъ васъ ускользають; а вѣдь мы, женщины, на томъ стоимъ. Вамъ нужны слова, а для насъ довольно иногда одного взгляда, одной улыбки... Ну, хочешь ли биться объ закладъ, мой другъ: Варенька будетъ невѣсткою Кирсанова!

— Дай Господи.

Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ бывалъ у Мирошевыхъ почти каждый день. Варенька стала съ нимъ обращаться

попрежнему; они очень часто прогуливались втроемъ, то есть съ Дуняшею, по саду и по рощѣ, ходили удить рыбу на Хоперь. Владиміръ Ивановичъ началъ ихъ учить рисовать, и успѣхи Вареньки превзошли всѣ его ожиданія. Дуняша все еще сидѣла *на мазалѣ*, а Варенька могла уже нарисовать цѣлое лицо; одно только ей не давалось: она никакъ не могла подражать подлиннику, и всѣ ея головки имѣли межъ собою какое то семейное сходство. Пока она еще срисовывала головы Ахиллеса, Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, такъ этотъ недостатокъ не очень былъ замѣтенъ; но однажды Владиміръ Ивановичъ далъ ей скопировать голову Сократа; и чтожъ вы думаете? Она нарисовала этого весьма некрасиваго собою, греческаго мудреца съ *орлинымъ* носомъ, большими глазами, маленькимъ ротикомъ и вовсе не крутымъ лбомъ. Всего страннѣе, что учитель не только за это не осердился, но даже не замѣтилъ своей ученицѣ, что ея копія совсѣмъ не походитъ на подлинникъ. Марья Дмитріевна также не обратила на это никакого вниманія, а только улыбнулась, вѣроятно, отъ удовольствія, что дочь ея дѣлаетъ такіе быстрые успѣхи въ живописи. Одинъ Кузьма Петровичъ, глядя на этотъ рисунокъ, сказалъ со своимъ обыкновеннымъ дѣтскимъ простоушіемъ:

— Хорошо, Варенька, очень хорошо! Только, воля твоя, это больше походитъ на Владиміра Ивановича, чѣмъ на Сократа, даромъ, что ты написала его съ бороною.

Агриппина Львовна Вертлюгина, встрѣчая Владиміра Ивановича у Мирошевыхъ, продолжала попрежнему съ нимъ любезничать; но съ тѣхъ поръ, какъ Варенька перестала отъ него прятаться, ей не удавалось никогда остаться съ нимъ наединѣ. Агриппинѣ Львовнѣ это было очень не по сердцу. Подъ конецъ она стала даже ревновать къ нему Вареньку; да, ревновать! Что грѣхъ таить: эта египетская мумія имѣла виды на Владиміра Ивановича, то есть ей очень хотѣлось сдѣлать изъ него своего *болванчика* и быть самой его *амантою* (техническія слова замоскворѣцкихъ цеголихъ тогдашняго времени). У ревнивой женщины глаза зорки; но, несмотря на это, она не могла подмѣтить ничего двусмысленнаго въ ихъ обращеніи; ей удавалось только иногда подглядѣть во взорахъ Кирсанова что то очень нѣжное, разумѣется, когда онъ смотрѣлъ на Вареньку; за то въ глазахъ своей соперницы она видѣла всегда одно и то

же: совершенное спокойствіе и это тихое, безмятежное счастье, вѣрный признакъ невинной души и чистой совѣсти. Но Агриппина Львовна была женщина влюбленная, злая, и, по своему, довольно хитрая, такъ отъ нея трудно было отдѣлаться. Злому мужчинѣ помогаетъ въ дурномъ дѣлѣ лукавый, а злая женщина и безъ него обойдется.

Въ одно воскресенье, когда Мирошевъ, возвратясь отъ обѣдни, толковалъ о чемъ то съ Прохоромъ у себя въ кабинетѣ, а Марья Дмитриевна принимала холстъ и считала выпряденныя тальки, подѣхалъ къ крыльцу курятникъ на четырехъ колесахъ, который Вертлюгины величали своимъ фаэтономъ; изъ него выпрыгнула Агриппина Львовна, какъ рѣзвое дитя вспорхнула на лѣстницу и, не останавливаясь въ лакейской, пробѣжала прямо въ диванную, въ которой Марья Дмитриевна домѣривала послѣдній холстъ.

— Здравствуйте, радость!—вскричала она.—Ну что, здоровы ли вы? Что ваши ваперы?

— То есть головныя боли?.. Слава Богу, прошли! — отвѣчала Мирошева.—Милости прошу садиться! Вы однѣ пріѣхали?

— Одна.

— А чтожъ Илья Сергѣичъ?

— Ахъ, не говорите! Онъ мнѣ ужасъ надоѣлъ!.. Представьте, какой онъ посадилъ себѣ вадоръ въ голову: не хочетъ никуда выѣзжать по воскресеньямъ! Говоритъ, что это день субботній, и мы должны всѣ отдыхать... Субботній!... Да развѣ мы жиды?

— Можетъ быть, онъ усталъ послѣ обѣдни?

— Нѣтъ, совсѣмъ не то! У него ужъ такое опрокинутое повятіе, такія дурацкія фантазіи и такая тѣснота въ головѣ, что онъ подчасъ бываетъ непримѣрно несносенъ.

— И вы это говорите не шутя!—сказала Мирошева съ удивленіемъ.

— О, нѣтъ,—отвѣчала Агриппина Львовна,—я вамъ говорю въ настоящую. Когда я вышла за него замужъ, я была совсѣмъ ребенкомъ и не могла еще резонировать; но потомъ, какъ подвинулась въ свѣтъ и разняла глаза... о, тогда я увидѣла, какая разница между нимъ и человѣкомъ хорошаго тона! Мой папенька, конечно, старикъ добрый, но мнѣ съ нимъ бываетъ до смерти скучно.

— Агриппина Львовна,—прервала Мирошева съ ужасомъ,—что вы это говорите? Вѣдь онъ вашъ мужъ!

— Мужъ!.. Такъ чтожь? Ахъ, радость, какъ вы забавны... Вы уморительны!.. Да развѣ оттого, что онъ мой мужъ, мнѣ должно быть съ нимъ весело?... Вотъ славно!.. Ну, разувѣтся, я, какъ жена, обязана любить его и соблюдать вѣрность; но не зѣвать, когда мы съ нимъ въ тетя-а-тетѣ! Да кто можетъ отъ меня этого требовать?.. Ужь не прикажете ли намъ ворковать какъ голубкамъ?.. Фуи, какъ это смѣшно!.. Да это было бы, просто, дурачиться по дѣдовски.

— А я такъ не понимаю, какъ можетъ быть скучно съ мужемъ, котораго любишь?

— Это оттого, радость, что вы всегда жили въ деревнѣ; а если бы вы хотя разъ отретировались въ свѣтъ, то заговорили бы совсѣмъ другое.

— Не думаю.

— Да что объ этомъ!.. Гдѣ ваша Варенька?

— Пошла гулять по саду.

— Гулять? И, вѣрно, съ Владиміромъ Ивановичемъ?

— Да его у насъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?—прервала съ живостію Агриппина Львовна.

—А я была увѣрена... я точно видѣла его верховую лошадь.

— Гдѣ?

— Тамъ, на задахъ, у вашей деревни.

— Такъ, можетъ быть, онъ идетъ пѣшкомъ.

— Какъ же я его не обогнала?.. Однакожь, я вамъ надѣлала большую конфузю, Марья Дмитріевна. Занимайтесь, радость, вашимъ дѣломъ, занимайтесь!.. А я пойду погуляю.

Агриппина Львовна, не дожидаясь отвѣта, повернулась на одной ножкѣ, шмыгнула вонъ изъ комнаты и въ нѣсколько прыжковъ очутилась въ саду. Она въ пять минутъ обѣжала всѣ дорожки, обшарила всѣ куртины, осмотрѣла каждый кустикъ—Вареньки нигдѣ нѣтъ!

— Они, вѣрно, въ рошѣ,—шепнула Вертлюгина.— Отъ деревни есть прямая дорожка на гору.

Агриппина Львовна побѣжала въ рошу,—никого нѣтъ, все тихо... Но вотъ какъ будто бы стало наносить вѣтеркомъ что то похожее на человѣческіе голоса... Это они!.. Невнятные звуки становятся понемногу яснѣе... вотъ ужъ они близко... Агриппина Львовна притаила дыханье, подобрала платье и, какъ балетная танцовщица, зашагала на пальчикахъ. Случалось ли вамъ видѣть, какъ лягавая со-

бака, почуявъ дичь, вдругъ останавливается неподвижно, поднимаетъ уши, потомъ... Да нѣтъ, это сравненіе никуда не годится: собака—животное доброе и благородное. Представьте себѣ голодную замореную кошку, которая крадется къ своей добычѣ; видите ли, какъ осторожно передвигаетъ одну лапку за другою, какъ вытягивается въ нитку, ползетъ, какъ сверкаютъ ея лукавые глаза, какъ она облизывается и расправляетъ свои когти?.. Вотъ точно такъ же подкрадывалась и ползла Агрипшина Львовна. Она была увѣрена, что ея соперница гуляетъ вмѣстѣ съ Владиміромъ Ивановичемъ, слѣдовательно, могла подслушивать ихъ разговоръ и потомъ растерзать Вареньку, не когтями, — благодаря Бога, когтей у насъ нѣтъ, — но за то есть языкъ, который замѣняетъ ихъ отличнымъ образомъ.

Я много разъ говорилъ вамъ объ этомъ хопровскомъ холмѣ и его рощѣ, но ни разу не упомянулъ объ одномъ прелестномъ мѣстечкѣ, гдѣ Варенька любила отдыхать и читать книгу, разумѣется, тогда еще, когда она не находила никакого особеннаго удовольствія смотрѣть по два часа сряду на усадьбу Ивана Никифоровича Кирсанова. Это была небольшая площадка на полугорѣ, или, лучше сказать, уступѣ, окруженный со всѣхъ сторонъ густымъ лѣсомъ и сплошными кустами. Отъ этого уступа гора подымалась почти отвѣсно, аршинъ на десять кверху; по крутому обрыву росли молоденькіе дубки; изъ нихъ два или три наклонились широкимъ навѣсомъ надъ деревянною скамьею, приставленною къ самому утесу; по правую ея сторону змѣилась узенькая тропинка, по лѣвую — журчалъ горный ключъ, прокладывая изгибистое и крутое русло свое между деревьями; у самой скамьи онъ обрывался внизъ аршина на два и образовалъ своимъ паденіемъ небольшою водопадъ, котораго ровный и постоянный шумъ располагалъ невольно къ тихой задумчивости. Въ этомъ то живописномъ и уединенномъ мѣстечкѣ сидѣли на скамьѣ Варенька и Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ. Подлѣ нихъ стояла Дуняша и, наклонясь надъ ручьемъ, смотрѣла съ дѣтскимъ любопытствомъ, какъ листочки и цвѣты, которые она бросала въ воду, захлестывались волнами, вертѣлись, крутились и, вмѣстѣ съ пѣною, быстро исчезали изъ глазъ. Владиміръ держалъ Вареньку за руку и говорилъ ей *ты*... Не бойтесь за нихъ: въ ихъ душахъ не было ни одного чернаго пятна, ихъ разговоръ могли слышать ангелы небесные.

— Да, Варенька,—говорилъ Владиміръ:— да, мой милый другъ, я не теряю надежды: Богъ милостивъ! Батюшка меня любить, ты ему нравишься..

— И онъ ничего не подозрѣваетъ?—прервала Варенька.

— Совершенно ничего. Я не хочу тебя обманывать: если-бъ онъ имѣлъ хотя небольшое подозрѣніе, то мы не могли бы съ тобою видѣться. Батюшка добръ, честенъ, благороденъ; но эта несчастная мысль, что богатому и чиновному человѣку неприлично породниться съ бѣднымъ и невзвѣстнымъ дворяниномъ, совершенно завладѣла его душою.

— Для чего ты не хочешь, Владиміръ, чтобъ я во всемъ открылась маменькѣ?

— Для того, мой другъ, что она скажетъ объ этомъ отцу твоему, и намъ должно будетъ разстаться. Я знаю Кузьму Петровича: онъ почтетъ тогда обязанностію отказать мнѣ отъ дома, если я не приѣду къ вамъ вмѣстѣ съ отцомъ моимъ. Нѣтъ, Варенька, дай мнѣ прежде какъ-нибудь умилостивить батюшку; пусть онъ думаетъ, что не только твои родители, но даже ты сама не подозрѣваешь любви моей; пусть онъ гнѣвается на одного меня: я сынъ, меня онъ ничѣмъ обидѣть не можетъ, но если онъ оскорбитъ отца твоего, если они поссорятся?..

— Сохрани Господи!

— А это непременно случится, если отецъ мой не будетъ приготовленъ...

— Но почему ты надѣешься, что онъ согласится когда-нибудь?..

— А вотъ почему, мой другъ! Батюшка слыветъ человѣкомъ гордымъ и даже нѣсколько крутымъ; но, несмотря на это, сердце его не холодно: онъ тоскуетъ о томъ, что у него нѣтъ семьи, и очень желаетъ, чтобъ я женился... Не пугайся, мой ангелъ! Противъ воли отца я не женюсь даже и на тебѣ: больше этого онъ не долженъ ничего отъ меня требовать. Какъ ни священна власть родителя, но и онъ не можетъ сказать мнѣ: «Сынъ, лги передъ Богомъ! Когда ты будешь стоять въ церкви рядомъ съ женщиной, которая противна душѣ твоей,—говори, что ты ее любишь!» Да развѣ это возможно? Когда священникъ спроситъ меня отъ имени самого Бога, не обѣщался ли я другой женщинѣ, могу ли я изъ повиновенія къ отцу сказать: «нѣтъ», когда я тысячу разъ клялся, что кромѣ тебя никто въ мірѣ не



будетъ моею женою?.. Да, мой другъ, насъ могутъ разлучить, но заставить меня любить другую никто не можетъ.

Варенька молчала; на глазахъ ея блистали слезы, а, кажется, ей вовсе было не грустно.

— Я до сихъ поръ ничего не намекалъ батюшкѣ, — продолжалъ Владиміръ:—черезъ мѣсяць мнѣ должно будетъ ѣхать въ Москву...

— Черезъ мѣсяць!—повторила робко Варенька.

— Да, мой другъ! Онъ хочетъ, чтобъ я или женился, или опять вступилъ на службу. Изъ Москвы я напишу ему все. Я знаю его крутой нравъ; здѣсь онъ не далъ бы мнѣ выговорить ни слова, а письмо дѣло другое: письму нельзя закричать: «молчи!»

— Но его можно не дочитать, изорвать, бросить!—прошептала Варенька.

— Тогда я напишу другое, третье. Онъ прочтетъ же хотя одно до конца, и когда увидитъ, что дѣло идетъ не о минутной прихоти, но о всемъ моемъ земномъ счастіи, то вспомнитъ, можетъ быть, что покойная матушка была такъ же бѣдна, какъ ты, и что, несмотря на это, онъ и теперь безъ слезъ о ней говорить не можетъ.

— Но если онъ не тронется твоими просьбами?..

— Тогда я не женюсь ни на комъ, и умру твоимъ суженымъ.

О, какое неизъяснимое блаженство изобразилось въ глазахъ Вареньки!

— Моимъ суженымъ!—повторила она.—Да чего еще я могу просить у Бога? Ты станешь вѣчно любить меня... да, вѣчно!.. Здѣсь ты будешь женихомъ моимъ, а тамъ Господь назоветъ насъ супругами! Онъ услышитъ мою молитву: твоя невѣста умретъ прежде тебя... О, какъ она будетъ тебя дожидаться!.. Владиміръ!—продолжала Варенька, снимая съ пальца золотое колечко,—можетъ быть, въ церкви Божіей намъ не удастся никогда обмѣняться кольцами, надѣнь его и дай мнѣ свое. Если ты самъ не снимешь его съ моего пальца, то, будь увѣренъ, мой другъ, я лягу съ нимъ въ могилу!

Они помѣнялись кольцами.

— Что это?—сказала вполголоса Дуняша.—Тамъ что то хрупнули сухіе листья!.. Ужъ не змѣя ли ползетъ?

Дуняша не ошиблась: въ трехъ шагахъ отъ нихъ за кустомъ притаилась змѣя; только эта змѣя умѣла гово-

рять почти такъ же хорошо, какъ та, которая соблазнила нашу прародительницу.

— Теперь мы съ тобой обручены!—сказалъ Владиміръ, глядя съ неизъяснимою любовью на Вареньку.—О, мой ангелъ невинности и доброты,—продолжалъ онъ, цѣлуя ея руку,—какая женщина въ мірѣ можетъ сравняться съ тобою?.. О, повѣрь, мой другъ, еслибъ любовь моя не была такъ же чиста, какъ эти ясныя небеса... еще чище—какъ душа твоя, я не смѣлъ бы тогда прикоснуться къ тебѣ, не смѣлъ бы взять тебя за руку!. Какъ я люблю тебя здѣсь, такъ можно будтъ мнѣ любить тебя тамъ, гдѣ нѣтъ ничего земного. Ты правду сказала, Варенька: если не въ здѣшнемъ, такъ въ будущемъ мірѣ Господь благословитъ союзъ нашъ.

Тутъ вдругъ раздался шумъ между деревьями; кто то закричалъ пискливымъ и дребезжащимъ голосомъ:

— Варенька... Варенька! Гдѣ ты?

И вслѣдъ за этимъ Вертлюгина выскочила изъ-за куста.

— Ахъ, здравствуйте, Агрипина Львовна! — сказала Варенька, вставая.

— Ты здѣсь, шерочка?.. А я ужь искала, искала тебя!.. Мусье Кирсановъ!..

Владиміръ очень холодно поклонился.

— Да что это вы, Агрипина Львовна? — спросила Варенька, глядя съ удивленіемъ на зеленоватое лицо Вертлюгиной, по которому выступили красныя пятна.—Здоровы ли вы?

— Ахъ, нѣтъ, радость,—у меня ужасные вертижи; да я же такъ устала, входя на эту гору... Откуда вы взялись, Владиміръ Ивановича?.. Тамъ дома и не знаютъ, что вы здѣсь.

— Я оставилъ мою лошадь у деревни, хотѣлъ пройти садомъ.

— И повстрѣчались съ Варенькой? Какъ это счастливо!.. Ахъ, какъ здѣсь хорошо!.. Безпримѣрно хорошо!.. Гора, ручеекъ, каскадъ, пастушка и пастушекъ... одни, вдвоемъ...

— А я то что, Агрипина Львовна,—прервала Дуняша,—озечка что-ль?

— А, миленькая, ты здѣсь?.. Ты не можешь себѣ представить, шерочка, какъ я люблю твою Дуняшу! Она такая ловкая плутовочка... такая услужливая!.. Однакожь, пойдемте же въ домъ. Марья Дмитріевна васъ дожидается, то есть тебя, Варенька; а вы, мусье Кирсановъ, будете для нея сюрпризомъ... Пойдемте, пойдемте!

Вертлюгина схватила полъ руку Вареньку и потащила ее внизъ по тропинкѣ.

— Ахъ, радость, какъ ты неосторожна!—шепнула она ей на ухо.—Ну если бъ это не я?..

Варенька посмотрѣла съ удивленіемъ на Вертлюгину.

— Ребенокъ!—продолжала Агриппина Львовна.—Назначить свиданіе днемъ! Это обыкновенно дѣлается вечеромъ... Да не безпокойся, объ этомъ никто не узнаетъ.

— Я васъ не понимаю,—сказала Варенька.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. А скажи-ка мнѣ, которое это рандеву?.. Да не краснѣй, шерочка! Фуй, какъ это глупо!... Кто нынче отъ этого краснѣетъ?

Тутъ подошелъ Владиміръ, и Вертлюгина замолчала. Когда они вошли въ домъ, Агриппины Львовна закричала издали Мирошевой:

— А мы ведемъ къ вамъ еще гостя!

— А, Владиміръ Ивановичъ!—сказала Марья Дмитріевна.—Гдѣ онъ васъ поймали?

— Я была, маменька, въ роцѣ, а Владиміръ Ивановичъ...

— Ходилъ по саду,—подхватила Вертлюгина, толкнувъ локтемъ Вареньку.—Вѣрно, ему сказали, Марья Дмитріевна, что вы гуляете... мы съ нимъ повстрѣчались...

— Что вы, Агриппина Львовна?—возразила Варенька.—Да вы пришли...

— И, полно, радость, что объ этомъ говорить?.. Марья Дмитріевна, знаете ли вы новость? Курочкинъ пріѣхалъ назадъ изъ Саратова, и не даромъ туда ѣздили: онъ купилъ на имя сына, въ десяти верстахъ отъ насъ, сто душъ крестьянъ. Каковъ?

— Чтожъ тутъ удивительнаго?... У него денегъ много.

— Теперь Алексѣй Панкратычъ Курочкинъ авантажннй женихъ, помѣщикъ!.. Это правда, онъ какъ то неловко обдѣланъ и въ умѣ не очень развязанъ; да вѣдь дѣвушка беретъ мужа не для того, чтобъ онъ съ неко куртизанилъ, а для того, чтобъ быть барыней, жить своимъ домомъ...

— И имѣть друга на всю жизнь,—прервала Мирошева.

— И, радость, что вы! Да развѣ всѣ мужья бываютъ друзьями своихъ женъ?.. Я объ этомъ вовсе не думала, когда выходила замужъ.

— Что это вы, Агриппина Львовна! — прервала съ не-

удовольствіемъ Мирошева.—Что вы это говорите? Да развѣ вы не любите своего мужа?

— Теперь—да... конечно, люблю... время... привычка... а тогда,—божусь, я была къ нему совершенно равнодушна.

— Такъ зачѣмъ же вы съ нимъ обвѣнчались?

— Да онъ такъ долго за мной ухаживалъ, такъ надѣлъ мнѣ своими деклараціями, что я вышла за него замужъ,—ну, право, для того только, чтобъ какъ-нибудь отъ него отвязаться!.. Однакожъ, прощайте: Илья Сергѣевичъ дожидается меня обѣдать.

— Да постоитъ, подадутъ вашъ экиажъ, — сказала Марья Дмитріевна, провожая свою гостью.

— Не безпокойтесь, онъ стоитъ у крыльца. Прощай, шерочка!... Ты, радость, сегодня безпримѣрно хороша!... Не правда ли, мусье Кирсановъ?.. Прощайте!..

Вертлюгина нырнула въ лакейскую, спрыгнула съ крыльца, вскочила въ свой курятникъ и помчалась домой. Черезъ полчаса послѣ нея отправился и Кирсановъ. Разставаясь съ Варенькой, онъ почувствовалъ необычайную тоску. Владиміръ, уходя, всегда говорилъ ей: «до свиданья», а тутъ невольнымъ образомъ сказалъ: «прощайте». Варенька поблѣднѣла; у него также замерло сердце... Бѣдное, оно предчувствовало долгую разлуку!

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

---

### XVII.

Агриппина Львовна начинает действовать. Дипломатическое поручение Андрею Фомичу Зарувкину.

Есть русская поговорка, которую, вѣроятно, сочинили разоренные крестьяне какого-нибудь мотоватаго помѣщика: «красны боярскія палаты, да у мужиковъ то избы на боку». Вторую половину этой пословицы можно было приложить къ *Выльдовкѣ*—деревнѣ, принадлежащей Ильѣ Сергѣевичу Вертлюгину, потому что въ ней почти всѣ избы точно были на боку; но зато и боярскія палаты нельзя было назвать *красными*. Это были старинныя хоромы, похожія на фабрику, длинныя, низкія, покрытыя драньемъ, съ рѣдкими окнами, въ которыхъ нѣсколько лѣтъ ужь сряду каждое разбитое стекло замѣнялось доскутомъ синей оберточной бумаги. Хотя этотъ господскій домъ не вовсе еще лежалъ на боку, однакожъ, время покривило его немного на сторону; но это вовсе не пугало хозяина, онъ даже увѣрялъ всѣхъ, что домъ нарочно такъ построенъ въ подражаніе какой то башнѣ, которая въ *какомъ то* италіанскомъ городѣ была воздвигнута *какимъ то* знаменитымъ архитекторомъ лѣтъ двѣсти тому назадъ и стоитъ доселѣ безъ всякой поправки. Илья Сергѣевичъ былъ человекъ ученый и, какъ изволите видѣть, всегда опирался на какой-нибудь истори-

ческий фактъ; но въ этомъ случаѣ онъ сдѣлалъ бы гораздо лучше, еслибъ подперъ свой домъ не фактомъ, а бревномъ, потому что, не смотря на убѣдительное краснорѣчіе хозяина, едва ли бы кто-нибудь рѣшился, не перекрестясь и не сотворяя молитвы, переступить черезъ порогъ его дома. Однажды пріятель нашъ, Зарубкинъ, которому Вертлюгинъ подарилъ двѣ бутылки рябиновки, увлеченный первымъ порывомъ своей благодарности, сказалъ сквозь слезы:

— Батюшка, я вѣчно буду молить Господа Бога, да охраняетъ Онъ нашъ входъ и исходъ, и да устроить паденіе дома вашего въ тотъ часъ, когда ни вы, ни супруга ваша не будете находиться подъ его кровлею.

Внутренность этого дома совершенно отвѣчала его наружности. Въ одной изъ его комнатъ, которая нѣкогда была оклеена обоями, на широкомъ, обитомъ полинялою кожею, канapé лежала, облокотясь граціозно на руку, Агриппина Львовна Вертлюгина; противъ нея сидѣлъ на стулѣ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ; у окна стоялъ Ванюша, племянникъ Вертлюгиныхъ, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, котораго они, за неимвніемъ дѣтей, хотѣли усыновить; онъ строгалъ столовымъ ножомъ дранички и прилаживалъ ихъ къ листу сѣрой бумаги. Вырѣзанный изъ переплета старой азбуки клапанъ и длинный мочальный хвостъ, который лежалъ на полу, ясно изобличали дерзкое намѣреніе юноши пустить подъ небеса бумажнаго змѣя съ трещоткою. Этотъ предприимчивый молодой человѣкъ такъ былъ занятъ своимъ дѣломъ, что вовсе не обращалъ вниманія на частые возгласы своей тетушки, которая, вѣроятно, по одной ужъ привычкѣ, повторяла безпрестанно: «Ваничка, шалишь!»

— Да ужъ не извольте беспокоиться!—говорилъ Зарубкинъ.—Я человѣкъ не такой: меня хоть въ тиски, такъ не выболтаю.

— То-то, мой свѣтъ, смотри! — повторила вполголоса Агриппина Львовна.—Это дѣло секретное... Ваничка, шалишь!.. Вотъ что, душенька, я хочу тебѣ сказать... Да что это у тебя, Андрей Ѳомичъ, шляпа такая измятая?

— Давно ношу, сударыня.

— Я прошлаго мѣсяца купила папенькѣ пуховую шляпу, —чрезвычайно хорошая шляпа, только на голову ему нейдетъ, а тебѣ будетъ впору.

— Какъ не быть, матушка!

— Такъ я завтра ее къ тебѣ пришлю. Носи на здоровье.

— Покорнѣйше васъ благодарю! Пожалуйте ручку, ма-тушка!

— Теперь слушай же, что я тебѣ скажу... Ваничка, шалишь!.. Ты вѣдь часто бываешь у Ивана Никифоровича Кирсанова?

— Бываю таки, сударыня; его высокородіе изволить меня жаловать.

— И, вѣрно, помогаетъ?

— Случается.

— Вотъ, изволишь видѣть... Такъ поѣтому, мой свѣтъ, ты долженъ изъ одной благодарности открыть ему глаза.

— А что такое, Агриппина Львовна?

— А то, что онъ подъ носомъ ничего не видитъ. Его сынъ посадилъ себѣ въ голову безпримѣрную глупость; а онъ такъ темень умомъ, что даже этого и не замѣчаетъ.

— Ахъ, батюшки! Да чтожь такое?

— Конечно, такихъ мужчинъ, какъ Владиміръ Ивановичъ, въ Москвѣ очень много, и онъ ужъ слишкомъ о себѣ думаетъ.

— Есть тотъ грѣшокъ!

— Я знаю двухъ-трехъ кавалеровъ поавантажнѣе его, которые напрашивались ко мнѣ въ болванчики, умирали по мнѣ отъ любви...

— Не диво, сударыня, не диво!

— И еслибъ мнѣ не жаль было его отца, такъ я бы ни слова не сказала... Какъ ты думаешь: этотъ московскій франтикъ врѣзался по уши!.. Ну, отгадай, въ кого онъ влюбился?.. Ваничка, шалишь!..

— Да онъ, мнѣ кажется, что то около васъ ухажи-валъ.

— Фу! какое дурачество! Стану я связываться съ та-кимъ мальчикомъ!.. Онъ влюбленъ въ Вареньку Мирошеву! Да еще какъ! Пассія, совершенная пассія!

— Что вы говорите?

— Ну, да! Эта дѣвочка совсѣмъ его завертѣла, съ ума свела...

— Ахъ, батюшки! А вѣдь на взглядъ то какая скром-ница!

— Кто?.. Она?.. Что ты, Андрей Ѳомичъ!.. Кокетка... самая тонкая кокетка!.. Исподтишка...

— Скажите, пожалуйста!.. Вотъ ужъ подлинно въ ти-хомъ омутѣ.

— Да хороши и папенька съ маменькой: выставили свою дочку, завели молодого человекѣ... Фу! какъ это низко!..

— Да-съ, не хорошо-съ! Да и онъ то что? Помилуйте!.. Ну, конечно, кто бабушкѣ не внукъ: въ его года и мы волочились, да только съ разборомъ. Дѣло другое, женщина замужняя... нашихъ дѣтъ, напимѣрь... а то дѣвица!.. Вѣдь онъ знаетъ, что батюшка его человекѣ надменный и никакъ не позволитъ ему жениться на какой-нибудь бѣдной дворяночкѣ.

— А если они обвиняются безъ его согласія?.. Вѣдь эти Мирошевы на все пойдутъ.

— Чего добраго! Женишекъ богатый.

— Вотъ то-то и есть!.. Надобно предупредить Ивана Никифоровича... Мнѣ, право, жаль этого старика... Ванюшка, шалишь!

— Да вашъ племянникъ ужъ давно ушелъ, матушка, — сказалъ Зарубкинъ, оборотясь къ окну. — Вонъ, посмотрите, она на дворѣ изволить змѣя спускать... Какой онъ у васъ прелюбезный!.. Такъ чтожъ, сударыня: вы думаете, что должно намекнуть объ этомъ Ивану Никифоровичу?

— Непремѣнно.

— Охъ, матушка, боюсь! Онъ человекѣ горячій: разгнѣвается, подыметъ такую пыль, что и Господи!

— Да тебѣ то какое до этого дѣло?

— Какъ, сударыня, какое? Ну, какъ на первыхъ то порахъ онъ вадумаетъ на мнѣ сердце сорвать?... Вѣдь Иванъ Никифоровичъ какъ разсердится, матушка, такъ никто не подвертывайся! У него же предурной обычай: схватить за воротъ, начнетъ подергивать, трясти... а вы изволите видѣть, кафтанишка то у меня какой!.. Одинъ одиныхонекъ, да и тотъ еле живъ.

— Ну, хорошо, хорошо: я выпрошу тебѣ у Ильи Сергѣевича его старый плисовый кафтанъ...

— Покорнѣйше благодарю! Пожалуйте ручку, матушка!

— А когда ты отправишься къ Кирсанову?

— Когда прикажете.

— Ступай сегодня.

— Слушаю-съ. Только, осмѣлюсь вамъ доложить, да чтожъ я ему скажу?

— Ну, разумѣется, что сынъ его влюбленъ, что онъ хочетъ жениться на Варенькѣ..



— А какъ онъ спросить: съ чего ты это взялъ?

— Съ чего!.. Вотъ славно—съ чего! Да объ этомъ всё говорятъ; да они точно женихъ съ невѣстою... Ты можешь даже сказать, что они помѣнялись кольцами...

— Вотъ ужъ до чего дошло?.. Ай, ай!

— Да, да, я сама это видѣла.

— Прощу покорно, ужъ и до колечекъ дѣло дошло! Ну!!!

— Только смотри, Андрей Ѳомичъ, чтобъ обо мнѣ и въ поминѣ не было. Я не люблю мѣшаться ни въ какія авантюры... Если ты меня какъ-нибудь прицлетишь, такъ не видать тебѣ ни кафтана, ни шляпы... да и самъ ко мнѣ на глаза не кажись, слышишь?

— Слышу, Агриппина Львовна, слышу. Трудненько же будетъ это дѣльце сладить... Развѣ какъ-нибудь стороною.

— Ужъ тамъ какъ хочешь; да ты на это мастеръ, я вѣдь тебя знаю: прикинешься дурачкомъ, да такъ какъ будто бы проста...

— Да-съ!.. Надобно ужъ какъ-нибудь этакъ... обинячкомъ что-ль...

Тутъ въ сосѣдней комнатѣ раздался гнѣвный голосъ Ильи Сергѣевича:

— Разбойница!.. негодная!.. воровка!..—кричалъ онъ, отдѣляя каждое слово, вмѣсто запятой, презвучною и полновѣсною пощечиною.

— Что тамъ такое?—сказала Агриппина Львовна, вставая съ канапе.

Двери открылись, и Вертлюгинъ вошелъ въ комнату, таща за собою пожилую бабу въ затрапезной кофтѣ.

— Вотъ, матушка,—сказалъ онъ,—полюбуйся: крадетъ нашъ сахаръ!

— Возможно ли!.. Аенмья! — вскричала Агриппина Львовна.—Ахъ ты мерзкая! Да какъ ты смѣла?..

— Виновата, сударыня!—завопила Аенмья, повалилась въ ноги.—Грѣхъ попуталь, матушка!.. Унесла одну щепоточку,—видитъ Богъ, одну!..

— Да на что тебѣ, негодная?

— Сестра хвораетъ, матушка! Вотъ ужъ третій день, какъ за языкъ повѣшенная, наладило одно, да одно: хочу чаю съ сахаромъ, да и только!

— Смотри пожалуй, — прервалъ Вертлюгинъ, — ужъ и это холопское отродье смѣетъ думать о чаѣ да о сахарѣ!

Добро, добро, голубушка, вотъ я съ тобой поговорю!... Пошла вонъ!

Аеимья съ горькимъ плачемъ вышла изъ комнаты.

— Ты, папенька, засталъ ее, какъ она воровала?—спросила Агриппина Львовна.

— Нѣтъ, душенька.

— Такъ почему же ты узналъ?

— Почему? Въ томъ то и дѣло!—сказалъ съ довольною улыбкою Илья Сергѣевичъ.—Вотъ, изволишь видѣть: давно уже приходило мнѣ въ голову... ты иногда въ торопяхъ забудешь сахаръ запереть, я также объ этомъ не подумаю,—долго ли до грѣха! Крупный сахаръ у насъ весь на счету,—украсть не посмѣютъ; а мелкій,—кто его знаетъ: стянуть ложечку-другую, и не замѣтишь. «Постой»—подумалъ я,—«ужь поймаю же вора въ горохѣ!» Вотъ какъ мы отпили чай, я сахарницу не заперъ, а взялъ, да посадилъ въ нее живую муху, захлопнулъ крышкою и отдалъ Аеимья. Этакъ черезъ часъ, говорю: «Поддай-ка мнѣ сюда мелкаго сахару». Аеимья подала, я открылъ—эге, и слѣдъ простылъ!.. «Открывала ты сахарницу!»—спросилъ я.—«Нѣтъ, батюшка, не открывала; зачѣмъ открывать?»—«Не открывала? А муха то гдѣ?»—«Муха?.. Какая муха, батюшка?»—«А вотъ какая!»... Да въ щеку, да въ другую, да въ третью! Она и бухъ въ ноги:—«Виновата!»

— Ну, хитро придумано!—вскричалъ Зарубкинъ.—Ахъ ты, Господи, какого караульщика приставили!... Знаете ли что?.. Сахару у меня и въ заводѣ нѣтъ, а случаются, про гостей, кой-какія потѣшки...

— Киленые орѣшки!—подхватилъ съ громкимъ смѣхомъ Вертлюгинъ.

— Нѣтъ, сударь, не погнѣвайтесь,—возразилъ Зарубкинъ:—у насъ таки водятся и винныя ягоды и черносливъ; изюмець есть... Дайте-ка и я въ мой ларець муху посажу...

— Посади, любезный,—улика вѣрная.

— Я что то часто замѣчаю, что моя Марѳа облизывается... Не даромъ!... Да ужь я же ее теперь подстерегу!... Ну, исполать вамъ, батюшка Илья Сергѣевичъ!... Эку штуку выдумали!... Однакожь, прощенья просимъ!... Счастливо оставаться, ваше высокоблагородіе!...

— Куда ты?

— Къ его высокородію, Ивану Никифоровичу.

— Смотри, онъ опять тебя съ Афонькой сравить.

— Нѣтъ, сударь, мы теперь живемъ съ нимъ въ ладахъ: я прошлый разъ далъ ему грошъ. Куда, пострѣль, падохъ на деньги!... Прощайте, сударыня, Агриппина Львовна!... Дай Богъ вамъ добраго здоровья!

## XVIII.

### Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ.

Я такъ часто заставляю васъ, любезные читатели, переноситься вмѣстѣ со мною изъ одного дома въ другой, что мнѣ, право, передъ вами совѣстно. Давно ли вы были въ волостной конторѣ села Вознесенскаго, потомъ у Мирошевыхъ, потомъ у Вертлюгиныхъ, а теперь я хочу васъ вести въ домъ къ Ивану Никифоровичу Кирсанову. Хотя все эти походы совершаются въ одномъ вашемъ воображеніи, но вѣдь и оно можетъ, наконецъ, устать. Въ театрѣ, при перемѣнѣ декораций, вамъ не для чего напрягать вашихъ умственныхъ способностей, а стоитъ только открыть глаза, и вы видите передъ собой море, лѣсъ, царскіе чертоги, хижину пастуха; однимъ словомъ, все то, что авторъ желаетъ вамъ показать. Но слова не живопись; какъ бы подробно и съ какою бы точностію ни стать я вамъ описывать домъ Кирсанова, а все вашему воображенію надобно будетъ работать, то есть облекать въ вещественный образъ мой сухой рассказъ, составленный изъ однихъ словъ, которыя сами по себѣ, безъ этого необходимаго олицетворенія, ничего не значать. Вотъ почему я не хочу вамъ описывать огромный деревянный домъ Ивана Никифоровича, его обширный садъ, оранжереи и всякія другія полубарскія затѣи, которымъ не было конца; а скажу только слова два о той комнатѣ, дальше которой мы съ вами не пойдемъ. Это была обширная зала въ два свѣта; нѣсколько дюжинъ стульевъ, обитыхъ кожею, разставлено было вдоль стѣнъ; съ потолка опускались двѣ люстры изъ граненаго хрустала, которыя, вмѣстѣ съ пятью подстольниками изъ фальшиваго мрамора, были предметомъ удивленія для всего новохоперскаго уѣзда. На подстольникахъ стояли жирандоли, также обвѣшанные хрустальными фестонами и бахромою; въ нихъ вставлены были свѣчи; не прогнѣвайтесь, — сальные. Въ старину на этотъ счетъ вовсе были неприхотливы. На внутренней стѣнѣ, которая отдѣ-

ляла залу отъ столовой, висѣло нѣсколько фамильныхъ портретовъ, которые, по своей художественной отдѣлкѣ, могли стать рядомъ съ нынѣшними вывѣсками столичныхъ парикмахеровъ и цирюльниковъ. Посреди нихъ висѣла превеликая картина, изображающая родословное древо знаменитаго рода дворянъ Кирсановыхъ. Вѣтвей на немъ и сучковъ было безъ числа, а у самаго корня, на красномъ овальномъ щитѣ, было написано крупными буквами имя князя Фофана, князь Андреева сына, Башлыка, отъ котораго произошли князья Башлыковы—обиняки, и дворяне Кирсановы.

Въ одномъ углу залы сидѣлъ, на низенькой скамеечкѣ, человекъ лѣтъ сорока, или, лучше сказать, какое то среднее существо между человекомъ и обезьяною. На немъ былъ нѣмецкій кафтанъ, сшитый изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ, чрезъ плечо лента изъ желтой крашенины, а на груди огромная звѣзда, вырѣзанная изъ синей бумаги. Глупое лицо его нельзя было назвать рѣшительно безобразнымъ; но въ немъ было все какъ то не на своемъ мѣстѣ: когда онъ смѣялся, можно было подумать, что онъ плачетъ; а если плакалъ, то вы побились бы объ закладъ, что онъ смѣется. Глаза его, изъ которыхъ одинъ былъ выше другого, казались нѣсколько помѣшанными, но иногда въ нихъ мелькало что то похожее на лукавство и хитрость. По залѣ ходилъ взадъ и впередъ человекъ лѣтъ шестидесяти пяти, толстый и высокій, въ зеленомъ сюртукѣ съ отложнымъ краснымъ воротникомъ и красномъ камзолѣ съ золотымъ шитьемъ. Онъ казался весьма еще бодрымъ и свѣжимъ старикомъ, держалъ себя прямо и, судя по всему, былъ нѣкогда прекраснымъ мужчиною. Нѣсколько багровый, но здоровый румянецъ покрывалъ его полныя щеки; волосы на головѣ его были сѣдые, но голубые на выкатѣ глаза блистали изъ подъ черныхъ густыхъ бровей; это придавало его лицу какое то суровое выраженіе, которое изрѣдка смягчалось весьма ласковою и привѣтливою улыбкою. Вообще, можно было сказать, что физіономія этого старика была приятная, и если-бъ надменный взглядъ его не изобличалъ по временамъ души гордой и исполненной властолюбія, то его можно бы было полюбить съ перваго взгляда. Кажется, не нужно говорить моимъ читателямъ, что этотъ старикъ, въ красномъ бригадирскомъ камзолѣ—Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, а уродливое созданіе въ пест-

ромъ нѣмецкомъ кафтанѣ, — дуракъ, или шутъ его, Аеонька.

Иванъ Никифоровичъ съ четверть часа уже ходилъ по залѣ, посматривалъ съ нетерпѣніемъ на окна и шепталъ про себя:

— До сихъ поръ не ѣдетъ!... Вѣрно, шагомъ тащится, разбойникъ!... Да его вѣкъ не дождешься!...

Онъ остановился и свистнулъ. Человѣкъ шесть лакеевъ, изъ которыхъ одни были въ сюртукахъ, а другіе въ охотничьихъ кафтанахъ, вбѣжали изъ разныхъ дверей въ залу.

— Что, Еремка еще не пріѣхалъ?—спросилъ баринъ.

— Никакъ нѣтъ-съ!—отвѣчали разомъ нѣсколько голо-  
совъ.

— Экій дурачина!... Увалень проклятый!... Лишь только пріѣдетъ, сейчасъ ко мнѣ!... Ступайте вонъ!

Слуги исчезли, а Кирсановъ началъ попрежнему ходить по комнатѣ. Прошло еще нѣсколько минутъ, онъ опять остановился и сказалъ:

— Эй ты, дуракъ!

— Что, баринъ?—отвѣчалъ Аеонька.

— Пой что-нибудь.

Аеонька уперся въ колѣна локтями обѣихъ рукъ, уложилъ на ладони свое уродливое лицо и, покачивая головою, затянулъ громкимъ голосомъ:

Шеринъ да беринъ, лисъ трафа,  
Фаръ, фаръ, фаръ, фаръ, люди ерь арцы,  
Шинда шиндара,  
Транду трундара,  
Подъ вили, вили,  
Донъ, донъ, донъ...

— Молчи, дуракъ!—закричалъ Кирсановъ. — Надоѣлъ!...  
Наладилъ все одно, да одно.

— Да я вѣдь, баринъ, это выучилъ въ Москвѣ,—сказалъ Аеонька.—Помнишь, какъ по улицамъ то ходили всякіе черти?

— А что, Аеонька, хороши были эти уличныя игрища, а?

— Какъ же, баринъ! И домъ возили на колесахъ, и нечистая вся сила на козлиныхъ ножкахъ!... А народу то, народу!... А черти то коверкаются, ломаются, да поютъ: хамъ хамъ, хамъ!... А я такъ дрожкой и дрожу!...

— Чего-жъ ты боялся?

— Да какъ же чего?... А какъ черти то схватятъ, да утащутъ!...

— Дурачина! Въдь это матушка-царица давала потѣхи народу; это были люди наряжены...

— Да, какъ бы не такъ! Я у нихъ и когти видѣлъ.

— Ну, ну, хорошо!... Спой-ка лучше эту пѣсенку— вотъ что въ Москвѣ выучилъ тебя пріятель мой, Александръ Петровичъ Сумароковъ.

— Саввушка Савва?

— Ну, да.

Аеонька закинулъ назадъ голову какъ собака, которая собирается выть, и завопилъ протяжнымъ голосомъ:

Саввушка грѣшенъ,  
Савва повѣшенъ.  
Саввушка Савва,  
Гдѣ твоя слава?

\* \* \*

Больше не пади  
Мысли на взятки.  
Саввушка Савва,  
Гдѣ твоя слава?

\* \* \*

Гдѣ дѣлиса пуки,  
Деньги и крюки?  
Саввушка Савва,  
Гдѣ твоя слава?

— Полно, перестань!— прервалъ Кирсановъ.— Ты этакъ тоску наведешь: голосишь какъ о покойникѣ.

— А какъ же тебѣ еще пѣть то?—сказалъ Аеонька, начиная сердиться.

— Какъ пѣть, дурацкая образина! Въдь тебя учили.

— Да чтожъ ты, въ самомъ дѣлѣ, лаишься!... Видишь, баринъ какой!... Ивашка бѣлая рубашка!...

— Молчи, дуракъ!

— Да ты что за разумникъ такой?... Дубина этакая... чертова перечница!

— Ну, ну, полно, не сердись!

— Да, не сердись!... Что я тебѣ дуракъ что-ль достался?

— Нѣтъ, нѣтъ, Аеонюшка, ты умница!... Да что этотъ

Еремка не ъдетъ? А, насилу!...— продолжалъ Кирсановъ, увидя входящаго слугу.—Гдѣ ты шатался до сихъ поръ, негодяй?

— Нигдѣ, батюшка,— отвѣчалъ слуга:—я примехонько изъ города. Сейчасъ только почту разобрали. Къ вамъ, сударь, письмо изъ Воронежа,—прибавилъ онъ, вынимая запечатанный пакетъ изъ кармана.

— Изъ Воронежа?... Подай!... Такъ и есть—отъ Залуцкаго!... Пошелъ вонъ!

Кирсановъ сорвалъ печать, прочелъ нѣсколько строкъ, и лицо его просіяло; онъ продолжалъ читать письмо съ большимъ удовольствіемъ, и когда кончилъ, то сказалъ вполголоса:

— Ну, слава Богу, дѣло идетъ на ладъ!... Авось я породнюсь съ моимъ стариннымъ другомъ... Дочь его хороша собою... она, вѣрно, понравится Володѣ... Аеонька, сегодня тебѣ лишнюю чарку вина!...

— А пить, баринъ, какъ?—спросилъ дуракъ, вскочивъ со своей скамеечки.—Чай, опять соломинкою?

— Нѣтъ, пей, какъ хочешь.

— Ай да баринъ!... Ай да Ваничка голубчикъ! — закричалъ дуракъ, прыгая по комнатѣ и пощелкивая пальцами.

— Андрей Ѡмичъ Зарубкинъ! — доложилъ слуга, войдя въ залу.

— Зови сюда

Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что нашъ пріятель, Зарубкинъ, несмотря на свой видный ростъ, умѣлъ при случаѣ какъ то съезживаться и становиться карлою: въ лакейской онъ сдѣлался ниже цѣлымъ верхкомъ, въ столовой убавился на цѣлую четверть, свернулся кольцомъ и, не разгибаясь, дошелъ до залы.

— Здравствуй, братецъ!—сказалъ Кирсановъ.—Какъ поживаешь?

— Слава Богу, батюшка, ваше высокородіе, слава Богу!...

— Ну что, голубчикъ, какъ идутъ твои дѣлишки?

— Благодарю моего Создателя, — изряднехонько, сударь, изряднехонько! Жнитво покончилъ, хлѣбшко убралъ...

— И, вѣрно, взялъ казенную поставку? Вѣдь у тебя, чай, десятинъ пять или шесть господской запашки?

— Никакъ нѣтъ, вапе высокородіе: тринадцать десятинь съ осьминникомъ.

— Эге, братъ!... Да ты этакъ въ разоръ разоришь свою отчину!. Въдъ въ твоей деревнишкѣ всего на всего душепокъ пятнадцать?

— Тяголъ много, сударь; больше чѣмъ на половину.

— Вотъ что!... Не хочешь ли водки?

— Если милость ваша будетъ...

— Эй, малый!... Настойки!... Въдъ ты, братецъ, вейновую не пьешь?

— Куда намъ, сударь!... Да и что въ ней толку?... Сласти много, а проку мало.

Въ продолженіе этого разговора, Аеонька подкрался потихоньку сзади къ Андрею Ѳомичу, схватилъ его за косичку, дернулъ и закричалъ:

— Здравствуй, баринъ!

— Шалишь, дуракъ!—сказалъ Кирсановъ.

— Ничего, батюшка, ничего! — прервалъ Зарубкинъ.— Мы съ нимъ пріатели... Здравствуй, Аеонюшка!... Ну, что, учишься ли ты грамотѣ?

— Учусь!... Да что то не дается.

— Эхъ ты, голова, голова!... Да развѣ ты не знаешь, что ребятишекъ сѣкутъ, когда учать азбукѣ?... Вели ка себя высѣчь, такъ и тебѣ грамота дается.

— Ой ли?... Да я и такъ ужъ умѣю по складамъ.

— Право?... Ну ка сложи: баринъ.

— Пожалуй!... Буки... буки... азъ—ба... ба... арцы иже—ри... ри... нашъ еръ—нъ... баринъ.

— Такъ, Аеоня, такъ!... Да ты это затвердилъ. Сложи-ка: Зарубкинъ.

— Изволь!... Добро икъ—ду... ду... арцы азъ—ра... ра... како еръ—къ... Зарубкинъ.

— Ай да Аеоня!—сказалъ съ громкимъ смѣхомъ Иванъ Никифоровичъ. Славно, славно! Грошъ за мной!

— Да ужъ за тобой, баринъ, грошей то много. Ты только сулишь.

— На, вотъ, возьми гривенникъ.

— Гривенникъ?—вскричалъ Аеонька.—Ахъ, батюшки, и впрямъ гривенникъ!... Да я куплю себѣ корову... двѣ коровы!... Молока то будетъ у меня... сметаны... творогу!.. Баринъ, пусти меня на село. Антипка кривой продаетъ телушку,—веравно перекупятъ!..



— Ну, ступай, дуракъ, ступай,—купи себѣ корову!

Аеонька бросился опретью вонъ изъ комнаты. Межъ тѣмъ подали настойки; Зарубкинъ выпилъ, закусилъ и остался вдвоемъ съ Кирсановымъ, который сѣлъ на стулъ и пригласилъ Андрея Ѳомича также сѣсть.

— А что, ваше высокородіе,—сказалъ Зарубкинъ,—здоровъ ли Владиміръ Ивановичъ?

— Слава Богу.

— Вѣрно, его нѣтъ дома?... Чай, у Мирошевыхъ.

— Нѣтъ, кажется, онъ у себя въ комнатѣ.

— Такъ, видно, сегодня онъ будетъ у Мирошевыхъ послѣ обѣда.

— Не знаю.

— Я думаю, что такъ.

— А почему-жъ ты это думаешь? Развѣ у нихъ кто-нибудь именинникъ?

— Нѣтъ, сударь! Да ужъ если Владиміръ Ивановичъ не изволилъ поѣхать къ Мирошевымъ по утру, такъ, должно быть, поѣдетъ послѣ обѣда.

— Да что ты наладилъ, братецъ: Мирошевы да Мирошевы!... Ну, конечно, Володя къ нимъ ѣздитъ, да не каждый же день.

— Кто-съ? Владиміръ Ивановичъ?... Помилуйте: одна заря вгонитъ, другая выгонитъ.

— Съ чего ты это взялъ, братецъ?

— И самъ видаль, сударь, и отъ другихъ слышалъ. Да мало ли что говорятъ,—всего не переслушаешь.

— А что такое говорятъ?—спросилъ Кирсановъ, нахмутивъ брови.

— Да такъ!... Вотъ, извольте видѣть: толкуютъ и то и се... одинъ говоритъ одно, другой—другое... Ну, конечно, вы, батюшка, Иванъ Никифоровичъ, должны это знать лучше всѣхъ...

— Да что такое я долженъ знать?—сказалъ съ нетерпѣніемъ Кирсановъ.

— Мое дѣло сторона, ваше высокородіе,—продолжалъ Зарубкинъ.—Я въ это не мѣшаюсь... Начнутъ мнѣ говорить и такъ и этакъ, а я себѣ на умѣ: не мое, дескать, дѣло! Человѣкъ я маленькій, что мнѣ въ это путаться!...

— Слушай, Зарубкинъ,—прервалъ Кирсановъ,—или говори толкомъ, или пошелъ вонъ!

— Да вы не извольте гнѣваться, ваше высокородіе! Я

вѣдь не то, чтобъ этакъ,—знаете, что-нибудь такое... а такъ... что слышу, то и говорю.

— Да чтожь ты такое слышишь?

— Оно, сударь, какъ будто бы и на дѣло походить: каждый день да каждый день... барышня такая прекрасная...

— Тьфу ты пропасть!... Да о комъ ты говоришь?

— Не я, батюшка, видитъ Богъ, не я!... Люди говорятъ. Что, дескать, за рѣдкость такая, коли молодой человѣкъ влюбится въ молодую барышню?... Это сплошь бываетъ.

— Что, что?

— Никакой, дескать, фигуры нѣтъ, что Владиміру Ивановичу приглянулась Варвара Кузьминична Мирошева; не диво, если онъ на ней и женится...

— Кто?... Мой сынъ?... На Мирошевой?... Зарубкинъ, да ты ужь не хлебнулъ ли черезъ край?... Что ты за дичь порешь?

— Право такъ, ваше высокородіе!... Что будешь дѣлать... говорятъ: когда, дескать, отецъ не воспрещаетъ ему житья жить у Мирошевыхъ, такъ, видно, и онъ не прочь отъ этого.

— Кто?... Я?... — вскричалъ Кирсановъ, вскочивъ со стула...—Чтобъ я позволилъ своему сыну жениться на этой дворяночкѣ?... Да кто это осмѣлился сказать?

— Не я, батюшка!... Помилуйте, не я!... Я пересказываю только чужія рѣчи... Мало ли что говорятъ: и слово то они другъ другу дали, и колечками обмѣнялись...

— Послушай, Зарубкинъ, если ты врешь... если это вздоръ.

— Охъ, батюшка!... Не извольте только гнѣваться... все это точно правда.

— Возможно ли?... Какая дерзость!... И эти однодворцы... эти нищѣ смѣютъ думать!..

— Кто-жь себѣ добра не желаетъ, сударь? Женихъ такой выгодный...

— Полно врать, братецъ! Не о женитьбѣ рѣчь!... Владиміръ долженъ знать, что это невозможно... Да неужели его до такой степени ослѣпили, завели...

— Да, батюшка, да!... Какъ заяцъ въ тенеты попался!... Молодость!...

— Въ самомъ дѣлѣ, безпрестанно у Мирошевыхъ... дѣвочка прехорошенькая... И что за глупость на меня напала!... Какъ будто бы я самъ не бывалъ никогда молодъ!... Впро-

чемъ, можетъ быть это такъ... минутная прихоть... дурачество... здѣсь же никого нѣтъ... Но зайти такъ далеко!... Вѣрно, и она въ него влюблена... Жаль бѣдную дѣвочку!... Э, да что объ этомъ думать!... Сами виноваты: не въ свои сани не садись!... Эй, малый, позови сюда Владиміра Ивановича.

— Батюшка, ваше высокородіе,—сказаль съ испуганнымъ видомъ Зарубкинъ,—вы ужь очной то ставки не извольте дѣлать... не выводите меня!... Вѣдь это я такъ—съ дуру проболтался!

— Не безпокойся, братецъ.

— Какъ, сударь, не безпокоиться!... Да вѣдь Мирошевы меня поѣдомъ съѣдятъ!... И что за нелегкая меня дернула!... Экій я глупый человекъ!...

— Да ужь я тебѣ говорю, братецъ, никто объ этомъ не узнаеть.

— Однакожь, все-таки, Иванъ Никифоровичъ, позвольте мнѣ, батюшка, уйти. Вѣдь если Владиміръ Ивановичъ застанеть меня здѣсь, такъ ему не трудно будетъ догадаться...

— Въ самомъ дѣлѣ, ступай-ка, братецъ, домой. Я хочу поговорить наединѣ съ моимъ сыномъ.

Зарубкинъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ дверямъ, потомъ воротился и сказаль Кирсанову:

— Осмѣлюсь вамъ доложить, батюшка, ваше высокородіе: ужь чтобы вы не изволили дѣлать, а, чуетъ мое сердце, Мирошевы догадаются...

— Такъ чтожь? Пускай себѣ догадываются!... Стану я церемониться съ этою мелкопомѣстною дрянью!... Да я имъ въ глаза скажу...

— Вы дѣло другое, сударь; да мнѣ то плохо придетъ, коли они догадаются, что отъ меня сыръ-боръ загорѣлся... Мирошевы, по своей милости, никогда меня не оставляли. Вотъ, напримѣръ, объ Рождествѣ присылали ко мнѣ всегда свиную тушу... того, сего... а теперь, если какъ-нибудь провѣдаютъ...

— Ну, ну, хорошо, братецъ, я велю приказчику давать тебѣ по двѣ свиныя туши.

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокородіе!... Также, сударь, въ именины, бывало—то кадочку масла пришлють, то холстинки на бѣлье...

— Эхъ, братецъ, надоѣлъ!...

— Я уже не говорю, батюшка, что каждое Свѣтлое воскресенье ..

— Тыфу пропасть!... Ну, считай все это за мною, только убирайся проворнѣй!

— Иду, сударь, иду!... Дай Богъ вамъ много лѣтъ здравствовать!... Прощенья прошу, батюшка!

Зарубкинъ отправился, а Кирсановъ, оставшись одинъ, началъ снова ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

## XIX,

СЛУЖАЩАЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

Во все продолженіе этого разсказа, каждый разъ, когда я или моя дѣйствующія лица упоминали объ Иванѣ Никифоровичѣ Кирсановѣ, то всегда говорили о немъ какъ о человѣкѣ крутомъ и очень вспыльчивомъ; слѣдовательно, моимъ читателямъ должно показаться весьма страннымъ, что онъ, узнавъ о любви своего сына къ бѣдной дворяночкѣ, не взбѣсился, не вышелъ изъ себя и не надѣлалъ никакой тревоги. На это была весьма важная причина: Иванъ Никифоровичъ умѣлъ при случаѣ весьма искусно прикинуться строгимъ отцомъ; но онъ любилъ безъ памяти Владиміра, и заочно не могъ никакъ на него сердиться, а разыгрывалъ иногда при немъ роль гнѣвнаго отца единственно только для того, чтобъ поддержать свое собственное достоинство. Вовсе неожиданный доносъ Андрея Ѳомича Зарубкина совершенно его разстроилъ; въ душѣ его боролись двѣ противоположныя страсти: любовь и гордость. Разумѣется, безъ помощи Божіей, дурная страсть почти всегда задушитъ въ насъ всякое доброе чувство: что ни говорила любовь въ пользу несчастнаго Владиміра, какъ ни напоминала она Кирсанову, что и его жена была также бѣдная дѣвушка,—ничто не помогло; неистовый голосъ сатанинскаго грѣха заглушалъ ея тихій шопотъ,—гордость одолѣла; и когда Владиміръ вошелъ въ комнату, его встрѣтила не ласковая улыбка добраго отца, не утѣшительный взоръ состраданія, но холодный, неумолимый взглядъ, въ которомъ бѣдный молодой человѣкъ могъ заранѣе прочесть свою горькую участь.

— Вы меня изволили спрашивать, батюшка? — сказалъ робкимъ голосомъ Владиміръ, замѣтивъ съ перваго взгляда, что дѣло идетъ о чемъ то важномъ.

— Да, — отвѣчалъ отрывисто Кирсановъ, продолжая ходить по комнатѣ.

Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи; наконецъ, Иванъ Никифоровичъ остановился и сказалъ:

— Владиміръ, мнѣ очень непріятно, что ты такъ легко забываешь разстояніе, которое существуетъ между тобой и какимъ-нибудь мелкопомѣстнымъ дворянчикомъ. Конечно, деревня не городъ, почему не потѣшить иногда бѣднаго сосѣда, не завернуть къ нему мимоходомъ; но прилично ли тебѣ, моему сыну, сдѣлаться задушевнымъ другомъ какого-нибудь Кузьмы Мирошева, быть у него ежедневно, на ряду съ отставнымъ подъячимъ Вертлюгинымъ, пьяницею Зарубкинымъ, и все это для того, чтобъ волочиться за смазливою дѣвочкой, которая, я думаю, и имени то своего порядкомъ подписать не умѣетъ.

Владиміръ поблѣднѣлъ.

— Не стыдно ли тебѣ, Володя! — продолжалъ Кирсановъ нѣсколько поласковѣе. — Что это для тебя за компанія?... Ты видишь, я все знаю. Ну, конечно, ты молодецъ, здѣсь нѣтъ никакихъ развлеченій... Но если для каждой дѣвочки, которой лицо тебѣ понравится, ты станешь забывать всѣ приличія, будешь обращаться на короткой ногѣ Богъ знаетъ съ кѣмъ...

— Я не смѣю вамъ противорѣчить, батюшка; только позвольте сказать: Мирошевы...

— Что Мирошевы? Дрянь, ничтожные люди! — прервалъ вспыльчиво Кирсановъ. — Отецъ негодяй, мать интригантка, а дочь...

— Батюшка!...

— Правда, она больше жалка, чѣмъ виновата; но отецъ и мать — эти наглые, безстыдные люди!... Ловить богатаго жениха для своей дочери, навязывать ее молодому человѣку, который ей вовсе не пара... Да нѣтъ, я напрасно ихъ называю безстыдными: они просто сумасшедше! И придетъ же въ голову какимъ-нибудь Мирошевымъ, что мой сынъ, единственный мой наслѣдникъ, можетъ войти въ ихъ семейство!... Безумные!... Я очень понимаю, что молодой человѣкъ не побѣжитъ прочь отъ хорошенькой дѣвочки, которая или сама вѣшается къ нему на шею, или дѣлаетъ

это по приказанію своихъ почтенныхъ родителей; но они то какъ смѣютъ думать?...

Блѣдное лицо Владиміра вдругъ вспыхнуло, и онъ сказалъ почитательнымъ, но твердымъ голосомъ:

— Батюшка, вы напрасно обижаете Мирошевыхъ. Если я заслужилъ вашъ гнѣвъ, такъ гнѣвайтесь на меня одного, а они тутъ ни въ чемъ не виноваты.

— Ни въ чемъ!—повторилъ съ презрительною улыбкою Кирсановъ.—То есть они не приставали къ тебѣ съ ножомъ къ горлу, чтобъ ты женился на ихъ дочери!

— Батюшка, вы знаете, что я всегда говорю вамъ правду... Да, я люблю Вареньку Мирошеву; но ея отецъ и мать этого не знаютъ.

— Можетъ ли это быть?

— Клянусь вамъ честью!

— Да чтожь они, слѣпые что-ль?... Ты у нихъ каждый день...

— Какъ ихъ искренній другъ и пріятель.

— И они ничего не подозрѣваютъ?... Не стараются приманивать тебя къ себѣ въ домъ?...

— Напротивъ, батюшка: я даже не одинъ разъ замѣчалъ, что Кузьмѣ Петровичу не нравятся мои частыя посвѣщенія...

— Въ самомъ дѣлѣ?...

— И если-бъ онъ только могъ подозрѣвать, что дочь его ко мнѣ равнодушна, то, безъ всякаго сомнѣнія, отказалъ бы мнѣ отъ дому.

— Отказалъ бы отъ дому!... Кто?... Отставной поручикъ... мелкая сопка!... Мирошевъ!.. Кому?... Владиміру Ивановичу Кирсанову!.. Вотъ въ какое положеніе ты себя поставилъ!... Впрочемъ, съ его стороны это очень похвально; слѣдовательно, онъ чувствуетъ, что мой сынъ не пара его дочери, и что изъ этого волокитства ничего путнаго выйти не можетъ. Вотъ, что умно, такъ умно!... И если ты говоришь правду...

— Какъ предъ Богомъ!

— Ну, это для меня пріятно! Признаюсь, мнѣ грустно было подумать, что человекъ, котораго я считалъ и честнымъ и неглупымъ, можетъ забыться до такой степени. Если это такъ, то, конечно, мнѣ не въ чемъ обвинять отца и мать, но дочь... и она также ничего не замѣчаетъ?...

— Нѣтъ, батюшка: она знаетъ, что я люблю ее.

— И, вѣрно, тебѣ вовсе не трудно было найти удобный случай признаться въ этомъ?

— Ахъ, какъ вы ошибаетесь!... Я открою вамъ все, батюшка: вотъ ужъ три мѣсяца, какъ я люблю Вареньку...

— То есть съ тѣхъ поръ, какъ ты въ деревнѣ?... Понимаю!... Здѣсь скучно, дѣлать нечего...

— Ахъ, батюшка!... Любовь моя...

— Добро, добро... мы объ этомъ поговоримъ послѣ!

— Вы можете мнѣ не вѣрить, однакожъ это правда: лишь только она замѣтила, что я люблю ее, то совершенно перемѣнила со мной обращеніе, стала отъ меня бѣгать...

— Право?... Ну, это похвально!... И если она дѣлала это не изъ кокетства...

— Батюшка, вы знаете ее!...

— Правда, правда, она дѣвка скромная, простодушная; да и гдѣ какой-нибудь деревенской барышнѣ ухитриться до такой степени...

— Вы не можете повѣрить, батюшка, чего мнѣ стоило узнать, что и я также ей не противенъ.

— А ты добился этого?... Бѣдная Варенька!... И какъ требовать, чтобъ она устояла противъ такого искушенія!... Ловкій молодой человекъ... прекрасный мужчина... Кирсановъ!.. Однакожъ, она старалась убѣгать отъ тебя, боролась съ собою... слѣдовательно, понимаетъ, какое разстояніе между ней и тобою?... Добрая дѣвушка, добрая!.. Жаль мнѣ ее!...

Въ эту минуту всѣ черты лица Ивана Никифоровича выражали такое искреннее состраданіе, что надежда ожила въ сердцахъ Владиміра.

— Я очень радъ, батюшка,—сказалъ онъ,—что вы мнѣ, наконецъ, повѣрили...

— Да, если все то правда, что ты говоришь, то, конечно, Мирошевы люди честные и весьма умно поступаютъ, что держатъ себя на своемъ мѣстѣ.

— Вы, можетъ быть, не знаете, батюшка: хотя Кузьма Петровичъ бѣдный человекъ, однакожъ, онъ старинный русскій дворянинъ.

— Старинный дворянинъ!... А знаешь ли ты, Владиміръ, что почти всѣ однодворцы происходятъ отъ старинныхъ дворянъ?

— Но Кузьма Петровичъ служилъ, онъ не однодворецъ...

— И Зарубкинъ служилъ, и онъ также не однодворецъ.

— Помилюйте, какъ же можно его равнять съ Мирошевыми? Если-бъ вы знали, что это за почтенное семейство!

— А ты очень ихъ любишь?

— О, чрезвычайно!

— Неправда, лжешь, Владимірь! Быть можетъ, они, по своей простотѣ, тебя любятъ, а ты ихъ не любишь!

— Почему-жъ вы это думаете?

— Потому, что ты не имѣешь никакого сожалѣнія къ этимъ бѣднымъ людямъ; потому, что самый жестокий врагъ Мирошевыхъ не могъ бы имъ сдѣлать столько зла, сколько сдѣлалъ, или хотѣлъ имъ сдѣлать, ихъ искренній другъ и пріятель, Владимірь Ивановичъ Кирсановъ.

— Я васъ не понимаю, батюшка.

— То есть не хочешь понять. Владимірь, посмотри на это родословное дерево нашей фамиліи: тутъ много именъ, а ни на одномъ изъ нихъ нѣтъ чернаго пятна, ни одно изъ нихъ не принадлежало безчестному человѣку. До сихъ поръ я говорилъ это смѣло, говорилъ, глядя прямо въ глаза каждому, а теперь, по милости сына...

— Да какимъ же безчестнымъ дѣломъ вы можете упрекнуть меня, батюшка?—прервалъ съ живостію Владимірь.

— А развѣ, сударь, по вашему, не безчестный человѣкъ тотъ, кто, подъ видомъ пріязни, вкрадывается въ семейство бѣдныхъ и простодушныхъ людей, увѣряетъ ихъ въ дружбѣ, унижаетъ собственное свое достоинство, и все это для того, чтобъ вскружить голову неопытной дѣвчкѣ и погубить, если не ее, такъ ея честное имя? Эхъ, Владимірь, этого я никогда отъ тебя не ожидалъ!

— И никогда не дождетесь, батюшка! — прервалъ съ жаромъ молодой человѣкъ.—Если я когда-нибудь сдѣлаюсь такъ подлѣ и низокъ, то не называйте меня вашимъ сыномъ, откажитесь отъ меня...

— А позвольте васъ спросить, — сказалъ насмѣшливо Кирсановъ,—съ какимъ же намѣреніемъ вы волочились за эту бѣдную дѣвчушкой...

— О, могу васъ увѣрить, батюшка!...

— Хорошо, хорошо; положимъ, что ты приволокнудся за нею безъ всякихъ дурныхъ намѣреній, а такъ—для забавы, чтобъ какъ-нибудь убить время... Ну, конечно, это нѣсколько извинительнѣе; но подумалъ ли ты, чего будетъ стоить эта потѣха Варенькѣ, если она, не шутя, въ тебя



влюбилась? Ты добился этого, самолюбіе твое утѣшено—прекрасно!... А чтожь дальше?... Ты уѣдешь; любовь твоя, если ужь тебѣ угодно назвать это любовью, продолжится день, два,—положимъ, цѣлую недѣлю...

— Всю жизнь, батюшка!

— Вадоръ, сударь, вадоръ! Я лучше твоего это знаю. Ты, можетъ быть, довезешь эту любовь до Москвы, но ужь, конечно, дальше заставы она съ тобой не поѣдетъ.

— Почему вы это думаете?

— Какой смѣшной вопросъ!... Да чтожь ты будешь дѣлать съ этою любовью? Если ты, точно, честный человекъ, то захочешь ли для минутной прихоти погубить навсегда бѣдную дѣвушку, покрыть вѣчнымъ стыдомъ это беззащитное семейство?...

— Но развѣ, батюшка, нельзя?...—прервалъ робкимъ голосомъ молодой человекъ.

— Что?... Владиміръ, вѣдь я не Варенька! Ее не трудно тебѣ увѣрить во всемъ; ты можешь ей сказать, что на небѣ два солнца, что лѣтомъ холодно, а зимою тепло; что Кирсановъ можетъ жениться на Мирошевой,—все это въ порядкѣ: молодые люди, какъ ты, обыкновенно лгутъ, а влюбленные дѣвушку, какъ Варенька, всему вѣрятъ. Но неужели ты хочешь увѣрить и меня,—прибавилъ Иванъ Никифоровичъ, взглянувъ пристально на сына,—что это вещь возможная?... Конечно, если я умру...

— Ахъ, батюшка, что вы говорите?

— Да, впрочемъ, и это не поможетъ. Надобно, чтобъ я умеръ сегодня или завтра: тогда, можетъ быть, сгоряча, ты сдѣлаешь эту глупость; но такъ какъ я надѣюсь прожить еще, по крайней мѣрѣ, недѣли двѣ или три, такъ,—не прогнѣвайся,—можно смѣло побиться объ закладъ, что Варенька Мирошева никогда не будетъ Варенькой Кирсановой.

— Позвольте мнѣ открыть вамъ всю мою душу,—сказалъ Владиміръ.—Вы очень ошибаетесь, если думаете, что любовь моя нечто иное, какъ минутное ослѣпленіе... Нѣтъ, батюшка, это не шалость, не дурачество!...

— А чтожь такое?...

— Чистое, глубокое чувство, основанное на уваженіи; вѣчная, пламенная любовь, которую я унесу съ собой въ могилу.

— А смѣю васъ спросить, Владиміръ Ивановичъ: въ

который разъ вы любите вѣчно и собираетесь унести эту любовь съ собой въ могилу?

— Я никого еще не любилъ такъ, какъ люблю Вареньку. Эта любовь жизнь моя!

— Проживешь и безъ нея.

— Батюшка, если вы не хотите привести меня въ отчаяніе...

— Такъ дайте мнѣ ножъ, чтобъ я имъ зарѣзался!... Ребенокъ! Да неужели ты думаешь въ самомъ дѣлѣ, что я позволю тебѣ когда-нибудь назвать отцомъ этого помѣщика пятидесяти душонокъ, а матерью какую то оберъ-офицерскую дочь, которая, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, питалась мѣрскимъ подаваніемъ? Почему ты знаешь мои намѣренія?... Почему ты знаешь, — можетъ быть, я хочу, чтобъ ты вступилъ въ семейство, котораго родство сдѣлаетъ честь всему роду Кирсановыхъ? Почему ты знаешь, — можетъ быть, я далъ уже за тебя и слово?...

— Вы напрасно это сдѣлали, батюшка, — прервалъ съ твердостью Владимірь. — Я никогда не пойду противъ вашей воли; если даже, умирая, вы запретите мнѣ жениться на Варенькѣ, то я и тогда свято исполню это приказаніе; но, клянусь вамъ также самимъ Богомъ, что никакая женщина въ мѣръ, кромѣ Вареньки, не будетъ моею женою!

— Ну, это еще мы увидимъ.

— Вспомните, батюшка: вы сами были женаты на бѣдной дѣвушкѣ.

— Безумный, — вскричалъ Иванъ Никифоровичъ, — и ты можешь равнять мать свою съ этою Мирошевой! Да знаешь ли, что это была за женщина?

Тутъ слезы заблестали въ глазахъ старика.

— Твоя мать была не челоуѣкъ, — продолжалъ онъ, — она какъ то ошибкою попала на эту землю: это былъ ангель небесный!... Благодари Бога, что ты остался послѣ нея ребенкомъ: если-бъ ты зналъ свою мать и смѣлъ бы ее сравнять съ кѣмъ-нибудь на свѣтѣ, я никогда бы тебѣ не простилъ этого.

Иванъ Никифоровичъ замолчалъ; слезы брызнули у него изъ глазъ, и онъ проговорилъ прерывающимся голосомъ:

— Вотъ ужъ двадцать три года, какъ ея нѣтъ, а мнѣ все кажется, что она умерла вчера!

— Да, — прошепталъ вполголоса Владимірь, — еслибъ матушка была жива, такъ, можетъ быть...

— Молчи!—закричалъ Кирсановъ.—Дерзкій, непокорный сынъ не долженъ смѣть произносить имени этой святой женщины!.. Будь готовъ: ты черезъ часъ ѣдешь отсюда.

Владиміръ онѣмѣлъ отъ ужаса.

— Да,—продолжалъ Иванъ Никифоровичъ,—черезъ часъ ты отправишься въ Воронежъ. Я пошлю съ тобой письмо къ другу моему, Залуцкому. Онъ знаетъ тебя еще ребенкомъ; пора тебѣ покороче съ нимъ познакомиться. Черезъ недѣлю я приѣду вслѣдъ за тобою, а ты межъ тѣмъ приищи мнѣ домъ: мы проживемъ всю зиму въ Воронежѣ. Да прошу не заѣзжать никуда прощаться: дальніе проводы—лишнія слезы. На всякій случай не мѣшаетъ тебѣ знать, что если ты, вопреки моему приказанію, завернешь въ Хопровку, такъ я самъ туда за тобой приѣду... Или нѣтъ: я провожу тебя до города, — это будетъ вѣрнѣе!... Ни слова!—прибавилъ Кирсановъ, замѣтивъ, что Владиміръ хотѣлъ что то сказать.—Ты ѣдешь черезъ часъ. Ступай, укладывайся!

## XX.

Какъ Прохоръ Кондратьичъ узналъ отъ кописиста Вихляева, что на Кузьму Петровича подана просьба въ уездный судъ.

Часа черезъ полтора послѣ этого разговора, въ уѣздномъ городѣ Новохоперскѣ, по грязной улицѣ, которая вела отъ крѣпостнаго вала къ базарной площади, шли рядомъ два человѣка пожилыхъ лѣтъ. Миновавъ каменный соборъ, они приѣхали въ двухъ шагахъ отъ почтоваго двора, противъ царскаго кружала, то есть кабака, который былъ въ одно и то же время единственнымъ питейнымъ домомъ и харчевнею города Хоперска. Одинъ изъ этихъ двухъ прохожихъ былъ нашъ старинный знакомый, прикащикъ сельца Хопровки, а другой... Да вотъ я опишу вамъ его наружность, и вы, вѣрно, отгадаете, къ какому классу людей принадлежалъ этотъ сопутникъ и, повидимому, короткій пріятель Прохора Кондратьича. Судя по лицу, ему было лѣтъ около шестидесяти; узенькій лобъ его, съ зачесанными назадъ волосами, былъ весь покрытъ морщинами; круглый, какъ луковица, носъ, съ краснымъ отливомъ, рѣзко отдѣлялся отъ нижней части лица и подбородка, который недѣли двѣ былъ не бритъ и обросъ кругомъ сѣдою

щетиною. Левый глаз его былъ косъ, правый прищуренъ, и оба безъ рѣсницъ; его правая щека и ухо были запачканы чернилами, а на длинную шею намотана какая то черная трипична. На немъ былъ кофейнаго цвѣта нѣмецкій кафтанъ изъ байки и канифасный, съ разорванными петлями, камзолъ; красное исподнее платье, нитяные заштопанные чулки, подбитые гвоздями башмаки, и шляпа, бывшая нѣкогда съ тремя углами, а теперь похожая на какой то войлочный доскутъ, не имѣющій никакой формы, оканчивали этотъ классическій нарядъ, который, вѣроятно, вамъ не случалось нигдѣ видѣть, кромѣ сцены, да и то въ однѣхъ старыхъ русскихъ комедіяхъ, на примѣръ: въ «Ябедѣ» или въ «Рекрутскомъ наборѣ», гдѣ этотъ костюмъ сохранилъ еще до сихъ поръ всю историческую свою вѣрность. Я позабылъ сказать, что изъ кафтаннаго кармана выглядывала заткнутая пробкою мѣдная чернильница и привѣшенная къ ней на цѣпочкѣ трубка, также мѣдная, изъ которой виднѣлся конецъ гусинаго пера. Если вы, несмотря на всѣ описанные мною признаки, не можете отгадать званія этого господина, то я шепну вамъ на ушко, что потомки его и теперь еще разсѣяны по землѣ Русской, только они одѣваются совсѣмъ иначе, гораздо чаще брѣютъ бороду, не ходятъ по кабакамъ, а посѣщаютъ герберги, кухмистерскіе столы, *ресторации*, и рѣшительно не пьютъ, по крайней мѣрѣ, публично, простое хлѣбное вино, а требуютъ всегда *сотернова* и полущампанскаго... Что, узнали, наконецъ?.. Ну да, этотъ пріятель Прохора Кондратыча былъ нѣкогда съ *притисью подъячій*, а теперь служилъ штатнымъ кошістомъ въ Хопровскомъ уѣздномъ судѣ.

— Ну чтожъ ты хотѣлъ мнѣ сказать, Пафнутычъ?— спросилъ Прохоръ своего товарища, который, по какому то неопредѣленному инстинкту, остановился противъ питейнаго дома.

— Да, любезнѣйшій, да,—отвѣчалъ подъячій, посматривая съ умильною улыбкою на двухглаваго орла:—дѣльце немаловажное!.. Какъ баринъ твой объ этомъ узнаеть, такъ—ой, ой, ой, затылокъ то у него зачесется!

— Да что такое?

— А вотъ что: словно обухомъ по лбу!

— Кого?

— Вѣстимо, не меня: съ меня, братъ, взятки то гладки!

— Да что же ты не скажешь толкомъ?...

— Экій ты, братецъ, какой! Я человекъ присяжный: стану я тебѣ о судейскихъ дѣлахъ на улицѣ разсказывать. Да у меня же что то и въ горлѣ пересохло.

— Вижу, братъ Панфутьичъ, къ чему ты приговариваешься, вижу!

— А коли видишь, такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— Ну, ну, зайдемъ.

— Зайдемъ, почтеннѣйшій!.. Да ужъ кстати спрости солонинки съ хрѣномъ, такъ мы съ тобой и закусимъ.

— Иволь, любезный, такъ и быть! Да только не дурманишь ли ты меня?

— А вотъ увидишь... Эй, Анкудимъ Ѡадденчъ,—закричалъ подъячій цѣловальнику, войдя съ Прохоромъ въ питейный домъ,—вели-ка намъ подать, вонъ туда—въ особую каморку, полъ-осьмухи пѣннику. Кондратьичъ, что солонина: съ нея обопьешься; да ужъ разступись, любезный, уважь, прикажи селянку..

— Вотъ еще—селянку!.. Полно, Панфутьичъ; ничего не вида, да ужъ сталъ прихотничать!

— Ну, Прохоръ Кондратьичъ, крѣпонецъ ты!.. Да вотъ погоди, любезный,—прибавилъ подъячій шопотомъ.

Прохоръ и подъячій пріютились въ небольшомъ чуланчикѣ, сѣли за столъ; имъ подали вина, кусокъ солонины и ломоть хлѣба. Панфутьичъ выпилъ, закусилъ и сказалъ наливая себѣ вторую чарку:

— Ну, благопріятель, теперь я скажу тебѣ, въ чемъ дѣло. Третьяго дня Панкратій Лукичъ Курочкинъ подаль челобитную на твоего барина.

— Неужели?.. Ахъ онъ ябедникъ проклятый!..

— Да, братецъ, нечего сказать, голова!

— Третьяго дня!—повторилъ Прохоръ.—Чтожъ ты мнѣ до сихъ поръ не далъ объ этомъ вѣсточки?.. А еще пріятель!

— Что пріятель, такъ досконально пріятель, любезнѣйшій! Да чтожъ прикажешь дѣлать?.. Послать мнѣ некого, а самому придти было нельзя: сегодня только изъ подъ караула выпустили; а все злодѣй секретарь, чтобъ ему въ цѣлый годъ ста рублей въ карманъ не перепало, разбойникъ этакій!.. Меня лукавый дернулъ сказать, что и онъ не напишетъ такой челобитной, какую настрочилъ Курочкинъ; ему перенесли, а онъ придрался ни къ тому, ни къ другому, да и сапоги съ меня долой!

— А ты читалъ эту просьбу?

— Какъ же!... Фу, бойко написана!

— Да, я думаю, всякихъ кляузовъ довольно...

— Ужь я тебѣ скажу!.. За стекло, любезный, да въ рамочку, — диковинка!..

— Да чего-жъ онъ отъ насъ хочетъ?

— Такъ — ничего: десятинокъ пятьсотъ земли, да поемные луга по Хопру, да за пожилое; а какъ станете тягаться, такъ попросить за протори, убытки и волокиты.

— Пятьсотъ десятинъ! — вскричалъ Прохоръ. — Такъ онъ хочетъ у насъ и конопляники схватить!

— Да, пріятель, подь самую усадьбу подьѣзжаетъ.

— Пятьсотъ десятинъ! Ахъ онъ старый беззаконникъ!

— Что ты, Кондратьичъ, какой беззаконникъ. Да онъ законы то всѣ по пальцамъ знаетъ. Ну, ужь дока!.. Какъ я сталъ въ канцеляріи читать вслухъ его просьбу, такъ всѣ рты разинули. Нашъ повытчикъ, Артемій Егорычъ Жилкинъ, ужь, кажется, дѣлецъ, его ничѣмъ не озадачишь, и тотъ промолвилъ: «Ну, честь и слава Панкратію Курочкину!.. Вотъ человекъ!» И подлинно: читаешь его челобитную, — любо: и складно, и ладно, словно рѣка льется. А гдѣ надобно, такъ пойдетъ такая путаница, что ты себѣ хоть тресни, а ничего не поймешь! Да будь судья хоть о семи пядей во лбу, такъ и тотъ до правды не доберется; а указы то какъ перепуталъ, указы!.. Ну, мастеръ! И Судебникъ Іоанна Васильевича поднялъ на ноги, и Уложение Царя Алексѣя Михайловича гласить то-то, и въ такомъ то году состоялся такой то сепаратный указъ; однимъ словомъ, братецъ, такая бездна всякой законности, что самъ чортъ ногу переломить!.. Дѣлецъ, сударь, дѣлецъ!

— Дѣлецъ!.. Сутяга этакій, кляузникъ!

— Да ты себѣ, пріятель, что ни говори, а я какъ прочелъ его челобитную, такъ въ поясъ ему поклонился.

— Есть за что.

— Умень, разбойникъ!

— Подлинно, разбойникъ!.. Да не удастся ему насъ ограбить.

— Ну, смотри.

— Чего тутъ смотрѣть? У насъ документы есть.

— Право? Сирѣчь купчія, межевыя книги?..

— Все было, да лѣтъ сорокъ тому назадъ сгорѣло, любезный.

— Так чтожь ты говоришь?..

— Да развѣ нельзя въ Саратовѣ изъ архива копіи выправить?

— Какъ нельзя, не пожалѣйте только казны, а то, конечно... Да постой-ка, братецъ!.. Никакъ Курочкинъ то недавно былъ въ Саратовѣ?

— Всего пятый день, какъ воротился.

— Э-э-э!.. Такъ дѣло то, Кондратьичъ, плоховато!

— А что?

— Да неужели ты думаешь, онъ даромъ туда ѣздилъ? Нѣтъ, почтеннѣйшій, ужь онъ, вѣрно, дѣльце то спроворилъ!

— Какое дѣльце?

— Какое!.. Эхъ вы, эвваки, эвваки!.. Ступай, братъ, теперь въ Саратовъ, выправляй изъ архива копіи!..

— А почему-жь я ихъ выправлю?.. Подарю, такъ найдутъ.

— Да, какъ же! Ищи пустого мѣста! Нѣтъ, Кондратьичъ, чай, ужь этихъ документовъ и духу не осталось. Барашка въ бумажкѣ, такъ разомъ сострапаютъ.

— Полно, Пафнутьичъ, что ты! Да развѣ можно выкрасть дѣло изъ архива?

— Зачѣмъ красть, и безъ этого не найдется.

— Что ты братецъ, какъ не найти?.. Вѣдь оно по книгамъ значится.

— Ахъ ты голова, голова!.. А мыши то на что?

— Да развѣ мыши бумагу ѣдятъ?

— Голодъ не тетка, любезный: какъ нечего кушать, такъ и бумагу съѣшь; а не то, такъ блюдо то можно позадобрить; кой-гдѣ саломъ капнулъ, маслицемъ полилъ, такъ мыши то въ однѣ сутки изъ твоихъ документовъ такую окрошку сдѣлаютъ, что хоть рѣшетомъ сѣй!

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Прохоръ съ ужасомъ.— Да неужели есть такіе мошенники?

— Вотъ ужь тотчасъ и мошенники!.. Что ты, Прохоръ Кондратьичъ! Мошенникъ человекъ опельмованный, уличенный въ воровствѣ, въ злоумышленномъ подлогѣ или въ какомъ ни есть фальшивомъ поступкѣ, а коли нѣтъ улики, такъ не смѣй никого называть мошенникомъ!.. Это, братъ, дѣло казусное,—не развяжешься.

— И какъ Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе?

— То-то, любезный! — сказалъ съ довольнымъ видомъ

Пафнутьичъ.—Ты еще всю нашу подъяческую суть не знаешь. Въдь нашъ братъ, приказный, человекъ хитеръ! Да пусть я захлебнусь этой чаркой вина, если самый послѣдній пирсариска не проведетъ любого вашего умника.

— Есть чѣмъ похвастаться! Подлинно, не даромъ прозвали васъ крапивнымъ сѣменемъ, воры этакие!.. Мало васъ на каторгу то посылаютъ!..

— Ты не ругайся, Кондратьичъ!—прервалъ подъячій.—Хоть мы съ тобой приятели, а будь-ка здѣсь третій, такъ я бы попросилъ прислушать. Не хорошо, любезный, не хорошо!

— Да я на площади это скажу.

— На площади!.. Ахъ ты, глупый сынъ! Да знаешь ли, что за такую публичность ты и безчестьемъ не отдѣлаешься?.. Нѣтъ, Кондратьичъ, никогда не могли. И отъявленнаго вора нельзя воровъ назвать, коли ты его съ полицнымъ не поймалъ; да и тутъ еще свидѣтели потребуются... Что ты, братецъ!

— Ну, дѣлать нечего,—сказалъ Прохоръ, вставая:—надобно доложить барину, да скорѣй въ Саратовъ.

— Ступай, любезный! Можетъ статья, Панкратій Лукичъ не подумалъ объ этомъ: на всякаго мудреца есть довольно простоты. Только наврядъ!.. Человекъ онъ умный, дѣловой: не дастъ такого маха!.. Да куда-жъ ты, почтеннѣйшій?

— Домой. А ты себѣ допивай на здоровье свой полуштофчикъ, я за весь заплачу. Смотри же, Пафнутьичъ, если случится надобность...

— Да ужъ не опасайся, любезнѣйшій! Не оставляйте только вы меня съ бариномъ, а я ужъ васъ не оставлю: просъбицу чтоль написать, выpravку сдѣлать, или, этакъ, копію съ судейскаго рѣшенія—все, что хочешь, приятель. Да въдь безъ секретаря у васъ дѣло не обойдется, такъ если не желаете прямо, такъ можно черезъ мевя. Повытчиковъ также надобно будетъ подмазать; а касательно господъ присутствующихъ, такъ баринъ твой можетъ съ ними персонально объ этомъ переговорить.

— Помилуй, братецъ!.. Да неужто всѣмъ? Этакъ и казны нашей не станеть.

— Не все деньгами, Кондратьичъ: кой-что можно и натурою; да вотъ хоть я,—чѣмъ хочешь возьму: хлѣбомъ, баранами, птицею... и повытчики также этимъ не побрез-



гають,—вѣдь все люди семейные, любезный. Засѣдателямъ—кому головку сахару, кому сукна на мундирь... Ну, конечно, судья и секретарь статья особая; да вѣдь въ нихъ то, другъ сердечный, вся сила.

— А если въ нихъ, такъ зачѣмъ же другимъ...

— Э, братъ, видишь ты какой!.. Да какъ же это можно?.. Всякая душа пить, и ѣсть хочетъ.

— Добро, добро! Прощай, пріятель!.. Прогнѣвали мы Бога!—прибавилъ про себя Кондратьичъ, выходя изъ каморки.—Если мы отъ этого сутяги Курочкина и отгрыземся, такъ все-таки насъ порядкомъ пощиплютъ.

Когда Прохоръ вышелъ на улицу, то увидѣлъ передъ почтовымъ дворомъ запряженную тройкой кибитку съ откиднымъ верхомъ; на крыльцѣ почтоваго двора стоялъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, а въ кибиткѣ сидѣлъ Владиміръ; слуга поправлялъ привязанный на запяткахъ чемоданъ. Прохоръ подошелъ и спросилъ: куда ѣдетъ его баринъ?

— Въ Воронежъ,—отвѣчалъ слуга.

— Надолго ли?

— Кажись, надолго,—и старый баринъ на будущей недѣлѣ туда поѣдетъ.

— Вотъ что!

— Говорять, всю зиму тамъ проживуть.

— Право?.. Ну, дай Богъ вамъ счастливо!

— Спасибо, Кондратьичъ!—сказалъ слуга, вспрыгнувъ на облучекъ.

Владиміръ оглянулся назадъ, увидѣлъ Прохора, хотѣлъ что то ему сказать; но ямщикъ свистнулъ, ретивые кони приняли дружно съ мѣста, и въ полминуты кибитка исчезла за облаками пыли.

Кондратьичъ торопился придти домой. У него было двѣ новости, изъ которыхъ одна только казалась ему весьма неприятною. Добрый старикъ не зналъ, что нечаянный отъѣздъ Владиміра поразитъ бѣдную Вареньку несравненно болѣе, чѣмъ Кузьму Петровича извѣстіе о началѣ тяжбы, которая могла разорить его до конца. Прохоръ нашелъ своихъ господъ за обѣдомъ. Марья Дмитріевна, которая сидѣла рядомъ съ дочерью, посматривала съ примѣтнымъ безпокойствомъ на ея болѣзненное лицо. Варенька, точно, была нездорова: она всю ночь не могла заснуть и нѣсколько разъ принималась плакать безъ всякой причины! Ее пугало какое то темное предчувствіе большого горя: сердце безпре-

станно замирало, и каждый разъ, какъ она начинала засыпать, ее будилъ какой то зловѣщій голосъ; казалось, онъ шепталъ ей на ухо: «Приготовься къ бѣдѣ, — она близка, она стучится подь окномъ!»

— Гдѣ ты былъ, Прохоръ?—спросилъ Мирошевъ, когда Кондратьичъ вошелъ въ столовую.—Тебя нигдѣ не могли найти.

— Я былъ, сударь, въ городѣ; надобно было кой-что купить.

— Что ты такъ долго тамъ былъ?

— Да повстрѣчался, батюшка, съ знакомымъ приказнымъ, копіистомъ уѣзднаго суда, вы его изволите знать,— Семень Панфутьичъ Вихляевъ.

— А, знаю,—пьяница

— Да, сударь, выпить любить, а дѣло свое разумѣетъ. Онъ намекнулъ мнѣ что то неладное, а толкомъ сказать не хотѣлъ, такъ, дѣлать нечего, пришлось попотчевать.

— Чтожъ онъ тебѣ сказалъ?

— Да что, сударь: сосѣдшка то нашъ, Панкратій Лукичъ Курочкинъ, подаль на васъ челобитную.

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, вотъ ужъ третій день. Говорять, настрочилъ такую просьбу, что и подъячье то всѣ ахнули.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Да чего же онъ хочетъ?

— Мало ли чего, сударь!.. Хочетъ отрѣзать у насъ пахотную землю по самыя огороды, отнять поемные луга по Хопру, да взыскать за пожилое.

— Возможно ли?.. Ну, боится ли онъ Бога?

— Видно, что нѣтъ, сударь. Да дѣло не о томъ: надобно скорѣ съѣздить въ Саратовъ. Если я выправлю тамъ копіи съ документовъ, которые у насъ сгорѣли, такъ Курочкинъ не много возьметъ.

— Въ самомъ дѣлѣ; отправляйся сегодня, Прохоръ — мѣшкать не надобно

— Чего мѣшкать, батюшка! Мы и такъ мѣшкали довольно.

— А что?

— Да такъ-съ! Не поздно ли хватились!

— Почему же поздно? Да если и черезъ мѣсяць мы представимъ документы, такъ это не бѣда.

— Да, сударь, если представимъ; а коли они въ архивѣ то не найдутся?

— Какъ это можно!

— И я то же думалъ; да какъ Пафнутычъ мнѣ порас-толковалъ, какія у нихъ дѣла дѣлаются, такъ меня морозъ по кожѣ подралъ. Эти подъячье не приведи Господи, что за народъ такой. Да любой изъ нихъ за деньги на все пойдетъ: отца родного заложить и продать.

— И, что ты, Прохоръ! Какъ будто бы между ними нѣтъ ни одного честнаго человѣка!

— Да ужь у нихъ вѣра такая, сударь: по ихнему это вовсе не грѣшно. Ну, да что говорить объ этомъ,—Богъ милостивъ!.. А, можетъ статься, и Пафнутычъ хотѣлъ меня застращать, чтобъ я съ испугу то поставилъ ему другой полуштофикъ,—отъ него станется!.. Ну, сударь, да еще же я видѣлъ въ городѣ Владиміра Ивановича и батюшку его.

— У кого они тамъ?

— Да, я думаю, ни у кого. Я видѣлъ ихъ на почтовомъ дворѣ.

— Что такъ? Развѣ они куда-нибудь ѣдутъ?

— Иванъ Никифоровичъ поѣдетъ еще на будущей недѣлѣ, а Владиміръ Ивановичъ при мнѣ покатилъ по столбовой, такъ что и Господи!

Варенька поблѣднѣла какъ смерть.

— Куда-жъ онъ поѣхалъ? — спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Въ Воронежъ, сударь.

— Надолго ли? — подхватила съ живостію Марья Дмитриевна.

— Говорять, на всю зиму.

Глухой стонъ вырвался изъ груди Вареньки, глаза ея сомкнулись, и она упала безъ чувствъ на грудь своей матери.

## XXI,

КОТОРУЮ МЫ НЕ СОВѢТУЕМЪ ПРОПУСКАТЬ НАШИМЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ, НЕСМОТРА НА ТО, ЧТО ОНА, ВѢРОЯТНО, ПОКАЖЕТСЯ ИМЪ СКУЧНѢЕ ДРУГИХЪ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я принялся рассказывать всякую всячину моимъ любезнымъ соотечественникамъ, то есть писать русскія были, романы и повѣсти,—я старался всегда

избѣгать длинныхъ разсказовъ, которые всѣ, начиная съ Тераменова разсказа, чрезвычайно скучны и утомительны. Мѣстоименіе «я» почти всегда надоедаетъ читателямъ, а во всякомъ разсказѣ, если я говорю и не о себѣ, то все-таки говорю отъ своего имени, слѣдовательно, очень похожу на драматическаго писателя, который, вмѣсто того, чтобъ прятаться за кулисы, выходитъ на сцену и начинаетъ самъ разговаривать съ публикою. Представьте же себѣ, какъ долженъ онъ говорить и складно и умно, чтобъ не надоесть зрителямъ, которые сѣхались слушать вовсе не его!.. Увѣряю васъ, что это весьма затруднительное положеніе,—и въ этомъ то непріятномъ положеніи я теперь нахожусь. Я приучилъ васъ къ разговорамъ, а теперь долженъ снова *разсказывать*. Разумѣется, мое вступленіе, въ которомъ такъ много разсказовъ, вы прочли по необходимости, какъ читаете программу билета или афишу, для того, чтобъ познакомиться съ главными лицами представляемой пьесы; потомъ началось дѣйствіе, интересъ сталъ понемногу возрастать, и я вдругъ явлюсь къ вамъ опять съ афишею!.. А дѣлать нечего: постараюсь, по крайней мѣрѣ, чтобъ она не походила на бенефисную, то есть была бы какъ можно короче.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ послѣ отъѣзда Владиміра. Отецъ его также уѣхалъ въ Воронежъ и увезъ съ собою Андрея Ѧомича Зарубкина, чтобъ замѣнить имъ, хотя на время, своего шута Аеоньку, съ которымъ случилось несчастіе, постигшее нѣкогда сына Дедалова, знаменитаго Икара: дураку Аеонькѣ кто то сказалъ, что если онъ повяжетъ себѣ два гусиныхъ крыла, то будетъ летать по воздуху. Дуракъ повѣрилъ, взлѣзъ на кровлю, прыгнулъ внизъ и переломилъ себѣ ногу. Агриппина Львовна Вертлюгина во все это время не была ни разу у Мирошевыхъ. Вслѣдствіе известной вамъ причины, у нея разлилась желчь, и хотя она успѣла ее нѣсколько успокоить, также известнымъ вамъ образомъ, но, несмотря на это, лицо у нея сдѣлалось лимоннаго цвѣта, и она должна была просидѣть почти два мѣсяца дома. Варенька не могла навѣстить ее, потому что сама занемогла очень опасно. Ее такъ поразили внезапный отъѣздъ Владиміра и намѣреніе отца его прожить всю зиму въ Воронежѣ, что она слегла въ постель. Вы можете себѣ представить, въ какомъ положеніи были бѣдные Мирошевы, когда городской лѣкарь, Адамъ Ѧо-

мичъ Думкопфъ, объявилъ имъ, что у нея жестокая простудная горячка. Хотя Мирошевы, для которыхъ любовь дочери не могла уже быть тайною, догадывались, что причиною ея болѣзни была вовсе не простуда; но какъ осмѣлиться противорѣчить единственному доктору во всемъ уѣздѣ, и при томъ нѣмцу?.. Тяжелое было тогда время для всѣхъ русскихъ больныхъ, по крайней мѣрѣ, для тѣхъ, которые хотѣли лѣчиться. Я помню еще время, когда русскій медикъ былъ въ диковинку, и почти всѣ доктора, а особливо по губерніямъ, были иностранцы. Это бы еще не бѣда: для больного національность и патриотизм дѣло постороннее; кто бы его ни лѣчилъ—все равно, лишь только бы вылѣчилъ. Но вотъ что было худо: по русской же пословицѣ: «на безлюдьи и Эома дворянинъ», каждый прїѣзжій изъ Германіи цырюльникъ называлъ себя врачомъ, и учился у насъ въ Россіи *практически* своему искусству, то есть набивалъ себѣ руку, залѣчивая до смерти и встрѣчнаго и поперечнаго. Теперь, благодаря Бога, мы завелись своими докторами, а иностранный медикъ, прежде чѣмъ получить право лѣчить нашихъ русскихъ больныхъ, долженъ доказать передъ медицинскимъ факультетомъ, что онъ умѣетъ это дѣлать по всѣмъ правиламъ науки. Конечно, и въ старину бывали исключения, и тогда, случалось, прїѣзжали въ Россію искусные иностранные врачи, но Адамъ Эомичъ вовсе не принадлежалъ къ ихъ числу. Когда Мирошевы его позвали, онъ началъ съ того, что пустилъ кровь Варенькѣ; потомъ сталъ лѣчить ее отъ воспаления. Къ счастью, господина лѣкаря потребовали для чего то въ губернской городъ; онъ пробылъ тамъ около двухъ мѣсяцевъ, и Варенька, къ концу шестой недѣли, стала понемногу оправляться.

Кондратъичъ съѣздилъ въ Саратовъ, истратилъ довольно денегъ и воротился съ пустыми руками: бумаги, касающіяся до земель, купленныхъ прежними владѣльцами Хопровки, не нашлись въ архивѣ; только и Пафнутьичъ ошибся въ своихъ догадкахъ: ихъ не мыши скушалъ, а, по наведенной справкѣ, оказалось, что лѣтъ двадцать тому назадъ, по случаю близкаго пожара, во время переноски дѣлъ изъ архива въ ближайшее безопасное мѣсто, въ числѣ утраченныхъ бумагъ, вѣроятно затеряны и вышерѣченные документы. «Если только»,—сказано въ заключеніе,—«таковы были, какъ то показываетъ, можетъ быть, облыжно,

вышеупомянутый Прохоръ Кондратьевъ, повѣренный отставного поручика, Кузьмы Петрова сына Мирошева».

Межъ тѣмъ, Панкратій Лукичъ не дремалъ; Мирошевъ также не жалѣлъ денегъ; мелкіе чиновники уѣзднаго суда и секретарь порядкомъ отъ него поживились; но, къ крайнему его удивленію, никто изъ присутствующихъ не хотѣлъ взять отъ него никакого подарка. Добрый Кузьма Петровичъ не могъ довольно нахвалиться безкорыстіемъ этихъ почтенныхъ чиновниковъ, а Прохоръ Кондратичъ покачивалъ головою.

— Эхъ, сударь, — говорилъ онъ, — видно, дѣло то наше идетъ плохо, когда намъ и съ задняго крыльца нѣтъ хода къ судьямъ.

— Тѣмъ лучше, Прохоръ: когда судья не беретъ, такъ судить по совѣсти.

— Да вѣдь судятся, батюшка, всегда двое.

— Такъ чтожь?

— А то, сударь, что, взявши съ одного, съ другого не берутъ. Этакъ и судьи то не будутъ знать, на чью руку потянуть.

— Такъ ты думаешь, что Курочкинъ...

— А вы думаете, что нѣтъ?.. Спросите-ка у Пафнутьича!

— Пафнутьичъ вретъ!... Если-бъ они были взяточники, такъ стали бы брать съ обоихъ. Вѣдь секретарь беретъ же съ насъ безъ заарбнїя совѣсти, хотя и Курочкинъ подарилъ ему лошадь.

— Секретарь дѣло другое, Кузьма Петровичъ. Ему ловко съ обоихъ шкуру драть: вѣдь онъ не судья. Если рѣшеніе будетъ въ нашу пользу, секретарь скажетъ: «я дѣльце то повернулъ». А коли осудятъ насъ, такъ онъ же, мошенникъ, скажетъ: «Всемѣрно, благодѣтель, старался, да вѣдь я не присутствующій: выше лба уши не растутъ». А судьямъ какъ можно?.. Взялъ, такъ подавай голосъ въ нашу пользу. Такъ изъ этого и выходитъ, батюшка, что Курочкинъ то успѣлъ прежде забѣжать. Карманъ то у него потолще вашего. Мы головку сахару, а онъ три; мы посулимъ рубликовъ двадцать пять, а онъ гольемъ высыплетъ полсотни! Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, что Богъ дастъ въ Саратовѣ, а здѣсь намъ его не перетягать!

Кондратичъ отгадалъ: въ уѣздномъ судѣ рѣшили тяжбу въ пользу Панкратія Лукича Курочкина. Мирошевъ взялъ

на апелляцію, и дѣло перешло въ Саратовскую гражданскую палату. Кузьма Петровичъ не хотѣлъ оставить больной дочери, и послалъ въ Саратовъ Прохора. Само по себѣ разумѣется, что подъячїе и чиновники высшаго присутственнаго мѣста изъ одной амбиціи не помирятся на какой-нибудь головкѣ сахара или двадцатипяти цѣлковыхъ. Въ нѣсколько недѣль Прохоръ истратилъ рублей двѣсти, то есть почти четвертую часть тѣхъ денегъ, которыя Мирошевы скопили на приданое Дуняшѣ. Дѣло подвигалось очень медленно: пошли справки, выправки; межъ тѣмъ наступила зима. Секретарю гражданской палаты понадобилась новая шуба; Прохоръ явился къ нему съ енотовой, а Курочкинъ принесъ медвѣжью. Секретарь взялъ обѣ, — разумѣется не въ одно время. Прохору онъ надавалъ обѣщаній, а Курочкину шепнулъ что то на ухо. На другой день Кондратычъ встрѣтился въ рядахъ съ Курочкинымъ; Панкратій Лукичъ сторговалъ при немъ и купилъ серебряную миску и два соусника. Это было наканувѣ Филишова дня. Прохора морозъ подралъ по кожѣ, когда онъ вспомнилъ, что предсѣдателя палаты называютъ Филишпомъ Аггвичемъ. «Плохо дѣло! — подумалъ онъ. — Вѣдь въ мискѣ то и соусникахъ будетъ фунтовъ пятнадцать. Нѣтъ, не перетянешь!» Однакоже онъ все-таки не терялъ надежды, которую поддерживали секретарь и одинъ изъ присутствующихъ; первый потому, что находилъ въ этомъ свою выгоду; а второй потому, что былъ честный человѣкъ. Несмотря на всѣ происки Курочкина и увѣщанія предсѣдателя, который напоминалъ ему о знатномъ санѣ челобитчика, — онъ стоялъ въ томъ, что искъ графскаго повѣреннаго не имѣетъ никакого основанія, и что Мирошевъ, хотя не можетъ представить документовъ, но имѣетъ полное право владѣть землею, которую у него оспариваютъ, по праву давности, и потому, что соперникъ его не представилъ также никакихъ законныхъ актовъ, доказывающихъ, что спорная земля принадлежала когда-нибудь къ дачамъ села Вознесенскаго. Къ несчастію, мнѣніе этого присутствующаго, который всегда приходилъ въ палату пѣшкомъ, не очень уважалось другими судьями, тѣмъ болѣе, что онъ слылъ человѣкомъ вздорнымъ, безпокойнымъ и даже глухимъ, что оправдалось совершенно впоследствии. Представьте себѣ: онъ прослужилъ двадцать лѣтъ въ гражданской палатѣ совѣтникомъ, а когда умеръ, такъ его не на что было хоронить! «Ну, вотъ», — сказалъ пред-

сѣдатель, возвращаясь съ его похоронъ, — «не говорил ли я всегда, что покойникъ пустой человекъ: какъ жилъ, такъ и умеръ!»

Мирошевъ получалъ отъ Прохора довольно часто письма, которыхъ содержаніе не очень было утѣшительно: онъ безпрестанно требовалъ денегъ, а межъ тѣмъ вовсе не скрывалъ, что дѣла идутъ плохо. Во всякое другое время Мирошевъ поскакалъ бы самъ въ Саратовъ, но тогда ему было не до того: болѣзнь дочери такъ его перепугала, что онъ ни за какія земныя блага не рѣшился бы покинуть ее на однѣ сутки. Я ужъ сказалъ вамъ, что Варенька стала понемногу оправляться; боясь снова огорчить отца и мать, которые начали оживать вмѣстѣ съ нею, она старалась всячески скрывать отъ нихъ настоящую причину своей болѣзни. Мирошевъ видѣлъ ясно, что всѣ прежнія опасенія его были справедливы, — и молчалъ, чтобъ не увеличить бесполезнымъ упрекомъ горестъ бѣдной Марьи Дмитріевны; онъ даже увѣрялъ ее, что болѣзнь дочери произошла, дѣйствительно, отъ простуды. Въ этомъ ему очень помогла Варенька, которая сказала самому доктору, что чувствовала себя не хорошо за два дня до своего обморока. Она никогда не говорила о Владимірѣ ни съ отцомъ, ни съ матерью, но за то, когда оставалась вдвоемъ съ Дуняшею, только и рѣчи было, что о немъ. Сначала все, что ня говорила Дуняша, чтобъ оправдать Владиміра, оставалось бесполезнымъ, — Варенька повторяла всегда одно и то же: «Онъ уѣхалъ, не простясь со мною!» Наконецъ, Дуняша узнала стороною, то есть отъ Аѳимьи, кормилицы Владиміра, о всѣхъ подробностяхъ это внезапнаго отъѣзда.

— Знаете ли что? — сказала она Варенькѣ, улучивъ первую удобную минуту. — Вѣдь Владиміръ то Ивановичъ не самъ уѣхалъ: его увезли.

— Какъ увезли? — спросила съ удивленіемъ Варенька.

— Да такъ же! — Батюшка приказалъ запречь лошадей, да и отвезъ его въ городъ, а оттуда при себѣ отправилъ въ Воронежъ; а онъ то самъ и въ головѣ не держалъ вѣхать.

— Чтожь это значить?

— Видно, кто-нибудь старику сказалъ, что Владиміръ Ивановичъ въ васъ влюбленъ. Говорять, въ тотъ самый день, какъ онъ уѣхалъ, батюшка съ нимъ очень шумѣлъ; Аѳимьинъ племянникъ, Федька, изъ передней слышалъ, какъ



Иванъ Никифоровичъ поминалъ васъ и однажды закричалъ такимъ сграшнымъ голосомъ: «Мирошевы, что Мирошевы!»

— Что ты говоришь?. Такъ онъ ужъ знаетъ?

— Видно, что такъ

— Ахъ, Боже мой!

— Ну, вотъ, заплачьте объ этомъ!.. Какія вы, право, чудныя! Вѣдь надобно же было когда-нибудь узнать отъ, что его сынъ хочетъ на васъ жениться. А что это не по сердцу будетъ батюшкѣ, такъ вы знали напередъ. Самъ Владиміръ Ивановичъ вамъ объ этомъ говорилъ.

— Такъ его насильно увезли въ Воронежъ?

— Ну, разумѣется! Теперь въ Воронежъ, а тамъ, можетъ статья, и въ Москву ушлютъ. Нечего дѣлать, придется вамъ потерпѣть. Видишь, батюшка то у него медвѣдь какой!

— Бѣдный Владиміръ!

— И, барышня!.. Отцовскій гнѣвъ ничего: посердится, посердится, да перестанетъ; какъ увидитъ, что его сынъ безъ васъ жить не можетъ, такъ сжалится. Вѣдь онъ у него одинъ. Чудно только, что Владиміръ Ивановичъ къ вамъ ничего не напишетъ.

— Что ты, Дуняша!.. Да неужели ты думаешь, что батюшка позволить мнѣ съ нимъ переписываться?

Дуняша улыбулась.

— Я ужъ объ этомъ и прежде думала,—сказала она,— и мы условились съ Владиміромъ Ивановичемъ, что когда онъ отсюда уѣдетъ, то будетъ писать ко мнѣ; а Оома, который теперь вмѣсто Прохора Кондратьича вѣдитъ въ городъ, обѣщался справляться каждый разъ на почтѣ и отдавать мнѣ письма потихоньку.

— Ахъ, Дуня, что ты сдѣлала!.. Вѣдь о тебѣ могутъ и Богъ знаетъ что подумать!

— А пожалуй себѣ,—думай, что хочешь.

— Какъ ты неосторожна, мой другъ!.. И ты во все это время не получала ни одного письма?

— То то и удивительно, что ни одного.

— Ни одного!.. А вотъ ужъ скоро два мѣсяца...

— Знаете ли что? Не перехватываютъ ли его письма?

Чай, Иванъ Никифоровичъ такъ за нимъ и сторожить.

— А что ты думаешь, и въ самомъ дѣлѣ!

— Да ужъ, вѣрно, такъ.

Если этотъ разговоръ не совсѣмъ успокоилъ Вареньку,

то, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ ей сносное разлуку съ Владиміромъ. Отрада всѣхъ несчастныхъ—надежда, эта обманчивая и утѣшительная тѣнь, за которой мы всѣ гоняемся въ нашей жизни, и которая доведетъ потихоньку каждого до его могилы,—снова воскресла въ душѣ Вареньки. Если Владиміръ, точно, ее любитъ,—а она начинала уже сомнѣваться въ этомъ,—то рано или поздно, а они будутъ принадлежать другъ другу, не здѣсь, такъ въ будущемъ мірѣ: ее не пугало здѣшнее временное горе, но если Владиміръ перестанетъ любить ее, если ей нельзя будетъ назвать его своимъ, даже и тамъ, гдѣ все вѣчно, гдѣ нѣтъ конца ни блаженству, ни горести; если другая... о, объ этомъ она не могла и подумать безъ ужаса! Бѣдная дѣвушка!... Ослѣпленная своею страстью, она забыла, что небеса чужды всѣхъ земныхъ условій, что вѣчная, святая любовь, эта жизни всѣхъ праведныхъ, этотъ воздухъ, которымъ дышать въ горнихъ селеніяхъ, не имѣетъ ничего общаго съ нашею земною, тревожною страстію, въ которой каждая минута блаженства покупается годами страданій!.. И какое можетъ быть между ними сходство? Тамъ мы любимъ Бога и въ Немъ все Его созданіе, всю Его славу, Его величіе, премудрость и безпредѣльное милосердіе; а здѣсь мы любимъ человѣка и въ немъ всѣ его недостатки, слабости, пороки, а чаще всего,—не прогнѣвайтесь,—самихъ себя.

## XXII.

Новыя козны Агриппины Львовны Вертлюгиной. Письмо  
Андрея Ѳомича Зарубкина.

Однажды, часу въ одиннадцатомъ утра, Варенька, которая, хотя не вышла еще изъ своей комнаты, но чувствовала уже себя несравненно лучше прежняго, вздумала заняться рисованіемъ; подлѣ нея сидѣла за пальцами Дунаша; она, противъ обыкновенія, была что то невесела, посматривала печально на окна, и задумчивый взглядъ ея съ грустью останавливался на небольшой липовой рощицѣ, которая росла по ту сторону Хопра.

— Вонъ и послѣднее деревцо пожелтѣло! — сказала она, наконецъ.—Давно ли оно было такое свѣженькое, зеленое.

— Весной опять такое же будеть,—прервала Варенька, продолжая рисовать головку, разумеется, вовсе не похожую на лицо Сократа.

— Да, если не убьетъ его морозомъ. Помните, прошлаго года сколько липъ пропало?... Правда, и морозы то были не людскіе. Куда лѣто то скоро проходить,— и не увидишь! Вотъ, того и глади, выпадетъ снѣгъ, пойдутъ вьюги, метели, нанесетъ сугробовъ, все прикроется бѣлымъ саваномъ, и Хопра то съ полемъ не распознаешь. Охъ ужъ эта зима! Какъ подумаешь, такъ грустно становится! И зачѣмъ она есть на свѣтѣ? Барышня, какъ вы думаете, ужъ вѣрно, въ раю то зимы нѣтъ?

— Я читала, что и земли есть, въ которыхъ нѣтъ зимы.

— Гдѣ-жъ это, Варвара Кузьминична?

— Далекое, мой другъ, за моремъ.

— Поѣхала бы я туда.

— Одна?

— Какъ это можно! Нѣтъ, съ вами, съ Марьей Дмитріевной, съ Кузьмой Петровичемъ... и съ намъ.

— Ахъ, Дуня, Дуня! Что то онъ теперъ дѣлаетъ? Здоровъ ли онъ? Помнить ли меня?

— Да какъ же онъ можетъ васъ забыть, помилуйте! Вѣдь вы съ нимъ почти обручены. Помните ли, что онъ говорилъ вамъ, когда вы помѣнялись кольцами?

— О, я никогда этого не забуду!... Онъ говорилъ мнѣ, что насъ могутъ разлучить, но заставить его любить другую никто не можетъ; что если отецъ не позволитъ ему жениться на мнѣ, то онъ никогда не женится и умретъ моимъ суженымъ.

— Ну, вотъ видите! Чего-жъ вы боитесь?

— Какъ чего, Дуняша? Ну, если отецъ найдетъ для него невѣсту, будетъ требовать, чтобы онъ на ней женился? Если онъ, наконецъ, поневолѣ долженъ будетъ согласиться...

— Поневолѣ!... Что вы барышня!... Да вѣдь насильно то никого не вѣнчаютъ.

— Но развѣ легко противиться волѣ отца? Подумай только, что его будутъ просить, убѣждать всѣ родные, знакомые — весь міръ!... Вѣдь за меня никто не заступится, Дуняша!

— Все это ничего: если Владиміръ Ивановичъ васъ лю-

бить, онъ ни на кого не посмотритъ. Помните, вы читали въ этой книжкѣ, что называется «Любовный вертоградъ», ужь чего ни дѣлали съ бѣднымъ Камберомъ, а онъ все-таки не измѣнилъ своей Арисенѣ.

— Да вѣдь это все выдумка, Дуняша.

— И, что вы, какъ это можно: стануть печатать выдумки!... Да вотъ еще въ той книжкѣ... какъ, бишь, ее?... Ахъ, Боже мой!... Исторія о какомъ то принцѣ Ракалмуцкомъ... ну, вотъ что вы брали прошлаго года у Агриппины Львовны... Э!... Пойдите-ка... Ну, такъ и есть! Легка на помятѣ!...

— А что? Развѣ кто прѣхалъ?

— Вертлюгина.

— Агриппина Львовна?

— Да... Знать, выздоровѣла. Вонъ вылѣзаетъ изъ фаэтона... Ну, видно же ей не легче было вашего!... Ахъ, ба-тюшки, какая желтая!

Черезъ нѣсколько минутъ послышались шаги по лѣстницѣ, и Вертлюгина вбѣжала въ комнату.

— Здравствуй, шерочка!—вскричала она, бросившись на шею къ Варенкѣ.—Ну что, радость, какова ты?

— Слава Богу, теперь получше... Какъ я долго васъ не видала!

— Я ужасть была больна, мой ангелъ! Совсѣмъ было отретировалась на томъ свѣтъ. Какъ подумаешь, душечка, какая между нами симпатія: мы занемогли съ тобою въ одинъ день.

— Что вашъ Илья Сергѣевичъ здоровъ?

— Мой папаша? Какъ же!... Онъ здѣсь. Кузьмы Петровича нѣтъ дома, такъ онъ теперь сидитъ у твоей маменьки, а я лишь только съ нею поцѣловалась и прибѣжала къ тебѣ. А, Дуняша!... Здравствуй, милочка! Я второпяхъ позабыла тебѣ сказать, что Марья Дмитріевна тебя зачѣмъ то спрашиваетъ.

Дуняша вышла изъ коннаты.

— Ну что, моя прелесть? — продолжала Вертлюгина, садясь подлѣ Варенки.— Что ты дѣлаешь, чѣмъ занимаешься?.. А ко мнѣ прислали изъ Москвы безпримѣрно забавную книжку: «Жизнь и приключенія малаго Помпе, постельной собачки». Какъ въ этой повѣсти ошпечены всѣ люди большого тона, чудо!... Я тебѣ пришлю ее завтра... Бѣдненькая, тебѣ должно быть очень

скучно: никакого занятія... О, нѣтъ, да ты, кажется, рисуешь?

— Такъ,—сегодня только въ первый разъ...

— Да славно!... Какая хорошенькая головка!... Постойка, мой свѣтъ!... Что это?... Да это никакъ портретъ?... Ну, такъ и есть!... И какъ похожъ!...

Варенька покраснѣла.

— Ай, какое ребячество!—прошептала Вертлюгина, качая головой.— Ты все еще его помнишь?... Ахъ, радость, какой ты посадила себѣ въ голову вадорь!... Да неужели ты думаешь, что этотъ повѣса Кирсановъ тебя любить?

Варенька вадрогнула; ей показалось, какъ будто бы около ея сердца обвилась холодная змѣя.

— Нѣтъ, душечка,—продолжала Вертлюгина,— ты вовсе не знаешь этихъ негодныхъ мужчинъ. Фуй, какіе они скверные.

— Неужели всѣ?—проговорила трепещущимъ голосомъ Варенька.

— Всѣ, всѣ, безъ исключенія! Даже мой папаша, и онъ сущій негодяй. Они ужъ такъ сотворены, мой ангелъ!... Охъ, эти мужчины! Завести бѣдную дѣвушку, обмануть, одурачить ее, это имъ ничего, ровно ничего! Я знаю это по опыту.

— Но неужели вы думаете, что Владиміръ Ивановичъ?...

— Такое же, мой другъ, чудовище, какъ и всѣ. Вотъ то то и есть, шерочка, сама виновата: еслибъ ты со мной не секретничала, такъ я могла бы тебя предупредить... О, я знаю хорошо этого Кирсанова!... Онъ, конечно, прекрасный мужчина, очень раазвязенъ, мастеръ отпускать дусеры; но за то какой предатель!...

— Что вы говорите?

— Да, да! Онъ готовъ клясться въ вѣчной любви каждой женщинѣ.

— Каждой женщинѣ!—прервала съ жаромъ Варенька.— Нѣтъ, Агриппина Львовна, этого быть не можетъ.

— Увѣряю тебя! И чему ты дивишься? Это вещь самая обыкновенная. Мужчина бонтонъ обязанъ куртизанить всякой женщинѣ,—это ужъ такъ принято въ свѣтъ. Но вотъ что не хорошо: Кирсановъ готовъ обѣщать каждой дѣвушкѣ, что онъ на ней женится; а какъ вскружить ей голову, такъ и прочь, и всегда на своего батюшку сва-

лить всю вину: «не позволяет, да и только!»... Фу! какой гадкий!

— Извините, Агриппина Львовна, я не вѣрю этому: это клевета!

— Какая клевета! Да у него въ этомъ родѣ много авантюрокъ было. Вотъ, въ Москвѣ, онъ волочился за моею пріятельницей, молодою дѣвушкой, которая мѣсяца два была въ него влюблена какъ дура, и ужь послѣ, какъ разняла глаза и увидѣла, какой онъ обманщикъ, такъ пришла въ себя и отплатила ему равнодушіемъ. Я была у нея конфиданткою, и все знала. Онъ помѣнялся съ нею кольцами и при мнѣ говорилъ ей: «Насъ могутъ разлучить, но заставить меня любить другую женщину никто не можетъ».

— Какъ! — прервала Варенька, — онъ ей это говорилъ?

— Да, мой другъ! Мало ли что онъ говорилъ; онъ даже сказалъ ей, что если ему отецъ не позволитъ на ней жениться, то онъ не женится ни на комъ и умретъ ея суженымъ.

— Боже мой! — прошептала съ ужасомъ Варенька, устремивъ свой помертвѣлый взоръ на Вертлюгину, которая, какъ бездушный убійца, медленно и хладнокровно раскрывающій грудь своей жертвы, готовилась нанести ей смертельный ударъ.

— И знаешь ли, душечка, — продолжала она, — какъ открылись всѣ его обманы? У моей пріятельницы была кузина, также очень миленькая... Представь себѣ, этотъ негодный волокита, Кирсановъ, и ей говорилъ тѣ же самыя слова, да вѣдь точно тѣ же! И добро бы въ разное время, а то въ одинъ и тотъ же день, — моей пріятельницѣ по утру, а ея кузинѣ вечеромъ. Понимается, ее сначала это огорчило: она такъ же, какъ ты, радость, ужасалась, не вѣрила; а потомъ мы втроемъ очень этому смѣялись.

— И это по вашему смѣшно? — проговорила прерывающимся голосомъ Варенька.

— Да какъ же не смѣшно? Говорить одно и то же каждой женщинѣ! Можно бы, кажется, немножко варьировать!

— Нѣтъ, Агриппина Львовна, еслибъ я могла подумать, что Владиміръ Ивановичъ...

— А ты все еще не вѣришь?... Ахъ, шерочка, какая ты смѣшная!... Да знаешь ли, что онъ теперь дѣлаетъ въ Воронежѣ?

— А развѣ вы что-нибудь слышали?— вскричала Варенька.

— Я вчера получила письмо отъ Зарубкина: онъ живетъ у Ивана Никифоровича, и знаетъ все.

— Ну что, здоровъ ли онъ?... Ахъ, Бога ради, скажите, скажите скорѣй!...

— Душечка!... Какъ ты его любишь!

— Да говорите же!

— Ну да,— онъ здоровъ и, кажется, вовсе не скучаетъ.

— Слава Богу!

Вертлюгина поглядѣла съ удивленіемъ на Вареньку.

— Какая ты чудная, мой ангелъ!—сказала она.— Если Кирсановъ здоровъ и веселъ, такъ вовсе о тебѣ не тоскуетъ, а ты этому радуешься! Да я бы на твоёмъ мѣстѣ ужасно разсердилась.

— Онъ здоровъ!—повторила Варенька.—Слава Богу!

— О, на этотъ счетъ я могу тебя совершенно успокоить: больному человѣку и въ голову бы не пришло то, что онъ затѣваетъ. Да вотъ всего лучше,— письмо Зарубкина со мною, я тебѣ его прочту.

Агрипина Львовна вытащила изъ кармана, — тогда не знали еще ридикюлей,— сложенный вчетверо листокъ синей бумаги, развернула его и начала читать:

«Ваше высокоблагородіе, матушка, сударыня и благодѣтельница, Агрипина Львовна! Во-первыхъ, доношу вамъ, что, по отпуску сего письма, я остаюсь живъ и здоровъ, а впредь уповаю на власть Божию. Здѣсь у насъ все слава Богу! Его высокородіе, Иванъ Никифоровичъ, находится въ вождѣльномъ здравіи; Владиміръ Ивановичъ также. Мы живемъ попрежнему въ домъ его превосходительства, Андрея Филипповича Залуцкаго; отличный человѣкъ, сударыня! Несмотря на свой генеральскій чинъ, онъ изволитъ меня жаловать и играетъ со мною часто въ шашки. Дочка у него такая красавица, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать! Старики то прочать ея за Владиміра Ивановича. Нечего сказать: прелюбезная парочка»...

Тутъ Вертлюгина остановилась и взглянула украдкой на Вареньку; она была блѣдна, но въ глазахъ ея не было

слезъ: всѣ черты лица ея выражали какое то безчувствіе, какую то мертвую одеревенѣлость, и только едва замѣтное судорожное движеніе посинѣлыхъ губъ изобличало жизнь въ этомъ блѣдномъ, безжизненномъ лицѣ. Съ полминуты наслаждалась Вертлюгина молча своимъ торжествомъ; ей удалось, наконецъ, попасть ножемъ прямо въ сердце своей соперницы; но этого было еще для нея мало: ей хотѣлось повернуть ножъ.

— Душечка,—сказала она,—полно, читать ли еще? Кажется, это тебя слишкомъ аффектируетъ.

— Читайте, читайте!—проговорила глухимъ голосомъ Варенька.

— Ну, если ты хочешь!... Впрочемъ, рано или поздно, а ты будешь это знать... Гдѣ-жъ я остановилась?... Поймай... да!... «Прелюбезная парочка. Еще-жъ вамъ доложу, что и Владиміръ Ивановичъ на ихъ руку тянетъ. Сначала онъ какъ будто бы дичился Екатерины Андреевны, а теперь совсѣмъ не то. Вчера они при мнѣ, на нѣмецкомъ что-ль или французскомъ языкѣ,—не знаю,—часа два сряду, съ большимъ пріятствомъ разговаривали, и какъ кончили, такъ Владиміръ Ивановичъ поцѣловалъ у нея ручку и сказалъ по-русски: «Теперь вы понимаете меня?» Она изволила отвѣчать: «Понимаю и уважаю». Онъ на это сказалъ ей что то вполголоса, кажется, также по-русски; мнѣ послышалось между словъ, что онъ ей говорилъ о мытѣ, а тамъ промодвилъ: «лави!»—да и поймалъ у нея опять руку и сталъ цѣловать очень любовно; а изъ этого, матушка, Агриппина Львовна, и выходитъ, что дѣло то сладится. По отпускѣ сего письма, надѣюсь лично засвидѣтельствовать вамъ мое высокопочитаніе. Не могу никакъ оставаться въ Воронежѣ; дуракъ Аеонька выздоровѣлъ; этотъ пострѣлъ пріѣхалъ къ своему барину, и мнѣ отъ него вовсе житья нѣтъ. Третьяго дня, шельма этакій, ухватилъ меня припекательными щипцами за носъ, да и началъ водить по всѣмъ комнатамъ,—срамъ да только! За симъ, пожелавъ вашему высокоблагородію... И прочее, и прочее... А вотъ еще приписка: «Сейчасъ узналъ я, матушка, Агриппина Львовна, отъ Гура Тихоныча, дворецкаго его превосходительства, что старики сегодня сговорились назначить помолвку на будущей недѣлѣ. Придется пообождать отъѣздомъ: при такой радости авось и нашему брату перепадетъ что-нибудь на орѣхи. Еще-жъ Гуръ Тихонычъ мнѣ сказывалъ»...



Громкія рыданія Вареньки прервали чтеніе письма. Какъ ни старалась бѣдная дѣвушка скрыть свои страданія отъ Агриппины Львовны, какъ ни боролась она съ горемъ, но горе одолѣло: она закрыла руками лицо и почти безъ чувствъ упала на свою постель. Не помню, гдѣ я читалъ про-какого то искуснаго доктора, который, изъ любви къ своей наукѣ, притаивался ночью за угломъ, бросался на проходящихъ, рѣзалъ ихъ ножомъ и потомъ являлся первый залѣчивать ихъ раны. Агриппина Львовна, точно такъ же, какъ этотъ любознательный врачъ, кинулась къ Варенькѣ и начала утѣшать ее.

— Фуй, душечка, какъ тебѣ не стыдно!—говорила она.— Да стоитъ ли этотъ мизерабельный Кирсановъ, чтобъ ты себя сокрушала? Вотъ забавно!... Онъ, можетъ, теперь веселится, говорить нѣжности своей невѣстѣ, а ты должна плакать!... Да это было бы ужасъ какъ глупо!

— Боже мой, Боже мой!—шептала Варенька рыдая,— зачѣмъ я не умерла прежде этого!

— И, шерочка, что ты!—продолжала Вертлюгина.— Да еслибъ мы отъ всякой мужской измѣны умирали, такъ ни одна бы женщина не дожидла и до пятнадцати лѣтъ Этимъ мерзкимъ мужчинамъ нельзя ни въ чѣмъ вѣрить. Не они насъ, а мы ихъ должны дурачить. Конечно, я понимаю: это обидно для твоего самолюбія... но вѣдь и ты, мой ангелъ... Ахъ, какъ ты темна въ свѣтѣ!... Ну, какъ ты рѣшилась повѣрить, что этотъ вертопрахъ, который можетъ сдѣлать блестящую партію, захочетъ жениться на тебѣ?... Ты безпримѣрно хороша, мила; но вѣдь въ свѣтѣ есть свои условія, приличія... Да полно же, Варечекъ, перестань!... Чу!... Слышишь? Кто то идетъ по лѣстницѣ... Это, кажется, твоя маманька...

Варенька вскочила съ постели, утерла свои слезы и встрѣтила съ улыбкою, но только не Марью Дмитриевну, а Дуняшу, которая вошла торопливо въ комнату.

— Васъ спрашиваетъ Сергѣй Ильичъ,— сказала она Агриппинѣ Львовнѣ.—Онъ изволить вѣхать.

Вертлюгина простилась съ Варенькой, которая, оставшись одна съ Дуняшей, кинулась къ ней на шею и залилась слезами.

— Ахъ, Боже мой!—вскричала Дуняша.—Что вы, барышня? Что съ вами?

— Онъ забылъ меня!—проговорила Варенька рыдая.

— Кто? Владиміръ Ивановичъ?  
— Да!... Онъ женится!...  
— Что вы говорите?... Да нѣтъ, не можетъ быть!  
— Сейчасъ Агриппина Львовна...  
— Такъ это она!... И вы вѣрите этой сплетницѣ?...  
— Она читала мнѣ письмо изъ Воронежа... Владиміръ Ивановичъ женится на Залуцкой.

— Письмо? Отъ кого?  
— Отъ Зарубкина.  
— Отъ этого пьяницы?... Не вѣрю, барышня, не вѣрю! Тутъ что-нибудь да есть. Это все штуки Агриппины Львовны. Вы всегда со мною спорили, а она точно ревнуетъ васъ къ Владиміру Ивановичу. Помните ли, въ роцѣ, когда эта ободранная кошка выскочила изъ-за куста?... Да я дамъ голову на отсѣченье, она шпионничала, подслушивала васъ. Вы вѣдь такія, Богъ съ вами, ничего не замѣтите; а я все видѣла. Бывало, лишь только вы начнете говорить съ Владиміромъ Ивановичемъ, она тутъ какъ тутъ съ ушкомъ. А зеленые то глаза у нея вотъ такъ и сверкаютъ. Этакая змѣя подколодная!... Только и слышишь: «радость моя, ангелъ мой, милашечка!»... Такъ въ душу и вьется, а сама норовитъ укусить!... Ну, можетъ быть, Иванъ Никифоровичъ и хочетъ женить своего сына на какойнибудь богатой невѣстѣ, да онъ то ни за что не женится. Нѣтъ, Варвара Кузьминична, не вѣрите этой кривлякѣ. Владиміръ Ивановичъ не промѣняетъ васъ ни на кого; онъ, точно, васъ любить.

Такъ утѣшала Дуняша свою барышню; но ударъ былъ нанесенъ. Бѣдная Варенька, изнуренная продолжительною болѣзнію, не могла вынести этого сильнаго потрясенія: она слегла опять въ постель. На бѣду, Адамъ Ѳомичъ Думкопфъ возвратился изъ губернскаго города и, по просьбѣ Мирошевыхъ, принялся опять лѣчить Вареньку,—разумѣется, ей стало хуже. Еслибъ г-нъ Думкопфъ былъ отличнымъ докторомъ, то, вѣроятно, догадался бы, что болѣзнь Вареньки нельзя было отыскать въ лѣчебникѣ; онъ понялъ бы, что молодая дѣвушка, которая худѣетъ безъ всякой видимой физической причины и, не жалуясь ни на какую боль, гаснетъ какъ догорающая лампада, должна страдать не тѣломъ, а душою; но Адамъ Ѳомичъ, какъ вамъ уже извѣстно, умѣлъ только отлично пускать кровь, и вѣроятно бы выпустилъ ее изъ Вареньки до послѣдней капли, еслибъ не

пришло ему въ голову, что у нея злая чахотка; а, къ счастью его больной, онъ не зналъ отъ чахотки никакого другого лѣкарства, кромѣ козьяго молока. Будь этотъ цырюльникъ немного поученѣ,—бѣда: Мироцевымъ пришлось бы непременно похоронить свою единственную дочь.

Здоровье Вареньки не поправилось; но, по крайней мѣрѣ, никто уже не мѣшалъ натурѣ бороться съ этою душевною болѣзнию, которая, впрочемъ, становилась съ каждымъ днемъ сильнѣе оттого, что Варенька хотѣла скрывать ее. Она была ужасно худа и блѣдна, но старалась всегда казаться веселою, разумѣется, при отцѣ и матери; когда они были съ нею вмѣстѣ, она шутила и улыбалась... Но чего ей это стоило? Улыбаться, когда тоска грызетъ наше сердце; казаться веселымъ, когда въ душѣ нашей смерть; глотать свои слезы, когда онѣ рвутся, чтобъ хлынуть рѣкою... о, это ужасно!... Эти слезы убиваютъ: онѣ капаютъ прямо на сердце.

### XXIII.

Какъ Прохоръ Кондратьичъ возвратился ни съ чѣмъ изъ Саратова. Отчаяніе Марьи Дмитриевны.

Давно уже свѣтлый Хоперь, занесенный глубокими сугробами, слился въ одну необозримую равнину со своими поемными дугами. Одѣтые бѣлою пеленою холмы, какъ могильные курганы, подымались среди полей, и голыя сосны, покрытыя махровымъ инеемъ, стояли какъ огромные кресты на этомъ обширномъ снѣговомъ кладбищѣ. Скучно жить въ деревнѣ зимою: эти несносные вечера, которымъ нѣтъ конца, эти дни, похожіе на сумерки, это блѣдное солнце, которое вовсе не грѣетъ, этотъ однообразный видъ мертвой природы— все наводитъ тоску на людей, даже счастливыхъ и довольныхъ своею судьбой. Какую же грусть должны были чувствовать бѣдные Мирошевы, когда, сидя подлѣ постели больной дочери и не смѣя повѣрять другъ другу своихъ ужасныхъ предчувствій, они молча слѣдили жаднымъ взоромъ каждое ея движеніе, прислушивались къ звуку ея рѣчей, оживали съ каждою веселою ея улыбкою и леденѣли при каждомъ невольномъ вздохѣ, который вырывался изъ груди ея. И эта томительная жизнь, эти непрерывные переходы отъ надежды къ отчаянію, эта душевная пытка,

ужаснѣйшая изъ всѣхъ пытокъ земныхъ, продолжалась непрерывно не день, не два, а цѣлые мѣсяцы. Бѣдные, бѣдные Мирошевы! И постороннему грустно было смотрѣть на этотъ увядающій весенній цвѣтокъ; каково-же было имъ видѣть, какъ приближается каждый день къ своей безвременной могилѣ, какъ умираетъ понемногу единственное ихъ дитя, ихъ ангелъ во плоти, ихъ радость, любовь, вся ихъ надежда?... Нѣтъ, страшно и подумать!

Однажды вечеромъ Кузьма Петровичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и читалъ Житія Святыхъ, а Марья Дмитриевна была наверху у дочери. Двери потихоньку отворились, и вошелъ Прохоръ Кондратычъ въ дорожномъ платьѣ.

— А, здравствуй, Прохоръ!—сказалъ Мирошевъ, сложивъ книгу.—Когда ты пріѣхалъ?

— Сію минуточку, батюшка,—отвѣчалъ старикъ.—Насилу дотащился. Дорога, помилуй, Господи,—ухабъ на ухабъ; а верстахъ въ десяти отсюда такіе нырки, что я лошадей то вовсе поморилъ: все на вынось, да на вынось!

— Ну, что дѣло, Прохоръ?

— Что, сударь, плохо! Въ гражданской палатѣ рѣшено, да только не въ нашу пользу.

— Я ожидалъ это!—прошепталъ Мирошевъ.

— А денегъ то, батюшка, разсорили сколько! Эхъ, подумаешь, что за народъ эти подъячіе: ни стыда, ни совѣсти!

— Напрасно мы тягались, Прохоръ!

— Что вы, батюшка! Такъ и дать себя грабить этому разбойнику Курочкину?

— Да что толку то? Деньги мы истратили, а землю все-таки у насъ отнимутъ.

— Ну, это еще, сударь, Богъ знаетъ! Я взялъ на апелляцію.

— На апелляцію? Куда?

— Извѣстно куда: въ сенатъ

— Въ Москву?

— Да, сударь, въ Москву; только ужъ вамъ надобно самимъ туда ѣхать; вѣдь это ужъ не гражданская палата, батюшка: ужъ тамъ повѣтчика въ харчевню не позовешь! Куда!... Тамъ и послѣдній копейка на нашего брата, холопа, взглянуть не захочетъ. Вѣдь сенатскіе то, сударь, народъ все чиновный,—свысока бьютъ! Съ ними и вы, батюшка, Кузьма Петровичъ, не больно разговоритесь. Спро-

сите-ка у Вертлюгиной о ея двоюродномъ братцѣ Припекинѣ,—фу ты, батюшки, баринъ какой! А вѣдь только что секретарь. Чтожъ присутствующіе то, сударь? И подумать страшно! Все генералитеть, въ кавалеріяхъ,—знать!

— Такъ я долженъ самъ ѣхать въ Москву?

— Да, дѣлать нечего, сударь. Разсудите сами: пристало ли мнѣ соваться туда съ моею холопскою рожей? Да меня, этакого вахлака, и на дворъ то никто не пустить.

— Нѣтъ, Прохоръ, если Богъ не помилуетъ насъ, и Варенькѣ не будетъ лучше, такъ я ни за что не поѣду отсюда.

— Да, батюшка, да,—мнѣ сказывали. Что это барышня то у насъ такъ захлѣбла?

Мирошевъ закрылъ руками лицо и горько заплакалъ.

— Что это вы, Кузьма Петровичъ?—вскричалъ Прохоръ.—Христось съ вами! Да что вы этакъ сокрушаетесь? Варвара Кузминична человекъ молодой; ну, похвораетъ, похвораетъ, а тамъ, Богъ дастъ, лучше! И, батюшка, батюшка: Господь милостивъ, не до конца же Онъ на насъ прогнѣвался. Будетъ съ насъ и одного горя. Что, въ самомъ дѣлѣ: и землю отнимаютъ, и денегъ разсорили бездну...

— Полно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Что земля, что деньги! Богъ съ ними, лишь только-бъ Варенька то наша...

— Конечно, сударь, деньги дѣло наживное; не даромъ говорится: «то не бѣда, что на деньгу пошла»; однакожъ, батюшка, коли землю то у насъ всю отхватятъ...

— Такъ чтожъ? Будемъ бѣднѣе—вотъ и всѣ! А если... избави, Господи!...

— Полноте, батюшка, Кузьма Петровичъ! Что вы?... Такіе ли больные встаютъ!

Тутъ вошла въ комнату Марья Дмитріевна. Опухшіе отъ слезъ глаза ея выражали такую безутѣшную горестъ, что Кузьма Петровичъ, взглянувъ на нее, поблѣднѣлъ и спросилъ испуганнымъ голосомъ:

— Что ты, мой другъ? Что Варенька?

Мирошева, не отвѣчая ни слова, бросилась на кресла и громко зарыдала.

— Да что? Не мучь меня, скажи скорѣй!—вскричалъ Кузьма Петровичъ.

— Ей хуже!—прошептала, рыдая, бѣдная Марья Дмитріевна.

— Хуже!—повторилъ Кузьма Петровичъ, и вся кровь застыла въ его жилахъ.

— Не вставать ей, мой другъ!— продолжала Мирошева съ отчаяніемъ.— Нѣтъ, не обманывайте меня! Нѣтъ, я вижу, она таетъ какъ воскъ!... Она вырывается изъ рукъ моихъ!.. Нѣтъ, нѣтъ, не милостивъ къ намъ Богъ!

Эти слова безнадежной горести возвратили Мирошеву всю его твердость.

— Машенька,—прервалъ онъ,—что ты?... Отчаяніе, ропоть,—противъ Кого? Господь посѣтилъ насъ, и мы, строптивые, недостойные рабы, встрѣчаемъ Его не съ покорностію и смиреніемъ, а съ ропотомъ на устахъ и съ отчаяніемъ въ сердцахъ! Вспомни, мой другъ, осьмнадцать лѣтъ сряду мы были счастливы, совершенно счастливы. А часто ли мы благодарили за это Бога? Мы забыли, что это, ничѣмъ не заслуженное счастье, есть только одинъ даръ Его милосердія; мы воогордились, сердца наши окаменѣли, намъ казалось, что такъ быть должно, что мы только получаемъ достойное по дѣламъ нашимъ; мы, какъ невѣсты, ждущія жениха своего, задремали... Вотъ Господь и пришелъ разбудить насъ.

— Да развѣ я могу не плакать, глядя на умирающую дочь?—прервала Мирошева.— Развѣ я могу сказать моему сердцу: не разрывайся!

— Нѣтъ, Машенька, и праведники грустили въ этой жизни, и самъ Спаситель сказалъ нѣкогда: «Прискорбна душа моя до смерти». Но эта скорбь святая, а ропоть отчаяніе—о, мой другъ, они убиваютъ душу! Пусть ропщутъ и отчаиваются враги Божіи, а мы, рабы Его, станемъ молиться и говорить со слезами: «Помилуй насъ, Господи, по великой милости Твоей!» И если наша молитва не будетъ услышана, покоримся и скажемъ: «Ты давалъ намъ, Господи, дни радости и счастья; теперь посылаешь намъ дни горести и плача,—да будетъ святая воля Твоя! Ты одинъ знаешь путь, по которому мы должны идти. Теперь онъ для насъ ужасенъ; но когда души наши воспрянутъ отъ земного сна, когда мы будемъ видѣть ясно все—тогда!... о, вѣрь, мой другъ, вѣрь,—тогда ты воскликнешь вмѣстѣ со мною: «Во истину, Господи, Ты есть любовь!»

Марья Дмитріевна упала на грудь своего мужа; она продолжала рыдать, но обильныя слезы, не отчаянія, а крот-

каго умиленія и святой вѣры въ милосердіе Господа, облегчили скорбь ея растерзаннаго сердца.

Въ тотъ же самый день, часу въ осьмомъ вечера, ненастная погода, которая и съ утра не обѣщала ничего добраго, превратилась въ совершенную метель. На дворѣ было такъ темно, какъ въ закутанномъ погребѣ; снѣгъ валилъ густыми хлопьями, вѣтеръ вылъ, крутилъ въ воздухѣ снѣговую пыль, взрывалъ глубокіе сугробы и свистѣлъ межъ обнаженныхъ деревьевъ, которыя трещали отъ его могучаго напора; однимъ словомъ, это была одна изъ тѣхъ зимнихъ русскихъ ночей, которыя бываютъ такъ губельны для запоздалыхъ путешественниковъ, и погребаютъ иногда заживо цѣлые обозы подъ огромными буграми снѣга. Избави васъ, Господи, узанать на опытѣ, что значить наша сѣверная выюга!... Въ полуверстѣ отъ деревенской околицы вы проплутаете въ полѣ всю ночь, и можете замерзнуть у воротъ собственнаго вашего дома.

Въ то самое время, какъ на дворѣ бушевала эта непогода, мамушка Игнатъевна сидѣла на антресоляхъ въ своей каморкѣ и вязала, при свѣтѣ ночника, шерстяной чулокъ, Вдругъ вѣтеръ заревѣлъ сильнѣе прежняго; Игнатъевна невольно вадрогнула, перекрестилась и шепнула про себя:

— Ну, погодка!... Какое теперь дорожному человѣку?... Помилуй и спаси, Господи!... Какъ захватить въ полѣ, такъ умирай безъ покаянія!

Двери потихонку растворились и вошла Дуняша.

— Ну что, Дуня?—сказала Игнатъевна, воткнувъ спицу въ чулокъ и положивъ его къ себѣ на колѣни.

— Ничего,—отвѣчала Дуняша шопотомъ.

— Что барышня?

— Въ забытьи.

— Господи, Боже мой,—проговорила Игнатъевна,— да неужели въ самомъ дѣлѣ я, старуха, переживу ее, мою родимую?...

Дуняша заплакала,

— Неужели то Господь не услышитъ моихъ грѣшныхъ молитвъ?—продолжала Игнатъевна.— Ужь если ей не вставать, моей голубушкѣ, такъ прибралъ бы и меня съ нею вмѣстѣ!.. Ужь чего я не дѣлала, Дуняша!... Грѣховъ то, грѣховъ сколько на душу взяла! И съ уголька ее поила, и нашептывала, и къ ворожеѣ на село ходила...

— А что тебѣ, бабушка, ворожея то сказала?

— Да что!... Говорить—съ глазу. Надобно, дескать, вашей барышнѣ три раза по три середи купаться въ проточной водѣ по вечернимъ зорямъ, да пять пятницъ сряду умываться утреннею росою.

— Да какая же теперь роса?

— Ну, вотъ поди ты!... Дождидайся до весны.

— Эхъ, Игнатъевна, вретъ эта ворожея: не съ глазу чахнетъ наша барышня.

— А отчего же?

— Отчего?... Слыхала ли ты, бабушка, пѣсенку, въ которой поютъ:

„Изсушила, сокрушила  
Красну дѣвицу  
Дума-думушка.  
Сохнетъ дѣвица,  
Сохнетъ красная  
По миломъ дружкѣ“.

— Что ты, Дуня?... Да неужели Варвара Кузьминична?...

— Вотъ хватилась!..

— Ахъ, батюшки! Такъ это, видно, Владиміръ Ивановичъ...

— Ну да!

— Ахъ отъ злодѣй!... А я думала, что онъ человѣкъ добрый...

— Да онъ, бабушка, точно, добрый человѣкъ.

— Что ты, мать моя!.. Душегубецъ этакій!... За что онъ сгубилъ нашу барышню?...

— Эхъ, Игнатъевна, не онъ! Онъ ужь давно бы на ней женился, еслибъ не его батюшка.

— Да батюшка то почему не хочетъ?..

— Видно, ищетъ для сына невесты побогаче нашей барышни.

— Побогаче!... Да на что ему богатство то? Мало что-ль у него?... Умреть, старый хрычъ, все останется... Побогаче!.., Жидъ этакій! Чтобъ ему ни дна ни покрышки!...

— Видно, онъ,—продолжала Дуня,—какъ-нибудь узналъ, что сынъ то его влюбленъ въ барышню и увезъ его въ Воронежъ. Да это бы еще ничего, а на бѣду Вертлюгина наговорила барышнѣ Богъ знаетъ что: и не любить ея Владиміръ Ивановичъ, и женитси то онъ на другой, а все



неправда, видитъ Богъ, неправда! Вотъ съ тѣхъ поръ ей и стало хуже. Тутъ ужь, бабушка, ни лѣкаря, ни ворожеи не помогутъ. Лучше бы всего вѣсточка изъ Воронежа. Хотя бы намъ какъ-нибудь узнать, здоровъ ли Владиміръ Ивановичъ, что онъ дѣлаетъ?..

Игнатьевна призадумалась.

— Здоровъ ли?... Что дѣлаетъ?...—прошептала она себѣ подъ носъ.—Ну да... конечно... можно бы... Да, точно ли барышнѣ будетъ легче, если она что-нибудь узнаетъ о Владиміръ Ивановичѣ?..

— Какъ же не легче, бабушка!... Да развѣ можно какъ-нибудь?..

— Можно то можно, да только грѣшно, Дуня.

— Какъ грѣшно?... А, да вѣдь у насъ святки! Ужъ не хочешь ли ты олово лить?.

— Что олово лить!... Нѣтъ, Дуняша: я знаю гаданье почище этого, грѣха только боюсь. Да ужъ такъ бы и быть, — для моей голубушки, для родной моей барышни, я на все пойду; авось послѣ бы отмолилась какъ-нибудь, окаянная грѣшница. А вотъ что бѣда, Дуня: глаза то у меня больно плохи стали,—ничего не увижу.

— Да что это такое?

— А вотъ что: если хочешь про кого-нибудь загадать, гдѣ бы онъ ни былъ, все равно, возьми два зеркальца и поставь ихъ одно противъ другого такъ, чтобъ свѣча въ въ обонхъ была видна; а какъ оставишь хорошенько, такъ тебѣ покажется, что зеркаламъ то и счету нѣтъ; а ты все смотри на седьмое, глазъ не своди. Ну, иногда этакъ просидишь около часу, а тамъ вдругъ седьмое зеркало и потускнѣетъ, потомъ этотъ туманъ разойдется, и ты увидишь все.

— Да чтожъ я тамъ увижу?

— Ну, извѣстно, что. Вотъ еслибъ ты, напримѣръ, загадала о Владиміръ Ивановичѣ, такъ увидѣла бы, что онъ въ это самое время дѣлаетъ: сидитъ ли, лежитъ ли, разговариваетъ ли съ кѣмъ, веселъ ли, печаленъ ли—все увидишь.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?

— Право такъ.

— Такъ чтожъ, бабушка? Я, пожалуй, посмотрю въ зеркало.

— Охъ, Дуня, Дуня, бойка ты больно! Я посмотрю! Да ты знаешь, какъ надо смотрѣть то?

- А какъ, Игнатьевна?
- Ты, чай, думаешь, здѣсь—въ комнатѣ?... Да, какъ бы не такъ!
- А гдѣ же?
- Да въ какомъ-нибудь нежиломъ строеніи, чтобъ въ немъ, кромѣ тебя, никого не было. Безъ этого ничего не увидишь.
- Вотъ что!... Да этакаго и мѣста у насъ нѣтъ.
- Какъ нѣтъ?... А новая то людская баня?
- Что ты, бабушка! Да вѣдь она далеко отъ всякаго жилья—за заборомъ...
- То то и хорошо, Дуня.
- Охъ, страшно!
- А, то то же, голубка, страшно!
- Ну да чтожъ со мной можетъ сдѣлаться, если я пойду въ баню?
- Сдѣлаться то ничего не сдѣлается,— это не то, что на прорубь идти гадать,— ты только не бойся; а если что страшное покажется, такъ зачурайся,— тотчасъ все пропадетъ.
- А какъ зачураться то надобно?
- Эхъ, дѣвка, дѣвка, ужъ и этого то не знаешь! Ну, просто: «чуръ меня, чуръ меня, наше мѣсто свято!»
- Да точно ли ты знаешь, что ничего со мной не будетъ?
- Точно, ничего.
- Ну такъ и быть: пойду, бабушка!
- Теперь какъ можно, Дуня: видишь, на дворѣ какая непогодаица.
- И, ничего: долго-ль до бани добѣжать. Въ другой то разъ, можетъ быть, у меня и смѣлости не останется.
- Ну, какъ хочешь. Только не сробѣй, Дуня, и какъ увидишь въ зеркалѣ Владиміра Ивановича, не спѣши зачурать: высмотри все хорошенько.
- А что, бабушка, если я загадаю о своемъ суженомъ, покажется онъ мнѣ?
- Коли тебѣ суждено быть замужемъ, такъ покажется; а если нѣтъ, такъ увидишь гробъ.
- Ухъ, страшно!
- И, трусиха, трусиха! Пошла, гдѣ тебѣ!
- Нѣтъ, бабушка, ужъ сказала пойду, такъ пойду! Да гдѣ же я тамъ огня достану?

— Вотъ, возьми сумочку: тутъ все есть. Какъ придешь въ баню, выскѣ сама огоньку. На вотъ тебѣ и зеркальце, а другое то возьми свое.

Въ нѣсколько минутъ Дуняша совсѣмъ снарядилась: надѣла шубку на заячьемъ мѣху, накинула на голову шерстяной платокъ, положила въ узелокъ огниво съ припасомъ, сальную свѣчу, мѣдный подсвѣчникъ, два зеркала и отправилась въ путь.

— Смотри, Дуня, — говорила Игнатъевна, провожая ее по лѣстницѣ, — не сробѣй! Высмотри все хорошенько, да прежде загадай о Владимірѣ Ивановичѣ, а ужъ послѣ о своемъ суженомъ.

— Хорошо, хорошо, бабушка!.. Да я, можетъ быть, о своемъ суженомъ и гадать вовсе не стану.

— А если станешь, такъ не забудь сказать три раза сряду, да, знаешь ли, внятно: «суженый, ряженный, приди взглянуть въ зеркало».

— Скажу, бабушка, скажу.

— Охъ, боюсь я за тебѣ, Дуня! Труслива ты больно!.. Эхъ, кабы старые мои годы!

— Да ужъ не бойся, Игнатъевна, не испугаюсь. Что, въ самомъ дѣлѣ, застольная то отъ бани близехонько, а тамъ всегда люди. Прощай, бабушка!

## XXIV.

### Святочное гаданье. Новое лицо.

Дуняша прокралась черезъ дѣвичью, вышла на крыльцо, спустилась кой-какъ съ лѣстницы, до половины занесенной снѣгомъ, и сѣдой, непроницаемый мракъ охватилъ ее со всѣхъ сторонъ. Вѣтеръ ревѣлъ, метель бушевала; Дуняша запахнула покрѣпче свою шубу и пустилась бѣгомъ вдоль двора. Въ полминуты ее осыпало съ ногъ до головы снѣгомъ и продуло насквозь. Раза три, увязнувъ въ сугробѣ, она останавливалась, чтобъ перевести духъ; добѣжавъ, наконецъ, до забора, Дуняша отыскала ощупью калитку, выбралась въ поле, почти нечаянно наткнулась на людскую баню, отворила дверь, запертую снаружи деревянною заверткою, вошла и, едва дыша отъ усталости и холода, который прохватилъ ее до самыхъ костей, упала на скамью.

Въ первыя минуты она не чувствовала никакой боязни; но когда поотогрѣлась, и усталость ея прошла, то ей стало такъ страшно, что она долго не могла рѣшиться высѣчь огня. Ей все казалось, что въ ту самую минуту, когда она освѣтитъ баню, передъ нею явится какая-нибудь сатанинская рожа съ рогами и съ козлиною бородою. Она дрожала, не смѣла пошевелиться и робко прислушивалась... Но все было тихо: никто не охалъ за печкою, черти не возились подъ полкомъ, и одинъ постоянный житель бани, неутомонный сверчокъ, распѣвалъ безъ умолку въ своемъ уединенномъ уголкѣ. Вотъ Дуняша поободрилась, вынула изъ узелка огниво и трутницу, высѣкла огня, зажгла свѣчу, и когда закоптѣлыя стѣны бани освѣтились, то она робко поглядѣла кругомъ, потомъ улыбнулась и сказала про себя: «Фу, батюшки, какъ я глупа! Ну, чего я боялась? Баня какъ баня!... А все это Матрена наговорила мнѣ, что въ баняхъ всегда живутъ домовые!... Какой вздоръ!»... Дуняша не опасалась, что огонь увидятъ изъ господскаго дома, потому что единственное окно бани было обращено въ поле, и, вслѣдствіе этой увѣренности, начала весьма спокойно приготовляться къ своей ворожбѣ: поставила свѣчу передъ однимъ зеркальцемъ, которое прислонила къ стѣнѣ, навела на него изъ рукъ другое, стала смотрѣть... И вотъ ей представилось безконечное число зеркаль, одно въ другомъ, и цѣлый рядъ свѣчей, которыя терялись въ отдаленіи. Дуняша устремила все свое вниманіе на седьмое зеркало. Прошло полчаса безъ всякой перемѣны: все тѣ же свѣчи, тѣ же зеркала и больше ничего. Вотъ ужъ она глядитъ въ зеркало около часу,—скука смертная: все одно да одно. «Вѣрно, что-нибудь не такъ»,—подумала Дуняша.— «Надобно хорошенько поразспросить Игнатьевну. Дай-ка лучше загадаю о моемъ суженомъ». Она отдохнула нѣсколько минутъ, потомъ взяла въ руки зеркало, и, глядя въ него, сказала три раза, сначала твердымъ, а подъ конецъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ: «Суженый, ряженный, приходи взглянуть въ мое зеркало». Не прошло двухъ минутъ, какъ ей послышался вдали звонъ колокольчика. «Ужъ не чудится ли мнѣ?» — подумала Дуняша. «Кто поѣдетъ въ такую непогодицу?.. Добро бы еще мы были на большой дорогѣ... Чу!.. Опять!.. Фу, какъ завылъ вѣтеръ,—ничего не слышно!» Вотъ звонъ почтоваго колокольчика раздался гораздо ближе... Дуняша вздрогнула... «Что это?»—прошеп-

тала она.—«Въ самомъ дѣлѣ, колокольчикъ!.. Ахъ, Господи, да чтожь это такое? Тутъ вовсе и вѣды нѣтъ. Ужь не суженый ли мой?.. Ухъ, страшно!.. Нѣсколько минутъ еще звенѣлъ по-временамъ колокольчикъ, то дальше, то ближе, потомъ все затихло... И вдругъ... съ нами крестная сила!.. Что это?.. Снѣгъ хруститъ подъ окномъ... кто то пробирается тяжелыми шагами вдоль стѣны... Вотъ ужъ онъ блиако... у дверей... берется за скобу... у Дуняши подкопались ноги... Она опустила на скамью, и лишь только хотѣла проговорить: «чуръ меня, чуръ!» — какъ вдругъ двери распахнулись,—Дуняша вскрикнула, оглянулась назадъ... Господи... Передъ ней стоитъ какое то страшилище мохнатое, покрытое инеемъ; на головѣ у него курчавая шапка съ огромными ушами; лицо, если только можно назвать лицомъ что то похожее на человѣческой образъ, красное, съ бѣлыми бровями, обледенѣлыми рѣсницами, изъ подъ которыхъ сверкаютъ глаза, до половины засыпанные снѣгомъ. Казалось, это чудовище сидѣло что то сказать, но вмѣсто словъ вылетали изъ его рта какіе то невнятные звуки.

— Чуръ меня, чуръ!—проговорила умирающимъ голосомъ Дуняша.

Страшилище, вмѣсто того, чтобъ исчезнуть, сдѣлало шагъ впередъ, и замычало такимъ охриплымъ и дикимъ голосомъ, что у бѣдной дѣвушки отъ страха въ глазахъ потемнѣло. Дуняша хотѣла сотворить молитву, хотѣла перекреститься; но руки ея опустились, языкъ онѣмѣлъ, она зашаталась, и вдругъ—о, ужась, чудовище обхватило ее своими мохнатыми руками, она въ его ледяныхъ объятіяхъ!.. Дуняша вскрикнула и лишилась всѣхъ чувствъ.

Когда она очнулась и открыла глаза, то увидѣла, что передъ ней стоитъ, нагнувшись, мужчина въ дорожномъ платьѣ и даетъ ей нюхать что то изъ пузырька.

— Гдѣ я?—спросила Дуняша слабымъ голосомъ.

— Да тамъ же, гдѣ я васъ нашель,—отвѣчалъ незнакомый, все еще не слишкомъ внятнымъ голосомъ.—Ну, что вы чувствуете?

— Что чувствую?.. Не знаю!.. Кто вы?

— Проѣзжай.

— А гдѣ же онъ?—прошептала Дуня, приподымаясь со скамьи и робко озираясь кругомъ.

— Здѣсь нѣтъ никого, кромѣ меня.

— Вот онъ, вот онъ,—вскричала Дуняша, указывая съ ужасомъ на полокъ.

— Что вы, что вы? Успокойтесь!—прервалъ провзжій.  
— Это моя волчья винчура и дорожная шапка.

— Возможно ли?.. Да у него было такое страшное лицо...

— Да, я думаю, у меня лицо, точно, было некрасиво, когда я сюда вошелъ.

— Такъ это были вы?—сказала Дуняша, вздохнувъ свободно.—Ахъ, какъ вы меня испугали!

— Не гнѣвайтесь на меня: я вовсе не хотѣлъ васъ пугать. Я ѣду въ Саратовъ по казенной надобности. Въ Хоперскѣ дали мнѣ пьянаго ямщика; онъ сбился съ дороги; насъ захватила метель, и вотъ ужъ три часа, какъ мы плуetaемъ. Еслибъ не ваша свѣча, на которую мы все прямо ѣхали цѣликомъ, то не миновать бы намъ бѣды. Позвольте мнѣ спросить, куда я заѣхалъ?

— Это домъ и деревня Кузьмы Петровича Мирошева.

— Мирошева!—повторилъ незнакомый.—Какъ это счастливо!

— А развѣ вы его знаете?

— Нѣтъ, я не имѣю этого удовольствія; но очень счастливъ, что попалъ на дворъ къ помѣщику, который, вѣроятно, доволить мнѣ у себя переночевать.

— О, безъ всякаго сомнѣнія,—онъ очень будетъ радъ!.. Да надобно послать и за вашимъ ямщикомъ.

— Онъ шагахъ въ двадцати отсюда: не могъ никакъ выбиться съ повозкою изъ сугроба.

— Пойдемте въ домъ,—сказала Дуняша, надѣвая свою шубу.

— А гдѣ мы это теперь? — спросилъ провзжій, посмотрѣвъ вокругъ себя.—Это, кажется, баня?... А, понимаю!.. У насъ святки—вы гадали... Ну, не удивительно, что вы меня испугались...

Дуняша покраснѣла.

— И какъ вамъ было не испугаться, — продолжалъ незнакомый, надѣвая свою винчуру,—когда передъ вами явился, вмѣсто суженаго, какой то косматый лѣшій, окоченѣлый отъ холода, безъ языка... Признаюсь, и я испугался, когда вы упали въ обморокъ; къ счастью, что со мною былъ спиртъ. Ну, какъ вы себя теперь чувствуете?

— Ничего, только сердце все еще замираетъ и голова какъ будто бы кружится.

Незнакомый взял ее за руку, и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:

— Пульсъ не дурень, небольшое волненіе и больше ничего. Слава Богу, этотъ испугъ не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій! Пойдемте!

Дуняша довела проѣзжаго до дому и, указавъ ему переднее крыльцо, сказала вполголоса:

— Вы, однакожъ, никому не говорите, что застали меня въ банѣ.

— Не беспокойтесь, не скажу.

— Кузьма Петровичъ не любитъ, чтобъ гадали на святкахъ; онъ говоритъ, что это грѣхъ. Прощайте!

Проѣзжій вошелъ въ домъ, а Дуняша побѣжала черезъ двѣрицу на антресоли рассказать о своемъ приключеніи мамушкѣ Игнатьевнѣ, которая ожидала ее съ большимъ нетерпѣніемъ.

Разумѣется, Кузьма Петровичъ принялъ самымъ радушнымъ образомъ нечаяннаго гостя; послалъ людей съ фонарями отыскать извозчика, котораго нашли до половины замерзшимъ. Его оттерли свѣгомъ, потомъ напоили горячимъ и уложили спать. Добрые Мирошеры забыли на минуту свое горе и занялись совершенно проѣзжимъ. Когда онъ напился чаю и поотогрѣлся, Кузьма Петровичъ спросилъ его, куда онъ ѣдетъ.

— Я ѣду по казенной надобности въ Саратовъ,—отвѣчалъ проѣзжій.

— По казенной надобности? Такъ поэтому вы въ службѣ?

— Я опредѣленъ въ саратовскій военный госпиталь младшимъ медикомъ.

— Вы докторъ?

— О, нѣтъ еще!—я только лѣкаръ.

— А развѣ это не все равно?

— Въ одномъ смыслѣ—да! Я точно такъ же, какъ докторъ, имѣю право писать рецепты, пользоваться больныхъ и даже вылѣчивать ихъ,—прибавилъ съ улыбкою проѣзжій.

— Гдѣ-жъ вы учились?

— За границую.

Марья Дмитріевна взглянула на своего мужа, шепнула ему что то на ухо и сказала гостю:

— Извините, я не знаю, какъ васъ назвать...

— Степанъ Ивановичъ Логиновъ.

— Извините, Степанъ Ивановичъ, если мы васъ спросимъ: вы знаете хоперскаго доктора?

— То есть лѣкаря Адама Ѳомича Думкофа?.. Знаю, сударыня.

— Скажите намъ откровенно, что вы о немъ думаете?

— Да какъ вамъ сказать? Я познакомился съ нимъ за границею. Во Франкфуртѣ я былъ боленъ горячкою...

— И Адамъ Ѳомичъ васъ вылѣчилъ?

— Нѣтъ, онъ пускалъ мнѣ кровь; и надобно отдать ему справедливость,—онъ мастеръ этого дѣла.

— Такъ вы находите, что онъ...

— Отличный цырюльникъ!

— Что вы говорите?

— По крайней мѣрѣ, тогда онъ былъ цырюльникомъ. Впрочемъ, можетъ быть, съ тѣхъ поръ онъ и приобрѣлъ какія-нибудь познанія. Вѣдь практика не бездѣлица; а у насъ за нею дѣло не станеть, была бы только охота лѣчить. Мы, русскіе, народъ здоровый, крѣпкій, — все вытерпимъ.

— Ну, вотъ видишь, мой другъ,—прервала Марья Дмитріевна,—сердце мое чувствовало, что онъ ничего не знаетъ.

— Вѣрно у васъ есть кто-нибудь больной? — спросилъ лѣкарь.

— Да, Степанъ Ивановичъ, — отвѣчалъ Мирошевъ, — дочь наша. Вотъ ужъ нѣсколько мѣсяцевъ, какъ она занемогла. Кажется, Адамъ Ѳомичъ думаетъ, что у нея чахотка.

— Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, — вскричала Марья Дмитріевна,—это не можетъ быть, я не вѣрю этому!.. Не правда ли, Степанъ Ивановичъ: чахотка неизлѣчимая болѣзнь?

— Не всегда. А позвольте васъ спросить, что чувствуетъ ваша больная?

— Чрезвычайную слабость; она каждый день становится все хуже и хуже,—сказала Марья Дмитріевна, и крупныя слезы покатались по ея щекамъ.

— Она не спитъ по ночамъ,—подхватилъ Кузьма Петровичъ;—почти ничего не ѣсть, тоскуетъ и такъ исхудала...

— О, такъ исхудала, — прервала Марья Дмитріевна, всхлипывая,—такъ исхудала, что я даже не узнаю ея... Ну, точно таятъ какъ свѣча!

Лѣкарь призадумался.



— Тоскуеть, не спать по ночамъ!—прошепталь онъ про себя.—Да!..

Онъ покачалъ головою.

— Боже мой, Боже мой,—вскричала Мирошева,—такъ и вы думаете то же, что Адамъ Ёмичъ... Такъ у ней чахотка?

— А можетъ и нѣтъ, — сказалъ лѣкаръ.—Болить ли у нея грудь, Кузьма Петровичъ?

— Нѣтъ.

— Харкаетъ ли она кровью?

— Нѣтъ.

— Не чувствуетъ ли глухой боли въ правомъ или лѣвомъ боку?

— Она никогда на это не жаловалась.

— Не замѣчали ли вы, что у нея выступаетъ иногда на щекахъ не натуральный румянецъ?

— Теперь никогда!—прервала Марья Дмитриевна.—Она блѣдна какъ смерть.

— А есть ли у нея постоянный сухой кашель?

— Нѣтъ, Степанъ Ивановичъ,—отвѣчалъ Мирошевъ.— Мѣсяца два тому назадъ она простудилась и кашляла нѣсколько дней сряду; но этотъ кашель прошелъ безъ всякаго лѣченья.

— Если все это такъ, какъ вы говорите,—сказалъ съ веселымъ видомъ лѣкаръ,—то я могу объявить вамъ утвердительно, что у вашей больной нѣтъ и признаковъ чахотки.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Слава Богу! — вскричала Марья Дмитриевна, перекрестась.—И вы въ этомъ увѣрены!

— Совершенно увѣренъ. Да позвольте мнѣ на нее взглянуть.

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Поди, Машенька,—сказалъ Кузьма Петровичъ,—посмотри, можно ли намъ къ ней придти?

Марья Дмитриевна вышла изъ гостиной и черезъ нѣсколько минутъ прислала просить лѣкаря къ больной. Когда Кузьма Петровичъ вошелъ со своимъ гостемъ въ комнату Вареньки, она сидѣла въ креслахъ, прислоня голову къ подушкѣ, бѣлая наволока которой почти не отличалась отъ блѣднаго лица ея. Позади кресель стояла Дуняша.

— Я принесъ вамъ здоровье,—сказалъ лѣкаръ.

Варенька кивнула правѣтливо головой и улыбнулась. Въ этой кроткой, но ужасной улыбкѣ выразалась такая

твердая увѣренность, что болѣзнь ея неизлѣчима, такое равнодушіе къ жизни и такая сердечная грусть, что слезы навернулись на глазахъ у лѣкаря. Степанъ Ивановичъ Логиновъ былъ еще человѣкъ молодой, мало имѣлъ практики: слѣдовательно, привычка видѣть людскія страданія не убила еще въ душѣ его всей чувствительности; онъ не умѣлъ даже притворяться равнодушнымъ и вовсе не обладалъ искусствомъ, иногда необходимымъ, скрывать подъ наружнымъ спокойствіемъ свои опасенія, которыя, по милости Божіей, не всегда оправдываются на самомъ дѣлѣ, и даже очень часто, — не во гнѣвъ будь сказано господамъ-медикамъ, — имѣютъ своимъ основаніемъ одно ложное понятіе о недугѣ больного. Этотъ неосторожный порывъ чувствительности не укрылся отъ Марьи Дмитріевны: сердце ея замерло отъ ужаса. Да и было чего испугаться: медикъ, который не можетъ безъ слезъ смотрѣть на больного, вовсе неутѣшительнъ. Степанъ Ивановичъ сѣлъ подлѣ Вареньки и взялъ ее за руку. Съ минуту продолжалось общее молчаніе. Мирошевы не смѣли дышать: они оба, и мать, и отецъ, не сводили глазъ съ лѣкаря; въ эту минуту онъ былъ для нихъ судьбою, посланникомъ Божиимъ, вѣстникомъ жизни и смерти; каждое его движеніе, малѣйшее измѣненіе въ чертахъ лица приводило ихъ въ ужасъ, и даже веселая улыбка, которая появилась на устахъ его, показалась имъ подозрительною. Степанъ Ивановичъ, сдѣлавъ нѣсколько вопросовъ больной, обратился къ Мирошевымъ и сказалъ:

— Теперь я могу васъ совершенно успокоить: вамъ нечего бояться.

— Такъ вы не видите никакой опасности? — прервала съ живостію Марья Дмитріевна.

— Ни малѣйшей! Я готовъ ручаться жизнію, что ваша больная черезъ мѣсяцъ будетъ совершенно здорова.

— О, пусть утѣшитъ васъ Господь Богъ, какъ вы насъ утѣшили! — вскричала Марья Дмитріевна залившись слезами. — Слышишь ли, Варенька? — продолжала она, обнимая юць. — Слышишь ли, мой другъ? Ты выздоровѣешь, мы будемъ опять счастливы!

— Да, маменька, опять! — прошептала больная, улыбувшись точно такъ же, какъ въ первый разъ; потомъ взглянула съ глубокою грустью на мать свою, обвила руками ея шею и зарыдала.

— Полноте, полноте! Что вы это?—сказала Мирошева.  
— Охъ, ужъ эти женщины,—вѣчно плачутъ и съ горя, и съ радости!.. Да скажите мнѣ, — прибавилъ онъ вполголоса, обращаясь къ лѣкарю,—чѣмъ же больна Варенька?

— Да такъ, раздраженіе нервовъ, — отвѣчалъ Степанъ Ивановичъ;—истерическіе припадки, слабость, разстроенный желудокъ, и больше ничего. Все это должно быть слѣдствіемъ какого-нибудь внезапнаго потрясенія, испуга; а болѣе всего необдуманнаго кровопусканія и, кажется, вовсе неумѣстныхъ лѣкарствъ. Да чѣмъ лѣчитъ вашу больную Адамъ Ѳомичъ?

— Теперь ничѣмъ. Онъ приказалъ ее пить козьимъ молокомъ

— И то хорошо, что средство безвредное; но оно вовсе бесполезно. Вашу больную надобно подкрѣплять. Со мною есть дорожная аптечка. Кузьма Петровичъ, потрудитесь, прикажите ее принести сюда; да еслибъ вы, сударыня, — продолжалъ лѣкаръ, обращаясь къ Марѣ Дмитриевнѣ, — сдѣлали намъ чашечки двѣ ромашки. Вѣдь у васъ, вѣрно, есть?

— Какъ же!

— Такъ потрудитесь. А мнѣ позвольте еще кой о чемъ поразспросить мою больную.

— Сдѣлайте милость!

Мирошевы вышли, а лѣкаръ, оставшись одинъ, посмотрѣлъ вокругъ себя, взглянулъ на полуотворенныя двери и сказалъ Варенкѣ:

— Я желалъ бы поговорить съ вами наединѣ.

— Со мной? — прервала съ удивленіемъ больная.— Да чтожъ такое вы можете мнѣ сказать?.. Я васъ не знаю.

— Конечно, я въ первый разъ имѣю удовольствіе васъ видѣть; но еслибъ я могъ говорить...

Тутъ лѣкаръ взглянулъ значительно на Дуняшу.

— Что вы на меня этакъ смотрите?—спросила Дуня.

— При ней вы можете говорить все,—сказала Варенька.  
— Это другъ мой.

Лѣкаръ посмотрѣлъ опять вокругъ себя и сказалъ вполголоса больной:

— У меня есть къ вамъ препорученіе.

— Ко мнѣ? Да вѣдь вы заѣхали къ намъ нечаянно?

Степанъ Ивановичъ улыбнулся.

— Ахъ, какой же вы притворщикъ!—подхватила Дуня.  
— Да не вы ли мнѣ говорили, что сбѣлись съ дороги?

— Это правда, и еслибъ я не заплутался, такъ давно бы ужь былъ у васъ.

— Такъ вы къ намъ ѣхали?

— То есть я далъ слово къ вамъ заѣхать: меня просили объ этомъ въ Воронежѣ.

— Въ Воронежѣ?—повторила Варенька, и блѣдныя щеки ея сдѣлались еще блѣднѣе.

— Позвольте!—сказалъ лѣкаръ, взявъ ее за руку.—О, да какъ пульсъ-то у васъ поднялся!... Выпейте воды.

— Бога ради, — вскричала Варенька, — говорите, говорите! Здоровъ ли онъ?

— Владиміръ Ивановичъ? Слава Богу!... Да успокойтесь!

— Онъ, вѣрно, просилъ васъ... увѣдомить меня?...

— Что любить васъ попрежнему, что ваша любовь дороже ему самой жизни...

— Возможно ли!... А Залуцкая?...

— Выходить замужъ, — но только не за него.

— Боже мой, Боже мой!—вскричала больная, прижавъ руки къ груди своей.

— Позвольте, позвольте!—сказалъ лѣкаръ.—Охъ, пульсъ то у васъ!... Выкушайте водички.

— А я обвиняла его! — прошептала Варенька, и слезы полились рѣкой изъ глазъ ея.

— Вотъ такъ то лучше! — сказалъ лѣкаръ.—Плачьте себѣ на здоровье, плачьте!... Ну, вотъ и пульсъ сталъ лучше, а то было забилъ такую тревогу!... Да, Варвара Кузьминична, онъ любить васъ такъ же пламенно, какъ любилъ прежде. Я знаю все: Владиміръ Ивановичъ называетъ меня своимъ другомъ, а я... о, я совершенно ему принадлежу: онъ благодѣтель мой! Покойный мой батюшка былъ при немъ дядькою; по милости Владиміра Ивановича, я получилъ образованіе, ѣздилъ въ чужіе края и сдѣлался лѣкаремъ. Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Воронежа, онъ узналъ, что всѣ письма его удерживаютъ на почтѣ...

— Ну, вотъ слышите, барышня?—прервала Дуниша.— Вѣдь я вамъ говорила!...

— Владиміръ Ивановичъ, — продолжалъ лѣкаръ, вынимая изъ бокового кармана запечатанное письмо, — препоручилъ мнѣ...

— Письмо ко мнѣ?...

На лѣстницѣ послышались шаги.

— Дайте его сюда!—сказала Дуняша. — Мы прочтемъ послѣ.

Кузьма Петровичъ вошелъ въ комнату, неся довольно большой ящикъ, обитый кожею. Степанъ Ивановичъ отперъ его и вынулъ пузырекъ съ каплями.

— Вотъ,—сказалъ онъ Варенькѣ, — лѣкарство, которое недѣли черезъ двѣ поставитъ васъ совершенно на ноги, принимайте каждый день два раза по двадцати капель — хоть на сахарѣ, и запивайте ромашкою. Я увѣренъ, что завтра же вы захотите покушать.

— А что ей можно ѣсть? — спросила Марья Дмитриевна, войдя въ комнату и поставивъ на столъ чайную чашку и чайникъ.

— Сначала овсяную кашу съ бѣлымъ хлѣбомъ; дней черезъ пять можно дышленка, а недѣли черезъ три пусть кушаетъ на здоровье все, что ей угодно.

— Вы говорите такъ утвердительно, — сказала Марья Дмитриевна.—Какъ же это Адамъ Ѳомичъ...

— Онъ вовсе не отгадалъ ея болѣзни.

— Гдѣ ему, нѣмцу! — шепнула Дуняша, взглянувъ исподлобья на Степана Ивановича.

Онъ невольно улыбнулся и сказалъ про себя: «Какъ мила эта плутовочка!»

По какому то странному сочувствію, Дуняша въ эту же самую минуту думала: «Какой онъ хорошенькій! Какъ это я могла его испугаться?» Межъ тѣмъ, Марья Дмитриевна дала капель больной.

— Ну что, привали?—сказалъ лѣкаръ.—Запейте!... Вотъ такъ! Теперь ложитесь съ Богомъ. У васъ будетъ прекрасный сонъ. Оставайтесь вы съ нею однѣ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Дуняшѣ, — а мы всѣ пойдемте внизъ: ей надобно успокоиться... И ты, бабушка, не ходи!—прибавилъ лѣкаръ, увидя въ дверяхъ Игнатьевну.—Теперь нужна большая тишина.

— Да я, батюшка, и дышать не стану, — сказала Игнатьевна съ низкимъ поклономъ.—Позволь...

— Не надобно, любезная, не надобно! Чѣмъ меньше въ комнатѣ людей, тѣмъ лучше. И подлѣ дверей то не стой, бабушка; неравно какъ-нибудь стукнешь. Пойдемте.

Всѣ сошли внизъ, а Игнатьевна поплелась въ свою каморку, ворча себѣ подъ носъ:

— Охъ ужъ эти доктора! Вишь, нельзя и у дверей постоять!... Причудники этакіе!... Да что онъ себѣ ни говори, а я все-таки ночью разика три-четыре приду взглянуть на барышню.

## XXV.

### Дорожные своры и отъездъ Мирошва въ Москву.

— Ахъ, какой же умница этотъ лѣвкаръ, — шепнула Дуныша Варенькѣ, когда онѣ остались однѣ! увелъ всѣхъ — и бабушку Игнатьевну не пустилъ. Теперь вы можете на просторѣ прочесть... А есть что почитать!... Посмотрите-ка, барышня, письмо то какое толстое!

Я не стану вамъ описывать чувствъ Вареньки при чтеніи этого письма. Если вы никогда не любили, то это описаніе покажется вамъ преувеличеннымъ и неестественнымъ; если же сердце ваше не всегда оставалось спокойнымъ, то вспомните только, что вы чувствовали, получивъ первое письмо, написанное къ вамъ тѣмъ, котораго вы любили. Не бойтесь также: я не заставлю васъ читать вмѣстѣ съ Варенькой эти мелко исписанные четыре листа почтовой бумаги; вы не узнаете изъ нихъ ничего новаго: всѣ эти страстные письма такъ сходны между собою... Всегда одно и то же: вѣчная любовь, вѣрность, постоянство; разница только въ изложеніи: одинъ пишетъ свои страстные посланія какъ Сентъ-Пре, другой не лучше камердинера покойнаго моего дядюшки, человѣка очень сентиментальнаго, который всегда начиналъ свои любовныя письма слѣдующими словами: «Душа души моей, горизонтъ моего спокойствія и членъ моей внутренности!» Да и вообще этого рода письма, даже самыя краснорѣчивыя, интересны только для тѣхъ, къ кому они писаны, и почти всегда теряютъ свою цѣну, когда становятся достояніемъ всей читающей публики. Въ этомъ отношеніи они походятъ на иные манускрипты, которые драгоценны только потому, что ихъ нѣтъ въ печати. Я совершенно убѣдился въ этой истинѣ съ тѣхъ поръ, какъ прочелъ «Новую Элоизу». Сколько въ этомъ эпистолярномъ романѣ истрачено ума, таланта и поэзіи для того только, чтобъ вы не вовсе умерли отъ скуки. Лѣтъ двадцать пять тому назадъ я не смѣлъ бы это сказать громогласно; но теперь какую передъ всѣми, что даже и тогда, когда въ головѣ

моей не было ни одного сѣдого волоса, я не могъ удерживаться отъ зѣвоты, читая эти страстные письма Элоизы и Сентъ-Пре. Однажды,—такъ и быть—каяться, такъ каяться! —я заснулъ надъ книгою, кажется, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ описывается съ такою анатомическою подробностію первый поцѣлуй любви.

Вѣроятно, Жанъ-Жакъ Руссо былъ краснорѣчивѣе Кирсанова; но, несмотря на это, письмо Владиміра Ивановича произвело на Вареньку совершенно противное дѣйствіе: она прочла его нѣсколько разъ сряду, долго не могла заснуть, просыпалась ночью, чтобъ читать его при свѣтѣ лампы, и по-утру пересказала все письмо наизусть, слово отъ слова, Дуняшѣ, которая также не могла во всю ночь заснуть порядкомъ, потому что ей мерещился безпрестанно провѣзжій докторъ.

Марья Дмитріевна ахнула отъ удивленія и радости, когда вошла на другой день къ своей больной. Нѣсколько часовъ тому назадъ Варенька казалась совершенно безнадежною; а теперь... какая неожиданная перемѣна! Разумѣется, она была такъ же худа и почти такъ же слаба, какъ наканунѣ; но сколько жизни было въ этихъ свѣтлыхъ взорахъ, которые выражали прежде одну тяжкую грусть и желаніе смерти; съ какою радостною и спокойною улыбкою протянула она руки къ своей матери!.. О, какъ не походила эта улыбка на ту, которая, за нѣсколько часовъ до этого, какъ холодное лезвіе ножа, проникала въ сердце бѣдныхъ Мирошевыхъ!

— Ты чувствуешь себя лучше, мой другъ? — сказала Марья Дмитріевна, обнимая свою дочь.

— Несравненно лучше.

— Слава Богу!.. Слава Богу!.. Принимала ли ты сегодня лѣкарство?

— Принимала, маменька.

— Подлинно Господь Богъ послалъ намъ этого доктора: онъ воскресилъ и тебя и насъ, мой другъ... Да вотъ, кажется, онъ идетъ сюда съ Кузьмою Петровичемъ. Ахъ!—продолжала Марья Дмитріевна, обращаясь ко входящему лѣкарю,—вы нашъ ангелъ-спаситель! Взгляните на вашу больную!

— Вижу, сударыня, вижу!—сказалъ съ улыбкою Степанъ Ивановичъ.—Кажется, лѣкарство подѣйствовало. Ну, какъ вы провели ночь?

— Очень хорошо,—отвѣчала Варенька.

— Я такъ и думалъ. Пульсъ прекрасный... Да васъ и лѣчить нечего. Если будетъ аппетитъ, въ чемъ я совершенно увѣренъ, такъ вы можете денька черезъ три оставить кашу.

— Не лучше ли продолжать, Степанъ Ивановичъ?— сказала Мирошева.

— Помилуйте, зачѣмъ?

— Да вѣдь вы уѣдете.

— Такъ чтожь?.. Я оставляю вашу больную на рукахъ у такого доктора, передъ которымъ мы всѣ безъ исключенія Адамы Ѧомичи Думкофы. До тѣхъ поръ, пока натура спитъ, мы еще на что-нибудь годимся; а какъ она проснется, да начнетъ сама лѣчить больного,—такъ наше дѣло сторука.

— Однакожь, — сказалъ Кузьма Петровичъ, — натурѣ надобно помогать.

— Ну, да, — когда она лѣниво дѣйствуетъ; да и въ этомъ случаѣ должно поступать съ большою осторожностію. Одинъ знаменитый медикъ часто говаривалъ, что врачъ, который надѣется болѣе на свое искусство, чѣмъ на натуру, походить на слѣпого. Болѣзнь и натура борятся въ человѣкѣ, а слѣпой придетъ съ палкою, начнетъ махать направо и налево: попадетъ по болѣзни—убьетъ болѣзнь; попадетъ по натурѣ—убьетъ больного. Конечно, есть недуги, въ которыхъ должно дѣйствовать рѣшительно и идти «на авось»; но вѣдь, благодаря Бога, Варвара Кузьминична не въ такомъ положеніи. Здоровая пища, спокойная жизнь и, какъ будетъ потеплѣе, такъ свѣжій воздухъ—вотъ все, что ей надобно. Впрочемъ, если бы, сохрани Господи, опять что-нибудь случилось, такъ напишите ко мнѣ въ Спиратовъ: я и оттуда къ вамъ приѣду.

— Ахъ, Степанъ Ивановичъ, — прервалъ Мирошевъ, — какъ вы добры! Чѣмъ мы можемъ доказать вамъ нашу благодарность?

— Да за что вы меня благодарите? Позвольте васъ спросить: когда вы укрыли меня отъ непогоды, принали какъ родного, напоили, накормили, успокоили,—знали ли вы тогда, что я медикъ и могу помочь вашей больной дочери?..

— Конечно, мы этого не знали; но развѣ можно отказаться въ ночлегъ пробѣжнему человѣку, а особливо въ такую погоду?



— Такъ за что же вы меня благодарите, если я, которому вы не отказали въ ночлегѣ, не отказалъ вамъ въ моемъ совѣтѣ и пособіи?

— Но вы, Степанъ Ивановичъ,—прервала Марья Дмитриевна,—возвратили намъ жизнь!

— Помилуйте, я только что васъ успокоилъ, какъ вы успокоили меня,—съ тою только разницею, что хлопотъ мнѣ было гораздо менѣе, чѣмъ вамъ. А, да вотъ ужъ и кибитка моя подана! — продолжалъ Степанъ Ивановичъ, взглянувъ въ одно. Прощайте; покорнѣйше васъ благодарю за вашу ласковый пріемъ! Я надѣюсь, вамъ не зачѣмъ будетъ выписывать меня изъ Саратова. Впрочемъ, можетъ быть, я и самъ весною у васъ побываю: у меня есть дѣло въ Новохоперскѣ.

Степанъ Ивановичъ, прощаясь съ Мирошевыми, повторилъ еще разъ обѣщаніе пріѣхать къ нимъ погостить весною.

— Вы не можете себѣ представить, — говорилъ онъ, взглянувъ неволью на Дуняшу, — какъ я самъ желаю этого.

— Пріѣзжайте! — сказала Варенька. — Да поживите у насъ подольше!

— Напишите, когда вы къ намъ пріѣдете, — подхватила Дуняша. — Мы выйдемъ къ вамъ на встрѣчу.

Лѣварь поглядѣвъ на нее такъ чудно, что она вся вспыхнула. Сходя съ лѣстницы, онъ поотсталъ отъ Мирошевыхъ и спросилъ вполголоса Дуняшу, которая шла позади:

— Вѣрите ли вы гаданью?

— Нѣтъ! — отвѣчала отрывисто Дуня.

— А я вѣрю. Прощайте!

Лѣварь уѣхалъ. Предсказаніе его сбылось: Варенька выздоровѣла, однакожь не такъ скоро, какъ онъ предполагалъ. Не даромъ говорится, что болѣзнь входитъ въ человѣка пудами, а выходитъ золотниками: несмотря на то, что Варенька чувствовала себя каждый день лучше, она долго еще была слаба, и оправилась совершенно не прежде марта мѣсяца, на первой недѣлѣ великаго поста. Мирошевы говѣли. Въ одно утро, когда Кузьма Петровичъ, пріѣхавъ отъ обѣдни, читалъ, по своему обыкновенію, Житіе Святыхъ, а Марья Дмитриевна, Варенька и Дуняша слушали его, занимаясь рукодѣльемъ, вошелъ Прохоръ Кондратьичъ.

— Что ты, Прохоръ? — спросилъ Мирошевъ.

— Да такъ, сударь, пришелъ вамъ напомнить. Вотъ ужь зима то на исходѣ; не пора ли намъ въ дорогу сбираться?

— Въ какую дорогу?—спросила Марья Дмитріевна.

— Въ Москву, мой другъ, — отвѣчалъ Мирошевъ. — Вѣдь я ужь тебѣ сказывалъ, что наше дѣло перешло въ сенатъ.

— Въ Москву?.. Боже мой, —какая даль!.. А на долго ты поѣдешь?

— Да какъ это узнаешь? Если дѣло не протянется, такъ, можетъ статься, этимъ же путемъ и назадъ

— Нѣтъ, батюшка, —прервалъ Кондратьичъ, —дай Богъ и по просухѣ вернуться домой, а можетъ статься и лѣта еще захватимъ.

— Что ты говоришь, Прохоръ?—вскричала Марья Дмитріевна. —Да такъ мы мѣсяца четыре проживемъ разно!

— Оно конечно, матушка, —сказалъ Прохоръ, почесывая въ головѣ, —дѣло для васъ небывалое: вы никогда не разставались съ Кузьмою Петровичемъ.

— Да и зачѣмъ намъ разставаться: развѣ мы не можемъ всѣ ѣхать въ Москву?

— Помилуйте, сударыня! Да какъ это можно? Мы съ бариномъ поѣдемъ налегкѣ, намъ двоимъ много ли надобно? А если тронуться всѣмъ домомъ, да упаси Господи!.. И до Москвы то нечѣмъ будетъ доѣхать.

— Да, мой другъ, —сказалъ Мирошевъ, —Прохоръ говорить правду; мы и такъ ужь совсѣмъ разорились отъ этой тяжбы, такъ надобно остальные деньги поберечь. И мнѣ одному съѣздить въ Москву обойдется не дешево...

— Да, батюшка, да, —прошепталъ Кондратьичъ, —станеть въ копѣйку!

— Не знаю, —сказала Марья Дмитріевна, — а мнѣ все сдается, что отъ этой поѣздки никакой пользы не будетъ. На твоемъ мѣстѣ, Кузьма Петровичъ, я совершенно бы положила на волю Божию.

— Такъ, сударыня, такъ! — возразилъ Прохоръ. — Конечно, во всемъ воля Божія; да вѣдь старики говаривали: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай». Если мы хлопотать не станемъ, да проиграемъ нашу тяжбу...

— Такъ чтожь? Будемъ побѣднѣе, вотъ и все!

— Что вы, матушка! — вскричалъ Прохоръ. — Побѣднѣе!.. Какой побѣднѣе!.. Да если у насъ землю отнимутъ,

такъ не только вамъ, да и мужичкамъ то вашимъ перекусить нечего будетъ.

— Вотъ видишь ли, мой другъ, — прервалъ Мирошевъ, — тогда не только мы, но и бѣдные крестьяне наши пострададутъ. Вѣдь за нихъ, кромѣ меня, заступиться некому. Нѣтъ, Машенька, тамъ ужь что будетъ, то будетъ, а ѣхать надобно; по крайней мѣрѣ намъ не въ чемъ будетъ себя упрекнуть: дѣлали все, что могли; а тамъ, конечно, воля Божья!

— Когда же, сударь, вы думаете? — спросилъ Кондратьичъ. — Надобно денька три-четыре лошадей покормить: вѣдь ѣхать то слишкомъ шестьсотъ верстъ.

— Ну, дѣлать нечего! Вотъ отговѣемъ эту недѣлю, въ воскресенье отслужимъ послѣ обѣдни молебень, да и съ Богомъ.

— Такъ скоро? — вскричала Марья Дмитриевна.

— Да мѣшкать нечего, сударыня, — сказалъ Прохоръ. — Вотъ ужь скоро Алексѣй Божій человекъ: какъ хлынетъ вода съ горъ, такъ ѣзда то будетъ плохая.

— Ахъ, мой другъ, — проговорила Марья Дмитриевна, — когда подумаю, что черезъ недѣлю тебя здѣсь не будетъ!...

Она обняла Кузьму Петровича и заплакала. Варенька упала также на грудь къ отцу и залилась слезами.

— Ну! — сказалъ Кузьма Петровичъ. — Этого то я и боялся! Да полноте, Бога ради! Вы этакъ меня съ ума сведете!... Перестань, Машенька! Тебѣ бы должно подавать примѣръ дочери, а ты сама плачешь, какъ ребенокъ! Богъ дастъ, съѣзжу благополучно въ Москву, кончу счастливо всѣ дѣла, и мы опять заживемъ припѣваючи!

— О, мой другъ, — прервала Марья Дмитриевна, утирая слезы, — не предчувствуетъ мое сердце ничего добраго. Разстаться мы съ той разстанемся, а все этотъ Курочкинъ разорить насъ до конца.

— А я такъ вовсе не отчаиваюсь, Машенька: надѣюсь во всемъ на Бога и думаю про себя: «На Тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся во вѣки!»

— Каѳизма четвертая, псаломъ тридцатый, стихъ первый, — сказалъ Вертлюгинъ, входя въ комнату.

— Илья Сергѣевичъ! — вскричалъ Мирошевъ. — Милости просимъ!

— Здравствуйте, матушка, Марья Дмитриевна!... Кузьма Петровичъ!... Да что это вы всѣ какъ будто въ какомъ то разстройствѣ?

— А вотъ сказалъ имъ, что ѣду въ Москву, такъ онѣ расплакались.

— Въ Москву?... Когда?

— Въ это воскресенье.

— Вѣрно, по случаю вашей тяжбы?

— Да, Илья Сергѣевичъ! Наше дѣло перешло въ сенатъ.

— Вотъ что!... Ну, конечно, ѣхать надобно.

— Да будетъ ли отъ этого какая-нибудь польза,—сказала Мирошева.—Вотъ Прохоръ жилъ въ Саратовѣ и денегъ много истратилъ, а что изъ этого вышло?

— Да это что!—прервалъ Вертлюгинъ.—Саратовъ — что Саратовъ!... Это еще, матушка, цвѣточки: на гражданскую палату есть управа; а вотъ какъ въ сенатѣ то рѣшать не въ вашу пользу...

— Да почему-жъ вы думаете, что въ сенатѣ рѣшать это дѣло не въ нашу пользу, если Кузьма Петровичъ побѣдетъ самъ въ Москву?

— Эхъ, сударыня!... Ваше дѣло женское,—вы этого не знаете. Нельзя же по дѣлу не имѣть хожденія.

— Да если оно правое.

— И правое, матушка, покажется неправымъ, коли не такъ доложить. Вѣдь въ дѣловой то запискѣ, по которой докладываютъ, стоитъ иногда одно словечко переставить, или какой-нибудь указъ пропустить, какъ бѣлое покажется чернымъ, а черное бѣлымъ; а изъ этого и выходитъ, что челобитчику надобно быть самому на лицо и для рукоприкладства и для иного прочаго. Все-таки лучше, какъ есть кому поклониться, попросить, позабѣжать такъ — знаете?... Ужъ это испоконъ вѣковъ ведется, матушка.

— Илья Сергѣевичъ,—сказалъ Мирошевъ,—у васъ есть близкій родственникъ въ сенатѣ...

— Какъ же! Кириллъ Федосѣевичъ Припекинъ, оберъ-секретарь, батюшка!... Человѣкъ съ вѣсомъ.

— Кабы вы дали мнѣ къ нему письмо.

— Письмо? То есть рекомендательное письмо?... Можно!... Извольте, Кузьма Петровичъ!... Очень радъ!... Очень радъ!... Да, конечно, это будетъ не худо.

— Какъ я вамъ благодаренъ!

— Помилуйте, что такое! Мы съ нимъ люди свои... Я же не то, чтобъ сталъ просить о вашемъ дѣлѣ,—объ этомъ

вы ужь сами его попросите,— я только отрекомендую васъ. Да сдѣлайте милость, чтобъ это осталось между нами!... Не то, чтобъ я опасался, что Курочкинъ будетъ на меня въ претензіи за эту рекомендацію, нѣтъ,—что мнѣ Курочкинъ, помилуйте; да вотъ изволите видѣть: дѣло идетъ о графскомъ интересѣ... обнесутъ меня какъ-нибудь передъ его сіятельствомъ, скажутъ, что я дѣйствую противъ его выгоды... не хорошо!... Нашему брату, ординарному дворянину заѣдаться съ такимъ вельможею не приходится—понимаете?... Неловко!

— Будьте спокойны! Я никому не скажу объ этомъ.

— Сдѣлайте милость!... Да я вѣдь, Кузьма Петровичъ, не даромъ къ вамъ заѣхалъ: во первыхъ, жена моя свидѣтельствуеть всѣмъ вамъ свое почтеніе... Она все что то нездорова; кажется, опять желчь поднялась: никто ей угодить не можетъ, все сердится; а вчера еще больше разстроилась... такой вышелъ случай... Матушка, Марья Дмитриевна, помнится, у насъ была примочка отъ ушибовъ, — живая вода что-ль...

— Есть, Илья Сергѣевичъ.

— Одолжите мнѣ скляночку. Ванечка у меня ушибся.

— Племянникъ вашъ?

— Да, матушка! Сорвался какъ то вчера съ голубятни, да такъ ногу зашибъ, что всю ночь прокричалъ.

— Скажите пожалуйста!... Чтожъ, вамъ теперь дать?

— Нѣтъ, сударыня, мнѣ еще надобно въ Хоперскѣ побывать. Если милость ваша будетъ, пришлите ко мнѣ на домъ съ человѣкомъ, да велите ему подождать; я ужь съ нимъ и рекомендательное письмо къ вамъ доставлю. Прощайте, матушка, Марья Дмитриевна!... Дай Богъ вамъ, Кузьма Петровичъ, всякаго успѣха!... Право, отъ искренней души желаю... Да смотрите же, о письмѣ ни гу-гу!... Пожалуйста, помалчивайте!

— Будьте спокойны.

Вертлюгинъ уѣхалъ, и въ тотъ же самый день, дѣйствительно, доставилъ Мирошеву обѣщанное письмо къ своему дядюшкѣ, Кириллу Федосѣвичу Припекину.

Кажется, не нужно говорить, что первая недѣля поста оказалась весьма коротка для Марьи Дмитриевны, что она и Варенька очень часто плакали. Наконецъ, наступилъ часъ отъѣзда. Я не буду вамъ описывать прощанья Мирошева съ его семействомъ. Какъ нѣкогда вся деревня и дворня

встрѣчали новаго своего барина, точно такъ же провожали его теперь всѣ крестьяне и дворовые; но только тогда это дѣлалось по необходимой обязанности и отчасти по любопытству, а теперь всѣ пришли, какъ дѣти, проститься съ отцомъ своимъ, и всѣ сговорились, проводивъ барина, отправиться въ церковь отслужить молебенъ и просить Господь, да напутствуетъ Онъ его своимъ благословеніемъ. Мамушка Игнатьевна, прощаясь съ Кондратьичемъ, сунула ему за пазуху мѣшечекъ съ мѣдными деньгами и шепнула на ухо:

— На-ка, батюшка, возьми: поставь въ Москвѣ алтынную свѣчу Иверской Божіей Матери, да Спасу Милостивому, да всѣмъ московскимъ угодникамъ по грошевой свѣчѣ; а тамъ, коли что останется, побереги для себя, на чужой сторонѣ все пригодится.

Долго не могъ Кузьма Петровичъ вырваться изъ объятий жены своей и дочери: онѣ цѣловали его, обливали слезами, крестили. Наконецъ, надобно было разстаться. Мирошевъ сѣлъ въ кибитку, Прохоръ помѣстился на облучкѣ.

— Ну, Ерема,—сказалъ онъ кучеру,—съ Богомъ!

Кибитка тронулась.

— Съ Богомъ!—закричали вслѣдъ отъѣзжающимъ крестьяне и дворовые.

Марья Дмитріевна и Варенька не могли ничего выговорить отъ слезъ; Дуняша также рыдала.

— Батюшка ты нашъ, отецъ родной,—проговорилъ староста Паренъ.— Помоги тебѣ Господи и Мать Пресвятая Богородица!... Ну, ребята,—продолжалъ онъ, обращаясь къ крестьянамъ,—теперь въ церковь.

И вся толпа двинулась тихимъ шагомъ и чинно по дорогѣ, ведущей въ село Вознесенское.

## XXVI.

О томъ, какъ весело ѣздить зимою на долгихъ, и что значить у насъ на Руси известное словечко: «что пожалуете!»

Если вамъ случалось ѣздить зимою верстъ за шестьсотъ на долгихъ, и вы въ продолженіе этого безконечнаго путешествія не позавидовали ни разу суркамъ, которые спятъ безъ просыпу по нѣскольку мѣсяцевъ сряду, то ужъ тогда

я позавидую вашему терпѣнію. Плестись нога за ногу по снѣговой пустынѣ, любоваться съ утра до вечера на голыя деревья, обвѣшанныя инеемъ, не видѣть ни рѣкъ, ни озеръ, не различать вдали бѣлаго неба съ бѣлою землею, въ оттепель тонуть на каждомъ шагу въ зажорахъ, въ морозъ зябнуть по нѣскольку часовъ сряду, и потомъ отогрѣваться или въ курной избѣ, въ которой вы задыхаетесь отъ дыму, или въ холодной свѣтлицѣ, въ которой морозятъ таракановъ,—все это вовсе не забавно, и все это ничего въ сравненіи съ другимъ, необходимымъ мученіемъ всякаго зимняго путешественника, если онъ ѣдетъ въ нашей русской незагнѣивой кибиткѣ, нагруженной до верху чемоданами, периной, подушками, однимъ словомъ, всѣмъ тѣмъ, безъ чего у насъ и теперь еще не пускаются въ дальнюю дорогу. Въ такой кибиткѣ сидѣть нельзя: въ ней должно лежать, и, надобно сказать правду, лежать въ ней очень спокойно. Если ваше путешествие продолжается одну только ночь, то вы, вѣрно, не промѣняете этого лубочнаго экипажа съ рогожнымъ верхомъ ни на какой щегольской дормезъ; но лежать нѣсколько дней, а иногда нѣсколько недѣль сряду, лежать, когда вы чувствуете себя совершенно здоровымъ,—да это такое наказаніе, что не приведи, Господи! Я испыталъ на себѣ всю прелесть этого дорожнаго *far niente*. Первые сутки проходили у меня обыкновенно въ размышленіяхъ: я вспоминалъ о прошедшемъ, думалъ о настоящемъ, мечталъ о будущемъ. Наконецъ, бывало, какъ все передумаю, начну разсматривать рогожный потолокъ кибитки, который опускается раздавленнымъ сводомъ надъ моею головою; потомъ, чтобъ разнообразить свои удовольствія, гляжу въ затылокъ ямщику и замѣчаю, которая изъ пристяжныхъ помогаетъ дружище коренной тащить мою повозку; то полежу на спишь, то прилягу на лѣвый бокъ, то повернусь на правый, о вотъ на третьи сутки это непрерывное лежанье до того мнѣ надоѣстъ, что я, несмотря на трескучій морозъ, рѣшусь, наконецъ, присѣсть на облучкѣ; но черезъ нѣсколько минутъ у меня прозябнуть ноги; я пойду пѣшкомъ, чтобъ согрѣть ихъ... опять бѣда: хорошо ходить пѣшкомъ въ легкомъ и свободномъ платьѣ; но я навьюченъ какъ верблюдъ, на мнѣ около пуда всякой мягкой рухляди; ноги мои не успѣютъ еще порядкомъ согрѣться, а я ужъ задохнулся. Дѣлать нечего: ложись опять на перину и принимайся снова смотрѣть въ спину ямщику или считать ряды въ цыновкѣ,

которою обита внутренность твоей кибитки. Весело, что и говорить,—очень весело!

Кузьма Петровичъ былъ терпѣливѣе меня: цѣлыхъ девять дней онъ пролежалъ спокойно въ своей кибиткѣ; такъ же, какъ и я, переворачивался съ боку на бокъ, думалъ, мечталъ, глядѣлъ на пристяжныхъ и разсматривалъ спину своего кучера; но подъ конецъ и его терпѣвнѣе кончилось. Въ десятый день, когда оставалось только двѣ упряжки до Москвы, Кузьмѣ Петровичу до того стало скучно лежать и не говорить ни слова, что онъ рѣшился пригласить Кондратьича, который сидѣлъ на козлахъ, переселиться къ нему въ кибитку.

— Эй, Прохоръ!—закричалъ онъ, высунувъ изъ подъ кибиточнаго лучка свою голову.

— Что, батюшка, Кузьма Петровичъ!—спросилъ Кондратьичъ, сдѣлавъ полуоборотъ направо.

— Да что ты все сидишь съ Еремомъ?

— А гдѣ же мнѣ сидѣть, сударь?

— Прилягъ ко мнѣ въ кибитку.

— Что вы, батюшка, помилуйте! Что я за свинья такая: лягу я съ вами рядышкомъ!

— Да у тебя, чай, спина болитъ?

— Ничего, сударь. Вотъ, Богъ дастъ, приѣдемъ въ Москву, такъ я схожу въ баню, да распарю свои косточки. Эй вы, сердечныя!... Трогай лѣвую то пристяжную, Ерема: вишь, она ничего не везетъ!

Разговоръ прекратился. Помолчавъ нѣсколько минутъ, Мирошевъ закричалъ опять:

— Эй, Прохоръ!

— Чего изволите?

— Ложись въ кибитку.

— Воля ваша, сударь, не лягу!

— Да мнѣ, Кондратьичъ, случно все лежать да молчать; мы бы поговорили. Ложись!

— Совѣстно, Кузьма Петровичъ. Ну, какъ это можно... помилуйте.

— Полно, братецъ, что за совѣсть въ дорогѣ?

— Оно такъ, сударь: въ дорогѣ и отецъ сыну товарищъ; да мнѣ, право, какъ то зазорно...

— Эхъ, Прохоръ, надоѣлъ! Ложись, говорятъ тебѣ!

— Ну если вы приказываете, такъ дѣлать нечего.



Прохоръ подлѣзъ подъ рогожный верхъ кабитки и прилежъ бочкомъ подлѣ своего барина.

— Что то, Прохоръ, у насъ теперь въ Хопровкѣ дѣлается?—сказаль Мирошевъ.

— Богъ милостивъ, батюшка,—отвѣчалъ Кондратьичъ:— чай, все по добру, по здорову. Я боюсь только за старосту Пареена.

— А что такое? Вѣдь онъ старикъ добрый.

— Конечно, не злой, да такой рахманный, что не приведи, Господи. Теперь покажѣсть ничего, а вотъ какъ работа начнется, такъ врядъ ли онъ справится. При насъ онъ еще бредеть кой-какъ, а безъ насъ лучше было бы вамъ поставить старостою Луку Андреева.

— Что ты, Прохоръ,—пьяница!

— Пьянъ, да исправенъ, сударь. У него и дуракъ не хуже умнаго свое дѣло справить; а дураковъ то въ Хопровкѣ не занимать стать.

— Ихъ, Прохоръ, вездѣ много; да за то, я думаю, и ладить то съ ними легче, чѣмъ съ умными.

— Легче?... Что вы, батюшка! Случалось ли вамъ бывать на крестьянскихъ сходкахъ?

— Нѣтъ, не случалось.

— А я бываль. Вотъ тутъ то, батюшка, посмотрѣли бы вы, какъ дураки то гарцуютъ. Вѣдь дѣло извѣстное: передъ народомъ тотъ и правъ, кто громче кричитъ; а вѣдь дураки то, сударь, какъ нарочно всѣ преголосистые. Одинъ заоретъ, а другіе подхватятъ; не успѣешь оглянуться, а ужъ ихъ цѣлая ватага. Вѣдь они, сударь, всѣ другъ за друга стоятъ. Попытайся ка только съ однимъ дуракомъ схватиться, откуда возьметса ихъ видимо-невидимо, такъ и налетятъ со всѣхъ сторонъ! «Куда, ребята; что вы за люди такіе?» — «Дураки, дескать, — бѣжимъ выручать товарища!» Нѣтъ, сударь: куда смирному человѣку во зиться съ дураками; съ ними надобно горло, да горло, а подчасъ и дубинку! А Пареевъ что? Его всякая баба загоняетъ.

— И, Прохоръ, что объ этомъ думать? Пошло бы только хорошо въ Москвѣ, а дома какъ-нибудь справимся... Да что это намъ Москва то не дается?... Вдемъ, вдемъ...

— Должно бы, кажется, сегодня прѣвхать.

— Посчастливится ли намъ, Прохоръ, хоть въ Москвѣ то?

— Авось, батюшка! Богъ милостивъ! Помните ли, какъ мы, лѣтъ девятнадцать тому назадъ, ѣхали съ вами также въ Москву? Что у насъ было тогда впереди? Ничего! У меня въ кошнѣ пусто, да и у васъ въ карманѣ то хоть въ горѣлки играй. А на кого была надежда? Все-таки на Бога. Теперь мы, по крайней мѣрѣ, знаемъ, зачѣмъ ѣдемъ въ Москву; а тогда ѣхали такъ—на удачу, да и наткнулись на Хопровку. Эхъ, батюшка, доброму человѣку Богъ невидимо помогаетъ!

— Правда, Прохоръ, правда! Не знаю, добрый ли я человѣкъ, а какъ взглянешь назадъ,—подлинно, Богъ никогда меня не покидалъ. Я остался круглымъ сиротою, безъ всякаго пристанища; а дай, Господи, каждому дожить до моихъ лѣтъ, какъ я дожил!

— Конечно, сударь, конечно! И еслибъ Господь не наслаждал на насъ этого мошенника Курочкина...

— Почему знать, можетъ быть, и это къ лучшему?

— Къ лучшему! Что вы, помилуйте!... Да коли и нашъ верхъ будетъ, такъ мы все-таки не воротимъ того, что истратили. Отъ васъ, батюшка, все станется! вы, пожалуй, не захотите взыскать съ Курочкина за протори и убытки?

— Сохрани, Боже!... Стану я заводить новое дѣло!

— Вотъ то то же, сударь! А мало ли мы казны потратили? Да еще впереди сколько харчей будетъ!... Пиши—все пропало! Такъ изъ этого, батюшка, и выходить, что коли Господь Богъ и постоитъ за наше правое дѣло, а все бы лучше, еслибъ вамъ не зачѣмъ было ѣхать въ Москву.

— Нѣтъ, Прохоръ, не говори! Мало ли что для насъ кажется бѣдою и несчастьемъ, а глядишь—выйдетъ совсѣмъ другое. Помнишь, какъ бывший сослуживецъ Фурсиковъ сдѣлался моимъ командиромъ, сталъ гнать меня безъ всякой причины и заставилъ наконецъ подать въ отставку? Ты и тогда говорилъ тоже самое: «Чѣмъ мы прогнѣвали Господа, за что Онъ послалъ на насъ этого злодѣя? Если бъ не онъ, такъ вы бы, Кузьма Петровичъ, служили да служили!»... Ну, а чтобы изъ этого вышло?

— А Богъ знаетъ, сударь. Вѣдь хуже бы отъ этого не было. Вы не скоро бы провѣдали, что вамъ досталось наследство, а все-таки Хопровка отъ насъ бы не ушла.

— А женился ли бы я тогда на Марьѣ Дмитриевнѣ?

— Да-съ, наврядъ бы. Вѣдь черезъ недѣлю послѣ вашей отставки полкъ выступилъ въ походъ, и вотъ ужъ сколько

годовъ, какъ о немъ въ нашей сторонѣ и слуху и духу нѣтъ. А что, сударь, чай, ужъ теперь въ нашемъ полку то никого изъ прежнихъ служивыхъ не осталось?

— Можетъ быть и есть кто-нибудь изъ офицеровъ.

— Полно, есть ли? Чай, ихъ всѣхъ разогналъ этотъ выскочка Фурсиковъ. Экій озорникъ, подумаешь! Кого онъ только не обижалъ? И добро бы ужъ тогда, какъ его произвели въ начальники; то дѣло другое: передъ командиромъ всякій безъ вины виноватъ; а то еще какъ былъ простымъ офицеромъ, такъ и тутъ отъ него никому житья не было. А вѣдь не то, чтобъ храбраго десятка. Однажды при мнѣ онъ наскочилъ на Костоломова, такъ тотъ его такъ пугнулъ, что онъ и мѣста не нашель. Вы изволите помнить Костоломова?

— Какъ же не помнить: мы съ нимъ служили въ одномъ эскадронѣ.

— Вотъ, сударь, былъ бравый офицеръ! Весельчакъ, гуляка, а вѣдь предобрый.

— Да, это правда; жаль только, что попивалъ.

— Такъ что жъ за бѣда, сударь? Пилъ, да ума не пропивалъ; а вѣдь не даромъ говорится: «кто пьянъ, да уменъ, два угодыя въ немъ». Бывало, Фурсиковъ натянется, такъ ужъ къ нему и не подходи—словно цѣпная собака; не успѣлъ выпить третьей чарки и пошелъ ко всѣмъ придираться. А Костоломовъ какъ хватить, бывало, порядочную красаулю, такъ весь на распашку,—что хочешь бери, со всѣми другъ и пріятель! Начнетъ крутить усы, подбоченится—и пошла потѣха! Помните ли, въ Польшѣ: нагонять жидовъ, на цымбалахъ, на скрипцахъ,—плясуны, пѣсельники!... Валяй, да и только!.. А какъ самъ пораспотѣшится, да крикнетъ: «подымай выше», да подхватить панночку, да начнетъ съ ней краковяку... тѣфу ты батюшки, дымъ коромысломъ!.. Что и говорить—залихватскій малый!.. А ужъ, бывало, обидѣтъ ни за что никого не обидить!

— Полно, такъ ли, Прохоръ? Мнѣ помнится, онъ иногда...

— Ну что, сударь?.. Жида за песики оттаскаетъ, нѣмцу дастъ подзатыльникъ? Эка важность! А если надобно кому помочь, такъ первый то кто? Костоломовъ!... Помните ли, какъ мы проходили Польшу и Фурсиковъ, для потѣхи, застрѣлили у жида корову?.. Бѣдный жидокъ такъ и завопилъ! Вы дали ему рубль, а Костоломовъ отдалъ послѣдніе

три рубля, да распозорилъ Фурсикова на чемъ свѣтъ стоять! Въ другой разъ, когда мы проживали въ Нѣметчинѣ, раасердилъ его чѣмъ то хозяинъ; Костоломовъ сгоряча съзидилъ его по затылку; а послѣ что?.. Покуда мы въ этой деревнѣ стояли, каждый день давалъ ему на шнапсъ!.. Нѣтъ, сударь, добрый былъ баринъ, добрый!

— Конечно, въ немъ много было хорошаго, и если-бъ онъ не былъ такимъ гулякою...

— Гулякою!... Что гульба, сударь! Вотъ какъ нашъ братъ старикъ начнетъ не въ мѣру гулять, такъ что и говорить,—стыдно! А народъ молодой, служивый, въ походѣ... Эхъ, сударь, сударь, кто бабушкѣ не внукъ?

— Вотъ мы теперъ о немъ разговорились, Прохоръ, а живъ ли онъ?

— Богъ знаетъ, Кузьма Петровичъ! Вѣдь, кажется, въ послѣднее сраженіе онъ тяжело былъ раненъ?

— Да, очень тяжело. Онъ остался въ Пруссіи, и какъ я вышелъ въ отставку, такъ о немъ еще не было въ полку никакого извѣстія.

— Видно, сердечный, положилъ свои косточки на чужой сторонѣ. Дай Богъ ему царство небесное! Да и вѣрно Господь его помилуетъ. Всѣ мы, батюшка, грѣшники, всѣ родимся и живемъ во грѣхахъ; да не у всякаго бываетъ такая простая душа, какъ у него. Добрый былъ человѣкъ, добрый!.. Ерема, что близко до деревни?

— Недалеко, Прохоръ Кондратьичъ,—отвѣчалъ кучеръ.—Вонъ и околица.

— А что, мы отъ ночлега то верстъ двадцать пять отъѣхали?

— И всѣ тридцать будетъ.

— Такъ не покормить ли намъ въ этой деревнѣ, Кузьма Петровичъ?

— Пожалуй. А что это, Ерема, село что-ль?

— Село, сударь, и кажись большое.

— Такъ вѣрно есть постоянные дворы. Какъ въѣдешь въ улицу, остановись у перваго.

— Слушаю, сударь.

Когда наши дорожные въѣхали въ селеніе, Прохоръ вылъзъ изъ повозки. Въ одну минуту окружила его цѣлая толпа *засывальщиковъ*; въ числѣ ихъ было нѣсколько бабъ и мальчишекъ: ихъ пискливые и пронзительные голоса рѣзко отдѣлялись отъ охриплыхъ и дрожащихъ голосовъ

сѣдыхъ стариковъ и старухъ, которые, несмотря на свою дряхлость, не менѣе другихъ суетились и приставали къ пробѣжающимъ.

— Милости просимъ, господа честные, сюда,—у меня изба со свѣтлицею!...

— Полно, бабушка, не хвастай, что за свѣтлица,—чуланъ съ окномъ! Пожалуйте, батюшка, къ намъ: изба бѣлая, дворъ знатный, подъ навѣсомъ...

— Не слушайте его—вретъ: дворишка маленькій! Къ намъ милости просимъ: сѣно важное, овесъ отличный—овинный! Вотъ посмотрите!... Осетрина свѣжая... похлебка съ рыбой!...

— Господа честные, господа честные, милости просимъ!.. Вонъ подлѣ церкви!... У насъ все есть: калачи московскіе, бѣлужина, а ужъ просторъ то какой—просторъ!...

— Что ты господь то морочишь, колотовка: изба биткомъ набита! Не слушайте ее, пожалуйста сюда!..

— Баринъ, баринъ!... Дядюшка, наша изба лучше всѣхъ!...

— Ахъ ты щенокъ этакій, избенка на боку! Нѣтъ, хозяинъ, милости просимъ къ намъ—Андронъ Прокофьевъ,—насъ всѣ знаютъ: всѣ господа и купцы у насъ останавливаются!..

— Да, да, всѣ купцы! А что ты съ нихъ дерешь то, жидъ этакій?..

— Ну, не ругайся же... смотри!.. Пожалуйте, пожалуйста!

Прохоръ, какъ человекъ бывалый, далъ имъ сначала накричаться досыта, потомъ спросилъ старика, который приставалъ къ нему менѣе другихъ, о цѣнѣ овса и сѣна, торговался съ нимъ за ужинъ и постой, и наши дорожные въѣхали наконецъ на обширный крытый дворъ большой двухъ-этажной избы съ красными окнами.

— Что это за повозка, хозяинъ?—спросилъ Мирошевъ, выльзая изъ кибитки.

— Пробѣжій, батюшка.

— Одинъ?

— Одинъ со слугою. Да ты не бойся, кормилецъ: будетъ всѣмъ мѣсто, изба большая; а коли угодно, такъ у меня и другая изба есть!

Кондратьичъ остался при повозкѣ, а Кузьма Петровичъ вошелъ въ избу. За столомъ подъ образами сидѣлъ муж-

чина лѣтъ пятидесяти; на немъ былъ надѣтъ на распашку овчинный калмыцкій тулупъ, крытый китайкою. Красный шейный платокъ лежалъ передъ нимъ на столѣ вмѣстѣ съ огромными томпаковыми часами и табачнымъ, въ серебряной оправѣ, рожкомъ изъ черной кости. Этотъ проѣзжій по виду казался человѣкомъ сильнымъ и здоровымъ; полное, румяное лицо его выражало безпечную веселость, простодушіе и доброту. Когда Кузьма Петровичъ вошелъ въ избу, проѣзжій, окончивъ свой обѣдъ, запивалъ его чаркою водки, которая въ дорожной флягѣ стояла подлѣ него на скамьѣ. Онъ очень вѣжливо размѣнялся поклономъ съ Мирошевымъ и, обратясь къ хозяину, который также вошелъ въ избу, сказалъ:

- Ну что, старина, слуга мой поѣлъ?
- Поѣлъ, батюшка,—отвѣчалъ хозяинъ.
- А ямщикъ управился?
- Сейчасъ станетъ впрягать: повель лошадей поить.
- Добре!.. А за мой обѣдъ что?
- Что, батюшка, пожалуешь.
- Эхъ, братецъ, терпѣть не могу ваше: «что пожалуешь!» Говори толкомъ, что тебѣ надобно?
- Да что, кормилецъ... воля твоя, что пожалуешь!
- Охъ вы, большедорожники! Съ вами ничего нельзя безъ уговора. «Что пожалуешь!»—а самъ нарвится взять втрое.
- Что ты, батюшка! Да развѣ я нехристь какая?... Ужь и втрое!..
- А что, небось, только вдвое?.. Ну, говори же проворнѣй: что тебѣ за мой обѣдъ надобно?
- Что пожалуешь.
- Фу ты пропасть, наладилъ одно да одно! Ну, слушай: я щей похлебаль, бѣлужины поѣлъ, каши съ масломъ... ну, что за все?
- Что пожалуешь.
- Постой же ты, старый хрѣнъ, — вскричалъ проѣзжій, — я тебя отучу говорить «что пожалуешь». На вотъ тебѣ,—продолжалъ онъ, вынимая изъ кармана мѣдную копѣйку;—вотъ тебѣ за обѣдъ.

Старикъ взялъ копѣйку, положилъ ее преспокойно въ свою кошну и, отвѣсивъ низкій поклонъ, сказалъ:

- И тѣмъ довольны, батюшка!
- Да что ты думаешь, я шучу что-ль? — спросилъ

проѣзжіи, взглянувъ съ удивленіемъ на хозяина. — Слышишь ли, я не дамъ тебѣ ни полушки больше этого!

— Слышу, кормилецъ!

— Впередъ не говори «что пожалуешь». Ну что, на дворѣ то какъ?

— Да больно сиверко, батюшка; не по времени.

— Намъ, кажется, ѣхать лѣсомъ?

— Какой лѣсъ, баринъ!.. Такъ, лѣсишка рѣденькій, прогонистый, кой-гдѣ деревцо. Вотъ около Москвы такъ лѣсу довольно; только, бають, дорога такая, что не приведи Господи! Нырнешь въ ухабъ, такъ свѣту Божьяго не видно.

— Поторопитесь же пріѣхать за свѣтло въ Москву. Поди ка, хозяинъ, скажи, чтобъ мнѣ поскорѣ лошадей закладывали.

Старикъ не трогался съ мѣста, пожимался и молча чесалъ у себя въ затылкѣ.

— Ну, чего дожидаяешься? — продолжалъ проѣзжіи. — Вѣдь мы съ тобой разсчитались?

— Не совсѣмъ еще, кормилецъ, — сказалъ старикъ: — ты заплатилъ за обѣдъ, а за постой то?

— За постой?.. Ну, что ты хочешь?

— Полтинничекъ надобно, баринъ.

— Полтинникъ?!.. Что ты, въ умѣ ли?

— Вѣстимо, батюшка, что и говорить — маленько! Надобно бы цѣлковенькій, да ужъ такъ и быть, — баринъ то ты добрый!..

— Да я нигдѣ и съ обѣдомъ больше пятналтыннаго не платилъ.

— Всяко бываетъ, батюшка, — каковъ уговоръ.

— Всяко бываетъ, батюшка, — каковъ уговоръ.

— И ты думаешь, что я тебѣ заплачу?

— А коли не заплатишь, баринъ, такъ я и со двора не спущу.

— Не спустишь со двора! — вскричалъ проѣзжіи, и глаза его засверкали. — Ахъ ты, козлиная борода! Полтинникъ за постой!

— За что гнѣваться изволишь, господинъ честной? — продолжалъ спокойно старикъ. — Вѣдь я не спорилъ съ тобой, какъ ты пожаловалъ мнѣ за обѣдъ копѣчку? Ты о постоѣ со мной не уговаривался, а я за ѣду сказалъ тебѣ: что пожалуешь; такъ оба мы вольны: ты платитъ за

объдъ, что хочешь, а я братъ за постоя, что мнѣ вѣдуется.

Проѣзжій замолчалъ; на лицѣ его изобразились попрежнему спокойствіе и безпечная веселость; онъ улыбнулся и сказалъ:

— Правда, правда, самъ сплеховаль!... Ну, старина, поддѣль ты меня... Нечего дѣлать!... На, вотъ тебѣ полтинникъ!

— Покорнѣйше благодарю, батюшка! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать!

— Ну ужъ вы подмосковные мужички! Дать бы вамъ каждому жиденка по два на выучку, то-то-бы пошла порода!

— И, кормилецъ, чему жидамъ у насъ учиться? Мы народъ простой, безграмотный.

— Добро, добро, старикъ, рассказывай!... Нѣтъ, любезный, знаю я васъ!.. Кто вашего брата проведетъ, тотъ двухъ дней не проживетъ.

— И, батюшка, гдѣ намъ! Да насъ глупыхъ людей походя всѣ обманываютъ.

— Да, какъ же — обманешь васъ! Нѣтъ, братъ, не даромъ есть поговорка: «Цыгана обманетъ жидъ, жида обманетъ русскій мужичекъ, а ужъ русскаго то мужичка самъ чортъ не проведетъ».

— Ахъ ты, баринъ-батюшка, какой ты затѣйникъ!

— Ну, ступай, старинушка, ступай! Скажи, чтобъ закладывали проворнѣй.

— Разомъ запрягутъ, кормилецъ, разомъ!—сказалъ хозяинъ, переминаясь попрежнему на одномъ мѣстѣ и почесывая въ головѣ.

— Ну, чтожъ ты нейдешь? — закричалъ проѣзжій.— Ступай!

— Да какъ же, батюшка,—промолвилъ старикъ съ низкимъ поклономъ:—за постоя ты изволилъ заплатить, а за тепло то что!

— За тепло?.. За какое тепло?

— А какъ же? За постоя, батюшка, ты и лѣтомъ бы заплатилъ, а теперь зима.

— Такъ чтожъ?

— Какъ что?... Вѣдъ я избу то не даромъ топлю: вѣдъ у насъ дрова покупныя. Двугривенный надобно, кормилецъ.



— Двугривенный?!—повторилъ проѣзжій, вставая.

— Эхъ, баринъ, баринъ, — продолжала спокойно хозяйнѣ, — что тебѣ двугривенный? Да я еще дешево попросилъ съ твоей милости, — промолвился!

— Ахъ ты ненасытная утроба, бездѣльникъ ты этакій!.. Да что вы, разбойники, въ самомъ дѣлѣ! Иль вамъ здѣсь воля на большихъ то дорогахъ грабить проѣзжающихъ?... Да что, на васъ управы что-ль нѣтъ?

— Да вѣдь, батюшка, это дѣло полюбовное. Не прогнѣвайся, уговору не было, а всякій у себя въ дому хозяйнѣ.

— Право?.. Погоди же, дружокъ! — прервалъ проѣзжій. — Если на тебя управы нѣтъ, такъ я и самъ съ тобой управлюсь.

— Да ты, баринъ, не буянъ, — сказалъ старикъ, отступя шагъ назадъ. — Вѣдь здѣсь не глушь какая; здѣсь нахрапомъ ничего не возьмешь.

— А вотъ я тебя, мошенникъ! — вскричалъ вспылчиво проѣзжій, схвативъ хозяина за воротъ.

— Тихе, тихе! — сказалъ Миропевъ, который во все это время всматривался въ проѣзжаго. — Полно, Егоръ Васильевичъ, — не горячись!

Проѣзжій кинулъ хозяина, взглянулъ пристально на Кузьму Петровича и съ радостнымъ крикомъ бросился къ нему на шею

## XXVII.

Разговоръ двухъ сослуживцевъ. Старый холостякъ.

— Дядюшка Миропевъ! Ты ли это? — проговорилъ наконецъ проѣзжій, обнимая, или, вѣрнѣй сказать, давя въ своихъ объятіяхъ Кузьму Петровича.

— Ну да, Костоломовъ, это я, твой старый сослуживецъ.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ!... Здравствуй, товарищъ!

И Костоломовъ принялся опять душить Миропева.

— Да полно, братецъ, перестань! — сказалъ Кузьма Петровичъ, стараясь высвободиться изъ объятій своего джюгаго однополчанина. — Ну, прямой ты Костоломовъ, — всѣ кости переломаль!

— Да я, братецъ, такъ радъ, что и сказать нельзя!... Легко ли, безъ малаго двадцать лѣтъ!... Да ты вовсе не пе-

ремѣнился; сталь подороднѣе и посѣдѣлъ немножко... Ахъ, ты, мой голубчикъ!... Ну, не ожидалъ я такой радости!... Сядемъ-ка, братъ, рядомъ, да поговоримъ ладкомъ... А ты что стоишь?—продолжалъ Костоломовъ, обращаясь къ хозяину.—На, вотъ тебѣ двугривенный!... Подайись имъ! .

— Много благодарны вашей милости!.. А что, баринъ, на водку то пожелаешь?..

— На водку!.. Ахъ, ты, старичишка окаянный!.. Да згинь ты съ глазъ, проклятый!..

— Иду, кормилецъ, иду! Сейчасъ велю запрягать твою повоаку.

Старые сослуживцы усѣлись на скамѣѣ подь образа. Костоломовъ помялъ еще раза два Мирошева, и наконецъ, когда первый восторгъ его миновалъ, спросилъ, куда онъ ѣдетъ?

— Въ Москву,—отвѣчалъ Мирошевъ.

— И я туда же!.. Такъ мы попутчики. Знаешь ли что, дялюшка: или ты садись ко мнѣ въ кибитку, или я къ тебѣ сяду,—да такъ и поѣдемъ до Москвы

— А что и въ самомъ дѣлѣ, Егоръ Васильевичъ!... Садись ко мнѣ: у меня повозка просторная.

— Добре!... Ну что, братъ Кузьма, какъ поживаешь, что подѣлываешь?

— Слава Богу, живу понемножку.

— А гдѣ твое житье-бытье?

— Въ Новохоперскомъ уѣздѣ.

— Что у тебя, деревня что-ль есть?

— Есть небольшая деревнишка.

— И мнѣ также, братъ, дворовъ тридцать послѣ батюшки досталось, въ пяти верстахъ отъ Сапожка. Деревенька хоть куда!... Ну что, дялюшка, ты, чай, ужь давно завелся хозяйкою?

— Да, вотъ скоро девятнадцать лѣтъ.

— И дѣтки есть?

— Одна дочь. А ты, Егоръ Васильевичъ, женатъ?

— Нѣтъ еще, братецъ; все собираюсь.

— Смотри, не опоздай.

— Эхъ, дялюшка, полно, не опоздалъ ли?... Прежде я самъ не хотѣлъ жениться, а теперь за меня никто нейдетъ.

— Помилуй, Егоръ Васильевичъ, да ты еще молодецъ!

— Нѣтъ, братъ, укатали коня крутыя горки!... Нѣтъ, братъ, ужь теперь не то!... Помнишь ли, бывало, въ ста-

рину?.. Э, да что объ этомъ говорить! Мало ли что было, да былѣмъ поросло!

— Ты вѣдь, кажется, Егоръ Васильевичъ, былъ тяжело раненъ и оставался въ Пруссіи?

— Да, братецъ, чуть не умеръ; мѣсяцевъ шесть провалялся, а тамъ сталъ чахнуть: однѣ кости да кожа остались. Вотъ, думаю: «Плохо дѣло, не хочется умирать на чужой сторонѣ; дай, попытаюсь,—авось доѣду какъ-нибудь до матушки святой Руси». Потацился на нѣмецкихъ форшпанахъ, доѣхалъ до нашей границы; это было зимою. Что жъ ты думаешь, братецъ? Какъ повѣяло на меня русскимъ духомъ, да прохватило морозцемъ, такъ вовсе не тотъ сталъ: откуда взялись и бодрость и сила! Я прожилъ еще на покоѣ мѣсяца два у батюшки, да и явился опять на службу. Ну, братъ, не узналъ я нашего полка! Старыхъ офицеровъ почти никого, солдатъ также; а что хуже то всего—Фурсиковъ командиромъ! Прослужилъ я этакъ около года: отъ начальника житья нѣтъ; товарищи или молоко-сосы, или командирскіе наушники, или такъ же, какъ я, въ загонѣ. Тошно стало!... Добро бы еще я могъ отвести душу, да какъ, бывало, въ старину, плюнуть Фурсикову въ рожу; нельзя,—командиръ! Нечего дѣлать,—подалъ въ отставку. Пріѣхалъ домой: покойный батюшка лежитъ на столѣ. Грустно, братецъ, стало, больно грустно! Вѣдь онъ у меня былъ одинъ-одинехонекъ: ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ. Ну, дѣлать нечего! Поплакалъ, похоронилъ родного, остался на житье въ деревнѣ и занялся хозяйствомъ. Вотъ этакъ черезъ годъ надоѣло мнѣ сидѣть, зимою поджавши руки, а лѣтомъ присматривать съ утра до вечера за работою; началъ я знакомиться съ сосѣдями, завелъ себѣ двухъ борзыхъ, да лихого горскаго коня, сталъ ѣздить въ отъѣзжія поля, травить зайцевъ; — пошла потѣха!.. Охотничья жизнь какъ будто бы на военную стать: и ночь не доспишь, и поздно ляжешь, и на плащѣ въ чистомъ полѣ отобѣдаешь, цѣлый день на конѣ, то подъ дождемъ, то на солнышкѣ—славно! У моихъ товарищей-охотниковъ у кого была дочка на возрастѣ, у кого сестрица въ законныхъ лѣтахъ. Вотъ и стали ко мнѣ свахи похаживать: «и та хороша, и эта пригожа»; а я думаю: «Что торопиться? Успѣю еще навязать себѣ жену на шею!» Откладывалъ, да откладывалъ, годъ за годъ; глядь-поглядь—еже, ужъ мнѣ гораздо ва сорокъ! Пора завестись хозяйкою; ужъ этакъ, знаешь ли,

въ зимній то вечерь и скучненько,—не съ кѣмъ слова перемолвить. Конечно, холостая жизнь вольная: дѣлай, что хочешь, ступай, куда задумается; дома тебя никто не ждетъ, ребятишки не плачуть,—чего бы кажется? Анъ нѣтъ, любезный!... Случилось мнѣ раза два-три прихворнуть,—охъ, тошно, братецъ! Поль-имѣнья бы отдалъ, чтобъ возлѣ меня сидѣла жена, да играли дѣточки.

— Да, Егоръ Васильевичъ, я думаю, и здоровому то подчасъ грустно бываетъ?

— Не приведи Господи!... Бывало, пригласить меня съ собою какой-нибудь сосѣдъ заѣхать къ нему съ поля; посмотришь: въ домѣ все убрано, чисто, жена дожидается за самоваромъ, дѣти бѣгутъ къ нему навстрѣчу; онъ одѣляетъ ихъ заячьими лапками,—шумъ, гамъ, весело, живо!.. А меня холопъ съ пьяной рожей встрѣчаетъ, ключница съ заспанными глазами; вездѣ пыль, соръ, беспорядица; въ передней конюшня, въ столовой мальчишки въ козлы играютъ, — срамъ да и только! Вотъ я, наконецъ, рѣшился посвататься за одной вдовушкой, лѣтъ двадцати пяти. Женщина такая бойкая, веселая, хохотунья, глаза черные, бровь дугою — король-барыня! Она меня выслушала, улыбнулась и сказала, что будетъ отвѣчать письменно.

— Чтожь она тебѣ отвѣчала?

— Да что, братецъ: отказъ какъ шесть! «Вамъ, дескать, батюшка, Егоръ Васильевичъ, безъ малаго пятьдесятъ годовъ, а мнѣ съ небольшимъ двадцать; впрочемъ, я, дескать, васъ очень уважаю, и если вы будете женаты, какъ я стану выходить замужъ, такъ прошу васъ заранѣе въ посаженные отцы». Что будешь дѣлать?... Какъ не солоно хлебаль!

— Я думаю, это весьма тебя огорчило?

— Нѣтъ, братецъ, не скажу. Вдовушка то не то, чтобъ очень пришлась мнѣ по сердцу,—а такъ, жениться больно захотѣлось; она же была у меня подъ руками, въ двухъ верстахъ... Нѣтъ, братъ, горе то было впереди!

— А что такое?

— А вотъ что: изъ моихъ сосѣдей дружнѣе всѣхъ жилъ со мною Петръ Никитичъ Пышкинъ, также нашъ братъ—старый кавалеристъ. У него была дочка Настенька, лѣтъ двадцати, не то, чтобъ красавица, а такая миловидная, что вотъ такъ бы съ нея глазъ и не сводилъ,—скромная, тихая. Матушка ея, предобрая барыня, любила меня какъ родного; а объ отцѣ и гозорить нечего: мы съ нимъ жили душа въ

душу. За дочкой больно ухаживалъ одинъ молодчикъ, по имени Иванъ Михайловичъ, а по фамили Рындиковъ, сынъ бѣднаго дворянина, который служилъ въ Сапожкѣ уѣзднымъ засѣдателемъ. Правда, Пышкины не очень его баловали, да и Настасья Петровна не была съ нимъ въ полувину такъ ласкова, какъ со мною. Разумѣется, братецъ, мнѣ самому и въ голову не пришло бы приволокнуться за этой барышней: ужь коли вдова забрала мнѣ затылокъ, такъ чего ждать отъ дѣвицы?... Да вотъ изволишь видѣть: я сталъ замѣчать, что она больно умильно на меня поглядываетъ, а къ тому же и батюшка начнетъ иногда говорить такіе обиняки, и матушка туда же... Вотъ, братецъ, у меня по-немножку, да по-немножку и засѣло въ головѣ. Бывало, я выдаюсь съ Настасьей Петровной раза три-четыре въ недѣлю, а тамъ ужь сталъ иногда и по два раза въ день завертывать.

— Что вижу, Егоръ Васильевичъ, ты въ нее влюбился?

— Влюбился?... Что влюбился!... Я съ молоду часто влюблялся,—да нѣтъ, дядя, это совсѣмъ не то. Я врѣзался по уши; только о ней и думаю... Засыпаю—Настасья Петровна; проснусь—Настасья Петровна!... Такой грѣхъ, братецъ: молиться начну—Настасья Петровна! Вотъ однажды уговорили меня ѣхать въ отъѣзжее поле верстъ за двадцать. У меня былъ полвопѣгій кобель, Буянъ, — диковинная собака: какой бы ни былъ русакъ, съ первой угонки какъ пить дать!... Насъ охотилось этакъ помѣщиковъ съ полдюжины: у одного была стая гончихъ, у двухъ-трехъ отличныя борзья, въ томъ числѣ у Пышкина. Травятъ безъ меня: собаки рѣзвыя, со мною—всѣ тупицы; лишъ только атукнуть, да указать косога, мой Буянъ изо всѣхъ собакъ какъ свѣчка затеплится! А Пышкинъ такъ и выходитъ изъ себя... Вотъ мы охотимся день, охотимся другой; въ первый я заполевалъ шесть русаковъ, во второй затравилъ лису... Ну, какъ бы не тѣшиться? Нѣтъ, не то на умѣ!... На третій день чѣмъ-свѣтъ всѣ отправились на сборное мѣсто, а я домой, и лишъ только съ коня, тотчасъ къ Пышкинымъ. Матушка чѣмъ то занималась; меня приняла дочка.

— Что это вы такъ скоро воротились съ охоты?—спросила она меня.

— Да такъ, Настасья Петровна,—по васъ стосковался.

— Такъ вы меня въ самомъ дѣлѣ очень любите?

— И сказать нельзя!

Она улыбнулась и проговорила своимъ милымъ голоскомъ:

— Я также васъ чрезвычайно люблю, Егоръ Васильевичъ!

— Ну,—шепнуть я про себя, — махну: что будетъ, то будетъ!... Настасья Петровна! — сказалъ я, — вы ужь дѣвица на возрастъ, что если бы за васъ кто-нибудь посватался?...

Моя барышня такъ вся и вспыхнула. — Ладно, — подумалъ я:—понимаетъ!

— Ну, чтожъ вы не изволите отвѣчать? — продолжалъ я.

Настасья Петровна взглянула на меня такъ умильно, такъ ласково, и на ея голубенькихъ глазкахъ навернулись слезы.

— Егоръ Васильевичъ, — сказала она, —я давно хотѣла съ вами объ этомъ поговорить, да все не могла рѣшиться начать первая.

— Виновать, Настасья Петровна,—мнѣ бы самому...

— Но, можетъ быть, вы не замѣчали?...

— Замѣчать то замѣчалъ, да мнѣ все какъ то не вѣрилось...

— Ахъ, Егоръ Васильевичъ, вы до сихъ поръ были лучшимъ моимъ другомъ, будьте же теперь моимъ вторымъ отцомъ...

Меня подрало морозомъ по кожѣ.

— Конечно, Иванъ Михайловичъ не богатъ, — продолжала Настасья Петровна, — но онъ такой честный, благородный человекъ; онъ такъ меня любитъ!... Съ нимъ я, вѣрно, буду счастлива.

У меня въ глазахъ позеленѣло и начали мальчишки прыгивать.

— Егоръ Васильевичъ, — прибавила эта разбойница своимъ умильнымъ голоскомъ, —вступитесь за насъ! Батюшка васъ любитъ, вы одни можете уговорить его.

Что, братецъ, со мной дѣлалось въ эту минуту, такъ я тебѣ и рассказать не могу! Я хотѣлъ что то вымолвить, заикнулся, забормоталъ. Настасья Петровна кинулась ко мнѣ на шею, заплакала... Что будешь дѣлать, — жалко стало!

— Ну, чтожъ ты сдѣлалъ?

— Да что, братецъ!... Вотъ, говорятъ, на себя руки

не подынешь,—поднялъ! Велѣлъ осѣдлатъ своего черкеса и отправился опять на охоту. Я засталъ Пышкина за дѣломъ: травить русака. У другихъ охотниковъ собаки поразметались; одинъ лишь только Нахаль, любимый кобель Пышкина, тянется за сердечнымъ. Видно, русакъ то попался степной: повернулъ въ чистое поле, да и пошелъ на утекъ! Нахаль зачалъ надавать — ближе, ближе... Пышкинъ несется позади, кричить: «Нахалушка!... Голубчикъ!.. Нахалушка!» Чего, Нахалушка!... Мой Буянъ воззрился, да изъ за него, какъ изъ стоячаго—хватъ! Угонка, другая, третья—русакъ мой! Пышкинъ такъ и деретъ на себѣ волосы. Я подѣхалъ къ нему и говорю:

— Послушай, братъ Петръ, что-бъ ты далъ за эту собаку, а?

— За Буяна? Да что хочешь?... Возьми все!

— Ну, а если я тебѣ и такъ отдамъ?

— Полно, братъ, шутишь!

— Я не шучу: возьми хоть теперь.

У Пышкина такъ глаза и засверкали.

— Только съ уговоромъ,—прибавилъ я, — собака твоя, а ты не откажи въ томъ, что попрошу.

— Проси, что хочешь.

— Выдай замужъ дочь.

— За кого?

— За того, кого она любить.

— Ужь не за Рындикова ли?

— Да хоть бы и за него.

— За эту мелкую сошку?

— Эхъ, братецъ, и мы вѣдь съ тобой не такъ, чтобъ очень крупные.

— Да у него ничего нѣтъ, — сказала Пышкинъ, поглядывая на Буяна.

— За то есть у тебя.

— Есть, да не про него! Вотъ если бы ты посватался за Настеньку...

— Эхъ, братъ Петръ, гдѣ ужъ намъ съ тобой думать о молодыхъ! Послушайся, выдай ее за Ивана Михайловича: малый добрый, честный!...

— Нѣтъ, братецъ, ни за что на свѣтъ!

Я замолчалъ и свистнулъ Буяна, который лежалъ въ растяжку и отдыхалъ. Мой полвопѣгій вскочилъ, отряхнулся, поднялъ уши... Тѣфу ты пропасть, въ самомъ дѣлѣ, кар-

тина!... Пышкинъ такъ его и ѣсть глазами. Вотъ подѣхали другіе охотники, начали хвалить Буяна, — гляжу, моего Петра Никитича больно разбираетъ.

— Ну что, братецъ, — сказала я, — твой что-ль Буянъ или нѣтъ?

— Эхъ, Егоръ Васильевичъ, что это тебѣ въ голову вошло?... Ты говори дѣло. Ну, хочешь за него триста рублей чистыми деньгами?

— Нѣтъ, братъ, деньгами ничего не возьмешь.

— Да помилуй, что это за женихъ моей дочери—этотъ Рындиковъ?... Еслибъ у него хоть что-нибудь было... Ужъ не говорю—деревня, а хоть бы пустошь какая съ угодьями... вотъ хоть такая, какъ у тебя, заозерная пустошь, — съ лѣсомъ, съ мельницей, съ сѣнными покосами...

— Такъ чтожъ?... Ты выдалъ бы тогда дочь за Ивана Михайловича?

— Ну, тогда бы еще можно какъ-нибудь...

— Право? Такъ по рукамъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ!... Я отдаю мою пустошь въ приданое за твоею дочерью, — разумѣется, если она только выйдетъ за Рындикова.

— А Буянъ?

— Бери хоть сейчасъ на свору.

Пышкинъ не долго ломался: мы, не сходя съ мѣста, порѣшили, и на другой же день была помолвка Настасьи Петровны съ Иваномъ Михайловичемъ.

— Ай да Егоръ Васильевичъ! — сказала Мирошевъ. — Ну, вотъ за это спасибо!

— Да, братъ, хорошо тебѣ говорить «спасибо!» Пошелъ бы ты въ мою шкуру. Сосватать я сосваталъ, а что у меня было на душѣ то, такъ одинъ Богъ знаетъ!... При людяхъ я храбрился, а какъ пріѣхалъ домой, — стыдно сказать, братецъ, — упалъ на постель, да такъ и заревѣлъ бѣлугою.

— Бѣдняжка!

— Да это бы еще ничего! А что послѣ то было: хлѣба лишился, по ночамъ не сплю, а въ голову такая дрянь лѣзетъ, что и, Господи, помилуй! Ну вотъ словно кто-нибудь такъ и шепчетъ мнѣ на ухо: «Дуракъ, что ты невѣсту то уступилъ? Еслибъ не ты, такъ ей бы не бывать за Рындиковымъ: ее бы отдали за тебя; дѣвка молодая, привыкла



бы къ тебѣ какъ-нибудь. Да и чѣмъ ты хуже этого молодкососа?... А теперь что?... Они, чай, смѣются надъ тобой!.. Экій простофиля, —самъ высваталъ за другого свою невѣсту!» Повѣришь ли, дядюшка, совсѣмъ было съ ума сошелъ! А злота то какая, злота!... Какъ увижу Рындикова, вотъ такъ бы его и пришибъ!

— Скажи пожалуйста!

— Вотъ однажды ночью не спится мнѣ: тошно, грустно; мѣста не найду!... То хочу ѣхать къ Прышкину и сказать ему все, то убить Рындикова, то на самого себя руки положить... Вдругъ мнѣ пришло въ голову: ужь не наказываетъ ли меня Господь Богъ за гордость... Вотъ, изволишь видѣть: я хотѣлъ самъ переломить себя: «Я, дескать, человекъ добродѣтельный, великодушный, на что мнѣ просить Божьей помощи, чтобъ сдѣлать доброе дѣло, — и самъ сдѣлаю!» Да, какъ бы не такъ! Нѣтъ, любезный, коли Богъ не поможетъ, такъ ничего путнаго не сдѣлаешь. Лишь только задумаешь что-нибудь хорошее, а бѣсъ тутъ какъ тутъ, и начнетъ тебѣ нашептывать на ухо... Такихъ резоновъ наскажеть, братецъ, что черное покажется бѣлымъ, а бѣлое чернымъ.

— Правда, Егоръ Васильевичъ, правда!

— Вотъ я, братецъ, спохватился, да и ну-ка молиться. Слава Богу—отлегло отъ сердца!... Недѣли черезъ двѣ дошелъ я до того, что не только обнялъ Рындикова какъ родного и поѣхалъ къ нему на свадьбу, да еще послѣ вѣнчанья образомъ благословилъ; только деревенская жизнь мнѣ вовсе опостылѣла, и пришла, наконецъ, охота опять послужить Царю-Государю. Въ военную поздно—старенецъ сталъ; дай, поѣду въ Москву: тамъ у меня есть родные; похлопочуть за меня, — авось попаду куда-нибудь въ городничіе; эта служба по мнѣ: дадутъ тебѣ дюжины двѣ гарнизонныхъ крысь подъ команду... да оно и кстати: гдѣ ужь мнѣ вонзиться съ фрунтовыми!

— Ахъ, братецъ,—прервалъ Кузьма Петровичъ, — вотъ было бы славно: у насъ въ Новохоперскѣ городничій хочетъ подать въ отставку. Вѣдь это только десять верстъ отъ моей деревни. Вотъ бы зажали!... То ты ко мнѣ, то я къ тебѣ...

— А что ты думаешь? Можетъ быть и посчастливится. Вотъ ужь подлинно было бы хорошо!... Я человекъ одинокій, твоя семья сдѣлалась бы моею семьею,—зажали бы,

братецъ, припѣваючи!... Однакожь, сытый голоднаго не разумѣеть, — продолжалъ Костоломовъ, вставая:—ты еще, братъ, не обѣдалъ; покушай-ка на здоровье, а я пойду, взгляну на мою повозку.

Егоръ Васильевичъ повстрѣчался въ дверяхъ съ Прохоромъ.

— Здравствуйте, батюшка, Егоръ Васильевичъ! — сказалъ Прохоръ съ низкимъ поклономъ.

— Ба, ба, ба!—вскричалъ Костоломовъ.—Кондратьичъ! Ты еще живъ?

— Живъ, батюшка.

— Здорово, старина! Скажи пожалуйста, — да ты ни крошечки не перемѣнился: такой же лысый, какъ былъ...

— Такой же, батюшка, такой же!

— И рожа такая же красная.

— Ну, нѣтъ, сударь, прежде я былъ поцвѣтисте.

— Право, все такой же. Прошу покорно,—мы, молодые, состарились, а этотъ старый хрычъ все въ одной порѣ. Да что ты, братецъ, иль хлебнулъ живой и мертвой водицы?

— Видно, что такъ, батюшка. Да и вы, Егоръ Васильевичъ, мало постарѣли; стали только подюжѣе, да посанисте. Помните ли, батюшка, какъ, бывало, въ Польшѣ то?...

— Эхъ, полно, Кондратьичъ! Не вспоминай про былое...

— Помилуйте, да вы и теперь еще краковяку такъ отхватаете, что только держись!

— Нѣтъ, Прохорушка, дамы по себѣ не найду. Старуха не пойдетъ, молодая не захочетъ... Ну, да что об этомъ!.. Корми-ка своего барина, а я пойду сказать, чтобъ моихъ лошадей запрягать пообождали: мы ѣдемъ вмѣстѣ.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

---

### XXVIII.

КАКЪ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ ПРИВЪХАЛЪ ВЪ МОСКВУ И ОСТАНОВИЛСЯ ВЪ ЗАРЯДЬ, И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРИ НЕМЪ НА ПСКОВСКОМЪ ПОДВОРЬЕ.

---

Мирошевъ и Костоломовъ отправились съ постоялаго двора въ одной кибиткѣ, а Кондратьичъ помѣстился со слугою Егора Васильевича въ другой. Они ночевали верстахъ въ тридцати отъ Москвы, поднялись чѣмъ-свѣтъ и, обгоняя безпрестанно длинные обозы, которые тянулись по коломенской дорогѣ, увидѣли, наконецъ, высокую колокольню и бѣлыя стѣны Андроньевскаго монастыря, за нимъ начали показываться одна за другою безчисленныя главы церквей и заблесталъ вдали повлащенный крестъ Ивана Великаго. Наши путешественники сняли шапки и набожно перекрестились.

— Слава Богу, — вскричалъ Костоломовъ, — вотъ и наша кормилица, матушка Москва православная!... Дотащились, наконецъ.

— Да, Егоръ Васильевичъ, — сказалъ съ глубокимъ вздохомъ Мирошевъ, — вотъ мы и доѣхали; когда те Богъ приведетъ изъ нея выѣхать?

— Что ты, братецъ: не успѣлъ пріѣхать, да ужъ и назадъ собираешься.

— Хорошо тебѣ говорить, Костоломовъ: ты человекъ одинокій, и долго проживешь не бѣда: по тебѣ никто не груститъ, да и ты, чай, ни о комъ не тоскуешь.

— Нашель чему позавидовать! Эхъ, дядюшка, дожиль бы ты въ одиночествѣ до сѣдыхъ волосъ, какъ я, такъ не сталъ бы радоваться, что о тебѣ некому погрузить. Да скажи, Кузьма Петровичъ, я еще тебя не спрашивалъ: ты зачѣмъ ѣдешь въ Москву?

— По тяжбному дѣлу.

— Вотъ что! Такъ чтожъ, братецъ: надоѣсть жить въ Москвѣ, оставь за себя повѣрѣннаго.

— Нелзя, Егоръ Васильевичъ, дѣло то больно важное; того и гляди, пустятъ по міру.

— Ну, если такъ, то я тебѣ скажу, любезный, не скоро ты изъ Москвы вырвешься.

— Авось, братецъ,—Богъ милостивъ! У меня же есть рекомендательное письмо...

Костоломовъ улыбнулся.

— Рекомендательное письмо! — повторилъ онъ сквозь зубы.—Эхъ, душенька, что эти письма! Коли есть у тебя рекомендація въ карманѣ, знаешь, этакъ... звонкая съ вѣсомъ, такъ дѣло твое пойдетъ какъ по маслу; а то на всѣ эти рекомендаціи отпустить тебѣ экскузаціи, да и ворота на запорь.

— Такъ и въ Москвѣ то, братецъ, такъ же, какъ у насъ?

— А ты думалъ нѣтъ?... Ахъ, ты, деревенщина! Да если у васъ въ глуши берутъ, такъ въ Москвѣ надобно брать вдвое. И васъ, чай, подъячье то и ерофеичъ пьютъ по однимъ только праздникамъ, а здѣсь какой-нибудь регистраторъ не сядетъ за столъ безъ бутылки францъ-вейна.

— Ну чтожъ, братецъ, дѣлать нечего; если надобно будетъ, такъ почему-жь...

— А гдѣ ты остановишься, Кузьма Петровичъ?

— Я и самъ не знаю.

— Да развѣ у тебя въ Москвѣ нѣтъ ни родныхъ, ни знакомыхъ?

— Ни одной души.

— Я остановлюсь у моего двоюроднаго брата. Онъ челоуѣкъ семейный, живетъ не просторно, да для меня то мѣстечко найдутъ. А тебѣ, видно, придется взѣзжать на постоялый дворъ.

— Разумѣется.

— Въ Москвѣ всякихъ взѣзжихъ домовъ и трактировъ довольно; только въ однихъ карману накладно, а другіе да-

леко отъ города. Всего лучше остановиться тебѣ, Кузьма Петровичъ, въ Зарядьѣ.

— А гдѣ это Зарядьѣ?

— Въ Китай-городѣ. Года три тому назадъ я пріѣзжалъ въ Москву также похлопотать объ одномъ дѣльцѣ, и прожилъ въ Зарядьѣ цѣлый мѣсяць. Мѣсто бойкое, а дешево; присутственныя мѣста, сенатъ, ряды — все, братецъ, въ друхъ шагахъ. Ну, конечно, чистоты большой нѣтъ и живутъ тѣсненько, да вѣдь тебѣ не банкеты давать.

— Какіе банкеты! Особая кухня, да горенка...

— Кухня? На что тебѣ?.. Обѣдать ты можешь тутъ же въ трактирѣ, да и гораздо дешевле обойдется. Копѣекъ за двадцать накормятъ и тебя и Прохора такъ, что вы и ужинать не захотите.

— Да я, братецъ, не люблю таскаться по трактирамъ.

— Видишь, какая красная дѣвушка! Да что тебя съѣдятъ что-ль въ трактирѣ то? Я изо дня въ день цѣлый мѣсяць тамъ обѣдалъ, а ничего дурного не видалъ. Однажды только какой то магистратскій чиновникъ подрался съ пьянымъ нѣмцемъ, да ихъ тотчасъ розняли. Нѣтъ, братецъ, вѣдь трактиръ не то, что кабакъ; ты будешь въ немъ обѣдать съ людьми порядочными: приказные, купцы, наша братья, заѣзжіе люди...

— Ну, если ты совѣтуешь, такъ быть по твоему.

Кибитка остановилась.

— Куда прикажете ѣхать?—спросилъ Кондратьичъ, пойдя къ господамъ.

— Въ Зарядьѣ,—сказалъ Костоломовъ.—Да ты знаешь ли, Прохоръ, гдѣ Зарядьѣ?

— Какъ же, батюшка! Вѣдь я московскій старожилъ. Вотъ я присяду къ вамъ на облучокъ да стану говорить Еремѣ, куда ѣхать: онъ человекъ небывалый.

Проѣхавъ всю Рогожскую, наши путешественники переправились черезъ Язу и вѣѣхали, наконецъ, Варварскими воротами въ Китай-городъ; потомъ, миновавъ Знаменскій монастырь, они повернули налѣво, мимо церкви Максима Исповѣдника, и стали спускаться подъ гору, по узкому и кривому переулку, который соединяется съ большою Москворѣцкою улицею, недалеко отъ церкви Николая Мокраго.

— Сюда, налѣво, въ ворота! — закричалъ Костоломовъ, когда кибитка поровнялась съ двухъ-этажнымъ кирпичнымъ домомъ, весьма некрасивой наружности.

Длинный ряд оконъ съ подъемными рамами, стекла съ бумажными заплатками, тѣсный дворъ, загроможденный возами и повозками, закопченныя стѣны дома, къ которымъ пристроены были съ надворья деревянные ветхія переходы и грязныя лѣстницы—все это заставило невольно содрогнуться бѣднаго Мирошева, который всегда жилъ такъ опрятно, что могъ бы безъ стыда принять и угостить въ своемъ домѣ самаго чистоплотнаго гарлемскаго бюргера.

— Да это настоящій хлѣвъ!—промолвилъ онъ, выѣзая изъ кибитки.

— Ну да, братецъ,—сказалъ Костоломовъ,—я ужъ тебѣ говорилъ, что чистоты большой нѣтъ. Вѣдь это подворье, любезный; народу съ утра до вечера неотолченая труба, одни уважаютъ, другіе пріѣзжаютъ, — гдѣ тутъ чистоту наблюдать. Да еще теперь что! Вотъ погляди, что будетъ въ ростепель: на дворѣ грязь по колѣно, а на улицѣ хоть въ лодкѣ поѣзжай. Конечно, въ другомъ мѣстѣ найдешь квартиру почище, да что съ тебя возьмутъ! Или придется жить гдѣ-нибудь у черта на куличкахъ!.. Наскучить, братъ, каждый день ходить за семь верстъ киселя ѣсть; а здѣсь хоть и грязненько, за то дешево, и все подъ руками.

Въ продолженіе этого разговора они поднялись во второй этажъ по крутой лѣстницѣ: она вела на крытый переходъ, пристроенный къ надворной сторонѣ дома. Проходя по этой *галдеретъ*, въ которой досчатый полъ гнулся подъ ихъ ногами, они замѣтили трехъ человѣкъ весьма подозрительной наружности, которые стояли, прижавшись къ стѣнѣ. По платью, ихъ можно было принять за простыхъ крестьянъ; но бритые подбородки и подстриженные волосы изобличали въ нихъ съ перваго взгляда или бѣглыхъ, или переодѣтыхъ солдатъ. Когда Мирошевъ и Костоломовъ дошли до половины перехода, оборванный мальчишка отворилъ имъ дверь, и они вошли въ обширную комнату, уставленную столами. Въ одномъ углу, за большимъ прилавкомъ, стоялъ дородный старикъ въ красной рубашкѣ и распашномъ синемъ кафтанѣ: это былъ хозяинъ трактира и гостиницы.

— Здравствуйте, Оедосей Кононычъ!—сказалъ Костоломовъ.—По добру ли, по здорову?

— А, батюшка, ваше благородіе! — вскричалъ хозяинъ.—Милости просимъ!

— Что, есть у тебя квартиры?

— Какъ для васъ не быть!

— Не для меня, а вотъ для моего пріятеля.

— Все равно, батюшка, все равно!

— Вели-ка, любезный, указать его человѣку, куда имъ переносить свои пожитки, да дай-ка намъ что-нибудь перекусить: мы съ дороги проголодались.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Прикажете селячки?

— Давай!

Костоломовъ усадилъ Мирошева за одинъ порожній столъ, а самъ пошелъ опять къ хозяину, условиться о платѣ за квартиру. Кузьма Петровичъ, оставшись одинъ, сталъ, отъ нечего дѣлать, разсматривать честную компанію, въ которой онъ находился. Она была немногочисленна. За однимъ столомъ, на противоположномъ концѣ комнаты, пили чай и толковали о чемъ то трое осанистыхъ гостинодворцевъ, да еще, въ двухъ шагахъ отъ Мирошева, сидѣли за небольшимъ столикомъ два человѣка; передъ ними стоялъ большой пирогъ и до половины выпитый штофъ ерофеича. Одинъ изъ этихъ пирующихъ былъ уже въ половину пьянъ; другой, который повидимому угощалъ, потому что безпрестанно потчевалъ своего товарища, казался только не много навеселѣ. Первый, плотный и здоровый мужикъ съ рыжею бородою, кривымъ глазомъ и большимъ рубцомъ на лбу, походилъ на зажиточнаго мѣщанина, мясника или ухорскаго извозчика; на немъ была шелковая, обшитая галуномъ, рубашка и плисовое полукафтанье. Второй, человѣкъ уже пожилой, но повидимому весьма еще сильный и здоровый, былъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ и цвѣтномъ атласномъ камзолѣ. Несмотря на этотъ дворянскій нарядъ, его нельзя было никакъ почесть за барина; онъ даже не походилъ на подъячаго или на управителя какого-нибудь знатнаго господина, хотя сѣрые глаза его показались Мирошеву очень сходными съ глазами Панкратія Лукича Курочкина: они точно такъ же были въ безпрестанномъ движеніи и точно такъ же не останавливались ни на минуту на одномъ предметѣ; но въ нихъ было еще что то до такой степени наглое и безстыдное, что Кузьма Петровичъ съ перваго взгляда почувствовалъ невольное отвращеніе къ этому незнакомцу. Собою онъ былъ гораздо лучше своего безобразнаго товарища: въ его быстромъ взглядѣ и правильныхъ чертахъ лица отражались природный умъ, острота и безстрашіе; но все это было по-

давлено печатью самого гнуснаго разврата. Выраженіе лица его намѣнялось непрерывно, чаще всего оно могло бы служить прекраснымъ образцомъ для живописца, желающаго изобразить Іуду въ ту самую минуту, когда онъ предаетъ своего Спасителя. Товарищъ его походилъ просто на бессмысленное животное, которое какъ то ошибкою родилось съ человѣческимъ образомъ; а этотъ загадочный незнакомецъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, напоминалъ собою, разумѣется, въ нашемъ мелкомъ земномъ размѣрѣ, что то похожее на падшаго духа, на ангела тьмы, который самъ добровольно возлюбилъ зло и растлилъ свое небесное начало. Эти два человѣка разговаривали межъ собою вполголоса; но они сидѣли такъ близко къ Мирошеву, что онъ не проронилъ ни одного слова.

— Ну, братъ Каинъ, — говорилъ рыжебородый, — не чаялъ я тебя сегодня встрѣтить. Я только что вчера ночью добрался съ моими молодцами до Москвы; вышелъ нынче на площадь, а ты мнѣ и пырь въ глаза...

— Да, братецъ! — прервалъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ. — Я гляжу на тебя... Ба, ба, ба!.. Что это? Бахтей!.. Откуда взялся старинный другъ и товарищъ?.. Ужь какъ же я обрадовался!.. Выпей-ка, любезный!

— А я тебя не вдругъ призналъ, — сказалъ рыжебородый, осушивъ стаканъ ерофеича. — Да что это, Каинъ, иль ты пошелъ въ нехристи? Обрилъ бороду, надѣлъ это басурманское платье!

— Неволя плачетъ, любезный, неволя пѣсенки поетъ! Коли ты старый другъ и пріятель не вдругъ меня призналъ, такъ другіе то и подавно; а мнѣ то и на руку, — понимаешь?

— Разумѣю!.. Только, воля твоя, Каинъ, чего другого, а ужъ отъ вѣры я не отступлюсь; хоть сейчасъ голову на плаху, а бороды не обрѣю.

— Что ты, Бахтей! Была бы голова на плечахъ, а борода отрастетъ!.. Выкушай еще чарочку!

— Да чтожь ты самъ то не пьешь?

— Что, любезный, плохъ сталъ: съ трехъ стакановъ въ головѣ зашумитъ, что какъ разъ выболтаешь всю подноготную; а вѣдь ты, я знаю тебя, голубчика, — тебя сорокоушей не спойшь!.. Да полно, допивай, братецъ! Кажись, въ старину ты не жаловалъ, чтобъ на днѣ оставалось.

— Эхъ, Каинъ, не говори про старину!



— А что? Помнишь, на Макарьевской то ярмаркѣ... а?..

— Какъ же, братецъ, какъ же! Повеселились вдоволь, потѣшились!.. А добра то, добра! Не знали куда съ нимъ дѣваться!.. Намъ бы въ голову не пришло, что ты придумалъ: за одну ночь выстроилъ лавочку, развѣсилъ въ ней всякихъ ветошечекъ, да тесемочекъ, а настоящій то товаръ лежалъ у насъ въ землѣ, подъ поломъ!..

— А здѣсь въ Москвѣ, помнишь?.. Нарядили Мареутку барыней, да и катаемъ ее въ щегольскомъ берлинѣ по городу!.. Ты, Бахтей, былъ кучеромъ...

— А ты, Каинъ, стоялъ на запяткахъ; а сыщики то глядятъ на насъ, разиня рты, да шапки ломаютъ!.. То то смѣху то было!.. А помнишь?..

Тутъ они заговорили шопотомъ межъ собою. Мирошевъ не зналъ, что подумать. Ему не трудно было отгадать, что подлѣ него сидятъ двое мошенниковъ; но онъ не могъ понять, какъ эти воры смѣютъ разговаривать такъ свободно, въ публичномъ мѣстѣ, о своихъ плутовскихъ дѣлахъ? Ну, пускай ужъ этотъ кривой,—онъ пьянъ, а пьяному море по колено; но другой, кажется, въ полномъ разумѣ, и не только не удерживаетъ своего товарища, а еще говоритъ громче его!... Эти размышленія Кузьмы Петровича были прерваны громкимъ хохотомъ рыжебородаго, у котораго языкъ начиналъ прилипать къ гортани.

— Да, да, братецъ, — вскричалъ онъ, — потѣха была знатная! Жаль только, что скоро захлебнулась.

Кузьму Петровича морозъ подралъ по кожѣ.

— То-то было времячко!—сказалъ человекъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Куда всѣ подѣвались?.. Алексѣй Журка, Савелій Вьюшкинъ, Андрюшка Пиво, Федотъ Замчалко... что за народъ такой! Любой, бывало, въ шелку пролѣзаетъ! А что, любезный,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ,—твой то молодцы каковы?

— Бредутъ.

— А гдѣ они?

— Да что, братецъ, времена пришли тяжкія, не знаешь, куда голову приклонить. Нечего дѣлать: покаместъ чернецы безъ монастыря, а игумень безъ келейки.

— Да вѣдь на дворѣ то, любезный, холодновато...

— Что дѣлать, братецъ! У насъ всего довольно: наготы, босоты навѣшены шесты, а голоду и холоду полны амбары стоять.

— Погоди, найдемъ тепленькое мѣстечко; ты мнѣ скажи только...

Тутъ эти два собесѣдника заговорили опять шопотомъ. Мирошевъ всталъ съ своего мѣста и подошелъ къ прилавку.

— Такъ по рукамъ, Федосей Конопычъ,—говорилъ Костоломовъ хозяину:—два съ полтиной въ мѣсяцъ, вода и дрова твои...

— Послушайте,—прервалъ вполголоса Мирошевъ, — я долгомъ считаю вамъ заявить, что вотъ эти два человѣка, одинъ въ нѣмецкомъ платьѣ, а другой въ плисовомъ полукафтанѣ, должны быть воры и разбойники.

Хозяинъ гостиницы улыбнулся

— Не безпокойтесь, батюшка, — сказалъ онъ.—Одного изъ нихъ я знаю. Не троньте ихъ, пусть себѣ гуляютъ на здоровье.

— Что же это такое??—прошепталъ Мирошевъ, поглядѣвъ съ удивленіемъ на хозяина.—Ужь и онъ не заодно ли съ этими разбойниками?.. Егоръ Васильевичъ,—продолжалъ онъ вполголоса, обращаясь къ Костоломову, — я въ этомъ домѣ ни за что на свѣтѣ не останусь.

— Что такъ?

— Да помилуй, братецъ, здѣсь воровской притонъ!

— Вотъ вадоръ какой! Ну, разумѣется, въ трактиръ идетъ всякій,—и честный человѣкъ и мошенникъ; да тебѣ то какое до этого дѣло? Пойдемъ, братъ, завтракать, вонъ намъ селянку несутъ.

— Да знаешь ли, что подлѣ насъ сидятъ два разбойника?

— Ужь и разбойники! Воришки, можетъ быть. Ну, такъ чтожъ? Береги карманы, вотъ и все.

— Воля твоя, я ни за что не останусь жить въ такомъ домѣ, гдѣ воры разговариваютъ вслухъ о своихъ мошенническихъ дѣлахъ.

— Эхъ, дядюшка, да если ты воровъ боишься, такъ зачѣмъ въ Москву и прѣзжалъ? Здѣсь этого добра вездѣ довольно.

— Я лучше найму гдѣ-нибудь особую квартиру.

— Да въ ней тебя скорѣй обокрадутъ. Тамъ кто у тебя будетъ караульщикомъ? Старикъ Прохоръ. А здѣсь двадцать глазъ стануть сторожить за твоими пожитками.

— Конечно, батюшка, конечно! — прервалъ хозяинъ,

который вслушался въ ихъ разговоръ.—Да ужъ будьте покойны! Чтобъ у меня въ домѣ обокрали жильца,—сохрани Господи! Да за это я самъ отвѣчаю, помилуйте!...

— Пойдемъ, братецъ,—сказалъ Костоломовъ, таща Мирошева къ столу,—прежде закусимъ, а тамъ ужъ поговоримъ объ этомъ.

Егоръ Васильевичъ принялся кушать селянку, не обращая никакого вниманія на своихъ сосѣдей. Мирошевъ не могъ никакъ послѣдовать его примѣру: онъ невольно прислушивался къ ихъ разговору, который примѣтнымъ образомъ становился шумнѣе.

— Ладно, Бахтей, ладно!—говорилъ человекъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Мы это дѣло справимъ. Да только какъ ихъ отыщешь?.. Чай, всѣ теперь въ разбродѣ.

— Около полуденъ всѣ сберутся.

— Полно, такъ ли?

— Ужъ я тебѣ говорю. Куда-жъ ты?

— Такъ, братецъ, ноги поразмятъ,—отвѣчалъ нѣмецкій кафтанъ. Онъ всталъ, чтобъ идти; но вдругъ остановился и сказалъ:

— Что это, Бахтей, у тебя за пазухою то?.. А, а, ты, видно, гулять то гуляешь, а съ милымъ другомъ не расстаешься?

— А ты думалъ какъ?.. Нѣтъ, братъ, живой въ руки не дамся!

— Вотъ что!—пробормоталъ нѣмецкій кафтанъ, садясь на прежнее мѣсто.—Дѣло, братецъ, дѣло!.. Да чтожъ мы пирога то не отвѣдаемъ? Дай-ка я тебѣ отрѣжу ломтикъ!.. Тьфу ты пропасть, что за ножъ такой!.. Рѣжетъ не рѣжетъ... эка тупица!.. Ну вотъ хоть тресни, — продолжалъ онъ, бросилъ съ досадою ножикъ подъ столъ.—Бахтей, дай-ка мнѣ, братъ, своего завѣтнаго то.

Рыжебородый вытащилъ изъ-за пазухи огромный ножъ и подаль его своему товарищу, который, вмѣсто того, что рѣзать имъ пирогъ, прыгнулъ со стула, подбѣжалъ къ дверямъ, свистнулъ, и въ ту же минуту трое дюжихъ мужиковъ вскочили въ комнату.

— Камчатка,—закричалъ человекъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ, обращаясь къ одному изъ нихъ,—вяжите этого молодца—живо!

Все это было сдѣлано съ такою быстротою, что рыжебородый не успѣлъ приподняться со стула, а его ужъ схва-

тили и, несмотря на отчаянное сопротивление, скрутили назадъ руки.

— Каинъ, что ты?—вскричалъ рыжебородый.

— Ничего, любезный! Я обѣщалъ и тебѣ и твоимъ товарищамъ тепленькое мѣстечко—милости просимъ!

— Ахъ, ты, Иуда предатель! Да ты что самъ?

— По милости Царской, московскій главный сыщикъ, Иванъ Семеновъ, по прозванью Ванька Каинъ.

— Послушайте, братцы,—закричалъ Бахтей:—онъ такой же разбойникъ, какъ и я. Слово и дѣло!

— Добро, добро, говори это въ сыскомъ приказѣ, а здѣсь этимъ не отдѣлаешься. Скрутите ему руки то покрѣпче!.. Да ведите его съ честью, ребята: вѣдь онъ баринъ большой; для него готовы высокія хоромы—два столбика съ черекладиной!

— Добро, ты, проклятый Каинъ,—проговорилъ Бахтей, скрипя зубами,—попадешься же ты намъ въ руки!

— И, братъ, страшенъ сонъ, а милостивъ Богъ. Ну, ступай же, Бахтеюшка, ступай! Мнѣ вѣдь некогда съ тобой калякать: чай, молодцы то твои ждуть, не дождутся; надобно ихъ скорѣй по фатерамъ развести... Ну, что упираешься? Полно, Бахтей, не дури: вѣдь тебѣ здѣсь не жить, голубчикъ!

Сыщики вытащили изъ комнаты разбойника, а Каинъ приостановился на минуту, чтобъ выпить два стакана вина, одинъ за другимъ, потомъ вышелъ вслѣдъ за ними.

— Такъ это то Ванька Каинъ?—сказалъ Костоломовъ.

— Да, батюшка, это онъ!—отвѣчалъ хозяинъ.—Я оттого ничего и не сказалъ вашей милости, чтобъ вы какъ ни есть не помѣшали ему изловить этого вора.

— Ну, вотъ видишь, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Костоломовъ,—ты было совсѣмъ поклепалъ здѣшняго хозяина. Нѣтъ, братъ, здѣсь не воровской притонъ, а развѣ воровская ловушка.

— Все такъ, Егоръ Васильевичъ, да, право, не весело смотрѣть...

— Какъ ловятъ воровъ? Да это, братецъ, ты увидишь вездѣ: и на улицахъ, и на площадяхъ, и въ рядахъ, и на рынкѣ. Пойдемъ-ка теперь къ тебѣ на квартиру: я посмотрю, какъ ты расположился, а тамъ и отправлюсь къ своему двоюродному брату. Онъ живетъ не очень далеко отсюда, на Яузѣ: мы съ тобой часто будемъ видѣться.

## XXIX.

ПРИЕМНАЯ КОМНАТА ОБЕРЪ-СЕКРЕТАРЯ КИРИЛЛА ФЕДОСКЕВИЧА  
ПРИПЕКИНА.

Квартира, которую занялъ Мирошевъ, была въ нижнемъ этажѣ дома; она состояла изъ двухъ комнатъ, изъ которыхъ одна служила прихожей. Само собою разумѣется, что эти комнаты были не очень щеголеваты: голыя стѣны, покрытыя плѣсенью, по угламъ сырость; окна, надъ которыми, вмѣсто драпировокъ, висѣли огромныя паутины; ветхія рамы съ тусклыми зелеными стеклами; нѣсколько плохихъ стульевъ, еловый столъ и деревянная кровать съ веревочнымъ переплетомъ. Конечно, все это было вовсе не красиво, и даже Прохоръ—человѣкъ, какъ вы знаете, совсѣмъ не прихотливый, поморщивался, смотря на всю эту нечистоту и запустѣніе.

— Ну, братъ, —сказалъ Костоломовъ, —квартирка у тебѣ, конечно, не завидная, да вѣдь тебѣ не вѣкъ здѣсь вѣковать. Въ другомъ мѣстѣ нашель бы и почище, за то и взяли бы съ тебя втрое.

— А что, Егоръ Васильевичъ, —спросилъ Прохоръ, —чай, и за эту конуру хозяинъ заломилъ и Богъ вѣсть что? Небось, рублей пять въ мѣсяць?

— Дешевле, братецъ.

— Право? А чтожъ онъ выпросилъ найма за эти горенки, —четыре рубля?

— Дешевле.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Вотъ что! Ну, конечно, что и говорить, —позапачкано немного, а вѣдь квартирка то хоть куда!.. Чтожъ, по три рубля что-ль въ мѣсяць?

— По два съ полтиной.

— По два съ полтиной?.. А что вы думаете, Кузьма Петровичъ, какъ посмотрѣть хорошенько, такъ комнатки, право, порядочныя. Вотъ погодите, батюшка, какъ приберутся, такъ вы ихъ не узнаете. А что, дрова и вода хозяйскія?

— Хозяйскіе.

— Ну, это хорошо!.. А вѣдь если сказать правду, такъ квартира то веселая! Посмотрите, батюшка Кузьма Петро-

вичь: всѣ окна на улицу!.. Дайте мнѣ только промыть стекла, — увидите, какая будетъ свѣтленькая, сущій фонарикъ!

Хотя Мирошевъ и не вполне раздѣлялъ мнѣніе Прохора Кондратьича, однакоже, не сдѣлалъ никакого возраженія. Костоломовъ простился съ нимъ, давъ слово побывать у него дня черезъ два. Мирошевъ оставилъ Прохора разбираться, а самъ пошелъ бродить по городу. Разумѣется, онъ началъ съ Кремля; поклонился московскимъ святителямъ, отслужилъ молебенъ Иверской Божіей Матери, и отправился на Тверскую, чтобъ взглянуть на тотъ домъ, гдѣ нѣкогда, съ горемъ пополамъ, прошли его дѣтскіе годы. Напрасно онъ искалъ его: этотъ ветхій двухъ-этажный домъ давно уже превратился въ великолѣпныя барскія палаты. У дверей стоялъ швейцаръ въ богатой ливреѣ, который не удостоилъ его отвѣтомъ, когда онъ спросилъ, давно ли этотъ домъ построенъ на мѣсто прежняго? Походивъ еще около часу, онъ возвратился на свою квартиру, которая, дѣйствительно, благодаря неутомимой дѣятельности Прохора, имѣла ужъ видъ довольно опрятный, и хотя все еще походила на тюрьму, но, по крайней мѣрѣ, не возбуждала отвращенія своею нечистотою. Весь остатокъ дня Мирошевъ провелъ дома, написалъ преогромное письмо къ женѣ, поужиналъ въ трактирѣ и легъ спать часовъ въ девять для того, чтобъ встать на другой день поранѣе и отправиться съ рекомендательнымъ письмомъ къ оберъ-секретарю Припекину.

Въ шесть часовъ утра Кузьма Петровичъ надѣлъ мундиръ и пошелъ на Поварскую. Онъ долго не могъ отыскать домъ Припекина; наконецъ, догадался спросить въ одной мелочной лавочкѣ, и, къ крайнему его удивленію, ему указали только что отстроенный большой трехъ-этажный домъ, мимо котораго онъ прошелъ уже нѣсколько разъ. Хотя Мирошевъ имѣлъ весьма высокое понятіе о званіи сенатскаго оберъ-секретаря, но никакъ не воображалъ, чтобъ онъ жилъ въ такихъ палатахъ, тѣмъ болѣе, что въ сосѣдствѣ его было нѣсколько княжескихъ, генеральскихъ и даже одинъ сенаторскій домъ, весьма скромной наружности. «Кажется, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ», — подумалъ Мирошевъ, — «говорилъ мнѣ, что у его родственника вотчинъ никакихъ нѣтъ, а смотри пожалуй, какой онъ выстроилъ дворецъ!.. Видно, жалованье получаетъ большое». Кузьма Петровичъ поднялся по широкой лѣстницѣ

во второй этажъ дома и вошелъ въ просторную, но весьма нечистую лакейскую. Толстый слуга, съ косматою головою и заспанными глазами, лѣнливо подметалъ полъ, онъ взглянулъ на Мирошева и, не отвѣчая на его поклонъ, спросилъ грубымъ голосомъ:

— Что вамъ надобно?

— Могу ли я видѣть его высокородіе, Кирилла Ѳедосеевича Припекина?

— Почиваетъ.

— Когда же онъ встанетъ?

— Да когда онъ проснется.

— А когда онъ проснется?

— Не знаю.

Мирошевъ вынулъ изъ кармана полтинникъ и подаль его этой цѣпной собакѣ; толстое животное милостиво улыбнулось и проворчало, оскаливъ зубы:

— Приходите черезъ часъ.

— Да я ужъ лучше подожду здѣсь въ столовой, — сказалъ Мирошевъ.

— Пожалуй, какъ хотите.

Кузьма Петровичъ вошелъ въ столовую комнату, которая удивила его своимъ роскошнымъ убранствомъ. Еслибъ Мирошевъ имѣлъ понятие объ образѣ жизни богатыхъ людей хорошаго общества, то, конечно-бы замѣтилъ, какъ неумѣстна была эта роскошь, и какъ все, безъ исключенія, доказывало безвкусіе и необразованность хозяина. Стѣны комнаты были увѣшаны картинами, одна другой безобразнѣе; но за то рамы были превеликолѣпныя. вмѣсто стульевъ—кресла, обитыя какою то узорчатою китайскою матеріею; во всѣхъ простѣнкахъ составныя зеркала, а на подстольникахъ, на одномъ французскіе бронзовые часы, на другомъ вазы изъ саксонскаго фарфора, на третьемъ серебряныя подсвѣчники. Человѣкъ опытный отгадалъ бы безъ труда причину этой пестроты и безпорядка; разумѣется, они происходили оттого, что хозяинъ не тратилъ денегъ на украшеніе своихъ комнатъ, а просто повытаскалъ изъ кладовой всѣ подарки и разставилъ ихъ какъ ни попало.

Слишкомъ часъ сидѣлъ Мирошевъ одинъ въ столовой. Нѣсколько разъ проходилъ мимо него толстый лакей и два раза выглядывала изъ-за дверей внутреннихъ комнатъ какая то голова въ запачканномъ чепцѣ; наконецъ, вошелъ въ столовую съ кипкою бумагъ чиновникъ въ нѣмецкомъ

кафтанѣ; вслѣдъ за нимъ какой то пожилой человѣкъ въ изношенномъ скюртукѣ, а спустя нѣсколько минутъ дородный купецъ съ сѣдою бородою. Чиновникъ, не удостоивъ взглядомъ Мирошева, подошелъ къ столу, положилъ на него бумаги и началъ ихъ перебирать съ заботливымъ видомъ. Пожилой человѣкъ въ изношенномъ кафтанѣ отвѣсилъ всѣмъ по низкому поклону и сталъ подлѣ дверей, а купецъ, войдя, помолился иконѣ, которая висѣла въ одномъ углу столовой, и присѣлъ на окно. Когда чиновникъ пересмотрѣлъ всѣ свои бумаги, купецъ подошелъ къ нему и сказалъ, поглаживая бороду.

— Здравствуйте, батюшка, Семень Акимовичъ! Какъ изволите поживать?

— А, Федулъ Антонычъ, здравія желаю!—отвѣчалъ чиновникъ съ ласковою улыбкой.—Раненько вы здѣсь, почтеннѣйшій!

— И, батюшка, намъ не привыкать стать рано вставать. Ну что, сударь, дѣльце то мое?...

— А вотъ здѣсь; принеси показать его высокородію экстрактецъ. Если онъ подмахнетъ, такъ на будущей недѣлѣ къ докладу.

— Такъ, сударь, такъ-съ!

— Ну, Федулъ Антонычъ, попотѣлъ я за нимъ! Вы встали рано, а я вовсе не ложился спать.

— Дай Богъ вамъ добраго здоровья! Повѣрьте, батюшка, благодарность наша...

— И, полноте, Федулъ Антонычъ, я знаю, вы человѣкъ аккуратный. А ты что пришелъ?—продолжалъ чиновникъ, взглянувъ на человѣка въ поношенномъ скюртукѣ.—Зачѣмъ?

— Какъ же, ваше благородіе,—отвѣчалъ онъ, кланяясь почти въ землю, — да развѣ вы не изволили узнать меня?

— Какъ не узнать: ты у меня всѣ пороги обилъ. Вѣдъ ты повѣренный рязанскаго помѣщика Куроцапова?

— Такъ точно, ваше благородіе.

— Да чтожь ты, братецъ, пришелъ опять беспокоить по пустякамъ его высокородіе? Вѣдъ ужъ тебѣ сказано, что, за неимѣніемъ важныхъ документовъ, дѣло ваше не можетъ поступить къ докладу?.. погоди, голубчикъ, въ свое время будутъ сдѣланы нужныя справки и, когда получатся отвѣты, тогда...



— Ваше благородіе, да ужь дѣло то наше давно на очереди...

— Чтожь дѣлать, любезный: всякое дѣло изъ очередныхъ поступить въ число нерѣшенныхъ, коли нѣтъ дополнительныхъ свѣдѣній и нужныхъ справокъ.

— Я писалъ ужь объ этомъ моему господину, и онъ изволилъ мнѣ прислать съ послѣднею почтою вотъ этотъ пакетъ...

— Пакетъ?.. Дай-ка сюда!

— Онъ на имя его высококордіа, — прошепталъ повѣренный, подавая чиновнику небольшой, но довольно толстый пакетъ.

— Знаю, братецъ, знаю! — проговорилъ чиновникъ.

Онъ прочелъ надпись, пощупалъ пакетъ, повертѣлъ его въ рукахъ и сказалъ:

— Ну, это дѣло другое: тутъ, я вижу, всѣ нужные документы находятся. Вотъ теперь ужь остановки не будетъ. Давно бы такъ, братецъ!

— Ахъ, батюшки, — подумалъ Мирошевъ, — какъ эти люди наметаны! Лишь только въ руки взялъ пакетъ, а ужь знаетъ, что въ немъ запечатано. Какое тонкое осязаніе у этихъ господъ!.. Привычка!

— Вы также имѣете надобность до Кириллы Ѳедосевича? — спросилъ чиновникъ, взглянувъ, наконецъ, на Мирошева.

— Да-съ! — отвѣчалъ Кузьма Петровичъ. — Я имѣю къ нему рекомендательное письмо.

— У васъ, вѣрно, есть тяжба въ сенатѣ?

— Да, сударь, есть къ несчастію.

— Почему-жь къ несчастію? Вѣдь вы еще процесса не проиграли.

— Въ гражданской палатѣ рѣшено не въ мою пользу

— Что гражданская палата, помилуйте! Здѣсь бы только пошло хорошо, а гражданская палата ничего!.. Да вотъ, кажется, и его высококордіе.

Двери изъ кабинета отворились, и вошелъ человекъ лѣтъ шестидесяти, въ атласномъ голубомъ халатѣ, съ широкими пунцовыми разводами. Говорятъ, будто бы гордость красить однихъ только лошадей, — неправда: гордый взглядъ и надменная осанка чрезвычайно были полезны для Кириллы Ѳедосевича Припекина. Еслибъ его покрытое глубокими рябинами лицо, съ раздутыми щеками, вздер-

нутымъ кверху толстымъ носомъ и узкимъ лбомъ, не выражало необычайной спеси и чванства, то вы могли бы его принять за какого-нибудь отставного будочника; но этотъ надменный взглядъ, эта важная выступка, эти нахмуренныя брови придавали ему такой величественный видъ, что вы, взглянувъ на него, сказали бы невольно: «Какая подлая физиономія у этого большого барина!» Казалось, онъ очень дорожилъ каждымъ своимъ словомъ и, по большей части, вмѣсто отвѣта кивалъ головою, или мычалъ, или ухмылялся значительнымъ образомъ.

— Мое нижайшее почтеніе, ваше высокородіе, — сказалъ купецъ. — Вы, кажется, батюшка, изволите обрѣтаться въ вожделѣнномъ здравіи?

Припекинъ кивнулъ головою и промычалъ что то похожее на слово: да!

— Я осмѣлился придти напомнить вамъ...

— А ужъ у меня и экстрактъ готовъ, — подхватилъ чиновникъ. — Если вашему высокородію будетъ угодно...

— Хорошо! Мы посмотримъ.

— Батюшка, Кирилла Федосеевичъ, — продолжалъ купецъ, понизивъ голосъ, — тамъ, въ прихожей... вы вчера изволили купить у меня... полцыбика чаю, да головокъ пять-шесть рафинаду... Вотъ и расписка въ полученіи денегъ...

Припекинъ улыбнулся весьма выразительно и крикнулъ: — Афимья!

Старуха въ запачканномъ чепцѣ показалась въ дверяхъ гостиной.

— Чай и сахаръ... тамъ, въ прихожей... приברי въ кладовую.

— Такъ я могу надѣяться, — продолжалъ купецъ, — что на будущей недѣлѣ?..

— Да, да, — сказалъ Припекинъ, — на будущей недѣлѣ... будьте спокойны!

— Вотъ, Кирилль Федосеевичъ, — сказалъ чиновникъ, — повѣренный помѣщика Куроцапова... Изволите помнить?

— Ну, что ты, братецъ, — вскричалъ онъ, бросивъ грозный взглядъ на повѣреннаго, — присталь какъ лихо-радка?.. Ужъ тебѣ сказано...

— У него есть, — прервалъ чиновникъ, — пакетъ на ваше имя, кажется, съ тѣми документами, которыхъ недоставало въ дѣлѣ. Подавай, Сидорычъ! Чтожъ ты?

Повѣренный подошелъ къ Припекину и подалъ ему па-

кетъ. Припекинъ взялъ его, пощупалъ, положилъ не распечатывая въ карманъ, промычалъ что то себѣ подь носъ и, ласково ухмыляясь, сказалъ повѣренному:

— Хорошо, братецъ, хорошо! Зайди ко мнѣ завтра... А вамъ что угодно?—продолжалъ онъ, окинувъ важнымъ взглядомъ съ головы до ногъ Мирошева.

— Я имѣю къ вамъ письмо отъ родственника вашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина.

— Пожалуйте.

Припекинъ взялъ письмо, распечаталъ, прочелъ, бросилъ его на столъ и сказалъ:

— У васъ есть дѣло въ сенатѣ?

— Есть, Кирилла Федосеевичъ.

— О чемъ?

— О землѣ.

— Въ Новохоперскомъ уѣздѣ?

— Точно такъ.

— Оно должно быть въ нашемъ департаментѣ.

— Могу ли я надѣяться?...

Припекинъ замычалъ довольно ласково и проговорилъ:

— Да, да!... Почему-жь... я очень радъ!... А съ кѣмъ у васъ тяжба?

— Съ Курочкинымъ.

— Съ Курочкинымъ?... Я знаю одного Курочкина; да, кажется, онъ...

— Виновать, ошибся! Курочкинъ только повѣренный по этому дѣлу; у меня тяжба съ графомъ...

— Знаю, знаю!—прервалъ Припекинъ.—Вотъ что!—продолжалъ онъ, нахмуривъ брови. Такъ у васъ тяжба съ его сятельствомъ... гмъ!... Ну; чего же вы отъ меня хотите?

— Одной справедливости.

— Справедливости!... Гмъ!... Это говорятъ всѣ челобитчики.

— Я надѣюсь, вы не откажете мнѣ въ вашемъ совѣтѣ; я человекъ вовсе непривычный къ дѣламъ.

— Это и замѣтно!.. Мнѣ, право, чудень Вертлюгинъ: адресовать васъ прямо ко мнѣ!... Кажется, онъ бы долженъ знать, что такое оберъ-секретарь правительствующаго сената.

— Вѣроятно, онъ полагалъ, что ваше покровительство...

— Мое покровительство!... Какъ будто бы я имѣю время заниматься особенно каждымъ челобитчикомъ!

— Чтожь прикажете мнѣ дѣлать? — прошепталъ Мирошевъ, который вовсе растерялся отъ этихъ непривѣтливыхъ рѣчей.

— Что дѣлать! — повторилъ Припекинъ. — Вамъ бы слѣдовало начать немного пониже. Вотъ вы бы отнеслись съ вашею просьбою къ повытчику...

— Я очень радъ, но я никого не знаю...

— Вотъ онъ, — сказала Припекинъ, указывая на чиновника: — старшій повытчикъ, Семень Акимовичъ Тетеркинъ... Познакомьтесь!

Проговоривъ эти слова, оберъ-секретарь запахнулъ преважно свой халатъ, кивнулъ слегка головою купцу и медленно, торжественнымъ шагомъ вошелъ снова въ свой кабинетъ.

— Могу ли узнать вашу фамилію, имя и отчество? — сказалъ повытчикъ, подойдя къ Мирошеву.

— Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Очень радъ съ вами познакомиться, Кузьма Петровичъ! Гдѣ изволите квартировать?

— На Псковскомъ подворьѣ, въ Зарядьѣ.

— На Псковскомъ подворьѣ?... Скажите пожалуйста!... А я сегодня собирался туда обѣдать... Знаете ли что? Подождите меня до перваго часу, такъ мы вмѣстѣ съ вами пообѣдаемъ и разопьемъ для перваго знакомства бутылочку винца.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Такъ по рукамъ! А я межъ тѣмъ побываю въ сенатѣ и успѣю обоарѣть, въ какомъ положеніи ваше дѣло.

— Сдѣлайте милость!

— Будьте покойны.

— Тетеркинъ! — раздался голосъ Припекина въ кабинетѣ.

— Чу, — сказалъ повытчикъ, — его высокородіе меня спрашиваетъ. До свиданья, Кузьма Петровичъ! На забудьте, въ первомъ часу.

Мирошевъ отправился домой, а повытчикъ вошелъ въ кабинетъ, гдѣ, за большимъ столомъ, покрытымъ бумагами, сидѣлъ Кирилль Ѳедосеевичъ.

— Ну чтожь, Семень Акимовичъ, — сказалъ онъ съ милостивою улыбкою, — кланяйся, благодари за челобитчика!

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокородіе! Только дѣло то, кажется, не въ моемъ повытьи.

— Ну ужь тамъ, братецъ, какъ знаешь.

— Да осмѣлюсь вамъ доложить: что это вы изволили такъ сурово съ нимъ обойтись? Вѣдь лишній челобитчикъ не бѣда.

— Эхъ, братецъ, челобитчикъ челобитчику розъ! Ко мнѣ пишетъ племянникъ, что этотъ Мирошевъ человѣкъ небогатый, всего пятьдесятъ душъ...

— И, ваше благородіе, курочка по зернышку клюетъ!..

— Знаю, братецъ, знаю! Да тутъ есть другое обстоятельство: ты слышалъ, съ кѣмъ онъ въ тяжбѣ, а?

— Да-съ, рука сильная!

— То-то и есть! Тутъ ужь немного выторгуешь.

— Такъ чтожъ?...

— Какъ что?... Да развѣ ты не знаешь моего обычая?... Нѣтъ, братецъ, благодарю моего Создателя, я человѣкъ честный! По моему, взять, такъ сдѣлать.

— Охъ, ваше высокородіе!.. Оно такъ, конечно, честь великое дѣло; да только, воля ваша,—съ этой добротой не далеко уйдешь. Посмотрите-ка другіе...

— И, братецъ, что мнѣ до другихъ! Неправедное стяжаніе прахъ! Вотъ дѣло другое мелкій чиновникъ,—ну, конечно, ему разбирать нельзя: что взято, то свято! А начальнику стыдно крохоборничать; да если мы будемъ все себѣ захватывать, такъ вашему то брату что останется? Вѣдь и повытчикъ также пить-ѣсть хочеть.

— О, Господи,—вскричалъ съ умиленіемъ Тетерькинъ,—вотъ истинный отецъ, а не начальникъ! Другому и дѣла до насъ нѣтъ, а вы, ваше высокородіе... дай Богъ много лѣтъ вамъ здравствовать... Нѣтъ,—прибавилъ Тетерькинъ, утирая платкомъ глаза, —нѣтъ, не наживемъ мы другого такого командира!

— Полно, Семень Акимовичъ,—прервалъ Припекинъ,—полно, любезный! Я знаю, ты меня любишь...

— Помилуйте, да какъ не любить такого благодѣтельнаго начальника? Да кто за васъ Бога не молить?...

— Перестань, говорятъ тебѣ! Ты меня растрогалъ!... Давай-ка лучше займемся бумагами. Что это у тебя?

— Экстрактъ по дѣлу купца Сигова съ отставнымъ маіоромъ Чистяковымъ.

— А, знаю!.. Ну, что законы?

— Подобралъ какъ слѣдуетъ, да и ловко пришлось: одни указы гласятъ въ пользу маіора Чистякова, другіе

какъ будто бы оправдываютъ Сигова, такъ выборку то сдѣлать было не трудно.

— Поэтому куманекъ мой Сиговъ...

— Долженъ, кажется, быть чистъ какъ стекло...

— Э, кстати!... Знаешь ли, братецъ, Семенъ Акимовичъ, вчера въ присутствіи какая зашла рѣчь у сенаторовъ? Одинъ изъ нихъ,—что его называть, самъ отгадаешь... вотъ что вѣчно хочеть новизны вводить,—началь говорить, что пора бы всѣ указы соединить воедино и сдѣлать какой то сводъ законовъ...

— Что вы говорите?...

— Да это еще ничего!... «Не мѣшало бы»,—прибавилъ онъ,—«сдѣлавъ подробный алфавитъ, напечатать тогда эту книгу и выпустить въ свѣтъ для всеобщаго употребленія!»

— Для всеобщаго употребленія!.. Помилуйте, ваше высокородіе! Да вѣдь тогда всякій чумичка законы то знать будетъ?

— Вотъ то-то и есть!

— Мало-мальски кто маракуеть грамотѣ, въ грошъ не будетъ насъ ставить.

— Ну да!... Вотъ оно просвѣщеніе то, братецъ! Вотъ оно куда ведетъ!...

— Ахъ, батюшки! И придетъ же въ голову такая богопротивная мысль!... Чтожь другіе то сенаторы?

— Всѣ до одного заговорили то-же.

— А господинъ оберъ-прокуроръ?

— Пуще всѣхъ!... Пора, дескать, привести въ ясность эту часть, а то, дескать, теперь въ мутной водѣ всякій рыбу ловить!

— Ахъ онъ богоотступникъ!

— Ну, разумѣется, въ канцеляріи не то заговорили, кромѣ оберъ-секретаря Варягина. Какъ ты думаешь? Вѣдь онъ туда же за сенаторами!

— Такъ, такъ!... Вольнодумецъ проклятый!... Да онъ бы на себя оглянулся! Вѣдь, чай, вашему высокородію стыдно быть съ нимъ товарищемъ? Кафтанишка истасканный, шляпенка измятая, срамецъ этакій! Посмотришь иногда, — грязь по колѣно, а онъ тащится пѣшкомъ, подлецъ этакій!

— И я ему говорилъ: «Братецъ, да ты подумай только: вѣдь тогда любой сенаторъ взялъ книгу, развернулъ — законъ и тутъ! Чтожь мы то будемъ дѣлать?» — «То же,

что и теперь», — отвѣчалъ этотъ дурачина; — «только ужъ тогда нельзя будетъ о нашихъ дѣловыхъ выпискахъ говорить: «темна вода во облацѣхъ!»

— То-то, ваше высокородіе, какъ же намъ не молить за васъ Бога? Ну, вотъ какъ этакимъ то начальникомъ накажетъ Господь?... Посмотрите на его подчиненныхъ, — истинно слезамъ подобно: не только повѣтчики, да и секретари то съ голоду умираютъ!.. Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Что если, Кирилль Ѳедосеевичъ, займутся этимъ дѣломъ не шутя?

— И, Семень Акимовичъ, что этого бояться? Вѣдь это дѣло не годовое; на нашъ вѣкъ съ тобою станеть! Возьми-ка лучше, да прочти свой экстратъ, не пропустилъ ли ты чего-нибудь въ пользу моего куманька?

— Кажется, нѣтъ, ваше высокородіе.

— А вотъ посмотримъ. Читай

Пока Тетеркинъ читаетъ свой хитро-сплетенный экстратъ господину оберъ-секретарю Припекину, мы посмотримъ, что дѣлаетъ нашъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

### XXX.

О томъ, какъ Мирошевъ угостилъ овдомъ повѣтчика Тетеркина, и во что ему овошло это угощенье.

— Ну что, батюшка, — спросилъ Прохоръ, когда Мирошевъ возвратился на свою квартиру, — вы были у Кирилла Ѳедосеевича Припекина?

— Былъ.

— Чтожъ онъ, ласково съ вами обошелся?

— Ну нѣтъ, Прохоръ, похвастаться нечѣмъ.

— А что?

— Да такъ... Сказалъ со мною словъ пять, и то какъ будто бы нехотя.

— Что дѣлать, сударь, — вѣдь здѣсь народъ спесивый!.. Вотъ вы не хотѣли, батюшка, сами сюда ѣхать; да что бы я сталъ дѣлать?... Со мною и дворникъ Припекина не захотѣлъ бы говорить. Ну чтожъ, о дѣлѣ то нашемъ сказалъ онъ что-нибудь?

— Ничего. Я знаю только, что оно по его департаменту.

— Право?.. Вотъ это хорошо!.. Вѣдь вы съ племянникомъ его, Вертлюгинымъ, сосѣди и пріятели; такъ если не для васъ, такъ, можетъ быть, для него...

— Нѣтъ, Прохоръ, мнѣ кажется, рекомендація Ильи Сергѣевича не много намъ поможетъ.

— И, сударь!... Рекомендація сама по себѣ, а прочее другое само по себѣ. Теперь вы являлись къ нему съ передняго крыльца, а послѣ можно будетъ и съ задняго побывать.

— Полно, можно ли?.. Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ живетъ: каменные палаты, а что въ нихъ то!.. Я было хотѣлъ поговорить съ нимъ о моемъ дѣлѣ, — куда, и слушать не хочеть! Передалъ меня своему повытчику...

— Такъ можно будетъ черезъ него...

— Знаешь ли, Прохоръ: я вѣдь не рѣшусь говорить объ этомъ и съ повытчикомъ; ну, если онъ обидится!...

— Не бойтесь, не обидится!

— Воля твоя, у меня языкъ не повернется! Да и что я могу предложить такому большому барину?... Вѣдь онъ во сто разъ меня богаче.

— И, сударь, да развѣ вы не богаче вашихъ мужичковъ, а вѣдь оброкъ съ нихъ берете!

— Да это совсѣмъ другое дѣло,—я помѣщикъ.

— И онъ помѣщикъ, сударь; только вотчина то его посылтѣе вашей. Вамъ платять крестьяне, а ему челобитчики. Ну, конечно, онъ богаче васъ: у него каменные палаты, а все-таки онъ выстроилъ ихъ на мірскія денежки. Да что объ этомъ толковать! Вотъ какъ переговорите съ повытчикомъ, такъ перестанете совѣститься. А что, онъ хотѣлъ къ вамъ побывать что-ль?

— Онъ въ первомъ часу будетъ со мною здѣсь въ трактирѣ обѣдать.

— Право?... Такъ надобно же его угостить хорошенько. Вы ужь не поскупитесь, батюшка! Пусть онъ себѣ хоть цѣлый штофъ ерофеича высосеть!

— Ерофеича!.. Что ты, Прохоръ?... До онъ и винограднаго то плохого пить не станеть.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ вы ужь не извольте, батюшка, спрашивать въ трактирѣ: здѣсь слушать втрое; я лучше самъ сбѣгаю въ ренской погребокъ, куплю бутылочки двѣ...

— Смотри, Прохоръ, купи хорошаго.



— Ужь не извольте беспокоиться.

— Да полно, знаешь ли ты въ этомъ толкъ?

— Помилуйте! Хотя я самъ вина не употребляю, а случилось, однакожь, пробовать. Въдъ я въ Нѣмецкиѣ былъ вмѣстѣ съ вами и всякихъ французейновъ видѣлъ довольно; есть и желтые, есть и красные. Однажды нѣмецъ-хозяинъ приневолить меня выпить стаканчикъ, — фу ты, батюшки, что за вино такое!.. Съ легкимъ квасомъ, языкъ щиплетъ, ротъ деретъ,—ну вотъ еслибъ не боялся грѣха, такъ бы все его и пилъ.

— Хорошо, хорошо!—прервалъ Мирошевъ съ улыбною.— Ты ужь не пробуй, спроси просто стараго французскаго.

— Что старое, Кузьма Петровичъ! Для перваго раза можно поискаться: позвольте ужь мнѣ купить бутылочку хорошаго вина, свѣжаго, молодого!...

— Да старое то лучше, Прохоръ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Ну, такъ стараго. Я приду въ трактиръ служить вамъ за столомъ, да посмотрю на этого сенатскаго повыгчика,—какъ-таки онъ противъ нашихъ саратовскихъ.

Въ двѣнадцатомъ часу Мирошевъ сидѣлъ уже въ трактирѣ за однимъ порожнимъ столомъ, подлѣ котораго стоялъ Прохоръ съ тарелкою въ рукѣ и перекинутою черезъ плечо салфеткою. На столѣ было два прибора, закуска, графинъ съ водкою и бутылка бѣлаго вина. Въ трактиръ безпрестанно входили купцы, мѣщане и приказные; одни завтракали, другіе собирались обѣдать. Вотъ, наконецъ, вошелъ небольшого роста человекъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, при шпагѣ, съ треугольною шляпою подъ плечомъ. Его слегка напудренные волосы завязаны были на затылкѣ въ длинный пучокъ. Черты лица его были довольно пріятны: въ нихъ выражалась даже какая то добродушная веселость, и еслибъ косые глаза его не походили на копачья, то его можно было бы принять за весьма порядочнаго человека.

— А вы ужь здѣсь? — вскричалъ онъ, подойдя къ Мирошеву.—Ну, Кузьма Петровичъ, аккуратный вы человекъ!

— Милости прошу, Семенъ Акимовичъ! — сказалъ Мирошевъ.—Не угодно ли чего-нибудь закусить?

— Съ большимъ удовольствіемъ; я что то очень проголодался.

Тетерькинъ выпилъ водки, закусилъ и, взглянувъ на Прохора, сказалъ:

— Это что за харя такая? Ты, видно, братъ, недавно здѣсь служишь? Я тебя никогда не видывалъ.

— Это мой человѣкъ, — отвѣчалъ Мирошевъ. — Онъ вольный; служить при мнѣ приказчикомъ и ходить также по моимъ дѣламъ.

— Право? Такъ онъ нашъ братъ-законникъ?.. Ну, любезный, не красивъ ты.

— Каковъ есть, батюшка! — отвѣчалъ Прохоръ съ низкимъ поклономъ.

— А рожа плутовская, и долженъ быть большая пьяница!

— О, нѣтъ! — подхватилъ Мирошевъ. — Могу васъ увѣрить: онъ ничего не пьетъ, и самый честный человѣкъ.

— Ну-ка, братъ, честный человѣкъ, возьми мою шляпу и шпагу, да положи ихъ къ сторонкѣ.

— Ахъ ты приказная строка! — шепнулъ про себя Прохоръ, кладя на стулъ шляпу и шпагу повытчика. — Собака этакая!... За что облаяя, крапивное сѣмя!

Межъ тѣмъ поставили на столъ миску съ горячимъ, блюдо свѣжепросольной осетрины и жаренаго судака.

— Ну вотъ, почтеннѣйшій, — сказалъ Тетеркинъ, придвигая къ себѣ суповую чашку, — какъ мы этакъ, знаете, червячка заморимъ, да выпьемъ по стаканчику, такъ я вамъ кой-что порааскажу о вашемъ дѣлѣ; а теперь не погнѣвайтесь! Вѣдь вы, я думаю, слышали пословицу: «голодной кумѣ хлѣбъ на умѣ».

— Кушайте на здоровье, Семень Акимовичъ, сдѣлайте милость!

Тетеркинъ принялся ѣсть такъ проворно и съ такимъ необычайнымъ аппетитомъ, что Прохоръ Кондратьичъ не выдержалъ и проговорилъ себѣ подъ носъ:

— Экъ онъ за обѣ щеки то убираетъ! Словно три дня ничего не трескалъ, проклятый!

— Что ты тамъ, краснорожій, бормочешь? — спросилъ повытчикъ, принимаясь за осетрину.

— Да что, ваше благородіе, мало изволите кушать. Похлебка, кажется, добрая, а полмиски осталось.

— Что, братецъ, дѣлать: вотъ ужъ другая недѣля, какъ у меня желудокъ не въ порядкѣ!

— Такъ-съ, ваше благородіе! Посмотрѣлъ бы я, какъ вы изволите кушать, когда онъ у васъ въ порядкѣ то.

— А вотъ, братецъ, выпью, такъ дѣло пойдетъ лучше. Позвольте-ка стаканчикъ вина!

Кузьма Петровичъ подаль Тетерькину бутылку, онъ налилъ, хлебнулъ и сдѣлалъ такую кислую рожу, что бѣдный Мирошевъ сгорѣлъ отъ стыда.

— Что это за вино?—вскричалъ повытчикъ.—Да это не вино, а рѣдечный сокъ!.. Тьфу, мерзость какая!

Кузьма Петровичъ взглянулъ съ упрекомъ на Прохора.

— Помилуйте, ваше благородіе,—отвѣчалъ Прохоръ съ обиженнымъ видомъ,—да это настоящій францвейнъ.

— Убирайся съ нимъ къ чорту!.. Эй, хозяинъ, подайка, братецъ, намъ стараго рейнвейна,—вотъ что я пилъ у тебя на прошлой недѣлѣ; ну, знаешь: бутылка два съ полтиной?

Еслибъ Прохоръ Кондратьичъ былъ не плѣшивъ, такъ ужъ вѣрно-бы у него волосы на головѣ стали дыбомъ.

— Два съ полтиной!.. Разбойникъ!..—подумалъ онъ.—Да вѣдь этакъ каждый глотокъ будетъ стоить по цѣлковому!.. Ахъ, батюшки, бутылка два съ полтиной!.. Да такіе напитки и царямъ кушать такъ впору... а этотъ подьячій!.. Чтобъ ему захлебнуться, окаянному!.. Ну, протрутъ же намъ здѣсь глаза!

— Вотъ, — сказалъ Тетерькинъ, когда подали рейнвейнъ,—вотъ это винцо!.. Пожалуйте-ка вашъ стаканчикъ, Кузьма Петровичъ.

— Я не пью никакого вина,—отвѣчалъ Мирошевъ.

— Напрасно, почтеннѣйшій! Два вѣка проживете, коли станете кушать это вино. За ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!.. Ну, теперь скажу я вамъ: дѣльце ваше я поразсмотрѣлъ.

— Чтожъ вы думаете, Семень Акимовичъ?

— Казусное дѣло, сударь, казусное! Соперникъ то вашъ больно силенъ! Ваше здоровье!..

— Да вѣдь передъ закономъ должны быть всѣ равны,—сказалъ Мирошевъ.

— И, Кузьма Петровичъ, мало ли что говорится, да не все то дѣлается! Законъ!.. Ну, конечно, законъ святъ и ненарушимъ; да вѣдь его никогда и не нарушаютъ. Разумѣется, и у васъ отнять землю не потому, что вы тягаетесь съ знатнымъ баринѣмъ, а въ силу законовъ и по точному разуму постановленій и указовъ, существующихъ по сему предмету. Вотъ если-бы вашъ искъ подкрѣпился

ясными и законными документами, такъ еще можно было бы какъ-нибудь; но вѣдь у васъ никакихъ актовъ на спорную землю не имѣется?

— Были, Семень Акимовичъ, да сгорѣли.

— А въ архивѣ?

— И тамъ показываютъ, что утрачены.

— Такъ это все равно, еслибъ ихъ и вовсе не было...

Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!

— Такъ поэтому мнѣ и хлопотать нечего, — сказалъ Мирошевъ. — Судя по вашимъ словамъ, я не имѣю никакой надежды ..

— Отчаяніе — смертный грѣхъ, Кузьма Петровичъ! — прервалъ съ улыбкою Тетеркинъ. — Никогда не должно терять надежды.

— Но вы сами говорите...

— Я только хотѣлъ вамъ изъяснить, какъ трудно будетъ дать хорошій ходъ вашему дѣлу.

— Я прошу только одной справедливости; пусть судятъ меня по силѣ законовъ...

— По силѣ законовъ! — прервалъ повытчикъ. — Да эту силу то можно толковать и такъ и этакъ; можно также подчасъ какой-нибудь указецъ пропустить. И нашъ братъ, законникъ, человѣкъ же есть, — проглядить, пропустить, ошибется; вѣдь за это не казнятъ, не рубятъ. Эхъ, Кузьма Петровичъ, мало ли что можно!.. Все зависитъ отъ докладной записки, которую составляютъ повытчикъ или секретарь, а оберъ-секретарь просматриваетъ. Я только что успѣлъ пробѣжать ваше дѣло, а ужъ кой-что замѣтилъ: ни у васъ, ни у соперника вашего на спорную землю никакихъ актовъ не имѣется; но вы въ прошеніи вашемъ изъясняете, что эти акты утрачены во время бывшаго пожара, а соперникъ вашъ даже и не упоминаетъ, что подобные акты когда-либо у него находились. Вотъ ужъ одно обстоятельство въ вашу пользу; а какъ порыться хорошенько, такъ найдемъ и побольше... Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!

— И такъ, вы думаете, что я могу еще надѣяться!

— Да ужъ положитесь въ этомъ на меня! Я, Кузьма Петровичъ, человѣкъ простой: что на умѣ, то и на языкѣ. Вотъ я вамъ скажу: вы мнѣ съ перваго раза такъ полюбились, что я готовъ для васъ ночи не спать!

— Чувствительно вамъ обязанъ! Повѣрьте, благодарность моя...

— И, полноте, что тут говорить о благодарности!... Мнѣ отъ васъ ничего не надобно. Вотъ секретарь,—вы не изволите его знать? Андрей Егоровичъ Щипцовъ...

— Нѣтъ, не знаю.

— Тяжелый человекъ! Напримѣръ, вы, Кузьма Петровичъ, вы, кажется, человекъ не очень достаточный?

— Да, эго правда: я только что имѣю нужное.

— То есть рубликовъ этакъ тысячи полторы въ годъ? —сказалъ Тетеркинъ, допивая послѣдній стаканъ вина.

— И половины нѣтъ.

— Ну, вотъ изволите видѣть! Отъ васъ бы, кажется, грѣшно и поживиться чѣмъ-нибудь, а вы все-таки дешево съ нимъ не раздѣляетесь. Повѣрите ли, Кузьма Петровичъ: даромъ пера въ руки не возьметъ! Да хоть бы, по крайней мѣрѣ, съ разборомъ: ну, богатый челобитчикъ—дѣло другое,—ему что! А то готовъ у нищаго послѣднюю копейку взять, лихоимецъ этакій!.. Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!.. Э, да все ужь!.. Прикажете-ка, батюшка, еще бутылочку того же. Славное вино!

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!—шепталъ Кондратичъ.—Еще два съ полтиной!

— Ну, что стоишь, Прохоръ? —сказалъ Мирошевъ.— Ступай скорѣй, принеси бутылку рейнвейна.

— Да полно, ужь есть ли? —проговорилъ запинаясь Кондратичъ.—Кажется, все вышло.

— Врешь, братецъ! —закричалъ повытчикъ.—Хочешь ли, я сейчасъ спрошу дюжину и намъ подадутъ?

Прохоръ не отвѣчалъ ни слова, бросился со всѣхъ ногъ къ прилавку и принесъ бутылку вина, которая такъ же, какъ и первая, опорожнилась въ нѣсколько минутъ.

— Ну, Кузьма Петровичъ, —сказалъ Тетеркинъ, вставая,—прощайте покамѣстъ! Покорнѣйше васъ благодарю за угощенье!.. До свиданья!

— Что, Семенъ Акимовичъ, —спросилъ Мирошевъ, — не зайти ли мнѣ завтра или послѣзавтра къ вамъ въ сенатъ?

— Зачѣмъ, Кузьма Петровичъ?.. Не нужно! Я буду каждую недѣлю раза по два приходиться къ вамъ сюда обѣдать; стану извѣщать васъ о ходѣ вашего дѣла, скажу, когда надобно будетъ расходецъ какой-нибудь слѣлать—то, другое... здѣсь удобнѣе обо всемъ переговорить... Да знаете что, Кузьма Петровичъ: не худо, если будутъ ду-

мать, что вы вовсе о вашей тяжбѣ не хлопчете!... Исподтишка, да втихомолку скорѣй все обдѣлаешь. Прощайте, почтеннѣйшій... Будьте здоровы!

— Ушелъ!—сказалъ Кондратьичъ, проводивъ до дверей повытчика.—Ахъ, онъ, пострѣлъ этакій!.. Ну, сударь?..

— Что, Прохоръ?

— Пять цѣлковыхъ за одно вино!..

— Чтожъ дѣлать.

— Пять цѣлковыхъ, не считая пятнадцати копѣекъ, что я заплатилъ за бутылку францвейна!.. Да хоть бы онъ охмелѣлъ, мошеникъ, а то ни въ одномъ глазѣ!.. Двѣ бутылки!.. Чтожъ это за вино такое?.. Э, да вотъ никакъ на доньшкѣ осталось... Дайте-ка попробую... Тьфу пропасть!.. Да чтожъ въ немъ хорошаго?.. Кисло, пахнетъ какою то травкою... Ну, за что деньги платять?.. Ахъ, батюшки, батюшки!.. Куда, подумаешь, господа то глупы!..

— Прохоръ, что ты это ругаешься?

— Да не прогнѣвайтесь, Кузьма Петровичъ,—въ чемъ другомъ, а въ этомъ нашъ братъ посмысленѣе. Ужь если пить вино, такъ такое, чтобъ съ двухъ стакановъ въ головѣ зашумѣло; а коли пьешь не ради хмеля, а для одной сласти, такъ кушай медъ. А это что: вино не вино, квасъ не квасъ, а бутылка два съ полтиной!

— Да, конечно, это очень дорого. Мнѣ случалось пить за границею рейнвейнъ, вѣрно, не хуже этого...

— А, чай, платили копѣекъ по двадцати за бутылку?.. Вотъ то-то и есть, батюшка: «за моремъ телушка по полушкѣ, да перевозу рубль».

— Полно, Прохоръ, объ этомъ толковать! Ступай-ка, рассчитайся съ хозяиномъ.

— Чего тутъ считать, сударь? За обѣдъ два полтинника, да за вино пять рублей—всего шесть рублей.

— Вотъ деньги, ступай, расплатись.

Кондратьичъ пошелъ расплачиваться съ хозяиномъ, заспорилъ и поднялъ такой шумъ, что самъ Мирошевъ подошелъ къ прилавку.

— О чемъ ты споришь?—спросилъ онъ Прохора.

— Да какъ-же, сударь, помилуйте! Мало того, что мы платимъ пять рублей за двѣ бутылки вина, да еще требуютъ съ насъ за то вино, что я самъ покупалъ въ погребокѣ.

— Да съ тебя не за вино просятъ,—первалъ хозяинъ,—а за пробку.

— За какую пробку? Да развѣ пробка то ваша? Я купилъ ее вмѣстѣ съ бутылкою.

— Это такъ ужь говорится. Коли ты вино бралъ не здѣсь, а принесъ съ собою, такъ долженъ заплатить по гривнѣ съ каждой пробки хозяину.

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ?—прервалъ Мирошевъ.—Я изстратилъ шесть рублей, а ты изъ гривны шумишь.

— Изъ гривны? Бездѣлица—гривна! Что вы, сударь! Да коли денежка рубль бережетъ, такъ гривна то и по-давно.

— Да извольте, батюшка, Кузьма Петровичъ,—сказалъ хозяинъ,—для перваго раза я васъ этимъ уважу. А ты, Кондратьичъ, смотри, впередъ изъ погребковъ то вина сюда не таскай!

— Не таскай! Ты бы еще по пяти рублей за бутылку бралъ.

— Коли спросите, такъ подадимъ и пятирублевого.

— Какъ такъ, и такое есть? Эге-ге, такъ мы еще дешево отдѣлались!.. Ну, сударь,—продолжалъ Прохоръ, идя за Мирошевымъ, который пробирался къ себѣ на квартиру,—чтожъ это будетъ такое? Вѣдь вы слышали, этотъ Тетеркинъ обѣщался по два раза въ недѣлю обѣдать здѣсь на наши денежки?

— Что жъ дѣлать, Прохоръ.

— Да вы позабыли что ль, батюшка, что у насъ всего на-всего только двѣсти рублей осталось? На долго ли ихъ станеть?...

— Да, конечно; и не увидишь, какъ всѣ выйдуть.

— Ахъ, Господи, Господи!.. Вотъ тошно то будетъ, коли мы вовсе изхарчимся, а земли нашей не отстоимъ!

— Легко быть можетъ. Вотъ то-то, Прохоръ! Хотя дѣло наше по совѣсти чистое и справедливое, а если-бы не ты, такъ я вовсе бы не сталъ о немъ хлопотать, а представилъ бы все волѣ Божіей: Онъ лучше нашего знаетъ, что для насъ необходимо.

— А пословица то, сударь: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай».

— Пословица не законъ, Кондратьичъ.

— Законъ не законъ, а какъ придется умирать съ голоду...

— Съ голоду, Прохоръ, на Руси никто не умираеть;

а терпѣть нужду, коли на это есть воля Божья, вовсе не бѣда. Развѣ ты забылъ, что говоритъ Спаситель: «блаженни алчущіе, ибо они насытятся».

— Да, батюшка, такъ, точно такъ: коли Богъ наплетъ горе—терпи,—не здѣсь, такъ тамъ слюбятся. Вотъ, сударь, какъ вы заговорите со мной отъ божественнаго, такъ у меня и рѣчей нѣтъ. Подлинно, правда, Кузьма Петровичъ! Станемте надѣяться на Господа Бога, да на Матушку нашу, Пресвятую Богородицу, а тамъ что будетъ, то будетъ.

### XXXI.

Неожиданное открытіе. Положеніе Мирошева становится часъ-отъ-часу хуже.

Грустно жить въ разлукѣ съ тѣми, кого любишь; а еще грустнѣе, когда не знаешь, долго ли продлится эта разлука. Прощаясь со своимъ семействомъ, Мирошевъ думалъ, что онъ раастается съ нимъ не болѣе, какъ мѣсяца на два; онъ даже не вовсе терялъ надежду, что Богъ сподобитъ его поклониться вмѣстѣ съ ними святому Христову Воскресенію, и вотъ ужъ прошелъ Великій постъ, прошли всѣ праздники, а дѣло его не подвигалось впередъ. Время шло очень медленно для Мирошева; онъ видался раза по три въ недѣлю съ Костомомовымъ, бывалъ каждый день у обѣдни въ одномъ изъ кремлевскихъ соборовъ; послѣ обѣда, если погода была хороша, гулялъ по городу, и почти всѣ вечера проводилъ дома, читая книги, по большей части, духовныя. Ихъ доставалъ ему хозяинъ гостиницы отъ приходскаго священника, съ которымъ онъ находился въ близкихъ сношеніяхъ, потому что былъ церковнымъ старостою.

Повытчикъ Тетерькинъ сдержалъ свое слово: онъ приходилъ по два раза въ недѣлю обѣдать на счетъ Мирошева, и каждый разъ приносилъ ему весьма утѣшительныя извѣстія: то онъ слышалъ отъ оберъ-секретаря, что тяжebное дѣло Кузьмы Петровича должно быть рѣшено непременно въ его пользу; то секретарь, разсматривая рѣшеніе гражданской палаты, покачивалъ головою и шепталъ про себя: «Ну, слѣдуетъ ихъ оштрафовать порядкомъ!» То увѣдомлялъ Мирошева, что записка о его дѣлѣ пошла уже въ ходъ и скоро поступитъ къ докладу.



— Да отчего же,—спросилъ однажды Мирошевъ,—дѣло мое до сихъ поръ не рѣшено? Вы все говорите, Семень Акимовичъ, что оно на будущей недѣлѣ поступитъ къ докладу, а ужь этихъ будущихъ недѣль прошло четыре.

— Что жь дѣлать, Кузьма Петровичъ!—отвѣчалъ Тетеркинъ, откупоривая бутылку рейнвейна.—И радъ бы радостію, да развѣ это отъ меня зависитъ?.. Вотъ, напримѣръ, на прошлой недѣлѣ, ваше дѣло было по очереди третьимъ; вдругъ приказаніе—рѣшить не въ очередь одну тяжбу, такую запутанную, что всѣ наши законники втупикъ стали. Какъ приступили къ разбирательству, такъ представились такія обстоятельства, что изъ одного дѣла выходитъ безъ малаго десять, и въ томъ числѣ два уголовныхъ. Гдѣ тутъ думать объ очередныхъ,—лежать покуда!. Потерпите, Кузьма Петровичъ, потерпите! Авось этакъ недѣлька черезъ двѣ.

— Да я бы радъ и три недѣли дожидаться, лишь только бы дождаться чего-нибудь.

— Дождетесь, почтеннѣйшій, дождетесь!.. Ваше здорье!

Однажды Кондратьичъ, который ушелъ съ утра на толкучій рынокъ покупать себѣ сапоги, воротился домой послѣ обѣда.

— Ну, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ,—молись Богу: кажется, мы скоро отправимся въ Хопровку.

— Дай-то, Господи!

— Сейчасъ только ушелъ отъ меня Тетеркинъ: наше дѣло на очереди, и послѣзавтра его будутъ слушать.

— Воля ваша, сударь, не вѣрю я этому подъячему: онъ все лжетъ!

— Нѣтъ, Прохоръ, сегодня онъ былъ со мною очень откровененъ. Вотъ, изволишь видѣть: записка о нашемъ дѣлѣ третью недѣлю лежитъ у оберъ-секретаря Припекина. Семень Акимовичъ все совѣстился мнѣ сказать....

— Что надобно сунуть что-нибудь этому Припекину?.. И онъ совѣстился вамъ объ этомъ сказать?.. Лжетъ, мошенникъ!.. Ну чтожь? Какъ вы съ нимъ покончили?

— Онъ взялся мнѣ все уладить за сто рублей.

— За сто рублей?.. И вы ему деньги отдали?

— Отдалъ.

— А чтожь у васъ самихъ то осталось?

— Цѣлковый и гривенъ шесть мелочи.

— Ахъ, батюшки! Чѣмъ же мы будемъ жить?

— Да если дѣло наше кончится на этой недѣлѣ, такъ я займу рублей двадцать пять у Костоломова; съ этимъ мы до дому какъ-нибудь дождемъ.

— Такъ, сударь, такъ! А если Тетерькинъ васъ обманываетъ?.. Послушайте-ка, батюшка, не лучше ли вотъ что?.. Не занимайте покамѣстъ у Костоломова, поберегите его для переды; а продадимте-ка лучше лошадей: вѣдь онѣ насъ вовсе съѣли. Тогда можно и Ерему съ хлѣба долой; дайте ему цѣлковый на дорогу, да и съ Богомъ! Здѣсь мы всегда найдемъ попутчиковъ,—свезутъ до дому за бездѣлицу; а я ужъ на конной прицѣвнивался,—приступу нѣтъ къ степнымъ лошадямъ!.. Мы за тройку возьмемъ рублей семьдесятъ, а какъ прїѣдемъ домой, такъ купимъ знатныхъ лошадей изъ косяка, рублей за сорокъ.

— А что, Прохоръ, въ самомъ дѣлѣ, ты правду говоришь.

— Я ужъ, сударь, давно объ этомъ думаю. Если дѣло наше опять затянется, такъ позвольте.

— Продавай, Прохоръ. Но я надѣюсь, что на этотъ разъ Тетерькинъ меня не обманывалъ; еслибъ ты слышалъ, какъ онъ божился...

— И, сударь, что имъ божба!.. Коли приказный или купецъ божится, тутъ то имъ и не вѣрь; имъ божба ни по чѣмъ!.. Охъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, чуетъ мое сердце, что мы еще не скоро отсюда вырвемся.

Къ несчастію, это грустное предчувствіе не обмануло Прохора Кондратьича. Дней черезъ пять Тетерькинъ явился къ Мирошеву и объявилъ, что дѣло опять остановилось.

— Что вы говорите!—вскричала съ ужасомъ Мирошева.— Да отчего же?

— Оттого, Кузьма Петровичъ, что есть люди, въ которыхъ нѣтъ ни совѣсти, ни чести, ни Бога!.. Я говорилъ вамъ, что этотъ секретарь Щипцовъ человекъ самый бездушный и неблагонамѣренный: онъ остановилъ ваше дѣло. Представьте себѣ: докладная записка, которую я самъ составлялъ, просмотрѣна и утверждена оберъ-секретаремъ Припекинымъ; его высокородіе сдѣлалъ даже въ ней своеручныя поправки,—и чтожь вы думаете? Щипцовъ удерживаетъ ее у себя, подъ тѣмъ предлогомъ, что будто бы въ ней не довольно объяснены нѣкоторыя обстоятельства. Что дѣлать, Кузьма Петровичъ: нашъ оберъ-секретарь человекъ добрый,

да больно слабъ. Другой бы пугнулъ секретаря такъ, что онъ и мѣста бы не нашелъ, а Кириллъ Федосеевичъ молчить.

— Какъ вы думаете, — спросилъ Мирошевъ, — ужъ не съѣздить ли мнѣ самому къ Щипцову?

— О, нѣтъ, вѣтъ, — прервалъ съ живостью повытчикъ, — зачѣмъ, не надобно!.. Вы все дѣло испортите!

— Да что же намъ дѣлать?

— Какъ что? Надобно будетъ какъ-нибудь усоувѣстить этого разбойника Щипцова; а то, пожалуй, онъ мѣсяца два продержитъ у себя докладную записку. Я говорю усоувѣстить, — понимаете?.. То есть поступить такимъ образомъ, чтобъ ему совѣстно было дѣйствовать противъ васъ.

— А, понимаю!... То есть надобно...

— Ну, да!

— Чтожъ вы думаете?

— Да если вы хотите въ этомъ случаѣ положиться на меня, такъ я кончу все дня въ четыре. Вы ужъ много травили, Кузьма Петровичъ, — не покуситесь!

— Эхъ, Семень Акимовичъ, если-бъ вы знали... Мнѣ скоро нечѣмъ будетъ за квартиру платить...

— Займите гдѣ-нибудь. Всего рублей пятьдесятъ, — больше не надобно.

— По крайней мѣрѣ, — сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени, — могу ли я надѣяться, что моя тяжба...

— Кажется, по всему должна кончиться въ вашу пользу, — прервалъ повытчикъ. — Впрочемъ, наше дѣло составить докладную записку и пустить ее въ ходъ, а тамъ, что Богъ дастъ.

— Да ужъ не объ этомъ рѣчь, Семень Акимовичъ! Мнѣ бы только развязаться какъ-нибудь. Если у меня землю отнимутъ, — что дѣлать: былъ небогатъ, буду еще бѣднѣе, а съ голоду не умру; но дожидаться еще нѣсколько мѣсяцевъ, жить розно съ моею семьею, не зная, когда это кончится...

— О, будьте покойны, — непременно на этихъ дняхъ!

— Да вы ужъ сколько разъ мнѣ это говорили.

— Чтожъ дѣлать, Кузьма Петровичъ! Я все думалъ, не обойдется ли какъ-нибудь безъ дальнихъ расходовъ. Вы человекъ небогатый, хотѣлось побережечь васъ, анъ и вышло хуже! Да за то ужъ теперь, если вы сдѣлаете это послѣднее пожертвованіе, никакой остановки быть не можетъ.

— Извольте, Семень Акимовичъ; постараюсь какъ-нибудь. Побывайте у меня завтра.

— Очень хорошо! А я межъ тѣмъ заверну къ Щипцову: надобно его къ этому приготовить,—тяжелый человекъ, батюшка, тяжелый! Боюсь, чтобъ онъ не заломилъ!.. Ну, да я ужъ какъ-нибудь это дѣло улажу... До свиданья, Кузьма Петровичъ!

На другой день, рано по-утру, Кондратьичъ отвелъ на конную лошадей; но вмѣсто того, чтобъ взять за нихъ семьдесятъ рублей, съ трудомъ могъ ихъ продать за сорокъ. Часу въ девятомъ по-утру явился къ Мирошеву Тетеркинъ. Онъ казался очень разстроеннымъ: лицо его было блѣдно, волосы растрепаны и во всѣхъ движеніяхъ замѣтна какая то торопливость и безпокойство.

— Ну что, почтеннѣйшій,—сказалъ онъ,—достали ли вы денегъ?

— Досталъ, но только не всѣ.

— Эхъ, жаль!.. А много ли?

— Сорокъ рублей. Подождите до завтраго: я повидаюсь съ моимъ пріятелемъ Костоломовымъ,—онъ, вѣрно, не откажетъ мнѣ...

— Да вамъ повѣрить, я думаю, здѣшній хозяинъ.

— Охъ, нѣтъ, Семень Акимовичъ, я и такъ ужъ ему задолжалъ.

— Какъ же быть то?... Я сейчасъ отъ секретаря: онъ станеть меня дожидаться... Ну, да дѣлать нечего,—давайте мнѣ то, что у васъ есть.

Мирошевъ отсчиталъ ему сорокъ цѣлковыхъ и сказалъ:

— Могу ли я теперь надѣяться?

— На будущей недѣлѣ, непременно на будущей!— прервалъ повытчикъ.—Прощайте!.. Да, кстати, я долженъ вамъ сказать: на меня навалили такую кучу дѣлъ, что я, можетъ быть, дней пять или шесть съ вами не увижусь... До свиданья!

— Что это, сударь? — сказалъ Кондратьичъ, когда повытчикъ ушелъ.—Изволили вы замѣтить, какая сегодня рожа у этого Тетеркина?

— Да, онъ что то очень смущень.

— Словно изъ острога вырвался: глаза такіе шальные, волосы дыбомъ! Ну, это что-нибудь не даромъ!.. Охъ, сударь, напрасно вы ему деньги отдали!

— Да какъ же не отдать, Прохоръ? Ужь если я до сихъ поръ имѣлъ къ нему довѣренность...

— Воля ваша, Кузьма Петровичъ, а я бы ему гроша не повѣрилъ, а особливо сегодня: онъ или въ картежъ бился всю ночь, или пьянствовалъ... Дай то, Господи, чтобъ этотъ плуть насъ не обманулъ!

— Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—есть у тебя что-нибудь на расходъ?

— Овсеца оставалось, такъ я продалъ на сорокъ копѣекъ въ лавочку. А у васъ?

— Одинъ гривенникъ.

— Только то? Ну, сударь, дѣлать нечего: пришлось почать кубышку.

— Какую кубышку.

— А вотъ какую,—продолжалъ Прохоръ, подавая своему барину кожаный мѣшечекъ, въ которомъ было рублей восемь серебромъ.

— Откуда у тебя эти деньги? — спросилъ Мирошевъ.

— Берите, добро!

— Чьи это деньги?

— Ваши, сударь.

— Неправда, Прохоръ. Вотъ старый полтинникъ, которымъ я съ тобой похристосовался въ прошломъ году. Это твои деньги.

— Да развѣ не вы мнѣ ихъ пожаловали? Пришла нужда, такъ я вашимъ же добромъ вамъ и челомъ!

— Спасибо, мой другъ! Дай только намъ доѣхать до дому...

— И, сударь, у васъ будутъ деньги, будутъ и у меня! Да и на что мнѣ столько денегъ? Что у меня, семья что-ль?.. По вашей милости, я сытъ, одѣтъ, ни въ чемъ не нуждаюсь; а нищему подать всегда копѣйка найдется.

Прошло недѣли полторы, а объ Тетеркинѣ и слуху не было.

— Да чтожь это значить? — сказалъ однажды Кузьма Петровичъ, выдавая Кондратьичу на расходъ послѣдній свой цѣлковый. Ужь здоровъ ли Тетеркинъ? Ты знаешь, гдѣ онъ живетъ, Прохоръ?

— Знаю, сударь.

— Сходилъ бы ты узнать объ его здоровьѣ... Иль нѣтъ, я лучше самъ къ нему зайду.

— Не извольте, сударь, беспокоиться: я сегодня, чѣмъ свѣтъ, къ нему ходилъ.

— Ну, что?

— Съѣхалъ съ квартиры.

— Куда?

— Неизвѣстно.

— Чтожь это значить?

— Вѣстимо что: мошенникъ!

— И, полно, Прохоръ! Можетъ быть, онъ переѣхалъ на другую квартиру и занемогъ. Да вотъ я сегодня же все узнаю. Приготовь мнѣ мундиръ.

— Куда вы, сударь?

— Въ сенатъ. Если Тетерькинъ здоровъ, такъ я его тамъ увижу; а если боленъ, такъ мнѣ скажутъ, гдѣ онъ живетъ.

— Да благо ужъ вы будете въ сенатѣ, батюшка, такъ поразспросите обо всемъ хорошенько. Чтожь это—будетъ ли конецъ нашему дѣлу?.. Очередное да очередное, а все очередь не приходитъ.

Мирошевъ надѣлъ мундиръ и пошелъ въ сенатъ. Походивъ довольно времени по коридорамъ, отыскалъ онъ, наконецъ, канцелярію департамента, въ который поступило его дѣло. Пройдя первую комнату, наполненную сторожами и сенатскими курьерами, онъ вошелъ въ обширную залу, уставленную столами. Человѣкъ тридцать въ мундирахъ и въ нѣмецкихъ кафтанахъ занимались письмомъ; почти столько же не дѣлало ничего и прохаживалось взадъ и впередъ по залѣ; челобитчики и повѣренные по тажбамъ разговаривали вполголоса съ нѣкоторыми изъ этихъ господъ; по временамъ растворялись двери въ присутствіе, и оттуда выходили чиновники съ бумагами и безъ бумагъ. Когда Кузьма Петровичъ увѣрился, что въ этой залѣ нѣтъ Тетерькина, то рѣшился подойти къ одному отдѣльному столу, за которымъ сидѣлъ сѣдой старикъ, не очень привлекательной наружности; предъ нимъ лежала огромная кипа бумагъ, которыя онъ пересматривалъ съ большимъ вниманіемъ.

— Позвольте васъ спросить... — проговорилъ робкимъ голосомъ Кузьма Петровичъ.

Старикъ поднялъ голову, взглянулъ пристально на Мирошева и сказалъ:

— Что вамъ надобно?

— Мнѣ надобно поговорить съ господиномъ повытчикомъ Тетерькинымъ?..

— Съ Тетерькинымъ?... Его здѣсь нѣтъ.  
— Такъ, поэтому, онъ боленъ?  
— Да, я думаю, не очень здоровъ: онъ уволенъ отъ службы.

— Что вы говорите?.. Когда?  
— На прошлой недѣлѣ.  
— Позвольте узнать...  
— Не прогнѣвайтесь, мнѣ некогда,—прервалъ старикъ, принимаясь опять за свои бумаги.

— Скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, кто поступилъ на его мѣсто?

Угрюмый чиновникъ молча показалъ на одинъ столъ, за которымъ сидѣлъ молодой человекъ лѣтъ тридцати, весьма благообразной и пріятной наружности. Мирошевъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— Извините, мнѣ нужно кой о чемъ васъ спросить...

— Съ большимъ удовольствіемъ!—отвѣчалъ ласково молодой человекъ.—Вотъ порожній стулъ—присядьте! Прошу покорно!

— Вы поступили на мѣсто Семена Акимовича Тетерькина?

— Точно такъ.

— У него было тяжebное дѣло отставного поручика. Мирошева...

— А, знаю! Это дѣло было у меня въ рукахъ, когда я находился въ третьемъ повѣтѣ; я и выписку изъ него дѣлалъ.

— Вы?... — прервалъ съ удивленіемъ Мирошевъ.—Да какъ же мнѣ говорилъ Тетерькинъ, что это дѣло у него?

— Неужели?... Безсовѣстный!—прошепталъ молодой человекъ, покачивая головою.

— Такъ, поэтому, онъ меня обманывалъ?—спросилъ съ ужасомъ Мирошевъ.

— Видно, что такъ! Я помню, онъ меня разспрашивалъ объ этомъ дѣлѣ. Ну, признаюсь, не ожидалъ я, чтобъ онъ былъ такъ безстыденъ!.. Впрочемъ, что о немъ говорить: за чѣмъ пошелъ, то и нашелъ!

— Да гдѣ онъ теперь?..

— Покамѣстъ въ острогѣ, а тамъ—какъ рѣшить уголовная палата.

— Чтожъ онъ такое сдѣлалъ?

— Выкралъ документъ изъ дѣла.

— Ахъ, Боже мой,—проговорилъ Кузьма Петровичъ,—какъ я былъ обманутъ!

— Жаль мнѣ васъ, батюшка,—сказала молодой повытчикъ, взглянувъ съ участіемъ на Мирошева, — попали вы на дурного человѣка; впрочемъ, я думаю, дѣло ваше должно скоро рѣшится. Иванъ Андрейчъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ одному пожилому человѣку, который, закинувъ назадъ руки, прохаживался по комнатѣ,—что апелляціонное дѣло отставного поручика Мирошева на очереди или нѣтъ?

— Да!—отвѣчала мимоходомъ пожилой человѣкъ.—Можетъ быть, мѣсяца черезъ два или черезъ три...

У Мирошева вся кровь застыла въ жилахъ.

— Три мѣсяца!.. Еще три мѣсяца!—прошепталъ онъ, смотря какъ помѣшанный на повытчика.—Да какъ же это можно?

— Чтожъ дѣлать!—сказала молодой человѣкъ, пожимая плечами.—Вы ужь, вѣрно, долго дожидаетесь, такъ потерпите еще.

— О, ни за что на свѣтѣ! — вскричалъ Мирошевъ, вскочивъ со стула.— Три мѣсяца!.. Нѣтъ, нѣтъ!.. я не хочу три мѣсяца сряду умирать съ тоски!.. Три мѣсяца!.. Да это цѣлый вѣкъ!.. Прощайте!.. Покорнѣйше васъ благодарю!..

Кузьма Петровичъ какъ сумасшедшій прибѣжалъ домой. Кондратьичъ встрѣтилъ его въ передней.

— Прохоръ,—вскричалъ Мирошевъ, — знаешь ли, что? Вѣдь Тетеркинъ, точно, плутъ и мошенникъ!

— Давно, сударь, знаю.

— Знаешь ли, что онъ сидитъ въ острогѣ?

— Давно пора.

— А знаешь ли, что наше дѣло никогда не было у него въ рукахъ?

— Что вы говорите?

— Оно совсѣмъ въ другомъ повытчи.

— Вотъ тебѣ разъ!.. Такъ, поэтому, всѣ наши харчи!..

— Пропали даромъ.

— Ну, зарѣзалъ насъ этотъ подъячій!.. Ахъ онъ разбойникъ!.. Чтобъ ему издохнуть въ острогѣ!

— Эхъ, полно, Прохоръ. Что, намъ отъ этого легче что-ль будетъ?

— Да какъ же, сударь,—все таки отъ души отляжетъ, когда этакого мошенника заморять въ кандалахъ. Ну, слы-



хано ли дѣло: брать деньги за дѣло, которое не у него!.. Да ужь чего, кажется, подбѣячіе у насъ въ Хоперскѣ, а и тамъ этакое каторжнаго не найдешь!.. Ахъ, Господи, Господи!.. Ну что мы будемъ теперь дѣлать?

— Отправимся домой.

— А дѣло то, сударь?

— Оно еще три мѣсяца не попадетъ въ очередь; чтожь мы станемъ по пустякамъ здѣсь проживаться.

— А кто-жь будетъ имѣть хожденіе по нашей тяжбѣ?

— Да много намъ пользы принесло это хожденіе! Еслибъ я съ самага начала положился на волю Божью, такъ это было бы во сто разъ лучше.

— Эхъ, батюшка, Кузьма Петровичъ!.. Да вѣдь воля Божья во всемъ, не безъ Его же воли мы и сюда прѣѣхали.

— Нѣтъ, рѣшено!.. Укладывайся, Прохоръ: мы ѣдемъ завтра.

— Ёдемъ!.. А на чемъ, сударь? На своемъ на двоимъ!.. Вѣдь лошадей то у насъ ужь нѣтъ, а почтовыхъ нанять не на что.

— Мы поѣдемъ на долгихъ.

— Да вѣдь и на долгихъ то, сударь, даромъ не везать.

— Я займу у Костоломова.

— Такъ займите же, батюшка!.. Вотъ онъ идетъ по улицѣ; вѣрно, къ вамъ.

Черезъ минуту вошелъ Костоломовъ въ полномъ мундирѣ.

— Здравствуй, дядюшка!—сказалъ онъ. — Ба, ба, ба, да ты и сегодня примундирился!..

— Я былъ въ сенатѣ.

— А я у одного благодѣтеля, который хлопочетъ о моемъ мѣстечкѣ. Я пришелъ къ тебѣ, Кузьма Петровичъ, съ просьбою: не можешь ли мнѣ одолжить недѣли на двѣ рубликовъ двадцать пять?

— Вотъ кстати!—вскричалъ Прохоръ.—А баринъ хотѣлъ у васъ просить.

— Неужели?

— Да, любезный другъ, я собираюсь домой, да не на что съѣхать.

— Домой?.. Такъ твое дѣло рѣшено?

— Какой рѣшено! — прервалъ Прохоръ.—Насъ кормили

все завтраками, а мы кормили обѣдами; да и докормились до того, что самимъ ѣсть нечего.

— Эхъ, досадно, — сказала Костоломовъ, — не могу я тебѣ, дядя, помочь!.. Ну, да это еще дѣло поправное. Вотъ, изволишь видѣть: мой двоюродный братъ со всѣмъ семействомъ отправился въ свое помѣстье; ему надобно было кой-что закупить, такъ я написалъ въ деревню, чтобъ мнѣ выслали денегъ, — отдалъ всѣ наличныя ему, и остался самъ безъ гроша. Ну, дѣлать нечего!... Недѣльки полторы перебьемся какъ-нибудь, а тамъ, какъ получу изъ деревни рублей двѣсти, такъ пожалуй пополамъ съ тобой раздѣлю.

— Спасибо, мой другъ! Будь увѣренъ, что я, лишь только справлюсь съ деньгами...

— Ну, поговори, поговори еще!.. Справлюсь съ деньгами!.. Что ты, дядя, не хочешь ли ужъ проценты платить?.. Будутъ лишнія, такъ отдашь, — вотъ и все! Ну, братъ Кузьма, такъ у насъ теперь казны то, видно, не больше, какъ тогда... помнишь, подъ Кросеномъ, сирѣчь — ни полушки!

— То дѣло другое, братецъ: въ Пруссіи насъ кормили даромъ.

— Такъ чтожь?... Хочешь ли, братецъ, и здѣсь даромъ накормятъ?... Да еще какъ — пальчики оближешь!... Мы же кстати оба съ тобой въ мундирахъ. Пойдемъ.

— Куда?

— Что тебѣ за дѣло — пойдемъ!

— Да скажи, куда?... Въ какой-нибудь трактиръ?

— Вотъ еще? Развѣ въ трактирахъ даромъ кормятъ?

— Такъ, вѣрно, къ кому-нибудь изъ твоихъ знакомыхъ?

— Да! Я ужъ у него раза три обѣдалъ.

— Но какъ же я то, братецъ?... Прийти въ первый разъ обѣдать!...

— Ничего! Хозяинъ человекъ очень почтенный, добрый, ѣсть прекрасно, и всегда радъ гостямъ.

— Да ты, по крайней мѣрѣ, скажи мнѣ, кто онъ такой?

— Я говорю тебѣ, что онъ человекъ добрый и почтенный; а кто онъ таковъ, скажу тебѣ послѣ обѣда.

— Воля твоя, Егоръ Васильевичъ; надобно, по крайней мѣрѣ, чтобъ я зналъ...

— Экій ты, братецъ, какой! Да развѣ я тебя поведу туда, куда тебѣ идти не можно?... Повѣрь мнѣ, хозяинъ бу-

детъ тебѣ очень радъ; а сверхъ того,—прибавилъ Костоломовъ съ улыбкою,—кого другого, а тебя покормить ему вовсе не грѣшно.

— Меня?... Чтожъ это значить?

— Узнаешь все послѣ обѣда... Пойдемъ!

— Ступайте, сударь! — шепнулъ Прохоръ. — Сегодня за обѣдъ не заплатите, такъ завтра будетъ на что покупать.

— Да отчего ты не хочешь сказать мнѣ, Егоръ Васильевичъ?...

— Ну такъ, братецъ,—капризь!

Мирошевъ долго не соглашался на предложеніе Костоломова; наконецъ, по убѣдительной его просьбѣ, рѣшился идти вмѣстѣ съ нимъ, не зная самъ куда онъ его ведетъ.

### XXXII.

#### Открытый столъ большого варина.

Начиная эту главу, я долженъ сказать своимъ читателямъ нѣсколько словъ объ одномъ старинномъ обычаѣ московскихъ именитыхъ бояръ, для которыхъ наше нынѣшнее гостепріимство показалось бы чрезвычайно мелкимъ, ничтожнымъ и даже вовсе не русскимъ. Лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ Москвѣ живало на покой много заслуженныхъ вельможъ, которые славились своею щедростію, великолѣпіемъ и роскошнымъ гостепріимствомъ. У нѣкоторыхъ изъ нихъ почти ежедневно были такъ называемые *открытые столы*. Каждый опрятно одѣтый человѣкъ, хотя бы онъ вовсе не былъ знакомъ хозяину, могъ смѣло придти обѣдать за этотъ столъ; его не спрашивали, кто онъ такой. Дождавшись въ столовой хозяина и отвѣсивъ ему низкій поклонъ, онъ садился за общую трапезу и кушалъ на здоровье во славу Божию и въ честь русскаго гостепріимнаго боярина, которому и кушанье показалось бы не вкуснымъ, если бы за его столомъ сидѣло менѣе ста человѣкъ гостей. Этотъ обычай извѣстенъ намъ теперь по одному преданію. Мы не дошли еще до просвѣщенной разсчетливости нашихъ западныхъ сосѣдей, у которыхъ отдѣльный сынъ не придетъ незванный обѣдать къ отцу; но, несмотря на это, съ трудомъ уже вѣримъ, что русское хлѣбосольство

могло когда-нибудь существовать въ такомъ обширномъ размѣрѣ, — и вотъ почему я нашелъ необходимымъ предварить своихъ читателей, что этотъ обычай, дѣйствительно, существовалъ на Руси, и что были у насъ такіе бояре, которые находили удовольствіе угощать однимъ и тѣмъ же столомъ и бѣдныхъ, и богатыхъ, и друзей, и незнакомыхъ; однимъ словомъ, дѣлиться со всѣми богатствомъ, которыми наградила ихъ Господь, и проживать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтобъ проматывать ихъ на чужой сторонѣ, ради пріобрѣтенія себѣ европейскаго имени.

Костоломовъ и Мирошевъ вышли Иверскими воротами изъ города. Перейдя черезъ Неглинную, они повернули направо; потомъ, пройдя нѣсколько времени по Моховой, повернули направо и пошли по Воздвиженкѣ.

— Повѣришь ли ты, — сказалъ Мирошевъ, — съ тѣхъ поръ, какъ мы живемъ въ Москвѣ, я еще ни разу не былъ на этой улицѣ?

— Да развѣ ты куда не ходишь?

— Нѣтъ, я почти каждый день гуляю по городу, да всегда въ нашей сторонѣ. Ты живешь на Яузѣ, такъ я зайду къ тебѣ, а отъ тебя въ Рогожскую, въ Таганку, къ Симонову, на Крутицы; тамъ по Москвѣ-рѣкѣ такіе прекрасные виды, да и строенія лучше здѣшнихъ... Однакожъ, и здѣсь, кажется, есть славные дома. Посмотри, какія палаты — продолжалъ Мирошевъ, остановясь противъ огромнаго каменнаго дома.

Этотъ домъ стоялъ посреди обширнаго двора; главный корпусъ былъ въ два этажа, или, лучше сказать, въ одинъ, потому что продолговатыя окна второго этажа были чрезвычайно малы и, казалось, служили только для одного наружнаго украшенія; къ дому примыкали съ обѣихъ сторонъ два трехъ-этажные флигеля: одинъ изъ нихъ тянулся вдоль нынѣшняго Шереметьевскаго переулка. Изъ за кровли дома поднималась глава довольно большой церкви, выстроенной на внутреннемъ дворѣ, который оканчивался садомъ.

— Какой чудной домъ, — сказалъ Мирошевъ: — самъ въ одинъ этажъ съ антресолями, а флигеля трехъ-этажные.

— Такъ онъ тебѣ не нравится?

— Нѣтъ, братецъ, домъ барскій! Конечно, еслибъ онъ былъ повыше, такъ еще бы казался красивѣе.

— Да это снаружи, любезный; а воть посмотри - ка внутри... Пойдемъ!

— Какъ, Егоръ Васильевичъ, — вскричалъ Мирошевъ, — да развѣ мы будемъ обѣдать въ этихъ палатахъ?

— Чего-жь ты испугался?

— Да въ нихъ живетъ какой-нибудь вельможа.

— Такъ чтожь такое, если этотъ вельможа любить, чтобъ его хлѣбъ-соль кушали и знакомые. и незнакомые?... Пойдемъ, братецъ!

Костоломовъ втащилъ почти насильно Мирошева во дворъ. У воротъ стоялъ, опираясь на свою форменную булаву, зашитый въ золото швейцаръ. Костоломовъ, какъ человекъ знакомый, кивнулъ ему головою, а Мирошевъ очень вѣжливо поклонился. Когда они вошли на широкое крыльцо, другой швейцаръ отворилъ имъ двери въ обширную прихожую, въ которой было человекъ шестьдесятъ лакеевъ: одни въ богатыхъ ливреяхъ, другіе въ красивыхъ казачьихъ чекменяхъ. Изъ прихожей, пройдя чрезъ офиціантскую, вошли они въ приемную залу. Человекъ тридцать гостей, изъ которыхъ большая часть была въ мундирахъ, ходили взадъ и впередъ по залѣ, сидѣли на стульяхъ и разговаривали межъ собою вполголоса.

— Это такіе же гости, какъ и мы, — сказалъ Костоломовъ Мирошеву. — Теперь не хочешь ли присѣсть и отдохнуть?... Еще рано, — прибавилъ онъ, взглянувъ на великолѣпные бронзовые часы, которые украшали одну изъ стѣнъ залы: мы прежде получаса обѣдать не будемъ.

— Да скажешь ли ты мнѣ, по крайней мѣрѣ, хотъ теперь?...

— Не скажу, братецъ!... Вотъ какъ покушаешь — тогда!

— А если я спрошу у кого-нибудь изъ гостей?

— Право?... Да какъ же ты спросишь?... «Позвольте, дескать, батюшка, узнать, къ кому я пришелъ обѣдать»? Нѣтъ, дядя, лучше подожди.

— Какой ты упрямый!

— Натура такая, любезный!

Прошло около четверти часа, — вдругъ слышались шаги въ сосѣдней комнатѣ; всѣ гости пришли въ движеніе: тѣ, которые ходили по комнатѣ, остановились; а тѣ, которые сидѣли, вскочили со своихъ мѣстъ. Двери изъ гостиной отворились и, въ приемную залу вошелъ человекъ

лѣтъ пятидесяти, полный, краснощекій, въ красивомъ нѣмецкомъ кафтанѣ; онъ съ вѣжливой улыбкою поклонился всѣмъ гостямъ, которые также отвѣсили ему по низкому поклону.

— Это хозяинъ? — спросилъ Кузьма Петровичъ Костоломова.

— Нѣтъ, братецъ, это его дворецкій.

— Покорнѣйше прошу, господа, въ гостиную! — сказалъ привѣтливо дворецкій. — Не угодно ли кому закусить и выпить водки?

Всѣ гости вошли въ обширную комнату, обитую малиновымъ штофомъ; посреди нея стоялъ круглый столъ съ закускою. Въ нѣсколько минутъ на столѣ остались одни пустыя блюда и тарелки. Впрочемъ, почти всѣ гости пили водку весьма умѣренно, исключая одного человѣка лѣтъ тридцати въ драгунскомъ мундирѣ, который, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, выпилъ три рюмки водки одну за другою. Мирошевъ давно уже замѣтилъ въ этомъ драгунскомъ офицерѣ что то странное. Весьма некрасивое лицо его выражало наглость и безстыдство; а несмотря на это, онъ держалъ себя въ почтительномъ отдаленіи отъ другихъ гостей, жался къ стѣнкѣ, посматривалъ на всѣхъ съ какимъ то безпокойствомъ, и примѣтнымъ образомъ старался, чтобъ глаза его не встрѣтились съ глазами другихъ гостей. Вообще, всѣ движенія его изобличали человѣка, который чувствуетъ самъ, что онъ не на своемъ мѣстѣ. Поношенный мундиръ сидѣлъ на немъ какъ мѣшокъ; онъ путался поминутно со своею саблею, зацѣплялъ за все шпорами и не зналъ, куда дѣвать свою шляпу.

— Что это за офицеръ такой! — спросилъ Кузьма Петровичъ Костоломова. — На немъ мундиръ точно такой же, какъ на насъ.

— Такъ чтожь? Развѣ ты забылъ, что всѣ драгунскіе мундиры отличаются другъ отъ друга одними только погончиками?

— Да это было прежде; теперь, кажется, форма другая.

— Онъ, видно, такъ же, какъ и мы, отставной, служилъ въ наше время.

— Въ наше время?.. Помилуй, братецъ, да ему нѣтъ и тридцати лѣтъ!

— Тсъ!... Тише! — прервалъ Костоломовъ. — Вотъ, кажется, хозяинъ со своими гостями!

Два ливрейныхъ лакея растворили обѣ половинки дверей пріемной залы; изъ внутреннихъ комнатъ показалась большая толпа гостей; въ числѣ которыхъ много было генераловъ и знатныхъ господъ въ богатыхъ французскихъ кафтанахъ. Впереди, рядомъ съ однимъ бариномъ во Владимирской звѣздѣ, шелъ высокаго роста сутуловатый старикъ, особенно замѣчательной по необычайной простотѣ и даже странности своего наряда. Въ то время, безъ исключенія всѣ, принадлежащія къ высшему обществу, носили шитые золотомъ и шелками французскіе кафтаны, кружевные манжеты и *жабо*; пудрились, завивали на вискахъ букли, взбивали тупей и прицѣпляли къ затылку различныхъ формъ шелковые кошельки съ бантами, оборками и разными другими *агрементами*. Точно такъ были одѣты почти всѣ гости, исключая этого старика. Онъ былъ въ вигеновомъ, темнаго цвѣта скюртукѣ, съ отложнымъ воротникомъ, въ бѣломъ, небрежно повязанномъ галстукѣ, и его сѣдые волосы, безъ пудры, были острижены въ кружокъ. Наружность этого старика была весьма привлекательна: кротость, доброта и умъ изображались во всѣхъ чертахъ художаваго лица его, а особливо въ глазахъ и улыбкѣ, исполненной неизъяснимой пріятности. На немъ не было никакихъ орденовъ, кромѣ Андреевской звѣзды, которая виднѣлась изъ-подъ лѣваго лацкана до половины застегнутаго скюртука.

— Вотъ хозяинъ—въ скюртукѣ со звѣздою, — шепнулъ Костоломовъ Мирошеву.

— Прошу покорно, господа!—проговорилъ съ ласковою улыбкою добрый хозяинъ, обращаясь къ своимъ незваннымъ гостямъ.—Милости прошу! Чѣмъ Богъ послалъ.

Изъ этихъ немногихъ словъ можно было замѣтить по выговору, что хозяинъ дома былъ природнымъ малороссіяниномъ и, вѣроятно, ужь не ребенкомъ оставилъ свою родину. Мирошевъ вслѣдъ за другими вошелъ изъ гостиной въ длинную залу въ два свѣта. Въ ней накрытъ былъ покоемъ обѣденный столъ слишкомъ на сто приборовъ. Кузьма Петровичъ хотѣлъ сѣсть рядомъ съ Костоломовымъ, но при входѣ въ залу толпа ихъ разлучила, и ему пришлось сидѣть совсѣмъ на другомъ концѣ стола. Въ первыя минуты Мирошевъ былъ совершенно пораженъ новостію своего положенія. Онъ сидѣлъ за великолѣпнымъ столомъ, на которомъ все блистало серебромъ и золотомъ; передъ

нимъ какъ жаръ горѣло роскошное плато, которое, вѣроятно, стоило дороже, чѣмъ три Хопровки; онъ обѣдалъ со знатными господами, подъ звуки очаровательной музыки, ѣлъ съ серебряной тарелки; ему служили попеременно, то одѣтый бариномъ официантъ, то залитой въ золото казачекъ. Все это казалось ему сномъ. Наконецъ, когда онъ приглядѣлся понемногу къ этому царскому великолѣпю и утолил свой голодъ, то, по примѣру другихъ гостей, захотѣлъ поразговориться со своими сосѣдами. Съ правой стороны подлѣ него сидѣлъ какой то господинъ въ черномъ бархатномъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, а съ лѣвой тотъ самый драгунскій офицеръ, который странно своею наружностью обратилъ на себя его вниманіе. Мирошевъ началъ говорить со своимъ сосѣдомъ въ черномъ бархатномъ кафтанѣ.

— Какая прекрасная зала!—сказалъ онъ.

Сосѣдъ, который въ эту минуту трудился около большого куска разварной стерляди, не взглянулъ даже на Мирошева. Помолчавъ нѣсколько времени, Кузьма Петровичъ обратился къ нему снова, но уже съ вопросомъ, на который слѣдовало отвѣчать.

— Позвольте спросить, что такое играла сейчасъ музыка?

— Музыкъ?.. — проговорилъ черный бархатный кафтанъ, укладывая весьма бережно на кусочекъ хлѣба свою вилку и ножикъ. — Я, я, музыкъ!

— А!.. Нѣмецъ!—подумалъ Мирошевъ.—Ну, съ нимъ я немного наговорю. Помолчавъ еще нѣсколько минутъ, Кузьма Петровичъ обратился къ другому своему сосѣду:

— Позвольте мнѣ спросить васъ: вы, вѣрно, въ отставку?

Драгунскій офицеръ вздрогнулъ и, не отвѣчая ни слова, поотодвинулъ свой стулъ отъ Мирошева.

— Не безпокойтесь, — сказалъ Кузьма Петровичъ, — мы сидимъ довольно просторно. Извините, мнѣ хотѣлось бы знать: вы служите или нѣтъ?

Глаза драгунскаго офицера забѣгали кругомъ; онъ робко посмотрѣлъ назадъ, потомъ взглянулъ недовѣрчиво на Мирошева и отвѣчалъ глухимъ голосомъ:

— Служу!

— Право? А я думалъ, что вы отставной; судя по вашему мундиру...

— По мундиру?—повторилъ торопливо драгунъ.—А что мой мундиръ?..



— Да, кажется, теперь не та форма.

— Форма?.. Какая форма?..

Мирошевъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на этого чудака и сказалъ:

— Такъ поэтому не во всѣхъ полкахъ мундиры пере-  
мѣнены?.. Вы служите въ драгунахъ?

Офицеръ кивнулъ головою.

— Позвольте спросить, въ какомъ полку?

— А на что вамъ?

— Такъ, одно любопытство.

Офицеръ замолчалъ, постоивнулъ еще свой стулъ отъ Мирошева и принялся рѣзать ножемъ артишокъ, который лежалъ у него на тарелкѣ.

— Ну,—подумалъ Мирошевъ,—дѣлать нечего: одинъ со-  
сѣдъ нѣмецъ, другой какой то полоумный! Не съ кѣмъ  
промолвить и словечка!

Вотъ, наконецъ, встали изъ-за стола; одни гости пошли  
вмѣстѣ съ хозяиномъ на его половину, а другіе, то есть  
незваные, остались въ гостиной. Кузьма Петровичъ замѣ-  
тилъ, что драгунскій офицеръ исчезъ тотчасъ послѣ обѣда.

— Ну, дядя,—сказалъ Костоломовъ, подойдя къ Миро-  
шеву,—хорошо покушалъ?

— Не о томъ рѣчь, Егоръ Васильевичъ! Теперь ты дол-  
женъ сказать мнѣ...

— Изволь! Помнишь, я намекнулъ тебѣ, что хозяину  
здѣшняго дома вовсе не грѣшно покормить тебя своимъ хлѣ-  
бомъ и солью?..

— Ну да! Чтожъ это значить?

— А то, что ты по милости его пріѣхалъ въ Москву.

— Какъ по милости его?

— Ну, пожалуй, хоть по милости его приказчика, ко-  
торый отнимаетъ у тебя землю.

— Что ты говоришь? Такъ мы обѣдали у графа?..

— Да, братецъ, да! Ну что, любезный: вѣдь штука то  
недурная?..

— Ахъ, Егоръ Васильевичъ,—вскричалъ Мирошевъ,—  
что ты со мной сдѣлалъ!

— А что такое?

— Какъ что? Я съ нимъ въ тяжбѣ и обѣдалъ за его  
столомъ! Ну, если онъ узнаетъ?..

— Не узнаетъ, братецъ! А еслибъ и узналъ, такъ  
чтожъ за бѣда?

— Помилуй, Егоръ Васильевичъ, да на что это походить!.. И что скажутъ обо мнѣ добрые люди?.. Ахъ, какой стыдъ!.. Пойдемъ, братецъ, скорѣй отсюда!

— Погоди немножко! Видишь, подають кофе.

— Такъ прощай же, — я здѣсь ни минуты не останусь! — сказалъ Мирошевъ, спѣша выйти изъ гостиной.

Въ приемной комнатѣ, у самыхъ дверей въ прихожую, стоялъ дворецкій; онъ говорилъ вполголоса съ однимъ официантомъ. Увидѣвъ Мирошева, официантъ шепнулъ что то на ухо дворецкому, и они оба замолчали. Когда Кузьма Петровичъ подошелъ къ дверямъ прихожей, дворецкій обратился къ нему и сказалъ:

— Извините, сударь, мнѣ нужно васъ спросить...

У Мирошева сердце замерло.

— Что вамъ угодно? — прошепталъ онъ заикаясь.

— Позвольте узнать вашу фамилію.

— Мою фамилію? — повторилъ Мирошевъ, оледенѣвъ отъ ужаса. — То есть... вы хотите знать, кто я?

— Да-съ!

— Я отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ, — промолвилъ съ запинкою Мирошевъ, стараясь пройти въ дверь.

— Позвольте! — сказалъ дворецкій, заслонивъ ему дорогу. — А фамилія ваша, если смѣю спросить?

Кузьма Петровичъ поблѣднѣлъ, какъ приговоренный къ смерти. И подлинно, положеніе его было очень неприятно. Честный, прямодушный Мирошевъ ни за что въ свѣтъ не рѣшился бы назвать себя чужимъ именемъ; но какъ объявить свое собственное; какъ признаться, что онъ въ одно и то-же время и въ тяжбѣ съ графомъ и въ числѣ его нахлѣбниковъ?.. Бѣдняжка, онъ думалъ, что графъ, который и не подозревалъ его существованія, точно такъ же, какъ онъ, заботится объ этомъ ничтожномъ процессѣ, и, вслѣдствіе этой увѣренности, не сомнѣвался, что лишь только произнесетъ свое имя, то всѣ ахнутъ отъ ужаса и закричатъ: «Посмотрите, посмотрите, вотъ безстыдный человѣкъ: подаетъ на графа просьбы, а самъ незваный таскается къ нему обѣдать!» Эта страшная мысль до того овладѣла Мирошевымъ, что онъ совершенно растерялся. Въ глазахъ у него потемнѣло, губы дрожали, языкъ не могъ выговорить ни слова... Дворецкій взглянулъ значительно на официанта, улыбнулся и сказалъ Мирошеву почти насмѣшливымъ голосомъ:

— Ну что, сударь, вспомнили вашу фамилию?

— Мирошевъ!—прошпнталь, наконецъ, Кузьма Петровичъ, чуть-чуть шевеля губами.

— Какъ, сударь, какъ?—спросилъ дворецкій.

— Мирошевъ! — закричалъ Кузьма Петровичъ такимъ дикимъ и отчаяннымъ голосомъ, что дворецкій вздрогнулъ.

— А гдѣ изволите квартировать?—спросилъ онъ.

— Въ Зарядьѣ.

Дворецкій поклонился, а Мирошевъ бросился со всѣхъ ногъ въ лакейскую и выбѣжалъ какъ сумасшедшій на дворъ. Онъ слышалъ позади себя, --да, точно,—онъ слышалъ злобный хохотъ дворецкаго, онъ слышалъ, какъ въ нѣсколько голосовъ повторяли его имя въ передней... Бѣдный Кузьма Петровичъ, добѣжавъ домой, почти безъ чувствъ упалъ на постель.

— Ну что, сударь,—спросилъ Кондратьичъ,—гдѣ вы изволили кушать?

— Ахъ, Прохоръ, — вскричалъ Мирошевъ, — не спрашивай!.. Представъ, что сдѣлалъ со мной этотъ злодѣй Костоломовъ!

— А что, сударь?

— А то, Прохоръ, что мнѣ стыдно глядѣть на самого себя.

— Ахъ, батюшки мои!.. Да чтожь такое? Неужели онъ завелъ васъ въ какое-нибудь дурное мѣсто?

— О, нѣтъ! Я обѣдалъ у знаменитаго вельможи, со мною сидѣли за столомъ генералы, знатные люди...

— Право?

— Да, Прохоръ, да!.. Только знаешь ли ты, у кого я обѣдалъ въ гостяхъ?.. У того самага графа, съ которымъ мы въ тяжбѣ!

— Что вы говорите?

— Ну, расуди самъ: что онъ теперь обо мнѣ думаетъ?

— Помилуйте,—прервалъ Прохоръ,—за чтожь вы сердитесь на Егора Васильевича? Этотъ графъ хочетъ отнять у васъ послѣдній кусокъ хлѣба, а вамъ еще у него и не покусать!.. Эхъ, сударь, не я на вашемъ мѣстѣ! Я бы каждый день сталъ у него обѣдать, да вѣдь бы за пятерыхъ; ужъ я бы доѣхалъ этого графа не мытьемъ, такъ катаньемъ!

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ!

— Да чего тутъ стыдиться? Что вы, развѣ мы у него

отнимаемъ землю? Вотъ еслибъ мы стали подбираться къ его селу Вознесенскому, такъ это дѣло другое. Съ одного вола двухъ шкуръ не деруть. Эхъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, благо ужъ вы знаете дорогу, ступайте-ка и завтра къ нему обѣдать!

— Ни за что на свѣтѣ!

— Да чтожъ вы станете кушать то? Я и за пятакъ буду сытъ: краюха хлѣба, да ковшикъ воды, такъ и слава Богу! А вы, сударь...

— А я то чтожъ? Развѣ мнѣ больше твоего надобно?

— Вы человѣкъ непривычный, Кузьма Петровичъ, — отощаете!

— Не беспокойся!

— Ну, воля ваша, какъ хотите. А я бы ужъ далъ себя знать этому графу! Пообѣдалъ бы вплотную, а тамъ бы сказалъ: «нельзя ли поужинать?»

### XXXIII.

#### Одиннадцать ложекъ.

На другой день, часу въ седьмомъ послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ пошелъ гулять по городу, а Кондратьичъ—человѣкъ, какъ вы знаете, на все досужій, принялся чинить старые сапоги своего барина. Вотъ этакъ часу въ девятомъ, двери отворились и вошелъ человѣкъ, просто, но очень опрятно, одѣтый.

— Здѣсь ли живеть стставной поручикъ, Кузьма Петровичъ Мирошевъ?—спросилъ онъ.

— Здѣсь, батюшка!—отвѣчалъ Прохоръ вставая.—Что вамъ угодно?

— А вотъ велѣно ему отдать,—продолжалъ незнакомый, кладя на столъ что то завернутое въ бумагу.

— Да вы отъ кого?—спросилъ Кондратьичъ.

Незнакомый, не отвѣчая ни слова, поклонился и вышелъ вонъ.

— Что это такое?—подумалъ Прохоръ, взявъ въ руки свертокъ.—Ого, да это что то тяжелое и звенить!

— Что ты это разсматриваешь?—сказалъ Мирошевъ, войдя въ комнату.

— Да вотъ, сударь, сію минуту былъ здѣсь какой-то человекъ и принесъ это вамъ.

— Человѣкъ?.. Отъ кого?

— Не знаю, сударь. Я спрашивалъ, да онъ не сказалъ.

— А что это такое?

— А вотъ сейчасъ разверну!.. Ахъ, батюшки!—продолжалъ Прохоръ.—Что это?.. Серебряная ложка... другая... третья!.. Кажется, цѣлая дюжина!.. Нѣтъ, только одиннадцать!..

— Чтожь это значить?—вскричалъ Мирошевъ.—Это должна быть ошибка: вѣрно, ложки присланы не ко мнѣ, а къ хозяину.

— Никакъ нѣтъ, сударь! Тотъ, кто ихъ принесъ, сказалъ, что онѣ присланы къ отставному поручику, Кузьмѣ Петровичу Мирошеву.

— Да кто ихъ принесъ?

— Ужь я вамъ докладывалъ, какой то человекъ. Богъ его знаетъ, кто онъ такой!.. Да вы, я думаю, съ нимъ повстрѣчались: онъ только что передъ вами отсюда вышелъ.

— Э, знаешь ли что?.. У Костоломова нѣтъ ни гроша денегъ, ужь не прислалъ ли онъ эти ложки, чтобъ я заложилъ ихъ хозяину гостиницы?

— Помилуйте, вѣдь, кажется, я его Андрюшку знаю; а съ чужимъ человекѣмъ онъ вѣрно-бы не послалъ серебряныхъ ложекъ.

— Да на кого походить тотъ, кто ихъ принесъ? Лакей что-ль онъ?

— А кто его знаетъ! На взглядъ онъ больше походить на барина: одѣтъ такъ чисто; бекешка знатная, изъ тонкаго сукна...

— Куда-жь намъ дѣваться съ этими ложками?

— Покажѣмъ останутся у насъ; не за окно же ихъ выбросить. Можетъ быть, этотъ человекъ и опять зайдетъ.

— Странно, очень странно!.. Пойду наверхъ, спрошу хозяина, не ждетъ ли онъ отъ кого-нибудь ложекъ; да кстати и чаю напьюсь; я ужинать сегодня не стану.

Мирошевъ, не найдя хозяина гостиницы на обыкновенномъ его мѣстѣ, за прилавкомъ, спросилъ себѣ порцію чаю и расположился за небольшимъ столикомъ. Въ двухъ шагахъ отъ него, за другимъ столомъ пили также чай нѣсколько человекъ, которыхъ лица были ему совершенно незнакомы. Сначала онъ не обращалъ никакого вниманія на

ихъ шумный разговоръ; но нѣсколько разъ повторенное имя графа, у котораго онъ наканунѣ обѣдалъ, возбудило, наконецъ, его любопытство: Эти господа говорили очень громко и, казалось, вовсе не заботились о томъ, что посторонній человѣкъ слышитъ ихъ разговоръ.

— Да, милостивые государи, да,—говорилъ одинъ изъ нихъ, лысый старичекъ небольшого роста,—довольно въ Москвѣ знатныхъ господъ и бояръ; но каковъ графъ, такихъ вельможъ и въ Питерѣ не много. Подлинно, Господь Богъ не даромъ благословилъ его такимъ несмѣтнымъ богатствомъ,—настоящій русскій бояринъ: щедръ, милостивъ, набоженъ...

— Набоженъ?—прервалъ одинъ худощавый человѣкъ съ блѣднымъ лицомъ.—Ну, это еще Богъ вѣсть! Кабы онъ человѣкъ былъ набожный, такъ не сталъ бы жить такъ роскошно.

— Да почему же, Федоръ Ивановичъ,—возразилъ лысый старикъ,—знатному вельможѣ и не жить съ пышностію, приличною его сану? Лишь только бы это было безъ обиды другимъ. Да если богатые люди не станутъ жить роскошно, такъ бѣднымъ то придется умирать съ голоду.

— Это, сударь, почему?.. Пусть богатый подаетъ милостыню.

— Да, кажется, графъ на это вовсе не скупъ; кто больше его дѣлаетъ добра бѣднымъ людямъ?

— Жилъ бы поскромнѣе, такъ и еще бы больше могъ дѣлать.

— То-есть безъ всякаго разбора подавать всѣмъ сплошь милостыню? Да развѣ это можно! И вы, батюшка, не подадите мужику здоровому и молодому, а скажете ему: «Не совѣстно ли тебѣ питаться Христовымъ именемъ?.. Ступай—работай!»

— Оно такъ, Андрей Петровичъ, а все-таки роскошь порокъ, и человѣкъ истинно набожный не станетъ для себя строить позлащенныхъ чертоговъ.

— Позлащенныхъ чертоговъ!.. Да вѣдь эти чертоги строятъ мастеровые и рабочіе люди; имъ за это платятъ деньги, а они на эти деньги содержатъ себя и свои семейства, такъ на повѣрку то выходитъ, что графъ себя тѣшитъ и бѣдныхъ людей кормитъ. На то Господь и даетъ богатство человѣку, чтобъ онъ имъ дѣлился съ другими; недужнымъ и убогимъ подавалъ бы милостыню, а людямъ

здоровымъ и молодымъ давалъ бы работу. Вотъ, напримѣръ, еслибъ какой-нибудь человѣкъ, не очень богатый, отыскалъ въ своей землѣ золотые рудники, сдѣлался бы миллионщикомъ, а жить бы сталъ все попрежнему, такъ и вы бы ему сказали: «Что ты, бесплодная смоковница, сидишь на своихъ сундукахъ съ золотомъ? Пускай его въ ходъ! Коли ты не хочешь быть добрымъ христианиномъ, не подаешь милостыни, не заводишь больницъ и страннопримныхъ домовъ, не сооружаешь храмовъ Божьихъ,—такъ будь, по крайней мѣрѣ, не вовсе бесполезнымъ гражданиномъ, и, хотя изъ барышей, пускай въ оборотъ свои миллионы: строй себѣ огромные дома, живи съ роскошью, давай хлѣбъ рабочимъ людямъ; а то какая польза для Русскаго Царства, что въ немъ есть свое золото, коли ты выкапываешь его изъ земли для того только, чтобъ опять закопать въ свои сундуки? Ты, чай, думаешь про себя: «я знаменитый гражданинъ, капиталистъ, миллионщикъ!» Неправда, ты просто мѣшокъ, набитый золотомъ. Вотъ какъ износишься, отживешь свой вѣкъ, да повытаскаютъ изъ тебя денежки, такъ о тебѣ и вспомнить то никто не захочетъ!»... Нѣтъ, господа, не такъ поступаетъ графъ. Его и роскошь основана вся на добрѣ. Сколько людей живутъ по его милости! Да что и говорить—истинный русскій бояринъ!.. А справедливъ то какъ!.. Ужь не заикнется, когда надобно высказать правду, такъ и отрѣжетъ!

— Да,—прервалъ худощавый господинъ,—говорятъ, онъ на это хорошъ: не посмотреть ни на какое лицо...

— Ужь, точно, не посмотреть!... Да вотъ я разскажу вамъ, господа, что онъ недавно сдѣлалъ. Одинъ генераль, человѣкъ также немаловажный, попался какъ то въ немилость и отданъ былъ подъ судъ; всѣ судьи, желая угодить одной знаменитой особѣ, такъ и вскинулись на бѣднаго подсудимаго: начали слѣдовать его безъ всякой пощады, ко всему придирались, и, наконецъ, почти единогласно приговорили его къ жестокому наказанію. Графъ былъ также въ числѣ судей. Когда дошла до него очередь подписать резолюцію, онъ сказалъ, что въ судейскомъ приговорѣ не всѣ законы подобраны, и что такого то года, числа и мѣсяца состоялся законъ, въ силу котораго слѣдовало бы облегчить участь подсудимаго. Вотъ справились, и докладываютъ графу, что въ этотъ годъ, мѣсяцъ и число никакихъ не выходило законовъ, кромѣ одного закона о

кулачныхъ бояхъ. «Ну да!» сказалъ графъ. «Посмотри-ка въ немъ такую то статью». Чтожъ вы думаете, господа, въ этой статьѣ написано?... «*Leжачаго не бьютъ*».— А, каковъ?

— Умно, умно!—сказали собесѣдники старика.

— И весьма милосердно!—прибавилъ худощавый господинъ.

— Ну, если дѣло дошло до графскаго милосердія,—заговорилъ одинъ пожилой человѣкъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ,—такъ я вамъ, господа, скажу, что вчера случилось у него въ домѣ. Мнѣ сегодня по утру рассказывалъ объ этомъ мой кумъ, Иванъ Аеанасьевичъ, дворецкій его сіятельства. Я думаю, вы знаете, что у графа почти всегда бываетъ открытый столъ: приходи и кушай, кто хочеть. Вчера обѣдало у него человѣкъ тридцать всякихъ разночинцевъ. Когда встали изъ-за стола, официантъ доложилъ дворецкому, что при одномъ приборѣ не оказалось серебряной ложки, и что за этимъ кувертомъ обѣдалъ какой то офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ; вотъ Иванъ Аеанасьевичъ, вмѣстѣ со слугою, вышли въ пріемную комнату и стали подлѣ дверей прихожей; глядятъ—летитъ молодецъ въ драгунскомъ мундирѣ! Дворецкій подошелъ къ нему и спросилъ очень вѣжливо: какъ его фамилія? Офицеръ поблѣднѣлъ какъ полотно. «Ага»,—подумалъ Иванъ Аеанасьевичъ,—«знаеть кошка, чье мясо съѣла!»—Онъ повторилъ свой вопросъ; его благородіе замаялся,—туда, сюда, шепнулъ что то себѣ подъ носъ, да и хотѣлъ проскользнуть въ лакейскую... Нѣтъ, шутишь! Иванъ Аеанасьевичъ сталъ въ дверяхъ и приступилъ къ нему съ ножомъ къ горлу: вориска началъ заикаться, забормоталъ и сказалъ наконецъ, что онъ отставной поручикъ Марошевъ... Мирошевъ—не помню, какъ то этакъ.

— Скажите пожалуйста!—вскричалъ худощавый господинъ.—Добро-бъ кто-нибудь, а то офицеръ!... Да ужъ нѣтъ ли тутъ какой ошибки?

— Вотъ то то и дѣло, что нѣтъ!... Ну, разсудите сами: еслибъ у этого офицера совѣсть была чиста, такъ чего же ему испугаться, когда спросили, какъ его зовутъ? А сверхъ того, одинъ казачекъ, который служилъ за столомъ, объявилъ послѣ дворецкому, что онъ самъ видѣлъ, какъ гость положилъ въ карманъ ложку, и что этотъ гость былъ, точно, въ драгунскомъ мундирѣ. Когда вечеромъ Иванъ Аеанасьевичъ



вичь доложилъ объ этомъ графу, какъ вы думаете, что сказалъ его сіятельство?

— Да, вѣрно, изволили сказать, — прервалъ лысый старичекъ: — «Богъ съ нимъ, пускай владѣетъ моею ложкой!».

— Нѣтъ, не то!... «Бѣдняжка», — сказалъ его сіятельство, — «видно, ему дома то нечѣмъ кушать. Пошлите ему еще одиннадцать ложекъ: пускай ихъ будетъ у него цѣлая дюжина».

— Ну, этого я не ожидалъ! — вскричалъ лысый старикъ. — Какое великодушіе!...

— А по мнѣ, такъ баловство, — проговорилъ худощавый господинъ вставая. — Коли вору дѣлать такіе подарки, такъ чтожъ надобно дать честному человѣку?

Тутъ вся компанія поднялась, и черезъ нѣсколько минутъ подлѣ Мирошева не осталось никого. Какъ пораженный громомъ, безъ всякаго сознанія, почти безъ чувствъ, сидѣлъ онъ неподвижно на своемъ мѣстѣ. Бѣдный Кузьма Петровичъ, онъ не проронилъ ни одного слова изъ этого ужаснаго разговора! Вы знаете Мирошева: этотъ кроткій, смиренный христианинъ сносилъ все безъ ропота; онъ былъ бѣденъ, и никогда не жаловался на свою бѣдность; видѣлъ единственную дочь свою при смерти, и говорилъ: «Да будетъ Его Святая воля!»... Но это послѣднее испытаніе было тяжелѣе всѣхъ другихъ. Онъ слышалъ, какъ его чистое, ничѣмъ незапятнанное имя произносили съ презрѣніемъ; онъ слышалъ, какъ его называли публично воромъ, и долженъ былъ молчать!... — Къ чему, — думалъ онъ, — послужили мнѣ безпорочная жизнь, неукоризненное поведеніе и честная, усердная служба Царю и отечеству?... Кто сталъ бы подозревать въ воровствѣ богатаго человѣка, и кому придетъ въ голову, что бѣдный, ничтожный Мирошевъ, которому нечего ѣсть, рѣшится лучше умереть голодною смертью, чѣмъ сдѣлать подлый поступокъ?... О, бѣдность, бѣдность, теперь то я понимаю, какъ ты тяжка!... Этотъ графъ!... Всѣ говорятъ, что онъ добръ и справедливъ, а онъ отнимаетъ у меня послѣдній кусокъ хлѣба... Но это еще ничего: у меня оставалось честное, безпорочное имя, и онъ, вѣрно, подумалъ: «на что оно нищему?» — Кинулъ мнѣ свое серебро, назвалъ меня воромъ, — и всѣ кричатъ: «какое великодушіе!» Боже мой, Боже мой, чѣмъ я заслужилъ этотъ позоръ?

Въ первый разъ еще въ жизни Мирошевъ забылъ, въ

минуту горести, предать себя безусловно волю Отца Небеснаго, и чувство, вовсе ему незнакомое, чадо ропота и непокорности, чувство адское—отчаяніе овладѣло его душою; сердце его ожесточилось; онъ забылъ все: жену, дочь, святую вѣру; онъ видѣлъ только передъ собою одинъ позоръ свой: ему казалось, что всѣ—хозяинъ гостиницы, слуги, и каждый, входящій въ комнату, смотрять на него съ презрительною усмѣшкою и, перешептываясь межъ собой, говорятъ: «Посмотрите, вотъ сидитъ отставной поручикъ Мирошевъ, который укралъ серебряную ложку!»

— Здравстуй, дядя!—раздался подлѣ него знакомый голосъ.

— А, это ты, Костоломовъ!—вскричалъ Мирошевъ, вскочивъ со стула.—Пойдемъ отсюда!

— Постой, братецъ! Я зашелъ сюда напиться вмѣстѣ съ тобой чайку.

— Пойдемъ ко мнѣ!—прошепталъ Мирошевъ, таща его за руку.—Да скорѣй!... Ты видишь, на насъ смотрять!

— Ну, что за бѣда?... Пускай себѣ смотрять!

— Да развѣ тебѣ не стыдно быть вмѣстѣ со мною?

— Съ тобою?... Что ты, братецъ, въ умѣ ли?

— Такъ ты ничего не знаешь?

— А что такое?

— Пойдемъ!... Я все тебѣ расскажу!

— Тише, Кузьма Петровичъ, тише! Куда торопишься!—закричалъ Костоломовъ, догоняя Мирошева, который бѣжалъ, какъ сумасшедшій, внизъ по лѣстницѣ.

— Ну что, сударь, —спросилъ Прохоръ, встрѣчая въ прихожей своего барина,—вы спрашивали хозяина?... Что, ложки его?

— Ложки!—вскричалъ глухимъ голосомъ Мирошевъ.—Ложки!—повторилъ онъ стиснувъ съ бѣшенствомъ зубы.—Прочь эти проклятыя ложки!... Прочь ихъ!... Это подарокъ сатаны!... Слышишь ли—сатаны!

— Батюшка, батюшка!... Что вы?—прервалъ съ ужасомъ Кондратьичъ.

— Да, да!... На нихъ адское клеймо!... Онѣ мой стыдъ, мой позоръ!... За окно ихъ, за окно!... Скорѣй, скорѣй!...

— Господи,—вскричалъ Кондратьичъ, всплеснувъ руками,—что это съ нимъ сдѣлалось?... Батюшка-баринъ, да да что это съ тобой?

— Въ самомъ дѣлѣ,— сказалъ Костоломовъ,— у тебя глаза какіе то шальные!... Что ты, братецъ?

— Что я?—повторилъ съ дикимъ хохотомъ Мирошевъ.— Такъ ты еще не знаешь?... Я воръ!...

— Что ты это за дичь порешь?... Помилуй!

— Ну, да!... Я, слышишь ли, я, твой сослуживецъ, Мирошевъ, укралъ вчера серебряную ложку у этого графа, гдѣ мы вмѣстѣ съ тобой обѣдали, куда ты затащилъ меня обманомъ!... О, сердце мое чувствовало,—я не хотѣлъ идти съ тобой!... А этотъ графъ!... Дай Богъ ему здоровья!... Подлинно, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость! Я укралъ у него ложку,— онъ погнѣвался, а тамъ сжалился надо мною и прислалъ ко мнѣ еще одиннадцать ложекъ для того, чтобъ у меня была полная дюжина!... Ну, понимаешь ли теперь?

— Нѣтъ, братецъ, не понимаю.

— Такъ слушай же.

Когда Егоръ Васильевичъ выслушалъ Мирошева, который разсказалъ ему все, то очень призадумался.

— Ахъ, батюшки,— проговорилъ онъ, наконецъ,— да вѣдь эта оказія то въ самомъ дѣлѣ не шуточная!... И надобно же чтобъ такъ случилось!... Э, постой-ка, братецъ!... Подлѣ тебя, кажется, сидѣлъ вотъ, помнишь, тотъ драгунскій офицеръ, у котораго и рожа то вовсе не офицерская... Ну, точно, дядя,—это его дѣло!... Да я голову свою прозакладую, что онъ не офицеръ, а какой-нибудь переодѣтый мошенникъ.

— Да чтожь мнѣ отъ этого легче что-ль?—прервалъ Мирошевъ.—Вѣдь подозреваютъ не его, а меня: чѣмъ я докажу мою невинность?

— Какъ чѣмъ?... Ступай самъ къ этому графу, отнеси ему ложки, изъясни все, какъ было, скажи ему: «Ваше графское сіятельство»...

— Нѣтъ, нѣтъ!— вскричалъ съ ужасомъ Кузьма Петровичъ.—Чтобъ я пошелъ самъ къ этому барину, къ которому, можетъ быть, меня и не допустить; чтобъ я сталъ вымаливать эту милость у его слугъ, которые будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ и радостію... Да, съ радостію: вѣдь для нихъ праздникъ видѣть дворянина, офицера, котораго поймали и уличили въ воровствѣ!... О, нѣтъ, нѣтъ!.. Я лучше умру, чѣмъ переступлю черезъ порогъ этого дома!...

— Так чтожь, братецъ, я пойду къ графу, и, во что-бъ ни стало, оправдаю тебя.

— И ты думаешь, онъ тебѣ повѣритъ!

— А почему же бы онъ мнѣ не повѣрилъ? Какъ отдамъ ему назадъ подарокъ, который онъ такъ не кстати тебѣ сдѣлалъ, такъ онъ поневолю убѣдится, что ты честный человекъ. Воръ, братъ, не отдастъ ничего.

— Нѣтъ, Егоръ Васильевичъ, и мошенникъ сдѣлаетъ то же, чтобъ оправдать себя, и онъ прикинется честнымъ человекомъ, когда знаетъ, что его подозрѣваютъ въ воровствѣ! Нѣтъ, меня могло бы оправдать одно: еслибъ ложка нашлась, а вмѣстѣ съ нею и тотъ, кто укралъ ее.

— Ну, братъ, это трудно! Москва велика, да и какъ теперь найти этого мошенника? Почему знать, можетъ быть, его ужь нѣтъ въ городѣ?

— Ну, видишь ли, что ничто не можетъ спасти мою честь? Ахъ, Егоръ Васильевичъ, ты погубилъ меня на вѣки!

— И, полно, братецъ,—время все откроетъ.

— Время! Да неужели ты думаешь, что я переживу честь мою? Вѣдь это одно, что оставалось у меня въ жизни.

— Одно?... А жена... а дочь, братецъ?

Мирошевъ вздрогнулъ.

— Боже мой!—сказалъ онъ.—Жена... дочь!... О, мой другъ,—продолжалъ онъ, закрывъ блѣдное лицо свое руками,—суди же о моемъ отчаяннѣ: я забылъ, что у меня есть дочь и жена!

— Бѣдняжка! — прошепталь Костоломовъ.— Да успокойся, Бога ради! Мнѣ что то сдается, что все это кончится благополучно. Ну, прощай покамѣстъ! Мнѣ надобно домой; да и тебѣ не мѣшаетъ остаться одному. Знаешь ли что? Помолись-ка Богу, да ложись спать: утро вечера мудренѣе. А я завтра ранехонько побываю у графа и узнаю отъ его людей, когда онъ по утрамъ къ себѣ принимаетъ. Прощай, дядя!... Полно, не горюй! Вѣдь передъ Богомъ то что твоя честь, что честь какого нибудь вельможи—все едино! Ну, оставятъ ли Онъ добраго человека въ напрасномъ нареканнѣ? Вотъ припомни мое слово: все уладится какъ нельзя лучше, и ты выйдешь изъ этого дѣла чистъ и непороченъ, какъ младенецъ изъ купели. Прощай, братецъ, до завтраго!

XXXIV

Ванька Каинъ. Воровской притонъ. Счастливая встрѣча.

Костоломовъ, простясь съ Мирошевымъ, отправился домой. Хотя онъ и утѣшалъ своего пріятеля, но очень чувствовалъ, какъ тяжело было ему выносить этотъ незаслуженный позоръ. «Экое несчастіе!»—думалъ онъ, идя по берегу Москвы-рѣки. «И нужно мнѣ было таскать его къ этому графу!... Эхъ, еслибъ мнѣ попался теперь мошенникъ въ драгунскомъ мундирѣ, ужь я бы его изъ рукъ не выпустилъ!» Межъ тѣмъ на дворѣ стало смеркаться. Когда Костоломовъ дошелъ до того мѣста, гдѣ въ Москву-рѣку впадаетъ Яуза, то, не переходя черезъ мостъ, повернулъ налѣво и пошелъ по берегу этой рѣчки. Теперь Яуза, обставленная во многихъ мѣстахъ красивыми домами, перерѣзываетъ городской валъ между Сокольничьей и Преображенской заставою, и течетъ свободно по городу, до самаго впаденія своего въ Москву-рѣку; но тогда, то есть лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ самомъ городѣ на ней были плотины, мельницы, и она образовала даже въ нынѣшней Яузской части довольно обширный прудъ, посреди котораго былъ островъ, а на немъ пивной заводъ. Этотъ заводъ, какъ рассказываютъ старики, былъ главнымъ притономъ всѣхъ московскихъ воровъ, мошенниковъ и безпаспортныхъ бродягъ. Ветхія и безобразныя лачуги, которыя кой-какъ лѣпились на крутыхъ и обрывистыхъ берегахъ Яузы, разбросаны были очень рѣдко, и по большей части не соединялись даже между собой заборами. Хотя Костоломовъ былъ человѣкъ смѣлый, и надѣялся на свою силу, однакожъ, всякій разъ, когда ему случалось идти подъ вечеръ этими пустырями, онъ посматривалъ во всѣ стороны съ опасеніемъ, и держалъ наготовѣ свою увѣсистую трость съ серебрянымъ литымъ набалдашникомъ. Шагахъ въ двадцати передъ нимъ кто то пробирался сторонкою, держась подлѣ самаго забора. Когда Костоломовъ обогналъ этого прохожаго, то замѣтилъ трехъ человѣкъ, которые стояли за угломъ одной, до половины развалившейся избушки, повидимому никѣмъ не обитаемой. Это такъ походило на воровскую засаду, что Егоръ Васильевичъ невольно поднялъ на плечо свою тяжелую трость и

приготовился къ оборонѣ. На этотъ разъ опасенія его были напрасны: онъ миновалъ благополучно этихъ подозрительныхъ людей; но почти въ то же самое время раздались позади него голоса.

— Вотъ онъ, Иуда предатель!... Ага, попался, переметная сума!... Бейте его, ребята!...

Костоломовъ обернулся и увидѣлъ, что эти три человека напали всѣ разомъ на прохожаго, котораго онъ обогналъ. Судя по восклицаніямъ, не трудно было отгадать, что это былъ не простой грабежъ, а мщеніе за какую то обиду; но, несмотря на это, Егоръ Васильевичъ не могъ остаться равнодушнымъ зрителемъ такого неравнаго боя.

— Трое на одного!.. Ахъ вы, разбойники! — закричалъ онъ, спѣша на выручку къ прохожему. Егора Васильевича встрѣтили ударомъ кулака, который, какъ тяжелый безмень, обрушился на его голову; но молодецъ Костоломовъ и не пошатнулся; въ нѣсколько секундъ онъ оглушилъ одного изъ нападающихъ ударомъ палки и кинулъ наземь другого; третій, мужикъ здоровый и плечистый, бросилъ прохожаго, котораго уже успѣлъ подмять подъ себя, и схватился съ Костоломовымъ. Въ эту самую минуту слышались вдали голоса; тотъ, который боролся съ Егоромъ Васильевичемъ, вырвался изъ его рукъ, закричалъ что то своимъ товарищамъ, и они всѣ трое разбѣжались въ разныя стороны. Костоломовъ подошелъ къ прохожему; онъ поднялся на ноги, однакожь, стоялъ, прислонясь къ забору, и покачивался.

— Ну что, любезный, — спросилъ Егоръ Васильевичъ, — ужъ не больно ли тебя зашибли?

— Ничего, — проговорилъ шопотомъ прохожій, — пройдетъ!.. Ну, вотъ и полегче!.. Фу ты, батюшки, — продолжалъ онъ, потряхивая головою, — какъ этотъ Бахтей меня ошеломилъ!.. Разбойникъ этакій; у него, видно, въ рукавицѣ то свинчатка!

— Бахтей! — повторилъ Костоломовъ. — Да это, кажется, разбойникъ, котораго при мнѣ поймали въ Зарядьѣ?

— Ну да, батюшка! Онъ вчера съ двумя товарищами убѣжалъ изъ острога.

— Что это, любезный, — прервалъ Костоломовъ, — мнѣ кажется, я тебя гдѣ то видалъ?

— Да тамъ же, сударь, гдѣ вы видѣли и Бахтея: на Псковскомъ подворьѣ. Вѣдь я то его и поймалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! Такъ ты, братецъ...

— Я, сударь, московскій сыщикъ...

— Ванька Каинъ?

— Да, батюшка! Иванъ Семеновъ, по прозванью Каинъ...

— А, такъ вотъ за что тебя хотѣли поколотить?.. Ну, братъ, дешево ты отдѣлался!

— По вашей милости, батюшка, дай Богъ вамъ доброго здоровья! Кабы не вы, не здобровать бы мнѣ!

— Ну что, ты совсѣмъ очнулся?

— Ничего, сударь! Голова немножко болитъ; да вотъ выпью стаканчикъ-другой вина, такъ все пройдетъ,—какъ съ гуся вода!

— Вотъ идутъ люди, — сказалъ Костоломовъ, — теперь тебѣ бояться нечего. Прощай!

— Это, кажись, мой ребята... Да позвольте, батюшка, позвольте!.. Ужъ сдѣлайте милость, скажите мнѣ, кто вы таковы?

— На что тебѣ?

— Какъ на что, сударь? Да если бы не вы, такъ меня бы, можетъ статья, и въ живыхъ теперь не было. Мнѣ бы хотѣлось, батюшка, чѣмъ-нибудь вамъ отслужить.

— Мнѣ?—сказалъ съ улыбкою Костоломовъ.—Да что ты можешь для меня сдѣлать? У меня, братъ, пріятелей въ острогѣ нѣтъ, самъ я не воришка...

— Эхъ, баринъ, не смѣйся! Не ровень часъ: пригожусь и я; мало ли что случиться можетъ?.. Ну вотъ, если обокрадутъ вашу милость? Вѣдь ужъ никто скорѣй меня вора не отыщеть: на томъ стоимъ, господинъ честной!

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Костоломовъ.—Да вѣдь въ самомъ дѣлѣ!.. Знаешь ли что, любезный? Ты, точно, можешь сослужить мнѣ большую службу...

— Извольте, сударь! Что такое?

— Вотъ, братецъ, что...

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Только скажу словечка два этимъ молодцамъ, — прервалъ Каинъ, обращаясь къ четыремъ дюжимъ мужикамъ, которые, подойдя къ нему, сняли свои шляпы... Гдѣ вы, пострѣлы, шатались до сихъ поръ, а?.. То ли я вамъ приказывалъ?.. Ну, какой ты десятникъ, Камчатка? Чего ты смотришь?

— Да что съ ними будешь дѣлать, Иванъ Семеновичъ! — отвѣчалъ охриплымъ голосомъ мужчина вершковъ двѣнадцати росту, съ черною окладистою бородою. — Завернули

мимоходомъ на тычокъ выпить по одной; сидятъ, да пѣсенки попѣвають! Я имъ говорю: Эй, ребята, пора, вѣдь ужъ солнышко то закатилось! А они дерутъ себѣ горло, да и только!

— Такъ вы этакъ то Царю-Государю служите?—закричалъ Каинъ.—Ахъ вы, неслухи!.. Да знаете ли вы, что если я доложу его превосходительству, Алексѣю Даниловичу, такъ онъ прикажетъ васъ запоротъ батожемъ!.. Знаете ли вы, что, по милости вашей, Бахтей опять ускользнулъ, и меня бы до смерти прибили, кабы не этотъ честной господинъ!.. Ахъ вы, пьяницы этакіе! Да за что васъ и хлѣбомъ то кормить?

— Виноваты, Иванъ Семеновичъ,—заговорили сыщики, кланяясь Каину:—позагулялись!

— Вотъ я вамъ дамъ гульбу!.. А все ты, Волкъ!.. Я ужъ, братъ, давно до тебя добираюсь!.. Ты и Барана то спойл и Тулюю все таскаешь по кабакамъ! Тебѣ бы только съ утра до вечера бражничать, да пѣсни орать!..

— Да я, батюшка, Иванъ Семеновичъ,—промовилъ рыжеволосый дѣтина, почесывая въ головѣ,—пою все пѣсенки, что ты самъ сложить изволилъ. Вотъ и теперь, такъ бы и затянулъ твою любимую: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ!» Эка пѣсня, подумаешь!

— Ну, да, пѣсня хороша,—сказалъ поласковѣ Каинъ;—да ты, дурачина, пой ее, когда тебѣ дѣлать нечего; а коли дойдетъ до службы царской, такъ у меня смотри!.. Камчатка, ступай съ Бараномъ въ Сыромятники и дождидайся тамъ меня въ харчевнѣ у Сидорыча!.. А ты, Волкъ, останься съ Тульею здѣсь!.. Ну, батюшка,—продолжалъ Каинъ, обращаясь снова къ Егору Васильевичу,—какую прикажете вамъ службу сослужить?

— Вотъ что, любезный: вчера за столомъ у графа Р\*\*\* сдѣлалась покража, — пропала серебряная ложка. Кажется, въ этомъ подозрѣваютъ моего пріятеля, который вмѣстѣ со мною обѣдалъ у его сіятельства. Пріятель мой такъ же, какъ и я, заслуженный офицеръ и дворянинъ, такъ суди самъ, любезный, каково ему терпѣть такую на-праслину? Ты, чай, братецъ, знаешь, что къ графу ходятъ обѣдать и вовсе незнакомые люди?

— Знаю, ваше благородіе, знаю!

— Такъ изволишь видѣть: я увѣренъ, что эту ложку укралъ какой то офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ, ко-



торый сидѣлъ подлѣ моего пріятелю. Судя по отвѣтамъ и ухваткамъ этого человѣка, я готовъ биться объ закладъ, что онъ не офицеръ, а переодѣтый мошенникъ.

— Въ драгунскомъ мундирѣ!—проговорилъ вполголоса Каинъ.—Ужь это не плутъ ли Тришка? Онъ третьягодня на толкучемъ рынкѣ торговалъ какой то мундиръ. А что, ваше благородіе, какихъ лѣтъ показался вамъ этотъ офицеръ?

— Лѣтъ тридцати.

— Такъ-съ!.. А волосы на головѣ черные?

— Черные.

— Ростомъ какъ?

— Пониже тебя и человѣкъ худощавый.

— Такъ-съ!.. А что, не замѣтили ли вы у него на лѣвой щекѣ рубецъ?

— Какъ же, очень замѣтилъ.

— Такъ-съ!.. Лицо у него рябое, и двухъ переднихъ зубовъ нѣтъ?.

— Ну, точно такъ!—вскричалъ Костоломовъ.—Такъ ты его знаешь?

— Зналъ въ старину, ваше благородіе!. Ахъ онъ теткинъ сынъ! Смотри пожалуй, въ офицерскомъ мундирѣ за графскимъ столомъ!.. Да это хоть бы и мнѣ въ старые годы!.. Ну, нечего сказать, молодецъ!

— Такъ это въ самомъ дѣлѣ переодѣтый мошенникъ?

— Да, ваше благородіе! Долженъ быть Тришка.

— Какая дерзость!

— За этимъ, сударь, у него дѣло не станеть,—удалой дѣтина!.. Какъ онъ еще былъ мальчишкою, такъ я и тогда ужъ видѣлъ, что въ немъ прокъ будетъ..

— Что ты, Каинъ! Да ты никакъ его подхваливаешь?

— Такъ, сударь, ничего, — по старой привычкѣ!.. Ну, да теперь совсѣмъ не то: теперь я и похваляю, а руки назадъ скручу, батюшка. Ну, чтожъ вамъ, сударь, надобно?

— А вотъ что: надобно, чтобъ и воръ и ложка были отысканы и представлены къ его сіятельству.

— Постараюсь, ваше благородіе. Только времени то много ушло... Да вотъ пожалуйста-ка со мною: можетъ статься, ложку то не далеко еще спровадили. Вѣдь вы ее узнаете?

— Какъ не узнать: на ней долженъ быть гербъ.

— Такъ пожалуйста, батюшка!.. А вы, братцы, ступайте поодаль отъ насъ.

Кайнъ и Костоломовъ пошли по берегу Яузы. Минувавъ плотину, они остановились противъ самой середины пруда. Кайнъ подозвалъ сыщиковъ и сказалъ имъ:

— Мы пойдемъ на пивной заводъ, а вы чуръ не дремать! Лишь только свистну, — какъ листъ передъ травой! Слышите, ребята?

Отдавъ имъ это приказаніе, онъ повелъ Егора Васильевича черезъ мостъ, которымъ соединялся неширокій, но довольно длинный островъ съ берегомъ пруда. Обойдя лѣвой стороною забора, изъ-за котораго поднималась кровля пивного завода со своими высокими деревянными трубами, они увидѣли передъ собой пять или шесть избъ. Въ одной изъ нихъ раздавались заливыя пѣсни, или, лучше сказать, отвратительные звуки, болѣе похожіе на дикіе вопли бѣснующихся, чѣмъ на разгульное, но согласное пѣніе нашихъ удалыхъ фабричныхъ. Это былъ знаменитый въ свое время питейный домъ, который назывался *тычсомъ*. Костоломовъ, большой охотникъ до русскихъ хоровыхъ пѣсень, приостановился на минуту у дверей этого кабака.

— Что это они режутъ? — прошепталъ сквозь зубы Кайнъ. — Ну, такъ и есть: «Не шуми, мати зелена дубровушка». Разбойники, какъ они увѣчатъ мою пѣсенку!... За языки бы ихъ всѣхъ повѣсилъ, грачи проклятые!... А туда-жъ, чай, говорятъ: «мы пѣсельники»... Пойдемте, сударь! Что слушать этихъ пьяницъ: ни складу, ни ладу; орутъ, дурачье, какъ ни попало!.. Пожалуйте вонъ сюда!

Они подошли къ одной избушкѣ, которая стояла поодаль отъ другихъ, на самомъ берегу острова. Одна половина ея была построена на землѣ, а другая, опираясь на сваи, висѣла надъ водою. Въ избушкѣ свѣтился огонекъ и довольно громко разговаривали. Кайнъ постучался; вдругъ все затихло; потомъ послышались шаги: кто то подошелъ къ дверямъ и спросилъ сиповатымъ голосомъ:

— Кто тутъ?

— Я, Марѣуша, — отвѣчалъ Кайнъ, — отпирай, небось!

— Сейчасъ, кормилецъ, сейчасъ! — проговорили за дверьми.

Голосъ замолкъ, и въ избѣ поднялся какой то шорохъ и суета.

— Эге, — прошепталъ Кайнъ, — видно, надобно кого-нибудь припрятать!.. Да отпирай же проворнѣй! — закричалъ онъ, когда прошло минуты двѣ.

— Иду, батюшка, иду! — раздался снова сиповатый голосъ.

Двери отворились, и Костоломовъ, вслѣдъ за Каинномъ, пройдя небольшими сѣнами, вошелъ въ чистую горенку, освѣщенную лампадой, которая висѣла передъ образами. У самыхъ дверей была изразцовая печь съ лежанкою, а отъ нея, во всю длину свѣтлицы, деревянная перегородка.

— Здравствуйте, батюшка, Иванъ Семенычъ! — прошептала дородная женщина, лѣтъ пятидесяти, въ гарнитуровомъ шушунѣ и ситцевой юбкѣ, встрѣчая съ низкимъ поклономъ гостей.

— Здорово, тетка! — сказалъ Каинъ. — Вотъ я привелъ къ тебѣ хозяина изъ гостинаго двора, — кланяйся!

— Изъ гостинаго двора! — повторила хозяйка, поглядѣвъ недоувѣрчиво на Костоломова.

— А что, — чай, одежда не такая?.. Онъ только что вернулся изъ Нѣметчины; ѣздилъ туда за товаромъ, да вотъ и одѣлся по ихнему.

— Такъ, батюшка, такъ!... Милости просимъ!

— Послушай-ка, Марѳа: нѣтъ ли у тебя продажнаго чего-нибудь?.. Знаешь — такъ получше, да подешевле?

— Есть кой-что, Иванъ Семеновичъ. Просимъ покорно, — присядьте покамѣсть!

Костоломовъ и Каинъ сѣли на скамью, а хозяйка, за свѣтивъ сальный огарокъ, вышла въ сѣни и черезъ минуту возвратилась, неся большой узелъ.

— Вотъ, батюшка, — сказала она, выкладывая на столъ свой товаръ, — шубейка на собольемъ мѣху; — да соболи то все какіе — якутскіе, батюшка!.. Покрышку только надо новенькую.

— Знаемъ, знаемъ, тетка! — прервалъ Каинъ. — На мѣху узоровъ нѣтъ, — никто не вклеплется.

— А вотъ, — продолжала Марѳа, развертывая шитый золотомъ французскій кафтанъ, — боярское платьице... Какъ пораспороть его, такъ выжиги будетъ фунтика два; а бархатецъ пойдетъ на то, на другое. Вотъ рабронтъ изъ заморскаго атласа. Посмотрите-ка, батюшка, — лубокъ лубкомъ.

— Да это, тетка, все не то! — прервалъ Каинъ. — Вѣдь хозяинъ то не изъ панскаго ряда, — у него серебряная лавка. Ты намъ давай, знаешь, что потяжелѣ.

— Слушаю, кормилецъ, слушаю!... Повремените немного.

Хозяйка вышла опять въ сѣни.

— Чтожь это?—спросилъ вполголоса Костоломовъ.— Неужели все краденныя вещи?

— Со всячинкой, ваше благородіе,—отвѣчалъ также вполголоса Каинъ. — Марѳа торговка, такъ гдѣ ей разбирать.

— Охъ, тяжелъ, проклятый!—сказала хозяйка, войдя въ свѣтлицу и поставивъ на столъ ларецъ, окованный желѣзомъ.

Она отперла его и начала вынимать разныя вещи одну за другою.

— Вотъ, ваша милость,—сказала она,—томпаковые чашки съ симилеровой цѣпочкой; вотъ золотой перстенецъ съ яхонтомъ... сережки изумрудныя... А вотъ серебряная кружечка нѣмецкой работы... Изволь-ка, хозяинъ, привѣситься на руку... Что, батюшка, небось дутая?... То-то же!... Угодно столоваго серебра?—продолжала она, вынимая изъ ларца три ложки разной величины и формы.

— Вотъ она!—вскричалъ съ радостію Костоломовъ, схвативъ одну изъ ложекъ.—Вотъ и гербъ!

— Пожалуйте-ка сюда!—сказалъ Каинъ.—Да, точно такъ, съ гербомъ!... Тетка, вѣдь эта ложка то краденая!

— Неужели, батюшка?... Ахъ ты, Господи!...

— Да, точно, краденая!... Марѳа, вѣдь дѣло то плохо!... Вы, точно, батюшка, увѣрены, что это та самая ложка?

— Хоть сейчасъ къ присягѣ!

— Ну, слышишь, голубушка, что говорить его благородіе?

— Его благородіе!—повторила хозяйка, всплеснувъ руками.—Такъ это все былъ подвохъ?... Ну, батюшка Иванъ Семеновичъ!...

— Молчи, тетка! Твое дѣло сторона; только говори всю правду: отъ кого ты взяла эту ложку?

— Отъ кого?... Да почему мнѣ знать?... Мало ли ко мнѣ добрыхъ людей ходить!... Не знаю, батюшка, видитъ Богъ, не знаю!

— Эй, Марѳа,—сказалъ Каинъ, погрозивъ пальцемъ,—шалишь!... Вѣдь мы съ тобой давненько знакомы... Помнишь, какъ тебя по Москвѣ то въ каретѣ катали, а?... То-то же, смотри, чтобъ старыя грѣшки не вспомнили!... Какъ притянуть въ розыскной приказъ, такъ заговоришь!... Ну, сказывай же: кто далъ тебѣ эту ложку?

— Какой то мѣщанинъ, Господь его знаетъ. Вѣдь ко мнѣ всякій идетъ, батюшка: я торговка.

— Эй, тетка, чтобъ тебѣ не угодить въ торговки туда, гдѣ соболями торгуютъ!... Такъ ты не знаешь, кто этотъ мѣщанинъ?...

— Чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться!

— Право?... Такъ ты не знаешь Тришку?

— Тришку?... Какого Тришку?

— Ну, вотъ что ходитъ въ сѣромъ казакинѣ, а подчасъ и мундиръ надѣваетъ.

— Въ какомъ казакинѣ?

— Въ какомъ?... Ну, вотъ точнехонько въ такомъ, какой лежитъ у тебя подъ лавкою.

— Гдѣ, батюшка?... Гдѣ?

— Да вотъ здѣсь, тетка,—продолжалъ Каинъ, вытаскивая изъ-подъ скамьи суконный казакинъ, отороченный серебрянымъ позументикомъ. Постой-ка!... Да тутъ и картузь!... Ба, ба, ба! Сабля драгунская?... Эге, такъ вотъ оно что: видно, не успѣлъ прицѣпить?... Ну, ваше благородіе, дѣло то идетъ залачно! Пошли ловить пескаря, а поймали щуку!... А вотъ мы сейчасъ ее на берегъ вытасимъ.

Каинъ подошелъ къ окну, поднялъ стекло и свистнулъ.

— Батюшка, батюшка!—закричала хозяйка.

— Небось, Марѳа,—шепнулъ Каинъ,—ужь я тебѣ сказаль: твое дѣло сторона; я и его допрашивать не стану. Коли поймали вора въ горохѣ, такъ нечего спрашивать, зачѣмъ пришелъ... Да и подѣломъ ему!.. Не пѣтъ бы тебѣ, кукушка, соловьемъ; не бываетъ бы тебѣ, кукушкѣ, въ ловушкѣ!... Эй, ребята,—продолжалъ Каинъ, обращаясь къ двумъ сыщикамъ, которые вошли въ свѣтлицу,—посмотрите-ка вонъ тамъ, за перегородкою!... Что... двери заперты? У хозяйки ключа нечего спрашивать,—не найдеть!... Туля, ты, братъ, и не этакія двери ломаль,—ну-ка, понапри плечомъ!

— Что ужь, батюшка, ломать,—сказала хозяйка,—видно, дѣлать нечего: вотъ ключъ.

— Давай сюда!

Каинъ отперъ двери и вошелъ за перегородку.

— Ну, такъ и есть,—закричалъ онъ,—во всей формѣ!.. Милости просимъ, господинъ офицеръ!—продолжалъ Каинъ, вытаскивая за воротъ небольшого роста человѣка въ пол-

номъ драгунскомъ мундирѣ.—Пожалуйте, батюшка, пожалуйте!... Ну что, сударь, онъ ли?

— Онъ и есть!—отвѣчалъ Костоломовъ.

— Не осудите, ваше благородіе, господинъ драгунскій офицеръ!—сказалъ Каинъ.—Ребята, скрутите-ка ему руки назадъ.

— Иванъ Семеновичъ,—прошепталъ переодѣтый мошенникъ,—помилуй!...

— Нѣтъ, Триша, не прогнѣвайся! Коли ты самъ себя не миловалъ, такъ ужъ мнѣ миловать не приходится. Я, братъ, и такъ тебѣ давно мирводю. То-то, голубчикъ, зналъ бы сверчокъ свой шестокъ! Колотырилъ бы по площадямъ, да на толкучемъ... Такъ нѣтъ, залетѣла ворона въ высокія хоромы... за графскій столъ!... Нѣтъ, сынокъ, раненько принялся бить съ-высока: ты еще не соколъ!

— Смотри же, любезный, не упусти его!—сказалъ Костоломовъ.

— Не извольте беспокоиться: пока у меня въ рукахъ, не уйдетъ! Завтра же по-утру представлю его съ покражей къ его сіятельству.

— И я туда же явлюсь. Спасибо тебѣ, любезный!

— Не на чемъ, ваше благородіе! Я только что поквитался съ вами.

— Такъ я могу теперь объявить моему пріятелю, что воръ нашелся?

— Извольте, сударь, извольте!

— Прощай, любезный!... Надобно скорѣй его обрадовать.

Костоломовъ пустился почти бѣгомъ навадь по Яузѣ, очутился въ нѣсколько минутъ въ Зарядѣ и вбѣжалъ, запыхавшись, къ Мирошеву. Кузьма Петровичъ не спалъ. Чувство, противное Богу, не могло долго владѣть чистою душою этого истиннаго христіанина: онъ молился,—не о томъ, чтобъ невинность его открылась,—нѣтъ, онъ умолялъ Господа простить ему минуту отчаянія и, проливая горькія, но утѣшительныя слезы раскаянія, примирялся со своимъ Спасителемъ.

— Слава Богу,—проговорилъ Костоломовъ,—слава Богу: ложка нашлась!... Воръ также!

— Какъ?—спросилъ Мирошевъ.—Что ты говоришь?

— Ну да, завтра же ты будешь чистъ, какъ стекло.

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Прохоръ, высунувъ изъ

дверей свою голову.—Да какъ же это вамъ помочь Господь?

— А вотъ дайте вздохну!... Фу, прахъ какой, совсѣмъ захлебнулся!

Когда Костоломовъ отдохнулъ и пересказалъ Кузьмѣ Петровичу, по какому странному стеченію обстоятельствъ ему удалось отыскать покражу и поймать вора, Мирошевъ залился слезами.

— Боже мой, Боже мой!—сказалъ онъ.—Въ ту самую минуту, какъ я предавался отчаянію и ропталъ на Твой святыи Промыслъ, Ты устраялъ все для моего оправданія! Я не понялъ, окаянный грѣшникъ, что Ты хотѣлъ смирить мою гордость!... Мнѣ казалось, что я, бѣдный дворянинъ, унижилъ себя оттого, что обѣдалъ незваный у богатаго графа, и вотъ я сдѣлался въ глазахъ людей не только нахлѣбникомъ, но даже воромъ! И вмѣсто того, чтобъ смирить свою строптивость и, по словамъ Твоимъ, радоваться этому незаслуженному позору, я вознегодовалъ!... Гордость моя возмущилась еще болѣе, и вотъ Ты избавляешь меня отъ мірскаго поношенія: я буду чистъ передъ людьми... О, я не достоинъ былъ понести крестъ Твой, Господи!

— Да, братецъ,—сказалъ Егоръ Васильевичъ,—поневоля подумаешь, что самъ Богъ хотѣлъ тебя оправдать. Надобно же мнѣ было наткнуться на этого Каина, и случилось же такъ, что мы и вора то застали у торговки!... Ну, слава Богу, теперь какъ гора съ плечъ!... Кондратьичъ, дай-ка мнѣ ложки; завтра по-утру я отвесу ихъ къ графу. Тебѣ самому, Кузьма Петровичъ, недовко: вѣдь графу то стыдно будетъ на тебя и взглянуть.

— Да, Егоръ Васильевичъ, я и самъ тоже думаю.

— Такъ оставайся завтра дома, я одинъ все это дѣло обработаю... Чу, вонъ ужъ пѣтухи поютъ!.. Прощай, дядя, до завтра!

### XXXV.

О томъ, какъ Мирошевъ имѣлъ свиданіе съ графомъ, и какъ Прохоръ Кондратьичъ ошибся въ своемъ разсчетѣ.

На другой день, часу въ девятомъ по-утру, Мирошевъ отправился по обыкновенію къ обѣднѣ. Спустя полчаса, Кондратьичъ собрался также идти за чѣмъ то на рынокъ,

какъ вдругъ вошелъ въ комнату человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, дородный и краснощекій, одѣтый просто, но весьма опрятно.

— Здѣсь живетъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ?—спросилъ онъ.

— Здѣсь, сударь,—отвѣчалъ Прохоръ:—да его нѣтъ теперь дома.

— Ахъ, какъ досадно,—сказалъ незнакомый;—а мнѣ такъ нужно его видѣть.

— Такъ извольте мнѣ сказать, что вамъ угодно.

— Его сіятельство, графъ Р\*\*\*\*\* свидѣтельствуетъ Кузьмѣ Петровичу свое почтеніе и проситъ его пожаловать къ нему сегодня часу въ двѣнадцатомъ.

— Хорошо, батюшка, доложу.

Незнакомый поглядѣлъ вокругъ себя и сказалъ:

— Вашъ баринъ, кажется, человѣкъ не очень достаточный.

— Да, мой господинъ не богатъ, а почестнѣй многихъ сіятельныхъ графовъ!

— Вы, я вижу, все еще на насъ сердитесь?—прервалъ незнакомый.—Да и есть за что!... Еслибъ вы знали, какъ графъ огорченъ этимъ случаемъ!

— Огорченъ!... Посмотрѣли бы вы вчера на моего барина!

— Да не безпокойтесь, все поправится. А что, смѣю васъ спросить: у вашего барина есть помѣстье?

— Какъ же,—пятьдесятъ душъ.

— Только?

— Только!... У другого и этого нѣтъ. Было бы съ насъ, еслибъ не тяжба... Вотъ она то насъ въ конецъ и разорила.

— А у васъ есть тяжба?... Съ кѣмъ?

— Да неужели вы не знаете? Вѣдь вы находитесь при графѣ?

— Я его дворецкій.

— Такъ какъ же вамъ не знать, съ кѣмъ у насъ тяжба?

— Право, не знаю.

— Да вѣдь мой баринъ тотъ самый помѣщикъ Мирошевъ, съ которымъ завелъ тяжбу о землѣ Панкратій Лукичъ Курочкинъ, приказчикъ вашего графа.

— Какъ?... Такъ у васъ процессъ съ графомъ?... Чтожъ это, баринъ чтоль вашъ чего-нибудь отыскиваетъ?



— Нѣтъ, батюшка, у него отнимають послѣдній кусокъ хлѣба; и все это господинъ Курочкинъ дѣлаетъ по злобѣ.

— По злобѣ?... За что?

— А вотъ изволите видѣть: съ тѣхъ поръ, какъ Панкратій Лукичъ пріѣхалъ управлять графскимъ имѣньемъ, у насъ въ Хоперскомъ уѣздѣ житья никому не стало: такія началъ дѣлать всѣмъ притѣсненія, что хоть на край свѣта бѣги! Во всемъ околоткѣ не осталось души христіанской, которую онъ чѣмъ бы не обидѣлъ. А ужь спесь то какая!.. Фу ты, батюшки!

— Неужели?—сказалъ съ улыбкою дворецкій.

— Приступу нѣтъ, батюшка!.. И насъ онъ также обижалъ: загонялъ съ болота скотину, дѣлать всякія прижимки; да это бы еще куда ни шло! А вотъ какой грѣхъ случился: вы, я думаю, изволите знать, что самъ то Курочкинъ хоть и крѣпостной его сіятельства, а сынъ у него оберъ-офицеръ?

— Какъ же, знаю!

— Не прогнѣвайтесь, — дубина такая, что и сказать нельзя! Чтожъ вы думаете? Панкратій Лукичъ вздумалъ посватать за него нашу барышню...

— И, вѣрно, отказали.

— Ну, разумѣется!.. Конечно, быть приказчикомъ или дворецкимъ у его графскаго сіятельства дѣло не шуточное; но вѣдь баринъ мой природный столбовой дворянинъ, такъ, воля ваша, ему въ сродствѣ быть съ крѣпостнымъ человекомъ не приходится. Вотъ, батюшка, Панкратій Лукичъ и осерчалъ на барина, да какъ провѣдалъ, что у насъ въ пожаръ всѣ купчія крѣпости и отказныя книги сгорѣли, такъ, не говоря добраго слова, и брякъ въ судъ просьбу, будто бы мы завладѣли землей села Вознесенскаго. Баринъ послалъ меня въ Саратовъ выправить изъ архива копи, — не тутъ то было! Панкратій Лукичъ успѣлъ ужь тамъ спроворить: подлинныя документы оказались затерянными, и мы не могли никакъ отыскать нашего права. Теперь дѣло въ сенатѣ. Богъ вѣсть, чѣмъ кончится, а межъ тѣмъ мы вовсе исхарчались. И если, батюшка, признаться по совѣсти, такъ у насъ съ бариномъ другой ужь день ни гроша нѣтъ въ карманѣ.

— Богъ милостивъ,—сказалъ дворецкій,—авось все это переѣвится. Во всякомъ случаѣ, я очень радъ, что поговорилъ съ вами. Давно ужь слышно, что этотъ Курочкинъ

во зло употребляет довѣренность его сіятельства. Ну, не одобровать ему! Графъ очень не жалуется кляузниковъ, а гордецовъ и обидчиковъ терпѣть не можетъ. Прощайте, батюшка!... Попросите же вашего барина, чтобъ онъ потрудился сегодня пожаловать часу въ двѣнадцатомъ къ его сіятельству. Я буду дожидаться въ передней Кузьму Петровича. Мнѣ еще надобно ему низенько поклониться: вѣдь я и самъ передъ нимъ не вовсе правъ.

Дворецкій ушелъ. Часу въ двѣнадцатомъ возвратился Мирошевъ.

— Гдѣ вы это до сихъ поръ были? — спросилъ Кондратьичъ.

— Ходилъ гулять за Симоновъ.

— Знаете ли что?... Видно, этотъ графъ, съ которымъ у насъ тяжба, хочетъ съ вами мириться.

— А что такое?

— Онъ присылалъ къ вамъ своего дворецкаго и просить пожаловать къ нему въ двѣнадцатомъ часу.

— А который теперь часъ?

— Вотъ не такъ давно, напротивъ насъ, у часового мастера, кукушка прокуковала одиннадцать часовъ.

— Такъ давай же мнѣ скорѣй мундиръ.

Мирошевъ не успѣлъ еще одѣться, какъ вошелъ къ нему Костоломовъ.

— Ну, дядя, — вскричалъ онъ, — все, слава Богу, кончено!... Не говорилъ ли я тебѣ, что ты выйдешь изъ этого дѣла чистъ и непорочень, какъ младенецъ изъ купели. Каинъ сдержалъ слово: я засталъ его у графа вмѣстѣ съ пойманнымъ воромъ. Ахъ, братецъ, что за добрый человекъ этотъ графъ! Какъ я рассказалъ ему, въ какомъ ты былъ отчаяннѣ, такъ, вѣришь ли, онъ чуть-чуть не заплакалъ. «Боже мой», — проговорилъ онъ, всплеснувъ руками, — «за чтожь я такъ разобидѣлъ честнаго человека? Да чѣмъ я могу теперь это поправить?» Тутъ онъ подозвалъ своего дворецкаго и шепнулъ ему что то на ухо, а мнѣ сказалъ: «Уговорите вашего пріятеля, чтобъ онъ на меня не гнѣвался, и позволилъ бы мнѣ покороче съ собою познакомиться». Ну, разумѣется, братецъ, я побожился за тебя, что ты никакой досады на него имѣть не будешь. Знаешь ли что? Ты бы къ нему сходилъ, дядя!

— Я и такъ къ нему иду; онъ сейчасъ присылалъ за мною.

— Ну теперь, братецъ, онъ вѣрно прекратитъ съ тобою тяжбу.

— Дай то Господи! Прощай, Егоръ Васильевичъ, — я долженъ быть у графа въ двѣнадцатомъ часу.

Когда Кузьма Петровичъ вошелъ въ переднюю графскаго дома, то всѣ слуги вскочили съ своихъ мѣстъ, а дворецкій, встрѣтивъ его почтительнымъ поклономъ, сказалъ:

— Пожалуйте, Кузьма Петровичъ, — его сіятельство съ нетерпѣніемъ васъ дожидается.

Пройдя цѣлымъ рядомъ великолѣпно убранныхъ комнатъ, въ которыхъ у всѣхъ дверей стояли одѣтые въ бархатные кафтаны офицанты, Мирошевъ подошелъ къ дверямъ графскаго кабинета; два, залитые въ золото, казачка отворили настежь двери, и Мирошева встрѣтилъ хозяинъ въ томъ же самомъ нарядѣ, въ которомъ онъ видѣлъ его два дня тому назадъ за обѣдомъ.

— Здравствуйте, Кузьма Петровичъ! — сказалъ онъ, протягивая руку своему гостю. — Милости просимъ!

— Вашему сіятельству угодно было... — Проговорилъ Мирошевъ, кланяясь.

— Не прогнѣвайтесь, Кузьма Петровичъ, — прервалъ хозяинъ, — я что то плохо себя чувствую сегодня, а то бы мнѣ слѣдовало самому къ вамъ прѣхать.

— Помилуйте, ваше сіятельство!...

— Да, да, — продолжалъ хозяинъ, — вѣдь вы мой судья, а я вашъ челобитчикъ. Да прошу покорно садиться!

Графъ сѣлъ на канапе и посадилъ подлѣ себя Мирошева.

— Я очень виноватъ передъ вами, Кузьма Петровичъ, — сказалъ онъ. — Прошу васъ простить меня. Вы жестоко мною обижены; но, божусь, я не имѣлъ никакого намѣренія оскорбить васъ.

— Кто-жъ можетъ въ этомъ усомниться, ваше сіятельство? Развѣ только тотъ, кто никогда не слыхалъ о васъ.

— Такъ вы меня прощаете?

— Да вы меня ничѣмъ не обидѣли; вся наружность была противъ меня: я человѣкъ бѣдный, неизвѣтный. Когда меня спросили, кто я такой, то я такъ смутился, что едва могъ отвѣчать: я чувствовалъ, какъ неприлично было мнѣ, имѣя съ вами тяжбу, обѣдать незваному за вашимъ столомъ. Все это должно было казаться весьма подозрительнымъ, и всякій на вашемъ мѣстѣ точно также бы ошибся;

но не всякій поступилъ бы такъ великодушно, какъ ваше сіятельство.

— Все это, Кузьма Петровичъ, одни слова; вы докажете на самомъ дѣлѣ, что не имѣете на меня никакой досады.

— Да чѣмъ же я могу доказать это вашему сіятельству?

— А вотъ чѣмъ: я хотя невольно и безъ всякаго намѣренія, а все-таки былъ причиною вашихъ несчастій. Я знаю все: по милости моей вы пріѣхали въ Москву, разстроили ваше состояніе и, что всего хуже, могли потерять ваше честное имя. Позвольте же мнѣ все это поправить; дайте мнѣ благородное, дворянское слово, что вы не помѣшаете мнѣ въ этомъ.

— Да если ваше сіятельство убѣдились въ моей невинности, такъ все ужъ поправлено.

— О, нѣтъ! Во-первыхъ, я разлучилъ васъ съ семействомъ, слѣдовательно я и долженъ дать вамъ способъ скорѣй съ нимъ увидѣться. Я узналъ отъ вашего пріятеля, который былъ сегодня у меня по-утру, что вы собираетесь ѣхать изъ Москвы на долгихъ. Новохоперскъ отсюда не близко: вы долго проѣдете. Не лучше ли вамъ отправиться на почтовыхъ?... Быть можетъ, вы поистратились... у васъ нѣтъ денегъ... О, Бога ради, не оскорбите меня отказомъ!.. Вѣдь это будетъ платить зломъ за зло, а вы ужъ, Кузьма Петровичъ, меня простили.

— Я очень чувствую всю милость вашего сіятельства,—сказалъ Мирошевъ, вспыхнувъ какъ красная дѣвушка,—но я не имѣю никакого права на ваши благодѣянія: есть люди гораздо бѣднѣе меня.

— Кузьма Петровичъ,—прервалъ графъ, погрозивъ ласково пальцемъ,—вы все еще на меня гнѣваетесь!

— Я, ваше сіятельство?... О, клянусь вамъ честію!...

— Такъ не мѣшайте же мнѣ помириться, если не съ вами, такъ съ самимъ собою.

Мирошевъ молча поклонился.

— И такъ рѣшено,—продолжалъ графъ:—вы ѣдете на почтовыхъ. Кажется, мнѣ не нужно вамъ говорить, что тяжба наша кончена.

— Ахъ, ваше сіятельство!...

— Но я виноватъ, что допустилъ моего приказчика начать такой несправедливый процессъ. Впрочемъ, будьте спокойны, съ этой минуты вамъ нечего опасаться Куроч-

кина, который ужь вѣрно, — продолжалъ графъ съ улыбкою, — не посватаетъ теперъ вашу дочь за своего сына.

— Какъ, ваше сіятельство, — вскричалъ Мирошевъ, — такъ вы знаете?...

— Ужь я вамъ сказалъ, что все знаю, — отвѣчалъ графъ, вставая. — Прошу васъ сегодня ко мнѣ откушать, — продолжалъ онъ. — Завтра вы успѣете приготовиться къ отъѣзду, а послѣзавтра по-утру пожалуйте ко мнѣ: я хочу съ вами проститься и дать вамъ кой-какія порученія къ моему приказчику. Прощайте, Кузьма Петровичъ!... Часа черезъ полтора я ожидаю васъ къ себѣ обѣдать.

Мирошевъ отправился отъ графа прямо къ Иверской Божіей Матери. Онъ долго не могъ дожидаться своей очереди, чтобъ отслужить ей благодарственный молебенъ. Слишкомъ часъ онъ стоялъ въ часовнѣ, прижавшись въ уголку; слезы его текли ручьями. Этотъ внезапный переходъ отъ ужаснаго горя къ неожиданному счастью до того потрясъ его душу, что онъ почти задыхался отъ избытка радости и благодарности къ Тому, Кто превратилъ скорбь его въ ликованіе и *препоясалъ его веселиемъ*.

— Боже мой, — думалъ онъ, — какъ неисповѣдимы судьбы Твои! Когда я слышалъ, что имя мое произносятся съ презрѣніемъ, не я ли въ безуміи моемъ повторялъ: «Господи, Господи, чѣмъ заслужилъ я это?» И вотъ тотъ самый, кто полагалъ меня безчестнымъ, именемъ котораго отнимали у меня послѣдній кусокъ хлѣба, признаетъ мою невинность, возвращаетъ мнѣ мое наслѣдіе и съ дружбою протягиваетъ мнѣ руку!... Еще нѣсколько дней, и я обниму жену, прижму къ моему сердцу дочь, и снова жизнь моя потечетъ тихо и спокойно подъ тѣнью крылъ Твоихъ, Всевышній!... О, теперъ то я могу сказать: «Господи, Господи, чѣмъ заслужилъ я это?»

Отпѣвъ молебенъ, Мирошевъ отправился опять къ графу. На дворѣ было уже нѣсколько экипажей. Кузьма Петровичъ, войдя въ пріемную комнату, хотѣлъ было въ ней остаться; но офицантъ отворилъ двери во внутреннія комнаты и пригласилъ его на половину графа, который принялъ его съ распростертыми объятіями, расцѣловалъ и, подводя къ своимъ гостямъ, изъ которыхъ многіе были въ звѣздахъ, сказалъ:

— Честь имѣю представить вамъ моего добраго пріятели и деревенскаго сосѣда, Кузьму Петровича Мирошева, котораго я всей душой уважаю.

Разумѣется, что послѣ такой рекомендаціи гости обошлись весьма ласково съ Мирошевымъ, несмотря на то, что на немъ былъ поношенный мундиръ, что на камзолѣ его не было широкихъ галуновъ. За столомъ графъ посадилъ Кузьму Петровича рядомъ съ собою, безпрестанно съ нимъ разговаривалъ, и когда послѣ обѣда гости стали разѣзжаться, сказалъ ему:

— Не забудьте, любезный мой сосѣдь, что послѣ завтра я жду васъ къ себѣ часу въ девятомъ утра. Надѣюсь однако-жъ, что я не навсегда съ вами прощусь, и что вы приѣдете когда-нибудь въ Москву повидаться со старикомъ, который полюбилъ васъ всею душою.

Я не берусь описать шумныхъ восторговъ Прохора, когда баринъ сказалъ ему, что тяжба ихъ прекращена, что они послѣзавтра же отправляются во-свояси и дня черезъ четыре будутъ опять въ Хопровкѣ. У Прохора Кондратьича лѣтъ двадцать пять свалилось съ плечъ, онъ прыгалъ отъ радости.

— Дай Богъ здоровья его сіятельству!—повторялъ онъ безпрестанно.—Чтобъ ему еще прожить несчетные годы!... И у этакого барина приказчикомъ шельмецъ Курочкинъ!... Да теперь недолго ты насидишь управителемъ, приказная строка! Спесь то съ тебя пособьютъ!...

— Эхъ, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ,—чѣмъ бы тебѣ вмѣстѣ со мною благодарить Бога, а ты все злое думаешь!.. Принимайся-ка лучше за дѣло, да укладывайся проворнѣй.

— Мигомъ все будетъ готово, сударь... Да и что вамъ укладывать? Застегнулъ чемоданъ, и дѣло съ концомъ!... А вотъ о чемъ надобно подумать, батюшка: вѣдь у насъ лѣтней повозки нѣтъ.

— Чтожъ дѣлать: поѣдемъ на перекладныхъ.

— Умаетесь, Кузьма Петровичъ! Своя кибитченка какова ни есть, а все-таки въ ней вольготнѣе: и простору больше, и прикурнуть можно.

— Такъ, Прохоръ; да вѣдь лѣтняя то повозка, чай, не дешево стоитъ.

— И, сударь, за деньгами дѣло не станетъ. Посмотрите, если графъ не пришлетъ вамъ на дорогу рублей пятьсотъ.

— Помилуй, да на что намъ столько денегъ? На прогоны и сорока рублей не выйдетъ.

— Выйдутъ и всѣ пятьдесятъ, сударь!.. Вы еще, видно, на почтовыхъ то не ѣзжали: на иной станціи прижмутъ

такъ, что и тройные прогоны зацатишь!.. Съ хозяиномъ надобно расцлатиться; на то, на другое, и не увидишь, ба-тюшка, какъ сто рублей выйдеть.

— Такъ ты думаешь, что графъ пришлетъ мнѣ...

— На крайній конецъ, сударь, рублей триста или четыреста.

Прохоръ Кондратычъ ошибся въ расчетѣ: графъ прислалъ Мирошеву на дорогу только сто рублей.

— Только то?—сказалъ Кондратычъ, когда ушелъ при-сланный отъ графа.—Ну, ваше сіятельство, не больно вы разчивились!... Сто рублей!... Экъ разорился!... А еще го-ворять, что ему деньги ни почемъ!

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Да мало ли онъ и такъ для меня сдѣлалъ? Не по его ли милости я увижусь чрезъ нѣсколько дней съ женою и дочерью? Не онъ ли самъ прекратилъ тяжбу, которая въ конецъ бы насъ разорила?...

— Да она и такъ ужъ васъ разорила! Вы осмнадцать лѣтъ копили вашей крестницѣ на приданое, а гдѣ оно?... Разошлось все по подъячимъ! А хлопотъ и горя то сколько было?.. Такъ чтожъ онъ вамъ говорилъ: «я все поправлю!» Хорошо поправилъ!... «Ты, дескать, бѣдняга, истратилъ рублей тысячу, тебя таскали по разнымъ судамъ, да по всякимъ мытарствамъ; а такъ какъ я человекъ справедли-вый, и дознался теперь, что дѣло твое правое, такъ вотъ тебѣ, голубчикъ, сто рублей,—убирайся съ глазъ долой!»... Охъ ужъ эти богачи,—дасть полушку, а славы то надѣла-еть на рубль!

На другой день по-утру Мирошевъ явился къ графу, который принялъ его какъ родного. Проговоря съ нимъ около часу о его семействѣ, о прежней службѣ и о насто-ящемъ его положеніи, онъ вынулъ изъ бюро запечатанный пакетъ и, отдавая его Мирошеву, сказалъ:

— Позвольте, Кузьма Петровичъ, дать вамъ небольшое порученіе, которое впрочемъ и до васъ касается. Надѣюсь, мой приказчикъ не осмѣлится ужъ дѣлать вамъ никакихъ притѣсненій; но все таки будетъ вѣрнѣе, если вы, возвра-тятся домой, пошлете за Курочкинымъ, заставите его распе-чатать этотъ пакетъ, вынуть изъ него бумагу и прочесть вмѣстѣ съ вами то, что въ ней написано. Я даже прошу васъ исполнить это съ большою точностію и, если можно, тотчасъ же по вашемъ возвращеніи.

— Слушаю, ваше сіятельство!  
— Да скажите мнѣ, Кузьма Петровичъ, кто этотъ офицеръ, вашъ пріятель, который третьягодня былъ у меня поутру?

— Мой прежній однополчанинъ, поручикъ Костоломовъ.

— Онъ долженъ быть очень хорошій человекъ?

— Вы не ошибаетесь, ваше сіятельство: онъ всегда былъ отличнымъ офицеромъ; а ужъ какъ добръ и благороденъ!...

— Что, онъ здѣшній, или пріѣхалъ по дѣламъ?

— Онъ ищетъ себѣ мѣста.

— По статской службѣ?

— Да, ваше сіятельство, куда-нибудь въ городничіе... Еслибъ можно было... Но мнѣ, право, совѣстно: вы ужъ и такъ слишкомъ много изволили для меня сдѣлать...

— И, полноте, Кузьма Петровичъ! Говорите, говорите!

— Новохоперскій городничій подалъ въ отставку...

— Такъ вы желали бы, чтобъ вашъ пріятель заступилъ его мѣсто?... Ну, чтожъ, попытаться можно. Скажите ему, чтобъ онъ побывалъ ко мнѣ завтра. Когда вы ѣдете?

— Сію минуту, ваше сіятельство; у меня ужъ и лошади готовы.

— Не нужно ли вамъ еще денегъ?

— Помилуйте, ваше сіятельство! Да вы столько изволили мнѣ пожаловать на дорогу, что я расквитался со всѣми долгами, а все еще могу платить вездѣ двойные прогоны.

— Я не хочу васъ долѣе удерживать,—сказалъ графъ, вставая.—Теперь каждая минута, которую вы пробудете въ Москвѣ, должна вамъ казаться потерянною. Прощайте, Кузьма Петровичъ! Дай Богъ, чтобъ вы нашли всѣхъ вашихъ здоровыми; да пожалуйста не забудьте призвать къ себѣ Курочкина: я желаю, чтобъ онъ получилъ мой приказъ какъ можно скорѣе.

Простившись съ графомъ, Мирошевъ поспѣшилъ на свою квартиру. Тамъ дождался его Костоломовъ. Кузьма Петровичъ сказалъ ему, что графъ желаетъ съ нимъ повидаться; потомъ, помолясь Богу, обнявъ своего стараго сослуживца и сѣлъ въ телѣгу. Прохоръ, которому не было никакой возможности пріютиться подлѣ ямщика, помѣстился рядомъ съ баринномъ.



— Ну, съ Богомъ!—закричалъ Костоломовъ.—Прощай, дядя! Когда то Господь приведетъ опять увидѣться?

— Авось увидимся,—отвѣчалъ Мирошевъ.—Не забудь только побывать завтра у графа.

Когда наши путешественники выѣхали за заставу, ямщикъ остановился и сталъ оправлять сбрую на лошадахъ. Мирошевъ спрыгнулъ также съ телѣги и пошелъ купить на дорогу калачей; а Прохоръ Кондратьичъ обернулся назадъ, снялъ картузъ, перекрестился и сказалъ:

— Прощай, кормилица наша Москва, золотыя маковки! Дай Богъ тебя вѣкъ не видать!... Хороша ты и красна, матушка,—да Господь съ тобою!... Не даромъ говорятъ: «Москва царство, а деревня рай.» Наша Хопровка лучше... Любезный,—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику,—какъ тебя величать то, Иваномъ чтоль?

— Нѣтъ, батюшка, меня зовутъ Матвѣемъ.

— Ну-ка, братъ Матюха, садись: вонъ баринъ идетъ... Да смотри, потрогивай лошадокъ, а не то худо будетъ.

— А что?

— Да баринъ то у меня больно лихъ.

— Ой ли?

— У, батюшки!... Такой злой, что не приведи Господи! Разомъ затылокъ нагрѣтъ.

Ямщикъ вспрыгнулъ на телѣгу, и когда Мирошевъ усѣлся на прежнее мѣсто, онъ подобралъ возжи, свистнулъ и покатилъ по мостовой такъ, что у Кузьмы Петровича сердце замерло, а Прохоръ Кондратьичъ принялся сначала шептать про себя:

— Ай да братъ Матюха, молодець!... Эхъ, версты то замелькали!...

А тамъ пришелъ въ такой азартъ, что, забывъ всѣ экономическіе свои расчеты, закричалъ во все горло:

— Эй вы!... Съ горки на горку, баринъ дастъ на водку!... Катай небось!

### XXXVI.

Опять Хопровка. Курочкинъ. Невожиданная развязка.

Если подлинно ложь бываетъ иногда во спасеніе, чему однакожь я плохо вѣрю, то, конечно, можно было простить Прохору Кондратьичу самую безстыдную ложь и даже кле-

вету, которую онъ взвелъ на своего добраго и кроткаго барина: по милости этой лжи, которая повторялась на каждой станціи, нашихъ путешественниковъ везли очень хорошо; на четвертыя сутки, часу въ осьмомъ утра, пріѣхали они въ Новохоперскъ. Знакомый ящикъ взялся ихъ доставить въ полчаса до дому. Минуть десять, которые прошли въ закладываніи лошадей, показались Мирошеву десятью часами. Наконецъ, лихая тройка подкатила къ крыльцу почтового двора, и Кузьма Петровичъ помчался по той же самой дорогѣ, по которой, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, тащился на долгихъ, оставляя позади себя все, что привязывало его къ жизни. Вотъ черезъ четверть часа, прямо передъ ними далекій небосклонъ окаймился темнозеленою полосою.

— Вонъ, сударь, — сказалъ Прохоръ, — Кирсановскія рощи, — извольте видѣть?

— Вижу, Прохоръ.

— А ближе къ намъ, направо, Вознесенская церковь; а вотъ тамъ, за горкою то, спряталась наша родная Хопровка... То то будетъ радости, батюшка! Вѣдь васъ не ждутъ.

Мирошевъ молчалъ. То, что онъ чувствовалъ, не могло быть выражено словами. Прошло еще нѣсколько минутъ.

— Вотъ и наши поля! — заговорилъ опять Прохоръ. — Рожь знатная!... И, кажись, крупна колосомъ... И греча изрядная... Эхъ, овсы то рѣденьки!... Ну, такъ и есть, — я говорилъ вамъ, батюшка: гдѣ Парееву безъ насъ этимъ дѣломъ справиться!... Ну, помилуйте, что за посѣвъ такой?... Вонъ крестьянская полоса рядомъ съ нашимъ полемъ, — извольте ка посмотрѣть, какой овесъ!... А у насъ словно градомъ выбило! Ну вотъ, подумаешь: добрый мужикъ этотъ Пареевъ, а что въ немъ толку? Чай, посѣяли, да недѣли двѣ не бороновали, а воробьи то себѣ кушай, да кушай!... Эхъ, Кузьма Петровичъ, что вы смотрите по верхамъ?... Извольте ка посмотрѣть, что у васъ подъ ногами!

— Прохоръ, — сказалъ Мирошевъ, указывая на холмъ, съ которымъ давно уже знакомы наши читатели, — не разсмотришь ли ты, кто тамъ у часовни стоитъ?

— У васъ, сударь, глаза то помоложе моихъ, — гдѣ мнѣ отсюда увидать!

— Кажется, въ бѣлыхъ платьяхъ, — такъ точно: это,

должны быть, Варенька и Дуня!.. Прохоръ онѣ на насъ не смотреть?

— Не смотреть, сударь.

— Постой, я имъ закричу...

— Да, какъ же, — услышать отсюда! Вѣдь такъ то кажется, а до нихъ съ полверсты будетъ.

— Вотъ онѣ оборотились въ нашу сторону, — прервалъ Мирошевъ.—Постой!

Онъ поднялся на ноги и началъ махать платкомъ.

— Увидѣли, батюшка! — вскричалъ Прохоръ, — точно, увидѣли!.. Посмотрите, какъ онѣ засуетились!... Ну, теперь встрѣча будетъ!

— Прохоръ, — сказалъ Мирошевъ, — я хочу въ точности исполнить волю графа: лишь только мы прѣдемъ, ступай къ Курочкину и попроси его ко мнѣ.

— Слушаю, сударь! Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!... Я думаю, въ этой бумагѣ, которую вы везете отъ графа, наклеенъ ему порядочный носъ. Я вѣдь дворецкому все пересказалъ... Посмотрите, батюшка, какъ ему перья то обшибуть.

— Прохоръ, — вскричалъ Мирошевъ, — видишь ли, вонъ и Хопровка.

— А видите ли, сударь, у околицы?...

— Боже мой, это онѣ!.. Стой, стой!

Мирошевъ спрыгнулъ съ телеги, и черезъ полминуты вся грудь его взмокла отъ радостныхъ слезъ жены и дочери, которая лежали въ его объятіяхъ...

Я не стану описывать этого свиданія. Кто изъ васъ, любезные читатели, не разставался, хотя однажды въ жизни, съ милыми сердцу и не испыталъ при встрѣчѣ съ ними эту неизъяснимую радость, это веселіе и праздникъ души, для описанія которыхъ нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Мы оставимъ на минуту Мирошева: пусть онъ осыпаетъ поцѣлуями жену и дочь, обнимаетъ Дуняшу, Игнатьевну и всѣхъ домашнихъ. Эти шумные восторги, эти несвязанныя рѣчи и отрывистыя восклицанія не скоро еще перейдутъ въ тихій и спокойный разговоръ, и вы, любезные читатели, успѣете побывать вмѣстѣ со мною у нашего стариннаго знакомца, Панкратія Лукича Курочкина.

Въ большой комнатѣ, оклеенной зелеными обоями, на кожаной софѣ, передъ раскрытымъ ломбернымъ столомъ сидѣлъ Панкратій Лукичъ Курочкинъ. На столѣ, посреди раз-

бросанныхъ бумагъ, стояли: огромная мѣдная чернильница, графинъ съ водкою и тарелка съ паюсной икрою. За тѣмъ же столомъ, противъ Курочкина, кой-какъ лѣпился на стулѣ пріятель нашъ, Андрей Ѡмичъ Зарубкинъ. Панкратій Лукичъ держалъ въ рукѣ распечатанное письмо; вѣроятно, этимъ письмомъ извѣщали его о чемъ то пріятномъ, потому что онъ былъ очень веселъ и перечитывалъ его нѣсколько разъ съ большимъ удовольствіемъ.

— Такъ васъ, батюшка, Панкратій Лукичъ, — проговорилъ съ подобострастною улыбкою Зарубкинъ, — увѣдомляютъ, что ваша тяжба съ Мирошевымъ приходитъ къ желанному окончанію.

— Да, Андрей Ѡмичъ; я думаю, на первой почтѣ и указъ будетъ посланъ. Любезному то сосѣду нашему придется заводить пашню на своемъ господскомъ дворѣ, а выгонъ сдѣлать передъ домомъ на улицѣ.

— Какъ, сударь?.. Такъ луга то по Хопру...

— По самый дворъ отойдутъ къ намъ.

— А что, батюшка, лѣсу то у него?.

— Ни прутика не останется.

— Вотъ что!.. Ну, слава Богу!.. Честь имѣю васъ поздравить, Панкратій Лукичъ!.. А что, почтеннѣйшій, тогда можно мнѣ будетъ иногда этакъ валежнику охапку-другую, хворостку вязанки двѣ-три...

— Съ моимъ удовольствіемъ!

— Нижайше васъ благодарю!.. Позвольте-ка рюмочку.

— Прошу покорно!

— Ну, — продолжалъ Зарубкинъ, проглотивъ рюмку водки, — тѣсненько же будетъ жить Кузьмѣ Петровичу!. Вѣдь этакъ ему и на рѣчку нельзя будетъ выйти прогуляться.

— Разумѣется!... Тутъ будутъ наши луга, а чужую траву топтать законъ строго воспрещаетъ.

— Нечего дѣлать, придется имъ глядѣть на Хоперь изъ окошечка.

— Немного увидятъ: я противъ самаго дома выстрою сальный заводъ.

— Сальный заводъ!.. Да этакъ имъ придется и домъ снести. Сальный заводъ передъ самыми окнами!

— Ну, конечно, какъ вѣтерокъ потянетъ отъ рѣки, такъ въ покояхъ то и дохнуть нельзя будетъ; да дѣлать нечего, Андрей Ѡмичъ: вѣдь всякій на своей землѣ воленъ заводить, что ни захочетъ.

— Всеконечно такъ!.. Ну, сударь, Панкратій Лукичъ, съ вами завдаться то неловко!.. Жаль мнѣ Мирошевыхъ, по челоѳвчеству, батюшка! А если такъ сказать: кто виновать?.. Не гордиться бы, не чваниться бы передъ тѣми, кто ихъ лучше... Счастливы еще они, что у нихъ дочка есть: нельзя будетъ жить въ Хопровкѣ, такъ она ихъ къ себѣ возьметъ.

— Къ себѣ?.. Куда къ себѣ?

— Такъ вы еще не знаете?

— А что такое?

— Правда, какъ вамъ и знать объ этомъ: вчера только порѣшили.

— Порѣшили?.. Что порѣшили?

— А вотъ что-съ: Варвара Кузьминична Мирошева выходитъ за Владиміра Ивановича Кирсанова.

— Что вы говорите?

— Да такъ-съ, Панкратій Лукичъ! Ждутъ только изъ Москвы Кузьму Петровича!

— Не можетъ быть!

— Истинно такъ.

— Да чтожь старикъ то, Иванъ Никифоровичъ?

— А чтожь прикажете ему дѣлать, коли сынъ отъ рукъ отбился?.. Мало ли, батюшка, ломки то было!.. Боже мой!.. Онъ его и въ Воронежъ увозилъ, и хотѣлъ женить на дочери своего пріятели Залуцкаго, и грозился отъ наслѣдства отрѣшиться, — такъ нѣтъ, сударь, ни на комъ, дескать, не женюсь, кромѣ Вареньки Мирошевой.

— Экій упрямый мальчишка! Ну, что она ему за невѣста?

— И батюшка то же при мнѣ бывало начнетъ говорить: «Вотъ нашелъ въ кого влюбиться! Да пара ли тебѣ эта дѣвочка? Ужь пускай бы за ней было хоть душенокъ сто приданого или родство какое-нибудь,—а то что такое: мать Богъ знаетъ кто, отецъ отставной поручикъ, мелкопомѣстный дворянинъ, который только не питается Христовымъ именемъ... Хороша будетъ невѣстушка! Да у меня и языкъ то не повернется назвать ее дочерью!»

— Правда, правда!

— А что толку то, что правда, Панкратій Лукичъ? Сынънокъ все-таки поставилъ на своемъ. Вы знаете, что они съ недѣлю тому назадъ воротились изъ Воронежа; старикъ Кирсановъ все еще не соглашался, да вчера былъ у него

съ сыномъ большой разговоръ. Я, батюшка, въ замочную щелку видѣлъ, что Владиміръ Ивановичъ больно плакалъ, — какъ рѣвка лется! Вотъ, наконецъ, и старикъ прослезился и сказалъ: «Ну, нечего дѣлать, видно, ужъ такъ угодно Богу! Только, не прогнѣвайся, я самъ къ Мирошевымъ сватомъ не поѣду. Я напишу имъ, что согласенъ женить тебя на ихъ дочери, а тамъ ужъ дѣлай, какъ знаешь». Вотъ Владиміръ Ивановичъ бросился цѣловать руку у батюшки, да тотчасъ и отправился къ Мирошевымъ.

— Скажите, пожалуйста! — вскричалъ Курочкинъ. — Какое ослѣпленіе!.. И чѣмъ они его такъ обворожили?.. Что у нихъ, прости, Господи, приворотный корешокъ чтоль есть?

— Эхъ, Панкратій Лукичъ, на что приворотной корешокъ? Человѣкъ онъ молодой, барышня хорошенькая, выдались каждый день...

— Да, конечно; долго ли молодого парня съ пути сбить!.. Ну, сударь, не правда ли я говорю, что эти Мирошевы негодные люди?.. Сманить сына у отца... заставить его идти противъ воли родительской!.. И какъ Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе!..

— Да-съ, дѣло нечистое.

— Андрей Омичъ, — сказалъ Курочкинъ, посмотрите-ка въ окно, кто это идетъ по двору.

— Ахъ, батюшки, — вскричалъ Зарубкинъ, — да это Кондратьичъ!.. Точно, Кондратьичъ!.. Онъ былъ съ Кузьмою Петровичемъ въ Москвѣ. Видно, баринъ то его воротился.

— Видно, что такъ!

Двери потихоньку отворились, и знакомый вамъ писарь-дипломатъ, Антонъ Ѳедотовъ, вошелъ въ комнату.

— Что ты, братецъ? — спросилъ Курочкинъ...

— Приказчикъ Кузьмы Петровича Мирошева... — проговорилъ писарь вполголоса.

— Приказчикъ! — повторилъ съ презрѣніемъ Курочкинъ. — Хорошъ приказчикъ — при пятидесяти душахъ!.. Зачѣмъ онъ пришелъ?

— Не могу сказать, Панкратій Лукичъ, — въ этомъ я неизвѣстенъ.

— Пусть подождетъ!

— Слушаю-съ.

— Чтобъ это такое значило? — спросилъ Зарубкинъ.

— Ну, разумѣется что: съ повинною головою. Да нѣтъ, батюшка, поздно!

— Да-съ, конечно: «снявши голову, по волосамъ не плачуть!»... Самъ виновать.

— Что это,—прервалъ Курочкинъ: — никакъ этотъ дурачина вздумалъ шумѣть у меня въ передней?

— Да, точно,—сказалъ Зарубкинъ,—это голосъ Кондратьича... Онъ что то покрикиваетъ.

— Панкратій Лукичъ!—прошепталъ писарь, просунувъ въ двери свою голову,—Кондратьичъ не хочетъ дожидаться

— Такъ гони его вонъ!

— И вонъ нейдетъ. Онъ присланъ съ какимъ то важнымъ порученіемъ отъ своего барина, и я имѣю сумнительство, что это дѣло нешуточное.

— А почему ты это думаешь?

— Да такъ-съ!.. Кондратьичъ азартно больно поговариваетъ и смотреть съ большимъ авантажемъ.

— Ну, ну, пошли его сюда!

Прохоръ Кондратьичъ вошелъ въ дорожномъ платьѣ, съ головы до ногъ забрызганный грязью. Онъ перекрестился на иконы; потомъ, не обращая никакого вниманія на хозяина, сказалъ Зарубкину:

— Здравствуйте, батюшка, Андрей Ѳомичъ!... По добру ли, по здорову?

— А, здравствуй, Прохорушка!—вскричалъ Зарубкинъ. — Давно ли изъ Москвы?

— Сейчасъ, сударь.

— Что вамъ, батюшка, надобно?—спросилъ Курочкинъ, едва скрывая свою досаду.

— Меня прислалъ баринъ сказать вамъ, чтобъ вы къ нему сейчасъ явились.

— Что, что? — проговорилъ Курочкинъ, вскочивъ съ софы.

— Я вамъ по-русски говорю: мой баринъ требуетъ васъ къ себѣ.

— Требуется?.. Меня?.. Вотъ новости!.. Скажите вашему барину, что если есть у него до меня дѣло, такъ онъ можетъ облегчиться, и самъ ко мнѣ пожаловать.

— Къ вамъ?.. Нѣтъ, батюшка, далеко!

— Да не дальше, чѣмъ отъ меня до васъ.

— Не объ этомъ рѣчь!.. Что вы это, Панкратій Лукичъ?.. Гдѣ нашему брату считается съ Кузьмою Петровичемъ! Вѣдь онъ родовой дворянинъ, а мы съ вами что?

Курочкинъ поблѣднѣлъ.

— Наше дѣло съ вами холопское, — продолжалъ спокойно Кондратьичъ.—Сегодня въ чести, а завтра ступай свиней пасти.

— Да чтожь это такое?— вскричалъ Курочкинъ, задыхаясь отъ бѣшенства.—Что ты хлебнулъ чтоль черезъ край или съ ума сошелъ, братецъ?

— Нѣтъ, сестрица, я въ полномъ разумѣ.

— Да что вы съ бариномъ то начальники чтоль мои?... У меня одинъ командиръ—его сіятельство!

— Такъ чтожь?... По его то приказанію мой баринъ и требуетъ, чтобъ вы къ нему явились.

— Какъ?.. — вскричалъ Курочкинъ, остолбенѣвъ отъ удивленія.

— Да такъ!... Вашъ баринъ лично его объ этомъ просилъ.

— Да развѣ Кузьма Петровичъ имѣлъ свиданіе съ его сіятельствомъ?

— Свиданіе?... Экъ вы!... Какое свиданіе?... Да они душевные друзья!

— Возможно ли!...

— Последнее время Кузьма Петровичъ житья-жилъ у графа, и за столъ то онъ всегда сажалъ его рядомъ съ собою.

— Что вы говорите?

— Да, Панкратій Лукичъ!... Его сіятельство, прощаясь съ моимъ бариномъ, отдалъ ему запечатанное письмо и сказалъ: «Прошу, дескать, васъ, любезнѣйшій сосѣдъ»,— онъ всегда такъ изводилъ называть барина,—«прошу, дескать, васъ, пріѣхавъ домой, потребовать къ себѣ сейчасъ Курочкина, и прочесть при немъ то, что въ этомъ письмѣ написано».

— Вотъ что!.. А вы не знаете, Прохоръ Кондратьичъ, что заключается въ этомъ графскомъ письмѣ?

— Почему мнѣ знать? Можетъ быть, похвальный листъ за ваше усердіе.

— Прохоръ Кондратьичъ, да неужели я въ самомъ дѣлѣ служу не усердно его сіятельству?... Да я пошлюсь на васъ: изъ чего-жь я и тяжбу то завелъ съ вашимъ бариномъ? Что мнѣ, легко чтоль было досаждать почтеннѣйшему Кузьмѣ Петровичу, котораго я всей душой моей уважаю?

— Право?... А чтожь вы сейчасъ говорили?



— Эхъ, Прохоръ Кондратьичъ, и вы думаете, что я не пошелъ бы къ вашему барину?... Да вы обошлись то больно крутенько со мною: начали съ дуба рвать; я также погорячился... Вѣдь и у курицы есть сердце, батюшка, а я человѣкъ!... Такъ вамъ, точно, не извѣстно, что его сіятельство изволить писать?

— Ужь я вамъ сказала, что не знаю. Да ступайте же скорѣе! Вѣдь баринъ васъ дожидается.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!... Не погнѣвайтесь, я пойду надѣть кафтанъ, а вы межъ тѣмъ—милости просимъ!.. Домашняя настойка! Не прикажете ли?

— Благодарю покорно,—я и дома позавтракаю. Счастливо оставаться!..

— И я съ вами, Прохоръ Кондратьичъ,—сказалъ Зарубкинъ.—Надобно поздравить съ прїѣздомъ моего благодѣтеля... Ужь какъ мы васъ всѣ ждали, Господи! И я, и Марья Дмитріевна, и Варвара Кузьминична!... Только заверну на минутку домой, да тотчасъ и къ вамъ!

Въ сѣняхъ остановилъ Кондратьича писарь Антонъ Федотовъ.

— Прохоръ Кондратьичъ,—сказалъ онъ вполголоса,—неужели въ самомъ дѣлѣ вашъ баринъ находится въ персональномъ дружествѣ съ его высокографскимъ сіятельствомъ?

— Прїатели, братецъ, прїатели!

— Такъ нельзя ли какъ-нибудь, по случаю сей ласкательной для вашего барина оказіи, выручить меня изъ этого едикуля?... Вамъ, Прохоръ Кондратьичъ, не безызвѣстно, что я человѣкъ съ амбиціею, полированный; что мнѣ въ этой трущобѣ жить: совсѣмъ заглохнешь! Вѣкъ проживешь безъ всякой сортировки, и умрешь, не заслужа никакого эстиму.

— Послѣ, любезный, послѣ,—теперь некогда объ этомъ толковать!

— Такъ дозвоьте мнѣ возымѣть случай зайти къ вамъ и келейно потрактовать о сей подлежащей моей всенижайшей просьбѣ?

— Пожалуй, братецъ, приходи!... Прощай, добро!

Теперь мы можемъ воротиться къ Мирошевымъ. Въ ихъ домѣ, въ которомъ за полчаса все было въ суетѣ и беспорядкѣ, воцарилась снова тишина и спокойствіе. Они сидѣли въ гостиной; передъ ними на столѣ кипѣлъ самоваръ; но

чашки были не налиты, и Кузьма Петровичъ, вмѣсто того, чтобъ весело разговаривать со своею женою, сидѣлъ задумавшись и молчалъ. Марья Дмитріевна также не очень походила на счастливую жену, обрадованную нечаяннымъ прїѣздомъ мужа. Дуняша стояла у окна, повѣсивъ голову. Вареньки не было въ комнатѣ.

— Куда же дѣвалась Варенька? — спросилъ, наконецъ, Мирошевъ, поглядѣвъ вокругъ себя.

— Вѣрно, ушла къ себѣ въ комнату поплакать на просторѣ, — отвѣчала Марья Дмитріевна.

— Плакать?... О чемъ?

— Да какъ же, мой другъ, мы думали, что обрадуемъ тебя, а ты принялъ такъ холодно это извѣстіе! И почему Владиміръ Ивановичъ тебѣ не нравится?

— И, Машенька!.. Сколько разъ я тебѣ говорилъ: еслибъ дочь наша была богатая невѣста, или онъ небогатый женихъ, такъ я благословилъ бы ее обѣими руками.

— Да чтожъ такое, что мы бѣдны? Когда отецъ Владиміра Ивановича желаетъ самъ...

— Онъ желаетъ этого? Помилуй!.. Да неужели ты не видишь, что Иванъ Никифоровичъ рѣшительно этого не хочетъ, а соглашается только потому, что ему нечего дѣлать съ сыномъ...

— Почему же ты это думаешь?

— Да это ясно, Машенька!.. Еслибъ Кирсановъ хотѣлъ этой свадьбы, такъ ужъ вѣрно бы прїѣхалъ самъ съ предложеніемъ.

— И, Кузьма Петровичъ, да развѣ это не все равно: самъ не прїѣхалъ, такъ письмо ко мнѣ написалъ?

— Хорошо письмо! — сказалъ Кузьма Петровичъ.

Онъ взялъ со стола небольшой листокъ бумаги, на которомъ написано было нѣсколько строкъ, и началъ читать: «Государыня моя, Марья Дмитріевна! По убѣдительной просьбѣ моего сына, Владиміра, я дозволяю ему жениться на вашей дочери. Съ должнымъ почтеніемъ честь имѣю остаться вашимъ покорнымъ слугою. Иванъ Кирсановъ».

— Что это, мой другъ? И ты называешь это предложеніемъ? Да это просто письменное дозволеніе, которое даетъ не отецъ сыну, а господинъ своему слугѣ, чтобъ онъ могъ жениться на чужой дѣвкѣ!... И послѣ этого ты можешь еще сомнѣваться въ чувствахъ Ивана Никифоровича? Да не очевидно ли, что онъ дѣлаетъ это совершенно противъ сво-

его желанія, и что участь нашей бѣдной Вареньки можетъ быть самая несчастная.

— Вотъ ужъ этому то я не повѣрю!—прервала съ жаромъ Марья Дмитріевна.—Ну, положимъ, я согласна: теперь старику Кирсанову не по душѣ эта свадьба; но лишь только онъ узнаетъ покорооче нашу Вареньку...

— Такъ полюбить ее, — прервалъ Мирошевъ, — точно такъ же, какъ мы ее любимъ? Не правда ли?.. Эхъ, Марья Дмитріевна! Тѣми ли мы смотримъ на нее глазами, какими будетъ смотрѣть Иванъ Никифоровичъ?... Она единственное дитя наше, наша радость, наше утѣшеніе; а что она для него? Деревенская барышня, дочь нечиновнаго дворянина, безъ всякаго свѣтскаго образованія, помѣха всѣмъ честолюбивымъ его видамъ, и вдобавокъ ко всему этому—бѣдная дѣвушка, которая, по смерти отца и матери, получитъ въ наслѣдство пятьдесятъ душъ!.. О, мой другъ, я боюсь не того, что онъ не станетъ любить ея,—это бы еще ничего; но меня ужасаетъ мысль, что онъ будетъ ее ненавидѣть.

— Ненавидѣть нашу Вареньку?... Помилуй, Кузьма Петровичъ!... Да развѣ онъ злодѣй какой-нибудь, чудовище?

— Нѣтъ, Машенька, онъ очень честный и даже добрый человѣкъ; но ты знаешь, какъ онъ кичится своимъ знатнымъ родствомъ и богатымъ состояніемъ; посуди же сама, легко ли ему будетъ отвѣчать, когда спросятъ, на комъ женать его сынъ.—«На Мирошевой».—«А кто эта Мирошева?»—«Дочь безроднаго дворянина, отставнаго поручика».—«А много за нею приданаго?»—«Ничего!»—О, я воображаю, какъ послѣ каждаго такого разспроса Иванъ Никифоровичъ будетъ глядѣть на бѣдную нашу дочь. Нѣтъ, мой другъ, я не мѣшаю Варенькѣ выдти замужъ за Владиміра Ивановича; но не требуйте отъ меня, чтобъ я радовался этой свадьбѣ. Вотъ еслибъ мы могли дать за нею хоть двѣсти душъ... о, это другое дѣло!... Конечно, и тогда Иванъ Никифоровичъ не сказалъ бы, что она ровня его сыну; но, по крайней мѣрѣ, могъ бы безъ стыда называть ее своею невѣсткою.

— Что это, Кузьма Петровичъ, какъ ты любишь себя унижать!... Ты говоришь, какъ будто бы мы однодворцы какіе!

— А что ты думаешь?... Я увѣренъ, для Кирсанова все равно: что я, что Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ...

— И, что ты, мой другъ,—ужь Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ!...

— Такъ точно, сударыня, это я!—раздался въ столовой голосъ Зарубкина.—Ахъ, благодѣтель мой! — продолжалъ онъ, входя въ гостиную и цѣлуя въ плечо Кузьму Петровича.—Насилу то мы васъ дождались!

— Здравствуйте, Андрей Ѳомичъ!... Ну что, какъ вамъ можется?

— Плохо, батюшка! Ноги все припаливаютъ. А вы, сударь, какъ изволили пожить въ Москвѣ? Что тяжба ваша?

— Кажется, все кончено.

— Въ вашу пользу?

— Да, по милости его сіятельства, которому угодно было прекратить этотъ процессъ.

— Такъ Панкратій Лукичъ съ носомъ?... Ну, слава Богу!... Честь имѣю васъ поздравить!

— Кузьма Петровичъ, — сказалъ Прохоръ, растворивъ одну половинку дверей, — Курочкинъ пришелъ. Прикажете принять?

— Проси!

Панкратій Лукичъ, войдя въ гостиную, низко поклонился Мирошевымъ. Какъ ни старался онъ казаться веселымъ и спокойнымъ, но, несмотря на это, смущеніе его было очень замѣтно.

— Извините, Панкратій Лукичъ, что я васъ потревожилъ!—сказалъ Мирошевъ.—Я спѣшилъ исполнить приказаніе его сіятельства и прочесть вмѣстѣ съ вами бумагу, которую онъ изволилъ со мною прислать.

— Помилуйте-сь!... Я виновать, что не успѣлъ скорѣе къ вамъ явиться... Я было приказалъ заложить лошадь, да подумалъ: кучеришка у меня плохой, проваландается полчаса,—нѣтъ, лучше побѣгу пѣшкомъ!... Сдѣлайте милость, Кузьма Петровичъ, обрадуйте скорѣе! Вѣрно, его сіятельство изволитъ ко мнѣ писать, что эта окаянная тяжба прекращена?... Дай то, Господи!

— Она, точно, прекращена; но я не знаю, объ этомъ ли онъ къ вамъ пишетъ. Да вотъ потрудитесь, прочтите сами, —прибавилъ Кузьма Петровичъ, подавая Курочкину запечатанное письмо.

— Ого, какой большой пакетъ!—сказалъ Курочкинъ.—Что бы это такое было?... На немъ нѣтъ никакой надписи... Прикажете распечатать?

— Сдѣлайте милость!

Курочкинъ сломилъ печать и вынулъ изъ пакета исписанный кругомъ листъ бумаги.

— Что это?—сказалъ онъ.—Такъ точно... купчая!...

— Купчая?—повторилъ Кузьма Петровичъ. — Чтожъ это значить?... Читайте, читайте!

Панкратій Лукичъ началъ читать, сначала довольно твердымъ, а потомъ прерывающимся голосомъ:

— «Лѣта тысяча семьсотъ восемьдесятъ перваго, іюня въ двадцать осьмой день... продалъ я»... Такъ точно!... Его сіятельство!... И подпись его!

— Да читайте!—вскричалъ Мирошевъ.

— «Продалъ я»,—продолжалъ Курочкинъ заикаясь,— «отставному поручику, Кузьмѣ Петрову, сыну Мирошеву, благопріобрѣтенное мое имѣнье, состоящее въ Саратовскомъ намѣстничествѣ... Новохоперской округи»...—Да-съ... Точно такъ!... «въ селѣ Вознесенскомъ... Старые Вязники то-жъ... и написанныя въ ономъ... по послѣдней ревизіи за мною... дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола... четыреста тридцать семь душъ»...

— Возможно ли?—вскричалъ Мирошевъ.—Село Вознесенское?... О, нѣтъ, нѣтъ, вы не такъ читаете!... Этого быть не можетъ!

Курочкинъ подаль молча бумагу Кузьмѣ Петровичу.

— Да, да!... Такъ точно!—вскричалъ Мирошевъ.—Это купчая... на мое имя!... Машенька, погляди... читай!... Четыреста тридцать семь душъ!... Посмотри, Прохоръ... село Вознесенское со всѣми угодьями, землею!... Да чтожъ вы ничего не говорите?... Во свѣ что-ль это или на яву?... Да говорите, Бога ради, говорите!

Но Марья Дмитріевна и Кондратьичъ не могли ничего отвѣчать: они онѣмѣли отъ удивленія и радости, и точно такъ же, какъ Кузьма Петровичъ, не могли вмѣстить и постигнуть возможности такого неожиданнаго и невѣроятнаго счастья. Они смотрѣли на графскую подпись и ничего не видѣли; перечитывали купчую и ничего не понимали... Вдругъ одна мысль, какъ молнія, мелькнула въ головѣ Мирошева: дочь его богатая невѣста!...

— Варенька, —вскричалъ онъ, идя навстрѣчу дочери, которая вошла въ комнату,—другъ мой, теперь мы совершенно счастливы!... Ты не бѣдная дѣвушка, нѣтъ,—у тебя будетъ почти пятьсотъ душъ крестьянъ!... О, теперь Ивану

Никифоровичу нечего стыдиться своей невѣстки!... Теперь онъ съ радостію назоветъ тебя своею дочерью!... Ну, да!... Что ты на меня смотришь?—продолжалъ Мирошевъ.—Да, Да... село Вознесенское твое! Слышишь ли, мой другъ, твое!

— Что это вы, папенька, говорите? Я не понимаю!— промолвила, наконецъ, Варенька, смотря съ удивленіемъ на отца.

— Да, мой ангелъ,—сказалъ Марья Дмитріевна, обнимая дочь,—село Вознесенское принадлежит намъ.

— Какъ намъ, маменька?

— Вотъ и купчая.

— Такъ вы его купили?

— И, нѣтъ, мой другъ,—прервалъ Мирошевъ,—это подарокъ благодѣтеля нашего, великодушнѣйшаго изъ людей!... Ну, Прохоръ, помнишь ли, что ты говорилъ, когда онъ прислалъ къ намъ деньги на дорогу?

— Эхъ, батюшка, не вспоминайте! Вотъ такъ бы самого себя и приколотилъ до полусмерти!

Въ первыя минуты удивленія, радости и восторга, Мирошевъ совершенно забылъ о Курочкинѣ и Зарубкинѣ. Перваго трясла лихорадка; второй сначала остолбенѣлъ отъ удивленія, потомъ пожелтѣлъ отъ досады, и вѣрно-бы лопнулъ съ зависти, еслибъ его не успокоила одна утѣшительная мысль: онъ взглянулъ на Курочкина и улыбнулся съ такою злобною радостію, что Панкратій Лукичъ, который понялъ эту улыбку, поблѣднѣлъ какъ полотно и, подойдя къ Мирошеву, сказалъ едва внятнымъ голосомъ:

— Батюшка... ваше благородіе... позвольте взглянуть купчую: въ ней должны быть исключенныя души...

— Кажется есть,—сказалъ Мирошевъ.—Вотъ посмотрите сами.

Курочкинъ пробѣжалъ глазами нѣсколько строкъ и началъ читать вполголоса:

— «Дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола четырехста тридцать семь душъ, за исключеніемъ мною изъ сей продажи»...— Панкратій Лукичъ остановился и перевелъ духъ; потомъ продолжалъ, понизивъ голосъ: «за исключеніемъ изъ сей продажи... вдовы, Прасковьи Никифоровой, съ малолѣтними ея дѣтьми, сыновьями: Дмитріемъ, Петромъ и Андреемъ... а за симъ исключеніемъ... дѣйствительно, въ продажу сію поступаютъ... всѣ остальные четырехста тридцать три души»...

Тутъ голосъ Курочкина прервался; онъ уронилъ купчую на полъ, задрожалъ, упалъ на колѣни и закричалъ отчаяннымъ голосомъ:

— Отецъ, не погуби!

— Что вы, что вы?—сказалъ Мирошевъ.

— Батюшка, батюшка,—вопилъ Курочкинъ,— будь милосердъ!

— Да что это значить?

— А вотъ что,— подхватилъ Зарубкинъ: — Панкратій Лукичъ крѣпостной человѣкъ его сіятельства и приписанъ къ селу Вознесенскому, а въ исключенныхъ душахъ его нѣтъ...

— Вотъ тебѣ разъ!—вскричалъ Прохоръ.—Такъ вы, господинъ приказчикъ, попали къ намъ въ крѣпостные?... Ай да графъ!... Дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!... Эку штуку сдѣлалъ!... Ну, Панкратій Лукичъ, не говорилъ ли я вамъ, что нашему брату чуфариться нечего: сегодня въ чести, а завтра...

— Перестань, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Встань, Панкратій Лукичъ! Пусть простить тебя Господь, какъ я тебя прощаю! Ступай сегодня же въ городъ и пиши себѣ отпускную.

— Батюшка, я заплачу вамъ все, что угодно!

— Мнѣ ничего не надобно.

— Отецъ!... Благодѣтель!...

— Хорошо, хорошо!... Ступай съ съ Богомъ!

Курочкинъ поклонился и вышелъ вонъ, шатаясь какъ опьянѣлый.

— Тако Господь унижаетъ гордыхъ!—сказалъ Зарубкинъ, глядя вслѣдъ за Курочкинымъ.—Кузьма Петровичъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ хозяину,—честь имѣю васъ поздравить!... Вѣрите ли, я этому такъ радъ, такъ радъ, что у меня и словъ нѣтъ!... Экая оказія, подумаешь!... Ну!... Батюшка, Кузьма Петровичъ, къ моему конопляннику изъ вашей теперешней земли подошла луговинка небольшая—такъ десятинки полторы... выгону у меня нѣтъ... еслибъ милость ваша была...

— Извольте, Андрей Ѳомичъ, съ большимъ удовольствіемъ!

— Покорнѣйше васъ благодарю!... Марья Дмитриевна, Варвара Кузьминична, честь имѣю поздравить!... Авдотья Лаврентьевна... Прохоръ Кондратьичъ... поздравляю!...

— Ну, — сказалъ Прохоръ, — дешево этотъ негодяй отдѣлался!... Счастливъ онъ, что попалъ на такого барина!...

— Да - съ, — подхватилъ Зарубкинъ, — вы милостивы, Кузьма Петровичъ... Кабы вы изволили знать, что этотъ разбойникъ Курочкинъ противъ васъ затѣвалъ...

— И знать не хочу! — сказалъ Мирошевъ.

— Ну, воля ваша, а я бы поразсказалъ вамъ...

— Да полноте, Андрей Ѳомичъ! Богъ съ нимъ!

— Этакій элющій, подумашь! — продолжалъ Зарубкинъ. — Вотъ сейчасъ еще говорилъ мнѣ: «Дай только мнѣ выиграть тяжбу, а тамъ ужъ я прижму этихъ Мирошевыхъ: отхвачу всѣ луга по самымъ ворота! Западеть имъ дорожка къ Хопру. Будетъ съ нихъ — погуляли! Чужую траву топтать нельзя... А чтобъ они и изъ оконъ то на рѣчку не смотрѣли, такъ построю противъ самаго дома сальный заводъ»...

— Ахъ онъ разбойникъ! — вскричалъ Прохоръ. — И онъ это говорилъ?

— Видитъ Богъ такъ! Я сталъ его усовѣщевать, сказалъ ему: «Что вы это, Панкратій Лукичъ, побойтесь Бога: пригнѣнять такихъ почтенныхъ людей! Да вѣдь имъдохнуть нельзя будетъ»... Куда, и слушать не сталъ!

— Ну, сударь, — прервалъ Прохоръ, — и послѣ этого вы отпустите его даромъ на волю?

— Непремѣнно.

— Ну, еслибъ я былъ на вашемъ мѣстѣ...

— И ты то же бы слѣлалъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ! Вы дѣло другое — вы зла не помните! А я человекъ грѣшный: ужъ онъ бы у меня мѣсяць-другой за коровками походилъ.

Во дворъ въѣхала коляска.

— Посмотри, Кузьма Петровичъ, — вскричала Марья Дмитріевна, — вѣдь это Иванъ Никифоровичъ!

— Въ самомъ дѣлѣ это онъ, вмѣстѣ со своимъ сыномъ.

— Ну, мой другъ, — сказала съ радостью Мирошева, — чего же ты опасался?... Вѣдь онъ не могъ еще знать о перемѣнѣ нашего положенія?...

— Да! — прошепталъ Мирошевъ. — Слава Богу!!.. И такъ я не ошибался: Кирсановъ точно, добрый человекъ! Изъ любви къ сыну, онъ побѣдилъ свою гордость. О, теперъ я не сомнѣваюсь: дочь наша будетъ счастлива!



XXXVII.

Пятнадцать лѣтъ спустя.

Въ 1796 году, ровно пятнадцать лѣтъ послѣ того, какъ Кузьма Петровичъ сдѣлался помѣщикомъ села Вознесенскаго, въ июнѣ мѣсяцѣ, точно такъ же, какъ въ началѣ этого разсказа, Мирошевы пили чай со своими гостями, подѣ тѣвнюю знакомой вамъ черемухи; она вовсе не измѣнила своего вида; точно такъ же, какъ прежде, была зелена, развѣсиста и душиста; но тѣ, которые укрывались подѣ ея густыми вѣтвями, очень измѣнились: одни утратили первую свою молодость, а другіе изъ пожилыхъ людей превратились въ стариковъ. За самоваромъ хозяйничала прежде бывшая Варенька Мирошева, а теперь Варвара Кузьминична Кирсанова — женщина прекрасная собою, но нѣсколько дородная. Подлѣ нея сидѣли рядомъ Кузьма Петровичъ и Марья Дмитріевна. Мужъ былъ еще довольно свѣжъ, но жена вовсе уже не напоминала своимъ увядшимъ лицомъ не только красавицу, сиротку Машеньку, но даже пригожую барыню, которая пятнадцать лѣтъ тому назадъ могла еще хоть кому вскружить голову. Подлѣ Мирошева сидѣли двѣ дѣвушки, одна тринадцати, другая четырнадцати лѣтъ — обѣ прелестъ собою. Меньшая поила чаемъ румянаго свѣтлорусаго мальчика лѣтъ шести; по ихъ фамильному сходству не трудно было отгадать, что это двѣ сестры и братъ. Напротивъ Кузьмы Петровича допивалъ третій стаканъ чаю дюжій и широкоплечій старикъ не старикъ, а очень пожилой человекъ, въ драгунскомъ, прежняго покроя, мундирѣ, съ полнымъ краснымъ лицомъ, выражающимъ веселость и добросердечіе: это былъ новохоперскій городничій, Егоръ Васильевичъ Костоломовъ. Подлѣ него сидѣлъ мужчина лѣтъ за сорокъ, весьма пріятной наружности; онъ смотрѣлъ съ улыбкою на малютку, котораго одна изъ сестеръ поила чаемъ, и хотя въ этой улыбкѣ можно было прочесть всю нѣжность добраго отца, но она не значила ничего передъ взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой любви, которыми слѣдилъ за всѣми движеніями ребенка съдой, какъ лунь, старикъ, высокаго роста и наружности необычайно привлекательной. Если я скажу вамъ, что шестилѣтній маль-

чикъ—сынъ Владиміра Ивановича Кирсанова, то вы тотчасъ же узнаете въ этомъ старикѣ его дѣдушку, Ивана Никифоровича; одинъ онъ и могъ такъ смотрѣть на это дитя, потому что онъ видѣлъ въ немъ не только внука, но послѣднюю отрасль и единственную надежду древняго рода дворянъ Кирсановыхъ. Еслибъ его не было на свѣтѣ, или, — чего избави, Боже, — онъ умеръ бы въ ребячествѣ, то фамилія Кирсановыхъ исчезла бы навсегда изъ родословныхъ списковъ русскихъ дворянъ, и длинная цѣпь именъ, внесенныхъ въ *бархатную книгу*, окончилась бы этими ужасными словами: «Владиміръ умеръ бездѣтенъ, и *Кирсановы прекратились*». Отъ одной этой мысли кровь застывала въ жилахъ у Ивана Никифоровича; и однажды умереть не легко, а это было бы для него все то же, что умереть два раза сряду. Этотъ семейственный кругъ оканчивался Авдотьей Лаврентьевной Логиновой, женою новохоперскаго медика, который такъ удачно вымѣчалъ отъ мнимой чахотки Вареньку и такимъ страннымъ образомъ познакомился съ Дуняшей. Съ нею разговаривалъ вполголоса дряхлый старикъ, согнутый отъ лѣтъ и отъ привычки почти въ кольцо. Его острый подбородокъ лобызался съ концомъ носа и вмѣстѣ съ нимъ покрывалъ большую часть рта, въ которомъ, какъ обгорѣлыя колья на пожарницѣ, виднѣлись два-три осиротѣвшіе зуба. Иванъ Никифоровичъ былъ старѣе его нѣсколькими годами, но казался передъ нимъ молодцомъ. Эти человѣческія развалины назывались нѣкогда Андреемъ Омичемъ Зарубкинымъ; ихъ и теперь зовутъ такъ же, но только онъ не всегда откликаются, потому что, къ довершенію всѣхъ недуговъ, происшедшихъ отъ частыхъ бесѣдъ съ пономаремъ Оерапонтомъ, Зарубкинъ сталъ плохо видѣть и сдѣлался крѣпокъ на ухо.

— А что, свать, — сказалъ старикъ Кирсановъ, обращаясь къ Мирошеву, — куда дѣвался твой земскій, Фодотычъ?

— Сидитъ подъ арестомъ въ ткацкой, — отвѣчалъ Кузьма Петровичъ.

— Помилуй, любезный, какъ же ты этакого политикана и знаменитаго витію засадилъ подъ караулъ?

— Спился съ кругу.

— Да отдай его мнѣ!... Мой дуракъ, Аеонька, не стоитъ его мизинца. Въ прошлый разъ онъ отпустилъ мнѣ такую высокопарную рацею, что я со смѣху умеръ. Въ самомъ дѣлѣ, уступи мнѣ его.

— Съ большимъ удовольствіемъ. Только онъ надоѣстъ: вретъ всегда свысока, ничѣмъ не доволенъ, всѣмъ обижается...

— Да это то и хорошо! Дуракъ тогда только забавенъ, когда сердится.

— Ну, не говорите! — прервалъ Костоломовъ. — Неровенъ дуракъ; дураки то бывають и наша братья, дворяне, люди чиновные, такъ поди-ка, раасерди его!

— Да вѣдь и на чиновныхъ дураковъ есть управа, — сказала Владиміръ Ивановичъ. — Слышали вы, что сдѣлалъ намѣстникъ съ нашимъ уѣзднымъ засѣдателемъ?

— Съ Алексѣемъ Панкратычемъ Курочкинымъ? — спросилъ Мирошевъ.

— Ну да, съ сыномъ бывшего приказчика вашего села Вознесенскаго.

— А что такое?

— Спросите Зарубкина: онъ только что пріѣхалъ изъ Саратова.

— Андрей Ѳомичъ, — закричалъ Мирошевъ, — что такое сдѣлалось съ нашимъ засѣдателемъ, Курочкинымъ?

— Курочкинъ?... Да-съ, поѣхалъ въ Саратовъ выручать сына... Богатъ, батюшка, тряхнетъ казной, такъ все будетъ.

— Да я не о немъ васъ спрашиваю, — закричалъ еще громче Мирошевъ. — Что сдѣлалось съ его сыномъ, Алексѣемъ Панкратычемъ?

— А!... Да-съ!.. Не хорошо, сударь, больно не хорошо!

— Да чтожъ такое? — спросилъ Иванъ Никифоровичъ.

— Попалъ, сердечный въ уголовную.

— За что?

— Да все-таки по дѣлу Агриппины Львовны Вертлюгиной. Вы изволите знать, что, по духовной покойнаго ея мужа, она владѣла всѣмъ его имѣніемъ. Родной племянникъ покойника завелъ съ ней тяжбу и доказалъ, что духовная фальшивая, и хотя подписана собственною рукою Ильи Сергѣевича Вертлюгина, да только ужъ тогда, какъ онъ умеръ.

— Что за вздоръ? — сказалъ Кирсановъ.

— Да такъ-съ!... Агриппина Львовна водила по бумагѣмъ мертвою рукою покойника.

— Какой ужась!—вскричала Марья Дмитриевна.

— А простофиля Курочкинъ, — продолжалъ Зарубкинъ, — чѣмъ бы ему, какъ засѣдателю, вступить въ это дѣло или ужь, по крайней мѣрѣ, отстранить себя, подписался на духовной свидѣтелемъ. Его совсѣмъ сбила Агрипина Львовна. «Тебѣ, дескать, опасаться нечего; ты, дескать, присягу можешь дать, что духовная подписана рукою покойника».

— Скажите пожалуйста, — прервалъ Костоломовъ, — какую штуку выдумали!...

— Да-съ, штука важная!... Ну, да вѣдь Агрипина Львовна барыня умная; жаль только Алексѣя Панкратыча: какъ куръ во щи попался!... Конечно, что говорить, — и за нимъ грѣшки важивались... не то, чтобъ большія взятки, а этакъ, — гдѣ курочку, гдѣ гуся... случилось, дирался также, и все безъ толку. Вдѣлится, бывало, сотнику въ бороду, или начнетъ лупить его палкой... ужь маеть, маеть! А послѣ спроси, такъ не знаетъ самъ, за что поколетиль... Да вѣдь это все по глупости, батюшка; а человѣкъ онъ, право, добрый.

— Ну, братъ, Андрей Ѳомичъ, — подхватилъ съ громкимъ смѣхомъ Костоломовъ, — мастеръ ты хвалить!...

— А что, батюшка?

— Да такъ! Пожалуйста, любезный, ругай меня почаще, авось этакъ будетъ здоровѣе.

— И, что вы, Егоръ Васильевичъ!... Да мы не нарадуемся, что вы у насъ городничимъ; вы наше красное солнышко!...

— Охъ, полно, братецъ, не хвали, — меня такъ морозомъ по кожѣ и подираетъ!

— Дуняша, — сказалъ Мирошевъ, — да гдѣ твой мужъ? Онъ сегодня съ нами и чаю не пьетъ.

— Пошелъ взглянуть на Прохора Кондратыча, — отвѣчала Дуняша; — а отъ него хотѣлъ завернуть къ старостихѣ Власьевнѣ. Говорятъ, у ней лихорадка.

— А что, Кузьма Петровичъ, твой Прохоръ? — спросилъ Костоломовъ. — Полегче ли ему?

— Нѣтъ, очень худъ! Вчера его приобщали.

— Чѣмъ онъ боленъ?

— Богъ знаетъ! Я думаю, старостію... Да вотъ и нашъ докторъ! — продолжалъ Мирошевъ. — Ну что, Степанъ Ивановичъ?

— Василиса ничего, — отвѣчалъ Логиновъ: — простудная лихорадочка.

— А Прохоръ?

— Очень трудень. Я заходилъ къ нему съ полчаса тому назадъ: врядъ ли доживетъ до завтрага.

На глазахъ Мирошева навернулись слезы.

— И, Кузьма Петровичъ, — прибавилъ докторъ, — дай Богъ и намъ съ вами столько же прожить! Въдь ему за девяносто.

— Да, это правда!.. Но еслибъ вы знали, какъ этотъ старикъ любилъ меня! Онъ нянчилъ меня ребенкомъ, и замѣнилъ мнѣ отца и мать, когда я остался сиротою. Въ этой жизни онъ служилъ мнѣ вѣрою и правдою, а тамъ — о, я увѣренъ, тамъ его первая молитва будетъ за меня! Егоръ Васильевичъ, хочешь ли вмѣстѣ со мною навѣстить нашего старика?

— Пойдемъ, братецъ!

Но прежде чѣмъ они встали со своихъ мѣстъ, изъ флигеля вышла женщина лѣтъ сорока, держа въ рукахъ окованный желѣзомъ ларецъ.

— Что ты, Акулина? — спросила Марья Дмитріевна.

Акулина, не отвѣчая на вопросъ своей барыни, подошла тихими шагами къ Мирошеву и сказала протяжнымъ голосомъ:

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, Прохоръ Кондратьичъ приказалъ вамъ долго жить.

— Онъ умеръ? — вскричалъ Мирошевъ.

— Скончался, батюшка!... Вчера послѣ исповѣди онъ наказалъ мнѣ, чтобъ я, лишь только онъ отойдетъ, снесла къ вамъ этотъ ларецъ.

— Прощай, мой добрый дядька! — прошепталъ Мирошевъ, заливаясь слезами. — Дай Богъ тебѣ царство небесное!

Кузьма Петровичъ и всѣ присутствующіе перекрестились. Нѣсколько минутъ продолжалось общее молчаніе, наконецъ, Костоломовъ вымолвилъ:

— Эхъ, жаль старика! Ну, дядя, не наживешь еще этакого!... Да что это онъ прислалъ къ тебѣ въ этомъ сундукѣ?

— А вотъ посмотримъ! — сказалъ Мирошевъ, отпирая ларецъ.

Въ немъ лежала сверху икона преподобнаго Козьмы,

епископа Холкидонскаго, мѣшечекъ съ десятью цѣлковыми и мелкимъ серебромъ, двѣ изломанныя игрушки, тетрадка съ дѣтскими прописями и бережно завернутая въ бумагу пара истертыхъ сафьянныхъ башмачковъ, которые Кузьма Петровичъ носилъ въ своемъ ребячествѣ.

К О Н Е Ц Ъ .











